МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Илья Фаликов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Новую книгу о Марине Цветаевой (1892–1941) востребовало новое время, отличное от последних десятилетий XX века, когда триумф ее поэзии породил огромное цветаеведение. По ходу исследований, новых находок, публикаций открылись такие глубины и бездны, в которые, казалось, опасно заглядывать. Предшествующие биографы, по преимуществу женщины, испытали шок на иных жизненных поворотах своей героини. Эту книгу написал поэт. Восхищение великим даром М. Цветаевой вместе с тем не отменило трезвого авторского взгляда на все, что с ней происходило; с этим связана и особая стилистика повествования. Знаменитый отец, ранние успехи, затем нищета, ломовое трудолюбие и при всем том неотступная вера в силу поэтического слова, верность поэзии — не гиперболизация, но факт. Судьба Марины Цветаевой в сегодняшних условиях, не требующих поэта, убивающих поэта, может сама по себе поразить читателя. Еще в молодости она воскликнула: «Два на миру у меня врага, / Два близнеца, неразрывно-слитых: / Голод голодных — и сытость сытых!» Что бы она делала в наши дни? Она, можно сказать, ярая антирыночница: «Деревья! К вам иду! Спастись / От рева рыночного!..»

[Адаптировано для AlReader]

- Илья Фаликов
  - ○
  - ○
  - ○ Часть первая
    - ■ Глава первая
    - ■ Глава вторая
    - ■ Глава третья
    - ■ Глава четвертая
    - ■ Глава пятая
    - ■ Глава шестая
    - ■ Глава седьмая

- Часть вторая
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
- Часть третья
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая / седьмая
- ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
- иллюстрации
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ[360]
-
-
- ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23

- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67

- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111

- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155

- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199

- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243

- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287

- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331

- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360

Жизнь замечательных людей ®

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

1807

(1607)

Илья Фаликов

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ТВОЯ НЕЛАСКОВАЯ ЛАСТОЧКА

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

© Фаликов И. З., 2017
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2017

Наталье Аришиной, соавтору этой книги

Хронология — ключ к пониманию.

Марина Цветаева

Часть первая
МЕЛЬНИК
ИГРАЕТ НА ВИОЛОНЧЕЛИ

Глава первая

У нее была врожденная близорукость. Прищур был привычкой. По-видимому, свет в таких случаях приобретает некоторую сумеречность, как под водой, и девочки делаются русалками. Или пеной морской. Она сказала: искусство при свете совести. Мудрено не ослепнуть.

Возможно, так видят кошки в темноте. В каменном мраке дома в Борисоглебском переулке Марина с дочкой Алей, претерпев привыкание к разгрому и развалу, вели себя как в своей природной среде. Их кошку звали по-собачьи — Кусака. Возможно, Марине было все равно, кошка ли, собака ли. А впрочем, в семье это ведь и лишний рот. Как это ни печально, постепенно Кусака стала шкуркой, ковриком на стене.

У Марины были сводный брат Андрей, на два года старше, и сестра Ася, на два года младше. В раннем детстве, в уютном, просторном бревенчатом доме шоколадного цвета с мезонином, в Трехпрудном переулке, когда дети дрались между собой, у каждого была специальность: Андрюша щипается, Ася царапается, Марина кусается. У Марины были зеленые глаза. Цвета крыжовника, по слову сестры Аси. То есть не кошачьи.

Сестры не любили кукол, носили их вниз головами, держа за ноги, а любимыми игрушками были ситцевые, набитые соломой, два кота, купленные няней на рынке по 25 копеек, да и копилки были, естественно, анималистические. У Муси (Маринино домашнее имя) — собака, у Аси — кошка. Девочки рыдали, когда наступал час убийства копилок за-ради обретения денег. Звери гибли за металл.

Флора и фауна у Цветаевой условны, на уровне слова, а не растения или существа как такового. Она, как говорят на Русском Севере, *недовидела.* Ее рябина — «особенно рябина» — не дерево, а куст, а в реальной природе это не так, поскольку куст, как сказано в словарях, — «древовидное растение» и оно «малорослее дерева». Цветаевская рябина — символ России, а ведь ее, рябины, полно во всей Европе, во всей Азии и в Северной Америке. Другое дело, что задолго до Цветаевой (в 1854-м) князь Петр Андреевич Вяземский на швейцарском курорте в городе Веве наткнулся на рябину, появилось стихотворение «Вевейская рябина»:

Тобой, красивая рябина,
Тобой, наш русский виноград,
Меня потешила чужбина,
И я землячке милой рад.

«Землячка», «русский виноград», и через десять лет он опять написал стих о той же рябине. Речь не о точности словоупотребления — поэты нередко редактируют природу.

Стихи часто растут из стихов, равно как из человеческих слабостей и дефектов автора. Марина читала с трех лет, а в четыре умела писать. До четырех она говорила только правду, а потом стала фантазировать. Лет до восьми-девяти Марину в семье звали Мусей, затем все чаще — Марусей. В дневнике ее матери (девять черных толстых томиков) засвидетельствовано: «Четырехлетняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы, — может быть, будет поэт?» Так оно и получилось — с пяти лет пошли стихи. По-русски, по-немецки и по-французски. Чтение стало запойным. Книжная девочка. «А Муся уже провалилась в книгу», — говорила мама, когда дочь, при получении книги в качестве рождественского подарка, отрешалась от всего. Она губила зрение. В отрочестве-девичестве носила очки, которые никогда не снимала, потом отказалась от них, вплоть до последних двух-трех лет жизни. Как же она ходила по белу свету? Как русалка в воде, как кошка в темноте? Да нет. Она была человек. Это ее главная проблема.

Ее деда по отцу кто-то задним числом и без злого умысла назвал «захудалый священник». В селе Талицы неподалеку от Иваново-Вознесенска, на Владимирщине, стояла запущенная церковка, когда туда направили о. Владимира (Владимира Васильевича Цветаева) — поднять этот Божий дом, вдохнуть в него жизнь (1853). С делом он справился. Цветаева говорила, что огромная голова ее сына, не вмещающаяся ни в один головной убор, — оттуда, из владимирских лесов, от башковитого выходца из простонародья, прапращура Ильи Муромца.

Не был дед захудалым. Но жил в опрятной бедности и неустанных трудах.

Из его и Екатерины Васильевны, рано умершей, четверых сыновей, которые окончили Шуйское духовное училище, а затем Владимирскую духовную семинарию, лишь один продолжил религиозное служение — Петр, старший. Второй — Федор — стал педагогом (учил, скажем, Ивана Шмелева), инспектором гимназии, младший — Дмитрий — профессором русской истории, управляющим Московским архивом Министерства юстиции, а Иван, третий сын, поначалу занялся словесностью, да еще какой: откомандированный Киевским университетом за границу, в руинах вечного Рима отыскал письменность

древнеиталийского племени осков, по-латыни написал диссертацию на сей счет, издав ее с приложением великолепного словарного атласа, выпустил в пяти книгах исследование памятников древнеиталийской письменности «Италийские надписи», в двадцать девять лет стал профессором. Его узнали в Европе, он стал почетным членом Болонского университета, от Российской академии получил премию «За ученый труд на пользу и славу Отечества». Не будучи археологическим — и никаким другим — стяжателем, он привез скифос и амфору из Помпей, где самолично участвовал в раскопках. Кропотливо-терпеливое ползание на коленях по тысячелетним камням привело его к интересу более широкому — к ваянию, вообще к изящным искусствам всех времен и народов, в основном европейских. Зоркая дочь Марины Ариадна, Аля, впоследствии отметила в матери «фигуру египетского мальчика» (широкоплеча, узкобедра, тонка в талии). Такое зрение воспитывается на соответствующих образцах. У Али — в Лувре.

Но словесность все равно не оставляла Ивана Владимировича — долгое время директорствовал в Московском Публичном и Румянцевском музее, в библиотеке которого еще недавно трудился сократолобый Николай Федоров, очарованный воскреситель человечества, и Ивана Цветаева посетила идея тоже вполне безумная — идея музея, в котором были бы собраны слепки и копии работ, принадлежащих руке старых мастеров. Возглавлял он также кафедру истории и теории искусств Московского университета, читал в Консерватории и на Высших женских курсах историю изящных искусств, внедряя свой интерес в свежие умы молодежи, больше готовой к идее профессора, нежели рутинные мозги представителей власти и общественности. Была у него и любопытная книга «Из жизни высших школ Римской империи», содержащая, между прочим, очерк студенческих волнений в древности. Отрешенный от всяческой суеты, в том числе домашней, он тем не менее заметил в Марине тревожные задатки: «Экия дарования Господь ей дал! И на что они ей! После они могут принести ей больше вреда, чем пользы». Наследственная православность не мешала ему утверждать, говоря о статуе Зевса: «Фидий за 4 с половиной века до нашей эры скомпоновал его таким же всеблагим, как наша церковь изображает Спасителя». По делам музея он ездил за границу десять раз, часто за свой счет, оставаясь без отпусков. В 1898 году началось строительство музея по проекту архитектора Романа Ивановича Клейна.

Так или иначе, Музей изящных искусств встал на Волхонке, получив одобрение Николая II и имя его августейшего отца —

Александра III. Денег государство Ивану Владимировичу дало не преизбыточно (200 тысяч рублей, а требовалось намного больше — 3 миллиона), выделив площадь бывшего Колымажного двора, на месте старой пересыльной тюрьмы. Но нашлись жертвователи, прежде всего Юрий Степанович Нечаев-Мальцев, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов. 70 процентов требуемых денег внес он.

Император Николай II и вдовствующая императрица Мария Федоровна, а с ними и четыре дочери государя присутствовали на открытии Музея 31 мая 1912 года. Великие князья, свита, синклит высших сановников империи.

Тысячная толпа лицезрела невиданное колоссальное здание античных очертаний с десятиметровой беломраморной колоннадой. Была тюрьма — стал храм. Ионическая колоннада, облицованная морозоустойчивым уральским камнем.

Долог был путь от скудного талицкого прошлого, в котором дети священника делили единственную пару сапог для выхода на люди, до расшитого золотом государственного мундира, облекшего неловкую фигуру Ивана Владимировича. Строитель Музея не был сановником по определению и не стал им. Его лучшие годы прошли в Трехпрудном переулке, в доме номер восемь, подаренном его семейству в приданое тестем Дмитрием Ивановичем Иловайским, именитым историком, на дочери которого, Варваре, женился Иван Цветаев и, несомненно, до конца дней любил ее, уже в новом браке. Певица и актриса — оперное образование, участвовала в концертах в Москве и Италии, — она умерла молодой, оставив дочь Валерию, Лёру, и сына Андрея. Сорокачетырехлетний безутешный вдовец привел в этот дом новую — молодую, двадцатидвухлетнюю — жену Марию. Она была дочерью Александра Даниловича Мейна, важного московского чиновника (в отставку ушел с должности управляющего канцелярией московского генерал-губернатора) и заметного публициста по экономическим, политическим и общественным вопросам — московский обозреватель петербургской газеты «Голос», еще в шестидесятых годах XIX века он печатал статьи в «Русских ведомостях».

Новый тесть Александр Данилович явился в дом и, обнаружив на стене гостиной большой свежий портрет предшественницы дочери, плачущей в своей комнате от обиды, учинил нервную выволочку безжалостному зятю. Портрет переехал в кабинет Ивана Владимировича в Румянцевском музее (а затем, когда Мария умерла, вернулся на место).

По дому тайно бродил призрак несчастья, удвоенный

катастрофической любовью Марии к некоему Сергею Э., пережитой на утре дней, то есть только что. Тот портрет писался на глазах Марии, в стенах дома, и ужас ее положения заключался в том, что это был портрет ее собственной трагедии. Будучи одаренной художницей, она знала толк в живописи. Рядом жили дети Варвары, которым ей долженствовало заменить мать, и если пластичный годовалый мальчик Андрюша легко смирился с силой обстоятельств, то десятилетняя Лёра не приняла мачеху в свое сердце и вообще не подпустила ее к своему внутреннему миру. Она, помимо прочего, не могла простить мачехе сожжения материнских вещей, нательных по преимуществу, во время водворения нового порядка в доме. Глаза у Лёры были похожи на Маринины — зеленые, крыжовниковые, но не близорукие, очень острые. Ее определили на пять лет в Екатерининский институт благородных девиц на полный пансион, откуда Лёра вышла с золотой медалью в самом начале следующего столетия (1900).

В доме стояла невидимая стена холода, о которую семья не разбилась потому, что новая жизнь в лице новых детей шумно и ярко затопила оба яруса-этажа дома, связанные стремительной лестницей. Гремела музыка. Мария была виртуозной пианисткой, ученицей Надежды Муромцевой, воспитанницы Николая Рубинштейна. Бетховен и Гайдн, Григ и Моцарт, Верди и Шуман, Чайковский и Шуберт и очень много Шопена.

Рояль был главным действующим лицом Мариниого детства и ее первым зеркалом, никогда не вравшим, как и она сама, до четырех лет, помним, говорившая только чистую правду.

В свое время состоялся и выход детей в Большой театр, где шла «Спящая красавица»[1] Чайковского, вещь из общеевропейского источника. Марина сказала о матери: «отдаленная, но истовая германка», и названа была дочь именем Марины Мнишек, отнюдь не патриотки Руси, однако — нет, избыточного германофильства у Марии Мейн все-таки не было. Пожалуй, уместнее сказать об отсутствии русопятства. «Mein» означает «свой».

Как и многие русские немцы, семья Мейн вросла во второе отечество намертво. Стриженая — коротковолосая — Мария, поблескивая серьгами, под гитару, которую освоила в три урока и игравшая на ней концертные вещи, исполняла романс «Не для меня придет весна», а иногда они с Лёрой пели дуэтом: «Вот мчится тройка почтовая» и другое русское. У Лёры был легкий характер, она шуткой снимала материнские вспышки и нападки на расшалившихся девчонок. Лёра поселилась на антресолях по соседству с сестрами, на ее густонаселенных этажерках стояли бесчисленные ноты романсов и песен, а в неприступном шкафу —

весь Пушкин, его Собрание сочинений. Комната Лёры была обита красным штофом — цвет, слившийся с тем, о чем пела Лёра: о любви. О том же — это главное — писал Пушкин. Собственно, о том же играла и пела мама, запрещавшая Мусе понимать взрослый мир. Детям полагалось знать-понимать лишь то, что мама читала им вслух, сказки в основном. Это им очень нравилось, но все на свете постепенно становилось значительно шире.

В мире Муси появились и «Леди Джэн, или Голубая цапля» Сесилии Джемисон, и «Маленький лорд Фаунтлерой» Фрэнсис Ходжсон Бёрнетг, и особенно полюбившаяся Марине «История маленькой девочки» Екатерины Сысоевой. Запали в душу и «Лесной царь» (Жуковский — Гёте), и аксаковский «Антон Горемыка», и короленковский «Слепой музыкант». Ну а «тот самый жар в долине Дагестана» был почерпнут из Андрюшиной хрестоматии. Позже пришел и Данте, поначалу больше привлекавший девочек иллюстрациями Густава Доре. О «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте мама говорила: вырастите — будете читать. Мама прекрасно знала английский язык, и среди ее книг стояла тоненькая книжка «Она ждала», новелла Пауля Гейзе в переводе Марии Мейн, то есть самой мамы.

Часто Мария играла в четыре руки со своей подругой и почти сестрой (вместе воспитывались в доме Мейнов) Тоней, синеглазой нежной красавицей. Муся и учиться-то начала не в обычной гимназии, а в музыкальной школе, у Валентины Юрьевны Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, куда поступила самой младшей ученицей, неполных шести лет. «Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере, будет музыкантша». Дома она играла на мамином рояле, над которым на стене висел портрет Бетховена. У нее получалось, но ее музыкальность нашла себе иные формы, в стихах:

Все ноты ринулись с листа,
Все откровенья с уст, —

а с роялем она рассталась тотчас по уходе матери (1906).

Марина девяти лет поступила в первый класс 4-й гимназии на Садовой, близ Кудринской площади, потом, по воле судьбы пройдя несколько отечественных и зарубежных школ и интернат, посещала гимназию Марии Густавовны Брюхоненко, VI и VII классы, в доме номер четыре в Большом Кисловском переулке, в который впадает Нижний Кисловский переулок, где живет автор

этой книги. Две миниатюрные кариатиды песочного цвета на третьем этаже главного белого фасада видны из моего окна. Может быть, это сестры.

Эта гимназия имела хороший состав преподавателей и считалась либеральной. Рядом был большой школьный сад, а на углу стоял Никитский женский монастырь, окруженный каменной оградой, и гимназистки на переменах бегали туда тайком за просвирками. Сейчас на этом углу стоит серое здание электроподстанции метрополитена с весьма странными барельефами на торце, изображающими порывистых атлетов-метростроевцев с неспокойными ручищами, их трудовой энтузиазм, исполненный какого-то эротического пафоса: грешный сон монахини.

Попутно говоря, в брюхоненковской гимназии одновременно с Мариной и Анастасией учились Вера Левченко (потом, по мужу — Холодная) и Елена Дьяконова (будущая Гала́ — жена Поля Элюара, а затем Сальвадора Дали). В 1910 году гимназия переехала в специально выстроенное здание в Столовом переулке, а рядом был построен доходный дом, в котором с 1915 года до середины 1930-х жила солистка Большого театра Антонина Нежданова, у нее гащивали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Сергей Рахманинов, — музыкальное место. В 1950-х годах здесь была средняя школа номер 92, с 1961 года и поныне — интернат Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. В постперестроечные времена в этом здании музыка была иной — там была художественная галерея продвинутой живописи «Муха» и функционировало кафе, некоторое время называвшееся поэтическим. Оно разорилось, и «Муху» сдуло.

Ивана Владимировича Цветаева преследовал суровый рок, обеих жен он потерял молодыми. Ему было сорок пять, когда родилась Марина. Постепенно он стал казаться больше дедом, нежели отцом: поседел, полысел, носил редкую бородку, округлился телом. Марина, подрастая, обретала плавные, плотные формы (потом это прошло), сказывался цветаевский корень, папина дочка; Ася пошла в мать — худенькая, длиннолицая. Со временем у Муси появилось прозвище Мамонтиха, у Аси — Паршивка.

Муся была предметом материнской гордости, Ася — материнской любовью. Муся это сознавала, молчаливо сносила, тихо обижалась, только легко и часто краснела. Но с некоторых пор Муся стала вспыльчива — в маму, то ножкой двинет, то башмачком пустит в прислугу, то еще чего (сама сказала: «опять

дала в зубы гувернантке, которая меня дразнила, жестянкой от зубного порошка»). Она прошла курс матери весьма успешно и впоследствии практически копировала ее в отношениях с собственными детьми, по-цветаевски пережимая.

С утра до вечера отец пропадал на стройке Музея и в хождениях по мукам, раздобывая материальные средства и строительные материалы. Остальное время проводил в домашнем кабинете. Мария Александровна подключилась к его занятиям, усердно вела переписку по делам строительства. Летом 1902 года они вместе посетили уральские мраморные каменоломни в городе Златоусте, вынеся оттуда восторги от увиденного и надежды на будущее Музея и самого Златоуста.

На первом ярусе одиннадцатикомнатного цветаевского дома располагались парадные комнаты: пятиоконная зала, столовая, гостиная, спальня, передняя, кухня, комната прислуги (девичья), а наверху — антресоли с детскими комнатами и платяной чуланчик, куда порой помещали младших детей в наказание за проказы. Сверху было интересно смотреть на просторную залу, особенно когда там, на квадратах паркета, загоралась высоченная, до потолка, расфуфыренная, торжественная, вся в горящих свечах рождественская елка. Эту елку, подрезав, на Новый год переносили к детям наверх, праздник продолжался. В эти дни их навещали с подарками дед Иловайский, молчаливый и загадочный, в седом парике и с белой раздвоенной бородой, и дед Мейн, высокий, в чем-то черном, пахнущий сигарами. Мебель в доме была дареной, в основном старой и прочной, — от того же Мейна.

Дом окружали серебристые тополя и желтые акации. Столетний тополь стоял у калитки, как страж. «Наш тополиный двор», — говорила Марина. Из будки, погромыхивая цепью, лаял пес Барбос, и по травяной зелени носился черный кролик. Домовладение было нескудным — два сарая, два погреба, крытый колодец с деревянным насосом, флигель в семь комнат, иногда сдаваемый внаем.

Трехпрудный переулок был зеленым и небольшим, однако там уже тогда существовал собственный дом архитектора С. М. Гончарова, откуда вышла художница Наталья (Наталия) Сергеевна Гончарова, и, чуть наискосок от родительского дома, красовалось готическое здание скоропечатни А. А. Левенсона, где вышла вторая книжка Цветаевой — «Волшебный фонарь», а потом там — в типографии — сгорел цветаевский дом, что само по себе колоссальная метафора. Лёра позже вспоминала: «Мы все любили свой дом в Трехпрудном. Но кто из нас, кроме брата, знал и видел гибель его? Расформирование госпиталя (временно дом в

пору германской войны был лазаретом. — *И. Ф.),* отдачу нашего дома соседней типографии, на слом, на дрова…<…> Мы теплой, целой, родной семьи не знали. В жизнь мы все унесли в душе каждый свое увечье».

За полгода до рождения Марины скоропечатня Левенсона, сперва находившаяся по другому адресу — в Рахмановском переулке, претерпела пожар, изнутри выгорев дотла. Это походило на роковое предзнаменование. В 1900-м у нее появилось здание в Трехпрудном, которое построил архитектор Федор Шехтель, тоже символ эпохи.

За красотой и яркими впечатлениями далеко ходить не надо было, всё рядом: и Тверской бульвар, и Страстной, и даже Александровский сад, куда девочек водили не часто, но в полную радость, потому что там было по-особому тихо, тенисто, глубоко, как в пруду, и вообще чудесно — под самыми стенами седого Кремля, за которыми Царь-пушка, Царь-колокол и сам царь живет. Водили девочек и на Воробьевы горы с их американскими горками и головокружительным видом на необозримую Москву.

Уклад дома, пропитанный русским духом, с традиционными горничными и нянями — восемь человек прислуги, — не исключал европейского элемента — гувернантками были то фрейлен, то мадемуазель, и высокая немка Августа, весьма придирчивая, весело пела вместе с детьми: Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin (Ах, мой милый Августин…). «Германское воспитание», — сказала Марина. Но она часто говорила по-разному: то она русская, то она нерусская.

Дом семью окнами смотрел на переулок. У дома регулярно появлялись татарин-старьевщик, плечистый «князь» в сером халате, и точильщик ножей, окруженный голубями. Праздником сердца возникал шарманщик, то с попугаем, то без. Звучало «Пой, ласточка, пой!». Даже магазины — Севастьянова, Филиппова, Елисеева, особенно последний, где люди ходят по коврам из опилок, не говоря уже о заоблачном царстве магазина Мюра и Мерилиза, где разъезжает чудо техники лифт, Мусей невзлюбленный до конца жизни, — были чем-то нематериальным, из области воображения. А потом появился трамвай, угрожая исчезновением замечательным конкам. Москва была старой, уютной, с еще керосиновыми фонарями. На московское семихолмие падал снег, и со свистом скользили санки. На Пасху ее заливал преобильный колокольный звон, и солировал Иван Великий. Все вокруг было очень русским, старозаветным, но локомотив истории надвигался неумолимо. Для Муси, фигурально говоря, живые часы с кукушкой были предпочтительней механического метронома.

Далеко за стенами дома — бурская война, близко — дело Дрейфуса, и потом опять война — японская, очень дальняя и совсем близкая одновременно. Наступало время студенческих беспорядков, «Варшавянки» и «Марсельезы», жертвенности и провокаторства, Гапона и Скрябина, элитарного символизма и тотального владычества Художественного театра над интеллигенцией.

Мария Александровна Мейн потеряла свою мать-польку, Марию Лукиничну Бернацкую (род Бернацких, из польских шляхтичей, был внесен в одну из частей книги княжеских родов Смоленской губернии), когда ей было девятнадцать дней. В сущности, она была причиной этой смерти. Девочку заботливо вырастила бывшая бонна умершей матери, а затем экономка в мейновском доме — Сусанна Давыдовна Эмлер. Одинокий хозяин дома удержал экономку, порывавшуюся уехать домой в Швейцарию по вызову умиравшего отца, — потому что у нее на шее повисла в слезах его семилетняя дочь. Через годы, когда Мария вышла замуж, Александр Данилович и Сусанна Давыдовна обвенчались. В семье ее называли Тетя, или, по ее выговору — Тьо. Жили они в Неопалимовском переулке, не так и далеко. У деда был постоянный наемный выезд, два темных коня — Красавчик и Огурчик.

В Александре Даниловиче текла кровь смешанная: сербская и прибалтийско-немецкая. Дочь Мария жила в кругах романтических фантазий, и когда у нее появились свои дочери, Мария рассказывала им о разнесчастном короле Лире, о молодом Людовике Баварском — отшельнике, утонувшем в озере, том самом, где она, Мария, с отцом плавала на лодке и отдала воде, сняв с пальца, свое кольцо. Они с отцом путешествовали по Германии — по Рейну, она видела скалу Лорелеи. Девочки уже знали из песни Гейне о зловещей поющей красавице Лорелее, из-за которой гибли корабли. На Дунае Марии мерещилась Ундина. С поэмой Жуковского «Ундина» маленькая Марина не расставалась («…у меня до сих пор в каком-то определенном уединенном *ундинном* месте сердца — жар и жуть»). Заветной книгой Аси стала сказка «Рустем и Зораб» того же Жуковского, однако Ася вздыхала: «…нам нравилось то же самое, почти всегда!» Заметим частотность имени Жуковского и сравним с той же его важностью в жизни юного Блока. В конце позапрошлого века Жуковский оставался на авансцене отечественной литературы, особенно для детства и юношества.

Но детство Блока — из более раннего времени, с двенадцатилетней разницей, да и с другим городом рождения. Его Шахматово — ее Таруса. Их матери — музыка, пианизм,

одержимость мечтой о музыкальном будущем своих детей. Здесь же рядом и мать Бориса Пастернака, и мать Андрея Белого, беззаветные музыкантши. Да и сама среда — та же: профессорская, вузовская, близкая молодежным умонастроениям. Дети этих матерей все как один пошли по другому, параллельному пути, заряженные бурей материнских страстей, грозовым электричеством скрипичного ключа. Лишь провинциал Маяковский — Маринин сверстник — получил свои громы и молнии на видовой площадке Кавказа, вдалеке от Трехпрудного и Волхонки, Шопена и Чайковского.

Мать, сидя за ореховым столом, при свете зеленого фарфорового абажура читала девочкам, лежащим на ковре, книги у себя — в высокой комнате, где были большой книжный шкаф и книжные полки, где среди русских книг стояло много томиков немецких стихов, и нередко они там и засыпали, в маминой постели, под шубой. В доме, внизу, зимами бывало холодновато, на антресолях — жарко, дети, естественно, заболевали, но изо всех заразных болезней под родительский кров вошла разве что ветрянка. Начеку был доктор Ярхо, при всякой хвори оказывавшийся тут как тут. Став уже гимназисткой, Марина слегла с крупозным воспалением легких, перепугав всех в семье, но крайняя опасность миновала. Для себя мама читала много медицинской литературы, работала медсестрой в Иверской общине — обычное волонтерство дворянок тех времен.

Муся росла крупной, Ася получалась маленькой. Бывало, Ася обижалась на Мусю, на «властность и лукавство ее природы», особенно при дележе книжек, игрушек и вообще всего, что попадалось в руки или на глаза. Ася не отделяла Мусю от себя, они были неким единым двусоставным существом. Но Марина всегда помнила, что она родилась у матери вместо страстно ожидавшегося сына по имени Александр. На место явившейся Аси планировался Кирилл.

Марине было почти семь лет, когда скончался дед Мейн. Марине запомнился материнский траур: «…в полоску блузка того конца лета, когда следом за телеграммой: «Дедушка тихо скончался», — явилась и она сама, заплаканная и все же улыбающаяся, с первым словом ко мне: «Муся, тебя дедушка очень любил». Высокий, худой, желто-седой, он был сдержанно ласков с потомством и ввиду близящейся кончины приобрел в Тарусе дом с фруктовым и липовым садом, разделив накопленный капитал между женой и дочерью. Рак желудка уложил его в могилу шестидесяти трех лет от роду на Ваганьковском кладбище, рядом с первой женой. Вдова окружила

их могилы оградой, включив туда и место для себя. А покуда жива, поселилась в Тарусе — навсегда, на двадцать лет. Ее дом прозывался «Тьо».

Еще раньше, в год рождения Марины (1892), Иван Владимирович поблизости от Тарусы снял в долгосрочную аренду дачу «Песочная», барский дом, серый, дощатый, единственно уцелевший от некоего пропавшего имения, неподалеку от обиталища Тети. Ивана Владимировича впервые пригласила в Тарусу двоюродная сестра Елена Александровна, которая была замужем за тарусским земским врачом Иваном Зиновьевичем Добротворским. Тогда-то и родилась мысль о даче. Иван Владимирович в честь своих четверых детей посадил около дачи четыре ели, быстро растущие — именные: Лёра, Андрюша, Муся, Ася. Росли деревья и дети, трава и ягода, пели птицы, текла голубая Ока. Марина быстро научилась плавать. Она была крепенькой и ловкой, одна беда — ее укачивало и тошнило в тарантасе, под звон бубенчиков, по дороге на «Песочную».

Семья жила обособленно, в гостях бывали редко, но все-таки общались с местными людьми, среди которых выделялись необыкновенные женщины, назывались «Кирилловны», Маша и Аксинья — хлыстовки, их секта обреталась в ягодном лесу у реки. Из их рук Муся наедалась земляникой.

Там сестры открыли *для* себя бузину, Ахматова правильно угадала:

Темная, свежая ветвь бузины…
Это — привет от Марины.

(«Нас четверо»)

По Оке плыли плоты и пароходы. Было жарко, природа благорастворялась в людях, жужжали мухи, а Муся мучила рояль, или, точнее, он ее. «Все на воле: Андрюша с папой пошли купаться, мама с Асей «на пеньки», Валерия в Тарусу на почту, только кухарка одна стучит котлетным ножом — и я — по клавишам».

Иногда приезжали рано — в апреле — и оставались до осени. Постепенно образовался приятельский круг: художник Константин Некрасов, семья Виноградовых — Марина близко подружилась с их дочерью Ниной. Цветаевы наведывались и за Оку, в гости к большому и щедрому Василию Дмитриевичу Поленову, который устраивал живописные праздники и дарил им свои этюды.

Однажды Марина предложила гимназической подруге Соне

Юркевич поехать с ней к Тете. Соня увидела сухонькую старушку в белом чепчике с лентами и в длинном белом капоте с оборками и вышивками. По правилам дома они должны были возвращаться с прогулки в десять часов вечера. Тогда запирались все двери и Тетя ложилась в кровать, уверенная в том, что все правила, предписанные ею, неуклонно выполняются. Однако с этого часа и начиналась «настоящая» жизнь. Открывалось окно, и девчонки бежали на речку к лодкам. В светлые ночи гребли к лунной дорожке и плыли далеко-далеко, всматриваясь в потемневшие крутые берега Оки, заросшие густым кустарником. Становилось жутко от этих берегов, оврагов, казалось, что кто-то невидимый скрывается в них и вот-вот выйдет оттуда, темный и страшный. Ночь проводили в копнах сена, которые стояли на заливных лугах по берегам Оки. Забирались в копну, чтобы не было холодно. Луна заливала светом часть луга, за лугами темнели леса, с берегов Оки поднимался туман, иногда доносилась песнь соловья. Марина читала любимые строки Пушкина, Гёте и Гейне. Читала и свои стихи. Марина не уставала читать стихи.

Существует перекличка двух сестер. Там был конфликт, совершенно естественный, настоянный на разнице двух натур, вне зависимости от степени одаренности. Асю угнетала младшесть.

Марину вело чувство превосходства, замеченное ревнивой сестрой еще в детстве: «Но смутно мне открывалась особая стать Мусиного чувства, не моя! Жажда отчуждения ее радости от других, властная жадность встречать и любить всё — одной: ее зоркое знание, что это всё принадлежит одной ей, ей, ей, — больше, чем всем, ревность к тому, чтобы другой (особенно я, на нее похожая) любил бы деревья, луга — путь — весну — так же, как она. Тень враждебности падала от ее обладания — книгами, музыкой, природой — на тех (на меня), кто похоже чувствует. Движение оттолкнуть, заслонить, завладеть безраздельно, ни с кем не делить… быть единственной и первой — во всем!»

Когда поэт — женщина, жизнь поэта сильно усложняется. Вечную Женственность атакуют быт, элементарные вещи, безделушки, духи, а не туманы, обиход и, скажем, гардероб. На холме над Окой сейчас стоит памятник Марине Цветаевой. Она в очень длинном платье. В таком же платье она сидит напротив своего дома в Борисоглебском переулке. В гимназическую пору она носила «почти длинные платья». Откуда это платье? У нее бывали другие — праздничные, выходные, яркие — или юбки цыганского типа. Рост взрослой Марины — 163 см. Сохранилось платье длиной 120 см.

Что было первым сердечным увлечением Маруси? Или — кто? Ну наверняка не любование в четырехлетием возрасте родственником Сережей Иловайским, гимназистом. Дело было посерьезней, почти традиция — репетитор. Студент, конечно. Кстати, родом с Урала. Натаскивал в первых знаниях Андрюшу, которого не учили ни пению, ни игре на музыкальных инструментах. Имя репетитора, можно сказать, царское — Александр Павлович. В очерке «Дом у Старого Пимена» Марины Цветаевой (1933) сказано: «…свободомыслящий студент Гуляев, готовящий Андрюшу в приготовительный класс Седьмой гимназии, а сестру Лёру, под шумок, себе в невесты». Запомнился, однако.

Не красавец, скромного роста и зубоскал («хохочет и грохочет»), но белокур, с усами и бородкой. Ему она отправила таинственное письмо, вызвавшее его смех и правку ошибок — красным карандашом. Все всё узнали, были слезы в ее глазах, ссылка репетитора во флигель. «И зубоскал совсем не веселая, а страшная вещь».

Валерия Цветаева на склоне лет уверяла, что в детстве, войдя однажды в комнату, увидела Марию Александровну сидящей на коленях у репетитора и что мачеха постоянно изменяла мужу «вообще со всеми». Примем к сведению, но учтем: у Лёры с репетитором, кажется, все-таки что-то было, романтическое и незабытое.

Трудный рай трехпрудного детства, каким бы он ни был, кончился осенью 1902 года. У Марии Александровны обнаружилась чахотка. Гадали: откуда? Да, тяжело далось матери рождение Аси («у мамы тогда вся шея была в опухших желёзках»), но это не факт, лишь предположение, как и то, что Мария Александровна могла заразиться во время операции в Иверской общине, когда держала больного за отпиливаемую туберкулезную ногу.

Намеревались поехать на Кавказ, но отправились — в Италию: так вернее, там превосходная медицина. Были большие сборы, бесчисленные хлопоты. Иван Владимирович взял годичную командировку в Италию. Поехали почти всей семьей — кроме Андрюши, оставленного в Москве без его особых на то переживаний на руках Иловайских.

Мама, прощаясь с домом, сказала:

— Я уже больше не вернусь в этот дом, дети…

Проехали Варшаву, где на вокзале повидались с дядей Митей, братом отца, и его сыном Володей, увлекавшимся паровозами. Затем — великолепную Вену, альпийские горы и долины (осуществление заветного романса «Милые горы, мы

возвратимся»), Тироль — и достигли городка Нерви, под Генуей. Поселились в «Pension Russe» — «Русском пансионе» на уличке Каполунго (Capolungo), 32/34, где хозяином был немец Александр Егорович Мюллер. Его рыжий сын — сорвиголова Володя стал дружком девчонок. Италия окружила их небесно-певучим языком и невиданной растительностью — кипарисы, пальмы, агавы, кактусы, пинии, лавр и апельсиново-лимонный сад.

Он был синеглазый и рыжий
(Как порох во время игры!)
Лукавый и ласковый. Мы же
Две маленьких русых сестры.

(«На скалах»)

Бегали по скалам, грохотала изумрудная громада прибоя, небо было лиловым, от девчонок шли маленькие облака — рыжий дружок научил их курить. Муся быстрее всех усвоила много итальянских слов, вперемежку книжных и уличных. У нее была цепкая языковая память. Там она и дневник завела. У нее был бисерный кудрявый почерк.

Мама волновалась, заточенная в своей комнате под приглядом доктора Марджини. Окно было всегда открыто, горный воздух обладал целительной чистотой, целебной была и сыворотка доктора Маральяно, через месяц мама вышла из комнаты в табльдот — общую гостиную пансиона — и запросила пианино, которое и было поставлено у нее в комнате. Ее руки вновь полетели по клавишам, и было для кого играть.

Появился человек, тут же прозванный Тигром: изобретение Марины, себя окрестившей Овчаркой, Асю — Мышкой. Внешне и по обстоятельствам жизни это был герой, высокий брюнет с огромным бантом вместо галстуха и дерзким побегом с русской каторги за плечами. Владислав Александрович Кобылянский (Гольдберг), уроженец Польши, красавец и бунтарь, вскружил голову всей женской части цветаевской семьи — от Аси до Марии Александровны. Ловили каждое его слово, следили за каждым движением. Тигр не имел конкурентов, тем более что Иван Владимирович чуть не сразу по прибытии в Нерви сам себя командировал в другие районы Италии, хорошо ему знакомой и богатой для его строительно-научных интересов.

Новогоднюю ночь 1903 года встретили под пинией, заменившей елку. Десять лет девочке Марусе. В этом году с ее сердцем произошло нечто загадочное, пронзившее навсегда, о чем сказано в 1933-м:

Тридцатая годовщина
Союза — верней любви.

(«Стол»)

Союз с рабочим столом? Вряд ли только это. Что-то поверх стола и верней любви.

К той поре подъехали Сережа и Надя, дети деда Иловайского от второго брака, заболевшие чахоткой. Милые люди, горячо любимые. Шумно веселились, ели много сушеного винограда. Пахло жженой пинией. Пели революционные песни — ничего странного: Марина в черной клеенчатой тетрадке писала революционные стихи. Вольнодумие, ветер свободы, народолюбие и отрицание царя и самого Бога. В Москве Цветаевы ходили в университетскую церковь по традиции, идущей еще из седого талицкого прошлого. Мария Александровна была, по-видимому, религиозна, но как-то на свой лад.

Мария Александровна увлеклась безоглядно. Назревал распад семьи. Не было бы счастья, да несчастье помогло — Марина, в беготне с рыжим дружком по лестнице без перил, опасно упала — разбила голову в кровь. Мать ночь просидела у ее постели, закрывшись ото всех. Лицо Муси горело, как фонарь. Тигр стал неактуален. Видимо, по этой причине Тигр порывался на пари спрыгнуть с лодки в штормовое море, а мстительный Володя злорадно спел при нем в омнибусе «Боже, Царя храни!».

Приехала Тетя — Тьо. Мария Александровна засобиралась к мужу, в Рим, где с ним была Лёра. Намечались важные перемещения. Младших дочерей ожидала родина Тьо — Швейцария, а именно Лозанна. Школа-интернат. Скальным осколком они вырезали на грифельной пластине берега свои имена. Мама уехала, девочек заточили под надзор Тьо, не спускавшей с них глаз в черепаховых дедушкиных очках. Их готовили в швейцарскую школу по всем статьям, прежде всего со стороны поведения, этикета, благовоспитанности, манер. Море стало абстракцией, полоской сини. Из Рима привезли Лёру, заболевшую брюшным тифом. Из Швейцарии пришло приглашение. Ранней весной отправились на поезде в Лозанну.

Высокий шпиль католического собора и крутые — вместо плоских итальянских — крыши домов. Старые девы сестры Лаказ — мадемуазель Люсиль и мадемуазель Маргерит, ничем не похожие друг на дружку, — хозяйки пансиона в горах: серокаменного, укромного, с большим платаном в маленьком саду, на бульваре Граней, номер три. Комнатка на двоих, с двумя

тумбочками и кроватями, и три сестры, богатые армянки из Египта, в комнате напротив. Двадцать девушек, опекающих по старшинству девочек из дикой России, где остается их папа, а мама болеет в Италии. Девиз Швейцарии: «Un pour tous et tous pour un» — «Один за всех и все за одного». Это и девиз школы сестер Лаказ. Патронаж аббата — мосье л'аббэ (*«Monsieur l'Abbé,* француз убогой…»), посещение костела в субботу и воскресенье, торжественное звучание мессы, школьные предметы — древняя история, география, арифметика и бесчисленные времена французских глаголов. Почти полтора года пребывания в ауре милого французского говора, известного с раннего детства, а неподалеку и родовое гнездышко старенькой Тьо — Невшатель, рядышком Монтрё, Террите. Блеск Леманского озера. Спуск к озеру по старым узким уличкам, к набережной Уши. Почти полтора года.

Приезд мамы, ее родное лицо, ненасытные прогулки после уроков вокруг Лозанны, поклоны незнакомых встречных, сидение в ресторанчике на набережной Уши за стаканами гренадина или кофе, чаепитие с мамой у нее в маленькой съемной комнате — мама сама готовит русский чай на спиртовке.

Запомнились рассуждения мамы: жизнь идет полосами, быстро сменяющимися.

— А я, дети, вернусь в Италию…

Она уехала в Геную, а пансионарок повезли в сторону Монблана. Там, по слову Аси, — раскаленная синева. Холодно, кто в пальто, кто в вязаных кофточках. В прогулках с мамой на горных склонах были эдельвейсы, а здесь — жансианы и рододендроны. И высокогорная черника, густо пачкающая пальцы и лицо. Длинная вереница пансионарок по леднику, опасные тропы, особенно Мовэ Па — Дурная тропа, с кромешными пропастями, поглотившими некогда сорвавшихся путешественников. Ледник Ледяное море, одно название чего стоит. Хождение по замерзшим первобытным водам с альпийскими остроконечными палками в руках. Весело и страшно, и навсегда незабываемо.

Ослепительно.

По возвращении с Монблана Марину отвели к знаменитому окулисту Дю-Фуру. Первые очки, круглые, совиные. Собственно, Ася тоже получила такие увеличительные стекла, но носить их стала позже — с десяти лет.

А сейчас десять лет — Марине, скоро одиннадцать. Она втянулась в работу, а именно: писала для отца его немецкие письма. Отец языки знал отлично, но как самоучка и пиша и говоря переводил с русского. Кроме итальянского, который знал

как родной и на котором в годы молодости читал лекции в Болонском университете.

От отца из Москвы пришли гостинцы на Рождество — любимая пастила, мармелад, клюква в сахарной пудре. А в Лозанне — снег, почти Россия, на ферме Синьяль — каток, Леманское озеро блещет холодным серебром. Марина безупречно учится, ей все легко дается, беспрерывно читает по-французски — Расина, Корнеля, Гюго.

Но пора вспомнить и немецкий — весной 1904 года девочек ставят в известность: они отправляются в Германию. Приезжают папа из России, мама из Италии. Их путь лежит в Шварцвальд. За спиной остаются посещение мрачного Шильонского замка, душистый праздник нарциссов и волшебный фонарь, подобие будущего синематографа, показавший кумира Марины и мамы — Наполеона Бонапарта. Скоро, скоро ее героем станет Орленок, сын Императора, а волшебный фонарь осветит обложку второй книги стихов.

Но вот Германия, городок Лангаккерн, это Шварцвальд, горный массив, покрытый медвежьей шкурой густохвойного леса. *Schwarzwald,* собственно, «черный лес», по-нашему «чернолесье», или скорее «темный лес» русских сказок, но мама в длинной прогулке под тенистыми высокими елями и соснами Шварцвальда рассказала сказку немецкую — о разбойнике, который, повстречав в темном лесу мать с двумя дочерями, сказал, что он убьет дочерей, а мать сохранит для себя, но потом, уговоренный женщиной, решил так, что одну дочь он пощадит, но для этого надо зажечь две свечи, означающие девочек, и которая из свечей сгорит раньше, ту и убьет; по немой мольбе матери свечи сгорели одновременно; разбойник в смятении ушел прочь.

Они жили вчетвером — родители с дочками — в «Гостинице Ангела», «Gasthaus zum Engel», в крутокрышем деревянном доме, и девочкам казалось, что они тут живут давным-давно и все вокруг принадлежит им искони. В Лозанне они видели в продаже альбомы для стихов, а здесь на стенах висели картонки со стихами — о постояльцах гостиницы и происшествиях, здесь случившихся. Лес был из сказки Гримма. Головы кружил запах смолы.

Папа уехал в Москву. Его ждал Музей, «колоссальный младший брат» дочерей, девочек ждал пансион Бринк в городе Фрейбург. Мама будет жить рядом.

Пансион Бринк оказался для девочек темницей. Во главе угла — железный орднунг, за малейшее прегрешение наказание, равное чуть ли не каре небес. Пансион принадлежит сестрам Бринк — фрейлейн Паулин и фрейлейн Энни. Опять сестры, но не

такие человечные, как сестры Лаказ в Лозанне. Впрочем, старшая — Паулин — прикровенно добра.

Да и само многоэтажное здание — зарешеченное, хмурое. И жилье девочек — дортуары, две комнаты, высокие и большие. Дом стоит на улице Вааленштрассе, цейн (десять). Рядом крутая гора Шлоссберг, куда принудительно водят на ежедневную прогулку. Подъем в шесть с половиной утра, под яростный звон гремучего колокольчика. Восемь минут на глотание кружки почти кипящего молока (без блюдец!) и сухой белой корочки, затем занятия в классах, затем — «нумероу ахтцейн»: здесь, после обеда, делают уроки с четырех до семи. Через полчаса-час, покончив с уроками, приходится сидеть неподвижно, читать не разрешается.

Мама вытащила дочек из регламента сих предписаний, они ходили к ней в мансарду на Марienштрассе, цвайн (два), на три часа до ужина, пили русский чай, согревались единой шалью.

Пришло страшное сообщение — в Москве от чахотки умерли Надя и Сережа Иловайские. Им было двадцать и двадцать один год. Как нарочно, вскоре, получив простуду в карете при возвращении из театра, где мама пела в хоре, она заболела серьезно. Рецидив туберкулеза. Приехал папа. Мама почти не выходила на улицу. А тут — новое, сокрушительное несчастье. Пришла телеграмма: «Горит в Музее». Мария Александровна первым делом спросила у мужа:

— А застраховали вы ваше художественное имущество? Ничего подобного. Ни страховки, ни дворников и ночных сторожей при всех входах и кладовых у Музея не было. Похоже на поджог. Пять депеш о пожаре одна за другой прилетели к отцу Музея.

Иван Владимирович страдал, прикованный к болезни жены. Рассылал письма в Москву, Флоренцию, Лондон, Париж. Французские письма под его диктовку писала Марина. Ее грело участие в делах отца, да и знание языков обогащалось — у сестер Бринк она стала учить английский. Марина училась одновременно в двух классах: по некоторым предметам в четвертом, по другим — в седьмом, где старшие девушки приняли ее как равную.

Марии Александровне не становилось лучше, муж повез ее в санаторий в соседнем городке Санкт-Блазиен.

— Моя песня спета…

— Полно, Маня, полно, голубка…

Между тем новая хворь — свинка. Обеих девочек болезнь перевела из дортуара в школьный лазарет.

Единственное сохранившееся письмо Муси в ответ на

материнскую карточку:

> *<20 мая 1905>*
>
> Дорогая мама. Вчера получила твою милую славную карточку. Сердечное за нее спасибо! Как мы рады, что тебе лучше, дорогая, ну вот, видишь. Бог помог тебе. Даю тебе честное слово, дорогая мамочка, что я наверное знала, что — тебе будет лучше и видишь, я не ошиблась! Может быть мы все же вернемся в Россию! Как я рада, что тебе лучше, родная. Знаешь, мне купили платье (летнее). У меня только оно и есть для лета. Fr<aulein> Brink находит, что я должна иметь еще одно платье. Крепко целую! *Муся*[2]

В пансионе учили многому, в том числе вязанию. Это было для Марины невыносимо. Смешно, но потом, через годы, Мандельштам обличал поэта Цветаеву — в домашнем рукоделии.

Из озорства, чреватого некоторой прозорливостью, она связала нечто похожее на чертика — с рожками и хвостиком. Поднялся скандал. По коридорам пансиона пошел шорох: эти русские девчонки привнесли революционный дух. Дело шло к исключению. Дело замяли.

Любопытна почтовая карточка с видом на Санкт-Блазиен (лето 1905-го), адресованная А. А. Иловайской, второй жене Дмитрия Ивановича:

> Дорогая Александра Александровна
>
> Извините пожалуйста что мы так долго не писали, но последнее время мы ни о чем другом не могли думать, как о нашем освобождении из пансионской тюрьмы. Здесь в Sankt Blasien природа чудесная, темные горы, покрытые густым еловым лесом, водопады, земные долины! А воздух-то какой чудный весь пропитанный смолой. Мы весь день гуляем в лесу и вполне наслаждаемся нашей волюшкой. Да, после Insti<tu>te Brink St. Blasien просто рай. Тут есть две собаки и несколько кошек, которые живут с нами в большой дружбе. Ну а что Лёра и Оля (дочь Иловайских. — *И.* Ф.) поделывают в Крыму? Давно мы ничего о них не слышали. Кланяйтесь пожалуйста Дмитрию Ивановичу от меня, и Оле с Лёрой тоже, когда Вы им напишите. Крепко целует Вас Ваша *Маруся.*

Здесь же приписка Аси:

Дорогая Александра Александровна!

Как тут хорошо! Живем мы в «Gasthaus'e zum Felsenkeller». Вокруг везде горы, леса, луга. Мы так рады, что уехали из пансиона! Тут так свободно и хорошо! Останемся тут на 6 недель. Воздух чудной, и даже собака есть: «Тиге». Вообще нам здесь очень, очень нравится. Как Вы поживаете? Как Оля? Мы почти каждый день ездим в «Tuskulum»[3], это чудное место, там скалы и чудесный сильный водопад. До свидание. Крепко целую. Ваша *Ася.*

P. S. Мы будем читать маме вслух, книги которые Вы нам подарили. Такие они чудные.

Гуляли с отцом за городом. Однажды, во время такой прогулки, Марина пошла топиться в озере Obere Alb — оттого что Ася ее «не понимала». Правда, перед этим девочки пили пиво.

Итак, на дворе — лето 1905 года. Уже отгремели Кровавое воскресенье и сдача Порт-Артура. Отъезд в Россию стал неизбежностью. Три года вдали от родины!

В конце прошлого года вышла книга Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Книгоиздательство «Гриф» завершило эту книгу рекламой на обложке журнала «Ребус», то есть объявлением о продолжающейся подписке на него. Среди прочего там было сказано: ««Ребус» единственный в России журнал, который главное место отводит обзору и изучению таинственных и загадочных явлений: **телепатии, ясновидения, передачи мыслей, раздвоения личности, одержания, сомнамбулизма, животного магнетизма, медиумизма, гипнотизма, спиритизма** (выделено в оригинале. — *И. Ф.)* и т. п. сверхнормальных фактов и явлений в области психизма».

Такое это было время, и Гришка Распутин в смазных сапогах расхаживал по царскому дворцу.

«Пушкинский бульвар тянется вдоль речки Учан-Су и мало посещается ввиду неприятного содержания его». Так сказано в путеводителе «Ялта в кармане» (1904). Именно за этой речкой начиналось Заречье, занимавшее ялтинский запад вплоть до горы Могаби. Там находилась дача доктора Ф. Д. Вебера «Квисисана» (по-итальянски «Здесь излечиваются»), где не совсем удачно остановились Цветаевы. Иван Владимирович всегда брал на себя хлопоты по отысканию места жительства. «Неприятное содержание» вещь довольно загадочная и, видимо, означает антисанитарию. Но эту же формулировку применительно к даче Вебера можно расшифровать как все тот же «революционный

дух»: молодая дочь доктора Вера увлекалась взрывными идеями. Курортный рай не избежал тренда эпохи.

Перебрались на холм Дарсан в центре Ялты. Там, на Дарсановской улице, стоял дом Сергея Яковлевича Елпатьевского, доктора и писателя, друга Чехова. Теперь это улица Леси Украинки, 12. «Мы начали строить почти одновременно. Он, Антон Павлович, дразнил меня, называя мой дом, который стоял высоко на холме Дарсан над Ялтой и откуда открывался великолепный, пожалуй, единственный вид на почти всю Ялту, на море и горы, «Вологодской губернией», а я называл его место в Аутке (греческо-татарское село на реке Учан-Су. — *И. Ф.)* «дырой». Не Чехов, но добросовестный очеркист, он писал о Сибири, где отбыл по молодости лет ссылку, и о благословенном Крыме, исторически столь неоднозначном. Он приходился двоюродным братом, по матери Елене Александровне Добротворской, той самой, из Тарусы. Мария Александровна читала его вещи в сборниках издательства «Знание». Собственно, сам он тогда отсутствовал, но второй этаж арендовала Е. Ф. Лужина, сдававшая жилплощадь. Две комнаты сняли Цветаевы. Иван Владимирович уехал в Москву, его девочки остались в объятиях посуровевшего по осени климата. Но им нравилось все — кипарисово-тополиная флора и соседство, состоявшее из трех человек и целой собачьей колонии, населявшей голую гору за домом. Девчонки подкармливали бездомных, худых и голодных, но миролюбивых псов.

Тогда там еще не было канатной дороги, но вид на море открывался восхитительный и напоминал Италию. Если стоять лицом к морю, справа вдалеке поднебесно высится гора Ай-Петри, слева вблизи — холм Поликур. Чуть ниже дома Елпатьевского — женская гимназия, та самая, куда готовились поступать в четвертый и второй классы Маруся и Ася. Трехэтажное великолепное здание из крупных кубов керченского камня. Во дворе гимназии поныне стоит роскошный гималайский кедр, семиствольный (один ствол сейчас спилен) и головокружительно высокий. В «Путеводителе по Крыму» А. Бесчинского (1908) сказано, и мы через яти и еры воспроизведем колорит времени:

> При женской гимназіи пансіона нѣтъ, но родители, желающіе помѣстить въ Ялтѣ своихъ слабыхъ здоровьемъ, но имѣющихъ возможность продолжать прохожденіе курса дѣтей, могутъ хорошо помѣстить ихъ въ частныхъ домахъ. Справки можно получать у начальницы гимназіи Варвары Константиновны

> Харкѣевичъ. Въ частности для воспитанницъ женской гимназіи есть пансіонъ г-жи Е. Л. Карбоньеръ, находящійся вблизи гимназіи. За 50 руб. въ мѣсяцъ дѣти получаютъ всѣ необходимыя удобства и заботливое попеченіе. Пансіонъ утвержденъ г. попечителемъ учебнаго округа.

Описывая в «Воспоминаниях» Дарсан, Анастасия Цветаева в числе его достопримечательностей называет дворец бухарского эмира. Ошибка. Эта ансамблевая постройка мавританского стиля была сооружена архитектором Н. Г. Тарасовым как раз в Заречье, причем позже (1911). А гимназия построена главным ялтинским зодчим — Н. П. Красновым в 1893 году. До 1904 года включительно, то есть до конца жизни, в ее попечительский совет входил Антон Павлович Чехов. Там учились многие. Лиза Пиленко, дочь директора Никитского ботанического сада, — в частности. Одновременно с пребыванием в Ялте Маруси и Аси. Однако будущая Мать Мария — поэт Елизавета Кузьмина-Караваева — никогда не пересекалась с Мариной Цветаевой. Ни в Ялте, ни в Коктебеле, ни в Москве, ни даже в Париже. Как это могло произойти?..

Еще до Ялты, транзитом, они видели Севастополь, глубоко их взволновавший. В гостинице свирепствовали клопы, то же самое, помнится, было с Чеховым во Владивостоке и на Сахалине, но это не съедало патриотического восторга девочек. Марина декламировала, Ася повторяла следом наизусть графиню Ростопчину:

Что Данциг, Сарагосса, Троя
Пред Севастополем родным?
Нет битв страшней, нет жарче боя…
Дыша в огне, вы гибли стоя
Под славным знаменем своим!

Пред Севастопольской осадой
Что слава всех осад других?
Когда пловучия армады
Таких несметных сил громады
Водили на врагов своих?

Двенадцать раз луна менялась,
Луна всходила в небесах, —
А все осада продолжалась,
И поле смерти расширялось
В облитых кровию стенах.

24 февраля

(«Черноморским морякам»)

Крымская война была поражением героическим, японская — позорным. В елпатьевском доме за столом общей столовой собирались не только для еды. Говорили о том же — о войне, о потере Сахалина и Курил, о дурном царе и революции. Мужчины — средних лет «хохол» Прокофий Васильевич и молодой миловидный Зиновий Грацианович — подспудно сражаясь за сердце юной бойкой соседки, смешливой армянки, речи вели гражданственные. У них были близкие позиции, первый был несколько левее, а между ними держалась Мария Александровна, не чуждая склонности к обновлениям в стране, но без крайностей. Она одобряла идеологию кадетов. Ася спросила у нее:

— Мама, что такое — социализм?

— Когда дворник придет у тебя играть ногами на рояле, тогда это — социализм!

Поле смерти действительно расширялось. В Ялте помнили художника Федора Васильева и поэта Семена Надсона, ужасно рано сожженных чахоткой. Сгорел Чехов, еще раньше ушел Левитан (аневризм сердца). Кстати, или скорее некстати, в 1892 году, когда родилась Марина, Левитана как некрещеного еврея выставили из Москвы — выселению в 24 часа подверглись все евреи[4], и некоторое время он жил, помимо прочих мест, на цветаевской Владимирщине, написав классическую «Владимирку». Но сердце посадил вполне по-русски — рано, в работе и страстях.

Страшно тесен мир, все связаны со всеми. В начале 2010-х годов на лето я снимал флигель, относящийся к дому 1/2 по улице Нагорной — угол улицы Толстого. Там, под тремя могучими кипарисами во дворе, живал и писал Левитан. Рядом — высокая розовая колокольня собора Святого Иоанна Златоуста и церковное кафе «У княжны». А несколько выше по горе — старое кладбище, где лежит двадцатитрехлетний Ф. Васильев, и улица Бассейная, где умер двадцатичетырехлетний Надсон. Отсюда Ялта видна как на ладони, в том числе Дарсан, и игрушечные вагончики канатки ползут по воздуху непосредственно к елпатьевскому дому.

Может быть, нелишне сказать и о Лесе Украинке, которая вместе с мужем, оба туберкулезники, в 1907–1908 годах жила на Дарсановской, 6. Ну, и в контексте женской поэзии непременно может появиться имя юной Ники Турбиной, учившейся в стенах

бывшей женской гимназии.

Если где-то в раю или в аду есть место по имени Ялта, там встречаются многие жители и гости Ялты земной.

Марина пишет той же А. А. Иловайской 8 января 1906 года:

> Ваша чудная книга[5] доставила нам огромное удовольствие. Я как раз учу историю и «Царь Иоанн Грозный» пришелся мне как нельзя более кстати. Живем мы в Ялте ничего себе, учимся, ожидаем письма из Москвы всегда с большим нетерпением. Мы готовимся в мае держать экзамен; Ася во второй, а я в четвертый класс и должны много учиться.
>
> Я должна пройти программу первых трех классов в эту зиму, Ася проходит программу первого.
>
> Погода у нас очень хорошая, так тепло, что ходим в сад только в платьях. Но все же как ни хороша ялтинская погода и природа, сама она, Ялта, препротивная и мы только и думаем, как бы поскорей в Москву. Ведь мы уже больше трех лет не видали Андрюши, а Лёры больше двух. И вообще, в гостях хорошо, а дома куда лучше!

Царский Манифест 17 октября 1905 года, даровавший России несколько сомнительных свобод — на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. За критику царского жеста, кстати, закрыли газету Иловайского «Кремль». Бунт и казнь лейтенанта Шмидта. Волна арестов, демонстрации. Бушует норд-ост, ночью разбив окно в комнате мамы. В другую ночь, в марте 1906-го, — опять зов мамы: девочки, вбежав к ней, видят в ее руках белую чашку, наполовину полную темной жидкостью. Кровохарканье. Впервые за четыре весны. Доктор Ножников, седенький старичок, лечащий пол-Ялты, в растерянности — каверн в легких нет, а болезнь прогрессирует. На щеках мамы яркие пятна чахотки. Постоянно высокая температура.

Маме тридцать семь лет, она изучает испанский язык, лежа читает испанские книги, а также сборники издательства «Знание»: Андреева, Чирикова, Телешова, Серафимовича, Чехова. Кашель ее по ночам не стихает. А в минувшую зиму появились новые жильцы этажом выше — Пешковы: прежняя жена Максима Горького Екатерина Павловна с сыном Максом и дочкой Катей. У детей — новые дружбы, у взрослых — старые разговоры. О революции, разумеется. Ниже этажом живут Фоссы, муж и жена с маленькой дочкой. Тоже революционеры. Мама тревожится за Марусю, бегающую к тем и другим, читающую им стихи — свои

стихи, нравящиеся.

Мама делает отстраняющий жест рукой, не подпускает к своему дыханию.

Повторяет:

— Вырастете, и я вас не увижу… Какие-то вы будете?

Весна, девочки в сопровождении бездомных собак бегают с Дарсана к морю, все вместе прыгают у прибоя, а надвигаются экзамены, медленно, но упорно. Горбунья учительница Варвара Алексеевна знакомит их с начальницей гимназии, полной, строгой и приветливой. Два предмета сданы на «пятерки». Ялта в садах, вся — цветущий сад, а надо бежать в аптеку за маминым лекарствами. Отец пишет — скоро приедет и увезет всех в Тарусу.

Все экзамены сданы. Всё. Приехал Иван Владимирович. Увидел в жене перемены, не замечаемые дочерями. Вызвал Тьо, чтобы помогла с переездом. Мария Александровна, при юристе, составила завещание. Путь лежал посуху, через Байдарские ворота. Четверка лошадей, коляска, сверкающая даль позади — для Марии Александровны навсегда.

> Последнее — смертное. Июнь 1906 года. До Москвы не доехали, остановились на станции «Тарусская». Всю дорогу из Ялты в Тарусу мать переносили. («Села пассажирским, а доеду товарным», — шутила она.) На руках же посадили в тарантас. Но в дом она себя внести не дала. Встала и, отклонив поддержку, сама прошла мимо замерших нас эти несколько шагов с крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная после нескольких месяцев горизонтали, в бежевой дорожной пелерине, которую пелериной заказала, чтобы не мерить рукавов.
>
> — Ну посмотрим, куда я еще гожусь? — усмехаясь и явно — себе сказала она. Она села. Все стояли. И вот из-под отвычных уже рук — но мне еще не хочется называть вещи, это еще моя тайна с нею…
>
> Это была ее последняя игра. Последние ее слова, в той, свежего соснового тесу, затемненной тем самым жасмином пристройке, были:
>
> — Мне жалко только музыки и солнца[6].

Она умерла 5 июля 1906 года около четырех часов дня во сне. Это было на даче «Песочная». Перед сном ей дали шампанского. Перед этим она позвала на последнее прощание детей — кроме Лёры. Отца, стоящего в стороне, душили рыдания.

Последние слова матери Ася запомнила по-другому: «Мне жаль музыки и солнца». По Асе, после этих слов мать сказала еще и о том, что надо жить по правде. Марина же вложила в уста

матери настоящий стих, пятистопный ямб:

Мне жалко только музыки и солнца.

Вот разница сестер. Одна из них — поэт. И делает поэтами — других.

А впрочем… Внезапно и у Анастасии Цветаевой в ее прозе возникла строка, словно продолжающая стих Марины:

Как жалко расставаться с шалашом!

Хорошо, но другой регистр. Кроме того, когда-то Асе навсегда запомнилась строка некоего поэта из Феодосии — Василия Дембовецкого:

Как страшно расставаться навсегда!

Расставались друг с другом. С Лёрой. С братом Андреем. Марина не была с ним близка никогда, а когда вернулась из четырехлетнего отсутствия, обнаружила высокого красавца гимназиста, застенчивого и закрытого, гордилась им, восхищалась тем, что он самоуком овладел балалайкой и мандолиной, а в десятых годах их пути и вовсе разошлись, тем более что, получив после смерти отца (1913) в свое распоряжение дом в Трехпрудном, он продал его (1915) и зажил своей жизнью, далекой от ее интересов, хотя и сам пописывал стихи. Получив университетский диплом юриста, юристом никогда не служил, овладел — опять-таки самоуком — познаниями в живописи и в итоге стал оценщиком-экспертом зарубежной живописи, закупаемой государством за рубежом. Умер он рано, в 1933-м, от туберкулеза. Узнав о его смерти, взволнованная Марина написала «Мать и музыка».

Когда говоришь «Трехпрудный переулок», не видя там ни одного пруда, а на соседних Патриарших прудах обнаруживаешь лишь один пруд, становится ясно, что топонимы увязли в прошлом и в их несоответствии действительности таится немалая история и наверняка столь же немалая поэзия. Эти пруды — и тот, что есть, и те, которых не осталось, — лучатся в прямом смысле нездешним светом, хотя нет ничего более здешнего, местного, старинного и корневого. Свет поэзии? Можно и так. Булгаковская чертовщина «Мастера и Маргариты», начавшаяся

здесь, — плод фантазийного ума без узды, а реальность в том, что ребенок, родившийся и возросший на несуществующих прудах, об-речей на определенное двоемирие, и второй мир — мир поэзии — перехлестывает первую действительность, последнее слово оставив за собой.

Слово «Патриарх» оттиснуто на фасаде нового дома, выросшего на углу Малой Бронной и Ермолаевского переулка в 2002-м, а на его крыше двенадцать белых статуй, явно не апостолы, перемешаны с призрачной конструкцией башни Татлина (она деревянная и, говорят, уже подгнивает). Но вдоль пруда на Патриарших в сторону Трехпрудного идет девочка с рюкзачком за плечами, возвращается из гимназии, ждет ее обед с родителями, короткий отдых и опять — школьные уроки, гаммы, ганоны и галопы на пианино, до упора, до самого вечера, ей не до телевизора, да и нет его, телевизора, потому что XX век лишь начат и зовут девочку Марина.

Нет уже гамм, ганонов и галопов. Она давно их освоила, отыграла, научилась высокой игре и бросила ее вместе со всеми сонатами Бетховена. Нет и родителей за столом. С Иваном Владимировичем случился удар во время обеда у Добротворских в Тарусе, его перевезли в Москву и положили в университетскую клинику нервных болезней профессора В. К. Рота.

Это было в сентябре 1906 года, когда Марина, по собственной воле, жила уже в интернате гимназии фон Дервиз, в Гороховском переулке. Двухэтажное здание, построенное в 1879 году, с большими классами, широкими, светлыми коридорами, спальнями и громадным двусветным залом. Окна зала выходили в большой сад с вековыми деревьями. Прогулки в этом саду были любимым развлечением пансионерок.

Дом в Трехпрудном по закону наследования собственности принадлежал Лёре и Андрюше, Маруся и Ася были, что называется, не при делах — прибегаю к жаргону, потому как близились времена глобального бандитизма, всемирного кровопускания, и когда через почти двадцать лет (в 1934-м) Марина сравнила свой дом с госпиталем или казармой, она была совершенно точна: это — было. А в 1906-м началось тихое (само)разорение дома. Появилась новая домоправительница Евгения Николаевна, тихая старушка, стремящаяся в монастырь. Через некоторое время ее стремление осуществилось.

Лёра, став старшей женщиной в доме, по-цветаевски пренебрегала устоями вещественного миропорядка, охваченная социальными порывами поколения. Отец назвал ее «жертвой переживаний эпохи». Во флигеле собирались единомышленники. Клубилось безразмерное «Долой!». Отец хворал и работал,

работал и хворал. Осиротели все. Ася с двоюродной сестрой Людмилой Добротворской забились в угол дома, никому не нужные. Марина стала гостьей дома, лишь иногда бывая в нем по субботам — воскресеньям, и то отсиживалась на чердаке. Четыре года отсутствия и смерть матери — водораздел, рубеж и рубец на всем течении семейного бытия.

Над турецким диваном в кабинете Ивана Владимировича появилось фотоизображение жены в гробу.

Стал часто наведываться первый тесть — Дмитрий Иванович Иловайский, в громадной шубе. Узнав от девочек, что в школах нынче историю учат не по его учебникам, — нахмурился. Он жил под знаком былых жестоких потерь: первая жена, двое мальчиков, дочь; сын и дочь от второго брака… От второго брака у него было трое детей. Потеряв Надю и Сережу, он жил уныло, но по-своему боевито. Через много лет большевики, обвинив русского патриота Иловайского в прогерманских симпатиях, около трех недель продержали старичину в тюрьме и выпустили после хлопот Марины, имеющей знакомства во властной среде.

Маринин сарказм («Дом у старого Пимена»): «Последняя же дочь, Оля, для Иловайского — хуже, чем умерла: бежала к человеку еврейского происхождения в Сибирь, где с ним и обвенчалась». Надо сказать, что во всей родне Цветаевых — Иловайских — Мейнов он, Дмитрий Иванович, был не единственным, и принципиальным, юдофобом. Брат отца Дмитрий Владимирович «был одним из самых видных черносотенцев — Союз Русского Народа — очень добрый человек — иначе как жид не говорил. У него я, девочкой, встречала весь цвет черной сотни». А в матери Марина солидарно отмечает как раз «Страсть к еврейству. Один против всех. Heroica».

Дядя Митя приходил в Трехпрудный, но пребывал где-то далеко, во временах Василия Шуйского, о котором тогда писал. Историческая наука с недоумением смотрела на новую историю Отечества, разворачивающуюся на глазах.

Марина днем и ночью пишет стихи и в процессе писания пьет рябиновую настойку, за которой в соседнюю колониальную лавочку бегает дворник Лукьян. Пустую бутылку девушка бросает в форточку, на дорожку у самого крыльца в дом. Лукьян аккуратно бутылки эти убирает.

Отец вызвал из Ялты горбунью Варвару Алексеевну. Та приехала, но ненадолго. Помыкавшись по холодным углам дома, отстрадав бессонницей в бывшей девичьей на первом этаже, поняла, что делать ей здесь нечего. Ее с облегчением отправили назад, в ту Ялту, которой не стало.

В шестнадцатилетнем возрасте Марину охватила страсть — иначе не скажешь — страсть к «Орленку» («L'Aiglon») Эдмона Ростана. Она приступила к переводу этой поэтической драмы, в стихах, с рифмами, со всеми приметами стиха. Собирала все по Наполеону — книги, портреты, гравюры. Боготворила обоих — и великого императора, и его несчастного сына. Дело дошло до домашнего скандала — Иван Владимирович, обнаружив в комнатке Марины киот, где Богоматерь заставлена картинкой с Наполеоном, глядящим на горящую Москву, потребовал убрать это безобразие, Марина возмутилась, зачем-то схватив со стола тяжелый подсвечник, — отец сдался. Но этого мало — страшным ударом для юной переводчицы стала новость: «Орленок» уже переведен Татьяной Щепкиной-Куперник.

А в России ждали Сару Бернар. Она приехала, и на ее спектакле «L'Aiglon» Марина Цветаева предприняла попытку самоубийства. Револьвер не выстрелил. Осечка. Об этом она невнятно-лаконично сказала Асе, тотчас после события приехав в Тарусу, в дом Тьо. Похоже на игру воображения.

Два портрета Марины, написанных намного позже ее тогдашними подругами — Валей Генерозовой и Софьей Юркевич, — дают разных людей.

Портрет первый: «Очки, которые она никогда не снимала (она была очень близорука), довольно угрюмое лицо, постоянная углубленность в себя, медленная походка, сутулящаяся фигура делали ее более взрослой, чем она была на самом деле. Марина ни с кем особенно не общалась и, казалось, ни на кого из девочек не обращала внимания. <…> Среди девочек она держала себя обычно деланно развязной, порой резкой и грубоватой, и никто не мог подозревать, что под этой маской скрывается застенчивый человек».

Портрет второй: «В 1906 учебном году внимание всех гимназисток привлекла «новенькая» пансионерка, очень живая, экспансивная девочка с пытливым взглядом серых глаз и насмешливой улыбкой тонких губ. Причесана под мальчика, с челкой, закрывающей высокий лоб. Смотрела на всех дерзко, вызывающе, не только на старших по классу, но и на учителей и классных дам».

Так «медленная походка, сутулящаяся фигура» — или «очень живая, экспансивная»? Как говорят в таких случаях: обе правы. Тем более что само поведение Марины написано сходно. Об отношениях с Софьей мы уже сообщили выше, говоря о их совместном пребывании на Оке. С Валей Генерозовой Марина сошлась, по-видимому, еще ближе. Валентина Перегудова (Генерозова) расскажет:

Встречи и разговоры наши происходили обычно в дортуаре, неизменно на моей кровати, после того как всегда дежурившая «ночная дама» укладывалась спать, а начальница гимназии, завершив свой обычный, обязательный для нее обход, удалялась. Марина пробиралась ко мне бесшумно, и разговаривали мы тихо, чтобы не разбудить соседок по кроватям. <…>

Каким-то образом уцелели две дорогие мне открытки. Одну из них я получила в адрес гимназии, будучи в 8-м (выпускном) классе, после моего посещения Марины у нее дома в Трехпрудном переулке. <…>

Через день после этого посещения Марины я получила от нее письмо:

«Дорогая Валенька! Мне сегодня было с Вами хорошо, как во сне. Никогда не думала, что встречусь с Вами при таких обстоятельствах. Так ясно вспомнилось мне милое прошлое. Я люблю Вас по-прежнему, Валенька, больше всех, глубже. Никогда я не уйду от Вас. Что мне сказать Вам? Слишком много могу сказать. Будь я средневековым рыцарем, я бы ради Вашей улыбки на смерть пошла. Вам теперь очень грустно. Как жаль, что я не могу быть с Вами. Милая Кисенька моя, думаю, что вскоре напишу Вам длинное письмо. Если будете слишком грустить — напишите мне, я Вас пойму. Помните, что я Вас очень люблю. Ваша МЦ.

Перечитала сегодня Ваши письма. У меня они все. Стихи пришлю. Кисенька милая».

Эта встреча была в начале 1909 года. Стихи Марина действительно мне прислала…

Влюбление в людей, мгновенное и в немногих случаях надолго. Это свойство Марины существовало с детства и до конца. Как и обращение на «Вы» почти ко всем, даже членам семьи. Чуть не все ее чувства начинались с восхищения. Написав повесть (или рассказ) под названием «Четвертые» (или «Четверо», или даже «О четырех звездах приготовительного класса») — сочинение это в гимназии ходило по рукам, но до нас не дошло, — она вывела гимназисток с прозрачными прототипами, своевольно преобразив знакомых барышень: мне захотелось сделать вас такой! С людьми Марина сходилась быстро, но очень скоро почти всегда возникал некий конфликт, отношения затруднялись, и, скажем, вместо себя с обещанным визитом она отправляла Асю.

От фон Дервиз Марина перешла в гимназию А. С. Алферовой,

о которой предпочитала не распространяться. Разве что — в контексте разговора о деде Иловайском («Дом у старого Пимена»):

> «В гимназии учишься?» — «Да». — «По какому учебнику?» — «По Виноградову». (Вариант: Випперу.) Недовольное: «Гмм…» Но Иловайский мне на экзаменах послужил, и не раз. Однажды, раскрыв его учебник, я попала глазами на следующее, внизу страницы, булавочным шрифтом, примечание: «Митридат в Понтийских болотах потерял семь слонов и один глаз». Глаз — понравился. Потерянный, а — остался! Утверждаю, что этот глаз — художествен! Ибо что же все художество, как не нахожденье потерянных вещей, не увековечение — утрат?
>
> Стала читать дальше, — и раньше, и после, и древнюю, и среднюю, и новую, и вскоре убедилась, что всё — глаз, тогда как неизбывная «борьба классов» наших Потоцких (в гимназии В. В. Потоцкой училась Ася. — *И,* Ф.), Алферовских и т. д. либеральных гимназий — совсем без глаз, без лиц, только кучи народа — и все дерутся. Что тут живые лица, живые цари и царицы — и не только цари: и монахи, и пройдохи, и разбойники!.. — «Вы отлично подготовлены. По каким источникам вы готовились?» — «По Иловайскому». Либеральный педагог, ушам не веря: — «Как? Но ведь его учебники совершенно устарели! (Пауза, наполненная всяческими размышлениями.) Во всяком случае, вы прекрасно осведомлены. И, несмотря на некоторую односторонность освещения, я вам ставлю…» — «Пять», — мысленно подсказываю я. Эту шутку я повторяла в каждой гимназии, куда поступала, а поступала я постоянно. Так, столь ненавистный стольким школьным поколениям «Иловайский» — источник не одной моей, школьницы либеральных времен, пятерки.

Личного у Цветаевой здесь не больше, чем у Маяковского в его поэме «Люблю» (1922):

> *Мутят Иловайских больные вопросы:*
> *— Была ль рыжа борода Барбароссы? —*
> *Пускай!*
> *Не копаюсь в пропыленном вздоре я —*
> *любая в Москве мне известна история!*

Относительно «свободомыслия» как причины отчисления Марины из гимназии — доказательств нет. Были слухи — надерзила директору. Причиной могли быть своенравие, вызов и эпатаж. Толстовское «против течения». Пришла ведь она — уже в брюхоненковской гимназии — крашенной в соломенный цвет, к волосам была прикреплена голубая бархатная лента, и, произведя соответствующее впечатление, вскоре обрилась наголо, нахлобучив черный чепец. Ее подруга тех лет Таня Астапова полагала, что соломенный цвет с голубой лентой был реакцией на книгу Андрея Белого «Золото в лазури». На самом деле Марина по оплошке пережгла волосы перекисью водорода.

Здесь мы имеем возможность ознакомиться с третьим портретом Марины — от Тани Астаповой: «Из ее внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный, «жемчужный» цвет лица, взгляд близоруких глаз с золотистым отблеском сквозь прищуренные ресницы. Короткие русые волосы мягко ложатся вокруг головы и округлых щек. Но, пожалуй, самым характерным для нее были движения, походка — легкая, неслышная. Она как-то внезапно, вдруг появится перед вами, скажет несколько слов и снова исчезнет».

Прищуренные ресницы? Значит, она не всегда носила очки? Марину предельно не устраивала собственная наружность. Очки отбросила, а несколько позже недолго носила пенсне. Волосы подкоротила под пажа. Надо было соответствовать образу из некоего вечернего альбома. Закладка косы вокруг головы не отвечала образу.

Марина манкировала регулярностью посещения гимназии, позволяла себе многодневные пропуски занятий, а на уроках занималась своими делами, читала или писала что-то постороннее, склонившись над тесной партой — последней, в седьмом ряду. Однажды учитель литературы Ю. А. Веселовский, по воспоминанию Тани, «принес в класс статью Писарева о Пушкине, и одна из учениц читала вслух «издевательскую» критику на письмо Татьяны. То и дело раздавались взрывы смеха. Большое оживление в классе заставило Цветаеву поднять голову и прислушаться. Некоторое время она слушала молча, без тени улыбки, в раскрывшихся глазах было удивление. «Что это?» — наконец спросила она. «Это Писарев, Писарев», — с разных сторон зашептали ее ближайшие соседки. «Боже мой!» — Цветаева возмущенно и пренебрежительно пожала плечами и снова погрузилась в чтение».

А ведь Юрий Веселовский, сын крупного филолога Александра Николаевича Веселовского, был известный поэт, критик и переводчик: перевел со шведского бестселлеры того

времени — исторические драмы Августа Стриндберга и роман Гейерстама «Власть женщины». Правда, вел уроки он скучно.

В шестом классе, в группе гимназисток, Марина на пасхальные каникулы поехала в Крым. Погода была по-весеннему неровной, чаще ветреной и прохладной. В севастопольском гостиничном номере Марина распахнула окно настежь и, пока все мерзли и возмущались, широкими шагами расхаживала по комнате. Рбвней в смысле поведения ей была отважная красотка Джамгарова, на краю отвесных скал прыгающая по скользким камням, чем и вызвала восхищение Марины и протест педагога: «Госпожа Джамгарова! Мы верим, что вы смелы, но просим прекратить это опасное занятие!»

До Ялты шли морем. Многих укачало. Марина бодро вышагивала по палубе, лишь порой подбегая к борту корабля под действием морской болезни.

Таня Астапова вспоминает: «В Ялте повеяло теплом. Каждый день мы совершали экскурсии то на линейке, то пешком. Розовые облака цветущего миндаля на яркой синеве неба показались нам волшебной сказкой. Но погода все еще не установилась. Во время нашей поездки на Ай-Петри вдруг повалили густые хлопья снега. Но никогда я не видела, чтобы Цветаева зябла и куталась, как остальные. Она предпочитала ездить рядом с возницей, и я помню ее фигуру на козлах с развевающимися волосами, легко одетую, с бусами вокруг шеи. Она часто покупала ожерелья из всевозможных ракушек, разноцветных камушков. Бывало, перебирая их пальцами, прислушивается к их шелесту, скажет с улыбкой: «Люблю эти гадюльки» — потом нацепит на себя. И они к ней шли».

Марина и Ася провели весну 1907 года в Тарусе. За 1907 год сохранилась лишь рождественская открытка из Москвы с изображением сельского пейзажа, адресованная Добротворским. Зато в 1908-м случился первый эпистолярный роман Марины — с Петром Юркевичем, братом Софьи. Ей нравился и старший брат — Сережа, но писала она Петру, по домашнему прозвищу Понтик.

Первое письмо ему датировано 21 июля, днем отъезда Марины из Орловки, где она гостила. Орловка — имение Юркевичей в Чернском уезде Тульской губернии — находилась неподалеку от тургеневских и толстовских мест, принадлежала матери Сергея, Петра и Софьи, Александре Николаевне. Орловка славилась открытостью дома, гостей привлекали музыка, молодое веселье, верховая езда.

Это короткое письмо открывается стихотворением «На 18-е июля» (довольно лихо зарифмованным):

Когда твердишь: «Жизнь — скука, надо с ней
Кончать, спасаясь от тоски»,
Нет ничего светлей и радостней
Пожатья дружеской руки.

Через четыре дня из Тарусы она пишет:

> …Вы вот вчера удивились, что и у меня бывает тоска. Мне в первую минуту захотелось все обратить в шутку — не люблю я, когда роются в моей душе. А теперь скажу: да, бывает, всегда есть. От нее я бегу к людям, к книгам, даже к выпивке, из-за нее завожу новые знакомства. <…>
>
> Иногда, очень часто даже, совсем хочется уйти из жизни — ведь все то же самое. Единственно ради чего стоит жить — революция. Именно возможность близкой революции удерживает меня от самоубийства. <…> Поглядите на окружающих… ну скажите, неужели это люди?
>
> Проповедь маленьких дел у одних, — саниновщина у других.
>
> Где же красота, геройство, подвиг? Куда девались герои? <…>
>
> Как странно все, что делается: сталкиваются люди случайно, обмениваются на ходу мыслями, иногда самыми заветными настроениями и расходятся все-таки чужие и далекие.

Культ «мелких дел» возник в период кризиса народничества: в середине 1880-х народник Я. В. Абрамов выступил в газете «Неделя» с проповедью «теории мелких дел». Ну а роман «Санин» Михаила Арцыбашева, напечатанный в журнале «Современный мир» (1907. № 1–9), завоевал впечатлительные читательские массы.

В письме Петру Юркевичу 23 июля — упоминание имени Лидии Александровны Тамбурер. Очень важная фигура в жизни Марины. Дракона, Дракконочка, Драконочка — дружеское прозвище цветаевского происхождения. На двадцать лет старше Марины, урожденная Гаврино, она окончила Институт благородных девиц, с 1899 года занималась зубоврачебным делом. В 1908-м ушла из семьи, порвав с мужем и матерью, и поселилась на Поварской, 10, кв. 6. С Тамбурер связаны ранние стихотворения Марины «Последнее слово», «Эпитафия», «Сереже», «Лучший союз», «Жажда». В очерке «Отец и его музей» (1936)

Марина Цветаева говорит о ней: «Это — наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери <…>…полуукраинка, полунеаполитанка — княжеской крови и романтической души».

Но вернемся к переписке с Петром. Уже через неделю, 28 июля, из Тарусы идет послание вполне щедрое по чувствам:

> Откровенность за откровенность, Понтик. Хотите знать, какое впечатление осталось от Вашего письма?[7]
>
> Оно всецело выразилось в тех нескольких словах, которые вырвались у меня невольно:
>
> — «Какой чистый, какой смелый!» —
>
> — «Кто? — спросила сидевшая тут же Ася и многозначительно прибавила, — да мне вовсе не интересно знать. Кто бы то ни был — все равно разочаруешься!» —
>
> — «Не беспокойся, этого не будет!» — сказала я.
>
> — «Давай пари держать, что через месяц, много 1 1/2 ты придешь ко мне и скажешь: «А знаешь, Ася, это не то, совсем не то». —
>
> — «Пари держать не хочу, все равно проиграешь ты. Знаешь, повесь меня, если это не будет так!» —
>
> — «Ладно!» — Ася подошла к стене и нарисовала виселицу с висящей мной.
>
> — «Я тебе дюжину примеров приведу, — продолжала моя дорогая сестра, — больше дюжины, считая последние два года!» —
>
> Действительно, пришлось нехотя признаться в том, что каждое «очарование» влекло за собой неминуемое «разочарование».
>
> А сколько их было!..

Внезапный поворот переписки, свойственный Мариниому нраву, не позднее 31 июля 1908 года: «Забудьте эпизод нашего знакомства и не берите на себя труд мне отвечать. М. Цветаева».

Впрочем, скоро они поладили. Марина кается 4 августа:

> Отношусь к Вам как к славному, хорошему товарищу и как товарища прошу прощения за все. Прежде чем написать это я пережила много скверных минут и долго боролась со своим чертовским самолюбием, которому никто до сих пор не наносил таких чувствительных

ударов как Вы. <…>

Не знаю, как выразить Вам все мое раскаяние, что обидела такого милого, сердечного человека, как Вы, и притом так дрянно, с намеками, чисто по-женски.

Переписка практически прекращалась, отношения вяло угасали.

Таруса, 13-го августа 1908 г.

Как часто люди расходятся из-за мелочей. Я рада, что мы с Вами снова в мире, мне не хотелось расходиться — с Вами окончательно, потому что Вы — славный. Только и мне, молчать, не желая Вас обидеть, о многом — не желая быть обиженной. Я все-таки себе удивляюсь, что первая подошла к Вам. Я очень злопамятная и никогда никому не прощала обиды (не говоря уже об извинении перед лицом меня обидевшим).

<…> Учу немного свою химию, много — алгебру, читаю. Прочла «Подростка» Достоевского. Читали ли Вы эту вещь? Напишите — тогда можно будет поговорить о ней.

До «Подростка» Марина Достоевского не читала. В эмиграции признавалась в письме Юрию Иваску, что Достоевский ей «в жизни как-то не понадобился».

Сохранился черновик лишь одного письма Петра Юркевича Марине:

Марина, Вы с Вашим самолюбием пошли на риск первого признания, для меня совершенно неожиданного, возможность которого не приходила мне и в голову. Поэтому отвечать искренне и просто на Ваш ребром поставленный вопрос, если бы Вы знали, как мне трудно. Что я Вам отвечу? Что я Вас не люблю? Это будет неверно. Чем же я жил эти два месяца, как не Вами, не Вашими письмами, не известиями о Вас? Но и сказать: да, Марина, люблю… Не думаю, что имел бы на это право. Люблю как милую, славную девушку, словесный и письменный обмен мыслями с которой как бы возвышает мою душу, дает духовную пищу уму и чувству. Если бы я чувствовал, что люблю сильно, глубоко и страстно, я бы Вам сказал: люблю, люблю любовью, не знающей преград, границ и препятствий, ты мое счастье, моя радость, жизнь мою превратишь в царство любви. Но чувствую: сказал бы сейчас этой фразой, а не делом, и в

скором времени сплоховал бы каким-нибудь позорным образом. Вот Вам мой ответ правдивый, честный и искренний (но не страстный).

Любящий Вас, преклоняющийся перед Вашей сложной, почти гениальной натурой и от души желающий Вам возможного счастья на земле.

Ваш П. Ю.

Пожалуй, не было бы смысла так обильно цитировать девичье-юношескую переписку, кабы в ней, как в капле воды, не отразилась вся будущая эпистолярная эпопея Цветаевой с огромным количеством действующих лиц ее жизни. Многие прошли, как тени, и остались бы тенями, не зацепи их своей поэтской десницей Марина Цветаева.

Удивительно столь раннее обретение окончательных черт характера и стиля отношений. Это ведь говорит не кто-то другой, а именно она, Марина Цветаева, точно такая же во все эпохи своей жизни (соединенные отрывки из двух сентябрьских писем): «Все дни, когда от Вас не было писем, и эти последние, московские дни мне было отчаянно грустно. А теперь я несколько дней совершенно о Вас не вспоминаю. А герцога Рейхштадтского (Орленка, сына Наполеона Бонапарта. — *И. Ф.),* которого я люблю больше всех и всего на свете, я не только не забываю ни на минуту, но даже часто чувствую желание умереть, чтобы встретиться с ним. <…> Не подумайте, Петя, что я забыла о Вас вчера, но Эллис довольно капризен и, пожалуй, не зная о Вас от меня, стал бы ехидничать или вообще выкинул бы что-нибудь. <…> Умереть за… русскую конституцию. Ха-ха-ха! Да это звучит великолепно. На кой она мне черт, конституция, когда мне хочется Прометеева огня».

Вот и появилось имя Эллис — псевдоним Льва Львовича Кобылинского. Это уже знак приобщения Марины к жизни литературной. Да и слова про конституцию — похоже на очевидный отсыл к Блоку:

А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

(«Поэты», 1908)

Смущает одно. Блоковские «Поэты» впервые будут опубликованы в театральном журнале юмористического склада «Кривое зеркало» в следующем, 1909 году (№ 5). Марина могла

слышать это стихотворение в устном исполнении от кого-то из друзей или поклонников Блока. Если это не так — каково же совпадение, почти цитата.

Глава вторая

Отец не может избыть муки потери и свой отчет в Комитете Музея (1908) посвящает «Памяти Марьи Александровны Цветаевой и Александра Даниловича Мейна, многолетних сотрудников по Музею». Дочери втайне от него и друг от друга познакомились с отчетом — в рукописи, найденной на столе распахнутого кабинета. Он писал:

> Редким совершенством владевшая также и практически четырьмя иностранными языками, превосходная переводчица лучших беллетристов Италии, Германии, Франции, отличная пианистка и большая любительница палитры, она горячо отдалась делу созидания нашего просветительного учреждения.
>
> Не один раз она ездила в художественные центры Западной Европы, принимая живое участие и в разработке требований для нового Музея, и в собирании памятников искусств для наших коллекций. Область классической скульптуры она знала, как, может быть, немногие женщины в нашем отечестве: она вела в течение целого ряда лет дневники и записи по музеям, особенно увлекал ее Альбертикум, знаменитый музей Дрездена. Здесь она нарисовала и первый план будущего Московского музея.
>
> Она ездила на Урал для ознакомления с производящимися там у нас ломками белого мрамора. Когда осенью того же года внезапно ее поразил неизлечимый недуг, то и больная, в Италии, в Германии и на Южном берегу Крыма, она до самой преждевременной кончины (5 июля 1906 г.) не переставала думать об успехах нашего Музея. И одной из ее предсмертных печалей была горечь сознания невозможности увидеть свою Москву, свой дом и Музей.
>
> Делая предсмертные распоряжения, Марья Александровна завещала значительную долю своего состояния в вечный капитал Музея изящных искусств для составления из процентов при нем отделения библиотеки имени ее отца. Об этой любви ее многих лет к нашему делу, любви большой и искренней, но скрывающейся от других и потому мало кому ведомой, доложить ныне Комитету я счел сердечным долгом.

Это был лирический плач, по тем временам уместный в деловом докладе. Подобным образом Иван Владимирович Цветаев предварил I том своего «Учебного атласа античного ваяния» (1890) обращением к первой жене Варваре: «Тебе, мой почивший друг, я посвящаю эту книгу, начатую в Твоем присутствии и с Твоего одобрения…», и старик Иловайский посвятил VI том своей капитальной «Истории России» памяти «угасшего сына своего и друга Сергея Дмитриевича».

Приведя дочерей на Ваганьковское кладбище, на могилы жены и тестя, отец попросил их положить и ему в свой срок черную гранитную плиту, подобную тем, что лежат на этих могилах.

У отца начались крупные неприятности. В Румянцевском музее выкрали гравюрные листы, да и много — 300 листов. Министр народного просвещения А. Н. Шварц, давний недоброжелатель Цветаева с еще университетских времен, когда они были однокурсниками-филологами, затеял дурную игру с дальним прицелом — отстранить Ивана Владимировича от директорского места. Насылались ревизии, игра шла долго, с переменным успехом, Шварц попер-ву не имел успеха, но в конце концов довел свой замысел до конца — Иван Владимирович будет уволен, хуже того — без пенсии (1910). Это при том, что вора — промотавшегося купца, «потомственного гражданина» М. Кознова — установили.

А пока суд да дело, Ивана Владимировича поглощала работа по устроению Музея на Волхонке. Он отправился в Каир, с заездом в другие столицы, в том числе Афины. Эта поездка оказалась более всего результативной для… Марины. Она запросилась в Париж, и отец отправил ее туда, на летние курсы по французской литературе *Alliance Francase.* Парижские месяцы отлились в стихи и письма.

Склоняются низко цветущие ветки,
Фонтана в бассейне лепечут струи,
В тенистых аллеях все детки, все детки…
О детки в траве, почему не мои?

Как будто на каждой головке коронка
От взоров, детей стерегущих, любя.
И матери каждой, что гладит ребенка,
Мне хочется крикнуть: «Весь мир у тебя!»

Как бабочки девочек платьица пестры,
Здесь ссора, там хохот, там сборы домой…

И шепчутся мамы, как нежные сестры: —
«Подумайте, сын мой»… — «Да что вы! А мой».

Я женщин люблю, что в бою не робели,
Умевших и шпагу держать, и копье, —
Но знаю, что только в плену колыбели
Обычное — женское — счастье мое!

(«В Люксембургском саду»)

Откуда эти мысли — «О детки в траве, почему не мои?» Не рано ли? В Париже, помимо тени Наполеона, ее преследует память о семье, о матери. Она пишет Эллису 22 июня 1909-го:

> Милый Лев Львович! У меня сегодня под подушкой были Aiglon («Орленок» Э. Ростана. — *И. Ф.)* и Ваши письма, а сны — о Наполеоне — и о маме. Этот сон о маме я и хочу Вам рассказать. Мы встретились с ней на одной из шумных улиц Парижа. Я шла с Асей. Мама была как всегда, как за год до смерти — немножко бледная, с слишком темными глазами, улыбающаяся. Я так ясно теперь помню ее лицо! Стали говорить. Я так рада была встретить ее именно в Париже, где особенно грустно быть всегда одной. — «О мама! — говорила я, — когда я смотрю на Елисейские поля, мне так грустно, так грустно». И рукой как будто загораживаюсь от солнца, а на самом деле не хотела, чтобы Ася увидела мои слезы. Потом я стала упрашивать ее познакомиться с Лидией Александровной — «Больше всех на свете, мама, я люблю тебя, Лидию Александровну и Эллиса <…> — («А Асю? — мелькнуло у меня в голове. — Нет,
>
> Асю не нужно!») «Да, у Лидии Александровны ведь кажется воспаление слепой кишки», — сказала мама. — «Какая ты, мама, красивая! — в восторге говорила я, — как жаль, что я не на тебя похожа, а на…» хотела сказать «папу», но побоялась, что мама обидится, и докончила: «неизвестно кого! Я так горжусь тобой». — «Ну вот, — засмеялась мама, — я-то красивая! Особенно с заострившимся носом!» Тут только я вспомнила, что мама умерла, но нисколько не испугалась. — «Мама сделай так, чтобы мы встретились с тобой на улице, хоть на минутку, ну мама же!» — «Этого нельзя, — грустно ответила она, — но если иногда увидишь что-нибудь хорошее, странное на улице или дома, — помни, что это

я или от меня!» Тут она исчезла.

Девичьи переживания? Травма навсегда. В конце лета Марина вернулась в Россию и тотчас — в Тарусу. Там еще были безоблачные дни, Марине исполнилось семнадцать, но, уезжая оттуда, семья еще не знала, что Тарусы у них больше не будет. Коварные происки земского начальника Петрова увенчались отъемом дачи.

Мама была права: жизнь идет полосами. Ивану Владимировичу посреди неурядиц очень повезло: востоковед В. С. Голенищев, испытывая материальные затруднения, выбрал Волхонку, а не заграницу, для продажи оригинальных шедевров своей древнеегипетской коллекции. Музей вышел за рамки слепков и копий. В это же время Ивану Владимировичу предложили квартиру непосредственно в Музее на Волхонке, просторную, многокомнатную, но он отказался — слишком дорог ему был Трехпрудный, где выросли его дети и прошла лучшая часть жизни.

Еще продолжалась интрига Шварца, а тут и новый удар. Оттуда, откуда никто не ждал. В «Русских ведомостях» от 5 августа 1909 года появилось сообщение: «На днях в читальном зале Румянцевского и Публичного музеев обнаружено злоупотребление с книгами одного из постоянных посетителей библиотеки некоего литератора Л. Коб<ылин>ского, писавшего в декадентских журналах под псевдонимом «Эллис». Этот посетитель из выдаваемых ему книг для чтения вырезывал страницы текстов и брал себе. Проделка была замечена одним из служителей…»

Марина пишет Эллису: «Если с вами что-нибудь сделают, я застрелюсь!»

Это был друг — и общая влюбленность — сестер Цветаевых. Домашнее прозвище — Чародей. Он занимает сестер головокружительными разговорами и веселит искусством перевоплощений. Ася запомнила:

«Взмах трости, ее ожесточенный стук о тротуар, он летел, как на крыльях, в чем-то немыслимо-меховом на голове (зимой, в морозы). Но шла весна, кончились меховые шапки, и Эллис снова был в своем классическом котелке. Войдя, легким движением руки его иначе надев, вздернув бородку: «Брюсов!»

Брюсов был его кумир. Нежно любил он и Андрея Белого. Любил? Перевоплощался в них, едва назвав. Скрестив на груди руки, взглянет, надменно и жестко, что-то сделает неуловимое с лицом — «Валерий Яковлевич» тех лет, когда он писал: «желал бы я не быть Валерий Брюсов!» На время чтения этой строки Эллис

был им, за него, как Наполеон за уснувшего на миг часового. Но начнет рассказывать о Борисе Николаевиче — и уже сами собой взлетают в стороны руки, обняв воздух, глаза стали светлы и рассеянны, и уже летит к нам из передней в залу не Эллис — Андрей Белый!»

Было у него и еще одно свойство: насмешлив, неблагодарен до самого мозга костей, надменен к тому, у кого ел, повелителен к тому, от кого зависел.

Кобылинский рифмовался с Кобылянским (Тигром). Лев Кобылинский — Эллис — ввел Марину в литературные круги Москвы. Они познакомились зимой 1907/1908 года в доме Лидии Александровны Тамбурер. Книгу прозы Бодлера «Мое обнаженное Сердце» в его переводах (М.: Дилетант, 1907) он надписал: «Дорогой Марине Ивановне Цветаевой от горячего поклонника ее чуткой, глубокой и поэтической души. *Эллис».*

Ему — ее поэма «Чародей»:

О Эллис! — Прелесть, юность, свежесть,
Невинный и волшебный вздор!
Плач ангела! — Зубовный скрежет!
Святой танцор,

Без думы о насущном хлебе
Живущий — чем и как — Бог весть!
Не знаю, есть ли Бог на небе! —
Но, если есть —

Уже сейчас, на этом свете,
Все до единого грехи
Тебе отпущены за эти
Мои стихи.

О Эллис! — Рыцарь без измены!
Сын голубейшей из отчизн!
С тобою раздвигались стены
В иную жизнь…

— Где б ни сомкнулись наши веки
В безлюдии каких пустынь —
Ты — наш и мы — твои. Во веки
Веков. Аминь.

Эллис неловко, пугано оправдывается перед общественностью: дескать, перепутал музейные книги с

собственными, принесенными в музейный зал для занятий. От наказания ему удалось уйти, но на отношениях с Цветаевыми осталось пятно, переступить которое было предельно трудно или невозможно, и вообще пришлось уехать — с 1911-го он сопровождал Рудольфа Штейнера в лекционном турне, затем обратился в католичество, жил в Италии и Швейцарии: в Базеле, с 1919-го и до конца жизни — в Локарно.

Но 2 декабря 1910 года Марина пишет Эллису письмо, в котором, кроме прочего, касается «Антологии», единственного коллективного сборника, вышедшего в издательстве «Мусагет» (июнь 1911). Она просит его о некоторых поправках в стихотворении «Мальчик с розой» среди вещей, данных ему для «Антологии» и не вошедших в ее первую книжку «Вечерний альбом». В итоге было опубликовано два стихотворения: «Девочка-смерть» и «На бульваре». «Мальчик с розой» в «Антологию» не попал. Позже эти стихи вошли в раздел «Деточки» второго ее сборника «Волшебный фонарь».

Лето 1910 года Марина и Ася — поначалу с ними был и брат Андрей — провели под Дрезденом, в местечке Белый Олень (Weisser Hirsch). Сикстинскую Мадонну в Дрездене они рассматривали вместе с отцом. Затем отец, как всегда, уехал по своим делам. Жили сестры в доме пастора Бахмана, который бесконечно играл на рояле, осознавая себя великим композитором. Он сочинял симфонию, в которую никто не верил. Фрау Бахман сердечно опекала сирот. Марина отправляет отцу открытку с видом Дрездена 16/29 июня 1910-го: «Милый папа. Пишу тебе из Дрездена куда мы с Асей приехали сегодня купить некоторые вещи. «Weisser Hirsch» лежит в котловине. Горы в другом роде, чем шварцвальдские — менее приветливые. Целые дни льет дождь. У пастора кроме нас несколько пансионеров-мальчиков».

Прекрасный Белый Олень оказался для них местом малоинтересным, глубоко мещански-добропорядочным и значительного следа в творчестве Марины не оставил.

Тринадцатого июня Ивана Владимировича заочно уволили с поста директора Румянцевского музея. Иван Владимирович уединяется в сельской местности, создает и затем выпускает две работы: «Московский публичный и Румянцевский музеи. Спорные вопросы. Опыт самозащиты» (М.; Дрезден, 1910) и «Дело бывших министра народного просвещения тайного советника А. Н. Шварца и директора Румянцевского музея тайного советника И. В. Цветаева — заслуженных профессоров Московского университета» (Лейпциг, 1911). Сенат оправдал его.

Куда более волнующей — для Марины — была осень

1910 года. Прежде всего — в Трехпрудном появился Макс, Максимилиан Александрович Волошин, сам по себе чудо из чудес. Его хотелось гладить по густоволосой голове, и он им это позволил. Сама Марина была острижена наголо (повредив волосы перекисью водорода) и в чепце. Волошин попросил снять чепец и сказал: «Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверное, это часто говорят?» Эта сценка отозвалась в ее письме ему 5 января 1911 года: «Один мой знакомый семинарист (Вы чуть-чуть знаете его) шлет Вам привет и просит Вас извинить его неумение вести себя по-взрослому во время разговора <…> Простите бедному семинаристу!»

Он заливал хозяек дома обильнейшим обаянием и читал свои стихи без ограничений. Он рассказал им о Черубине де Габриак и Аделаиде Герцык. Обе сестры были званы к нему в Коктебель.

Наступил конец цветаевской Тарусы, Добротворские и Тьо не могли заменить «Песочной». Отец старился, сбрил бороду. Его пробовали женить на женщине заботливой и богатой — Лидии Александровне Фальковской, затея расстроилась. Музей на Волхонке и дети — все, что у него оставалось. Девических тайн дочерей он не знал, делал для них что мог, но они и на похороны Льва Толстого сбежали, пренебрегнув его запретом. Откуда было ему знать о новых героях Маруси — Казанове да Калиостро? О Манон Леско?

Ему ничего не говорило такое посвящение «Вечернего альбома»: «Посвящаю эту книгу блестящей памяти Марии Башкирцевой», хотя работы покойной художницы уже были в Музее Александра III (Русском музее). Ее, рано угасшую от чахотки в Париже (1884), в детстве домашние называли *Муся*. Дневником, заведенным ею сызмала, зачитывались в Европе и России. Ее желание славы сочеталось у нее с пиететом к титулам — она влюблялась смолоду в таких знатных людей, как граф Александр де Лардерель, граф Пьетро Антонели, Поль Гранье де Кассаньяк, Одифре и прочие именитые лица. Эту же черту отмечает в Марине Майя Кудашева (вдова Ромена Роллана), рассказавшая на склоне лет: в князя Сергея Волконского Марина влюбилась по этой причине. Кудашева первым браком была замужем за князем, и когда она забеременела, Марина спрашивала: интересно, как чувствует себя человек, у которого в животе князь? Впрочем, Майя могла наделить Марину собственной отметиной — вот уж кто был охотницей до захвата знаменитостей.

Школьные годы затянулись. Незадолго до выхода «Вечернего альбома» Марина впроброс оповестила одноклассниц:

— Скоро я вас всех удивлю!

В октябре 1910-го удивила. Лучший подарок себе на восемнадцатилетие.

«Вечерний альбом» был написан, можно сказать, за школьной партой и отнесен в типографию А. И. Мамонтова в Леонтьевском переулке, дом 5. Это рядышком с гимназией. Отец оплатил тираж в 500 экземпляров. К деньгам она относилась более чем легко, предупреждая, например, новых подружек:

— Деньги взаймы я беру, но не имею привычки их возвращать.

«Вечерний альбом» был вообще ее первой публикацией. Дебют не одним-двумя стишками в периодике, как это принято в приличном литературном обществе, а вот так — сразу — сборником, да еще и объемистым.

Книжка Марины могла утонуть. В начале XX века в русскую поэзию нахлынули Анна Ахматова, Людмила Вилькина, Аделаида Герцык, Наталья Грушко, Елена Гуро, Софья Дубнова, Вера Инбер, Любовь Копылова, Наталья Крандиевская, Елизавета Кузьмина-Караваева, Мирра Лохвицкая, Надежда Львова, Мария Моравская, Надежда Павлович, Софья Парнок, Елизавета Полонская, Анна Радлова, Вера Рудич, Маргарита Сабашникова, Поликсена Соловьева, Любовь Столица, Нина Хабиас, Ада Чумаченко, Мариэтта Шагинян, Мария Шкапская — имена даны по алфавиту, в таком списке Цветаева оказалась бы почти в конце. В начале XXI века издана антология «Сто одна поэтесса Серебряного века», и это не предел.

«Вечерний альбом» Марины Цветаевой первым заметил Максимилиан Волошин. Его статья «Женская поэзия» была напечатана в «Утре России» 11 декабря 1910 года. Да, это была статья, а не проходной продукт газетчины — рецензия.

> За последнее десятилетие мы являемся зрителями загадочного и пышного расцвета женской поэзии во Франции. В то время как творческий дух поэзии как бы отхлынул в том поколении, которое пришло после символистов, целая плеяда женщин-поэтов с ярко выраженными индивидуальностями вступила в литературу. Эта женская поэзия отличается и разнообразием содержания, и сильно выказанным темпераментом, и четкой искренностью.
>
> В некоторых отношениях эта женская лирика интереснее мужской. Она менее обременена идеями, но более глубока, менее стыдлива (стыдливость ведь это

исключительно мужское чувство). Женщина глубже и подробнее чувствует самое себя, чем мужчина, и это сказывается в ее поэзии.

В русской поэзии мы можем наблюдать почти параллельное течение. Самые последние годы, которые были сравнительно бедны появлением новых поэтов, принесли нам стихи Любовь Столицы, Аделаиды Герцык, Маргариты Сабашниковой, про которые Бальмонт писал, что они — эти стихи — единственное, что есть интересного в русской поэзии. В «Аполлоне» в этот год были напечатаны два цикла стихотворений такой интересной поэтессы, как Черубина де Габриак, и только что вышла книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом», о которой мы и хотим поговорить.

Женщины-поэты предыдущего поколения, Зинаида Гиппиус, Поликсена Соловьева (Allegro), как бы скрывали свою женственность и предпочитали в стихах мужской костюм, и писали про себя в мужском роде. Поэтессы же последних лет, подобно поэтессам французским, говорят от своего женского имени и про свое интимное, женское.

Но ни у одной из них эта женская, эта девичья интимность не достигала такой наивности и искренности, как у Марины Цветаевой. Это очень юная и неопытная книга — «Вечерний альбом». Многие стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности. Если же прибавить, что ее автор владеет не только стихом, но и четкой внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять текущий миг, то это укажет, какую документальную важность представляет эта книга, принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передать наблюдение и чувство. <…>

«Вечерний альбом» это — прекрасная и непосредственная книга, исполненная истинно женским обаянием. Рядом с сивиллинскими шепотами, шорохами степных трав и древними заплатками (опечатка; верно: заплачками. — *И. Ф.)* Аделаиды Герцык, рядом с настроенно-католическими молитвами, демоническими и кощунственными признаниями изысканной и фантастичной и капризной Черубины де Габриак, рядом с северно-русской менадой, Любовью Столицей, Марина

Цветаева дает новый, еще не рассказанный облик женственности.

Но что же может ожидать этот двойной и параллельный расцвет женской лирики в России и во Франции? И там, и у нас он наступил после творческой полосы, посвященной разработке, уточнению и освобождению стиха и поэтической речи.

Женщина сама не творит языка, и поэтому в те эпохи, когда идет творчество элементов речи, она безмолвствует. Но когда язык создан, она может выразить на нем и найти слова для оттенков менее уловимых, чем способен на это мужчина. Женская лирика глубже. Но она менее индивидуальна. Это гораздо больше лирика рода, а не лирика личности. Значительность поэзии названных мною поэтесс придает то, что каждая из них говорит не только за самое себя, но и за великое множество женщин, каждая является голосом одного из подводных течений, одухотворяющих стихию женского, голосом женственной глубины. Этой силы подводных глубин не было у поэтесс предшествующего поколения, примкнувших к мужской, аналитической лирике, например, у Зинаиды Гиппиус.

Упомянув Гиппиус, Волошин заглянул уж слишком далеко назад и вряд ли подумал или знал о том, что первая книжка — рассказ «Злосчастная» — у Гиппиус вышла в том году, когда Марина появилась на свет Божий: в 1892-м. Какое-то странное совпадение.

Заметим, что даже дело рук своих — призрачную Черубину де Габриак, созданную по его наущению Елизаветой Дмитриевой, — он оставляет позади Марины. Марина послала свои стихи Дмитриевой, и та, написав ответ, запросила у Макса адрес Марины.

Подобно Сергею Маковскому, редактору «Аполлона», слепо, на расстоянии влюбившемуся в Черубину, Макс ринулся в новую поэтическую любовь. Он познакомился с Мариной очно, и его не постигло разочарование.

Эти годы — от *после матери* до «Вечернего альбома» — у Марины прошли тихо, сокровенно. Она ушла в себя, во внутреннюю шахту, углубляясь в еще самой себе неведомые пласты. Наружу — в первую книгу — были извлечены накопления всей предыдущей жизни, столь короткой, на вид несложной. Что было-то? Детство да любовь, в общем-то тоже пока детская. Ее мир еще гармоничен, полон ожидания и надежды.

Инстинкт катастрофы сработает позже.

Да, Волошин был первооткрывателем-удочерителем Марины Цветаевой. Но вот что удивительно. Восемнадцатилетняя гимназистка из Трехпрудного переулка, на отцовый счет издавшая книжку, вдруг — ни с того ни с сего — попала в поле зрения серьезной литкритики. Имена? Вслед за Волошиным — Валерий Брюсов, Николай Гумилёв, Мариэтта Шагинян — не последние имена русской литературы, хотя на тот момент последние двое тоже лишь начинали. Особенных восторгов критика не источала, но факт появления нового поэта был зафиксирован и согрет благожелательством.

Самый маститый из них, Брюсов был и самым осторожным. В своем отзыве он соединил Цветаеву с… Ильей Эренбургом. Это первое пересечение их — Цветаевой и Брюсова, Цветаевой и Эренбурга. Брюсов по обыкновению что-то предугадал наперед. Что-что, а мертворожденное от живого он отличал четко (Новые сборники стихов // Русская мысль [Москва]. 1911. № 2):

> …Довольно резкую противоположность И. Эренбургу представляет Марина Цветаева. Эренбург постоянно вращается в условном мире, созданном им самим, в мире рыцарей, капелланов, трубадуров, турниров; охотнее говорит не о тех чувствах, которые действительно пережил, но о тех, которые ему хотелось бы пережить. Стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого. Не боясь вводить в поэзию повседневность, она берет непосредственно черты жизни, и это придает ее стихам жуткую интимность. Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние. Однако эта непосредственность, привлекательная в более удачных пьесах, переходит на многих страницах толстого сборника в какую-то «домашность». Получаются уже не поэтические создания (плохие или хорошие, другой вопрос), но просто страницы личного дневника и притом страницы довольно пресные. Последнее объясняется молодостью автора, который несколько раз указывает на свой возраст.
>
> *…покуда*
> *Вся жизнь как книга для меня, —*

> говорит в одном месте Марина Цветаева; в другом она свой стих определяет эпитетом «невзрослый»; еще где-то прямо говорит о своих «восемнадцати годах». Эти признания обезоруживают критику. Но, если в следующих книгах г-жи Цветаевой вновь появятся те же ее любимые герои — мама, Володя, Сережа, маленькая Аня (так у Брюсова. — *И. Ф.),* маленькая Валенька, — и те же любимые места действия — темная гостиная, растаявший каток, столовая четыре раза в день, оживленный Арбат и т. п., мы будем надеяться, что они станут синтетическими образами, символами общечеловеческого, а не просто беглыми портретами родных и знакомых и воспоминаниями о своей квартире. Мы будем также ждать, что поэт найдет в своей душе чувства более острые, чем те милые пустяки, которые занимают так много места в «Вечернем альбоме», и мысли более нужные, чем повторение старой истины: «надменность фарисея ненавистна». Несомненно талантливая, Марина Цветаева может дать нам настоящую поэзию интимной жизни и может, при той легкости, с какой она, как кажется, пишет стихи, растратить все свое дарование на ненужные, хотя бы и изящные безделушки.

Марина летом того же 1911 года написала набросочное эссе — скорее этюд — «Волшебство в стихах Брюсова». Никакого гешефтного «ты мне, я тебе». Оно не было напечатано. Перед этим, 15 марта, она отправила письмо Брюсову о Ростане: «Почему Вы не любите Rostand? Неужели и Вы видите в нем только «блестящего фразера», неужели и от Вас ускользает его бесконечное благородство, его любовь к подвигу и чистоте?» Вопрос риторический, для завязывания отношений, но письмо — без обратного адреса.

Брюсов ответил по адресу Румянцевского музея — вежливо, не более того: поклонниц у него было хоть отбавляй. Но юная Марина в ту пору, что бы она ни говорила потом, любила стихи Брюсова, волшебство которых для нее состояло, по-видимому, прежде всего в том, что они отвечали ее собственным переживаниям. Но были и другие точки сближения. Так, Брюсов записал в своем дневнике 16 мая 1892 года (за полгода до рождения Марины): «Ничто так не воскрешает меня, как дневник Башкирцевой. Она — это я сам со всеми своими мыслями, убеждениями и мечтами».

Был и еще один рецензент — Иван Владимирович.

Позднейшее утверждение Марины: «Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу» — выдумка.

Отправив книжку дочери директору Пушкинского Дома Нестору Александровичу Котляревскому, сыну друга своей юности Александра Александровича Котляревско-го, он писал: «Позвольте представить Вам вот эту книжку, неведомо для меня напечатанную, пока я лето проводил в Германии, моей дочерью, ученицей VII класса гимназии. Я — не сторонник раннего печатания юных авторов; но раз книжка появилась, мне хочется знать, действительно ли есть искорка дарования у 15—17-летней слагательницы стихов. Я бы 1/3 здесь смело напечатанного совсем тиснению не предавал, а относительно другого мне бы искренно хотелось знать мнение такого ценителя-эстета, как Вы. Если стоит чего-либо лучшее в этой книжке, скажите Ваше слово».

Ответ Нестора Котляревского нам неизвестен. Очевидно одно: высокоученый эксперт не пришел в восторг от стихов гимназистки — на сохранившемся экземпляре присланной ему книжки в «Содержании» положительно (крестик или буква «икс») им помечено лишь 23 названия. А впрочем, 23 из 111 — не так уж и мало.

Иван Владимирович совершенно солидарен со своим корреспондентом: «Приношу Вам сердечную признательность за Ваше милое письмо и суждение о дебюте Марины. Ваши мысли о поспешности ее выступления на печатное поприще это — мое искреннее убеждение. Я советовал ей переписать свои стихи машинкой-Ремингтоном, дать им отлежаться, показать судьям опытным и беспристрастным, которые посоветовали бы ей добрую И-ну выбросить — для успеха других, лучше удавшихся. Я это говорил ей летом в Дрездене; но зеленая молодежь ныне, надо думать, самонадеяннее той, какою были мы в свое время; из моих советов вытекла для меня только обязанность уплатить типографии 350 руб<лей> за это издание. Впрочем, нынешнее время и нынешняя молодежь masculini et femini generis[8] такова, что охотно я заплатил эти деньги, лишь бы не ходили эти юнцы на разные митинги и не вдавались во вредные течения политиканства».

На Москве-реке стоят два теплохода — «Валерий Брюсов» и «Александр Блок». Я видел своими глазами, достаточно давно, паромный катер «Валерий Брюсов» во Владивостоке. Катер — штука полезная, теплоходы — наверняка тоже: там рестораны-караоке, суши-бар, дискотека, гостиницы, казино, ночные клубы.

Не забыть бы самого существенного: Брюсов — первый

издатель-редактор Андрея Белого и Александра Блока, автор названий их книг («Золото в лазури» и «Стихи о Прекрасной Даме»). Петербуржец Блок первой книгой вышел в Москве — потому что в Москве жил Брюсов. Брюсов в ранней переписке Белого с Блоком был определен Белым в первые поэты современности, и Блок поддержал его.

В 1912 году Брюсов пишет рецензию «Александр Блок» — к выходу «Стихов о Прекрасной Даме» (второго издания) и «Ночных часов». Тон его объективен. Блок жарко отблагодарил Брюсова: «Хочу высказать Вам свою признательность… е/с». Признательность Блока согрета постоянной поддержкой Брюсова после «Стихов о Прекрасной Даме», в отличие от нападок Белого и Сергея Соловьева, уличавших его в отступничестве от идеалов юности.

Последние двое выражали позицию издательства «Мусагет», в поле которого двумя годами раньше вошла Марина.

Анастасия Цветаева предположила: именно тогда, в декабре 1909 года, Марина отказала Владимиру Оттоновичу Нилендеру, предложившему ей руку и сердце. Возможно, что предложения не было: Нилендер был женат и не разведен. Что же было? То, что она сочла первой любовью. Всё это надолго ранило Марину — человек был достойный. Ученик ее отца, античник, поэт, переводчик гимнов Орфея и Гераклита Эфесского, сотрудник Брюсова по журналу «Весы» и прочим символистским изданиям, а в прошлом — морской офицер. На девять лет старше. Но возрастное преимущество, как окажется впоследствии, она воспринимала обратным образом, в пользу своего старшинства. Нилендер стал причиной выхода первой ее книги (за невозможностью договорить иначе) и запомнился навсегда. «Об Орфее я впервые, ушами души, а не головы, услышала от человека, которого — как тогда решила — первого любила» («Живое о живом», 1932). Собственные стихи Нилендера были довольно унылы:

Кони покорны в умелых руках.
Зыблятся мерно пушистые сани.
В нашей душе торопящийся страх.
Никнем бессильно в кружащем тумане…
Где мы?., куда мы несемся?., к чему?.,
пусто глядим на пустые подъезды?..
Дева-заря, ты развеяла тьму…
с неба слетают последние звезды…

(«Три стихотворения»)

Однако пикантность ситуации заключалась в том, что

накануне своего предполагаемого предложения Нилендер передал Марине ровно такое же предложение (письмо) от Льва Львовича — Эллиса.

Эллис писал типично символистские стихи, много сонетов, и некоторые его вещи словно адресовались Марине или даже Асе:

Кто ты? Ребенок с улыбкой наивной
или душа бесконечной вселенной?
Вспыхнул твой образ, как светоч призывный,
в сумраке синем звездою нетленной.

Что ж говорить, коль разгадана тайна?
Что ж пробуждаться, коль спится так сладко?
Все ведь, что нынче открылось случайно,
новою завтра воскреснет загадкой…

(«В апреле»)

В обоих случаях Марина чувствовала растерянность, недоумение и полную неготовность к подобным положениям. Так или иначе, оба соискателя ее сердца исчезли из круга ее общений.

Эти взрослые люди появились в ее жизни по линии Аполлона, или Мусагета — одно из имен этого бога, что означает «водитель муз». В доме Ивана Владимировича, в его углах, гипсовое изображение водителя муз соседствовало с богиней-охотницей Дианой, не говоря уже о Зевсе на книжном шкафу. Оказаться на посиделках и сборищах в издательстве «Мусагет» было для Марины совершенно естественно, да и не так далеко от дома — на Пречистенском бульваре, 31. Впрочем, проходили собрания группы поэтической молодежи в студии скульптора Константина Федоровича Крахта, приятеля Эллиса. Эллис называл этот кружок «Молодым Мусагетом». Марина внимательно выслушивала красноречивых говорунов и «молчала». Там была и еще одна молчальница — Ася Тургенева, великолепно надменная.

Основали новое издательство в 1909 году Эмилий Метнер, Эллис и Андрей Белый. Уже почти распался кружок «аргонавтов», мотором и душой которого был Эллис, носитель «аргонавтической печати», которую он прикладывал ко всему, что ему нравилось, — к стихам, переплетам, рукописям. На разговорах «аргонавтов» собиралось порой до двадцати пяти человек, дожидавшихся «грядущих зорь». Виднейшим и настоящим поэтом среди них был Андрей Белый. Марине не могли не нравиться такие стихи из его книги «Золото в лазури»,

как о временщике Бироне:

Докладам внимает он мудро,
Вдруг перстнем ударил о стол.
И с буклей посыпалась пудра
на золотом шитый камзол.

«Для вас, государь мой, не тайна,
что можете вы пострадать:
и вот я прошу чрезвычайно
сию неисправность изъять…»

Лицо утонуло средь кружев.
Кричит, раскрасневшись: «Ну что ж!..
Татищев, Шувалов, Бестужев —
у нас есть немало вельмож —

Коль вы не исправны, законы
блюсти я доверю другим…
Повсюду, повсюду препоны
моим начинаньям благим!..»

И, гневно поднявшись, отваги
исполненный, быстро исчез.
Блеснул его перстень и шпаги
украшенный пышно эфес.

(«Опала»)

Первое знакомство Марины с Андреем Белым произошло на ходу, в гостинице «Дон» на Смоленском рынке, где тогда обитали мусагетовцы. Туда 30 декабря 1909-го сестры Цветаевы привезли в подарок Нилендеру — накануне наступавшего Нового года — кожаный темно-синий альбом с золотым обрезом, назвав его «Вечерний альбом». В альбоме были записаны разговоры с ним.

В 1917 году издательство «Мусагет» прекратило свое существование на территории России (в 1929-м его воскресил в Швейцарии Метнер), но еще с самого начала под его фундамент был заложен динамит — в своем «кратком плане» на будущее тот же Эллис писал: «Тщательно избегать вещей, носящих пророческий или проповеднический характер». То есть таких, какие писал Белый.

Так или иначе, принцип «Поэзия как волшебство», сформулированный Константином Бальмонтом в его знаменитой

лекции, прочитанной 21 октября 1915 года в вологодском страховом обществе, соответствовал для семнадцатилетней Марины тому, что делал в стихах Брюсов. Она писала о Брюсове:

> Есть поэты — волшебники в каждой строчке. Их души — зеркала, собирающие все лунные лучи волшебства и отражающие только их. Не ищите в них ни пути, ни этапов, ни цели. Их муза с колыбели до гроба — принцесса и волшебница. Не к ним принадлежит Брюсов. У Брюсова много муз — муза в лавровом венке, в венце из терний, муза в латах и шлеме, муза «с поддельной красотой ланит», но есть и волшебница, есть и девушка-муза. Об этой редкой гостье в стихах Брюсова я и хочу рассказать.

Марину очаровывает брюсовское понимание мотыльковости девушек и самой юности. Влекущая опасность хождения по краю.

> Может быть, завтра один из этих мотыльков на воле будет биться в золотой бахроме из стихотворения «Продажная» и тосковать о навеки утраченных зеленых листьях:
>
> *Альков задрожал золотой бахромой.*
> *Она задернула длинные кисти…*
> *О, да, ей грезился свод голубой*
> *И зеленые листья…*
>
> В этом стихотворении уже не улыбка, в нем плач девушки-музы.

Вольная дольниковая ритмика цитируемого катрена равна рискованной теме. Это Марина возьмет на вооружение. Она не может не восхититься брюсовской любовью к Германии, «стране лучших сказок». Да, это все — ну, кроме продажного алькова, — личное, свое, кровно пережитое. Но все ее похвалы почти смажутся финалом ее этюда: «Измена романтизму; оскорбление юности в намереннонебрежной критике молодых поэтов; полная бездарность психодрамы «Прихожий», — да простится все это Брюсову за то, что и в его руках когда-то сверкал многогранный алмаз волшебства».

Почти за упокой. В цитатах из Брюсова норовистая Марина порой отступала от подлинника, переиначивая кое-что под себя.

Ничего странного. Она и сама тогда писала стихи подобного

рода:

Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах
Видать не грезу, а земную быль — Где их наряд?
От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!
Оставь полет снежинкам с мотыльками…

(«Ошибка»)

Чуткий Брюсов, не ознакомленный с критическим — первым в жизни — опытом Цветаевой, ответил ей своей рецензией так, как будто он прочел ее этюд. Она сама послала ему «Вечерний альбом» с «просьбой посмотреть», хотя и остро чувствовала «оскорбление юности в намеренно-небрежной критике молодых поэтов»: Брюсов аккуратно регулярно писал о молодых. Для себя он пометил в конце цветаевской книжки: «Хорошая школа», — но в целом не принял ее и написал смягченный текст для публики. Позже она отменила факт своего обращения к Брюсову. А ведь это было, в сущности, предложение литературного отцовства. Свою книжку она отправила лишь в «Мусагет» да подарила Максимилиану Волошину на каком-то его выступлении.

Таким образом, в семнадцать лет Марина созрела для выхода из затвора в мир литературы. В восемнадцать — вышла. 1910 год. Начало литературного пути.

В первые месяцы 1911 года общение с Максом стало добрососедским — постоянным, почти непрерывным. Волошин с осени задержался в Москве, погруженный в кипучую деятельность и не менее бурное многописание. Он дает ей на знакомство разные книги, она отписывается впечатлениями. Он выступает в Литературно-художественном кружке под водительством Брюсова в компании виднейших литераторов-москвичей от Бориса Зайцева до Ивана Шмелева, читает там же лекцию о «новых течениях французского экзотизма», печатается в «Утре России» — не упуская живых взаимосвязей с множеством народа, в том числе с безвестными сестрами Эфрон, симпатичными ему девушками, молодыми актрисами Елизаветой и Верой, живущими на Арбате. Их младший брат Сережа и сами они еще далеки от обитательницы дома в Трехпрудном.

В январе между Мариной и Волошиным возникло напряжение в связи с подаренным им романом Анри де Ренье «Встречи господина де Брео»: «С негодованием захлопываю книгу. Эту — дрянь, эту — мерзость — мне?» Ее шокировало поведение двух

маркиз, в частности — посещение грота от переизбытка выпитого лимонада. Она, видимо, подзабыла о том, о чем сама рассказала Майе Кювилье (Кудашевой): отроковицей — это было в Германии — попав в гости к неприятной немке, она сделала пипи в пальму, чтобы пальма умерла. Но это ведь просто так и вообще смешно.

В переписке наступает пауза. Недолгая. Макс продолжает подпитывать ее книгами. 28 марта она сообщает ему, что уезжает надолго, а также: «За чудную Consuelo я готова простить Вам гнусного M. de Breot».

В конце апреля он отъехал в Коктебель.

Макс наверняка и невольно повлиял на решение Марины по весне окончательно покончить с гимназией. Восьмой класс, дававший право на педагогическое поприще, ей был не нужен. Семь гимназических классов — уже среднее образование.

Решено — сделано. Она уехала в Гурзуф.

> Деревня Гурзуф расположена амфитеатром по юго-западному склону горы, впадающей в море, и состоит из татарских домиков и саклей и более или менее устроенных дач. На вершине скалы (на земле Соловьевой, владелицы < имения > Суук-Су) находятся развалины старой генуэзской крепости. Ниже развалин стоит красивая дача Соловьевой…
>
> *(Крым. Путеводитель/Под ред. К. Ю. Бумбера и др. Симферополь, 1914).*

В Гурзуфе Марина сняла комнату, где захотела, читала книги, ходила в горы и к морю, писала стихи. Тень Пушкина вживе являлась ей.

Вижу его на дороге и в гроте…
Смуглую руку у лба…
— Точно стеклянная на повороте
Продребезжала арба…

(«Встреча с Пушкиным»)

Помимо прочего, в Гурзуфе она читала книгу под названием «Гюндероде». Эту книгу — переписку с подругой юности поэтессой Каролиной фон Гюндероде, из-за неразделенной любви бросившейся в Рейн, — в 1840 году издала писательница-романтик Беттина фон Арним, урожденная Брентано, сестра поэта Клеменса Брентано. На книге Марина сделала надпись:

«Marina Zwetaeff, Gourzuff, 1911».

Был там, на гурзуфском берегу, еще и влюбленный татарчонок Осман, о котором она вспомнит в записной книжке (1916): «— «Пушкин? Моя бабушка помнит, — веселый такой. Никогда не сидел, все бежал. И очень на лодке кататься любил. И девушек любил, — добрый был, орехи давал, деньги давал. И волосы такие…» (не зная как сказать быстро-быстро перебирает в воздухе пальцами)».

Из Гурзуфа на имя Макса пошли письма.

> *Гурзуф, 6 апреля 1911 г*[9]
>
> Я смотрю на море, — издалека и вблизи, опускаю в него руки, — но все оно не мое, я не его. Раствориться и слиться нельзя. Сделаться волной?
>
> Но буду ли я любить его тогда?
>
> Оставаться человеком (или «получеловеком», все равно!) — вечно тосковать, вечно стоять на рубеже.
>
> Должно, должно же существовать более тесное ineinander[10]. Но я его не знаю!
>
> Цветет абрикосовое дерево, море синее, со мной книги… <…>
>
> Наша дача, — «моя» звучит слишком самоуверенно, — над самым морем, к к<оторо>му ведет бесчисленное множество лестниц без перил и почти без ступенек. Высота головокружительная. Приходится все время подбадривать себя строчкой из Бальмонта, заменяя слово «солнце» словом «море»:
>
> *— «Я видела море, сказала она,*
> *Что дальше — не все ли равно?!»*

Восемнадцатого апреля корреспондентка Волошина продолжает рисовать картину своего Гурзуфа:

> Каждая книга — кража у собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сам.
>
> Ведь это ужасно! Книги — гибель. Многочитающий не может быгть счастлив. Ведь счастье всегда бессознательно, счастье только бессознательность. <…>
>
> Виноваты книги и еще мое глубокое недоверие к настоящей, реальной жизни. Книга и жизнь, стихотворение и то, что его вызвало, — какие несоизмеримые величины! И я т<а>к заражена этим недоверием, что вижу — начинаю видеть — одну

материальную, естественную сторону всего. Ведь это прямая дорога к скептицизму, ненавистному мне, моему врагу. <…> Блажен, кто забывается!

Я забываюсь только одна, только в книге, над книгой!

Но как только человек начинает мне говорить о самозабвении, я чувствую к нему такое глубокое недоверие, я начинаю подозревать в нем такую гадость, что отшатываюсь от него в то же мгновение. <…>

И это в лучшем случае.

То же самое, что с морем: *одиночество, одиночество, одиночество* (курсив мой. — *И. Ф.).* <…>

Все, что я сказала Вам, — правда. Я мучаюсь, и не нахожу себе места: со скалы к морю, с берега в комнату, из комнаты в магазин, из магазина в парк, из парка снова на Генуэзскую крепость — т<а>к целый день.

Но чуть заиграет музыка, — Вы думаете — моя первая мысль о скучных лицах и тяжелых руках исполнителей?

Нет, первая мысль, даже не мысль — отплытие куда-то, растворение в чем-то…

А вторая мысль о музыкантах.

Т<а>кяживу.

Из того же письма явствует, что Волошин приобщил Марину к своему тогдашнему увлечению гипотезой французского физиолога Рене Кентона о происхождении жизни из морских глубин, о тождестве «между кровью и морской водой». Она тут же определила состав волошинской крови — «со всеми морскими и земными солями в крови».

«Значит мы, — морские?» — спрашивает Марина и показывает свое стихотворение «Душа и имя»:

Пока огнями смеется бал,
Душа не уснет в покое.
Но имя Бог мне иное дал:
Морское оно, морское!

В круженье вальса, под нежный вздох
Забыть не могу тоски я.
Мечты иные мне подал Бог:
Морские они, морские!

Поет огнями манящий зал,
Поет и зовет, сверкая.

Но душу Бог мне иную дал:
Морская она, морская!

Однако апрель иссяк, труба зовет в Коктебель.

> Пятого мая 1911 года после чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на коктебельскую землю, перед самым Максиным домом, из которого уже огромными прыжками, по белой внешней лестнице, несся мне навстречу — совершенно новый, неузнаваемый Макс. Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!), Макс, в кавычках, «хитона», то есть попросту длинной полотняной рубашки, Макс сандалий, почему-то признаваемых обывателем только в виде иносказания «не достоин развязать ремни его сандалий» и неизвестно почему отвергаемых в быту — хотя земля та же, да и быт приблизительно тот же, быт, диктуемый прежде всего природой, — Макс полынного веночка и цветной подпояски. Макс широченной улыбки гостеприимства, Макс — Коктебеля[11].

К ее приезду там обретались сестра и брат — Лиля и Сережа Эфрон, несколько оробевшие от сообщения Макса о том, что едет Марина, настоящий, самостоятельный поэт. Встретив гостью, Макс сосредоточился на ней.

Коктебель начала XX века — что это было? Болгарская виноградарская деревушка в двух верстах от моря в окружении чахлой растительности. Несколько дач кусками рафинада на темно-сером фоне белели там и сям. Виноделие было зачаточно и скудновато, поскольку прервались работы по ирригации этих мест, начатые первооткрывателем-цивилизатором Эдуардом Андреевичем Юнге.

Вокруг — Коктебельская долина: голая равнина да голые холмы без признаков жизни, кроме белопыльной дороги, ведущей то ли в Феодосию, то ли из нее.

Феодосия напоминала русскую провинцию, а была скорей остаточным южноитальянским захолустьем без морского порта и железнодорожного вокзала. Деревья чурались коктебельских окрестностей, где пробивали сухой суглинок лишь горькая трава, полынь да ковыль, кусты шиповника, лоха и дрока. Солончаковая пустошь. Запах полыни.

Тем поразительней смотрелись скалы у моря. Горный массив Кара-Даг (напишем по-старому), Черная гора, потухший вулкан, каменное пламя, гривастый кентавр, бородатым ликом пропарывающий овечье руно прибоя.

На хвосте кентавра — или вослед ему — Сюрю-Кая, Скала-шпиль, или Острая скала, отрог, с определенной точки обзора напоминающий запрокинутое человеческое лицо или посмертную маску.

А Кок-Кая — Святая гора, в которой покоился прах мусульманского мученика?

Были и мыс Хамелеон, и гора Верблюд, но эти топонимы или еще не существовали, или не ласкали слух поэта настолько, чтобы он впустил их в свои стихи, в которых царил Карадаг (теперь пишем так).

Был и бесподобный Кучук-Енишар, Малый Янычар, еще не ставший Горой Волошина с его прахом.

Плоский холм Тепсень спускался к месту, где в недавнем прошлом (1900) мать Волошина Елена Оттобальдовна купила небольшой участок по соседству с домом двух ушедших на заслуженный отдых певиц. Рядом ничего и никого, только шум ветра и моря. И ночное шуршание песка и гальки на пляже.

Молодой Макс издалека не одобрял этой покупки и предлагал в письмах к матери то Батум, то нечто другое: «Домик где-нибудь на берегу Салерно и Амальфи, особенно с южной его стороны между Салерно и Амальфи около Capo del Orso при городах Minori и Mayori, или дальше около Позитано — что может быть лучше? Туристов там нет: они толкутся на северном берегу около Сорренто. А какая красота! Когда я попал туда, мне сначала показалось, что я вижу что-то знакомое, похожее на Ялту. Но после понял, что Ялта сравнительно с этим просто лубочная копия с мастерского произведения гения. Там все голубое: и море, и скалы, и небо. Глядя на Черное море, нельзя составить себе никакого представления о всей прозрачности Средиземного. Оно так же не похоже на него, как Патриаршие пруды на Коктебельский залив».

Он тогда не понимал прелести Патриарших, а значит, и Трехпрудного, равно как и Коктебельского залива. Мать не вняла сыну. Она слушала себя.

Макс первый раз попал в Коктебель в 1893 году — ему шел шестнадцатый год, Марине — первый годик жизни.

Там у гражданского мужа П. П. фон Теша живет Елена Оттобальдовна, гимназист Макс учится в Феодосии. Жизнь течет, происходит всякое, очень большое и разное. У кромки Коктебельского залива исподволь вырастают два двухэтажных

дома, принадлежащих матери и сыну. Объемы домов соответствовали ей и ему. Она небольшая, он большой.

Впрочем, Иван Бунин в своем портрете Макса Волошина упирает на маленькие руки-ноги и общую невысокость. Вольному воля. Это принцип Волошина.

Носитель холщового хитона и сандалий, древний грек в его лице мог протеистически легко обернуться кем-то вроде феодосийского грузчика — не переодеваясь. Это зависело от зрения очевидца.

Марина уже знала Крым, но то был Крым другой — южный, роскошный, кипарисовый, курортно-отстроенно-белоснежный, с татарской подоплекой. На пустынном берегу Волошина возрос Крым инакий — Киммерия.

Невидимый град, в сущности.

Волошин полагал, что в имени Крым татары ототатарили древнее имя Киммерии.

У Гомера есть соответствующая строка про «киммери-ан печальную область». Это память тысячелетий и память Вячеслава Иванова, подсказавшего Максу имя страны, в историческом тумане найденной Волошиным.

Не углубляясь в клубок старых, сугубо личных страстей времен истлевших, воспроизведем известный отзыв Вячеслава Иванова (Аполлон. 1910. № 7) о первой книге Максимилиана Волошина «Стихотворения. 1900–1910»:

> Собрание стихов М. Волошина обнимает весь долгий период его многообразного и сложного ученичества. Живопись учила его видеть природу; книги о тайном знании — ее слышать; творения поэтов — петь. Он создал в себе стройный мир и окружил его змеиным кольцом; светлый строй своего замкнутого мира назвал он Аполлоном, а змею — «довременною Обидой». И его Аполлон живет в мире с его Пифоном. Свой посох «изгнанника, скитальца и поэта» он благословил. И в любви благословил «темные восторги расставанья»… Любители поэзии и исследователи путей современной души будут радоваться существованию этой сгущенной и насыщенной идеалистическим опытом книги… Это богатая и скупая книга замкнутых стихов — образ замкнутой души. Она учит поглощать мир, а не расточать свою душу. Поэт «Киммерийских сумерек» должен научиться быть щедрым, чтобы петь, как поет птица. Он найдет самого себя только тогда, когда Аполлон его строя, преодолев жало Пифона свободным

подвигом самоотдачи и саморасточения, братски встретится с Дионисом жизни.

Не правда ли, это — изысканная зуботычина? В Серебряном веке умели в парчу дифирамба заворачивать кирпич.

В том же духе вещает другой сподвижник-благожелатель — Брюсов (Русская мысль. 1910. № 5): «Стихи М. Волошина не столько признания души, сколько создания искусства… Книга стихов М. Волошина до некоторой степени напоминает собрание редкостей, сделанное любовно просвещенным любителем, знатоком, с хорошим, развитым вкусом…»

Никто из симпатизантов Волошина не различил в нем масштаб Волошина. Того, кем он станет в близком будущем. Брюсов, расхаживая по волошинскому берегу в 1924-м, не знал, что уже написана «Русь гулящая»?

В деревнях погорелых и страшных,
Где толчется шатущий народ,
Шлендит пьяная в лохмах кумашных
Да бесстыжие песни орет.

Сквернословит, скликает напасти,
Пляшет голая — кто ей заказ?
Кажет людям срамные части,
Непотребства творит напоказ.

А проспавшись, бьется в подклетьях,
Да ревет, завернувшись в платок,
О каких-то расстрелянных детях,
О младенцах, засоленных впрок.

Знал наверняка. В этом несчастном году — умер Брюсов — неслышно прозвучал и растянутый во времени момент рождения самого Макса. Огромного поэта.

В одном из писем жене, с ним быстро расставшейся, Маргарите Сабашниковой в октябре 1910-го Макс говорит: «Все, что кругом, — бесконечно грустно. Я остался один сам с собой в глубоком одиночестве…» В глухом смятении Макс убегал из столиц. Ему, «просвещенному любителю», советовали «петь, как птица». Требовался некий отдых.

Вот уж чего не было у Волошина — курорта. Тут питьевую воду и отходы возили на возах. Тут никто никому не платил (почти). Тут ходили босиком или в чувяках. В хламидах и шароварах. Тут жили обормоты. Водили музы первый хоровод?

Хоровод обормотов. Танцуют все. Едят лапшу, пьют ситро, чай и кофе, берут у татар виноград, черешню и абрикосы. Словцо «обормоты» применительно к ним придумал граф Алексей Толстой, по кличке Алехан, при сем присутствовавший.

Во главе оравы стояла крепкотелая седая дама не слишком преклонных лет в шитом серебром кафтане, татарских шароварах и сафьяновых сапожках, наследовавшая и сочетавшая две древнечерноморские ипостаси: от амазонок — непреклонность, от готов — профиль Гёте. Поистине — Пра (прародительница).

Стройтесь в роты, обормоты,
В честь правительницы Пра…

Макс был ее флигель-адъютантом или, в лучшем случае, министром двора. Правда, порой он разговаривал с ней, как с ребенком.

Когда на берегу будет возведен деревянный кафе-сарай «Бубны» (от пословицы «Славны бубны за горами»), среди других настенных карикатур и стихов будет намалеван распатланный толстяк в оранжевом хитоне:

Толст, неряшлив и взъерошен
Макс Кириенко-Волошин.

Ужасный Макс — он враг народа,
его извергнув, ахнула природа.

Глава третья

Первое впечатление от Сережи Эфрона было зафиксировано Мариной в февральском письме ему 1923 года: «Ведь было же 5-ое мая 1911 г. — солнечный день — когда я впервые на скамейке у моря увидела Вас. Вы сидели рядом с Лилей, в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: Ну, можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого — стыдно ходить по земле!».

Познакомились, стали прогуливаться наедине и компанией. Рыскали по пляжу, рыли гальку, искали, находили, исследовали на просвет — там было много (полудрагоценного: сердолики, агаты, халцедоны, опалы, яшма, хризопразы — то, для чего было изобретено ими слово «фернампиксы». Она загадала: если он найдет сердолик, они будут вместе навсегда. Он нашел сердолик. Марина уверяла: генуэзскую сердоликовую бусу.

В ту весну на ее голове внезапно появились кудри, светлые, короткие, после стрижки наголо.

По странно многозначительному стечению обстоятельств его инициалы совпадали с первой любовью матери Марины — *С. Э.,* а в гимназии он пять лет учился — Поливановской, то есть той, которую окончили Брюсов и Белый, где учился Волошин, где директором был отец Эллиса Лев Иванович Поливанов (Кобылинский — фамилия отчима).

Он никогда не загорал, болел. Предполагался туберкулез, осложненный астмой. Еще не просохли чернила на пере, которым он писал сестре Елизавете из Финляндии, из городка Эсбо, где лечился, 18 апреля (1 мая по новому стилю) в Москву: «Я мог бы, если это можно устроить, приехать к тебе, погостить у тебя два дня, а потом прямо с тобою в Крым. <…> Как ты себя чувствуешь? (Сестра тоже болела. — *И. Ф.)* Возлагаю большие надежды на Крым, ибо физически чувствую себя очень неважно. <…> Лиля дорогая, прошу тебя и очень прошу, чтобы ты поскорее дала мне знать об отъезде. Уж очень мне здесь тяжело: сидеть одному».

Сережа родился в начале октября (по новому стилю) — как и Марина, но годом позже. Им обоим нравилось утверждать, что они родились в один день, с годичной разницей.

За ним была семейная история, страшная и единственная в своем роде. Елизавета Петровна Дурново, его будущая мать, семнадцати лет ушла в революцию — в подполье таких организаций, как «Земля и воля» и «Черный передел». С семьей, весьма известной в России, порвала. Прошла Петропавловку, уехала за границу с мужем — выйдя замуж за революционера

Якова Константиновича (Калмановича) Эфрона, родила ему девятерых детей. Мальчик Константин, двумя годами младше Сережи, четырнадцати лет покончил с собой в петле, мать ушла в тот же день следом за ним, тем же способом, на том же крюке.

Старшей в московской ветви семьи (была и петербургская) стала Лиля, Елизавета. Сереже было семнадцать лет. Рана была открыта.

В начале лета было еще не многолюдно. У Макса гостят художники — два Константина: Богаевский, Кандауров. Из знаменитостей — «Игорь Северянин»: об этом в первую очередь сказала Марина Асе, подъехавшей позже. Ася увидела его — высокий тонкий юноша, томно нюхающий розы на кустах. Его дополняли испанка красавица Кончит-та и безумная поэтесса Мария Папер. На следующий день оказалось, что вся эта троица — видимость, надувательство, розыгрыш. Это были Сережа Эфрон и его сестры. Молодость брала свое. Веселились.

Отправились на мажаре — это большая длинная телега с решетчатыми бортами — в Старый Крым. Мнились видения — то воздушный корабль, то деревня в небесах. Путешествием управлял Макс. В Старом Крыму остановились на ночь у певицы Олимпиады Сербиной, были награждены вечером музыки. Настанет срок — вот-вот, в годы гражданской разрухи — в Старом Крыму найдет себе долговременное пристанище Ася.

В Старый Крым — бывшую древнюю столицу Крыма — из Коктебеля вела семнадцатикилометровая земская дорога, по которой ходили пешком и ездили на мажарах старокрымские болгары — на свои виноградники в Коктебеле. Непростая дорога, временами мрачная. Существовала легенда: первоначально дорога проложена руками рабов и утрамбована ногами римских легионеров. Да, это, видимо, легенда. А вот — статистика, говорящая о том, какой и когда жил в Старом Крыме народ: в 1805 году — 114 человек (89 крымских татар, 25 цыган), в 1864-м — 699 человек (болгарская колония), в 1887-м — 792 человека, в 1897-м — 3247 (2232 православных, 617 крымских татар, 398 армян), в 1926-м — 4568 человек (1897 русских, 1183 болгарина, 900 греков, 266 крымских татар, 175 украинцев, 84 еврея, 63 немца). Последние цифры были сильно подкорректированы в начале 1930-х годов толпами истощенных бродяг из мандельштамовского стихотворения «Старый Крым»:

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани…
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца…

Правда, они там не жили, они там умирали.

Лето 1911-го стало рубежом. У Марины — Сережа, к Асе приехал Борис Трухачев, ее напарник-конькобежец с Патриарших. Он был человек настроения, неожиданных поступков и уже попивал. Они с Асей всё выясняли, кто из них главный.

Пути этих пар расходились в разные стороны. Марина увезла Сережу в Москву, а затем — в Башкирию, на кумыс. Деньги у обоих были — наследственные, от родителей. 8 июля простились на феодосийском вокзале. Сестры обменялись рукопожатием, они никогда не целовались.

Путь из Коктебеля в Москву был стремительным и веселым. Рапортовали открытками сестрам Сережи. Из Мелитополя, 9 июля: «Взяли кипятку и будем есть все то, что вы нам приготовили. Привет. Милая Лиля и милая Вера. Здесь, т. е. в вагоне пахнет амфорой (эвфемизм отхожего места. — *И.* Ф.), но мы не унываем». Со станции Лозовая, 10 июля: «Почти все, что дано на дорогу, съедено. Спасибо. Привет».

Сестру Лилю Сережа называет «Влюблезьяна»: сокращение коктебельского прозвища — Старая влюбленная обезьяна.

Из Тулы, 10 июля, пишут в две руки:

«Еще три-четыре часа и мы в Москве, ехали прекрасно. Весь провиант уничтожен. Марина чувствует себя хорошо, я тоже. Спали часов 25. Пока до Москвы, прощайте.

Привет всем, особый Пра».

Доехали до Москвы. Сережа — сестрам:

> *Москва, 12 июля 1911 г.*
>
> Пишу вам сейчас, дорогие, из Москвы. Только что встал — Марина еще спит. Я сижу в кабинете ее отца.
>
> Чувствую себя прекрасно. После дороги совсем не устал, т<ак> к<ак> ехать было прекрасно.
>
> Странно как-то, что вы так далеко. <…>
>
> Москва сейчас странная, совсем пустая — мертвый город. Был в Гагаринском переулке — показывал Марине наш дом. Внутрь нас не впустили, очень на нас косились (вероятно побаивались немного). Наш сад почти совсем вырубили и развели на его месте английский цветник. От сирени остался только один чахлый куст. Жасмину совсем не осталось. Все террасы густо заросли виноградом.
>
> Сегодня едем на Ваганьковское кладб<ище>. Там

похоронена тоже мать Марины.

Сережа пишет из Трехпрудного. Будущий тесть — в отъезде. Дом в Гагаринском — дом его бабушки, Елизаветы Никаноровны Дурново, урожденной Посылиной. Похоронены на Ваганьковском она и старший брат, Глеб, который умер семи лет. Со стороны Марины — дед Мейн и мать.

Но пора в путь, в Башкирию, на кумыс. Проехали Самару, обосновались в Усень-Ивановском Заводе Уфимской провинции, в том селе, где когда-то на берегу реки Усень был медеплавильный завод, построенный уральским промышленником Иваном Петровичем Осокиным. В былые времена туда бежали раскольники. Рядом долго уживались русские, башкиры, чуваши, мордва, персы, шведы. Место славилось кумысом.

Сережа дает знать о себе 15 июля 1911-го: «Милая Ли-люк и Вера! Как у вас сейчас в Кокте<бе>ле. Я страшно счастлив. Целую». Марина более подробна: «Сереженька здоров, пьет две бутылки кумыса в день, ест яйца во всех видах, много сидит, но пока не потолстел. У нас настоящая русская осень. Здесь много берез и сосен, небольшое озеро, мельница, речка. Утром Сережа занимается геометрией, потом мы читаем с ним франц<узскую> книгу Daydet <Доде> для гимназии, в 12 завтрак, после завтрака гуляем, читаем, — милая Лиля, простите скучные описания…»

В общем и целом все замечательно. Нельзя сказать, что болезный Сергей замкнут исключительно на себе. Видеть и писать он умеет. Подспудно его многое тревожит.

Усень-Ивановский завод, 31 июля 1911 г.

Милая Лиля! Дни бегут совсем незаметно. Вот уже шестнадцать дней, как мы сюда приехали. — Пока писем от тебя не получал. Неужели ты мне не пишешь? Немного страшно — не произошло ли чего-нибудь в Коктебеле.

Как ты отнеслась к моему решению жить в Москве? Верно хорошо?

Мы живем в очень интересном селе. Оно совершенно русское (хотя вру — здесь много татар), настолько русское, что можно свободно перенестись фантазией лет за пятьдесят и представить себе крепостное право. Недавно в наше село приезжал губернатор (здесь недород и он приезжал для ознакомления с урожаем). <…>

Ты конечно пробегаешь глазами письмо и ищешь места с описанием занятий. Да, я занимаюсь. Готовлюсь к экзамену и еще занимаюсь языками с Мариной. <…>

— Был на кладбище[12]. Глебина могила в хорошем состоянии, а бабушкиной не нашел. Заплатил за уборку. <…>

По обыкновению не могу довести письма до конца. Сейчас уже почти совсем темно. Марина сидит у себя в комнате и что-то пишет, кажется стихи.

Веселость не покидает их. Марина пишет о себе в третьем лице:

Усень-Ивановский завод. 4-го авг<уста> 1911 г.

Милая Вера, привет от милой Марины. Она с утра до вечера откармливает Сережу всякой всячиной и, вычитав недавно, что в Турции жены султана едят рис, чтобы потолстеть, начала пичкать его (Сережу) рисом. Иногда она вспоминает Макса и стих Гумилева: «Я хочу к кому-нибудь ласкаться, Как ко мне ласкался кенгуру» — и вспоминаю тогда Вас. Никто никогда не сумеет т<а>к тереться о ее плечо и подставлять ей свое, к<а>к Вы. В этом она уверена. Марина, если Вера позволит, целует Веру. *МЦ.*

Это написано на видовой открытке: «Белебей. Усень-Ивановский завод. Вид на гору Масайку». Марина упоминает стихотворение Гумилёва «Кенгуру. Утро девушки» из книги «Жемчуга» (М.: Скорпион, 1910). Это, кажется, первое свидетельство ее прямого выхода на Гумилёва, на акмеистов вообще. Ей, разумеется, была известна двухлетней давности история дуэли Макса с Гумилёвым из-за Черубины (Елизаветы Дмитриевой), и хотя во время того поединка смешноватым выглядел Макс, потерявший в снегу калошу, Маринина ирония все-таки направлена на его противника.

Сергей приобщен к ее интересам. Они на пару пишут Волошину 11 августа 1911 года, еще из Усень-Ивановского Завода: «С удовольствием думаю о нашем появлении в Мусагете втроем и на ты! Ты ведь приведешь туда Сережу? А то мне очень не хочется просить об этом Эллиса».

Тут нам надо договориться, читатель. С некоторых пор Марина стала подписываться — и самосознаваться — МЦ. Для пользы дела отныне мы прибегнем и к такой форме обозначения нашей героини.

Постоянно безоблачно быть не может. Набегают тучки. Новому союзу двух молодых людей радуется мало кто, а точней — никто. Сестры не хотят отдавать его в чужие руки. Волошин не

верит в долгосрочность затеи. МЦ это чувствует, обращаясь к Волошину (14 ноября 1911 года): «…ты отчего-то с Сережей за все лето слова не сказал. Мне интересно — почему? Если из-за мнения о нем Лили и Веры, — ведь они его так же мало знают, как папа меня. Ты, так интересующийся каждым, вдруг пропустил Сережу, — я ничего не понимаю».

Мы еще вернемся к этому письму. Оно — в Париж.

Молодые люди решили пожениться. Но Сережа стоит перед крайне серьезным препятствием. В Петербурге у него есть старшая сестра Анна, требующая его переселения в город на Неве. У нее муж — присяжный поверенный Александр Владимирович Трупчинский, убежденный большевик, — и две дочери. К ним его совершенно не влечет. Приехав в Петербург, он ропщет в письме к Лиле в Москву 7 сентября 1911 года:

«Нужно переговорить с тобою о многом. Чувствую себя здесь отвратительно. При свидании скажу почему.

Марина вероятно рассказала тебе о наших планах. Н<ютя> (Анна. — *И. Ф.)* стремится как нарочно к обратному. Настаивает и заклинает меня жить в Петербурге. Я чувствую, что это невозможно. Если бы ты знала, что у них делается. Ужас!

Она просит написать тебе, чтобы ты подыскала мне семью, где я мог бы жить. Ради Бога не делай этого. Чтобы ее успокоить, я делаю вид, что согласен. Какую мне приходится разыгрывать комедию! Страшно неприятно. Все время нахожусь в нервном напряжении. <…> С гимназией вышла страшная путаница».

Это важно. Ведь Сережа еще гимназист.

А Лиля серьезно больна. План женитьбы — или жизни вдвоем — расстроился. Все вело к жизни как минимум вчетвером — вместе с сестрами Сережи. Ожидалось возвращение Ивана Владимировича с лечения. Марина с Сережей и сестры Эфрон переезжают в съемную квартиру № 11 на шестом, последнем этаже нового здания кремового цвета на Сивцевом Вражке, 19, — прекрасные большие комнаты с итальянскими окнами, все четыре отдельные. Дом хорош. Попутно происходит всякое. Мелькнул Эллис, уезжающий в Германию, — пошли его провожать, но он уже уехал. Волошин получил работу в Париже, в «Московской газете», и сам стыдился ее желтизны. Впрочем, она скоро лопнула.

Не все ладно у Аси. Она сблизилась с Борисом предельно — ждала ребенка. Обогнала сестру, продолжающую пребывать с Сережей в отношениях платонических. У Аси все еще сложнее. Изумляя себя, она одновременно испытывает глубокое чувство к двум персонам — к Борису добавился Нилендер, как воспоминание о первой любви к нему их обеих, Муси и Аси.

Асе казалось — Марина радуется за нее. Наверное, так оно и было. Пользуясь отсутствием отца, обе привели в трехпрудный дом возлюбленных — Сережу и Бориса. Мать последнего отчитывала Асю по телефону (1-81-08), только что поставленному в доме. Этой женщине кто-то сказал, что соблазнительница ее сына — дама тридцати пяти лет.

На самом деле сестры расставались. По настоянию отца они надвое поделили все, что осталось от матери: вещи, ткани, книги, мебель. Не получилось толково определить бриллиантовые серьги, и, разобрав по одной серьге, каждая из них — независимо друг от друга — за бесценок отдала свою серьгу соседствующим ювелирам на углу Кузнецкого моста и Неглинной улицы. Денежный капитал Мария Александровна оставила дочерям в банке так, что они могли получить — каждая свою долю — лишь по наступлению сорокалетия, а пока что жили на ежеквартальные проценты с вклада, и того вполне хватало.

В Москву пожаловала Елена Оттобальдовна — 10 октября 1911 года — и поселилась в доме на Сивцевом Вражке. 15 октября она писала Максу: «В гнезде обормотов я чувствую себя очень хорошо, как среди близких, хороших родных <…> Сейчас все забавляются граммофоном, гадают по нем. Теперь играют на пьянино. <…> Мне очень жаль Сережу: выбился он из колеи, гимназию бросил, ничем не занимается; Марине, думаю, он скоро наскучит, бросит она игру с ним в любовь».

Третьего ноября 1911 года в Литературно-художественном кружке на Малой Дмитровке, у Брюсова, выступала поэтическая молодежь. Брюсов позвал и Марину. Поэтов было человек двадцать. Сестры Цветаевы, в одинаковых старинных платьях, читали стихи МЦ — дуэтом. У них было выражение «говорить стихи» (или «сказать стихи»), больше это походило на пение.

Звенят-поют, забвенью мешая,
В моей душе слова: «пятнадцать лет».
О, для чего я выросла большая?
Спасенья нет!

Еще вчера в зеленые березки
Я убегала, вольная, с утра.
Еще вчера шалила без прически,
Еще вчера!

Весенний звон с далеких колоколен
Мне говорил: «Побегай и приляг!»
И каждый крик шалунье был позволен,

И каждый шаг!

Что впереди? Какая неудача?
Во всем обман и, ах, на всем запрет!
— Так с милым детством я прощалась, плача,
В пятнадцать лет.

(«В пятнадцать лет…»)

Это многих радостно удивило. Там был и Маяковский.

Незадолго до того, в конце октября, МЦ сдала в скоропечатню А. Левенсона — по соседству — свою вторую книгу «Волшебный фонарь», которая выйдет в феврале будущего года. В паре с этой книгой увидит свет и проза нового автора — Сергея Эфрона — «Детство», тоненькая книжка рассказов. Издательство, придуманное ими, называлось «Оле-Лукойе» — по имени волшебника из Андерсена, по ночам рассказывающего детям сказки. Их детство продолжалось.

Четырнадцатого ноября 1911 года МЦ пишет Волошину в Париж:

> Завтра мы переезжаем на новую квартиру — Сережа, Лиля, Вера и я.
>
> У нас с Сережей комнаты vis a vis, — Сережина темно-зеленая, моя малиновая. У меня в комнате будут: большой книжный шкаф с львиными мордами из папиного кабинета, диван, письменный стол, полка с книгами и… и лиловый граммофон с деревянной (в чем моя гордость!) трубою. У Сережи — мягкая серая мебель и еще разные вещи. Лиля и Вера устроятся, к<а>к хотят. Вид из наших окон чудный, — вся Москва. Особенно вечером, когда вместо домов одни огни. <…>
>
> В Мусагете еще не была и не пойду до 2-го сборника. Милый Макс, мне очень любопытно, что ты о нем скажешь, — неужели я стала хуже писать? Впрочем, это глупости. Я задыхаюсь при мысли, что не выскажу всего, всего!

В декабре тот же Брюсов под эгидой Общества свободной эстетики — там же, на Малой Дмитровке — организовал всероссийский Пушкинский конкурс на лучшее стихотворение, тематика которого исходила из строк Пушкина:

Но Эдмонда не покинет

Дженни даже в небесах.

(«Пир во время чумы»)

МЦ представила неновое (1909) стихотворение «В раю», похожее на романс:

Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю,
Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю.

Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где всё покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.

Виденья райские с усмешкой провожая,
Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая,
Земной напев!

Воспоминанье слишком давит плечи,
Настанет миг, — я слез не утаю…
Ни здесь, ни там, — нигде не надо встречи,
И не для встреч проснемся мы в раю!

И — выиграла. Это была странная победа. Брюсов вынес ошеломительное решение: первого приза не будет, а будет «первый из вторых». Такое не забывается.

За кулисами конкурса произошло и то, о чем Марина не знала: Владислав Ходасевич, не приняв участие в ристалище, после выдачи первой премии Цветаевой подошел к Брюсову и передал ему свое стихотворение на ту же тему. Брюсов крайне осерчал: жюри, конечно, присудило бы первую премию ему!..

А все-таки 1911-й — год счастливый, головокружительный, обещающий совместное счастье. В письме, отправленном из Москвы в Париж сестре Лиле 27 декабря, Сережа Эфрон излагает свои планы на будущий, 1912 год: «Мои планы на будущее приблизительно таковы: лето провожу за границей, занимаюсь языками и математикой, осенью по приезде в Москву поступаю в группу и за два месяца до экзаменов еду в Ялту с письмом отца Марины к директору гимназии. Кроме этого в Ялтинской

гимназии мне знаком инспектор. Эти два месяца я буду брать уроки у местных гимназических учителей. Надеюсь, что экзамены выдержу. <…> У нас была елка, представь себе и на этот <раз> повторился традиционный Рождественский пожар».

Радуется пожару.

Десятого января 1912 года МЦ пишет Максу в Париж:

> Сейчас я у Сережиных родственников в Петербурге. Я не могу любить чужого, вернее чуждого. Я ужасно нетерпима.
>
> Нютя — очень добрая, но ужасно много говорит о культуре и наслаждении быть студентом для Сережи.
>
> Наслаждаться — университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля…
>
> Ее интересует общество адвокатов, людей одной профессии. Я не понимаю этого очарования! И не принимаю!
>
> Мир очень велик, жизнь безумно коротка, зачем приучаться к чуждому, к чему попытки полюбить его? <…>
>
> Дело с венчанием затягивается, — Нютя с мужем выдумывают все новые и новые комбинации экзаменов для Сережи. Они совсем его замучили. Я крепко держусь за наше заграничное путешествие. <…>
>
> Пра очень трогательная, очень нас всех любит и чувствует себя среди нас, к<а>к среди очень родных. Вера очень устает, все свободное время лежит на диване. Недавно она перестала заниматься у Рабенек[13]… <…>
>
> Пока до свидания. Пиши в Москву, по прежнему адр<есу>.
>
> Стихи скоро начнут печататься, последняя корректура ждет меня в Москве.
>
> P. S. Венчание наше будет за границей.

Венчание произошло 27 января 1912 года в церкви Рождества Христова в Палашах, в Малом Палашевском переулке, 3, перед иконой «Взыскание погибших». Свидетельницей была Пра, в брачном документе подписавшаяся: «Неутешная вдова Кириенко-Волошина». Ветерок фарса не повредит.

МЦ, естественно, взяла фамилию мужа. Долгое время подписывалась *МЭ*.

Отец в сердцах посетовал в письме Нестору Котляревскому постфактум — 1 августа 1912 года: «Моя поэтесса напечатала другую книжку стихов; эта 18-летняя девица вышла замуж за 19-

летнего недоучку-гимназиста. С нынешними дочерьми нет сладу. Также безрассудно повенчалась и 17-летняя моя дочь с 18-летним таким же недоучкой».

Он ошибался в возрасте и Марины, и Мариниого мужа, тот был еще моложе.

Еще в октябре прошлого года МЦ писала Максу: «На полу глобус и никогда не покидающие меня сундук и саквояжи. Я не очень верю в свое долгое пребывание здесь, очень хочется путешествовать! <…>

Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час
И звериные берлоги,
И старинные чертоги…»

Между тем 11 февраля выходит «Волшебный фонарь. Вторая книга стихов». МЦ подарила книгу Максу со следующей надписью: «Милому Максу с благодарностью за Коктебель. *Марина. Москва, 11 февраля 1912».* Книга Сережи «Детство» вышла из печати 28 февраля. «Волшебный фонарь» быстро разошелся, весь распродан.

Двадцать девятого февраля молодожены выехали за границу. В летописцы-хроникеры этой поездки возьмем Сережу — молодого литератора, оттачивающего слог.

Впереди — Франция, Австро-Венгрия, Италия, Швейцария и Германия. В начале марта они прибыли в Париж, где побывали на спектакле по пьесе Ростана «Орленок» с Сарой Бернар в главной роли. Саре Бернар было шестьдесят восемь, ее герою многократно меньше. 14 марта Сережа пишет сестре Вере: «Вчера вечером видал Сару в Орленке. Хотя и не мог всего понять, но все же был поражен игрой. Сара с трудом ходит по сцене (с костылем). Голос старческий, походка дряблая — и все-таки прекрасно!»

Здесь же в Париже они встретились с сестрой Анастасией, только что вернувшейся из Италии и посетившей в том числе их детское Нерви. Ася с Борисом, все еще не оформившие своих отношений, уехали из Москвы давненько — 11 декабря прошлого года. На европейских дорогах Ася успела размолвиться с Борисом и, проводив его до российской границы, вернулась в Европу одна. Марина дарит ей только что вышедший «Волшебный фонарь», Ася преподносит ей аметистовое ожерелье — свадебный подарок — на Эйфелевой башне.

На кладбище Монпарнас лежат родители Сережи — отец Я. К. Эфрон (1851–1909), мать Е. П. Дурново-Эфрон (1855–1910) и брат К. Я. Эфрон (1895–1910). Сережа пишет Лиле и Вере 22

марта: «…вчера и третьего дня был на могиле. Я ее всю убрал гиацинтами, иммортелями, маргаритками. Посадил три многолетних растения: быковский вереск, куст белых цветов и кажется лавровый куст. <…> Розы и елочка целы».

«Быкбвский» — вереск, похожий на тот, что рос в Подмосковье: в начале века семья Эфрон снимала дачу в Быкбве.

Сережа датирует письма по-европейски, МЦ все еще цепляется за «русский стиль». Пишет из Парижа в основном он. Письма короткие. Одно из пяти — от Марины, подписано — *МЭ*.

Он жалуется, что на какой-то момент «остались без денег. Сегодня суббота и Лионский кредит[14] закрывается в 3 ч. Мы этого не знали и остались без сентима». Ходят по музеям. «Сегодня был в Люксембурге (Люксембургский музей. — *И. Ф.)* — я ожидал от него большего. Лувром я прямо подавлен». Его меланхолия — их третий лишний.

Двадцать девятого марта: «Я в ужасе от Франции. Более мерзкой страны я в жизни не видел. Все в прошлом и ничего в настоящем (!!!). Я говорю о первом впечатлении. В вагоне из десяти пар девять целовались. И это у них центр всей жизни!»

Из Парижа выехали в Willach, курортный городок в Австро-Венгрии с серными источниками в окрестностях, и в тот же вечер прибыли в Вену: МЦ непременно хотела увидеть Шенбруннский дворец, где жил Римский король — герцог Рейхштадтский.

> По приезде в Willach мы пошли осматривать город: масса зелени, цветов, улицы обсажены каштанами. На площади старинная готическая церковь — бывший францисканский монастырь, — с маленьким тенистым садом.
>
> — Вечером того же дня мы выехали в Вену. Представь себе, что больше всего поразило Марину: разноцветный гравий в Императорском саду. Она в каком-то экстазе встала на колени и долго рылась в камешках. Вспомнился Коктебель! <…>
>
> — Сад чудный, с массой аллей, фонтанов и беседок. В одной из аллей, крытой диким виноградом, мы сели на скамейку и говорили об Италии.
>
> Перед отъездом из Вены случилось недоразумение — кучер, не поняв нашего чистого немецкого языка (моего-то), завез нас в какую-то окраину. Мы собственно нанимали его на вокзал. Из-за этого мы опоздали на вокзал.

До приезда на Сицилию пребывание четы Эфрон в городах Италии было крайне кратким — от поезда до поезда. Два часа

провели в Милане, совсем ничего — в Неаполе, от которого Сережа остался не в восторге. 30 марта уже были в Генуе, на короткое время заглянув в Нерви. Все, что там увидели, — серая полоска воды, а хотелось Средиземного моря. После Генуи — Сицилия, встретившая их буйством природы.

Проездом увидев разрушенную землетрясением Мессину, 1 апреля прибыли в Палермо, где поселились на Via Allora в отеле «Patria», по словам МЦ — «на 4-ом этаже, у самого неба». Поездка для МЦ была праздником сердца, а не напряжением ума.

«Самое лучшее в мире, пожалуй — огромная крыша, с которой виден весь мир. Мы это имеем. Кроме того, на всех улицах запах апельсиновых цветов. Здесь много старинных зданий. Во дворе нашего отеля старинный фонтан с амуром», — сообщала МЦ в Москву секретарю «Мусагета» А. М. Кожебаткину.

В Палермо, где колокола и в постные дни пугают силой звона, они встретили Пасху. Однако пасхальные дни на Сицилии совпали с тревожным природным явлением — подземными толчками. Сама земля помнила, что 2 января 1909 года в Мессине произошло страшное землетрясение, фактически уничтожившее этот город, но менее слабые колебания земной поверхности часто повторялись на Сицилии и в последующие годы. Из Палермо отправились в Катанию, расположенную у подножия всеизвестного действующего вулкана Этна. 25 апреля приезжают в Сиракузы, а затем, на следующий день, через Катанию и Мессину, выезжают в Рим. Рим стал последним пунктом в их путешествии по Италии. Но здесь они оказались только мельком. Сережа вновь недоволен: «Современные италианцы мне очень не нравятся и с внешней стороны и по д’ Аннунцио».

Поездка затянулась, хотелось домой. 7 мая 1912 года Сережа пишет сестре из Германии:

> Милый Лилюк,
>
> ты отгадала: нам скоро суждено увидеться. Марина решила присутствовать на торжествах открытия Музея, и кТроицыну дню (13 мая) мы будем в Москве…
>
> Сейчас внизу гостиницы (деревенской) празднуют чье-то венчание, и оттуда несется веселая громкая музыка. Но в каждой музыке есть что-то грустное (по крайней мере, для профана), и мне грустно. Хотя грустно еще по другой причине: жалко уезжать и вместе с тем тянет обратно. Одним словом, *вишу в воздухе и не хватает твердости духа* (курсив мой: запомним эти слова. — *И. Ф.),* чтобы заставить себя окончательно решить ехать в Россию.

А тоска растет и растет!.. У меня сейчас такая грандиозная жажда, а чего — я сам не знаю!..

Но вот они в Москве, к той поре стало ясно: у молодой четы будет ребенок, и в письме Сережи от 25 мая сестре Вере в Коктебель сказано: «Мы сняли особняк на Собачьей площадке (в 4 комнаты). Особняк старинный, волшебный. Мой адрес: Собачья площадка, дом 8».

А в Москве — торжество: 31 мая открывается Музей. Тотчас после торжества Марина с мужем отбывают в Тарусу. После ослепительно-утомительных Европ здесь все радует сердце. Тьо заключает их в неразмыкаемые объятия. Кофе, чай, разговоры по многу часов. Свое состояние Марина переносит очень хорошо. Узнав, что будущие родители сняли особняк на Собачьей площадке, Тьо объявила: никаких съемных жилищ, она купит им особняк в Москве.

«Меня она называет Сихррож (выговаривать Р нужно горлом), Марину Муссиа.

Меня она считает за английского лорда, скрывающего свою национальность. Чтобы доставить мне удовольствие, она все время расхваливает Англию и ее обычаи». Он пишет Вере, не без наивного тщеславия, все еще полон впечатлениями торжества:

В Москве я был и на открытии Музея и на открытии памятника Александру > Ш. В продолжение всего молебна, а он длится около часа, я стоял в двух шагах от Государя и его матери. Очень хорошо разглядел его. Он очень мал ростом, моложав, с добрыми, светлыми глазами. Наружность не императора.

На открытии были все высшие сановники. Если бы ты знала, что это за разваливающиеся старики! Во время пения вечной памяти Александру III вся зала опустилась на колени. Половина после этого не могла встать. Мне самому пришлось поднимать одного старца — сенатора, который оглашал всю залу своими стонами.

Я был, конечно, самым молодым, в прекрасном, взятом напрокат фраке и шапо-клаке. Чувствовал себя очень непринужденно и держал себя поэтому прекрасно. Расскажу при свидании много интересных подробностей, для которых здесь нет места.

Моя книга, как я узнал недавно, расходится довольно хорошо. Маринина еще лучше. Пока кончаю. Желаю тебе всего, всего хорошего.

Сережа

Чувствую, что ты, дрянь, мне ничего не напишешь.

Итак, два автора новых книг. Оба жаждут отзыва.

Вера прислала Сереже рецензию Михаила Кузмина (Заметки о русской беллетристике. Аполлон. 1912. № 3–4). «Эта свежая и приятная книга, очевидно, написана не для детей и потому, нам кажется, что кроме взрослых, ею особенно заинтересуются дети. Отсутствие моральных тенденций и всяких маленьких пролетариев, униженных и благородных, придает книге характер искренности и правдивости. <…> Остается только пожелать, чтобы автор также порассказал нам что-нибудь и о взрослых. Впрочем, если его больше привлекает детский мир, который им, конечно, не исчерпан, мы и за то благодарим».

Похвала Кузмина дорогого стоит. Вот образец прозы Сергея Эфрона, из рассказа «Волшебница»:

> Через минуту весь дом уже знал, что завтра, с вечерним поездом, приезжает из Петербурга ее (Лены, одной из героинь рассказа. — *И. Ф.)* бывшая гимназическая подруга Мара.
>
> Каждый отнесся к этому известию по-разному: мама — спокойно, Люся — радостно, Андрей — насмешливо («какая такая Мара?»), мы — с любопытством, папа — довольно недоброжелательно.
>
> — Она какая-то сумасшедшая, твоя Мара, — сказал он в ответ на Ленино известие. — Ни в одной гимназии не ужилась, из последнего класса вышла. Что она теперь делает?
>
> — В предпоследнем письме она писала, что выходит замуж, но теперь все расстроилось. Оказалось, что жених выдавал ей чужие стихи за свои.
>
> — Она увлекается стихами?
>
> — Она сама пишет! — гордо ответила Лена.
>
> — А сколько ей лет?
>
> — Семнадцать.
>
> Папа снова принялся за газету. Лена, обиженная за подругу, обратилась к нам:
>
> — Вы рады, что она приезжает?
>
> — А она с маленькими разговаривает?
>
> — Конечно. Она вас даже полюбит.

Как видим, прототипы налицо. Сережа, собственно, писал с натуры. Рассказ состоит из пронумерованных главок, последняя,

шестая — целиком прощальное письмо Мары:

> Дорогие мальчики!
>
> Вы сейчас спите и не знаете, как неблагодарно и неблагородно поступит с вами ваша Мара. Эти две ночи с вами дали мне больше, чем два года в обществе самых умных и утонченных людей. Чего я хочу от жизни? Безумия и волшебства.
>
> С первого взгляда вы признали во мне сумасшедшую, вглядевшись пристальнее — волшебницу.
>
> У меня нет дороги. Столько дорог в мире, столько золотых тропинок, — как выбирать?
>
> У меня нет цели. Идти к чему-нибудь одному, хотя бы к славе, значит отрешиться от всего другого. А я хочу — всего! До встречи с вами я бы сказала: у меня нет друзей. Но теперь они есть. Больше, чем друзья! Так, как я вас люблю, друзей не любят. У меня к вам и обожание и жалость. Да, я жалею вас, маленькие волшебные мальчики, с вашими сказками о серебряных колодцах и златокудрых девочках, которые «по ночам не спят». Златокудрые девочки вырастают, и много ночей вам придется не спать из-за того, что вода в колодцах всегда только вода. Сейчас шесть часов утра. Надо кончать. Я не простилась с вами, потому что слишком вас люблю.
>
> *Мара*
>
> P. S. Не забывайте каждый вечер молиться о маленьком Наполеоне!

Да, это портрет Марины, достаточно точный, вплоть до ее речевого жеста и словаря. В ее биографии она и осталась, эта книжка. По существу, это было соперничество с Мариной на ее поле и ее средствами. То же самое, что и в случае Аси: творчество вдвоем. Чтение стихов Марины голосом Марины.

В большую литературу прозаик Сергей Эфрон не вошел. Кузмин оказался единственным благожелательным критиком. Других, похоже, просто не было.

«Волшебный фонарь» нежданно-негаданно подвергся критике, во многом уничтожающей. Ладно Брюсов, уже замеченный на настороженности к цветаевской лирике, а теперь вынесший беспощадный вердикт в статье о пятидесяти (!) поэтических сборниках «Сегодняшний день русской поэзии» (Русская мысль. М., 1912. Кн. VII): «Верна себе и г-жа Цветаева, продолжая упорно брать свои темы из области узко-интимной личной жизни, даже

как бы похваляясь ею («острых чувств и нужных мыслей мне от Бога не дано»). В конце концов мы могли бы примириться с этим, так как каждый пишет о том, что ему близко, дорого, знакомо, но невозможно примириться с той *небрежностью стиха* (курсив мой. — *И.* Ф.), которой все более и более начинает щеголять г-жа Цветаева. Пять-шесть истинно поэтических красивых стихотворений тонут в ее книге в волнах чисто «альбомных» стишков, которые если кому интересны, то только ее добрым знакомым».

МЦ откликнулась тут же:

Я забыла, что сердце в вас — только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти — критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом…

Как так? Великий поэт? Все-таки? Да. Но — на миг. Показалось.

Обидно задел Гумилёв, два года назад признававший: «Марина Цветаева (книга «Вечерний альбом») внутренне талантлива, внутренне своеобразна. <…>…здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов».

Теперь он бьет наотмашь (Письма о русской поэзии. Аполлон. 1912. № 5):

> Первая книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом» заставила поверить в нее и, может быть, больше всего — своей неподдельной детскостью, так милонаивно не сознающей своего отличия от зрелости. «Волшебный фонарь» — уже подделка и изданная к тому же в стилизованном «под детей» книгоиздательстве, в каталоге которого помечены всего три книги. Те же темы, те же образы, только бледнее и суше, словно это не переживания и не воспоминания о пережитом, а лишь воспоминания о воспоминаниях. То же и в отношении формы. Стих уже не льется весело и беззаботно, как прежде; он тянется и обрывается, в нем поэт умением, увы, еще слишком недостаточным, силится заменить вдохновение. Длинных стихотворений больше нет — как будто не хватает дыхания. Маленькие — часто построены

на повторении или перефразировке одной и той же строки.

Но сокрушительней всех отозвался Сергей Городецкий, написавший по позапрошлогоднему следу Волошина о книге МЦ в контексте женской поэзии, назвав статью «Женское рукоделие» (Речь. 1912. 30 апреля):

> «Волшебный фонарь» Марины Цветаевой, изданный книгоиздательством «Оле-Лукойе» с особенной, интимной роскошью, еще более открыто исповедует права женщины-поэта на какую-то особенную поэзию.
>
> *Прочь размышленья! Ведь женская книга —*
> *Только волшебный фонарь!*
>
> Дело осложняется еще тем, что к причудам женским у Марины Цветаевой присоединяются еще ребяческие.
>
> У нее есть несомненный дар ощущать лирику мгновений, некоторые ее строки близки к настоящим детским переживаниям, но как часто эти качества заглушаются дурной литературой! Вот, напр., вторая строфа стихотворения «В пятнадцать лет»:
>
> *Еще вчера в зеленые березки*
> *Я убегала, вольная, с утра.*
> *Еще вчера шалила без прически,*
> *Еще вчера!*
>
> И недурные эти строки приходится читать после следующей литературы (первая строфа):
>
> *Звенят-поют, забвенью мешая,*
> *В моей душе слова: «пятнадцать лет».*
>
> «Забвению мешая!» Такие неудачи очень часты в стихах Марины Цветаевой. Вообще, в них есть отрава вундеркиндства. В темах детских — поэт по-взрослому ломака. В темах «взрослых» — по-детски неумел. Выдержанных в целом стихотворений, вроде «Домиков старой Москвы», очень немного. Марина Цветаева делает вид, что кто-то запрещает поэзии касаться детства, юности и т. д., что ей надо отвоевывать право на эти

темы. Ничего подобного! Именно теперь возвращается поэзии право касаться всех тем, и надо пользоваться этим правом спокойно, в меру своего таланта, а не своих капризов. Ведь умеет же она так мило рассказывать про встречу влюбленных детей в сквере или на катке! Ведь есть же и сатирическая нота в ее лире («Жар-Птица» и «Эстеты»)!.. Зачем же вундеркиндствовать?

Провал? Похоже. Сережа называет Гумилёва «болван, так же как Сергей Городецкий», Марина реагирует сдержанно (письмо Вере Эфрон от 11 июля 1912 года): «Прочла рецензию в Аполлоне о моем втором сборнике. Интересно, что меня ругали пока только Городецкий и Гумилев, оба участники какого-то цеха. Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду».

Рецензия Городецкого интересней другим: на литературной сцене впервые сводятся Ахматова и Цветаева. Разумеется, в пользу первой:

> Мы расположили ряд этих поэтов (женщин. — *И. Ф.)* в порядке нарастания недостатков женского рукодельничания. Крайне характерно, что на первых местах пришлись две книги, выпущенные цехом поэтов, а именно «Вечер» Анны Ахматовой (восхитительно украшенный фронтисписом Евгения Лансере) и «Скифские черепки» Е. Кузьминой-Караваевой.

Были и благосклонные рецензенты — Б. Ивинский, П. Перцов, С. Логунов. Но не они решали репутацию поэта и его душевное состояние.

«Волшебный фонарь» стал второй серией «Вечернего альбома». Синематограф детства-юности пополнился и завершился картиной прощания с ней.

Я только девочка. Мой долг
До брачного венца
Не забывать, что всюду — волк
И помнить: я — овца.

Мечтать о замке золотом,
Качать, кружить, трясти
Сначала куклу, а потом
Не куклу, а почти…

В моей руке не быть мечу,
Не зазвенеть струне.

Я только девочка, — молчу.
Ах, если бы и мне

Взглянув на звезды знать, что там
И мне звезда зажглась
И улыбнуться всем глазам,
Не опуская глаз!

(«Только девочка»)

Может быть, с этого стихотворения по-настоящему началась МЦ как поэт. Оно безупречно. В нем всё есть, даже обрыв мысли на втором катрене и синтаксическая связка последних строф, столь характерные для будущей Цветаевой. Все то, что Брюсов отнес к «небрежности стиха».

Во второй половине июля чета обретается в деревне Иваньково, под Москвой, на даче артистки Художественного театра Марии Александровны Самаровой, женщины пожилой. Сережа разболелся, вдобавок ко всему подхватив непонятную инфекцию: почти ничего не ест, полное отсутствие аппетита и, кроме того, воспаление десен и нарывы по всему рту, температура до сорока. Погода холодная, льет дождь, дует ветер.

Параллельно — масса забот. Главная забота — покупка дома в Малом Екатерининском переулке (дом номер один), угол 1-го Казачьего. Это старинный особняк в девять комнат. Дом состоит из подвала (кухня, людская), первого этажа (семь комнат) и мезонина — в три комнаты. Расположение комнат старобарское: из передней вход в залу, из залы — в гостиную, из гостиной — в кабинет. Рядом со столовой — маленькая буфетная. Недостает только зимнего сада с фонтаном. От дома идут трамваи на Арбатскую площадь, Лубянскую, Театральную (№ 13, 3) при этом езды до Арбата минут восемь — десять, до Большого театра столько же.

Прежняя владелица дома все никак не выезжает, а уже август, и нетерпеливый ребенок изнутри дает о себе знать.

Все это не исключает основного — поэзии. Есть новости. МЦ — Лиле (9 августа 1912 года):

> Вчера мы купили книгу стихов Анны Ахматовой, к<отор>ую т<а>к хвалит критика. Вот одно из ее стихотворений:
>
> *«Три вещи он любил на свете:*
> *За вечерней пенье, белые павлины*

И стертые карты Америки.
Не любил к<а>к плачут дети,
Чая с малиной
И женской истерики.
— А я была его женой».

Но есть трогательные строчки напр<имер>:

«Ива по небу распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой».

Эти строчки, по-моему, самые грустные и искренние во всей книге.

Ее называют утонченной и хрупкой за неожиданное появление в ее стихах розового какаду, виолы и клавесин.

Она, кстати, замужем за Гумилевым, отцом кенгуру в русской поэзии.

Цитируя Ахматову, МЦ неточна, но это уже вошло в привычку: всё по-своему, без педантизма.

Первая книга Ахматовой «Вечер» вышла в марте 1912 года. В пятом номере «Аполлона» за 1912 год были напечатаны статья Гумилёва о «Волшебном фонаре» и большая панегирическая статья Валериана Чудовского «По поводу стихов Анны Ахматовой» о «Вечере». Довольно скоро МЦ напишет «Стихи к Ахматовой» (1916). МЦ — в цехе, в общем поэтическом цехе, без направленческих этикеток.

В предисловии Михаила Кузмина к ахматовской книге Марина прочла:

> Нам кажется, что она чужда манерности, которая, если у нее и есть, однородна несколько с манерностью Лафорга, т. е. капризного ребенка, привыкшего, чтоб его слушали и им восхищались. Среди совсем молодых поэтов, разумеется, есть и другие, стремящиеся к тонкой и, мы сказали бы, хрупкой поэзии, но, в то время, как одни ищут ее в описании предметов, которые принято считать тонкими: севрских чашек, гобеленов, каминов, арлекинов, рыцарей и мадонн (Эренбург), другие в необыкновенно изощренном анализе нарочито

> причудливых переживаний (Мандельштам), третьи в иронизирующем описании интимной, несколько демонстративно обыденной жизни (Марина Цветаева), — нам кажется, что поэзия Анны Ахматовой производит впечатление острой и хрупкой потому, что сами ее восприятия таковы, от себя же поэт прибавляет разве только Лафорговскую, на наш вкус приятную, манерность.

Тот факт, что в обеих первых книжках Ахматовой и Цветаевой, женщин молодых, царил *вечер,* означал что-то важное и роднящее. Сходство названий бывает случайным, но, пожалуй, не в этом случае.

Пятого сентября 1912 года у Марины с Сережей родилась дочь. Имя ей дали Ариадна. Чуть раньше, 9 августа, родила Ася — мальчика Андрюшу.

Жили Эфроны в Малом Екатерининском. Время бежало, девочка росла, из Ариадны стала Алей, не заметили, как пришел Новый год. Произошел — опять — пожар, но был потушен.

На сочельник поставили елку, в гости пожаловал Иван Владимирович, Алю приносили сверху, из детской, в розовом атласном конверте — еще в том, что подарил Марине дедушка Мейн.

Дочь Ариадна была единственным творческим плодом этого года — стихов Марина в 1912-м не писала. Почти. Задуманная книга «Мария Башкирцева» не состоялась.

Глава четвертая

В феврале 1913 года вышел в «Оле-Лукойе» третий сборник МЦ — «Из двух книг». Сорок прежних стихотворений и новое — «В. Я. Брюсову»:

Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, —
Не изменишь, все равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.

Нужно петь, что все темно,
Что над миром сны нависли…
— Так теперь заведено. —
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано! —

которое адресат прочел, и оно его задело, и с ответа на «жестокие упреки» он начал свою заметку 1913 года, но не опубликовал ее.

МЦ снабдила свой сборник вступлением:

> …Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! Но не только жест — и форму руки, его кинувшей; не только вздох — и вырез губ, с которых он, легкий, слетел. <…>
>
> Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, — все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души.
>
> *Москва, 16 января 1913 г., среда. Марина Эфрон, урожденная Цветаева*

Отзывы были разноречивы. П. Перцов высказался неожиданно: «Эта книжка составилась из двух других сборников, но автор был слишком строг к себе: из «Волшебного фонаря» можно было взять больше». З. Бухарова-Казина: «Будет очень грустно, если этот свежий талант погибнет, как уже погибли многие другие. Хотелось бы посоветовать Марине Цветаевой держаться в стороне от литературной кружковщины и не заражаться никакими модными влияниями, дабы сохранить

милую самобытность ее поэзии». Н. Ашукин: «Стихи М. Цветаевой изящны и музыкальны. В них много чистого, почти детски-наивного, искреннего чувства, хотя эта детскость подчас и утомляет. Интимность в поэзии хороша тогда, когда она обобщена и оправдана внутренним необходимым значением. К сожалению, этой оправданности в стихах Цветаевой часто не бывает».

Крут Владимир Нарбут (Вестник Европы [С.-Петербург]. 1913. № 8):

> Самым уязвимым местом в сборнике «Из двух книг» является его слащавость, сходящая за нежность. Чуть ли не каждая страница пестрит уменьшительными вроде: «Боженька», «Головка», «Лучик», «Голубенький» и т. п. Как образчик употребления таких неудачных сочетаний, можно привести стих<отворение> «Следующему»: «Взрос ты, вспоенная солнышком веточка, рая — явленье, нежный, как девушка, тихий, как деточка, весь — удивленье», — где приторность и прилизанность стиха — чересчур шаблонны.

Нарбут, рассматривая книжку МЦ в паре с «Orientalia» Мариэтты Шагинян, предпочитает последнюю.

Надежда Львова тоже сравнивает (Холод утра. Несколько слов о женском творчестве. Жатва. М., 1914. Кн. 5):

> Книги г-жи Цветаевой и г-жи Кузьминой-Караваевой объединены ясностью и простотой стиха, причем у первой он часто в достаточной мере легок и певуч. Тема ее достаточно известна: это — детство, со всеми его характерными штрихами и наивно-хрупкими переживаниями. Нам кажется, поэт мог бы в своих строфах дать синтез этого забытого нами, капризного мира, — и единственно мешает г-же Цветаевой разбросанность, неслитость чувств и ощущений, отсутствие той глубины, которую видели мы у Нелли и Ахматовой. Слишком поверхностно, по-комнатному, относится она к тому, о чем пишет, берет не те слова, какие могла бы взять, а те, какие первые придут в голову. Г-жа Цветаева как бы забывает, что недостаточно переживать: надо — хотеть воплотить переживание в адекватное ему слово.

Мы вновь упираемся в Брюсова. «Стихи Нелли. С посвящением Валерия Брюсова» — небольшой сборник, всего из

двадцати восьми пьес, изданный без подписи автора: мистификация Брюсова, а Надежда Львова — та девушка, которая через несколько месяцев застрелится из-за несчастной любви к нему, из пистолета, им ей подаренного.

Но, пожалуй, самым существенным в свете дальнейшей судьбы МЦ была реплика Владислава Ходасевича (Русская поэзия. Обзор. Альциона: Альманах издательства «Альциона». М., 1914. Кн. 1.):

> «Волшебный фонарь» — так называется новая книга стихов Марины Цветаевой, поэтессы с некоторым дарованием. Но есть что-то неприятно-слащавое в ее описаниях полудетского мира, в ее умилении перед всем, что попадется под руку. От этого книга ее — точно детская комната, вся загроможденная игрушками, вырезанными картинками, тетрадями. Кажется, будто люди в ее стихах делятся на «бяк» и «паинек», на «казаков» и «разбойников». Может быть, два-три стиха были бы приятны. Но целая книжка в бархатном переплетике, да еще в картонаже, да еще выпущенная издательством «Оле-Лукойе» — нет…

В принципе все сводилось к одному: молодо-зелено и может плохо кончиться.

Жить опасно. Выход «Волшебного фонаря» совпал с кошмаром в жизни сестры Аси: в начале февраля с собой покончил Борис Бобылев, друг ее мужа и платонический пленник ее сердца. Перед этим он подарил ей цианистый калий, на случай совместного ухода. Свою фотографию, ей преподнесенную, он надписал: «Пусть все сгорит!».

До апреля 1913 года Марина, Сережа и Аля живут в «собственном доме» на Полянке, в Малом Екатерининском — угол 1-го Казачьего.

На Сивцевом Вражке — постоянно навещаемые обормоты: в одной квартире обитают Пра, Макс, Лиля и Вера Эфрон. «Полянка» и «обормотник» закончатся весной: в апреле уедут в Коктебель Волошины, а за ними — обитатели «собственного дома».

Стихов весны — лета 1913 года сохранилось десятка полтора, в числе которых «Идешь, на меня похожий…» (3 мая 1913, Коктебель) и «Моим стихам, написанным так рано…» (13 мая 1913, Коктебель). Это — шедевры, это — она, МЦ.

Идешь, на меня похожий,

Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Нелишне упомянуть — МЦ любила эти стихи Макса Волошина:

Не царевич я, похожий
На него — я был иной.
Ты ведь знаешь, я — прохожий,
Близкий всем, всему чужой.

(«Таиах»)

Цветаевский прохожий — Макс? Похоже.
Но перед этим (1908) были и строки Аделаиды Герцык:

— Для меня везде все то же,
Нет предела, нет заката,
Я не друг и не вожатый,
Я — случайный, я — прохожий
По полянам сновидений
Среди песен и забвений.

(«У крутого поворота…»)

Через несколько лет (1925) Сергей Есенин скажет: «В этом мире я только прохожий», а через много лет (1940) — Леонид Мартынов: «Замечали — по городу ходит прохожий?» Нет, этих прохожих породила не Цветаева, их мать — общерусская Муза.

Аделаида Герцык — с сестрой Евгенией — жила в Судаке. Их дом отстроил отец, инженер-путеец. Дом — «Адин дом» — был открыт ветрам и людям. Муж ее Дмитрий Жуковский, выпусник Гейдельбергского университета, еще недавно (1905) издавал журнал «Вопросы жизни», в котором, помимо виднейших современных философов, печатал знаменитых символистов — от Брюсова до Блока и Белого. В 1913-м он как раз стал строить новый дом. Старше Марины на девятнадцать лет, Аделаида Казимировна быстро и взаимно полюбила ее.

МЦ вспоминала:

> …он <Макс> живописал мне ее — немолодая, глухая, некрасивая, неотразимая. Пришла и увидела

только неотразимую. Кстати, одна опечатка — и везло же на них Максу! В статье обо мне, говоря о моих старших предшественницах: «древние заплатки Аделаиды Герцык»… «Но, М<аксимилиан> А<лександрович>, я не совсем понимаю, почему у этой поэтессы — заплатки? И почему еще и древние?» Макс, сияя: «А это не заплатки, это заплачки, женские народные песни такие, от плача».

А потом А. Герцык мне, философски: «Милая, в опечатках иногда глубокая мудрость; каждые стихи в конце концов — заплата на прорехах жизни»

(«Живое о живом»).

Сестры Герцык родились и выросли в Александрове, в той Слободе, где неистовствовал Иван Грозный, на много лет устроив из нее столицу Руси. В Слободе укроются сестры — Герцык и Цветаевы — в год предреволюции, 1916-й. Там будут и заплатки, и заплачки.

В весенне-летнем Коктебеле 1913 года — все они красавцы и красавицы: красавец Сережа, красавица Марина, красавица-принцесса Аля. Это утверждают стихи, фотографии, портреты. Портрет МЦ работы Магды Нахман — яркая блондинка в синем платье на багровом фоне; скульптурные портреты Надежды Крандиевской — раскрашенный гипс и мрамор — головка МЦ в двух вариантах.

Между Мариной и Сережей тишь да гладь. Она зовет его Львом, Лёве, он ее — Рысью, Рысихой. Они взаимно ластятся и урчат.

Однако все непросто. МЦ пишет в Москву:

Коктебель, 28 апреля 1913 г.

Милые Лиля и Вера, Коктебель страшно пуст: никого, кроме Пра и Макса. Дни серые, холодные и дождливые, с внезапными озерами синего неба. Мы живем в отдельном домике, в двух сообщающихся комнатах. Алина — в одно окно (в ней я жила месяц), наша — в два, с видом на горы и на Максину башню — великолепную!

С Максом мы оба в неестественных, натянутых отношениях, не о чем говорить и надо быть милым. Он чем-то как будто смущен, — вообще наше en trois[15] невозможно. Разговоры смущенные, вялые, все всё время начеку.

Может быть это оттого, что он не знает, как

относиться к Сереже. Оба почти не говорят серьезно.

Ничего не произошло и вряд ли произойдет, но все это давит.

Постепенно стали приезжать разные гости. Атмосфера не слишком улучшалась. Порой было неловко, уныло и крикливо: кричали друг на друга сестры Субботины, Капа и Тюня, а Пра осаживала их. Событием становилось, например, мытье автомобиля перед его окраской. Или — групповая прогулка в горы. Какие горы, какие скалы, какое море! Там Сережа, заявив о том, что «талья» у него самая тонкая из всех присутствующих талий, стал примерять пояс возмущенной им Тюни, в результате чего пояс лопнул, а Тюня оскорбилась не на шутку, назвав Сережу свиньей. Смех и грех.

Но центральным сюжетом лета явилось иное, неожиданное: Майя Кювилье (Кудашева) страдательно влюбилась в Макса, он не реагировал. Она тосковала, плакала во многих комнатах у многих, в том числе у Пра, которая говорила:

— Ну зачем вы его выбрали? Что в нем такого? Толстый, с проседью, в папаши вам годится! Любить никого не может, я сама часто плачу из-за этого, я понимаю, как вам должно быть горько. Да плюньте на него! Выбрали бы себе какого-нибудь юношу, стройного, красивого, молодого, вместе бы бегали, вместе бы сочиняли стихи…

— Но я не могу на него плюнуть…

В августе МЦ отправится в Москву с целью продажи дома — вскоре на имя Пра придет телеграмма: «Вчера 30-го час три четверти дня папа скончался разрыв сердца завтра похороны целую — *Марина».*

Иван Владимирович в августе отдыхал на даче под Клином. Его болезнь — грудная жаба (стенокардия) — вроде бы гасла после лечения в Германии. Он задумал книгу об архитектуре древнеримских храмов и готовил ее, собирая материалы и собираясь на зиму в Италию.

Марина с отцом, по ее приезде, увидались в Трехпрудном, поехали вместе в магазин Мюра и Мерилиза — он хотел ей что-нибудь подарить. Она выбрала лохматый плюшевый плед — с одной стороны коричневый, с другой золотой. Отец был необычайно мил и ласков. Когда они проходили по Театральной площади, сверкавшей цветами, он вдруг остановился и, показав рукой на группу мальв, грустно сказал: «А помнишь, у нас на даче были мальвы?» У нее сжалось сердце. Она хотела проводить его на вокзал, но он не согласился: «Зачем? Зачем? Я еще должен в Музей». Он вернулся на дачу под Клином.

Внезапно — удар. Его повезли в Москву железной дорогой, и это было последней точкой в истории его болезни, жизни и любви. С двумя скорбными обручальными кольцами на левой руке он лежал в гробу. На нем горел золотым шитьем опекунский мундир, совершенно не нужный ему при жизни и за который пришлось выложить 700 рублей. Его последний путь завершился соседством с женой и тестем на Ваганьковском кладбище. Ему было шестьдесят шесть. Умирать он не думал — умер без священника, при его-то религиозности. Он был начисто лишен тяги к мистическим воспарениям, однако что было, то было: в сороковой день после его смерти скончался Юрий Степанович Нечаев-Мальцев, сотворец Музея. Ивана Владимировича отпели в университетской церкви Святой мученицы Татианы на Моховой.

Стихов об уходе отца не воспоследовало. У нее вообще не было стихов об отце.

Но смерть приобретала все более определенные очертания. Лирический эгоцентризм все сводит на себя.

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все — как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой,

Виолончель и кавалькады в чаще,
И колокол в селе…
— Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!

— К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,

Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно:
За правду да и нет,
За то, что мне так часто — слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне — прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность,
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру…
— Послушайте! — Еще меня любите
За то, что я умру.

8 декабря 1913

Будучи в Москве, Марина знакомится со старшим братом Сережи — Петром, актером. В феврале 1913 года он вернулся из Швейцарии, где лечился, а до этого в эмигрантском Париже провел несколько лет по причине замешанности в русских революционных делах. В Москву он вернулся глубоко больным. Туберкулез. Злые языки говорили, что Петр со смерти матери был в ссоре с сестрами из-за наследства, обвинял сестер в утайке денег.

Марину охватило смятение. Поразительное сходство с Сережей — и нечто другое, большее. Бурно пошли стихи. Но потом — почти через год. Он, кстати, в свое время окончил гимназию в Благовещенском переулке, который впадает в Трехпрудный.

На пороге осени обостряется Сережин туберкулез. Решено ехать в Ялту, в санаторию Александра III, сдав свой дом в Малом Екатерининском. В сентябре они — Марина, Сережа, дочь Аля и Лиля — в Ялте. Все еще зелено, солнце еще греет. Живут в Общинном переулке, дом Кирьякова. Сережа на пару с приятелем — Соколом[16] — лечатся в санатории, набирают вес. Лёва, то есть Сережа, весит 4И пуда, Сокол четыре без двух фунтов. Но Лёвин нормальный вес, считает Марина, должен быть никак не менее пяти пудов по его росту! Кстати, в Максе было — семь пудов. Главный врач санатории советует Сереже делать операцию

аппендицита и ехать в Москву, ему совершенно не нужна санатория.

Аля растет, худеет, здорова, хотя очень капризна. У нее есть няня — несколько тупа, но очень старательна. Лиля безрезультатно воспитывает ее и Алю. МЦ ведет подробную хронику ее произрастания, день за днем, слово за словом. Аля уже говорит: «куда», «туда», «кукла», «ко» (кот), «мама», «папа», «тетя», «няня», «гулять», «Лиля». Хорошеет с каждым днем и уже понимает, что она — Аля. У нее невыносимый характер. В доме шум, беготня, крик, хозяйка дома в ужасе и чуть было не попросила постояльцев съехать.

Среди общих увлечений — занятия фотографией. Снимаются пейзажи, делаются карточки Али и друг друга. Радостно овладеть такой штукой, как стереоскоп.

> Стереоскоп (*греч.,* от stereos — твердый, плотный, и skopeo — смотрю). Оптический прибор, в виде усеченной пирамиды, имеющей сверху два отверстия для глаз, в которых вставлены оптические стекла; при помощи этого прибора изображения на плоскости кажутся как бы самими предметами в рельефе, причем два одинаковых рисунка, приноровленные для двух глаз, сливаются в один
>
> *(Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / Сост. Чудинов А. Н., 1910).*

В середине сентября Марину посещает новое увлечение — стихами Майи Кювилье. Она, скорее всего, хочет утешить юную — семнадцатилетнюю — поэтессу, памятуя о ее несчастном лете:

> Читаю Ваши стихи — сверхъестественно, великолепно! Ваши стихи единственны, это какая-то detresse musicale![17] — Нет слов — *у меня* нет слов — чтобы сказать Вам, как они прекрасны. В них все — пламя, тонкость, ирония, волшебство. Ваши стихи — высшая музыка. <…>
>
> Я сейчас лежала на своем пушистом золотистом пледе (последний подарок папы, почти перед смертью) и задыхалась от восторга, читая Вашу зеленую с золотом тетрадь.
>
> Ваши стихи о любви — единственны, как и Ваше отношение к любви. Ах, вся Ваша жизнь будет галереей прелестных юношеских лиц с синими, серыми и зелеными глазами под светлым или темным шелком

прямых или вьющихся волос. Ах, весь Ваш путь — от острова к острову, от волшебства к волшебству! Майя, вы — S6nntags-Kind[18], дитя, родившееся в воскресенье и знающее язык деревьев, птиц, зверей и волн.

Вам все открыто, Вы видите на версту под землей и на миллиарды верст над самой маленькой, последней видимой нам звездой. <…>

Майя, у меня план: когда уедет Лиля, приезжайте ко мне недели на две, или месяц, — на сколько времени Вас отпустит мама. Мы будем жить в одной комнате. Вам нужно только деньги на билеты и еду, квартира у меня уже есть.

Письмо не окончено и не отослано. Похвала преувеличена. Но порыв был. Иноязычные вкрапления характерны для прозы МЦ, в том числе эпистолярной, а в данном случае соответствуют стихам Майи, написанным по-русски, по-французски, по-немецки.

Исподволь Ялта становится рутиной, решили сменить обстановку. 16 октября МЦ с Алей и няней едут в Феодосию, собираясь провести там зиму 1913/14 года. Лиля проводила МЦ и Алю до Феодосии и вернулась морем в Ялту. Сережа еще побудет в Ялте, а в декабре его уже оперируют в Феодосии: вырезали слепую кишку. К середине декабря ему становится лучше. Они снимают комнаты у семьи Редлихов на Карантинной горке. Эрнест Морицевич Редлих — отставной военный, художник-любитель, его жена Алиса Федоровна — пианистка, дает уроки музыки. Дом стоит на горе, с садом и видом на море. Подъехала Ася, поселилась неподалеку.

Стихов МЦ пишет мало, но написанным довольна. В ноябре — длинное стихотворение, адресованное дочери:

Аля! — Маленькая тень
На огромном горизонте.
Тщетно говорю: не троньте.
Будет день —

Милый, грустный и большой,
День, когда от жизни рядом
Вся ты оторвешься взглядом
И душой.

День, когда с пером в руке
Ты на ласку не ответишь.
День, который ты отметишь
В дневнике.

День, когда летя вперед,
— Своенравно! — Без запрета! —
С ветром в комнату войдет —
Больше ветра!

Залу, спящую на вид,
И волшебную, как сцена,
Юность Шумана смутит
И Шопена…

Целый день — на скакуне,
А ночами — черный кофе,
Лорда Байрона в огне
Тонкий профиль.

Молодая мать не столько пророчествует, сколько задает программу, скроенную исключительно под себя. Шуман, Шопен, Байрон. Этой осенью Байрон особенно часто являлся ее воображению. Она писала — по-французски — своему конфиденту Михаилу Соломоновичу Фельдштейну по кличке Волчья морда:

> Начнем с того, что прекрасные глаза, недуг и недружелюбие Петра Эфрона два дня не давали мне покоя и продолжают быть моей мечтой еще и теперь — раз в неделю, в течение пяти минут перед тем, как заснуть.
>
> Его худое лицо — совсем не красивое, его истомленные глаза — прекрасные (он как бы не имеет сил открыть их полностью) могли бы стать моей истинной болью, если бы моя душа так гибко не уклонялась бы от всякого страдания, сама же летя в его распростертые объятия. Что еще Вам сказать?
>
> Знаете ли Вы историю другого молодого человека, проснувшегося в одно прекрасное утро увенчанным лаврами и лучами? Этим молодым человеком был Байрон, и его история, говорят, будет и моей. Я этому верила и я в это больше не верю.

Двадцать четвертого сентября она посвящает Байрону стихи:

Я думаю об утре Вашей славы,
Об утре Ваших дней,

Когда очнулись демоном от сна Вы
И богом для людей.

Я думаю о том, как Ваши брови
Сошлись над факелами Ваших глаз,
О том, как лава древней крови
По Вашим жилам разлилась.
……..
Я думаю еще о горсти пыли,
Оставшейся от Ваших губ и глаз…
О всех глазах, которые в могиле.
О них и нас.

Безусловно, здесь больше Петра Эфрона, нежели лорда Джорджа Гордона Байрона (это личное «Вы» с большой буквы, «лава древней крови», «горсть пыли»).

В те дни поздней феодосийской осени МЦ видится с Максом, он очарователен, как в лучшие дни, летних недоразумений как не было. Макс вручил МЦ книжку Ильи Эренбурга «Будни», изданную в Париже (1913). Об этом его попросил автор в письме из Парижа: «Бальмонты говорили, что в Коктебеле сейчас поэтесса Цветаева. Передайте, пожалуйста, ей мою книжечку». Возможно, ему хотелось показать Марине вот такие стихи, действительно ей близкие:

Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,
С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово…

(«О Москве»)

МЦ живо откликается: «Макс, напиши мне, пожалуйста, адрес Эренбурга, — надо поблагодарить его за книгу». 20 декабря Сережа уехал в Москву, вернулся 30-го. В его отсутствие, 26-го числа, она пишет, несколько изменяя Наполеону, «Генералам двенадцатого года»:

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели

И голоса,

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера!

Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!
……..
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие.

Стихотворение посвящено Сергею и стало непредумышленным приглашением на казнь. Он сказал в том году — о чем? — о танго: «Такой танец возможен только накануне мировой катастрофы».

Происходит бурная концертная деятельность. 24 ноября 1913-го — сестры декламируют стихи на открытии благотворительного Еврейского общества помощи бедным. 15 декабря — вместе с Максом участвуют в вечере музыки и поэзии, в Клубе приказчиков. 26 декабря — вечер в Феодосии в Военном собрании.

Тридцатого декабря МЦ с Асей прочли вдвоем стихи об Але на балу в пользу погибающих на водах, был триумф. Утром 31-го выехали к Максу в Коктебель — Марина, Сережа и Ася. Мела метель, дул норд-ост, застревали в снегу, еле-еле добрались. В ночь на Новый год на башне Макса разразился пожар, однако был потушен.

Перезимовали у Редлихов в Феодосии, на улице Анненской. Те их, по слову Макса, «уплемяннили». МЦ по обыкновению сердится на тех, кто ее любит и кто ей симпатичен. Но «дядя» Эрнест слишком плох как живописец, поблескивает стеклянными глазами и пахнет чесноком, а «тетя» Алиса досадно глупа и суетлива. Сережа готовится к экзаменам на аттестат зрелости — под угрозой, в случае неуспеха, по осени загреметь в солдаты. Он занимается у гимназического француза. Аля научилась ходить — почти не падает и почти бегает. Родители на нее не надышатся, у нее за полтора года — девять нянь. Феодосия чудесна, солнечна, ослепительное море, ослепительные стены домов. По весне — бури, ветер сшибает с ног и чуть ли не срывает крышу.

Сережа получил из Петербурга свидетельство о благонадежности — 3 февраля 1914 года канцелярия Таврического губернатора запросила Департамент полиции относительно «сведений, могущих компрометировать политическую благонадежность» С. Я. Эфрона, «проживавшего в Финляндии на ст. Уса-Кирко, в Императорской санатории «Халила», где находился на излечении в течение 5 месяцев 1909 г.». Департамент полиции 17 февраля 1914 года сообщил, что «об упоминаемом лице неблагоприятных в политическом отношении сведений в делах Департамента не имеется».

В эти дни он пишет «Автобиографию»:

> Первые детские воспоминания мои связаны со старинным барским особняком в одном из тихих переулков Арбата, куда мы переехали после смерти моего деда П. А. Дурново — отставного гвардейца Николаевских времен. Это было настоящее дворянское гнездо. Зала, с двумя рядами окон, колоннами и хорами; стеклянная галерея; зимний сад; портретная, увешанная портретами и дагерротипами в черных и золотых овальных рамах; заставленная мебелью красного дерева диванная; тесный и уютный мезонин, соединенный с низом крутой и узкой лесенкой; расписные потолки; полукруглые окна, все это принадлежало милому, волшебному, теперь уже далекому прошлому.
>
> При доме был сад с пышными кустами сирени и жасмина, искусственным гротом и беседкой, в разноцветные окна которой весело било солнце. Чуть только начинала зеленеть трава, я убегал на волю, унося с собою то сказки Андерсена, то «Детские годы Багрова-внука», а позднее какой-нибудь томик Пушкина в

старинном кожаном переплете. Я помню огромное впечатление от стихотворения «К морю». Никогда еще не виденное море вставало передо мною из прекрасных строк поэта, — то тихое и голубое, то бурное. Я бредил им и всем существом стремился наконец узнать «Его брега, его заливы, и блеск, и шум, и говор волн».

Моим чтением руководила мать. Часто по вечерам она читала мне вслух. Так я впервые познакомился с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», «Повестями Белкина», «Капитанской дочкой», «Записками охотника» и другими доступными моему возрасту образцовыми произведениями русской литературы.

Далее он говорит о своей учебе в гимназии Поливанова, о своей болезни и ее четырехгодичном лечении.

МЦ берет на себя хлопоты о Сереже, ищет ходы, знакомства и проч. А Феодосия вся в цвету, всё зелено. Между тем: «Дядя и тетя стали кормить нас гнусными обедами и позорными ужинами».

Ее самооценка достигла достойной планки:

Феодосия, 4-го мая 1914 г., воскресение.

Я не знаю женщины, талантливее себя к стихам. — Нужно было бы сказать — человека. <…>

«Второй Пушкин», или «первый поэт-женщина» — вот чего я заслуживаю и м<ожет> б<ыть> дождусь и при жизни. Меньшего не надо, меньшее плывет мимо, не задевая ничего. Внешне я очень скромна и даже стесняюсь похвал.

Правда, в этой записи она озабочена сознанием того, что у нее, могущей писать, как Пушкин, налицо *«просто полное неимение драматических способностей».* В скором будущем она займется безудержным поиском в себе именно этих способностей. То есть цель — Пушкин. Плюс Грибоедов.

Она неудержимо деятельна, по Сережиным делам посетила знакомца отца, директора гимназии Сергея Ивановича Бельцмана, просидела у него часа три, ела апельсины, говорила об «Уединенном» Василия Розанова и пересмотрела всех кукол его трехлетней дочери — счетом 60.

Она пускается в переписку с автором «Уединенного», называет его гениальным, благодарит за его некролог отцу, курс которого он прошел в свое время, и за верные слова о Марии Башкирцевой, посылает сборник «Из двух книг», заранее уверена в том, что стихи ему понравятся.

Розанов откликается, и МЦ берет быка за рога — переводит

переписку на деловую ногу. Призывает Розанова вмешаться в судьбу Сережи, это у него обязательно получится, поскольку директор гимназии *«на Вас молится»* и должен читать в каком-то собрании реферат о розановском творчестве. Гениев надо учить жизни, и Марина учит:

> Так слушайте: тотчас же по получении моего письма пошлите ему <директору> 1) «Опавшие листья» с милой надписью, 2) письмо, в котором Вы напишете о Сережиных экзаменах, о Вашем знакомстве с папой и — если хотите — о нас. Письмо должно быть ласковым, милым, «тронутым» его любовью к Вашим книгам, — *ни за что не официальным.* Напишите о Сережиной болезни (у директора уже есть свидетельства из нескольких санаторий), о его желании поступить в университет, вообще — расхвалите.
>
> О возможности для Сережи воинской повинности не пишите ничего.
>
> Директор с ума сойдет от восторга, получив письмо и книгу, Вы для него — Бог.
>
> Судьба Сережиных экзаменов — его жизни — моей жизни — почти в Ваших руках.
>
> С<ереже> я ничего не говорю об этом письме, — не потому что не уверена в Вас — напротив, совершенно уверена!
>
> Но он в иных случаях мнителен и сейчас особенно — из-за этих чертовских занятий.
>
> Папа еще перед смертью — за день! — говорил о Сережиных занятиях, здоровье, планах, говорил очень заботливо и нежно — и обещал весной написать директору.
>
> Обращаюсь к Вам, как к папе.

По-видимому, именно так Марина воспитывала и Ивана Владимировича. Розанов действительно по-отечески отнесся к дочерям Ивана Цветаева, Ася навестила его в Петербурге, он показывал ей Достоевские места, консультировал относительно тем, ее интересующих, в частности в вопросе о Боге. Живчик Ася первой, еще раньше, вышла на мэтра в эпистолярной форме, Марина перехватила эстафету.

Переписка прервалась.

Пятого июня 1914 года МЦ пишет Вере Эфрон из Коктебеля: «…пишите о Пете и передайте ему эту записочку». «Записочка» — это стихотворение о первой встрече с Петром Яковлевичем в августе 1913 года в Москве. Написано на двойном листе писчей

бумаги в клетку, нижний край второго листа оторван, лист сложен втрое и надписан: «Пете».

П. Я. Эфрону

День августовский тихо таял
В вечерней золотой пыли,
Неслись звенящие трамваи,
И люди шли.

Рассеянно, к<а>к бы без цели
Я тихим переулком шла,
И, помнится, — тихонько пели
Колокола.

Воображая Вашу позу,
Я всё решала по пути,
Не надо ли, иль надо розу
Вам принести.
…….
Пусть с юностью уносят годы
Всё незабвенное с собой,
— Я буду помнить все разводы
Цветных обой,

И бисеринки абажура,
И шум каких-то голосов,
И эти виды Порт-Артура,
И стук часов.
……
Но было сразу обаянье
— Пусть этот стих, к<а>к сердце прост!
Но было дивное сиянье
Двух темных звезд.

И их, огромные, прищуря,
Вы не узнали, нежный лик,
Какая здесь играла буря
Еще за миг!

Я героически боролась,
— Мы с Вами даже ели суп! —
Я помню несказанный голос,
И очерк губ,

И волосы, пушистей меха,
И — самое родное в Вас —
Прелестные морщинки смеха
У длинных глаз.

Я помню — Вы уже забыли —
Вы там сидели, я вот тут.
Каких мне стоило усилий,
Каких минут

Сидеть, пуская кольца дыма
И полный соблюдать покой.
— Мне было прямо нестерпимо
Сидеть такой!

Вы эту помните беседу
Про климат и про букву ять?
— Такому странному обеду
Уж не бывать!

— «А Вам не вредно столько перца?»
Я вдруг вздохнула тяжело,
И что-то до сих пор от сердца
Не отлегло.

Потеряно, совсем без цели
Я темным переулком шла.
И, кажется, уже не пели
Колокола.

Коктебель, 6-го июня 1914, пятница.

В июне 1914-го Марина с Асей — в Коктебеле, людей почти нет, хотя полны все дачи, — настроение отвратительное. Макс очень раздражителен и груб, ни с кем почти не говорит. С Пра у него плохие, резкие отношения и ей, по ее словам, все равно, уедет ли он в Базель, или здесь останется. Сестры живут очень отдельно, обедают у себя в комнатах, видятся с другими, кроме Пра и Майи Кювелье, только за чаем, по полчаса три раза в день.

В это время Сережа героически сдал 25 (подсчет Марины) экзаменов. Аттестат зрелости получен 19 июня. Марина ликует:

Т<а>к хвастаться фамилией Эфрон,
Отмеченной в древнейшей книге Божьей,

Всем объявлять: «Мне 20 лет, а он —
Еще моложе!»

Я с вызовом ношу его кольцо,
С каким-то чувством бешеной отваги.
Чрезмерно узкое его лицо
Подобно шпаге.

Печален рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей,
Его глаза — прекрасно-бесполезны —
Под крыльями распахнутых бровей —
Две бездны.

Мне этого не говорил никто,
Но мать его — магические звенья! —
Должно быть Байрона читала до
Самозабвенья.

(«Нет, я пожалуй странный человек…»)

Макс, выслушав эти строки, впервые в жизни на ее стихи сказал «нет».

А в июле Марина с Сережей и Алей — в Москве. Марина дважды навещает умирающего Петра Яковлевича в частной лечебнице Шимона на Яузском бульваре. 10 июля пишет ему:

> Я ушла в 7 часов вчера, а сейчас 11 утра, — и все думаю о Вас, все повторяю Ваше нежное имя. (Пусть Петр — камень, для меня Вы — Петенька!) Откуда эта нежность — не знаю, но знаю — куда: в вечность! Вчера, возвращаясь от Вас в трамвае, я все повторяла стихи Байрону, где каждое слово — Вам.
>
> К<а>к Вы адски чутки! <…>
>
> Слушайте, моя любовь легка. Вам не будет ни больно, ни скучно. Я вся целиком во всем, что люблю. Люблю одной любовью — всей собой — и березку, и вечер, и музыку, и Сережу, и Вас.
>
> Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлебывающемуся «ах!»

Вы для меня прелестный мальчик, о котором — сколько бы мы ни говорили — я все-таки ничего не знаю, кроме того, что я его люблю.

Не обижайтесь за «мальчика», — это все-таки самое лучшее! <…>

Вы первый, кого я поцеловала после Сережи. Бывали трогательные минуты дружбы, сочувствия, отъезда, когда поцелуй казался необходимым. Но что-то говорило «нет!» Вас я поцеловала, потому что не могла иначе. Все говорило «да!»

Он угасает. За две недели до его смерти она передает ему письмо:

Мальчик мой ненаглядный!

Сережа мечется на постели, кусает губы, стонет. Я смотрю на его длинное, нежное, страдальческое лицо и все понимаю: любовь к нему и любовь к Вам. Мальчики! Вот в чем моя любовь. Чистые сердцем! Жестоко оскорбленные жизнью! Мальчики без матери! Хочется соединить в одном бесконечном объятии Ваши милые темные головы, сказать Вам без слов: «Люблю обоих, любите оба — навек!»

Написано ночью 14 июля 1914 года[19]. 15-го Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 16-го МЦ пишет:

Война, война! — Кажденья у киотов
И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов,
Народных ссор.

На кажется-надтреснутом канате
Я — маленький плясун.
Я — тень от чьей-то тени. Я — лунатик
Двух темных лун.

Он умер 28 июля.

Эту пору, этот июль нам стоит запомнить. Впервые Маринино сердце вылетело за черту, мимо Сергея. Это немедленно отозвалось на стихах. Музе было тесно в тереме супружества. Дневник перерастал себя. Это случилось накануне планетарной бури. Мир «твоей девочки» кончался.

Быстро настала осень. По Москве шли маршевые роты и

немецкие погромы. Сережа поступил на историко-филологический факультет Московского университета, ему дали отсрочку от призыва. Молодая семья Эфронов оказалась без крыши над головой. Дом в Трехпрудном для них пропал навсегда. Дом в Малом Екатерининском, в котором родилась Аля, стал сумасшедшим в прямом смысле — там разместили людей с поврежденной психикой. С ним пришлось проститься. Выручая от его сдачи некоторую сумму денег, Марина искала кров — и нашла.

Борисоглебский переулок, дом 6, квартира 3, в районе Поварской. Шесть комнат, кроме кухни. Одну комнатку вообще можно сдать. Квартира двухэтажная, с мансардой, расположение комнат причудливо, в одной из комнат — потолочное окно прямиком в небо, в обширной зале — три окна во двор — будет жить Аля. У каждого по своей комнатке. Марина в восторге.

В соседнем строении по тому же адресу весной 1913-го — недолго — жила терпящая любовное бедствие Ася. То был шестикомнатный флигель, в котором у Аси накоротке укрылся от любовных неурядиц и брат Андрей. Он там еще и заболел, и был выхожен сестрой. Чуть не там же в свое время стоял дом, где рос отрок Александр Пушкин, пока не отправился в Лицей.

Хор церквей тесно окружал это место — Николая Чудотворца на Курьих Ножках, Рождества Христова в Кудрине, Бориса и Глеба, Ржевской иконы Богоматери, Симеона Столпника и Большого Вознесения. Все они пели.

В октябре 1914-го МЦ вернулась к стихам. Для Сергея это станет убийственной напастью. В том месяце Марина познакомилась с Софией Парнок, это было в доме Аделаиды Герцык, в Кречетниковском переулке. Маринина муза устремилась к музе, возможно родственной ей. Искушение, соблазн, авантюра, прилюдный риск, рисовка и сладострастие, любопытство и безотчетность — было всё.

Эксперименты времени, допускавшего эрос без границ, оправдывались оглядкой на античность. Сам Эрос освобождался от основного инстинкта, переходя в разряд чистой божественности. Пол охватывался идеей Преображения. Об этом много теоретизировал Максимилиан Волошин, письменно и устно. Он писал и говорил в лекции «Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову «Пиру»)», и эти речи были усвоены Мариной навсегда:

> Истинный путь Эроса — это, начав с красот земных, подняться до красоты вечной. Подыматься словно по ступеням лестницы, переходя от одного прекрасного

тела к другому, от двух ко многим, от красивых тел к прекрасным деяниям, от деяний к знаниям, до тех пор, пока, переходя от одних к другим, не дойдешь до совершенного знания самой Красоты, пока не познаешь Прекрасное само по себе. <…>

Реми де Гурмон в своей книге «Physique de l'Amour» говорит со всей грубою точностью естественно-научного жаргона:

«Самка — это механизм, который для того, чтобы прийти в движение, должен быть заведен ключом. Самец — это ключ. Были сделаны опыты оплодотворения при помощи фальшивых ключей. Посредством различных химических раздражителей — кислот, алкалоидов, сахара, соли, алкоголя, эфира, хлороформа, стрихнина, газа, углекислоты удавалось вызвать цветение морских звезд и оплодотворение морских ежей».

Вся инволюция лежит в женской стихии. Пол в женском, а не в мужском. Вечно-женственное — идеал пола. Вечно-мужественное — идеал Эроса. Но в человеческом мире это не совсем так, потому что все мы гермафродиты в духе своем, и разделение физической стихии в человеке стало почти формально. Самосознанием человек стоит уже вне пола. <…>

Все сладостные, чудовищные, страшные и мистические виды любви, которые искушающий и многохитрый пол рассеял по всем ступеням великой лестницы живых существ, соединены в человеке, и по тайной индусской «Кама Сутра» они составляют шестьсот шестьдесят шесть фигур любви — «Veneris figurae», изображавшихся на стенах древних храмов и на алтарях Афродиты Пестропрестольной.

Через шестьсот шестьдесят шесть символических ступеней звериного естества, через 666 различных видов страстного огня, должен пройти божественный дух, чтобы просиять алмазным светом высшей мудрости, которая в единой руке соберет все нити физической природы и сделает человека действительным, верховным повелителем ее.

В этом смысл стихотворения Вячеслава Иванова.

Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три
обряда,
Где страстная ранит разно многострастная

услада,
На два пола — знак Раскола — кто умножит, сможет
счесть:
Шестьдесят и шесть объятий и шестьсот приятий
есть.
Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три
дороги —
Слабым в гибель, — чьи алмазны светоносные сердца,
Тем на подвиг ярой пытки, — риши Гангеса и йоги
Развернули в длинном свитке от начала до конца.
В грозном ритме сладострастий, к чаше огненных
познаний
Припадай, Браман, заране опаленным краем уст,
Чтоб с колес святых бесстрастий клик последних
заклинаний
Мог собрать в единой длани все узлы горящих узд.

<…> Если бы первый стих Евангелия от Иоанна был написан Парменидом, он звучал бы так:

«В начале был Эрос. И Эрос был у Бога, и Эрос был Бог».

Тождество Христа и Эроса в первые века христианства было так очевидно, что Христос изображался в катакомбах в виде Эроса, ведущего за руку душу Психею, — знаменательный символ, который дает ключ к пониманию нисходящего и восходящего тока, проходящего через человека.

Такая эпоха — глобальная эмансипация всех видов, запретов нет, или их надо расшвырять. У МЦ это все изумляющим образом связано с воскрешением родовой православности, в смеси с цыганщиной и русским фольклором, уже олитературенным. Возможно, Ярославна из «Слова о полку Игореве» у МЦ (в «Плаче Ярославны») больше напоминает Анну Ярославну, королеву Франции — страны, откуда пришло к МЦ большинство ее пристрастий и культурных образцов.

Как поэт — тематически — МЦ не открыла ничего нового. Уже отшумели «Крылья» Михаила Кузмина (1906), где роман как литературный жанр бледнел перед беллетризованным романом героя с банщиком. Публично отвозмущался по этому поводу Василий Розанов, продолжая вовлекаться в тему втайне. Эта тема у МЦ — еще и дочерний бунт против Розанова.

С воздушно-каменной башни на Таврической улице Петербурга в 1907-м спустились «Тридцать три урода», роман Лидии Зиновьевой-Аннибал, — откровения лесбийской любви (книгу запрещают) и сборник ее рассказов «Трагический зверинец». Чуждый этой теме, Александр Блок назвал «Трагический зверинец» «замечательной книгой» (в том смысле, что «писательница овладела словами… которые она избрала себе в бездне языка, которых искала мятежно и наконец обуздала, как диких коней; это — слова о забытом и страшном… Вся книга говорит о бунте, о хмеле, о звериной жалости и о человеческой преступности. Об этом любят говорить утонченно; Зиновьева-Аннибал сказала об этом как варвар, по-детски дерзостно, по-женски таинственно, и просто, как может сказать человек, чего-то единственно нужного не передавший»[20]), сердечно и возвышенно говорит о поэзии Кузмина.

Вячеслав Иванов издает книгу «Эрос» (1907), а затем «Cor ardens»[21] (1911–1912), в которых недвусмысленно говорится о премногих прихотях Эрота, в том числе о любовной связке трех лиц, и одно из них в реальности — то Сергей Городецкий, то Маргарита Сабашникова, разрывная драма Волошина.

Портрет Блока кисти Константина Сомова — сияние тончайшего эротизма. Сомов же сделал фронтиспис к «Cor ardens». Художническое содружество «Мир искусств» пропитано колористикой любовной изысканности, равно античной и куртуазной.

Сергей Дягилев разворачивает свою могучую деятельность, интимные предпочтения сделав публичными.

Зинаида Гиппиус и София Парнок в качестве литкритиков пользуются мужскими псевдонимами, тем самым утверждая не однополость, но размежеванную двуполость: поэзия — женское, суд над ней — мужское.

Николай Клюев, не оставляя голубиных нежностей с Есениным, поет сиротские «Избяные песни» (1915–1917).

На дворе война, чума и пир.

Еще недавно — в XIX веке — это не было темой на вынос. Ни в литературе, ни в социуме. 995-я и 996-я статьи Уголовного кодекса Российской империи, касаемые мужеложства, применялись крайне редко.

О нравах городских бань знали все. В одном только Петербурге на 1874 год было 312 бань, этих легальных филиалов бесчисленных потайных домов терпимости. В конце XIX века по России прошла пандемия сифилиса, жертвами которой оказались все слои населения, прежде всего учащаяся молодежь — студенты и гимназисты.

Все нетрадиционное — и мужское, и женское — было распространено в крестьянских религиозных сектах Поволжья и на Русском Севере. Там прошел школу юношества Кузмин, Клюев был из хлыстов. Не в бузинных ли зарослях Тарусы Марина подсмотрела что-то такое…

Не все знали, что происходило на Руси в прежние века. Один рифмач из англичан, гость Московии, в XVI столетии посылал эпистолы друзьям на Туманный Альбион с такой информацией о руссе:

Распущенный дикарь, он мерзости творит
И тащит отрока в постель, отринув срам и стыд[22].

Европа давно сжилась с положением вещей, но эксцесс Оскара Уайльда вызвал вселенский скандал (1895), а затем поветрие и моду.

У МЦ всё по-своему. Эта тема ей — возможно, инстинктивно — понадобилась в качестве средства раскачки стиха и выхода в новые пространства именно стиха. Маскулинные футуристы — прежде всего Маяковский — работали в том же направлении.

В случае МЦ это не вопрос пола, не отвлеченность, а внутреннее устройство. Случайно ли еще «Вечерний альбом» начат сонетом «Встреча»? Там говорится:

С той девушкой у темного окна
— Виденьем рая в сутолке вокзальной —
Не раз встречалась я в долинах сна.

Но почему была она печальной?
Чего искал прозрачный силуэт?
Быть может ей — и в небе счастья нет?..

София содержательна, очень умна, властолюбива и несчастна, росла сиротой. Еще один вариант Марии Башкирцевой. Но это взрослая женщина. «Незнакомка с челом Бетховена». На музыку блоковской «Незнакомки» — Цветаева (из цикла «Подруга»):

Как в час, когда народ расходится,
Мы нехотя вошли в собор,
Как на старинной Богородице
Вы приостановили взор.

Как этот лик с очами хмурыми
Был благостен и изможден
В киоте с круглыми амурами
Елисаветинских времен.
…..
Как голову мою сжимали Вы,
Лаская каждый завиток,
Как Вашей брошечки эмалевой
Мне губы холодил цветок.

Как я по Вашим узким пальчикам
Водила сонною щекой,
Как Вы меня дразнили мальчиком,
Как я Вам нравилась такой…

(«Как весело сиял снежинками…»)

Место Незнакомки занимает подруга. От Вечной Женственности остается лишь музыка стиха и вечная женскость. Не очи синие бездонные, цветущие на дальнем берегу, но очи хмурые Богородицы. Кощунственная ласка внутри храма. Не перья страуса, но брошечка. Чело Бетховена в страусиных перьях — нонсенс.

История любви, от знакомства до разрыва. Семнадцать стихотворений. По крайней мере одно из них — редкостного звучания:

Есть имена, как душные цветы,
И взгляды есть, как пляшущее пламя…
Есть темные извилистые рты
С глубокими и влажными углами.

Есть женщины. — Их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. — Зачем тебе, зачем
Моя душа спартанского ребенка?

Вознесение, 1915

(«Есть имена, как душные цветы…»)

Это аллюзия на начало романа Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода»: «Ее лицо было заплакано, и слезы капали отовсюду: из глаз, из носу и из глубоких врезов в углах ее губ, которые делают ее рот трагичным», а также отзвук Брюсова: «Есть думы-женщины, глядящие так строго…» («Скука жизни», 1902), но в основе, как это ни парадоксально, по способу запева, — Некрасов: «Есть женщины в русских селеньях».

Девочка-мальчик, спартанский ребенок. Какой же тут пол — речь о душе. Подобных нот — жалостливости и покорности — у МЦ, кажется, нет нигде. Ну, разве что: «Мой милый, что тебе я сделала?» («Вчера еще в глаза глядел…», 1920). Но это общий вопль женщин всех времен, а цикл «Подруга» первоначально назывался «Ошибка» — плод собственного, частного опыта. Совместное житье, поездки по разным городам (Ростов Великий, Петербург, Харьков), схватки из-за лидерства, ссоры, скандалы, ревность, ненависть, отчаяние, война характеров — весь набор смутной, слепой, незаконной страсти, не говоря о фантасмагорическом Маринином хотении понести ребенка от возлюбленной. В стихах все это гармонизовано, наяву — дребезг и раздрай. На материнское приключение безоблачно смотрит Аля, которую Марина приводит к Соне в Хлебный переулок, по соседству, и пока Марина с Соней читают друг другу стихи, голубоглазая девочка играет с живой обезьянкой, любимицей Сони.

Этот «шлем» и название книги Парнок «Вполголоса» (1926) сами по себе попадут намного позже в стихотворение Пастернака «Лето в городе»:

Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка.
Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.

1953

София Парнок, под своим именем, хвалебно писала о нем в статье «Б. Пастернак и другие» (1924), не жалуя Цветаеву и Мандельштама, и он был одним из тех немногих, кто хоронил ее,

умершую в нищете (1933).

Мандельштам, еще в девятнадцатом году обронив чудный стих «Обула Сафо пестрый сапожок…», откликнется — с некоторых пор не читая и почти не зная того, что писала МЦ, — на цветаевскую ноту через много лет: «Есть женщины сырой земле родные…».

Был ли ответ со стороны Софии? Был, и не один, много стихов, под знаком Сафо, ее строки: «Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою…».

«Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою» —
Ах, одностишья стрелой Сафо пронзила меня!
Ночью задумалась я над курчавой головкою,
Нежностью матери страсть в бешеном сердце сменя, —
«Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою».

Вспомнилось, как поцелуй отстранила уловкою,
Вспомнились эти глаза с невероятным зрачком…
В дом мой вступила ты, счастлива мной, как обновкою:
Поясом, пригоршней бус или цветным башмачком, —
«Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою».

Февраль 1915 (?)

«Цветной башмачок», «пестрый сапожок» — одно и то же, как будто Мандельштам наблюдал, если не подглядывал, за подругами.

Две женские музы-соперницы, можно сказать, спелись. Аналогов нет. Но действительность мстит. За бред и морок поэзии отвечают живые люди, окружающие поэта. Сережа не самец и не борец, однако — рвется на фронт, у него отсрочка, но уже нет ничего, что могло бы удержать его в том ужасе, который охватил его бедное, ранимейшее сердце. Форма выхода нашлась — бросив университет (без отчисления), он становится братом милосердия в санитарном поезде.

Весна пятнадцатого года в Москве холодная, осенняя. В поезде № 182 Всероссийского Земского союза помощи больным и раненым воинам сестрой милосердия уже работает Вера Эфрон. Сережа мрачен и рассеян, пишет письма, в почтовый ящик вместо конверта опускает рублевую бумажку.

В конце марта Сережа, в чине зауряд-прапорщика, отбывает из Москвы, в поезде № 187, с ним едет, сестрой милосердия, Ася (Василиса) Жуковская, племянница Дмитрия Жуковского, а провожают их МЦ, Ася Цветаева и Михаил Минц, инженер-химик,

новое увлечение Аси: у него ноша — шесть экземпляров Асиной книжки «Королевские размышления». Ему-то и посвящено стихотворение МЦ:

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Асе Жуковской и Сереже устроиться вместе удалось не сразу. В Земском союзе их приняли за влюбленных и не пожелали содействовать ослаблению нравов, отправляя в одном поезде. Они просто друзья. За окном бесконечные ряды рельсов запасных путей. Все время раздаются свистки паровозов, мимо летят санитарные поезда, воинские эшелоны — фронт близко. Их поезд базируется в Белостоке, близ Варшавы.

Польша, кровное место Марины. В Седлеце, пока стоял поезд, Сережа с двумя товарищами по поезду отправился на велосипеде по окрестностям городка. Захотелось пить. Зашли в маленький домик у дороги и у старой-старой польки, которая сидела в кухне, попросили воды. Она засуетилась и пригласила их в парадные комнаты. Там их встретила молодая полька с милым грустным лицом. Когда пили, она смотрела на них и обратилась к Сереже:

— О, почему пан такой мизерный[23]? Пан ранен?

— Нет, я здоров.

— Нет, нет, пан такой скучный и мизерный. Пану нужно больше кушать, пить молоко и яйца.

Третьего января этого, 1915 года МЦ сказала:

Безумье — и благоразумье,
Позор — и честь,
Все, что наводит на раздумье,
Все слишком есть —

Во мне. — Все каторжные страсти
Свились в одну! —
Так в волосах моих — все масти
Ведут войну!

Я знаю весь любовный шепот,

— Ах, наизусть! —
— Мой двадцатидвухлетний опыт —
Сплошная грусть!

Но облик мой — невинно розов,
— Что ни скажи! —
Я виртуоз из виртуозов
В искусстве лжи.

В ней, запускаемой как мячик,
— Ловимый вновь! —
Моих прабабушек-полячек
Сказалась кровь.

(«Безумье — и благоразумье…»)

Да, польки бывают разные. Еще шажок — и подать рукой до Марины Мнишек. Кто знает, не подвез ли МЦ к этой станции санитарный поезд № 187?

В начале июня МЦ едет в Коктебель, с дочерью и ее няней, в обществе Софии Парнок и ее младшей сестры Елизаветы, а также сестры Аси с сыном и его няней. На юг она берет «Собрание сочинений графини Е. П. Ростопчиной» (СПб., 1910) и «Стихотворения К. Павловой» (М., 1863). Кстати, двухтомник последней в этом же 1915 году составил и выпустил Брюсов.

Поезд № 187 подвозит раненых и отравленных газом с позиций в Варшаву. Сережа пишет сестре Лиле:

14 июня Воскресение
1915

…В нас несколько раз швыряли с аэропланов бомбы — одна из них упала в пяти шагах от Аси <Жуковской> и в пятнадцати от меня, но не разорвалась (собственно не бомба, а зажигательный снаряд).

После Москвы нас, кажется, переведут на юго-западный фронт — Верин поезд уже переведен туда.

Меня страшно тянет на войну солдатом или офицером и был момент, когда я чуть было не ушел и ушел бы, если бы не был пропущен на два дня срок для поступления в военную школу. Невыносимо неловко мне от моего мизерного братства — но на моем пути столько неразрешимых трудностей.

Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду бояться смерти. Убийство на войне меня

сейчас совсем не пугает, несмотря на то, что вижу ежедневно и умирающих и раненых. А если не пугает, то оставаться в бездействии невозможно. Не ушел я пока по двум причинам — первая, страх за Марину, а вторая — это моменты страшной усталости, которые у меня бывают, и тогда хочется такого покоя, так ничего, ничего не нужно, что и война-то уходит на десятый план.

Здесь, в такой близости от войны, все иначе думается, иначе переживается, чем в Москве — мне бы очень хотелось именно теперь с тобой поговорить и рассказать тебе многое.

Солдаты, которых я вижу, трогательны и прекрасны. Вспоминаю, что ты говорила об ухаживании за солдатами — о том, что у тебя к ним нет никакого чувства, что они тебе чужие и т<ому> п<одобное>. Как бы здесь у тебя бы все перевернулось и эти слова показались бы полной нелепостью. <…>

— Ася очень трогательный, хороший и значительный человек — мы с ней большие друзья. Теперь у меня к ней появилась и та жалость, которой недоставало раньше. <…>

У меня на душе бывает часто мучительно беспокойно и тогда хочется твоей близости.

Пра и Марина пишут, что Аля поправляется и загорела. Сидит все время у моря, копаясь в Коктебельских камнях.

В Коктебеле Макса не было: застрял во Франции. На волошинском берегу появляется Осип Мандельштам, к нему подъезжает брат Александр. Макс очень любит стихи Мандельштама и помнит его еще совсем юным мальчиком. Осип на ходу знакомится с отстраненно-отсутствующей Мариной, а досуги проводит с Асей Цветаевой и Елизаветой Парнох (Парнок). Он напуган: надо уезжать — надвигается холера. Он не любит стихи Софии Парнок и очень ценит стихи МЦ. Его разыграли, выдав стихи Парнок за цветаевские, и он весьма расхвалил их. Пра огорчена — он устраивает запруды в комнате, бросает окурки на диван и книги на террасу. Она запрещает ему ходить в Максову библиотеку, где он постоянно учиняет беспорядок. Пра в письмах жалуется Максу, она совсем не может понять стихов Осипа и его декламации, а в стихотворении «Обиженные овцы на холмы…», сочиненном на ее глазах, по ее мнению, есть явные неточности, в частности, «как жердочки, мохнатые колени» не соответствуют портрету овец, здешних по крайней мере.

А война — идет. Сережа потрясен прифронтовыми кошмарами, в июле он бросает работу в поезде. В Коктебеле боятся холеры, гости Пра разбегаются, в августе МЦ вместе с Парнок гостит у ее знакомых в Святых Горах — это город на берегу Северского Донца, знаменитый своими меловыми горами и монастырем. Ее состояние — страшное беспокойство и тоска: сидят при керосиновой лампе-жестянке, сосны шумят, газетные известия не идут из головы, она не знает, где Сережа, и пишет наугад то в Белосток, то в Москву, без надежды на скорый ответ. Он ей навсегда родной, она никуда и никогда от него не уйдет. От Сони — тоже…

На душе ее — страшная тяжесть.

В августе Сереже удалось отдохнуть в Коктебеле, под крылом усталой и ласковой Пра: он живет в комнате Макса. Тяжесть и на душе Сережи. Его приятели уходят воевать — по мере втягивания России в войну отсрочки разного рода отменялись решениями военного ведомства.

С осени он возобновил занятия в Московском университете.

Марина пишет много и нередко замечательно. У поэтов, производящих стихи потоком, а не раз в году, жемчужины возникают почти нечаянно.

Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь — уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки
И думаю, глядя в ночь:

Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.

Октябрь 1915

Внезапно с Сережей произошел разворот: в ноябре 1915 года он поступил в Камерный театр и прослужил там до закрытия сезона перед Великим постом — 21 февраля 1916-го. Он участвовал в спектакле «Сирано де Бержерак» в роли 2-го гвардейца. Это было время, когда театр бедствовал, находясь на грани исчезновения, — меценаты потеряли к нему интерес. Собственно, Сережа прислонился к сестре Вере, которая, уйдя из сестер милосердия, служила в Камерном, была занята в спектаклях «Сакунтала», «Сирано де Бержерак», «Фамира-Кифаред». Он живет в номерах «Волга»: это меблированные

комнаты на Садово-Черногрязской улице в Москве — с репутацией пристанища богемы.

Под занавес года МЦ пишет Лиле:

Москва, Поварская, Борисоглебский пер<еулок> д<ом> 6, кв<артира>3 21-го декабря 1915 г.

Милая Лиленька,

Сейчас все витрины напоминают Вас, — везде уже горят елки.

Сегодня я покупала подарки Але и Андрюше (он с Асей на днях приедет). Але — сказки русских писателей в стихах и прозе и большой мячик, Андрюше — солдатиков и кубики. Детям — особенно таким маленьким — трудно угодить, им нужны какие-то особенные вещи, ужасно прикладные, вроде сантиметров, метелок, пуговиц, папиросных коробок, etc. Выбирая что-нибудь заманчивое на свой взгляд, тешишь, в конце концов, себя же.

— Сейчас у нас полоса подарков. Вере мы на годовщину Камерного подарили: Сережа — большую гранатовую брошь, Борис <Трухачев> — прекрасное гранатовое ожерелье, я — гранатовый же браслет. Сереже, на его первое выступление в Сирано 17-го декабря (это был день премьеры спектакля. — *И. Ф.)* я подарила Пушкина изд<ание> Брокгауза *(Пушкин А.* Сочинения / В 6 т. Пг., Брокгауз-Ефрон. 1907–1915. — *И. Ф.)*. На Рождество я дарю ему Шекспира в прекрасном переводе Гербеля *(Шекспир В.* Полное собрание сонетов. В переводе и с предисловием Н. Гербеля. СПб., 1880. — *И. Ф.)*. Борису — книгу былин (Былины. Вступ. ст. Е. Ляцкого. СПб., 1911.-Я. Ф.).

— Сережа в прекрасном настроении, здоров, хотя очень утомлен, целый день занят то театром, то греческим. Я уже два раза смотрела его, — держит себя свободно, уверенно, голос звучит прекрасно. Ему сразу дали новую роль в «Сирано» — довольно большую, без репетиции. В первом действии он играет маркиза — открывает действие. На сцене он очень хорош, и в роли маркиза и в гренадерской. Я перезнакомилась почти со всем Камерным театром. Таиров — очарователен, Коонен мила и интересна, в Петипа[24] я влюбилась, уже целовалась с ним и написала ему сонет, кончающийся словами «пленительный ровесник». — Лиленька, он ровно на 50 лет старше меня!

За это-то я в него влюблена.

«Вы еще не сказали ни одного стихотворения, а я вокруг Вашей головы (жест) вижу… ореол!»

— «О — пусть это будет ореолом молодости, который гораздо ярче сияет над Вашей головой, чем над моей!»

Яблоновский[25]: «Да ведь это — Версаль!»

Мы сидели в кабинете Таирова, Яблоновский объяснялся в любви к моим книгам и умильно просил прочесть ему

«Колыбельную песенку» («Колыбельная песня Асе» из «Волшебного фонаря». — *И.* Ф.), которую вот уже три года читают перед сном его дети, я была в старинном шумном платье и влюбленно смотрела в прекрасные глаза Петипа, который в мою честь декламировал Beranger «La diligence» (стихотворение, приписываемое Беранже. — *И.* Ф.) — но всего не расскажешь! На следующий раз, после премьеры «Сирано» я сказала ему: — «Вы были прекрасны, я в восторге, позвольте мне Вас поцеловать!»

— «Поверьте, что я оценил»… — рука, прижатая к сердцу и долгий поцелуй.

— Да, Лиленька! Я забыла! Ася Жуковская Сереже подарила чудную шкатулку карельской березы, Вера — Каролину Павлову, прекрасное двухтомное издание, — всё за первое его выступление. <…>

Алю я обрила. Шерсть растет мышиная, местами совсем темная. Она здорова, чудно ест, много гуляет, пьет рыбий жир и выглядит великолепно, — тяжелая, крупная девочка, вроде медведя. Великолепная память, ангельский характер и логика чеховского учителя словесности. — «Когда солнце спрячется, то в детской будет темно, а когда солнце снова появится, то в детской будет светло».

— «Раз ты мне не позволяешь ходить босиком по полу, я и не хожу, а если бы ты позволила, то я бы ходила. — Правильно я говорю, Марина?» etc.

У нас сейчас чудная прислуга: мать (кухарка) и дочь (няня) — беженки из Седдеца. Обе честны, как ангелы, чудно готовят и очень к нам привязаны. Няня грамотная, умная, с приличными манерами, чистоплотная, Алю обожает, но не распускает, — словом, лучше нельзя.

— Лиленька, у меня новая шуба: темно-коричневая с обезьяньим мехом (вроде коричневого котика), фасон — вот (в тексте рисунок МЦ. — *И. Ф.*): сзади — волны. Немного напоминает поддевку. На мягенькой белой овчине. Мечтаю уже о весеннем темно-зеленом пальто с пелериной.

— Милая Лиленька, пока до свидания. Переписываю Вам пока одни стихи — из последних.

Новолунье, и мех медвежий,
И бубенчиков легкий пляс…
— Легкомысленнейший час!
Мне же — Глубочайший час.

Умудрил меня встречный ветер,
Снег умилостивил мне взгляд.

На пригорке монастырь — светел
И от снега — свят.

Вы снежинки с груди собольей
Мне сцеловываете, друг.
Я — на дерево гляжу в поле
И на лунный круг.
За широкой спиной ямщицкой
Две не встретятся головы.
— Начинает мне Господь сниться,
Отоснились Вы.

Тишь да гладь. Рождественская сказка. Марина не умела врать. Все это шито белыми нитками. С новолуньем она ошиблась — это было полнолунье.

Январь 1916 года, самое начало, не позднее 3-го числа. Война. Над Петроградом стоит вьюга и стоят глаза Михаила Кузмина, два алмаза, две бездны. Марина с Софией — в Петрограде. Вечеринка поэтов. В центре ее — те глаза. МЦ восхищена кузминской формулой:

Зарыта шпагой, — не лопатой —
Манон Леско.

Любезный разговор. Они оба знают, что лучшая строка стихотворения — последняя и что она приходит первой.

Дело происходит в особняке надворного советника, инженера-кораблестроителя Иоакима Самуиловича Кан-негисера, у него два сына красавца, и старший, серьезный Сергей, занимается революцией, но сразу после Февраля (1917) отчего-то покончит с собой, а младший — женственный, изнеженный Леонид — пишет стихи, но осенью 1918-го убьет Моисея Урицкого, председателя Петроградского ЧК, выбив пулей его недреманное око.

Дружок Леонида не разлей вода — Есенин. Золотые кудри и васильки глаз — здесь же, на том вечере. Тем не менее, как оказалось, их — Марину и Есенина — можно перепутать: так похожи.

Читают по кругу. МЦ читает:

Ты миру отдана на травлю,
И — счета нет твоим врагам!

Ну, как же я тебя оставлю,
Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь!», —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!

(«Германии»)

В Москве этих стихов не любят, в Питере — хвалят. Она читает от лица Москвы и прежде всего — для отсутствующей Ахматовой. Прочла весь свой стихотворный прошлый год. Прошли по кругу все, кто там был: Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Леонид Каннегисер, Георгий Иванов, Николай Оцуп, Рюрик Ивнев, кажется — Городецкий. Весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилёва, который — на войне.

Мандельштам, полузакрыв полуверблюжьи глаза, вещал: «Поедем в Ца-арское Се-ело…» Марина ушла с вечеринки, не дождавшись пения Кузмина, — торопилась к Софии, не пошедшей на сбор поэтов и гневно ожидавшей ее, притворившись спящей.

В городе на Неве они с Софией задержались. Мандельштам подарил МЦ второе издание книги «Камень» с надписью: «Марина Цветаева — камень-памятка. *Осип Мандельштам. Петербург 10 янв. 1916».*

При посредничестве Софии Парнок МЦ задружилась с петербуржцами Софьей Исааковной Чацкиной и Яковом Львовичем Сакером, издающими журнал «Северные записки», они полюбили ее стихи и ее саму. София Парнок в их журнале — присяжный критик Андрей Полянин. За свои публикации МЦ гонораров не берет, и они отдарились тремя томами «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьева, двумя рыжими лисицами, а также духами «Jasmin de Corse», дабы почтить ее любовь к Корсиканцу. Они возили ее в Петербурге на острова, а в Москве — к цыганам.

В записной книжке (тетрадка в клеточку) МЦ оставит внезапную мысль: «Обаяние И<горя> С<еверянина> так же непоправимо, как обаяние цыганских романсов».

Ширится круг ее общений и представлений о поэтах-современниках. «Берусь из многочисл<енных> томов Игоря Северянина выбрать книжку вечных, прекрасных, вневременных стихов. Утверждаю, что этот поэт определенно Божьей милостью. Некая сомнительность его в том, что он третий сорт в мире любит

явно, а первый — тайно. — Поэт пронзительной человечности».

Но больше всех остальных современников ее дразнит, манит, восхищает, тревожит, заботит, пьянит и ведет за собой — Ахматова. Уже написан первый гимн ей — «Анне Ахматовой»:

…В утренний сонный час,
— Кажется, четверть пятого, —
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.

11 февраля 1915

(«Узкий, нерусский стан…»)

МЦ вносит в записную книжку:

> «Все о себе, все о любви!». Да, о себе, о любви — и еще — изумительно — о серебряном голосе оленя, о неярких просторах рязанской губернии, о смуглых главах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном на «Песне Песней», о воздухе — «подарке Божием», об адском танце танцовщицы, — и так, без конца.
>
> И есть у нее одно восьмистишие о юном Пушкине, которое покрывает все изыскания всех его биографов.
>
> — Ахматова пишет о себе — о вечном. И Ахматова, не написав ни одной отвлеченно-общественной строчки, глубже всего — через описание пера на шляпе — передаст потомкам свой век. <…>
>
> О маленькой книжке Ахматовой можно написать десять томов — и ничего не прибавишь. А о бесчисленных томах полного собрания сочинений Брюсова напишешь только одну книжку — величиной с ахматовскую — и тоже ничего не прибавишь.

Восемнадцатого января 1916-го Марина и София вернулись в Москву. По их следам в старую столицу является Мандельштам. Два дня Марина с Осипом ходят по Москве. В гостях у Марины он знакомится и общается с Алей, в новом «обормотнике» (квартира 27 в доме по Малой Молчановке, 8, это совсем рядом с Борисоглебским) — с обормотами, приходя к ним с Мариной и Сережей. Декламирует и хохочет до слез. 5 февраля он отчалил в Петроград, откуда посылает Марине ласковое письмо. 12 февраля она пишет ему ответ:

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас через сотни
Разъединяющих верст.

Я знаю: наш дар — неравен.
Мой голос впервые — тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

(«Никто ничего не отнял!..)

Смирение паче гордыни. Наш дар неравен. Так это или не так, но итоговая арифметика такова: она написала ему десять стихотворений, он ей — три. 17 февраля — новое окликание со стороны МЦ:

Разгорайтесь, костры в лесах,
Разгоняйте зверей берложьих.
Богородица в небесах,
Вспомяни о моих прохожих!

(«Собирая любимых в путь…»)

Он — из тех, из прохожих. Не один-единственный. Это не любовная лирика, не эротика. Это:

Тем ты и люб,
Что небесен.

(«Гибель от женщины. Вот знак…»)

Или — все-таки о любви, но — с его стороны:

И встанешь ты, исполнен дивных сил…
Ты не раскаешься, что ты меня любил.

(«Изрук моих — нерукотворный град…»)

Первого марта он отвечает — ей:

В разноголосице девического хора

Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

(«В разноголосице девического хора…»)

В марте — апреле Осип опять посещает Москву, развивая отношения с МЦ и обормотами. Марина дарит ему серебряное кольцо с печатью — Адам и Ева под древом добра и зла. Кольцо дарит и поэту Тихону Чурилину, к которому тоже неравнодушна. Более чем. На кольце Чурилину — гранаты (фрукты). Одновременно со стихами Мандельштаму, в том же марте, она пишет и стихи Чурилину. И это опять-таки не о женской страсти к мужчине, а нечто другое:

Не сегодня-завтра растает снег.
Ты лежишь один под огромной шубой.
Пожалеть тебя, у тебя навек
Пересохли губы.

Тяжело ступаешь и трудно пьешь,
И торопится от тебя прохожий.
Не в таких ли пальцах садовый нож
Зажимал Рогожин?

А глаза, глаза на лице твоем —
Два обугленных прошлолетних круга!
Видно, отроком в невеселый дом
Завела подруга.

Далеко — в ночи — по асфальту — трость,
Двери настежь — в ночь — под ударом ветра…
Заходи — гряди! — нежеланный гость
В мой покой пресветлый.

4 марта 1916

(«Не сегодня-завтра растает снег…»)

Ее пафос — пожалеть. Любить по-русски не значит ли — жалеть?..

Чурилин писал футуристические стихи (по Марине — гениальные) и неформатную прозу. Ему тридцать, родился в Лебедяни от еврея-провизора Цитнера, носил фамилию отчима-купца, с девятнадцати лет был женат на горбунье, с начала века поучаствовал в революционной кутерьме, год назад издал книжку «Весна после смерти», два года отмучился в лечебнице для душевнобольных и пролетом послужил в Камерном театре.

Все это становилось его стихами:

Урод, о урод!
Сказал — прошептал, прокричал мне народ.
Любила вчера.
— Краснея призналась Ра.
Ты нас убил!
— Прорыдали — кого я убил.
Идиот!
Изрек диагност готтентот.
Ну так я —
— Я!
Я счастье народа.
Я горе народа.
Я — гений убитого рода.
Убитый, убитый!

1914 («Во мнения»)

Бредовый стих Чурилина если не подвинул, то подсказал МЦ дорогу в сторону неправильного, «небрежного стиха».

Именно в 1916-м МЦ окончательно вышла на новую ритмику-метрику вплоть до пунктуации: «Тирэ и курсив, — вот единственные, в печати, передатчики интонаций». В новом стихе

очнулось ее детское стихописание, когда она раннего Пушкина смешивала с фельетоном газеты «Курьер». «А это — откуда? Смесь раннего Пушкина и фельетона <…> газеты «Курьер» («Мать и музыка»). Однако лучшее в лирике МЦ — то, что близко к традиционной просодии, ее вольный дольник, ее игра длинами строк и умеренная по звуку рифмовка. Остальное — тот кустарник, сквозь который ей необходимо было пробиться к ее рябине. Срабатывал хлебниковский принцип гениального черновика.

У Валерия Брюсова был всепоглощающий интеллект, ничего на ходу не терявший. Брюсов — подлинный москвич, его стихотворение «Мир» посвящено воспоминаниям детства, той среды — купеческой, в которой он вырос.

Я помню этот мир, утраченный мной с детства,
Как сон непонятый и прерванный, как бред…
Я берегу его — единое наследство
Мной пережитых и забытых лет.
Я помню формы, звуки, запах… О! и запах!
Амбары темные, огромные кули,
Подвалы под полом, в грудях земли,
Со сходами, припрятанными в трапах,
Картинки в рамочках на выцветшей стене,
Старинные скамьи и прочные конторки,
Сквозь пыльное окно какой-то свет незоркий,
Лежащий без теней в ленивой тишине,
И запах надо всем, нежалящие когти
Вонзающий в мечты, в желанья, в речь, во все!
Быть может, выросший в веревках или дегте,
Иль вползший, как змея, в безлюдное жилье,
Но царствующий здесь над всем житейским складом,
Проникший все насквозь, держащий все в себе!
О, позабытый мир! и я дышал тем ядом,
И я причастен был твоей судьбе!

Это ли символизм? Всё реально, плотно, земно.

У Мандельштама есть стихотворение «С миром державным я был лишь ребячески связан…», где говорится не только о державности (государственности как таковой). Здесь поминаются и пляска цыганки, и черноморские нереиды, и европеянки нежные, и леди Годива, наконец. Это всё факты поэзии, ее символы. Но речь о прозе. В прямом смысле — в жанровом. Обожатель сладкого (в стихах это отозвалось), вечный отрок «с ресницами — нет длинней» (Цветаева), в прозе Мандельштам

трезвеет, сухо и горько смотрит на детство, проведенное в той же прагматичной среде, что и у Брюсова. Это усугублено «хаосом иудейским», «запахом юдаизма». Вот основное ощущение, доминанта подобного детства: «До сих пор мне кажется запахом ярма и труда — проникающий всюду запах дубленой кожи, и лапчатые шкурки лайки, раскиданные на полу, и живые, как пальцы, отростки пухлой замши — все это и мещанский письменный стол с мраморным календариком плавает в табачном дыму и обкурено кожами» («Шум времени», 1924).

Сквозь морок этих запахов продиралась русская поэзия Серебряного века, не сумев избавиться от них до конца. Это уже не аристократы или разночинцы прошлого. Из родительских оков купли-продажи на свет культуры прорвались дети дегтя и дубленой кожи.

Однако той весной, в том апреле, МЦ впервые касается имени, которое будет с ней долгие годы, если не до конца, — Блок.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.

Имя твое — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век,
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток…
С именем твоим — сон глубок.

15 апреля 1916

(«Имя твое — птица в руке…»)

Похоже, весь символизм для нее умещался в эти пять букв — Блокъ — и, собственно, им же исчерпывался. Недаром Брюсов приревновал ее не к имени Блока, но к самой ноте, равной религиозному песнопению. В 1916-м мало кто исторгал звуки подобной высоты, без оглядки на катастрофический диссонанс времени. Мало кто? Никто. Ну разве что — Державин, столетняя годовщина смерти коего стояла на поэтическом дворе.

Символизм стал уходящей натурой. Почти не позабытый

Нилендер приводит к ней старика Бальмонта, старику — аж сорок девять лет, а он оказывается живым и замечательным. Вне литконфессий. На утре своих поэтических дней МЦ несомненно училась у него мелодичности стиха и строфостроению («Бальмонту подражала 14-ти лет»). Что же до символизма как литературного направления, она об этом никогда не думала всерьез. Тот факт, что выход ее «Вечернего альбома» совпал с кризисом символизма, — не факт ее раздумий о поэзии.

Но и с Софией, которая резко отвергла ее после тех двух февральских мандельштамовско-прогулочных дней, у нее отношения особые, не совсем те, которыми занимается муза Эрато, покровительница любовной лирики:

В оны дни ты мне была, как мать,
Я в ночи тебя могла позвать,
Свет горячечный, свет бессонный,
Свет очей моих в ночи оны.

Благодатная, вспомяни,
Незакатные оны дни,
Материнские и дочерние,
Незакатные, невечерние.

Не смущать тебя пришла, прощай,
Только платья поцелую край,
Да взгляну тебе очами в очи,
Зацелованные в оны ночи.

Будет день — умру — и день — умрешь,
Будет день — пойму — и день — поймешь…
И вернется нам в день прощеный
Невозвратное время о́но.

26 апреля 1916

(«В оны дни ты мне была, как мать…»)

Нет, язычница Эрато тут ни при чем, автор этих стихов — христианка.

Девятого марта того же 1916 года Сережа подает прошение на имя ректора Московского университета: «Желая поступить охотником в III Тифлисский Гренадерский полк прошу Ваше превосходительство уволить меня из университета и выдать мне

необходимые для сего бумаги». МЦ сразу же пишет Елизавете в Петроград:

> Лиленька, приезжайте немедленно в Москву.
>
> Я люблю безумного погибающего человека (Т. Чурилина. — *И. Ф.)* и отойти от него не могу — он умрет. Сережа хочет идти добровольцем, уже подал прошение. Приезжайте. Это — безумное дело, нельзя терять ни минуты.
>
> Я не спала четыре ночи и не знаю, как буду жить. Всё — на го́ре. Верю в Вашу спасительную силу и умоляю приехать.
>
> Остальное при встрече.
>
> *МЭ*
>
> P. S. Сережа страшно тверд, и это — страшней всего. Люблю его по-прежнему.

Поверять сестре мужа свои сердечные дела? Так.

Через пять дней, под воздействием родных, Сережа передумал: «Ввиду неожиданно обнаружившейся у меня болезни печени я принужден отказаться от военной службы и поэтому честь имею просить Ваше превосходительство вновь принять меня в университет. Документов из университета не брал». Это прошение было удовлетворено 15 марта 1916 года.

Двадцать шестого марта Марина пишет:

За девками доглядывать, не скис
ли в жбане квас, оладьи не остыли ль,
Да перстни пересчитывать, анис
Ссыпая в узкогорлые бутыли,

Кудельную расправить бабке нить,
Да ладаном курить по дому росным,
Да под руку торжественно проплыть
Соборной площадью, гремя шелками, с крестным.

Кормилица с крикливым петухом
В переднике — как ночь ее повойник! —
Докладывает древним шепотком,
Что молодой — в часовенке — покойник.

И ладанное облако углы
Унылой обволакивает ризой.
И яблони — что ангелы — белы,
И голуби на них — что ладан — сизы.

И странница, прихлебывая квас
Из ковшика, на краюшке лежанки
О Разине досказывает сказ
И о его прекрасной персиянке.

(«За девками доглядывать, не скис…»)

Слишком уж это далеко от Сережи, и нет ему покоя. 14 апреля он пишет Лиле:

> Неожиданно мой возраст студентов призвали и это окончательно замутило мои планы.
>
> Но я «тверд по-прежнему» и для того, чтобы не потерять этой твердости — начал готовиться к экзаменам. Сегодня я иду на жеребьевку.
>
> Не писал тебе из-за чудовищного сумбура, который не располагает к зафиксированию.
>
> Сегодня у тебя будет Мандельштам, который расскажет о всех московских новостях.
>
> О себе думаю, что вернее всего попаду в Коктебель, что на медицинском осмотре меня признают негодным. Самому же мне хочется только покоя. Я измытарен до последней степени.

С середины апреля до начала мая Сергей Эфрон проходит медицинскую комиссию в Московском военном госпитале. На строевую службу зачислен 12 мая 1916 года со сроком начала службы 1 июня 1916 года. 13 мая он пишет Лиле в Коктебель:

> …вчера мне было объявлено окончательно, что я годен к военной службе.
>
> По правде сказать для меня это было сюрпризом, т<а>к к<а>к я был уверен, что месяца на три мне отсрочку дадут.
>
> Мне посчастливилось — из тридцати человек, бывших со мной на испытании, — двадцать семь — получили отсрочки. <…> Две недели врачи военного госпиталя всячески испытывали меня и не смогли найти ни одного изъяна.
>
> Мало на Руси осталось таких дубов a la Собакевич.
>
> Сейчас не могу принять ни одного решения. Все туманно и неопределенно. Особенно боюсь я этой проклятой подписки. <…>

Неужели не придется мне Асе показывать Коктебеля.

О какой Асе речь? О той самой, Жуковской, с которой он служил в санитарном поезде.

О какой подписке? О той, данной им, когда он рвался на войну: «Я, нижеподписавшийся, дал сию подписку в том, что ни к каким тайным обществам, думам, управам и прочим, под каким бы они названием ни существовали, я не принадлежал и впредь принадлежать не буду, и что не только членом оных обществ, по обязательству через клятву или честное слово, не был, да и не посещал и даже не знал о них и через подговоры, как об обществах, так и о членах, тоже ничего не знал и обязательств без форм и клятв никаких не давал». Теперь она, эта проклятая подписка, ему мешала. Дело было как-то улажено.

В Коктебель он вырвался-таки, вместе со своей Асей. Ненадолго. Марина — в Коктебеле. Сережа тощ и слаб, Ася Жуковская мила, но страшно вялая, ко всему благосклонна и равнодушна. Но труба зовет: Марина и Сережа выехали в Москву скоро — 22 мая. Его воинские дела никак не могут определиться.

В Москве дикая духота. На несколько дней он уезжает в Александров, где теперь пребывают Марина с сестрой Асей и ее мужем Маврикием Минцем, направленным в Александров, в учебный отряд, как инженер, состоящий вольноопределяющимся на военной службе. У них там на Староконюшенной улице съемный четырехкомнатный деревянный домик, крыльцом в овраг, почти в поле. Рядом кладбище, холмы, луга. Прелестная природа. Красные овраги, зеленые косогоры, с красными на них телятами. Городок в черемухе, в плетнях, в шинелях. Шестнадцатый год. Народ идет на войну[26].

Вскоре Сереже удается опять удрать в Коктебель. А 4 июня в Александров приезжает Осип Мандельштам. Об этом событии — письмо МЦ Лиле Эфрон:

> Лиленька, а теперь я расскажу Вам визит М<андельшта>ма в Александров. Он ухитрился вызвать меня к телефону <…>: позвонил в Александров, вызвал Асиного прежнего квартирного хозяина и велел ему идти за Асей. Мы пришли и говорили с ним, он умолял позволить ему приехать тотчас же и только неохотно согласился ждать до следующего дня. На след<ующее> утро он приехал. Мы, конечно, сразу захотели вести его гулять — был чудесный ясный день — он, конечно, не пошел, — лег на диван и говорил мало. Через несколько времени мне стало скучно и я решительно повела его на кладбище.

— «Зачем мы сюда пришли? Какой ужасный ветер! И чему Вы так радуетесь?»

— «Так, березам, небу, — всему!»

— «Да, потому что Вы женщина. Я ужасно хочу быть женщиной. Во мне страшная пустота, я гибну».

— «От чего?»

— «От пустоты. Я не могу больше вынести одиночества, я с ума сойду, мне нужно, чтобы кто-нибудь обо мне думал, заботился. Знаете, — не жениться ли мне на Лиле?»

— «Какие глупости!»

— «И мы бы были в родстве. Вы бы были моей belle soeur[27]!»

— «Д-да-а… Но Сережа не допустит».

— «Почему?»

— «Вы ведь ужасный человек, кроме того, у Вас совсем нет денег».

— «Я бы стал работать, мне уже сейчас предлагают 150 р. в Банке, через полгода я получил бы повышение. Серьезно».

— «Но Лиля за Вас не выйдет. Вы в нее влюблены?»

— «Нет».

— «Так зачем же жениться?»

— «Чтобы иметь свой угол, семью…»

— «Вы шутите?»

— «Эх, Мариночка, я сам не знаю!»

День прошел в его жалобах на судьбу, в наших утешениях и похвалах, в еде, в литературных новостях. Вечером — впрочем, ночью, около полуночи — он как-то приумолк, лег на оленьи шкуры и стал неприятным. Мы с Асей, устав, наконец, перестали его занимать и сели — Маврикий Алекс<андрович>, Ася и я в другой угол комнаты. Ася стала рассказывать своими словами Коринну[28], мы безумно хохотали. Потом предложили М<анделыита>му поесть. Он вскочил, как ужаленный. — «Да что же это наконец?! Не могу же я целый день есть! Я с ума схожу! Зачем я сюда приехал! Мне надоело! Я хочу сейчас же ехать! Мне это, наконец, надоело!»

Мы с участием слушали, — ошеломленные.

М<аврикий> А<лександрович> предложил ему свою постель, мы с Асей — оставить его одного, но он рвал и метал. — «Хочу сейчас же ехать!» — Выбежал в сад, но, испуганный ветром, вернулся. Мы снова

занялись друг другом, он снова лег на оленя. В час ночи мы проводили его почти до вокзала. Уезжал он надменный.

Я забыла Вам рассказать, что он до этого странного выпада все время говорил о своих денежных делах: резко, оскорбленно, почти цинически. Платить вперед Пра за комнату он находил возмутительным и вел себя так, словно все, кому он должен, должны — ему. Неприятно поразила нас его страшная самоуверенность.

— «Подождали — еще подождут. Я не виноват, что у меня всего 100 р.» и т<а>к д<алее>.

Кроме того, страстно мечтал бросить Коктебель и поступить в монастырь, где собирался сажать картошку.

Пятого июня Мандельштам в Москве, садится в поезд на Феодосию, седьмого — в Коктебеле. Там — Владислав Ходасевич, избегающий общения, мягко говоря. Сам Владислав Фелицианович говорит немягко (письмо жене А. И. Ходасевич от 7 июня 1916 года): «Тут случилась беда: из-за холмика наехали на нас сперва четыре коровы с ужаснейшими рогами, а потом и хуже того: Мандельштам! Я от него, он за мной, я взбежал на скалу в 100 тысяч метров вышиной. Он туда же. Я ринулся в море — но он настиг меня среди волн. Я был вежлив, но чрезвычайно сух. Он живет у Волошина».

Для него Мандельштам — «ПРОСТО глуп». Не поэт. Как и для Софии Парнок.

Вдалеке идет война, а в Коктебеле:

По берегу ходила
Большая Крокодила,
Она, она
Зеленая была!
Во рту она держала
Кусочек одеяла,
Она, она
Голодная была.
В курорт она явилась
И очень удивилась.
Сказать тебе ль:
То был наш Коктебель!
От Юнга до кордона,
Без всякого пардона,
Мусье подряд
С мадамами лежат.
К Васильевым на дачу

Забралась наудачу
И слопала у них
Ракетки в один миг.
Забралась она в «Бубны»,
Сидят там люди умны,
Но ей и там
Попался Мандельштам.
Явился Ходасевич,
Заморский королевич,
Она его…
Не съела, ничего.

Коллективный юмор.

В июне появляется стихотворение Мандельштама — лучшее из всего, что написано в стихах о Марине Цветаевой:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы. —
Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.
…..
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться — значит быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю — он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала

И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

(«Не веря воскресенья чуду…»)

Пятой и шестой строк он придумать не мог. Позже, в интересах публикации в «Аполлоне», ему подсказали (М. Лозинский), как надо заполнить пустоту:

Я через овиди степные
Тянулся в каменистый Крым…

Он согласился. Строку «Целую кисть, где от браслета…» МЦ через пятнадцать лет в очерке «История одного посвящения» отредактировала: «От бирюзового браслета…». Откорректировала она и картину той гостьбы.

У МЦ пишется стихотворение, последнее в Александрове:

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придем.

Клеймо позорит плечи,
За голенищем — нож.
Издалека-далече —
Ты все же позовешь.

На каторжные клейма,
На всякую болесть —
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, —
Там Иверское сердце,
Червонное, горит.

И льется аллилуйя
На смуглые поля.
— Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

8 июля 1916

(«Москва! Какой огромный…»)

Двадцать шестого июля умерла мать Мандельштама Флора Осиповна, он срочно уехал в Петербург. Все вперемешку — смех, грех, восторги, горе, слезы.

У поэтов все это отливается в стихи.

Сережа остается в Коктебеле, продолжая маяться. Он приятельствует с Ходасевичем, о котором МЦ пишет мужу: «Я рада, что Вы хороши с Ходасевичем, его мало кто любит, с людьми он сух, иногда холоден, это не располагает. Но он несчастный и у него прелестные стихи…» Выехав в Москву и получив новую отсрочку по болезни (печень), Сережа едет на юг — на сей раз в Ессентуки.

А с Мариной перемены. Она ждет ребенка. Сестра Ася — тоже.

У Аси свои страсти, нешуточные. Летом у нее вышла книжка «Дым, дым и дым», посвященная Марине. Но главным содержанием ее жизни стала страсть к другу Бориса Трухачева — Николаю Миронову, служившему в армии. В начале 1916 года она выехала по его зову в Тулу и в его эшелоне, заболев скарлатиной, задержалась на два месяца, доехала до Польши, в варшавском госпитале ее по просьбе Марины навестил Сережа, за ней приехал Маврикий и отвез в Москву.

Марина погружена в ожидание ребенка. Но не только, судя по ее письму.

Москва, 30-го сентября 1916 г.

Милая Лиленька <…> Мне непременно нужна шуба, а цены сейчас на сукно безумные — 18–20 р. арш<ин>.

Купите мне, пож<алуйста>, 5–6 арш<ин> кавказского сукна… <…> шуба, в виду моего положения должна быть cloche — широкая. <…>

Цвет, Лиленька, лучше всего — коричневый, но скорей отдающий в красное, — не оливковый, не травянистый. Можно совсем темно-коричневый, строгий. <…>

У меня две шубы, и обе не годятся: одна — поддевка, в талью, другая — леопард, а быть леопардом в таком положении — несколько причудливо, хотя Ася и советует мне нашить себе на

живот вырезанного из черного плюша леопарденыша.

Буду Вам очень благодарна, Лиленька, если скоро купите и вышлете, сейчас у меня шьет портниха, и мне хотелось бы кончить всю обмундировку сразу.

Деньги сейчас же вышлю, как узнаю цену, — не задержу.

Это сегодня — второе просительное письмо. Первое — дяде Мите (брат И. В. Цветаева. — *И.* Ф.), с просьбой дать Сереже рекомендательное письмо в Военно-Промышленный Комитет, — где он хочет устроиться приемщиком. Жалованье — 80—100 р., время занятий, кажется, от 11 — ти до 4-ех. — Деньги сейчас очень нужны! —

Пишу стихи, перевожу Comtesse de Noailles[29], мерзну, погода, как в ноябре.

— Ах, мне как-то оскорбительно, что есть где-то синее небо, и я не под ним! <…>

Чувствую я себя — физически — очень хорошо, совсем не тошнит и не устаю. С виду еще ничего незаметно. <…>

Сережа вернулся, хотя не потолстевший, но с ежечасным голодом, и веселый. Пьет молоко и особенных зловредностей не ест. Сейчас Магда пишет его портрет, сводя его с ума своей черепашестью[30].

Аля растет и хорошеет, знает уже несколько букв, замечательно слушает и пересказывает сказки. У нее хорошая, аккуратная, чистоплотная, бездарная няня-рижанка. Другая прислуга — приветливая расторопная солдатка, милая своей полудеревенскостью. В доме приблизительный порядок. Пол-обеда готовится у соседей, на плите, мы кухни еще не топим.

— Вот Лиленька, дела хозяйственные. А вот одни из последних стихов:

И другу на руку легло
Крылатки тонкое крыло.
— Что я поистине крылата, —
Ты понял, спутник по беде!
Но, ах, не справиться тебе
С моею нежностью проклятой!

И, благодарный за тепло,
Целуешь тонкое крыло.

А ветер гасит огоньки
И треплет пестрые палатки,
А ветер от твоей руки
Отводит крылышко крылатки

И дышит: «душу не губи!
Крылатых женщин не люби!»

Стихотворение обращено к Никодиму Плуцер-Сарна. Его портрет от Аси Цветаевой: «Лицо узкое, смуглое, черные волосы и глаза. И была в нем сдержанность гордеца, и было в нем одиночество, и что-то было тигриное во всем этом…» Опять Тигр…

Они знакомы с весны, он значительно старше Марины, доктор экономики. Увлечение затянется, стихи приумножатся (замечательные — «Дон-Жуан», «Кармен», «Любви старинные туманы…», «Запах, запах твоей сигары…», «В огромном городе моем — ночь…», «Вот опять окно…», «Бог согнулся от заботы…», много других), в итоге сложится цикл «Романтика» (1918). До чего ж хорош этот новый просторный стих:

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес,
Оттого что я на земле стою — лишь одной ногой,
Оттого что я тебе спою — как никто другой.

Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,
У всех золотых знамен, у всех мечей,
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —
Оттого что в земной ночи я вернее пса.

Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной,
Ты не будешь ничей жених, я — ничьей женой,
И в последнем споре возьму тебя — замолчи! —
У того, с которым Иаков стоял в ночи.

Но пока тебе не скрещу на груди персты —
О проклятие! — у тебя остаешься — ты:
Два крыла твои, нацеленные в эфир, —
Оттого что мир — твоя колыбель, и могила — мир!

15 августа 1916

(«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…)

Впору сказать о возникновении цветаевского ударника — исходя из ее характеристики Черубины де Габриак: «Ахматовский образ, удар — мой…»

Сережа, втайне от Марины, задумал купить имение под Москвой: десять десятин фруктового сада — дом стоит на горе над речкой. Иллюзия, греза. А в это время в доме на Полянке происходит пожар — сгорели все службы. Если выдадут страховые деньги — все будет обстоять хорошо, — надеется Сережа.

Идет война, и литература идет своим ходом. Корней Чуковский задумал издать книгу для маленьких детей «Радуга» и обратился с просьбой принять участие в сборнике к Маяковскому, Брюсову, Волошину. Волошин, посылая ему перевод шведской «Колыбельной», среди поэтов, которых стоило бы привлечь, назвал имена Ходасевича и Цветаевой. Чуковский написал им и получил ответ:

> Многоуважаемый Корней Иванович,
>
> я Вам очень признателен за предложение — и постараюсь прислать что-нибудь, — не сию минуту, конечно, ибо сейчас ничего подходящего у меня нет.
>
> Сколько я ни думал о том, кто бы еще из московских поэтов мог Вам пригодиться, — никого, кроме Марины Цветаевой, не придумал. Позвонил к ней, но она уже сама получила письмо от Вас. Она говорит, что могла бы здесь подойти Любовь Столица, — и даже собирается к Столице обратиться. Поговорю еще с Парнок. Больше, кажется, в Москве нет никого. «Великих» Вы сами знаете — а не великие могут писать только или экзотическое, или заумное. Я же, повторяю, постараюсь быгть Вам полезным.
>
> Преданный Вам *Владислав Ходасевич.*
>
> Москва
>
> 13/XI 916

В конце года Марину видели у себя в вечернем Трехпрудном — она вела небольшую веселую компанию, что-то весело рассказывала и была в красном пальто с пелериной, отделанной по краям мехом, в такой же шапочке и в модных туфлях на высоких каблуках, и это естественно, поскольку она с четырнадцати лет ходит только на высоких. Шел снег.

Шестнадцатый год. Конец этого года потряс Россию — 17 декабря убили Гришку Распутина.

С наступающим Новым годом!

Глава пятая

Место службы Сережи определилось. В начале января 1917 года он прибывает в Нижний Новгород, где находится его часть: зачислен в списки 1-го подготовительного батальона 4-й роты. Туда же, так совпало, по своим служебным делам приезжает Никодим Плуцер-Сарна.

Нижний Новгород, 27 января 1917 г.

Милая Марина, вчерашний день я провел весь с Сережей. Это был очаровательный и грустный день. Я говорил с ним о всем что приносил нам день, легко уходя от фактического к личному отношению, к чувствованию, к себе.

Я сразу полюбил навсегда этого очаровательно отсутствующего человека с его совершенно невинно-детским отношением к жизни. Полюбил безнадежно, независимо от его отношения ко мне.

Когда я сидел с Сережей и беспокоился из-за него, из-за его волнения и страдал, что мне не дано взять на себя всего того, что может ему быть неприятно или тяжело, у меня было чувство, что рядом со мной с тождественными чувствами к нему сидите Вы, милая Марина.

Это должно Вам, Маринушка, окончательно пояснить многое в моем отношении к Сереже.

Простите мне, милая, если в предыдущем я причинил Вам чем-нибудь больно. Это все так сразу свалилось на меня, что я только постепенно овладеваю переживаниями.

Мне нестерпимо грустно. Я больше ничего не в состоянии написать Вам, Марина. Остальное я мог бы передать Вам только шепотом. Все так странно и вместе с тем так естественно и просто для меня.

Здесь все живет под толстым покровом снега и холода и кажется мне иногда, что я похоронен, а живо во мне только одно острое пронзительное чувство тоски по Вас, милая Маринушка. Это одно и главное, в чем я себя ощущаю.

Когда я уеду отсюда (понедельник), я стану опять прежним радостным и нетерпеливым — из-за надежды в недалеком будущем увидеть и чувствовать Вас, дорогая моя.

Никодим

В Нижнем Новгороде Сереже муторно. Муштра, отупение от занятий по боевой подготовке. Правда, есть свободные минуты и, например, возможность посещения театра, где он не высидел и двух действий — сбежал в кафе, вернулся в часть в полдвенадцатого ночи, а в пять тридцать утра уже будит труба.

Нижний прекрасно расположен амфитеатром на трех берегах Оки и Волги. Весною тут, должно быть, прекрасно. На Масленицу Сережа должен был приехать в Москву в отпуск, но, увы, из-за прекращения железнодорожного движения командующий войсками не разрешил давать отпуска.

В Нижнем — ужасные морозы.

Одиннадцатого февраля он отправлен в 1-ю Петергофскую школу прапорщиков. Ему — повторно — сделали прививку от тифа, он живет в большой комнате, где помещаются более ста человек — все это галдит, поет, ругается, играет на балалайках. Москва со всеми оставленными там кажется где-то страшно далеко — даже больше, на другой планете. Все похоже на сон. Хочется ущипнуть себя и проснуться на диване в своей полутемной комнате.

Восемнадцатого февраля в Петрограде забастовал Путиловский завод. 22 февраля администрация закрыла завод — тридцать тысяч человек остались за бортом. Царь, пребывая после убийства Распутина в Царском Селе, 22 февраля выехал в Ставку, в Могилев. 23 февраля, в День работницы, массы рабочих стихийно хлынули на улицы Петрограда, на следующий день к рабочим присоединились студенты, служащие, интеллигенция. Стачка стала всеобщей. Царь повелел командующему Петроградским военным округом «завтра же прекратить в столице беспорядки». Государственная дума была распущена. 27 февраля утром восстала учебная команда Волынского полка. К концу дня на сторону революции перешло около шестидесяти тысяч солдат. Армия решила всё. К вечеру 27 февраля царского правительства не стало. 2 марта царь — на станции Дно — отрекся от престола.

Над церко́вкой — голубые облака,
Крик вороний…
И проходят — цвета пепла и песка —
Революционные войска.
Ох ты барская, ты царская моя тоска!

Нету лиц у них и нет имен, — Песен нету!
Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветреном лесу знамен.

Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон!

Москва, 2 марта 1917

(«Над церковкой — голубые облака…)

В марте Сережу перевели в Петергоф. Там стало полегче. Он освобожден от утренней гимнастики, имеет право ночевать вне школы и освобождается от шести вечера до семи с половиной утра. Но в Петергофе у него никого нет, в Петроград ездить не хватает времени, и все же иногда он навещает там Асю Жуковскую.

Тринадцатого апреля в московском Воспитательном доме Марина родила девочку. Воспитательный дом — городская усадьба XVIII века на улице Солянка, 12, — предназначен для призрения «в бедности рожденных младенцев». В нем содержатся восемь тысяч детей, в основном подкидышей. В Доме — вспомогательное отделение с платными одноместными палатами, где и родилась Ирина. Марина пишет оттуда Лиле: «…Бориса (Трухачева. — *И. Ф.*) попросите ко мне приехать завтра в 4 ч., а Никодиму позвоните… <…> Чтобы приехал в 1 ч., а то я не хочу, чтобы они встретились с Б<орисом>. Поцелуйте за меня Алю и скажите ей, что сестра все время спит».

Там же она пишет стихи. Это, видимо, написано прямо по поступлению в Дом:

А все же спорить и петь устанет —
И этот рот!
А все же время меня обманет
И сон — придет.

И лягу тихо, смежу ресницы,
Смежу ресницы.
И лягу тихо, и будут сниться
Деревья и птицы.

12 апреля 1917

(«А все же спорить и петь устанет…»)

Отнюдь. Следом валом пошли стихи — про Стеньку Разина. Спит Воспитательный дом, спит новорожденная, а мать ее — без устали разрешается стихом.

Ветры спать ушли — с золотой зарей,
Ночь подходит — каменною горой,
И с своей княжною из жарких стран
Отдыхает бешеный атаман.
Молодые плечи в охапку сгреб,
Да заслушался, запрокинув лоб,
Как гремит над жарким его шатром
Соловьиный гром.

22 апреля 1917 («Стенька Разин»)

В каком мире она живет? В этом ли? Вряд ли. Но ведь видит, видит, что происходит. Пару месяцев назад произошло событие, которое назовут Февральской революцией. Еще бурлит Петроград, и Москва пришла в движение. 18 апреля министр иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюков обратился к союзникам с нотой: Россия будет вести войну до победного конца. Нота Милюкова возмутила солдат и рабочих. 20 апреля солдаты вышли на улицы с лозунгами: «Долой Милюкова!», «Мир без аннексий и контрибуций!».

Марина — в водовороте — и вне его. Смотрит изнутри и со стороны.

Так родилась девочка Ирина, в лесу знамен, под соловьиный гром, в барской-царской тоске роженицы.

Записная книжка МЦ заполняется черными и красными чернилами, каждый фрагмент текста отделен от другого черточкой посредине листа, даты разбросаны, или их нет.

> Первого сорта у меня в жизни были только стихи и дети.

> Что я делаю на свете? — Слушаю свою душу.

> Две возможности биографии человека: по снам, которые он видит сам, и по снам, которые о нем видят другие.

Дочери Але она пишет письма — отчетливо, внятно, большими печатными буквами и подписывается: «Марина». У них так принято. Они подруги, люди равные, только одна постарше. В Воспитательном доме она провела шестнадцать суток, не оставляя Алю без своих установок. Вот, к примеру, между 16 и 28 апреля:

Аля! Не забудь сказать Маше (прислуге. — *И. Ф.)*, что я прошу, чтобы она поскорее отдала в починку корыто и примус. А няне скажи, чтобы она без меня полосатого и голубого бархатного платья тебе не надевала. Ты, наверное, без меня гадко ешь и обливаешься молоком. А гулять в хорошую погоду ходи не на Собачью площадку, а на Новинский бульвар. Там больше места тебе играть и меньше пыли.

Мартыха! Не забывай по вечерам молиться за всех, кого ты любишь. Молись теперь и за Ирину. И за то, чтобы папа не попал на войну. Крепко тебя целую.

Марина.

Дочь стала помощницей, ей поручается самое насущное: «Аленька, узнай у Маши, взяла ли она из починки мои башмаки и отдала ли чинить калоши. Если нет, попроси, чтобы она это сделала. Напиши мне с Лилей или Верой письмо и пришли рисунки. Я по тебе соскучилась».

Опыт супружества и материнства уже работал сам по себе, в связке с творчеством, но в каком-то отдельном отсеке ее существа. Разные полушария головного мозга? Может быть. По крайней мере так думать и действовать мог и другой человек, к стихописанию не имеющий никакого отношения:

Москва 29-го апреля 1917 г.

Милая Лиленька,

у меня к Вам просьба: не могли бы Вы сейчас заплатить мне? Вы мне должны 95 р. <…>

У меня сейчас большие траты: непредвиденный налог в 80 р<ублей>, квартирная плата, жалованье прислугам, чаевые (около 35 р<ублей>) здесь, — и м<ожет> б<ыть> еще 25 р<ублей> за 2 недели, если до 4-го не поправлюсь.

А занимать мне не у кого, я Никодиму д<о> с<их> п<ор> должна 100 р <ублей> <…>

— И еще поручение, Лиленька. Сдавайте офицер-<скую> (условное название гостевой комнаты Сережиных друзей. — *И. Ф.)* комнату *на все лето,* — условие: ежемес<ячная> плата вперед (это всегда), и чтобы по телеф<ону> ему звонили не раньше 4 ч. дня. А то прислуге опять летать по лестнице. И сдавайте непрем<енно> мужчине. Женщина целый день будет в кухне и все равно наведет десяток мужчин.

Чувствую себя хорошо. Вчера д<окто>р меня

выслушивал. В легких ничего нет, простой бронхит.

Тут ее берет за руку другой, основной человек в ней — поэт, человек литературы:

> Вижу интересные сны, записываю. Вообще массу записываю — мыслей и всего. Ирина научила меня думать.
>
> Очень привыкла к жизни здесь, буду скучать. Время идет изумительно быстро: 16 дней, как один день.
>
> Множество всяких планов, — чисто внутренних (стихов, писем, прозы) — и полное безразличие, где и как жить. Мое — теперь — убеждение: Главное — это родиться, дальше все устроится. <…>
>
> Значит, Лиленька, не забудьте насчет башмаков: *№ 29*. И непрем<енно> *на* каблуке.
>
> *МЭ*

На полях она добавляет: «Сейчас тепло. Пусть Аля переходит в детск<ую>, а С<ережи>ну комн<ату> заприте».

Сережа ревностно несет службу, потихоньку ожесточаясь. Муштруя солдат, юнкер все время кого-то сажает под арест, хмурится, на будущее в Петрограде смотрит безнадежно.

В мае — трагедия у Аси: умер Маврикий Минц. Перитонит. Диагноз врачом был поставлен неправильно, операции не было сделано — нарыв вскрылся сам, и он, прохворав три дня, умер. Бедный Маврикий, — Асины отношения с Мироновым, наезжающим с фронта, довели его до того, что он вознамерился отравить ее, ребенка и себя — его родственники предотвратили непоправимое. Люди жесткие и ортодоксальные, они с самого начала были против союза Маврикия с Асей.

Ася была в Феодосии и, 25 мая вызванная телеграммой Марины, рванулась в Александров, но опоздала, вместо нее у могильной ямы на Дорогомиловском кладбище стояла Марина. Ася поехала назад в Феодосию, к оставленным у художника Николая Хрустачева детям — Андрюше и Алеше — и перебралась в Коктебель. В июле сгорел в пять дней от дизентерии — годовалый Алеша. Вскоре заболел пятилетний Андрюша. Марина на скоростях приехала в Коктебель, побыла с сестрой и быстро вернулась в Москву.

Сестры расстались на три с половиной года.

Маленькая Аля пишет реквием:

> *Ах, Маврикий миленький,*

Ты уже — умер.
Ты у Бога, миленький,
Но мне жаль тебя.

В России произошли болезненно тяжелые события. 18 июня — демонстрации во многих городах: растущее недовольство правительством и руководством Советов.

У Сережи до выпуска осталось две недели — все время уходит на примерку всякого офицерского снаряжения. Он страдает — портной или сапожник ему не менее страшен, чем зубной врач. Он мечтательно предполагает, что после школы прапорщиков попадет на Кавказ, в 24-й гренадерский Навтлугский полк. Кавказские корпуса сейчас одни из лучших. Или в ударный батальон. «Ни в коем случае не дам себя на съедение тыловых солдат. При моей горячности — это гибель».

Учебная команда 56-го пехотного запасного полка переброшена в Нижний Новгород — навести порядок в городе, охваченном волнениями. Солдаты несколькими днями раньше учинили расправу над юнкерами.

Москва. 29-го июня 1917 г., четверг
Милая Лиля,

Сережа жив и здоров, я получила от него телегр<амму> и письмо. Ранено свыше 30-ти юнкеров (двое сброшено с моста, — раскроенные головы, рваные раны, — били прикладами, ногами, камнями), трое при смерти, один из них — только что вернувшийся с каторги социалист. Причина: недовольство тем, что юнкера в с<оциал>-д<емократической> демонстрации 18-го июня участия почти не принимали, — и тем, что они шли с лозунгами: «Честь России дороже жизни». — Точного дня приезда Сережи я не знаю, тогда Вас извещу. <…>

О своем будущем ничего не знаю. Аля и Ирина здоровы, Ирина понемножку поправляется, хотя еще очень худа.

Третьего-четвертого июля в Петрограде — массовая демонстрация вооруженных солдат, матросов и рабочих, полмиллиона человек окружили Таврический дворец, где размещался ВЦИК: требовали взятия власти Советами. Правительство вызвало войска с фронта, началось разоружение части солдат и рабочих, закрыта газета «Правда», на фронте восстановлена смертная казнь, Верховным главнокомандующим

вместо либерального А. А. Брусилова 18 июля назначен генерал Л. Г. Корнилов.

Марина сидит в Борисоглебском, с кормилицей и тремя детьми (третий — шестимесячный Валерий, сын кормилицы). Прислуга Маша ушла. Кормилица очень мила, они справляются. Марина пишет стихи, видится с Никодимом и его женой Татьяной, с Лидией Александровной Тамбурер, Николаем Бердяевым, Константином Бальмонтом. «И — в общем — все хорошо».

Иногда выходит на улицу. 17 июля вечером была на Тверской, рядом с ней — Лидия Александровна Тамбурер. Огромная толпа стройно освистала большевиков, солдаты кричали:

— Подкуплены! Николая Второго хотят!

— Товарищи, кричите погромче: «Долой большевиков!» Колючие от винтовок автомобили, крик, бегущая толпа, исступленные лица, люди ломятся в магазины — прямая Ходынка. Одно только чувство: ужас быть раздавленной. Все это длилось минуту-две. Оказалось — ложная тревога. По переулкам между Тверской и Никитской непрерывно мчались вооруженные автомобили большевиков. «Москва — какой я ее вчера видала — была прекрасной. А политика, может быть, — страстнее самой страсти».

Август. Государственное Московское совещание, созванное Временным правительством, состоялось 12—15-го под председательством Керенского. На этом совещании, 14 августа, Лавр Корнилов выступил с пламенным призывом применить военную силу в революционном Петрограде. Демарш Главковерха провалился, остались стихи МЦ:

…Сын казака, казак…
Так начиналась — речь. —
Родина. — Враг. — Мрак.
Всем головами лечь.

Бейте, попы, в набат. —
Нечего есть. — Честь.

— Не терять ни дня!
Должен солдат
Чистить коня…

(«Корнилов»)

Сергей — наконец-то — дождался благоприятных перемен. Его полк — 56-й запасной пехотный — в Москве. Прапорщик Эфрон, числящийся в 10-й роте, обучает солдат на плацу Ходынки маршам, военным артикулам и прочему, по графику дежурит в Кремле. Бывают неприятности: поранил себе палец из револьвера. А так — все благополучно, Ирина начала прибавлять в весе. В Борисоглебский заглянул знакомый сестры Лили большевик: Бернгард Генрихович Закс, впоследствии работник Совнаркома и жилец Марины, — принес фунт рису и хлеба. Лиля помогала ему, когда он сидел в тюрьмах.

Марина, как водится, хлопочет о Сережиных делах, пишет Максу Волошину, просит включить связи, дабы Сережу перевели в артиллерию на юг, в Одессу, где друг Макса — генерал-лейтенант Никандр Александрович Маркс — с лета 1917 года начальник штаба Одесского военного округа. К тому же Сережа хочет служить не в крепостной артиллерии, где слишком безопасно, а в тяжелой. Этого не получилось, да и Сережа уже хочет если не в Коктебель, то хоть в окрестности Феодосии. Он просит Макса: «Прошу об артиллерии (легкая ли, тяжелая ли — безразлично), потому что пехота не по моим силам. Уже сейчас — сравнительно в хороших условиях — от одного обучения солдат — устаю до тошноты и головокружения… Хочу в Феодосию![31]»

Генерал Маркс помочь не смог. Макс думал и о возможности обращения к Борису Савинкову, который был в то время помощником военного министра Временного правительства. МЦ дает добро на этот «ход». С Крымом не получилось.

Но вот важный факт. Илья Эренбург.

МЦ 9 августа сообщает Максу: «У нас с ним сразу был скандал, у него отвратительный тон сибиллы». В ответном письме от 13 августа Волошин по поводу Эренбурга говорит: «Что от Вашей первой встречи произошел скандал, это совершенно естественно, так как вы оба капризники и задиры».

Что там было-то? У МЦ это блестяще описано в письме Сереже в Москву из Феодосии, куда она уехала в конце сентября, оставив дочерей сестрам Сережи:

> *Феодосия. 25-го октября 1917 г.* (выделено мной. — *И. Ф.*)
>
> Дорогой Сереженька,
>
> третьего дня мы с Асей были на вокзале. Шагах в десяти — господин в широчайшем желтом пальто, в высочайшей шляпе. Что-то огромное, тяжелое, вроде оранг-утанга.
>
> Я Асе: «Quelle heurreur!» — «Oui, j'ai deja

remarque!»[32] — И вдруг — груда шатается, сдвигается и — «М<арина> И<вановна>! Вы меня не узнаете?»

— Эренбург!

Я ледяным голосом пригласила его зайти. Он приехал к Максу, на три дня.

Вчера приехала из К<окте>беля Наташа Вержховецкая[33]. Она меня любит, я ей верю. Вот что она рассказывала:

— «М<арина> Цветаева? Сплошная безвкусица! И внешность и стихи. Ее монархизм — выходки девочки, оригинальничание. Ей всегда хочется быть другой, чем все. Дочь свою она приучила сочинять стихи и говорить всем, что она каждого любит больше всех. И не дает ей есть, чтобы у нее была тонкая талья».

Квинтэссенция антицветаевщины. Но Марина приписала Эренбургу чужие оценки — хотя бы потому, что он еще не видел ее дочери. Характерен комментарий Марины: «Говорил он высокомерно и раздраженно. Макс слегка защищал: — «Я не нахожу, что ее стихи безвкусны». Пра неодобрительно молчала. <…> И как непонятны мне Макс и Пра и сама Наташа! Я бы ему глаза выдрала!» Звучит кровожадно, однако жизнь предложила иные варианты. «Потом это уладилось». Будет всяко. Если кто и помог Марине и Сереже, так это он, Эренбург. Но это — потом.

В Феодосии — безобразия. Власти выпускают — то есть опустошают — винные бочки обывателей, выливая содержимое на улицу. Город насквозь пропах. Солдатский сброд грабит погреба, прокатывается по городу, горланит песни.

МЦ пишет (еще 19 октября):

Цены на дома растут так: великолепный каменный дом со всем инвентарем и большим садом — 3 месяца тому назад — 40.000 р<ублей>, — теперь — 135.000 р<ублей> без мебели. Одни богатеют, другие баснословно разоряются (вино).

У одного старика выпустили единственную бочку, к<отор>ую берег уже 30 лет и хотел доберечь до совершеннолетия внука. Он плакал. <…>

Сереженька, я ничего не знаю о доме: привили ли Ирине оспу, как с отоплением, как Люба (няня Али и Ирины. — *И. Ф.*), — ничего. Надеюсь, что все хорошо, но хотелось бы знать достоверно.

Я писала домой уже раз семь. <…>

P. S. Крупы здесь совсем нет, привезу что даст Ася. *Везти ли с собой хлеб!* Муки тоже нет, вообще — не

лучше, чем в Москве. Цены гораздо выше. Только очередей таких нет.

В другом письме добавляет: «Привезу Вам баранок и Ирине белых сухарей (продаются по рецепту в аптеке)». У нее вырывается: «Ах, Сереженька! Я самый беззащитный человек, которого я знаю».

Двадцать пятого октября (по старому стилю) в Петрограде — новый государственный переворот. В Москве — вооруженное восстание.

Утром 25-го большевики — пара партийцев — отправились в казармы 56-го пехотного запасного полка, чтобы сформировать отряд для занятия почты и телеграфа. На полк была возложена охрана Кремля с арсеналом ручного и станкового оружия, Государственного банка, казначейства, ссудо-сберегательных касс и других учреждений. Полк располагался поблизости от Московского почтамта (Мясницкая, 26), 1-й батальон и 8-я рота 56-го полка размещались в Кремле, остальные роты 2-го батальона стояли в районе Замоскворечья, а штаб полка с двумя батальонами — в Покровских казармах. Большевикам удалось поднять солдат на выступление, 11-я и 13-я роты двинулись выполнять их задания. По решению Московской городской думы был создан Комитет общественной безопасности (КОБ), который выступал с позиции защиты Временного правительства, но мог опираться главным образом на офицеров и юнкеров.

Поперек ему был избран боевой центр московских Советов — Военно-революционный комитет (ВРК) для «организации поддержки» вооруженного выступления в Петрограде. ВРК опирался на часть большевизированных войск, в том числе на 56-й запасной пехотный полк.

Двадцать седьмого октября офицеры и юнкера собрались в здании Александровского военного училища в районе Арбата. Их было около трехсот человек вместе со студентами-добровольцами. Прапорщик Эфрон был там, держа в боковом кармане шинели неуставной револьвер «Ивер и Джонсон». По пути на службу его только что задержала толпа за то, что он в обществе попутчика-офицера сорвал со стены большевистское воззвание, оба они чудом спаслись и даже не были обезоружены — шашка и револьвер имеют место.

Шли бои по всей Москве, особенно в центре: Смоленский рынок, Поварская, Малая Никитская, Тверской бульвар, Большая Никитская, Пречистенка, Театральная площадь, Арбатская площадь, Лубянка, Мясницкая — сердце города, вплоть до

Кремля. Правофланговый 1-й офицерской роты Сергей Эфрон воюет на улицах Москвы.

Кремль занимали то большевики, то белые: добровольческий отряд студентов, поддержавших военных, получил название «белая гвардия» — отсюда оно и пошло.

Мы — белые. Так впервые
Нас крестит московский люд.
Отважные и молодые
Винтовки сейчас берут.
…..
К Никитской, на Сивцев Вражек!
Нельзя пересечь Арбат.
Вот юнкер стоит на страже,
Глаза у него горят.
…..
Мы заняли Кремль, мы — всюду
Под влажным покровом тьмы,
И все-таки только чуду
Вверяем победу мы.

(«Восстание»)

Это написал Арсений Несмелов, в те дни подпоручик, а потом первый поэт харбинской эмиграции, страстный читатель и корреспондент МЦ.

В те дни в Успенском соборе Кремля проходил Поместный собор Русской православной церкви, выступивший с обращением к противоборствующим сторонам: «Во имя Божие Всероссийский Священный Собор призывает дорогих наших братьев и детей ныне воздержаться от дальнейшей ужасной кровопролитной брани». Собор призывал не подвергать Кремль артиллерийскому обстрелу «во имя спасения дорогих всей России святынь, разрушения и поругания которых русский народ никому и никогда не простит».

По Кремлю била большевистская артиллерия. Нарком Луначарский подал в отставку, но Ленин уговорил его смягчить свою позицию. В ночь на 2 ноября 1917 года юнкера сами ушли из Кремля, было заключено соглашение о разоружении юнкеров и кадетов, сопротивление в Москве прекратилось. 3 ноября юнкера, офицеры и студенты покинули Кремль и здание Александровского училища.

К Сереже подошел прапорщик Сергей Гольцев. Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.

— Ну что, Сережа, на Дон?

— На Дон.

Семь дней и семь ночей Москва металась
В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро
Пускал ей кровь — и, обессилев, к утру
Восьмого дня она очнулась. Люди
Повыползли из каменных подвалов
На улицы. Так, переждав ненастье,
На задний двор, к широкой луже, крысы
Опасливой выходят вереницей
И прочь бегут, когда вблизи на камень
Последняя спадает с крыши капля…
К полудню стали собираться кучки.
Глазели на пробоины в домах,
На сбитые верхушки башен; молча
Толпились у дымящихся развалин
И на стенах следы скользнувших пуль
Считали. Длинные хвосты тянулись
У лавок. Проволок обрывки висли
Над улицами. Битое стекло
Хрустело под ногами. Желтым оком
Ноябрьское негреющее солнце
Смотрело вниз, на постаревших женщин
И на мужчин небритых. И не кровью,
Но горькой желчью пахло это утро.

Таким увидел утро после бойни Владислав Ходасевич в стихотворении «2-го ноября», написанном через полгода.

Марина срочно едет в Москву, а пока едет, ничего не ест, не пьет, лишь лихорадочно пополняет записную книжку черновиком письма:

Сереженька!

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться — слушайте: Вчера, подъезжая к Х<арькову> я прочла «Южный Край» (газета. — *И. Ф.*) 9.000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, п<отому> ч<то> она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре.

Сереженька! Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю, *что* Вы сейчас, сию эту секунду.

…..

Подъезжаем к Орлу. Сереженька, я боюсь писать Вам, как мне хочется, п<отому> ч<то> расплачусь. Все это — страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как

Вам писать. Когда я пишу, Вы есть, — раз я Вам пишу. А потом — ах! — 56 запасный полк, Кремль. И я иду в коридор к солдатам и спрашиваю, скоро ли Орел.

Сереженька, если Бог сделает это чудо — оставит Вас живым — отдаю Вам все: Ирину, Алю и себя — до конца моих дней и на все века.

И буду ходить за Вами, как собака.

Сереженька! Известия неопределенны, не знаю, чему верить. Читаю о Кремле, Тверской, Арбате, Метрополе, Вознес<енской> площади, о горах трупов. В с.р. (эсеровской. — *И.* Ф.) газете «Курская Жизнь» от сегодняшнего дня (4-го) — что началось разоружение. Другие газеты (3-го) пишут о бое.

Где Вы сейчас?Что с Ириной, Алей? Я сейчас не даю себе воли писать, но я 1000 раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?

— Скоро Орел. Сейчас около 2-х часов дня. В Москве будем в 2 ч<аса> ночи. А если я войду в квартиру — и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? М<ожет> б<ыть> и дома уже нет?

У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. *Что это мне снится, что я проснусь.*

Горло сжато точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.

Москва мрачна и тиха, Сережа на месте — в Борисоглебском, рядом с ним однокашник и однополчанин Сергей Гольцев, ученик студии Евгения Вахтангова в Мансуровском переулке (будет убит в бою под Екатеринодаром 30 марта следующего года, в один день с генералом Лавром Корниловым).

Четвертого ноября они втроем отбывают в Коктебель. 10-го уже там. Марина зовет письмом Веру Эфрон в Коктебель, чтобы та выехала вместе с Алей, Ириной и нянькой Любой, дает ей подробные инструкции, что из вещей взять, что и кому оставить на хранение. «Здесь трудно, но возможно. Но сегодня второй день нет газет, и я чувствую, что не выживу здесь без детей, в вечном беспокойстве. Любу соблазняйте морем, хлебом, теплом». 17 ноября она снимает в Феодосии квартиру — две комнаты и кухня за 25 рублей. В Коктебеле с детьми зимовать невозможно.

Двадцать пятого ноября Марина метнулась в Москву за детьми, добралась туда, но капкан захлопнулся: назад, из Москвы, ходу нет. 25 ноября Макс сказал Марине на прощание:

помни, что теперь будет две страны — Север и Юг.

Больше они с Максом не виделись.

МЦ открыла книжку «Вечерний альбом» сонетом «Встреча» и, в другом сонете сказав «И можно все простить за плачущий сонет!», в каком-то смысле действительно дала повод Брюсову поставить ее в ряд «других символистов». Вскоре она перестала писать сонеты. В этом она походила на Блока, семь ранних сонетов которого за всю жизнь — ничтожное число в эпоху, когда сонетов не писал лишь ленивый. Бальмонт только за 1915–1916 годы написал 255 сонетов, составивших его книгу «Сонеты Солнца, Неба и Луны» (1917). Бунин не был символистом, но сонеты писал — и восхитительные.

Волошин посвятил Цветаевой как раз сонет: «Взятие Тюильри (10 августа 1792 г.)» — в составе двухчастной вещи «Две ступени».

«Je me manque deux batteries pour
balayer toute cette canaille la» [34].

Слова Бонапарта. Мемуары Бурьенна

Париж в огне. Король низложен с трона.
Швейцарцы перерезаны. Народ
Изверился в вождях, казнит и жжет.
И Лафайет объявлен вне закона.

Марат в бреду и страшен, как Горгона.
Невидим Робеспьер. Жиронда ждет.
В садах у Тюильри водоворот
Взметенных толп и львиный зев Дантона.

А офицер, незнаемый никем,
Глядит с презреньем — холоден и нем —
На буйных толп бессмысленную толочь,

И, слушая их исступленный вой,
Досадует, что нету под рукой
Двух батарей «рассеять эту сволочь».

21 ноября 1917. Коктебель

Эти ноябрьские дни Марина и Сережа — у Макса в Коктебеле. Сергей готовится к прыжку, бессмысленному по результату. Он в

жажде подвига, готов погибнуть враз.

Ясно, что Бонапарт — это явно по части Марины, но можно лишь гадать, вкладывает ли автор осознанный смысл в приведенную дату взятия Тюильри: это произошло практически ровно за сто лет до года рождения адресата сонета. Если и совпало, то по делу.

В семнадцатом году культ Наполеона вновь охватил умственную Россию. Керенский метит в Наполеоны, и стихи о нем звучат бонапартистскими гимнами — от Цветаевой до Мандельштама. Еще весной Марина слагает стих:

И кто-то, упав на карту,
Не спит во сне.
Повеяло Бонапартом
В моей стране.

Кому-то гремят раскаты:
— Гряди, жених!
Летит молодой диктатор,
Как жаркий вихрь.

Глаза над улыбкой шалой —
Что ночь без звезд!
Горит на мундире впалом
Солдатский крест.

Народы призвал к покою,
Смирил озноб —
И дышит, зажав рукою
Вселенский лоб.

21 мая 1917. Троицын день

(«И кто-то, упав на карту…»)

Ее впечатлил Георгиевский крест, на каком-то собрании сорванный со своей груди солдатом и надетый на грудь Керенскому.

Мандельштам вторит тому и другому собрату:

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик,
И пулеметчик низколобый, —

— Керенского распять! — потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
И сердце биться перестало!

И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
— Вязать его, щенка Петрова!

Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.

И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые, —
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.

Ноябрь 1917

Коктебельская галломания? Только частично. Сам Волошин хотел (в 1910-м) уйти в Азию — и не вернуться. МЦ назвала его «французский модернист в русской поэзии». Произошел оксюморон: Максимилиана Волошина революция развернула — в историческую Русь. К истокам всего, что творилось на Руси нынешней. С Мариной Цветаевой во многом было то же самое. Это что касается ее «монархизма»…

Девятого декабря 1917 года Волошин посвящает Сергею Эфрону стихотворение «Петроград», написанное в Коктебеле:

Как злой шаман, гася сознанье
Под бубна мерное бряцанье
И опоражнивая дух,
Распахивает дверь разрух —
И духи мерзости и блуда
Стремглав кидаются на зов,
Вопя на сотни голосов,
Творя бессмысленные чуда, —
И враг, что друг, и друг, что враг,
Меречат и двоятся… — так,

Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод.
Народ, безумием объятый,
О камни бьется головой
И узы рвет, как бесноватый…
Да не смутится сей игрой
Строитель внутреннего Града —
Те бесы шумны и быстры:
Они вошли в свиное стадо
И в бездну ринутся с горы.

Одиннадцатого декабря МЦ пишет в Коктебель письмо мужу, по-видимому последнее в этом 1917 году.

Лёвашенька!

<…> Я думаю, Вам уже скоро можно будет возвращаться в М<оскву>, переждите еще несколько времени, это вернее. Конечно, я знаю, как это скучно — и хуже! — но я очень, очень прошу Вас.

Я не приуменьшаю Вашего душевного состояния, я все знаю, но я так боюсь за Вас, тем более, что в моем доме сейчас находится одна мерзость, которую сначала еще надо выселить (лицо не установлено. — *И. Ф.)*. Адо Рождества этого сделать не придется.

Конечно, Вы могли бы остановиться у Веры, но все это так ненадежно!

Поживите еще в К<окте>беле, ну немножечко. (Пишу в надежде, что Вы никуда не уехали). <…>

Завтра отправлю Вам простыни, — когда они дойдут? Я страшно боюсь, что потеряются. Отправлю две.

— У Ж<уков>ских разграблено и отобрано все имение, дом уже опечатан, они на днях будут здесь. <…>

В каком безумном беспорядке Ваши бумаги! (Из желтой карельской шкатулочки[35]!) Как я ненавижу все документы, это ад.

Последнее время я получаю от Вас много писем, спасибо, милый Лев! Мне Вас ужасно жаль.

Дома все хорошо, деньги пока есть, здесь все-таки

дешевле, чем в Ф<еодосии> <…>
Очень Вас люблю. Целую Вас.

М.

Сережа стремится в Добровольческую армию под командованием генерала Михаила Васильевича Алексеева. В декабре он уже в Новочеркасске. Зачислен в Георгиевский полк: 1-й Офицерский полк Добровольческой армии во главе с генералом Сергеем Леонидовичем Марковым (марковцы). Туда брали не только георгиевских кавалеров. Эфрон выступил с предложением называть формируемые подразделения именами крупных городов, командование командировало его в Москву, с тем чтобы он достал деньги и подобрал личный состав для Московского полка.

Сергей Гольцев, когда они ехали втроем — МЦ, Эфрон, Гольцев — на юг и им не спалось, они читали до света стихи, прочел нечто родственное Марине по духу и темпу — стихи о Свободе:

И вот она, о ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась — с опущенным штыком!

И призраки гвардейцев-декабристов
Над снеговой, над пушкинской Невой
Ведут полки под переклик горнистов,
Под зычный вой музыки боевой.

Сам Император в бронзовых ботфортах
Позвал тебя, Преображенский полк,
Когда в заливах улиц распростертых
Лихой кларнет — сорвался и умолк…

И вспомнил он, Строитель Чудотворный,
Внимая петропавловской пальбе —
Тот сумасшедший — странный — непокорный, —
Тот голос памятный: — Ужо Тебе!

Кто автор? Гольцев говорит: актер-студиец Павлик Антокольский, он еще гимназист, ему семнадцать лет (на самом деле ему двадцать, да и был он уже студентом юридического факультета Московского университета).

Так у поэтов бывает — с одной строки, с одного стихотворения узнаёшь своего и принимаешь в себя. Марина разыскала его сама, в доме где-то у храма Христа Спасителя, с черного хода попав на кухню. В гимназическом (скорей студенческом) мундирчике, вылитый Пушкин-лицеист. Очень небольшой, курчавый, с бачками, огненно-глазастый и очень голосистый. Сблизились в мгновение ока.

В Борисоглебском он днюет и ночует. На дворе и в доме — декабрь, холод, еды нет, зато разговоров хоть отбавляй. Павлик начинает:

— У Господа был Иуда. А кто же у дьявола — Иуда?

Диалог, в котором десятки имен и тем, завершается его же предположением:

— Не правда ли, Голос, который слышала Иоанна, — мужской? *Не* Богоматери!

Речь о Жанне д'Арк. Павлик к тому же пишет пьесы. «Кукла Инфанты» готова. Марина к театру прохладна, если не враждебна, но здесь другое — Павлик, поэт, друг сердешный. Она дарит ему железное кольцо.

В шестидесятых годах у старика Антокольского спросили, кто была его первой женой.

— Как кто? Марина!

Тридцать первого декабря Марина пишет два последних стихотворения 1917 года.

Новый год я встретила одна.
Я, богатая, была бедна,
Я, крылатая, была проклятой.
Где-то было много — много сжатых
Рук — и много старого вина.
А крылатая была — проклятой!
А единая была — одна!
Как луна — одна, в глазу окна.

Второй стишок — о кавалере де Гриэ и Манон Леско, а на дворе — русская революция.

Двадцать восьмого января 1918 года МЦ участвует во «Встрече двух поколений поэтов», на квартире поэта Амари (Михаила Осиповича Цетлина) и его жены Марии Самойловны в Кречетниковском переулке, 8. Цетлины были издателями и меценатами, поэтов они собирали у себя достаточно регулярно. Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей

Белый, Пастернак. В основном символисты и футуристы. Маяковский читал поэму «Человек». Возможно, именно в тот вечер МЦ навсегда впечатлилась Маяковским, и не она одна.

Цетлин напечатал МЦ — ее пять стихотворений — в альманахе «Весенний салон поэтов», выпущенный в его же издательстве «Зерна», можно сказать, по итогам этого сбора.

Под видом рядового 15-го Тифлисского гренадерского полка, уволенного по болезни в отпуск, Сергей Эфрон появляется в Москве. Вещами не обременен: мешок с крошечной подушкой, сменой белья и большой, лохматой папахой. Папаха на случай, если понадобится сразу изменить внешность. Он в кепке и он же в папахе — два разных человека.

Из его замысла формирования Московского полка ничего не вышло. 18 января 1918 года они с Мариной повстречались в Москве. Вот что получилось в результате встречи:

На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

Москва, 18 января 1918

(«На кортике своем: Марина…»)

Начался белый миф, ее *белая стая* (ответ Ахматовой[36]), лебединый стан Цветаевой. Стихи этого года пропитаны белым цветом и понятиями, производными от «белый». В следующем году, однако, она обронит: «Моя простонародная нелюбовь к белому цвету (и марко, и пусто!)».

В те же зимние дни 1918-го, чуть позже, возникает совсем другое:

Ю.З.
Beau tenebreux![37] *— Вам грустно. — Вы больны.*
Мир неоправдан, — зуб болит! — Вдоль нежной
Раковины щеки — фуляр, как ночь.

Ни тонкий звон венецианских бус,

(Какая-нибудь память Казановы
Монахине преступной) — ни клинок

Дамасской стали, ни крещенский гул
Колоколов по сонной Московии —
Не расколдуют нынче Вашей мглы.

Доверьте мне сегодняшнюю ночь.

Я потайной фонарь держу под шалью.
Двенадцатого — ровно — половина.
И вы совсем не знаете — кто я.

Это по линии Павлика. *Ю. З.* — его прекрасный друг, не человек, но образ, сияние и видёние. На самом деле это Юрий Завадский, лидер той самой театральной студии в Мансуровском переулке, и у него, очевидно, просто болит зуб. Но зато на какой ноте!

Два всадника! Две белых славы!
В безумном цирковом кругу
Я вас узнала. — Ты, курчавый,
Архангелом вопишь в трубу.
Ты — над Московскою Державой
Вздымаешь радугу-дугу.

(«Братья»)

Марина охвачена высоким волненьем, волны стихов набегают неостановимо. Опять Казанова, Калиостро, а к ним Кармен да Лозен (у МЦ — Лозэн). О последнем вот-вот выльется пьеса «Фортуна».

Все перевернулось. С 1 (14) февраля в России введен новый — григорианский — календарь (в соответствии с «европейским стилем»). Марина отметает чертову дюжину, прибавленную к числам, все написанное ею датируя по «русскому стилю». Ранней весной в Петрограде вышел коллективный сборник «Тринадцать поэтов», в котором — стихотворение МЦ «Чуть светает…». Отозвался на него — Маяковский в неподписанной реплике «Братская могила»: «Среди других строк — Цветаевой: «За живот, за здравие раба Божьего Николая…» Откликались бы, господа, на что-нибудь другое!» (Газета футуристов. [Москва]. 1918. 15 марта).

Того же мнения И. Оксенов (Знамя труда. [Петроград]. 1918. № 151. 8 марта (23 февраля)):

> В сборнике, к несчастью, есть стихи, мимо которых нельзя пройти без чувства жалости к их автору. Это вещи Марины Цветаевой — хорошего подлинного поэта Москвы. Вероятно, только любовью к отжившему, тленному великолепию старины и боязнью за него объясняется «барская и царская тоска» Цветаевой. Или это просто — гримаса эстетизма? Конечно, «революционные войска цвета пепла и песка» — категория, неприемлемая для эстетки, которой дороги «разнеживающий плед, тонкая трость, серебряный браслет с бирюзой», по сделанному однажды признанию. А поэтому не удивляет вывод: — «Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон!» Впрочем, Москва обоих лагерей не послушалась совета — и показала себя в октябрьские дни. Второе стихотворение Цветаевой («…За живот, за здравие Раба Божьего Николая…») также неприлично-кощунственное по отношению к своему же народу. Под личиной поэта открылся заурядный обыватель, тоскующий о царе.

Однако в поэзии МЦ движется стремительно, за ней не поспевают и друзья ее стихов, в том числе Илья Эренбург (Новости дня. [Москва]. 1918. № 16. 13 апреля (31 марта)):

> По забавному определению Жюля Лафорга, «женщина — существо полезное и таинственное». Она живет здесь, рядом, но что мы знаем об ее жизни? <…>
>
> Марина Цветаева похожа не то на просвещенную курсистку, не то на деревенского паренька. Я не люблю, когда она говорит о Марии Башкирцевой или о мадридских гитарах — это только наивная курсистка, увлеченная романтическими цветами Запада. Но как буйно, как звонко поет она о московской земле и калужской дороге, об утехах Стеньки Разина, о своей любви шальной, жадной, неуступчивой. Русская язычница, сколько радости в ней, даром ее крестили, даром учили. Стих ее звонкий, прерывистый как весенний ручеек, и много в нем и зелени рощиц, и сини неба, и черной земли, и где-то вдали заревших красных платков баб. Милая курсистка! Снимите со стен репродукции Боттичелли, бросьте томик Мюссе или (где уж в России толком разобраться) m<ada>me де Ноайль

— к вам в комнатку ветер ворвался — это Марина Цветаева гуляет, песни свои поет.

Курсистка, если таковая была, — далеко позади, где-то под светом «Волшебного фонаря». Нет теперь того фонаря на улицах Москвы, где темно и опасно. Однако тяга к небывалому у МЦ остается навсегда.

Она говорит Павлику: «Если наложить друг на друга все образы женщины в произведениях поэта, получится общий тип любимой им женщины, как путем накладывания друг на друга снимков с преступников получается общий тип преступника». Не то же ли самое — у нее, с ее образами возлюбленных? Общий тип Героя.

Это — в облаках, а на земле — иное. Белый генерал Марков убит снарядом с красного бронепоезда. Его полк стал именоваться 1-й Офицерский генерала Маркова полк. В середине февраля белые пришли в Ростов, но там их не ждали, пришлось уходить на Кубань. Во вьюжном марте шли в оледеневших шинелях, по леденеющей степи; люди и лошади обросли ледяной корой, от которой вечером освобождались штыками; у станицы Ново-Дмитровская состоялась переправа через реку — по непрочному льду: штыковой атакой выбили красных; поход получил название Ледяного, офицеры стали называться первопоходниками. Подпоручика Эфрона Деникин наградил «Знаком отличия Первого Кубанского полка». 12 мая 1918 года Сережа пишет из Новочеркасска в Коктебель:

— Дорогие Пра и Макс, только что вернулся из Армии, с которой совершил фантастический тысячеверстный поход. Я жив и даже не ранен, — это невероятная удача, п<отому> что от ядра Корниловской Армии почти ничего не осталось. <…> Не осталось и одной десятой тех, с которыми я вышел из Ростова. <…>

Я потерял всякую связь с Мариной и сестрами, уверен, что они меня давно похоронили, и эта уверенность не дает мне покоя. <…> Если Вам что-либо известно — умоляю известить телеграммой по адр<есу>: Новочеркасск — Воспитательная ул<ица> дом Вагнер — подпор<учику> Эфрону. — Живу сейчас на положении «героя» у очень милых — местных буржуев… <…> — пока прикомандирован к чрезвычайной миссии при Донском правительстве… <…> мы шли три месяца — шли в большевистском кольце — под постоянным артиллерийским обстрелом. За это

время было 46 больших боев. У нас израсходовались патроны и снаряды — приходилось их брать с бою у большевиков. Заходили мы и в черкесские аулы и в кубанские станицы и наконец вернулись на Дон. Остановились, как я уже говорил, в 70 верс<тах> от Ростова и Черкасска. Ближе не подходим, п<отому> что здесь немцы.

Наше положение сейчас трудное — что делать? Куда идти? Неужели все жертвы принесены даром?

В Москве — разгул бандитизма, разбой, грабеж. МЦ:

Бог — прав
Тлением трав,
Сухостью рек,
Воплем калек,

Вором и гадом,
Мором и гладом,
Срамом и смрадом,
Громом и градом.

Попранным Словом.
Проклятым годом.
Пленом царевым.
Вставшим народом.

12 мая 1918 («Бог — прав…»)

Это правота Его отсутствия.

Марина беспрестанно заполняет записные книжки, дома или на коленке, носит их с собой, держит под рукой, разные по виду и объему, в основном альбомно-тетрадочные, но будут и блокноты, дареные и даже краденые. Потом она использует их для отделанной, отточенной прозы.

Но нам интересно сопровождать героиню в развитии, по свежему следу, в том времени, где она пребывает, здесь и сейчас, в стенографической скорописи и непрописанности, с произвольным правописанием. Это нелегко читается. Это довременный хаос черновика. Это черновик ее прозы и ее судьбы.

Да, лучше всего — попытаться реконструировать, воссоздать течение этой жизни так, словно не существует той продуманной прозы, — открыв тайники ее сиюсекундных свидетельств,

мимолетных и неосторожных. Это не столько вторжение в лабораторию творчества, сколько возможность прикосновения к правде жизни, не защищенной литературным мастерством.

25-го июня 1918 г., 2 ч. ночи, у моего подъезда.

Полная луна, я в 10-ти серебр<яных> кольцах, часы, браслет, брошь, через плечо С<ережина> кожаная сумка, в руке коробка с папиросами и немецкая книга. Из подъезда малый лет 18-ти, в военном, из-под фуражки — лихой вихор.

— Оружие есть?

— Не-ет…

<…>

Взял: кошелек со старым чеком на 1000 р., новый чудный портсигар, цепь с лорнетом, папиросы.

На следующий день, в 6 ч. вечера его убили. Это оказался один из 3-х сыновей церковного сторожа церкви (Ржевской), вернувшийся — по случаю революции — с каторги.

Она все-таки не одна, Лиля помогает Марине как может. Берет Ирину к себе на лето в деревню Быково. В июле Марина пишет золовке:

Милая Лиля!

Получила все Ваши три письма.

Если Вы все равно решили жить в деревне, я у Вас Ирину оставлю, если же живете исключительно из-за Ирины, я Ирину возьму… <…>

Все, что я могу сделать — платить за Иринино молоко, давать крупу и взять на себя половину того, что Вы платите за комнату. <…> Я определенно не хочу, чтобы Вы на Ирину тратили хотя бы копейку, но если ее содержание будет мне не по силам, я ее возьму. <…>

Не сердитесь и не упрекайте, у меня не только Ирина, а еще Аля, а еще дрова, к<отор>ых нет, и ремонт, за к<отор>ый надо платить, и т. д. — без конца.

Целую Вас. Подумайте и ответьте. Посылаю крупу и 84 р<убля> за Иринино молоко до 4-го а<вгуста> ст<арого> стиля. Деньги за комнату — если Ирина у Вас останется — привезу в среду.

МЭ

Возникает вопрос: не превращаем ли мы наше повествование в комментарий к эпистолярию? Ответ есть. Во-первых, зачастую нет никаких свидетельств — кроме писем. Во-вторых, чаще всего письмо и есть лучшее свидетельство.

Но еще верней — все-таки стихи.

Дурная мать! — Моя дурная слава
Растет и расцветает с каждым днем.
То на пирушку заведет Лукавый,
То первенца забуду за пером…

Завидуя императрицам моды
И маленькой танцовщице в трико,
Гляжу над люлькой, как уходят — годы,
Не видя, что уходит — молоко!

И кто из вас, ханжи, во время о́но
Не пировал, забыв о платеже!
Клянусь бутылкой моего патрона
И вашего, когда-то, — Беранже!

Но одному — сквозь бури и забавы —
Я, несмотря на ветреность, — верна.
Не ошибись, моя дурная слава: —
Дурная мать, но верная жена!

6 июля 1918 («Памяти Беранже»)

Опять-таки — реакция на Ахматову, уже спевшую:

Младший сын был ростом с пальчик, —
Как тебя унять,
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

1915 («Колыбельная»)

Вокруг Марины множество людей, далеко не обо всех следует говорить, но вряд ли возможно обойти уже упоминавшегося Михаила Соломоновича Фельдштейна — это тот человек, которого Марина называла «Волчья морда», в миру — юрист, друг семейства Эфрон. Он очень близко стоял к тем, о ком говорим. Настолько близко, что в скором времени уйдет от жены — к Вере

Эфрон. Ей-то он и пишет 6 сентября 1918 года:

> Веруша! Проводил тебя и пошел в заседание. Когда вернулся домой, совсем неожиданно застал Надежду Ивановну (подруга матери Фельдштейна, жившая у нее в доме. — *И. Ф.),* только что приехавшую из Быкова. Она сейчас же начала рассказывать Быковскую хронику, центральным местом коей являются Лилины муки по поводу Ирины. Оказывается, что третьего дня Надя (нянька детей МЦ. — *И. Ф.),* явившись из Москвы, объявила Лиле с торжествующим видом, что барыня Марина И<вановна> уезжают через две недели в Крым (МЦ никуда не уехала. — *И. Ф.*), а Ирина переходит на Надино попечение. Не успела Лиля опомниться от этой декларации прав ребенка, как вчера явилась Марина, а сегодня Ирина уже водворена в Москву под сень грозной родительской власти. Лиля была должно быть так озадачена этим финалом своего летнего самопожертвования, что окончательно растерялась и могла только написать Эве (до 1919 года жена М. С. Фельдштейна. — *И. Ф.)* записку с просьбой что-нибудь ей посоветовать. <…> Я очень люблю Марину, но почему во всех случаях столкновений с Лилей или с тобой она является такой истинной гражданкой Федеративной социалистической советской республики. Прямо хоть заказывай Наде Крандиевской-Файдыш Маринин памятник наряду со Сковородой и Стенькой Разиным. Бедная Лилька — укладывать так свою душу, как только она умеет, и получить такого рода отставку <…> — это такой номер, что *для* сохранения каких-нибудь хороших отношений к Марине просто надо заставить себя не знать о том, что у нее есть дети и о прочих последствиях этого противоестественного факта.

Да, резонеры существуют, и они не всегда не правы, и МЦ — мастерица резких движений, но правда состоит в том, что: «у меня не только Ирина, а еще Аля».

МЦ тащит свой воз и поет молодость. Она бьет сплеча, похлеще футуристов коммуны:

Не учись у старости,
Юность златорунная!
Старость — дело темное,
Темное, безумное.

Откуда ей про то знать, в свои-то двадцать шесть? От горькоты приходящего опыта, наверное. В записной книжке, чаще похожей на безоглядный дневник:

> *21-го августа 1918 г.*
>
> Ирине 1 г. 4 мес.
>
> года своей жизни (октябрь и ноябрь, когда я была в Крыму и 3 летних месяца) она провела без меня.
>
> В Алю я верила с первой минуты, даже до ее рождения, об Але я (по сумасбродному!) мечтала.
>
> Ирина — Zufallskind[38]. Я с ней не чувствую никакой связи. (Прости меня, Господи!) — Как это будет дальше?

> *27-го — 28-го августа 1918 г.*
>
> Брянский вокзал — за молоком — 5 1/2 утра по старому. Небо в розовых гирляндах, стальная (голубой стали) Москва-река, первая свежесть утра, видение спящего города. Я в неизменной зеленой крылатке, — кувшин с молоком в руке — несусь.
>
> Ах, я понимаю, что больше всего на свете люблю себя, свою душу, которую бросаю всем встречным в руки, и тело <над строкой: шкуру>, которое бросают во все вагоны 3-го кл<асса>. — И им ничего не делается!
>
> Чувство нежнейшей camaraderie[39] — восторга — дружеского уговора.
>
> Такое чувство — отчасти — у меня есть только к Але.
>
> — Анна Ахматова! Вы когда-нибудь вонзались, как ястреб, в грязную юбку какой-нибудь бабы[40] — в 6 ч. утра — на Богом забытом вокзале, чтобы добыть Вашему сыну — молоко?!

Марина убеждена в гениальности Али, став ее Эккерманом. Кстати, МЦ о Гёте:

> Гёте. В полной простоте сердца, непосредственно от его «Wahrheit und Dichtung»[41] и книжечки Эккермана: где его пресловутый холод, божественность, равнодушие к миру.
>
> От первых лет жизни до ее последнего дня: любовь ко всем и всему (кажется, немножечко больше ко всему,

чем ко всем!), ненасытность этой любви, простота, ясность, страстность: человек до конца, — настоящий мальчик (следов<ательно> — гениальный!), настоящий юноша, настоящий Mann im Mdnnesalter[42] (поездка в Италию), настоящий — как закат солнца — старик.

С Гёте перемудрили. Чтобы говорить о Гёте нужно быть Гёте — или Беттиной (мной).

Судя по иным высказываниям Али, зафиксированным матерью, дочь если не цитирует, то побуквенно-позвуково воспроизводит мысли или фразы матери: «Мама! Знаешь, что я тебе скажу? Ты душа стихов, ты сама длинный стих, но никто не может прочесть, что на тебе написано, ни другие, ни ты сама, — никто». Даже характер дифирамба — от нее, от самопохвал МЦ.

Невозможна эта фраза в устах шестилетнего ребенка:

— Марина! Это ужасно! Когда я хочу сказать «Роза Танненбург»[43], мне все всплывает та — большевистская — Роза!

Так что авторство Али — несколько условно.

Не все просто, Марина признается себе: «Тяготение к мучительству. Срываю сердце на Але. Не могу любить сразу Ирину и Алю, для любви мне нужно одиночество. Аля, начинающая кричать прежде, чем я трону ее рукой, приводит меня в бешенство. Страх другого делает меня жестокой».

У Али — своя влюбленность. В чем-то она повторяет Асю материнского детства, становясь вторым «я», альтер эго Марины. 3 ноября Аля пишет Юрию Завадскому «письмо неведомо кому»: «Я Вас люблю и может быть Вы тоже полюбите меня. Я думаю, что Вы крылатый. Вы будете мне сниться. Ночью Вы обнимете меня Крылами (большое К., Марина!) <…> Кто мы с мамой — Вы сами узнаете. <…> Вы охраняете всех. Я никогда никому не скажу о Вас». Как видим, и в любовных признаниях маленькая Ариадна Эфрон — верная ученица своей матери. Да и письмо-то это — по сути к Марине.

Студийцы зачастили в Борисоглебский к МЦ. А там — шаром покати. Где наша не пропадала, богема непритязательна. Впрочем, Марина не ощущает себя богемой: ей, например, не все равно, как выглядят ее башмаки. Льется не вино, льются речи без закуски. «За 1918–1919 г. я научилась слушать людей и молчать сама». Дом можно не прихорашивать да и не убирать. Другое дело — дети, дочери, которых надо кормить. Обе болеют, особенно младшая — Ирина.

Стрекочет синематограф действительности, мелькают кадры черно-белые.

Мальчишка на Казанском вокзале, завидя мчащуюся Марину

с Ириной на руках, кричит:

— Монах ребенка украл!

Аля — после купания — говорит:

— Марина! Если бы совсем не было хлеба, я бы была сыта купанием.

Аля находит на старинных камнях церкви Покрова в Филях четырехлистник клевера, Марина кладет листок в записную книжку — засушить, рождается стих:

Стихи растут, как звезды и как розы,
Как красота — ненужная в семье.
А на венцы и на апофеозы —
Один ответ: «Откуда мне сие?»

Мы спим — и вот, сквозь каменные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом — во сне — открыты
Закон звезды и формула цветка.

14 августа 1918

(«Стихи растут, как звезды и как розы…»)

Вот и у Ахматовой есть возможность переклички задним числом (1940): «Растут стихи, не ведая стыда…».

Мальчишка-газетчик кричит: «Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!» Разномастный народ апатично просматривает газету. Марина громко говорит:

— Аля, убили русского царя, Николая Второго. Помолись за упокой его души.

Москву душит голод, Марина бьется как рыба об лед, надо что-то делать. О своих шагах она информирует дочь:

Москва, 2-го сентября 1918 г.

Милая Аля!

Мы еще не уехали. Вчера на вокзале была такая огромная толпа, что билеты-то мы взяли, а в вагон не сели.

Домой возвращаться мне не хотелось — дурная примета, и я ночевала у Малиновского (художник, друг М. Минца. — *И. Ф.).* У него волшебная маленькая комната: на стенах музыкальные инструменты: виолончель, мандолина, гитара, — картины, где много

неба, много леса и нет людей, огромный зеленый письменный стол с книгами и рисунками, старинный рояль, под которым спит собака «Мисс» (по-английски значит — барышня).

Мы готовили с Малиновским ужин, потом играли вместе: он на мандолине, я на рояле. Вспоминали Александров, Маврикия, Асю, всю ту чудную жизнь. У него на одной картине есть тот александровский овраг, где — ты помнишь? — мы гуляли с Андрюшей и потом убегали от теленка.

Сейчас ранее утро, все в доме спят. Я тихонько встала, оделась и вот пишу тебе. Скоро пойдем на вокзал, встанем в очередь и — нужно надеяться, сегодня уедем.

На вокзале к нам то и дело подходили голодные люди, — умоляли дать кусочек хлеба или денег. Поэтому, Аля, ешь хорошо, пойми, что грех плохо есть, когда столько людей умирают с голоду. У Нади будет хлеб, кушай утром, за обедом и вечером. И каждый день кушай яйцо — утром, за чаем. И пусть Надя наливает тебе в чай молоко. <…>

Поцелуй за меня Никодима и Таню (жена Никодима Плуцер-Сарна. — *И. Ф.),* если их увидишь. <…>

(Мой отъезд напоминает мне сказку про козу и козленят, — «ушла коза в лес за кормом…») <…>

Марина

Речь идет о командировке Марины на Тамбовщину за пшеном. Пропуск в те места она добыла в бывшем Алек-сандро-Мариинском институте благородных девиц имени кавалерственной дамы В. Е. Чертовой, ставшем Отделом изобразительных искусств Наркомпроса, на Пречистенке, — там она попутно подумала о том, что живи она полтораста лет назад, то непременно была бы кавалерственной дамой.

Запись МЦ от 3–4 сентября 1918 года:

Не забыть посадку в Москве. В последнюю минуту — звон и шум. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас, Господи!» — Страх, как перед опричниками, весь вагон — как гроб. И, действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают из вагона. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам.

В последнюю секунду мы — М<алинов>ский, его друг, теща и я — благодаря моей «командировке» все-таки попадаем обратно.

В Москве приходится подрабатывать и мытьем полов. Хозяйка дома хамит: «Еще лужу подотрите! Нет, я совсем не умею мыть пола, знаете — поясница болит. Вы наверное с детства привыкли!» Марина глотает слезы. А дома у себя преспокойно моет полы, потому что прислуге это почему-то скучно.

А ведь у нее в Москве свой дом! В банке — 50 000! Ан приходится стирать пеленки и чистить картофель. И где тот дом? И где те деньги? Экспроприация.

Ирина мучает душу как-то по-особому. Марина что-то предчувствует. В имени *Ирина* — древнегреческое *мир,* стих звучит пафосно:

Под рокот гражданских бурь,
В лихую годину,
Даю тебе имя — мир,
В наследье — лазурь.

Отыйди, отыйди, Враг!
Храни, Триединый,
Наследницу вечных благ
Младенца Ирину!

8 сентября 1918

(«Под рокот гражданских бурь…)

Оттого что мир — твоя колыбель, и могила — мир…

Она в круговороте общений и страстей. Банда комедиантов обступает ее. Идя навстречу неизбежному и неизвестному, она прощается с недавним прошлым, еще по существу настоящим. В октябре она пишет Никодиму Плу-цер-Сарна: «Я Вас больше не люблю… Ваше лицо мне по-прежнему нравится… Вы первый перестали любить меня… Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители… Разлюбить — видеть вместо него — стол, стул».

На годовщину Октября — в сени знамен — выдают 1/2 фунта масла и 1/2 фунта хлеба. На Арбатской площади — колесница «Старый режим». В колеснице — розовые и голубые балерины. Колесницу везет старый — во всем блеске — генерал.

Александровское училище все в красном, колонны просто

выкрашены в красный цвет, на фронтоне надпись: «Мир — хижинам, война — дворцам».

Революция театрализуется, мобилизуя артистизм Мейерхольда и Маяковского — певцов происходящего, но театр существует и сам по себе, на дистанции от злобы дня, и по этой — не совсем солнечной — стороне улицы Марина ринулась в драматургию. Она усложнила задачу, поскольку зашла с той стороны, где уже стоял Блок со своей обидой на Мейерхольда и Станиславского: отвергая «мейерхольдию», он отвергнут театром, по которому тосковал. Новации Мейерхольда претят Блоку, а Станиславский так не поставил «Розу и Крест». Лирик в пределах драматургии практически всегда незваный гость. Это знал сонетист Шекспир.

Пьеса «Червонный валет» Цветаевой — это вам не «Мистерия-буфф» Маяковского, прогремевшая в Театре музыкальной комедии. Не игра мировых стихий и не сшибка классов, но игра карточная, камерная, куртуазная, и в той борьбе за корону — точнее, за сердце Дамы — нет никаких аллюзий на трагедию российского трона.

Не маленькая трагедия, не оглядка на Пушкина, но — маленькая пьеса, незамысловатая, инфантильная, возвращает к «Волшебному фонарю». Пьеса — в двух действиях, в стихах. В каждом действии по пять явлений. Все герои — игральные карты: Червонная дама — 20 лет, белокурая — Роза (МЦ про королеву Марию-Антуанетту говорит: «Просто роза»); Червонный король — старик, седая борода; Пиковый король, 30 лет, черный; Пиковый валет, 20 лет, черный; Трефовый валет, 40 лет, рыжий; Бубновый валет, 20 лет, черный; Червонный валет — белокурый мальчик.

Сюжет вечный — король в поход собрался:

Прощай, королева. Иду в поход.
Без вас, королева, мне день — что год.
Снятся, как только ступлю из дому,
Страшные сны королю седому.
Добрыми снами, любовь моя,
Оберегайте сон короля.

Балладная ритмика. Разумеется, в самом стихе слышна МЦ, ее интонация.

Король уходит, а королева, сидя на троне, поет вполне обаятельную песенку. Кроме этой песенки в пьесе — как пьесе — ничего примечательного нет, все абстрактно и заранее понятно. Королева (недолго музыка играла, да и лютню Червонного

разбили) особенно не сопротивляется, принимает дар — «огромное черное ожерелье и такие же запястья» — от Пикового короля. Аргументы классические:

Ах, я помню, в первый раз
Он вошел, — худой и томный…
Я не опустила глаз.

Влюбленный в хозяйку Червонный организует побег Дамы с ее избранником:

Черный плащ его как парус,
Черный конь его как вихрь…

Это карты нагадали.
Здесь никто не виноват.
Жизнь моя — aetetmit vale![44]
Роза тронная — виват!

Пиковый валет — просто злодей. Трефовый валет — барыга. А дерзкий Бубновый (карнавальный) валет, чернявый, сам двадцатилетний, двадцатилетнюю королеву, которая, откровенно жеманясь, говорит, что «Червонному верна», поучает:

Ах, дитя, не для того ли
Кровожадная война
По растрепанным посевам
Королей уводит в путь —
Чтобы юным королевам
От короны отдохнуть?

У Червонного была лютня в виде алого сердца, у Пикового валета — пика с наконечником в виде черного сердца. Козни трех валетов напрасны. Добыча (Королева), за которой они охотятся, ускользнула. Пиковый, злодей и предатель своего короля, сердцевидной пикой («зло для зла») убивает мальчика, единственного защитника Дамы. Червонный — за Любовь. Романтика. Бутафория. Кстати говоря, у Бубнового валета есть реплика, в которой он называет Червонного «рыцарь картонный», вполне по-русски, но если сказать по-французски — «homme de carton», получится — «ничтожество».

У МЦ такое — вольное, размашистое — обращение с языками

не редкость. Здесь прием лежит на поверхности. Но есть и другие варианты, посложней. В этой игре ума есть прелесть и уход от банальщины. Банальщина в любой момент может обернуться своей противоположностью:

Труби, труби, что его люблю,
Что в полночь бурную
Готова черному королю
Постель амурная.

На календаре осень, а Сергей Яковлевич Эфрон с июня 1918-го находится в Коктебеле. Происходящее с ним описано в его письме Марине:

26 октября 1918 г.
Коктебель

Дорогая, родная моя Мариночка,

Как я не хотел этого, какие меры против этого не принимал — мне все же приходится уезжать в Добровольческую Армию.

— Я Вас ожидал в Коктебеле пять месяцев, послал за это время не менее пятнадцати писем, в которых умолял Вас как можно скорее приехать сюда с Алей. <…>

У меня не было денег — я, против своего обыкновения, занимал у кого только можно, чтобы дотянуть до Вашего приезда. Занимать больше не у кого. Денег у меня не осталось ни копейки. Кроме этого и ждать-то Вас у меня теперь нет причин — Троцкий окончательно закрыл границы и никого из Москвы под страхом смертной казни не выпускают.

С ужасом думаю о Вашем житье в Москве. <…> Надеюсь, Никодим, как всегда, вас спасет.

— Вернее всего, что Добровольческая Армия начнет движение на Великороссию. Я постараюсь принять в этом движении непосредственное участие — это даст мне возможность увидеть Вас. <…>

— Макс Вам все расскажет о моей жизни в Коктебеле. Он мне очень помог во время моего пребывания здесь. (М<ежду> проч<им> я у него задолжал 400 рублей).

Асю (сестру МЦ. — *И. Ф.)* видел н<есколько> раз, но мельком. Она живет в Старом Крыму с Зелинской (см. далее. — *И. Ф.)*. Сняли домик, купили корову и проч<ее>. <…>

— Теперь о главном, Мариночка, — знайте, что Ваше имя я крепко ношу в сердце, что бы ни было — я Ваш вечный и верный друг. Так обо мне всегда и думайте.

Моя последняя и самая большая просьба к Вам — живите.

Вместо подписи — рисунок льва. Это письмо дошло до Марины лишь 25 марта 1919 года.

Безденежье подпирает, и Марина предпринимает действие, немыслимое ранее, — поступает на службу. Ей содействует ее новый — из прежних знакомых — жилец: большевик из польских революционеров Закс, друг Сережиных сестер. Он ей сказал, что есть работа в Чрезвычайке. Она изумилась такому предложению. Нет, Чрезвычайка выехала из этого дома на Поварской угол Кудринской, а теперь там другое учреждение — Наркомнац[45]. Она говорит, осознав: Дом Ростовых[46]. И бежит туда. Устроилась, Ирину отдала Вере Эфрон.

Первые впечатления — в записной книжке:

13- го ноября, Поварская, дом Соллогуба. «Информационный отдел Комиссариата по делам национальностей».

Латыши, евреи, грузины, эстонцы, «мусульмане», какие-то «Мара-Мара», «Энь-Лунья», и все это — мужчины и женщины — в фуфайках, в куцавейках — с нечеловеческими (национальными) носами и ртами…

— А я-то, всегда чувствовавшая себя недостойной этих очагов (усыпальниц!) *Расы!*

14- го ноября 1918 г, второй день службы.

— Странная служба, где приходишь, облокачиваешься локтями о стол и ломаешь себе голову: чем бы мне заняться, чтобы прошло время? Когда я прошу у заведующего какой-н<и>будь работы, я замечаю в нем какую-то злобу.

Пишу в розовой зале. Оказывается — она вся розовая. <…> Мраморные ниши окон. Две огромных завешенных люстры. — Редкие вещи (вроде мебели!) исчезли.

15-го ноября 1918 г. Третий день службы.

Составляю архив газетных вырезок, т. е.: излагаю своими словами Стеклова, Керженцева[47], отчеты о военнопленных, продвижение красной армии и т. д. Излагаю раз, излагаю два (переписываю с «журнала газетных вырезок» на «карточки»), потом наклеиваю эти вырезки на огромные листы. Газеты — тонкие, шрифт еле заметный, а еще надписи лиловым карандашом, а еще клей, — это совершенно бесполезно и рассыплется в прах еще раньше, чем это сожгут.

Здесь есть столы: эстонский, латышский, финляндский, молдаванский, мусульманский, еврейский и т. д.

Я, слава Богу, занята у русского.

Каждый стол — чудовищен.

Ее черновая проза пересыпана подробностями такого толка: «стояла за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за

конопляным на Арбате».

Аля усердно пишет правдивые стихи:

Черная ночь — буйная.
Ветер будет — всегда.
В темном прекрасном доме
Сидели Марина и я.

Не менее правдива и ее мать, реками строк затопив Ю. З., комедианта Юрия Завадского:

Солоно-солоно сердцу досталась
Сладкая-сладкая Ваша улыбка!

23 ноября 1918

(«Не успокоюсь, пока не увижу…»)

В собственные записи Марина заносит письмо Али к отцу — от 27 ноября 1918 года: «Мне все кажется: из темного угла, где шарманка, выйдете Вы с Вашим приятным, тонким лицом. <…> Ваша жизнь, мой прекрасный папа, черная бездна небесная, с огромными звездами… Над Вашей головой — звезда Правды. Я кланяюсь Вам до самой низкой земли».

Это была пора драматургического угара. Поставив точку на «Червонном валете», МЦ без антракта принимается за «Метель», драматические сцены в стихах. Кто на сцене? Дама в плаще, 20 лет, «чуть юношественна». Господин в плаще, 30 лет, светлый. Старуха («весь XVHI век»). Трактирщик, Торговец, Охотник («каждый — олицетворение своего рода занятий»).

Действие происходит в ночь на 1830 год, в харчевне, в лесах Богемии, в метель. Подробностей реально-исторического 1830-го здесь искать не надо. Ни польского восстания, ни холерных бунтов, ни пушкинских или тютчевских державных инвектив, ни «Варшавянки». Что же? Импресьон вихря, спор плащей, слабый звон бубенцов, откровение Дамы:

Сегодня утром, распахнув окно,
Где гневным ангелом металась вьюга…
Вы будете смеяться, — все равно!
Я поняла — что не люблю супруга!
Мне захотелось в путь — туда — в метель…

Винопитие, колокол бьет Новый год, вопрос-невопрос Дамы: «Князь! Это сон — или грех?», исчезновение Господина в плаще. Это был Князь Луны, Ротонды кавалер — и Рыцарь Розы. Что осталось? Обморочный сон Дамы, звон безвозвратно удаляющихся бубенцов и дата в концовке: 16–25 декабря 1918.

А на несценической земле, выстуженной декабрем, некая баба, рассыпавшая на улице чечевицу, за которой отстояла два часа на морозе в очереди, резюмирует:

— Кому живется, а кому ёжится!

МЦ проработала в Доме Ростовых шесть месяцев, точнее — пять с половиной. Перезимовала. Казенное тепло способствует: пьесы она пишет еще и в рабочее время — за «русским столом», как лирику в гимназические времена — за партой. Господин и Дама написаны специально для Юрия Завадского и актрисы Веры Аренской, сестры Завадского. Марина ее видела, будучи гимназисткой, классом старше, в своей последней гимназии, и молча, издали наблюдала за Верой, видя в ней «худого кудрявого девического щенка».

В тот же день 25 декабря 1918-го, не отходя от стола (подарка отца к ее шестнадцатилетию), МЦ начала новую пьесу — «Приключение». Пьеса писалась по 23 января 1919-го. МЦ делает все новые и новые попытки вывести формулу любви.

По сравнению с «Метелью» в «Приключении» сцены более многолюдны. Обозначена дата встречи героя и героини — 1748 год, пьеса при этом никак не становится исторической. МЦ характеризует действующих лиц и обозначает их возраст. Казанова — «острый угол и уголь», Генриэтта — «лунный лед», при этом Марине не дает покоя очарование некоей мальчиковое™ в облике молодых дам. Девчонки у нее вполне девчонки, даже шлюшки. Дамы, которые делают, в сущности, то же, что и они, говорят при этом глубокомысленные вещи, окутывают себя на голом месте тайнами и при этом не забывают время от времени ребячиться и беззащитно укладывать головки на грудь рыцарям, встреченным на большой дороге. Романтический пафос МЦ порой маловыносим, чтобы не сказать — фальшив. Но это фальшак, который не фалыпак, — по причине солидного культурного слоя, на котором он произрос. МЦ ведь не знала, что добивается достоверности на базе мемуаров Казановы (Casanova J. de Seingalt. Memoires), достоверность которых скоро подвергнется сомнению.

«Приключение» — только эпизод из жизни Казановы, которому в то время двадцать три года. Он, разметавшись, спит на диване гостиничного номера в итальянском Чезене. На стук не

откликается, разговаривает во сне. С тихим возгласом «Да здравствует пример воров и кошек!» входит ряженая под гусара Анри-Генриэтга («20 лет, лунный лед») с ночником и начинает шарить в номере: «Что мы читаем? — Данте. — Ариост… Перо очинено… Весы… Печать… А писем, писем!..» Осмотревшись, «гусар» желает рассмотреть хозяина номера, наклоняет светильник к его лицу, от ожога каплей масла Казанова ошалело вскакивает. Происходит разговор. Казанова задает резонные вопросы, на которые незваный гость отвечает туманно, глубокомысленно и отвлеченно:

Я странным недугом недужен:
Моя болезнь — бессонные дела.

Все пойдет как положено — соблазнитель соблазнит, соблазненная исчезнет, оставив на оконном стекле автограф алмазом: «Вы забудете и Генриэтту» («окно настежь, кольцо в ночь»).

Последнюю, пятую картину МЦ целиком вообразила поверх мемуаров своего героя. Тринадцать лет спустя. Тот же номер в гостинице «Весы», где Генриэтта нашла Казанову. Входит он, тридцати шести лет, с тысяча первой подругой («Девчонка, 17 лет, вся молодость и вся Италия»), Девчонка уличная, хочет всего сразу — ужинать, денег. Лунная ночь. Девчонка: «Луна!» — Казанова: «Богородица всех измен!»

И тут Девчонка (она себя назвала Мими) углядела на стекле выцарапанную надпись. Казанова, забывший, что он здесь уже бывал, вспомнив приключение тринадцатилетней давности, внезапно теряет голову. Ударяет кулаком по стеклу, которое разбивается вдребезги. Чуть было не выгоняет Мими, забыв, зачем она здесь. («Моя Любовь! Мой лунный мальчик!») Девчонка потеряла надежду на ужин и собирается уходить. Казанова очнулся. После небольшой перепалки, которая его подогрела («Рассерженный зверек!»), Казанова готов заняться Девчонкой, которая сообщает, что уже не хочет ужинать. Потом осведомляется, закрыл ли он дверь на задвижку, а сама закрывает шалью статуэтку Мадонны…

Между тем — в реальности — идет к развязке затянувшаяся связь с Никодимом, происходит тягостный обмен письмами, в общем-то банальный: «Милый друг! Кем бы Вы меня не считали: сивиллой — или просто сволочью…» Любит она эту древнюю гречанку, у нее, как мы помним, и Эренбург вещает «тоном сибиллы», и через три года явится великолепная вещь «Сивилла»

(«Сивилла: выжжена, сивилла: ствол…»). Не исключено, что МЦ некогда была сильно впечатлена высокопарной «Сивиллой» Вячеслава Иванова:

Пришелец, на башне притон я обрел
С моею царицей — Сивиллой,
Над городом-мороком — смурый орел
С орлицей ширококрылой.

(«На башне»)

В январе 1919-го все проще — вялотекущий разрыв, продлившийся на полгода.

Драматургический марафон продолжается. 23-го же января дистанция продолжена пьесой «Фортуна». В воображении маячит он же — Юрий Завадский. С него писан Лозэн. «Все женщины, от горничной до королевы влюблены в него: чуть-чуть по-матерински». Пять картин пьесы в стихах — пять женщин Лозэна: госпожа Фортуна (маркиза Помпадур), маркиза Д'Эспарбэс, княгиня Изабэлла, королева Мария-Антуанэтта и Розанэтта, дочка привратника. Вот названия пяти картин: «Рог изобилия», «Боевое крещение», «Поздний гость», «Перо и роза», «Последний поцелуй». Каждая картина могла бы стать отдельной пьесой по причине отдельного сюжета. Есть и польский сюжет — герой в борьбе за польскую королевскую корону. На самом деле Лозен (Лозэн) на польский трон не претендовал — и не имел на него никаких прав.

В основе всего — вновь мемуары, на сей раз герцога Армана де Лозена[48]. В эпиграфах — цитаты из мемуаров, главный символ — роза, «сплошная роза». Фортуна — и та роза. В принципе, это многозначный символ Средневековья, конкретно — католической церкви, но МЦ, по следу Блока (пьеса «Роза и Крест»), украшает им Новое время и свою драматургию, как, впрочем, и лирику. В «Фортуне» показан весь путь блестящего любовника, царедворца и воина, от колыбели до эшафота. От первого поцелуя Фортуны до последнего поцелуя, выпрошенного у героя — девочкой Розанэттой. «Не жгуч последний поцелуй Фортуны!»

Это выглядело так. Одиночная камера в тюрьме Сент-Пелажи, 1 января 1794 года, пять часов утра. Полная тьма. Из темноты голос и шаги Лозэна.

Год девяносто третий — с плеч долой!
А с ним и голова! — Так вам и надо,
Шальная голова, беспутный год,

Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства!

В камере появляется дочь привратника, шестнадцатилетняя Розанэтга. Последняя картина — сплошь диалог Лозэна и влюбившейся в него девочки, за исключением большого монолога, который он успел произнести, пока она бегала за гребнем и пудрой для него и за устрицами, которые он собирался запить вином на последней трапезе. Девочка расчесывает и пудрит ему кудри, просит локон на память, спрашивает, как его имя, потому что ему не идет, чтобы она называла его «гражданин».

Девочка убегает. Появляется палач, которого Лозэн угощает последним стаканом вина. Все кончается на жесте Лозэна, поднявшего над головой розу, принесенную ему Розанэтгой, с возгласом «Vive la Reine!»[49].

Данный драматургический опыт отмечен стремлением к историзму, с явным обращением к актуальности. Марина гордится мыслью о «тройной лжи». Да и в польском эпизоде звучит не только нечто личное — Польша, но и приобщение к русскому XVIII столетию через упоминание Семирамиды, то есть Екатерины Великой.

Я новый герб провижу мировой:
Орел! Орел с двойною головой
Антуанэтгы и Екатерины!

Две действительности смыкаются.

Ум и сердце заняты уже другим. 10 марта 1919 года кончает с собой Алексей Александрович Стахович, действительно яркий русский человек. Гардинный шнур и крюк — инструменты ухода, венец пути славного. «С<тахо>вич умер как раз от того, от чего сейчас так мучусь (хочу умереть) — я: от того, что я никому не нужна». Блестящий придворный, красавец, образец светскости, богач, коннозаводчик, боевой генерал, одновременно — пайщик Художественного театра, а по отставке и его актер. Никто не преувеличивал его актерских данных, однако на сцену выходило само благородство и преданность искусству, по Марине — XVIII век. Ее Герой. Его имение в Орловской губернии разгромили, он ел конину и шутил, что это, видимо, мясо его коней. За день до гибели он выплатил своему камердинеру жалованье на месяц вперед. Стаховича хоронила вся театральная Москва, автомобили

давали дорогу огромной процессии.

Она успела при его жизни написать про него в стихах («Кровных коней запрягайте в дровни!..»), ему прочли, и ему понравилось, он хотел переписать стихи для себя, она хотела прочесть их на панихиде — не удалось, ей слова не дали после таких глыб, как белоголовый Станиславский. Ее это тихо уязвило, как и невнимание Евгения Вахтангова к ее недавнему стиховому дифирамбу в его адрес («Серафим — на орла! Вот бой…»). Марины Цветаевой попросту не существовало для театра.

Высокой горести моей —
Смиренные следы:
На синей варежке моей —
Две восковых слезы.

В продрогшей церковке — мороз,
Пар от дыханья — густ.
И с синим ладаном слилось
Дыханье наших уст.

Отметили ли Вы, дружок,
— Смиреннее всего —
Среди других дымков — дымок
Дыханья моего?

Безукоризненностью рук
Во всем родном краю
Прославленный — простите, друг,
Что в варежках стою!

(«Памяти А. А. Стаховича»)

«Всю эту зиму я — сердечно — кормилась возле III (уже появилась и Третья. — *И. Ф.*) студии. — Плохо кормиться возле чужого стола!»

Да что театр. Никодим ведет себя в том же духе: навестив ее в Борисоглебском, как бы случайно забывает у нее самодельную, подаренную ему книжицу стихов про себя. «Таких вещей с людьми даже я не делала. Vous avez été plus royaliste que le Roi»[50].

Свято место не бывает пусто. Над могилой Стаховича — прямо там — с ней случается что-то компенсаторное и еще не бывалое. Поздняя пометка для памяти: «16-го марта утром, когда таяло, я, любя Стаховича, решила, чтобы не умереть, любить

Волконского. Они жили вместе и на нем — какой бы он ни был — должен быть какой-то отблеск Стаховича».

Решила любить.

Она немедленно написала князю Волконскому письмо с требовательной просьбой высказаться про… старинную Англию. Князь в некотором расстройстве, смежном с гневом, позвонил ей, сообщив о том, что в Англии он был двадцать пять лет назад, три дня, а вообще-то так разговаривать со старыми людьми не след.

> Опускаю трубку. Все время говорила нежнейшим голосом, очень спокойно. Он лаял.
>
> На глазах слезы и чувство, что посреди лица — плевок.
>
> …..
>
> В течение недели я всем рассказывала эту историю. <…> А Бальмонт, к<оторо>му я рассказала всю эту историю, спокойно сказал: «Так говорить с женщиной? Это оранг-утанг».

Это был почти дубль ее напористого диалога с Розановым, впрочем, отмолчавшегося в недоумении. Она полагает, что некоторые умные и прекрасные собой старики, глядя на нее, как-то особенно улыбаются. Они думают: «Ты расшвыриваешь себя обеими руками мальчишкам. Этого не надо делать. Твою гордыню («обо мне никто не смеет дурно думать!») они принимают за отсутствие гордости, твой жизненный Пафос — за легкомыслие».

О смерти Стаховича МЦ узнала в гостях у Антокольского, когда они вернулись с воскресной службы в храме Христа Спасителя, под сводами которого странники и бес-полобезвозрастные старорежимные существа перешептывались: «Погубили Россию». Павлик читал ей программную вещь «Пролог моей жизни», на которую она отреагировала отчужденно: «Оправдание всего». В записной книжке МЦ замечает:

> Но так как мне этого нельзя, так как у меня слишком четкий хребет, так как я люблю одних и ненавижу других, так как я русская — и так как я все же понимаю, что А<нтоколь>скому это можно, что у него масштаб *мировой* — и так как я все же хочу сказать *нет* и знаю, что не скажу — молчу молчанием резче всяких слов.
>
> И мучусь этим молчанием.

Можно предположить — начиналось размежевание: Антокольский склонялся к приятию революционного статус-кво. Недавно Павлик прибежал к ней в Борисоглебский с

«Двенадцатью» Блока и горящими глазищами, прочел вслух, потряс и подарил эту книгу.

Мариной вдобавок был получен от него еще один прекрасный подарок: настольная записная книжка в картонном переплете, оклеенном «мраморной» бумагой (темно-синий фон с бело-красно-голубыми прожилками). С дарственной надписью: «Марине Цветаевой в день Свержения Императорской Власти в России 1919 март. *Павел Антокольский».* МЦ заполнила ее целиком записями с июня 1919-го до апреля 1920 года. Писала красными чернилами.

У МЦ не было литературного кружка, группы, направления и проч. Волею судьбы и географии она не ходила в питерскую «Бродячую собаку», говоря определенно: «Я — бродячая собака. Я в каждую секунду своей жизни готова идти за каждым. Мой хозяин — все — и никто». «Все» — это, вероятно, Всероссийский союз поэтов, в который она вступила.

Однако московское кафе поэтов «Домино» посещала, в обществе Бальмонта, например. Над вывеской «Домино», угол Тверской и Камергерского, висела еще более крупная вывеска: «Лечебница для душевнобольных».

Однажды, когда МЦ читала стихи в кафе поэтов, ей пришла записка от находящейся там сестры Лёры: пришла тебя послушать и в восторге. Они не разговаривали много лет и на сей раз опять разминулись, как когда-то, когда Лёра, окончив Высшие женские курсы, ушла в провинциальную педагогику и революционные тяготения. Но Лёра в принципе была не так уж и далеко — пройдя учебу в танцевальной школе у Айседоры Дункан, она организовала хореографические курсы в студии «Искусство движения», и ее воспитанники выступали на многих сценах, включая Театр Вахтангова.

Тем ценней и сложней для МЦ роман с театром.

Сам Черт изъявил мне милость!
Пока я в полночный час
На красные губы льстилась —
Там красная кровь лилась.

Пока легион гигантов
Редел на донском песке,
Я с бандой комедиантов
Браталась в чумной Москве.

Длиннющий цикл «Комедиант» — сумма стихов той зимы и той весны 1919-го. Прощание с Завадским, точней — с его

образом, уже галантно плотским («Ваш нежный рот — сплошное целованье»), а главное — благодарность за приобщение к той банде, заменившей коллектив литкружка. Аля говорит: «Марина! У меня часто впечатление, что он не ушел, а исчез».

Это ведь там, в Мансуровском, происходят такие замечательные вещи:

> Антокольский: — «Можно сказать?»
>
> Завадский: «Я думаю — можно»
>
> Антокольский: — «Завадский хочет Шекспира ставить!»
>
> Я, восхищенно: — «О-о!» Антокольский: — «Макбета». — И что он сделает? Половины не оставит!»

Но ее неотступно преследует присутствие Брюсова. Она думает о его романе «Огненный Ангел»: «У меня сейчас к этой книге два чувства: одно неблагородное: отбросить куда-нибудь, другое — прижать к груди». Все то же, любовь-вражда.

> *14-го марта 1919 г.*
>
> Опыт этой зимы: я никому на свете, кроме Али и Сережи (если он жив) не нужна.
>
> В каком чаду я жила!
>
> Я прекрасно представляю себе, что в один прекрасный день совсем перестану писать стихи. Причин множество:
>
> 1) У меня сейчас нет в них (в писании их) — срочной необходимости (Imperativ'a). Могу написать и не написать, следовательно *не* пишу.
>
> 2) Стихи, как всякое творчество — самоутверждение. Самоутверждение — счастье. Я сейчас бесконечно далека от самоутверждения.
>
> 3) Сейчас все летит, и мои тетрадки так бесконечно-легко могут полететь. Зачем записывать?
>
> 4) Я потеряла руль. Одна волна смывает другую. Пример: стихи об ангелах.
>
> «Ангелы слепы и глухи».
>
> Что дальше? — Всё! —
>
> Хаос. Один образ вытесняют другой, случайность рифмы заводит меня на 1000 верст от того, что я хотела раньше, — уже другие стихи, — и в итоге — чистый лист и мои закрытые — от всего! — глаза.

Нищета длится. Дикая дилемма:

— Кому дать суп из столовой: Але или Ирине?

— Ирина меньше и слабее, но Алю я больше люблю. Кроме того, Ирина уж все равно плоха, а Аля еще держится, — жалко.

Это для примера.

Рассуждение (кроме любви к Але) могло пойти по другому пути. Но итог один: или Аля с супом, а Ирина без супа, или Ирина с супом, а Аля без супа.

А главное в том, что этот суп из столовой — даровой — просто вода с несколькими кусочками картошки и несколькими пятнами неизвестного жира.

Какой она себя видит? Серебряные кольца по всей руке, волосы на лбу, быстрая походка. «Я без колец, с открытым лбом, тащащаяся медленным шагом — не я, душа не с тем телом, все равно, как горбун или глухонемой».

Она идет по Арбату, а там так черно, что кажется — это путь по звездам.

Она идет по Поварской с наполненной кошелкой и думает, что на сторонний взгляд она цветет, как роза, а на деле со вчерашнего дня ничего — кроме стакана поддельного чая — во рту не было. В кошелке — старые сапоги, несомые на продажу.

Она идет по Николопесковскому, где обитает Бальмонт, и думает: «— Зайти к Бальмонтам? — И сразу видение самой себя — смеющейся — говорящей — курящей — курящейся — над стаканом чая, к<отор>ый не пью, потому что без сахара — скучно, а с сахаром — совести не хватает, ибо кусок сахара сейчас 4 р<убля> — и все это знают».

С Бальмонтом они соседи, от ее дома до его дома — рукой подать, общаются, что называется, домами, он восхищен Алей и ее талантами, одно из ее стихотворений, на его взгляд, «могло бы быть отмечено среди лучших японских троестрочий»:

Корни сплелись,
Ветви сплелись.
Лес любви.

Для обитательниц дома в Борисоглебском он «Бальмонтик», «братик».

— Бальмонтик, Вы видели сегодняшний декрет?

— Нет, ибо я не имею привычки читать надписи на заборах.

Между ними не роман, а просто поэтское братство. Кроме того, Бальмонт — уроженец села Гумнищи Шуйского уезда на Владимирщине, а это по соседству с селом Дроздово, где родился

Иван Владимирович, куда уж ближе. Марина у Бальмонта — такая (1915):

Коли скажешь — будет лишку,
Коль споешь — так слишком звонко,
Ты похожа на мальчишку,
Хоть прелестна — как девчонка!

Правда, одна из его «фейных сказок» — «Кошкин дом» (1905) — про кота Ваську, кошку и мышку, и это где-то рядом:

Промяукал он на мышку,
А она ему: «Кис-кис».
«Нет, — сказал он, — это — лишку»,
И за хвостик хвать плутишку,
Вдруг усы его зажглись.

Может быть, элемент усов и присутствовал в тех отношениях, но вполне умеренно или в шутку.

Бальмонт и Марина часто заглядывали к Татьяне Федоровне, вдове Скрябина, — это и вовсе рядом с бальмонтовским домом. Там уже создавалось что-то вроде музея и собирались люди, прикосновенные к искусству, по преимуществу музыканты. Окна скрябинского кабинета выходили в дворовый палисадник с цветущими в нем до середины лета кустами «разбитых сердец», почти соприкасавшихся с бальмонтовским садом-палисадником, в котором играющую Алю дети дразнят «вошь» и кидают в нее камнями — хорошо одетые приличные дети — мальчики и девочки от десяти до пятнадцати лет.

Однажды зимой, идя к МЦ, Бальмонт увидел труп только что павшей лошади, от которой люди уже отмахнули заднюю ногу, лошажье мясо кусок за куском отгрызала тощая собака с окровавленной мордой, а вороны, перелетая и перескакивая, смотрели на все это в ожидании своего часа.

Зарисовка МЦ «Бальмонт и солдаты у автомобиля»:

> Б<альмон>т ночью проходит по какому-то из арбатских переулков. Сломанный автомобиль. Вокруг трое солдат. — «Повинуясь какому-то внутреннему голосу, перехожу было на другую сторону, но в последнюю секунду — конечно — остаюсь. И в ту же секунду один из них:
>
> — «Эй, поп!» Тогда я подхожу к ним вплоть. — «Я

действительно священник и скажу вам следующее: ты (указываю на одного) скоро умрешь от сыпного тифа, тебя (указываю на другого) повесит К<олчак>, а ты уцелеешь, тебе ничего не будет».

— Почему же Вы пощадили третьего?

— Чтобы он помешал двум первым разорвать меня.

(Все это с бальмонтовской четкостью, быстротой, экспрессией).

В будущем у нее напишется проза — «Бальмонту» (1925) и «Слово о Бальмонте» (1936), а пока — стихи:

Пышно и бесстрастно вянут
Розы нашего румянца.
Лишь камзол теснее стянут:
Голодаем как испанцы.

Ничего не можем даром
Взять — скорее гору сдвинем!
И ко всем гордыням старым —
Голод: новая гордыня.

В вывернутой наизнанку
Мантии Врагов Народа
Утверждаем всей осанкой:
Луковица — и свобода.

Жизни ломовое дышло
Спеси не перешибило
Скакуну. Как бы не вышло: —
Луковица — и могила.

Будет наш ответ у входа
В Рай, под деревцем миндальным:
— Царь! На пиршестве народа
Голодали — как гидальго!

Ноябрь 1919 («Бальмонту»)

Сравнивать не стоит, где стихи, где проза, потому как у МЦ все часто наоборот, не как у людей:

Странно! Мне для того, чтобы написать вещь прозой, надо написать ее сначала стихами, а потом — перевести.

В прозе мне слишком многое кажется лишним, в стихе (моем <над строкой: наст<оящем>) — все необходимо.

При моем тяготении к аскетизму прозаического слова у меня в конце концов может оказаться остов.

А стих дает мне какое-то природное очертание.

Пушкин или Блок, бывало, набрасывали перед стихами прозаический конспект, и это нормально, логично. Цветаевская логика по-своему железна. По-своему.

Общие выводы ее таковы:

О, я не русская! Россия — как жернов на моей шее! Россия — это моя совесть, мои 5 ч<асов> утра и гудки с Брестского вокзала, моя неуверенность в том, нужна ли я (сразу делающая меня ненужной!)

…..

Я в России XX века — бессмысленна. Все мои партнеры (указывая на небо или в землю): *там.*

…..

Я — XVIII век + тоска по нем.

В апреле у нее — настоящее горе, настоящая тоска, трагическая Вербная суббота: Марина потеряла 500 рублей. 500 р.! Это 50 фунтов картофеля — или почти башмаки — или калоши 4- 20 фунтов картофеля — или… За три дня какой-то кошмар нелепых, малопонятных потерь: 1) старинная флорентийская брошка (сожгла), 2) башмаки (сожгла), 3) ключ от комнаты, 4) ключ от книжного шкафа, 5) 500 р. *«Я одну секунду было совершенно серьезно — с надеждой — поглядела на крюк в столовой. — Как просто! — Я испытывала самый настоящий соблазн* (курсив мой. — *И. Ф.*)».

Был и такой диалог:

— Ах, Аля, — грустно! Повеситься?

— Нет, Марина.

В Москве пустили трамваи, а Москва смотрит на трамваи с недоверием, как на воскресшего Лазаря. Москва отрезана от остальной России. Сережа где-то появляется, но не для Марины. В Коктебеле получают его письмо, в духе театра абсурда написанное карандашом на бланке «РСФСР Политический Отдел 1-ой Червонной Казачьей бригады… дня 1919 г. №… Д. Армия» (?!):

Апр<еля> 12 дня 1919 г.

Дорогие — Христос Воскресе!

Праздников в этом году я не видел. В Симферополе пробыл всего два дня и в Благовещение выступили на фронт. В Св<етлое> Воскресение сделали тридцативерстный поход, а с Понедельника были уже на фронте. 3 Апр<еля> был в бою. Выбивали красных с высот и сбили несмотря на сильнейший огонь с их стороны. Сейчас мы зарылись в землю, опутались проволокой и ждем их наступления. Пока довольно тихо. Лишь артиллер<ийский> огонь с их стороны. Живем в землянках. Сидим без книг — скука смертная.

На земляных работах я получил солнечный удар. Голова опухла, как кочан. Опухоль спустилась на глаза — должен был ехать в тыл, но отказался из-за холеры и тифа в лазаретах.

Сейчас опухоль спала.

Целую всех. Надеюсь в скором времени хотя бы на денек к Вам вырваться

Сережа

Живем в землянках. Сидим без книг — скука смертная. Се русский интеллигент. Ничего подобного не было у воюющих героев Ремарка, Бёлля или Хемингуэя. Зато Борис Слуцкий, собираясь на войну в 1941-м, прихватил с собой целую библиотеку от Блока до Хлебникова, полагая, что наконец-то он прочтет «Стихи о Прекрасной Даме». У этого сурового политрука найдем очевидную цитату из Цветаевой, связанную с Кузминым:

Я советы толково и веско даю —
У двух глаз,
У двух бездн на краю.

1956 («Память»)

Марина заметит: «Во всё в жизни, кроме любви к Сереже, я играла». Больше, чем когда-либо, она ощущает себя на некой сцене. Возвращаясь из Александровского сада с Алей, неся хворост в поле зеленого пальто, она чувствует себя счастливой.

— Играю в 1919 год.

Можно ли было — не играя — жить целый год в кухне с нянькой и двумя детьми, передавать своими словами Стеклова и Керженцева, выносить помойные ведра, стоять в очереди за воблой, — стирать — стирать — стирать! — все это, страстно желая писать стихи! — и быть счастливой. Ее уже не смущало, что

в ее доме все поломано — швейная машина, качалка, диван, два кресла, два детских стульчика Али, туалет, у мраморного умывальника не хватает бока, — примус не горит, лампа-молния не горит, граммофон без винта, этажерки не стоят, чайные сервизы без чашек. В доме вообще вдобавок ни одна лампочка не горит.

Был такой советский фильм: «Незабываемый 1919-й год» (1951). У МЦ свой вариант мифа о девятнадцатом годе, каскад высказываний.

> — Не Революция, не большевизм, — нет: 19-й год!
>
> — 19-ый год прекрасен, — если за ним не последует 20-ый.
>
> — Москва 19-го года ничему не удивляется: мне самое время жить.
>
> — 19-ый год — в быту — меня ничему не научил: ни бережливости, ни воздержанию. Хлеб я так же легко беру — ем — отдаю, как если бы он стоил 2 коп. (сейчас 200 р.), а кофе и чай я всегда пила без сахара.
>
> — О, я когда-нибудь еще напишу Историю московского быта в 1919 г. — Другой Революции я не знаю!
>
> — Я так мало женщина, что ни разу, ни разу мне в голову не пришло, что от голода и холода зимы 19-го есть иное средство, чем продажа на рынке.
>
> — Я восприняла 19-ый год несколько преувеличенно: так как его воспримут люди через сто лет: ни крупинки муки, ни кусочка мыла, сама чищу трубы, на ногах сапоги в два раза больше ноги, — так какой-нибудь романист, *с воображением в ущерб вкусу* (курсив мой. — *И. Ф.*) будет описывать 19-ый год.

Все она понимала о соотношении воображения и вкуса. Эти два-три года она ведет по существу частную, незаметную жизнь — не печатается, не шумит на эстраде, не ставится на сцене, не перечисляется (почти) в списках современных стихотворцев. Ее — как фигуры литпроцесса — (почти) нет. О ней не пишут (почти) даже в личных дневниках, не говоря, например, о скандальной хронике. Все, что о ней известно, исходит чуть не исключительно из ее рук или переписки ее близких.

У нее было одно сольное выступление, за которое она получила весьма скромное вознаграждение, и одна-две читки пьес в кругу своих знакомцев.

> Меня презирают — (и вправе презирать) — все.

Служащие за то, что не служу, писатели за то, что не печатаю, прислуги за то, что не барыня, барыни за то, что в мужицких сапогах (прислуги и барыни!).

Кроме того — все — за безденежье.

1/2 презирают, 1/4 презирает и жалеет, 1/4 — жалеет. (1/2 + 1/4 + 1/4 = 1)

А то, что уже вне единицы — Поэты! — восторгаются.

Почти семь лет, если считать с 1913-го по 1919-й включительно, у нее не было книг. Было другое. Во-первых, подобно многим поэтам она изготавливала своеручные брошюрки стихов, числом девять, крепко сшитые вощеной ниткой и аккуратно заполненные красными чернилами, для продажи в Книжной лавке писателей и раздаривания знакомым. Во-вторых: «Нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь». В-третьих: «Я пишу только свои настоящие книги».

Начало известности МЦ 1916 года не получило развития. Ее, «чердачную певицу», смело можно отнести к полуандеграунду той поры. Это не подвал, но полуподвал, поскольку все-таки ее знали и включали изредка в вечера молодых. «Вчера в Художеств<енном> Театре Союз Писателей устроил вечер стихов. Меня не позвали. Мне все равно, ибо я кроме боязни опоздать, смущения и звона собственного смеха в ушах ничего из такого вечера не выношу. Но все-таки характерно».

При том, что ее стихи многократно, *наравне* со многими другими, включались — начиная с 1911 года — в различные антологии и масскультовый сборник «Чтец-декламатор», она была на отшибе, на обочине, в своей колее, в своем углу, против всего и вся.

Помню, восьми лет в приготовительном классе IV гимназии. Нужно было написать несколько примеров подлежащего и сказуемого (а м<ожет> б<ыть> чего-нибудь другого!)

Напр<имер>: собака лает, кошка ловит мышей и т. д.

И столь велико уже тогда было во мне отвращение к общим местам, что я на слово «мельник» (мельник — конечно — мелет муку!) написала:

— *«Мельник играет на виолончели»* (курсив мой. — *И. Ф.)*.

Двадцать девятого (по МЦ — шестнадцатого) мая 1919 года Марина едва ли не впервые записала женское имя, осветившее ее

тогдашнюю жизнь: «По 30-му купону карточки широкого потребления выдаются гробы, и Марьюшка, старая прислуга *Сонечки Голлидэй* (курсив мой. — *И. Ф.),* недавно испрашивала у своей хозяйки разрешение водрузить таковой на антресоли». Достаточная порция сарказма.

Происходит любование, обожающее слежение за Сонечкиным умом и оригинальностью, чуть ли не как за Алей. Вот как она, Сонечка Голлидэй, необыкновенно выразилась: «Ия чувствовала: такие большие слезы — крупнее глаз!» А глаза были огромными и сияющими. Венецианскими.

В этой девушке с английскими предками текла и струя итальянской крови. Отец быт пианистом, успешно концертировал по Европе, но почему-то сошел с ума. Вся она была нестандарт и неформат. Крохотное существо с громадным чтецким даром. Марина, как и вся театральная Москва, влюбилась в ее Настеньку из «Белых ночей» по Достоевскому в спектакле «Дневник студии» в начале 1918-го. Сонечку Марина обворожила чтением своей пьесы «Метель» для Третьей студии Вахтангова в декабре 1918-го. Ее, свою Инфанту (пьеса Антокольского), Павлик привел на читку «Метели». Пути Марины и Сонечки сошлись неизбежно. Общим было и обожание недостижимого Завадского.

Между ними стоял молодой актер Володя Алексеев. Милейший Володя, он приходил в Борисоглебский — из восторга. Он высказывал мысли бесподобные:

— Карл Великий — может быть и *не* Карл Великий — сказал: с Богом надо говорить по-латыни, с врагом — по-немецки, с женщиной — по-французски. И вот — мне иногда кажется, что я с женщинами говорю по-латыни…

И, наконец — герой меж лицедеев —
От слова бытиё
Все имена забывший — Алексеев!
Забывший и свое!

(«Комедьянт»)

У Сонечки с ним — было: роман не роман, некоторые отношения. Сонечка выбрала Марину. Она осталась на ночь в Маринином доме. Поутру — счастливые слезы. Записочка:

Бесценная моя Марина,

Все же не могла — и плакала, идя по такой светлой Поварской в сегодняшнее утро, — будет, будет и увижу Вас не раз и буду плакать не раз, — но так — никогда,

никогда — Бесконечно благодарю Вас за каждую минуту, что я была с Вами и жалею за те, что отдавала другим, — серьезно, очень прошу прощения за то, что я раз сказала Володе — что он самый дорогой. Если я не умру и захочу снова — осени, Сезона, Театра, — это только Вашей любовью, и без нее умру, — вернее без Вас. Потому — что уже знать, что Вы — есть — знать, что Смерти — нет. А Володя своими сильными руками может меня вырвать у Смерти?

Целую тысячу раз Ваши руки, которые должны быть только целуемы, — а они двигают шкафы и подымают тяжести, — как безмерно люблю их за это.

Я не знаю, что сказать еще, — у меня тысяча слов, — надо уходить. Прощайте, Марина, — помните меня, — я знаю, что мне придется все лето терзать себя воспоминаниями о Вас, — Марина, Марина, дорогое имя, — кому его скажу?

Ваша в вечном и бесконечном Пути — Ваша Соня Голлидэй (люблю свою фамилию — из-за Ирины, девочки моей.)

Поразительно узнаваемая стилистика. Откуда? Как? Когда эта юная актриса научилась этому рвано-интонационному письму с таким обилием тире? Загадка. Проще говоря, видна рука МЦ. Персонаж и прототип — не одно и то же.

Петербуржанка, выпускница Павловского института благородных девиц, переехавшая в Москву пару лет назад, она была моложе Марины на два года, но казалась девочкой. Актриса туманного амплуа, возможно — трагическая травести. Этапы ее небольшого пути пронеслись безумно быстро. Участие в спектакле по пьесе Зинаиды Гиппиус «Зеленое кольцо», на фоне Аллы Тарасовой бледноватое. Взлет ее Настеньки, головокружение, падение в нелюбовь режиссеров и отсутствие достойных ролей. Вспышки обиды, истерики. Станиславский, бегущий по холоду без пальто и шапки за девчонкой, пообещавшей броситься под трамвай. Все слишком быстро, неровно, нервно, по движению сердца, слепого и неверного.

Внутреннее состояние Марины в том июне:

Я дошла до такого состояния, что не смею: *не* стирать, *не* гладить, *не* укладываться, *не* штопать, *не* продавать татарам и т. д.

1/2 ч. или 1 ч., употребленные на себя, меня мучит. — Угрызения совести —

Писать письмо или стирать, пока горячий самовар?

И вот, стою посреди кухни, сжав вытянутые перед собой руки, в позе недоумения и вопроса.

Я не скучаю ни об Але (она сейчас гостит у Г<ольдма>нов, в Крылатском), ни об Ирине, ни о ком.

Сережа, для к<оторо>го я сейчас все это делаю, — ирреален, в тумане, как день отъезда, как вагон, в к<отор>ый я сяду.

Выходит: вся моя реальнейшая жизнь (немножко похожая, впрочем, на бред) — все эти развороченные сундуки, стуки в дверь, таскание на себе шкафов и диванов, общество жуликов, Смоленские, грязь, стирка и т. д. — ради призрака, в к<отор>ый я сама не очень верю.

В середине июня студийная труппа Сонечки выехала из голодной Москвы в провинцию, в поисках зрителя и прокорма. Из заштатного городка Шишкеева к Марине приходит просьба: «Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти Ваши стихи: «И кончалось все припевом».

А зачем, собственно, писать на кресте? Этим стихам и здесь место найдется:

Ландыш, ландыш белоснежный,
Розан аленький!
Каждый говорил ей нежно:
«Моя маленькая!»

— Ликом — чистая иконка,
Пеньем — пеночка… —
И качал ее тихонько
На коленочках.

Ходит вправо, ходит влево
Божий маятник.
И кончалось все припевом:
«Моя маленькая!»

Божьи думы нерушимы,
Путь — указанный.
Маленьким не быть большими,
Вольным — связанными.

И предстал — в кого не целят
Девки — пальчиком:
Божий ангел встал с постели —

Вслед за мальчиком.

— Будешь цвесть под райским древом,
Розан аленький! —
Так и кончилась с припевом:
«Моя маленькая!»

16 июня 1919 («Стихи к Сонечке»)

На своем кресте Марина видела иную надпись: «Уже не смеется». По дороге в Разуваевку Сонечка телеграфирует Володе Алексееву: «Целую Вас — через сотни разъединяющих верст!» Через некоторое время Марина признается самой себе: «Недавно мне снился во сне Володечка Алексеев. Он вел меня за руку по какой-то тропинке над морем. Проснувшись, тосковала об нем почти до слез. Володя — это достойный преемник Сережи! — Только этих двоих я, пожалуй, в жизни и любила!»

Сердце ее никогда не принадлежало кому-то одному. Луна ей казалась одним лучом, единственным, сплошным — сердце Марины было многолучевым.

Двадцать четвертого июня она читала во Дворце искусств, в той самой розовой зале, где недавно служила, свою «Фортуну». Встретили хорошо, из всех читавших — одну — рукоплесканиями. При сем присутствовал нарком Луначарский, тоже драматург, ему понравилось. «Луначарский — всем говори! — чудесен. Настоящий рыцарь и человек».

Для Сонечки писалась Девчонка «Приключения» и девочка Розанэтга «Фортуны».

У Марины перед их расставанием был план — выехать на юг, найти Сережу. Сонечка просит ее: «Марина! — не уезжайте в Крым пока, до 1-го августа». Марина никуда не уехала, но в Москву светящейся кометкой прилетела Сонечка, у них был лишь час времени, Сонечка спешила: ее сердце уже принадлежало носителю красных галифе, театроману, доблестному комбригу Красной армии, не оставившему своего имени в анналах Гражданской войны. Красный герой быстро бросил Сонечку, она исчезла с московской сцены, пропав во мраке периферийного актерства. Жизнь ее была разбита.

На коленях у всех посидела
И у всех на груди полежала.
Всё до страсти она обожала
И такими глазами глядела,

Что сам Бог в небесах.

16 июня 1919 («Стихи к Сонечке»)

Нет, Сонечка не та Софья, но Марину опять бросили. Второй раз. Больно.

МЦ — в записной книжке:

> О, моя страсть к женщинам! Недавно — держу в руках старинный томик гр. Ростопчиной — тут же музыка, мужчины — и — Господи! — какая волна от нее ко мне, от меня к ней, какое высокомерие к тем, кто в комнате, — какой — как кожаный ремень вокруг тальи — круг одиночества! <…>
>
> Моя любовь к женщинам.
>
> Читаю стихи К. Павловой к гр. Ростопчиной.
>
> …Красавица и жоржсандистка…
>
> И голова туманится, сердце в горле, дыханья нет.
>
> — Какой-то Пафос Безысходности! <…>
>
> Но — оговорюсь: не люблю женской любви, здесь переступлены какие-то пределы, — Сафо — да — но это затеряно в веках и Сафо — одна.
>
> Нет, пусть лучше — исступленная дружба, обожествление души друг друга — и у каждой по любовнику.

Трудно проследить мысль МЦ, однако так она думала уже в начале будущего, 1920 года.

Как раз в промежутке от 27 июня по 14 июля, когда Сонечка бросается во все тяжкие, МЦ пишет «Каменного Ангела», пьесу, задуманную еще в марте. Посвящение:

— Сонечке Голлидэй —
Женщине — Актрисе — Цветку — Героине

Оттого и плачу много,
Оттого —
Что взлюбила больше Бога
Милых ангелов его.
— МЦ

Все начинается в прирейнском городке XVI века на площади вокруг статуи Ангела над колодцем воды забвения, куда приходит немалое количество страждущих бессмертия и утешения, среди них и Аврора, чудное белокурое создание с двумя косами (роль

для Сонечки), уже отвадившая 18 женихов, и смрадная старуха Венера с распутным сыном Амуром, весьма офранцуженным, каковой путем обмана в образе Л же-Ангела овладевает бедняжкой Авророй, и рождается сын, и подлинный Ангел взлетает на небо, и все кончается торжеством Богоматери:

Девица, не плачь.

Тебя не оставим
Меж темных и злых, —
На облачной славе —
Теперь твой жених.

О, бедные люди!
— Нет, рук не ломай!
Он помнит, он любит,
Он ждет тебя в рай.

АВРОРА
А как же с сыночком?

БОГОМАТЕРЬ
(улыбаясь) Их много — в Саду!
К другим ангелочкам
Его отведу.

Занавес. Последние струи ангельской музыки. На все это ушло шесть картин в стихах и тринадцать персонажей, включая Монашку и Еврея.

Но МЦ на этом не останавливается и остаток июля, захватив август, отдает работе над пьесой «Феникс». Опять Казанова, на сей раз — семидесятипятилетний. Казанова, утративший веру в себя старый авантюрист, получил приют в богемском замке Дуке, где тринадцать последних лет был библиотекарем. Граф Вальдштейн случайно встретился ему в Теплице, курортном городке в Богемии, когда отчаявшийся Казанова, чувствуя приближение старости, уже собирался постричься в монахи. Он подарил графу свою книгу с дарственной надписью «Единственному в мире человеку, которому пришло в голову прекратить в начале сентября 1786 года мои скитания, доверив мне свою интересную библиотеку». Но в 1793 году он сделал попытку покинуть Дуке. Однако за пределами замка ему не предложили даже должности гувернера. В Германии он обзывал немцев глупцами, в гостях у Веймарского герцога задирал Гёте,

Виланда и нелестно отзывался о немецкой литературе. В Берлине он наделал долгов и через полтора месяца вернулся с повинной к графу, который его обнял, расцеловал и со смехом заплатил его долги.

Пиша своего Казанову, МЦ имеет в виду Стаховича, напоследок сказавшего о себе, что он никому не нужный старик.

Переложив закат Казановы на язык драматического стиха, МЦ вводит в игру и некоего Видероля. «Домашний поэт. Смесь амура и хама. Зол, подл, кругл, нагл, 20 лет». Сообща с дворней этот мерзавец преследует благородного старика Казанову. Трудно предположить, кто прообраз данного негодяя, но сам факт Мариниого презрения к племени младому-незнакомому показателен. Финал пьесы вырос, опять-таки, в нечто отдельное и получил название «Конец Казановы. Драматический этюд» в пиратском издании 1922 года, которым МЦ останется крайне недовольна («во всеуслышанье отрекаюсь»). Впрочем, этот конец очень напоминает завершение «Фортуны»: приход юной очаровательницы.

КАЗАНОВА
…Вы — Генриэтта или сон?

ФРАНЦИСКА
Не сон я и не Генриэтта.
Я — он, верней сказать: одета
Как мальчик — как бы вам сказать?
Я — девочка.
<…>
Я вам пришла сказать, что вас люблю.
<…>
Я здешнему лесничему приемыш:
Так, лесом шел и подобрал в лесу.
Вот и расту!
<…>
Да я боюсь, что вы меня боитесь:
Кусаюсь.
<…>
Осиротело наше Чернолесье!

Тут и кошка Кусака, и сказочное Чернолесье — Шварцвальд цветаевского детства, и «Твоя девочка». Все сплелось. Казанова и Франциска переходят на «ты». Близится полночь, Новый Век. Девочка уснула. Казанова с первым ударом часов удаляется. Возвращается к Франциске, целует в губы. Финал.

Поразительно признание МЦ, природного лирика, лирика прежде всего: «Больше всего в мире — из душевных вещей — я дрожу за: Алины тетрадки — свои записные книжки — потом пьесы — стихи далеко позади, в Алиных тетрадках, своих записных книгах и пьесах я — больше я: первые два — мой каждый день, пьесы — мой Праздник, а стихи, пожалуй, моя неполная исповедь, менее точны, меньше — я».

На «Фортуне» ее Праздник закончился. Не навсегда. Все шесть пьес она хотела издать единой книгой под названием «Романтика». Попутно в те же месяцы она набрасывала и другие драматические вещи: «Дмитрий самозванец», «Бабушка», «Ученик», их рукописи не сохранились. В рабочей тетради МЦ остались наметки пьесы о Мэри. Драматургом Мансуровской студии Марина не стала, но из театральной среды до поры не выпала. Поэтесса Вера Звягинцева тогда трудилась артисткой Второго Передвижного театра, их познакомил молодой актер того же театра Спечинский, снимавший комнату у Марины. Марина увлеклась ею, это было в июле 1919-го. Звягинцева посещала борисоглебский дом. Их отношения были невинными и неглубокими, ничего рокового и обязывающего. Но и в таких взаимосвязях Марина ходила по краю исповеди.

Москва, 18-го сентября 1919 г.

Верочка!

Я так отвыкла от любви, что была почти в недоумении, получив Вашу записку: из другого царства, из другого мира.

Живу окруженная и потопленная Алиной исступленной любовью — но это уже не жизнь. А там где-то — как герои моих пьес.

Живу — правда — как на башне, правим с Алей миром с чердака. Ирина тоже на чердаке, но не правит.

В быту продаю и бегаю за казенными обедами.

Недавно пошла вечером с Алей и Ириной в церковь — оказалось: канун Воздвижения, Асиного 25-летия. Мы обе родились в праздник. Простояла часть службы, кружила по Собачьей площадке, был *такой* вечер. — Я думала: «Если Ася жива, она *знает,* что я об ней думаю», — думала именно этими словами, только это, весь вечер.

— Да.

— Приходите. Вечерами я дома, каждый вечер, нигде не бываю. Но предупредите заранее, тогда я в этот день не буду днем укладывать Ирину и смогу уложить ее

вечером пораньше.

Целую Вас. Поговорим о «Червонном валете», к<оторо>го С<печин>ский все просит у меня для Вашего театра и в к<отор>ом — я хочу — чтобы Вы играли Червонную Даму — героиню!

— Скорее приходите!

Спектаклей по пьесам МЦ вообще не было. Ни Сонечка, ни Вера Аренская, ни Вера Звягинцева не сыграли ролей, для них определенных автором.

В начале той же осени дал знать о себе Сергей Эфрон, 15 сентября написав Максу о том, что, будучи в Бурзалаке, под Старым Крымом, нашел там досадное неблагополучие: дочь хозяина имения, экс-народовольца И. В. Зелинского Валентина (домашние прозвища Валек или Панич) и две свежеиспеченные вдовы — Ася Цветаева и Майя Кудашева — пребывают в неком возбуждении. Он называет эту троицу селенитами, отталкиваясь от Розанова: статья «Люди лунного света» (1911). Мужеподобную художницу Валентину — Панича — окрестные крестьяне считали мужчиной. Сперва Ася, а после и Майя потеряли голову от Панича. Майя только что отстрадала коктебельской страстью к Эренбургу.

Сережа посоветовал Майе вырваться из болезненной коллизии путем бегства в соседнее село Эссен-Эли, а затем и в Коктебель. Ася оскорбилась, посчитав его вмешательство предательством. В позднем романе Анастасии Цветаевой «Атог» (1969) действует герой Андрей Павлович. Это закамуфлированный Панич.

Сергей Эфрон держит Волошиных в курсе своих дел. 27 сентября он первым делом обещает вернуть свой денежный долг и сообщает о том, что встретил в Новороссийске брата Всеволода Мейерхольда, который арестован, находится в тюрьме и предается полевому суду с обвинением в активной помощи большевикам и в выдаче офицеров. В 1919 году в Новороссийске жила вся семья Всеволода Мейерхольда: он лечился в Ялте, бежал в Новороссийск, когда Ялту заняли белые. Его брата после ареста выпустили под залог — в результате хлопот родных и друзей. Брат Мейерхольда уверяет, что обвинение нелепо, и через Сережу умоляет Макса чем-нибудь помочь его участи.

Каким-то странным образом и Сережа коснулся околотеатральной жизни. Чуть позже он встретит в Харькове — Владимира Алексеева, актера, и обратится к Асе: «Он редко милый человек — если хотите все знать об Марине — напишите

ему по адр<есу> Харьков. Угол Московской и Петроградского пер<еулка> — Отдел Пропаганды — Театральное отделение…» В том же 1919-м Алексеев исчезнет бесследно.

Сережа считает нужным информировать Макса о том, что шуба Осипа Мандельштама находится у Александры Михайловны Петровой, друга детства Волошина.

Генерал Деникин готовит поход на Москву. Сережа предполагает, что город Орел придется брать, а в Москве и ее окрестностях, по слухам, — восстание. «Дай Бог, чтобы это оказалось правдой. <…> В последний день до отъезда получил письмо от Марины и Али и в Харькове получу еще одно. У меня теперь крепкая надежда увидеть их».

Пятого октября он пишет Волошину: «Мы продвигаемся на Москву. Меня встретили в полку так радушно, что я сразу почувствовал себя хорошо. Живется нам лучше, чем раньше. Старым офицерам дают вестовых и верх<овых> лошадей, что очень облегчает жизнь здесь. Жители относятся к нам великолепно. <…> В Москве будем к Рождеству».

Это кончилось разгромом его полка и всей Добровольческой армии. Рождество марковцы отметили на Кубани, затем — откат: Дон, Новороссийск, эвакуация морем в Крым, бои за Перекоп, движение на Запорожье и новое отступление в Крым, новые потери, вновь Перекоп, затем Джанкой, Симферополь и Севастополь — точки фиаско. Транспорт «Херсон» унес остатки армии в Турцию, и там, в Галлиполи, начнется другая жизнь. В 1921 году ветеран Марковского полка Сергей Эфрон станет капитаном Русской армии генерала Врангеля.

Аля в детском саду (это по соседству — Молчановка, 34), Ирину Марина устраивает в ясли.

> Утром: за молоком, щепки колоть, самовар ставить, комнату убирать, Ирину поднимать, посуду мыть, ключи терять. — В 2 часа на Пречистенку, в 3 часа в Алин детский сад (у Али коклюш, и я хожу ей за обедом), потом по комиссионным магазинам — продалось ли что-нибудь? — или книжки продавать — Ирину укладывать — поднимать — и уж темно, опять щепки колоть, самовар ставить…

Когда писать?

Марина, по протекции соседки — Елизаветы Моисеевны Гольдман, ходит за усиленным питанием для детей. Уже у обеих дочек коклюш. На Арбате на хлебном магазине — надпись «Хлеба не будет» — восклицание какой-то старухи: «Без хлеба-то

танцевать легче!» В Большом зале Консерватории сидят в шубах. В Москве перестали говорить о хлебе: говорят о дровах.

Бальмонт говорит: «Деникин не пришел, а зима пришла!»

Марина живет у себя на чердаке. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов двенадцать картофеля, остаток от пуда «одолженного» соседями — весь запас.

В товарно-денежных отношениях она профан, привлекает посредников. Знакомый анархист Шарль унес у нее Сережины золотые старинные часы «eleve de Breguet». Сначала он обещал вернуть их, потом сказал, что отдал на хранение, потом — что часы у того, кому он их отдал, украли, но что он богатый человек и деньги вернет, потом, обнаглев, начал кричать, что он за чужие вещи не отвечает. В итоге: ни часов, ни денег. Сейчас такие часы стоят 12 тысяч, то есть 1 1/2 пуда муки. То же с детскими весами.

Соседка Ефросинья Михайловна, жена сапожника Григория Петровича Гранского, — худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом — мать пятерых детей — прислала ей через свою старшую девочку детскую карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и «пышечку» для Али.

Г-жа Гольдман, супруга адвоката Михаила Юрьевича, от времени до времени присылает детям огромные миски супа — и насильно одалживает деньги (тысячи). У самой трое детей. Маленького роста, нежна, затерта жизнью: нянькой, детьми, властным мужем, правильными обедами и ужинами. Помогает, кажется, тайком от мужа. Она дружит с сестрой Жанны Матвеевны Брюсовой — женой поэта.

Вообще говоря, соседи были вполне сносными, доброжелательными и терпеливыми. Там, на первом этаже, в квартире номер 1, жило семейство флейтиста императорских театров Василия Коробкова с сыновьями — пианистом Федором и художником Александром — и дочерью Валентиной, мансуровской студийкой. А сапожник Гран-ский, обитатель подвала, иногда запивающий, все же держал себя в руках, вставал в пять утра, обливался холодной водой, трудился у окна, а на досуге сочинял частушки. В его гардеробе были белое пальто и трость.

Маринина ежедневная беготня по маршруту: Арбат, Староконюшенный, Пречистенка, Плющиха, Молчановка, Леонтьевский. Родная Москва.

> И говорю, обращаясь к своей душе: «И какого рожна тебе, сволочь, еще было нужно? Здесь было все: и красота, и безупречность каждого помысла, и аристократизм каждого движения — и Доблесть — Раса

— и — главное — *такая* — любовь!

А ты гонялась за жидовскими пейсами («кудри») и воспевала сомнитель<ные> руки!»

— И Душа скромно отвечает:

— «Сволочь».

Выхода нет — 27 ноября[51] 1919 года Марина сдает детей в Кунцевский приют. Делается это через Лигу спасения детей, что на Собачьей площадке. Дети записаны в приют как круглые сироты. В этом деле ей помогает Лидия Александровна Тамбурер, муж которой (он же ее племянник) Володя Павлушков — главный врач кунцевского госпиталя.

Собирая детей, Марина укладывает для Али «Биографические рассказы М. Б. Чистякова» (СПб., 1873), том более 500 страниц, в котором помещены рассказы о жизни Байрона, Ротшильда, Мариино Фальеро, Тамерлана, Гайдна, Карла Великого, Гуттенберга, Бетховена, Мишле, Наполеона, Нострадамуса, Моцарта и др. Кроме того — «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции» Сельмы Лагерлёф и «Лихтенштейна» В. Гауфа.

Аля говорит:

— О, Марина! Знайте, вся моя душа останется здесь! Вся, вся! Я возьму с собой только кусочек души — для тоски!

— Аля, понимаешь, все это игра. Ты играешь в приютскую девочку. У тебя будет стриженая голова, длинное розовое — до пят — грязное платье — и на шее номер. Ты должна была бы жить во дворце, а будешь жить в приюте. Ты понимаешь, как это замечательно?

— О, Марина!

— Это — авантюра, это идет великая Авантюра твоего детства. Понимаешь, Аля?

— О, Марина!

— Ирине серое бумазейное платье — Аля, запомни! Тебе я даю: голубые панталоны, два лифчика… Аля, если тебя будут бить — бей. Не стой, опустив руки, а то тебе проломят голову!

— Да, Марина, и я надеюсь, что я смогу вам откладывать еду. А вдруг на Рождество дадут что-нибудь такое, что нельзя будет сохранить? Вдруг — компот? Тогда я выловлю весь чернослив и спрячу. О, Марина, как жаль, что нельзя засушивать еду, как цветы!

— Аля, главное — ешь побольше, не стесняйся, объедай их вовсю! Помни, что только для этого я тебя туда посылаю!

— Да, Марина, они враги — а я буду их объедать! И — знаете, Марина, я рада, что я все-таки еду в приют, а не в колонию.

Приют — как-то старинней…

В этот день написано:

Высоко́ мое оконце!
Не достанешь перстеньком!
На стене чердачной солнце
От окна легло крестом.

Тонкий крест оконной рамы.
Мир. — На вечны времена.
И мерещится мне: в самом
Небе я погребена!

(«Высоко мое оконце!..»)

Марина не приезжает в приют две недели, Аля пишет огромное письмо, залитое слезами: «Я совсем ужасно себя чувствую! Здесь нет гвоздей, а то бы я давно повесилась». Марина после первого посещения Али в приюте — там ужас холода и голода — пишет письмо, не сумев его окончить:

Алечка!

Это письмо ты прочтешь уже в Борисоглебском. Будет топиться печка, я буду подкладывать дрова, может быть удастся истопить плиту — дай Бог, чтобы она не дымила! — будет вариться еда — наполню все кастрюльки.

Ты будешь есть — есть — есть!

— Будет тепло, завесим окна коврами.

— Аля, уходя я перекрестила красные столбы твоего приюта.

Аля! Ангел, мне Богом данный!

У меня глаза горят от слез. Дай Бог — Бог, на коленях прошу Тебя! — чтобы все это скорей прошло, чтобы мы опять были вместе.

На обед детям дают: первое — на дне тарелки вода с несколькими листками капусты, второе — одна столовая ложка чечевицы, потом «вдобавок» — вторая. Хлеба нет. Дети, чтобы продлить удовольствие, едят чечевицу по зернышку.

Аля заболевает (лихорадка, температура и головная боль), ее переводят в больничную комнату. По метельной стуже, с двумя кусками сахара, двумя лепешками и порошком хины Марина вновь, через десять дней, навещает ее, выдавая себя за «тетю».

Аля бритоголова, при кашле на лбу и на шее вздуваются жилы, как веревки. Вынула изо рта принесенный Мариной сахар, а сахар — в крови. Между кроватями мотается Ирина, надзирательница спрашивает:

— А что ж вы маленькую-то не угостите?

«Делаю вид, что не слышу. — Господи! — Отнимать у Али! — Почему Аля заболела, а не Ирина?!!» Алина болезнь длится два месяца. Алю Марина забирает, но увозит не домой, а в Мерзляковский переулок, где живет Ася Жуковская.

Глава шестая

Двадцатый год Марина открывает стихами, обращенными к Але:

Звезда над люлькой — и звезда над гробом!
А посредине — голубым сугробом —
Большая жизнь. — Хоть я тебе и мать,
Мне больше нечего тебе сказать,
Звезда моя!..

4 января 1920. Кунцево — Госпиталь

Пятнадцатого февраля 1920 года умирает Ирина. Девочку без оповещения «тети» захоранивают в общей яме, Марина — узнав — не едет навестить могилку. Однако нельзя сказать, что она наглухо замкнулась и отвернулась от жизни и людей. Она пишет Вере Звягинцевой и ее мужу Александру Ерофееву, служащему в книготорговых организациях, о свежей потере, равно как и о подготовке сборника своих стихов 1913–1915 годов — «безумно увлеклась» — «и вот все рухнуло» — и просится к ним пожить вместе с Алей. Что-то ей мешало в Мерзляковском, у заботливейшей Аси Жуковской, — скорей всего, обилие других людей, родственников, в той квартире. Лиля Эфрон вызывалась взять на себя Ирину, еще живую, из приюта, но Марина категорически не согласилась. Она была в беспочвенной, глухой и яростной досаде на Сережиных сестер, годами ей помогавших.

Два подготовленных сборника (в том числе «Юношеские стихи»), сданных ею по совету Ходасевича в Литературный отдел Наркомпроса, — отклонены. Рецензенты В. Брюсов и С. Бобров посчитали эти стихи не отражающими соответственную современность, бесполезными, до тошноты размазанными разглагольствованиями по поводу собственной смерти. Однако деньги Брюсов, начальник Литературного отдела, ей выплатил: около 40 тысяч рублей. «Все-таки — пять дней хлеба», по слову Ходасевича.

Душа ныла, источенная тупым, неоднородным раскаянием.

Из записной книжки МЦ:

> Гляжу иногда на Иринину карточку. Круглое (тогда!) личико в золотых кудрях, огромный мудрый лоб, глубокие — а м<ожет>б<ыть> пустые — темные глаза

— des yeux perdus[52] — прелестный яркий рот — круглый расплющенный нос — что-то негритянское в строении лица — белый негр. — Ирина! — Я теперь мало думаю о ней, я никогда не любила ее в настоящем, всегда в мечте — любила я ее, когда приезжала к Лиле и видела ее толстой и здоровой, любила ее этой осенью, когда Надя (няня) привезла ее из деревни, любовалась ее чудесными волосами. Но острота новизны проходила, любовь остывала, меня раздражала ее тупость (голова точно пробкой заткнута!), ее грязь, ее жадность, я как-то не верила, что она и вырастет — хотя совсем не думала о ее смерти — просто, это было существо без будущего. — Может быть — с гениальным будущим?

И стихи были, причитающие, через какое-то время:

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатыми —
Яростными — как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.

Две руки — ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

Пасхальная неделя 1920

(«Две руки, легко опущенные…»)

Время течет, она возвращается в Борисоглебский. Круг ее общений нисколько не сужается, мелькают люди театра и прочий творческий народ. В ее доме появляется художник Василий Дмитриевич Милиоти.

Было два брата Милиоти, художники, Николай и Василий. Оба они участвовали в выставках модернистских художественных объединений — «Голубой розы», «Союза русских художников» и «Мира искусства». Василий как оформитель сотрудничал с Брюсовым в журнале «Весы». В журнале «Золотое руно» выступал и в качестве художественного критика. Был и сценографом — спектакля Мейерхольда по пьесе Ибсена «Гедда Габлер». В 1909-м он вдруг отошел от искусства, отправившись на Русский Север, где работал следователем по уголовным делам: в свое время учился на юридическом факультете Московского университета. В 1917-м брат Николай уехал в Париж, а Василий вернулся в Москву и в искусство.

Марина с ним познакомилась во Дворце искусств, заменившем Наркомнац в Доме Ростовых на Поварской (1919). Там проходили литмероприятия, читались гуманитарные лекции и в укромных помещеньицах левого флигеля обитали некоторые, в основном молодые, представители художественной интеллигенции, не имеющие крова. Правый флигель занимало семейство наркома Луначарского. Дворец искусств просуществовал недолго, ему на смену пришел под своды старой усадьбы Высший литературно-художественный институт Валерия Яковлевича Брюсова (1921). Нет, не все упирается в Брюсова — по дорожкам соллогубовского двора мы можем дойти до имен Георгия Шенгели и Арсения Тарковского, и на последнем имени круг может замкнуться, но до этого еще очень далеко, стоит остановиться в воздухе 1920-го.

Свояченица Василия Милиоти — жена второго брата, Юрия, — Марина Ивановна Миллиоти (так! — *И. Ф.)* замечательно-живописно свидетельствует (в 1950-х годах):

> А вот и закут Василия Дмитриевича <…> Низенький вход, крохотный коридор и налево дверь в комнату В. Д. Он уже успел устроиться преуютно, у него нарядно и как-то по-своему. Комната крошечная. От потолка почти до пола картины, картины и еще раз картины и свои и других художников, последнее всё, несомненно подаренное друзьями-художниками. У окна — бюро, старинное бюро без подделки. На нем череп встречает гостя оскалом мертвых зубов. Черепа всюду, даже пепельница — череп! Это уже кощунство. Целый мешок черепов человеческих притащил В. Д. какой-то приятель. Откуда же он извлек их? Из-под разрытого дома, под которым оказалось старинное кладбище, тут же близко где-то от Поварской. Приятель В. Д.,

изгнанный с черепами из своего дома, направился с ними к В. Д. и не ошибся. Черепа нашли приют. <…> Семья еще не приехала.

Стук в дверь: входят В. О. Массалитинова (актриса. — *И. Ф.)* и поэтесса Марина Цветаева — обе, конечно, приятельницы В. Д. Сидеть уже негде, но мы потеснились — место нашлось. У поэтессы хорошие стихи, очень дамские, и огрубевшие руки с толстыми пальцами, на одном из них, по ее выражению, «символическое кольцо». Оно медное и толстое. Обе дамы явно неравнодушны к В. Д.

Снова стук. Это тоже череп… <…>. «Череп» прехорошенький, необычайно густо намалеванный, но сквозь краску оскал настоящего черепа — что-то мертвое, изжитое — все пути-дороги исхожены, всё изведано, остался эфир, кокаин, привычка остроумно болтать. Это танцовщица, кинематографическая актриса Л. И. Джалалова или, по замечанию моего мужа, увидевшего ее, «комариная мощa с профессиональной дрожью». Она приятельница В. Д.

Стук в дверь. На пороге высокая заикающаяся фигура. Это художник, тоже сосед В. Д. — Н. Н. Вышеславцев. В его лице что-то скопческое. <…>

Беседа в полном разгаре. Кто о чем?! А все вместе, конечно, об искусстве. Заговорили о Бодлере. В. Д. читает «Цветы зла». Его французский язык безукоризнен. Бодлер изыскан, вычурен. <…> Я бы хотела, чтобы стихи Бодлера послушала и посмотрела бы всю эту компанию моя нянька. Я уже вижу, как она повернулась, плюнула и сказала: «Вот шаромыги, прости Господи, нет на вас пропасти, пра дело, нет пропасти». <…> И все «шаромыги», наговорившись всласть, до упоения, когда разговор ради разговора, и тысячи мыслей, и ни одной настоящей, всей компанией отправились обедать. Это тут же, только в другом флигеле.

История Марины с Василием Милиоти очень быстро превратилась в повтор отношений с Тихоном Чурилиным. «Тот же восторг — жалость — желание задарить (залюбить!) — то же — через некоторое время: недоумение — охлаждение — презрение».

Несколько сценок.

Он сидит у нее в столовой на диване, она пилит дрова. Он:

— Нет, нет, я совсем не гожусь для физической работы! Можете ли вы себе представить Шопена, пилящего дрова?

Она *молча* отвечает:

— Нет, но еще меньше — Шопена, глядящего, как пилит Жорж Санд.

Он зевает, часами рассказывает о Джалаловой — о ее любовных историях, о ее бесцеремонности с ним и о его — Милиоти — служении ей.

— Я забочусь о Джалаловой, вы заботитесь обо мне… Она топит печечку, разогревает или варит ему ужин, пилит, рубит.

— Вы еще молоды! Вам нужно оперы, дуэта.

— Да, если из любви выкинуть дуэт, что останется от акта?

«Эту реплику — впрочем — удерживаю».

— Умны, умны, не ум, а умище, а все-таки — женщина! Молча:

— Я вам никогда не обещала быть мужчиной!

Он острослов. О большевиках:

— Ну, да, — ясно. Каторжане — и перенесли сюда всю каторгу.

Она, прижимаясь к его полушубку:

— Что дороже: мужчина или овчина?

— Овчину можно продать, мужчину — предать!

> Наговорил, что царской крови — потомок Комненов! — насказал о происхождении от герцогов Беррийских — какие-то боковые ветви — медальоны с миниатюрами, найденные где-то на чердаке — чорт знает чего наговорил! — с три короба наговорил! — и «с какого блюдца я пил чай у Врубеля» — и дружил с Борисовым-Мусатовым — и брат (признанный художник) всё у него взял — а я, как дура… Боже, до чего это похоже на Т<ихона> Ч<ури>лина! <…> А было в нем неотразимое обаяние: поднятая голова, опущенные глаза, кудри, иронический узкий рот, чудесный безобидный безудержный — дурацкий! — смех, любовь к 30<-м> годам (XIX века. — *И. Ф.*), обожествление Ж. Санд — прелестная французская речь («при часах и при цепочке!») — и то, что «художник», и то, что когда-то был красивым и богатым. — И 45 лет (почти на 20 л<ет> старше меня) и то, что я «последняя любовь». — О, дура! <…> Я не брезглива: потому и выношу физическую любовь.

Аля потихоньку поправляется. Знакомые люди Марину с Алей с утра уводят из дому, кормят, оделяют спичками, крупой, мукой, башмаками, не отпускают и обижаются на благодарности.

Но вот потрясающая неожиданность — письмо, вложенное в

двери борисоглебского дома.

Ростов Н/Д.

28.120 (ст. ст.) М<илостивая> Г<осударыня> Марина Ивановна. Пишу Вам по поручению С<ергея> Яковлевичах Он был у нас приблизительно числа 23-го декабря (по ст. ст.) Выглядел он очень хорошо и чувствовал себя отлично. С<ергей>Я<ковлевич> просил передать, что прямо умоляет Вас ехать в Ф<еодосию> или в К<октебе>ль. Он сказал, что Вы знаете, где там надо устроиться.

Если в К<окте>бель поедете, то там остановитесь у М. В<олошин>а. С<ергей>Я<ковлевич> сам хотел написать, но был у нас очень недолго, сильно спешил.

Был и звонок художника Кандаурова: Сережа — жив. Она предельно взволнованна, ликует, молится:

Молитва.

Господи Боже ты мой!

Сделай так, чтобы я встретилась с Сережей — здесь на земле.

Пошли, Господи, здоровья и долгой жизни Але. Спаси, Господи, Асю, Валю и Андрюшу.

Спаси, Господи, Сонечку Голлидэй и Володечку. Прости, Господи, все мои прегрешения.

Благодарю Тебя, Господи, за все, если Сережа жив. Дай мне, Господи, умереть раньше Сережи и Али.

— Спасибо тебе, Господи, за все. Аминь.

…..

Последний раз я имела вести о С<ереже> (окольным путем, слухом) — 25-го марта 1919 г., в Благовещение, год — без недели — тому назад.

Спасибо, Бог! — Спасибо, март!

…..

— Вчера столько счастий! — Утром — прямое указание от Бога: «Простил, но больше не греши» — потом письмо от Сережи — вечером подкова от Али (где-то украла). Вчера с утра ходила в С<ережи>ной кожаной куртке, точно чуяла. — И сейчас в ней. — И курю его трубку. (Английскую.)

Сердце ее никогда не принадлежало кому-то одному. Кожаная куртка Сережи и его высокие сапоги грели, да не согревали. С Николаем Николаевичем Вышеславцевым Марина

познакомилась там же — во Дворце искусств, в апреле.

Художник и книжник, с началом Первой мировой он вернулся на родину из Парижа, где учился живописи, и окончил школу прапорщиков; с 1916-го по 1918-й воевал, был ранен, награжден Георгиевским офицерским крестом; по демобилизации получил место библиотекаря и квартирку во Дворце искусств. Он знал всё о Леонардо да Винчи, собирал всю мировую литературу о нем и писал серию «Воображаемые портреты» — музыкантов, писателей, художников всех времен и народов, а также портретную галерею современников, среди поэтов — Белого, Пастернака, Сологуба, и вот он оказался рядом с МЦ.

На два года старше ее, он был суров, малоразговорчив, блюл дистанцию, ускользал, возникал и таял. Они вели мерцательные разговоры.

— «Вы знаете, открыта одна новая строчка Пушкина…Твой поцелуй неутолимый… И всё»

— «Ну, скажите по-правде, если бы Вы не знали, что это — Пушкин, звучала ли бы она для Вас так же, как сейчас?»

— «Думаю, что да. Неутолимый… <…>»

— «А Вы всегда так закрываете лоб?»

— «Всегда — и знаете — никому не даю открывать. — Никогда». — «У Вас наверное очень высокий лоб?» — «Очень — и вообще — хороший. Но дело не в том. Я вообще не люблю своего лица».

— «Ваша внешность настолько меньше Вашего внутреннего, хотя у Вас внешность отнюдь не второстепенная…» <…>

— «Вы хотите идти?» — «Да». — «А еще немножко?» — «Да». — «О, какой хороший!» — Что-то вспоминаю про М<илио>ти.

— «Он мне о Вас тогда рассказывал, но я не прислушивался». — «Рассказывал?» — «Немного».

— «Я сама могу рассказать. Что Вы думаете об этом знакомстве?» — «Я просто не думал, я могу остановить всякую мысль. Я просто не допускал себя до какой-либо мысли здесь».

— «А хотите, чтоб я рассказала? <…>»

Задумчиво разглаживает голубое одеяло, лежащее в ногах дивана. Гляжу на его руку.

— «Н. Н.!» — чувствую ласковость — чуть-шутливую! — своего голоса — «чем так гладить одеяло, к<отор>ое ничего не чувствует, не лучше ли было бы

погладить мои волосы?»

Смеется. — Смеюсь. — Рука все еще — движущейся белизной — на одеяле.

— «Вам не хочется?»

— «Нет, мне это было бы приятно, у Вас такие хорошие волосы, но, я, читая Ваши стихи, читаю их двояко: как стихи — и как Вас!»

— «Ну — и?»

— «Мне запомнилась одна Ваша строчка:

На Ваши поцелуи — о живые! —
Я ничего не возражу — впервые…»

Марина добилась-таки, чтобы он ее погладил по головке, он довольно долго гладил, а потом сказал ровным голосом сверху:

— А теперь я пойду.

Она вызвалась провожать, они еще «погладились», он коснулся губами ее лба и — «ровный-ровный четкий шаг по переулку».

Она проникается к нему *доверием,* подразумевая под этим словом телесную близость: «Телесное доверие — это бы я употребила вместо: страсть». В ней бродят гнетущие подозрения: «Какие-то природные законы во мне нарушены, — как жалко! Мое материнство — моя смута в области пола». Она клонится к мольбе, перемежаемой мыслями о пороке и припадками покаяния:

Н. Н.! Защитите меня от мира и от самой себя!

…..

Н. Н., я в первый раз прошу — защиты.

…..

Н. Н. Я люблю Ваш тихий голос. До Вас я думала, что все мужчины распутны (Володечка, может быть, не любил, С<ережа> — ангел).

…..

Когда человек в близости порочен (близость не все оправдывает!) — я думаю, что так надо, послушна, как всегда, когда люблю.

…..

Близость! — Какое фактическое и ироническое определение!

…..

Мое дело в мире: ходить за глухим Бетховеном, —

писать под диктовку старого Наполеона, — вести Королей в Реймс. — Все остальное: Лозэн — Казанова — Манон — привито мне порочными проходимцами, которые все-таки не смогли развратить меня вконец.

…..

Ирина, — вот они, мои нарушенные законы.

Н. Н.! Скажите мне, где сейчас моя Ирина?

…..

Моя Ирина. — Так я ее при жизни никогда не звала.

…..

Н. Н.! Если бы я познакомилась с Вами раньше, Ирина бы не умерла.

Все это она назвала бессонной совестью и увязывала с Вышеславцевым. В их спайке она искала спасение, но он так не думал. Его уклончивость стала непреклонностью — он ушел от нее. Он написал ее портрет. Она — стихи. Двадцать семь стихотворений, исторгнутых наспех, некоторые доведены до конца: до совершенства.

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите все мое добро,
Скажите — или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке — лишь горстка пепла!

И это всё, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это всё, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

(«Пригвождена к позорному столбу…»)

Но этому стихотворению не нужен единичный адресат, оно —

для всех.

Апрель — май прошел под звездой символизма. Казалось бы, символизм ушел без боя, канул в вечность, но как так получилось, что его виднейшие фигуры оставались все еще живы не только физически, но и как факты живейшей действительности?

В Москве ждали и дождались Блока. Из аудитории ему кричали, что он мертвец, и он охотно соглашался. Он выступил в Политехническом музее и во Дворце искусств. Марина была там и там.

Девятого мая на Ходынке взрывались пороховые склады, Марина впервые увидела Блока.

> Блок: грассирует, неясное ш, худое желтое деревянное лицо с запавшими щеками (резко обведены скулы), большие ледяные глаза, короткие волосы — некрасивый — (хотела бы видеть улыбку! — До страсти!)
>
> Деревянный, глуховатый голос. Говорит просто — внутренне — немножко отрывисто. Лицо — совершенно неподвижное, пасмурное. <…>
>
> Но когда он сказал:
>
> — «Все-таки со мной была?»
>
> (Не помню строчки.)
>
> — точно живую женщину спросил, чуть волнуясь — я — всё! всё! всё! в мире бы отдала за то, чтобы — ну, просто, чтобы он меня любил!
>
> …..
>
> Одежда сидит мешковато, весь какой-то негнущийся — деревянный! — лучше не скажешь, уходя угрюмо кивает, поворачивается почти спиной, ни тени улыбки! — ни тени радости от приветствий.
>
> ВСЁ — НЕХОТЯ. В народе бы сказали: *убитый.* <…> Тоска по Блоку, как тоска по тому, кого не долюбила во сне. <…>
>
> А ведь Блоку сегодня могло разбить голову! (Падают стекла из окон Политехнического.)

Тотчас возникли стихи:

Как слабый луч сквозь темный морок адов —
Так голос твой под рокот рвущихся снарядов.

И вот, в громах, как некий серафим,
Оповещает голосом глухим, —

Откуда-то из древних утр туманных —
Как нас любил, слепых и безымянных,

За синий плащ, за вероломства — грех…
И как — нежнее всех — ту, глубже всех

В ночь канувшую — на дела лихие!
И как не разлюбил тебя, Россия.

И вдоль виска — потерянным перстом —
Все водит, водит… И еще о том,

Какие дни нас ждут, как Бог обманет,
Как станешь солнце звать — и как не встанет…

Так, узником с собой наедине
(Или ребенок говорит во сне?)
Предстало нам — всей площади широкой! —
Святое сердце Александра Блока.

(«Блоку»)

Четырнадцатого мая голубоглазая Аля, бывшая с Мариной во Дворце искусств, по ее поручению передала эти стихи в голубом конверте — Блоку, он улыбнулся и взял с их собой, ничего не сказав кроме «спасибо».

Двадцать седьмого мая 1920 года Бальмонт отметил юбилей там же — во Дворце искусств. Повод — тридцатилетие выхода первой книги «Сборник стихотворений» (Ярославль).

Запись МЦ:

Юбилей Бальмонта. Речи Вячеслава <Иванова> и Соллогуба (так у МЦ; правильно: Сологуб. — *И. Ф.)*.

Гортанный волнующийся отрывистый глухой значительный — п<отому> ч<то> плохо говорит по русски и выбирает только самое необходимое — привет японочки Инамэ. <…> Вячеслав говорит о солнце соблазняющем, о солнце слепом, об огне неизменном (огонь не растет — феникс сгорает и вновь возрождается — солнце каждый день всходит и каждый день заходит — отсутствие развития — неподвижность) — Надо быть солнцем, а не как солнце. Бальмонт — не только влюбленный соловей, но костер самосжигающий.

Потом приветствие английских гостей — толстая мужеподобная англичанка — шляпа вроде кэпи с ушами.

Мелькают слова: пролетариат — Интернационал. И Бальмонт: «Прекрасная английская гостья» — и чистосердечно, ибо: раз женщина — то уже прекрасна и вдвойне прекрасна — раз гостья (славянское гостеприимство!)

— Говорит о союзе всех поэтов мира, о нелюбви к слову Интернационал и о любви к слову: «всенародный». — «Я никогда не был поэтом рабочих, — не пришлось, — всегда уводили какие-то другие пути. Но м<ожет> б<ыть> это еще будет, ибо поэт — больше всего: завтрашний день»… о несправедливости накрытого стола жизни для одних и неустанного голодного труда для других — просто, человечески, обеими руками подписываюсь. <…>

— Потом: каррикатуры. Представители каких-то филиальных отделений Дв<орца> Искусств по другим городам, — от Кооперативных товариществ — какой-то рабочий без остановки — на аго и ого читающий — нет, списывающий голосом! — с листа бумаги приветствие, где самое простое слово: многоцветный и многострунный…

Потом я с адр<есом> М<илио>ти.

— «От всей лучшей Москвы»… И — за неимением лучшего — поцелуй. (Второй в моей жизни при полном зале! Первый — Петипа.)

И японочка Инамэ — бледная — безумно-волную-щаяся:

— «Я не знаю что мне Вам сказать. Мне грустно. Вы уезжаете. К<онстантин> Д<митриевич>! Приезжайте к нам в Японию, у нас хризантемы и ирисы. И…» — Как раскатившиеся жемчужины. — Японский щебет! — «До свидания», должно быть?

И со скрещенными ручками — низкий поклон. <…>

Потом — под самый конец — Ф. Соллогуб — старый, бритый, седой, — лица не вижу, но — думается — похож на Тютчева. (М<ожет> б<ыть> ложь.)

— «Равенства нет и Слава Богу, что нет. Бальмонт сам бы был в ужасе, если бы оно было. — Чем дальше от толпы, тем лучше. Поэт, не дорожи любовию народной. — Поэт такой редкий гость на земле, что каждый день его должен был бы быть праздником. — Равенства нет, ибо среди всех кто любит стихи Б<альмон>та много ль таких, к<отор>ые видят в них еще нечто, кроме красивых слов, приятных звуков. Демократические идеи для поэта — игра, как и монархические идеи, поэт играет всем, главная же ценность для него — слово».

Вот приблизительно. — Искренно рукоплещу. Ф. Соллогуб говорит последним. Забыла сказать, что на утверждение: «Равенства нет» — из зала возгласы: — «Неправда!» — «Кому как». <…>

Главное: Б<альмон>т, Вячеслав и Сологуб. И Инамэ. — Описала плохо, торопилась. — (Куда?!) <…>

Множество адресов и цветов. Наконец, все кончилось. Мы на Поварской. <…>

У дома Бальмонта нас нагоняет Вячеслав. Стоим под луной. Лицо у Вячеслава доброе и растроганное.

— «Ты когтил меня, как ястреб», говорит Б<аль-мон>т. — «Огонь — солнце — костер — феникс»…

— «На тебя не угодишь. С кем же тебя было сравнить? Лев? Но это «только крупный пес», — видишь, как я все твои стихи помню?»

— «Нет, все-таки человек! У человека есть — тоска. И у него единственного из всех существ есть эта способность: закрыть глаза и сразу очутиться на том конце земли, и так поглощать…»

— «Но ты непоглощаем, нерастворим…» <…>

О себе в тот вечер не пишу. Радовалась Мысли, Слову… <…> Думала о том, как когда я буду старая все будут читать, любить и знать мои молодые — сейчасешние — стихи! — И чествовать (к чему, когда — сегодня! — тогда! — не любили!) — А м<ожет> б<ыть> не доживу — умру — и все тетрадочки потеряются.

Двадцать пятого июня 1920 года Бальмонт уехал за границу, якобы в командировку, но *с* семьей. Это совпало *с* подготовкой первого номера парижского журнала «Современные записки». Бальмонт передал новому журналу стихи МЦ, в частности — «Пожирающий огонь — мой конь!..», их напечатали: четыре стихотворения.

Алю в бальмонтовском саду — около его дома — дразнили «вошь», у Марины на уме совсем другое: «О, как я бы воспитала Алю в XVIII в.! — Какие туфли с пряжками! — Какая фамильная Библия с застежками! — Какой танцмейстер!»

Во всем происходящем Марине виделся старый сюжет: распровеликий Петр и его сестрица царевна Софья (!), в их распре Марина стояла на стороне Софьи, разумеется.

По ее жизни, как по Борисоглебскому, и по Борисоглебскому, как по ее жизни, шли и шли люди. Череда людей, крупных и не очень, на расстоянии и близко. В мае судьба сводит ее с Вячеславом Ивановым, уроженцем Москвы, в 1913-м переехавшим в Москву после долгой жизни в Петербурге. У них с Мариной было много общих московских мест — в детстве он жил на Патриарших, а учился — в гимназии на Волхонке. В Мерзляковском, в доме 11, где было здание бывших Высших женских курсов, участвовал в заседаниях Вольной академии духовной культуры.

Пенаты, в путь!.. Пруд Патриарший
Сверкнул меж четырех аллей.
Обитель новая, лелей
Святого детства облик старший,
Пока таинственная смерть
Мне пеплом не оденет твердь!

(Вяч. Иванов. «Младенчество»)

Летом 1920 года Вячеслав Иванов с Михаилом Гершензоном, живя в одной комнате в здравнице для работников науки и литературы по адресу 3-й Неопалимовский переулок, 5, напишут двуединую книгу «Переписка из двух углов» — о мировом культурном наследии. Иванов живал в Большом Афанасьевском переулке, ходил на службу в Наркомпрос, бродил по окрестностям Арбата и заглянул к Марине. Он посерел, порыхлел, стал еще более горбонос — они с Мариной были знакомы давно, встречались в московской квартире Аделаиды Герцык в Кречетниковском переулке, она помнила его гривастое великолепие, и он посвятил ей стихотворение «Исповедь земле» (декабрь 1915 года):

Под березой белой, что в овраге плачет,
Пролил кровь убийца и швырнул топор.
Вскоре оглянулся: белая маячит
В сумерках береза, как живой укор.

Будто укоряет, что оставил живу,
На крови, проклятый пустырь сторожить,
Подземельну слушать жалобу тоскливу
И рудою кровью коренье поить.

Воротясь, нашарил он топор постылый,
Под-корень, окстяся, дерево срубил.
В келейку стучится: «Каина помилуй!
Душу, окаянный, братню загубил».

Отворяет старец: «Две их за тобою:
Братняя во гневе, сестрина в тоске.
Древо пожалел он!» — райскою мольбою
Молит Землю, тая, как ледок в реке.

«Слышит Матерь Божья в небесах далече,
Матери-Чернице суд велит вершить.

Припади к Земле ты, грешный человече,
Обещай родимой больше не грешить.

«И ступай спасаться, малиться пред Богом
(Много мать молитвой может у Христа) —
В кандалах, веригах, по скитам, острогам,
Именем Исуса, бременем креста».

В это время Вторая студия МХТ предложила МЦ перевести комедию Альфреда де Мюссе «С любовью не шутят». Не произошло. Остался только след попытки, когда ее посетил Вячеслав Иванов. У них уже был светский обмен любезностями на бальмонтовском юбилее, когда он поинтересовался ее сердечными делами и не без игривости определил, что сердце ее *вакантно,* и словцо сие царапнуло ее.

19 русск<ого>мая 1920 г., среда

<…> В черной широкополой шляпе, седые кудри, сюртук, что-то от бескрылой птицы.

— «А вот и я к Вам пришел, Марина Ивановна! К Вам можно? Вы не заняты?»

— «Я страшно счастлива». <…>

— «Как у вас неуютно: темно, такое маленькое окошечко… <…> Вы не служите?»

— «Нет, то есть я служила 5 1/2 мес. — в Интернациональном К<омите>те. Я была русский стол. Но я никогда больше служить не буду». <…>

— «Надо что-нибудь для Вас придумать. Почему бы Вам не заняться переводом?»

— «У меня сейчас есть заказ — на Мюссэ, но…»

— «Стихи?» — «Нет, проза, маленькая комедия, — но…»

— «Надо переводить стихи, и не Мюссэ — м<ожет>б<ыть> это и не так нужно — а кого-нибудь большого, любимого…»

— «Но мне так хочется писать свое!!! <…>…»

И написала, в ученической почтительности — «Вячеславу Иванову», в трехчастном стихотворении изображая евангельский случай писания Иисуса на песке:

Ты пишешь перстом на песке,
А я подошла и читаю.
Уже седина на виске.

Моя голова — золотая.

Как будто в песчаный сугроб
Глаза мне зарыли живые.
Так дети сияющий лоб
Над Библией клонят впервые.

Уж лучше мне камень толочь!
Нет, горлинкой к воронам в стаю!
Над каждой песчинкою — ночь.
А я все стою и читаю.

Ты пишешь перстом на песке,
А я твоя горлинка, Равви!
Я первенец твой на листке
Твоих поминаний и здравий.

Звеню побрякушками бус,
Чтоб ты оглянулся — не слышишь!
О Равви, о Равви, боюсь —
Читаю не то, что ты пишешь!

Не любовницей — любимицей
Я пришла на землю нежную.
От рыданий не подымется
Грудь мальчишая моя.

Оттого-то так и нежно мне —
Не вздыхаючи, не млеючи —
На малиновой скамеечке
У подножья твоего.

1-е Воскресенье после Пасхи 1920

(«Вячеславу Иванову»)

Ученик, паж — и полное непокорство. Это в ней глубоко лежало и походило на сочетание в Вячеславе Иванове всемирное™ интересов и кровной связи с архаической Русью, славянством, хтоническими корнями. Мелодическая сердцевина цветаевской лирики никак не соответствовала пластической природе его дара. Но тяга земная и устремленность к небесным высям — родство и школа. Ее самоопределение как минимум неожиданно:

Я первенец твой на листке
Твоих поминаний и здравий.

(Там же)

Казалось бы, с драматургией она покончила если не навсегда, то надолго, и вот — новый приступ театромании. Пьеса «Ученик», ее июньская работа, не состоялась, осталось лишь девять стиховых вставок — песенок, и две из них — «И что тому костер остылый…», «Вчера еще в глаза глядел…».

И что тому костер остылый,
Кому разлука — ремесло!
Одной волною накатило,
Другой волною унесло.

Ужели в раболепном гневе
За милым поползу ползком —
Я, выношенная во чреве
Не материнском, а морском!

13 июня 1920

Она уже умела всё по часта профессии. Легкий жанр сам шел в руки. Песня, песенка. Она писала их всю жизнь, мелодия — основа стиха, рефрен — любимый прием. Причем если «Я, выношенная во чреве не материнском, а морском» — достаточно сложная для пения синтаксическая конструкция, то «Мой милый, что тебе я сделала?» сам Бог велел петь.

Такая легкость пугает. Под пером другого автора могло бы сотвориться целое доходное море текстов на чужую музыку. МЦ — не тот случай. Она пишет без оглядки на публикацию, у нее масса незаконченного, пропущенных строф и слов. Ее неудачи и лакуны — лучшее свидетельство и гарантия трудного, истинного пути. Опереточника-либреттиста или поэта-песенника из нее не вышло по определению. Хотя она и сказала, что любит читать стихи «за любовь и за деньги».

> У всех вас есть: служба — огород — выставки — союз писателей — вы живете и вне вашей души, а для меня это: служба — огород — выставки — союзы писателей — опять таки я, моя душа, моя любовь, мое оттолкновение, мое растравление, моя страшная боль от

всего!

И — естественно — что я иду к себе, в себя, где со мной никто не спорит, где меня никто не отталкивает, в свой бедный разгромленный дом, где меня все-таки любят.

И я не виновата, если из этого получаются стихи!

Однако она явно хотела, чтобы ее — пели, иначе не писала бы столь долго и упорно стихи, неизбежно ведущие к песне. Очевидцы говорили о поразительном внешнем сходстве МЦ с Есениным. Не нахожу, не вижу. Он слишком — на фотоснимках — благолепен, пасторален, а то и парфюмерен. Но иные ее стихи песенного лада говорят о кровном родстве. Он этого не заметил. «Облетел головы моей куст, / Куст волос золотистый вянет», — сказал он (1920), «Золото моих волос / Тихо переходит в седость», — сказала она (1922), а куст — ее кровный образ.

Лето ушло в новое для нее русло: поэмное. Датировка поэмы-сказки «Царь-Девица»: 14 июля — 17 сентября 1920.

Уйти из-под чар блоковских «Двенадцати», наверное, можно было чем-то подобным, с упором на фольклорную просодию, с подземной или очевидной частушечной ритмикой. За эти годы МЦ наслушалась народной речи — на улице, на рынке, на вокзале, на площади, — и эта стихия, в сплаве с афанасьевскими сказками, искала себе форму. Стихи в русском духе она писала давно — недаром Вячеслав Иванов заговорил в посвящении ей в таком же духе: «Под березой белой, что в овраге плачет…». Кстати, в том же размере Есенин позже напишет одно из самых знаменитых стихотворений «Я иду долиной, на затылке кепи…».

О поэме-сказке «Царь-Девица» она скажет в конце года: «русская и моя». Сюжет, вынутый из собрания Афанасьева (№ 232,233), лишь отдаленно похож на первоисточник, где купеческий сын Иван и Василий-царевич активно ищут свою царь-девицу и сражаются за нее.

В центре цветаевской сказки — великанша-волшебница Царь-Девица и молодая Царица, и обе они страстно увлечены Царевичем, узкогрудым красавцем, совершенно равнодушным к той и другой. Его обольщают, он не поддается, ему нужна только музыка, он гусляр. Женская месть Вышеславцеву, не сильно-то и жестокая.

Когда МЦ выстраивает такие лексические ряды: «Изнизу — вдоль впалых щек — / Облак — морок — обморок», становится ясно, откуда ноги растут: Хлебников, его корнесловие. Это не артикулировано Цветаевой, но так оно и есть по факту. Страсть автора — стихия слова, ее подчинение, остальное не так уж и

важно.

МЦ многих догнала и обогнала, в том числе здесь совершенно очевиден будущий Высоцкий:

Сидит Царь в нутре земном, ус мокрый щипет,
Озирается кругом — чего бы выпить?
Уж пито́-пито́, — полцарства про́пито!
А все как быдто чегой-то не до́пито.

— С вином спорить — зря! —
Посмотрим, как мается,
Слезой обливается,
Как с ночью справляется
Страна — без Царя.

МЦ предвосхищает поэзию подтекстовых намеков в ее советском изводе — Семена Кирсанова («Сказание про царя Макса-Емельяна», 1968) и Леонида Филатова («Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», 1986).

— Бог, спаси нашу державу! —
Клюв у филина кровавый!

А порой говорит и в открытую:

То не Свет-Егорий
Спор ведет с Советом,
То посередь моря —
Царь-Девица с Ветром.

Сей спор — пародия на плач Ярославны с ее обращением к Ветру, но в данном случае Ветер полон дифирамбов типа «Нет во всей вселенной / Такой откровенной!» и вовсю честит деторождение. Тотчас, без никакого зазора, возникает голос Свет-Архандела, скучно поучающий: «Кто избы себе не строил — / Тот земли не заслужил».

Чуть позже о Марине Цветаевой скажет Валерий Бебутов, театральный режиссер, обращаясь к Мейерхольду: «Что же касается до того, что вы уловили в натуре этого поэта, то должен сказать, что это единственно и мешает ей из барда теплиц вырасти в народного поэта». «Барда теплиц» оставим Бебутову, но в том-то и дело, что МЦ действительно без удержу стремится на

тропу народного поэта, лишь этим объясняются ее сногсшибательный напор и словообилие без счету.

Ее поэма-сказка — прямое продолжение ее драматургии. Чуть не все выстроено на диалогах. Царевич отбивается от наседающих на него баснословных дам — Царицы и Царь-Девицы, Царь чегой-то говорит с глубокого перепоя и доходит до прямого аморализма, предлагая жене и сыну случку:

И так что за кружкой
Я верно сужу,
Решил, что друг дружкой
Я вас награжу.
Любитесь — доколе
Ус есть у китов,
Да чтоб мне к Николе
Внучок был готов!

Разброс источников, тем и перекличек широк. Афанасьев со своей сказкой — это ясно, но и Библия задействована. И Фома неверующий («Чтоб не испортил нам смотрин / Неверный разум наш Фомин»), и даже Царь Давид, явственно рифмующийся с Царь-Девицей, поскольку он гусляр, юнец и красавец. Старый как мир сюжет — мачеха, соблазняющая пасынка. Мандельштам в 1915 году сказал: «Я не увижу знаменитой «Федры», МЦ вместо Расина предложила свой вариант вечной коллизии, отыскав нечто похожее в русском купеческом быту. Воистину: «Когда бы грек увидел наши игры…» (Мандельштам).

Объем этой вещи намного превышает возможности содержания. Но автору, только что написавшему с маху несколько пьес, теперь все по силам. В музыкально-ритмическом ключе это кладезь: сказ, раек, частушка, городской романс, народная песня (исходно — «Шумел, горел пожар московский»), плясовой фольклор («— Эй, холопы, гусляра за бока! / Чтоб Камаринскую мне, трепака!»), прямая лирика от себя — тут все есть. Порой захватывает дух:

Полк замертво свалился пьяный.
Конь пеной изошел, скача.
Дух вылетел из барабана.
Грудь лопнула у трубача.

Дело кончается не миром да ладом, как у народа в его сказках, но поспешным, неопределенным фельетоном

политического характера, с двусмыслицей то ли хвалы свержению царя, то ли хулы. Огромная поэма-сказка осталась недоговоренной, став началом целого потока подобных ей произведений, почти все они оборвались, недодышав до конца. На стезе эпоса лирик рискует столь же, сколь и на театре.

Однако иные куски цветаевского полотна изумительны как отдельные лирические стихотворения.

— Бог на небе — и тот в аду,
Ворон в поле, мертвец в гробу,
Шептуны, летуны, ветрогоны,
Вихрь осенний и ветр полуденный,
Все разбойнички по кустам,
Хан татарский, турецкий султан,
Силы — власти — престолы — славы —
Стан пернатый и стан шершавый,
Ветер — воды — огонь — земля,
Эта спящая кровь — моя!

Царю не дам,
Огню не дам,
Воде не дам,
Земле не дам.

Ребенок, здесь спящий,
Мой — в море и в чаще,
В шелках — под рогожей —
Мой — стоя и лежа,
И в волчьей берлоге,
И в поздней дороге,
Мой — пеший и конный,
Мой — певчий и сонный.

Ребенок, здесь спящий,
Мой — в горе и в счастье,
Мой — в мощи и в хвори,
Мой — в пляске и в ссоре,
И в царском чертоге,
И в царском остроге,
В шелках — на соломе —
Мой — в гробе и в громе!

В огне и в заразе,
В чуме и в проказе,

Мой — в сглазе и в порче,
Мой — в пене и в корчах,
В грехе и в погоне,
Мой — в ханском полоне,
Мой — есть он дотоле
И будет — доколе:

Есть страж — в раю,
Не-наш — в аду,
Земля — внизу,
Судьба — вверху.

Она не могла, не умела быть одной, без никого. Милиоти и Вышеславцев таяли в тумане. Н. Н. еще томил ее, становясь N. N., но это не одно и то же. Сердце и впрямь вакантно, тьфу ты, что за словцо. Она умеет выходить из любого положения:

Было дружбой, стало службой.
Бог с тобою, брат мой волк!
Подыхает наша дружба:
Я тебе не дар, а долг!

Заедай верстою версту,
Отсылай версту к версте!
Перегладила по шерстке, —
Стосковался по тоске!

Не взвожу тебя в злодеи, —
Не твоя вина — мой грех:
Ненасытностью своею
Перекармливаю всех!

Чем на вас с кремнем — огнивом
В лес ходить — как Бог судил, —
К одному бабье ревниво:
Чтобы лап не остудил.

Удержать — перстом не двину:
Перст — не шест, а лес велик.
Уноси свои седины,
Бог с тобою, брат мой клык!

Прощевай, седая шкура!
И во сне не вспомяну!

Новая найдется дура —
Верить в волчью седину.

Октябрь 1920 («Волк»)

Последнее «прости» эффектно седеющему Милиоти? Вышеславцев брил голову.

На ее сцене появляется Евгений Львович Ланн. Пожалуй, лучший портрет Ланна — дан Алей, в очевиднейшей редакции МЦ:

Аля про Ланна: (Записано 23-го русск<ого> янв<аря> 1921 г.)

У М<арины> был знакомый — Е. Л. Ланн: высокий, худой, военные гетры и панталоны полковника. Орлиный нос — орлиный подбородок, длинная тонкая шея, бешеные волосы, откинутые со лба, громовой голос, когда читает стихи. Вместо Бог с Вами говорил: Аполлон с Вами! — и говорил *капризным* (подчеркните!) голосом. Это колкое слово очень к нему подходит. Не обращал внимания и не сердился на наш быт, сидел на высоком кожаном диване, откидывая волосы и закидывая руки. Стянутая походка, узкая, стянутая узким женским ремешком, талия, лиловая куртка и любование маминым лиловым бархатным кисетом из под махорки. (В детстве они с братом лиловый цвет называли пурпур.) <…>

В быту он не был ни отцом, ни мужем, — только сыном. На суду Божьем будет капризен, будет стоять на подобающем ему — по его мнению — месте и не будет раскаиваться.

— Никогда не будет женщиной, — хотя и не мужчина.

Он — оно.

…..

В жизни был беспомощен и на всё махал руками. Церковь Вознесенья называл Никитским Собором, когда ел Маринины лепешки и Марина начинала разговор, вопил:

— «Нет, нет, я уж дорвался до этого!»

— Ничего не вспоминал… <…> По вечерам пил черный (Маринин) кофе, по утрам — собачий.

В любви к Марине тоже был — оно. К нему шел бы плащ и дождь. Таинственность прихода.

Из породы Гостей Оттуда, оставляющих только след

плаща.

Всё так — и не так. Потому как Ланн — выпускник юридического факультета Харьковского университета, оставленный при кафедре истории философии права, в прошлом, 1919 году стал председателем русской секции Всеукраинской литературной комиссии при Наркомпросе Украины, — личность, вписанная в реальность. Он на четыре года моложе Марины. Незадолго до приезда в Москву в волошинском доме он познакомился с Асей Цветаевой, между ними пробежала искра влечения. По его поводу МЦ воскликнула: «О искус всего обратного мне!»

В ноябре 1920 года — после занятия Крыма Красной армией — Марина получила первое письмо от Аси. Пошли ответные письма от МЦ.

Москва 17-го р<усского>декабря 1920 г.

Третьего дня получила первую весть от тебя и тотчас же ответила. — Прости, если пишу все то же самое, — боюсь, что письма не доходят.

В феврале этого года умерла Ирина — от голоду — в приюте, за Москвой. Аля была сильно больна, но я ее отстояла. — Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные, — вообще все отступились. Ирине было почти три года — почти не говорила, производила тяжелое впечатление, все время раскачивалась и пела. Слух и голос были изумительные. — Если найдется след С<ережи> — пиши, что от воспаления легких.

О смерти Бориса[53] узнала в конце сентября от Эренбурга. Не поверила. — Продолжала молиться. <…>

Мы с Алей живем все там же, в столовой. (Остальное — занято.) Дом разграблен и разгромлен. — Трущоба. Топим мебелью. — Пишу. — Не служу, ибо после смерти Ирины мне выхлопотали паек, дающий возможность жить. — Служила когда-то 5 1/2 мес<яца> (в 1918 г.) — ушла, не смогла. — Лучше повеситься. — <…>

Ася! — Я совершенно та же, так же меня все обманывают — внешне и внутренно — только быт совсем отпал, ничего уже не люблю, кроме содержания своей грудной клетки. — К книгам равнодушна, распродала всех своих французов — то, что мне нужно — сама напишу. — Последняя большая вещь «Царь-Девица», — русская и моя. — Стихов — неисчислимое количество, много живых записей.

Ася! — Три недели назад — стук в дверь. Открываю: высокий человек в высокой шапке. Вползающий в душу голос: Здесь живет М<арина> И<вановна> Ц<ветаева>? — Это я. — Вы меня не знаете, я был знаком с Вашей сестрой Асей в К<октебе>ле год назад. — О! — Да и вот…

Входит. Гляжу: что-то Борисино. (Исступленно думала о нем все последние месяцы и видела во сне.) — «Моя фамилия — Ланн».

Провели — не отрываясь — 2 1/2 недели. Теперь ок<оло> 10 дней, как уехал — канул! — побежденный не мной, а *породой.* Это был конец выплаты долга тебе.

Это первая — прежняя радость, первой Пасхой от человека за три года. О тебе он говорил с внимательной нежностью, рассказывал мельчайшие подробности твоего быта (термос — лампа — волоски Андрюши). Это была сплошная бессонная ночь. — От него у меня на память: «Белая стая» Ахматовой, столбик сухих духов, и цепочка на шее. — «На Юге — Ц<ветае>ва, на Севере — Ц<ветае>ва, — куда денешься?» спрашивал он серьезно и беспомощно. <…>

В первую же минуту после занятия Крыма дала Максу телегр<амму> через Луначарского, — неужели не дошла? Москва без заборов (сожжены) — в мешках и сапогах.

Если бы я знала, что жив, я была бы — совершенно счастлива. Кроме него и тебя — мне ничего не надо. <…>

Напиши Ланну, и пусть он тебе напишет обо мне!

Когда Трухачев заболел, Ася на коленях прошла путь от своего феодосийского пристанища до церкви. Было что отмаливать. Глубина раскаяния, свирепость времен, слепота судьбы, театральность поступка — все едино.

Итак, Крым взят красными — где же Сережа? Крым тонет в красной пыли. Макс сидит в башне, похожей на проходной двор, в Судаке арестовали Аделаиду Герцык и Софью Парнок, продержали ночь в узилище, утром отпустили.

Ланн — Гость Оттуда — стремительно вернулся туда, откуда прибыл: на Украину. Он увез с собой огромную рукопись ее стихов, для него сделанную ею, плюс стихи Али.

— Прощай! — Как плещет через край
Сей звук: прощай!
Как, всполохнувшись, губы сушит!

— Весь свод небесный потрясен!
Прощай! — в едином слове сем
Я — всю — выплескиваю душу!

8 декабря 1920

(«—Прощай! — Как плещет через край…»

МЦ пишет Ланну безразмерное послание, жанрово эклектичное, то ли дневник, то ли очерк, то ли исповедь, и вообще это, помимо всего прочего, некая новелла внутри дневника:

Москва, 6-го русск<ого> декабря 1920 г., воскресенье. Из трущобы — в берлогу
— Письмо первое —
Дружочек!
После Вашего отъезда жизнь сразу — и люто! — взяла меня за бока.
Проводив Вас немножко дольше, чем было видно глазам, я вернулась в дом. <…>
Дома уложила Алю. — Да, постойте! — Взойдя, я сразу поняла: не чердак и не берлога, — *трущоба).* (Но полрадости. — Вас не было рядом, чтобы оценить!)
Поняв трущобность, удовлетворилась ею и ушла ночевать в приличный дом, — к знакомым Т. Ф. С<кря>-биной. Там были одни женщины, говорили про спиритизм — сомнабулизм — (какая нелепость! — бессмысленность! — неоправданность! — *летящий стол, — стол, который должен стоять'.)* <…>
— Я лежала на огромном медведе (мех усыпляет, медвежий — в особенности — знаю по опыту, — каждый раз, ложась на медведя, сплю. — Объяснение медвежьей зимней спячки.) — Я лежала на огромном медведе, не слушала, спорила и спала.
Ночью 30 раз просыпалась, курила, бродила, будила и ушла с рассветом, оставив всех в недоумении, — зачем приходила.
Такой Москвы Вы не знаете, да и я забыла, что она есть! Блеск — звонкость — ломкость. Небо *совсем* круглое (относительно земли — сомневаюсь), — как надышанное розовым, и снег розовый, — и я — тигровым привидением.
Дойдя до Смоленского, решила — noblesse oblige[54] — навестить — посетить его останки — и — о удивление! — не помер: мужик с дровами!
— «Купчиха, дров не надоть?» — «Даже очень!» Впрягаюсь с мужиком и довожу до дому 4 мешка дров. Отдаю взамен всю

пайковую муку <…>

— В 12 ч. дня посылаю Алю на Собачью площадку (к<отор>ой по-Вашему — нет) — в Лигу Спасения Детей, за каким-то усиленным питанием, а сама сажусь дописывать те — последние — стихи, диалог над мертвым.

Потом голова болит, ложусь на Алину кровать, покрываюсь тигром и плэдом, дрова есть, — значит можно не топить, ужасный холод, голова разлетается, точно кто железным пальцем обводит веки.

— Сплю. —

Просыпаюсь: темнеет. — Али нет. Иду к Скрябиным. — Там нет. — Вспоминаю год назад — приют, госпиталь, этот *ужас всех недр* — вспоминаю эти последние две недели сейчас, мою сосредоточенность на себе (Вас), мое раздражение на ее медленность, мое отсутствие благодарности Богу — каждый день и час — за то, что она есть.

Возвращаюсь — жду — читаю какую-то книгу. — Темнеет. — Не могу сидеть, оставляю ей записку в дверях, иду во Дворец Искусств, к М<илио>ти.

— «Была у Вас Аля?» — «Только что ушла». — Опять домой. Час проходит. (Уже 5 ч.) — Ее нет. — <…> — Уже 7 ч. (Ушла в 12 ч.) <…> Я лежу и думаю.

Думаю вот о чем: — Господи, и тогда я мучилась, пальцем очерчивала, где болит, — но какая другая боль! Та боль — роскошь, я на нее не в праве, а эта боль — насущная, то, чем живут, от чего не вправе не умереть (если Аля не найдется!) — Аля. — Сережа.

Ася — на грани, *и* насущное, и роскошь. Ланн — только роскошь, и вся боль от него и за него — роскошь, и сейчас Бог наказывает. <…> Отношение неправильно пошло, исправилось только к концу — выпрямилось! — за день до его отъезда.

Я поняла: никакой заботы!

Холодно — мерзни, голоден — сам бери, болен — умирай, я не при чем, — отстраняюсь — галантно! — без горечи! <…>

В 9-ом часу явление В<олькен>штейна[55] с Алей за руку. Явление напыщенное и прохладное. Весь — сознание своего подвига и моей подлости. (Гнала от себя люто вот уже целый месяц!)

Подвел — поклонился — и вышел.

— Господа, вы не мастера давать! —

Молчание. Беспомощность от сознания безнадежности тотчас же следующего диалога:

— «Аля, что это значит!»

— «Марина!»

— «Оставь Марину — Марина не при чем. — Ну??!»

— «Марина!»

— «А-ля!!!»

— «Ну, я просто хотела испытать горе, — как ребенок живет без матери».

— «Где ты была?»

— «Я целый день сидела в сугробе — и голодна, как смерть».

— «Гм…… — И никуда не заходила?»

— «Ни-ку-да».

— «Нигде-нигде не была? Ни у Скрябиных — ни у X — ни у Z ни у цыган?

— «Ни-где. Ходила по пустырям и горевала».

— «А кто был во Дворце? Кто веселился с детьми М<илио>ти? Кто смотрел на шахматный турнир? Кто? — Кто? — Кто?»

— «Марина, простите!»

Яростно сажаю ее посреди комнаты на табурет.

— «Так, руки вдоль колен! Так, — не двигаться! т. д. А т. д. т. д. что *я* горюю, что *я* думаю, что ты попала под автомобиль, а что Е<вгений> Л<ьвович> уехал — и теперь надо любить меня вдвое, — ты об этом не думала?!!» и т. д. и т. д.

<…>

<…> Иду вчера и думаю: — Я дура. — Премированная дура.<…> При чем тут любовь? <…>

Писем Ланну было много. Эпически развернутых.

МЦ засвидетельствовала: Собачья площадка превращена в красноармейский манеж. Там, в Лиге спасения детей, МЦ сказала заведующей Кунцевского приюта, что она — крестная мать Али.

— Да, она тоже так говорит.

Собачья площадка многое видела, а потом ее, снесенную бульдозером истории, не стало. Возник Калининский проспект, ныне Новый Арбат. Владимир Соколов — в 1966-м:

Ташкентской пылью
Вполне реальной
Арбат накрыло
Мемориальный.
Здесь жили-были,
Вершили подвиги,
Швырнули бомбу
Царизму под ноги.
Смыт перекресток
С домами этими

Взрывной волною
Чрез полстолетия.
Находят кольца.
А было — здание.
Твои оконца
И опоздания.

Но вот! У зданий
Арбата нового,
Вблизи блистаний
Кольца Садового,
Пройдя сквозь сырость
Древесной оголи,
Остановилась
Карета Гоголя.
Он спрыгнул, пряча
Себя в крылатку,
На ту — Собачью —
Прошел площадку.

(«Новоарбатская баллада»)

На бывшую Собачью площадку ныне взирают стройные здания старой постройки, где размещаются банки «Российский кредит» и «Российский капитал», видимо, благополучные. Как раз под их стенами в перестроечные времена, несколько лет подряд, располагался самый грандиозный в Москве, в ничтожных метрах от Кремля, центровой бомжатник, шевелящаяся муравьиная куча двуногих и четвероногих существ, сбитых в клубок черных человечков и огненноязыких псов, одинаково бездомных и голодных, соорудивших между собой и проезжей частью Калининского проспекта баррикады из пустых деревянных и картонных ящиков, прикрываясь от мокрот и стуж. Возможно, на все это смотрел востроглазый отрок Пушкин из давным-давно снесенного дома, где он жил и рос до отъезда в Лицей. Рядом ходила очарованная девочка в отрепье с большими голубыми глазами.

Каждый раз ее женский выбор в конечном счете рассчитан на производство стихов. В этом смысле мужчина — или женщина — лишь часть жизни, нуждающаяся в ее голосе. Других целей у нее нет, или они попутны и косвенны, главное — стихи, всё во имя стихов.

Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух — не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Пляшущим шагом прошла по земле! — Неба дочь!
С полным передником роз! — Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! — Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом.
Прорезь зари — и ответной улыбки прорез…
Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

Москва, декабрь 1920

(«Знаю, умру на заре! На которой из двух…»)

Это говорит человек, вне стихов якобы считающий себя не-поэтом, не-литератором, но частным человеком, другом поэтов, женщиной, безумно любящей стихи, не более того. Шила в мешке не утаишь. Поэт. И в предсмертной икоте.

Ланн стал отвлеченностью, но пишет ей из Харькова о том, с каким горячим чувством они — вместе с женой Александрой Владимировной — читают стихи Марины и Али.

В январе 1921 года возникает цветаевская поэма «На Красном Коне» — внушенная Ланном и ему посвященная. Одна из ипостасей оного коня — он, Ланн, равно как и само вдохновение.

К устам не клонился,
На сон не крестил.
О сломанной кукле
Со мной не грустил.
Всех птиц моих — на свободу
Пускал — и потом — не жалея шпор,
На красном коне — промеж синих гор
Гремящего ледохода!

В каком-то смысле каждое стихотворение само по себе есть сновидение. Но запись сна — это уже пробуждение, воспоминание о сне. Исчезает волшебство непреднамеренности. То, что вспыхнуло в нечаянном шедевре «Пожирающий огонь — мой

конь!..»:

Пожирающий огонь — мой конь!
Он копытами не бьет, не ржет.
Где мой конь дохнул — родник не бьет,
Где мой конь махнул — трава не растет.

Ох, огонь мой конь — несытый едок!
Ох, огонь на нем — несытый ездок!
С красной гривою свились волоса…
Огневая полоса — в небеса!

14 августа 1918

Это — сон, а не запись сна. Разница между лирикой и нелирикой в том, что лирика — это сон, а нелирика — его запись.

Поэма «На Красном Коне» — запись снов (четырех), дело для МЦ привычное, уже была «Царь-Девица» с фиксациями снов. Монтаж фрагментов — тоже не ново: и свои циклы уже написаны, и «Облако в штанах» Маяковского (<1914–1915>) вполне образцово: у него тоже четыре крика (четырех частей). Пожар сердца. «Нагнали каких-то. Блестящие. В касках». То же — у МЦ:

Пожарные! — Широкий крик!
Как зарево широкий — крик!
Пожарные! — Душа горит!
Не наш ли дом горит?!

Сполошный колокол гремит,
Качай-раскачивай язык,
Сполошный колокол! — Велик
Пожар! — Душа горит!

А может быть — и даже очень может быть — Блок:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.

(«Двенадцать»)

Футурист поминает «фантазию Гете» (в связи с гвоздем в сапоге)[56], МЦ берет в основу поэмного стиха амфибрахий гётевско-жуковского «Лесного царя»: «То ветлы седые стоят в

стороне», расшатывает ровную метрику, ломает ее, меняет размер и говорит свое: «Ветла, седые космы разметав», да и отзвук книги Ходасевича «Путем зерна» (1920) налицо: «Законом зерна — в землю!»

Красный конь («как на иконах») и лебединый стан (стихи этого плана нарастают) — равновесные полюса одного мира. Поток снов, нечетких, незаконченных, бессвязных, среди них — сон о сыне, первенце.

Первоначальное посвящение «Красного Коня» большевиковствующему Ланну сместило акценты, утвердило-утяжелило брезжущее приятие революционной силы вещей. Поэма «На Красном Коне» — и оклик Маяковского, и эхо блоковских «Двенадцати», неравновеликое выступление в защиту Блока, подвергшегося за «Двенадцать» обструкции со стороны литэлиты. Потом МЦ переадресовала красного коня белой стае — Ахматовой. Пахло полемикой неизвестно с кем. МЦ этого не хотела, в итоге сняв посвящения вообще.

Немой соглядатай
Живых бурь —
Лежу — и слежу
Тени.

Доколе меня
Не умчит в лазурь
На красном коне —
Мой Гений!

Основное достоинство «Красного Коня», заметное лишь задним числом, — намеченный потенциал будущих великих маленьких поэм («Поэма Горы», «Поэма Конца»). Это лирика, то есть ядро цветаевского дара.

Одно к одному. Не успев поставить точку на поэме, МЦ встречает нового гостя. Сама судьба подталкивает ее в ту сферу, где ходит, дышит и пышет большевик.

МЦ — Ланну:

18-го русск<ого> января 1921 г.

18 л<ет>. (ошибка: Борису Бессарабову, о ком речь, было 23 года. — *И. Ф.)* — Коммунист. — Без сапог. — Ненавидит евреев. — В последнюю минуту, когда белые подступали к Воронежу, записался в партию. — Недавно с Крымского фронта. — Отпускал офицеров по глазам. —

Сейчас живет в душной — полупоповской полу-интеллигентской к<онтр>-р<еволюционной> семье (семействе!) — рубит дрова, таскает воду, передвигает 50 пуд<овые> несгораемые шкафы, по воскресениям чистит Авгиевы конюшни (это он называет «воскресником»), с утра до вечера выслушивает громы и змеиный шип на сов<етскую> власть — слушает, опустив глаза (чудесные! 3-хлетнего мальчика, к<отор>ый еще не совсем проснулся) — исполнив работу по своей «коммуне» (всё его терминология!) идет делать то же самое к кн. Ш<ахов>ским — выслушивает то же — к Скрябиным — где не выслушивает, но ежедневно распиливает и колет дрова на 4 печки и плиту, — к Зайцевым и т. д. — до поздней ночи, не считая хлопот по выручению из трудных положений знакомых и знакомых-знакомых.

— Слывет дураком. — Богатырь. — Малиновый — во всю щеку — румянец — вся кровь взыграла! — вихрь неистовых — вся кровь завилась! — волос, большие блестящие как бусы черные глаза, прэлэстный невинный маленький рот, нос прямой, лоб очень белый и высокий. Косая сажень в плечах, — пара — донельзя! — моей Царь-Девице.

Дело решено — у Марины новый жилец. Сын железнодорожного машиниста и домашней учительницы, вышедшей из старообрядческого купечества, он учился в гимназии, бросив ее незадолго до окончания, и в Художественной школе, одним из организаторов которой был. В Красную армию записался добровольцем в сентябре незабываемого 1919 года. Бессарабов Борис Александрович.

От Ильменя — до вод Каспийских
Плеча рванулись в ширь.
Бьет по щекам твоим — российский
Румянец-богатырь.

Дремучие — по всей по крепкой
Башке — встают леса.
А руки — лес разносят в щепки,
Лишь за топор взялся!

Два зарева: глаза и щеки.
— Эх, уж и кровь добра! —
Глядите-кось, как руки в боки,

Встал посреди двора!

Весь мир бы разгромил — да проймы
Жмут — не дают дыхнуть!
Широкой доброте разбойной
Смеясь — вверяю грудь!

И земли чуждые пытая,
— Ну, какова мол новь? —
Смеюсь, — все ты же, Русь святая,
Малиновая кровь!

31 января 1921 («Большевик»)

Это стихотворение МЦ поместила в письме Ланну, очевидно, по идейному сходству героя стихотворения и адресата эпистолы. Бессарабова — юношу усердного, грамотного и с хорошим почерком — она усадила за переписку «Царь-Девицы», ему это доставляло громадное удовольствие. Вообще-то говоря, образовательный уровень у них формально практически равный — гимназия. Они исповедально разговаривают по ночам, ему позволено гладить ее по голове и сидеть рядом на ее лежанке, он поверяет ей свою умопомрачительную историю любви к некой жестокой балерине и в качестве высшего почитания называет Марину Ивановну «квалифицированной женщиной». Она, в свою очередь, именует его «сыночек».

Борис жалуется Марине — хочет уйти из партии: «мы гибнем». По-видимому, он не согласен с политикой нэпа, которая была принята 14 марта 1921 года X съездом РКП(б). Военный коммунизм уходил, приходили рынок, различные формы собственности, иностранный капитал, продналог, денежная реформа. Романтики Революции впадали в депрессию.

Марина не советует. «Борис, я люблю, чтобы деревья росли прямо. — Растите в небо. Оно одно: для красных и для белых». Это уже, можно сказать, волошинский подход к происходящему. Желание принять статус-кво, оправданное эпической стихией в лице жильца-богатыря, не затушевывает того состояния души, которое больше ассоциируется с эпосом французским и в корне противоречит ее разумным советам:

Как нежный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве:

За князем — род, за серафимом — сонм,

За каждым — тысячи таких, как он,

Чтоб, пошатнувшись, — на живую стену
Упал и знал, что — тысячи на смену!

Солдат — полком, бес — легионом горд.
За вором — сброд, а за шутом — всё горб.

Так, наконец, усталая держаться
Сознаньем: перст и назначеньем: драться,

Под свист глупца и мещанина смех —
Одна из всех — за всех — противу всех! —

Стою и шлю, закаменев от взлету,
Сей громкий зов в небесные пустоты.

И сей пожар в груди тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, рог!

Март 1921 («Роландов рог»)

Значит, не все так безнадежно? Кто-то услышит?

В апреле 1921-го Борис поехал в Петроград по служебным своим делам и прихватил с собой письмо Марины к Ахматовой, письмо, полное восторга от чтения ахматовской книги «Подорожник», только что вышедшей. Алина приписка к письму и две иконки от них обеих растрогали Ахматову, она ответила подарком — «Белой стаей» — и кратеньким письмецом, сославшись на хроническую аграфию, и все они друг друга целовали, как это принято в женских дружеских посланиях. В их отношениях у МЦ была позиция поклонницы и ученицы, к чему Ахматова относилась как к должному. Позже она получила от МЦ лазурную шаль (и шкатулку) и шаль эту носила долго, не забывая дарительницы.

Он же, Бессарабов, в мае побывал и в Феодосии, куда привез Асе машинопись Мариниых «Юношеских стихов». Юношеских — не девичьих.

МЦ пишет поэму «Егорушка». Невинность и богатырство, борение с темной кровью, хаос довременной Руси: «Дай мне Бог дописать эту вещь, — она меня душит!»

Недописала. А начала очень хорошо — ясный, прозрачный сюжет. Все предметно, подробно, последовательно. Правда, рождение героя — в туманце мифа, чуть не античного, с русским

Зевесом:

Обронил орел залетный — перышко.
Родился на свет Егорий-свет-Егорушка.

Рисуется история его младенчества — произрастание в волчьей стае, волчиха-кормилица, оный Маугли, и ничего плохого в том нет: волк — символ воли. Волка любят в бо-рисоглебском доме, волчья шкура лежит на полу. Как ни странно, и Брюсов в глазах Марины был волком («волчья улыбка»).

Егорушкин дружок-браток-волчок сопутствует каждому шагу героя и приходит на выручку в любой передряге. Иногда они вместе озоруют, в частности — зорят скворчиные гнезда в саду, и дитятко на руках некой мимоидущей женщины их вразумляет:

«Зачем шесты трясти?
Скворцы — ручные все.
<Зачем кремень в горсти?>
Мы здесь родные все».

Строка в угловых скобках — это след Ариадны Эфрон, в меру своей памяти восстановившей пропавшие строки и знаки в сохранившихся кусках «Егорушки» (1960–1970). Те же скобки и в названии первой главы: <Младенчество>. Однако сама МЦ отчетливо озаглавила остальные главы: «Пастушество», «Купечество», «Серафим-град».

Фабула поэмы — целиком авторская. МЦ решила создать свой миф Георгия Победоносца. Из строки «медведь олонецкий» можно вывести догадку, что МЦ читала за-онежский фольклор, в том числе причитания гениальной вопленницы Ирины Федосовой, собранные трудами Елпидифора Барсова, работавшего в свое время в Румянцевском музее, да и дядя Митя Цветаев написал брошюру «Записка о трудах Е. Барсова» (М., 1887). Запев поэмы, ставший ее лейтмотивом, словно снят с федосовского голоса. Марине мог запомниться «Плач по мужу», где сказано и о ее предках, и о ней самой:

Пусть дороженька теперь да коротается,
Вси отцы-попы духовные сбираются,
Оны Божии-то церкви отпирают,
Оны Божии-то книги отмыкают,
Воску ярого свечи да затопляются,
Херувимские стихи тут запеваются!

Бессарабов, подвернувшийся ей под руку, никакого отношения к поэмному Егорию (Ерке) не имеет. Если бы это было не так, можно было бы счесть волчье благородство свойством большевизма. В главе «Пастушество» волчок-браток становится… овчаркой. Они на пару пасут овечье стадо и вступают в решительный спор с собратьями-волками из-за овцы, объекта стайного волчьего аппетита.

На этом четкая линия поэмы прерывается: в главе «Купечество» ясно только то, что Егорий «до купцов не дорос», автор спешит, недописывает строки, опускает какие-то эпизоды. Поэма таки задушила автора, ему сказать уже нечего — или некогда.

МЦ вернется к «Егорушке» через семь лет (1928), напишет прозаический постскриптум «Дальнейшая мечта об Егории», где появятся и разбойники, и битва со змеем, и девушка Елисавия, преданная читательница Голубиной книги, — эта девушка, согласившись разделить с Егорием его путь, поставит условие: девство. Эту Елисавию очень жалко — змей украл, собственно, не ее как таковую, а Голубиную книгу, приложением к которой была замечательная девушка.

Зарифмованное, вслед за «дальнейшей мечтой», продолжение поэмы оказывается натужным, явно бесперспективным. Огромная энергия, вложенная в поэму, ушла на ветер не вся. Первая половина того, что сделано в 1921-м, достойна цветаевского пера, а некоторые рифмы, вопреки общему принципу очень отдаленного ассонанса, — верх щегольства и надежности: зайца — хозяйска, нашенской — монашенской, персидский — приснится, престольной — пристроил, почахнет — волчатник. На рифмах подобного толка русская поэзия держалась до конца XX века, да и сейчас не пренебрегает ими.

С некоторых пор МЦ стали звать на литературные мероприятия. О ней помнят? Да. Брюсов прежде всего. В начале февраля в Политехническом музее он устраивает вечер девяти поэтесс, девяти муз, и одна из них — Марина Цветаева. На его сакральных *девять* у нее свои сакральные *семь* — стихотворений, прочитанных для «курсантов и экскурсантов», набившихся до отказа в Большую аудиторию Политеха. Поэтессы ломались, не желая открывать концерт, — МЦ вызвалась быть первой. Остальное время вечера она провела в комнате за сценой — с Аделиной Адалис, последней любовью Брюсова, которой именно в тот час казалось, что у нее «начинается»: брюсовская муза была

беременна. Брюсов много пережил в Большой аудитории — здесь в него тринадцать лет назад выстрелила из револьвера Нина Петровская. Аделина нравилась Марине, да и вообще она, Марина, любила Брюсова — в форме ненависти к нему.

Игра продолжается.

Театр ее не отпускает, порой в диковинных формах. В «Вестнике театра» — это журнал, официальный орган Театрального общества — появилась заметка без подписи «Театр РСФСР (Первый)», где сообщалось: в ближайшем репертуаре театра, среди других постановок — «Гамлет» по Шекспиру и «Златоглав» по Клоделю в переделке Вс. Мейерхольда, Вал. Бебутова и М. Цветаевой. МЦ посылает в редакцию «Вестника театра» письмо (середина февраля 1921 года):

> В ответ на заметку в № 78–79 «В<естника> Т<еатра»> сообщаю, что ни «Гамлета», никакой другой пьесы я не переделываю и переделывать не буду. Все мое отношение к театру РСФСР исчерпывается предложением Мейерхольда перевести пьесу Клоделя «Златоглав», на что я, — с вещью не знакомая, не смогла даже дать утвердительного ответа.
>
> *Марина Цветаева*

Письмо МЦ открывает полемическую полосу «Около переделок», за ним следуют другие материалы.

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция «Вестника Театра» по поводу письма Марины Цветаевой обратилась за разъяснениями к В. Э. Мейерхольду и В. М. Бебутову. Ввиду того, что В. Э. Мейерхольд в настоящее время находится на излечении в одной из лечебниц под Москвой, ответы их на запрос редакции печатаются нами в несколько необычной форме переписки между ними. Редакция считает, что эта переписка имеет интерес в связи с острым вопросом о переделках.

С своей стороны, редакция никогда не возлагала больших надежд в этом отношении на М. Цветаеву, очевидно, впитавшую общеизвестные традиции, симпатии и уклоны Всероссийского союза писателей.

В ответ на вопрос редакции по поводу письма М. Цветаевой мною <Мейерхольдом> послано В. Бебутову следующее письмо:

Дорогой товарищ!

Редактор «Вестника Театра» запрашивает меня и вас, не находим ли мы нужным снабдить какими-нибудь комментариями письмо Марины Цветаевой. Какие комментарии? Я счастлив, что сообщение «В. Т.» о том, что Марина Цветаева принимает участие в работе над «Гамлетом» вместе с нами, оказалось ошибкой хроникера. Читая это сообщение, я думал, что вы привлекли эту поэтессу для совместной с вами обработки тех частей, которые вы взяли на себя. Я готовился предостеречь вас, что не следует иметь дело с Мариной Цветаевой не только в работах над «Гамлетом», но и над «Златоглавом». А почему, не трудно догадаться.

Вы знаете, как отшатнулся я от этой поэтессы после того, как имел несчастье сообщить ей замысел нашего «Григория и Дмитрия»[57]. Вы помните, какие вопросы задавала нам Марина Цветаева, выдававшие в ней природу, враждебную всему тому, что освящено идеей Великого Октября.

Вс. Мейерхольд

Мною (В. Бебутовым. — *И. Ф.)* послан В. Мейерхольду следующий ответ на его письмо ко мне по поводу письма М. Цветаевой:

Дорогой товарищ!

Ваше письмо получил. Спешу ответить. Прежде всего выражаю недоумение по поводу той части письма Марины Цветаевой, которая касается «Златоглава».

Как? Прошло уже три месяца с тех пор, как эта поэма была сдана мною М. Цветаевой для перевода, и до сих пор она, «не будучи знакома с пьесой, не могла дать положительного ответа»?!

Далее о «Гамлете». Вы ведь помните наш первоначальный план композиции этой трагедии. Всю прозаическую сторону, как и весь сценарий, мы с вами приняли на себя, диалог клоунов (могильщиков), ведомый в плане обозрения, был поручен Вл. Маяковскому и, наконец, стихотворную часть я, с вашего ведома, предложил Марине Цветаевой, как своего рода спецу.

Теперь, получив от нее отказ с оттенком отгораживания от «переделок» вообще, я пользуюсь случаем, чтобы в печати указать М. Цветаевой на неосновательность ее опасений. Одно из лучших ее лирических стихотворений «Я берег покидал туманный Альбиона» начинается с приводимой здесь строчки Батюшкова и являет в этом смысле лучший образец переделки. <…>

Что же касается до того, что вы уловили в натуре этого поэта, то должен сказать, что это единственно и мешает ей из барда теплиц вырасти в народного поэта.

Вал. Бебутов

Сотрудничество Цветаевой с Мейерхольдом не состоялось. По идейным соображениям.

В начале марта за границу уезжал Илья Эренбург, с которым она дружила, — он был добр к ней, а она прощала ему всё за то, что его никто не любит. Марина попросила Эренбурга узнать что-нибудь о Сереже и передала ему письмо.

Москва, 27-го русск<ого> февраля 1921 г.

Мой Сереженька!

Если Вы живы — я спасена. <…>

Если Вы живы, Вы скоро будете читать мои стихи, из них многое поймете. О, Господи, знать, что Вы прочтете эту книгу, что бы я дала за это! — Жизнь? — Но это такой пустяк. — На колесе бы смеялась!

Эта книга для меня священная, это то, чем я жила, дышала и держалась все эти годы. — Это НЕ КНИГА. —

Не пишу Вам подробно о смерти Ирины. Это была СТРАШНАЯ зима. То, что Аля уцелела — чудо. Я вырывала ее у смерти, а я была совершенно безоружна!

Не горюйте об Ирине, Вы ее совсем не знали, подумайте, что это Вам приснилось, не вините в бессердечии, я просто не хочу Вашей боли, — всю беру на себя!

У нас будет сын, я знаю, что это будет, — чудесный героический сын, ибо мы оба герои. О, как я выросла, Сереженька, и как я сейчас достойна Вас!

Эренбург отыскал след Сергея Эфрона. Вскоре Марине пришло письмо.

<28 июня 1921 г.>

— Мой милый друг — Мариночка,

— Сегодня я получил письмо от Ильи Г<ригорьевича>, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. — До этого я имел об Вас кое-какие вести от К<онстантина> Д<митриевича> (Бальмонта. — *И. Ф.),* но вести эти относились к осени, а минувшая зима была такой трудной.

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать — мне

ничего и не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Остальное — я это твердо знаю — будет. Об этом и говорить не нужно, п<отому> ч<то> я знаю — всё что чувствую я не можете не чувствовать Вы.

Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю — сердце замирает страшно — ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен — не буду говорить об этом. Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый час — Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать.

Радость моя, за все это время ничего более страшного (а мне много страшного пришлось видеть), чем постоянная тревога за Вас, я не испытал. Теперь будет гораздо легче — в марте Вы были живы.

— О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами — прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части — на «до» и «после». «До» — явь, «после» — жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю — явь вернется.

Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть дневника у меня украли с вещами) — Вы будете всё знать, а пока знайте, что я жив, что я все свои силы приложу, чтобы остаться живым и знаю, что буду жив. Только сберегите Вы себя и Алю.

— Перечитайте Пьера Лоти[58]. В последнее время он стал мне особенно понятен. Вы поймете — почему. <…>

— Надеюсь, что И<лья> Г<ригорьевич> вышлет мне Ваши новые стихи. Он пишет, что Вы много работаете, а я ничего из Ваших последних стихов не знаю.

Простите, радость моя, за смятенность письма. Вокруг невероятный галдеж.

Сейчас бегу на почту.

Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля — последнее и самое дорогое, что у меня есть.

Храни Вас Бог.

Ваш С.

Между тем в борисоглебском доме появился еще один жилец — из тех, кого комиссар Бессарабов якобы ненавидел, то есть еврей, с палестинскими глазами. Эмилий Миндлин приехал в Москву из Феодосии, ему было двадцать, он искал славы, удачи и приюта. Стихотворец, разумеется. В Феодосии он общался с

Максом и даже делал альманах «Ковчег», в котором печатал стихи Волошина, Цветаевой, Мандельштама, Эренбурга, Парнок.

В Москве он часами сидел в кафе поэтов «Домино», заводил знакомства с собратьями, и те давали ему кров на ночь, на две. Таким макаром, несколько извилисто, он оказался в комнате с потолочным окном и богатырем-сожителем. Поисковый авантюризм Миндлина сочетался с крайней бытовой недотепистостью. Когда Марина поручила ему сварить кашу на огне, он, помешивая ложкой в кастрюльке, незаметно для себя все спалил, в том числе ложку, не выпуская ее из руки. Сидел и мешал. У него вообще были особые отношения с огнем, в частности — с камином, пред которым он подолгу пребывал в задумчивости глубокой.

Огнепоклонник! Страшен твой Бог!
Пляшет твой Бог, насмерть ударив!
Думаешь — глаз? Красный всполох —
Око твое! — Перебег зарев…

Цикл «Отрок» МЦ посвятила Миндлину, но потом — перепосвятила, как и в случае «Царь-Девицы». Девичья память? Отсутствие обязательств перед источниками вдохновения.

Эксперимент Марины по соединению несоединимого оправдывался молодостью всех участников спектакля. Аля пишет в письме к Пра *(17-го р<усского> авг<уста> 1921 г.):* «Сейчас у нас гостит молодой Фавн (не по веселости, а по чуткости), ничего не понимающий в жизни… <…> Наш гость — странный: ничего не ест, никогда не сердится».

С Миндлиным расстались в середине сентября, завершившего ужасное лето 1921-го: 7 августа ушел из жизни Блок, 25-го — расстрелян Гумилёв. В конце августа, пока что не зная о Гумилёве, Марина пишет Ахматовой о Блоке: «Еще ничего не понимаю и долго не буду понимать. <…> Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. <…> Посылаю Вам шаль».

В памяти Миндлина тот август отложился так:

> Я услыхал о его смерти все в том же кафе «Домино» и бросился с Тверской в Борисоглебский переулок к Цветаевой.
>
> Стеклянная дверь… <…> была на ключе. Я стучал и кричал: «Марина! Блок умер! Блок умер! Марина!» За матовым стеклом двери, как нарисованный на мокрой бумаге, расплылся ее силуэт. Она долго не могла справиться с запертой дверью. Я видел, как ее руки

беспомощно, жалостно шарили по стеклу и не находили замка. Она словно ослепла. Когда она впустила меня, я ее не узнал. У нее не хватило сил даже закурить папиросу. Я никогда не видел ее такой смятенной, несчастной. Она не плакала. Я вообще не могу представить себе Цветаеву плачущей в великом горе. Только несколько дней спустя она стала вспоминать, каким видела Блока в его последний приезд в Москву. Рассказывала: «Он глухо, все глуше и глуше читал стихи и, читая, все дальше отодвигался от слушателей к стене, словно хотел войти в стену».

Потом заперлась у себя и несколько дней кряду писала стихи о Блоке.

Оба ушедших поэта были героями народно-интеллигентской легенды об Ахматовой, и возник слух о ее самоубийстве, облетев определенные круги. Марина поддалась молве, сделав свои заключения.

Соревнования короста
В нас не осилила родства.
И поделили мы так просто:
Твой — Петербург, моя — Москва.

Блаженно так и бескорыстно
Мой гений твоему внимал.
На каждый вздох твой рукописный
Дыхания вздымался вал.

Но вал моей гордыни польской —
Как пал он! — С златозарных гор
Мои стихи — как добровольцы
К тебе стекались под шатер…

12 сентября 1921 («Соревнования короста…»)

«Шатер» — название гумилёвской книги.

Слух о самоубийстве не подтвердился, и Ахматовой она отправила письмо, в котором сообщила, первым делом и помимо всего остального, что единственным ахматовским другом в атмосфере мрачного известия о ней держал себя — Маяковский, бродивший по кафе поэтов *убитый горем.*

Эти дни я — в надежде узнать о Вас — провела в

кафе поэтов — что за уроды! что за убожества! что за ублюдки! Тут всё: и гомункулусы, и автоматы, и ржущие кони, и ялтинские проводники с накрашенными губами.

По следам этих событий МЦ собрала стихи к Блоку и стихи к Ахматовой — те и другие 1916 года — в адресноименные циклы. Общее их звучание создало эффект гимна, молитвы и плача — по одному человеку. Но так оно и было фактически: речь о Поэте. Игра именами — *Блокъ, Анна* — лишь знак единого явления, содержащий возможность возникновения в этом поле имени *Марина*. Общей была и московская сторона этих стихов. МЦ представляла старую столицу, настаивая на целокупности русской поэзии и необходимости своего в ней присутствия.

Разница циклов, может быть, в степени сакральности: Блок — святой. «Плачьте о мертвом ангеле!» И в большей доле женскости в стихах к Ахматовой, с выходом на деторождение.

Рыжий львеныш
С глазами зелеными,
Страшное наследье тебе нести!
Северный Океан и Южный
И нить жемчужных
Черных четок[59] *— в твоей горсти!*

«Рыжий львеныш» — больше цветаевский, нежели ахматовский: это мечта Марины о сыне, чудесном и героическом. Многие ее стихи к Ахматовой написаны в Александрове шестнадцатого года и очень близки к мандельштамовским вещам той поры, овеянным колокольной столицей и владимирскими просторами. «Успенье нежное — Флоренция в Москве» (Мандельштам). «И на морозе Флоренцией пахнет вдруг» (Цветаева). Да и сам «молодой Державин» тех стихов — одна из ипостасей символического Поэта.

А в том сентябре 1921-го она наиболее остро испытала совершенно очевидное влечение — к Маяковскому, введя его по существу в состав своих, немногих, подлинных:

Превыше крестов и труб,
Крещенный в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ —
Здорово в веках, Владимир!

Он возчик, и он же конь,
Он прихоть, и он же право.

Вздохнул, поплевал в ладонь: —
Держись, ломовая слава!

Певец площадных чудес —
Здорово, гордец чумазый,
Что камнем — тяжеловес
Избрал, не прельстясь алмазом.

Здорово, булыжный гром!
Зевнул, козырнул — и снова
Оглоблей гребет — крылом
Архангела ломового.

18 сентября 1921 («Маяковскому»)

Напоминаю: архангел — старший ангел.

При случае она прочла Маяковскому эту вещь, ему понравилось.

В этом месяце — сентябре — Россию покинул князь Волконский Сергей Михайлович. О нем между прочими новостями Аля сообщает в письме к Пра:

Москва, 6 р<усского>сентября 1921 г.

…Это был наш с Мариной самый чудный друг. Он приходил к нам читать свои сочинения, я тоже слушала и в промежутках целовала его. Потом мы с мамой провожали его — когда по закату, когда по дождю, когда под луной. Он очень походит на Дон Кихота, только без смешного. Ему все нравилось: и Маринина сумка через плечо, и Маринин ременный пояс, и мои мальчишеские курточки, и наше хозяйство на полу, и странные смеси, которыми мы его угощали, и подстановка от детской ванны вместо стола, и даже наша паутина. А больше всего он любил, когда мы его хвалили. Теперь он уехал, и никого не хочется любить другого. Ему был 61 год, — как он чудесно прямо держался! Какая походка! Какая посадка головы! — Орел! Марина всегда говорила: «Я только двух таких и знаю: С. М. Волконский и Пра».

Прошлогодняя попытка Марины — письмо Волконскому и его звонок к ней — все-таки, после длительной паузы, увенчалась установлением отношений. Нежданно-негаданно эти разные люди сблизились очень тесно, оказавшись взаимно нужными. Еще

весной она занялась самозабвенной перепиской от руки его прозы: «Лавры», «Странствия», «Родина» — три части его объемистых воспоминаний. Забавная коллизия: Бессарабов трудится над ее «Царь-Девицей», она — над творением князя.

Записи МЦ:

> Суббота, 9-тый — по новому — час. Только что отзвонили колокола. Сижу и внимательно слушаю свою боль. Суббота — и потому что в прошлый раз тоже была суббота, я невинно решила, что Вас жду.
>
> Но слушаю не только боль, еще молодого к<расно-армей>ца (к<оммуни>ста), с которым дружила до Вашей книги, в к<отор>ом видела и Сов<етскую> Р<ос-сию> и Св<ятую> Русь, а теперь вижу, что это просто зазнавшийся дворник, а прогнать не могу. Слушаю дурацкий хамский смех и возгласы, вроде: — «Эх, чорт! Что-то башка не варит!» — и чувствую себя оскорбленной до заледенения, а ничего поделать не могу.

Внук декабриста, бывший директор императорских театров, Сергей Михайлович Волконский, писал об искусстве, по преимуществу о театре. Фиктивная жена, с сыном своим жившая у него, была прикрытием его интимной нетрадиционное™. Марины это не касалось, она взяла хозяйственное шефство над его пустынным бытом, делясь тем, что было у них с Алей.

> Приносим С. М. с Алей самодельные, с пайковыми бобами, пирожки. Швыряет на сковородку, обугливает и, не видя ни ножа ни вилки: — «Можно, я думаю, руками?»
>
> — Нет, ошибаюсь, пирожки были в другой раз, на этот раз был — блин (мой, во всю сковородку). Держал руками и рвал зубами.

При всем опьянении этой личностью, она его — со всеми его сословными и возрастными свойствами — прекрасно видит.

> С. М., Аля, я, в его — шереметевского дома — сухом и окурочном саду. Сидим на скамейке. Солнышко. В сухом бассейне солдаты играют на балалайках. С. М., насвистывая в лад, с любовью:
>
> — Ах, они прэлэстные, прэлэстные!
>
> И внезапно, хищно, точно выклюнув — что-то блестящее из подножного сору! Копейка? Нет,

пуговица. — «Вам… (он меня никак не зовет, и я глубоко понимаю)… это нужно?» Я: — «Н-н-нет…» — «М. б. Але нужно? Играть…» Аля, с моей же неудивляющейся деликатностью (всей деликатностью невозможного неудивления) — «Н-н-нет… спасибо…» — «Тогда я… Такие вещи всегда так, так нужны…» (Бережливо прячет.)

…..

Был у меня два раза, каждый раз, в первую секунду, изумлял ласковостью. (Думая вслед после встречи — так разительно убеждаешься в его нечеловечности, что при следующей, в первую секунду, изумляешься: улыбается, точно вправду рад!)

Ласковость за которой — что? Да ничего. Общая приятность оттого, что ему радуются.

…..

Моя любовь (бесполезный пожар) к Волконскому доходит до того, что знай я подходящего ему — я бы, кажется, ему его подарила (Подходящего или нет, но — подарила. Во всяком случае красивого и внимательного. Некто Эмилий Миндлин, из Крыма, 18 лет.)

Хорошо было бы, чтобы этот даримый утешал меня от В<олкон>ского.

И всего лучше бы — если бы они — после этого — оба перестали у меня бывать.

…..

Вы отравили мне всех моих сверстников и современников.

…..

С Вами ум всегда насыщен, душа всегда впроголодь. Так мне и надо.

…..

Мне часто хотелось Вас поцеловать — просто от радости, но всегда останавливал страх: а вдруг — обидится. Тогда я жалела, что мне не 8 л<ет> как Але, или что я не Ваша любимая собака.

…..

15-го июня 1921 г.

…Еще в дверях рассказываю С. М., что столько-то дней не переписывала — и почему не переписывала. — «С. М., Вы на меня очень сердитесь?»

Он, перебирая бахрому кресла, тихо:

— «Как я могу?.. Эго было такое прекрасное цветение души…»

…..

Моя любовь к нему, сначала предвзятая, перешла в природную: я причисляю его к тем вещам, к<отор>ые я в жизни любила больше людей: солнце, дерево, памятник. И которые мне никогда не мешали — потому что не отвечали.

Чем не история любви? А вот и стихи:

Быть мальчиком твоим светлоголовым,
— О, через все века! —
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом
Плаще ученика.

Улавливать сквозь всю людскую гущу
Твой вздох животворящ
Душой, дыханием твоим живущей,
Как дуновеньем — плащ.

Победоноснее Царя Давида
Чернь раздвигать плечом.
От всех обид, от всей земной обиды
Служить тебе плащом.

Быть между спящими учениками
Тем, кто во сне — не спит.
При первом чернью занесенном камне
Уже не плащ — а щит!

(О, этот стих не самовольно прерван!
Нож чересчур остер!)
И — вдохновенно улыбнувшись — первым
Взойти на твой костер.

15 апреля 1921

(«Быть мальчиком твоим светлоголовым…»)

Нота высока, и на этом уровне набежало семь стихотворений. Цикл «Ученик».

Час ученичества! Но зрим и ведом
Другой нам свет, — еще заря зажглась.
Благословен ему грядущий следом

Ты — одиночества верховный час!

Но та весна была окрашена и еще одной, не совсем одноцветной, радостью — в Москву вернулась из Крыма сестра Ася, поселилась у Марины в Борисоглебском, но ужиться им не удалось из-за разных мерок к быту и князю. Ася явилась со своим уставом в чужой монастырь. Сестры порвали внутренне, разъехались, общаясь на расстоянии из памяти о родстве. Марина пишет Ланну, сглаживая реалии сестринства:

> Ася живет на Плющихе, под окном дерево и Моск-варека. Воют и ревут поезда. Нищенская, веселая, растравительная, героическая комната. Дружно бедствуем: пайка не было с марта. Андрюша (сын Аси. — *И. Ф.)* в компрессах, жесткий бронхит. Ребячливость, вдохновленность, умственная острота и эмоциональная беспомощность, щедрость — все Борисово. Прелестный мальчик, которого мне безумно жаль. Но говорить об этом не стоит: здесь нужны не слова, а молоко, хлеб и т. д.
>
> Вот, милый Ланн, и все, что могу Вам рассказать. — Ах, да! — Сейчас по Москве ходит книга с моими стихами, издалека.

Что за книга издалека? Первый номер журнала «Современные записки», привет от Бальмонта, пристроившего ее стихи в это издание, вышедшее в декабре 1920 года в Париже. В будущем году Бальмонт напишет в седьмом номере журнала:

> Наряду с Анной Ахматовой, Марина Цветаева занимает в данное время первенствующее место среди русских поэтесс. Ее своеобразный стих, полная внутренняя свобода, лирическая сила, неподдельная искренность и настоящая женственность настроений — качества, никогда ей не изменяющие.
>
> Вспоминая свою мучительную жизнь в Москве, я вспомнил также целый ряд ее чарующих стихотворений и изумительных стихотворений ее семилетней девочки Али. Эти строки должны быть напечатаны, и несомненно, найдут отклик во всех, кто чувствует поэзию.
>
> Вспоминая те, уже далекие дни в Москве, и не зная, где сейчас Марина Цветаева, и жива ли она, я не могу не сказать, что эти две поэтические души, мать и дочь,

более похожие на двух сестер, являли из себя самое трогательное видение полной отрешенности от действительности и вольной жизни среди грез, — при таких условиях, при которых другие только стонут, болеют и умирают. Душевная сила любви к любви и любви к красоте как бы освобождала две эти человеческие птицы от боли и тоски. Голод, холод, полная отрешенность — и вечное щебетанье, и всегда бодрая походка и улыбчивое лицо. Это были две подвижницы, и, глядя на них, я не раз вновь ощущал в себе силу, которая вот уже погасла совсем.

В голодные годы Марина, если у нее было шесть картофелин, приносила три мне. Когда я тяжко захворал из-за невозможности достать крепкую обувь, она откуда-то раздобыла несколько щепоток настоящего чаю…

Да пошлет ей судьба те лучезарные сны и те победительные напевы, которые составляют душевную сущность Марины Цветаевой и этого божественного дитяти, Али, в шесть и семь лет узнавшей, что мудрость умеет расцветать золотыми цветами.

Время идет не совсем вперед и не совсем по прямой, а как бы вокруг самого себя или вспять, и события, люди и факты меняются местами, вне последовательности, слипаясь и разлетаясь наподобие осенней листвы на ветру. В самом начале 1921-го Марина зашла в Лавку писателей, робко рассчитывая на доход за свои самодельные книжки, и, не получив оного, на прилавке полистала Пушкина, Гёте и — Михаила Кузмина, его книгу «Нездешние вечера» (1921), где обнаружила — «копьем в сердце Георгий! Белый Георгий! Мой Георгий, которого пишу два месяца: житие. Ревность и радость».

Кузмин (1917):

Мыться ли вышла царева дочь?
Мыть ли белье, портомоя странная?
В небе янтарном вздыбилась ночь.
Загородь с моря плывет туманная.

Как же окованной мыть порты?
Цепи тягчат твое тело нежное…
В гулком безлюдьи морской черноты
Плачет царевна, что чайка снежная.

— Бедная дева верой слаба,
Вечно буду тебе раба!

Светлое трисолнечного света зерцало,
Ты, в котором благодать промерцала,
Белый Георгий!

Чудищ морских вечный победитель,
Пленников бедных освободитель,
Белый Георгий!

Сладчайший Георгий,
Победительнейший Георгий,
Краснейший Георгий,

Слава тебе!
Троице Святой слава,

Богородице Непорочной слава,
Святому Георгию слава
И царевне присновспоминаемой слава!

Кантата Кузмина «Святой Георгий» — вещь довольно длинная. «Георгий» Цветаевой тоже не краток (семь частей!), на той же ноте:

Не тот — высочайший,
С усмешкою гордой:
Кротчайший Георгий,
Тишайший Георгий,

Горчайший — свеча моих бдений — Георгий,
Кротчайший — с глазами оленя — Георгий!

(Трепещущей своре
Простивший олень).
— Которому пробил
Георгиев день.

О лотос мой!
Лебедь мой!
Лебедь! Олень мой!

Ты — все мои бденья
И все сновиденья!

Даже не закончив эту музыку, МЦ в июне 1921-го написала Кузмину письмо, в котором восстанавливает подробности их знакомства в январе 1916-го.

> Большая зала, в моей памяти — galerie aux glaces[60]. И в глубине через эти все паркетные пространства — как в обратную сторону бинокля — два глаза. И что-то кофейное. — Лицо. И что-то пепельное. — Костюм. И я сразу понимаю: Кузмин. Знакомят. Всё от старинного француза и от птицы. Невесомость. Голос, чуть надтреснут, в основе — глухой, посредине — где трещина — звенит. Что говорили — не помню. Читал стихи.
>
> Запомнила в начале что-то о зеркалах (м. б. отсюда — galerie aux glaces?). Потом:
>
> *Вы так близки мне, так родны,*
> *Что будто Вы и нелюбимы.*
> *Должно быть так же холодны*
> *В раю друг к другу серафимы.*
> *И вольно я вздыхаю вновь,*
> *Я детски верю в совершенство*[61].
>
> …..
>
> Было много народу. Никого не помню. Помню только Кузмина: глаза.
>
> Слушатель: — У него, кажется, карие глаза?
>
> По-моему, черные. Великолепные. Два черных солнца. Нет, два жерла: дымящихся. Такие огромные, что я их, несмотря на близорукость, увидела за сто верст, и такие чудесные, что я их и сейчас (переношусь в будущее и рассказываю внукам) — через пятьдесят лет — вижу. И голос слышу, глуховатый, которым он произносит это: «Но *так* — похоже…» И песенку помню, которую он спел, когда я уехала… — Вот.

Мы имеем, как и в случае с «Егорушкой», нечастый пример предстихового конспекта, или параллельной стихам прозы, — все это переведено МЦ в стихи:

Два зарева! — нет, зеркала!
Нет, два недуга!
Два серафических жерла,
Два черных круга

Обугленных — из льда зеркал,
С плит тротуарных,
Через тысячеверстья зал
Дымят — полярных.

Ужасные! Пламень и мрак!
Две черных ямы.
Бессонные мальчишки — так —
В больницах: Мама!

Страх и укор, ах и аминь…
Взмах величавый…
Над каменностию простынь —
Две черных славы.

Так знайте же, что реки — вспять,
Что камни — помнят!
Что уж опять они, опять
В лучах огромных

Встают — два солнца, два жерла,
— Нет, два алмаза! —
Подземной бездны зеркала:
Два смертных глаза.

19 июня 1921

(«Два зарева! — нет, зеркала!..»)

Кузмин ее письмо получил и сделал об этом запись в своем дневнике за 1921 год, но не ответил.

В том июне по приглашению Бориса Зайцева Аля гостила в доме его родителей в Притыкине Каширского уезда Тульской губернии. Марина пишет Ланну:

Москва, 16 русск<ого> июня 1921 г.

…Я уже почти месяц, как без Али, — третье наше такое долгое расставание. В первый раз — ей еще не было года; потом, когда я после Октября уезжала, вернее — увозила — и теперь.

Я не скучаю по Але, — я знаю, что ей хорошо, у меня разумное и справедливое сердце, — такое же, как у других, когда не любят. Пишет редко: предоставленная

себе, становится ребенком, т. е. существом забывчивым и бегущим боли (а я ведь — боль в ее жизни, боль ее жизни). Пишу редко: не хочу омрачать, каждое мое письмо будет стоить ей нескольких фунтов веса, поэтому за почти месяц — только два письма.

И потом: я так привыкла к разлуке! Я точно поселилась в разлуке.

Начинаю думать — совершенно серьезно — что я Але вредна. *Мне, никогда не бывшей ребенком и поэтому навсегда им оставшейся* (курсив мой. — *И. Ф.),* мне всегда ребенок — существо забывчивое и бегущее боли — чужд. Все мое воспитание: вопль о герое. Але с другими лучше: они были детьми, потом все позабыли. Отбыли повинность, и на слово поверили, что у детей «другие законы». Поэтому Аля с другими смеется, а со мной плачет, с другими толстеет, а со мной худеет. Если бы я могла на год оставить ее у Зайцевых, я бы это сделала. — Только знать, что здорова!

Когда МЦ пришла мысль покинуть страну? Когда уезжал Бальмонт? Волконский? Или — когда нашелся Сережа? Попытка ужиться с большевизмом провалилась. «Егорушку» она не закончила. Борисоглебский дом рушился. Аля вырастала без школы и сверстников. Сборничек «Версты. Стихи», составленный из 35 стихотворений (январь 1917 — декабрь 1920) и поначалу анонсированный в печати как «Китеж-град», вышел в частном, жалком издательстве «Костры». Заработков не предвидится. В будущем году ей — тридцать лет. Таков итог уходящей молодости и преданности родной земле?

Эмблему издательства «Костры» сделал Николай Вышеславцев: взлетающая из белого огня белая птица на черном фоне. Все решил фон, феникс жил недолго.

Она исподволь готовится к отъезду. У нее были два неких плана на сей счет — не получилось. Юргис Балтрушайтис, поэт, пишущий по-русски и по-литовски, ей помогает по долгу службы как посол Литвы. В курсе ее дел тот же Илья Эренбург, они в переписке, и одно из его писем передал ей в дверях борисоглебского дома — мгновенный Пастернак.

Москва, 21-го р<усского> Октября <2 ноября> 1921 г. Мой дорогой Илья Григорьевич!

…дела мои, кажется (суеверна!), хороши, но сегодня я от Ю. К. (Юргис Казимирович Балтрушайтис. — *И. Ф.)* узнала, что до Риги — с ожиданием там визы включительно — нужно 10 миллионов. Для меня это все

равно что: везите с собой Храм Христа Спасителя. — Продав С<ережи>ну шубу (моя ничего не стоит), старинную люстру, красное дерево и 2 книги (сборничек «Версты» и «Феникс» (Конец Казановы) — с трудом наскребу 4 миллиона, — да и то навряд ли: в моих руках и золото — жесть, и мука — опилки. Вы должны меня понять правильно: не голода, не холода, не [пропуск в рукописи] я боюсь, а — зависимости. Чует мое сердце, что там на Западе люди *жестче.* Здесь рваная обувь — беда или доблесть, там — позор. (Вспоминаю, кстати, один Алин стих, написанный в 1919 г.:

Не стыдись, страна Россия!
Ангелы всегда босые…
Сапоги сам Черт унес.
Нынче страшен кто не бос!)

Примут за нищую и погонят обратно. — Тогда я удавлюсь.

Поистине по Пушкину — замысленный побег — она пишет:

Ханский полон
Во́ сласть изведав,
Бью крылом
Богу побегов.

МЦ начинает цикл «Ханский полон».

Град мой в крови,
Грудь без креста, —
Усынови,
Матерь-Верста!

В побеге участвуют действующие лица «Слова о полку Игореве»: Бус, Жаль, Див, Обида, Гзак, Кончаю 3 октября 1921-го закончив «Ханский полон» (одну из частей она вставит в марте будущего года), МЦ разворачивается на сто восемьдесят градусов — к Античности. Ее ценности — там:

Уже богов — не те уже щедроты
На берегах — не той уже реки.
В широкие закатные ворота

Венерины, летите, голубки!

Я ж на песках похолодевших лежа,
В день отойду, в котором нет числа…
Как змей на старую взирает кожу —
Я молодость свою переросла.

4 октября 1921

(«Хвала Афродите»)

За кордоном тоже происходит движение в сторону воссоединения семьи. Сергей Эфрон пишет 11 ноября 1921 года уже из Праги, куда приехал 9 ноября, в Константинополь — однополчанину Всеволоду Александровичу Богенгардту и его жене Ольге Николаевне (и у них остались близкие в России). Это поразительно — бит, гнут, ломан, выброшен в мировое пространство — Сережа, все тот же Сережа, дитя идеализма:

> …Отношение чехов к нам удивительно радушное — ничего подобного я не ожидал. Любовь к России и к русским здесь воспитывалась веками. Местное лучшее общество все говорит по-русски — говорить по-русски считается хорошим тоном. То же что было у нас с французским языком в былое время. Всюду — в университете, на улицах, в магазинах, в трамвае каждый русский окружен ласковой предупредительностью… Живем здесь в снятом для нас рабочем доме. У каждого маленькая комнатка в 10 кв. аршин, очень чистая и светлая, напоминающая пароходную каюту. Меблировка состоит из кровати и табуретки. Кажется, еще будет выдано по маленькому столику…
>
> В первый же день по приезде в Прагу получил письмо от Марины. Она пишет, что два ее плана выезда из России провалились. Но надежды она не теряет и уверена, что ей удастся выехать к весне. Живется ей очень трудно.
>
> Отсюда легко переписываться с Россией. Почта работает правильно — письмо в Москву идет две недели. Эренбург написал мне сюда, что посылать письма в столицы совсем безопасно. А Э-ргу я верю и потому вчера уже отправил письмо Марине. Отсюда же можно отправлять посылки. Об этом сейчас навожу справки…

Напоследок Марина сближается с Надеждой Нолле-Коган, закатной подругой Блока, — шла молва о рождении у нее сына от поэта. Нолле-Коган не опровергала, Марина полностью верила молве. Сын у Нолле-Коган действительно был, звали его Саша, по впечатлению Марины, видевшей его: «Похож — больше нельзя». Переводчица с немецкого, Надежда Александровна была женой Петра Семеновича Когана, профессора литературоведения, в 1921-м президента Государственной академии художественных наук. Он работал в театральном отделе Наркомпроса, преподавал в вузах Москвы и Петрограда, но главное — именно они с женой устроили последний приезд Блока в Москву, и жил Блок в те десять майских дней у них в трехкомнатной квартире, дом 51 на Арбате. Так или иначе, МЦ в название цикла «Подруга» вложила смысл, не равный этому понятию в цикле «Ошибка». Имелась в виду Нолле-Коган относительно Блока:

Последняя дружба
В последнем обвале.
Что нужды, что нужды —
Как здесь называли?

Над черной канавой,
Над битвой бурьянной,
Последнею славой
Встаешь, — безымянной.

11 декабря 1921 («Подруга»)

Год кончался, Марину опять зовет образ Ахматовой, она договаривает-допевает сюжет ахматовской легенды:

Где сподручники твои,
Те сподвижнички?
Белорученька моя,
Чернокнижница!

Не загладить тех могил
Слезой, славою.
Один заживо ходил —
Как удавленный.

Другой к стеночке пошел
Искать прибыли.
(И гордец же был-сокол!)

Разом выбыли.

16 декабря («Кем полосынька твоя…»)

Марина напрочь не помнит давнего гумилёвского порицания ее стихов. Прощено, забыто. Как не было.

Глава седьмая

В советской стране уже идет 1922 год — январь, у Марины другой счет — 30 декабря — и свои счеты с действительностью:

Первородство — на сиротство!
Не спокаюсь.
Велико твое дородство:
Отрекаюсь.

Тем как вдаль гляжу на ближних —
Отрекаюсь.
Тем как твой топчу булыжник —
Отрекаюсь.

(«Москве»)

На следующий день выкрикивается нечто противоположное («О искус всего обратного мне!») по поводу захоронения красных под Кремлем:

Не оторвусь! («Отрубите руки!»)
Пуще чем женщине
В час разлуки —
Час Бьет.

Под чужеземным бунтарским лавром
Тайная страсть моя,
Гнев мой явный —
Спи,
Враг!

31 декабря 1921

В борисоглебский дом приходит письмо Волошина из Феодосии, которое одновременно радует и огорчает:

192213/1

Милая Марина и Аля,

С Новым годом! И чтоб он был годом встречи с С<ережей>.

Голодная смерть Крыма началась. На улицах уже

появились трупы татар. Барометр показывает 2 мил<лиона> за пуд хлеба. А на рейдах Севастополя, Ялты, Феодосии стоят иностран<ные> суда с хлебом. Но им приказывают уходить, т<ак> к<ак> они «имеют наглость» запрашивать по 140 тыс<яч> за пуд, когда твердая цена для ввоза 80 тыс<яч>.

«Пролетариат предпочитает поголодать, чем обогащать спекулянтов» [sic] Герцыки тоже «предпочитают голодать». В Судаке цены еще свирепее. У меня смутные вести о том, что Дм<итрий> Евг<еньевич> [62] уехал в Москву. Что на 2 мил<лиона> удалось закупить несколько фунтов муки, которая хранится для детей. Аделаида К<азимировна> собирает у кухонь кожуру от картофеля. «Академический паек» — сплошное издевательство. Обещанием томят до конца месяца, а потом заявляют, что задним числом не выдают. В Симферополе его урезывают, в Феодосии не оказывается продуктов.

Мое с Пра положение неплохое, т<ак> к<ак> меня кормят в Санатории, а ей я посылаю свой паек с Ком-курсов.

У меня попросили на № однодневки «На Борьбу с голодом» стихи «Дикое поле». Известный красный поэт Золотухин счел нужным переделать контр-революционные стихи на «революционные». Так вместо:

Ох, не выпить до дна нашей воли
Не связать нас в единую цепь…
(контрреволюция)

напечатано:

Мы пропьем до конца нашу волю
И скуемся в единую цепь (революция)

Я разумеется в восторге…
Крепко обнимаю Тебя, Алю, Асю, Андрюшу.

MAX

Тридцать первого декабря по новому стилю МЦ завершила 1921 год чтением «Конца Казановы» на праздничном «субботнике» у Евдоксии Никитиной, очень энергичной женщины,

Марининой ровесницы, критикессы и литературоведши, с 1914 года подвижнически пестующей свое детище — литературное объединение «Никитинские субботники». На ее посиделки собирались многие — от Андрея Белого и Алексея Новикова-Прибоя до Веры Инбер и Георгия Шенгели.

В это время Никитина при «Никитинских субботниках» открывает кооперативное издательство под тем же именем. В портфеле издательства — две рукописи МЦ: «Матерь-Верста» и «Царь-Девица». МЦ получила там аванс, но сроки ее поджимают, она нервничает. 22 января пишет Никитиной (ошибочно называя Евдокией вместо Евдоксии):

> Милая Евдокия Федоровна!
>
> Отдаю «Конец Казановы» в «Созвездие» [издательство], сегодня получила 2 м<иллиона> аванса (расценка — 7 т<ысяч> строка).
>
> То же издательство покупает у меня «Матерь-Верста» (стихи за 1916 г.), имеющиеся у Вас в двух рейнгтонных экз<емплярах>. Очень просила бы Вас передать их представительнице издательства Зинаиде Ивановне Шамуриной, если нужно — оплачу рейнгтонную работу.
>
> Остающаяся у Вас «Царь-Девица» полученным мною авансом в 5 милл<ионов> не покрыта, поэтому считаю себя вправе распоряжаться рукописями, данными Вам на просмотр.
>
> С уважением
>
> *М. Цветаева*

О возвращении аванса речи нет.

«Конец Казановы» вышел-таки в феврале. Чуть ли не в тот же день в готическом здании бывшей скоропечатни Левенсона — о, Трехпрудный переулок! — устраивается сбор первого пионерского отряда в Советской России — золотые горны пронзительно звенят вослед Марине, Але, героям Сережиной книжки «Детство» и тем более — тени Ирины.

Что это было за время в русской поэзии? Стоит посмотреть только на перечень книг, изданных в короткий срок между 1920 и 1923 годами. Итак:

Владислав Ходасевич. «Путем зерна» — 1920.

Николай Гумилёв. «Шатер. Стихи 1918 г.» (Севастополь: Издание цеха поэтов) — 1921. «Шатер: стихи». (Ревель: Библиофил) — 1921. Его же «Огненный столп» — 1921.

Анна Ахматова. «Подорожник» — 1921. Ее же «Белая стая» (3-

е издание) — 1922, «Anno Domini MCMXXI» (изд. «Петрополис», П.) — 1922; Берлин, — 1923.

Сергей Есенин. «Исповедь хулигана» — 1921. Его же «Пугачев» — 1922.

Борис Пастернак. «Сестра моя — жизнь» — 1922.

Владимир Маяковский. «150 000 000» — 1921. Его же «Про это» — 1923.

Осип Мандельштам. «Tristia» — 1922. Его же «Вторая книга» — 1923, «Камень» (3-е издание) — 1923.

Ну, и плодовитый «король поэтов» Игорь Северянин: «Вервэна» (1920), «Менестрель» (1921), «Миррэлия» (1922), роман в стихах «Падучая стремнина» (1922), комедия «Плимутрок» (1922), «Фея Eiole» (1922).

На этом фоне выход сборника МЦ «Версты. Стихи» в издательстве «Костры» не оказался событием. Но отзывы — были, через некоторое время, не захватив автора на Родине.

Надежда Павлович под псевдонимом Михаил Павлов (Феникс: Сборник художественно-литературный, научный и философский. Кн. 1. М.: Костры, 1922):

> Марина Цветаева услышала какой-то исконный русский звук, пусть в цыганском напеве. Не потому ли цыганская песня была всегда так мила нам, что отвечает она чему-то древнему, степному, неистребимому в нас.
>
> И «Московская боярыня Марина» сумела отдаться стихии этого звука. Так прекрасна ее песня о цыганской свадьбе:
>
> *Полон стакан,*
> *Пуст стакан,*
> *Гомон гитарный,*
> *луна и грязь.*
> *Вправо и влево качнулся стан,*
> *Князем цыган!*
> *Цыганом — князь!*
> *Эй, господин, берегись. Жжет!*
> *Это цыганская свадьба пьет!*
>
> …Если Ахматова подвела итог целому периоду женского творчества, если она закрепила все мельчайшие детали быта русской женщины, то Марина Цветаева сделала сдвиг — ветром прошумела в тихой комнате, отпраздновала буйную степную волю, — не ту ли, что несла и нам Революция в самой глубине своей, и

усмотрела эту «цыганскую», «райскую» волю, сама приняв на себя добровольно новый огромный долг — уже не индивидуальный — долг мирского служения.

Но была и критика уничтожающая. А. Свентицкий (Утренники. Кн. 2. Пг., 1922): «Очень слабый сборник, и потому посвящение «Анне Ахматовой» звучит оскорбительно. <…> С первой строки до последней, весь сборник — образец редкого поэтического убожества и безвкусицы».

Не удержался и Брюсов (Среди стихов // Печать и революция. 1922. № 6):

> …Поток стихотворных сборников не убывает. Розовые, белые, серые, зеленые, голубые и иные книжки, с размеренными строчками внутри, продолжают рассыпаться по прилавкам книжных лавок. Покупаются ли эти сборнички? — не сумею ответить; но если кто-нибудь систематически их собирал и читал, вряд ли он не пожалел о затраченных деньгах и потерянном времени. По крайней мере, из тех двух десятков новых книжек со стихами, которые разными путями собрались у меня на столе, большая часть определенно принадлежит к одному жанру: скучному. <…>
>
> К жанру «скучных» произведений несправедливо было бы отнести новую книгу стихов Марины Цветаевой. Ее стихи скорее — интересны, но они как бы запоздали родиться на свет лет на 10 (впрочем, большая часть их помечена 1917 и 1918 гг.). Десятилетие назад они естественно входили бы в основное русло, каким текла тогда наша поэзия. С тех пор многое из делаемого теперь М. Цветаевой уже сделано другими, главное же, время выдвинуло новые задачи, новые запросы, ей, по-видимому, совсем чуждые. А той художественной ценности, так сказать «абсолютной», которая стоит выше условий не только данного десятилетия, но и столетия, иногда даже тысячелетия, — стихи М. Цветаевой все же не достигают. Лучшее в ее книжке это — песни, немного в манере народных заклятий или ворожбы. Женственный оттенок, приданный автором таким его стихотворениям, делает их оригинальными и рядом с подобными же стихами других символистов. Таковы, напр., строфы:
>
> *В лоб целовать — заботу стереть.*
> *В лоб целую.*
> *В глаза целовать — бессоннницу снять.*

В глаза целую…

и т. д. <…>

В майском письме — художнице Юлии Оболенской — Волошин скажет: «Какие великолепные стихи стала писать Марина. У меня голова кружится от ее книжки «Версты».

Издательство «Костры» скоро потухнет, став пеплом и золой, но цветаевскую книжку успеет выпустить вторым изданием.

Не проморгали братья-поэты-критики и «Конец Казановы», особливо не поскупился на эпитеты Сергей Бобров под псевдонимом Э. П. Бик (Печать и революция. 1922. № 2):

> Странная и поучительная история поэтессы Марины Цветаевой. Несомненно очень одаренный автор, показавший это еще своей почти детской книгой «Вечерний альбом», далее все время спускался по наклонной плоскости в невероятную ахматовщину и дикий душевный нигилизм. Любовь к мелочам обернулась однажды к Цветаевой своей трагической стороной: автор обнаружил, что он, кроме мелочей, вообще ничего в мире не видит. Детский восторг перегорел, остался пепел. Но теперь потихоньку это сбирается в нечто более упористое и серьезное. И эти обе книжки разодраны в достаточной мере, но в них уже говорится кое-что и по-новому. В «Казанове» невозможна вся проза, ремарки и предисловие. Ужасные претензии, отвратительнейший писарской романтизм из приключений «Герцогини Розы, великосветской убийцы», первый выпуск бесплатно, остальные по пятаку. Вот каков Казанова по Цветаевой: «Окраска мулата, движения тигра, самосознание льва».
>
> Как автор не замечает, что в этом зверинце не хватает только трех китов, на коих покоится вселенная, после чего все и обратится в самое зауряднейшее Замоскворечье.

Как это ни прискорбно, тут немало правды.

В общем, провожала Родина-мать Марину очень даже по-разному. Да проводов и не было.

В марте в детскую комнату борисоглебского пристанища вселился Георгий Шенгели, поэт высококлассный, но чрезвычайно далекий от МЦ, верный брюсовец. Они были отдаленно знакомы

давно — по линии Волошина. Марина имела в этом вселении еще одну цель — защитить от бурь судьбы сестру Асю, которой она оставляла одну из комнат в доме, официально оформив на сей счет документ в домоуправлении. Этого не случится — летом, когда самогонщик Васильев, подселенец, отберет у Аси обманом ключ от комнаты, Шенгели откажет Асе даже в маленькой комнате около уборной, говоря, что уже обещал ее своей сестре, — ситуация темная, лучше бы ее не было.

Николай Леонидович Мещеряков, глава Госиздата, принял к изданию книги Цветаевой «Версты» и «Царь-Девицу». Марина нравилась работникам издательства, приходя в скромном, простом черном костюме, в маленькой шляпке, в черной жакетке и с перекинутой через плечо сумочкой — портфельчиком.

«Матерь-Верста» — это зарубленные Брюсовым стихи 1916 года. Книга эта известна как «Версты I», вышла уже после отъезда МЦ и она ее не увидела. Обложку сделал Николай Вышеславцев, который работал в ГИЗе художником-консультантом. На обложке: имя автора — Марина Цветаева. Ниже, крупно: ВЕРСТЫ. Подзаголовок: Стихи. Еще ниже, в центре — рисунок пухлого амура с крылышками, с повязкой на глазах и отведенными за спину ручонками, от локотков — завитками вниз — ленты, как будто ручонки за спиной связаны.

На те и другие «Версты», объединив их, критика отозвалась опять-таки по-разному. Восторженно высказался — с берегов Невы — Всеволод Рождественский (Записки передвижного театра [Петроград]. 1923. № 54):

> С именем Марины Цветаевой в комнату входит цыганский ветер — бродячая песня. Только под мохнатыми черноморскими звездами, у степного костра в гитарном рокоте, в табачном дыму ресторана может петь человек так самозабвенно, так «очертя голову»…
>
> В новой России, по весне — думается мне — настала пора свежему, русскому слову. Европы нет, Европа руины, великий Рим, — и если нам суждено строить, вести за собой, то как отказаться от соблазна думать, что это путеводительное для всего мира слово — русское слово, взращенное черноземом, слово пушкинского закала, гоголевской окрыленности, лесковской сочности.
>
> Первым должны его почувствовать поэты, и Марина Цветаева уже несет его высоко в своих женских, вещих руках. <…>
>
> Книги Цветаевой неровны. Они показывают и высокое мастерство над строптивым словом, и

творческое легкомыслие. Но в целом они прекрасны. Нужно быть искони русским человеком, нужно хорошо чувствовать вкус, цвет, вес и запах родной речи, песни, былины, частушки, чтобы обогатить свой стих таким исключительным ритмическим разнообразием.

Марина Цветаева — поэт для немногих, удел хотя и горький, но достойный. Это — путь Дельвига, Баратынского, Тютчева, Иннокентия Анненского и Владислава Ходасевича. Наряду с ними Цветаевой выпала радостная и трудная доля — беречь слово и любить мир.

Ноши не будет у этих плеч,
Кроме божественной ноши — мира.
Нежную руку кладу на меч,
На лебединую шею лиры.

Ее признали и поприветствовали именно из Питера, да еще столь возвышенно. Кроме того, она впервые оказалась в одной обойме — с Ходасевичем. Это означало, что следующее за ними литпоколение расставляет свои акценты и видит иную картину, нежели предшественники.

Возможно, какое-то участие в издании книг МЦ принимал Шенгели. Он работал в издательском секторе Всероссийского союза поэтов. Его имя упоминается в письме МЦ сотруднику издательства Петру Никаноровичу Зайцеву.

<Март 1922 г.>

Милый г. Зайцев

Нельзя ли устроить мне заочно удостоверение на академический паек (апрельский).

Ведь в прошлый раз меня ведь тоже лично не было? «Гос<ударственное> Изд<ательство> свидетельствует, что такая-то, проживающая там-то (Борисоглеб<ский> пер<еулок> 6, кв<артира> 3) имеет право на акад<емический> паек (апрель)».

Если это возможно, передайте эту бумажку Шенгели.

Буду Вам очень обязана.

Привет.

МЦ

Дело в том, что я лично не имею времени зайти.

Вопрос о пайке обрастал всяческой бюрократической писаниной и волокитой.

Москва 16 марта 1922 г,

В Ц<ЕЖУБУ[63] Марины Ивановны Цветаевой-Эфрон

Заявление

Состоя в списке первых 17 работников науки и искусства, которым был назначен в Москве 2 года назад академический паек, я полагала, что имею все основания к включению меня в списки научных работников согласно декрета СНК 6-го декабря 1921 г. и обратилась в МосКУБУ с просьбой меня зарегистрировать и выдать удостоверение, представляющее мне жилищные льготы.

МосКУБУ мне предложил представить за подписью П. С. Когана и 2 других профессоров сведения, определяющие мою квалификацию как научной работницы в области литературы. Сведения эти были мною МосКУБУ доставлены. Однако вслед затем МосКУБУ в регистрации мне отказала и жилищное удостоверение не выдала.

В виду того, что состою в списках ЦЕКУБУ прошу Вашего предписания МосКУБУ о немедленной выдаче мне удостоверения не позже 17-го марта.

В случае невыдачи мне вместе с моей 9-летней дочерью грозит выселение из квартиры.

<М. И. Цветаева>

Отношение ЦЕКУБУ в МосКУБУ о выдаче М. И. Цветаевой-Эфрон удостоверения на жилищные льготы:

Препровождая копию заявления Марины Ивановны Цветаевой-Эфрон, Центральная комиссия по улучшению быта ученых предлагает Вам немедленно, не позже 21-го марта, выдать ей удостоверение, представляющее жилищные льготы (согласно постановления Моссовета от 8-го февраля), как научной работнице, состоящей в списках ЦЕКУБУ. О причинах невыдачи Вами такого удостоверения ранее сообщите в 3-х дневный срок.

Основание: постановление СНК РСФСР от 16 января 1922 г.

Председатель ЦЕКУБУ Халатов Управляющий делами Пятов

В те же дни у Марины появилась чета Мандельштам — Осип с молодой женой Надеждой, в позднейшем изложении которой это выглядело так:

Дело происходило в Москве летом 1922 года. Мандельштам повел меня к Цветаевой в один из переулков на Поварской —

недалеко от Трубниковского, куда я бегала смотреть знаменитую коллекцию икон Остроухова. Мы постучались — звонки были отменены революцией. Открыла Марина. Она ахнула, увидав Мандельштама, но мне еле протянула руку, глядя при этом не на меня, а на него. Всем своим поведением она продемонстрировала, что до всяких жен ей никакого дела нет. «Пойдем к Але, — сказала она. — Вы ведь помните Алю…» А потом, не глядя на меня, прибавила: «А вы подождите здесь — Аля терпеть не может чужих…»

Мандельштам позеленел от злости, но к Але все-таки пошел. Парадная дверь захлопнулась, и я осталась в чем-то вроде прихожей, совершенно темной комнате, заваленной барахлом. Как потом мне сказал Мандельштам, там была раньше столовая с верхним светом, но фонарь, не мытый со времен революции, не пропускал ни одного луча, а только сероватую дымку. Пыль, грязь и разорение царили во всех барских квартирах, но здесь прибавилось что-то ведьмовское — на стенах чучела каких-то зверьков, всюду игрушки старого образца, в которые играли, наверное, детьми еще сестры Цветаевы — все три по очереди. Еще — большая кровать с матрацем, ничем не прикрытая, и деревянный конь на качалке. Мне мерещились огромные пауки, которых в такой темноте я разглядеть не могла, танцующие мыши и всякая нечисть. Все это добавило мое злорадное воображение…

Визит к Але длился меньше малого — несколько минут. Мандельштам выскочил от Али, вернее, из жилой комнаты (там, как оказалось, была еще одна жилая комната, куда Марина не соблаговолила меня пригласить), поговорил с хозяйкой в прихожей, где она догадалась зажечь свет… Сесть он отказался, и они оба стояли, а я сидела посреди комнаты на скрипучем и шатком стуле и бесцеремонно разглядывала Марину. Она уже, очевидно, почувствовала, что переборщила, и старалась завязать разговор, но Мандельштам отвечал односложно и холодно — самым что ни на есть петербургским голосом. (Дурень, выругал бы Цветаеву глупо-откровенным голосом, как поступил бы в тридцатые года, когда помолодел и повеселел, и все бы сразу вошло в свою колею…) Марина успела рассказать о смерти второй дочки, которую ей пришлось отдать в детдом, потому что не могла прокормить двоих. В рассказе были ужасные детали, которые не надо вспоминать. Еще она сняла со стены чучело не то кошки, не то обезьянки и спросила Мандельштама: «Помните?» Это была «заветная заметка», но покрытая пылью. Мандельштам с ужасом посмотрел на зверька, заверил Марину, что все помнит, и взглянул на меня, чтобы я встала. Я знака не приняла.

Разговора не вышло, знакомство не состоялось, и,

воспользовавшись первой паузой, Мандельштам увел меня.

Цветаева готовилась к отъезду. В ее комнату — большую, рядом с той, куда она водила Мандельштама к дочери, — въехал Шенгели. Заходя к нему, мы сталкивались с Цветаевой. Теперь она заговаривала и со мной, и с Мандельштамом. Он прикрывался ледяной вежливостью, а я, запомнив первую встречу, насмешничала и сводила разговор на нет… Однажды Марина рассказала, как ходила за деньгами к Никитиной и, ничего не получив, разругалась с незадачливой издательницей.

Аля, обидевшись за мать, стянула со стола книжку Цветаевой и выскочила на улицу. Она не хотела, чтобы в доме, где обижают мать, лежала ее книга. Я целиком на стороне Цветаевой и Али — тем более что устойчивость Никитиной кажется мне странной.

Ненадежная память дала в воспоминаниях Н. Мандельштам пару сбоев. Во-первых, дело было не летом, а весной. Во-вторых, Мандельштамы чуть погодя не заходили к Шенгели, а с середины апреля 1922-го некоторое время жили-квартировали в борисоглебском доме у Цветаевой, пока в конце апреля или начале мая не поселились в общежитии Дома Герцена на Тверском бульваре. По-видимому, мартовский визит Осипа был разведкой на предмет вселения.

Результатом этого трудного сожительства можно счесть мандельштамовский вердикт цветаевскому творчеству той поры в очерке «Литературная Москва» (Россия. 1922. № 2):

Для Москвы самый печальный знак — богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающейся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой. Худшее в литературной Москве — это женская поэзия. Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии, на правах новой музы, это русская наука о поэзии, вызванная к жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского. На долю женщин в поэзии выпала огромная область пародии, в самом серьезном и формальном смысле этого слова. Женская поэзия является бессознательной пародией, как поэтических изобретений, так и воспоминаний. Большинство московских поэтесс ушиблены метафорой. Это бедные Изиды, обреченные на вечные поиски куда-то затерявшейся второй части поэтического сравнения, долженствующей вернуть поэтическому образу, Озирису, свое первоначальное единство.

Адалис и Марина Цветаева пророчицы, сюда же и София Парнок. Пророчество как домашнее рукоделие.

В то время как приподнятость тона мужской поэзии,

нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России — лженародных и лжемосковских — неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды.

Однако поэзия сама по себе занимается своим делом и дает свои показатели и указатели, по которым выходишь на иные сравнения.

Мандельштам:

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных…

1918 («Tristia»)

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава…

1919 («Черепаха»)

Цветаева:

Простоволосая,
Всей грудью — ниц…
Чтоб не вознес его
Зевес —
Молись!

16 июня 1921 («Разлука»)

Простоволосая Агарь — сижу.
В широкоокую печаль — гляжу.

15 августа 1921 («Отрок»)

Где осиянные останки?
Волна соленая — ответь!
Простоволосой лесбиянки
Быть может вытянула сеть? —

1 декабря 1921 («Так плыли: голова и лира…»)

В любом случае МЦ и ОМ накрепко связаны, хотя бы и цепь времен порвалась, и неважно, было ли написанное ими взаимно прочитано.

Было. Эпитет не обманывает.

В последние месяцы перед отъездом из России основным конфидентом МЦ становится Эренбург. В письме ему от 11 (24) февраля 1922 года (конец письма утерян) МЦ цитирует двустишие

Птицы райские поют,
В рай войти нам не дают…

Это двустишие — возможно, Алино, его можно найти в прозаическом конспекте продолжения «Егорушки» — стало эпиграфом к госиздатовскому сборнику «Версты». В этом же письме (с обращением «Мой дорогой!») после второго обращения («Мой родной!») МЦ пишет: «Отъезд таков: срок моего паспорта истекает 7-го Вашего марта, нынче 24-ое (Ваше) февраля. Ю<ргис> К<азимирович> приезжает 2-го В<ашего> марта, если 3-го поставит длительную литовскую визу и до 7-го будет дипл<оматический> вагон — дело выиграно. Но если Ю<ргис> К<азимирович> задержится, если между 3-ьим и 7-ым дипл<оматический> вагон не пойдет — придется возобновлять визу ЧК, а это грозит месячным ожиданием».

Накануне МЦ написала стихотворение «Небо катило сугробы…». Оно открыло цикл, посвященный Эренбургу, — «Сугробы», одиннадцать стихотворений. Плюс предварительная вещь прошлого года — «Вестнику». По циклу «Сугробы» можно проследить, как МЦ от стихотворения на случай эволюционирует к чему-то совсем другому, чаще всего — к тому, что существует скорее в ее воображении, нежели в сухой реальности.

Начинается-то просто по-дружески, из чувства приязни, хотя и не без пафоса:

Над пустотой переулка,
По сталактитам пещер
Как раскатилося гулко
Вашего имени Эр!

Постепенно нарастает градус чувства уже несколько другого:

Широкое ложе для всех моих рек —
Чужой человек.
Прохожий, в которого руки — как в снег
Всей жаркостью век

Виновных, — которому вслед я и вслед,
В гром встречных телег.
Любовник, которого может и нет,
(Вздох прожит — и нет!)

Чужой человек, Дорогой человек,
Ночлег-человек, Навек-человек!

Вновь — прохожий. Но уже с ночлегом.

Финал цикла — апофеоз пиитической фантазии, в народно-песенном ключе, с усложнением формальных задач и самого языка: архаизмы, неологизмы, просторечье, умножение дефисов и тире, замена глаголов этими знаками, соединение двух существительных, обозначающее действие.

От меня — к невемому
Оскользь, молвь негласная.
Издалёка — дремленный,
Издалёка — ласканный…

У фаты завесистой
Лишь концы и затканы!
Отпусти словеснице
Оскользь, слово гладкое!

(Смугловистым ящером
Ишь — в меха еловые!)
Без ладони — лащенный,
За глаза — целованный!
…..
Таковы известьица
К Вам — с Руси соломенной!
Хороша словесница:
Две руки заломлены!

Не клейми невежею
За крыло подрублено!
Через копья — неженный,
Лезвия — голубленный…

Март 1922

Очень уж это по-женски: душевная признательность перерастает в сердечный трепет. Было не было, а герой любовной лирики готов.

Заложенное в тетрадку начало письма Эренбургу:

> *Москва, 7-го нов<ого>марта 1922 г.*
> Мой дорогой!
> Сегодня у меня блаженный день: никуда не ходила, шила тетрадку для Егорушки (безумно-любимую вещь, к которой рвусь уж скоро год) и писала стихи. И теперь, написав С<ереже>, пишу Вам. — Все счастья сразу! — Как когда слушаешь музыку. (Там — все реки сразу.) Писала стихи Масляница, трепаные как она сама.
> Сегодня за моим столом — там, где я сейчас сижу, сидел Чабров. Я смотрела на него сверху: на череп, плечо, пишущую руку — и думала: так я буду стоять над пишущим Э<ренбур>гом и тоже буду думать свое.
> Чабров мой приятель: умный, острый, впивающийся в комический бок вещей (особенно мировых катастроф!) прекрасно понимающий стихи, очень причудливый, любящий всегда самое неожиданное — и всегда до страсти! — лучший друг покойного Скрябина.
> Захожу к нему обычно после 12 ч<асов> ночи, он как раз топит печку, пьем кофе, взаимоиздеваемся над нашими отъездами. <…>
> У него памятное лицо: глаза как дыры (гиэна или шакал), голодные и горячие, но не тем (мужским) — бесовским! жаром, отливающий лоб и оскал островитянина. При изумительном — как говорят — сложении (С<ережа> видел его в Покрывале Пьеретты — Арлекином[64], говорил — гениален (пантомима)) при изумительной выразительности тела одет изо дня в день в ту же коричневую куцую куртку, не от безденежья, а от безнадежности. Мы с ним друг друга отлично понимаем: a quoi bon?[65]

Письмо не окончено.

Десятого марта 1922 года умерла фактическая вдова Скрябина — Татьяна Федоровна Шлёцер. Фамилию мужа она, мать его троих детей, так и не сумела отвоевать у законной

супруги Веры Ивановны, не дававшей развод. Окончательно Татьяну Шлёцер сломила смерть одиннадцатилетнего сына Юлиана, после чего она месяцами не спала, лежала без движения, в страшных болях. Марина бывала у нее в Николопесковском часто, но помочь ей было нечем. Годом раньше были стихи, посвященные Татьяне Федоровне:

А если спросят (научу!),
Что, дескать, щечки не свежи, —
С Бессонницей кучу, скажи,
С Бессонницей кучу…

(«Бессонница! Друг мой!..»)

Бессонница кончилась, на похоронах недолго прошли рядом незнакомые друг другу люди — Марина и Борис. О вечере у Цетлиных не вспомнили. Ей показалось, что он сочувственно прикоснулся к ее рукаву. Пастернак позже недоумевал: «Как могло случиться, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем рядом иду?» В отрочестве Борис учился композиции у Скрябина, Скрябин одобрил его композиторские опыты, приходил в его родительский дом.

Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослабен,
Омут комнат недвижен
И улица газом жива, —
Раздается звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!

(Б. Пастернак. «Девятьсот пятый год»)

Шестнадцатого апреля Марина вместе с Асей и Алей отпраздновали Пасху. Это были последние дни с сестрой перед разлукой, растянувшейся до 1927 года, когда Ася окажется в Европе. Ближайшая весточка от Марины — 11 июля 1922 года она отправит Анастасии из Берлина свою книгу «Разлука» с дарственной надписью.

А сейчас — предотъездная тревога, мелькание людей. Под конец апреля к ней пришел Антокольский, но они ограничились разговором в дверях — прежней близости давно не было. На

прощание она просит его найти Сонечку Голлидэй, он обещает, — ищи ветра в поле.

При случайной встрече ранним утром на пустынном Кузнецком мосту с Маяковским МЦ спросила:

— Что передать Европе?

— Что правда — здесь.

Недавно МЦ записала:

> Москву 1918 г. — 1922 г. я прожила не с большевиками, а с белыми. (Кстати, вся Москва, моя и *их,* говорила: белые, никто — добровольцы. Добровольцы я впервые услыхала от Аси, приехавшей из Крыма в 1921 г.) Большевиков я как-то не заметила, *вперясь в Юг* их заметила только косвенно, тем краем ока, которым помимо воли и даже сознания отмечаем — случайное (есть такой же край слуха) — больше ощутила, чем заметила. Ну, очереди, ну, этого нет, ну, того нет — а ТО ЕСТЬ!
>
> Еще могу сказать, что руки рубили, пилили, таскали — одни, без просвещающего <под строкой: направляющейˆ взгляда, одни — без глаз.
>
> Оттого, м. б., и это отсутствие настоящей *ненависти* к большевикам. Точно вся сумма чувства, мне данная, целиком ушла на любовь к *тем.* На ненависть — не осталось. (Любить одно — значит ненавидеть другое. У меня: любить одно — значит не видеть другого.) Б<ольшеви>ков я ненавидела тем же краем, которым их видела: остатками, не вошедшими в любовь, не могущими вместиться в любовь — как во взгляд: сторонним, боковым.
>
> А когда на них *глядела* — иногда их и *любила.*

Еще в начале года, 21 января по «русскому стилю», она посвящает — «Алексею Александровичу Чаброву» — стихотворение, первый катрен которого:

> *Не ревновать и не клясть,*
> *В грудь призывая — все стрелы!*
> *Дружба! — Последняя страсть*
> *Недосожженного тела.*

Актер и музыкант, окончивший Брюссельскую консерваторию как пианист, друг Скрябина, Чабров гастролировал с композитором, а после его смерти стал опекуном его детей.

Таиров пригласил его на роль Арлекина чуть не случайно — обратил внимание на прекрасное телосложение и выразительное лицо заведующего музыкальной частью своего Свободного театра.

Апрелем 1922 года датирована поэма МЦ «Переулочки» с посвящением: «Алексею Александровичу Подгаецкому-Чаброву на память о нашей последней Москве».

Прямо перед написанием этой вещи МЦ предприняла попытку поэмы иной — той, что стала называться «Мóлодец», а пока что не смогла состояться, поскольку автор почувствовал поле более широкое, нежели то, на котором пришлось остановиться. Герои «Мóлодца» — упырь и Маруся. Метафизическое чудовище берет непомерную плату за любовь к нему, за вход в небесное блаженство. Маруся приносит в жертву самых близких, мать и брата, все свое земное.

Когда Марина была Марусей, у нее появился Чародей, Эллис, и он вовлек ее в литературу. А что пьет кровь больше, чем она, литература? Что требует жертв, при свете совести? Об этом «Мóлодец». Об этом тоже.

МЦ, написав и отделав первую часть будущей поэмы в «Переулочках», обратилась к стиховому объему, похожему на лирический, но так или иначе — по количеству строк, не столь и большому, — росшему в эпос. Хотя ядро — все равно лирика.

Память о «нашей последней» Москве все та же:

Красен тот конь,
Как на иконе.
Я же и конь,
Я ж и погоня.

Вновь погоня, густая экспрессия, сверхнапряженный ритм, сюжет размывается, слова задыхаются, пауз нет, без остановки, без оглядки, сломя голову, вслед за самой собой, от себя самой — или от златорогого тура, созданного саморучно, по колдовству.

В непохожем, но тоже трудном случае было жестко сказано — «сумбур вместо музыки»[66]. Полномасштабного Шостаковича еще нет, но есть Скрябин — «Поэма Экстаза», первоначально названная композитором «оргиастическая». «Переулочки» — воспроизведение оного экстаза. У Скрябина запредельно звучит золотая труба, означая пик оргазма. У МЦ в поэме турий рог несет особый смысл.

Кроме того, поэма пишется — в физическом присутствии Мандельштама, то есть под одним кровом. Это было время первого мандельштамовского импресьона в его поэзии, туманного шифра, тончайшей ассоциативности, странных сближений.

Цветаевская «последняя Москва» была той самой, которую она дарила Осипу шесть лет назад.

Былинная Марина Игнатьевна, разгульная ведьма, которую поминал даже историк С. М. Соловьев в рассказе о Древней Руси, уводила в еще более глубокие времена, нежели полячка Маринка в смутное лихолетье XVI века. Та ведьма, обертывая Добрыню гнедым туром, действовала в Киеве, но это неважно. Немудрено было затеряться в «переулочках Игнатьевских» поэмы «Переулочки».

По-видимому, Чабров разделял эту речевую эстетику, о чем она пошутит позже: «Только до одного дошла, но у него дважды было воспаление мозга». По крайней мере это не *лазурь* символистов, но нечто другое:

Лазорь, лазорь!
Златы стремена!
Лазорь, лазорь,
Куды завела?

Высь-Ястребовна,
Зыбь-Радуговна,
Глыбь-Яхонтовна:
Лазорь!

А в конце концов — песня такова:

Турий след у ворот,
От ворот — поворот.

От ворот поворот постиг и Чаброва — через год он уехал. Думал сделать свой театр, но сделался католическим священником, получив приход на Корсике.

Одиннадцатого мая 1922 года МЦ посылает Алю в дом Скрябина за Чабровым. Они едут на извозчике на Виндавский (Рижский) вокзал. Поезд — до Риги. Отбытие в 17.30. Из Риги идет поезд на Берлин, где Марину с Алей должен встретить Эренбург. Прощаются с Чабровым.

В тот же самый день Мандельштам сдает в Московское отделение Государственного издательства сборник стихов «Аониды» и заключает договор, вскоре получив положительную внутреннюю рецензию Кл. Лавровой и визу Льва Троцкого «Печатать». Поэтический статус Мандельштама никогда не был столь высок, он покорил обе столицы. Невообразимый момент —

Осип Мандельштам на вершине успеха.

Прибыв в Берлин, в том же мае, МЦ по просьбе Эренбурга переводит на французский язык стихотворение Мандельштама «Сумерки свободы» для бельгийского журнала «Lumidre»[67]. Она справилась с этой работой дней за пять.

С собой МЦ увозит из Москвы сундучок с ворохом рукописных бумаг — записные книжки, черновые тетради и проч. Прихвачен и советский букварь Али. МЦ было что с собой везти — готовые сборники стихов: «Юношеские стихи», «Версты I», «Стихи к Блоку», «Психея», «Разлука».

Невесело забавна запись МЦ в черновой тетради:

Список: (драгоценностей за границу)
Кадушка с Тучковым
Чабровская чернильница с барабанщиком
Тарелка с львом
С<ережин> подстаканник
Алин портрет
Краски
Швейная коробка
Янтарное ожерелье

Алиной рукой:

Мои Валенки, Маринины башмаки
Красный кофейник, примус
Синюю кружку, молочник
Иголки для примуса

А зачем тащить в Европу примус?

Часть вторая
ЛЮТНЯ! БЕЗУМИЦА!

Глава первая

Приехав в Ригу, Марина и Аля оставили дорожную поклажу в камере хранения и в ожидании берлинского поезда пошли бродить по городу, построенному наполовину в стиле немецкого модерна — югендштиль. После Шехтеля в Трехпрудном и вообще в Москве это не было в новинку, однако обилие архитектурной новизны было прологом Европы. Впрочем, Шварцвальд детства, Париж юности или Сицилия свадебного путешествия никуда не делись, не изгладились из Марининой памяти.

Вечером они сели на поезд до Берлина. После полудня 15 мая поезд из Риги проехал три берлинских вокзала и остановился на четвертом — Берлин — Шарлоттенбург. Их никто не встретил. Взяв носильщика, добрались до извозчика, которого наняли до Прагерплац (Пражская площадь). Ехали к Эренбургу. Он стоял у крыльца пансиона «Прагер». Всмотрелись, обнялись, расцеловались. В пансионе «Прагер» Эренбург с женой занимали две комнаты, одну из них отдали гостьям — большой, темный, заваленный книгами кабинет Ильи Григорьевича.

Утром следующего дня МЦ отправила телеграмму Сереже в Прагу, куда он перебрался из Константинополя 9 ноября 1921 года, в тот же день получив ее письмо.

Прагерплац — скромное торжество югендштиля: металл и стекло, фантастические растения из железа, фасады домов с массой декоративных элементов, над линией карниза — обелиски, сфинксы, львы, вазы, цветы, полнота и праздник жизни, ужасно важные после поражения Германии в Первой мировой, и это при том, что имперские власти ограничивали новых архитекторов именно в Берлине, пытаясь сохранить его прусское лицо.

На прилегающих к Прагерплац улицах возник «русский Берлин». Три обстоятельства — социал-демократы у власти в Германии, Раппальский договор (признание Германией Советского государства, 1922) и политика нэпа — удобрили почву «русского Берлина». Количество беженцев из России зашкаливало. Они попадали в Германию через Турцию, Болгарию, Хорватию, Словению, в Берлине русских порой скапливалось до полумиллиона и больше.

Русское «Издательство З. И. Гржебина» выпустило русский путеводитель по городу. Жизнь русской колонии сосредоточивалась в западной части города, в районе Гедехнискирхе. Здесь было шесть русских банков, три ежедневные газеты, двадцать книжных лавок и по крайней мере семнадцать

крупных издательств — «Москва», «Геликон», «Слово», «Скифы», «Мысль», «Врач», «Литература», Гржебина, Ладыжникова, Дьяковой, Бергера, Гликмана и других вплоть до С. Эфрона (даже не родственник). Был огромный магазин русской книги «Москва».

Издавалось большое количество учебных пособий для русских общеобразовательных заведений. Еще в 1919 году в Германии были открыты две гимназии для русских учащихся: русской академической группой и пастором Мазингом в Берлине, а также прогимназия Красного Креста в лагере Штейн.

В центре города — множество русских заведений. Пьют скверный «мокко». Много кокаинистов. Много пивных. Много джаза и американских танцев — фокстрот, чарльстон, бостон, шимми. Творческий народ организовался в «Дом искусств» под сводами приличного кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе, 75. Основанный в ноябре 1921 года, «Дом искусств» насчитывал в период наиболее активной работы пятьдесят постоянных и восемьдесят три ассоциированных члена (члена-соревнователя).

Разнообразен литературный ландшафт. Больше всех танцует Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый). Буйствует Есенин, разодет, как манекен с витрины, он — при Айседоре, при нем — Кусиков. Наоборот — как айсберг, выехавший на сушу, у озера Шармютцель в курортном городке Сааров высится и сияет Максим Горький.

Эренбург привел МЦ в кафе «Прагердиле», где у него «штаммтиш» — облюбованный стол, за которым он с утра, по парижскому обыкновению, сидит за пишущей машинкой, а по вечерам — с коллегами и друзьями. Кафе «Прагердиле» находится в нижнем этаже пансиона, населенном (около)литературными соотечественниками всех мастей. К приезду МЦ Эренбург инициировал издание двух ее книг — «Стихи к Блоку» и «Разлука», хорошо принятых русскими берлинцами.

Они заказали пиво. К ним подсел Абрам Григорьевич Вишняк. Его прозывают Геликон — по имени его издательства, основанного еще в Москве (1917). «Геликон» возобновил свою работу в Берлине 15 сентября 1921 года. Уроженец Киева, двадцатисемилетний Вишняк хорош собой, кареглаз, чернокудряв, серьезно образован (филфак Московского университета), влюблен в современную поэзию и сам пишет стихи. У него замечательная авторатура — Андрей Белый, Алексей Ремизов, Борис Пастернак, Федор Сологуб, Виктор Шкловский, Михаил Гершензон. Наиболее печатаемый автор — Илья Эренбург: романы «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (прославивший автора; впервые вышел

в «Геликоне»), «Жизнь и гибель Николая Курбова» (МЦ считала, что фанатичка Белого движения Катя, изображенная в романе, списана с нее, и, вероятно, так оно и было), «Ветер», «Тринадцать трубок». С вишняковским издательством сотрудничают лучшие дизайнеры книг: Василий Масютин и Эль Лисицкий, Натан Альтман и Фернан Леже.

В Берлине скопилось много русских художников. В 1922 году издательство «Русское слово» организовало выставку работ Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Николая Рериха, Савелия Сорина, Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Константина Коровина, Константина Сомова. Кроме того, проходили выставки Ивана Пуни, Георгия Лукомского, Эль Лисицкого, Павла Челищева, Василия Кандинского. Выставлялись в Берлине и полотна Марка Шагала, Мариана Веревкина, Алексея Явленского. Авангардисты объединились в союз «Синий всадник» во главе с Петром Кончаловским.

Через «русский Берлин» Европа знакомится с русским авангардом, а также русским формализмом в литературоведении. Успешно работают три постоянных русских театра с серьезным репертуаром: «Русский романтический балет», «Синяя птица» и «Русский театр Ванька-встанька». Увы, за два с половиной берлинских месяца МЦ не посетила ни одной выставки, ни спектакля, ни концерта, ни одного музея. Лишь присутствие Али подвигло ее на поход в Зоопарк и Луна-парк, где она осталась равнодушной к бесчисленным аттракционам и комнате смеха, разве что заинтересовавшись тиром. Она привезла с собой свой модус вивенди — прямое общение с живыми людьми, а в основном — стихописание. За это время у нее появились тридцать стихотворений.

Архитектуру она недовидит, в сознании теснятся Гёте, Гейне, Гёльдерлин, Клейст, Новалис, Брентано, Беттина фон Арним. За растительным орнаментом югендштиля ей мнится другое:

Дождь убаюкивает боль.
Под ливни опускающихся ставень
Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль
Копыта — как рукоплесканья.

Поздравствовалось — и слилось.
В оставленности златозарной
Над сказочнейшим из сиротств
Вы смилостивились, казармы!

12 июня 1922[68]

Лейтмотивом всего, о чем она думает в стихах, становится сиротство.

Русских издательств хоть отбавляй и в других эмигрантских центрах — Париже, Праге, Софии, Белграде, Риге, Харбине. Книги «Геликона» отпечатаны в небольших берлинских типографиях скромно, но аккуратно и изящно. Иллюстрации, заставки, концовки и буквицы, как правило, черно-белые, штриховые, и лишь обложки иногда бывали двухцветными. Часть тиража — специально для библиофилов: примерно 100 экземпляров каждой книги печатаются на особой бумаге, а затем одеваются в твердые переплеты.

Наряду с книгами Геликон (Вишняк) выпускает и периодические издания: еженедельный «Бюллетень Дома Искусства в Берлине» (1921), в редколлегию которого входят Н. М. Минский, А. М. Ремизов, С. Г. Сумский-Каплун, и литературный ежемесячник «Эпопея» (1922–1923) под редакцией Андрея Белого. В первом номере «Эпопеи» были опубликованы стихи Белого, «Временник» А. Ремизова и «Мятель» Б. Пильняка. Далее в четырех номерах Белый напечатал свои воспоминания о Блоке, доклад Ходасевича «Об Анненском», статью «К теории комического» Шкловского. Но в четвертом номере «Эпопеи» Белый опубликовал письмо Вишняку с просьбой освободить его от редактирования «Эпопеи» в связи с новыми творческими замыслами и переутомлением.

Ко времени приезда МЦ в Берлин ее книга «Разлука» была анонсирована в «Эпопее»:

Книгоиздательство «Геликонъ»
Редакція и главная контора
Berlin W, Bamberger Str., 7

М. Цветаева
Разлука. Книга стихов
(на бумаге ручной формовки)
Обложка работы А. Арнштама
ц. 30 м. в переплете

Девятилетнюю Алю МЦ часто приводит в «Геликон». Глазастая тень матери, Аля записывает в своем дневнике:

Контора его — для него — весь мир. Стол, который стоит у окна с толстым стеклом и на котором разложены все издания «Геликона» — чужих изданий на своем столе он не терпит; три шкафа с книгами; над ними — китайский божок. За стеной, в маленькой комнатке, стучат на машинках сквозная барышня-секретарша и иногда молодой человек разбойного вида — сам

себя печатающий Эренбург.

Посещают Геликона самые разнообразные личности: какой-то старый господин с часами на обрывке собачьей цепи (золотая цепочка продана!), худые унылые вдовы писателей, приходящие в надежде на то, что Геликон будет выдавать им пособие за мужей; судорожно пляшущие на стуле литераторы, надеющиеся облагодетельствовать Геликона переводом своей же книги на испанский язык… Всё, что никому понадобиться не может, приходит (на двух ногах) и притаскивается (в портфелях) к Геликону, он старается никого не обидеть, но все ругаются, что он мало платит…

Геликон всегда разрываем на две части — бытом и душой. Быт — это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться — души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон, уют, а этого как раз душа и не дает.

Когда Марина заходит в его контору, она — как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя, не опускаясь к нему. В Марининой дружбе нет баюканья и вталкиванья в люльку. Она *выталкивает* из люльки даже ребенка, с которым говорит, причем божественно уверена, что баюкает его — а от таких баюканий может и не поздоровиться. Марина с Геликоном говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока — Северный полюс, и так же заманчива. От ее слов он чувствует, что посреди его бытовых и тяжелых дел есть просвет и что-то не повседневное. Я видала, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помятым стебельком. А между тем солнце далеко, потому что все Маринино существо — это сдержанность и сжатые зубы, а сам он гибкий и мягкий, как росток горошка.

За два с половиной года существования издательства в Берлине Геликоном было напечатано около пятидесяти названий книг и журналов. Всего же начиная с 1917 года под маркой «Геликон» вышло порядка шестидесяти изданий.

Вишняк издал «Разлуку» и чуть позже «Ремесло» (1923). «Разлука» — это стихи 1921 года, обращенные к мужу, плюс поэма «На Красном Коне». Книжка появилась весной 1922-го, еще до приезда МЦ. «Ремесло» вышло уже по его инициативе. Он же предложил ей перевести повесть Гейне «Флорентийские ночи» и смастерить книгу прозы из ее дневников 1917–1919 годов: картину московской жизни.

Вишняки и Эренбурги дружат домами. Но именно во время этого недолгого знакомства с МЦ Вишняк переживает семейную

драму — по поводу связи его жены с… Эренбургом. Курортный роман. МЦ о его страданиях быстро осведомлена. Жена — состоятельнее Вишняка, это, безусловно, добавляет ему переживаний в связи с оплатой его издательской деятельности.

Эренбург в ударе одним махом пишет книгу стихов «Звериное тепло» и предлагает ее издать в «Геликоне». Издание состоится. На склоне лет Илья Григорьевич скажет о Вишняке: «…молодой человек поэтического облика… <…> Эмигрантские критики называли его «полубольшевиком». Он внес в берлинский быт нравы московской зеленой богемы. <…> Я подружился с ним и с его женой Верой Лазаревной…» В 1927 году Вишняк с Верой Лазаревной и их сыном Евгением перебрались в Париж, где издательство «Геликон» просуществовало еще десять лет, до 1937 года. Абрам Григорьевич Вишняк погиб в 1943 году в концлагере «Гросс Розен» на границе между Германией и Чехословакией, — три года рабства, соляные копи, силикоз легких. Схожая участь досталась и Вере Лазаревне.

В Берлине МЦ принарядилась. Жена Эренбурга, художница Любовь Михайловна Козинцева, повела ее в знаменитый Kaufhaus des Westens, сокращенно — Ка De We — шикарный универмаг на Тауцинштрассе, построенный в начале XX века, у входа стоит швейцар в ливрее. МЦ купила Але матроску, ожидаемому Сереже — теплое белье, носки, шарф и портсигар («Теперь он, наверное, курит…»), а себе — синее платье, отнюдь не шелковое, но из качественного сатина (пережило владелицу): спереди мелкие пуговички, короткие рукава типа «фонарик», сборчатая юбка. Пейзанское. По-немецки этот стиль называется «бауэрнклайд». Легкое платье — в Берлине в те дни стояла жара. Платье ей очень шло, хотя носила она его уже попозже, в Чехии, с башмаками на грубой подошве, — впрочем, это были фирменные (Salamander) горные ботинки, недешевые: так она обувалась больше по привычке, чем по прихоти, объясняя, что ей так удобно, — в Москве с октября 1917-го по 1922-й она ходила в мужских башмаках. Аля запомнила: «А носили тогда лодочки на острых каблучках, ажурные чулки, кисею, батист, вуаль». При всем при том у Марины имеются девять серебряных колец, десятое обручальное, а также — офицерские часы-браслет, кованая цепь с лорнетом, старинная брошь со львами и два браслета: один курганный, другой китайский.

Вечером того же 16 мая 1922-го в кафе «Прагердиле» появляется Андрей Белый, бурно приветствующий МЦ, — до этого он МЦ толком не знал. Засидевшись в кафе, Белый заночевал у Вишняка, он это делал нередко, живя за пределами Берлина, в городке Цоссен. Вишняк дал ему почитать на ночь «Разлуку»,

вышедшую три месяца назад. Утром Белый исчез, оставив конверт для МЦ — с запиской о «крылатой мелодии ее книги».

Через Берлин проходит масса литературных людей из России. Один из них — Самуил Алянский, основатель издательства «Алконост», изначально посвященного — Блоку. Еще прижизненно. Коллеги сидят с ним в «Прагердиле», МЦ интересуется:

— Как блоковский сын?

— У Блока не было сына.

Завязывается разговор-полемика. Она своими глазами видела этого сына, вылитый Блок. — Да, таинственно похож. — И письма видела. — Их могли подделать. Мать этого ребенка фантазерка и авантюристка, очень милая женщина, ее все знают, но никто, кроме вас, этой легенде не верит. — Это — посмертная низость!! Я видела письма, я видела родовой крест — розу и крест! — я видела, как она этого ребенка любит… — Петр Семенович его тоже очень любит…

— Я никогда у вас не буду издаваться…

— Очень жаль.

Берлинский листок «Летопись» поместил объявление: «19 мая 1922 года. Берлин, Кляйстштрассе 41, Ноллендорфказино. Дом искусств. Пятничное собрание. Вступительный доклад — Илья Эренбург. Есенин и Кусиков читают свои произведения. Марина Цветаева читает свои собственные стихи и стихи Маяковского».

Маяковский? Это более чем вызов. Возможно, она прочла его стихотворение «Сволочи»: именно эту вещь Эренбург в те дни попросил ее перевести для конструктивистского журнала «Вещь», издаваемого в Бельгии, и она охотно это сделала.

«Берлин.
Оживает эмиграция.
Банды радуются:
с голодными драться им.
По Берлину,
закручивая усики,
ходят,
хвастаются:
— Патриот! Русский! —

Будьте прокляты!
Вечное «вон!» им!
Всех отвращая иудьим видом,
французского золота преследуемые звоном,
скитайтесь чужбинами

Вечным жидом!
Леса российские, соберитесь все!
Выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
вечно висел,
под самым небом качался, синий.
……
Вам,
несметной армии частицам малым,
порох мира,
силой чьей,
силой,
брошенной по всем подвалам,
будет взорван
мир несметных богачей!
Вам! Вам! Вам!
Эти слова вот!
Цифрами верстовыми,
вмещающимися едва,
запишите Волгу буржуазии в счет!

Будет день!
Пожар всехсветный,
чистящий и чадный.
Выворачивая богачей палаты,
будьте так же,
так же беспощадны
в этот час расплаты!

[1922]

В еженедельнике «Голос России» (1922. № 971. 21 мая) появилась заметка Андрея Белого «Поэтесса-певица».

Книгоиздательство «Геликон» выпустило небольшую книжечку стихов Марины Цветаевой. Она попалась мне в руки; и не сразу сознал, в чем вся магия. Образы — бледные, строчки — эффектные, а эффекты — дешевые, столкновением ударений легко достижимы они:

Дом
Мой — сон,
Мой — смех

и т. д.

Неправда ли, дешево?

Все читал, все читал: оторваться не мог. В чем же сила?

В порывистом жесте, в порыве. Стихотворения «Разлуки» — порыв от разлуки. Порыв изумителен жестикуляционной пластичностью, переходящей в мелодику целого. <…>…и как в 5-ой симфонии у Бетховена хориямбическими ударами бьется сердце, так здесь подымается хориямбический лейтмотив, ставший явственным мелодическим жестом, просящимся через различные ритмы. И забываешь все прочее: образы, пластику, ритм и лингвистику, чтобы пропеть как бы голосом поэтессы то именно, что почти в нотных знаках дала она нам. (Эти строчки читать невозможно — поются.)

Соединение непосредственной лирики с овладением культурой стиха — налицо; здесь работа сознания подстилает небрежные выражения, строчки и строфы, которые держатся только мелодией целого, подчиняющего ритмическую артикуляцию, пренебрегающего всею пластикой образов за ненужностью их при пластичном ясном напеве; стихотворения Марины Цветаевой не прочитываемы без распева; ведь Пиндар, Софокл, не поэты-лингвисты, не риторы, а певцы-композиторы; слава Богу, поэзия наша от ритма и образа явно восходит к мелодии уже утраченной со времен трубадуров. <…>

Но не в лингвистике и не в пластике сила ее; если Блок есть ритмист, если пластик, по существу, Гумилев, если звучник есть Хлебников, то Марина Цветаева — композиторша и певица. Да, да, — где пластична мелодия, там обычная пластика — только помеха; мелодии же Марины Цветаевой неотвязны, настойчивы, властно сметают метафору, гармоническую инструментовку. Мелодию предпочитаю я живописи и инструменту; и потому-то хотелось бы слушать пение Марины Цветаевой лично (без нот, ей приложенных); и тем более, что мы можем приветствовать ее здесь в Берлине.

Эренбург еще раньше написал свое приветствие — рецензию «вместо письма» (Новая русская книга [Берлин]. 1922. № 2).

Дорогая Марина Ивановна!

Разными путями шли мои письма к Вам: по почте заказными и с добрыми дядями на честное слово, через дипломатов, курьеров и швейцаров. <…>

Наши первые книжки — ровесники. Вы, верно, помните 1910 год, первое напечатанное имя и нас обоих, неуклюжих и топорщащихся, рядышком в ежемесячном улове маститого Валерия Яковлевича?

После этого Ваши напечатанные книги: «Версты», «Лебединый стан»[69]. Ровный, тяжелый путь к перевалу. Мы шли рядом и, может быть, от этой близости, оттого что Ваш шаг стал для меня шумом ливней и боем сердца, я видел Ваше лицо, но не вглядывался в него. Двенадцать лет. Чужой город. Утробная, крепчайшая тоска излишней зрелости. Ваши книги. Я остановился и оглядел Вас. В Вашем высоком лбу, на крутых коротких строках, прочел прежде всего: *час — полдень* (курсив мой. — *И. Ф.)*.

С этим не поздравляю. Это зной, духота, зенит. Дерзость, радость — раньше. Слава, тихость — после. Но не в этом ли часе высшее таинство проступающей в муках завязи. Не поздравляю, тихо скажу: Вы — Марина Цветаева.

Утром Вы любили пышность слова. Вас обольщали разные китежи старин и все золотые созвездия на фиолетовых сутанах Барбье д'Оревильи. Вы жили орнаментом. И я, бедный иудей, не раз жмурил глаза от такого света и лепоты. Ныне обольщенное слово у Вас ушло в его чрево — Вы пристрастились к наготе дикой Вселенной, древней молельне полуденного сердца. <…>

Не об архаизме, не о заимствовании, исключительно о благородной поэтической генеалогии думаю, говоря, что, прочитав «Разлуку», Вячеслав Иванович (Иванов. — *И. Ф.),* наверное, умилится добрым отцовским умилением. <…>

Я помню любовь — печаль, каприз, задор, сон, виньетку. Теперь — подвиг. Вы недаром так любите полубогов и героев. Вы героически ощущаете мир, без позы, в буднях, растапливая печку на чердаке в Борисоглебском.

Как это по-русски и не русски звучит:

В орлином грохоте
О, клюв! О, кровь!
Ягненок крохотный
Повис — любовь.

(Где вы — серое небо, галки — увидали эту кровь?) Ваша же книга ягненок!

Вот-вот выйдет книжка Эренбурга «Портреты современных поэтов» (издательство «Аргонавты»), в которой он повторит эти мысли чуть более развернуто.

Сменовеховская газета «Накануне» начала выходить в Берлине незадолго до приезда МЦ. Накануне ее приезда, 13 мая 1922 года, «Накануне» (№ 39) отозвалась — в лице Павла Антокольского (за подписью Ант.) — на ее «Разлуку»:

Марина Цветаева — поэт суровый и жестокий. Брови ее сдвинуты, взор затуманен. Раскрываешь ее книгу: как тесно, как жестко! Но не оторвешься — прочтешь еще и еще раз, и за недосказанными строками — словами — сквозь стиснутые зубы — начинает чудиться то синий, то багровый свет пожара ее души. <…>

Марина Цветаева кровью и духом связана с нашими днями. Она жила на студеном чердаке с маленькой дочерью, топила печь книгами, воистину, как в песне «сухою корочкой питалась» и с высоты чердака следила страшный и тяжкий путь Революции. Она осталась мужественна и сурова до конца, не обольстилась и не разочаровалась, она лишь прожила за эти годы — сто мудрых лет. <…>

Марина Цветаева поэт нашей эпохи (как принято теперь говорить). Она — честна, беспощадна к себе, сурова к словам. Ее не обольстить ни лютиками, ни хризантемами. Она поняла и слышит, что —

Все небо в грохоте
Орлиных крыл…

Книга «Разлука» издана превосходно, как и все издания «Геликона».

Двадцать первого мая «Накануне» напечатала сообщение: «Марина Цветаева приехала в Берлин». Ее — приняли. Можно было почивать на лаврах. Были, разумеется, и несущественные щелчки и уколы. Некто Л. Л. (Лоллий Львов) — о маленькой (21 стихотворение, 47 страничек), беленькой книжке «Стихи к Блоку», вышедшей в издательстве «Огоньки» (издатель А. Г. Левинсон): «Вся эта маленькая книжка проникнута поклонением перед поэтом, но в стихах не чувствуется глубины переживаний и в стихах о смерти Блока больше холода и искусственности, чем непосредственного чувства глубокой утраты. Много изощрений в технике стиха» (Новая русская жизнь [Гельсингфорс]. 1922. № 86. 13 апреля).

Любимый жанр — эпистолярный — выплеснулся на страницы периодики. 4 июня Алексей Толстой печатает в руководимом им Литературном приложении к «Накануне» адресованное ему частное письмо Корнея Чуковского. Письмо Чуковского явно не было рассчитано на стороннего читателя: Дом искусств в Петрограде назван клоакой, Евгений Замятин — чистоплюем и т. д. Письмо могло повредить остающимся в России литераторам. 7 июня МЦ публикует в газете «Голос России» «Открытое письмо

А. Н. Толстому», в рамках полемики вокруг письма Корнея Чуковского. МЦ напоминает А. Толстому о существовании чекистов.

В этот день — 7 июня 1922 года — из Праги приехал Сергей Эфрон (дата установлена по дарственной надписи мужу на книге «Разлука»: «в день встречи»). Встреча произошла заполошно, МЦ и Аля припоздали к прибытию поезда, уже ушедшего, и, сокрушенно выйдя на привокзальную площадь, услышали: «Марина! Мариночка!» — с другого конца площади он, худой и высокий, бежит к ним. Марина и Сережа намертво обнялись, плакали, вытирая друг другу ладонями щеки, мокрые от слез. Вечером пили шампанское в пансионе среди разномастных сотрапезников.

Эфрон пробыл в Берлине около двух недель. Семья перебралась в другую гостиницу — на Траутенауштрассе, 9, одной из пяти улиц, расходящихся лучами от Прагерплац. Заняли две комнатушки с балконом. На новоселье отец подарил Але розовые бегонии, комнатные цветы в горшочке. Она возилась с ними на балконе, поливала.

Эренбурги к этому времени уехали из Берлина к морю, в местечко Бинг-ам-Рюген, где и произошел курортный роман. Множество новых знакомцев Марины окружили и Сергея. Среди них — естественно, Вишняк. Был в той среде и Роман Гуль, с которым позже у МЦ завяжется переписка. Все это люди одного возраста, Сергею — 29 лет, выглядит мальчиком. Литературная среда ему хорошо знакома, он скучал по ней все эти годы на донских, кубанских и галлиполийских дорогах.

Марина не может остановиться. Ни в чем — ни в стихах, ни в женских шагах.

Во втором номере «Эпопеи» она публикует цикл «Отрок» с посвящением: «Геликону», отменив прежнее — Эмилию Миндлину. У нее начался и новый цикл — чисто геликоновский, «Земные приметы». Первое стихотворение Вишняку, еще как подступ к «Земным приметам», написано 11 июня.

Есть час на те слова.
Из слуховых глушизн
Высокие права
Выстукивает жизнь.

Быть может — от плеча,
Протиснутого лбом.
Быть может — от луча,
Невидимого днем.

В напрасную струну
Прах — взмах на простыню.
Дань страху своему
И праху своему.

Жарких самоуправств
Час — и тишайших просьб.
Час безземельных братств.
Час мировых сиротств.

(«Есть час на те слова…»)

Отчетливо узнается слово «час», не случайно выбранное у МЦ Эренбургом в его письме-рецензии. Позже это стихотворение будет перенесено в уже существующий цикл «Сугробы»: эренбурговский.

Язык усложнен, не все ясно, но последний стих — «Час мировых сиротств» — проясняет и оправдывает смысл этих стихов и этих отношений. На следующий день, 12-го, так же на подходе к циклу, та же нота:

Лютая юдоль,
Дольняя любовь.
Руки: свет и соль.
Губы: смоль и кровь.

Левогрудый гром
Лбом подслушан был.
Так — о камень лбом —
Кто тебя любил?

(«Лютая юдоль…»)

Многие стихи Вишняку густо зашифрованы. Часто говорится слово «верность». Все это пишется в дни пребывания Эфрона в Берлине — или тотчас по его отъезде. Не оттого ли, стоя на балконе, где Аля ухаживает за бегониями, МЦ думает совсем о другом:

Ах, с откровенного отвеса —
Вниз — чтобы в прах и в смоль!
Земной любови недовесок

Слезой солить — доколь?

(«Балкон»)

Тот же туман — в записной книжке МЦ 1922 года, от которой сохранился только листок с карандашной записью и отрезанной частью текста (размером 16 на 10 см). Все началось еще в мае.

19-го мая 1922 г. Берлин:

<Я> не употреблю самого пустого из слов, но что творится — огромно. Всё сразу в ладони: творческий расцвет (взрыв!), громадность ЧАСА, разрыв с Россией, канун <одно слово зачеркнуто> и <жи>знь всего названного, ставшая слитностью, <ед>иным именем.

Чего я хочу? (Действенно) — Ничего.

Что мне надо (<слово не вписано>) — Всё.

<Т.>е.: 1000 и одну ночь бесед, мир заново. <3>ахват отсутствует, — захвачена.

ВНЕ личного, ибо вообще живу *вне.*

<Я>, захваченная — неприкосновенна, опрокинутая — не падаю.

Ибо НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ <мне> дает силу.

Удар в грудь. — Радость? — Нет. <…>

…..

Встреча — для меня — по всем фронта<м:> в человеческом, в творческом, *в недрах.*

Всё, о чем говорю, — *для меня, я* только принимаю удар. Или же: удар, напр<авленный> *в мир* попал мне в грудь[70]. <…>

……

Это не речетатив, а отчет. Хочу то<чности?> т. е.: сказать МЕНЬШЕ того, что есть, ск<азать?>

Хочу остова: ВНЕ тленного: личного. <…>

(Не есть ли эмоция (личное) — риза — одежда — плоть на костяке вселенского? А раньше я думала: сердце! Но сердце СГНИЕТ!)

Адуша выдохнется <зачеркнуто>

Смуту геликоновского цикла время от времени пробивают строки, не нуждающиеся в расшифровке.

Мой неженка! Сединой отцов:
Сей беженки не бери под кров!
Да здравствует левогрудый ков

Немудрствующих концов!

Но может, в щебетах и в счетах
От вечных женственностей устав —
И вспомнишь руку мою без прав
И мужественности рукав.

Уста, не требующие смет,
Права, не следующие вслед,
Глаза, не ведающие век,
Исследующие: свет.

15 июня 1922

(«Так, в скудном труженичестве дней…»)

«Счета», «сметы» — черт те что залетает в лирику. Герой тонет в бухгалтерии. Героиня взывает — к свету. По-видимому, в их разговорах он сетует на тяжесть редакторской ноши.

Стихов ей недостаточно, начинается эпистолярный поток.

Писем было девять. Плюс одно, десятое. Вишняк вернул их ей, кроме одного, десятого. Впоследствии (1932) МЦ составила, соответственно обработав, из этих писем некую новеллу, переведя на французский. Публикация не состоялась. Под заголовком «Флорентийские ночи», предложенном Ариадной Эфрон, новелла была обнародована сперва в Италии и Франции (1981), потом — в обратном переводе — у нас (Новый мир. 1985. № 8). Подлинник писем — сплошной монолог, произносящийся ровно десять дней. Это единый текст, последовательно составленный нами наугад из разных абзацев разных писем:

17 июня 1922

Есть люди страстей — чувств — Вы человек дуновений. Мир Вы воспринимаете накожно: это не меньше чем: душевно. Через кожу (ощупь, пять чувств) Вы воспринимаете и чужие души, и это, может быть, верней. Ибо в своей области Вы — виртуоз (попутная мысль: забалую?) Вам не надо всей руки в руке, достаточно и рукава. Поэтому Вы так дома в некоторых моих стихах (НЕ в Красном Коне!). — Чуткость на умыслы. <…>

Вино высвобождает во мне женскую сущность (самое трудное и скрытое во мне!). Женская сущность — это жест (прежде чем подумать!). Зоркость не убита, но блаженное право на слепость.

— Мой нежный (от которого МНЕ —) всей моей двуединой,

двуострой сущностью хочу к Вам — в Вас: как в ночь. — Стихи и сон! — (Ваши слова, — всё помню!) Как многие увидели во мне — только стихи!

Помню еще слова: нежность и жадность, всё помню и беру Вас с собой в свой еженощный сон — благословенный.

Вы для меня ночь, вся ночь: от шарлатанств ее — до откровений — самый тайный — самый темный дом моей души.

Всё через душу, дружок, — и всё обратно в душу. (Самопитающийся фонтан.) Только шкуры — нет, как и: только души. Вы это знаете, с Вашей звериной ощупью. — Мой сплошной мех! (не только зверь, — и хвоя). <…>

Мой маленький! Сейчас 4-тый час ночи, мне блаженно до растравы, я с Вами, лбом в плечо, я невинна, я бы все свои стихи (бывшие и будущие) отдала Вам: не как стихи, — как вещь которая Вам нравится! <…>

Небо совсем светлое. Над колоколенкой слева — заря. Это невинно и вечно. Я тебя люблю сейчас, как могла бы любить твоего сына. Хочу только: головой в плечо.

Не думай, что я миную в тебе простое земное. Люблю тебя всего — понял? — с глазами, с руками, с повадками, с твоей исконной ленью, с твоими огромными возможностями тоски, со всей твоей темной (вне<?>) бездной: жаления, страдания, отдачи. — Что это не на меня идет — ничего. Я для себя от тебя хочу ТАК многого, что ничего не хочу. (Лучше не начинать!)

Только знай — мой нежданный, недолгий гость — мой баловень! — что никто и никогда тебя так — (не так сильно, а так именно). И что я отступив от тебя, уступив тебя: как всякого — жизни, как всякому — дорогу <пропуск одного слова>, никогда от тебя не отступлюсь.

— У нас с вами неверные встречи. Я сейчас совсем спокойна, как мертвая, и в этой полной ясности утра и души говорю тебе: с тобой мне нужны все тесноты логова и все просторы ночи. Все тесноты и просторы ночи. Чтоб я, вжавшись в твое плечо, могла прослушать всего тебя.

…..

Какое бесправье — земная жизнь! Какое сиротство!

Жму твою руку к губам. Пиши мне. Пиши больше. Буду спать с твоими письмами, как спала бы с тобой. Мне необходимо от тебя что-нибудь живое.

Всё небо в розовых раковинах. Это самый нежный час. И что-то уже отлегло: начало письма. Растворилось в тебе.

У меня странное чувство: вслушайся внимательно: точно что-

то взято у тебя. — Спи спокойно. Первые шаги на улице, наверное, рабочий. — И птицы. — Аля спит. <…>

Я сейчас поняла: с Э<ренбургом> у меня было Р, моя любимая (мужественность!) буква: дружба, герой, гора, просторы, разлука: всё прямое во мне.

А с Вами: шепота, щека, щебеты <пропуск одного слова> и — больше всего — ЖИЗНЬ, до безумия глаз мною сейчас любимое слово: в каждом стихе *Жизнь*.

И в этом: «дружочек!». <…>

…..

Мой родной, знаю, что это безобразие с утра: любовь — вместо рукописей! Но это со мной ТАК редко, ТАК никогда — я всё боюсь, что это мне во сне снится, что проснусь — и опять: герой, гора…

— Радость! — <…>

26-го июня 1922 г., ночь

Родной!

То, что сегодня слетело на пол и чего Вы даже не увидели, было ненаписанное письмо к П<астернаку>. <…>

Будет час: у меня встанет к Вам неутолимая жажда — ах, знаю! — но это еще не скоро, и от Вас не зависит. Это — этап.

Не обманывайтесь внешними признаками: руки и губы нетерпеливы, это — дети, им НУЖНО давать волю (чтобы не мешали!), но главное не в них: душа, вначале опережающая, в середине запаздывает: или недолет или перелет, ибо она не наша <сверху: здешняя> и не соизмеряется.

— Спокойной ночи. Прочтите это письмо на ночь, и тут же — сонно-выпадающим от сна карандашом — несколько слов мне, НЕ ДУМАЯ. — Буду любить и беречь.

Сегодня в кафэ мне на секунду было очень больно, Вы невинны, это я безмерна, Вам этого не нужно знать.

Спите. Не хочу ввинчиваться в Вас как штопор, не хочу розни, ничего не хочу хотеть. Если всё это — замысел, а не случайность, не будет ни Вашей воли, ни моей, вообще — в какие-то минуты — ни Вас ни меня. Иначе — бессмысленно: МИЛЫХ — сколько угодно.

Я хочу — ЧУДА.

Этого не случилось — ЧУДА. Вишняк восстанавливал, склеивал свою семью. 31 июля 1922-го он проводит Марину с Алей в Прагу. На вокзале МЦ отдаст ему письмо, остающееся неизвестным.

Имя Эренбурга, промелькнувшее в ее письмах, проясняет

записанные МЦ 31 мая 1922 года слова Али: «— Марина! Наша комната сейчас похожа на чердак горничных. И горничная удивляется, что господин не говорит ей, что ее любит».

Под тем же числом среди стихотворных набросков МЦ светится отдельная, одинокая, редкостная по красоте строка:

Твоя неласковая ласточка

Не важно, кому или чему это адресовано. Мужчине, миру, небу, поэзии — объект не имеет значения. Возможно, это и вообще не о себе. Смыслов — множество. Душа? Муза? Родина? В таких случаях она ставила помету: Вернуться. Развить строку не удалось. Впрочем, это совершенно самодостаточный моностих. Через много лет, в ноябре 1940 года, думая о своей переводной (из Ивана Франко) строке «Одиноко — как собака…», она говорит:

«око — ака — м. б. наводящее (и никогда не случайное) созвучие, настойчивость созвучия, уже дающее — смысл: одиноко — как собака — ведь эта строка — уже целая поэма, и м. б. правы японцы и тысячелетия, дающие — первые — и оставляющие — вторые — только строку, всё в одной строке — и предоставляющие дальнейшее — тебе:

…Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою… — Сафо — (кстати, дописанное С. Парнок и обращенное — ко мне, и все-таки эта строка — одинокая) и тот стих о листьях, получивший премию микадо:

Сколько листьев на земле! Я никогда не видел стольких — на ветках…»

Звуковой аналог тому «око — ака» — «ласк — ласт», но дело все-таки не только в этом. Мы не слышим собственное звучание Сафо или японцев, важен *смысл,* и в этом все дело.

Соседние с «неласковой ласточкой» рассуждения МЦ — в связи с Эренбургом — о букве Р (гора, герой и проч.) в скором будущем отольются в поэмы, где будут другая гора и другой герой. Впечатление импровизационности ее дара — ложно. Она долго вынашивает и быстро рожает.

С Эренбургом МЦ постоянно переписывалась, по два-три раза в неделю, в основном на повседневно-бытовую тематику. 21 июня из Бинг-ам-Рюгена был отправлен очередной конверт — вскрыв его шпагообразным разрезательным ножом и пробежав эренбурговское предуведомление к вложенному письму, она прочла:

14. VI.22. Москва

Дорогая Марина Ивановна!

Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше — «Знаю, умру на заре! На которой из двух» — и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты и версты и версты и черствый хлеб», — случилось то же самое.

Вы — не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, Вы не ребенок и, надеюсь, понимаете, что это в наши дни и в нашей обстановке означает, при обилии поэтов и поэтесс, не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при обилии даже и неопороченных дарований, подобных Маяковскому, Ахматовой.

Простите, простите, простите!

Как могло случиться, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем рядом иду?

Как могло случиться, что слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой (и если Вы даже его не знаете, моего кумира, — он дошел до Вас через побочные влиянья, и ему вольно в Вас, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как — России вольно в Рильке).

Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства: книги не покупаешь потому, что ее можно купить!!!

Итак — простите, простите!

Это был Пастернак. В тот же день он отправил ей свою книгу «Сестра моя — жизнь», надписанную сдержанно: «Марине Цветаевой. Б. Пастернак. 14/VI 22. Москва».

«Ненаписанное письмо» к нему — среди написанных к Вишняку — означало некий столбняк, результат шока, потрясенность от пастернаковского обращения к ней. На время она потеряла речь, свою сверхскоростную реакцию. Ответ писался

несколько дней[71].

Берлин, 29 нов<ого>июня 1922 г.

Дорогой Борис Леонидович!

Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.

Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней — что уцелеет?

И вот, из-под щебня:

Первое, что я почувствовала — пробегом взгляда: спор. Кто-то спорит, кто-то сердится, кто-то призывает к ответу: кому-то не заплатила. — Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. — (Я тогда не прочла еще ни одного слова). Читаю (все еще не понимая — кто) и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: отброшен. (И — мое: несносное: Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!) — Только к концу второй страницы, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной — как удар: Пастернак!

Цитату можно бы и остановить, но никто — кроме МЦ — нам не даст эти существенные подробности:

Теперь слушайте:

Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цетлинов. Вы сказали: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней — как Бальзак». И я подумала: «Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. — Поэт». Потом я Вас пригласила: «Буду рада, если» — Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется.

Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева — «потому что в доме совсем нет хлеба». — А сколько у Вас выходит хлеба в день?»

— «5 фунтов». — «А у меня 3». — «Пишете?» — «Да (или нет, не важно)».

— «Прощайте». — «Прощайте». (Книги. — Хлеб. — Человек.)

Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе Писателей читаю «Царь-Девицу» со всей робостью: 1. рваных валенок, 2. русской своей речи, 3. Явно — большой рукописи. Недоуменный вопрос на круговую: «Господа, фабула ясна?» и ободряющее хоровое: «Совсем нет. Доходят отдельные строчки».

Потом — уже ухожу — Ваш оклик: «М<арина> И<вановна>!» — «Ах, Вы здесь? Как я рада!» — «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединенно, отдельными взрывами, в прерванности».

И мое молчаливое: Зорок. — Поэт.

Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) — расспросы: «Как живете? Пишете ли? Что — сейчас — Москва?» и Ваше — как глухо! — «Река… Паром… Берега ли ко мне, я ли к берегу… А может быть и берегов нет… А может быть и» — И я, мысленно: Косноязычие большого. — Темноты.

11-го (по-старому) апреля 1922 г. — Похороны Т. Ф. Скрябиной. Я была с ней в дружбе два года подряд, — ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся наделе и беседе, мужская, вне нежности земных примет.

И вот провожаю ее большие глаза в землю.

Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг — рука на рукав — как лапа: Вы. — Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что… Как трудно…» (Мне было больно за И. Г., и этого я ему не писала.) — «Я прочла Ваши стихи про голод…» — «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете — бывает так: над головой сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет…»

Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, вглядываясь: — Чистота внимания. Она напоминает мне сестру. Потом Вы меня хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала, — ах, главное я и забыла! — «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? — Маяковскому». Это была большая радость: дар всей чужести, побежденные пространства (времена?).

Я — правда — просияла внутри. <…>

Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела. То, что мне говорил Эренбург — ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь. Бег по кругу, но круг — мир (вселенная) и Вы — в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны. <…> Поэзия умыслов, — согласны?

Это я говорю по тем пяти-шести стихотворениям, которые знаю.

Скоро выйдет моя книга «Ремесло», — стихи за последние полтора года. Пришлю вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня — просто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука».

На своей «Разлуке» она написала: «Борису Пастернаку — навстречу!».

Но какова ее первая реакция на незнакомый почерк. Издерганность, ожидание нападки, готовность дать сдачи. Он первый начал…

Тридцатого июня — первого июля происходит колоссальное для МЦ событие: она читает-проглатывает пастернаковскую «Сестру мою — жизнь». Отзыв на книгу выливается сразу же, с 3 по 7 июля, и назван метафорически — «Световой ливень. Поэзия вечной мужественности». Концовка такова: «Это не отзыв: попытка выхода, чтобы не захлебнуться». Это вот именно захлеб. Воспроизведение пастернаковской стилистики своими средствами. Так рецензий не пишут, это стихопроза. (Чем-то это похоже на импрессионистическую эссеистику Эренбурга, которому посвящен очерк МЦ.)

…Стих — формула его сущности. Божественное «иначе нельзя». Там, где может быть перевес «формы» над «содержанием», или «содержания» над «формой», — там сущность никогда и не ночевала. — И подражать ему нельзя: подражаемы только одежды. Нужно родиться вторым таким.

О доказуемых сокровищах поэзии Пастернака (ритмах, размерах и пр.) скажут в свое время другие — и наверно не с меньшей затронутостью, чем я — о сокровищах недоказуемых.

Это дело специалистов поэзии. Моя же специальность — Жизнь.

— «Сестра моя Жизнь»! — Первое мое движение, стерпев ее всю: от первого удара до последнего — руки настежь — так, чтоб все суставы хрустнули. Я попала под нее, как под ливень.

— Ливень: все небо на голову, отвесом — ливень впрямь, ливень вкось, — сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых, — ты ни при чем: раз уж попал — расти!

— Световой ливень. <…>

(О, равенство, равенство! Скольких нужно было обокрасть Богу вплоть до седьмого колена, чтобы создать одного такого Пастернака!) <…>

— Он создан до Адама. <…>

Пастернак — это сплошное настежь: глаза, ноздри, уши, губы, руки. До него ничего не было. Все двери с петли: в Жизнь! И вместе с тем, его более чем кого-либо нужно вскрыть. *(Поэзия Умыслов.)* (курсив мой. — *И. Ф.)*

МЦ стремится унять эмоции, перейти к аналитике, разбивает материал на три части — «Пастернак и быт», «Пастернак и день»,

«Пастернак и дождь», и вот каков ее анализ:

Быт. Тяжкое слово. Почти как: бык. Выношу его только, когда за ним следует: кочевников. Быт, это — дуб, и под дубом (в круг) скамья, и на скамье дед, который вчера был внук, и внук, который завтра будет дед — Бытовой дуб и дубовый быт. Добротно, душно, неизбывно. Почти что забываешь, что дуб, как древо, посвященное Зевесу, чаще других удостаивается его милости: молнии. И, когда мы это совсем забываем, в последнюю секунду, на выручку, — молнией в наши дубовые лбы: Байрон, Гейне, Пастернак. <…>

Пастернак и Маяковский. Нет, Пастернак страшней. Одним его «Послесловием» с головой покрыты все 150 миллионов — Маяковского. <…>

Быт для Пастернака — удерж, не более чем земля — примета (прикрепа) удержать (удержаться).

Ибо исконный соблазн таких душ — несомненно — во всей осиянности: *Гибель* (курсив мой. — *И. Ф.)* <…>

Летний день 17-го года жарок: в лоск — под топотом спотыкающегося фронта. Как же встретил Пастернак эту лавину из лавин — Революцию?

Достоверных примет семнадцатого года в книге мало, при зорчайшем вслушивании, при учитывании тишайших умыслов — три, четыре, пять таких примет. <…>

…Пастернак не прятался от Революции в те или иные интеллигентские подвалы. (Не подвал в Революции — только площадь в поле!) Встреча была. — Увидел он ее впервые — Там где-то — в маревах — взметнувшейся копной, услышал — в стонущем бегстве дорог. Далась она ему (дошла), как все в его жизни — через природу. <…>

Слово Пастернака о Революции, как слово самой Революции о себе — впереди. Летом 17-го года он шел с ней в шаг: вслушивался. <…>

Как усыпительна жизнь.
Как откровенья бессонны!

— Пастернак, когда вы спите?

Кончаю. В отчаянии. Ничего не сказала. Ничего — ни о чем — ибо передо мной: Жизнь, и я таких слов не знаю.

МЦ щедро цитирует Пастернака, чаще всего — трижды — стихотворение «Mein Liebchen was willst du noch mehr?»[72]. Вот его часть:

По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?

С этой дачею дощатой
Может и не то случиться.
Счастье, счастью нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?

Может молния ударить, —
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.

Все еще нам лес — передней.
Лунный жар за елью — печью,
Все, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.

И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?

Некоторое сходство пастернаковской и цветаевской поэтик налицо. Да и общий портрет героя очерка смахивает на самохарактеристку. В частности — теория Умыслов. Но если быт и проза схожим образом присущи стихам МЦ, то по обилию света — и она трезво это понимает — Пастернак неповторим и недостижим. Вечерних и ночных красок у МЦ намного больше, близость к Гибели она все-таки приписывает поэту света. По этому краю она ходит без перекличек с кем-либо, разве что с Блоком и Маяковским.

«Световой ливень» напечатал Андрей Белый в «Эпопее» (№ 4). Правда, Эренбург обогнал ее, первым отозвавшись на книгу Пастернака в берлинской газете «Новая русская книга» (№ 6). Позже Пастернак скажет, что вначале Эренбург не принимал его и Белого, что пишет о нем бескостно, с кондачка, что читать и понимать пастернаковские стихи заставил Эренбурга — Валерий Брюсов. Пастернак стал новым приветом от Валерия Яковлевича через Эренбурга, пылко восхваляющего не понимаемого им Пастернака. Пути поэта неисповедимы.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

1923 (Б. Пастернак. «Брюсову»)

Все это время у МЦ происходит дружеское сближение с Андреем Белым. Он переживает тяжелейшую полосу разрыва с женой — Асей Тургеневой. В книжке «Портреты современных поэтов» его так написал Эренбург:

Огромные, широко разверстые глаза, бушующие костры на бледном изможденном лице. Непомерно высокий лоб, с островком стоящих дыбом волос. Читает он, будто Сивилла вещающая, и, читая, руками машет, подчеркивая ритм не стихов, но своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом — тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевают всеми. Ветер в комнате… Андрей Белый — гениален. Только странно, отчего минутами передо мной не храм, а лишь трагический балаган?

Они — МЦ и Белый — встречаются в «Прагердиле», ночью она катается с ним на автомобиле (потеряв свой деревянный мундштук), с посещением вокзала Шарлоттенбург, навестила его в Цоссене, получает от него замечательное письмо:

Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна <…> в

эти последние, особенно тяжелые, страдные дни Вы опять прозвучали мне: ласковой, ласковой, удивительной нотой: доверия… Бывают ведь чудеса! И чудо, что иные люди на других веют благодатно-радостно: и — ни от чего… Знаете, что за день был вчера для меня? Я окончательно поставил крест над Асей… И мне показалось, что вырвал с Асей свое сердце; и с сердцем всего себя; и от головы до груди была пустота… Я заходил в скверы, тупо сидел на лавочке и заходил в кафе и в пивные; и тупо сидел там без представления пространства и времени. Так до вечера. И когда я появился вечером — опять повеяло вдруг, неожиданно, от Вас: щебетом ласточек, и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина — есть, и что ничто не погибло…

Белый уехал в Цоссен 3 июля и появился в Берлине снова 11 сентября. Осенью 1922-го его депрессия усилилась. Книгу «После разлуки. Берлинский песенник» (Пб; Берлин: Эпоха, 1922) он закрывает так:

Неисчислимы
Орбиты серебряного прискорбия.
Где праздномыслия
Повисли —
Тучи…

Среди них —
Тихо пою стих
В неосязаемые угодия
Ваших образов:
Ваши молитвы —
Малиновые мелодии
И —
Непобедимые
Ритмы.

Цоссен 1922 года

(«М. И. Цветаевой»)

Впервые он показал это стихотворение, с минимальными разночтениями, под заголовком «Марине Цветаевой» — во втором номере «Эпопеи».

Колония русских в Берлине пополнилась. 30 июня приезжает Владислав Ходасевич — с юной Ниной Берберовой, привлекательной, черноглазой, живой, одаренной, писавшей

складные стихи. Его сердечные дела всегда были непросты. В России он оставил жену — Анну Ивановну, сестру поэта Георгия Чулкова. В дальнейшем он поддерживал с ней теплые отношения, вел переписку, высылал стихи, она отдавала их в печать. Среди его черновых набросков остались куски недописанных стихов.

Пыланье звезд, и рокот соловьиный,
И повторенный голосом Марины
Твой стих, Бальмонт.

Нет, эта Марина — не Цветаева. Это Марина Эрастовна Рындина, первая жена. Восемнадцати лет он женился на одной из первых московских красавиц, был ею обманут и брошен. Ей посвящена его первая книжка «Молодость», да и вообще его молодость. Между прочим, посаженым отцом на первой свадьбе Ходасевича был Брюсов.

Что же до МЦ, после его давнего отзыва на «неприятно-слащавый» «Волшебный фонарь» они — москвичи — холодновато ходили на близком расстоянии, пока не встретились на его стихотворении «Смоленский рынок» (1916). Он отметил: «Она их везде и непрестанно повторяла». У них началось «что-то вроде дружбы».

Смоленский рынок
Перехожу.
Полет снежинок
Слежу, слежу.

При свете дня
Желтеют свечи;
Все те же встречи
Гнетут меня.

Все к той же чаше
Припал — и пью…
Соседки наши
Несут кутью.

У церкви — синий
Раскрытый гроб,
Ложится иней
На мертвый лоб…

О, лёт снежинок,

Остановись!
Преобразись,
Смоленский рынок!

12–13 декабря 1916

Очень московские стихи.

В Берлине Ходасевича приглашает сотрудничать в своем журнале «Беседа» Максим Горький, высоко ставя этого поэта — на самое высокое место в современной поэзии. Единомыслия между ними не было никогда, но Ходасевич — умный, въедливый, просвещенный критик, приверженец традиции, литератор широкого кругозора. Они соседствуют в Саарове, живя в одном пансионате. К МЦ бывший певец босячества относится более чем прохладно.

К концу 1923-го «русский Берлин» начнет рассасываться. «Беседа» вскоре прекратит свое существование, и Горький переселится в Сорренто. У Ходасевича пойдет полуторагодовалая одиссея — Прага, Мариенбад, Венеция, Рим, Турин, Париж, Лондон, Белфаст, гостевание у Горького на вилле в Сорренто зимой 1924/25 года, а уж затем — окончательно Париж. Там они несколько позже пересекутся с МЦ. Началось вселенское рассеяние. К 1925 году в Берлине осталось около 250 тысяч русских.

На чужбине Ходасевич напишет вершинные свои стихи, включая цикл «Европейская ночь». О Берлине он сообщил в письме М. Гершензону осенью 1922-го: «Городок маленький, провинциальный, вроде Тулы, но очень беспокойный». В стихах говорится по-другому:

Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина —
И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

23 сентября 1923 Берлин

(«Все каменное. В каменный пролет…»)

Кстати: в поздних «Записных книжках» Ахматовой Ходасевич и Цветаева постоянно идут в паре.

Сергей Эфрон пребывает в неведении недолго — и скоро отбудет в Прагу. Ему надо готовиться к учебе в Карловом

университете, философский факультет. МЦ и Аля пробудут в Берлине еще месяц без него.

В Праге ее знают, ценят. Марк Слоним, с которым ее познакомили в кафе «Ландграф» на Курфюрстендамме, еще 1 апреля в тринадцатом номере пражского еженедельника (с сентября — журнал) «Воля России» отозвался на «Разлуку»:

Эта маленькая книжка не только «разлука», но и уход, и отказ. Уход от прежней Марины Цветаевой.

Трудно сказать, окончательно ли избрала она этот новый путь — или после ухода будет возврат, — но сейчас по-новому зазвучали ее стихи.

Далеко ушла она от первых своих воскрешений прошлого теней прабабки, от любовной четкой лирики, от нежности материнства, от задорной жажды жизни.

Все брошено в ночь — точно бой часов: дом и сон, крепость и кротость. Путь жизни лежит через героическое преодоление.

Символическая поэма «На Красном Коне», близкая творениям Вячеслава Иванова, изображает всю жизнь точно стремительный скок огненного коня, точно жертвенный отказ от радости во имя победы духа пламенного. <…> Все горит, все рушится (не о революции ли говорит Марина Цветаева):

Вой пламени, стекольный лязг…
У каждого заместо глаз —
Два зарева! — Полет перин!
Горим! Горим! Горим!

И в огне пожара погибает Кукла — игра мечтаний, легкая забава девичества; в бурном потоке тонет любовь, в высях орлиных круч, куда стремит таинственный всадник — требующий отречения и жертвы ради победной лазури, — исчезает Дитя. Девочка остается без куклы, Девушка — без друга, Женщина — без чрева. <…>

Стихи Цветаевой — трудные и туманные.

Еще и прежде любила она короткие, отрывистые ритмы, стихи, похожие на удары, пренебрегавшие грамматической правильностью. Эти приемы получили необычайное обострение в свободном рифмованном стихе «Разлуки». Фразы — точно отрублены, а нередко и обрублены — без конца, без сказуемого. Часто опушение глагола, нарочитое укорочение фразы, стремление к поэтической телеграфичности. Вся поэма — «На Красном Коне» — чередование восклицаний, отдельных слов, коротких предложений.

В некоторых местах поэмы и в отдельных стихотворениях достигнута выпуклая сжатость и выразительность, но все же чувствуется неровность, порой переходящая в символическую и трудно расшифровываемую алгебраичность. <…> «Разлука» отмечает своеобразный момент в творчестве одной из лучших русских поэтесс и является примечательным литературным явлением.

Упомянутое знакомство летом 1922 года проходило вполне в стиле МЦ. Слоним был в то время литературным редактором «Воли России». Он предлагает ей дать ему стихи для своего издания и, по приезде в Прагу, зайти в редакцию в центре города, на Угольном рынке. Услыхав, что редакция находится в пассаже XVIII века и занимает помещение, где в 1787 году Моцарт, по преданию, писал своего «Дон Жуана», МЦ совершенно серьезно сказала:

— Тогда я обещаю у вас сотрудничать.

Слоним считает все-таки нужным предупредить ее о политическом направлении «Воли России» — эсеровском. Цветаева сразу же отвечает ему скороговоркой:

— Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает.

Словом, курс на Прагу определен и в какой-то мере подготовлен. В последнем номере влиятельного журнала «Русская мысль» за 1922 год (№ VIII–XII) опубликованы пять стихотворений МЦ под заголовком «Дон»: «Белая гвардия, путь твой высок…», «Кто уцелел — умрет, кто мертв — вспрянет…», «Волны и молодость вне закона!..», «Плач Ярославны», «С Новым Годом, Лебединый стан!..». Журнал был с давней историей — основан в Москве в 1880 году, в 1918-м закрыт большевиками, в Праге — Берлине среди прочих изданий его редактирует Петр Бернгар-дович Струве, крупная величина в русской политике и общественности, экономист, публицист, историк, философ. Начинал в давние времена как легальный марксист, в 1906-м возглавил «Русскую мысль», в 1909 году инициировал выход сборника «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», в котором вместе с ним участвовали крупнейшие умы тех лет — Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, М. Гершензон, А. Изгоев, Б. Кистяковский. Название статьи Струве «Интеллигенция и революция» позже (1918) позаимствовал Блок для своей статьи.

К стихам МЦ Струве отнесся благосклонно. Идеолог Белого движения, сподвижник Деникина, начальник Управления иностранных дел в правительстве Врангеля, он тоже оказался в Константинополе. В «Русской мысли» объединились остатки

кадетов с монархистами.

Продвигал цветаевские стихи Глеб Струве — сын Петра Бернгардовича, ведавший журналом отца, сам поэт и в недавнем прошлом участник добровольчества. Для МЦ имя Петра Струве было отдаленно-символическим и, обращаясь к нему в скором будущем с письмами делового содержания, она традиционно для себя путается, пропустив букву «г» в его отчестве.

Ее первая публикация в «Русской мысли» неизбежно содержала политический вызов. МЦ предъявила тему лебединого стана во всеуслышание. Маяковские «Сволочи» шли у нее параллельно, то и другое — поверх политики, но ведь это весьма условно, когда ты являешься автором политического издания.

Тем не менее внутренне она искреннейшим образом ставит себя над злобой дня, что подтверждается фактом ее второй публикации в «Русской мысли» (1923. № I/II) — среди трех стихотворений она помещает «Никто ничего не отнял!..», к Белому делу, как нам известно, не имеющему никакого отношения. Всё едино.

Берлинская страница ее судьбы была перевернута. С бельведера далекого будущего она могла бы оглянуться на свой Берлин и вообще 1922 год — на этот год приходится большинство изданий МЦ. Вот список ее прижизненных книг:

Вечерний альбом. Стихи: Детство. Любовь. Только тени. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1910. 224 с.

Волшебный фонарь. Вторая книга стихов. М.: Оле-Лукойе, 1912.148 с.

Из двух книг. М.: Оле-Лукойе, 1913. 58 с.

Версты. Стихи. М.: Костры, 1921. 56 с.

Конец Казановы. Драматический этюд. М.: Созвездие, 1922. 80 с.

Версты. Стихи. 2-е изд. испр. Костры, 1922. 56 с.

Версты. Стихи. Вып. 1. М.: Гос. изд-во, 1922. 122 с.

Царь-Девица. Поэма-сказка. М.: Гос. изд-во, 1922.158 с.

Стихи к Блоку. Берлин: Огоньки, 1922.47 с.

Разлука. Книга стихов. М.; Берлин: Геликон, 1922. 38 с.

Царь-Девица. Поэма-сказка. Пб.; Берлин: Эпоха. 1922. 159 с.

Психея. Романтика. Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1923. 114 с.

Ремесло. Книга стихов. М.; Берлин: Геликон, 1923.165 с.

Молодец. Сказка. Прага: Пламя, 1924. 105 с.

После России. 1922–1925. Париж: Тип. Union, 1928.153 с.

Глава вторая

Первого августа 1922 года Марина и Аля приезжают в Прагу. Сергей обитает в студенческом общежитии для холостых (незамужних) — по-чешски *svobodama* — на пражской окраине, в фабрично-заводском районе Либень. Там у него комнатушка-«кабинка», два шага в ширину, вся обстановка которой — кровать под потолочной электрической лампочкой. Далеко, тесно, не для семьи из трех человек. Первую ночь переночевали у знакомых студенток.

Единственная радость в день приезда — приобретение «Das Buch der Bilder von Rainer Maria Rilke»[73] и его же «Die friihen Gedichte»[74]. На книгах она делает владельческую надпись: «Марина Цветаева. Прага, 1-го нов. Августа 1922 г.». В сущности, она только открывает для себя Рильке, с подачи Пастернака («Байрону было вольно в Лермонтове, как — России вольно в Рильке»). Как раз в это время Рильке идет к завершению «Дуинезских элегий» (Duineser Elegies, 1912–1923) и «Сонетов к Орфею» (Die Sonette an Orpheus, 1923).

Дольние Мокропсы, Горние Мокропсы, Йиловиште, Вшеноры — такова топонимика мест, приютивших МЦ в течение трех чешских лет, не считая самой Праги. Все это ближайшие к Праге дачные поселки, между ними небольшие расстояния. МЦ ходит по заросшим вереском холмам, по щебню и по грунтовым дорогам, превращавшимся к осени в сплошное месиво, — ей помогает тросточка, купленная Сергеем на аукционе распродажи имущества царского посла.

В первые августовские дни они живут в Мокропсах (Мокрых Псах, по выражению МЦ), в чужой комнате. 4 августа переехали в местечко Нове Дворы, к леснику. Это очень высоко, совсем в горах, в солнечную погоду будет прекрасно. Людей — никого. МЦ намерена играть (сама с собой и сама для себя) — лесную сказку с людоедом-лесником и ручными ланями.

Обретя кров, взялась за перо. Давно — по ее счету — не было стихов. Изредка глядя в оконное стекло, в зеркало или в глаза собеседников, она видит себя — седоватую, потемневшую лицом, подсохшую. Бог Аполлон, он же Феб, то есть бог света, дал пророчице Сивилле вечную жизнь, без сохранения молодости. Только голос оставался неизменно молодым.

Сивилла: выжжена, сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но Бог вошел.

Сивилла: выпита, сивилла: сушь.
Все жилы высохли: ревностен муж!

Сивилла: выбыла, сивилла: зев
Доли и гибели! — Древо меж дев.

Державным деревом в лесу нагом —
Сначала деревом шумел огонь.

Потом, под веками — в разбег, врасплох,
Сухими реками взметнулся Бог.

И вдруг, отчаявшись искать извне:
Сердцем и голосом упав: во мне!

Сивилла: вещая! Сивилла: свод!
Так Благовещенье свершилось в тот

Час не стареющий, так в седость трав
Бренная девственность, пещерой став

Дивному голосу… — так в звездный вихрь
Сивилла: выбывшая из живых.

Это написано 5 августа. Лесника-людоеда и ручных ланей нет, но образ бессмертной пророчицы, по воле МЦ — вопреки стационарному мифу — выбывшей из живых, еще пару дней мерещится, воплощаясь в стихи: образуется цикл из трех вещей. Было с чем сравнивать: «В пустыне безбрежного моря…» Бальмонта, «Амалтея» Брюсова, цикл «Сивилла» и сонет «Золот ключ» Вяч. Иванова, статья «Киммерийская Сивилла» Волошина и его одноименное стихотворение.

Кстати, а где в это время находится Бальмонт и что с ним? Он во Франции, у него только что закончился долгий роман с Дагмар Шаховской, от которой у него двое детей. Сбежал на берег Атлантики, где подолгу живет, меняя поселки, лишь изредка наезжая в Париж. В 1924 году он поселится в местечке Шателейон в Бретани. Но теперь его гонит в Париж страсть к Шошане Авивит, патетической исполнительнице Библии на иврите.

МЦ записывает в черновой тетради, зеленой с черным, которую она называет «Зебра»: «Начинаю эту тетрадь в Чехии, в горах у лесника — без адреса — 6-го нового августа 1922 г.».

Без адреса. Но не без людей. В окрестностях Праги нашли

приют соотечественники.

В Берлине МЦ обзавелась приятельницей и сотрудницей — Людмилой Евгеньевной Чириковой, художницей. Ее отец Евгений Чириков в начале века имел довольно известное писательское имя, выпускал многотомники (его книжки читала в Ялте мать Марины, и Марина в них заглядывала), а в Берлине он выпустил брошюру «Смердяков русской революции. Роль Горького в русской революции» (1921), поскольку давно и навсегда рассорился как с идеей революции, так и с друзьями молодости. Жена писателя, актриса Валентина Георгиевна Иолшева, с другой дочерью, Валентиной, и сыном обретались во Вшенорах, недалеко от Мокропсов. МЦ наладила с ними контакт, хотя и неблизкий. Ей показалось, что Людмила не похожа ни на сестру, ни на брата, внутренно старше и более выявлена.

Людмила Чирикова, в 1918 году живя с родителями на их ялтинской даче, училась графике у Ивана Билибина, соседа по даче и давнего знакомого отца. В феврале 1920-го она вместе с сестрой и Билибиным бежала из Новороссийска в Египет.

Оказавшись в Берлине, она сразу стала оформлять книги для издательств, в том числе цветную обложку и заставки для поэмы МЦ «Царь-Девица». Их сблизило похожее мироощущение — что кругом всё не так, как нужно, нереально, а значит, есть что-то другое, настоящее. Из Мокропсов в Берлин пойдут письма и поручения Людмиле. «Если можно — купите мне в Salamander Bergschuhe <ботинки>, 38 номер. (Желтые, грубоватые, довольно низкий каблук.) Пусть они будут у Вас с С<ережи>ными. И — покорнейшая просьба — обменяйте там же С<ереж>ины башмаки на 45 номер, в 46-м он утонет. Деньги (герм<анские>) перешлю в течение недели».

В горах страшные грозы и грязные дороги. Марина тихо и верно обзаводится сковородками и кастрюльками, Сергей бывает редко, больше находясь в Праге, Марина исподволь ведет поиск иного жилья — двух комнат где-нибудь поближе к городу.

К Сергею она приехала из Берлина с тяжелым настроем, еще не отойдя от берлинского угара.

Но тесна вдвоем
Даже радость утр.
Оттолкнувшись лбом
И подавшись внутрь,

(Ибо странник — Дух,
И идет один),
До начальных глин

Потупляя слух —

Над источником,
Слушай-слушай, Адам,
Чту проточные
Жилы рек — берегам:

— Ты и путь и цель,
Ты и след и дом.
Никаких земель
Не открыть вдвоем.
…..
— Берегись могил:
Голодней блудниц!
Мертвый был и сгнил:
Берегись гробниц!

От вчерашних правд
В доме — смрад и хлам.
Даже самый прах
Подари ветрам!

8 августа 1922 г. («Но тесна вдвоем…»)

Большой мир далеко, здесь горы, лес, глушь. Она не ведает о том, что 17 августа Борис Пастернак — с молодой женой Евгенией — садится на пароход «Штеттин» и попадает в Берлин в последних числах августа. В Берлине он живет у родителей, с 1921 года обитавших по адресу Фаззаненштрассе, 41, в минутах ходьбы до Траутенауштрассе, откуда МЦ уехала в Прагу. Ей сообщают об этом, но их встречи не произошло. Куда ехать? В чем? Она необута-неодета, она не готова. Возможно, попросту трусит.

Пятого сентября МЦ начинает писать цикл «Деревья». В окончательном виде — девять стихотворений, снабжены примечанием МЦ: «Два последних стихотворения перенесены сюда из будущего по внутренней принадлежности». Датированы 7 мая и 9 мая 1923 года. Цикл с посвящением: «Моему чешскому другу Анне Антоновне Тесковой». По числам видно, что посвящение созрело позже, а не к началу работы над циклом.

Анна Тескова родилась 20 ноября 1872 года в Праге, а в следующем году ее отец, инженер Антонин Теска, с женой Анной и дочерью приехал в Москву, где для него нашлась хорошая работа, и семья прочно обосновалась. В 1978-м родилась вторая

дочь, Августа. Но через несколько лет отец погиб в уличной катастрофе. Жили уроками музыки, которые давала мать. В 1886 году вернулись в Прагу. Когда МЦ познакомилась с Анной Антоновной, мать и дочери по-прежнему жили вместе. Анна и Августа окончили в Праге школу и педагогические курсы, преподавали в начальных классах школы для девочек. Обе стали писательницами. Перу Анны Тесковой принадлежат очерки, в том числе и о московской жизни. Она перевела на чешский «Войну и мир» Толстого, «Униженных и оскорбленных Достоевского, «Леонардо да Винчи» Мережковского, «Кара-Бугаз» Паустовского, и это не полный перечень ее переводов.

Она принимала участие в организации общества «Чешско-русская Еднота»[75], которое было основано в Праге в 1919 году с культурно-благотворительной целью. «Еднота», помимо совместных культурных акций, оказывала помощь в возвращении на родину русским военнопленным, оказавшимся в Чехословакии после Первой мировой, облегчала положение беженцев. Анна Тескова сначала возглавила культурный отдел, а потом много лет «Еднота» избирала ее своим председателем. На один из литературных вечеров общества была приглашена МЦ. «Чешско-русская Еднота» собиралась в «Китайском зале» пражского отеля «Беранек».

МЦ написала Тесковой 135 писем. Цикл «Деревья» можно было бы счесть отдельным посланием из этого огромного эпистолярия, кабы не тайная посвященность его — Пастернаку. МЦ перелагает стихами свой «Световой ливень».

Не краской, не кистью!
Свет — царство его, ибо сед.
Ложь — красные листья:
Здесь свет, попирающий цвет.

Цвет, попранный светом.
Свет — цвету пятою на грудь.
Не в этом, не в этом
ли: тайна, и сила и суть

Осеннего леса?
Над тихою заводью дней
Как будто завеса
Рванулась — и грозно за ней…

Как будто бы сына
Провидишь сквозь ризу разлук —

Слова: Палестина
Встают, и Элизиум вдруг…

Струенье… Сквоженье…
Сквозь трепетов мелкую вязь —
Свет, смерти блаженнее
И — обрывается связь.

(Из цикла «Деревья»)

Пастернак Пастернаком, но все дело в том, что вокруг действительно живут в основном деревья, их больше, чем людей, и деревом становится даже Сивилла. Точно так же Марина писала в пору «Вечернего альбома» — с натуры. Но разрослись объемы мира и познаний. В цветаевском лесу больше неба, чем земли. Она вводит в оборот не только Палестину или Элизиум, здесь — в чешском лесу — найдены старые знакомцы Саул, Давид и Авессалом, дышит воздух Библии, обида Времени и прохлада Вечности. Все острее чувствуются возрастные перемены в самой себе.

Осенняя седость.
Ты, Гётевский апофеоз!
Здесь многое спелось,
А больше еще — расплелось.

(Из цикла «Деревья»)

Наверное, Анне Тесковой уместней было бы посвятить «Заводские» — стихи, напрямую социальные. Этими вопросами занималась «Еднота», в этих вопросах увязла мировая беднота, посреди которой суждено пребывать русской эмиграции. Марина и Аля, когда бывали в Праге, ночевали в студенческом пристанище Сергея. Индустриальный пейзаж требовал прямого письма ходасевического характера:

Стоят в чернорабочей хмури
Закопченные корпуса.
Над копотью взметают кудри
Растроганные небеса.

В надышанную сирость чайной
Картуз засаленный бредет.

Последняя труба окрайны
О праведности вопиет.

23 сентября 1922 («Заводские»)

Да, это было то письмо, которым пользовался Ходасевич в «Европейской ночи», к тому времени еще не создавший своей «Баллады»:

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.

Июнь — 17 августа 1925, Meudon

В Медоне (Meudon) и МЦ окажется в свое время, довольно недалекое. А в Мокропсах, наверняка осознанно, она окликает еще одного собрата — Маяковского. Ее «Рассвет на рельсах», чуть не первая отчетливо ностальгическая вещь, восстанавливает недавнюю реальность войны:

И — шире раскручу!
Невидимыми рельсами
По сырости пущу
Вагоны с погорельцами:
С пропавшими навек
Для Бога и людей!
(Знак: сорок человек
И восемь лошадей).

12 октября 1922

У Маяковского в поэме «Война и мир» — так:

Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом изгиб.
В гнющем вагоне на сорок человек —
четыре ноги.

(1915–1916)

Когда бывает в Праге, МЦ заглядывает в редакции. Там их уйма, с 1919 по 1928 год существовало около восьмидесяти русских периодических изданий и не менее сорока пяти газет. В журнале «Воля России», где трудится Марк Слоним, МЦ знакомится со стариком эсером Егором Егоровичем Лазаревым, который полушутя-полусерьезно ей говорит:

— Недаром о белых сочиняете, небось генеральская дочь.

— Да, но генерал до двенадцати лет без сапог ходил…

Кто-то заговорил об одной русской эмигрантке, сорившей в Праге деньгами. Марина, в наступившем молчании взяв новую папиросу, вдруг сказала:

— Люблю богатых, мне их жалко.

Через несколько дней МЦ прислала Слониму «Хвалу богатым»:

И засим, упредив заране,
Что меж мной и тобою — мили!
Что себя причисляю к рвани,
Что честно мое место в мире:

Под колесами всех излишеств:
Стол уродов, калек, горбатых…
И засим, с колокольной крыши
Объявляю: люблю богатых!

30 сентября 1922

Семейный бюджет Марины и Сергея складывается из двух иждивений. МЦ получает стипендию (около тысячи крон) в рамках «русской акции» чехословацкого министерства иностранных дел: Чехословакия взяла под свое крыло русских беженцев, говорят — за счет вывезенного из России чехословацким корпусом золотого запаса. МЦ добивается продления ее выплаты, в чем ей помогает влиятельный Евгений Чириков. Стипендия Сережи — крохи, прожиточный минимум студента (500 крон), Чехия выделила полторы тысячи стипендий Карлова университета русским студентам. В письме от 21 сентября 1922 года Петру Берн-гардовичу Струве МЦ пишет: «Месяца два тому назад мною были переданы в Редакцию «Русской Мысли» стихи. Хотела бы знать о их судьбе и, если они приняты, получить гонорар. В «Воле России» я получала 2 кр<оны за> строчку».

В черновой тетради МЦ 12 октября 1922 года появляются записи о начатом еще в Москве «Молодце», ее третьей поэме-

сказке.

…Маруся, я загубил брата и мать, черед за тобой. Я в себе неволен. Зёмно прошу тебя: скажи правду. Скоро пробьет полночь, я буду спрашивать. А потом — беги к попу, мой дом на самом конце, с краю (чтоб легче вставать!) пусть выроют и вобьют мне в глотку осиновый кол. — Маруся, я люблю тебя пуще…

Мечта о 2-ой части

(Дай Бог кончить к Рождеству!)

Действующие лица: Белый стан:

Маруся Барин, Голубок (потом — сын)

Барин Темный:

Слуга Слуга, Гости:

Голубок

Гости здесь то же что девки в 1-й части. Слуга — тайный слуга (орудие) Мóлодца, враг Голубка (братца). Голубок *над* Марусей (четою), Слуга — гонитель Голубка. Единственная (кроме Голубка) явная невинность — Барин.

Барин: веселый, трезвый (непременно соединить!) исполняющий все желания Маруси, задаривающий и т. д.

Три условия Маруси: 1) никогда гостей, ничего красного в доме и пять лет (годов) без обедни. К концу пятого года у нее рождается сын. (Братец простил!) Вместо голубка — люлька. К концу (катастрофы) сгущение всего: Маруся, стосковавшись, нарушает обет и становится цветком (м.б. соблазн — слуги?) слуга доносит, барин, раздосадованный, зовет гостей — все гости в красном! — (бесы!) — похвальба — издевка гостей, барин заставляет Марусю идти в церковь — крестить сына — и: Херувимская. Херувимская: апофеоз Мóлод-ца. Явный отлет в ад.

Здесь же она записывает жилищные перемещения:

2-го ноября <1922> по-новому — переезд в чудную — почти аю-райскую — хату, предпоследнюю в деревне, почти в лесу. (Наша лесная дорога: въезд.) Низкая, три окошка, кафельная печка (белый с голубым изразец) — старик и старушка, причем старушка глуха и глупа.

Здесь я *непременно* должна кончить Молодца. — К Рождеству.

— Дай Бог! —

Осень неумолима, льет дождь, дождь, дождь, разверзлись хляби небесные и земные. Марина с Сергеем направляются к Николаю Еленеву, молодому прозаику, историку, искусствоведу. У него с Эфроном схожие судьбы — учился в Московском университете, воевал на стороне белых. Они вместе ехали из Константинополя в Прагу целый месяц в товарном неотапливаемом вагоне.

Марину Еленев впервые видел в Москве, в таировском театре, в ореоле пушистых, подстриженных «в скобку» волос — образ пажа на ватиканской фреске «La Messa di Bolsena»[76], — в задорном поединке со знаменитым Петипа, когда ее можно было принять за вольнослушательницу университета Шанявского, очага передовой молодежи, — она не актерствовала, а просто читала стихи, но поединок с семидесятилетним артистом ему показался равным. Эстета Еленева тогда поразило лицо одного из спутников Марины: высокого брюнета в черном безукоризненном смокинге со скорбно сдвинутыми бровями, серыми глазами, досиня выбритыми щеками и тяжелой обезьяньей челюстью. Это был Эфрон. В беседе он часто заслонял кистью руки глаза, как бы защищаясь от чего-то, — эта мужественно выглядевшая волосатая рука выдавала прирожденную робость.

Теперь, в 1922-м, Еленев — сам уже не тот — видит МЦ другую. В тяжелых тирольских ботинках с болтающимися поверх шнурков языками из кожи, с выцветшими глазами странствующего ястреба, в неопрятном платье, с короткопалыми руками в следах никотина, с выдыхаемым из ноздрей папиросным дымом, она походит на сельскую учительницу.

Войдя, она протянула ему кое-как обернутую в газету большую кастрюлю:

— Я принесла вам каши. Мы сварили ее слишком много. Я подумала, не выбрасывать же ее…

В таком подарке он не нуждался. Это было странно и неуклюже, неуместно. Со стороны Марины это был жест человека, пережившего голодные борисоглебские годы. Еленев не имел подобного опыта. Это он, Еленев, при случае в прогулке по Праге показал Марине пражский Карлов мост с его статуями, где на одном из мостовых устоев высится изваяние так называемого пражского Роланда, иначе — Брунсвика. Пражский рыцарь, сооруженный в конце XV столетия, уничтоженный шведским обстрелом города в 1648 году и возобновленный, не соответствуя, однако, фрагментам, в 1884 году. Стройная фигура юноши в доспехах, с поднятым мечом и щитом у ног. У него лицо МЦ, на ее взгляд.

Бледно — лицый
Страж над плеском века —
Рыцарь, рыцарь,
Стерегущий реку.

(О найду ль в ней
Мир от губ и рук?!)
Ка — ра — ульный
На посту разлук.

Клятвы, кольца…
Да, но камнем в реку
Нас-то — сколько
За четыре века!

В воду пропуск
Вольный. Розам — цвесть!
Бросил — брошусь!
Вот тебе и месть!
…..
— «С рокового мосту
Вниз — отважься!»
Я тебе по росту,
Рыцарь пражский.

Сласть ли, грусть ли
В ней — тебе видней,
Рыцарь, стерегущий
Реку — дней.

27 сентября 1923 («Пражский рыцарь»)

У лесника они давно уже не живут. Пролистываются пристанища. МЦ сообщает Людмиле Чириковой:

7-го нового Октября 1922 г. Мокропсы.

…А мы уж опять в новой комнате, — 3-ьей за 2 месяца! Живем у лавочника по фамилии Соска, в чердачном узилище, за к<отор>ое платим 300 крон. Сережа сдал экзамены и переехал к нам, но деревенские радости сейчас сомнительны: дожди, дожди, дожди, не дороги — потоки! Не потоки, — потопы! Калош нет. В 5 ч<асов> темно. Топим печку. Готовим. Нищенствуем. Иждивение мое урезали на сто крон и совсем хотели

выбросить. <…>

О всей этой длинной, грязной, невылазной зиме думаю с кротким ужасом. О Праге и думать нечего: комнат совсем нет. Утешаюсь только стихами.

Малолюдье гнетет, МЦ томится. Вишняк еще не прошел. Она теребит Чирикову: направляет к Вишняку со своим письмом ему, чтобы та вручила Вишняку лично в руки. После получения этого письма Вишняк ответил: письмо от него («меня постигла жестокая прострация, гнусное состояние окостенения, оглушения, онемения»), возвращение ее девяти писем (десятое оставил себе) и других вещей — от двух ее записных книжек до книг Ахматовой. Кроме того, он прислал ей корректуру (верстку) ее новой книги — «Ремесло». Марину такой оборот отношений все равно оскорбил.

В ноябре переехали в дом пана Грубнера и жили там до августа будущего года.

Мокропсы, 3-го нов<ого> ноября, 1922 г.

Дорогая моя Людмила Евгеньевна!

Бесконечное спасибо за всё. — Вчера прибыли первые геликоновы грехи: книжка Ахматовой — и покаянное письмо.

Глубоко убеждена, что я в этом покаянии ни при чем. — Вы были тем жезлом Аарона (?), благодаря коему эта сомнительная скала выпустила эту сомнительную слезу.

— В общем: крокодил. А впрочем — черт с ним! Вы мне очень помогли, у меня теперь будут на руках мои прежние стихи, которые всем нравятся.

С новыми (сивиллиными словами) я бы пропала: никому не нужны, ибо написаны с того берега: с неба!

Первое письмо МЦ Анне Тесковой было ответом на ее предложение выступить на вечере пражского литературного содружества «Скит поэтов»:

Мокропсы, 2/15-го ноября 1922 г.

Милостивая государыня, Простите, что отвечаю Вам так поздно, но письмо Ваше от 2-го ноября получила только вчера — 14-го.

Выступать на вечере 21-го ноября я согласна. Хотелось бы знать программу вечера.

С уважением

Выступление состоялось. Это был первый «интимник» (интимный вечер) «Скита поэтов» (потом просто «Скит»), который состоялся в помещении «Русской беседы» в пражском районе Виноградy. «Интимник» — узкое собрание членов содружества, после выступления участников шло обсуждение. Критик Альфред Бем прочел доклад о лирике. Он поставил в один ряд МЦ и Марию Шкапскую, отметив, что их поэзия «есть поэтическое творчество, делающее поразительные завоевания».

Неизвестно, как отнеслась МЦ к уравниванию ее со Шкапской. Мария Шкапская поэт хороший, ищущий, искренний, да и до чрезвычайности: она, вероятно, первый автор стихов на тему аборта, если не считать давний, осьмнадцатого века, образцовый сонет Александра Сумарокова «О существа состав без образа смешенный…». Некоторые стихи она располагает в строку, как прозу:

> *Да, говорят, что это нужно было… И был для хищных гарпий страшный корм, и тело медленно теряло силы, и укачал, смиряя, хлороформ.*
> *И кровь моя текла, не усыхая — не радостно, не так, как в прошлый раз, и после наш смущенный глаз не радовала колыбель пустая.*
> *Вновь, по-язычески, за жизнь своих детей приносим человеческие жертвы. А Ты, о Господи, Ты не встаешь из мертвых на этот хруст младенческих костей!*

(«Да, говорят, что это нужно было…»)

В Серебряном веке поэтессы отваживались на многое и по тематике, и по форме стиха, и по лексике. Мужчины-поэты лишь подтягивались к ним по мере смелости или безумия.

Восемнадцатилетняя поэтесса Христина Кроткова записала в дневнике 7 декабря 1922 года: «Я была на первом интимнике «Скита», где читала свои стихи Марина Цветаева. На меня она произвела малоинтеллигентное впечатление, как это ни странно. Может быть, в этом виновата и ее манера держать себя. Напыщенность может быть искупаема только неподдельным пафосом, и отсутствие искренности в этом убийственно безвкусностью». Строгая девушка.

Есть и более поздняя, более подробная запись Кротко-вой — мысленное обращение к МЦ (январь 1931

года):

> <…> встречалась с Вами уже не раз, но разговаривать я избегала. Первый раз — в Мокропсах, у знакомых студенток. Вы вошли, сказали о своих квартирных неприятностях несколько фраз, говоря громко, глядя в окошко, думая не о том. День был осенний, но солнце светило ярко. В окне я видела, как Вы подымались на гору, где гулял веселый, осенний ветер, ведя за руку свою дочку (не ветер, а Вы).
>
> Второй раз в том же 1922 году читали в «Ските поэтов» свои стихи. Я рассматривала Вас с интересом и недружелюбием… Читали Вы красиво, как и соответствовало Вашим стихам. Они были сложны, мне же хотелось несколько фраз, исчерпывающих и осмысливающих весь мир. Волосы стриженные не то по-купечески, не то по-ямщицки, как-то по-московски. И говор московский. Этот размах, эта удаль меня и восхищала, и несколько обижала — она была высокомерна и поглощена собой.

МЦ заполняет до конца первую черновую тетрадь «Молодца» — это черная картонная тетрадь с белой наклейкой — и 15 ноября 1922-го начинает новую, черную без наклейки, подаренную Сергеем 14 ноября. Марина помнит, что сегодня, 15-го числа, день рождения ее матери, которой было бы пятьдесят три года.

Пиша поэму, она сочиняет «Предисловие к Молодцу»:

> Эта вещь написана вслух, не написана, а сказана, поэтому, думаю, будет неправильно (неправедно!) читать ее глазами.
>
> Спой вслед!
>
> Что могла — указала ударениями, двоеточиями, тирэ (гениальное немецкое Gedankenstrich[77], та <пропуск одного слова> морщина между бровями, здесь легшая горизонталью).
>
> Остальное предоставляю чутью и слуху читателя: абсолютному слуху абсолютного читателя.

А пока что продолжается писание «Молодца», и прозаический план-проспект перемежается краткими существенными воспоминаниями или общими мыслями о том о сем. То и другое — часть происходящей в ней работы над поэмой. Неслучайно возникновение в памяти моментов детства и отрочества.

Зная только одни августейшие беды, как любовь к нелюбящему, смерть матери, тоску по своему семилетию, — такое, зная только чистые беды: раны (не язвы!) — и все это в прекрасном декоруме: сначала феодального дома, затем — эвксинского брега — не забыть хлыстовской Тарусы, точно нарочно данной отродясь, чтобы весь век ее во всем искать и нигде не находить — я до самого 1920 г. недоумевала: зачем героя непременно в подвал и героиню непременно с желтым билетом. Меня знобило от Достоевского. Его черноты жизни мне казались предвзятыми, отсутствие природы (сущей и на Сенной: и над Сенной в виде — неба: вездесущего!) не давало дышать. Дворники, углы, номера, яичные скорлупы, плевки — когда есть небо: для всех.

То же — toutes proportions garddes[78] — я ощущала от стихов 18-летнего Эренбурга, за которые (присылку которых — присылал все книжки) — его даже не благодарила, ибо в каждом стихотворении — писсуары, весь Париж — сплошной писсуар: Париж набережных, каштанов, Римского Короля, одиночества, — Париж моего шестнадцатилетия.

То же — toutes proportions encore mieux garddes[79] — ощущаю во всяком Союзе Поэтов, революционном или эмигрантском, где что ни стих — то нарыв, что ни четверостишие — то бочка с нечистотами: между нарывом и нужником. Эстетический подход? — ЭТИЧЕСКИЙ ОТСКОК. <…>

Люди ревнуют только к одному: одиночеству. Не прощают только одного: одиночества. Мстят только за одно: одиночество. К тому — того — за то, что смеешь быть один. <…>

Ни одной вещи в жизни я не видела просто, мне — как восьми лет, в приготовительном классе при взгляде на восьмиклассниц — в каждой вещи и за каждой вещью мерещилась — тайна, т. е. ее, вещи, истинная суть. В восьмиклассницах тайны не оказалось, т. е. та простая видимость — бант, длинная юбка, усмешка — и оказалась их сутью — сути не оказалось! Но тогда я, восьмиклассница, перенесла взгляд на поэтов, героев, прочее, там полагая. И опять — врастя в круг поэтов, героев, пр., опять убедилась, что за стихами, подвигами и прочим — опять ничего, т. е. что стихи — всё, что они есть и могут, подвиги — всё, что они есть и могут, что поэт — в лучшем случае равен стихам, как восьмиклассница — банту, т. е. видимое — своей видимости, что это-то и есть то, для чего у меня — от бесконечного преклонения — никогда не было (и вопреки всему — не будет) — имени. (Говорю не совсем точно, ибо боюсь упустить.)

Бант — знак, стихи — знак… Но — чего? Восемнадцатилетия (бант), но восемнадцатилетие — чего? И если даже найду, то то

— чего — знак?

Так я видела мир восьми лет, так буду видеть восьмидесяти, несмотря на то, что так никогда его не увидела (т. е. вещь неизменно оказывалась просто — собой). Ибо таков он есть.

Борис Пастернак еще не уехал из Берлина. 19 ноября 1922 года МЦ пишет в Мокропсах письмо Пастернаку, который просил ее ответное письмо переслать через его родителей, живших тогда в Берлине, что она и делает, завязывая переписку с его отцом. Письмо от 19 ноября — последнее письмо МЦ Борису Пастернаку в 1922 году (это ответ на его письмо от 12 ноября 1922 года из Берлина).

…Я живу в Чехии (близ Праги), в Мокропсах, в деревенской хате. Последний дом в деревне. Под горой ручей — таскаю воду. Треть дня уходит на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской, *бытовая* ее часть, — пожалуй, даже бедней! — но к стихам прибавилось: семья и природа. Месяцами никого не вижу. Все утро пишу и хожу: здесь чудные горы.

Возьмите у Геликона (Вишняка) стихи, присланные в «Эпопею», это и есть моя жизнь.

А Вам на прощанье хочу переписать мой любимый стих, — тоже недавний, в Чехии:

Это пеплы сокровищ:
Утрат, обид.
Это пеплы, пред кошми
В прах — гранит.

…..

<…> Пастернак, у меня есть к Вам просьба: подарите мне на Рождество Библию: немецкую, непременно готическим шрифтом, не большую, но и не карманную: естественную. И надпишите. Тщетно вот уже четыре месяца выпрашиваю у Геликона!

Буду носить ее с собой всю жизнь!

МЦ все время, чем бы ни занималась, думает о Пастернаке. Сочиняется пространное письмо к нему.

…Мой любимый вид общения — потусторонний: сон. Я на полной свободе. <…>

Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбами. Две глухие стены. (Брандмауэра, а за ними — Brand![80]) Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой, еще лучше — радугой, где под

каждым концом — клад. (Ou l'arc en ciel a pose son pied…[81])

Но тем не менее — захудалое, Богом забытое (вспомянутое!) кафэ — лучше в порту (хотите? (Nordsee![82]), с деревянными залитыми столами, в дыму — локоть и лоб —

Но я свои соблазны оставляю тоже в духе.

Сейчас расстаются на слишком долго, поэтому хочу — ясными и трезвыми словами: — на сколько и когда. Потому что я — так или иначе — приеду. Теперь признаюсь Вам в одной своей дурной страсти: искушать людей (испытывать) непомерностью своей правдивости. Давать вещь так, как она во мне и во вне — есть.

Испытание правдой. Кто вынесет? Особенно если эта правда, в данный час, — Осанна! Моя Осанна! Осанна моего данного (вечного) часа. Я не умеряю своей души (только — жизнь). А так как душа — это никогда: я, всегда: ты (верней — то) — то у другого или руки опускаются (трусливое, хотя тоже правдивое: «да ведь я не такой!») или земля ходит под ногами, а на земле — я, и ноги по мне. Принимаю и это.

Я знаю, что в жизни надо лгать (скрывать, кроить, кривить). Что без кройки платья не выйдет. Что только устрашишь другого потоком ткани. Что в таком виде это не носко — и даже невыносимо. Но мои встречи — не в жизни, вне жизни, и — горький опыт с первого дня сознания — в них я одна (как в детстве: «играю одна»).

Потому что ни другому, ни жизни резать не даю. Моя вина — ошибка — грех, что средства-то я беру из жизни. Так ведя встречу нужно просто молчать: ВСЁ внутри. Ведь человек не может вынести. (Я бы могла, но я единственный из всех кого встретила — кто бы могла! Я всему большому о себе верю. Только ему. Нет — слишком большого!)

А потом меня обвиняют в жестокости. Это не жестокость. Свет перестал брезжиться (пробиваться) через тебя, через эту стену — тебя, ты темный, плотный, свет ушел — и я ушла.

К чему сейчас все говорю? А вот. (Соблазн правдой!) — Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать Вам, что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. Ездят же чтобы купить себе пальто.

Никогда не поверю, что Вы есть. Вы есть временами, потом Вас нет. (Ваше исчезновение на кладбище.)

То, что Вы пишете о себе (русло, наклон, плоскость) правильно. Вы — слушайте внимательно — как сон, в который возвращаешься (возвратные повторные сны). Не сон, действующее лицо сна. — Или как город: уезжаешь — и его нет, он будет когда ты вернешься.

Так, в жизни я Вас наверное не пойму, не соберу, буду ошибаться, нужен другой подход — разряд — сонный. Разрешите вести встречу так: поверьте! Разрешите и отрешитесь.

Не думайте: мне все важно в Вашей жизни, вплоть до нового костюма и денежных дел — я ведь насквозь-сочувственна! и в житейских делах проще простого (родней родного!), быт — это ведь общий враг, в каждом костюмном деле мы — союзники! Я не занимаюсь лизанием сливок (с меня их всегда лизали, оставляя мне обездушенную сыворотку быта, топя меня в ней! Подыхай, т. е. живи как хочешь, будь прохвостом, только пиши хорошие стихи, а мы послушаем (полижем!)), но — пока я Вам (о чем очень, глубже чем Вы думаете, горюю) в бытовой жизни не нужна — будем жить в вне-бытовой. Но если бы Вам — предположение — почему-либо понадобилось приехать в Прагу, я бы узнала нынешнюю валюту, и гостиницу — и все чего не знаю.

В Берлине молодой литератор Роман Гуль, секретарь редакции библиографического журнала «Новая русская книга», задумал альманах «Железный век» и искал для него материал. С МЦ они были знакомы: летом 1922 года по ее просьбе их свел Эренбург. Гуль написал о ее первом издании «Верст» (Новая русская книга. 1922. № 11/12):

Если лицо поэта (хотя бы второпях скользнув по его стихам) узнается сразу, запоминается и не сдваивается с другим, — значит, поэт крепок и подлинен. Одним — Пушкин. Другим — Фет. Третьим — Маяковский. Все — в крепком ряду. Дело интимного выбора — дело созвучия.

Черты Марины Цветаевой за последнее время вы-чертились четко. Ее ни с кем не спутаешь. Часто ходит Цветаева в цыганский табор, в кулашную: кумачную Русь. Широта дыхания просит этих тем. В оранжерее — скучно, воздух прян и слишком много толпится поэтов.

А в степи — ветер!
Из-под копыт
Грязь летит.
Перед лицом
Шаль — как щит.
Без молодых
Гуляйте, сваты!
Эй, выноси,
Конь косматый!
…..

Полон стакан,
Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан.
Князем — цыган!
Цыганом — князь!
Эй, господин, берегись, жжет!
Это цыганская свадьба пьет!

Из таборной цыганщины в бешенность русской гармоники, плясок, песен!

Целовалась с нищим, с вором, с горбачом,
Со всей каторгой гуляла — нипочем!
Алых губ своих отказом не тружу,
Прокаженный подойди — не откажу!

Хороша Марина Цветаева в буйности, в неистовстве. Силен голос. Много в голосе звуков. Много музыки. Даже думаешь: наверное, грустить не умеет. Нет — грустит.

Но тебе, ласковый мой, лохмотья,
Бывшие некогда нежной плотью.
Всё истрепала, изорвала, —
Только осталось — что два крыла.

Мужская ли резкость, покорная ли усталость звучат подлинно, единственно, у поэта с большим голосом — Марины Цветаевой.

Гуль обратился к МЦ за стихами для альманаха. Она охотно ответила:

Мокропсы, 12-го нового декабря 1922 г.
Милый Гуль,
Простите, забыла Ваше отчество, непременно сообщите. Посылаю Вам три стиха: «Река» и два «Заводские», последние неделимы, непременно должны идти вместе, для Вашего «Железного века» они, очевидно, длинны, — берите «Реку». <…>
У меня столько стихов разослано, — и в Польшу, и в Париж, — все просят — а пошлешь — как в прорву: устала переписывать. Гонорар, если сумеете выцарапать таковой… <…

> — передайте, пожалуйста, Глебу Струве: моя страстная мечта — немецкие Bergschuhe, и жена Струве была так мила, что обещала мне их купить, если будут деньги. Посылала на этот предмет и Глебу Струве стихи — для «Романтического Альманаха».

Простите, что так тяжело вступаю в письмо (ибо письмо — путь!), помню, что одна из моих главенствующих страстей — ходьба — и Ваша страсть, поэтому надеюсь не только на Ваше прощение, но и сочувствие (Bergschuh'am!).

— Дружочек, мне совсем не о гонорарах и сапогах хотелось бы Вам писать, мы с Вами *мало* дружили, но *славно* дружили, сапоги и гонорары — только для очистки моей деловой совести, чтобы ложась нынче в 3-ем или 4-ом часу в кровать (на сенной мешок, покрытый еще из сов<етской> России полосатой рванью!), я бы в 1001 раз не сказала себе: снова продала свою чечевичную похлебку (Bergschuh'am!) за первенство (Лирику!). <…>

Читала в Руле (газета «Руль». — *И. Ф.),* что вышла моя «Царь-Девица». Голубчик, не могли ли бы Вы деликатным образом заставить моего издателя Соломона Гитмановича Каплуна прислать мне авторские экземпляры. Геликон мне давал 25, хорошо бы раньше узнать, сколько обычно дает Каплун («Эпоха»). <…>

О себе в этом письме не хочется писать ничего, напишу Вам отдельно. Скажу только, что кончаю большую вещь (в стихах), которую страстно люблю и без которой осиротею. Пишу ее три месяца. Стихи писала всего месяц — летом — потом обуздала себя и вот за три месяца ни одного стиха, иначе большая вещь не была бы написана. Не пишу Вам ее названия из чистого (любовного) суеверия.

Поэма «Царь-Девица» в издательстве «Эпоха» вышла книгой, и появилась первая рецензия на нее (Накануне. 1922. № 11/12. 9 декабря), за подписью Е. Ш.

У многих, даже весьма талантливых, писателей и поэтов есть один крупный недостаток, а именно: отсутствие чувства меры. Они не понимают, что то, что им, быть может, кажется еще недостаточно законченным и полным, среднего читателя утомит и заставит забыть прекрасные, высоко талантливые строки, разбросанные по книге. Примером, иллюстрирующим это положение, может служить новая книга Марины Цветаевой «Царь-Девица». Она написана изумительным русским языком, чрезвычайно талантливо построена, с прекрасным ритмом,

меняющимся в зависимости от повествования. Попадаются строки прямо филигранной отделки, как, напр., описание поездки Царь-Девицы с Царевичем по морю.

Позволю себе привести несколько строф из этой части:

Спи, копна моя льняная,
Одуванчик на стебле;
Будет грудь моя стальная
Колыбелечкой тебе.
Сна тебя я не лишаю,
Алмаз, яхонт мой.
Оттого, что я большая,
А ты махонькой.
Что шелка — щека,
Что шелка — рука:
Ни разочку, чай, в атаку
Не водил полка?
Спать тебе не помешаю,
Алмаз, яхонт мой.
Оттого, что я большая,
А ты махонькой.

Таких строк можно из «Царь-Девицы» привести десятки, но на протяжении 100 страниц они бледнеют и теряются. Кроме того, поэмой в полном смысле этого слова ее назвать нельзя, а для сказки она опять-таки слишком длинна и написана слишком тяжелым языком.

Это можно было пропустить мимо ушей, или же МЦ просто не узнала об этой публикации. Вполне серьезно она отнеслась к отзыву в «Руле», где некий Б. Каменецкий напечатал «Литературные заметки» (1922. № 625. 17 декабря):

Хочется отметить красиво изданную «Эпохой», еще красивее написанную Мариной Цветаевой поэму-сказку «Царь-Девица». Талантливая поэтесса создала художественную игрушку в народном русском стиле, который, правда, не выдержан строго и до конца; намеренно не выдержан, так что местами сказка переходит в словесное барокко. Она полна неожиданностями и причудами, за ее развитием не всегда сразу уследишь, но юмору и фантазии автора отдаешься охотно, с улыбкой внимания и удовольствия, и хорошо чувствуешь себя в этой красочности, в этой даже пестроте, в этой пленяющей звонкости русского слова. Именно звонкость, звуковая яркость больше всего отличает поэму

г-жи Цветаевой. Иной раз дрогнет не задумывающееся перо поэтессы, кое-где посетуешь на излишний натурализм подробностей, на бесспорные длинноты — а целое все-таки заворожит тебя своими чарами, дыханием национальной стихии, умчит по чистым волнам, по реке русской речи. Воистину, «там русский дух, там Русью пахнет». И даже кончается сказка картиной гибели некоего царя, на которого пошла «Русь кулашная, калашная, кумашная», пошли те, кто «все царствьице» его «разнес в труху» и в чьи уста вложено у автора такое самоопределение:

Ой, Боже, да кто ж вы?
— А мы — бездорожье,
Дубленая кожа,
Дрянцо, бессапожье,
Ощебья, отребья,
Бессолье, бесхлебье,
Рвань, ягоды волчьи,
Да так себе — сволочь!

Комментарий МЦ к этим словам содержится в письме Роману Гулю от 21 декабря 1922 года:

> Кстати, прочла во вчерашнем Руле отзыв Каменецкого: умилилась, но — не то! Барокко — русская речь — игрушка — талантливо — и ни слова о внутренней сути: судьбах, природах, героях, — точно ничего, кроме *звону в ушах* не осталось. — Досадно! —
>
> Не ради русской речи же я писала!
>
> Если знакомы с Каменецким — ему не передавайте, этот человек явно хотел мне добра, будьте другом и не поселите вражды.

Она еще не знает, кто скрывается под псевдонимом, да и имя Юлия Айхенвальда, критика именитого, ведающего литературно-критическим отделом «Руля», ей покамест говорит немного. Она еще в Москве была не в курсе хитросплетений литпроцесса и иерархии имен, а ведь Айхенвальд после смерти Ирины вместе с Борисом Зайцевым ходатайствовал о выделении МЦ академического пайка, да и другу ее Марку Львовичу Слониму Айхенвальд приходился дядей родным. «Руль» издание заметное, хотя и «Накануне» вполне авторитетно, и в далеком Харбине газета «Утро» перепечатает отзыв Е. Ш. в январе будущего года.

МЦ просит Гуля передать Пастернаку «Царь-Девицу», на

которой ставит надпись: «Борису Пастернаку — одному из моих муз. *Марина Цветаева. 22 декабря 1922. Прага».* Нельзя сказать, что инскрипт не двусмыслен.

Попутно заметим, что оба альманашных проекта — «Железный век» и «Романтический Альманах» — не осуществились. А стихотворение «Река» («Но тесна вдвоем…») будет опубликовано в первой книге альманаха «Струги», вышедшего в начале 1923 года в берлинском издательстве «Манфред».

Роман Борисович Гуль жил долго: 1896–1986. В огромной жизни было всяко — от Ледяного похода и немецкого концлагеря до эмиграции в США и многолетнего редактирования «Нового журнала» (Нью-Йорк). В мемуарном трехтомнике «Я унес Россию. Апология эмиграции» Роман Гуль не позабыл и МЦ (цитация по журнальной публикации: «Новый журнал». 1978. № 132).

Свое первое впечатление об облике Цветаевой я ярко запомнил. Цветаева — хорошего (для женщины) роста, худое, темное лицо, нос с горбинкой, прямые волосы, подстриженная челка. Глаза ничем не примечательные. Взгляд быстрый и умный. Руки без всякой женской нежности, рука была скорее мужская, видно сразу — не белоручка. <…>

Платье на ней было какое-то очень дешевое, без всякой «элегантности». Как женщина Цветаева не была привлекательна. В Цветаевой было что-то мужественное. Ходила широким шагом, на ногах — полумужские ботинки (особенно она любила какие-то «бергшуэ»). <…>

Когда Марина Ивановна (в тот же год нашей встречи) переехала из Берлина в Мокропсы, под Прагой, у нас завязалась переписка. Но длилась не очень долго. <…>

Марина Ивановна вечно нуждалась в близкой (очень близкой) дружбе, даже больше — в любви. Этого она везде и всюду душевно искала и была даже неразборчива, желая душевно полонить всякого. <…>

Мне писать Марина Ивановна стала довольно часто. Я отвечал, но, вероятно, не так, как она бы хотела. И в конце концов переписка оборвалась после письма Марины Ивановны, что больше она писать не будет, ибо чувствует, что мне отвечать ей в тягость.

Но одно время Цветаева попросила, чтобы я пересылал ей письма в Москву для Бориса Пастернака (прямо писать не хочет, чтобы письма не попадали «в руки жены»). <…>

Думаю, что в Марине было что-то для нее самой природно-тяжелое. В ней не было настоящей женщины. В ней было что-то

андрогинное, и так как внешность ее была непривлекательна, то создавались взрывы неудовлетворенности чувств, драмы, трагедии.

Поэму-сказку «Мóлодец» МЦ закончила 24 декабря, в Сочельник.

Последняя строка Молодца

До — мой:
В огнь синь

звучит как непроизнесенное: аминь: да будет так (с кем — произнести боюсь, но думаю о Борисе).

В письме Пастернаку (22 мая 1926 года) она скажет: «Борис, мне все равно, куда лететь. И, может быть, в том моя глубокая безнравственность (небожественность). Ведь я сама — Маруся».

Что это за человек, Марина Цветаева! Занеся руку над последней точкой в «Мóлодце», она уже *мечтает написать,* по-видимому, очерковую реакцию на аксаковскую «Семейную хронику». Мечта по обыкновению словообильно обосновывается, заранее прописывается, обдумывается со всех сторон, в том числе и так: «Европейский кинематограф как совращение малолетних». Но здесь интересен не только ход размышлений МЦ, несколько сбивчивых, но круг ее чтения:

…Зачем так огорчать (от: горечь), омрачать девочку, так разжигать — мальчика? — Именно *давая,* ибо если ребенок сам берет! страстно! из рук рвет! — то мы уже имеем дело не с ребенком (возрастом), а с сущностью (вне), с особой особью любве- или стихолюбов, с Байроном в возможности или в будущем, т. е. с существом все равно обреченным, с тем, которого — спасти — нельзя.

Но как могут учителя, давая Евгения Онегина в руки среднему 14-летнему, ждать в ответ 1) хорошего сочинения 2) разумного поведения. Давать ребенку поэта (верней — поэму) то же самое, что прививать тифозному — чуму. Двойное безумие: исконное и навязанное. <…>

Не Пушкина, не Чарскую давать (дарить!) — Лескова (Соборяне), С. Лагерлёф… <…>…очень, очень, очень Диккенса, так же — Андерсена, и больше чем можно, *т. е.* всего Alexandre Dumas <Дюма>, т. е. сплошное благородство и действие, — и В. Скотта, конечно (потом не захочется) — всё, только не любовь

в голом виде, или, как в Е<вгении>О<негине> если не в голом виде, то силой дара покрывающей и быт и рассуждения и природу.

И никогда не — Семейную Хронику, т. е. живую душу несчастной, страстной, прекрасной женщины, живое мясо ее души.

Книги где конфликт *не* внутренний, тйк, образно: Геракла (Авгиевы конюшни), а не Тезея (лабиринт, т. е. клубок, т. е. любовь, т. е. Наксос) — никаких лабиринтов, никаких тайников души (и тела!) — *сами! — рано!* — Никаких Неточек Незвановых и Бедных Людей, ибо Неточка — *уже* Соня Мармеладова, княжна Катя — уже Аглая.

Подвиги, путешествия, зверей, зверей, зверей. Джунгли Киплинга, Марка Твена, всё что на белом свете дня или при достоверной луне (в достоверной тьме) ночи — под таким и таким-то градусом.

Тогда будут — здоровые дети, здоровые провинности, здоровые (свои) болезни, — здоровые люди.

Те же кому суждено быть поэтами — эти запретные книги, ни одной не читав, сами, из себя, на углу стола, под ор своих счастливых товарищей — напишут.

Отчетливо слышна интонация Марии Александровны Цветаевой, ее дидактическая позиция, тот самый диктат, навсегда запомненный дочерью и, как видим, положительно усвоенный.

Новый, 1923 год МЦ со своими встретила у Чириковых.

Глава третья

Двадцать третий год будет бурным.

Новогодье отметили славно. Отоспавшись, 1 января Евгений Николаевич Чириков написал дочери Людмиле: «Мы ближе сошлись с Мариной Цветаевой, и всем нам она стала нравиться».

МЦ, все еще не определившись с календарем, заносит в тетрадь новый замысел:

> 21 декабря
> …..
> 2-го нов<ого> января 1923 г. — благословясь — Продолжение Егорушки —
> Написано:
> 1. Младенчество
> 2. Пастушество
> 3. Купечество
>
> Должно быть написано:
> 4. Серафим-Град
> 5. Река
> 6. Елисавея
>
> 7. Престол-Гора
> 8. Орел-Златоперый
> 9. Три плача
> …..
> *Необходимо* вести повествование круче, сокращать описания: этапами, не час за часом — иначе никогда не кончу. Меньше юмора — просторнее — NB! не забывать волка.

Далее — поток набросков продолжения «Егорушки».

Из Парижа пришла просьба Марии Самойловны Цетлиной, старой знакомой — прежней хозяйки салона в Кречетниковском переулке, — дать стихи для журнала «Окно». Женщина уважаемая и воспетая — в честь нее возник поэтический псевдоним ее мужа Михаила Осиповича Цетлина: Амари (A Marie), — под ним вышел его сборник «Лирика» (Париж, 1912). 9 января МЦ ей отвечает, что «в данный час почти все стихи розданы». И правда, у МЦ — каскад публикаций: в берлинских коллективных сборниках издательства «Мысль» — «Женская лирика» (семь стихотворений)

и «Из новых поэтов» (четыре стихотворения), в первой книге альманаха «Струги» (Берлин, издательство «Манфред») — одно стихотворение. Она пишет Цетлиной:

> Недавно закончила большую русскую вещь — «Мóлодец». И вот, просьба: не нашлось ли бы в Париже на нее издателя? — Сказка, в стихах, канва народная, герой — упырь. (Очаровательный! Насилу оторвалась!)
>
> Одно из основных моих условий — *две* корректуры: вся вещь — на песенный лад, много исконных русских слов, очень важны знаки.
>
> Недавно вышла в Берлине (к<нигоиздательст>во «Эпоха») моя сказка «Царь-Девица» — 16 опечаток, во многих местах просто переставлены строки. Решила такого больше не терпеть, тем более, что и письменно и устно заклинала издателя выслать вторую корректуру.
>
> ……
>
> «Мóлодца» можно (и по-моему — нужно) было бы издать с иллюстрациями: вещь сверх-благодарная.
>
> Жаль, что не могу Вам выслать «Царь-Девицы», те немногие экз<empляры>, высланные из<дательст>вом, уже раздарила.
>
> А в Берлине «Мóлодца» я бы печатать не хотела из-за несоответствия валюты: живя в Праге, работать на марки невозможно.

У МЦ тетрадь формата 22 х 17 см, в клетку, в темно-зеленом картонном переплете с темно-синим матерчатым корешком. По ее страницам летит конница Скифии, — не из Евразии ли? В крылатой сени то ли Азраила, то ли Эроса скиф молится богине Иштар, Офелия обличает Гамлета и защищает королеву, судьбы сдвинулись, сроки спутаны, все влекутся ко всем, ненасытная Федра — к Ипполиту, цыганка плачет по графу Зубову, Ариадна — по Тезею, телеграфные провода гудят голосами Аида, Эвридика платит за бессмертье потерей плоти — поэта далеко заводит речь, ибо это путь комет, и развеянные звенья причинности — вот связь его!

> Среди стихов — записи иного порядка:
> Куп<ила> молоко, сырок, 1/2 осьминки масла
>
> надо: грибы, картофель, помидоры, сахар, две сосиски, кофе.
>
> <На отдельной странице>

1 кор<обка> сард<инок> 15 кр<он>
1/4 кило 10 кр.
грецк<ий> орех — 1/4 кило 7 кр.
(очищенный)
на 12 кр.
на 6 кр. шок<оладу>

мясо
молоко
зеленина
творог
хлеб
картофель

В том январе 1923-го произошел тяжелый для эмиграции случай. Издатель «Новой русской книги» Александр Семенович Ященко, бывший профессор права, получил кружным путем письмо от Максимилиана Волошина. На сорока — пятидесяти страницах шла речь о зачистке Крыма красными, когда они взяли полуостров. Из Кремля прибыли Бела Кун и Розалия Землячка. Бела Кун вселился к Волошину. Было расстреляно несчита-ное количество бывших белых, которым сначала была объявлена амнистия, и они приходили регистрироваться в советские органы. Бела Кун разрешил Волошину править проскрипционные списки, вычеркивая одного из десяти. В этих списках Волошин нашел и свое имя. Но его вычеркнул по дружбе сам Бела Кун. Кажется, Бела Кун иногда присутствовал при молитвах Волошина за тех и за других.

Ященко читал письмо многим — от Алексея Толстого до Эренбурга. Вскоре письмо у Ященко — украли. Было подозрение: рука ЧК. Копии Ященко не снял. Волошинские «Стихи о терроре», полученные одновременно с письмом, Ященко опубликовал в очередном номере «Новой русской книги» (февраль, 1923).

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,
«Списывали в расход» —
Так изменялись из года в год
Быта и речи оттенки.
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку.
Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
«Шили погоны», «крошили лампасы»,

«Делали однорогих чертей».
Сколько понадобилось лжи
В эти проклятые годы,
Чтоб разъярить и поднять на ножи
Армии, царства, народы.
Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанным — с пулей в затылке
И со штыком в животе.

29 апреля Симферополь («Терминология»)

В том же году «Стихи о терроре» вышли в берлинском русском «Книгоиздательстве писателей».

Роман Гуль не выходит из поля зрения МЦ. Наконец календарь определен, но — в другую сторону, с полувозвратом к старой привычке датировки:

Мокропсы, 4/17 января 1923 г.

Дорогой Гуль,

Так как Вы мне больших писем не пйшете, я решила писать Вам маленькие открыточки. — Хороша Прага?[83]

— К сожалению, я живу в Мокропсах (о, насмешка! — *Горних!)* Спасибо за письмо, хотя маленькое и на ремингтоне: люблю большие и от руки. — Дошла ли до Вас, наконец, моя Царь-Девица? Были посланы две, — вторая Пастернаку. Что он? Все спрашиваю о нем приезжающих, — никто не видел.

Спасибо за устройство стихов. Как встречали Новый Год? Мы дважды — и чудесно.

Ну, жду обещанного письма! — Да, Эр<енбур>га ни о чем, касающемся меня, не просите, мы с ним разошлись! Привет.

МЦ

Мысль о Париже, о своих перспективах относительно Парижа, вероятно, давно брезжит в ее мозгу. А тут еще и дружище Бальмонт печатает в парижском «Слове» стихотворение «Утренник»:

Посвящается
Марине Цветаевой

Конь ее звался — Струя,

Вольница — лошадь моя.
Конь мой — из пропасти сна,
Из Океана — она.
Каждый в своем на своем.
Мы улетаем. Плывем.
Каждый в своем. Захоти.
Будь. И плыви. И лети.
Каждый в своем. Ты струя.
Да, ты струя, но моя.
Вольница, волю мою
В сердце твоем узнаю.
Это был месяц апрель.
Месяц, чей голос свирель.
Это был утренний час.
Утром зачался рассказ.
Пыль из-под нас точно дым.
Любимся. Любим. Летим.

1923 г.

Похоже, поэму МЦ «На Красном Коне» Бальмонт относил к себе — как к первоисточнику, и в какой-то мере он не ошибался. Похоже, но — наоборот. Сравним. Вот стих Бальмонта «Белый пожар»:

Я стою на прибрежье, в пожаре прибоя,
И волна, проблистав белизной в вышине,
Точно конь, распаленный от бега и боя,
В напряженье предсмертном домчалась ко мне.

И за нею другие, как белые кони,
Разметав свои гривы, несутся, бегут,
Замирают от ужаса дикой погони,
И себя торопливостью жадною жгут.

Опрокинулись, вспыхнули, вправо и влево, —
И, пред смертью вздохнув и блеснувши полней,
На песке умирают в дрожании гнева
Языки обессиленных белых огней.

1903

В общем — символизм. МЦ и говорила, что ей надо было

родиться двадцатью годами раньше.

Она пишет 31 января Марии Самойловне Цетлиной. Жалуется на больную руку, а в основном письмо посвящено князю Сергею Волконскому, с которым хочет познакомить Цетлиных:

> …О его «Родине» я только что закончила большую статью, которой Вам не предлагаю, ибо велика: не меньше 40 печатных страниц! <…>
>
> «Метель» свою Вам послала. Живу сама в метели: не людской, слава Богу, а самой простой: снежной, с воем и ударами в окна. Людей совсем не вижу. <…> По-чешски понимаю, но не говорю, объясняюсь знаками. Язык удивительно нечеткий, все слова вместе, учить не хочется. Таскаем с Алей из лесу хворост, ходим на колодец «по́ воду». Сережа весь день в Праге… <…> видимся только вечером. — Вот и вся моя жизнь. — Другой не хочу. — Только очень хочется в Сицилию. (Долго жила и навек люблю!)

МЦ мучит молчание Пастернака, загостившегося в Берлине. В голову приходит всякое — забыл, разочаровался, увели и проч. Но в начале февраля она получает от Пастернака новую его книгу «Темы и вариации», только что вышедшую в «Геликоне», с автографом — «Несравненному поэту Марине Цветаевой, «донецкой, горючей и адской» (автоцитата. — *И. Ф.)* от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки, и теперь кающегося. *Б, Пастернак. 29. 1. 23. Берлин»* — и письмом, в котором он предложил ей встретиться весной 1925 года в Веймаре. И тут вступает в игру та самая «соревнования короста» (о которой она говорила в стихах к Ахматовой). Так она скроена, ее любовь — всегда ристалище, жажда первенства, даже в ситуации предположительного равенства.

Не надо ее окликать:
Ей оклик — что охлест. Ей зов
Твой — раною по рукоять.
До самых органных низов

Встревожена — творческий страх
Вторжения — бойся, с высот —
Все крепости на пропастях! —
Пожалуй — органом вспоет.

А справишься? Сталь и базальт —
Гора, но лавиной в лазурь

На твой серафический альт
Вспоет — полногласием бурь.

И сбудется! — Бойся! — Из ста
На сотый срываются… Чу!
На оклик гортанный певца
Органною бурею мщу!

7 февраля («Не надо ее окликать…»)

Этим «мщу» закончится и ее последняя поэма — «Автобус» (1936), и адресат будет тот же. Круг замкнется.

На следующий день она начинает долгое, многостраничное, многодневное — с 8 по 14 февраля — письмо ему.

> Пастернак!
>
> Вы первый поэт, которого я — за жизнь — вижу[84]. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. <…>
>
> Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе — далеко! И было место — фонарный столб — без света, сюда и вызывала Вас — «Пастернак!» И долгие беседы бок о бок — бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Geethe (Гёте. — *И.* Ф.), и на Кавказ (единственное место в России, где я мыслю Geethe!). <…>
>
> Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли. <…>
>
> Два раза в Вашем письме: «тяжело». — Только потому, что Вы с людьми: Вы летчик! Идите к Богам: к деревьям. Это не лирика; это врачебный совет. Живут же за городом, а в Германии это легче, чем где бы то ни было. У Вас будут книги, тетради, деревья, воздух, достоинство, покой. — Да, одно темное место в Вашем письме: Вы думаете, что я по причинам «горьким и стеснительным» живу вне Берлина? Да Берлин меня *сплошь* обокрал, я уехала нищая, с распиленными хрящами и растянутыми жилами. Люди пера — проказа! Молю Бога всегда так жить, как живу: колодец часовенкой, грохот ручьев, моя собственная скала, козы,

все породы деревьев, тетради, не говоря уж о С<ереже> и Але, единственных, кроме Вас и князя С. Волконского, мне дорогих! <…>

Никогда не слушайте суждений обо мне людей (друзей!), я многих задела (любила и разлюбила, нянчила и выронила) — для людей расхождение ведь вопрос самолюбия, которое, кстати, по-мужски и по-божески — щажу. — Не слушайте. <…>

Да, еще Вы должны подарить мне Библию, не из Ваших рук не возьму. <…>

Ваша книга — ожог! Та ливень, а эта ожог: мне было больно, и я не дула. <…>

Вы — явление природы. <…>

Возвращаясь к «единственному поэту за жизнь» и страстнейше проверив: *да*\ Один раз только, когда я встретилась с Т<ихоном> Чурилиным («Весна после смерти»[85]), у меня было это чувство: ручаюсь за завтра, — сорвалось! Безнадежно! Он замучил своего гения, выщипал ему перья из крыл. (А Вы — бережны?) Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем он сам. <…>

Вы сейчас (в феврале этого года) вошли в мою жизнь после большого моего опустошения: только что кончила большую поэму (надо же как-нибудь назвать!) не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, — расстались, как разорвались! — и я, освобожденная, уже радовалась: вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей, — исподволь — и всё так хорошо пойдет.

И вдруг — Вы: «Дикий, скользящий, растущий»… (олень? тростник?) с Вашими вопросами Пушкину, с Вашим чертовым соловьем, с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами![86]

(И вот уже стих: С аггелами — не игрывала!).

Да, у нее возник стих, и, не отрываясь от завершенного письма, МЦ пишет стихотворение «Лютня», имея в виду то, что звуки Давидовых гуслей отгоняли злых духов — аггелов: Лютня! Безумица! Каждый раз, Царского беса вспугивая: «Перед Саулом-Царем кичась»… (Да не струна ж, а судорога!)

Лютня! Ослушница! Каждый раз,
Струнную честь затрагивая:
«Перед Саулом-Царем кичась —
Не заиграться б с аггелами!»

Горе! Как рыбарь какой стою
Перед пустой жемчужницею.
Это же оловом соловью
Глотку залить… да хуже еще:

Это бессмертную душу в пах
Первому добру молодцу…
Это — но хуже, чем в кровь и в прах:
Это — сорваться с голоса!

И сорвалась же! — Иди, будь здрав,
Бедный Давид… Есть пригороды!
Перед Саулом-Царем играв,
С аггелами — не игрывала.

14 февраля

В те дни они обменялись открытками. Его открытка от 9 февраля не сохранилась, в отличие от открытки МЦ от 15 февраля из Праги — с изображением множества пражских крыш.

Удивительно устроен человек. В процессе сочинения послания Пастернаку — 9 февраля — МЦ дарит собой и другого адресата:

> Мой милый и нежный Гуль!
>
> (Звучит, как о голубе.)
>
> Две радости: Ваше письмо и привет от Л. М. Э<ренбург>, сейчас объясню, почему.
>
> Летом 1922 г. (прошлого!) я дружила с Э<ренбу>ргом и с Геликоном. Ценности (человеческие) не равные, но Г<елико>на я любила, как кошку, Э<ренбур>г уехал н£ море, Г<елико>н остался. И вот, в один прекрасный день, в отчаянии рассказывает мне, что Э<ренбур>г отбил у него жену. (Жена тоже была н£ море.) Так, вечер за вечером — исповеди (он к жене ездил и с ней переписывался), исповедь и мольбы всё держать в тайне. — Приезжает Э<ренбур>г, читает мне стихи «Звериное тепло», ко мне ласков, о своей любви ни слова! *Я молчу.* — Попеременные встречи с Э<ренбур>гом ис Г<елико>ном. Узнаю от Г<елико>на, что Э<ренбур>г *продает* ему книгу стихов «Звериное тепло». Просит совета. — Возмущенная, *запрещаю* издавать. — С Э<ренбур>гом

чувствую себя смутно: душа горит сказать ему начистоту, но, связанная просьбой Г<елико>на и его, Э<ренбур>га, молчанием — молчу. (Кстати, Э<ренбур>г уезжал н£ море с головой-увле-ченной мной. Были сказаны БОЛЬШИЕ слова, похожие на большие чувства. Кстати, неравнодушен ко мне был и Г<елико>н).

Так длилось (Э<ренбур>г вскоре уехал) — исповеди Г<елико>на, мои ободрения, утешения: книги не издавайте, жены *силой* не отнимайте, пули в лоб не пускайте, — книга сама издастся, жена сама вернется, — а лоб уцелеет. — Он был *влюблен* в свою жену, и в *отчаянии.*

…..

Уезжаю. Через месяц — письмо от Э<ренбурга>, с обвинением в предательстве: какая-то записка от меня к Г<елико>ну о нем, Э<ренбур>ге, найденная женой Г<елико>на в кармане последнего. (Я почувствовала себя в помойке.)

Ответила Э<ренбур>гу в открытую: я не предатель, низости во мне нет, тайну Г<елико>на я хранила, п<отому> ч<то> ему обещала, кроме того: продавать книгу стихов, написанных к чужой жене — ее мужу, который тебя и которого ты ненавидишь — низость. А молчала я, п<отому> ч<то>дала слово.

Э<ренбур>г не ответил и дружба кончилась: кончилась с Г<елико>ном, к<отор>ый после моего отъезда вел себя со мной, как хам: на деловые письма не отвечал, рукописей не слал и т. д. — «Тепло», конечно, издал.

Так, не гонясь ни за одним, потеряла обоих.

Письмо длиннющее. «Все это, Гуль, МЕЖДУ НАМИ». Они едва знакомы. Доверительность сокращает дистанцию. Но он уже написал о ее «Верстах», и ей это пришлось по душе: «Очень радуюсь Вашему отзыву, куда меньше — айхенвальдовскому». По существу это деловое письмо — МЦ, закончив большую статью-апологию о книге С. Волконского «Родина», просит пристроить эту статью. Готовит она и книгу прозы на материале московских записных книжек, и «если бы нашелся верный издатель, приехала бы в начале мая в Берлин. Словом, пустите слух. Книга, думаю, не плохая. — Тогда бы весной увиделись, погуляли, посидели в кафе, я бы приехала на неделю — 10 дней, Вы бы со мной *слегка* понянчились. <…> Привезу весной и свою рукопись «Мóлодец».

И стихи есть, — целых четыре месяца не писала».

Важен следующий пассаж этого письма:

> Ваше отвращение к Н. А. Б<ердяе>ву я вполне делю. Ему принадлежит замечательное слово: «У Вас самой ничего нет: неразумно давать». (Собирали *т умирающего* — мох и вода! — с голоду М. Волошина, в 1921 г., в Крыму.) Чувствую, вообще, отвращение ко всякому национализму *вне* войны. — Словесничество. — В ушах навязло. Слова «богоносец» не выношу, скриплю. «Русского Бога» топлю в Днепре, как идола.
>
> Гуль, народность — *тоже* платье, м<ожет> б<ыть> рубашка, м<ожет> б<ыть> — кожа, м<ожет> б<ыть> седьмая (последняя), но не душа.
>
> Это все — лицемеры, нищие, пристроившиеся к Богу, Бог их не знает, он на них плюет. — Voila[87] —
>
> …..
>
> В Праге проф<е>ссор Новгородцев читает 20-ую лекцию о крахе За<падной > культуры, и, доказав (!!!) указательный перст: Русь! Дух! — Это помешательство. — Что с ними со всеми? Если Русь — переходи границу, иди домой, плетись.
>
> …..
>
> А у нас весна: вербы! Пишу, а потом лезу на гору. Огромный разлив реки: из середины островка деревьев. Грохот ручьев. Русь или нет, — люблю и никогда не буду утверждать, что у здешней березы — «дух не тот». (Б. Зайцев, — если не написал, то напишет.) Они не Русь любят, а помещичьего «гуся» и девок.

Стоит отметить разницу стилистик ее писем в зависимости от адресата. Пастернаку — сумбурновато, Гулю — четко и ясно.

В последующих письмах Гулю разговор идет напрямую о делах — о ценах на литпродукцию, объемах произведенного ею, рациональности печатания в том или ином месте, соотношении марки и кроны, фунта и доллара. О том, что Геликон, принимая возможную прозу МЦ, предлагает хорошие условия, но требует произведения вне политики. «ПОЛИТИКИ в книге нет: есть *страстная* правда: пристрастная правда холода, голода, гнева, Года! У меня младшая девочка умерла с голоду в приюте, — это тоже «политика» (приют большевистский)». Тональность сердечности окрашивает деловитую основу: «До свидания, мой милый, нежный Гуль. Мне сегодня вечером (3 *У1* ч<аса> утра!) хочется с Вами поцеловаться. <…> Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности — людей. Я люблю

небо и ангелов: там и с ними бы я умерла».

Абсолютно точна характеристика задуманной книги:

> В книге у меня из «политики»: 1) поездка на реквизиц<ионный> пункт (КРАСНЫЙ), — офицеры-евреи, русские красноармейцы, крестьяне, вагон, грабежи, разговоры. *Евреи встают гнусные.* Такими и были. 2) моя служба в «Наркомнаце» (сплошь юмор! Жутковатый). 3) тысяча мелких сцен: в очередях, на площадях, на рынках (уличное впечатление от расстрела Царя, напр<имер>, рыночные цены, — весь быт револ<юционной> Москвы. И еще: встречи с белыми офицерами, впечатления Октябр<ьской> Годовщины (первой и второй), размышления по поводу покушения на Ленина, воспоминания о неком Канегисере[88] (убийце Урицкого). Это я говорю о «политике». А вне — всё: сны, разговоры с Алей, встречи с людьми, собственная душа, — вся я. Это не *политическая* книга, ни секунды. Эго — живая душа в мертвой петле — и все-таки живая. Фон — мрачен, не я его выдумала.

Попутно МЦ продвигает свой отзыв на книгу Волконского в «Русской мысли», пишет П. Б. Струве, поторапливая его: «Очень хотела бы, чтобы Вы просмотрели ее поскорее, у меня др<угого> экземпляра нет, а в случае, если Русская Мысль не примет, мне надо стучаться в другие места…» Апология Волконского у Струве напечатана не будет, но три стихотворения МЦ «Русская мысль» даст в номере 1/2.

Она вообще хлопочет об одиноком и неуживчивом князе («уединенный дух и одинокая бродячая кость»), посылает к нему Людмилу Чирикову, высылает ей 20 франков на шоколад для пожилого сладкоежки («отнесите его сама, лично, пораньше, утром, чтобы застать, по следующему адресу: B<oulevar>d des Invalides, 2, Rue Duroc (chez Beaumont) — Сергею Михайловичу Волконскому. Это моя лучшая дружба за жизнь») и очень благодарит приятельницу за визит к ее протеже. 12 февраля парижская газета «Звено» печатает ее «Метель»: Цетлина посодействовала. 17 марта МЦ пишет Цетлиной, просит выслать гонорар за «Метель»: «Простите, что обращаюсь к Вам, но в «Звене» я никого не знаю. <…> «Ремесло» мое уже отпечатано, но Геликон почему-то в продажу не пускает. Прислал мне пробный экз<емпляр>, книга издана безукоризненно. Как только получу, пришлю». В конце апреля МЦ не без едкости спросит у Чириковой: «Похудела ли Цетлиниха?»

Пастернак вот-вот уедет в Россию. В конце первой декады

марта ее новое многодневное письмо ему — со стихами.

Приложение. Стихи к Вам

1. Гора («Не надо ее окликать…») 7 нов<ого> февраля 1923 г.

2. «Нет, правды не оспаривай!..» 8 нов<ого> февраля

3. Эмигрант («Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами…») 9 нов<ого> февраля

4. «Выше! Выше! Лови — летчицу!..» 10 нов<ого> февраля

5. «Из недр — и на ветвь… рысями!..» 11 нов<ого> февраля

6. Колыбельная («Как по синей по степи…») 13 нов<ого> февраля

7. Богиня Иштар (Луны и Войны. / Ее, по словам Персов, чтили Скифы.) 14 нов<ого> февраля

8. Лютня («Лютня! Безумица! Каждый раз…») 14 февраля

9. Азраил

I «От руки моей не взыграл…»

II (последнее) «Оперением зим…» 17 нов<ого> февраля 1923 г.

Экземпляр вышедшей книги «Ремесло» 9 марта 1923 года надписан: «Моему заочному другу — заоблачному брату — Борису Пастернаку». В конце марта МЦ пишет Пастернаку: «Я терпелива, и свидания буду ждать, как смерти». Ее письмо Гулю от 11 марта целиком посвящено отъезду Пастернака: «Еще ничего не знаю о П<астернаке> и многое хотела бы знать. (МЕЖДУ НАМИ!) Наша переписка — ins Blaue[89], я всегда боюсь чужого *быта,* он меня большей частью огорчает. Я бы хотела знать, какая у Пастернака жена («это — быт?!» Дай Бог, чтобы бытие!), что он в Берлине делал, зачем и почему уезжает, с кем дружил и т. д. Чтб знаете — сообщите».

Разражается бытовой скандал, подробности коего изложены в письме Людмиле Чириковой и достойны воспроизведения:

Прага, 27/30-го нов<ого> апреля, 1923 г.

А мы судимся. Да, дитя мое, самым мрачным образом. Хозяева подали жалобу, староста пришел и наорал (предлог: сырые стены и немытый пол) и вот завтра в ближайшем городке — явка. Мы всю зиму прожили в этой гнилой дыре, где несмотря на ежедневную топку со стен потоки струились и по углам грибы росли, — и вот теперь, когда пришло лето, когда везде — рай, —

«Испортили комнату, — убирайтесь на улицу». С<ережа> предстоящим судом изведен, издерган, я вообще устала от земной жизни. Руки опускаются, когда подумаешь, сколько еще предстоит вымытых и невымытых полов, вскипевших и невскипевших моло́к, хозяек, кастрюлек и пр.

Денег у меня никогда не будет, мне нужно мно-о-го: откупиться от всей людской низости: чтобы на меня не смел взглянуть прохожий, чтобы никогда, нигде не смел крикнуть кондуктор, чтобы мне никогда не стоять в передней, никогда и т. д.

На это не заработаешь.

…..

Ах, как мне было хорошо в Б<ерлине>, как я там себя чувствовала человеком и как я здесь хуже последней собаки: у нее, пока лает, есть право на конуру. У меня ничего нет, кроме ненависти всех хозяев жизни; за то, что я не как они. Но это шире крохотного вопроса комнаты, это пахнет жизнью и судьбой. Это нищий — пред имущими, нищий — перед неимущими (двойная ненависть), один перед всеми и один против всех. Это душа и туши, душа и мещанство. Это мировые силы столкнулись лишний раз!

Не умею жить на свете!

30-го нов<ого> апреля 1923 г.

Продолжаю письмо уже в Мокропсах. <…> Знаете, чем кончился суд? С<ережа> поехал с другим студентом (переводчиком), хозяин (обвинитель) студента принял за адвоката, испугался и шепотом попросил судью — попросить «пана Сергия» почаще мыть пол в комнате… а то — «блэхи» (блохи)!!! Судья пожал плечами. «Адвокат», учтя положение, заявил, что полы чисты как снег. Судья махнул рукой. Этим и кончилось. Первым в Мокропсы вернулся хозяин: в трауре, в цилиндре, — вроде гробовщика. Мрачно и молча поплелся к себе, переоделся и тут же огромной щеткой стал мыть одно учреждение (как раз под моим окном) — в сиденье которого потом, неизвестно почему, вбил *два кола.* (М<ожет> б<ыть>, он считал нас за упырей? Помните, осиновый кол!) Этим и кончилось.

(Цель обвинения была, ввиду сезона, выселить нас и взять вместо 220 кр<он> — 350, а то больше!)

Все наши принимали самое горячее участие в нашем суде и судьбе: и советовали, и направляли, Е<вгений> Н<иколаевич> написал мне письмо к некому Чапеку (переводчику)[90], — было очень трогательно.

Вся деревня на нашей стороне, а это больше, чем Париж, когда живешь в деревне! <…>

Нынче еду в Прагу на Штейнера (Вы кажется о нем слышали: вождь всей антропософии, Ася Белого была его любимейшей ученицей.) Хочу если не услышать, то узреть. По более юным снимкам у него лицо Бодлера, т. е. Дьявола.

У нас дожди, реки, потоки. Весна тянется третий месяц, нудная. Пишу и этим дышу. Но очень хочется вон; прочь, — только не знаю: из Мокропсов или с этого света?

Рудольф Штейнер 30 апреля 1923 года читал в Праге лекцию «Что хотел Гетеанум и чем должна быть антропософия?». МЦ побывала на его лекции, был между ними какой-то короткий разговор, в котором ей больше всего — жутко — понравилось его прощальное «Auf Wiedersehen![91]».

Сильнейшее впечатление на МЦ и Сергея произвела публикация Макса Волошина в «Новой русской книге» (1923. № 2): цикл «Усобица» и приложенный к стихам «Список ученых и литераторов, находящихся в Крыму и нуждающихся в помощи». Сергею удалось образовать группу, которая ежемесячно будет отчислять деньги в пользу нуждающихся и через него направлять Максу.

Десятого мая Сергей пишет из деревни Горние Мокропсы в Феодосию Максу и Пра, не зная о том, что 8 января 1923 года Пра умерла. Сергей готовится к докторскому экзамену. «Буду dr. философии нечайно. Это даст мне здесь средства к существованию». Каждый день он встает в шесть утра, уезжает в Прагу и возвращается поздно вечером.

> Аля с каждым днем все более и более опрощается. Как снег от западного солнца растаяла ее необыкновенность. <…>
>
> Родная моя Пра. <…> Дорогая моя старушка! Глажу твою седую, лохматую, измученную голову. Думаю о тебе с сыновней любовью, с сыновней преданностью и с сыновней благодарностью за последние мои Коктебели. <…> Но если здесь не встретимся — знай, что ты мой *постоянный* спутник, вечный и неотлучный.

МЦ пишет на обороте его письма:

> Пока только скромная приписка: завтра (11-го нов<ого> мая — год, как мы с Алей выехали из России, а 1-го августа — год, как мы в Праге. Живем за городом,

в деревне, в избушке, быт более или менее российский, — но не им живешь! Сережа очень мало изменился, — только тверже, обветреннее. Встретились мы с ним, как если бы расстались вчера. Живя иевременем, времени не боишься. *Время — нее счет:* вот все мое отношение к времени! <…> Аля растет, пустеет и простеет. Ей 10 И лет, ростом мне выше плеча. Целует тебя и Пра.

Имя Марины Цветаевой утверждается и ширится: опять Харбин — в газете «Русский голос» (1923. 10 мая) анонимный автор отмечает, что ее «Фортуна» «написана оригинальными и красивыми словами». Наверняка это — Арсений Несмелое. Он снизу вверх смотрел на Маяковского, на Асеева тоже — о Пастернаке и Цветаевой говорить не приходится: не дождавшись обещанного Цветаевой разбора поэмы «Через океан», принял это как должное. «Она гениальный поэт». Он не мог знать о ее более позднем письме к другому адресату — из Медона в Америку Раисе Ломоносовой (1 февраля 1930 года): «Есть у меня друг в Харбине. Думаю о нем всегда, не пишу никогда». Скорей всего, название его книги «Без России» (1931) было очередным сигналом-приветом Цветаевой с ее книгой «После России» (1928). Знал о Несмелове и Пастернак, — в письме жене от 26 июня 1924 года он обронил: «Подают книжки с Тихого океана. Почтовая бандероль. Арсений Несмелое. Хорошие стихи».

Несмелова старались не замечать. И. Н. Голенищев-Кутузов в парижском «Возрождении» (1932. 8 сентября) пишет в заметке «Арсений Несмелое»: «Упоминать имя Арсения Несмелова в Париже как-то не принято. Во-первых, он — провинциал (что доброго может быть из Харбина?); во-вторых, слишком независим». Не замечали, но время от времени печатали — в Праге, в том же Париже, в Чикаго, в Сан-Франциско. Слишком независимым его считали и в Харбине.

А за что его было любить в Париже?
Сочно философствует Бердяев
О религиозной русской мысли.
…..
А не в эти ль месяцы, шершавый
От расчесов, вшив до переносиц,
Медленно отходит от Варшавы
Наш народ, воспетый богоносец.
…..
Распуская эстетизма слюни,
Из трясины стонет критик выпью:

«Как кристален академик Бунин,
Как изящно ядовита Гиппиус!»

Эти стихи Несмелов назвал «Русская мысль». МЦ как-то написала Бахраху: «Я глубоко-необразованна и не прочла ни одной философской книжки».

Русскопоэтический Париж — и прочий Запад — свысока посматривал на эти харбины-шанхаи. Все было как всегда: столица — на горе, а вы — там где-то, в долине. Но то была Сунгарийская долина, а рядом — Гималаи. Тибет. Гоби. Хинган. Фудзияма. Гаолян. Ханшин. Опиум. Тигры. Кстати, Несмелое больше всего боялся встречи с тигром — когда пешком уходил от большевиков из Владивостока сквозь таежные дебри. Их было пятеро, беглецов, бывшее белое воинство, в «нашенском городе» крепчала красная власть, регулярная регистрация в ГПУ дышала арестом, надо было бежать. Несмеловым бывший поручик Митропольский, коренной москвич, стал во Владивостоке. До того он занимался войной. Одна из лучших его вещей — «Стихи о револьверах». Сперва на полях Первой мировой, потом — в юнкерском октябрьском восстании 1917-го, затем — у Колчака. МЦ написала ему как минимум одно письмо, оно пропало — от Несмелова не осталось никакого архива: он погиб на полу пересыльной тюрьмы в дальневосточном поселке Гродеково, арестованный в Харбине советскими спецслужбами в 1945-м победном году.

Поколение разорвано, а мир тесен, и судьбы схожи.

Весенняя работа над книгой прозы идет безостановочно. 27 мая 1923 года МЦ пишет Гулю:

> Книга моя будет называться «Земные Приметы», и это (весна 1917 г. — осень 1919 г.) будет I т<ом>. За ним последует II т<ом> — Детские Записки — который может быть готов также к осени. Теперь слушайте еще внимательнее, это *важно.*
>
> «Земные Приметы» I т<ом> (1917–1919 г.) то, что я сейчас переписываю — *это мои записи,* «Земные Приметы» II т<ом> (1917–1919 г.) — это *Алины записи,* вначале записанные мной, потом уже от ее руки: вроде дневника. Такой книги еще нет в мире. Это ее письма ко мне, описание советского быта (улицы, рынка, детского сада, очередей, деревни и т. д. и т. д.), сны, отзывы о книгах, о людях, — точная и полная жизнь души шестилетнего ребенка. Можно было бы воспроизвести факсимиле почерка. (Все ее тетрадки — налицо.) <…>

Месяц писала стихи и была счастлива, но вид недоконченной рукописи приводит в уныние. Пришлось оторваться. К осени у меня будет книга стихов, в нее войдут и те, что я Вам читала в Берлине. Как Геликон? Не уехал ли в Россию? Не слыхали ли чего о Пастернаке? Кто из поэтов (настоящих) в Берлине? Читали ли «Тяжелую Лиру» Ходасевича и соответствует ли ей (если знаете) статья в «Современных Записках» Белого?

Этот сборник Ходасевича вышел двумя изданиями: в петроградском ГИЗе (Государственном издательстве) и в «Издательстве З. И. Гржебина». Статья Андрея Белого (Современные записки. 1923. № 15) называлась «Тяжелая лира и русская лирика». Пристально вглядываясь в книгу и сочувственно-аналитически рассуждая, он резюмировал: «Как в содержании Ходасевич преемственно поднимает задания лучших традиций огромной поэзии нашей, так и в форме своей поднимается он к «стае славной» поэтов. И радостно: в наши дни родился очень крупный поэт». МЦ верит Белому и не верит, а по сути — ревнует.

Она пристрастно смотрит на то, что публикует эмиграция в своих изданиях. Тот же Белый, напечатав в «Эпопее» воспоминания о Блоке, входит в ее разговор о новом журнале «Окно», детище Цетлиных, где опубликованы воспоминания Зинаиды Гиппиус о Блоке «Мой лунный друг» и первая часть исторической трилогии «Тайна трех» — «Египет и Вавилон» — Дмитрия Мережковского.

Чехия. Мокропсы, 31-го нового мая 1923 г.

Милая Мария Самойловна!

Ваше «Окно» великолепно: в первую зарю Блока, в древнюю ночь Халдеи. Из названного Вам ясно, что больше всего я затронута Гиппиус и Мережковским.

Гиппиус свои воспоминания написала из чистой злобы, не вижу ее в любви, — в ненависти она восхитительна. Прочтя первое упоминание о «Боре Бугаеве» (уменьшительное здесь не случайно!) я сразу почуяла что-то недоброе: очень уж ласково, по-матерински… Дальше-больше, и гуще, и пуще, и вдруг — озарение: да ведь это она в отместку за «лорнет», «носик», «туфли с помпонами», весь «Лунный друг» в отместку за «Воспоминания о Блоке», ей пришлось засвежо полюбить Блока, чтобы насолить Белому! И как она восхитительно справилась и с любовью (Блоком) и — с бедным Борей Бугаевым! Заметьте, все верно, каждая ужимка, каждая повадка, не только не налгано, — даже не

прилгано! Но так по-змеиному увидено, запомнено и поведано, что даже я, любящая, знающая, чтящая Белого, Белому преданная! — не могу, читая, не почувствовать к нему (гиппиусовскому нему!) отвращения — гиппиусовского же!

Это не пасквиль, это ланцет и стилет. И эта женщина — чертовка.

…..

В Мережковском меня больше всего трогает *интонация. Я это вне* иронии, ибо интонации — как зверь — верю больше слова. О чем бы Мережковский ни писал, — о Юлиане, Флоренции, Рамзесе, Петре, Халдее ли, — интонация та же, *его,* убедительная до слов (т. е. опережая смысл!) Я Мережковского знаю и люблю с 16 л<ет>, когда-то к нему писала (об этом же!) и получила ответ, — милый, внимательный, от равного к равному, хотя ему было тогда 40 л<ет> (?) и он был Мережковский, а мне было 19 лет — и я была никто. Если увидитесь с ним — напомните. Теперь Аля читает его Юлиана[92] и любит те же места и говорит о нем те же слова. <…>

Напишите мне про Гиппиус: сколько ей лет, как себя держит, приятный ли голос *(не* как у змеи?! Глаза *наверное* змеиные!) — бывает ли иногда добра? И про Мережковского.

Посылаю Вам «Поэму заставы», если не подойдет — пришлю другие стихи. Спасибо за *безупречную* корректуру: с Вами я всегда спокойна! <…>

<Приписка на полях:>

Мне очень стыдно, что я так долго не благодарила Вас за щедрый гонорар.

На сей счет МЦ признается: «Вот точная картина моего земного быта. Определить ее «острой нуждой» руку на сердце положа — не могу (особенно после Москвы 19-го года!). Я бы сказала: хронический недохват». Она сетует на отсутствие у нее импресарио, «лично заинтересованного, посему деятельного, который бы продавал, «сдавал… и не слишком предавал меня! Здесь много литераторов и все они живут лучше меня: знакомятся, связываются, сплачиваются, подкапываются, — какое милое змеиное гнездо!..».

Вдали от ее гор и лесов шумит жизнь иная и малопостижимая. В мае и июне в Праге прошли заседания и митинги протеста по поводу преследования в Москве патриарха Тихона и гонений верующих. В пражском Союзе писателей и журналистов собралось заседание — МЦ приехала на него. Это был чисто внешний поступок, внутренне она испытывала нечто иное: «Ненавижу общественность: сколько лжи вокруг всякой

правды! Сколько людских страстей и вожделений! Сколько раздраженной слюны! Всячески уклоняюсь от лицезрения моих ближних в подобных состояниях, но не показываться на глаза — быть зарытой заживо. Люди прощают всё, кроме уединения». Цетлинское издание ей показалось окном возможностей, однако журнал «Окно» просуществует всего год. Во втором номере будет напечатано стихотворение МЦ «Рассвет на рельсах», в третьем — «Деревья» («Кто-то едет — к смертной победе…») и «Листья ли с древа рушатся…».

В эпистолярном смысле эта пора была весной Романа Гуля, плавно перетекшей в лето и осень Александра Бахраха. Кто таков? Молодой критик, моложе МЦ на десять лет. Очно они покамест не виделись. Знакомство чисто текстовое. Ее книга «Ремесло» — его отзыв на нее «Поэзия ритмов» в берлинской газете «Дни» (1923. 8 апреля):

Сначала точно буйный, стремительный, разнузданный вихрь ритмических колебаний. Точно ветер, неожиданно ворвавшийся в комнату. Освежающий и волнующий своей неожиданностью. Стихийный и в своей стихийности беспорядочный; не знающий ни границ, ни пределов. Надо иметь время, чтобы привыкнуть, чтобы как-нибудь освоиться, чтобы иметь возможность разобраться в отдельных абстрактных звучаниях; в нестройной системе смочь найти свой особенный глубоко скрытый смысл, в форме — осязать идею, почувствовать нанизанную эмоциональную суть. В «Ремесле» пафос неосознанного сочетается с известной шероховатостью и недоделанностью всякого не-механического творения, творения подлинно и глубоко органического — пролившегося на страницы себя; «я» доходящего до исступленных вещаний Сивиллы, до выкриков, до боли, до истерики.

Читаешь книгу и удерживаешься, чтобы оставаться спокойным, чтобы не начинать двигаться, не обратиться в бешеную пляску, в буйную пляску необозримых степных раздолий.

А при этом «Ремесло» для немногих. «Большинство», читательская масса будет в затруднении. Для «большинства» может даже встать вопрос: стихи ли это? То, где главное, наисущественное кроется в знаках препинания, в тех или иных расстановках пауз; то, что может строиться на одних ударных слогах — стихи ли или надоевшие кунстштюки? Для примера:

Конь — хром,
Меч — ржав.
Кто — сей?

Вождь толп,

и т. д. <…>

Прочесть без точнейшего соблюдения авторской воли, и прахом распадется заманчивость всей постройки. Эгоизм автора сможет быть больше терпения читателя.

Но ясно одно — в «Ремесле» (какое это, кстати, «ремесло»?) Цветаева на перевале. То, что было до этого — «Разлука», «Версты», «Стихи к Блоку» — шло к этому. В «Ремесле» предел былых устремлений. Так дальше нет пути. Дальнейшее шествование этим путем — шествование к пропасти, в бездну; в сторону от поэзии к чистой музыке. Для поэзии, так дальше конец. Отсюда, т. е. от «Ремесла», должен начаться тихий, планирующий спуск, поворот — надо найти скрытую в многосложности тонкого поэтического дарования тропинку и начать спускаться от разряженной атмосферы вершин в более нормальную обстановку, где ровнее сможет стать дыхание. «Ремесло» — зенит. Отсель раскаленность должна охладиться. Буйность ритмов — утихать. Хаос обресть твердые формы. Перевал перейден. <…>

На што мне облака и степи
И вся подсолнечная ширь.
Я раб, свои взлюбивший цепи,
Благословляющий Сибирь.
…..
Свою застеночную шахту
За всю свободу не продам…

<…>

В этой шахте поэта, поэта, на время забывшего о родстве физическом или литературном и осознающего лишь единое, коренное родство с Россией-ро-диной — больше свободы, чем во всем космическом пространстве. Здесь ширь. Безграничный простор, порождающий пафос безмерности и внемерности. Тут захлебывание и запутывание в лабиринте, созданном отсутствием всяких преград и стен. <…>

Срывается последний вскрик, последняя вспышка посмертной боли, последний, недоконченный, застывший вопль, падающий в пространство и уносимый в просторы бесконечности. После этого потерянность тела, равнодушие, Со-ратник снова становится только поэтом. «Над разбитым Игорем плачет Див». Песни продолжают литься, но нет уже прежней убедительности.

Соловьиное пение заменяется напевностью, и жизнь настойчиво вступает в свои права, вопреки желанию поэта неизменно претворяющая «дважды два» в тоскливое четыре.

К лету вышла ее книжка «Психея» — в «Издательстве З. И. Гржебина» (как и книги Белого, Пастернака, Ремизова, Ходасевича). 15 июля МЦ надписывает этот сборник Волконскому: «Дорогому Сергею Михайловичу — тот час реки, когда она еще не противилась берегам. *МЦ. Прага, 15-го июля 1923 г.».* Эту же книгу в июне читал Бахрах.

МЦ завязывает переписку с Бахрахом.

Мокропсы, 9-го нов<ого> июня 1923 г. (20 апреля) Милый г<осподин> Бахрах,

Вот письмо, написанное мною после Вашего отзыва (месяца два назад?) — непосредственно в тетрадку. Сгоряча написанное, с холоду непосланное, — да вот и дата: 20-ое апреля!

Я не знаю, принято ли отвечать на критику, иначе как колкостями — и в печати.

Но поэты не только не подчиняются обрядам — они творят их! Позвольте же мне нынче, в этом письме, утвердить обряд благодарности: критику — поэта. <…>

Я не люблю критики, не люблю критиков. Они в лучшем случае производят на меня впечатление неудавшихся и посему озлобленных поэтов. (И как часто они пишут омерзительные стихи!) Но хвала их мне еще неприемлемей их хулы: почти всегда *мимо и не за то.* <…>

(Добрососедская статья некоего Мочульского напр<имер>, в парижском «Звене» <…> Если попадется — прочтите, посмейтесь и пожалейте!)

— Ваша критика *умна.* <…> Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта: некую преображенную правду дней. Вы вежливы, вне фамильярности: неустанно на Вы. У Вас хороший вкус: не «поэтесса» (слово, для меня, полупочтенное) — а поэт.

Вы доверчивы, у Вас хороший нюх: так, задумавшись на секунду: кунштюк или настоящее? (Ибо сбиться легко и подделки бывают гениальные!) — Нет, настоящее. Утверждаю, Вы правы. Так, живя стихами с — да с тех пор как родилась! — только этим летом узнала от своего издателя Геликона, что такое хорей и что такое дактиль. (Ямб знала по названию блоковской книги, но стих определяла как «пушкинский размер» и «брюсовский размер».) Я живу — и следовательно пишу — по слуху, т. е. на веру, и это меня никогда не обманывало. Если бы я раз промахнулась — я бы

вся ничего не стоила! <…>

— А что за «Ремесло»? Песенное, конечно. Смысл, забота и радость моих дней. Есть у К. Павловой изумительная формула:

О ты, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло —
Моя напасть, мое богатство,
Мое святое ремесло!

Здесь письмо кончается — и начинается другое:

9 нов<ого> июня 1923 г.

Напомнила мне о Вас Л. М. Эренбург, в недавнем письме. Пишет, что Вы читаете мою «Психею». И вот, в ответ, просьба: попросите Гржебина или его заместителя, чтобы прислал мне авторские, — не помню условия — настаивайте на 25 экз<емплярах>. Я и не знала, что книга вышла, и уже в ужасе от предполагаемых опечаток. Корректура моя была безупречна, за дальнейшее не отвечаю.

И еще просьба: найдите мне издателя на книгу прозы «Земные Приметы»… <…> *Рифы этой книги,* контрреволюция, ненависть к евреям, любовь к евреям, прославление богатых, посрамление богатых, при несомненной белогвардейскости — полная дань восхищения нескольким безупречным живым коммунистам. <…>

Мне один берлинский издатель заочно предлагал за лист 3 доллара. (Нё Геликон, Геликон, напуганный «белогвардейщиной», не берет). <…>

Это моя первая и насущная просьба. Есть у меня и другие неизданные книги: 1) «Драматические Сцены» («Фортуна», к<ото>рую Вы м<ожет> б<ыть> знаете по «Совр<еменным> Записками», «Метель», «Приключение», «Конец Казановы», кстати *изданный против моей воли и в ужасном виде в «Сов<етской>России»)* — и 2) «Мóлодец» (поэма-сказка) — небольшая.

…..

Не приходите в ужас и, если это хоть сколько-нибудь трудно, не исполняйте. И не думайте обо мне дурно: я просто глубоко беспомощна в собственных делах, и книги у меня лежат по 10 лет. (Есть такие — и *не* плохие!)

Обращаюсь к Вам потому что Вы как будто любите мои стихи и еще потому что Вы наверное по вечерам сидите в «Prager-Diele», где пасутся все издатели. Книга нигде не печаталась (это я о

прозе! хотя и другие — нигде), а то я Эпохе продала «Царь-Девицу», уже проданную в Госиздат, и обо мне, быть может, дурная слава.

Для нелюбви к критике и критикам МЦ имела некоторые основания, но, скажем прямо, на этом этапе своей литературной судьбы не столь и большие. Напротив, ее стихи захватывали многих и многих, прежде всего — тех, кто моложе. С ровесниками было посложней. Люди сложившиеся, каждый со своей эстетикой и миропониманием, некоторые из них смотрели скептически на внезапный взлет поэта, до того пребывавшего чуть не в нетях. Но и среди скептиков находились ее симпатизанты, может быть, и через не хочу, ради объективности. Таков отзыв Георгия Иванова о «Ремесле» (Цех поэтов. Кн. 4. Берлин, 1923):

> Стихи Цветаевой имеют тысячи недостатков — они многословны, развинчены, нередко бессмысленны, часто более близки к хлыстовским песням, чем к поэзии в общепринятом смысле. Но и в самых неудачных ее стихах всегда остается качество, составляющее главную (и неподдельную) драгоценность ее Музы — ее интонации, ее очень русский и женский (бабий) говор. Самая книга? Среди ее бесчисленных полустихов, полузаплачек и нашёптываний — есть много отличных строф. Законченных стихотворений — гораздо меньше. Но эти немногие — прекрасны…

Чем же прогневил Марину Константин Мочульский? Его статья называлась «Русские поэтессы — Марина Цветаева и Анна Ахматова» («Звено». 1923. 5 марта). В принципе, в ней сказано о том, о чем уже не раз говорили другие критики. Другое дело, что речь на сей раз шла о «соревнования коросте». О той паре, которая все отчетливей становилась именно парой, то есть объектом неизбежного сравнения.

> Марина Цветаева — одна из самых своеобразных фигур в современной поэзии. Можно не любить ее слишком громкого голоса, но его нельзя не слышать. Ее манеры порой слишком развязны, выражения вульгарны, суетливость ее нередко утомительна, но другой она быть не хочет, да и незачем. Все это у нее — подлинное: и яркий румянец, и горящий, непокладистый нрав, и московский распев, и озорной смех.
>
> А рядом — другой образ — другая женщина — поэт — Анна Ахматова. И обе они — столь непостижимо

различные — современницы.

Пафос Цветаевой — Москва, золотые купола, колокольный звон, старина затейливая, резные коньки, переулки путанные, пышность, пестрота, нагроможденность быта, и сказка, и песня вольная и удаль и богомольность, и Византия и Золотая Орда.

У меня в Москве — купола горят!
У меня в Москве — колокола звонят!
И гробницы в ряд у меня стоят,
В них царицы спят и цари.

Вот склад народной песни с обычными для нее повторениями и параллелизмом. Напев с «раскачиванием» — задор молодецкий. Ахматова — петербурженка; ее любовь к родному городу просветлена воздушной скорбью. И влагает она ее в холодные, классические строки.

Могло показаться, что Мочульский переходит на личности, как будто живет с этой женщиной, Мариной Ивановной, под одним кровом в какой-нибудь советской коммуналке: «суетливость ее нередко утомительна», «горящий, непокладистый нрав». Для обиды и этого было бы достаточно. Но Мочульский ставит этих двух поэтов чуть ли не на разные сословные ступени, лишая МЦ ее бабки-дворянки и самосознания XVIII столетия. Можно было бы, вообще говоря, загордиться: она — голос московского простонародья. Разве она не стремилась к такой роли? Но она не намерена отказываться от другого своего — от Казановы, от Орфея, от Скрябина и дочери Иаира, Саула и Давида. В «Ремесле», как в никакой другой ее книге, все это было сведено в единый мир. И уж совершенно несправедливо для МЦ прозвучало утверждение критика:

Ахматова восходит по ступеням посвящения: от любви земной к любви небесной. Истончилось лицо ее, как иконописный лик, а тело «брошено», преодолено, забыто. Прошлое лишь во снах тревожит, вся она в молитве, и живет в «белой светлице» в «келье». Цветаева — приросла к земле; припала к ней пахучей и теплой и оторваться не может. Она — ликующая, цветущая плоть. Что ей до Вечности, когда земная жажда ее не утолена и неутолима.

Общий вывод для МЦ и вовсе неприемлем:

> Искусство Ахматовой — благородно и закончено. Ее стихи совершенны в своей простоте и тончайшем изяществе. Поэт одарен изумительным чувством меры и безукоризненным вкусом. Никаких скитаний и метаний, почти никаких заблуждений. Ахматова сразу выходит на широкий путь (уже в первом ее сборнике «Вечер» есть шедевры) и идет по нему с уверенной непринужденностью. Цветаева, напротив, все еще не может отыскать себя. От дилетантских, институтских стихов в «вечерний альбом» (заглавие первого ее сборника) она переходит к трогательным мелочам «Волшебного Фонаря», мечется между Брюсовым и Блоком, не избегает влияния А. Белого и Маяковского, впадает в крайности народного жанра и частушечного стиля. У нее много темперамента, но вкус ее сомнителен, а чувства меры нет совсем. Стихи ее неровны, порой сумбурны и почти всегда растянуты. Последняя ее поэма «Царь-Девица» погибает от многословья. И все же это произведение — примечательное и голос ее не забывается.

Мочульский формулирует шаблон, существующий поныне: Цветаева все еще не может отыскать себя.

МЦ нашла то, что нашла. Все перечисленное критиком — столь же процесс, сколь и результат. Это такая личность. Такой поэт. Не надо никакого волшебного фонаря, чтобы обнаружить этого поэта и в «Вечернем альбоме».

Проблема «отыскать себя» больше относится к Сергею Эфрону.

Евразийство вышло из русской эмигрантской среды, осевшей в Болгарии, — сборником статей «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев» (София, 1921). О судьбах самобытной России, имеющей древнюю предысторию, и ее взаимоотношениях с Западом высказались лингвист Николай Трубецкой, географ и экономист Петр Савицкий, историк Георгий Флоровский и писатель-музыковед Петр Сувчинский. В том же 1921 году Савицкий и Флоровский получают приглашение читать лекции в Праге. Последовали сборники — «На путях» (1922) и «Россия и латинство» (1923). Евразийское книгоиздательство стало выпускать альманах «Евразийский временник» и журнал «Евразийские хроники». К евразийству примкнули видные ученые из разных сфер науки — Г. В. Вернадский, Р. О. Якобсон,

Л. П. Карсавин, В. Э. Сеземан, Д. П. Святополк-Мирский. Внутри движения было неспокойно, начиналось деление на левых и правых[93]. Уже в 1923-м с ними со всеми порвал Флоровский.

Сергей Эфрон вряд ли сильно углублялся в теоретические дебри, постепенно тяготея влево постольку, поскольку наследственное народничество осталось в его крови. Он переживал глубочайшее разочарование в добровольчестве, испытывал вину за содеянное и потребность искупить ее. Все это стало жгучей тягой к России. В Праге он организует — это он-то, вяловатый Сережа — Демократический союз русских студентов и становится соредактором журнала «Своими путями», издаваемого Союзом.

Возможно, невыход «Лебединого стана» МЦ отдельной книгой, помимо издательских препятствий, обусловлен эволюцией Эфрона, их разговорами наедине. Так или иначе, внутренние перемены мужа стали для нее полной неожиданностью и первой мировоззренческой межой между ними. Его постоянные отсутствия — с утра до вечера — вряд ли объяснялись только лишь поглощенностью университетом.

Тем не менее в конце июня 1923-го она просит Гуля:

> В следующем № «Русской Книги» поместите, пожалуйста, если не поздно:
>
> Подготовлена к печати книга:
>
> СЕРГЕЙ ЭФРОН — «ПОБЕЖДЕННЫЕ» (С МОСКОВСКОГО ОКТЯБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ —
>
> ПО ГАЛЛИПОЛИ. ЗАПИСКИ ДОБРОВОЛЬЦА) МАРИНА ЦВЕТАЕВА — «ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ» Т. 1. (МОСКВА, МАРТ 1917 г. — ОКТЯБРЬ 1919 г. ЗАПИСИ.)
>
> — «МОЛОДЕЦ» (ПРАГА, 1923 г. ПОЭМА-СКАЗКА.)
>
> — «ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН» (МОСКВА, МАРТ 1917 г. — ДЕКАБРЬ 1920 г. БЕЛЫЕ СТИХИ.)

Кстати говоря, за только что вышедшую книжку Романа Гуля «В рассеянии сущие» она его по сути отчитала: «…жаль, что Вы в Берлине, а не в Праге, ибо книга, за некоторыми лирическими отступлениями, написана Берлином, а не Вами. <…>…если книга автобиографична — мне жаль Вас. Где Вы нашли таких уродов??? Почему Вы не писали — себя, душу, *живую жизнь* в Берлине? Я не верю, что это — Вы». Тем самым она приблизила их взаимное отдаление. Практические хлопоты — издание книги «Земные приметы», ее объем и оплата — она теперь переповеряет еще и Бахраху.

В Праге она бывает редко, на каждом собрании Союза писателей и журналистов сбрасывают старого председателя и

голосуют нового. «Я неизменно сажусь около Маковского[94] и обезьяню с него все жесты. Он подымет руку — и я подымаю, он забудет — а я в глупом положении, — сообщает она 30 июня в письме жене Глеба Струве, милой Юлии. — Пишу стихи, читаю Диккенса, собираю — до потери сознания! — чернику, мечтаю о новом платье, но глубже вдумавшись, понимаю, что оно бессмысленно, потому что тоже станет старым». МЦ прислала им книгу «Ремесло» через Екатерину Исааковну, жену Николая Еленева («одного из здешних студентов»).

На книге поставлена надпись, адресованная дочери Юлии и Глеба — Марине:

> Моей крестнице в мирах иных
> — Марине —
> На первую Пасху в ее земной жизни —
> Без обязательства читать.
> Марина Цветаева
> Прага, Вербная неделя 1923 г.

И далее в письме к Юлии: «Спасибо Глебу за прекрасный отзыв о «Ремесле» и «Психее». <…> П<етра> Б<ерн-гардовича> вижу редко и бегло, мне кажется, что он меня не любит, а это не располагает. («Не любит» здесь, как: не дохожу.)».

С Глебом Струве МЦ познакомилась в Берлине, он был сторонником ее стихов, как мы уже говорили. Его отзыв на две книги МЦ — «Ремесло» и «Психея» — напечатан в газете «Руль» 24 июня 1923 года (№ 779):

Из русских поэтесс бесспорно самой признанной является Анна Ахматова. Марине Цветаевой еще далеко до ахматовской славы. Но несомненно, что при всех недостатках поэзия Цветаевой интереснее, шире, богаче возможностями, чем узкая по диапазону лирика Ахматовой. Ахматова — законченный поэт, создавший вещи, которые останутся навсегда. Но источник ее творчества уже застывает или оскудевает. Мы не чувствуем в ней потенциальной силы. После «Четок» было углубление старого русла, но не было движения вширь. Цветаева, напротив, вся — будущая потенция. У этих двух поэтесс общего только то, что они обе женщины и что их женская суть находит выход в поэзии. Тяготение Цветаевой к Ахматовой, выразившееся в посвящении целого цикла стихов, не поэтическое, а душевное, человеческое. Они во всем противоположны. Тогда как у Ахматовой везде — строгость, четкость, мера, подчинение словесной стихии логическим велениям, тяготение к классическим размерам, у Цветаевой из каждой строчки бьет и пышет романтическая

черезкрайность и черезмерность, слова и фразы насилуются, гнутся, ломаются в угоду чисто ритмическим заданиям, а ритмы пляшут и скачут как бешеные. Не стихи, а одно сплошное захлебывание, один огромный одновременный (каждое мгновение дорого! не промедлить, не упустить!) вздох и выдох:

Пью — не напьюсь. Вздох — и огромный выдох,
….
Так по ночам, тревожа сон Давидов,
Захлебывался царь Саул.

В стихах Ахматовой и Цветаевой ясно выразились две линии современной русской поэзии: петербургская и московская. Петербургская — это, кроме Ахматовой: Мандельштам, Кузмин, Ходасевич, Рождественский и др. молодые. Московская — это, кроме Цветаевой: А. Белый, Есенин, Пастернак, имажинисты и футуристы, поскольку они поэты, Эренбург. В цветаевской галерее место и Пушкина. Московская — от нутра, от народной песни, от Стеньки Разина. Не может быть, чтобы Цветаева не любила и не ценила Пушкина, но она наверное больше любит романтических «Цыган» (одно имя Мариула чего стоит!), чем «Медного всадника» или «Евгения Онегина». А когда Цветаева обретает строгость, это строгость не набережных и проспектов императорского Петербурга, а пышная строгость византийской иконописи.

У каждого поэта есть своя поэтическая родословная, более или менее явная. У Цветаевой ее нет. Иногда за ее строчками, то в бешеной скачке обгоняющими одна другую, то в каком-то неповоротливом движении одна за другую цепляющимися, но почти никогда не текущими плавно — почудятся лики и лица Державина, Тютчева, Блока, Эренбурга. Покажутся и скроются. Не портреты, а призраки. Не настоящие: в галерее предков их не повесишь. Прочтите «Сугробы», «Ханский полон», «Переулочки» — при чем тут Державин, Тютчев, даже Блок и Эренбург? В цветаевской галерее место только одному лику, но этот один на стене не закрепишь: все норовит уйти. Это — лик России.

Родины моей широкоскулой
Матерный, бурлацкий перегар,
Или же — вдоль насыпи сутулой,
Шепоты и топоты татар.

Единственное сильное влияние, ощутимое в поэзии Цветаевой, — это влияние русской народной песни. Не оттуда ли

этот безудерж ритмов? Цветаева безродна, но глубоко почвенна, органична. Свое безродство она как будто сознает сама, когда говорит:

Ни грамоты, ни праотцев,
Ни ясного сокола.
Идет — отрывается, —
Такая далекая!
……
Подол неподобранный,
Ошметок оскаленный.
Не злая, не добрая,
А так себе: дальняя.

В «Ремесле» (здесь стихи, наиболее поздние по времени: 1921—22 гг.) народно-песенный уклон поэзии Цветаевой сказался с особой силой. По ритмическому богатству и своеобразию это совершенно непревзойденная книга, несмотря на присутствие плохих, безвкусных стихов (Цветаева лишена чувства меры, и от этого страдает часто ее вкус). Но, мне кажется, дальнейший путь Цветаевой пролегает не здесь, не в области разрешения чисто ритмических задач. Многие стихи «Ремесла» суть, по-видимому, просто опыты; еще не прошел «час ученичества» и не наступил «час одиночества», т. е. наибольшей поэтической зрелости.

Есть у Цветаевой другой намек на родство — с романтиками. В книжке «Психея» она собрала стихи разного времени, преимущественно более ранние, чем в «Ремесле» (есть и 1916 г.), объединив их по признаку «романтики». И это едва ли не лучшее из того, что Цветаевой написано. Романтическая струя — основная в ее творчестве. Чуется она и в «Ремесле», где, однако, внутренний романтизм заслоняется внешней вакханалией ритмов. Но в «Психее» она проступает явственно. С романтиками роднит Цветаеву и самая ее черезкрайность, стремление перелиться в другую заповедную стихию — проникнутость поэзии духом музыки. Романтические стихи Цветаевой неизменно задевают и волнуют — не только ошарашивают, как некоторые ее ритмические опыты, — не есть ли это самое большее, что можно сказать о стихах? Особенно хороши циклы «Плащ», насыщенный подлинной романтикой, «Иоанн», «Даниил», «Стихи к дочери».

Дальнейший путь Цветаевой теряется в тумане, но она вступает в него с богатой поклажей поэтических возможностей. С интересом будем ждать ее дальнейших книг.

Обе книги изданы хорошо, особенно «Ремесло».

По-видимому, все критические толки о *вкусе* для МЦ — пустое. Поелику вкус и гений — несовместны. Вкус — всеобщая договоренность о норме. Гений преступает любые узаконения. А вот молчание критики о стихах Али, завершающих «Психею», могло обидеть их обеих. МЦ отзывается на рецензию Струве — в письме:

> *30-го июня 1923 г.*
> Милый Глеб,
>
> Ваше гаданье правильно: мало люблю «Евгения Онегина» и *очень* люблю Державина. А из Пушкина больше всего, вечнее всего люблю «К морю», — с десяти лет по нынешние тридцать. И «версты полосаты», и там, где про кибитку: Пушкина в просторах. Там он *счастливее* всего, там он не должен быть злым. Эренбурга из призраков галереи вычеркиваю, я его мало читала, со стихами его, по-настоящему, познакомилась только в Берлине. (Не потому вычеркиваю, что поссорилась, — честное слово!) <…>
>
> Согласна, что «Психея» для читателя приемлемее и приятнее «Ремесла». Это — мой откуп читателю, ею я покупаю право на «Ремесло», а «Ремеслом» — на дальнейшее. Следующую книгу будете зубами грызть. Но это еще не скоро.

Однако наиболее внимательно МЦ прислушивается — к Ходасевичу. Под именем Ф. Маслов он, пребывая все еще в гражданах большевистской России, печатает свой отзыв на ее книги в петроградской газете «Книга и революция» (1923. № 4):

Судьба одарила Марину Цветаеву завидным и редким даром: песенным. Пожалуй, ни один из ныне живущих поэтов не обладает в такой степени, как она, подлинной музыкальностью. Стихи Марины Цветаевой бывают в общем то более, то менее удачны. Но музыкальны они всегда. И это — не слащаво-опереточный мотивчик Игоря Северянина, не внешне-приятная «романтическая переливчатость» Бальмонта, не залихватское треньканье Городецкого. «Музыка» Цветаевой чужда погони за внешней эффектностью, очень сложна по внутреннему строению и богатейшим образом оркестрована. Всего ближе она — к строгой музыке Блока.

И вот поскольку природа поэзии соприкасается с природою музыки, поскольку поэзия и музыка где-то там сплетены корнями — постольку стихи Цветаевой всегда хороши. Если бы их только «слушать», не «понимая». Но поэзия есть искусство слова, а не

искусство звука. Слово же — есть мысль, очерченная звучанием: ядро смысла в скорлупе звука. Крак — мы раскусываем орех — и беда, ежели ядро горькое, или ежели его нет вовсе.

Не равноценны ядра цветаевских песен. Книги ее — точно бумажные «фунтики» ералаша, намешанного рукой взбалмошной: ни отбора, ни обработки. Цветаева не умеет и не хочет управлять своими стихами. То, ухватившись за одну метафору, развертывает она ее до надоедливости; то, начав хорошо, вдруг обрывает стихотворение, не использовав открывающихся возможностей; не умеет она «поверять воображение рассудком» — и тогда стихи ее становятся нагромождением плохо вяжущихся метафор. Еще менее она склонна заботиться о том, как слово ее отзовется в читателе — и уж совсем никогда не думает о том, верит ли сама в то, что говорит. Все у нее — порыв, все — минута; на каждой странице готова она поклониться всему, что сжигала, и сжечь все, чему поклонялась. Одно и то же готова она обожать и проклинать, превозносить и презирать. Такова она в политике, в любви, в чем угодно. Сегодня — да здравствует добровольческая армия, завтра — Революция с большой буквы. Ничего ей не стоит, не замечая, пройти мимо существующего и вопиющего — чтобы повергнуться ниц перед несуществующим, — например, воспеть никогда не существовавшего «сына Блока Сашу» («Ремесло», стр. 87–88) в виде вифлеемского младенца, от чего неверующему человеку станет смешно, а верующему — противно. В конце концов — со всех страниц «Ремесла» и «Психеи» на читателя смотрит лицо капризницы, очень даровитой, но всего лишь капризницы, может быть — истерички: явления случайного, частного, переходящего. Таких лиц всегда много в литературе, но история литературы их никогда не помнит.

Начал уважаемый собрат во здравие — кончил за упокой. Но сравнение с Блоком — дорогого стоит. Правда, тут кроется второй, невидимый план — сам Ходасевич внутренне оппонирует Блоку относительно преобладания музыки. Для него первичен смысл, прямая речь, отсутствие всяческого украшательства. Так что и эта похвала Цветаевой из его уст несколько условна и рассчитана на проницательный ум МЦ. Поняла? Услышала соперника?..

Проще говорить с другими — с молодыми. В письме Бахраху (30 июня 1923 года) она уже рисует себя в качестве Сивиллы («каменное материнство, материнство скалы») и обращается к нему попросту: «дитя». Ее умиляет его признание в том, что он не написал ни одного стиха за «всю недолгую жизнь». Идеально для критика! Бескорыстная любовь к поэзии, то есть чудо. Но дело

есть дело: «Самое главное для меня устройство «Земных Примет» (книга записей)». Дальше — поэма «Мóлодец», но с ней она не торопится, ибо хочет издать ее безукоризненно.

Ее охватывает умиление. Откуда бы? Сама не знает. Ей вспоминается татарчонок Осман. Больше года она не была в Берлине, последние воспоминания о котором — плачевные: «…я в неопределенной ссоре с Э<ренбур>гом и в определенной приязни с его женой, кроме того меня не выносит жена Геликона (все это между нами) — и главное — я невероятно (внешне) беспомощна…»

В середине июля она завершает письмо — стихами:

В глубокий час души и ночи,
Не числящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Не числящиеся в ночах

Ничьих еще… Двойной запрудой
— Без памяти и по края —
Покоящиеся. — Отсюда
Жизнь начинается твоя.

Седеющей волчицы римской
Взгляд, в выкормыше зрящий — Рим!
Сновидящее материнство
Скалы… Нет имени моим

Потерянностям. — Все покровы
Сняв — выросшая из потерь! —
Так некогда над тростниковой
Корзинкою клонилась дщерь

Египетская…

14 июля 1923 («В глубокий час души и ночи…»)

Она с головой уходит в материнскую ипостась. «Дорогая деточка моя…» Ее разговор с Бахрахом, который — «дорогая деточка» ее воображения, это не прессинг ее собственной матери, но некое воркование, прежде всего — растолкование себя самой, своей поэзии.

МЦ пишет «какого-то июля 1923 г.»:

О русском русле. Дитя, это проще. Русская я только

через стихию слова. Разве есть русские (французские, немецкие, еврейские и пр.) чувства? Просторы? Но они были и у Атиллы, есть и в прериях. Есть чувства временные (национальные, классовые), вне-временные (божественные: человеческие) и дб-временные (стихийные). Живу вторыми и третьими. Но дать голую душу — без тела — нельзя, особенно в большой вещи. Национальность — тело, т. е. опять одежда. Прочтите Ц<арь>-Девицу — настаиваю. <…>

А Переулочки — знаете, что это? Не Цирцея ли, заговаривающая моряков? Переулочки — морока, неуловимая соблазнительница, заигрывающая и заигрывающаяся. Соблазн — сначала раем (яблочком), потом адом, потом небом. Это *сила* в руках у *чары.* Но не могу же я писать их как призраков. Она *должна* обнимать, он *должен* отталкивать. Но борются не тела, а души.

Она не хотела бы очной встречи. То же самое у нее и с Пастернаком, и практически со всеми, с кем она заводит эпистолярные романы. «Может статься, мне не понравится Ваш голос, может статься — Вам не понравится мой (нет, голос понравится, а вот какая-нибудь повадка моя — может быть — нет) и т. д.».

В письме от 20 июля 1923 года:

Пишу Вам поздно ночью, только что вернувшись с вокзала, куда провожала гостя на последний поезд. Вы ведь не знаете этой жизни.

Крохотная горная деревенька, живем в последнем доме ее, в простой избе. Действующие лица жизни: колодец-часовенкой, куда чаще всего по ночам или ранним утром бегаю за водой (внизу холма) — цепной пес — скрипящая калитка. За нами сразу лес. Справа — высокий гребень скалы. Деревня вся в ручьях. Две лавки, вроде наших уездных. Костел с цветником-кладбищем. Школа. Две «реставрации» (так, по-чешски, ресторан). По воскресеньям музыка. Деревня не деревенская, а мещанская: старухи в платках, молодые в шляпах. В 40 лет — ведьмы. <…>

Я здесь живу уже с 1-го авг<уста> 1922 г., т. е. скоро будет год. В Праге бываю раз — редко два — в месяц. У меня идиотизм на места, до сих пор не знаю ни одной улицы. Меня по Праге водят. Кроме того, панически боюсь автомобилей. На площади я самое

жалкое существо, точно овца попала в Нью-Йорк. <…>

В письме от 25 июля:

> Дружочек, нарушение формы — безмерность. Я неустанно делаю это в стихах, была моложе — только это и делала в жизни! <…>
>
> Об эстетстве. Эстетство, это бездушие. Замена сущности — приметами. Эстет, минуя живую заросль, упивается ею на гравюре. Эстетство, это расчет: взять все без страдания: даже страдание превратить в усладу! Всему под небом есть место: и предателю, и насильнику, и убийце — а вот эстету нет! Он не считается. Он выключен из стихий, он нуль.
>
> Дитя, не будьте эстетом! Не любите красок — глазами, звуков — ушами, губ — губами, любите все душой.

Между тем она подумывает о визите в Берлин.

> Ряд вопросов: 1) Сумеете ли Вы достать мне разрешение на въезд и жительство в Берлине и сколько это будет стоить? (Говорю о разрешении).
>
> 2) Где я буду жить? (М<ожет>б<ыть> — в «Trauten-auhaus», но в виду расхождения с И. Г. Э<ренбургом> — не наверное.)
>
> 3) Будет ли к половине сентября в Берлине Б<орис>Н<иколаевич>?
>
> 4) Есть ли у Вас для меня в Берлине какая-нибудь милая, веселая барышня, любящая мои стихи и готовая ходить со мной по магазинам. (Здесь, в Праге, у меня — три!)
>
> 5) Согласны ли Вы от времени до времени сопровождать меня к издателям и в присутств<енные> места (невеселая перспектива?!)
>
> 6) Есть ли у Вас ревнивая семья, следующая за Вами по пятам и в каждой женщине (даже стриженой) видящая — роковую?!
>
> 7) Обещаете ли Вы мне вместе со мной разыскивать часы: мужские, верные и не слишком дорогие, — непременно хочу привезти Сереже, без этого не поеду.

Это письмо очень большое, в тот же день МЦ продолжает его вторым письмом, отвечая на письмо Бахраха. По ходу дела у МЦ для Бахраха нашлось и обращение «милый друг». Они

разговорились на тему души и тела.

> Двадцати лет, великолепная и победоносная, я во всеуслышание заявляла: «раз я люблю душу человека, я люблю и тело. Раз я люблю слово человека, я люблю и губы. Но если бы эти губы у него срезали, я бы его все-таки любила». Фомам Неверующим я добавляла: «я бы его еще больше любила». <…>
>
> В<еру> А<лексеевну> З<айце>ву я нежно люблю, Аля звала ее «Мать-Природа», а Б<орис>К<онстантинович> мне ску-учен! (Аля, года два назад: — «Марина! У него такое лицо, точно его *козел родил!»)* И Х<одасе>вич скучен! Последние его стихи о заумности («Совр<еменные> з<аписки>») — прямой вызов Пастернаку и мне. (Мой единственный *брат* в поэзии!)

Здесь она ошибается. Стихотворение Ходасевича «Жив Бог! Умен, а не заумен…» адресовано некоторым смельчакам от футуризма, в частности — Крученых и Хлебникову. Уместней было бы подумать о Чурилине, но МЦ все одеяло мира тянет — на себя. Между прочим, Бахрах передает ей привет от Ходасевича, с которым пересекся где-то в Берлине. Она откликнулась: «Ответный привет ему передайте». Хотя Ходасевич для нее — «слишком бисерная работа». Она любит «растущих» Пастернака, Мандельштама и Маяковского (прежнего, — но авось опять подрастет!).

> Выбор слов — это прежде всего выбор и очищение чувств, не все чувства годны, о верьте, здесь тоже нужна работа! Работа над словом — работа над собой. Вот этого я хочу от Вас: созвучности в пристрастиях и оттолкновениях: чтобы Вы поняли, почему я не люблю Х<одасевича> («пробочка над йодом», «сам себе целую руки», а особенно — до содрогания! — стих в «Совр<еменных> Записках» — «Не чистый дух, не глупый скот» — или вроде!) — и почему люблю Мандельштама, с его путаной, слабой, хаотической мыслью, порой бессмыслицей (проследите-ка логически любой его стих!) и неизменной МАГИЕЙ каждой строки. Дело не в «классицизме», — пожалуй, оба классики! — в ЧАРАХ. И, возвращаясь к Вам и к себе: найдите слова, которые меня чаруют, я только чарам верю, на остальное у меня ланцет: мысль.

Все абстракции, связанные с поэзией, неотделимы от быта.

Так, у МЦ весьма дифференцированное отношение — к писательским женам. Жену Эренбурга или Зайцева — любит, к женам Пастернака, Ходасевича или Мандельштама — язвительно прохладна, а порой и беспощадна, как это обнаружится позже в случае Натали Пушкиной.

В начале августа 1923-го МЦ шлет письмо Всеволоду Александровичу Богенгардту с просьбой устроить Алю в гимназию. Русская гимназия была открыта в 1920 году в Константинополе, а потом переехала в Моравскую Тшебо-ву (Тршебову), где была размещена в военном лагере, в помещениях бывшего военного санатория. Содержалась гимназия правительством Чехословацкой Республики: полный пансион, одежда и учебники. К началу 1922/23 года в ней числилось 500 воспитанников и около сорока человек персонала. Директором был А. П. Петров. Гимназия просуществовала почти 20 лет.

Ариадна Эфрон написала в «Воспоминаниях дочери»:

Марине не хотелось меня отпускать: по старинке она считала, что девочкам образование ни к чему, и — боялась разлуки. И на разлуке, и на образовании настоял отец. Кроме того, в гимназии работали в качестве воспитателей недавние однополчане отца, супруги Богенгардты. Он — высокий, рыжий, с щеголеватой выправкой, офицер еще царской армии, она — крупная, громоздкая, с волосами, собранными на затылке в тугой кукиш, с явно черневшими над верхней губой усиками — сестра милосердия, мать-командирша. На фронте она выходила его после тяжелых ранений, отучила от водки, отвела от самоубийства, стала его женой. И, чтобы жизнь получила оправдание и смысл, оба посвятили ее детям-сиротам. <…> Это были люди большого сердца… У них остановились Марина и Сережа на недолгое время моих приемных экзаменов — потом родители расстались со мною до Рождества.

2 сентября 1923 года они переехали из деревни в Прагу.

До того, 11 августа, МЦ пишет Цетлиной, не ответившей ей на предыдущее письмо, прося о материальной помощи в связи с устройством Али в гимназию. На этом их переписка прервалась.

МЦ с мужем собираются жить в Праге на горе, вроде как на чердаке (под крышей), но зато без хозяев. Переезд по обыкновению мучителен, вещей много, два огромных чемодана: рукописи, отребья, сапоги, кастрюльки, всё — хлам, но очень нужный.

Одно из последних стихотворений МЦ в Мокропсах — «Наука Фомы»:

Без рук не обнять!
Сгинь, выспренных душ
Небыль!
Не вижу — и гладь,
Не слышу — и глушь:
Не был.

Круги на воде.
Ушам и очам —
Камень.
Не здесь — так нигде.
В пространство, как в чан
Канул.

Руками держи!
Всей крепостью мышц
Ширься!
Что сны и псалмы!
Бог ради Фомы
В мир сей

Пришел: укрепись
В неверье — как негр
В трюме.
Всю в рану — по кисть!
Бог ради таких
Умер.

24 августа

В тот же день — короткая записка Пастернаку: «Всё отшвыривает, Б<орис>П<астернак>, к Вам на грудь, к Вам — в грудь. Вас многие будут любить и Вы будете знаменитым поэтом — дело не в том! Никогда и ни в ком Вы так не прозвучите, я читаю Ваши умыслы».

Через день — первое стихотворение из цикла «Магдалина»:

1

Меж нами — десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает,
Ты мне — чужая кровь.

Во времена евангельские

Была б одной из тех…
(Чужая кровь — желаннейшая
И чуждейшая из всех!)

К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась — светла
Масть! — очесами демонскими
Таясь, лила б масла.

И ни ноги бы, и под ноги бы,
И вовсе бы так, в пески…
Страсть по купцам распроданная,
Расплеванная — теки!

Пеною уст и накипями
Очес и потом всех
Нег… В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех.

Некою тканью под ноги
Стелюсь… Не тот ли (та!)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: встань, сестра!

Двадцать седьмого августа 1923 года — первое письмо МЦ Константину Болеславовичу Родзевичу. Генеральский сынок, на три года моложе Марины, невысок (165 см), белокурый красавец («белый волк»). Воинская судьба: был красным, попал в плен к белым, стал белым. В Карловом университете заканчивает юридический факультет и уже, возможно, сотрудничает с советской разведкой. Близко дружит с Сергеем Эфроном.

МЦ считает его счастливчиком и назвала «Арлекин», в отличие от бесконечного множества Пьеро, печальных и глупых. Фамилию, конечно же, искажает: «Радзевич». Надпись на ее книге «Ремесло»: «Моему дорогому Радзевичу — на долгую и веселую дружбу. *Марина Цветаева. Чехия-Прага-Мокропсы. Апрель 1923 г.».* Да, познакомились еще весной, никаких признаков взаимовлечения не просматривалось, и — вдруг.

27-го августа 1923 г.
Мой родной Радзевич,

Вчера, на большой дороге, под луной, расставаясь с Вами и держа Вашу холодную (NB! от голода!) руку в

своей, мне безумно хотелось поцеловать Вас, и, если я этого не сделала, то только потому, что луна была — *слишком* большая!

Мой дорогой друг, друг нежданный, нежеланный и негаданный, милый чужой человек, ставший мне навеки родным, вчера, под луной, идя домой я думала (тропинка летела под ногами, луна летела за плечом) — «Слава Богу, слава мудрым богам, что я этого прелестного, опасного, *чужого* мальчика — не люблю! Если бы я его любила, я бы от него не оторвалась, я — *не* игрок, ставка — *моя* душа! < … >

…..

Радзевич, сегодня утром письмо — экспресс. Приедете — прочтете. Я глубоко-счастлива, в первый раз, за месяц, дышу. (Нет, вчера, под большой луной, держа Вашу руку в своей, тоже дышала, хотя не так… покойно!) Полюбуйтесь теперь игре случая: целый месяц — почти что день в день — я молчала: жила стиснув губы и зубы, и нужно же было в последний день, в последний час…

Что-то кинуло меня к Вам. Вы были мудры и добры, Вы слушали, как старый и улыбались, как юный. У меня к Вам за этот вечер — огромная нежность и благодарность навек.

…..

Теперь, Радзевич, просьбы: в самый трудный, в самый безысходный час своей души — идите ко мне. Пусть это не оскорбит Вашей мужской гордости, я знаю, что Вы сильны — и КАК Вы сильны! — но на всякую силу — свой час. И вот в этот час, которого я, любя Вас, Вам не желаю, и которого я, любя Вас — Вам все-таки желаю, и который — желаю я или нет — все-таки придет — в этот час, будь Вы где угодно, и что бы ни происходило в моей жизни — окликните: отзовусь.

…..

Это не пафос, это просто мои чувства, которые всегда БОЛЬШЕ моих слов.

Этого письма не закладывайте в книгу, как письма Ваших немецких приятельниц, уже хотя бы потому, что оно менее убедительно, чем те.

А пока — жму Вашу руку и жду Вас, как условились.

МЦ

В тот же день, 27-го, МЦ отвечает Бахраху, от которого она получила письмо после месячного перерыва в переписке, —

письмо пришло в самый неподходящий момент: МЦ переключилась на Родзевича — и все остальное потеряло для нее интерес, тем более выдуманные отношения. Но теперь Бахрах призван в свидетели нового чувства. Все это происходит в горячие дни подготовки к переезду в Прагу и устройства Али в гимназию.

> *27-го августа 1923 г., понедельник*
>
> Дитя моей души, беру Вашу головку к себе на грудь, обнимаю обеими руками и — так — рассказываю.
>
> Я за этот месяц исстрадалась. <…> Мои чувства — наваждения, и я… <…> *безумно* страдаю! <…> Друг, я не маленькая девочка (хотя — в чем-то никогда не вырасту), жгла, обжигалась, горела, страдала — всё было! — но ТАК разбиваться, как я разбилась о Вас, всем размахом доверия — о стену! — никогда. Я оборвалась с Вас, каке горы. <…>
>
> Я была на самом краю (вчера!) другого человека: просто — губ. Целый тревожный вечер вместе. Тревога шла от меня, ударялась в него, он что-то читал, я наклонилась, сердце ббмерло: волосы почти у губ. Подними он на 1/100 миллиметра голову — я бы просто не успела. Провожала его на вокзал, стояли под луной, его холодная как лед рука в моей, слова прощания уже кончились, руки не расходились, и я: «Если бы»… и как-то задохнувшись: «Если бы…» (…сейчас не была такая большая луна…) и, тихонько высвободив руку: «Доброй ночи!»
>
> Изменяем мы себе, а не другим, но если другой в этот час — ты, мы все-таки изменяем другому. Кем Вы были в этот час? Моей БОЛЬЮ, губы того — только желание убить боль.
>
> Это было вчера, в 12-том часу ночи. Уходил последний поезд. <…> У меня есть записи всего этого месяца. «Бюллетень болезни», пришлю Вам их после Вашего следующего письма.
>
> Убедите меня в необходимости для Вас моих писем — некая трещина доверия, ничего не поделаешь.
>
> 1-го переезжаю в Прагу, адр<ес> мой: Praha, Kasire, Svedska ul<ice> 1373 — мне — недели 2–3 Вы можете писать мне все, что — и как часто — захочется, потом извещу. Первое письмо прошу заказным, меня еще там не знают, и может пропасть, а я больше — *не* могу!

МЦ высылает Бахраху фотографию с изображением семьи: она, ее муж, ее дочь. Мужа — вырезает («плохо вышел»). Будет

отправлен ему и «Бюллетень болезни»: томление по Бахраху. «Я поняла: Вы не мой родной сын, а приемыш, о котором иногда тоскуешь: почему не мой?» Рискованная автоцитата, из юношеских стихов:

Начинать наугад с конца
И кончать еще — до начала.

Все это время идет развитие настоящего романа — с Родзевичем.

Из письма Бахраху 28 августа:

> Сейчас лягу и буду читать Троянскую войну. Никого не могу читать, кроме греков. У меня огромный немецкий том[95]: там всё. К Трое я подошла через свои стихи, у меня часто о Елене, я наконец захотела узнать, кто она, и — никто. Просто — дала себя похитить. Парис — очаровательное ничтожество, вроде моего Лозэна. И как прекрасно, что именно из-за них — войны! <…>

МЦ дописывает цикл «Магдалина» — второе и третье стихотворения:

2

Масти, плоченные втрое
Стоимости, страсти пот,
Слезы, волосы, — сплошное
Исструение, а тот

В красную сухую глину
Благостный вперяя зрак: —
Магдалина! Магдалина!
Не издаривайся так!

3

О путях твоих пытать не буду,
Милая! — ведь все сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И — слез.

Не спрошу тебя, какой ценою

Эти куплены масла.
Я был наг, а ты меня волною
Тела — как стеною
Обнесла.

Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
— Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла
Как волна.

31 августа 1923

Со 2 сентября 1923 года до конца мая 1924-го супруги Эфрон живут по адресу Прага-5, на Гржебенках, Шведска ул., № 51/1373, на склоне горы Петршин, под горой — район Смихов. В начале сентября стало фактом: друг — любовник жены. Сергей сокрушен. МЦ пишет Родзевичу:

> Начинаю письмо со скромного требования: Р<одзевич>, мне нужно — чудо. Я сейчас совершенно разбита и Вам предстоят чудовищные трудности. — Не боюсь! — Нет, бойтесь! <…> Дитя родное, приди Вы ко мне в другой час (?) Вы бы застали меня другой, но сейчас я после огромного поражения, не смейтесь, дело не в Икс и не Игреке, дело во мне. <…>
>
> Милый друг, сейчас идут самые ужасные дни моей жизни, и Вам нужно переродиться, чтобы меня внутренне не утерять. Я разорвана пополам. Меня нет. Есть трещина, только ее и слышу. Моя вина (<пропуск одного слова> совести во мне!) началась с секунды его боли, пока он не знал — я НЕ была виновата. (Право на свою душу и ее отдельную жизнь.)
>
> Все эти дни я неустанно боролась в себе за Вас, я Вас у совести — отстояла, дальнейшее — дело Вашей СИЛЫ. Это моя единственная надежда. Вся моя надежда на Вас, я сейчас выбыла из строя, во мне живого места нет, только боль. Тйк не живут, я и не живу.

МЦ пишет Бахраху:

> *<4 сентября 1923 г. >*
>
> Это письмо похоже на последнее. Завтра 5-ое, последний срок. Не напишите — Вам не нужно, значит не нужно и мне. <…> Не скажу Вам даже, что навсегда прощаюсь с Вами, это решит жизнь. Не отнимаю у Вас права когда-нибудь, в какой-то там час, окликнуть меня, но не даю Вам права окликать меня зря. <…> Когда-нибудь пришлю Вам стихи: Ваше да вернется к Вам, ничего не присваиваю и ничего не стыжусь: это — уже очищенное, можете их всем читать.

Седьмого сентября МЦ и Сергей отвезли Алю в гимназию — в Моравскую Тшебову. 8 сентября — письмо МЦ Родзевичу из Тшебовы, с припиской Эфрона: «— Радуюсь Вашему блестяще сданному экзамену (в чем и не сомневался). Дружеский привет! *С. Э.»* В письме МЦ просит Родзевича получить за нее деньги («иждивение»), чтобы передать ей при встрече: «О дне и часе отъезда извещу, может быть Вы меня встретите?»

Пребывание в Тшебове ей нравится. Расставание с Алей делает ее моложе, десятилетний опыт трудного материнства снят, она начинает *свою* жизнь, без ответственности за другого. Они с Сергеем сняли комнату в крестьянском домике, за стеной — в кухне — одна из хозяек говорит гостям: «Die junge Frau ist Dichterin — und schreiben thut sie, wie Perlen aufreihen!»[96] Городок старинный и жители вежливые, сплошные поклоны и приседания. Здесь даже ее прическа нравится: «Kleidet Sie so schon»[97]. Ей подарили платье, синее в цветочках, и пообещали новую сумку, вроде средневекового мешочка, как на старых картинках у молодых женщин на поясе.

Двенадцатого сентября МЦ шлет Родзевичу цикл из двух стихотворений — «Овраг»:

1

Дно — оврага.
Ночь — корягой
Шарящая. Встряски хвой.
Клятв — не надо.
Ляг — и лягу.
Ты бродягой
Стал со мной.

2

Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу
(Сердец перебой)
На груди твоей нежной, пустой, горячей,
Гордец дорогой.

…….

Друг, совсем нет времени Вам писать, а сказать надо — так много! («Успеете!» — Нет, не успею, потому что потом будет другое. Часы неба и часы души *не* повторяются.)

Прочтите эти стихи всем существом, как никогда стихов не читали. Вот Вам случай, дружочек, понять за раз и не-случайность слов в стихах, и тяжесть слов «на ветер», и великую разницу сути и отражения, и просто меня, мою живую душу, и очень многое еще.

Будьте внимательны! Заклинаю Вас. Ведь это тончайшее отражение часа, которого Вы участник, — ежели не творец! *Это тот самый час* — таким, как он навек остался во мне!

…..

Думаю о Вас неустанно. Вернусь в понедельник, 17-го, с поездом, выходящим в 10 ч. и приходящим в Прагу в 4 ч.40 мин. (Тот же вокзал.)

Никому не пишу о своем приезде.

Если можете — встретьте меня.

12-го сентября 1923 г.

МЦ.

На следующий день МЦ опять пишет Родзевичу, по-прежнему называя его «Радзевич» («…я веду Вас — от Радзивиллов![98]»). Дату, 13-е число, она обозначает так:

Моравская Тшебова, 12 bis[99] *сентября 1923 г.* Дорогой Радзевич.

Это — деловое письмо.

Буду в Праге в понедельник, 17-го, в 4 ч<аса>дня с чем-то *(не* минус что-то!) на Массариковом вокзале, и была бы рада, если бы Вы, оторвавшись от Ваших обычных заседаний и лицемерий, оказались на том же вокзале и в тот же час. <…>… не скрою, что мне еще раз хочется испытать степень Вашего… нну… благоволения ко мне.<…>

…..

С делами кончено.

…..

Радзевич, у меня новая сумка, — рраз, новая зажигалка — два, новое платье — три (будете в ужасе, в нем приеду), новая душа в теле — четыре, но тут точка, ибо задумываюсь: не новое ли тело — в душе? У нас с Сергеем Михайловичем Волконским одна страсть: перевертывать слова и правды, — мир — навыворот, это и есть революционный темперамент.

…..

Это — приобретения. А потери следующие: моя чудная палка, Радзевич, моя чудная палка: плохая, кривая, мокропсинская, преданная, купленная за три копейки у покойника (русского консула), мой верный сподвижник и вожатый, жезл поэта, собака слепца, — словом моя палка потеряна в лесу, за грибами, и я в отчаянии и никогда не заведу другой.

(Страшит меня немножко и символика: палка — опора, потеря опоры, по ночам просыпаюсь и думаю.)

Вам смешно, потому что Вы не понимаете реликвий (особенно — уродливых!), Вы не понимаете, что вещь создается нашим чувством к ней, а не чувства — вещью. Каждая вещь в свой час должна просиять, это тот час, когда на нее глядят настоящие глаза. Впрочем, это уже перерастает палку.

Но о палке я тоскую и — главное! — в отчаянии, что не хочу другой. Придется мне, из чистой преданности, всю эту зиму тонуть в грязи. Вспомните наши холмы и овраги!

А грибы, из-за которых она потеряна, я ненавижу, смотреть не хочу.

…..

А может, это Бог хочет сделать меня женщиной? Ведь палка — мужественность («Сам обойдусь!»). Палку может заменить и рука. Не верю в руку.

Вовсю пошли стихи.

Знаете этот отлив атлантский
Крови от щек?
Неодолимый — прострись, пространство! —
Крови толчок.

13 сентября 1923 года («Ахилл на валу»)

К слову, МЦ не знала, существует ли слово «Атлантика». Написаны еще три письма Родзевичу — «середина сентября 1923», два письма с датой «вторая половина сентября 1923». В первом из трех: «Знаете, иногда я думаю: ведь я о Вас почти дословно могу сказать то, что говорила о Казанове: «Блестящий ум, воображение, горячая жизнь сердца — и полное отсутствие души». (Раз душа не непрерывное присутствие, она — отсутствие.) Душа это не страсть, это непрерывность *боли».*

Наконец — 20 сентября — МЦ пишет пространное письмо Бахраху: «Дорогой друг, соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня: что-то кончено. Теперь самое тяжелое сделано, слушайте дальше. Я люблю другого — проще, грубее и правдивее не скажешь». На его кричащий ответ она резонерствует (25 сентября):

> И одна <Ваша> крупная наивность: «Вы разбили меня, лишив себя и больше, чем себя: лишив того, чем я мыслил Вас, чем знал Вас».
>
> Значит я, только потому что я рванулась к другому — другая? А до встречи с Вами (возьмите «Психею») я не рвалась? Да что же я иного за всю мою жизнь делала?!
>
> — Да, еще писала стихи. —

А ведь это настоящий разрыв ненатурального романа. Жаль Бахраха. Между тем 29 сентября МЦ снова пишет Бахраху: «Друг, просьба: пришлите мне книгу Ницше (по-немецки) — «Происхождение трагедии». (Об Аполлоне и Дионисе.) У меня никого нет в Б<ерлине>. Она мне сейчас очень нужна». МЦ пишет пьесу. Сюжет Ариадны[100]. И Шваб, и Ницше ей понадобились позарез.

Все это совершенно не мешает ее другим порывам. В частности — перевезти Андрея Белого в Прагу, к этому делу уже подключен Марк Слоним. Бахраха она заклинает: «Друг, сделайте это для меня. Настойте! Будьте судьбой! Стойте над ним неустанно. И — главное — в нужный час — посадите в вагон! Я встречу. Умоляю Вас Христом Богом, сделайте это! Здесь он будет писать и дышать. В России — ему нечего делать, я знаю, как там любят!» Вдобавок она просит найти верную оказию к Пастернаку, из рук в руки: необходимо переслать ему стихи и письмо. «Борис Пастернак для меня — святыня, это вся моя надежда, то небо за краем земли, то, чего еще не было, то, что *будет,* доверяю Вам свою любовь (письмо) Борису Пастернаку, как свою душу, не отдавайте зря».

Сентябрь 1923-го — густой, беспрерывный листопад ее писем к Родзевичу. Октябрь уж наступил, оное пламя разгорается,

ласковых слов в русском языке много (письмо от 5 октября):

Мой родной, мой любимый, мой очаровательный — и — что всего важнее — и нежнее: — *мой!*

Вчера засыпая думала о Вас — пока перо не выпало из рук. И вечером, подымаясь по нашей темной дороге, вдоль всех этих лесенок. И ночью, когда проснулась: что-то снилось — и вдруг: к тебе! <…> Не знаю удастся ли в понедельник проводить Вас на вокзал. Я и так выдаю себя с головой (с сердцем!) <…> Киса родная, головка моя черная и коварная…

Кончаю. Надо в город. И не надо мешать Вам учиться. Жду 8-го. Приходите возможно раньше. От 8-го — опять тот же срок: пять дней! Если бы Вы жили в городе, мы бы постоянно были вместе, вопреки всем Вашим и моим решениям, всей волей. Вашей — ко мне, моей — к Вам. (Родзевич жил в пражском пригороде Хухле, куда ходили электрички со Смиховского вокзала. — *И. Ф.)* <…> А вот стихи. Это я — наедине с собой, без Вас. Видите, мне невесело.

НОЧНЫЕ МЕСТА
(Естественное продолжение «Оврагов»)

Темнейшие из ночных
Мест: мост. — Устами в уста!
Неужели ж нам свой крест
Тащить в дурные места,

Туда: в веселящий газ
Глаз, газа… В платный Содом?
На койку, где всё до нас?
На койку, где не вдвоем

Никто… Никнет ночник.
Авось — совесть уснет!
(Вернейшее из ночных
Мест — смерть!) Платных теснот

Ночных — блаже вода!
Вода — глаже простынь!
Любить — блажь и беда!
Туда, в хладную синь!

Когда б в веры века

Нам встать! Руки смежив!
(Река — телу легка,
И спать — лучше, чем жить!)

Любовь: зноб до кости,
Любовь: зной до бела…
Вода — любит концы,
Река — любит тела.

4-го Октября 1923 г.

< Приписка на полях: >

NB! «блаже» здесь как сравнительная степень от «благой». Тугой — туже, благой — блаже.

ПОДРУГА
«Не расстанусь! — Конца нет!» И льнет, и льнет…
И в груди — нарастание
Грозных вод,
Нот… Надёжное: как таинство —
Непреложное: рас-станемся!
…..
5-го Октября 1923 г.
…..
— Через год проверим. —

МЦ

<Приписка на полях:>

А за город с Вами — пока последние листья! Дружочек, соберемся? Мне хочется с Вами на волю. Помню, однажды на моей бедной седой горе, которая Вам так не нравилась: «Нет, нет, М. И., известный комфорт нужен: хорошее кресло, в котором так хорошо думается…» Я: «И спится». Вы: «Да, и спится». Я: «После обеда». Вы: «После хорошего обеда с вином». (Впрочем, Вы уже дразнились.)

А деревья шумели, вечер шел, мы шли рядом.

Родзевич, быв комендантом Одесского красного порта, любил Гумилёва — эти его строки:

Что же тоска нам сердце гложет,

Что мы пытаем бытие?
Лучшая девушка дать не может
Больше того, что есть у нее.

1909 («Путешествие в Китай»)

МЦ приводит изречение Наполеона: «La plus belle fille ne peut donner qu'elle a»[101].

Будут и еще письма, и самооценка («я действительно лошадь, Радзевич, — а может быть — целый табун, со мной трудно»), и обещание подарить тетрадочку со стихами, и прежние свои стихи, достойные той тетрадочки («Писала я на аспидной доске…»), и внезапное воспоминание о «позднем эллине» Нилендере, и надежда на то, что «Вы, если будете долго любить меня, со мной совладаете», и почти заключительный вздох отчаяния: «Никто не захотел надо мной поработать».

Она ясно сознавала, что она — «в начале трагедии». К этому и шло — для нее. А внешне — все по-прежнему. МЦ с Сергеем живут все там же, готовят дома, взяли из починки примус, чинившийся шесть месяцев и уже не числившийся в живых, — это большое облегчение после спиртовки, где спирт кипел, а вода не вскипала. Так же вскипали, вернее, испарялись — кроны. Примус горит полдня, а обходится всего в крону. МЦ — много времени дома, Сергей почти все время на лекциях и в библиотеке. Еще зимой его координаты отыскала сестра Лиля и он установил с сестрами письменную связь. В октябре сообщает Лиле: «Мой адр<ес>: Praha — Lazarka 6 Rusk Komitet — мне. — Это мой постоянный адрес — другой же опасен, т<ак> к<ак> я могу переехать».

У МЦ — страсти:

> Я вернулась домой полумертвая. Ни Г<ёте?>, ни Минос, ни Апостол Павел не помогли. Постояв локтями на столе, — потом полежав на полу — не ставя вопросов, не <пропуск одного слова> собственных ответов, зная только одно: умереть! — я наконец прибегла к своему обычному лекарству: природе. Вышла на улицу и сразу — на тепл<ые?> крылья ветра, в поток фонарей… Ноги сами шли, я не ощущала тела. (Р<одзевич>, я поняла: я одержима демонами!) Это было почти небытие, первая секунда души после смерти.

Она регулярно посещает *Klementinum,* национальную библиотеку. В это время ей особенно остро нужна Античность и

вообще история. Листает фолиант — Goetling. Gesdmmelte Abhandlungen aus den Kldssischen Altertum[102]. Она задумывает трилогию «Гнев Афродиты»: пьесы «Ариадна», «Федра», «Елена». Написаны будут две — «Ариадна» (1923), «Федра» (1927). Среди осенних заготовок будущей «Поэмы Горы» — отрывочные записи:

> Федра у меня *не* рассужд<ает>, только хочет. <…> Федра боится только быть отвергнутой, отнюдь не преступления. Исступление гордости, а не совести. <…> У Эвр<ипида> Федра умирает из-за *опозоренности.* страх перед Тезеем и пр. Федра умерла, п<отому> ч<то> Ипполит *достоверно* ее отверг. <…> Бог влажных мест. Дионис воскресающий и умирающий. Скала, на которой он спал с Ариадной — источник нектара. Плющ, виноград.
>
> …..
>
> *Минотавр*
>
> Владел<ец> лабиринта. Требует кровав<ых> жертв. Лабиринт — карт<а> звездного неба.
>
> Необх<одимо> понять: кто от кого зависит: Минотавр от Миноса или Минос от Мин<отавра>? Кто кого держ<ит> в страхе. Думаю — Минотавр ропщущий слуга. Нечто вроде сообщничества. Минотавр поддерживает в Миносе злое. Ариадна, рукой Тезея, убивает зло, освоб<ождая> отца. Ариадна — освободительница.

В конце октября Сергей и МЦ узнали про смерть Пра во второй день Рождества прошлого, 1922 года от расширения легких. Макс был при ней. С Пра «уходит лучшая наша с Сережей молодость, под ее орлиным крылом мы встретились».

МЦ заканчивает переписку «Мóлодца». Ей грустно оттого, что и эта вещь Родзевичу будет чужда, что быть любимой им, но не быть любимым его поэтом — означает его обкраденность, не меньшую ее обкраденности, но это не утешение. Они продолжают встречаться. Идет ноябрь. Поток ее писем.

Тем временем в Прагу пожаловали Владислав Ходасевич и Нина Берберова.

Из книги Н. Берберовой «Курсив мой»:

Когда мы выехали 4 ноября 1923 года в Прагу, Марина Ивановна Цветаева уже давно была там. Мы не остались в Берлине, где жить нам было нечем, мы не поехали в Италию, как Зайцевы, потому что у нас не было ни виз, ни денег, и мы не поехали в Париж, как Ремизовы, потому что боялись Парижа, да,

мы оба боялись Парижа, боялись эмиграции, боялись безвозвратности, окончательности нашей судьбы и бесповоротного решения остаться в изгнании. Кажется, нам хотелось еще немного продлить неустойчивость. И мы поехали в Прагу. Вот пражский календарь из записей Ходасевича:

9 ноября — Р. Якобсон
10 ноября — Цветаева
13 ноября — Р. Якобсон
14 ноября — к Цветаевой
16 ноября — Цветаева
19 ноября — Цветаева
20 ноября — Р. Якобсон
23 ноября — Цветаева и Р. Якобсон
24 ноября — Р. Якобсон
25 ноября — Р. Якобсон, Цветаева
27 ноября — Р. Якобсон
28 ноября — Цветаева
29 ноября — Р. Якобсон, Цветаева
1 декабря — Р. Якобсон
5 декабря — Якобсоны
6 декабря — отъезд в Мариенбад.

В том неустойчивом мире, в котором мы жили в то время, где ничего не было решено и где мы вторично — за два года — растеряли людей и «атмосферу», которой я уже сильно начинала дорожить, я не смогла по-настоящему оценить Прагу: она показалась мне и благороднее Берлина, и захолустнее его. «Русская Прага» нам не открыла своих объятий: там главенствовали Чириков, Немирович-Данченко, Ляцкий и их жены, и для них я была не более букашки, а Ходасевич — неведомого и отчасти опасного происхождения червяком. Одиночками жили Цветаева, которая там томилась, Слоним и Якобсон, породы более близкой и одного поколения с Ходасевичем. Они не только выжили, но и смогли осуществить себя до конца (Якобсон — как первый в мире славист), может быть, потому, что оба были преисполнены энергией, а может быть, и «полубезумным восторгом делания». В эти недели в Праге и Ходасевич и я, вероятно, могли бы зацепиться за что-нибудь, с огромным трудом поставить одну ногу — как альпинисты — перебросить веревку, подтянуться… поставить другую… В такие минуты одна дружеская рука может удержать человека даже на острове Пасхи, но никто не удержал нас. И, вероятно, хорошо сделал. Цветаева и Слоним долго не прожили там. Якобсон, когда расправил крылья, вылетел оттуда как бабочка из кокона.

Берберова умалчивает о том, что в Прагу они приехали с Максимом Горьким, из-за весьма условного большевизма которого с ними мало кто общается. МЦ посылает Ходасевичу записку, после чего они встретились в отеле «Беранек», где «Еднота» устраивала свои мероприятия, и стали видеться.

В то же самое время — 6, 7, 9 ноября — МЦ пытается договориться с Родзевичем о свидании: «Не томите! Пишите сразу. До Вашего письма (нашей встречи) не живу. <…> Считайтесь с тем, что я совершенно истерзана и не могу ждать. <…> И с тем, что я никому в жизни не писала таких писем». 20 ноября: «— Завтра увидимся. <…> Я твердо решила одну вещь: Ваше устройство в городе. Я НЕ МОГУ больше с Вами по кафэ! От одной мысли о неизбежном столике между нами — тоска! <…> А у меня для Вас приятная новость. Две. Завтра расскажу. Жду Вас завтра (в среду!) у зубного врача, как условились! Но от зубного врача, да еще после кокаина — как естественно! — нужно домой. А дома нет. Есть фонари и лужи. И треклятые столики с треклятыми чашками». 4 декабря: «В прошлую встречу (в начале ее, не в конце) я увидела в Вас начало игры. <…> Всё можно, Радзевич, даже убить на большой дороге из-за гривенника, но при одном условии: знать, что этого нельзя. А за этим знанием, непосредственно, искупление».

Ты, меня любивший фальшью
Истины — и правдой лжи,
Ты, меня любивший — дальше
Некуда! — За рубежи!

Ты, меня любивший дольше
Времени. — Десницы взмах! —
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

12 декабря («Ты, меня любивший фальшью…»)

В тот день — запись МЦ: «Хочу умереть в Праге, чтобы меня сожгли». Было еще и прощальное письмо — вернее, карандашная записка. Потом Родзевич ее сложил вчетверо и вклеил в переплетенный оттиск альманаха «Ковчег» с «Поэмой Конца». Сюда же была вложена вырезка из «Последних новостей» с «Попыткой ревности» («Как живется вам с другою…»).

МЦ — Родзевичу:

Прага, 23-го Декабря 1923 г.

Мой родной,

Я не напоминаю Вам о себе (Вы меня не забыли!), я только не хочу, чтобы Ваши праздники прошли совсем без меня.

Расставшись с Вами во внешней жизни, не перестаю и не перестану —

Впрочем, Вы всё это знаете.

МЦ

<…> Буду думать о Вас все праздники и всю жизнь.

Много думать пришлось и Сергею Эфрону. Все перевернулось. Он пишет Волошину:

<Декабрь 1923 г.> <В Коктебель>

Дорогой мой Макс,

Твое прекрасное, ласковое письмо получил уже давно и вот все это время никак не мог тебе ответить. Единственный человек, к<отор>ому я мог бы сказать все — конечно Ты, но и тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся и, хотя надежды у меня нет никакой, простая человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков и здесь я теряюсь. И моя слабость и полная беспомощность и слепость М<арины>, жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в к<отор>ый она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход — все ведет к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутья может привести к гибели.

М<арина> — человек страстей. Гораздо в большей мере чем раньше — до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно. Почти всегда (теперь так же как и раньше), вернее всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживается скоро, М<арина>предается ураганному же отчаянию. Состояние, при к<отор>ом появление нового возбудителя облегчается. Что — не важно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все при зорком, холодном (пожалуй вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все

заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая — все обращается в пламя. Дрова похуже — скорее сгорают, получше дольше.

Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно. Когда я приехал встретить М<арину> в Берлин, уже тогда почувствовал сразу, что М<арине> я дать ничего не могу. Несколько дней до моего прибытия печь была растоплена не мной. На недолгое время. И потом все закрутилось снова и снова. Последний этап — для меня и для нее самый тяжкий — встреча с моим другом по К<онстантино>полю и Праге, с человеком ей совершенно далеким, к<отор>ый долго ею был встречаем с насмешкой. Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно. Хотя об этом были осведомлены ею в письмах ее друзья. Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр<очими>, и пр<очими> ядами.

Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но все боялся, что факты мною преувеличиваются, что М<арина> мне лгать не может и т. д.

Последнее сделало явным и всю предыдущую вереницу встреч. О моем решении разъехаться я и сообщил М<арине>. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому. (На это время она переехала к знакомым). Не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не дает ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, — я знал, что это так и будет.) Быть твердым здесь — я мог бы, если бы М<арина> попадала к человеку к<отор>ому я верил. Я же знал, что другой (маленький Казанова) через неделю М<арину> бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти.

М<арина> рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если бы и не говорила, для меня это было бы очевидным. Она вернулась. Все ее мысли с другим. Отсутствие другого подогревает ее чувство. Я знаю — она уверена, что лишилась своего счастья. Конечно, до очередной скорой встречи. Сейчас живет стихами к нему. По отношению ко мне слепость абсолютная. Невозможность подойти, очень часто раздражение, почти злоба. Я одновременно и спасательный круг и жернов на шее. Освободить ее от жернова нельзя не вырвав последней соломинки, за которую она держится.

Жизнь моя сплошная пытка. Я в тумане. Не знаю на что решиться. Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостное «одиночество вдвоем». Непосредственное чувство жизни убивается жалостью и чувством ответственности. Каждый час я меняю свои решения. М<ожет> б<ыть> это просто слабость моя? Не знаю. Я слишком стар, чтобы быть жестоким и слишком молод, чтобы присутствуя отсутствовать. Но мое сегодня — сплошное гниение. Я разбит до такой степени, что от всего в жизни отвращаюсь, как тифозный. Какое-то медленное самоубийство.

Что делать? Если <бы> ты мог издалека направить меня на верный путь!

Я тебе не пишу о Московской жизни М<арины>. Не хочу об этом писать. Скажу только, что в день моего отъезда (ты знаешь на что я ехал) после моего кратковременного пребывания в Москве, когда я на все смотрел «последними глазами», М<арина> делила время между мной и другим, к<отор>ого сейчас называет со смехом дураком и негодяем.

Она обвинила в смерти Ирины (сестра Али) моих сестер (она искренне уверена в этом) и только недавно я узнал правду и восстановил отношения с Л<илей> и В<ерой>. Но довольно. Довольно и сегодняшнего. Что делать? Долго это сожительство длиться не сможет. Или я погибну. М<арина> углубленная Ася. В личной жизни это сплошное разрушительное начало. Все это время я пытался избегая резкости подготовить М<арину> и себя к предстоящему разрыву. Но как это сделать, когда М<арина> из всех сил старается над обратным. Она уверена, что сейчас жертвенно, отказавшись от своего счастья — кует мое. Стараясь внешне сохранить форму совместной жизни она думает меня удовлетворить этим. Если бы ты знал, как это запутанно-тяжко. Чувство свалившейся тяжести не оставляет меня ни на секунду. Все вокруг меня отравлено. Ни одного сильного желания — сплошная боль. Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои, к<отор>ые прошли на твоих глазах, я жил м<ожет> б<ыть> более всего М<арин>ой. Я так сильно и прямолинейно, и незыблемо любил ее, что боялся лишь ее смерти.

М<арина> сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя — м<ожет> б<ыть> единственное мое желание. Сложность положения усугубляется еще моей основной чертой. У меня всегда, с детства — чувство «не могу иначе», было сильнее

чувства «хочу так». Преобладание «статики» над динамикой. Сейчас вся статика моя полетела к черту. А в ней была вся моя сила. Отсюда полная беспомощность.

С ужасом жду грядущих дней и месяцев. «Тяга земная» тянет меня вниз. Из всех сил стараюсь выкарабкаться. Но как и куда?

Если бы ты был рядом — я знаю, что тебе удалось бы во многом помочь М<арине>. С ней я почти не говорю о главном. Она ослепла к моим словам и ко мне. Да м<ожет> б<ыть> не в слепости, а во мне самом дело. Но об этом в другой раз.

Пишу это письмо только тебе. Никто ничего еще не знает. (А м<ожет> б<ыть> все знают).

Сергей придержал письмо, отослав его только через месяц, а на новогодние праздники они — родители — поехали к Але в Моравскую Тшебову.

Глава четвертая

Тысяча девятьсот двадцать четвертый год предварен молитвой МЦ:

> — Господи, дай мне на этот Новый Год — написать большую и прекрасную вещь. Больше не знаю о чем (для себя) просить: всё остальное — неосуществимо.
>
> Нет, Господи, еще: дай мне много, много денег, чтобы я, лишенная возможности главного и единственного дара, могла хоть чем-нибудь издали скрасить ему жизнь.

Звук уже найден:

Для Поэмы Расставания:

Горе началось с горы.
Та гора была над городом.

Ее посещает мысль: Бетховен был одержим демоном, Гёте демонов удерживал. Отсюда страх Гёте перед Бетховеном, а может быть тайное сознание, что *быть* одержимым — больше. У МЦ потом, когда родится сын, появится приходящая — на три часа в день — прислуга родом из Тёплица, это минеральный курорт на северо-западе Чехии. В 1810-е годы там жил и проходил курс лечения расстроенного слуха Бетховен, и они с прислугой будут разговаривать о Бетховене. В Европе всё близко.

На пути к «Поэме Горы», законченной 27 января 1924-го, внешних событий мало, зато много заготовок, набросков и завершенных, совершенных маленьких вещиц:

Милый аист, носи, не спрашивай —
Не печась о своей красе
Надо женщиной быть: вынашивать!
Все желанны! законны — все!

На седой горе Петршин сильно дует, Марина ползимы проболела, бродя по дому в синем, с рыже-огненными разводами халате, принадлежавшем Родзевичу. Чувствует на себе «ахматовский хомут (любовь)».

Она считает, что Прага холодней Москвы. Призрак Севера?

Отзвук Швеции, оставшейся в истории Карлова моста и имени улицы, на которой живет? Ничего, рыцарь с золотым мечом и ее лицом — надежная защита. По крайней мере, сто тридцать стихотворений за три года и три месяца — итог той защиты. Хотя она и полагает, что Пушкин в стихе «И от судеб защиты нет» (конец поэмы «Цыганы») должен был сказать «спасенья», а не «защиты». Пушкина МЦ помнит отрывочно, «Онегина» не любит, скорее — равнодушна.

Спуск с ее холма. На виду — район Градчаны, костел Святого Йиржи, его белокаменные башни: «Святой Георгий под снегом». Сады Семирамиды по террасам.

На пересечении районов Смихов и Мала Страна очень давно лежит Малостранское кладбище, где не хоронят с XIX века, — поросшие мохом древности памятники и могилы, Маринины долгие прогулки, тишина вечности, огромная каменная лира в низкой чугунной оградке, под могучим деревом. Марина не любит людных улиц, пугается машин. Детская привычка обижаться на толчки улицы.

Они жили на горе до конца мая, когда переехали в Йиловиште, МЦ произносила — Иловищи (JfloviStfe, ul. Prfljezdni, 8). Здесь не задержались. Здесь 8 июня 1924 года МЦ дописала «Поэму Конца».

Обе поэмы — высшая нота цветаевской лирики, единая двухчастная песня. Ту и другую поначалу она называла «поэма Расставания». В античной поэтике есть термин «эпиллий», означающий «маленькая поэма». Двуединство эпиллиев, двугорлая флейта.

На поверхности лежит сравнение со скрябинскими «Поэмой Экстаза» и «Поэмой Огня». Получилась поэмная дилогия. МЦ говорила, что «Поэма Горы» — «мужской лик», гора, с другой горы увиденная, а «Поэма Конца» — женское горе, придавленность горой, грянувшие слезы. Можно заметить, что лучше всего в «Поэме Конца» написаны как раз слезы мужские.

О каких еще соблазнах —
Речь? Водой — имущество!
После глаз твоих алмазных,
Под ладонью льющихся, —

Нет пропажи
Мне. Конец концу!
Глажу — глажу —
Глажу по лицу.

Такова у нас, Маринок,
Спесь, — у нас, полячек-то.
После глаз твоих орлиных,
Под ладонью плачущих…

Обе поэмы — победа цветаевского лаконизма, не столь часто у нее побеждающего в этом жанре. «Поэма Горы» — всего-то 35 катренов, 10 частей плюс «Послесловие». Пастернак до поры не знал «Поэмы Горы», не знал он и того, что энергия первой поэмы передалась второй, как волна волне, создав общий вал. Первая поэма могла бы сойти и за цикл стихотворений, но есть какое-то неопределимое свойство, делающее цикл поэмой. В данном случае — звук, родившийся из незатейливого «Горе началось с горы. / Та гора была над городом», «гора горевала», «гора говорила», а в основном — может быть, ведущий размер:

Но под тяжестью тех фундаментов
Не забудет гора — игры.
Есть беспутные, нет беспамятных:
Горы времени — у горы!

По упорствующим расселинам
Дачник, поздно хватясь, поймет:
Не пригорок, поросший семьями, —
Кратер, пущенный в оборот!

Виноградниками Везувия
Не сковать! Великана льном
Не связать! Одного безумия
Уст — достаточно, чтобы львом

Виноградники заворочались,
Лаву ненависти струя.
Будут девками ваши дочери
И поэтами — сыновья!

Это дольник на основе анапеста, напоминающий некрасовский «Рыцарь на час» («От ликующих, праздно болтающих…») или блоковский «Соловьиный сад» («Я ломаю слоистые скалы…»). Рифма «Везувия — безумия» выдает оглядку на Маяковского («Облако в штанах»), как и сам великанский образ.

Сарказм и лиризм предшественников слиты в цветаевской дилогии намертво. Кроме того, здесь нет чрезвычайного пафоса. С того и началось:

Просто голый казарменный
Холм.

Постепенно нарастает масштаб, соразмерный замыслу и чувству автора. А казарма — из всего предыдущего опыта, в частности — берлинского.

Даже Хлебников попал во вторую поэму. МЦ говорит о расставании — страшной вещи — и по какой-то необъяснимой логике вводит похвалу собрату:

Расставание — просто школы
Хлебникова соловьиный стон,

Лебединый…

Эти эпитеты — из самых высших в ее дифирамбическом лексиконе.

К слову, чуть раньше проскользнула и Гренада — не та ли самая, которую МЦ позже найдет у Михаила Светлова?

В близком будущем она захочет и не сможет написать поэму о Есенине. Но ведь это — явно из той ненаписанной поэмы:

Забыла! Среди копилок
Живых (коммерсантов — тож!)
Белокурый сверкнул затылок:
Маис, кукуруза, рожь!

Все заповеди Синая
Смывая — менады мех! —
Голконда волосяная,
Сокровищница утех —

(Для всех!) Не напрасно копит
Природа, не сплошь скупа!
Из сих белокурых тропик,
Охотники, — где тропа

Назад? Наготою грубой
Дразня и слепя до слез,

Сплошным золотым прелюбом
Смеющимся пролилось.

Вообще в этих вещах многое предугадано. Уже навсегда ей, уроженке самого центра Москвы, предстоит жить очень далеко от городского центра, где бы она ни оказалась. О пригороде уже спелось в «Лютне». Это метафора всей предстоящей судьбы:

Частою гривою
Дождь в глаза. — Холмы.
Миновали пригород.
За городом мы.

Есть — да нету нам!
Мачеха — не мать!
Дальше некуда.
Здесь околевать.

Поле. Изгородь.
Брат стоим с сестрой.
Жизнь есть пригород.
За городом строй!

Эх, проигранное
Дело, господа!
Всё-то — пригороды!
Где же города?!

В этих поэмах МЦ уняла свою страсть к сногсшибательной скорости. Совершенно очевиден кинематограф будущего — ну, может быть, артхауз Бергмана или Тарковского, — опыт подробнейшего слежения и скольжения, крупный план, монтаж частей, связанных музыкой существования. Ее кино — поистине звуковое, диалог — соль ее искусства. Ей нужно, чтоб ее понимали, но не за счет потери поэтом собственной речи. Пастернак угадал: «Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина!»

Песня может быть одновременно соловьиной и лебединой. Это когда соловей поет в последний раз.

Сергея Эфрона гнетет происходящее, он ищет выхода. В конце февраля пишет Лиле: «В последнее время мне почему-то чудится скорое возвращение в Россию». Пытается творить. «Я уже писал

тебе, что работаю над книгой. Это не литература». Это очерково-мемуарные «Записки добровольца». В «Современных записках» (1924. № 21) печатается его статья «О Добровольчестве», крик души:

Разложение пошло с хвоста. Мы были окружены ненавистью. Оторванные от народа, мы принимали его равнодушие, его недоброжелательство и, наконец, его злобу, как темное непонимание нашей белой цели. Мы за них, а они на нас. Черная плоть (шкурники-собственники. — *И. Ф.)* приросла крепко, мы к ней привыкли, перестали замечать ее, в ответ на равнодушие, недоброжелательство, злобу, равнодушие, недоброжелательство и злоба же. Кто не с нами, тот против нас, — кто против нас, тот против Родины, а потому…

Идея отрывалась от земли все выше. Земля наваливалась на нас всей своею тяжестью.

И опять дух тлена, но уже над нами. С каждым днем черная плоть удушала все теснее, все сильнее захлестывало чувство злобы, мстительности, отчаяния, усталости. Мы изнывали от язв, внутренних и внешних. Малодушные отставали и опускались, сильных косила смерть, а наша цель — Москва, приблизилась, как никогда. Еще одно последнее усилие, еще раз, последний раз, напрячь мускулы духа — и мы обретем «Единую и Неделимую». Но яд проник чересчур глубоко. Гангрена с хвоста через центр доползла до действующих полков. Нужный мускул не напрягся, а только судорожно вздрагивал. Удар и… сначала поползла, а потом понесла назад разложившаяся, мародерствующая, изъязвленная, озлобленная лавина. Орел, Курск, Обоянь, Белгород, Харьков, и дальше, дальше — к Ростову. Последний удар, — за Дон зализывать раны.

И странно, чем хуже, чем чернее, тем сильнее гордыня. Пьяный мародер бил себя кулаком в грудь и кричал, что он доброволец; взяточник — к<онтр>-разведчик, вымогатель, кокаинист, преступник, про-поведывал «Единую и Неделимую»; Начальник государственной стражи, бывший пристав или становой, от которого стонала вверенная ему округа, призывал к исполнению долга и принесению всевозможных жертв на «алтарь отечества».

На Дону не удержались. От нас отвернулись кубанцы. Ордой переплыли в Крым. Последняя отчаянная попытка. Вчерашний мародер снова пошел умирать, уже не помышляя о грабежах, к<онтр>-разведчик сжался и спрятался, нач<альник> государственной стражи присмирел. Землю крестьянам решили отдать за небольшой выкуп.

Но время было упущено. Там, в России, нам уже не верили. Отступающая лавина оставила после себя незабываемый след. Да и от черной плоти мы отделались лишь наполовину. Она не была изничтожена, а лишь притихла, припряталась по углам до лучшего для себя времени.

Четырехмесячная неравная борьба. Опять тысячи и тысячи могил. Смерти, смерти, смерти и… сброшенные в море, изрыгнутые Россией, добровольцы очутились на пустынном Галлиполийском побережьи.

Первую главу своих записок «Октябрь (1917)» он через год (1925) поместит в сборнике «На чужой стороне» (книга XI, издательство «Пламя»). Вторая глава осталась ненапечатанной, остальное из задуманного попросту не написано. Он разрывается между университетом и необходимостью заработка, готов бросить докторский экзамен, пишет Максу, тот не отвечает, это мучит Сергея, он не ведает о том, что Макса на родине усиленно травят и Максу не до переписки, тем более что это опасно для других и он никого не хочет подставлять. Сергей подумывает о переезде в Париж — там найдет заработок…

К осени у него хоть что-то определится, он обретет уверенность в себе и сообщит в Москву Лиле, которая в эту пору чуть не случайно стала артисткой Художественного театра и сама удивляется этому обстоятельству:

> Я сейчас занят редактированием небольшого журнала литературно-критического («Своими путями». — *И. Ф.)*. Мне бы очень хотелось получить что-нибудь из России о театре, о последних прозаиках и поэтах, об академ<ическо>-научной жизни. Если власти ничего не будут иметь против, попроси тех, кто может дать материал в этих областях, прислать по моему адресу. Все будет хорошо оплачено. Очень хотелось бы иметь статью о Студии, Кам<ерном> театре, Мейерхольде. С радостью редакция примет стихи и прозу. Поговори с Максом и Ант<окольским>, м<ожет> б<ыть> они дадут что-ниб<удь>. М<ожет> б<ыть> ты напишешь о театре, или о покойном Вахтангове. Размер каждой вещи не должен превышать 20 тыс<яч> знаков, или, что то же, половины печатного листа. Сообщи мне немедленно, могу ли я чего-нибудь ждать. Журнал чисто литературный.

Цыплят по осени считают. А покуда — другие сезоны и

другие резоны. У МЦ на уме одно — Родзевич. Она эффектно формулирует (в письме Бахраху от 10 января): «Он был любовником любви».

К МЦ нередко заглядывает Мария Булгакова, она же, по-домашнему, — Муна. Это дочь философа-богослова Сергея Николаевича Булгакова, с ней они были слегка знакомы еще в Москве. Теперь Мария — счастливая соперница. Она приходит к МЦ, и та не удерживается от вопроса:

— Ну как Родзевич?

Большая пауза, и ледяным тоном:

— Он болен.

Пауза. — Чем?

— Невроз сердца.

— Лежит?

— Нет, ходит. Марина Ивановна, я бы очень хотела прочесть вашу прозу…

В другой визит Муна отчеканивает:

— Я забыла сказать, что Родзевич просил передать вам привет.

МЦ долго-долго протирает носовым платком окна — все четыре стеклянных квадрата — спиной к разлучнице, а затем читает ей «Мóлодца». МЦ посылает больному деньги, немного денег, уверяя: они — мои, о них никто не знает.

В июне 1926 года Мария-Муна станет женой Родзевича. Между тем в январской Праге промелькнул — Чабров. В сентябре 1922-го с группой актеров он выехал из России в Берлин, где выступал в театре «Кикимора», но с МЦ они тогда разминулись, а сейчас встретились. Весьма тепло. Он был в жизни МЦ монахом, чем-то бесплотным. В марте она ему напишет: «Я нашла формулу: меня притягивает к Вам Ewig-Wdibliche[103]». В марте же начнет печататься ее «Мóлодец», в издательстве «Пламя», выйдет весной будущего года. Чабров с 1923-го стал эмигрантом, МЦ не сменила советского паспорта, автоматически угодя в эмиграцию, но своего гражданского статуса не осознает до конца.

Середина февраля — в Прагу явился Александр Федорович Керенский, читает доклады — о народе и революции. МЦ дарит ему «Психею» с автографом: «Романтику Революции — Александру Федоровичу Керенскому — от всей души. *Марина Цветаева».* На обороте авантитула вписывает по-немецки строфу Фридриха Гёльдерлина о вдохновении и зове Горы, ко всему добавляет свои стихи о «молодом диктаторе» 1917 года «И кто-то, упав на карту…» и стихи Пастернака:

Это не ночь, не дождь и не хором

Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром — прибой
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

Лето 1917 («Весенний дождь»)

Керенский проникся стихами, обрадован, даже взволнован. «Мне он понравился: несомненность чистоты. Только жаль, жаль, жаль, что политик, а не скрипач (NB! Играет на скрипке.)». Они потом сердечно встретятся в Париже, за обильным столом, в первые же дни ее приезда, в ноябре 1925 года.

У князя Сергея Волконского в берлинском издательстве «Медный всадник» выходит новая книга — «Быт и бытие», ряд мимолетных вечностей, вечных мимолетностей. Он посвящает ее Марине Цветаевой, поскольку сама формула — *быт и бытие* — пришла к нему от нее, когда они вели беседы в лютых холодах большевистской Москвы и в любую минуту ожидалось и врывалось нахальство в папахе, а по улицам проезжали зловещие автомобили, угрожая тормознуть перед вашим домом. Князь тогда и не догадывался, что в его речах быт становился бытием, ему об этом сказала его молодая подруга.

Он воздавал должное поэзии, скромно дистанцируясь от таковой, но МЦ находила в нем свою, особую ритмику и совершенно не согласилась с Юлием Айхенвальдом, который в июле — будучи внешне прав: де, ее апология в статье «Кедр» (пражские «Записки наблюдателя». 1924. № 1) является на самом деле панегириком — по существу не слышит ритмики, даденной Волконскому не Белым, а Богом.

Роман Гуль собирается в Москву. «Странно, что в Россию поедете. Где будете жить? В Москве? Хочу подарить Вам своих друзей — Коганов, целую семью, все хорошие. Там блоковский мальчик растет — Саша, уже большой, три года. Это очень хороший дом, Вам там будет уютно. Повезете мою книгу — поэму «Мóлодец», через неделю начнет печататься в здешнем из<дательст>ве «Пламени». Надеюсь, что выйдет до Вашего отъезда, непременно Вам пришлю». Никуда он не уехал.

А у нее много написанного: проза (лежит без движения) и целая большая книга стихов, написанных после России, за два года. Эту книгу стихов МЦ называет «Умыслы». Есть у нее и

«Версты II», стихи 1917–1921 годов. Много чего лежит, в Праге одно-единственное издательство, и все хотят печататься. «Гуль, дружу с эсерами, — с ними НЕ душно. Не преднамеренно — с эсерами, но так почему-то выходит: широк, любит стихи, значит эсер. Есть еще что-то в них от старого (1905 г.) героизма».

Советует Гулю прочесть в новом «Окне» ее стихи «Деревья» и «Листья» (из новой книги «Умыслы»), в «Современных записках» — «Комедьянт» (из «Верст II») и в «Студенческих годах» (пражских) в предпоследнем номере «Песенки» (тоже «Версты II»). Сообщает:

> «Мой надежный адрес:
> Praha II. Lazarskaul., c.11
> Rusky studentsky Komitet
> — мне. —»

Как раз в марте 1924-го — наконец-то, после годового молчания — ей написал Пастернак. Пишется огромный ответ. В качестве связного нужен Гуль: «Вот письмо Пастернаку. Просьба о передаче лично, в руки, без свидетелей (женских), проще — без жены. Иначе у П<астернака> жизнь будет испорчена на месяц, — зачем?»

У нее зреют какие-то планы, какой-то отъезд — куда? Во всяком случае: «На лето очень нужны деньги. 2 года в Чехии и ничего, кроме окрестностей Праги, не знаю. В Праге я до конца мая, не дольше, и дело нужно закончить в мою бытность здесь».

В мае у Али нашли болезнь легких — три четверти правого и верхушка левого поражены, температура постоянно повышена, ребенок ненормально-быстро полнеет. Семья засобиралась на юг, в Саксонскую Швейцарию. Какие-то деньги иногда удается доставать. Откуда? Ну, хотя бы из парижского Комитета помощи русским писателям и художникам, куда МЦ подала заявление о ссуде в размере 275 французских франков (400 чешских крон) и 4 марта получила ее. Но этого мало. Надо платить за жилье, на что-то жить. Хлопоты обернулись ничем. В гимназию Алю не вернули, она проучилась всего один учебный год.

По разным адресам пишутся письма. Часто — Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой, соседке по дому на горе, экс-жене экс-председателя Учредительного собрания Виктора Михайловича Чернова, и ее шестнадцатилетней дочери Аде (Ариадне). Гулю, Пастернаку. Многим. Других адресатов 1924 года больше десятка.

Даже Родзевичу: «Наша любовь была задумана дружбой — трудной дружбой мужчины и женщины, невозможной без любовного эпизода. <…> Расправясь со мной, как с вещью, Вы

для меня сами стали вещь, пустое место, а я сама на время — пустующим домом… <…> Для меня земная любовь — тупик». О, это слово — *тупик*. Его употребляет и Сергей в письме к Максу, оно станет ее последним словом вообще.

С Марком Слонимом, которого по-домашнему именует «дорогой» в общении с ним и другими, произошел неясный конфликт, резкое отдаление, ее «обвинительный акт» ему, потом сближение, но уже лишь формальное. Слоним навещал их пристанище, привез Але куклу, постель и ванну, а МЦ — талисман-печатку: египетское божество. Провели все вместе целый день. На его взгляд, МЦ требовала от него страсти и мужского любования ею, ему было достаточно любви к ее стихам, и он постоянно печатал ее у себя в «Воле России».

Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой МЦ пишет 6 ноября:

> А с «дорогим» я помирилась — третьего дня. <…> Он был прост, правдив, нежен, человечен, я — проста, правдива, нежна, человечна. В кафе я уже рассказывала о «номере» с Р<одзевичем>, а в трамвае (он провожал меня на вокзал) уже слушала песенку: «Можно быть со всеми и любить одну», которую парировала настоящей на сей раз песенкой — очаровательной — XVIII века:
>
> *Bergere légère,*
> *Je crains tes appas, —*
> *Ton ame s'enflamme,*
> *Mais tu n'aimes pas*[104]…
>
> Расстались друзьями, — не без легкого скребения в сердце. — Почему все всегда правы передо мной?? —

В то время она стала «умолаживаться», срезать со своего возраста ровно два года, поскольку в паспорте ей ошибочно поставили год рождения 1894-й, и ее это устроило. Она тонка, но не гибка, дотемна смугла, узкие губы почернели от табака, и Ольге Елисеевне пишет, что ей сейчас — тридцать. Это как-то связано с оглядкой на молодость, на отсеченное от нее отечество.

Русской ржи от меня поклон,
Полю, где баба застится…
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце…

Ты в погудке дождей и бед —

То ж, что Гомер в гекзаметре.
Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь мои — обе заняты.

Прага, 7 мая («Русской ржи от меня поклон…»)

Наступает лето. «Живу далеко от станции, в поле, напоминает Россию. У нас, наконец, жаркое синее лето, весь воздух гудит от пчел».

А лирика — прет, хлещет, не вмещается в ложе поэм, стоит на их берегу наподобие ивовой рощи или отдельных деревьев. По крайней мере это не постскриптум.

На назначенное свиданье
Опоздаю. Весну в придачу
Захвативши — приду седая.
Ты его высоко́ назначил!

Буду годы идти — не дрогнул
Вкус Офелии к горькой руте!
Через горы идти — и стогны,
Через души идти — и руки.

Землю долго прожить! Трущоба —
Кровь! и каждая капля — заводь.
Но всегда стороной ручьевой
Лик Офелии в горьких травах.

Той, что страсти хлебнув, лишь ила
Нахлебалась! — Снопом на щебень!
Я тебя высоко́ любила:
Я себя схоронила в небе!

18 июня 1923 («На назначенное свиданье…»)

С Пастернаком не расстается ни на миг, с его книгой лежит в лесу, отправляет ему огромную подборку стихов, написанных под его влиянием: она сама называет это именно влиянием, первым и единственным в жизни.

В июньские дни 1924-го Марина понесла ребенка. Первая мысль — о Пастернаке: «Борис, с рождения моей второй дочери (родилась в 1917 г. умерла в 1920 г.) прошло 7 лет, это первый ребенок который после стольких лет — постучался. <…> Я

назову его Борисом, и этим втяну Вас в круг».

Пастернак пишет ей 24 июня 1924-го:

> Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Но и вообще — Вы — возмутительно-большой поэт! Говоря о щемяще малой, неуловимо электризирующей прелести, об искре, о любви — я говорил об этом. Я точно это знаю. Но в одном слове этого не выразить, выражать при помощи многих — мерзость. Вот скверное стихотворенье 1915 года из «Барьеров»:
>
> *Я люблю тебя черной от сажи*
> *Сожиганья пассажей, в золе*
> *Отпылавших андант и адажий*
> *С белым пеплом баллад на челе,*
> *С заскорузлой от музыки коркой*
> *На поденной душе, вдалеке*
> *Неумелой толпы, как шахтерку,*
> *Проводящую день в руднике.*

МЦ отвечает в июле, с учетом нового обстоятельства — своей беременности:

> Знаю о нашем равенстве. Но, для того, чтобы я его чувствовала, мне нужно Вас чувствовать — старше <вариант: больше> себя.
>
> Наше равенство — равенство возмож<ностей>, равенство завтра. Вы и я — до сих пор — гладкий лист. Учит<ываю> при сем всё, что дали, и именно поэт<ому>.
>
> Вы всегда со мной. Нет часа за эти 2 года, чтобы я внутренне не окликала Вас. Вами я отыгрываюсь. Моя защита, мое подтв<ерждение>, — ясно.
>
> Через Вас в себе я начинаю понимать Бога в друг<ом>. Вездесущ<ие> и всемогущ<ество>.
>
> Пока мальчика нет, думаю о нем. <…>
>
> Борис, а будет час, когда я Вам положу руки на плечи? (Большего не вижу.) Я помню Вас стоя и высок<им>. Я не в<ижу> иного жеста <кроме> рук на плеч<и>.
>
> «Но если я умру, то кто же — мои стихи напишет?» (Опускаю ненужное Вам, ибо Вы сами — стихи —)
>
> То, от чего так неум<ело>, так по-детски, по-

женски страдала А<хмато>ва (опущ<енное> «Вам»), мною перешагнуто.

Мои стихи напишете — Вы.

5 ию<ля>

Борис, Вы никогда не будете лучшим поэтом своей эпохи, по-настоящему лучшим, как например Блок. У Блока была тема — Россия, Петербург, цыгане, Прекрасная дама и т. д. Остальное (т. е. его, Блока, в чистом виде) принимали бесплатным приложением.

Вы, Борис, без темы, весь — чистый вид, с какого краю Вас любить, по какому поводу? Что за Вашими стихами встает? Нечто: Душа: Вы. Тема Ваша — Вы сам, которого Вы еще открываете, как Колумб — Америку, всегда неожиданно и не то, что думал, предполагал. Что здесь любить читателю?

Вас.

Любить Вас читатель не сог<ласится>. Будет придир<аться> к ритмике, etc., но за ритмику любить он не сможет. Вы, самый большой <поэт> Вашего времени, останетесь в стороне того огромного тока любви, идущего от миллионов к единственному.

Вы первый, дерзнувший без тем, осмелившийся на самого себя.

Борис, Вы, конечно, меня поймете и не подставите вместо себя Бальмонта. Бальмонт весь в теме: экз<отика>, женщ<ины>, красивость, крас<ота>. Que sais-je![105] «Я» только повод к перечислению целого ряда предметов. <…>

События в долине, на горах нет событий, на горах событие — небо (облака). Пастернак на горе.

Свою гору (уед<иненность>) Вы тащите с собой повсюду, разговаривая с з<накомыми> на улице и отшвыривая ногой апельсинную корку в сквэре — всё гора. Из-за этой горы Вас, Пастернак, не будут любить. Как Гёльдерлина и еще некоторых.

Как глубоко, серьезно и неспешно разворачивается моя любовь, как стойко, как — непохоже. Встреча через столько-то лет — как в эпосе.

8-го ночью

Стр<анно> созн<авать>: то, что должно было бы нас разъединить, еще больше скрепило.

Мне было больно от твоего сына (теперь могу это

сказать, п. ч. тебе будет больно от моего!). Теперь мы равны.

Утром 10 июля ее внезапно охватила сонная одурь, столбняк, приснился буйный и короткий сон — проснулась в грозу, выбежала в сад и, когда подвязывала розу, явился почтальон.

— Pani Cvetajeva[106].

Протянула руку — бандероль. Почерк Пастернака — пространный и просторный — версты: «Марине, удивительному, чудесному, Богом одаренному другу. *Б. П.».* Книга «Рассказы» (М.; Л.: Круг, 1925), которую тщетно (40 крон!) мечтала купить на советской книжной выставке в Праге, плюс поэма «Высокая болезнь» (Леф. 1924. № 1).

Да! перед сном-столбняком вздрогнула, то есть, уже заснув, проснулась от ощущения *себя* на эстраде Политехнического музея — и всех этих глаз на себе. Слава?..

Происходят новые жилищные перемещения. Сообщения разным адресатам.

(20-го июля переехали из Иловищ в Дольние Мокропсы — паром через реку — в огромный двор и в крохотный домик, где ни одной прямой линии, а стены в полтора аршина толщины. — Вход под аркой. — С 15-го июля неустанно пишу Тезея. Много отдельных строк.)

Двадцать первое июля 1924-го — первая ночь в новом логове, дом в Дольних Мокропсах (Doln! Mokropsy, Slunedni, 37). Разваленный домик с огромной русской печью, кривыми потолками, кривыми стенами и кривым полом — во дворе огромной (бывшей) экономии. Огромный сарай, который хозяйка мечтает сдать каким-нибудь русским «штудентам», сад с каменной загородкой над самым полотном железной дороги. Поезда.

Одиннадцатого августа МЦ пишет Гулю: «О себе: живу мирно и смирно, в Дольних Мокропсах (оцените название!) возле Праги. У нас здесь паром и солнечные часы. На наших воротах дата 1837 г. Пишу большую вещь, — те мои поэмы кончены. Есть и новые стихи».

Затем — Горни Мокропсы (Horn! Mokropsy). А в сентябре — дом Ванчуровых во Вшенорах (VSenory, 324). Здесь 1 февраля 1925 года родится Георгий, сын Марины. Отсюда уедут во Францию (1925).

Что за большая вещь? Пьеса «Тезей», первоначально названная «Ариадна», закончена 7 октября 1924-го. Назвать ее трагедией МЦ не решается: у женщин трагедия — нечто другое.

Из Москвы приходит тяжелая весть: 9 октября 1924 года умер Валерий Брюсов. Незадолго до кончины он гостил у Макса в Коктебеле, бродил по холмам с юной Аделиной Адалис, простыл на черноморском ветру и увез болезнь в Москву. МЦ сражена случившимся, тотчас начинает записи о том, кого она всю жизнь любила под видом ненависти. Брюсова ненавидели по-настоящему многие — и в России, и в эмиграции. Потребовалась честная защита.

Она листает периодику, в парижском «Звене» следит за рубрикой Георгия Адамовича «Литературные заметки» — в номере 88 читает:

Марина Цветаева написала две статьи, обе безмерно-восторженные. Одну о поэме Б. Пастернака, другую о кн. С. Волконском.

Князь Волконский, как все знают, человек очень культурный, даровитый и умный, писатель сдержанный и спокойный. Не думаю, чтобы он мог без усмешки прочесть статью, в которой его ежеминутно сравнивают с Гёте, с Лукрецием и бог весть с кем еще.

Не думаю, чтобы в нем вызвал добрые чувства этот кликушеский стиль, бесчисленные восклицательные знаки, многоточия, вскрики, скобки, вся эта претенциозная и совершенно пустая болтовня.

Марина Цветаева, как бы в свое оправдание, пишет в начале статьи от лица каких-то неведомых «нас»:

«Нас, кажется, уже ничем не потрясешь, — после великой фантасмагории Революции, с ее первыми-по-следними, последними-первыми, после четырехлетнего сна наяву, после черных кремлевских куполов и красных над Кремлем знамен, после саженного: «Господи, отелись!» на стенах Страстного монастыря, после гробов, выдаваемых по 33-му талону карточки широкого потребления, после лавровых венков покойного композитора Ск<ряби>на, продаваемых семьей на рынке по фунтам…»

Это верно. Но после этих действительно потрясающих явлений менее всего способны взволновать или просто дойти до человека такие мелко-неврастенические записи. Есть какая-то фальшь и наивность в столь распространенном теперь стремлении отразить стилистическими судорогами катастрофы последних лет.

Надо очень любить стихи Цветаевой, чтобы простить ей ее прозу. Не могу не сознаться: я очень люблю стихи ее. Добрая половина цветаевских стихов никуда не годится, это совсем

плохие вещи. У Цветаевой нет никакой выдержки: она пишет очень много, ничего не вынашивает, ничего не обдумывает, ничем не брезгует. Но все-таки ей — одной из немногих! — дан «песен дивный дар» и редкий, соловьиный голос. Некоторые ее строчки, а иногда и целые стихотворения, совершенно неотразимы и полны глубокой прелести. Не хватает ей простоты. Пушкин писал жене: «Если будешь держать себя московской барышней, ей-ей разведусь», — цитирую по памяти, едва ли точно. В Цветаевой очень много московской барышни. Не сомневаюсь, что это показалось бы ей упреком не существенным — эстетическим «возраженьицем». Но мне кажется, что это гибельный порок.

МЦ отреагировала в письме Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой от 17 октября 1924-го: «Он <Адамович> был учеником Гумилева, писал стихотворные натюрморты — петербуржанин — презирал Москву…» Беглое знакомство МЦ с Адамовичем состоялось тогда, в 1916-м, в доме Каннегисеров. Теперь оно продолжится в текстах. А в принципе, — как говорил в таких случаях Маяковский: «Встретимся через сто лет», и ею уже было написано:

К тебе, имеющему быть рожденным
Столетие спустя, как отдышу, —
Из самых недр — как на смерть осужденный,
Своей рукой пишу:

— Друг! не ищи меня! Другая мода!
Меня не помнят даже старики.
— Ртом не достать! — Через летейски воды
Протягиваю две руки.

Как два костра, глаза твои я вижу,
Пылающие мне в могилу — в ад, —
Ту видящие, что рукой не движет,
Умершую сто лет назад.

Со мной в руке — почти что горстка пыли —
Мои стихи! — я вижу: на ветру
Ты ищешь дом, где родилась я — или
В котором я умру.

На встречных женщин — тех, живых, счастливых, —
Горжусь, как смотришь, и ловлю слова:
— Сборище самозванок! Все мертвы вы!

Она одна жива!

Я ей служил служеньем добровольца!
Все тайны знал, весь склад ее перстней!
Грабительницы мертвых! Эти кольца
Украдены у ней!

О, сто моих колец! Мне тянет жилы,
Раскаиваюсь в первый раз,
Что столько я их вкривь и вкось дарила, —
Тебя не дождалась!

И грустно мне еще, что в этот вечер,
Сегодняшний — так долго шла я вслед
Садящемуся солнцу, — и навстречу
Тебе — через сто лет.

Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятье
Моим друзьям во мглу могил:
— Все восхваляли! Розового платья
Никто не подарил!

Кто бескорыстней был?! — Нет, я корыстна!
Раз не убьешь, — корысти нет скрывать,
Что я у всех выпрашивала письма,
Чтоб ночью целовать.

Сказать? — Скажу! Небытие — условность.
Ты мне сейчас — страстнейший из гостей,
И ты откажешь перлу всех любовниц
Во имя той — костей.

1919 год («Тебе — через сто лет»)

Во Вшенорах Аля ходила на рождественскую елку на виллу Боженка. Там во второй половине богатого каменного особняка живут семьи: Чириковых и вдовы Леонида Андреева — Анны Ильиничны. Туда же часто — в гости и на литмероприятия — заглядывает МЦ.

Год близится к концу. МЦ сидит дома, много вяжет, в основном шарфы, шерсть быстро расходуется. «Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу». Ну, не совсем — домашней. В «Современных записках» (1924. XXI кн.) напечатана проза — очерк в форме дневника — «Вольный проезд». Первая ее проза

такого толка, не напрямую дневниковая, но опирающаяся на прошлую жизнь в дневниковых записях.

Как это выглядело вчерне, в записи 1918 года?

> *Ст<анция> Усмань.*
>
> Приезд. — Чайная. — Испуганные и ехидные старухи. Ночь на полу. Обыск. Крики, плач, звон золота, распоротые перины, тени красноармейцев.

Теперь — так:

> *Станция Усмань.* 12-й час ночи.
>
> Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чествуемые, все без сапог, — идя со станции чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.
>
> Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них — мне: «Вы что же — ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына). Сын: чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»… «Вы» — и: «Ну вас совсем — ко всем!»…
>
> Я, слава Богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорилась: «с их родными еще в прежние времена знакомство водила»… (Оказывается, она лет пятнадцать назад шила на жену моего дяди. «Собственная мастерская была… Четырех мастериц держала… Все честь честью… Да вот — муж подкузьмил: умер!»). Словом, меня нет, — я: *при…*
>
> Напившись-наевшись, наши два спутника, вместе с другими, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю N, собственно и сбившего меня на эту поездку) — мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.
>
> Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» — Второй сапог. — Вскакиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел!»
>
> Чирканье спички.
>
> Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки… Рыщут всюду.

— Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золото тоже любят-то!

— Да мы… Да нешто у нас… Сынок! Отец! Отцом будь!

— Молчать, старая стерва!

Пляшет огарок. Огромные — на стене — тени красноармейцев.

Так возникает проза. Костяк обрастает мясом, все оживает, слово дышит, время существует и движется. Это пробовал делать и Сергей Эфрон. Скорей всего, именно МЦ подтолкнула его к этим опытам. По крайней мере, она твердо ступила на путь прозы, параллельный поэзии, но совершенно автономный. Скоро в «Современных записках» (1925. № 6) выйдут и «Мои службы», более дневниковые.

Ее взгляд на прозу определился при помощи, опять-таки, Пастернака. Она была покорена его повестью «Детство Люверс» и думала о прозе минувшим летом, по ассоциации с юной героиней повести вспоминая о своем ялтинском чтении 1905 года, в частности — о Чехове, которого тогда же невзлюбила, наверняка в пику чеховскому культу, нарастающему на черноморском берегу.

Из записей МЦ:

Читая Чехова или беседуя со знакомым вы (именно вы, я от Чехова томилась с детства) и не подозреваете о своей усталости. <…> (Чтение Чехова — вязание <…> в воздухе, без результата — восполнения — связанной полосы.) <…>

С прозой Пастернака (как всякого большого мастера, — нет, Чехов тоже был мастер! — как всякого большого духа) — обратное. Читал — точно об стену бился, чуть ли не булыжник на мостовой колол, кончил — огромный прилив силы. Отданное — вернулось. Так Пастернак чувствует — закончив Урал.

Посему книги Пастернака (м. б. самого дионисического из моих современников) никогда не сравню с вином, а прозу Чехова, или иных бытовиков, — именно с вином, с развратом вина, сравню. <…>

«Чувствуй» (воспринимай) и «любуйся» — вот с чем идут к читателю писатели типа Бунина. — «Я сделал, а ты посмотри», «дал, а ты возьми», «страдал, а ты поразвлекись». Писатели типа Бунина хотят зрителя, писатели породы Пастернака хотят — писателя, второго себя.

Париж поддерживает МЦ издалека, но настроение ее таково: «…пока мне чехи будут давать, я отсюда никуда не двинусь». Существует — с 1922 года — пражский Комитет по улучшению быта русских ученых и журналистов и как-то чем-то помогает. Менее полезен Союз писателей и журналистов, но Сергей вступает в него, тотчас становясь членом правления и вскоре — ответственным за казначейство, что само по себе забавно, если не парадоксально. То ли предстоящее новое отцовство, то ли просто время такое — откуда ни возьмись в Эфроне образовался общественник. К тому же выходит в свет первый номер литературно-художественного и общественно-политического журнала «Своими путями». МЦ комментирует: «Громить будут и правые и левые».

Сергей подарил ей на свой редакторский гонорар чудную неопрокидывающуюся стеклянную чернильницу, записную книжку, дегтярное мыло, сушеных винных ягод, коробку баррана («барран» — это марка папиросных гильз, которые МЦ набивала табаком) и много табака.

Особенного погрома журнала «Своими путями» не случилось, журнал оказался замолчанным, лишь в будущем году на страницах парижского «Возрождения» (1925. № 125) некий Цуриков определит общее направление журнала как «рабски-собачье отношение к родине». МЦ напишет гневную отповедь «Возрожденщина» и напечатает ее в газете «Дни» (Берлин. 1925. 16 октября): «Г. Цуриков Герцена и Ленина — объединяет: вот-де, эмигрант Герцен, и вот-де эмигрант Ленин, и оба, и т. д. <…> Герцен так же обратен Ленину, как «жена Гумилева» — его расстрельщикам».

Кончается осень 1924-го. Констатируя: «Мой сын ведет себя в моем чреве тихо» (25 ноября, письмо Колбасиной-Черновой), МЦ ведет некое подобие светской жизни, выходит, например, на вечера Чешско-русской «Едноты». Там же бывает Родзевич. Он — с Булгаковой. Когда та отлучилась, МЦ заметила:

— Родзевич! Да у вас женские часы.

— Даже девические.

— Ну, девическое — это никогда не точно.

Написана «Попытка ревности»:

Как живется вам с другою, —
Проще ведь? — Удар весла! —
Линией береговою
Скоро ль память отошла

Обо мне, плавучем острове

(По́ небу — не по водам!)
Души, души! быть вам сестрами,
Не любовницами — вам!

Как живется вам с простою
Женщиною? Без божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),

Как живется вам — хлопочется —
Ежится? Встается — как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?

«Судорог да перебоев —
Хватит! Дом себе найму».
Как живется вам с любою —
Избранному моему!

Свойственнее и съедобнее —
Снедь? Приестся — не пеняй…
Как живется вам с подобием —
Вам, поправшему Синай!

Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром — люба?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлестывает лба?

Как живется вам — здоровится —
Можется? Поется — как?
С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк?

Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк — крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой

Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог — и нечисто разбит!)
Как живется вам с сто-тысячной —
Вам, познавшему Лилит!

Рыночною новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется вам с земною
Женщиною, без шестых

Чувств?
Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый?
Тяжче ли — Так же ли —
как мне с другим?

19 ноября 1924

Обидно за Эфрона.

Ее интересное положение становится совершенно очевидным благодаря отсутствию бандажа. У нее вообще нет ничего. Ни младенческих вещей, ни определенной в таких случаях утвари. Ничего. Даже у доктора не была ни разу. В больницу она не собирается, тем более — в бесплатную, где жутко: в общей палате двадцать женщин, чешские врачи, чешский язык и нельзя курить. Лучше сходить в кино. Смотрит немецкую двухсерийную ленту этого года «Нибелунги» (1-й фильм: Die Nibelungen. Siegfried; 2-й фильм: Die Nibelungen. Kriemhilds Rache[107]) — *великолепное* зрелище.

В начале декабря порадовал старик Струве: оказал денежную помощь. Отблагодарила письмом, правильно написав отчество «Бернгардович» и заодно предложив ему издать «Лебединый стан». Не получилось.

Сергей с приятелями — Николаем Исцеленовым, художником, и обрусевшим англичанином Бреем, режиссером, — затеяли киностудию. Ставят «Царя Максимилиана» (по А. Ремизову), Сергей играет царского сына, и «Адольфу» — нечто вроде святого Георгия. Дело в хороших руках, есть актеры — будут ли деньги? Пока у них небольшое помещение, репетиции идут. Сергей очень увлечен. Как-то привел домой своего Брея: небольшой быстрый рыжий человек, горящий и не гаснущий, острый в реплике, с лучше чем вкусом: нюхом. Страстно любит Пастернака. Сергей с ним намерен встречать здешний Новый год, — в Праге в эту ночь (Сильвестрову) все позволено. Будут ходить по улицам и заходить в рестораны. Говорят, пьяные чехи угощают русских.

Кино не произошло. Но Исцеленов вскоре оформит ее «Мóлодца», а Брей будет выступать с чтением ее стихов. Его

фамилию МЦ упорно пишет «Брэй».

Неожиданностью стало письмо от Анны Антоновны Тесковой. Начальница Едноты предложила выступить с лекцией на какую угодно тему. МЦ в ответ описала свое положение и пригласила к себе домой, указав точный маршрут проезда.

Восемнадцатого декабря набросала будущую вещь:

Ох: когда трудно, томно, или после усилия
ах: неожиданность, изумление, новизна, восторг
эх: не везет, не дается, птица — из рук, мог бы — да…

Неодолимые возгласы плоти:
Ох! — эх! — ах!

Тако во облацех

Все животы в родстве!
Выйди на площадь да погромче —
И сговорятся — все!

(NB! сильнее)
Целого лирика в переплете —
Не в десяти ль томах? —
Неодолимые возгласы плоти: — Ох! — Эх! — Ах!

Прошло пять дней. Родилось грандиозное стихотворение:

Емче органа и звонче бубна
Молвь — и одна для всех:
Ох, когда трудно, и ах, когда чудно,
А не дается — эх!

Ах с Эмпиреев и ох вдоль пахот,
И повинись, поэт,
Что ничего кроме этих ахов,
Охов, — у Музы нет.

Наинасыщеннейшая рифма
Недр, наинизший тон.
Так, перед вспыхнувшей Суламифью —
Ахнувший Соломон.

Ах: разрывающееся сердце,
Слог, на котором мрут.
Ах, это занавес — вдруг — разверстый.
Ох: ломовой хомут.

Словоискатель, словесный хахаль,
Слов неприкрытый кран,
Эх, слуханул бы разок — как ахал
В ночь половецкий стан!

И пригибался, и зверем прядал…
В мхах, в звуковом меху:
Ах — да ведь это ж цыганский табор
— Весь! — и с луной вверху!

Се жеребец, на аршин ощерясь,
Ржет, предвкушая бег.
Се, напоровшись на конский череп,
Песнь заказал Олег —

Пушкину. И — раскалясь в полете —
В прабогатырских тьмах —
Неодолимые возгласы плоти:
Ох! — эх! — ах!

(«Емче органа и звонче бубна…»)

Новогодье встретили дома, 1924 год ушел. Скрылся за горой. Все идет своим чередом.
Из записей МЦ:

> У Али восхитительная деликатность называть моего будущего сына: «Ваш сын», а не «мой брат», этим указывая его принадлежность, его — местоположение в жизни, обезоруживая, предвосхищая и предотвращая мою материнскую ревность (единственную, в к<отор>ой страдание не превышается — не погашается — презрением!)

Аля написала «Пожелание к Новому году»:

> Дорогая Марина и Рысь!
> Желаю Вам Сына Бориса (непременно гения, не чета мне), чудесного подарка от Лисевны[108] (платье или

ч<то->н<ибудь> в этом роде), неожиданной откуда-нибудь получки, очень большой. Я надеюсь, что мой скромный фартук может Вам доставить удовольствие. Прилагаю Вам при пожелании скромное иждивение, на ночь, чтоб у Вас оно не переводилось все ночи 1925 г. Желаю Вам еще всё то, что желаете Вы.

Итак — с 1925 годом!

Целую, целую, целую Вас

Ваша, вечно Ваша Аля

Что будет в этот день (31-го декабря) с нами в 1926 г.?

P. S. Вашему сыну Борису будет почти год.

Странные сближения между людьми образуются чуть не чаще, чем в стихах. Муна Булгакова, лишенная безоблачности в отношениях с Родзевичем, тянется к МЦ, хлопочет по ее дому, возит ее к врачу, притом что МЦ втайне надеется на неуспех Муны с Родзевичем. Юная соседка Катя Рейтлингер исходит обожанием: «Сергей Яковлевич! Сергей Яковлевич!» — и тоже с головой включена в Маринин быт. К ней заходит Валентин Федорович Булгаков, председатель Союза писателей и журналистов, они вместе колдуют над составом нового сборника «Ковчег», название принадлежит ей: так же назывался феодосийский альманах Э. Миндлина (1920). МЦ приходит какое-то безумное письмо из Лондона от еврея-красноармейца-поэта по имени Лео Гордон, прочитавшего в «Современных записках» ее «Вольный проезд», он возмущен ее отпадением от своих, то бишь большевиков…

Аля начинает говорить по-французски, во французских книгах понимает приблизительно треть, — прямая заслуга МЦ, сила ломит и соломушку, итоги материнской педагогики налицо, а впереди — занятия немецким.

Быт, быт, быт. МЦ — между плитой (вода для стирки) и письменным столом, как сомнамбула, как мыслящий маятник. Пишет утром, с отвращением озираясь на невы-несенные помои, неподметенную комнату, нетопленую плиту. 7 января 1925-го пишет Ольге Елисеевне: «В будущем году — давайте? — приеду в Париж. Посажу вместо себя Катю Р<ейтлингер> или Муну (они меня все так любят!) и приеду. — Ну, на две недели, чтобы опять услышать звук собственного голоса». 11 января МЦ пишет свое второе письмо Тесковой, уже обращаясь к ней по имени-отчеству, в письме — поздравление с Новым годом, просьба разузнать о лечебнице (роддоме), приглашение на елку во Вшеноры.

С Муной побывала у врачихи, от которой получила совет

возможно больше стирать белья для укрепления мускулов живота. «1917 г. — 1925 г. — 8 лет укрепляю!» А у Муны с Родзевичем, похоже, дело идет к концу. «Мне ее жаль, хотя я ее не люблю». В середине января — новость: Родзевич уехал в Латвию — насовсем. Слезы Муны обильны. «Много ей придется их пролить, раз я тогда на горе так плакала!»

Более пространное письмо МЦ к Тесковой — 10 февраля: уже с описанием трудностей, с просьбами («не найдется ли у кого-нибудь в Вашем окружении простого стирающегося платья?»). МЦ касается и писательских дел: «Когда я встану, перепишу Вам кусочек прозы для чешского женского журнала. У меня много прозы, — вроде дневника (Москва, 1917 г. — 1921 г.)». Речь идет о журнале «Ева», выходящем в городе Оломоуце. Отрывки из «Земных примет» были опубликованы в третьем номере «Евы» годом раньше в переводе Отто Барблера. МЦ понравилось, как переводит Франтишек Кубка: «Идешь, на меня похожий…» — в журнале «Cesta» (1924. № 29/30) и отрывки из ее стихов в книге Кубки «Basnici revolucniho Ruska»[109], где он дал ей такую характеристику:

> Марина Цветаева — полная противоположность Бориса Пастернака. Она вся — чувство, сказка, традиция, страсть. Она музыкальна и чувственна. Она любит Россию Блока и музыкальные сны Андрея Белого. Не только поет красу исторического прошлого, но и любовно тянется к светящемуся настоящему. Кремль царской славы — за каждым стихом, ее литературная культура насыщена Байроном и французским декадансом. В Марине Цветаевой соединяются благородная аристократическая традиция со страстным анархизмом простой русской души. Она погружена в музыку и воспоминания, в тихую тоску, она гордая и мудрая. Превыше тяги к белым и красным для нее является тяга к Руси. Ее патриотизм растет со страданием.

Для знакомства с чешским читателем достаточно. На взгляд МЦ, Кубка отлично перевел бы ее «Метель». Они были знакомы. Встречались в пражском отделении Пен-клуба. PEN club (Пен-клуб) основан как объединение писателей в Лондоне в 1921-м. Пражский Пен-клуб был создан 15 февраля 1925-го. МЦ будет присутствовать на заседании 18 июня, устроенном в честь французского писателя Рони (одного из двух братьев, писавших под одним и тем же псевдонимом: Rosny). На встрече будут Карел Чапек и Франтишек Кубка.

Сергей много пишет. Очень занят театром. Совмещает пять — бесплатных — должностей. Невинно и невольно кружит головы бесчисленным девушкам: «куклам». В супружескую постель сваливается, как жнец на сноп. Худеет, ест, и еще ест, и еще худеет.

От Ольги Елисеевны приходят чудные подарки, детские вещи, одеяльца, перчатки. «С грустью гляжу на перчатки: где и когда?! Руки у меня ужасны, удивляюсь тем, кто их бессознательно, при встрече, целует. <…> Вы помните Катерину Ивановну Достоевского? — Я. — Загнанная, озлобленная, негодующая, в каком-то исступлении самоуничижения и обратного».

У МЦ появился в записях новый микрожанр — *мысль*. Возможны образцы: Монтень ли, Розанов ли — мысль. «Мысль (NB! Я всё, что не стихи, тогда называла мыслью. А м. б. так и есть — у меня?)».

> Мысль:
>
> Лирика (т. е. душа и я) — вечная трагедия. Никакой связующей нити между вчера и сегодня. Что со мной будет — то будет и в тетради.

> Мысль:
>
> Я не люблю, когда в стихах описывают здания. На это есть архитектура, дающая.
>
> Высота, отвес, наклон, косяк, прямой (косой) угол — это принадлежит всему, поэту, как зодчему. Этим путем здание — да. Évoquer[110].
>
> Предметы как таковые в стихах не нужны: музей или мебельный склад («на хранение»). Фронтон отождествленный с собственным (или не-собственным) лбом — да…
>
> Бессмысленно повторять (давать вторично) вещь уже сущую. Описывать мост, на котором стоишь. Сам стань мостом, или пусть мост станет тобою, отождествись или отождестви. Всегда — *иноскажи.*
>
> Сказать (дать вещь) — меньше всего ее описывать.

> Мысль:
>
> (30-го января 1925 г.)
>
> Есть вещи, которые можно только во сне. Те же — в стихах. Некая зашифрованность сна и стиха, вернее: обнаженность сна = зашифрованность стиха. Что-то от семи покрывал, внезапно сорванных.

Под седьмым покрывалом — ничего. Ничто: воздух: Психея. Будемте же любить седьмое покрывало («искусство»).

Мысль: Единственная женщина, которой я завидую — Богородица: не то, что *такого* родила: за то, что так зачала.

Мысль.

Влияние далекого современника уже не влияние, а сродство. Для того, чтобы напр. Генрих Гейне (1830 г.) повлиял на меня (1930 г.) нужно, чтобы он заглушил во мне всех моих современников, он — из могилы — весь гром современности. Следовательно, уже мой слуховой выбор, предпочтение, сродство. Не подчинение, а предпочтение. Подражатель не выбирает.

Тело ее вот-вот разрешится бременем и не ведает своей принадлежности:

Дней сползающие слизни…
Строк поденная швея…
Что до собственной мне жизни?
Не моя, раз не твоя.

И до бед мне мало дела
Собственных… — Еда? Спанье?
Что до смертного мне тела?
Не мое, раз не твое.

Январь 1925 («Дней сползающие слизни…»)

Свершилось. Сын родился 1 февраля 1925 года в воскресенье, в полдень. Ни акушерки, ни врача-специалиста. Сергей сбегал к студенту-медику Григорию Альтшуллеру. Налетел ураган. Небо почернело. Вихрями крутился снег, град и дождь. МЦ загодя назначила оторопевшего юношу восприемником ее родов. Он прибыл в 10 часов 30 минут. Сергей побежал за какими-то лекарствами. Когда возвратился к домику, небо очистилось, вихрь угнал тучи, солнце слепило глаза. Его встретили возгласами:

— Мальчик! Мальчик!

В самую секунду его рождения на полу возле кровати

загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. Родился в глубоком обмороке — откачивали минут двадцать. Накануне МЦ с Алей были у зубного врача в городке Ревницы. Народу — полная приемная, ждать не хотелось, пошли гулять и добрели почти до замка Карлов Тын. Пошли обратно в Ревницы, потом, не дожидаясь поезда, рекой и лугами — во Вшеноры.

Вечером были с Сергеем у Анны Ильиничны Андреевой, вдовы Леонида Андреева, с которой общались постоянно по вшенорскому добрососедству. Смотрели старинные иконы и цветную фотографию. Вернувшись домой около двух часов ночи, МЦ еще читала в постели Диккенса: «Дэвид Копперфилд».

Мальчик дал о себе знать в полдевятого утра. Сначала не поняла — не поверила — вскоре убедилась — и на все увещевания «всё сделать чтобы ехать в Прагу» не соглашалась. Началась безумная гонка Сергея по Вшенорам и Мокропсам. Потом прибежали целые полчища дам с бельем, тряпьем, флаконами и лекарствами. Вскоре комната переполнилась женщинами и стала неузнаваемой. Чириковская няня вымыла пол, все лишнее вынесли, облекли роженицу в ночную рубашку, кровать выдвинули на середину. Пол вокруг залили спиртом. Он-то и вспыхнул — в нужную секунду. Альтшуллер отчаянно закричал:

— Только не двигайтесь!! Пусть горит!!

Младенец продышался, его выкупали. В час дня пришла «породильная бабочка». О том, что — мальчик, узнала от В. Г. Чириковой, присутствовавшей при рождении:

— Мальчик — и хорошенький!

Мысленно сразу отозвалось:

— Борис!

Sdnntags, Mittage *u* Flammenkind[111].

Sdnntagkind[112].

Имя ему дали победоносное — Георгий.

У Георгия было множество нянь: чешка — цыганка — волжанка — татарка — и две немки: некая «волчиха-угольщица, глядящая в леса», А. И. Андреева, В. Г. Чирикова, Муна Булгакова, Катя и Юлия Рейтлингер плюс Александра Туржанская. Две из них, Катя Рейтлингер и Александра Туржанская, влюблены в Сергея Эфрона. Катя влюблена и в стихи МЦ. К Туржанской МЦ не так давно «ринулась со своим страшным горем (Р<одзевичем>) и она как тихое озеро — приняла».

Лежала МЦ недолго. Встав на третий день, записала: «Чую, что скоро будут стихи». Однако ни за что не хотела выходить на волю. «Как под теми или иными, вовсе не моими — предлогами: слабость, усталость, не знаю чего — оттягивала. Мне казалось

просто немыслимым — перешагнуть порог. И диким, что никто этого не понимает. Точно так просто — взять и выйти».

А когда вышла, повстречался старый писатель Василий Иванович Немирович-Данченко.

— Ну, как ваш дофин?

Восемнадцатого февраля МЦ записывает: «А стихов нет. (Как Аля в детстве: «Стихи устали»)». Чуть позже — строка: «Тих и скромен город Гаммельн…» Начинается черновик поэмы «Крысолов».

ВШЕНОРЫ, 29(28?) — ГО ФЕВРАЛЯ 1925 Г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Мое письмо с письмом П<астерна>ку Вы уже получили и уже знаете, что мальчик — Георгий. <…>

С Б<орисом> П<астернаком> мне не жить, но сына от него я хочу, чтобы *он в нем через меня жил.* Если это не сбудется, не сбылась моя жизнь, замысел ее. <…>

О своей жизни: мало сплю — когда-нибудь напишу об этом стихи — не умею ни ложиться рано, ни спать днем, а мальчик нет-нет да проснется, пропоется, — заснет — я разгулялась, читаю, курю. От этого днем повышенная чувствительность, от всего — и слезы, сразу переходящие в тигровую ярость. Мальчик очень благороден, что с такого молока прибавляет. Чистейшая добрая воля.

Но еще зимы во Вшенорах не хочу, не могу, при одной мысли — холодная ярость в хребте. Не могу этого ущелья, этой сдавленности, закупоренности, собачьего одиночества (в будке!). Все тех же (равнодушных) лиц, все тех же (осторожных) тем. Летом — ничего, будем уезжать с Георгием в лес, Аля будет стеречь коляску, а я буду лазить. А на зиму — решительно — вон: слишком трудна, нудна и черна здесь жизнь. Либо в Прагу, либо в Париж. Но в Прагу, по чести, не хотелось бы: хозяйки, копоть — и дорогой, который несомненно заявится на третий день после переезда и которому я, по малодушию, «прощу». И французского хотелось бы — для Али. А главное, в Париже мы жили бы, если не вместе, то близко. Вы так хорошо на меня действуете: подымающе, я окружена жерновами и якорями.

По совету Ольги Елисеевны МЦ 29 февраля 1925-го предпринимает попытку письма — к богачу Леонарду Розенталю, французу русско-еврейского происхождения, родом из

Ставрополя. Он писал книги о ловле жемчуга и предпринимательстве. То бишь сам писатель и помогает писателям — Бунину, Мережковскому, Куприну и Бальмонту.

> Многоуважаемый Леонид Михайлович,
>
> Я ничего не знаю о Вас, кроме Вашего имени и Вашей доброты. Вы же обо мне еще меньше: только имя.
>
> Если бы я по крайней мере знала, что Вы любите стихи — моя просьба о помощи была бы более оправдана: так трудна жизнь, что не могу писать, помогите. Но если Вы стихов — не любите?
>
> Тем не менее, вот моя просьба: нуждаюсь более чем кто-либо, двое детей (11 л. и 6 недель), писать в настоящих условиях совершенно не могу, не писать — не жить.
>
> Если можно, назначьте мне ежемесячную ссуду, ссуду — если когда-нибудь вернется в России прежнее, и субсидию — если не вернется.
>
> (Про себя: знаю, что не вернется!)
>
> Деньги эти мне нужны не на комфорт, а на собственную душу: возможность писать, то есть — быть.
>
> Могла бы ограничиться официальным прошением, но Вы не государство, а человек <фраза не окончена>

Кто так просит деньги? МЦ отправляет это письмо Ольге Елисеевне — на проверку и редактуру. Понадобилось и официальное прошение на имя Розенталя. МЦ думала о Париже и увязывала свой переезд туда с субсидией от Розенталя. Однако Розенталь не дает стипендий заочно, и для успеха дела нужно быть в Париже. К лету ей стало ясно: «А в Париже нам, конечно, не жить. Я так и знала».

Счастливый отец пишет сестрам 10 марта 1925 года:

> Он родился в полдень, в Воскресение, первого числа первого весеннего месяца. По приметам всех народов должен быть сверхсчастливым. Дай Бог!
>
> Я видно повзрослел, или состарился. К этому мальчику испытываю особую нежность, особый страх за него. Я не хотел иметь ребенка, а вот появился «нежеланный» и мне странно, что я мог не хотеть его, такое крепкое и большое место занял он во мне.
>
> Окрестим его Георгием в память всех бывших и в честь всех грядущих Георгиев.

Первая глава «Крысолова» — у МЦ *«Крыселов»* — закончена

19 марта 1925 года. Писала ровно месяц. Цветаевское написание «КрысЕлов», не без небольшой внутриредакционной дискуссии насчет правописания, попадет в первую публикацию первой главы (Воля России. 1925. № IV. Апрель). Следующая глава уже была: КрысОлов.

Отдельные стихотворения возникают внезапно, вне какого-то общего дальнего замысла. Русская лирика течет по своему руслу, не оттесненная эпосом иноземного пейзажа. Но пространство становится щемяще беспредельным.

Рас-стояние: версты, мили…
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.

Рас-стояние: версты, дали…
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав

Вдохновений и сухожилий…
Не рассо́рили — рассорили,
Расслоили…
Стена да ров.
Расселили нас, как орлов —

Заговорщиков: версты, дали…
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот.

Который уж, ну который — март?!
Разбили нас — как колоду карт!

24 марта 1925 («Рас-стояние: версты, мили…»)

Внутренний диалог с Пастернаком продолжается непрерывно.

> Б. П., Вы посвящаете свои вещи чужим — Кузмину и другим, наверное. А мне, Борис, ни строки. Впрочем, это моя судьба: я всегда получала меньше чем давала: от Блока — ни строки, от Ахматовой — телефонный звонок, который не дошел и стороннюю весть, что всегда носит мои стихи при себе, в сумочке, — от Мандельштама —

несколько холодных великолепий о Москве (мной же исправленных, досозданных!), от Чурилина — просто плохие стихи (только одну строку хорошую: Ты женщина, дитя, и мать, и Дева-Царь), от С. Я. Пар-нок — много и хорошие, но она сама — не-поэт, а от Вас, Б. П. — ничего.

При жизни МЦ Пастернак посвятил ей «Не оперные поселяне…» (1926), акростих «Посвященье» (1926), предпославший первую публикацию поэмы «Лейтенант Шмидт», опять акростих «Мгновенный снег, когда булыжник узрен…» (1929) и «Марине Цветаевой» («Ты вправе, вывернув карман…», 1929). Ну а потом — «Памяти МЦ» (1943).

Маяковский — ни слова, Кузмин — тоже.

Макса, Макса забыла, с его посвящением — мне — лучшего сонета (Бонапарт) в ответ на что? — на мою постоянную любовь к другим — при нем, на постоянную занятость другими, а не им, заваленность всеми — на его глазах.

В свете надвигающихся крестин 10 мая 1925-го МЦ сообщает Ольге Елисеевне: «О Муре: во-первых — Мур, бесповоротно. Борис — Георгий — Барсик — Мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем, во-вторых — Kater Murr — Германия, в-третьих — само, вне символики, как утро в комнату».

В парижских «Последних новостях» от 11 июня 1925 года МЦ нашла «Заметки о стихах. М. Цветаева. Мóлодец» Владислава Ходасевича.

…Начать с того, что народная сказка, в отличие от былины и лирической песни, почти всегда, если не всегда, облечена в прозаическую форму. У Пушкина все его девять обработок сказочного сюжета — как раз стихотворные. Вдобавок, из этих девяти — только три («Сказка о попе», «Сказка о рыбаке и рыбке» да неоконченная сказка о медведях) по форме стиха в той или иной степени приближаются к образцам народного творчества. Из прочих — пять писаны чистопробней-шим книжным хореем, а шестая ямбом, да еще со строфикой, явно заимствованной из бюргеровой «Леноры» («Жених»). <…>

Поэтому, если допустить, как это иногда делается, будто Пушкин в своих сказках хотел в точности воспроизвести народную словесность, то пришлось бы сказать, что из такого намерения у него ничего не вышло, что книжная литературность у него проступает на каждом шагу и сказки его надо не

восхвалять, а резко осудить, как полнейший стилистический провал. <…>

Как известно, Пушкин однажды дал П. В. Киреевскому собрание народных песен, сказав: «Когда-нибудь, от нечего делать, разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». Однако разобрать это не удалось ни Киреевскому, ни кому-либо другому: наглядное доказательство того, что Пушкин, когда хотел, мог подражать народному стилю до полной неотличимости. Его собственные «Песни о Стеньке Разине» почти не отличимы от записанных им. Почему же, владея народным стилем в таком совершенстве, Пушкин не применил своего умения в сказках? Ответ, мне думается, возможен только один: именно потому, что хотел найти тот третий стиль, о котором говорено выше: не народный, не книжный, а их комбинацию. Изучение полученной смеси еще далеко не произведено, да и невозможно с математической точностью установить принятую Пушкиным «дозировку». Однако, основываясь на своих наблюдениях, я бы сказал, что в стиле пушкинских сказок элементы народного и книжного стиля смешаны приблизительно в отношении 1 к 3: 1 — народное, 3 — книжное. <…>

Пушкинская традиция в обработке народной поэзии утвердилась прочно. Начиная с Ершова, в точности повторившего пушкинскую манеру, пушкинская «дозировка» в смешении народного стиля с книжным сохранилась до наших дней почти без изменения, как в эпосе, так и в лирике. Даже Кольцов, сам вышедший из народа, пошел по пушкинскому (или до-пушкинскому) пути: по пути, так сказать, олитературивания. То же надо сказать об Алексее Толстом, о Некрасове; в наши дни — о С. Городецком, о Клюеве, Клычкове и др. Эти поэты разнятся друг от друга дарованиями, но методологически их работы принадлежат к одной группе: книжность в них стилистически преобладает над народностью. Едва ли не единственным исключением является «Песня о купце Калашникове», в которой стиль народной исторической песни преобладает над книжным.

Только что вышедшая сказка Марины Цветаевой «Мóлодец» (Прага, 1925. Изд<ательст>во «Пламя») представляет собою попытку нарушить традицию. Цветаева изменяет пушкинскую «дозировку». В ее сказке народный стиль резко преобладает над книжным: отношение «народности» к «литературности» дано в обратной пропорции.

Известная непоследовательность и у Цветаевой налицо: сказку пишет она стихом народной лирической песни. Но надо прежде всего отдать ей справедливость: этот стих ею почувствован и усвоен так, как ни у кого до нее.

Новейшие течения в русской поэзии имеют свои хорошие и дурные стороны. Футуристы, заумники и т. д. в значительной мере правы, когда провозглашают самодовлеющую ценность словесного и звукового материала. Не правы они только в своем грубом экстремизме, заставляющем их, ради освобождения звука из смыслового плена, жертвовать смыслом вовсе. Некоторая «заумность» лежит в природе поэзии. Слово и звук в поэзии — не рабы смысла, а равноправные граждане. Беда, если одно господствует над другим. Самодержавие «идеи» приводит к плохим стихам. Взбунтовавшиеся звуки, изгоняя смысл, производят анархию, хаос — глупость.

Мысль об освобождении материала, а может быть, даже и увлечение Пастернаком, принесли Цветаевой большую пользу: помогли ей найти, понять и усвоить те чисто звуковые и словесные задания, которые играют такую огромную роль в народной песне. Народная песня в значительной мере является причитанием, радостным или горестным; в ней есть элемент скороговорки и каламбура — чистейшей игры звуками; в ней всегда слышны отголоски заговора, заклинания — веры в магическую силу слова; она всегда отчасти истерична — близка к переходу в плач или в смех, — она отчасти заумна.

Вот эту «заумную» стихию, которая до сих пор при литературных обработках народной поэзии почти совершенно подавлялась или отбрасывалась, Цветаева впервые возвращает на подобающее ей место. Чисто словесные и звуковые задания играют в «Мóлодце» столь же важную роль, как и смысловые. Оно и понятно: построенная на основах лирической песни, сказка Цветаевой столько же хочет поведать, сколько и просто спеть, вывести голосом, «проголосить». Необходимо добавить, что удается это Цветаевой изумительно. <…> На некоторые затруднения натолкнется читатель и при усвоении фабульной стороны. Однако причиной этому — не авторская неопытность. Сказка Цветаевой построена на приемах лирической песни. <…> Выше я указал, что Цветаева нарушает «пушкинскую» традицию в отношениях народного стиля к книжному. Действительно, давая преобладание народному, она все же вводит в свою сказку некоторые приемы литературы книжной. Самая мысль рассказать сказку путем соединения ряда лирических песен — конечно, книжная. Книжными кажутся и некоторые частности, подробное перечисление которых заняло бы слишком много места. Как пример — укажу на прием не только «книжный», но даже почти типографский: на сознательный пропуск некоторых рифмующих слов, которые должны быть угаданы самими читателями. Этот интересный, но слегка вычурный прием, если не ошибаюсь,

впервые применен П. Потемкиным в книге «Смешная любовь» (1907 г.).

Восхваление внутрисоветской литературы и уверения в мертвенности литературы зарубежной стали в последнее время признаком хорошего тона и эмигрантского шика. Восхитительная сказка Марины Цветаевой, конечно, представляет собою явление, по значительности и красоте не имеющее во внутрисоветской поэзии ничего не только равного, но и хоть могущего по чести сравниться с нею.

МЦ набрасывает критично-благодарный ответ Ходасевичу:

> Дорогой Владислав Фелицианович!
>
> Когда мне, после стихов, говорят «какая музыка», я сразу заподозреваю либо себя — в скверных стихах, либо других — в скверном слухе. *Музыка* не похвала, музыка (в стихотворении) это звуковое вне смысла, (осмысленное звуковое — просто музыка), музыка, в стихах, это перелив — любой — «Музыка», это и неудачный Бальмонт, и Ратгауз[113] и утреннее чириканье, чь<е> угодно — только не стихи. «Музыка» в стихах — провал, а не похвала.
>
> Поэтому я так *Пропущено слово>* была *Пропущено слово>,* когда прочла ваш отзыв о «Мóлодце». Вот уж действительно в точку! То есть — на защиту *смысла,* фабулы, тб, что я всегда так страстно преследую и что мне — Вы совершенно правы — хуже всего дается: не дать себя захлестнуть, нестись, но не быть *несомой!*
>
> Голубчик, *<не окончено>*

Земле — земное. В июне МЦ починила себе все зубы (три золотые коронки) и задолжала врачу 800 крон. В лавки долг — больше тысячи. У Сергея флегмона: вся рука изрезана, на перевязи. Не сможет писать еще больше месяца. В июле Сергей Эфрон в полном истощении, еще зимой потеряв восемнадцать килограммов (осталось шестьдесят два), едет в бесплатный санаторий Земгора[114]. Оповещает Лилю:

> Со мной ничего страшного не произошло, с легкими у меня дела обстоят прекрасно — я просто переутомился до предела и врачи отправили меня на полтора месяца на отдых. Т<ак> что не волнуйся и не хорони меня до времени.
>
> С начала войны не имел ни разу возможности так отдыхать, как отдыхаю сейчас. Круглыми днями лежу в сосновом лесу на кушетке, ем пять раз в день, пичкаюсь железом, мышьяком и пр<очим>. За первую неделю прибавил два кило.

Марина с Алей и мальчиком остались во Вшенорах. Если бы ты видела этого мальчика, Лиленька! Милый, тихий, ласковый, с большими синими глазами. Говорить еще, конечно, не умеет (1 1/2 м<есяца>), но уже звонко смеется. Почти никогда не плачет. Когда с ним говорят — приветливо улыбается. А главное прекрасно выглядит (тьфу, тьфу, тьфу не сглазить!)! Круглый, розовый, с прекрасными детскими чертами. Не подумай, что я пристрастен — он общий любимец. Его задаривают со всех сторон. <…>

Аля — девочка с золотым сердцем. <…> Она очень полна и это портит ее. Но ей трудно живется. Она много помогает по хозяйству, убирает комнаты, ходит в лавочку, чистит картофель и зелень, моет посуду, нянчит мальчика и т. д., и т. д. Тяжесть быта навалилась на нее в том возрасте, когда нужно бы ребенка освобождать от него. <…>

Что написать о себе? Весною я кончил университет, давший мне очень мало. Моя специальность — Христианское средневек<овое> искусство. Тема моего докторского сочинения: «Иконография Рождества Христова на Востоке», т. е. Византия, Сирия, Египет, Сербия, Армения и пр<очее>.

Кончаю работу, но без всякого увлечения. Я не родился человеком науки. <…>

Я живу на кухне, в к<отор>ой всегда толкотня, варка или трапеза, или гости. Отдельная комната одно из необходимейших условий работы. Знаю, что смешно писать о таких «пустяках» в Россию, где, верно, мое житье сочли бы за сверхсчастливое по части быта. Но тяжесть быта в России восполняется самой Россией. <…>

Здесь, в Европе — театр заменен зрелищем: сотни тысяч стекаются на бокс, футбол, гонки, скачки и пр<очее> и пр<очее>. Сюда отдается тот избыток народной энергии, к<отор>ый раньше шел на театро-творчество и на театро-зрительство. То же что было в древней Византии (и в Риме) трагедия и комедия заменились цирком и ристалищем. Могут еще ставиться гениальн<ые> спектакли, но театр умер, ибо единственный творец театра (не спектакля) — народ — от него отвернулся и занялся другим (и кинематографом в том числе).

Но… жив актер и не хочет умирать. Даже больше — театр умирает, а актер размножается. На первый взгляд выглядит нелепым парадоксом, но только на первый взгляд. (Ведь писатель пишет не потому, что есть литература. То же актер.) Вот от актерства я и отошел.

Есть и редкие радости. Об «Октябре» — главе из книги

С. Эфрона «Записки добровольца» (На чужой стороне. 1925. № 11) — хорошо отозвался Ю. Айхенвальд (Руль. 1925. 30 сентября), назвав «яркой и живой».

От Валентина Федоровича Булгакова МЦ узнает об отзыве Георгия Адамовича на ее «Мóлодца» в «Звене» (№ 129. 20 июля). Булгакову она пишет 12 августа: «Фамилия Адамович не предвещает ничего доброго, — из неудавшихся поэтов, потому злостен». На сей раз она все-таки слегка погорячилась, впрочем, как и много раз вообще. Адамович писал, умело отмеряя дозу негатива:

Нельзя сомневаться в исключительной даровитости Марины Цветаевой. Читая ее, нередко приходится думать: «победителей не судят». Все средства, употребляемые ею, — качества не перворазрядного. Вся внешность ее поэзии — скорей отталкивающая. Тон — льстивый, заискивающий, большей частью фальшивый. Но настоящий художник всегда обезоруживает, наперекор предположениям: так и Цветаева. По редкому дару певучести, по щедрости этого дара ее можно сравнить с одним только Блоком. Конечно, шириной, размахом, диапазоном голоса Цветаева значительно превосходит Анну Ахматову. Если же мы, не задумываясь, отдадим «пальму первенства» Ахматовой, то только потому, что стихи — не песня и поэзия все-таки не музыка.

«Мóлодец» — только что вышедшая сказка Цветаевой — вещь для нее очень характерная. Она кажется написанной в один присест. Есть страницы сплошь коробящие, почти неприемлемые. Все разухабисто и лубочно до крайности. Нужен был подлинный и большой талант, чтобы из этого болота выбраться, чтобы всю сказку спасти. Цветаевой это оказалось под силу. Она дыханием оживила стилистически мертвые стихи. Более того: «Мóлодец» в целом — очаровательная вещь, очень свежая, истинно-поэтическая. Закрывая книгу, ни о каких недостатках не помнишь. Все кажется прекрасным. <…>

Начало сказки отдаленно напоминает баллады Бюргера и Жуковского, последние страницы — погоню в «Лесном царе»: так же все страшно и чудесно. <…>

Сказка Цветаевой написана языком не разговорным, не литературным или книжным, а «народным». Я отдаю должное изобретательности Цветаевой, если она изобрела большинство встречающихся в ее сказке оборотов и выражений. Я преклоняюсь перед ее знанием русского языка, если она все эти речения взяла из обихода, а не выдумала. Не берусь судить, какое из двух предположений правильное. Но с уверенностью я говорю: насколько наш обыкновенный, простой, развенчанный и

оклеветанный «литературный» язык богаче, сильнее, выразительнее цветаевского волапюка! <…>

Некоторые страницы «Мóлодца» гораздо больше напоминают Андрея Белого, чем народные песни, — например, вся глава о «мраморах».

Очень хороши диалоги. В них убедительная певучесть цветаевского стиха сказывается сразу и в них она «уместнее», чем в других частях рассказа.

Эти трое — Ходасевич, Георгий Иванов и Адамович — на удивление схожи в подходе к цветаевскому творчеству. Выходит так, что МЦ — единственное, что их сближает без разногласий и бесчисленных оттенков. Это выходцы из единой культуры, и МЦ — оттуда же, но — с краю. В МЦ осуществляется прорыв к новому языку всего русского стихотворства, ее здание стоит в строительных лесах, строительный материал перемешан со строительным мусором, и нужен острый глаз со стороны, чтобы различить стройность ее постройки.

Записи о Брюсове подходили к концу, получался очерк. Брюсов у МЦ вол и мечта его вол. Ничего боговдохновенного, только труд нечеловеческий. В отличие от Бальмонта, суть которого — моцартианская игра. Дифирамб Бальмонту мог втайне и задеть Бальмонта, поскольку МЦ в этом очерке выпустила из виду хотя бы Монблан переведенного им. Но признание двоевластия Брюсова и Бальмонта в определенную эпоху российского стихотворства — вещь объективная, МЦ вроде бы и несвойственная, но имеющая место. Брюсову, на ее взгляд, больше всего нужна власть, посему оный римлянин так органично вписался в большевизм. Вол и волк — вот ее Брюсов. Любовь через отталкивание значительней любви-притяжения. Написана история любви. В МЦ обнаружился повествовательный дар — ряд эпизодов, рисующих время. От любви МЦ к Брюсову перепало и Аделине Адалис, изображенной живо и нашедшей таким образом место в отечественной словесности. От остальных девочек-поэтесс, собранных Брюсовым в Политехническом музее на вечер девяти муз, остались лишь соболий хвост и малиновые уста.

На минуту отвлечемся от собственно цветаевской жизни. У некоторых крупных поэтов были ученицы или спутницы, так или иначе испытавшие их влияние. От Гумилёва отпочковались несомасштабные Анна Ахматова и Ирина Одоевцева. От Ходасевича — значительная не в стихах Нина Берберова. От Брюсова — крепкий профессионал Аделина Адалис и ничего не сказавшие в поэзии Нина Петровская и Надежда Львова. Если в человеческом измерении к двум последним с их

самоубийственным финалом приплюсовать МЦ, получится черный ряд, подобный кошмару морфиниста в час ломки. Мы недооцениваем могущества символизма.

Писала МЦ, сознательно не ознакомившись с предшествующими текстами на ту же — брюсовскую — тему: В. Ходасевич. (Брюсов // Современные записки. 1921. № 23), Д. Святополк-Мирский. (Валерий Яковлевич Брюсов // Современные записки. 1924. № 22), З. Гиппиус (Одержимый (О Брюсове) // Живые лица. Прага: Пламя, 1925). Однако она знала волошинскую очерковую рецензию на первый том «Путей и перепутий» Брюсова в газете «Русь» от 29 декабря, № 348 за 1907 год и рецензию Андрея Полянина (Софьи Парнок) «По поводу последних произведений Валерия Брюсова» в январском номере «Северных записок» за 1917 год.

Название «Герой труда» (с подзаголовком «Записи о Валерии Брюсове») нашлось быстро и легко — МЦ и себя саму так называла. 12 августа МЦ пишет Тесковой: «Заканчиваю воспоминания о Брюсове. Вот бы хорошо — отрывки в Pragerpresse[115]. Не знаете ли адреса Кубки? Если бы написали ему (о Брюсове для Pr<ager>Presse) была бы Вам очень благодарна». Кубка был сотрудником этой немецкоязычной газеты. 25 августа на вилле Боженка прошло чтение «Героя труда» при стечении дружелюбной публики. 26 августа МЦ обратилась и непосредственно к переводчику, послав ему в два приема отрывки из очерка и предлагая отобрать эпизод «Вечер поэтесс» («Я лично посоветовала бы взять «Вечер поэтесс», дающий не только Брюсова, но картину времени (1921 г.)». По-русски очерк появился в «Воле России» в № 9—10, 11-м. 22 октября МЦ на вечере современной русской поэзии, организованном Союзом русских писателей и журналистов, Чешско-русской «Еднотой» и «Скитом поэтов», МЦ опять читала свой очерк.

> Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же как Сальери остался — творческой волей Пушкина. На Брюсове не будут учиться писать стихи (есть лучшие источники, чем — хотя бы даже Пушкин! Вся мировая, еще не подслушанная, подслушанной быть долженствующая, музыка), на нем будут учиться хотеть — чего? — без определения объекта: всего. И, может быть, меньше всего — писать стихи.
>
> Брюсов в хрестоматии войдет, но не в отдел «Лирика» — в отдел, и такой в советских хрестоматиях будет: «Воля». В этом отделе (пролагателей, преодолевателей, превозмогателей) имя его, среди

русских имен, хочу верить, встанет одним из первых.

И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, пока в Москве, на самой видной ее площади, не встанет — в граните — в нечеловеческий рост — изваяние:

ГЕРОЮ ТРУДА С. С. С. Р.

Это оказалось прощанием с Чехией, а может быть — и со всей предшествующей жизнью.

Глава пятая

Первого ноября 1925 года Марина Цветаева с детьми прибыла в Париж. Из Праги поезд ушел в субботу, 31 октября, в 10 часов 45 минут с Вильсонова вокзала. Их проводил памятник американскому президенту Вудро Вильсону в парке перед вокзалом.

Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции выделил МЦ, по ее просьбе, 500 франков на поездку в Париж. Чешское содержание — тысяча крон — ей на три месяца сохранили. Как в Париже с молоком? Муру ежедневно необходим литр. Говорят, что с молоком сложно — только сливки. Сергей три-четыре месяца должен был оставаться в Праге, срок подачи докторской работы — ноябрь, после чего еще три месяца иждивения. Он сидит во Вшенорах, в своей комнатушке, топит печку, пишет Лиле:

«На Рождество еду в Париж разнюхать и разведать по части своего дальнейшего устройства. Марина с Алей и с Георгием уже там. Мое завтра — в густом тумане. <…> Работаю сейчас над рассказами о «белых» и «белом». Я один из немногих уцелевших с глазами и ушами.

На эти темы пишут черт знает что. Сплошная дешевая тенденция. Сахарный героизм с одной стороны — зверства и тупость с другой».

Французская виза и деньги на дорогу — это хлопоты Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой. Приезжие устроились в одной из комнат ее трехкомнатной квартиры. 19-й округ Парижа, улица Руве, 8. Гнилой канал Урк, неба не видать из-за труб, сплошная копоть и сплошной грохот. Дежавю. То же самое было в пражском пролетарском Либене.

У Ольги Елисеевны три дочери — Ариадна (Адя), ей со дня на день стукнет семнадцать, и близнецы Наташа и Оля, девушки на выданье, им по двадцать два. Марине Ивановне выделена лучшая комната, уступлен письменный стол. Девушки — ее поклонницы, счастливы, тем более что Марина Ивановна загащиваться в Париже не намерена.

МЦ осматривается, ей нужны люди, ищет знакомых. Пышно принимает в гостиной Ольги Елисеевны демократичного экс-диктатора Керенского, которого привел Владимир Сосинский, жених Ади Черновой. 6 ноября 1925-го окликает Александра Бахраха: «Если свободны завтра в субботу вечером, очень рада буду Вас повидать. Познакомитесь с моей дочерью Алей и может быть увидите моего спящего сына Георгия». 12 ноября пишет

письмо, фактически адресованное литературному редактору «Последних новостей» Андрею Седых:

> Милостивый Государь, г<осподи>н Редактор,
>
> Не откажите в любезности поместить в Вашей газете нижеследующее:
>
> В № 1704 «Последних Новостей» (четверг, 12 ноября) в отделе «Календарь писателя» значится, что я приехала в Париж на постоянное жительство, редактирую журнал «Щипцы» и что в № 1 этого журнала начнет печататься афористическая повесть Степуна «Утопленник».
>
> 1) В Париж я приехала не жить, а гостить 2) мало того, что я журнала «Щипцы» не редактирую — такого журнала вовсе не существует 3) так же как афористической повести Степуна «Утопленник». Всю заметку, имеющую целью одурачить газету, читателя, Степуна и меня, прошу считать измышлением одного из местных остроумцев, которого бы просила подобных шуток не повторять.
>
> Можно шутить с человеком, нельзя шутить его именем.
>
> *Марина Цветаева*

МЦ попала в точку. Это и было шуткой. Проказничал Алексей Михайлович Ремизов. Он вечно что-нибудь придумывал. Иногда присылал в «Последние новости» для рубрики «Календарь писателя» материал о несуществующих поэтах и книгоиздательствах: а вдруг напечатают? Иногда печатали. Андрею Седых пришлось ехать к МЦ на улицу Руве с извинениями, он упросил МЦ отказаться от ее опровержения, и 14 ноября в «Последних новостях» появилась «Поправка»: «Нас просят сообщить, что заметка о М. И. Цветаевой и Ф. Ф. Степуне, помещенная в четверговом «Дневнике писателя» — не соответствует действительности. М. И. Цветаева приехала в Париж только на короткий срок и к редактированию журнала «Щипцы» никакого отношения не имеет».

Другой мог бы посмеяться и отмолчаться. Но не МЦ. Возмущенные письма в редакцию — тоже ее жанр. Так было с «Вестником театра» в 1921 году, так было с алексей-толстовским приложением к «Накануне» в 1922-м. Был бы повод? Не совсем. «И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце». Что же касается Ремизова, МЦ давно симпатизирует его писаньям и его личности, зла не помнит и с удовольствием приходит в парижское обиталище Верховного

магистра Великой и Вольной обезьяньей палаты. Скоро у нее будет случай назвать статью-рецензию Саши Черного в «Русской газете» (Париж. 6 ноября 1924 года) на ремизовскую книгу «Кукха» (Берлин, 1923) «непристойной». Да и критика их сведет в некую пару по принципу «выверта».

МЦ подумывает о своем вечере в конце декабря и начинает действовать. Это непросто. Снять зал — 600 франков. К 15-му числу ей уже отказали в бесплатном предоставлении помещения князь Феликс Юсупов (у него зал для спектаклей любительской театральной труппы), художник Филипп Малявин (большое ателье с приемами и вечерами) и даже Цетлины, старые знакомцы и нынешние владельцы просторной квартиры, нового салона. «К нам она — и нам ее поэзия — не подходит».

Обо всем этом она сообщает в Брюссель князю Дмитрию Шаховскому, двадцатитрехлетнему редактору журнала «Благонамеренный», — он войдет в ее положение и письмом попросит Малявина пойти навстречу Цветаевой. Это письмо он направит ей для передачи художнику.

Она ждет мужа, но не прямо сейчас, а после вечера, хочется вдвоем, вместе посмотреть Париж. Настоящих, то есть незаменимых, спутников пока нет — а дальше? Неизвестно. Если бы ему удалось достать здесь какую-нибудь работу — не шоферскую, то остались бы в Париже, делать ему в Праге нечего. Русским, особенно филологам, в Чехии по окончании университета нет ходу. 29 ноября МЦ отсылает Глебу Струве сборник «Ковчег», вышедший в Праге, и спрашивает: «Когда едет Петр Бернгардович? И не взял бы он ма-аленькой посылочки для Сережи?» П. Б. Струве, переселившись в Париж, где редактирует газету «Возрождение», часто ездит в Прагу. Просьба странноватая, в ее духе, вне ранжира. В газете «Возрождение» 21 января будущего года Глеб Струве опубликует рецензию, в которой отметит «Поэму Конца» как единственную значительную вещь сборника «Ковчег».

В «Благонамеренном» к ней относятся благожелательно. 2 декабря 1925 года МЦ пишет Шаховскому в Брюссель:

> Не вините в неблагодарности — только что отправила в «В<олю> Р<оссии>» последние главы поэмы (последние главы поэмы «Крысолов» выйдут в «Воле России», 1925, № 12; 1926, № 1. — *И. Ф.*).
>
> Теперь я — временно и очень относительно — свободна. Если хотите и не поздно, могу дать в «Благонамеренный» что-нибудь из прозы — небольшое. — Каковы сроки?

Письмо к Малявину получила. Меня трогает Ваше заочное участие. Это редко.

С вечером пока ничего не выяснено, виною отчасти я сама, — мое отголкновение от всех житейских низостей, от унизительности всего житейского. Пережить стихи — да, написать стихи — да, прочесть стихи — да, навязывать билеты на стихи — нет. И не только лично, — и заочно противно.

В Париже неуютно, общений недостаточно, перспективы туманны, МЦ продолжает укреплять связь с Анной Тесковой. В письме от 7 декабря говорится:

Квартал, где мы живем, ужасен, — точно из бульварного романа «Лондонские трущобы»[116] <…> Гулять негде — ни кустика. Есть парк, но 40 мин<ут> ходьбы, в холод нельзя. Так и гуляем — вдоль гниющего канала.

Отопление газовое (печка), т. е. 200 франков в месяц.

Как видите — мало радости. <…> И вот, просьба, дорогая Анна Антоновна. Не могли бы Вы совместно с Сережей купить где-нибудь подержанную детскую кроватку от здорового ребенка. (Новую везти нельзя и, боюсь, дорого) <…>

Еще: может быть можно было бы достать у г<оспо>жи Юрчиновой[117] какое-нибудь темное платье мне, для вечера. Никуда не хожу, п<отому> ч<то> нечего надеть, а купить не на что. М<ожет> б<ыть> у нее, как у богатой женщины, есть лишнее, которого она уже не носит. Мне бы здесь переделали. Если найдете возможным попросить — сделайте это. Меня приглашают в целый ряд мест, а показаться нельзя, п<отому> ч<то> ни шелкового платья, ни чулок, ни лаковых туфель (здешний — «uniforme»). Так и сижу дома, обвиняемая со всех сторон в «гордости». С<ергею> Жковлевичу> об этой просьбе не говорите, — пишу ему, что у меня всё есть. А платье, если достанете, передайте — «посылает такая-то».

Платье будет прислано, чудное платье — чье?

В «Руле» от 9 декабря 1925 года в отзыве на сборник «Ковчег» Ю. Айхенвальд написал:

…отметим наиболее интересные страницы сборника.

> К сожалению, для этого надо пройти мимо «Поэмы конца» Марины Цветаевой, — поэмы, которой, по крайней мере, пишущий эти строки просто не понял: думается, однако, что и всякий другой будет ее не столько читать, сколько разгадывать, и даже если он окажется счастливее и догадливее нас, то свое счастье он купит ценою больших умственных усилий.

Отправив просьбу в Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции, 11 декабря МЦ получила первое пособие в Париже — 400 франков. К слову говоря, в расписке о получении помощи она опять-таки умудряется перепутать наименование данного учреждения, назвав его «Обществом помощи писателям и журналистам».

Приближается Рождество. Она уже вздыхает о покинутой Чехии. Волшебный город — Прага: там все подарочно, все елочно. В Париже елкой и не пахнет, в самом настоящем смысле слова. Елка считается германским обычаем, большинство ограничивается сжиганием в дымящем камине — «buche de Noel»[118]. Подарки к Новому году складываются в туфлю, этим и ограничиваясь. МЦ мечтает о переезде в Версаль. Девушки Черновы раздражают. «Ненавижу гостить». Нет по-настоящему своей комнаты, своих гостей принимать негде — только при посторонних.

В «Последних новостях» 17 декабря 1925 года напечатана «Попытка ревности». Некто неустановленный прислал ей ответ — по пунктам — и столько же строк. Она передала сей стих в «Последние новости» — пусть напечатают. Не напечатали. МЦ намерена «Попытку ревности» отправить Марку Слониму в Прагу — пусть резнет по сердцу или хлестнет по самолюбию. Родзевич ни при чем? Не важно. «Попытка ревности» адресована всем.

Она дождалась приезда мужа. 24 декабря — чудный день, розовый и голубой. Идут за елкой. Одновременно это означает, что в их комнатку набьется четыре человека и писать МЦ будет совсем невозможно. У нее нет ни минуты: вечно на людях, среди разговоров, неустанно отрываемая от тетради. Почти *с* радостью вспоминает свою службу в советской Москве, где были написаны три пьесы: «Приключение», «Фортуна», «Феникс» — тысячи две стихотворных строк. А Сергея Париж очаровал. Поначалу.

В рождественском номере «Последних новостей» 25 декабря 1925-го — ее проза «Из дневника»: «Грабеж», «Расстрел царя», «Покушение на Ленина», «Чесотка», «Fraulein», «Ночевка в коммуне», «Воин Христов». В тот же день «Дни» напечатали «О любви» (из дневника 1917).

Несколько дней назад она отправила в еженедельник «Звено» на рождественский конкурс стихотворение «Старинное благоговенье» (1920). Жюри в составе З. Гиппиус, Г. Адамовича и К. Мочульского дало первенство стихотворению Даниила Резникова, двадцатиоднолетнего жениха, а потом мужа Наталии Черновой. Между прочим, сам способ определения победителя — после отбора жюри читатели отрывали купон газеты и голосовали — вызвал резкое неодобрение Ходасевича. Придумал конкурс, судя по всему, Адамович, ведший в «Звене» отдел критики. Что-то отдаленно похожее было на брюсовском конкурсе, в седом тумане времени. Тогда МЦ тоже представила неновое стихотворение, и то был романс.

Бывает намного хуже. В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер» кончает с собой — Есенин, брат по песенной судьбе. МЦ узнает об этом не сразу. Ее каждодневная мечта: «— Помереть в отдельной комнате!» Есенину удалось.

И не жалость — мало жил,
И не горечь — мало дал, —
Много жил — кто в наши жил
Дни, всё дал — кто песню дал.

Жить (конечно не новей
Смерти!) жилам вопреки.
Для чего-нибудь да есть —
Потолочные крюки.

Начало января 1926

У нее в голове роится поэма-реквием о Есенине, 24 января она пишет Пастернаку:

> Напишите мне достоверности о смерти Есенина: час, день недели, число, название гостиницы, по возможности — номер. С вокзала — прямо в гостиницу? Подтвердите. По каким улицам с вокзала — в гостиницу? (Вид и название). Я Петербурга не знаю, мне нужно знать.
>
> Еще: год рожденья, по возможности — число и месяц. Были, наверное, подробные некрологи. — Короткую биографию: главные этапы.
>
> Знала его в самом начале войны, с Клюевым. — Рязанской губ<ернии>? Или какой? Словом все что

знаете и не знаете.

Внутреннюю линию — всю знаю, каждый жест, — до последнего. И все возгласы, вслух и внутри. Все знаю, кроме достоверности. Поэма не должна быть в воздухе.

Уход Есенина странным образом совпал с постепенновнезапным уходом от МЦ — лирики. Словно она, лирика, обвалилась с потолочного крюка. Ее надолго не стало.

Этот факт помечен февральским триумфом Марины Цветаевой.

Пришел 1926 год. 2 января Сергей Эфрон пишет В. Ф. Булгакову:

У Марины есть возможность в Париже устраивать свои литературные дела гораздо шире, чем в Праге. Кроме того, здесь есть среда, вернее несколько человек, Марине литературно близких. Если чехи пообещают, можно будет Марину отправить на месяц-два к морю. Она переутомлена до последнего предела. Живем здесь вчетвером в одной комнате <…> Марина, Вы знаете, человек напряженнейшего труда. Обстановка, ее окружавшая, была очень тяжелой. Она надорвалась. Ей необходимо дать и душевный и физический роздых. <…> Вы знаете жизнь Марины, четырехлетнее пребывание ее в Мокропсах и Вшенорах, совмещение кухни, детской и рабочего кабинета <… > Марина, может быть, единственный из поэтов, сумевшая семь лет (три в России, четыре в Чехии) прожить в кухне и не потерявшая ни своего дара, ни работоспособности. Сейчас отдых не только ее право, а необходимость. <…>

Русский Париж, за маленьким исключением, мне очень не по душе. Был на встрече Нового Года, устроенной политическим Красным Крестом. Собралось больше тысячи «недорезанных буржуев», пресыщенных и вяло-веселых (всё больше — евреи), они не ели, а жрали икру и купались в шампанском. На эту же встречу попала группа русских рабочих в засаленных пиджаках, с мозолистыми руками и со смущенными лицами. Они сконфуженно жались к стене, не зная, что делать меж смокингами и фраками. Я был не в смокинге и не во фраке, а в своем обычном синем костюме, но сгорел со стыда. Потом рабочие перепились, начали ругаться и чуть было не устроили погрома. Их с трудом вывели.

МЦ усиленно трудится — пишет большую статью о критике и критиках. Чешское иждивение МЦ подходит к концу. Право на него нужно подтверждать пребыванием в Чехии. В. Ф. Булгаков

помог продлить эту стипендию.

Париж, 18-го янв<аря> 1926 г.

Дорогой Валентин Федорович!

Как благодарить?!

Мы так мало с Вами знакомы, а кто из моих друзей сделал бы для меня то, что сделали Вы. <…>

В Чехию осенью вернусь непременно, — хочу утянуть это лето у судьбы: в последний раз (так мне кажется) увидеть море. <…>

Прибедняться и ласкаться я не умею, — напротив, сейчас во мне, пышнее, чем когда-либо, цветет ирония. *И* «благодетели» закрывают уже готовую, было, раскрыться руку (точней — бумажник!).

Познакомилась с Л. Шестовым, И. Буниным и… Тэффи. Первый — само благородство, второй — само чванство, третья — сама пошлость.

Первый меня любит, второй терпит, третья… с третьей мы не кланяемся.

Насколько чище и человечнее литературная Прага! Кончила большую статью о критике и критиках (здешние — *хамы*. Почитайте Яблонского («Возрождение») и Адамовича («Звено») о Есенине!).

Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции ежегодно — начиная с 1924 года — в канун старого Нового года, 13 января, проводит писательские вечера, на которых с благотворительной целью выступают известные артисты и писатели, разыгрываются лотереи пожертвованных русскими художниками картин. Вечера проходят в респектабельном отеле «Лютеция». Полученные средства идут на пособия нуждающимся писателям и ученым. 19 января 1926-го МЦ обращается в Комитет за помощью. Деньги нужны позарез еще и потому, что исподволь готовится-таки ее вечер. Масса оргработы. Помещение найдено — в Союзе молодых писателей и поэтов на улице Данфер-Рошро, 79. Находятся волонтеры, в частности — некая Е. М. Куприна, которая распространяет билеты на вечер. Вечер намечался на 23 января, но по разным причинам перенесен на 6 февраля. 25 января МЦ приглашает на вечер Льва Исааковича Шестова и пишет Петру Петровичу Сувчинскому, музыковеду и публицисту, из первых евразийцев:

Милый Петр Петрович,

Позвольте порадовать Вас еще десятком двадцатипятифранковых (хорошее словцо?) билетов,

отравой — если не отрадой — на ровно десять дней и ссорой со столькими же буржуями.

С искренним соболезнованием

Марина Цветаева

Она зовет на вечер и Петра Ивановича Шумова, в знаменитое фотоателье которого ее с Алей вскоре после их приезда в Париж привел Владимир Сосинский, одно время там работавший. Шумов сделал три фотопортрета МЦ, один — Алин, один МЦ с Алей. «Карточки восхитительны. Сделайте мне, пожалуйста, для начала по две. До свидания на вечере 6-го. Приглашение прилагаю». Шумов некогда сделал каталог работ скульптора Родена, у которого состоял в секретарях поэт Рильке.

Седьмого февраля 1926 года Владимир Сосинский пишет будущей жене Ариадне Черновой:

Все до сегодняшнего утра живут вчерашним вечером. Как радостно на Rouvet[119]! Огромная прекрасная победа Марины Ивановны. Привожу себя в порядок, чтобы суметь рассказать… К 9 часам весь зал был полон — публика же продолжала наплывать. Около кассы — столпотворение. Отчаявшийся, потерявший всякую надежду — кассир Дода[120], — растерянные, разбиваемые публикой контролеры — застрявшие между стульев — навеки! — распорядители. Картина грандиозная! Марина Ивановна не может пройти к своей кафедре. Мертвый, недвижный комок людей с дрожащими в руках стульями над головой затер ее и Алю. Марине Ивановне целуют руки, но пропустить не в силах. Вова Познер, балансируя стулом, рискуя своим талантом, жизнью, сгибается к руке М. И. Чей-то стул — из рук — пируэтом — падает вниз — на голову одной, застывшей в своем величии даме. Кто-то кому-то массирует мозоли, кто-то кому-то сел на колени. В результате — великая правда Божья: все, купившие пятифранковые билеты, сидят: все Цетлины, Познеры — толкутся в проходах. Марина Ивановна всходит на высокую кафедру. Наше черное платье с замечательной бабочкой сбоку, которую вышила Оля. Голова М. И., волосы, черное платье, строгое, острое лицо — говорят стихи заодно с готическими окнами — с капеллой. Читала М. И. прекрасно, как никогда. Каждый стих находил свой конец в громких ладонях публики (!). Публика оказалась со слухом, почти все знали стихи М. И. — сверх ожидания воспринимала почти правильно. Движение проявлялось в тех местах, где звучал интересный ритм, воспринимавшийся вне смысла. М. И. читала вначале стихи о Белой Армии. Во втором отделении — новые стихи. Все искали глазами Алю, она сидела

на ступеньке — у рояля — весь вечер. Рядом с ней — почти на полу — Шестов; на стуле: Алексей Михайлович <Ремизов> шепотом Шестову: «Вон тот жук черный, кудлатый — на Оле Черновой недавно женился»[121]. Весь вечер — апология М. И. Большой, крупный успех. Отчетливо проступило: после Блока — одно у нас — здесь — Цветаева. Сотни людей ушли обратно, не пробившись в залу, — кассу закрыли в 9 1/2 часов, — а публика продолжала валом валить. Милюков с женой не могли достать места, Руднев, Маклаков — стояли в проходе. Кусиков с тремя дамами не добился билетов. (Упоминаю о Кусикове, ибо он специалист в этой области.) Сергей Яковлевич <Эфрон>, бросив все, бегал по дворику, куря папиросу за папиросой. Да, Адя, видел своими глазами — у многих литераторов вместо зависти — восторг. Как хорошо! Если бы навсегда можно было заменить зависть — восторгом. На Rouvet — радость… длится до сегодняшнего дня… Солнце — в «звончатом огне», нежданный гость — завершает вчерашний день. Я завершаю его — письмом к Тебе…

Марине справлять бы триумф, но ей грустно. Не оттого ли, что на вечере не было — Ивана Бунина? 8 февраля она интересуется у Льва Шестова, которому третьего дня она радовалась больше, чем доброй половине зала: «Вы дружите с Буниным?» Она видела Бунина лишь только раз, но ей кажется, что это «человек в *сквозной* броне, для виду, — может быть худшая броня».

Дописав статью о критике и критиках, МЦ отправляет ее Шаховскому, для «Благонамеренного», присовокупив к статье стихотворение «Старинное благоговение», ему посвященное. Посвящение при публикации «Благонамеренном» (1926. № 2) князь снимет.

Двух нежных рук отголкновенье —
В ответ на ангельские плутни.
У нежных ног отдохновенье,
Перебирая струны лютни.

Где звонкий говорок бассейна,
В цветочной чаше откровенье,
Где перед робостью весенней
Старинное благоговенье?

Окно, светящееся долго,
И гаснущий фонарь дорожный…

Вздох торжествующего долга
Где непреложное: «не можно»…

В последний раз — из мглы осенней —
Любезной ручки мановенье…
Где перед крепостью кисейной
Старинное благоговенье?

Он пишет кратко — и не часто…
Она, Психеи бестелесней,
Читает стих Экклезиаста
И не читает Песни Песней.

А песнь все та же, без сомненья,
Но, — в Боге все мое именье —
Где перед Библией семейной
Старинное благоговенье?

Между 19 марта и 2 апреля 1920

Этот романс ей дорог, она попросила Шаховского оставить сноску-примечание: «Стихи, предоставленные на конкурс «Звена» и не удостоенные помещения».

Печатать прежние стихи ей приходится постоянно в силу неправильно сложившейся литературной судьбы. Но эта публикация — дело уже несколько другое. Во-первых, надо как-то ответить уважаемому жюри рождественского конкурса. Во-вторых, у нее почти нет новых стихов. Вообще стихов — пожалуйста: море. Новых — почти нет.

Господи, неужели так и рождается критик — когда у поэта нет стихов? Так или иначе, статья «Поэт о критике» обозначила появление нового критика — Марину Цветаеву. Но это критик, пишущий прежде всего о себе-поэте. «Тридцати лет я стала очерченней, значительней, своеобразней, — прекрасней, может быть. Красивей — нет». Поверх себя — общая установка, касаемая всего и вся: «Хронология — ключ к пониманию».

Однако зачин статьи — все же ложен, фальстарт. С ходу назвать критика N — на самом деле Георгия Адамовича — плохим поэтом? Мимо. Адамович не был плохим поэтом. Он был другим поэтом. Не великим. Другим. Критик Адамович лучше понимал поэта МЦ, чем критик МЦ — критика Адамовича. Но МЦ несравненный поэт.

Ее красноречие блистательно. Она всё понимает. Старый Гёте не «доценил» Гейне и Гёльдерлина, Гейне — Клейста, это

естественно, «недооценки поэта поэтом, суд поэта над поэтом — благо». В ход идут Ходасевич и Бальмонт, первый под вопросом, второй прекрасен. Речь идет о самом разном. О незримом и видимом. О деньгах. О славе. «Все мое писанье — вслушивание. Верно услышать — вот моя забота». Кого я слушаю, кого я слушаюсь, для кого я пишу — в общем, самопрезентация, программа, манифест.

Подразделяя критиков на три особи-разновидности (критик-пророк, критик-удостоверитель и критик-чернь), МЦ убедительна там, где говорит шире — о читателе-черни вообще:

> Грех не в темноте, а в нежелании света, не в непонимании, а в сопротивлении пониманию, в намеренной слепости и в злостной предвзятости. В злой воле к добру. К читателю-черни я отношу всех впервые услыхавших о Гумилеве в день его расстрела и ныне беззастенчиво провозглашающих его крупнейшим поэтом современности. К ним я отношу всех, ненавидящих Маяковского за принадлежность к партии коммунистов (даже не знаю, партийный ли. Анархист — знаю), к имени Пастернака прибавляющих: сын художника? о Бальмонте знающих, что он пьянствует, а о Блоке, что «перешел к большевикам». (Изумительная осведомленность в личной жизни поэтов! Бальмонт пьет, многоженствует и блаженствует, Есенин тоже пьет, женится на старухе, потом на внучке старика, затем вешается. Белый расходится с женой (Асей) и тоже пьет, Ахматова влюбляется в Блока, расходится с Гумилевым и выходит замуж за — целый ряд вариантов. (Блоковско-Ахматовской идиллии, кстати, не оспариваю, — читателю видней!) Блок не живет со своей женой, а Маяковский живет с чужой. Вячеслав — то-то. Сологуб — то-то. А такой-то — знаете?)
>
> Так, не осилив и заглавия — хоть сейчас в биографы!

Есть у МЦ и критик-дилетант (в эмиграции), и критик-справочник (в Советской России). В критический цех она размашисто заносит — Ивана Алексеевича Бунина, с него начиная ряд критиков-профессионалов:

> Прискорбная статья академика Бунина «Россия и Инония»[122], с хулой на Блока и на Есенина и явно — подтасованными цитатами (лучше никак, чем так!), долженствующими явить безбожие и хулиганство всей современной поэзии. (Забыл Бунин свою «Деревню»,

восхитительную, но переполненную и пакостями и сквернословием.) Розовая вода, журчащая вдоль всех статей Айхенвальда. Деланное недоумение З. Гиппиус, большого поэта, перед синтаксисом поэта не меньшего — Б. Пастернака (не отсутствие доброй воли, а наличность злой). К статьям уже непристойным отношу статьи А. Яблоновского о Ремизове, А. Яблоновского о моей «Германии» и А. Черного о Ремизове[123].

Резкое и радостное исключение — суждение о поэтах не по политическому признаку (отсюда — тьма!) — Кн. Д. Святополк-Мирский. Из журналов — весь библиографический отдел «Воли России» и «Своими Путями».

На этом конкретика кончается. Процитировав отзыв Ю. Айхенвальда на «Поэму Конца», МЦ не называет его имени. Безымянны у МЦ и критики формальной школы, действующие в метрополии.

Вот уже четыре года за именем Марины Цветаевой верно тянется свита критиков, больше благожелательных, чем вздорных, не ей пенять на невнимание к своей персоне, но она требует невозможного — глубинного постижения *сути* того, что она делает. А ведь сама совершенно справедливо отмечает: «Отцвела статья, цветет заметка. Отцвела цитата, цветет голословие».

Из этих соображений к статье «Поэт о критике» МЦ приложила свой цитатник под названием «Цветник». Ее трудолюбие нашло себя в пристальном чтении оппонента и обильных выписках из его продукции. Георгий Адамович Фета называет «образцом второразрядного поэта», у Адамовича нет «влечения к поэзии Маяковского», он «не поклонник Блока», а Есенин для него «дряблый, вялый, приторный, слащавый стихотворец», стихи Волошина «трещотка или барабан» и т. д., и т. п. Достается от Адамовича и прозе, от Белого до Петра Краснова и Розанова, Бабеля и Замятина, не исключая классики — в лице Гоголя. В общем, радикал, весь прихоть и субъективизм. Надо сказать, цветаевский цитатник впечатляет. МЦ скупо и саркастично комментирует этот материал, рассчитывая на читателя-единомышленника: «Средний читатель» (отпускной козел всех редакций и издательств) — миф. А средний критик, увы, быль. Образцы налицо».

Так что и ее критическая песня оказалась двухчастной. Ей всегда тесно в рамках единичного высказывания и личных отношений с индивидом.

Что же, как говорится, на выходе? Князь Святополк-Мирский.

Исключительность ситуации состоит в том, что МЦ говорит о фантоме: о статье, предназначавшейся Мирским для выходившего в Софии под редакцией П. Б. Струве журнала «Русская мысль», но не напечатанной. Нет сомнения, МЦ ее читала. Ее обнаружил в архиве отца Глеб Струве и опубликовал в «Новом журнале» (Нью-Йорк. 1978. № 131):

Первые книги Марины Цветаевой вышли еще в 1910 и 1912 году. Но после того она десять лет ничего не печатала, и только в 1922 году вышло одновременно несколько книг ее стихов, написанных за годы войны и революции, и она вдруг предстала нам во весь свой (тогдашний) рост, — говорю «тогдашний», потому что с тех пор она еще много выросла, и продолжает расти неудержимо, как в бочке князь Гвидон. <…>

Среди поэтов послереволюционных ей принадлежит или первое, или одно из двух первых мест: единственный возможный ей соперник — Борис Пастернак, — поэт совершенно иного, чем она, склада. При полном несходстве этих двух поэтов интересно отметить черты, общие обоим. Кроме явной, очевидной, несомненной новизны (беру это слово в строго бергсоновском смысле) — признака как будто необходимого и неизбежного в истинно большом современном поэте; кроме общей обоим приподнятости, которая почти не может считаться индивидуальным признаком в поэте лирическом, — единственное, что есть и в Цветаевой и в Пастернаке, это мажорность; бодрая живучесть, «приятие» жизни и мира. Тех, кто болеет патриотической тревогой, должно радовать, что два первых поэта нашего поколения, во всем остальном столь несходные, объединены именно этим признаком. Значительность этого факта подчеркивается тем, что вся русская литература предшествующего поколения (за исключением одного Гумилёва) была объединена признаком как раз обратным — ненавистью, неприятием, страхом перед жизнью. <…>

Но, повторяю, за изъятием этих черт, Пастернак и Марина Цветаева — несходны, почти противоположны. Пастернак зрителей и вещественен. Его поэзия — овладевание миром посредством слов. Слова его стремятся изображать, передавать, обнимать вещи. В этом объятии и овладении реальными вещами вся сила Пастернака. Он «наивный реалист». Марина Цветаева — «идеалистка» <…> Самая зрительность ее, такая яркая и убедительная (особенно в ее прозе) как бы бестелесна. Люди ее воспоминаний, такие живые и неповторимые, не столько бытовые, трехмерные люди, сколько сведенные почти к точке индивидуальности, неповторимости. В этом умении мимо и

сквозь «зримую оболочку» увидеть ядро личности, и, несмотря на его безразмерность (точка), передать единственность и неповторимость этого ядра — несравненное очарование прозы Марины Цветаевой. Наоборот, Пастернак, в своих рассказах («Детство Люверс»), дает одни оболочки, и души его не личности, а геометрические места пересечения внешних впечатлений. (Это и имеют в виду, когда говорят о конгениальности Пастернака Прусту). <…>

Стихи ее неотрывно-русские, самые неотрывнорусские во всей современной поэзии. И ритм, который для Пастернака только данная схема, только сеть долгот и широт (что вовсе не умаляет его как ритмика), для Марины Цветаевой — сущность стиха, сам стих, его душа, его живящее начало. Пастернаковский ритм — кантовское, цветаевский — бергсоновское время.

В воспоминаниях Марины Цветаевой о Брюсове («Герой труда») есть эти замечательные слова: «Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе границы никому не дано». Безграничность у ней была с самого начала. <…> В стихах 1916–1920 годов были изумительные отдельные, минутные взлеты, есть, Богом данное, единственное «необщее выражение», без остатка спасавшее даже (нередкие в те годы) худшие безвкусицы. Но не было полного овладения своим «демоном». В новейших ее вещах — «Мóлодец», «Поэма Конца», «Крысолов», «Поэма Горы», «Тезей» — особенно бросается в глаза именно это полное овладение, полная техническая удача. <…>

Главное, что ново и необычно в последних вещах Марины Цветаевой — и неожиданно после ее первых стихов, — это присутствие стиля. Не стилизации, а настоящего, своего, свободно-рожденного стиля. В наше время она единственный поэт, достигший стиля. <…>

«Мóлодец» — первая вещь Марины Цветаевой, в которой стиль достигнут. Он отличается от «Царь-Девицы» и «Переулочков» тем, что в нем уже нет стилизации. Это уже не подражание народной поэзии, это не похоже на народную поэзию, хотя тесно связано с ней, как дерево с почвой, — не сходством, а родством. Цветаева давно уже идет по пути освобождения русского языка от пут греко-латинской и романо-германской грамматики и возвращения ему его природной свободы и природных интонационных средств связи. (В этом отношении она соратница Ремизова). <…>

Я сознаю, что в этой рецензии я так ничего и не сказал о Марине Цветаевой и никого ни в чем не убедил. Но о ней надо писать не рецензии, а книги (если вообще стоит писать не-поэтам о поэтах), — и гордясь тем, что она наша соотечественница, и

радуясь тому, что она наша современница.

Гибель Есенина не оставляет ее души. По просьбе МЦ Пастернак подобрал и 23 февраля 1926 года послал ей материалы о Есенине: печатные отклики, воспоминания и рассказы людей, близко знавших Есенина. В письме он изложил все, что знал о подробностях его гибели.

Она мечется в тесноте перенаселенного жилища, злится на близких, в том числе на Ольгу Елисеевну. На вопрос пришедшего познакомиться с нею князя Святополка-Мирского: «Кто эта очаровательная дама, которая открыла мне входную дверь?» — МЦ ответила:

— Ах, не обращайте внимания — это моя квартирная хозяйка.

Святополк-Мирский позвал ее в Лондон, где жил. 10 марта 1926-го — пролив Ла-Манш, паром, туман, ветер, переправа в одиночку, без привычного сопровождения хотя бы Али. В тот же день вечером МЦ ступила на английский берег. Князь встретил ее.

— Я очень трудна. Вынесете ли вы меня две недели? Большая пауза.

— А вы меня?

Ее поселили очень хорошо — классическая мансарда поэта. Она так устала, что спала одетая.

Святополк-Мирский организовал ей в ПЕН-клубе платный вечер, который состоялся 12 марта, о чем он через несколько дней пишет другу своему Петру Сувчинскому: «Вечер М<арины> Ц<ветаевой> был удачен — особенно в денежном отношении (больше чем я ожидал)». Возможно, среди слушателей были представители дома Романовых и люди, близкие ко двору последнего государя. Перед ее выступлением князь произнес вступительное слово на английском языке, МЦ почувствовала неловкость от незнания языка Байрона.

Две лондонские недели, туманные и холодные (холод с океана), они с князем провели вдвоем. Новых стихов у МЦ не возникло. Он молчун, приходится говорить — ей. Более того, она нуждается в старшем, хочет быть ведомой, ей нужна твердая рука, а выходит наоборот — ведет она. В Лондоне у нее образовалось свободное время. Лондоном — от полицейского на площади до чайки на Темзе — МЦ обворожена. Лондон чудный. После гнилого канала на улице Руве Темза — чудо. Чудная река, чудные деревья, чудные дети, чудные собаки, чудные кошки, чудные камины и чудный Британский музей. По разным адресам МЦ рассылает открытки, с видом Вестминстерского аббатства или со старинной миниатюрой. Але — открытку с изображением колли и

надписью «Faithful and True»[124], МЦ пишет на открытке краткий отчет о своей экскурсии в Зоопарк:

Лондон, 15-го марта 1926 г.

Дорогая Аля, три льва и три львицы. Отдельный дом для гадов: от глиста до удава. Слоны, усаженные маленькими детьми, и верблюды — взрослыми оболтусами. Когда слону даешь кусочек хлеба, он выхватывает весь мешок и ест с бумагой. Отдельный обезьяний дом и отдельный обезьяний ров. Последнее — дочеловеческий табор. Бегают, ссорятся, чешутся, делают (все скалы в ручейках!) — омерзительно! Павианы громадные, с тебя, в чудной серой седой шерсти, но о подхвостных местах лучше не говорить: красно-голубое ободранное мясо. Штук 50 в одном загоне. Царство Тарзана. А львы грустные. Оживляются только перед пищей, которой еще не видят, но которой жаждут. Один — самый старый — даже *бегал,* вприпрыжку, — недостойно! Бегал и ревел. А сегодня (была уже два раза!) лапами отгонял львицу, которая ласкалась. Морщил нос и давал по морде. Потом повернул ей спину и заснул. (Не МЕ-ШАЙ!)

Как только приедем, пойдем с тобой в Зоол<огический> сад, а то у меня угрызения совести.

С О<льгой> Е<лисеевной> до поры до времени не грызись. Бог с кофейником! А если попрекает жертвами — ты ведь меня знаешь! — только смеюсь. Я ничего для благодарности не делаю и не допускаю, чтобы другие делали. А кофейник заведу другой — сгоревший мне не нужен. А что не давала — ПРАВА! Я сама бы не дала. Теперь — раз сгорел — давай.

Целую тебя и Мура. Завтра иду смотреть подарки.

МЦ

Львов в Зоол<огическом> не было. Завтра поищу в городе.

В письме тому же Сувчинскому она называет молчуна Святополк-Мирского саркастически — «собеседник». Сувчинский и познакомил его с МЦ. Вскоре Святополк-Мирский написал пылкие рецензии на ее поэмы — «Мóлодец» (Современные записки. 1926. № 27) и «Крысолов» (Воля России. 1926. № 6/7). В эту пору он читал лекции по русской литературе в Кинге-колледже Лондонского университета и посвятил ей одну из

главок в своей книге «Contemporary Russian Literature. 1881–1925»[125], вышедшей на английском языке. Правда, прозу ее он назвал «самой претенциозной, неряшливой, самой плохой прозой, когда-либо напечатанной на русском языке».

Д. П. Святополк-Мирский в свое время состоял в Цехе Н. Гумилёва, а затем, уже в Англии, работал в журнале Т. С. Элиота «Крайтерион»[126]. Прямые линии от них сходились в точке Цветаевой, образуя треугольник. Геометрия мировой поэзии XX века. С Мирского начался путь МЦ в глобальный контекст.

Это время, когда родится журнал «Версты», не случайно: журнал — тезка ее одноименной книги. Его задумали и создали, став соредакторами, — Петр Сувчинский, Дмитрий Святополк-Мирский и Сергей Эфрон. Издание априори евразийское по духу и смыслу. Сувчинский уже возглавлял — с 1922 года — издательство «Евразия». Он и МЦ познакомились в Берлине, в редакции «Геликона». С его женой, Верой Александровной, дочерью военного министра Временного правительства А. И. Гучкова, МЦ познакомится в то же время и несколько писем напишет и ей, журналистке и переводчице, когда надо было напомнить о чем-нибудь Сувчинскому.

«Поэма Горы» будет напечатана в первом номере «Верст», который выйдет в конце июня — начале июля 1926-го. Выход журнала задержит забастовка типографских служащих. В этом же номере — вещи Алексея Ремизова: «Воистину» (памяти Розанова) из книги «Николай Чудотворец» и «Россия». В начале июля Сергей Эфрон пишет Сувчинскому: «Не пресловутая наша пропаганда евразийства, а пропаганда евразийцами советского дела». Так он понимает задачу издания.

В этот номер она хочет поспеть еще и с совсем другим материалом. Ей хотелось в зверинец, смотреть британского льва, но львиную часть лондонского времени она посвятила… Мандельштаму. В апреле прошлого года вышла книга Осипа Мандельштама «Шум времени» (Ленинград: Издательство «Время», 1925), вызвав литературный шум, на родине — неодобрительный, за рубежом — приветственный по преимуществу. В Лондоне Святополк-Мирский, апологет книги, познакомит МЦ с ней. Не исключено, что она уже ознакомилась с похвальными отзывами Ю. Айхенвальда или В. Вейдле. МЦ взъярится. Сувчинскому и Шаховскому отправит огненные инвективы: «сижу и рву в клоки подлую книгу», — одновременно пиша о ней соответственный отзыв. В чем же дело?

Книга открылась на «Бармы закона» (глава «Шума

времени». — *И. Ф.*) и взгляд, притянутый заглавной буквой, упал на слова: полковник Цыгальский.

Полковник Цыгальский? Я знаю полковника Цыгальского. Ничего не встает. Но я знаю полковника Цыгальского. Первому взгляду откликнулся первый слух. «Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, — орла добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипение примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховый платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадалку»…

Пока, не веря глазам, читаю, вот что со дна, глубочайшего, нежели черноморское, подает память:

Полковник Цыгальский — доброволец, поэт, друг Макса Волошина и самого Мандельштама. В 19 г. был в Крыму, у него была больная жена и двое чудесных мальчиков. Нуждался. Помогал. Я его никогда не видела, но когда мне в 1921 г. вернувшийся после разгрома Крыма вручил книжечку стихов «Ковчег», я из всех стихов остановилась на стихах некоего Цыгальского, конец которых до сих пор помню наизусть. Вот он.

Я вижу Русь, изгнавшую бесов,
Увенчанную бармами закона,
Мне все равно — с царем — или без трона,
Но без меча над чашами весов.

Последние две строки я всегда приводила и привожу как формулу идеи Добровольчества. И как поэтическую формулу. <…>

У Вас, Осип Мандельштам, ничего, кроме собственного неутолимого аппетита, заставляющего Вас пожирать последние крохи Цыгальского, и очередного стихотворения — в 8 строк, которое Вы пишете три месяца. Пойдите и продайте и не проешьте деньги на шоколад: они нужны больной женщине («с глазами коровы») и голодным детям, которых Вы по легкомыслию своему обронили на дороге своего повествования. (Два кадетика, 12 и 13 л<ет>, чуть ли не в тифу, имен не знаю.)

Почему голоса, примуса, сестры, непроданных сапог и дурного табаку (стыдился) — а не просто Вас, большого поэта Осипа Мандельштама, которому он, неизвестный поэт и скромный полковник Цыгальский читает стихи?

Помнится, Вы, уже известный тогда поэт, в 1916 г. после нелестного отзыва о Вас Брюсова — плакали. Дайте же постесняться неизвестному полковнику Цыгальскому. <…>

Это книга презреннейшей из людских особей — эстета, вся до мозга кости (NB! Мозг есть, кости нет) гниль, вся подтасовка, без сердцевины, без сердца, без крови, — только глаза, только нюх, только слух, — да и то предвзятые, с поправкой на 1925 год.

«Шум времени» — подарок Мандельштама властям, как многие стихи «Камня» (книга Мандельштама. — *И. Ф.)* — дань. <…>

Шум времени Мандельштама — оглядка, ослышка труса. Правильность фактов и подтасовка чувств. С таким попутчиком Советскую власть не поздравляю. Он так же предаст ее, как Керенского ради Ленина, в свой срок, в свой час, а именно: в секунду ее падения.

Для любителей словесной живописи книга Мандельштама, если не клад, так вклад. <…>

Было бы низостью умалчивать о том, что Мандельштам-поэт (обратно прозаику, то есть человеку) за годы Революции остался чист. Что спасло?

Божественность глагола. Любящего читателя отослала бы к «Tristia» (книга Мандельштама. — *И. Ф.),* к постепенности превращения слабого человека и никакого гражданина из певца старого мира — в глашатаи нового. Большим поэтом (чары!) он пребыл.

Мой ответ Осипу Мандельштаму — мой вопрос всем и каждому: как может большой поэт быть маленьким человеком? Ответа не знаю.

Мой ответ Осипу Мандельштаму — сей вопрос ему.

Март 1926

Да, это — ответ. Но подспудно он вызван, может быть, не столько «Шумом времени», сколько мандельштамовской оплеухой в статье «Литературная Москва» — «богородичное рукоделие Марины Цветаевой» (Россия. 1922. № 2). Попытка ревности. А его словесная живопись — в ее копилку. Она сделает много прозы с учетом и мандельштамовского опыта в этом жанре.

МЦ знать не знает, как воспринята его книга на родине. Мандельштама честили ровно за то, в чем она уличала его. Книгу не приняли в Государственном издательстве, которое ее заказало ему, и она вышла в маленьком, угасающем издательстве Георгия Блока, двоюродного брата Блока Александра.

«Мой ответ» МЦ предполагает напечатать в «Воле России». Друзья хором отговаривают ее от публикации. Сергей Эфрон — член редколлегии «Воли России» — тоже. Она вняла. В конечном — или первичном — счете она разделяет мнение Айхенвальда, высказанное им в редакции:

> Можно было бы, вослед самому О. Мандельштаму, признать, что сущность вспоминаемой им жизни слагается из Петербурга и еврейства, и к тому же слагается так, что Петербург — это «гранитный рай его стройных прогулок», а его родное еврейство — это «хаос иудейский», можно было бы это признать, если бы вообще сущность жизни и книги Мандельштама не сводилась к самодовлеющей словесности. Последняя шум времени претворяет в строгие колоннады и кариатиды полнозвучных и важных и неожиданных слов. Надо всем надменно торжествует невский гранит стилистики. Есть срывы и у нее, есть порою неприятная и темная изощренность мысли и выражения; но все это отступает перед каким-то, я сказал бы, империализмом слога с его умной и величественной красотой (Руль [Берлин]. 1925, 9 декабря).

Увы, прав и Святополк-Мирский:

> Мандельштам действительно слышит «шум времени» и чувствует и дает физиономию эпох. Первые две трети его книги, посвященные воспоминаниям о довоенной эпохе, с конца 90-х годов, несомненно гениальное произведение, с точки зрения литературной и по силе исторической интуиции… Традиция Мандельштама восходит к Герцену и Григорьеву («Литературные скитальчества»); из современников только у Блока (как ни странно) есть что-то подобное местами в «Возмездии». Эти главы должны стать — и несомненно станут классическим образцом культурно-исторической прозы (Благонамеренный [Брюссель]. 1926, № 1).

МЦ во гневе и обиде готова даже к отказу от сотрудничества с «Верстами». 29 марта пишет Сувчинскому, который не принял для публикации в первом номере «Верст» цветаевский «Мой ответ»: «Вот как бы я поступила, если бы не сознание, что сняв себя с обложки, несколько расстраиваю общий замысел (Ремизов — прозаик, Шестов — философ, я — поэт). В России бы Вы меня заменили. Здесь не Россия. Посему, ограничиваюсь чувством, а поступок — опускаю».

Это было началом отторжения внутри ближайшего круга. Все то же — одиночество и непонятость. В данном случае это не менее чем мистически связано с Мандельштамом. Их общему сюжету суждено будет продолжиться.

«Шум времени» у МЦ породил желание немедленно издать

«Лебединый стан» на часть денег, вырученных от вечера. Не получилось.

Пастернак потрясен «Поэмой Конца». В письме от 25 марта 1926 года он изображает картину своего чтения «Поэмы Конца» друзьям, которых он «прерывающимся голосом» вечер за вечером погружает «в ту бездну ранящей лирики, Микельанджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца». Около 27 марта она сообщает ему: «А пока вы с Ахматовой говорили обо мне в Москве, я в Лондоне говорила с эстрады тебя и Ахматову. Последовательность: Ахматова, Гумилев, Блок — Мандельштам, Есенин, Пастернак, я. Маяковского за недохв<атом> глотки не говорила, сказала стихи к нему. <…> Больше всего — странно — дошел Есенин».

Пастернак и про себя думает, что он умрет в этом году, и крайне напуган ее финальным ответом на некую литературно-советскую анкету (им же ей присланную): «Жизнь — вокзал, скоро уеду, куда — не скажу». У Пастернака пошли первые стихи, посвященные МЦ. «Поэма Конца» наложилась на конец Есенина.

Не оперные поселяне,
Марина, куда мы зашли?
Общественное гулянье
С претензиями земли.

Ну, как тут отдаться занятью,
Когда по различью путей,
Как лошади в Римском Сенате,
Мы дики средь этих детей!

Походим меж тем по поляне.
Разбито с десяток эстрад.
С одних говорят пожеланья,
С других — по желанью острят.

Послушай, стихи с того света
Им будем читать только мы,
Как авторы Вед и Заветов
И Пира во время чумы.

Но только не лезь на котурны,
Ни на паровую трубу.
Исход ли из гущи мишурной?
Ты их не напишешь в гробу.

Ты все еще край непочатый,
А смерть — это твой псевдоним.
Сдаваться нельзя. Не печатай
И не издавайся под ним.

[11 апреля 1926]

О смерти думают многие. 5 апреля 1926 года редакцией журнала «Версты» в помещении Союза молодых поэтов и писателей был устроен доклад-диспут «Культура смерти в русской предреволюционной литературе». Докладывал Святополк-Мирский. Приглашения на диспут были посланы М. А. Алданову, Г. В. Адамовичу, К. Д. Бальмонту, И. А. Бунину, З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцеву, К. В. Мочульскому, Д. С. Мережковскому, Ф. А. Степуну, В. Ф. Ходасевичу. Пришли Бунин, Алданов, еще кто-то, но после часовой смертельной скуки покинули зал.

Накануне, 4 апреля, в парижском «Hotel Majestic» открылся Русский зарубежный съезд под председательством П. Б. Струве, призванный сформулировать задачи русской эмиграции. Из Риги, в качестве делегата съезда от русских организаций Латвии, приехал Константин Родзевич — с надеждой устроиться в Париже, где обитает Муна Булгакова. Они собираются пожениться, хотя ни у того ни другого нет документов: ни удостоверения личности, ни метрики. МЦ видит и того и другую. С обоими встретилась очень хорошо.

Около 9 апреля МЦ пишет Пастернаку: «Борюшка! Вот тебе примета. Письма к тебе (вот и это письмо) я всегда пишу в тетрадь, налету, как черновик стихов. Только беловик никогда не удается, два черновика, один тебе, другой мне. Ты и стихи (работа) у меня нераздельны». 9 апреля пишет Родзевичу:

> Дорогой Радзевич,
>
> завтра после-завтра (нынче пятница) у меня заняты, могу в понедельник или во вторник. Вечером, конечно, — все утра мои и дни заняты сыном (как Ваши — съездом). Много работаю, но обо всём — при встрече. <…>
>
> Итак, в понедельник или во вторник, в 7 ч<асов> вечера, чтобы застать сына (ложится в 8 ч<асов>)… <…>
>
> Приезжайте ко мне, потом пойдем ходить.

МЦ, однако, не оставляет надежды напечатать «Мой ответ

Осипу Мандельштаму», готова его переименовать и в чем-то уступить. 15 апреля обращается к… Вишняку, но другому, соредактору «Современных записок», дяде Абрама Григорьевича: «Многоуважаемый Марк Вениаминович, Посылаю Вам по просьбе Федора Августовича[127] статью «Проза поэта». В случае могущих быть несогласий помечайте, пожалуйста, карандашом на полях. Если таких пометок окажется много — дружественно разойдемся. Если пустяки — тем лучше». Дружественно разошлись.

Сергей Эфрон тоскует по Москве, пишет сестре Лиле:

23/IV <1926 г.>

…Твои страхи об моей жизни в Париже напрасны. Живу я лучше, чем в Праге, хотя постоянного места и не имею. Мне предложили здесь редактировать — вернее основать — журнал — большой — литературный, знакомящий с литерат<урной> жизнью в России. И вот я в сообществе с двумя людьми, мне очень близкими, начал. Один из них лучший сейчас здесь литературный критик Святополк-Мирский, другой — теоретик музыки, бывший редактор «Музык<ального> Вестника» — человек блестящий — П. П. Сувчинский. На этих днях выходит первый №. Перепечатываем ряд российских авторов. Из поэтов, находящихся в России — Пастернак («Потемкин»), Сельвинский, Есенин. Тихонова пока не берем. Ближайшие наши сотрудники здесь — Ремизов, Марина, Л. Шестов. Мы берем очень резкую линию по отношению к ряду здешних писателей и нас, верно, встретят баней. В то же время я сохранил редактирование и пражского журнала («Своими путями». — *И. Ф.)*. Но, увы, эта работа очень не хлебная. Быть шофёром, напр<имер>, раза в три выгоднее. М<ожет> б<ыть> на будущую зиму и придется взяться за шофёрство.

Скоро к вам выезжает Илья Григорьевич> Оренбург. Он расскажет тебе о нашей жизни. Я поручил ему зайти к тебе — он это сделает сейчас же по приезде.

О твоем приезде. Это было бы прекрасно и для меня и для тебя, но думаю, что тебе следовало бы до выезда выполнить одну очень трудную и вместе с тем необходимую вещь. Нужно каким-то образом выправить ваши отношения с М<ариной>. Повторяю — это очень трудно. М<ожет> б<ыть> ты даже не представляешь себе, как это трудно, но необходимо. Не скрою, что М<арина> не может о тебе слышать. Время сделало очень мало и вряд ли можно на него рассчитывать и впредь. Мне кажется — ты должна перешагнув через многое протянуть руку. И не раз и два, а добиваться упорно, чтобы прошлое было забыто, и если не забыто, то каким-то образом направлено по другому

руслу эмоциональному. Не ищи в этом случае справедливости. Не в справедливости дело, а в наличии ряда страстных чувствований, к<отор>ые *нужно* победить не в себе (что легко), а в другом. Если не выполнить этого, то придется на многие годы нести ядовитую тяжесть. Подумай, как нелепы будут наши отношения здесь, когда мне придется считаться с тем, что вы с Мариной находитесь на положении войны. При твоей и Маринином страстности к чему это может привести? *Необходимо с войной покончить.* Марина в ослеплении. Поэтому должна действовать ты со всею чуткостью и душевной зрячестью. Ведь здесь, при твоей зрячести, не может быть места для самолюбия. Тем более, что Москва и все что связано с нею для Марины тяжкая и страшная болезнь. Как к тяжкой болезни, как к тяжкому больному и нужно подходить.

В баснословную Вандею, в деревню Сен-Жиль-сюр-Ви, МЦ съездила в начале апреля 1926-го — снимать дом на лето. В прошлом году там отдыхал Бальмонт, был в восторге и собирается приехать этим летом. Вандею она именует «моя героическая родина», с детьми уехала туда 24 апреля.

…Было так. 24 февраля 1793 года Конвент принял декрет о принудительном рекрутировании 300 тысяч человек. Провинция Вандея восстала, собрав Католическую королевскую армию из народных низов во главе с местным дворянством. Девиз белых — «За короля и веру», во имя законного монарха Людовика XVII, юного сына казненного короля. За недостатком ружей — вилы, косы, дубины, вместо пушек — старинные пищали, собранные по замкам. Были битвы и поражения, наступления и бегства. В трехлетней бойне люди гибли десятками тысяч на поле брани, под ножом гильотины или в Луаре: вандейцев усаживали в большие лодки и пускали на дно посередине реки, с супругов срывали одежду и топили попарно, беременных женщин обнаженными связывали лицом к лицу с дряхлыми стариками, священников — с юными девушками, — это называлось «республиканскими свадьбами». К весне 1796 года белой Вандеи не стало.

Атлантическое побережье! Маленький домик. Хозяевам вместе 150 лет — рыбак и рыбачка. Крохотный, но отдельный садик для Мура. Пески. Море. Никакой зелени. Увы, самое дешевое место оказалось еще слишком дорогим: 400 франков в месяц, две комнаты с кухней, без электричества и газа, керосин и топка углем. Вандея сиротская, одна капуста для кроликов. Жители изысканно вежливы, старухи в чепцах-башенках и деревянных, без задка, туфельках. Молодые — стриженые.

На открытке с видом Сен-Жиль-сюр-Ви МЦ пишет 5 мая:

Христос Воскресе, дорогой Радзевич!

Вот где я живу: каждый день хожу по этому каменному краю (где рыбак идет) — опускать письма, покупать спички (которых никогда нет!) — жить. *Это* я называю: жить, остальное — быть.

Но я о другом хотела. Я говорила о Вашей визе (carte d'identite) своей приятельнице — Саломее Николаевне Гальперн, умной, милой и очаровательной (хорошей — тоже: когда надо). Ваше дело устроено. Вам нужно к ней заявиться — сначала письменно. Ее адрес:

44, uue du Colisee (VIII)
Madame Salome Halpern

Ей нужно знать, как сейчас Ваши дела, нужно Ваше отчество и Ваш адрес. Она хлопочет только в крайних случаях, оцените и поблагодарите. И отчество и адр<ес> сообщить могу, но дел Ваших не знаю. Поторопитесь.

Милый Радзевич, я совсем не радуюсь Вашей женитьбе, но — раз Вы решили, мне нужно Вам помочь. Не радуюсь потому что это — житейский шаг, а дело — жизни, двух жизней, (ребенок) — трех.

Будьте счастливы — не женой, так Парижем, летом и — от сердца говорю — моей дружбой, которая стоит моей любви.

МЦ

У Саломеи Николаевны Андрониковой-Гальперн много знакомых среди русских и французских влиятельных лиц, ее муж — Александр Яковлевич Гальперн — известный адвокат. Замуж за него она вышла совсем недавно, с 1919 года прошла нелегкий путь эмиграции, на хлеб зарабатывала в журнале мод «Vu et Lu», ее хорошо знали в литературно-художественном Петербурге десятых годов, и она хорошо знала людей той среды. Эта женщина навсегда воспета Осипом Мандельштамом:

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью — что может быть печальней —
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,

Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!

Декабрь 1916 («Соломинка»)

Марина и Саломея, монашка туманная и соломинка, в одном и том же году — десять лет назад — просияли в сознании поэта. Сам Бог судил им встретиться в Париже, за гранью русской реальности.

Родзевич женится в июне, по-своему взяв Париж. Венчание в Свято-Сергиевском подворье, центре православной культуры в Париже, МЦ назвала венчанием двух поэм — «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» — с одной невестой. После женитьбы чета поселилась под Парижем и некоторое время жила по соседству с МЦ, которая с ними добросердечно общалась.

МЦ рассылает 9 мая пасхальные поздравления. Анну Тескову просит прочитать ее статью «Поэт о критике» во 2-й книге «Благонамеренного», только что вышедшей, жалуется, что ее дружно травят Адамович, Осоргин, Яблоновский и даже Петр Струве. В. Ф. Булгакову — тоже шлет поздравление и пишет о том о сем. «Читали, как меня честят г<оспо>да критики за статью (о них) в «Благонамеренном»?» Она еще не знает, чем это все для нее обернется.

В тот же день, на Пасху, она делает головокружительно поворотный шаг.

«Райнер Мария Рильке! Смею ли я так назвать Вас? Ведь Вы — воплощенная поэзия, должны знать, что уже само Ваше имя — стихотворение». Это был ответ на письмо Рильке от 3 мая 1926 года из Швейцарии. От него пришли и две книги — «Дуинезские элегии» и «Сонеты к Орфею» с надписями самыми сердечными. На форзаце «Дуинезских элегий»:

Марине Ивановне Цветаевой
Касаемся друг друга. Чем? Крылами.
Издалека ведем свое родство.
Поэт *один.* И тот, кто *нес* его,
встречается с *несущим* временами[128].

Райнер Мария Рильке

(Валь Мон, Глион, Кантон Во,

Швейцария, в мае 1926)

Тональность задал Рильке, словно загодя знал, с кем начнет разговор.

А ведь знал. Ее задал ему — Пастернак. «Поэму Конца» и весть в письме отца — что о его поэтическом существовании известно Рильке, Пастернак получил в одно и то же утро весенней Москвы, в слезах он выглянул в окно, шел снег, мимо проходили люди, — и это совпадение перевернуло его жизнь.

МЦ в первом письме к Рильке, от 9 мая, несколько переиначила историю своего знакомства с его поэзией, углубив эту историю во времени и драматизме («из русской революции <…> уехала я — через Берлин — в Прагу, взяв Ваши книги с собой»). На следующий день, продолжив письмо, она отправила ему «Стихи к Блоку» и «Психею». Будучи со всеми на «Вы», с Рильке, как и с Пастернаком, она заговорила на «ты». Рильке принял ее «ты» и на своей «внутренней карте» отметил МЦ где-то между Москвой и Толедо, создав пространство для натиска ее океана. Она же, не вынося словцо «поэтесса», закрыла глаза на таковое в обращении к ней.

Намного основательней и дольше — двадцать лет — поэзию Рильке знал, любил и пропагандировал Пастернак. Рильке в молодости дважды — в 1899 и 1900 годах — посещал Россию, им боготворимую, много ездил и многих видел, и ко Льву Толстому его привел художник Леонид Осипович Пастернак, к которому романтический австриец пришел с рекомендациями из Германии. Тогда его увидел мальчик Борис. В 1925 году в Европе отмечали пятидесятилетие Рильке, его поздравил письмом Леонид Осипович и получил сердечный ответ, о чем оповестил сына. Ну а дальше, как сказано выше, — жизнь его перевернулась.

Пастернак не жаден. Написав Рильке, он попросил его не тратить драгоценного времени на его, Пастернака, чувства, связанные с возвышенным трагизмом русской революции, а послать книгу с надписью — «может быть, «Дуинезские элегии», известные мне лишь понаслышке», — ей, Марине Цветаевой: «Я люблю Вас и могу гордиться тем, что Вас не унизит ни моя любовь, ни любовь моего самого большого и, вероятно, единственного друга Марины…»

В мае между МЦ и Пастернаком была решена важнейшая проблема — их встреча. МЦ ее отменила, отодвинув на год. Ему это оказалось на руку — он писал поэму «Лейтенант Шмидт», отпочковавшуюся от общего первоначального замысла — эпической поэмы «Девятьсот пятый год».

Она же с головой бросилась в Рильке.

МЦ стала писать эпистолярный роман, исключительный ввиду подлинного величия и нравственной безукоризненности

адресата. Начавшись с крохотной лжи, это произведение балансировало на грани ненастоящей художественной правды. Завышенная нота пафоса напоминает эпоху влюбленности в Орленка. Очнулась девочка с Трехпрудного, гимназистка с Кисловки. Тем более что МЦ не слишком слышала собеседника, сдержанно дававшего ей понять о своей болезни, оказавшейся смертельной.

Рильке восхитился ее первыми письмами. МЦ сразу набрала горнюю высоту. Она писала по-немецки, на огромном фундаменте своего немецкого чтения от Беттины фон Арним, Гауфа, Гофмана, Гейне, Гёте, Гёльдерлина и так далее вплоть до самого Рильке.

Точки соприкосновения нашлись мгновенно, прежде всего — Орфей. Столь же сокровенно для них обоих и число 7.

МЦ пишет:

> Твой «Орфей». Первая строчка:
> И дерево себя перерастало…
> Вот она, великая *лепота* (великолепие). *И как я это знаю!* Дерево выше самого себя, дерево перерастает себя, — потому такое высокое. Из тех, о которых Бог — к счастью — не заботится (сами о себе заботятся!) и которые растут прямо в небо, в семидесятое (у нас, русских, их — *семь). (Быть на седьмом небе от радости. Видеть седьмой сон.* Неделя — по-древнерусски — *седьмица. Семеро одного не ждут. Семь Симеонов* (сказка). 7 — русское число! О, еще много: *Семь бед — один ответ,* много.)

От Рильке в итоге пришло шесть писем, МЦ потом насчитала семь. С числами у нее неувязка — она ужимает на два-три года возраст не только свой, но и мужа с дочерью. Она умело чередует гору и равнину, ей интересен Рильке-человек: кто он — германец или кто-то другой? Давно ли болен? Есть ли дети? («Думаю, нет»). Она посвящает его в детали своего детства, овеянного Шварцвальдом, и нынешней бедственной участи.

Между Атлантикой и Альпами письма летят стремительно, как обученные голуби.

Фон переписки поэтов динамичен и пестр. Аскезой и отшельничеством на ее берегу не пахнет. Рильке, проходя отдельной заветной строкой, в вандейской повседневности МЦ окружен множеством людей, не догадывающихся о его существовании, и редкостным обилием писем по другим адресам.

В Сен-Жиле холодно, спят все вместе на четырехместной кровати под тремя одеялами, море — «даром пропадающее место для ходьбы» (в письме Сосинскому), садик вот-вот расцветет

розами. Ремизов прислал ей фельетон А. Яблоновского «В халате» (Возрождение. 1926. № 337. 5 мая), про МЦ: «она приходит в литературу в папильотках и в купальном халате, как будто бы в ванную комнату пришла». Настоящий друг Ремизов: на-ка, почитай-ка…

Пастернак в неведении и растерянности, ему никто не пишет ни из Швейцарии, ни из Франции. Наконец 18 мая 1926-го он получает от МЦ заказной конверт с двумя голубыми листками. На одном — краткая записка Рильке Пастернаку, квинтэссенция которой: «Элегии» и «Сонеты к Орфею» уже в руках поэтессы!», на втором — выдержка из письма Рильке к МЦ (рукой МЦ): «Я так потрясен силой и глубиной его <Пастернака> слов, обращенных ко мне, что сегодня не могу больше ничего сказать: прилагаемое же письмо отправьте Вашему другу в Москву. Как приветствие». Это походило на захват. Сестра Ася права: МЦ не любила делиться.

Еще в письме начала мая МЦ просила Пастернака помочь Софии Парнок, впавшей в немилость судьбы, — 19 мая, в некотором шоке от вчерашнего события, Пастернак пишет МЦ, что помочь Парнок не может и не хочет, причины есть, и посылает МЦ посвящение-акростих, которым планирует предварить поэму «Лейтенант Шмидт».

Мельканье рук и ног и вслед ему
«Ату его сквозь тьму времен! Резвей
Реви рога! Ату! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».

Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет,
Царит покой, и что ни пень — Сатурн:
Вращающийся возраст, круглый след.

Ему б уплыть стихом во тьму времен:
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут неси из лога в лог, ату,
Естественный, как листья леса, стон.

Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, пнями, сном ветвей
И ветром и листвою мне и ей.

(«Посвященье»)

Эту вещь (неправильный сонет) трудно упрекнуть в излишней ясности, но она вполне отражает смуту, происходящую в душе автора и в его отношениях с людьми, временем и отечеством. В том же духе МЦ пишет Пастернаку 22 мая 1926-го: «Мой отрыв от жизни становится всё непоправимей. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью — обескровленной, а столько ее унося, что напоила б и опоила бы весь Аид. О, у меня он заговорил, Аид!» Она заговаривает о своем «Мóлодце» и о Рильке, к которому совместно ехать не надо, потому как он перегружен и в принципе отшельник.

Пастернаку же на следующий день, перейдя к реальности, рассказывает как ни в чем не бывало:

> Аля ушла на ярмарку, Мурсик спит, кто не спит — тот на ярмарке, кто не на ярмарке — тот спит. Я одна не на ярмарке и не сплю. (Одиночество, усугубленное единоличностью. Для того, чтобы ощутить себя неспящим, нужно, чтобы все спали.) <…>
>
> Не думай, что красота: Вандея *бедная,* вне всякой внешней heroic'n: кусты, пески, кресты. Таратайки с осликами. Чахлые виноградники. И день был серый (окраска сна), и ветру не было. Но — ощущение чужого Троицына дня, умиление над детьми в ослиных таратайках: девочки в длинных платьях, важные, в шляпках (именно — ках!) времени моего детства — нелепых — квадратное дно и боковые банты, — девочки, так похожие на бабушек, и бабушки, так похожие на девочек… Но не об этом — о другом — и об этом — о всем — о *нас* сегодня, из Москвы или St. Gill'a — не знаю, глядевших на нищую праздничную Вандею. (Как в детстве, смежив головы, висок в висок, в дождь, на прохожих.)

На следующий день, безотносительно к регулярности диалога, которой нет по причине медлительности почтового сообщения между СССР и Европой, Пастернак говорит в письме прямо:

«И еще вот что. Отдельными движеньями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобой и любить этот общий воздух. Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильке. Оттуда ею поддувает. У меня смутное чувство, точно ты меня слегка от него отстраняешь. А так как я держал все вместе, в одной охапке,

то это значит отдаляешься ты от меня, прямо своего движенья не называя.

Я готов это нести».

На пустынном берегу общительность МЦ растет и ширится. Помимо прочих охвачен ею и Дода Резников, чужой жених (25 мая): «Очень рада была бы, если бы Вы летом приехали. (Кстати, где будете?) У нас целая бочка вина — поила бы Вас — вино молодое, не тяжелее дружбы со мной. Сардинки в сетях, а не в коробках. Позже будет виноград. Чем еще Вас завлечь? Читала бы Вам стихи».

Она пишет две вещи сразу — поэмы «С моря» и «Попытка комнаты». Обе они адресованы Пастернаку, а вторая к тому же — попытка воспроизведения его сна о ней, рассказанного ей в письме. «Вторую почти кончила, впечатление: чего-то драгоценного — но осколки».

У всех свои игры. Аля с увлечением читает истории о Жиле де Ретце по прозванью Синяя Борода, прославленном преступнике, действовавшем в этих местах, у МЦ — еще один роман: с бытом. Об этом — 25 мая — Сосинскому:

> Здесь я, впервые после детства (Шварцвальд), очарована бытом. Одно еще поняла: НЕНАВИЖУ город, люблю в нем только природу, там, где город сходит на нет. Здесь, пока, всё — природа. Живут приливом и отливом. По нему ставят часы!
>
> Не пропускаю ни одного рынка (четыре в неделю), чтобы не пропустить еще какого-нибудь словца, еще жеста, еще одной разновидности чепца.
>
> Словом, — роман с бытом, который даже не нужно преображать: уже преображен: поэма.
>
> Мой быт очарователен менее: я не жена рыбака, я не ложусь в 1/2 9-го (сейчас 1/2 9-го и хозяева уже спят), я не пойду на рынок продавать клубнику — сама съем, или так отдам, и, главное, я все еще пишу стихи. <…>
>
> Очень рада, что будете писать о Поэме горы.

«Поэму Горы» Сосинский вначале только слышал. На слух не все уловил, в чем признался невесте — Ариадне Черновой. Потом прочел корректуру — несколько раз. И в мае написал ей же: «Это лучшее, что у М<арины>И<вановны> — нет больше, — после «Двенадцати» — ни у кого подобного не было! Как я рад, что это, наконец, открылось мне. Я хочу написать об этой поэме». Так и не написал. А МЦ — пишет. Поэмы и письма. 25 мая — Пастернаку: «Борис, ты меня не понял. Я так люблю твое имя, что для меня не написать его лишний раз, сопровождая письмо Рильке, было

настоящим лишением, отказом. <…> Борис, я сделала это сознательно. Не ослабить удара радости от Рильке. Не раздробить его на два. Не смешать двух вод». Видимо, именно в ту весну 1926-го она нашла это слово — *отказ*. 26 мая письмо продолжается: «Здравствуй, Борис! Шесть утра, веет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу (две разные радости: пустое ведро, полное ведро) и всем телом, встречающим ветер, здоровалась с тобой».

Сергей Яковлевич пожаловал в Сен-Жиль 29 мая. Наконец-то. В письме Сувчинскому от 2 июня МЦ сообщает, что откармливает мужа, которого «Вы обратили в скелета». Там же — и кое-что посущественней:

> Вот что пишет Пастернак об отзыве Мирского (в «Совр<еменных>Записках», о нем и мне). «Чудесная статья, глубокая, замечательная, и верно, очень верно[129]. Но я не уверен, справедливо ли он *определяет* меня. Я не про оценку, а про определенье именно. Ведь это же выходит вроде «Шума Времени» — натюрмортизм. Не так ли? А мне казалось, что я вглухую, обходами, туго, из-под земли начинаю, в реалистическом обличии спасать и отстаивать идеализм, который тут только под полой и пронести, не иначе. И не в одном запрете дело, а в перерождении всего строя, читательского, ландкартного (во временах и пространствах) и своего собственного, невольного».
>
> Когда я это прочла, я ощутила правоту Пастернака, как тогда, читая, неправоту Мирского. <…> Напишите о нем и мне — *от лица Музыки,* как никто еще не писал. <…>
>
> И еще: мне важно снять с Пастернака тяжесть, наваленную на него Мирским. Его там — за бессмертие души — едят, а здесь в нем это первенство души оспаривают. Делают из него *мастера* слов, когда он — ШАХТЕР — души.

Первый раз недопонимание МЦ слов Рильке о серьезности его болезни привело к двухнедельному перерыву в переписке, о чем она сообщала Пастернаку в явной обиде на холодность Рильке. Но 3 июня, закончив «Попытку комнаты», МЦ пишет Рильке: «Многое, почти всё, остается в тетради. Тебе — лишь слова из моего письма к Борису Пастернаку: «Когда я неоднократно тебя спрашивала, что мы будем с тобою делать в жизни, ты однажды ответил: «Мы поедем к Рильке». 6 июня — Пастернаку — о «Попытке комнаты»: «Я хотела дать любовь в пустоте: всё в ничто. Чувств<ую>, что любовь не получ<илась>, п<отому> ч<то> есть вещи больше. Они — получились. Кроме того, у меня к тебе (с тобой) странная робость, скудость. Не затрагиваю. Точнее: не дотрагиваюсь. Ты ТО, что я люблю, не ТОТ, кого люблю». При этом Пастернак по существу выпал из игры втроем.

Стены косности сочтены
До меня. Но — заскок? случайность? —
Я запомнила три стены.
За четвертую не ручаюсь.
…..
Платье все оправлять умели!
Корридоры: домов туннели.

Точно старец, ведомый дщерью,
Корридоры: домов ущелья.

Друг! Гляди! Как в письме, как в сне том —
Это я на тебя просветом!

В первом сне, когда веки спустишь —
Это я на тебя предчувствьем

Света. В крайнюю точку срока
Это я — световое око.

(«Попытка комнаты»)

Борис Пастернак так никогда и не ответил на майское благословение Рильке. Но письмо ему стал писать — большое и непоспешное. Оно стало очерком собственной жизни в творчестве: «Охранная грамота».

Как это все назвать? Бурная деятельность? Этому нет

определения. Письма, поэмы, дети, рынок, интриги, пляж, ходьба в холмах, слепость обожания и рациональная деловитость, лед и пламя, полная зрелость и детскость, не выветренная никакими шквалами с океана. Три разных ветра в день, все холодные. За сутки час-два тепла, либо дождь, либо ветер. А по ночам она читает Гёте, ее вечного спутника. Но Рильке уже услышал от нее: «Можно преодолеть мастера (например, Гёте), но преодолеть Вас — означает (означало бы) преодолеть поэзию».

Анну Тескову она просит отыскать у Чириковых во Вшенорах большую корзинку, перетрясти и переложить вещи, пересыпать их нафталином, а кроме того, ей нужны два летних платья, которые можно переслать по почте, и еще: «На дне корзины должна находиться толстая коричневая немецкая мифология, в переплете, с картинками. Gustav Schwab — Die schonsten Sagen des klassischen Altertums[130]. Эту книгу нужно отправить отдельно, *почтой,* заказной бандеролью, *не* багажом. Она мне крайне нужна в возможно скором времени для II ч<асти> Тезея, которую пишу сейчас. Толстый, коричневатый, несколько разъехавшийся том. Там же имя с припиской: книга на всю жизнь».

Драматическая трилогия «Гнев Афродиты» начата еще в Чехии, летом 1923-го, позже переименована в «Тезея», по главному герою, которого в любви преследовал рок. Части трилогии — «Ариадна», «Федра», «Елена» — должны были называться по именам женщин, которых он любил. Третья часть написана не была. В Сен-Жиле МЦ переписала заново написанное в Чехии.

Рильке тоже недоумевал, почему она отстранилась от него, но — понял: это недоразумение, и, поняв, прислал МЦ несколько снимков своего одинокого жилища на горе — замка Мюзо — и две свои фотографии вместе с письмом от 8 июня 1926 года. Основным же содержанием конверта были стихи.

ЭЛЕГИЯ[131]
Марине
О, потери Вселенной, Марина, падучие звезды!
Как ни рвись в высоту, не восполнить изъян мирозданья,
не умножить небес и святого Числа не урезать
ни душевным недугом, ни нашим свободным паденьем.
Исцеление наше равно безнадежности взлета.

Ничего не меняется? Все остается на месте,
и, зови не зови, ни прибавить уже, ни убавить?

Мы морская пучина, Марина! Мы небо, мы суша, Марина!
Март-апрель — это мы, и поет полевой жаворóнок
нашим голосом — песня, настигшая ветер! Ликуя,
зря стараемся — мы не чета нашей солнечной песне
и под собственной тяжестью, тягу земную услышав,
от восторга до жалобы тихо планируем наземь.

Что поделать, ведь жалоба — предвосхищение новой
тайной радости некой, до срока сокрытой во мраке.
Но пещерные боги уповают на гимны, Марина.
Как мальчишки, похвал дожидаются темные боги.
Так воспой их! Излейся в обильной хвале без остатка!
Всё, что зримо, — мгновенно. Как прикосновение к розе.

В африканском Ком Обмо вожди, приносящие жертву
у меня на глазах, нильских лилий воздушно касались.
Обещает спасение, крест начертив на воротах,
тихий ангел пролетом в одно неземное касанье.
Так и мы подаем только знаки друг другу, Марина.
Наше тихое дело — коснуться и не задержаться
над душой, обнадеженной нашим нечаянным жестом.
Вещь не любит хапуги, и собственник будет наказан
вещи внутренней мощью, не самодовлеющей вещи.

За черту бытия уносимые неумолимо,
мы познали Ничто, эту лютую стужу пространства.
К новым жизням влекло нас, Марина, лишь это, однако
нас ли только? Бесчисленны очи безликой Вселенной.
Человеческий род преисполнен поющего сердца,
глаз горящих и зрящих, подобие птиц перелетных.
Новый образ обрящет парящее преображенье.
Мрачных бездн посещать не обязано племя живущих.

Над осевшей могилой, набитой тоской по ушедшим
и незыблемым знанием, блещет плакучая ива,
на которой ушедшие, как молодые побеги,

дышат жизнью живой, не поломаны ветром весенним.
Сердце мира, Марина, увито лозой обожанья.

(Женский легкий цветок на нетленном кусте, понимаю,
понимаю тебя, растворяюсь в вечерней прохладе,
что коснется тебя очень скоро.) Туманные боги
нас обманом влекут, половину лепя к половине,
чтоб из двух полумесяцев нам получить полнолунье,
но победа за тем, кто построит высокую башню
в одиноких прогулках по тропам безлунных бессонниц.

Р. (Написано 8 июня 1926)

Он писал это стихотворение, сидя на согретой солнцем стене каменной ограды, среди виноградников, привораживая ящериц его звучанием.

Поразительно, но одновременно с ним — даже несколько раньше — она выборматывала нечто подобное, плывущее где-то рядом, вплоть до африканских ассоциаций:

Оттого ль, что не стало стен —
Потолок достоверно крен

Дал. Лишь звательный цвел падеж
В ртах. А пол — достоверно брешь.

А сквозь брешь, зелена как Нил…
Потолок достоверно плыл.

Пол же — что, кроме «провались!» —
Полу? Что нам до половиц

Сорных? Мало мела? — Горé!
Ведь поэт на одном тире

Держится…
Над ничем двух тел
Потолок достоверно пел —
Всеми ангелами.

(«Попытка комнаты»)

Вернемся к корзине. О, эта корзина! 9 июня 1926-го МЦ пишет уже В. Ф. Булгакову:

> Сердечная просьба: помогите Анне Антоновне Тесковой (Gregrova, c<islo> 1190) перевезти к ней нашу большую корзину (громадную!), которая стоит у Чириковых. Эта корзина тяжелой глыбой на моей совести. Там Муркино приданое на два года вперед, мои тетради, письма, всяческое. И все это пожирается молью.
>
> Еще: у наших бывших хозяев (c<islo> 23, Ванчуровых) Сережина шинель, френч и ранец с тетрадями. Все это нужно переложить в корзину перед отправкой ее к Тесковой. А то пропадет. (В корзине места много.)
>
> Тескова, очевидно, за корзиной приедет сама, нужно только помочь ей доставить ее на вокзал (лошадь? тачку?). Было бы хорошо списаться о дне и часе.
>
> Не знаю, где будем осенью, поэтому выписывать нет смысла. А вещи (особенно Муркины) хорошие, во второй раз не будет.

В Москву в конце мая 1926-го приехал Эренбург с посылкой Пастернаку от МЦ. Подарок по-царски щедр: оттиски «Поэмы Горы» и «Крысолова», большая фотография работы Петра Шумова, фуфайка, нарядная кожаная тетрадка для стихов и даже гонорар за публикацию главы из поэмы «Девятьсот пятый год» в первом номере «Верст». Пастернак поглощен сумбуром забот и житейщины. Поэмы прочел по одному разу, но к разговору не готов. Он показал их Асе Цветаевой, ей больше «Поэмы Конца» нравится «Поэма Горы», ему — больше всего, по первому чтенью, «Крысолов». Он просит МЦ забыть его на месяц. Он отсылает ей раннюю книжку «Поверх барьеров» и «Лейтенанта Шмидта», страшно ругая книжку и щадя поэму, — затем, чтобы она увидела воочию давным-давно существующее родство поэтик и чтобы никто не упрекал его в том, что он что-то у нее позаимствовал. МЦ посылает ему копии двух первых писем Рильке к ней. Он с облегчением вздохнул: химеры рассеяны. И стал бесконечно виноватиться.

В общении трех поэтов прошла зыбь неясностей. Не ранее 13 июня 1926 года МЦ делает набросок письма Пастернаку: «Не внушай мне виновность, слишком легко, не становись в нескончаемый ряд моих обвинителей, когда все и вся обвиняют, только один ответ: Не виновата. Никогда. Ни в чем. Если я виновата — виноват Бог».

Четырнадцатого июня 1922-го — ровно четыре года назад —

Пастернак отправил Марине письмо в захлебе от ее «Верст». 14 июня 1926 года Пастернак наконец пытается сформулировать свое впечатление о «Крысолове». У него не получается, он спешит и захлебывается, но уже без беспримесного восторга.

Крысолов кажется мне менее совершенным и более богатым, более волнующим в своей неровности, более чреватым неожиданностями, чем Поэма Конца. Менее совершенен он тем, что о нем хочется больше говорить. Восхищенность Поэмой Конца была чистейшая. Центростремительный заряд поэмы даже возможную ревность читателя втягивал в текст, приобщая своей энергии. Поэма Конца — свой, лирически замкнутый, до последней степени утвержденный мир. Может быть это и оттого, что вещь лирическая и что тема проведена в первом лице. <…>

В Крысолове, несмотря на твою прирожденную способность *компоновать,* мастерски и разнообразно проявленную в Сказках[132], несмотря на тяготенье всех твоих циклических стихотворений к поэмам, несмотря наконец на изумительность композиции самого Крысолова (крысы как образное средоточье всей идеи вещи!! Социальное перерожденье крыс!! — идея потрясающе простая, гениальная, как явленье Минервы) — несмотря на все это — поэтическое своеобразие ткани так велико, что вероятно разрывает силу сцепленья композиционного единства, ибо таково именно действие этой вещи. Сделанное в ней говорит языком *потенции,* как это бывает у больших поэтов в молодости или у гениальных самородков — в начале. Это удивительно молодая вещь, с проблесками исключительной силы. Действие голого поэтического сырья, т. е. проще: сырой поэзии, перевешивает остальные достоинства настолько, что лучше было бы объявить эту сторону окончательным стержнем вещи и написать ее насквозь сумасшедше.

Может быть так она и написана, и в последующих чтеньях под этим углом у меня и объединится. Святополк-Мирский очень хорошо и верно сказал о надобности многократного вчитыванья.

Уйдя в частности, Пастернак так и не достиг четкости в оценке «Крысолова». Единственное, что могла понять МЦ, это финальная информация о том, что жена Бориса Женя получила заграничный паспорт и он обрывает письмо, надо доставать деньги. Через четыре дня он отправит МЦ «эту ерунду» и заодно расскажет о том, что в день прочтенья поэмы «Крысолов» в его дом набежали крысы, коих не было больше года. «Я с ними конечно не уживусь и выведу, хотя бы они и были притянуты лирикой». Эти эпистолы медленно потащатся к ней в Сен-Жиль, а

пока что, 14 июня, она пишет Рильке:

Слушай, Райнер, ты должен знать это с самого начала. Я — плохая. Борис — хороший. И потому что плохая, я молчала — лишь несколько фраз про твое россійство, мое германство и т. д. И вдруг жалоба: «Почему ты меня отстраняешь? Ведь я люблю его не меньше твоего».

Что я почувствовала? Раскаянье? Нет. *Никогда.* Ни в чем. Ничего не почувствовала, но стала действовать. Переписала два твоих первых письма и послала ему. Что я могла еще? О, я плохая, Райнер, не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог.

Я — многие, понимаешь? Быть может, неисчислимо многие! (Ненасытное множество!) И один ничего не должен знать о другом, это мешает. Когда я с сыном, тот (та?), нет — то, что пишет тебе и любит тебя, не должно быть рядом. Когда я с тобой — т. д. Обособленность и отстраненность. Я даже в себе (не только — вблизи себя) не желаю иметь сообщника. Поэтому в жизни я — лжива (то есть замкнута, и лжива — когда вынуждают говорить), хотя в другой жизни я слыву правдивой — такая и есть. Не могу делиться.

А пришлось (это было за два-три дня до твоего письма). Нет, Райнер, я не лжива, я слишком правдива.

Если бы я умела бросаться простыми, дозволенными словами: переписка, дружба — все было бы хорошо! Но я-то знаю, что ты не переписка и не дружба. В жизни людей я хочу быть тем, что не причиняет боли, потому и лгу — всем, кроме себя самой. <…>

Внутреннее право на сохранение тайны. Это никого не касается, даже шеи, вокруг которой обвились мои руки. Мое дело. Не забудь еще, что я замужем, у меня дети ит. д. <…>

Твоя Элегия. Райнер, всю жизнь я раздаривала себя в стихах — всем. В том числе и поэтам. Но я всегда давала слишком много, я заглушала возможный ответ, отпугивала его. Весь отзвук был уже предвосхищен мной. Вот почему поэты никогда не писали мне стихов — никаких (плохие и есть никакие, еще хуже, чем никакие!) — и я всегда посмеивалась: они предоставляют это тому, кто будет через сто лет.

И вот, твои стихи, Райнер, стихи Рильке, поэта, стихи — поэзии. И моя, Райнер, — немота. Все наоборот. Все правильно.

О, я люблю тебя, иначе я не могу этого назвать — первое попавшееся и все же самое *первое* и самое лучшее слово.

Только два человека, кажется, прочтут «Элегию» Рильке из рук МЦ — Пастернак и Тескова. Но это — потом. Слишком дорого, слишком сокровенно.

Вдруг МЦ стало известно, что ее скоропостижно сняли с чешского иждивения. Это «эхо парижской травли», считает она, имея в виду реакцию литобщественности на ее «Поэта о критике». Полетели письма по всем пригородам Праги. Написала кому могла в Чехии. Брюссельский «Благонамеренный» кончился — после выхода второго номера (март — апрель 1926 года) журнал закрылся, а его главный редактор Шаховской принял монашеский постриг.

Пастернак выдвигает идею отодвинутой встречи — на горе у Рильке. МЦ находит эту мысль гениальной. 21 июня 1926 года пишет ему:

> Да, Борис, о другом. В Днях (газета «Дни». — *И. Ф.)* перепечатка статьи Маяковского о недостаточной действенности книжных приказчиков. Привожу дословно: «Книжный продавец должен еще больше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки, — Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина! Но это все временное. Поэтому напрасно в вас остыл интерес к Красной Армии; попробуйте почитать эту книгу Асеева» и т. д.
>
> Передай Маяковскому, что у меня есть и новые обложки, которых он просто не знает.
>
> *Между нами* — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия: не за себя, за него.

Сергей Эфрон на данном этапе — писатель, не говоря — соредактор журнала. В Сен-Жиле он отдыхает от парижской беготни по журнальным делам, недавно у него были напечатаны два рассказа — в журнале «Благонамеренный» (№ 2) и сборнике «Ковчег» (Прага), он пишет новые и счастлив от лицезрения беззаботного семейства, особенно детишек. Мур вот уже месяц хорошо и твердо ходит, первый свой шаг ступил по безукоризненной земле отлива. МЦ купается, то есть заходит в воду по живот и в судорожном страхе плывет обратно. Аля — того хуже: зайдет по щиколотку и стоит, как теленок, глядя себе под ноги. Может так простоять час.

Океан остужает, а в далекой Москве духота, домашние разъехались, Пастернак боится лета в *городе* и честно признается: «Если бы я стал говорить дальше, я бы тебя насмешил: тут пошли бы… искушенья св. Антония. Но ты не смейся. Есть страшные истины, которые узнаешь в этом абсурдном кипении

воздерживающейся крови». Он боится влюбиться, боится свободы. Она возмущена: ты (она) не в счет? Может быть, гениальней всего Пастернак определил натуру МЦ, когда сказал о «приступе межевых страстей».

Он страстно полюбил «Крысолова», больше всего — лейтмотив флейты, подробнейше разобрал поэму, установил «абсолютное, безраздельное господство ритма».

Пастернака не интересовали образцы МЦ в «Крысолове». Он жаждал «голого поэтического сырья», «сырой поэзии». Возможно, ту же цель преследовал и Гёте в одноименном стихотворении, подойдя к народной легенде сугубо лирически, если не легкомысленно и весело:

Певец, честимый повсеместно,
К тому ж я женолов известный.
Такого городишка нет,
Где мною не оставлен след.

Пускай девицы боязливы,
Молодки чинны и спесивы —
Все покоряются сердца
Искусству пришлого певца[133].

1803 («Крысолов»)

Именно этот тон подхватил Брюсов:

Встречу гостью дорогую,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Вплоть до утра зацелую,
Сердце лаской утоля.

И, сменившись с ней колечком,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Отпущу ее к овечкам,
В сад, где стройны тополя.

18 декабря 1904 («Крысолов»)

МЦ выбрала вариант Гейне — и с точки зрения, скажем так, идейной, и в плане технического исполнения, вольного и разнообразного. У Гейне — политическая сатира, прямой фельетон:

На две категории крысы разбиты:
Одни голодны, а другие сыты.
Сытые любят свой дом и уют,
Голодные вон из дома бегут.

Бегут куда попало,
Без отдыха, без привала,
Бегут куда глядят глаза,
Им не помеха ни дождь, ни гроза.

Перебираются через горы,
Переплывают морские просторы,
Ломают шею, тонут в пути,
Бросают мертвых, чтоб только дойти.

Природа их обделила,
Дала им страшные рыла,
Острижены — так уж заведено —
Все радикально и все под одно.

Сии радикальные звери —
Безбожники, чуждые вере.
Детей не крестят. Семьи не ища,
Владеют женами все сообща.

Они духовно нищи:
Тело их требует пищи,
И, в поисках пищи влача свои дни,
К бессмертью души равнодушны они.

Крысы подобного склада
Не боятся ни кошек, ни ада.
У них ни денег, ни дома нет.
Им нужно устроить по-новому свет.

Бродячие крысы — о, горе! —
На нас накинутся вскоре.
От них никуда не спрячемся мы,
Они наступают, их тьмы и тьмы.

О, горе, что будет с нами!
Они уже под стенами,
А бургомистр и мудрый сенат,
Не зная, что делать, от страха дрожат.

Готовят бюргеры порох,
Попы трезвонят в соборах, —
Морали и государства оплот,
Священная собственность прахом пойдет!

О нет, ни молебны, ни грохот набата,
Ни мудрые постановленья сената,
Ни самые сильные пушки на свете
Уже не спасут вас, милые дети![134]

< Конец 1840-х? > («Бродячие крысы»)

Гейне не закончил этой вещи, ее нашли в бумагах поэта после его смерти. Политический лирик недоговорил — МЦ пошла на разговор до конца.

Люмпенскую программу крыс МЦ и сделала основой своей вещи не меньше, чем бюргерскую — ратсгеррскую (от ратсгерр — городской советник) — антипрограмму. Ее крысолов, человек в зеленом с дудочкой, поначалу решил продать свой дар подороже — за дочку бургомистра, а не получив оной, покарал город не по-человечески, уведя и утопив детей. Не слишком ли? У братьев Гримм дудочник просто уводит детей сквозь горы, и на том инцидент исчерпывается, детское чтение МЦ как-никак проходило материнский контроль. Жестоких сказок она начиталась позже, и не только немецких.

Какое отношение это злодеяние имеет к музыке? Наверное, прямое. Вывод-то прост: поэзия выше нравственности. Так это или не так, но цветаевский «Крысолов» стал тотальным обвинением во все стороны, обличением порочности и несправедливости всего мироустройства. Многоголосье поэмы держится на голосе автора, так что часто и не разобрать: чье это саморазоблачение? Крысиное? Бюргерское? Или сам автор не щадит себя? Чей суд? Божеский? Но Бога в таком раскладе нет. Сатана правит бал. Красота — музыка — не спасает мир, но губит его — МЦ не любит Достоевского.

Музыка? Тиф —
Музыка! Взрыв!
По́ степи — скиф!
Жил перерыв!

Великий Гёте тоже — по логике событий — неправ. При чем

тут девицы и молодки? Уж не говоря о Брюсове с его «Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля».

А что Гаммельн? Что-то чисто немецкое? Да нет же. Все что угодно и, может быть, прежде всего — Париж:

Не забывай, школяры: «Узреть
Гаммельн — и умереть!»

Кто же самый крайний в этом месте?

Пришлые. Скоропечатня бед,
Счастья бесплатный номер.
В Гаммельне собственных нищих нет.
Был, былó, раз — да помер.

А еще конкретней — свои, собратья, поэты, о которых у Блока:

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

(«Поэты»)

А у МЦ в «Крысолове» — так, теми же словами:

Дальше от пуговичных пустот,
Муза! От истин куцых!
От революции не спасет
Пуговица. Да рвутся ж, —

Все! Коли с демонами в родстве —
Бард, — расстегнись на все!

Здесь и Гоголь уместен:

Рай-город[135]*, пай-город, всяк свой пай берет —*
Зай-город, загодя закупай-город.

МЦ когда-то заметила, что Гёте испытывал страх перед

одержимым демонами Бетховеном, и в «Крысолове» подтвердит эту мысль:

В оперении райских птах
Демона: stirb und todte[136]!
Что есть музыка? Тайный страх
Тайного рата Гёте —

Перед Бетховеном.

Дался ей Гёте, ее кумир. Но разве это не ее стиль, не ее нрав — восстать и опровергнуть? Скандально проститься со вчерашней любовью?

В техническом смысле МЦ достаточно поиграла в поэме — как хотела и как могла. Начав с гладкого хорея («Стар и давен город Гаммельн»), пустилась в вольницу раешника и дольника. Лирическое отступление МЦ назвала «диверсия в сторону пуговицы», или «ода пуговице». Ритмических рисунков не счесть. Игра со словом не знает удержу. Трагизм покрывается озорством. Конечно же это весело — угадать, скажем, рифму на этом участке текста:

— Без слуги не влезаю в обшлаг…
— Есть такая дорога — большак…
В той стране, где шаги широки,
Назывались мы…

«Большевики» выскочат несомненно. Тем более что страна, где шаги широки, опять отдает Маяковским. Перекличек с ним очень много. Вот по важному поводу — у МЦ:

В городе — впрочем, одна семья
Гаммельн! Итак, в семействе
Гаммельнском — местоименья «я»
Нет: не один: все вместе.

У Маяковского:

Пролеткультцы не говорят
ни про «я», ни про личность.
«Я»
для пролеткультца

все равно что неприличность.
…..
Если мир
подо мной
муравейника менее,
то куда ж тут, товарищи,
различать местоимения?!

1923 («Пятый интернационал»)

Исходный пафос обоих поэтов — един: ненависть к сытым — мировому мещанству. Другое дело, что у МЦ и большевики — вид мещанства. Пастернак писал МЦ о Маяковском: «Он престранно устроен. Может быть, ему кажется, что это («сдувая пыль со старой обложки». — *И. Ф.*) он тепло о тебе вспомнил».

Что в итоге? Лирическая сатира? Лиризм, прорывающийся в теме музыки, самоуничтожается ходом действия.

— Вечные сны, бесследные чащи…
А сердце всё тише, а флейта всё слаще…
— Не думай, а следуй, не думай, а слушай…
А флейта всё слаще, а сердце всё глуше…

— Муттер, ужинать не зови!

Пу — зы — ри.

Диктатура флейты?..

Поток вандейских поэм МЦ нарастает. К июлю 1926-го напишется поэма «Лестница», отрывочно начатая еще в начале года. Попутно МЦ знакомится с поэмой Пастернака «Лейтенант Шмидт». 1 июля, осторожно формулируя, — они вообще стали осторожней во взаимооценках — пишет Пастернаку:

Мой родной Борис,

Первый день месяца и новое перо.

Беда в том, что взял Шмидта, а не Каляева (слова Сережи, не мои), героя времени (безвременья!), а не героя древности, нет, еще точнее — на этот раз заимствую у Степуна: жертву мечтательности, а не героя мечты. Что такое Шмидт — по твоей документальной поэме? Русский интеллигент 1905 г. Не моряк совсем, до того интеллигент (вспомни Чехова и море!), что столько-

то лет плаванья не отучили его от интеллигентского жаргона. Твой Шмидт студент, а не моряк. Вдохновенный студент конца девяностых годов.

Борис, не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней, сплошь *пенснейной.* Люблю дворянство и народ, цветение и недра, Блока шинели и Блока просторов. Твой Шмидт похож на Блока-интеллигента. Та же неловкость шутки, та же невеселость ее. <…>

Знаешь, я долго не понимала твоего письма о «Крысолове», — дня два. Читаю — расплывается. (У нас разный словарь.) Когда перестала его читать, оно выяснилось, проступило, встало. Самое меткое, мне кажется, о разнообразии поэтической ткани, отвлекающей от фабулы. Очень верно о лейтмотиве. О вагнерианстве мне уже говорили музыканты. Да, всё верно, ни с чем я не спорю. И о том, что я как-то докрикиваюсь, доскакиваюсь, докатываюсь до смысла, который затем овладевает мною на целый ряд строк. Прыжок с разбегом? Об этом ты говорил?

Борис, ты не думай, что это я о твоем (поэта) Шмидте, я о *теме,* о твоей трагической верности подлиннику. Я, любя, слабостей не вижу, всё сила. У меня Шмидт бы вышел не Шмидтом, или я бы его совсем не взяла, как не смогла (пока) взять Есенина. Ты дал живого Шмидта, чеховски-блоковски-интеллигентского. (Чехова с его шуточками прибауточками усмешечками ненавижу с детства.)

Рассказ Чехова «В море» (1883) написан от лица матроса, излагающего эпизод из морского быта: матросня в свободное от вахты время подглядывает через просверленные в стенке «каюты для новобрачных» отверстия за пассажирами («Мы пьем много водки, мы развратничаем, потому что не знаем, кому и для чего нужна в море добродетель»). Рассказчик и его отец (они ходят на одном судне), «старый, горбатый матрос, с лицом, похожим на печеное яблоко», выиграли жеребьевку на подглядывание. Жертвы — молодой пастор и его новоиспеченная жена, юная красивая англичанка. Но оказалось, что вуайерское надругательство над супружеским ложем — только цветочки. Право первой ночи купил у пастора банкир, высокий, полный старик-англичанин…

— Выйдем отсюда! Ты не должен это видеть! Ты еще мальчик, — говорит сыну старый морской волк. «Он едва стоял на ногах, — повествует сын. — Я вынес его по крутой, извилистой лестнице наверх, где уже шел настоящий дождь».

Так или иначе, в поэме о лейтенанте Шмидте Пастернак снял посвящение МЦ.

Дмитрий Шаховской, ныне молодой монах, с уходом в Подворье рассылает друзьям свою стихотворную книжку «Предметы» (1926), в продажу она не поступила. МЦ отмечает заключительное стихотворение, и впрямь сильное, «Надпись на могильном камне»:

По камням, по счастью и по звездам
Направлял он путь к морям далеким.
Кораблей предчувствуя движенье,
Говорил он о великом ветре.
И никто не мог ему поверить,
Что хотел он в жизни только Славы —
Отлететь на каменные звезды,
Полюбить блаженства первый камень.

Она зовет Шаховского погостить в Сен-Жиль. «Жить будете у нас, в комнате Сергея Яковлевича вторая кровать». Ожидаются и Святополк-Мирский, и Сувчинский с Верой Александровной («пусть везет пестрый купальный костюм, здесь всё мужские и траурные»).

Что есть одиночество? По Рильке — условие достижения полноты бытия. Башня на горе. Цветаева это понимает совершенно. Но земного, обычного одиночества — не выносит. Завидна ее энергия в организации многолюдья вокруг себя. Обостряются отношения со стариками-хозяевами. Истые вандейцы-традиционалисты не принимают вольных ухваток и привычек, относя все это, по-видимому, к национальным свойствам этих русских.

Рильке прислал новую книгу — свои французские стихи «Vergers»[137]. МЦ откликается 6 июля: «у Гёте где-то сказано, что на чужом языке нельзя создать ничего значительного, — я же всегда считала, что это не верно. <…> Я не русский поэт и всегда недоумеваю, когда меня им считают и называют». Французский пример Рильке оказался очень плодотворным для ее будущих трудов на ниве самопереводов и переводов вообще.

Тем не менее слой проблем увеличивается, и отдых не в отдых, поскольку отдыха нет. И хотя хлопоты друзей о ее чешской стипендии увенчались полупобедой (ей оставили 500 крон ежемесячно на два месяца), в середине июля МЦ почувствовала общую усталость, в том числе нежелание письменного общения с Пастернаком. Она уже больше думает о том, что на тот случай, если ей вернут тысячу крон в месяц, ей придется возвратиться в

Чехию, хотелось бы — в Прагу. 20 июля 1926-го она пишет Тесковой:

> Прагу я люблю самым нежным образом, но, по чести, так мало от нее взяла — и не по своей вине. В Праге везде — музыка! Ни разу не была в концерте. Хотелось бы познакомиться с чехами, особенно с женщинами, все это было бы возможно в Праге, невозможно за городом. Я буду жить одна с детьми, как я могу на целый день уехать в Прагу, оставляя Мура одного с Алей. Аля — большая, но девочка. Мур промочит ноги, Мур упадет со стула и т. д. Заместительницы у меня нет, я ни разу не выеду в Прагу. <…>
>
> Я уже здесь не живу, оставшиеся полтора месяца *пролетят, я* не могу жить тем, что заведомо кончится. Моя Вандея уже кончилась. Вижу уже вечер укладки, утро отъезда. Передышка в Париже — рачьте дале![138] (Безумно люблю этот крик кондукторов, жестокий и творческий, как сама жизнь. Это она кричит — кондукторами!)
>
> Рачьте далее — но куда? У меня сейчас в Чехии ничего твердого нет, в устройстве я совершенно беспомощна. Вильсонов вокзал — куда? Боюсь, что просто сяду с Алей и Муром под фонарь — ждать судьбы (дождусь полицейского).

С Пастернаком у МЦ произошла, можно сказать, поэма конца. Не навсегда, а вот сейчас, на этом этапе. У него непросто в семье, с женой и сыном. С обеих сторон под конец были сказаны самые ясные слова в их переписке, его слова: «Я не могу писать тебе и ты мне не пиши».

В Москве разыгрался эпизод попытки чтения Пастернаком «Поэмы Конца» на квартире Бриков, в отсутствие Лили Юрьевны и Маяковского, пребывавших в Крыму. Присутствовавшие — штаб журнала «ЛЕФ»[139] — проигнорировали его порыв, и он бросил читку на второй странице. Он отдал эту поэму и «Крысолова» Николаю Асееву с люфтом в месяц, но Асеев позвонил наутро: гениально и ни с чем не сравнимо. Асеев изумительно прочел «Крысолова» там, где Пастернак провалился с «Поэмой Конца», — у Бриков, на Таганке. Поэму разбирали до четырех утра. Юный Семен Кирсанов «пальцы изъязвил чернилами», переписывая ее. Асеев читал и «Крысолова» на разные голоса. Асеев сказал: «Как она там может жить?» и прибавил: «Среди Ходасевичей». Заговорили о публикации «Поэмы Конца» в «ЛЕФе», твердо предполагая, что продукт МЦ понравится Маяковскому, шефу

«ЛЕФа», но Пастернак в этом был не уверен. Не произошло.

Маяковский по фактуре — рост, широкий шаг, палка в руке, посадка головы — внешне походит на Петра Великого, а в Грузии, например, этих обоих великанов считают грузинами. Мифы бессмертны. Марки на конвертах *с* корреспонденцией Пастернака украшены изображением Медного всадника и выпущены к столетию восстания декабристов. Это ей не столь и далеко, напротив — близко, но в новом отечестве свои праздники, и МЦ туда не хочется.

Она в смятении. Однако 2 августа говорит гордо: «Слушай и запомни: в твоей стране, Райнер, я одна представляю Россию». В это время Рильке уже переехал на курорт Рагац. Здоровье его всё хуже, но рядом — старинные друзья Мария и Александр Тур унд Таксис, владельцы замка Дуино, прославленного элегиями Рильке. МЦ не понимает серьезности происходящего *с* Рильке и 14 августа рассуждает в письме к нему о том, что она не может делить Пастернака, ее *брата,* с его женой, поскольку ее *сестрой* быть не может, и кроме того выражает уверенность в том, что зимой она и Рильке встретятся, где-нибудь во французской *Савойе.* «Или осенью, Райнер. Или весной. Скажи: да, чтоб с этого дня была и у меня радость — я могла бы куда-то всматриваться (оглядываться?)». Он отвечает 19 августа: «Да, да и еще раз да, Марина, всему, что ты хочешь и что ты есть; и вместе они слагаются в большое ДА, сказанное самой жизни… но в нем заключены также и все десять тысяч непредсказуемых Нет».

Это было его последнее письмо.

Было и еще письмо от нее к нему (22 августа 1926-го), где содержатся предупреждение об отсутствии у нее денег на случай их встречи («Хватит ли у тебя денег для нас обоих?») и просьба подарить ей греческую мифилогию Штолля («Подаришь?»).

Тройственной переписки не было. Все было проще. Молодой поэт написал боготворимому мэтру и попросил оказать знаки внимания молодой поэтессе, им обожаемой. Мэтр сделал это. Молодая поэтесса, охваченная эгоцентрическим восторгом, отодвинула молодого поэта и стала переписываться с мэтром и молодым поэтом одновременно и поврозь. Молодой поэт завершил сюжет самоустранением. Мэтр подумал, что у них, молодых, так принято, хотя и высказал осторожные опасения на сей счет. Молодость этих молодых довольно условна — им за тридцать, и в своем ареале они звонко известны.

Разброс вкусовых интересов МЦ широк и непредугадываем. 29 августа 1926 года «Комсомольская правда» печатает «Гренаду» Михаила Светлова, поэта комсомольского. МЦ восхищена: это, на ее взгляд, лучшая песня последних двадцати лет. Она

переписывает текст песни в свою тетрадь. От замка Дуино до крестьянской Гренады — полшага. Рильке поместил МЦ в пространстве от Москвы до Толедо. А ведь и впрямь хорошо:

Отряд не заметил
Потери бойца
И «Яблочко»-песню
Допел до конца.
…..
Не надо, не надо,
Не надо, друзья…
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

Приближается осень, дыхание океана похолодело. Семейство Эфрон пытается ухватиться за лето, явно уходящее. Купаются, едят ежевику, ртом с кустов, и варят варенье. МЦ занята перепиской большой вещи — пьесы «Тезей». 4 сентября пишет Сувчинскому, роняя интересные мысли:

> Вы большой умник. Помните, весной кажется, Вы мне сказали: «Теперь Вам уже не захочется… не сможете писать отдельных стихов, а?» Тогда удивилась, сейчас — сбылось. Лирическое стихотворение: построенный и тут же разрушенный мир. Сколько стихов в книге — столько взрывов, пожаров, обвалов: ПУСТЫРЕЙ. Лирическое стихотворение — катастрофа. Не началось и уже сбылось (кончилось). Жесточайшая самораправа. Лирикой — утешаться! *Отравляться* лирикой — как водой (чистейшей), которой не напился, хлебом — не наелся, ртом — не нацеловался и т. д.
>
> В большую вещь вживаешься, вторая жизнь, длительная, постепенная, от дня ко дню крепчающая и венчающая. Одна — здесь — жизнь, другая — там (в тетради). И посмотрим еще какая сильней!
>
> Из лирического стихотворения я выхожу разбитой.
>
> Да! Еще! Лирика (отдельные стихи) вздох, мечта о том, как бы (жил), большая вещь — та жизнь, осуществленная, или — в начале осуществления.

Его жене, Вере Александровне, МЦ поверяет 6 сентября нечто более земное:

> С<ережа> и Аля (животы) наладились, С<ережа>

очень похудел. В данный час терзается угрозой хозяйки потянуть нас к мировому за стирку (фактически: ополаскиванье двух детских штанов) в комнате… Когда я ей кротко возразила, что ополоснуть не есть стирать, она послала меня: «Dans le derriere du chien voir si j'y suis»[140], на что получила созерцательное: «Vous y etes surement»[141]. Грозится жандармами и выселением… Целые дни шепчется с разными дамами и куаффами, носится по городу, шепча и клевеща. <…>

5-го (вчера) был день Алиного тринадцатилетия (праздновали по-новому, по-настоящему 5/18-го), жалела — да все жалели — что вас обоих нет: были чудные пироги: капустный и яблочный, непомерная дыня и глинтвейн. Аля получила ко дню рождения: зубную щетку и пасту (ее личное желание), красную вязаную куртку — очаровательную, — тетради для рисованья, синие ленты в косы и две книги сказок: Грима (увы, по-французски^) и — полные — Перро, с пресловутыми moralites. <…>

Переписку Тезея кончила.

Совершенно непонятно, зачем у Али отнят год жизни, — ей исполнилось четырнадцать.

Второго октября 1926 года они покинули Сен-Жиль.

МЦ, вернувшись из Вандеи в Париж, узнала о том, что Володя Сосинский недавно побывал в полицейском участке за уличный инцидент, но был отпущен дежурным ажаном, узнавшим причину стычки: мосье Сосинский защищал честь женщины. Той женщиной была она. Некоторое время назад некий молодой поэт честил МЦ с эстрады, Сосинский вскочил на подмостки и отвесил ему пощечину. Тот проглотил эту пощечину и много других, которые получал при каждой встрече на улицах или в кафе. В полицию его взяли как раз за очередную прилюдную оплеуху. Аля принесла Володе от МЦ перстенек, на внутренней стороне которого было выгравировано: «Дорогому Володе Сосинскому — попытка благодарности за действенность и неутомимость в дружбе».

Хлопотами друзей снята квартира, в пятнадцати минутах поездом от Парижа, с Монпарнасского вокзала: станция Бельвю. Жить будут вместе с одной вшенорской семьей — Александрой Захаровной Туржанской, ее сыном Олегом и прочей многочисленной родней, дом пополам. Александра Захаровна —

актриса, бывшая жена кинорежиссера В. К. Туржанского, Олега по-домашнему кличут Лелик. Александра Захаровна помогала МЦ при родах, крестила Мура. Со следующего года, когда они все перетекут в соседний городок Мёдон, она надолго станет старостой православного прихода.

Дом большой, с башенкой, железная решетка. Это, по версии МЦ, прежний дворец маркизы де Помпадур, разрушенный во Франко-прусскую войну 1870 года прусскими соплеменниками МЦ. Туржанские живут на нижнем этаже, Эфроны — на верхнем, и у них есть мансарда, где зимой нельзя жить, а весной чудесно. При доме садик, в трех минутах ходьбы — большой пустынный парк с обсерваторией. Недалеко — Версаль, до него две остановки на электрическом поезде, ближе, чем от Вшенор до Праги.

Аля выросла, похудела, похорошела. Ее намечено отправить учиться в Школу рисования Мстислава Добужинского и Ивана Билибина. Это лучше, чем гимназия, — и призвание, и будущий заработок. Живется Але нелегко, ибо весь день занята Муром.

Денежные дела плохи. За лето, написав три поэмы, МЦ ничего не напечатала. Сергей за работу в «Верстах» получает тысячу франков с номера, а номер выходит раз в четыре — пять месяцев. Расходы большие, нужно везде ставить печи, камины не греют. Квартира с мебелью, но без посуды. Тазы, сковороды, кастрюли, Муркины теплые вещи, пальто, вязаные штаны, чулки и прочее — в той самой пресловутой корзине. Необходим и примус.

Просьба о корзине и примусе обращена, разумеется, к Анне Антоновне Тесковой. Все это нужно отправить по адресу: Madame Marina Efron, 31, Boulevard Verd Bellevue (Seine et Oise) pros Paris.

Октябрь уж наступил, в «Современных записках» (1926. № XXIX) появилась рецензия Владислава Ходасевича на первый номер журнала «Версты» — «О «Верстах». МЦ набрасывает черновик письма, с почти знакомым названием: «Мой ответ Владиславу Ходасевичу».

Ходасевич пишет: «Открываются «Версты» стихами и прозой. В предисловии сказано, что задача их — направлять читательское внимание на все лучшее и самое живое в современной русской литературе. В соответствии с этим в художественном отделе «Верст» встречаем двух эмигрантских авторов (Марину Цветаеву и А. Ремизова) и пять советских…»

МЦ парирует: «Эмигрантским автором себя не считаю, ибо родилась раньше 1922 г. и большинство вещей, появившихся здесь, написала в России, из которой, кстати, не эмигрировала. [Также мало считаю Пастернака «ˆнапример? *нрзб.* >советским автором. Так же не считаю себя советским автором, считая такое

деление, особенно касательно лирического поэта, смешным. Б<орис> П<астернак>, например, советский поэт, а я — эмигрантский. Почему? Потому что я в 1922 г. уехала, а Б<орис> П<астернак> остался в Москве.] <…> Я — русский поэт, и что еще точнее, еще чище, просто — *поэт, родившийся в России*».

Этот «Ответ» не доведен до конца, то есть не дописан и не отослан ни в одну из редакций. Та же участь, похоже, постигла и такое заявление:

> *Октябрь 1926 г.* < В редакцию «Современных записок» >
>
> Милостивый Государь, господин Редактор!
>
> Не откажите в любезности поместить нижеследующее.
>
> После статьи Ходасевича в Современных Записках № — о Верстах, прошу меня, ближайшего сотрудника Верст, сотрудником Современных Записок не *считать*.

Взрывать мосты за собой — и перед собой тоже — при ее нищете было бы более чем опрометчиво. О, да, она и не на то способна, но призрачная, пригородная, околопарижская жизнь не способствует проявлениям безрассудства. Однако пару лет в «Современных записках», до публикации «Тезея» (1928. № XXXVI), ее имени не будет.

В эмигрантской периодике разразилась еще летом и не кончается свистопляска вокруг первого номера «Верст». Этот номер состоит из новых произведений и перепечаток Пастернака, Есенина, Сельвинского, Бабеля и Артема Веселого, Ремизова и Цветаевой, а также неожиданной републикации «Жития протопопа Аввакума».

Иван Бунин был как раз протопопом Аввакумом Серебряного века, неистовым литературным старовером. В придачу к неуемному нраву он наделен глубоким скепсисом относительно женщин-стихотвориц. Десять лет тому, когда Мандельштам воспевал Цветаеву, Бунин родил шедевр стиховой портретистики, хоть вывешивай его рядом с изображением Ахматовой кисти Натана Альтмана (1914):

Большая муфта, бледная щека,
Прижатая к ней томно и любовно,
Углом колени, узкая рука…
Нервна, притворна и бескровна.

Все принца ждет, которого все нет,

Глядит с мольбою, горестно и смутно:
«Пучков, прочтите новый триолет…»
Скучна, беспола и распутна.

3.1.16 («Поэтесса»)

Он-то и сказал свое веское слово (Возрождение. 1926. № 429. 5 августа):

Еще один русский журнал за рубежом — первая (и громадная) книга «Верст». Просмотрел и опять впал в уныние. Да, плохо дело с нашими «новыми путями». Нелепая, скучная и очень дурного тона книга. Что должен думать о нас культурный европеец, интересующийся нами, знающий наш язык, понимающий всю страшную серьезность русских событий — и читающий подобную русскую книгу? <…>

А уж про Ремизова и Цветаеву и говорить нечего: тут любой дурачок за пятачок угадает, что именно дал в сотый, в тысячный раз Ремизов насчет Николая Чудотворца и Розанова и чем опять блеснула Цветаева:

Красной ни днесь, ни впредь
Не заткну дыры <…>

А рядом с Цветаевой старается Святополк-Мирский: в десятый раз долбит, повторяет почти слово в слово все то, что пишется о нас в Москве, наделяя нас самыми нелепыми, первыми попавшимися на распущенный язык уничижительными кличками и определениями…

Вслед за раздраженным Буниным солидно-саркастично высказался Антон Крайний, то есть Зинаида Гиппиус (Последние новости. 1926. № 1970. 14 августа):

Особенно богат поэтический отдел. И так ярок, что один дает представление обо всем остальном. <…>

Взглянем на нового, новейшего — на великого Пастернака (таким называют его «Версты»). Мне сказал один читатель, свободный от «предрассудков», жадный к любой новой книге: «я готов на все, но только надо сделать выбор: или наш русский язык — великий язык, или наш Пастернак — великий поэт. Вместе никак не признаешь, не выходит»… <…>

Чем же щегольнул в «Верстах» Пастернак?

Да ничем особенным, его «достижения» известны: «Гальванической мглой взбаламученных туч» «пробираются в гавань суда»… «Расторопный прибой сатанеет от прорвы работ» — «и свинеет от тины»… Далее, конечно, о «тухнувшей стерве, где кучится слизь, извиваясь от корч — это черви»… <…>

У здешней великой — у Марины Цветаевой — стерв меньше, зато она, в поворотном усердии своем, перемахивает к довольно запредельным «новшествам»: в любовных строках (она всегда насчет любви), не желая описывать, «вороной ли, русой ли масти» ее возлюбленный («Разве страсть — делит на части? — Часовщик я, или врач?») — под конец находит-таки ему (возлюбленному) достойное определение: «Ты — полный столбняк!»

Надо сказать, Марк Слоним, приятель создателей «Верст», не переносит личных отношений на свои впечатления о журнале, говоря начистоту и жестко (Воля России. 1926. № 8–9):

Составлять журнал из перепечаток — опасно: получится аналогия. До статей Бунина и Крайнего я считал это основной ошибкой «Верст», тем более что в перепечатках многое может показаться случайным. Но то, как «отозвались» на эти перепечатки наши критики, показало, что известную службу «Версты» сослужили: для того чтобы разъярить быка, перед ним машут красным; перепечатки «Верст» оказались обладающими свойствами красного цвета: по ним нельзя судить о силе и характере новой литературы, но реакция против них обнаружила все идейное убожество местоблюстителей. <…>

Содержание журнала очень многоцветно. Но от обилия красок еще не получается картины. <…>

Оригинального в «Верстах» лишь «Поэма Горы» Марины Цветаевой — трагическая поэма любви, вознесенной над жизнью, вне жизни, как гора над землей, и жизнью земной раздавленная. <…>

Мне всегда странно, когда я слышу, что иные простодушные (вернее, простодумные) читатели не находят в произведениях Цветаевой ничего, кроме «набора слов», и никак не могут докопаться до смысла ее стихов и поэм. <…>

Цветаева — новое. Она перекликается с теми, кто в России. Я уверен, что ее взволнованные строки кажутся там подлинным выражением пафоса и бури наших дней. Она единственное в «Верстах», что — не только желание, но и свершение, но она ведь не «Версты», она вне их.

А остальное тускло. Перепечатки интересны. Оригиналы приличны. Чужое ярко. А своего почти нет. Ядро «Верст», даже

если тщательно его вышелушить, — оказывается окрошкой из евразийства, умеряемого разумом, приправленного неопределенной левизной и сдобренного эстетизмом.

К осени Бунин не успокоился. Отрывки из «Записной книжки» (Возрождение. 1926. № 513. 28 октября) передают его взволнованность, можно сказать лирическую, — это говорит поэт, задетый лично и глубоко:

Все так: легкие у Слонима удивительные, человек он не «простодумный», прекрасно «докапывается» до «сгущенного» смысла Цветаевой и в совершенно телячьем восторге от своих раскопок. Но к «Верстам» он, повторяю, почти столь же непочтителен, как и я, который нашел их прежде всего просто прескучными со всеми их перепечатками Пастернаков, Бабелей, каких-то Артемов Веселых, поэмой Цветаевой насчет какой-то горы и «красной дыры», россказнями Ремизова опять о своих снах, о Николае Угоднике и Розанове. Слоним, повторяю, в восторге только от Цветаевой. Но и тут — не водит ли он кого-то за нос? «Цветаева — новое, — говорит он. — Она перекликается с теми, кто в России!» Так вот не за эту ли перекличку он и превозносит ее, а на меня ярится за то, что я будто бы ни с кем из России не перекликаюсь? Впрочем, я полагаю, что он все-таки не настолько «простодумен», чтобы думать, что в России я пользуюсь меньшим вниманием, чем Цветаева, и что я уж так-таки ни с кем там не перекликаюсь. Нет, он, вероятно, это понимает, да все дело-то в том, что совсем не с теми перекликаюсь я, с кем перекликается Цветаева. И каких только грубостей и пошлостей не наговорил он мне за это в своих «откликах»!

Бунин именно тогда, в октябре 1926 года, изредка по старой памяти пишет стихи, после которых умолкает как поэт навсегда.

Порыжели холмы. Зноем выжжены
И так близки обрывы хребтов,
Поднебесных скалистых хребтов.
На стене нашей глиняной хижины
Уж не пахнет венок из цветов.
Море все еще в блеске теряется,
Тонет в солнечной светлой пыли:
Что ж так горестно парус склоняется,
Белый парус в далекой дали?

Ты меня позабудешь вдали.

3. X. 26

Только что рождены такие стихи МЦ, и они несовместны с бунинскими:

Я — без описки,
Я — без помарки.
Роз бы альпийских
Горсть, да хибарка

На́ море, да́ но
Волны добры.
Вот с Океана
Горстка игры.

Мало по малу бери, как собран.
Море играло. Играть — быть добрым.
Море играло, а я брала,
Море теряло, а я клала

За́ ворот, за́ щеку, — терпко, морско! —
Рот лучше ящика, если горсти
Заняты. Валу, звучи, хвала!
Муза теряла, волна брала.

Крабьи кораллы, читай: скорлупы.
Море играло, играть — быть глупым.
Думать — седая прядь! —
Умным. Давай играть!

(«С моря»)

В сознании МЦ такие литераторы, как Бунин и, например, Борис Зайцев, проходили по линии литературного старообрядчества рядом, плечо к плечу, и она от себя этого не скрывала, когда в записных книжках роняла что-нибудь неодобрительное по адресу Зайцева. Знакомство их было давним, еще московским, и, было дело, зайцевская семья забрала к себе в деревню на лето Алю. Вот и сейчас, когда по недоразумению прошение МЦ в Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции совершенно случайно попало в руки Зайцева, он, не будучи ни членом этой организации, ни поклонником

цветаевской музы, приписал снизу: «Очень прошу Комитет поддержать Марину Ивановну, положение которой в настоящее время очень трудное (недостаточность заработка литературного, двое детей и т. п.). *Бор<ис> Зайцев».* Точно так же ей помогал и Евгений Чириков, тоже старожил словесности.

Марину мучит многое, а главное — молчание Рильке. Она сверхлаконично напоминает о себе, выслав ему свой новый адрес. На открытке — вид ее Бельвю. Она не знала, что в это время он живет в городке Сьер — в гостинице «Бельвю».

Bellevue (S. et O.)
prus Paris
31, Boulevard Verd
7 ноября 1926 г.

Дорогой Райнер!
Здесь я живу.
Ты меня еще любишь?

Марина

Нет ответа. Тишина.

Но есть фигуры более реальные и доступные. Константин Болеславович Родзевич — в частности.

Bellevue, (S. et O.)
31, Boulevard Verd
9-го ноября 1926 г.

Дружочек!

Пишу по нашему обоюдному и несомненному желанию (это чувствуется сквозь стены и через спины). <…>

Встретимся мы с Вами на моей станции Bellevue (с Gare Montparnasse, поездом), посидим или побродим — как захочется и выйдет. Буду ждать Вас — или Вы меня — в станционном зале.

Час прихода поезда установите уже к понедельнику, чтобы долго не уговариваться. День выберем сообща. «Заехать к Вам» или «буду у Вас» будет означать *станцию* Bellevue.

Итак — до понедельника.

МЦ

Поезд хорошо бы выбрать какой-нибудь 7-ми, 8-ми

часовой, чтобы подольше посидеть. Но можно и значительно позже, — как сможете.

— Очень радуюсь Вам.

Прошел слух — в Париж едет Анна Ахматова. 12 ноября МЦ пишет письмо-шифровку Ахматовой, которой в Париже нет и не будет:

Дорогая Анна Андреевна,

Пишу Вам по радостному поводу Вашего приезда — чтобы сказать Вам, что все, в беспредельности доброй воли — моей и многих — здесь, на месте, будет сделано. <…>

Еще одно: делать Вы всё будете как Вы хотите, никто ничего Вам навязывать не будет, а захотят — не смогут: не навязали же мне! <…>

Знайте, что буду встречать Вас на вокзале. <…> Отвечайте сразу. Адрес перепишите на стенку, чтобы не потерять.

Возможно, ключ к разгадке этого письма содержится в воспоминании В. Вейдле о том, что, когда он уезжал из России в 1924 году, Ахматова интересовалась перспективами устройства сына в зарубежную русскую гимназию.

Поле полемики вокруг «Верст» весьма и весьма расширилось, во всю Европу, от Парижа до Балкан. Белградская газета «Новое время» в рубрике «Литературная хроника» 17 декабря 1926 года дает слово Н. Рыбинскому:

Не путем литературы идут и Ремизов, и Цветаева, и все иже с ними. Но дешевка и реклама делают свое дело, и потому задолго до всякого юбилея такие писатели уже имеют известность, а иногда и славу. <…>

Цветаева? Это та, которая такие стихи пишет! без глаголов… «Он ее»… И не догадаешься, в чем дело. Пишет, может быть, и плохо, но, знаете ли, — смело…

Так создается популярность. И потому там, где рядовой читатель только пожимает плечами и неуверенно говорит:

— Не понимаю, но раз все восторгаются, несомненно, что-то есть…

Слыша это, хочется сказать ему:

— Не бойся, друг, сметь свое суждение иметь. Прекрасная вещь всегда прекрасна, без всяких пояснений и догадок. А в писаниях этих писателей нет ничего, кроме убогой пустоты, прикрытой такой убогой формой.

Слева бьют, справа помогают. Опять Тескова. МЦ конфузится:

18-го дек<абря >1926 г.

Дорогая Анна Антоновна!

…Совсем не знаю, что сказать Вам в ответ на Ваше уведомление о высылке денег. Такие вещи, как всё незаслуженное, режут, я их боюсь, ибо, режа, пробивают кору моего ожесточенного сердца. Мне было бы легче, если бы такого в моей жизни не бывало. Поймете ли Вы меня?

Долг буду возвращать постепенно, самое большое — раза в три. Мне скоро предстоит получка за часть Тезея, которого смогу Вам выслать еще до выхода Верст — отдельным оттиском. Бесконечно радуюсь моей немецкой книге на дне корзины. Впредь урок — не расставаться. <…>

Версты и евразийство газеты рвут на куски. Пропитались нами до 2-го №, выходящего на днях. Новая пища. Особенно позорно ведет себя Милюков[142], но оно и естественно: он бездушен, только голова.

Второй № лучше первого, получите. Есть огромная ценность: Апокалипсис Розанова.

— Аля почти с меня, учится дома, очень способна к так наз<ываемым> «гуманитарным» наукам, т. е. не наукам вовсе.

Это означает, что Алю так и не определили ни в какую школу.

МЦ трудится и живет жизнью сердца. Год на исходе, 27 декабря она пишет Даниилу Резникову, касаясь человека, в котором некоторые цветаеведы различают Вадима Андреева:

В случае с В., на который не сразу ответила.

Я не верю, что, зная меня, можно любить другую. Если любит, значит не знает, значит не знала (не могла бы любить).

Короче: человек *могущий* любить меня, не может любить другую. И — еще более — обратно. Исключительность ведь не только в исключении других, но и в исключительности из других. Меня в других нет.

Можно любить до меня, и после меня, нельзя любить одновременно меня и, ни даже дружить, еще менее — дружить. Этого никогда не было. Доказательство моей правоты — меня МАЛО любили.

Тем, что Х не перестает любить свою жену, он мне явно доказывает, что я бы не могла его любить. <…>

Любовь ко мне есть любовь к целому ряду явлений и сама по

себе — *явление.* <…>

Дома у меня по-настоящему нет, есть, но *меня* в нем нет.

Тридцать первого декабря Марина Цветаева пишет Борису Пастернаку:

> *Bellevue, 31 декабря 1926 г., понедельник*
>
> Борис!
>
> Умер Райнер Мариа Рильке. Числа не знаю — дня три назад. Пришли звать на Новый год и, одновременно, сообщили.

Глава шестая

А если бы в ее судьбе не было его — Рильке? Вопрос праздный, поскольку Рильке у Цветаевой был. Тому виной Пастернак, но он вообще виноват во всем, в том числе и в собственном возникновении на пороге ее судьбы. Написал ей, написал ему, а ее хлебом не корми. В результате — отдельная страница мировой поэзии. Есть ощущение, что этого не могло не произойти.

Основной инструмент МЦ — воображение. Если и нам напрячь его же, представим эту тему — Цветаева без Рильке. Отсечем эти *семь* месяцев от первого письма к нему (9 мая 1926 года) до последней записки (7 ноября). Что получим? То же лето в Сен-Жиле, те же люди, те же… Хотелось сказать — стихи.

А вот и нет. Стихи были бы не те же. То есть это была бы не та МЦ. Пожалуй, не произошло бы усиления метафизического начала. Рильке открыл ей вход в то пространство, которое лишь по чистоте походило на немецкую лужайку. Полнота бытия включила в себя небытие. Об этом «Новогоднее», оно же «Письмо». Это ее кровный жанр. Она и стихотворение «С моря» писала как письмо к Пастернаку, поначалу назвав его «Вместо письма». Более того, и свой «Вечерний альбом» она издала «взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе» («Герой труда»). Жанр предполагает прежде всего конкретного собеседника, корреспондента, с которым уже налажена какая-то связь. Отсюда — интонация свойскости и равного уровня. Остальной читатель присутствует при разговоре двух равных, и ему достается возможность равенства. Это нередко похоже на то, как дети подслушивают взрослых. Чаще всего детям интересней именно то, чего они не совсем понимают.

О смерти Рильке Марине сообщил Марк Слоним — на ходу, накануне новогоднего вечера в ресторане, в общих чертах, без точной даты. По существу, писание этой поэмной элегии началось 31 декабря 1926 года в форме прозаического письма к Рильке — в загробье. «Райнер, вот я плачу. Ты льешься у меня из глаз! Райнер, пиши мне!» Она перебелила это письмо 1 января 1927 года перед вторым письмом Пастернаку о смерти Рильке. Потеряв Рильке, она устрашилась потери Пастернака. Оказалось, он остался у нее один. Мысль о новой встрече явилась сама собой, и нашлась предположительная площадка — Лондон. «Я тебя никогда не звала, теперь время. Мы будем одни в огромном Лондоне». Для Пастернака у нее не Савойя, а Лондон, где ей было хорошо. Пастернак провел новогоднюю ночь в одиночку за

работой над «Лейтенантом Шмидтом», отправив жену к Брикам, где праздновали Маяковский и Асеев. Пастернак тоже один, ему мало кто нужен.

Все вернулось к истоку, круг описан.

Таким образом, переписка с Рильке, с привлечением попутного цветаевско-пастернаковского эпистолярия, стала пространным подготовительным конспектом будущей поэмы. Допустим, эта переписка была бы утрачена, а поэма сохранилась. Или наоборот. Чего-то не хватало бы. Чего?

Жизнь поэта — единый текст. В одном из писем Пастернаку МЦ говорит, что она по отношению к нему не критик, а биограф — духописец. Правильная позиция. МЦ сделала все для авторов ее жизнеописания, не страшась перебора. Это можно отнести к ее безмерности, но скорее это двухсотпроцентная воплощенность. Запас карман не тянет.

Этот Новый год затянулся: МЦ сосредоточилась на стихе памяти Рильке. 8 января 1927-го Святополк-Мирский написал Пастернаку о его парижских публикациях и переводах его произведений и просит МЦ переслать это письмо адресату. На конверте этого письма МЦ делает сопроводительную запись, умоляя Пастернака не давать своего адреса Мирскому. «Причины внутренние (дурной глаз и пр.) — посему веские, верь мне. <…> Волхонка, д. № 14, кв. 9 — моя, *не делюсь*». Это похоже на все то же оттирание Пастернака — теперь от Мирского. При этом Мирский регулярно помогает ей оплачивать терм (трехмесячная плата за квартиру), отыскав эту возможность в каком-то английском кошельке, — МЦ не знает, в каком, и ей это все равно.

Существенные вещи сообщаются ею в письме Анне Тесковой от 15 января: «В Париже у меня друзей нет и не будет. Есть евразийский круг — Сувчинский, Карсавин, другие — любящий меня «как поэта» и меня не знающий, — слишком отвлеченный и ученый для меня, есть сожительство с русской семьей[143]: бабушка, взрослый сын и дочь, жена другого сына, внук — милые, но густо-бытовые — своя жизнь, свои заботы! — и больше нет ничего». В Праге Марк Слоним собирается прочесть (11 января чтение состоялось) лекцию о ее творчестве в Чешско-русской Едно-те. У Слонима — несчастье: погибла невеста под колесами автомобиля, принадлежащего председателю Совета министров Чехословакии, и полиция пытается замять это дело. МЦ отреагировала на эту беду поразительно: «Мне хочется знать, хорошо ли он знает — что потерял?» Она считает его совершенно бездушным и просит Анну Антоновну запомнить лекцию в *его* выражениях и записать то, что понравится. Кстати, та самая

корзина — уже в Париже, но почему-то никак не может доехать до Бельвю (15 минут!).

Темно в ее душе.

В середине января МЦ, по обыкновению написав Саломее о своих нуждах («под угрозой газа и электричества») и большое письмо Пастернаку («с содроганием поняла, что вещь о нас двоих «Попытка комнаты» — не о нас»), узнала о существовании Евгении Черносвитовой, русской девушки с филологическим образованием (Лозаннский университет), два последних месяца сопутствовавшей Рильке в качестве его секретаря. МЦ получила от нее «Греческую мифологию», о которой просила в письме к Рильке, оставшемся неотвеченным, — Черносвитова выполнила его поручение. МЦ ответила Черносвитовой: «Очень важно для меня: откуда у Вас мой адрес? <…> На последнее мое письмо (из Вандеи) он не ответил, оно было на Ragaz, не знаете, дошло ли оно? Еще: упоминал ли он когда-нибудь мое имя, и если да, то как, по какому поводу? Еще не так давно я писала Борису Пастернаку в Москву: «Потеряла Рильке на каком-то повороте альпийской дороги…» <…> Ко всему этому присоедините, что не принадлежу ни к одной церкви».

А тут вышел в свет многострадальный, трудно и долго писанный «Тезей» (Версты. 1927. № 2). Пять картин и много народа: Тезей, сын царя Эгея, Ариадна, дочь царя Миноса, Эгей, царь Афин, Минос, царь Крита, Посейдон, Вакх, Жрец, Провидец, Вестник, Водонос, Хор девушек, Хор юношей, Хор граждан. Народ.

Первая картина — «Чужестранец»: на рассвете некий старик Чужестранец полулежит на Дворцовой площади Афин у водоема и слушает Вестника, который провозглашает:

Вставайте, настал
День плача!

Чужестранец заговаривает с подошедшим Водоносом, узнает от него, что сегодня в третий раз отплывет корабль на Крит, а на нем — «дев и юношей дважды седьмица» — жертва Минотавру. Афинский царь Эгей, убийца сына критского царя Миноса — Андрогея, вынужден приносить эту жертву по приговору богов. Хор девушек и Хор юношей вторят друг другу.

Юноши:

Семь звезд угаснет,
Семь роз опадет.

Девушки:

Ни роз, ни лилий,
Аида сень!
Семь струн у лиры —
Нас тоже семь!

Чужестранец провоцирует Народ, который не противится жертве. Народ поддается на провокацию, требует царя. Эгей является. Народ настаивает на том, чтобы царь отправил к Минотавру своего сына Тезея. Тезей заступается за старца-провокатора, которого Народ, видя, что наследник готов отправиться к Миносу, хочет покарать. В финале картины Чужестранец оказывается Посейдоном и объявляет Тезею:

Сын мой!
Еще нам
Страсти нужны!
Ты Посейдоном
Избран в сыны.

Вторая картина — «Тезей у Миноса»: тронный зал царя Миноса. Ариадна в одиночестве играет в мяч. Из ее монолога выясняется, что она — любимица Афродиты, а мяч — золотой клубок, подаренный богиней с напутствием:

Никому не вручай без жажды
Услаждать его до седин,
Ибо есть на земле для каждой
Меж единственными — один.

С факелоносцами появляется царь Минос, укоряет дочь за то, что в канун смерти брата она забавляется мячом, но Ариадна отвечает ему вопросом:

Если ж сыну на смену — зять
Встанет, рощи мужской вершина?

Минос:

Разве зять заменяет сына?

Вестник:

Царь, корабль долгожданный прибыл.

Появляется Тезей, называет себя. После разговора с Миносом, которому он напоминает сына, Тезей остается один в наступающей ночи. Посреди монолога Тезея является Ариадна:

Будет краткою эта речь:
Принесла тебе нить и меч.

Дабы пережило́ века
Критской девы гостеприимство,
Сим мечом поразишь быка,
Нитью — выйдешь из лабиринта.

Тезей отказывается, ссылаясь на свою клятву предстать перед быком безоружным, но Ариадна ссылается на Афродиту — и этим его убедила:

Высшей воли ее зерцало,
Только вестницею предстала,
Только волю ее изречь —
Принесла тебе нить и меч.

Вторая картина завершается готовностью Тезея покориться воле Афродиты.

Третья картина — «Лабиринт»: перед входом в него Ариадна прислушивается к лабиринту, слышит звук падения («Пал мощный! Но кто же: / Бо-ец или бык?»), обещает Афродите отдать себя в жертву — лишь бы победил Тезей. Тезей появляется с окровавленным мечом и предлагает царевне с ним бежать. Ариадна предупреждает Тезея, что в случае его измены на него обрушится гнев Афродиты. Входят спасенные девушки и юноши, славят Тезея.

Четвертая картина — «Наксос»: скала со спящей Ариадной. Тезей произносит долгий монолог, в который вмешивается Вакх — Голос с неба, так и остающийся голосом, который заявляет права на Ариадну: «Дева — мне предназначена». Тезей, попрепиравшись, соглашается.

Картина пятая — «Парус»: дворцовая площадь в Афинах. Утро. Эгей. Жрец. Провидец. Разговор идет о Тезее. Появляется

Вестник:

Царь, в седине пучин
Черный отмечен парус.

Царь исчезает. Вестник вслед. Площадь заполняют ряды граждан. Хор граждан переходит от надежды к отчаянью.

Вестник сообщает, что Эгей бросился со скалы в кипящие волны. Появляется Тезей со спасенными девушками и юношами. Прорицатель ему напоминает:

«Бык поражен из двух —
Белый, белее пара —
Парус». Так в отчий слух
Слово твое упало.

Тезей:

Дивною девой вдов,
Изнеможа от скорби —
Плыл. Когда свет немил,
Черное — оку мило.
Вот почему забыл
Переменить ветрило.

Несут тело Эгея. Трагедия кончается возгласом Тезея: «Узнаю тебя, Афродита!»

Мандельштам в 1917-м сказал о том же:

Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганон,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

(«Еще далеко асфоделей…»)

Реальный мыс называется — Меганом, он виден из Коктебеля невооруженным глазом, но что-то недослышать и недоглядеть присуще этому поэту, в результате чего минус переходит в плюс, работая на вторую — автономную — действительность поэзии.

Января как не было. 1 февраля отметили два годика Мура, 3 февраля Пастернак написал МЦ короткое письмо («Я заболел этой

вестью» — о смерти Рильке), в котором Мур, чье фото прислано ею Пастернаку, назван наполеонидом, а 7 февраля — на рильковские сороковины — МЦ поставила точку в поэме «Новогоднее». Это был ее ответ на его «Элегию» к ней.

Драматургический опыт снова задействован. Начало «Новогоднего» — маленькая сцена-диалог узнавания страшной вести. Песенный зачин на высшей ноте «С Новым годом — светом — краем — кровом!» не срабатывает, поскольку затянут воронкой сложного синтаксиса. Сбивчиво, с зияниями недоговоренностей, с проглоченными глаголами — цветаевский способ передачи непередаваемого. Эпического разворота событий не будет. Так написана вся вещь. Это не «Тезей» с хорами и подробным сюжетом. Упор на стих как таковой. На соотношение языков — русского и немецкого. Слышен гул германского леса.

Вот и спрашиваю не без грусти:
Уж не спрашиваешь, как по-русски
Nest[144]*? Единственная, и все гнезда*
Покрывающая рифма: звезды.

Это прямой пересказ собственного письма к нему от 22 августа 1926 года: «Nest — по-русски — гнездо (в единственном числе рифм не имеет). Множественное число: гнезда (с мягким е, ё, почти о — в произношении), рифма: звезды».

Отвлекаюсь? Но такой и вещи
Не найдется — от тебя отвлечься.
Каждый помысел, любой Du Lieber[145]*,*
Слог в тебя ведет — о чем бы ни был
Толк (пусть русского родней немецкий
Мне, всех ангельских родней!) — как места
Несть, где нет тебя, нет есть: могила.
Всё как не было и всё как было.

Цветаевский Райнер, проскакав на орловских рысаках по непозабытому Петербургу (об этом у него есть стихи), уже пребывает там, на безначальной высоте, на том свете, она — на свете этом, в той театральной ложе, откуда смотрят на тот свет, в своем предместье.

В Беллевю живу. Из гнезд и веток
Городок. Переглянувшись с гидом:
Беллевю. Острог с прекрасным видом

На Париж — чертог химеры галльской —
На Париж и на немножко дальше…
Приоблокотясь на алый обод
Как тебе смешны (кому) «должно-быть»,
(Мне ж) должны быть, с высоты без меры,
Наши Беллевю и Бельведеры!

Ах, какими совершенными были стишки «Вечернего альбома»! Автор «Новогоднего» не помнит о таких школьных вещах, как гармония или мелодия. МЦ вступает в зону языка, похожего на первобытный хаос нетронутости и неразработанности, словно на дворе стоит какой-нибудь прежний, скорей всего XVIII, век и стихотворец российский яростно пробивается сквозь заросли полудикой речи полуосвоения полуевропейского стиха. Словно Ломоносов еще только-только вышел из немецкого университета и вот-вот столкнется с этими неучами Тредьяковским и Сумароковым, французскими выкормышами. Идут страсти по стиху. Райнер — превыше всех и всего. Настолько превыше, что и обида промелькнула:

Все тебе помехой
Было: страсть и друг.
С новым звуком, Эхо!
С новым эхом, Звук!

Рай Райнера гористый и предгрозовой, громоздится амфитеатром, как Татры. Он уже был подготовлен в «Поэме Горы»:

Как на ладони поданный
Рай — не берись, коль жгуч!

Может статься, что рай и не один, их много, как, собственно, и богов.

Не ошиблась, Райнер, Бог — растущий
Баобаб. Не Золотой Людовик —
Не один ведь Бог? Над ним другой ведь
Бог?
Как пишется на новом месте?
Впрочем, есть ты — есть стих: сам и есть ты —

Стих! Как пишется в хорошей жести
Без стола для локтя, лба для кисти
(Горсти).
— Весточку, привычным шифром!
Райнер, радуешься новым рифмам?
Ибо правильно толкуя слово
Рифма — что — как не — целый ряд новых
Рифм? — Смерть?
Некуда: язык изучен.
Целый ряд значений и созвучий
Новых.
— До свиданья! До знакомства!
Свидимся — не знаю, но — споемся.
С мне-самой неведомой землею —
С целым морем, Райнер, с целой мною!

Не разъехаться — черкни заране.
С новым звуконачертаньем, Райнер!

В таком стихе вязнешь, если не замедлишь чтение. То есть требуется новое чтение — в соответствии с новым стихом. Это не поется. Это читается по слогу, по букве, по звуку, по запятой, по точке, по тире, с учетом смещения ударений и общего неблагозвучия в традиционном понимании. Не нравится — бросьте, это не ваш автор.

В «Новогоднем» нет слова «ласточка», но осуществляется потерянный и позабытый моностих «Твоя неласковая ласточка». Блуждание души в залетейском мире. Душа усопшего, присвоенная плачеей. Тот, кто хоронит, чаще всего больше думает о себе. Вопленицы не плачут. Это их работа.

Получилась поэма о Поэте. Об Орфее и Парнасе, очень похожем на Олимп. О тернистом пути на эту гору. Это — ее тема. Вся Цветаева — про это.

Юрий Тынянов в 1924 году написал статью «Промежуток». Там не говорится про МЦ, но Хлебников и Маяковский рассматриваются в свете ломоносовско-державинского наследия, ибо классическая просодия XIX столетия себя исчерпала, потребовав нового поэтического языка. Промежуток заключался в отсутствии инерции прежней стиховой культуры и полном исчезновении всяческих направлений и школ: «Выживают одиночки». Это про МЦ как ни про кого.

Самодостаточный автор, МЦ — в ряду новых поэтов, вольно или невольно оглянувшихся на самых первых отечественных

пиитов Нового времени. Вряд ли Маяковский сильно увлекался Державиным, но стиховая генетика диктует свое. Эпоха оды вызвала к жизни мощный голос горлана-главаря. У Мандельштама тоже была ода — в частности, «Сумерки свободы», и он тоже говорил на языке классицизма. Державиным МЦ в 1916 году окрестила его первая:

Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

МЦ это ясно сознавала. Ее прихотливый стих больше выбор, чем прихоть. О том, что писала в эту пору, она сказала: это — *сушайшее* из всего, что она сделала.

Левизна стиха была вывернутым шиворот-навыворот пассеизмом. Будущую книгу «После России» открыл Василий Кириллович Тредиаковский — МЦ, как всегда несколько исказив первоисточник, в эпиграфе процитировала поэтического предка: «От сего, что поэт есть творитель, не наследует, что он лживец; ложь есть слово против разума и совести, но поэтическое вымышление бывает по разуму так, как *вещь могла* и *долженствовала* быть». Издателя своей книги она нашла в начале 1927 года, или он ее нашел. Возможно, это как-то связано с Эренбургом, поскольку этот человек входил в его круг. Это был Иосиф Ефимович Путерман — редактор, переводчик, выходец из России, служащий советского торгпредства в Париже и пайщик издательства «Плеяда». Это произошло при нечаянном посредничестве Саломеи, которой в конце апреля МЦ занесла для Путермана первую часть рукописи своей книги, назначив ему там встречу без ведома хозяйки дома.

МЦ не остановится, Рильке не оплакан до конца, стиха ей мало, работа продолжится. Эта работа не обязательно совпадает с текстом пишущейся вещи. Чаще — с тем, что рядом. 9 февраля 1927-го МЦ пишет обиженное большое письмо Пастернаку — в ответ на его короткое от 3 февраля.

> Твое письмо — отписка, т. е. написано из высокого духовного приличия, поборовшего тайную неохоту письма, сопротивление письму. Впрочем — и не тайную, раз с первой строки: «потом опять замолчу».
>
> Такое письмо не прерывает молчания, а только оглашает, называет его. У меня совсем нет чувства, что таковое (письмо) было. Поэтому всё в порядке, в порядке и я, упорствующая на своем отношении к тебе, в котором окончательно утвердила меня смерть Р<ильке>. Его

смерть — право на существование мое с тобой, мало — право, собственноручный его приказ такового. <…>

Версты[146] эмигрантская печать безумно травит. Многие не подают руки. (Х<одасеви>ч первый). Если любопытно, напишу пространнее.

Передай Асе листочек, мои письма к ней не доходят.

Надо заметить, в эту пору Пастернак постоянно общается с Асей Цветаевой.

В день, когда МЦ писала ему, он отправил ей вторую часть «Лейтенанта Шмидта». В начале марта она откликнется: это *несравненно* выше первой части. Настаивая на том, что в образе Шмидта он «дал пошляка».

А до того, 27 февраля, МЦ кончила прозу о Рильке «Твоя смерть».

По существу это тоже письмо, поскольку обращено напрямую к Рильке. Оно состоит из двух маленьких новелл с экспозицией, где МЦ говорит о единстве всех переносимых человеком смертей, окружающих любую смерть, в данном случае — смерть Рильке. «Твоя смерть, Райнер, — говорю уже из будущего — дана была мне, как триединство».

Чего МЦ не хватило в ее «Новогоднем»? Зачем понадобилось договорить в прозе? Речь-то идет о смертях, совершенно незначительных в земной жизни. Эти две смерти отличают разве что их внезапность и какая-то нерядовая несчастность: пожилая француженка-учительница умирает в одиночестве у себя в каморке, а мальчик Ваня, даун, как прожил во блаженности свои тринадцать лет с умом полуторагодовалого ребенка, так и скончался по воле Божией, всеми любимый. «Как по волнам несет нас смерть по холмам могил — в Жизнь». Это была трактовка МЦ «Элегии» Рильке, ей посвященной.

Но вот что неожиданно. «Твоя смерть» — на удивление русская вещь. Пересыпанная французской речью в первой новелле «Mademoiselle Jeanne Robert»[147], «Твоя смерть» замешена на языке, более чем отчетливо русском, с употреблением собственных добавочных лексем: «всее» (больше, чем все), «прощее», «позжих», явно простонародно-разговорных по истоку, словно автор стоит в толпе крестьянских старух на похоронах, пытаясь быть им понятной и родной. А ведь ее адресат — совсем не оттуда. МЦ втягивает Рильке в русскую жизнь, зная, что ему это нужно. «Она должна была быть на нашей русской елке, потому что наша русская елка после вашей. Тринадцать дней разницы». Ближе к финалу: «(О русская прекрасная степенность горя!)».

Участники этих печальных и будничных событий списаны с ближайшего окружения, конкретно — с семьи Туржанских (в первой новелле): «Люди были все трезвые — (бабушка, тетка, дядя и мать мальчика, отец и мать девочки), люди, видавшие виды — кто в Советской России, кто в Армии, те и другие в эмиграции, люди — и это главное — с той кровоточащей гордостью, по которой и узнают изгнанников, люди, заместившие себя детьми, свое сорвавшееся или надорвавшееся сегодня их — о, каким! — завтра, люди времени (вечного недохвата его) и посему — по всему — нещадные к детскому, люди, взявшие детское время на учет».

Кроме того, в эту вещь вложено очень много личного, пережитого биографически. «Ведь она никогда не хотела носить бандажа, потому что нужен был бы врач, а она — вы меня понимаете — не хотела». Или: «Камфару я знала по последним минутам отца и для меня она называлась — смерть». Или: «Поглощенная твоей смертью, Райнер, то есть приобщая к ней все, мною до сих пор претерпенные: гордую смерть матери, высокоумилительную отца, другие, многие, разные, — приобщая или противуставляя? — я, естественно, насторожилась в сторону Ваниной камфары». Или: «Икра мне напомнила предсмертное материнское шампанское, — ничего не хотела, шампанскому обрадовалась. Икра тоже называлась смерть».

Так значит, об этом — очень своем — МЦ недоговорила в поэме? Видимо, так. Но и нота покаяния не могла не прозвучать в таком открытом разговоре. «Твоя Blutzersetzung (разложение крови) — которую я сначала не поняла — как! он, впервые после Ветхого Завета сказавший кровь, так сказавший кровь, просто — сказавший кровь! — не статья и доказывать не стану — именно он от Blutzersetzung — разложения, обнищания ее. Какая ирония! Не ирония вовсе, а моя первая, сгоряча, недальновидность. Истек хорошей кровью для спасения нашей, дурной. Просто — перелил в нас свою кровь».

В этой прозе лирики больше, чем в зарифмованном «Новогоднем». Получилась опять дилогия, как в случае двух чешских «Поэм».

В эту пору возникла новая волна евразийства. П. Б. Струве возобновил в Париже журнал «Русская мысль», последняя модификация которого существовала в 1921–1924 годах (София, Прага). Он стал единственным и последним выпуском (1927. № 1). Евразийству И. А. Ильин посвятил статью «Самобытность или оригинальничанье?»: «За последние двести лет Россия, якобы, утратила свою самобытную культуру, потому что она подражала

западу и заимствовала у него; чтобы восстановить свою самобытность, она должна порвать с германо-романским западом, повернуться на восток и уверовать, что настоящими создателями ее были Чингис-Хан и татары. <…> Получается, вся государственность от Петра I до Столыпина; вся поэзия от Державина до Пушкина и Достоевского; вся живопись от Кипренского до Сомова; вся наука от Ломоносова до Менделеева и Павлова — подражание «гнилой германороманщине». <…> Мы, пока еще, Слава Богу, не подчинены «евразийцам»; комсомол еще не весь «уверовал» в чингис-ханство, не передал еще власть над русским улусом изобретательным приват-доцентам и не развернул еще своего грядущего урало-алтайского чингис-х-а-м-с-т-в-а…»

В этом свете очень важное и многослойное письмо, сдобренное ироническим ингредиентом, МЦ написала 21 февраля 1927 года Тесковой:

> …Кончила письмо к Рильке — поэму. Очень точный образец моих писем к нему, но полнее других, п<отому> ч<то> последнее здесь и первое там. Пойдет в № 3 Вёрст. Сейчас пишу «прозу» (в кавычках из-за высокопарности слова) — т. е. просто предзвучие и позвучие — во мне — его смерти. <…>
>
> Внешне *очень* нуждаемся — как никогда. Пожираемы углем, газом, электр<ичеством>, молочницей, булочником. Питаемся, из мяса, вот уже месяцы — исключительно кониной, в дешевых ее частях: coeur de cheval, foie de cheval, rognons de cheval[148] и т. д., т. е. всем, что 3 ф<ранка> 50 фунт — ибо есть конина и в 7–8 фр<анков> фунт. Сначала я скрывала (от С<ережи>, конечно), потом раскрылось, и теперь С<ережа> ест сознательно, утешаясь, впрочем, евразийской стороной… конского сердца (Чингис-Хан и пр.). А Струве или кто-то из его последователей евразийцев в возродившейся (и возрожденской) Русской Мысли называет Чингис-Аамами. <…>
>
> Я в стороне — не по несочувствию (большое!) — по сторонности своей от *каждой* идеи государства — по односторонности своей, м<ожет> быть — но в боевые минуты налицо, как *спутник*.
>
> С<ережа> в евразийство ушел с головой[149]. Если бы я на свете жила (и, преступая целый ряд других «если бы») — я бы наверное была евразийцем. Но — но идея государства, но российское государство во мне не

нуждается, нуждается ряд других вещей, которым и служу. <…>

№ III Вёрст обещает быть прекрасным. Не оповещаю только из суеверия. Попадался ли Вам на глаза № 1 Русской Мысли? Единственный (и какой!) свет — письмо Рильке о Митиной Любви[150]. *Рильке — о Бунине* — чувствуете все великодушие Рильке? Перед Рильке — Бунин (особенно последний) анекдотист, рассказчик, газетчик. <…>

Скоро переезжаем, хозяйка набивала сразу 3 тыс<я-чи> фр<анков>, из которых (живем двумя семьями) на нас приходится половина. Платить невозможно, — итак: прощай, сад! прощай, парк! <…>

…а Ходасевич (друг и сотрапезник Горького, посетитель коммунистических кремлевских журфиксов, — затем сотрудник Дней — затем «Последних Новостей») — в «Возрождении» Struve (Струве).

Оба продались.

Полемика вокруг первого номера «Верст», вызванная статьей Ходасевича в «Современных записках», толкнула МЦ на новую вспышку — письмо от 9 марта 1927 года П. П. Сувчинскому и Л. П. Карсавину. Ее возмутило невнятное поведение данных господ относительно еврейского вопроса, когда в результате перепалки между «Верстами» и «Современными записками» крайним оказался Сергей Эфрон, поскольку у него одного в редакции «Верст» такая неевразийская фамилия. Приведя неопровержимые доказательства православности Эфрона, включая сюда женитьбу на ней, она в постскриптуме заявляет: «Евреев я люблю больше русских и может быть очень счастлива была бы быть замужем за евреем, но — что делать — не пришлось».

МЦ задумала найти адрес подруги юности ее матери, дочери банкира, хотя знала только ее девичью фамилию — Полякова, а имени толком не знала и не знала в точности, с какой из сестер Поляковых дружила ее мать. Раиса? Зинаида? Ксения?

Кроме того, она просит Саломею позвонить Наталье Ильиничне Бутковской, актрисе и режиссеру, у которой в Париже есть своя студия, чтобы та предоставила ей бесплатно помещение для вечернего выступления где-нибудь в конце марта. Одновременно Саломея подыскивает для МЦ новую квартиру, так как нынешняя, в Бельвю, не устраивает ее по цене. Была найдена квартира в предместье Вирофле, в четырнадцати километрах от

центра Парижа.

МЦ надеется на мужа Саломеи. Именитый адвокат Александр Яковлевич Гальперн — специалист по международному праву, работал для британского посольства в Петербурге, вел судебные дела многих английских и американских фирм, имевших отделения в России. После революции обосновался в Лондоне. В 1926-м получил высшее в Великобритании адвокатское звание — барристер. МЦ надеялась, что благодаря его связям в высших кругах он отыщет подругу юности ее матери. Нужен адрес той Поляковой, что замужем за французом и живет в респектабельном предместье Булонь или, может быть, на Елисейских Полях, — во всяком случае, не на бедной парижской окраине Вилетт.

В начале марта она набрасывает письмо Зинаиде Поляковой:

> Мадам,
>
> Та, которая пишет Вам эти строчки — дочь Вашей подруги юности, Марии Мейн, — Марина Цветаева, о которой Вы может быть смутно помните, когда она была еще МУСЯ. <…>
>
> Зина Полякова, лучшая мамина подруга, та Зина, о которой речь почти на каждой странице ее девического дневника — единственная подруга, т<ак> к<ак> у нее никогда не было другой. <…> Она (Зина. — *И. Ф.)* играла Шумана. Я никогда еще не слышала, чтобы она так играла, играла ее душа, — она играла всей своей душой. Когда она кончила, я подошла к ней и ее поцеловала. То, что она играла, называлось «Warum»[151].
>
> Мне столько хочется рассказать Вам о ее жизни, смерти, это может Вас огорчить, но та, которая сумела в 17 лет сыграть Warum, не боится такого рода огорчения. <…>
>
> …одна Ваша знакомая… <…> спросила меня от Вашего имени, не являюсь ли я дочерью «Мани», я сказала, да, действительно, она предложила мне возобновить знакомство… <…>
>
> Если все то, о чем я Вам говорю, Вам дорого, позовите меня, дорогая M<ada>me. И я приду.

Вариант жилья в Вирофле МЦ не устроил — теснота, даль, перспектива осеннего переезда. Ей предложили квартиру возле Мёдонского электрического вокзала — три комнаты, ванна, крохотная кухня, центральное отопление, 330 франков в месяц. Без сада, но около парка. Мебель какой-то магазин дает в рассрочку. В случае вечера («хошь самого худенького»), с видом на заработок, — доступно. 6 марта квартира снята, на 1 апреля

намечен переезд.

С вечером — пробуксовка. Бутковская не отвечает. МЦ грешит на свою «евразийскую славу». С Союзом молодых поэтов и писателей, где председателем был Юрий Терапиано, у МЦ отношения не складываются. На ее взгляд, они — молодые — в руках у старшей группы: Бунина, Зайцева, Ходасевича, на деле с самого начала помогавших молодым.

Наконец вечер в студии Бутковской назначен. Перед этим надо было произвести важную вещь — вставить зуб, в чем помогла ей та же Саломея, сведя со знакомым врачом. Заодно, ввиду предстоящего переезда, МЦ обзавелась мебелью от Саломеи — шкафом, большим и маленьким столами, а также замечательной софой. Правда, эту софу Эфрон, по наущению МЦ, взял у Саломеи в ее отсутствие и был не совсем уверен в договоренности на сей счет.

Вещи при переезде возили на сломанной детской коляске. Зато теперь у нее — отдельная комната и отдельный стол, и отдельная плита. Лес близко — пять минут, есть озера. Новый адрес таков:

Meudon (S. et O.)

2, Avenue Jeanne d'Arc.

Авеню Жанны д'Арк. Судьба.

Итак, 13 апреля прошел вечер поэзии МЦ в Париже. Прошлогоднего триумфа не повторилось. 14 апреля МЦ шлет лапидарно-благодарный репортаж с места события в письме Вере Александровне Сувчинской:

> Спасибо от всего сердца Вам и Петру Петровичу за помощь и участие, и еще Петру Петровичу отдельно — за безупречное поведение во время дивертисмента.
>
> Хозяйка Студии (Бутковская) неизвестно почему была в холодной ярости, кажется п<отому> ч<то> шипели на шуршавших бумагой.
>
> Я так рада, что вечер кончился!

В середине апреля МЦ переписывает от руки вторую часть поэмы «Лейтенант Шмидт» для второго номера «Воли России», напечатавшей первую часть. Только что произошел обмен печатными колкостями между Адамовичем и Ходасевичем на почве этой пастернаковской поэмы. Как раз в начале года Ходасевич возглавил критику в «Возрождении», начав со статьи «Девяностая годовщина» (1927. № 618. 10 февраля): о годовщине гибели Пушкина.

Адамович в своей рубрике «Литературные беседы» (Звено. 1927. № 218. 3 апреля) попытался статьей о «Шмидте» трезво

высказаться о пушкинской линии в русском стихотворстве: нынешний мир «намного сложней и богаче», чем при Пушкине, и непростой, вне «заветов ясности» язык Пастернака соответствует внутренним переживаниям его героя. «Пастернак явно не довольствуется пушкинскими горизонтами, которых хватает Ахматовой и которыми с удовлетворением ограничил себя Ходасевич». Истовый пушкиньянец Ходасевич встал горой за Пушкина в статье «Бесы» (Возрождение. 1927. № 678.11 апреля): «не «мир сложнее и богаче, чем представлялось Пушкину», а Пушкин сложнее и богаче, чем представлялось Адамовичу». Ходасевич иронизирует над Адамовичем при помощи утешения в том, что тот не одинок в неспособности к пониманию Пушкина и восхищению им. В СССР солнце Пушкина закатилось: «Развалу, распаду, центробежным силам нынешней России соответствуют такие же силы и тенденции в ее литературе. Наряду с еще сопротивляющимися — существуют (и слышны громче их) разворачивающие, ломающие: Пастернаки. Великие мещане по духу, они в мещанском большевизме услышали его хулиганскую разудалость — и сумели стать «созвучны эпохе». А посему: «Тем повелительнее наш долг — оградиться от бесов здесь».

Это, пожалуй, больше про Маяковского или Есенина, чем про Пастернака. В любом случае МЦ возмутилась. На экземпляре «Возрождения» от 11 апреля, отосланном Пастернаку, она написала: «Порадуйся на своего protege[152] Х<одасеви>ча. Отзыв *труса.* Ведь А<дамо>вич-то (статьи не читала, достану, пришлю) писал о *тебе,* а этот, минуя тебя, о твоих ублюдках». Парадокс: главный отрицательный герой «Поэта о критике» и «Цветника» внезапно превратился в ее подзащитного. Пастернак ответил МЦ: «Ходасевича получил и прочел. Странно, меня это не рассердило…»

Она отмечает Пасху и на третий день Пасхальной недели, 26 апреля, рисует Тесковой картину отнюдь не праздничную:

> Окружена евразийцами — очень интересно и ценно и правильно, *но* — есть вещи дороже следующего дня страны, даже России. И дня и страны. <…> Меня в Париже, за редкими, *личными* исключениями, ненавидят, пишут всякие гадости, всячески обходят и т. д. Ненависть к ПРИСУТСТВИЮ В ОТСУТСТВИИ, ибо *нигде* в общест<венных> местах не бываю, *ни на что ничем* не отзываюсь. Пресса (газеты) сделали свое. Участие в Вёрстах, муж — евразиец и, вот в итоге, у меня КОМСОМОЛЬСКИЕ стихи и я НА СОДЕРЖАНИИ у большевиков. <…> Не печатаюсь нигде. Из всей

загран<ичной> печати — Воля России, пребывшая верной, и Вёрсты, *между нами* зависящие (говорю о существовании их) исключительно от доброй воли, вернее самоволия Св<ятополк->Мирского, достающего на них — по фунту, по два — деньги у англичан. Очень капризен, временами ГРУБ (перепечатка во II № *омерзительной* Москвы Белого и Алданова — Тынянова, *всеми читанного,* дело его рук[153]. Иначе — к черту Вёрсты! *Между нами!)* <…> У нас в лесу дикие гиацинты — синие. Большие, с сильным запахом, Аля приносит охапками!

А 29 апреля 1927 года в Париж из Москвы через Прагу приезжает — Маяковский. Он совершает большое европейское турне, в Чехии — с 18 по 27 апреля. Выступил в «Освобожденном театре» 25 апреля (между номерами читал «Наш марш» и «Левый марш»), 26 апреля состоялся большой сольный вечер в «Виноградском народном доме». Собралось около 1500 человек. Прочел доклад «10 лет 10-ти поэтов», поэму «150 000 000» и отвечал на вопросы.

В Париже он поселился, как всегда, в гостиничке «Ист-рия» на Монпарнасе. Он нацелен на дела, собирается купить в Париже автомобиль, но это удалось только в следующий раз — осенью 1928-го. 7 мая он выступает в кафе «Вольтер», это небольшой дом, где Вольтер жил, на набережной Сены против Лувра. Вечер устроен Союзом советских студентов во Франции. Набилось полно народу. Маяковский стоит посередине помещения, как в цирке. Блещет и грохочет. Перед выступлением он написал домой, в Москву, Лиле Брик:

Мой изумительный, дорогой и любимый Лилик.

Как только я ввалился в «Истрию», сейчас же принесли твое письмо — даже не успел снять шляпу. Я дико обрадовался и уже дальнейшую жизнь вел сообразно твоим начертаниям — заботился об Эльзе[154], думал о машине и т. д. и т. д.

Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятно. Я всё делаю, чтоб максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах.

Сегодня у меня большой вечер в Париже. <…> Девятого еду в Берлин (на восьмое не было билетов), десятого читаю в Берлине и оттуда в Москву через Варшаву (пока не дают визы — только транзитную).

В Праге отмахал всю руку, столько понадписывал своих книг. Автографы — чехословацкая мания, вроде

сбора марок. Чехи встречали замечательно, был большущий вечер, рассчитанный на тысячу человек, — продали все билеты и потом стали продавать билетные корешки, продали половину их, а потом просто люди уходили за нехваткой места.

Письмо не дописано и не отправлено. 9 мая о вечере Маяковского сообщили «Последние новости». Помимо дел пролетарско-интернационального размаха у него имеется личная жизнь в лице однодневной девушки Жени, ему ни разу не удалось ее рассмешить…

У него своя компания, большая и веселая, он заходит в художественную школу «Гранд-Шомьер», в кафе «Куполь», в монпарнасские магазины за галстуками и рубашками, дружит с художником Фернаном Леже, широко живет, поражается и поражает. Мыслимо ли увидеть в этаком кругу МЦ? Ее там и не было.

Она, очевидно, видела его в те дни, в «Вольтере» или как-то иначе. Этому есть косвенное свидетельство — набросочное письмо МЦ от 7–8 мая Пастернаку. Портрет с натуры. Так не напишешь по памяти:

> Взгляд — бычий и угнет<енный>. Так<ие> <*вариант:* Эти> взгляды могут всё. Маяковский — один сплошной грех перед Богом, вина огромная, что [нечего начинать], надо молчать. Огром<ность> вин<ы>. Падший Ангел. Архангел. <…>
>
> (А у Маяковского взгляд каторжника. *После* преступления. Убившего. Соприкоснулся с тем миром, оттуда и метафизичность: через кровь. Сейчас он в Париже, хочу передать ему для тебя что-нибудь).

Не передала. Судя по всему, даже не подошла. Год назад, 9 апреля 1926-го, она, в письме Пастернаку, вкратце описав свою последнюю встречу с Маяковским в Москве на Кузнецком мосту, призналась: «…ты думаешь, мне не захотелось сейчас, в 6 часов утра, на улице, без свидетелей, кинуться этому огромному человеку на грудь и проститься с Россией? Не кинулась, п. ч. знала, что Лиля Брик и не знаю что еще…»

Ей стоило гигантских усилий побороть в себе самую настоящую, врожденную, неискоренимую робость. Все ее важнейшие встречи были невстречами. Тоской по встрече, жаждой встречи, страхом встречи, невозможностью встречи. Только в крайнем случае ветер обстоятельств приносил ее к человеку, встреча с которым была уже неминуема. С Маяковским,

может быть, это произойдет у нее в будущем году.

Она была женщина, ей хотелось нравиться. В чужом платье и стоптанной обуви это вряд ли возможно. Но главное препятствие — непомерный объем личности и славы, даденных тому, кто притягивает больше всех на свете. Проще подослать к Блоку маленькую Алю с голубым конвертом или выслать в Царское Село Ахматовой лазурную шаль. Вся ее жизнь — безнадежное ожидание встречи в Савойе. Или теперь уже в Лондоне, той же Савойе, которой не будет.

По меркам МЦ, на земле среди живых было несколько поэтов, равных ей. Ни с одним из них не сложилось. Кроме Пастернака, который свалился на нее сам. Рильке сначала ушел — от нее, потом из жизни.

Ей ничего не стоило окликнуть какую-нибудь тень прошлого, вроде подруги материнской юности или одной французской поэтессы, прозу коей — роман «Новое упование» — в далекой молодости она переводила и печатала в «Северных записках». 7 мая в журнале «Les Nouvelles Litteraires»[155] появилась большая статья-отклик на новый сборник стихов Анны де Ноай «L'Honneurde souftrir»[156] (1927) Мориса Мартена дю Гара, редактора этого еженедельника. Тотчас МЦ пишет письмо де Ноай: «Сударыня! Я не читала Вашей книги Честь Страдать, и, не прочитав ее, вот что я о ней думаю. Это Ваша последняя книга и, будучи последней, она наиближайшая к следующей, значит — Ваша почти самая великая. Это Вы из последнего полночного удара: Вы из уже-завтра». При этом МЦ явно путает журналиста Мориса дю Гара с его двоюродным братом, писателем Роже Мартеном дю Гаром, автором романа-хроники «Семья Тюбо», называет Мориса дю Гара (или его кузена) — дураком, сосуном. Эпистола получилась лирико-философской и весьма пространной. Анна Элизабет Ноай, графиня де Матьё, не ответила, пополнив посланием от неизвестной свой архив — подобно Кузмину в 1921 году. Несколько иное — та самая подруга матери. Связь установлена, цели определены. МЦ саркастически делится с Саломеей (28 мая 1927 года): «Получила письмо от — давайте, просто: — Полячихи (Zina), нынче с тоской в сердце еду завтракать. С<ергею> Я<ковлевичу> нужен старый фрак для к<амуфляж>а, потому и еду. (Как Вы думаете, есть у Zina старый фрак??) <…> Нельзя ли лечить Zina внушением? То, что она ничего мне не дает — болезнь».

Наконец она сообщает Пастернаку (около 11 мая): «Пишу тебе по проставлении последней точки книги «После России», в первую секунду передышки. Завтра сдаю. <…> Не пойми меня превратно: я живу не чтобы стихи писать, а стихи пишу чтобы

жить. <…> Пишу не п<отому> ч<то> знаю, а для того, чтобы знать».

Сергей Эфрон занят большими вопросами. 23 мая 1927-го пишет сестре Лиле:

Париж и весь Запад только и говорят в эти дни, что о предстоящем разрыве между Англией и СССР. Большая часть эмиграции радуется, а я и мой круг людей переживаем это, как и подобает русским — с болью и волнением. Англия приступила к последовательному и страшному натиску на Россию. Самое гадкое, что к этому грозному для России делу готовы примазаться многие русские группы. Утешаю себя тем, что вчерашний день никогда не побеждает завтрашнего. Напиши, как переживаются у вас (вернее — у нас) в Москве эти события.

Вторая злоба парижского дня — перелет через океан Линдберга[157]. Вчера вечером было всеобщее ликованье. Смелого летчика обезумевшая от восторга толпа чуть не растерзала. Его имя сейчас — самое популярное в Европе. Но все это, конечно, ты уже знаешь из газет.

Скоро выходит 3 № моего журнала «Версты». Видела ли ты хотя бы один из них? Наверное нет. Обидно.

У-у-жасно трудно тебе писать. Главное в письмо не вкладывается. Ответь немедленно. <…>

Не удивляйся моей старой орфографии — лень переучиваться.

Евразийские дела происходят в заданном режиме. Проходят обеды евразийцев и мероприятия их противников. 6 июня МЦ сидит на лекции Ильина «Евразийство как знак времени», вспоминая стихи Рильке «Ueber der wunderlichen Stadt der Zeit»[158] и свои собственные:

Ибо мимо родилась
Времени! Вотще и всуе
Ратуешь. Калиф на час —
Время! — я тебя миную.

(«Хвала Времени»)

Припоминается и Кузмин — «От тоски хожу я на базары: что мне до них!..». Слушая лектора, она пишет на коленке обо всем этом Льву Шестову, заключая письмецо: «Да! А Вы не можете меня звать просто — Марина?»

А в принципе, главное — 24 июня 1927 года она кончила

«Поэму воздуха»: отклик на событие Линдберга. Саломее МЦ сообщает: «Никому не нравится». Язык поэмы сжат, спрессован, воздуха между словами мало. Вся вещь выстроена на убыстрении ритма, в соответствии с полетом летательного аппарата, внутри которого помещен автогерой. Здесь не один воздух — их, воздухов, как минимум семь, семь небес. Весь универсум, набитый историей человечества с набором выборочных имен и персонажей, без уточнений и развития их функций. Связь между ними регулируется исключительно звуком. Разве что сделан мимолетный акцент — две строки — на Линдберге и его матери, беспокоящейся о сыне. Автогерой достигает невесомости, благодаря творца (со строчной):

Слава тебе, допустившего бреши:
Больше не вешу.
Слава тебе, обвалившего крышу:
Больше не слышу.
Солнцепричастная, больше не щурюсь.
Дух: не дышу уж!
Твердое тело есть мертвое тело.
Оттяготела.

Все это — курс воздухоплавания («Смерть, где всё с азов, / Заново…»), головокружительный набор высоты, этапы пути — землеизлучение, землеотпущение, землеотлучение, наконец землеотсечение: «Кончен воздух. Твердь».

Музыка надсадная!
Вздох, всегда вотще!
Кончено! Отстрадано
В газовом мешке
Воздуха. Без компаса
Ввысь! Дитя — в отца!
Час, когда потомственность
Ска — зы — ва — ется.

Речь не о рае — царстве душ, как это было в «Новогоднем». В конце «Поэмы воздуха» возникает что-то вроде космического корабля — храм. Храм, летя, нагоняет собственный шпиль, собственный смысл, и что важно — это храм готический. Что будет дальше — неизвестно. Человек стремится рационально постичь, вычислить механизм бытия. Русский вопрос о смысле жизни? Или о его отсутствии. Когда-то в статье-манифесте «Утро

акмеизма» Мандельштам писал: «Хорошая стрела готической колокольни — злая, потому что весь ее смысл — уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто».

Одновременно с Линдбергом через Атлантику в противоположную сторону, в Америку, полетели два французских летчика — Ненжессер и Колли, но погибли. Парность гибельна, Линдберг — победа одиночества.

Вскоре Пастернак с восторгом опишет ей свой первый воздушный полет, а МЦ расскажет ему, как этим летом в парке Трианон они с Сергеем и Верой Сувчинской наблюдали катастрофу очередного авиона.

Читателей не так уж и много, языковая среда — совсем другая, кое-что из русских произведений переводится и для французов. Стихи МЦ трудны сами по себе, для перевода тем более, но именно стихи собирается переводить Петр Сувчинский, а ей бы хотелось — прозу. Однако ее прозу Сувчинский не терпит, точно так же, как и Святополк-Мирский, который переводит «Поэму Горы» для солидного журнала «Commerce». При всей натянутости отношений она считала Святополк-Мирского отличным переводчиком. Он собирался даже перевести «Детство Люверс» Пастернака, однако перевод не был закончен.

Но стихи ведь не кормят, скудный заработок, с них не разживешься. Она подбивает Льва Шестова, чтобы тот направил Сувчинского на перевод свежей работы — «Твоя память», уже принятой «Nouvelle Revue Française»[159], но которую бы, ввиду гонорара, желательно поместить в «Commerce». Шестов уже читал «Твою память», признал и одобрил. «Нужно С<ув>чинского зарядить — либо именем Рильке, либо любимостью его французами, либо самой вещью, либо вопросом гонорара, — не знаю что для такого эстета действительнее». Сувчинский и Святополк-Мирский до того не выносят ее прозы, особенно Святополк-Мирский, что, даже не показав им, как редакторам «Верст», она отдала прозу о Рильке в «Волю России». Что же касается современной французской поэзии, она знала только одно имя — Поль Элюар еще в 1917 году прислал ей свою книжку «Долг и тревога», а ныне она увидела несколько его книжек, чудесно оформленных, и, похоже, дизайн ей понравился больше стихов. Впрочем, самое имя — Поль Элюар — она ни разу не назвала. Он был женат тогда на гимназической подруге Аси Цветаевой Гале Дьяконовой и состоял в компартии Франции.

Сергей Эфрон пишет очередное письмо Лиле (30 июня 1927-го):

Дорогая моя Лиленька, после пятимесячного перерыва —

письмо твое, растравительное — о болезни, пенсии, тяжелой жизни. Я как никто, наверное, понимаю твое самочувствие (одиночество больного), ибо последние годы, несмотря на то, что живу наверное раз в сто лучше тебя, всегда испытывал какую-то чрезмерную усталость от малейшего самопроявления. Все всегда через силу, как после тифа, или вернее до тифа — скрытое недомогание. <…>

Сейчас сижу один в своей комнате — Марина, Аля и Мур (так зовется Георгий) ушли на обычную прогулку в парк. Очаровательнее мальчика, чем наш Мур, не видел. Живой, как ртуть — ласковый, с милым лукавством, в белых кудряшках и с большими синими глазами. Всегда в синяках и в ссадинах — усмотреть невозможно. И сейчас ушел на прогулку с двумя повязками — одна на руке (схватил подставку от утюга), другая на колене — расшиб об камни. И так постоянно.

Утром ездил наниматься в кино на съемку. Через неделю опять буду сниматься с прыганьем в воду, в Сену. Презреннейший из моих заработков, но самый легкий и самый выгодный. И большие и маленькие кинематографические актеры — человеческие отрепья — проституция лучше. По всей вероятности буду еще сниматься в Jeanne d'Arc[160]. Иду завтра на переговоры. За одну съемку я получаю больше, чем за неделю уроков.

Из русских общаюсь оч<ень> мало с кем. Моя группа, о к<отор>ой я тебе писал в прошлый раз, окружена стеной ненависти. Я к этому так привык, что перестал чувствовать обычное в таких случаях стеснение. Но зато те с кем я общаюсь — люди такого дара и такого творчества, что заслоняют собою все шипение и всю злобу, на нас направленную. Когда-нибудь увидишь и услышишь их.

Недавно был на вечере 6 русских писателей — Слонимского, Лидина, Триолэ, Эренбурга, Форш и еще кого-то. Впечатление оч<ень> печальное. Пожалуй литературно сильнее других был Эренбург, но вещь гнилая, как гнил и сам автор. Форш читала пустячки а 1а Зощенко, Лидин преподнес пошлятину в духе Л. Андреева, а Слонимский какую-то тенденциозную манную кашу.

В первый раз (не обижайся — я к театру совсем равнодушен) был во франц<узском> театре, на «лучшей постановке» сезона. Называется вещь Майя[161]. Черт знает что. Как спектакль — нечто похожее на 1-ую Студию Худ<ожественного> театра времен до-революционных (Майя идет тоже в Студии Театра Елисейских Полей). Сама вещь — розовая вода с претензией на философию. С трудом досидел до конца, хотя актеры старались, что называется, во всю. <…>

Видела ли перед отъездом Макса? Каков он? Боюсь, что сейчас он должен казаться жалким. У него нет зацепок ни за сегодняшний день, ни за завтрашний. Последние стихи его — ужасны. Но в Коктебель мне все-таки хочется. В Россию въеду через Коктебель.

Думала ли МЦ въехать в Россию? В Париже тошно, но… Евразийство — не тот клей, что слепил бы супружескую пару в нечто единое, как положено по библейской заповеди. Внутреннее состояние Марины — *после России.* Она отправила Пастернаку рукопись готовящейся книги «После России». 19 июня 1927-го он сообщил ей о том, что ее сестра Ася списалась с Горьким и тот зовет ее к себе, пообещав исхлопотать необходимые документы и оплатить все расходы. Поэмы МЦ ходят в списках по Москве. «Но с какой верой смотрю я на будущее! Как люблю и знаю твою книгу», — замечает Пастернак (10 июля). 15 июля она пишет ему:

> Мой родной, ты наверное переоцениваешь мою книгу стихов. Только и цены в н<ей>, что тос<ка>. Даю ее как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти. То, что можешь — не должно делать. Вот и все. Там я все могу. Лирика (смеюсь, — точно поэмы не лирика! Но условимся, что лирика — отдельные стихи) служила мне верой и правдой, спасая меня, вывозя меня, топя меня и заводя каждый час по-своему, по-мóему.

Он уже пишет «Спекторского» — роман в стихах, объясняя эту работу необходимостью «зарабатывать из недели в неделю». Через десять дней, получив от него информацию о том, что Мирский прислал ему напечатанную в журнале «Mercury» свою статью «The Present State of Russian Letters»[162], где «много верного сказано о тебе и мне», МЦ ответила:

> Статьи Мирского не читала; не только не прислал, но не упомянул, из чего ничего не вывожу, п<отому> ч<то> о нем вот уже год как не думаю — никогда, все, что я тебе скажу о нем, неубедительно, п<отому> ч<то> познается *общением.* <…>
>
> <…>…его приятель (Сувчинский. — *И. Ф.),* тоже дефективный, но (с уклоном в сторону сердца) душевно-сердечно, тогда как Мирский душевно-душевно, просто (о Мирском) ничего: ни дерева, ни лица, ни — непосредственно, не через литературу не чувствует и от этого страдает. А тот (третий редактор Верст) все

чувствует, ничего не хочет чувствовать и от этого *не* страдает.

Третий редактор — С. Я. Эфрон, автор единственной в собственном журнале статьи — «Социальная база русской литературы».

> Борис, я соскучилась [по русской природе], по лопухам, которых здесь нет, по не-плющóвому лесу, по себе в той тоске. Если бы можно было родиться заново, я бы родилась 100 лет назад — в Воронежской глушайшей губернии — чтобы ты был мой сосед по имению. Чудачек было немало и тогда — как и чудаков. Сошла бы. Сошли бы.
>
> *Перенеся двухдневную разлуку,*
> *К нам едет гость вдоль нивы золотой,*
> *Целует бабушке в гостиной руку*
> *И губы мне — на лестнице крутой*[163].

> У меня была бы собака (квартира, даже птиц, даже цветов на окнах нельзя!) <*над строкой:* пункт контракта> своя лошадь, розовые платья, нянька, наперсницы… Помещичий дом 150 лет назад ведь точь-в-точь — дворец Царя Тезея. Только там и быть Кормилицам и Федрам. А Ипполит — стрелок!..

Лето проходит сухо, бесцветно. Но 30 июля МЦ отметила — именины. «Я получила: мундштук в футляре (Сувчинский), роговые очки, как у всех белокурых англичанок (его жена), розовое платье с цветами (приятель), розовую рубашку (приятельница), всё письменное (С<ережа>) и фартук (Аля). И еще розы. Борис, я в первый раз, взрослая, праздновала свои именины — и так эфф<ективно>».

А в основном — работа. МЦ пишет вторую часть драматической трилогии — «Федру», III картину. В черновике — самокомментарий: «Заметила одно, от меня ничего не зависит. Всё — дело ритма, в который я попаду. Мои стихи несет ритм, как мои слова — голос — <*нрзб.*> в котор<ый> попадаю. <…> Кроме того, сейчас у меня явн<ое> подч<инение> смысловому, не только из-за сюжетного действия, просто — отсутствие непосредственного притока, отсутствие человека в моей жизни, явный перевес себя, головы. В Поэме Воздуха я, думается, на волоске <*оборвано*>»

Ася поехала в Сорренто к Максиму Горькому. К их предварительной переписке Асю привел ее друг Борис Зубакин, гипнотический человек с лицом Шекспира, масон, профессор археологии и немного поэт, пользовавшийся расположением Горького и сам с ним переписывавшийся. К приезду Аси Зубакин уже гостил у Горького. Вдвоем они устроились в маленьком отеле «Минерва» напротив большой виллы Сорито, где Горький занимал второй и третий этажи с мраморными полами. Своей виллы у него не было.

В начале августа МЦ отправила Горькому благодарственное — за Асю — письмо, присовокупив «Стихи к Блоку» и «Разлуку», с обещанием прислать всего «Крысолова», распечатанного по нескольким номерам «Воли России». Четыре года назад в Праге Ходасевич и Горький жили в отеле «Беранек», Ходасевич предлагал ей познакомить ее с Горьким — МЦ, однако, отказалась. Теперь она пишет ему:

> Если Ася будет Вас раздражать — не сердитесь, стерпите. <…> Она — предельно добра. <…>
>
> Кстати, одно из первых моих детских, младенческих воспоминаний — слово «Мальва»[164] — то ли наша, осенняя, на клумбе в Тарусе, то ли Ваша, из уст матери, тогда совсем молодой. Еще одно: мать однажды, возвращаясь с концерта Гофмана, привела домой собаку, увязавшуюся за ней, желтую — и вопреки отцу и прислуге поселила ее у нас в доме. Назвала Челкаш. Через три дня собака ушла. Мы плакали, я — пуще всех. Вот Горький моего детства. О позднейшем, вплоть до пражского у Ходасевича, — расскажу потом. При встрече? — Спасибо за пожелание ее.

Это письмо к нему по каким-то причинам не дошло.

Ася в Москве была помощником библиотекаря Музея отца. Ее поездка к Горькому была оформлена как двухмесячная командировка для привоза в Музей проспектов и каталогов музеев Италии. Ей помогала с устройством поездки, по старой ялтинской памяти 1905 года, Екатерина Павловна Пешкова, нынче влиятельное лицо во властных структурах.

МЦ обратилась к Саломее за помощью в получении французской визы. От Аси последнее письмо пришло из Венеции, и в это время, очевидно, она уже была в Сорренто.

…МЦ приснился замечательный сон, о котором она поведала Марку Слониму: «Забыла на базаре два яйца… иду за ними… церковь… старичок громко, по русски, читает молитву…

Автомобиль. Боюсь. Подхожу к какому-то чужому молодому человеку: «Боюсь. Переведите меня»… Подходит военный царского времени, молодой, наглый, румяное лицо с усиками, красивый <нрзб.>… и сама церковь только что была базаром… Ваша фамилия? — Полковник Бунин».

В эти дни МЦ вычитывает корректуру книги «После России» и надеется поехать на вандейское побережье, в Бретань — на Океан — в начале сентября. А 2 сентября 1927-го ожидается и происходит приезд Аси — визу удалось достать через Бриса Парена, члена редколлегии журнала «Nouvelle Revue Française», секретаря издательства «Gallimard». МЦ чуть было сама не попала в Сорренто — Горький предлагал это Асе, но тогда бы она не увидела ни Сережи, ни Мура, которого не видела никогда. Асю на парижском вокзале встретил Сергей, дома начались долгие разговоры, были выезд в Версаль и посещение Лувра.

Но тут заболел Мур. Диагноз между корью и краснухой — во всяком случае сильный жар и сыпь. Не сразу выяснится, что это. Оказалось — скарлатина. 18 сентября заболела, заразившись от него, МЦ, 19-го — Аля. Сергей не заболел.

У МЦ постельный режим. Она болеет и душой. Грустно на земле. 14 сентября погибла Айседора Дункан, задушенная собственным длинным шарфом, который затянуло в колесо отъезжающего с ней автомобиля. МЦ ощутила нечто подобное относительно себя во всех смыслах. 2 октября 1927-го пишет Пастернаку: «Р<ильке> как цель уклонился. С тобой? Но встреча с тобой так *обречена,* что заранее воля руки опускает. Человеку в колодках на один миг в окно показал<и> море. <…>…Бог его знает, какой вырастет (Мур. — *И. Ф.).* И что я ему дам, при моей всяческой несостоятельности: ни уверенности, ни денег, только безумный страх автомобилей и людей. Чему я могу научить? Любить людей? Ненавижу, не чувствую религиозной, моральной, умственной <*оборвано*>».

На Океан они, конечно же, не уехали. Тяжелее всех болела МЦ, у Али даже сыпи не было, только несколько дней поболело горло. МЦ целую неделю не могла спать из-за безумной боли рук, ног и шеи. Голову пришлось побрить, причем семь раз. Начиная с третьего раза — нарочно, в надежде на «завив», как это случилось у нее в юности.

Пока болела, появилась большая мечта — о вечере в Праге. Чтобы окупить проезд туда и обратно, необходимо заработать минимум тысячу крон. Приехала бы в январе — феврале на две недели, остановилась бы у Тесковой. Для этого нужно было бы продать 200 билетов по 5 крон или 100 билетов по 10 крон. Неужели же это невозможно? В устройстве помогли бы Брей,

Альтшулер и Еленев. Детская болезнь, скарлатина, лишний раз подтвердила, что Марина — ребенок, даже не очень большой. Но мысли у нее недетские:

> Борис, был спор о церкви, и я была беззащитна, п<отому> ч<то> за мной никого не было, даже моей собственной тоски по ней. Была моя пустота, беспредм<етность>: постыдная и явная. Вместо Бога — боги, да еще полубоги, и что ни день — разные, вместо явн<ого> святого С<ебастьяна> — какие-то Ипполиты и Тезей, вместо одного — множество, какой-то рой грустных бесов. О, я давно у себя на подозрении, и если меня что-нибудь утеш<ает>, то это — *сила* всего этого во мне. Точно меня заселили. Борис, я ведь знаю, что совесть больше, чем честь, и я от совести отворачиваюсь. Я ведь знаю, что Евангелие — больше всего, а на сон грядущий читаю про золотой дождь Зевеса и пр. Я читала Евангелие и могу писать Федру, где всё дело в любви женщины к юноше. Если бы я *то* оспаривала, нет я знаю, что больше и выше нет, а все-таки не живу им.

Поскольку первое письмо Горькому по какой-то причине не попало к адресату, 8 октября 1927-го МЦ пишет второе: «Ася должна была передать Вам Царь-Девицу, других книг у меня не было, но скоро выходит моя книга стихов «После России», т. е. все лирические стихи, написанные здесь, — вышлю. Если бы Вы каким-нибудь образом могли устроить ее доступ в Россию, было бы чудно (политики в ней никакой) — вещь вернулась бы в свое лоно. Здесь она никому не нужна, а в России меня еще помнят». Дальше, рассказывая Горькому о Гёльдерлине, она замечает: «Мой любимый поэт». Ася передала Горькому «Царь-Девицу», надписанную так: «Дорогому Алексею Максимовичу с благодарностью за Асю. *Марина Цветаева. Медон, сентябрь 1927 г.*».

Гостевание Аси и Зубакина у Горького не задалось. Хозяину дома, поначалу гостеприимно добродушному, на каком-то повороте резко не понравились ни их речи, ни их поведение, отдающие ненавистной ему декадентщиной. Зубакин, который до того был для Горького «изумительным человечищем», на Капри вел себя нервически и одновременно театрально-мистически, в роли гуру по отношению к Асе, и не только к ней, социально-политических интересов Горького не поддерживал и оспаривал их, притязал на поэтическое титло. Горькому, похоже, не нравилось и модернистское сочинительство Аси, много ему читавшей своего, и совершенно определенно — авангардные

сочинения ее сестры, о которых он вскоре напишет Пастернаку: «Талант ее мне кажется крикливым, даже — истерическим, и ею, как А. Белым, владеет слово. Она слабо знает русский язык и обращается с ним бесчеловечно, всячески искажая его». Пастернак в ответ вступился за названных поэтов, чему не помешало искреннее почитание им действительно грандиозной личности писателя («чистейшее и крупнейшее *оправданье* эпохи»). Горький очень ценил «Детство Люверс» и абсолютно не понимал стихов Пастернака. Тем не менее Горький вызовется помочь МЦ материально, и Ася, во избежание прямого контакта Горького с МЦ, придумает план доставки ей горьковских денег якобы от имени Бориса. Произошла путаница и несуразность вплоть до предложения Горького Пастернаку прекратить переписку, но в результате 11 октября 1927-го МЦ отблагодарит Леонида Осиповича Пастернака сердечным письмецом: «С благодарностью уведомляю Вас, что сумму в 1300 франков получила, и сожалею, что невольно доставила Вам столько хлопот».

Общение сестер тоже не вполне получилось. Асе не пришлась по вкусу «Поэма воздуха», она — выслушав — просто не поняла ее, и МЦ в объяснение сочинения напустила туману: «Знаешь, я попыталась описать, что бывает со мной, когда я после черного кофе — засыпаю… Точно куда-то лечу, — это еще не сон, — трудно объяснить словами…»

В их разговорах преобладающе маячит фигура Горького — почему-то в сопровождении тени их матери Марии Александровны, которой, разумеется, нравилось творчество Горького, но не настолько, чтобы возводить мнение рядовой читательницы в основу отношений с гигантом пролетарской литературы.

Ася пробыла в Мёдоне две недели. Отказавшись от сестринского предложения побывать на берегу Океана, она возвращалась в Сорренто. Ее провожали Эфрон и Родзевич, который в последнюю минуту привез записку от МЦ: «Милая Ася, когда вы ушли, я долго стояла у окна. Все ждала, что еще увижу Тебя, на повороте, — вы должны были там мелькнуть. Но вы, верно, пошли другой дорогой!.. Бродила по дому, проливая скудные старческие слезы… *Твоя М, Ц.».*

В общем, Ася уехала. Больше они не виделись.

МЦ вернулась к работе над пьесой «Федра». Нагрузка последних месяцев — дело привычки. МЦ позволяет себе шутить в общении с Пастернаком: «Когда тебя сошлют в Сибирь, а меня — лечиться в Египет, мы окончательно сойдемся».

В середине октября Борис Пастернак получит письмо от… Константина Родзевича. Лично они знакомы не были — лишь

посредством «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца».

13 октября 1927 г.

Глубокоуважаемый Борис Леонидович!

Пишу Вам по поручению Марины Ивановны. Собственным письмом она не хочет нарушать запретную черту карантина, который продлится у нее вероятно числа до 20–25 октября.

Вот что М<арина> И<вановна> просила Вам передать:

1. «1905 г.» дошел, много раз перечитан, превзошел все ожидания. Если бы на него было убито 5 лет — и то бы стоило.

2. Другая посылка тоже дошла. За нее — благодарность. Об этом речь впереди.

3. Вам пишется длинное письмо — пока в тетрадку, после дезинфекции перепишется и пошлется.

4. Из Сорренто получите книгу «После России», к<отор>ая выходит на днях[165].

5. Все письма получены.

6. Здоровье детей и М<арины> И<вановны> — хорошо.

М<арина> И<вановна> — обрилась (подтверждаю это свидетельским показанием — вместо «русых кудрей» — голый череп с обострившимися очертаниями ушей. Что-то напоминающее одновременно и сатира и древнего египтянина).

Простите, что мое письмо похоже на протокол: это от желания по возможности точно передать слова М<арины>И<вановны>.

Наш короткий разговор мы вели на расстоянии, с соблюдением карантинных предосторожностей. Моя бумага — медицински чиста!

Пользуюсь случаем, чтобы со своей стороны (как один из Ваших читателей) выразить Вам признательность за Ваши последние стихи. Я из тех, кто видел и помнит 1905 г. — Вы воссоздали его живым и правдивым. И люди, и речи, и чувства, и даже погода тех дней — настоящие!

К сожалению Ваш «1905 г.» (таким он будет жить!) знаком мне только по отрывкам, печатавшимся в журналах. Жду возможности перечесть все — полностью.

Искренне Ваш

Константин Родзевич

В десятых числах октября МЦ встала после болезни, стала жадно двигаться. Ее тянуло в холмы и в лес, но в лесу по будням буйствует хулиганье, а по праздникам шумят народные гулянья. 19 октября она сдала последнюю корректуру книги «После России». Из 153 страниц текста — 133 страницы падают на Прагу.

159 стихотворений расположены в двух разделах — «Тетрадка первая» (берлинские и чешские стихи) и «Тетрадь вторая» (чешские годы). В Чехии написаны, кроме «После России», — «Мóлодец», «Тезей», «Крысолов», «Поэма Горы», «Поэма Конца» и первая проза.

Во враждебной периодике («Возрождение», «Россия», «Дни») безостановочно поливают евразийцев обвинениями в получении огромных сумм от большевиков. Затеял это дело В. Я. Бурцев статьей «В сетях Г. П. У» (Иллюстрированная Россия. 1927. № 41. 8 октября). О советских агентах говорили во всеуслышание после разоблачения весной этого года провокаторской организации «Трест», сконструированной в СССР чекистами.

Сильно разбогатели — Сергей Эфрон вынужден подрабатывать в кинематографе на эпизодических ролях и в массовке, с 6 часов утра до 8 часов вечера. Фигурантам платят 40 франков в день, из которых у Сергея 5 франков уходят на дорогу и 7 франков на обед, итого, 28 франков в день. Таковых дней — два в неделю. 9 ноября Сергей пишет в Москву:

Дорогая Лиленька,

Бесконечно тронут Вериной присылкой (халва, икра, игрушки) — она растравительна. Мне ничего не нужно присылать — ведь я знаю, как вы живете. Особенно икра не лезет в рот. Была ли у тебя Ася? Посылаю тебе две Муриных карточки и одну свою. Только боюсь — не дойдут они.

Как Верин адрес и можно ли ей писать?

О себе писать почти нечего. Все это время снимался в кино — вставал в 5, приходил в 8. А вечером еще уроки. Теперь съемки кончились — ищу новых.

Как здоровье твое? М<арина> ходит бритая. Аля начала ходить в рисовальную школу и я вспоминаю, глядя на нее, свое детство — Арбат, Юона[166]. Но она раз в десять способнее меня.

Читала ли «5-ый год» Пастернака? Прекрасная вещь — особенно вступление. Только мало кто поймет ее — и у нас и у вас.

Самое хорошее в этом письме — поступление Али на учебу. Она учится композиции и русскому орнаменту у И. Билибина, декоративному рисованию у М. Добужинского.

МЦ узнаёт от Пастернака, что поэт Николай Асеев собирается в Сорренто и там намерен прочесть Горькому «Поэму Конца» и «Крысолова». Пастернак явно добивается — через Асеева — признания Горьким творчества МЦ. Кроме того, Асеев хочет говорить о ней в годовом отчете о русской поэзии. 19 ноября МЦ

комментирует эти новости:

Асеев чужой. Что — еще раз поднимать эту глыбу чужести, еще эту гору волочь? Зачем? Хороший поэт? Есть книги! Душа? (предпол<ожим>) — В Царствии небесном все встретимся.

Его приезд мне как весть от тебя, вторая живая. Радуюсь очень. Он не будет в Париже? Пусть Горький (УСТРОЙ, и Асе скажи, и Асееву!) позовет меня в Сорренто, *приеду,* во имя тебя. Он мне расскажет о тебе и о России, для меня равнозначущих. Дай эту мысль и ему и Горькому, визу мне получить будет нетрудно, есть связи. Поехала бы на 2 недели, вела бы себя ЧУДНО, т. е. свято дала бы себе слово не раскрывать рта. <…> Борис, моя тоска по России растет. Недавно напала на свою брошенную вещь «Егорушка», Багрова-внука, Асиных рассказов, некоторых твоих писем, всё это зовет.

Начало декабря 1927-го — МЦ кончила «Федру». Писала ее около полугода, по полчаса — час в день. Вещь очень большая, больше «Тезея». МЦ думает сдать ее в «Современные записки». Сидит, доводит ее до конца, занята общей чисткой и выправкой, много недавшихся мест. Пишет Тесковой: «Держит меня на поверхности воды конечно тетрадь». Не отпускает мысль о новом вечере. О вечере — в Праге. Не привлечь ли к устройству вечера В. Ф. Булгакова? Он очень деятельный. И хороший друг. Если захочет — сможет.

На Рождество Аля и Мур слегли то ли с ангиной, то ли с гриппом, во всяком случае жар и кашель. МЦ и сама никуда не выходит, стесняясь бритой головы, к тому же внезапно покрывшейся нарывами. Рассылаются поздравления с Новым годом Саломее, Тесковой и Булгакову. Отдельно МЦ 30 декабря 1927-го пишет Пастернаку:

> С Новым Годом, дорогой Борис, пишу тебе почти в канун, завтра не смогу, п<отому> ч<то> евразийская встреча Нового Года происходит у нас, следовательно — Вчера — годовщина дня смерти Рильке, а сегодня мне с утра — впрочем успела еще на рынок — пришлось ехать в госпиталь — резать голову. Теперь буду жаловаться: подумай, Борис, моя чудная чистая голова, семижды бритая, две луны отраставшая — пушистая, приятная и т. д. — и вдруг — нарыв за нарывом, живого места нет. Терпела 2 с лишним недели, ходила в кротости Иова, но в конце концов стало невтерпеж, — 10 или 12 очагов сгуст<ившейся> боли. Лечебница на краю света, ехала,

одним Парижем, час, ждала два, в итоге — не прививка, на которую не имею возможности, ибо 10 дней леж<ать> чуть ли не в 40-градусном жару — а буйно и внезапно взрезанная голова. Ехала домой как раненый, совсем особое чувство бинта — рамы бинта, что-то от летчика и от летчика и от рекрута, во всяком случае *лестно.* Так, мужское во мне было удовлетворено. <…> Что еще? Новый Год евразийский, дружественный, но не мой. Мой — твой.

Новый, 1928 год встречали дома. Собрались евразийцы, всем было по возможности весело и спокойно. Больше всех радовалась Аля — она получила в подарок купленное на деньги из Чехии от Анны Антоновны Тесковой чудное серебряное кольцо с камеей, изображающей амура, похожего на Мура. Сам же Мур — столик от Тесковой же. Рождество устроили тоже дома — много гостей, в том числе близкие соседи Родзевичи — Константин Болеславович и Муна. МЦ ходит с ними в кинематограф, с Муной — по магазинам, где МЦ берет подарки своим, а Муна — ему, герою «Поэмы Конца». Каждому свое.

Аля посещает занятия в школе рисования три раза в неделю, для МЦ это означает сокращение ее работы на этот срок: с одиннадцати угра до шести вечера все отдается Муру. Досаждает и неприятность *с* головой, лечение дрожжами, — три недели мучений.

Одно утешает — Аля способна к рисованию и старается. Вскоре МЦ озаботится переводом Али в Художественную школу-мастерскую Василия Шухаева, поскольку нынешняя школа рисования — «pour dames et demoiselles»[167], ерунда, жалко времени, и перевод состоится.

МЦ не оставила мысль о вечере в Праге. «Неужели не наскребем тысячи крон?» — вопрос к Тесковой.

Десятого января профессор Николай Николаевич Алексеев прочел доклад «Идеократия и евразийский отбор» на заседании парижской группы евразийцев в зале Географического общества на бульваре Сен-Жермен, 184. Алексеев — философ-правовед, заведовал литературной частью отдела пропаганды Добровольческой армии. На следующий день Марк Слоним прочел доклад о молодых писателях за рубежом, устроенный редакцией «Воли России» в «Таверне Дюмениль» на бульваре Монпарнас, 73. В журнале печатались многие молодые писатели русской эмиграции — Г. Газданов, Б. Поплавский, В. Сосинский, А. Ладинский. «Где он их видел??» — вопрос МЦ к Саломее.

МЦ, можно сказать, зачастила на доклады. Пастернаку сетует

в письме 1 февраля 1928-го: «Из-за тебя я в первый раз выслушала 1 1/2-часовой доклад о формальном методе, из которого впервые узнала об Опоязе и несбывшемся каком-то Емельке (МЛК), несколько хороших мыслей Шкловского (наследие по линии дяди — племянник: из которого след<овало> что Пушкин наследник не Державина. Я: А кого же? — Не исследовано. Сложный узел и т. д. — «А м<ожет> б<ыть> негрской крови?» — Он не был негром, а *эфиопом)».*

Об ОПОЯЗе — Обществе изучения поэтического языка — докладывал Борис Томашевский. МЛК — Московский лингвистический кружок. МЦ произносит «Емелька»: эМэЛьКа. Это два разных направления формальной школы. Виктор Шкловский трактует появление литературных традиций и школ так:

То, что пишет Пушкин про Державина, не остро и не верно. Некрасов явно не идет от Пушкинской традиции. Среди прозаиков Толстой также явно не происходит ни от Тургенева, ни от Гоголя, а Чехов не идет от Толстого <…> Эти разрывы происходят не потому, что между названными именами есть хронологические промежутки. Нет, дело в том, что наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику <…> В каждую литературную эпоху существует не одна, а несколько литературных школ. Они существуют в литературе одновременно, причем одна из них представляет ее канонизированный гребень. Другие существуют не канонизовано, глухо, как существовала, например, при Пушкине державинская традиция в стихах Кюхельбекера и Грибоедова одновременно с традицией русского водевильного стиха и с рядом других традиций, как, например, чистая традиция авантюрного романа у Булгарина. Пушкинская традиция не продолжалась за ним, т. е. произошло явление того же типа, как отсутствие гениальных и остро даровитых детей у гениев[168].

Не было ничего странного в том, что МЦ охотно пошла на сближение с формалистами. При известной дистанции, по роду занятий они исходно были, как она любила говорить, одной расы, одних корней. Формалистов в первую голову интересовало новое слово в литературе как таковой, они занимались новым словом, а практика МЦ как раз и есть новое слово. Сошлись и по-человечески. Общались, гуляли, разговаривали. С четой Томашевских — Борисом Викторовичем и Раисой Романовной — были на чаепитии у композитора Сергея Прокофьева, создателя нового слова в музыке и очаровательного человека. Там веселая

МЦ, указав на самый изысканный каштановый торт, попросила:

— Дайте мне кусок того… этого… лучшего… Пастернака. Так весь вечер интересный по форме и чудесный по вкусу торт назывался «Пастернаком».

Когда Томашевские уезжали, МЦ попросила передать Пастернаку «привет» в виде портсигара с затейливой застежкой и замечательную зажигалку, которые и будут отправлены Томашевской из Ленинграда в Москву вместе с сообщением о том, как трепетно относится МЦ к поэту и человеку Пастернаку.

Сам Пастернак имел довольно суровое мнение об этой ученой группе: «Вообще формализм есть метод ничегоне-говоренья ниочем».

Первого февраля 1928-го отметили три годика Мура. Через день «Возрождение» дает рецензию на «Версты» № 3, подписанную Н. Дашков (псевдоним Владимира Вейдле): «Два стихотворения («С моря» и «Новогоднее». — *И. Ф.)* этой поэтессы (я намеренно не говорю поэта, потому что стихи эти — именно дамские стихи) помещены в «Верстах». Они крайне расплывчаты, многословны, написаны не только ни о чем, но и ни с чем. Род кликушества выдается в них за вдохновение и случайное привешивание слова к слову за глубокое сталкивание и срастание слов».

Через пару дней МЦ читает «Федру» в Кламаре, у вдовы Леонида Андреева — Анны Ильиничны. Кламар расположен неподалеку, туда легко дойти пешком, там живет немало друзей, среди них Родзевичи. На читку насобирались свои, в том числе Марк Слоним, хвалили.

МЦ размышляла о Федре[169] еще до октября 1923-го (когда началась работа над «Ариадной»), начала писать 1-ю картину «Федры» — «Привал» — 19 сентября 1926-го, закончила в черновом варианте — 2 ноября 1926 года.

Записи МЦ той поры: «NB! Дать Федру, не Медею, вне преступления, дать — безумно любящую молодую женщину, глубоко понятную. NB! Необходимая линия двух матерей: Пасифая (страсть к Минотавру, к чудовищу) и Ипполита (Антиопа) — ненависть к мужчине». В декабре 1927 года был готов первый беловик в пять картин, но от последней картины МЦ отказалась как от еврипидовского финала, где появляется Артемида, объясняет ситуацию и обещает погибшим отмщение и вечную славу.

Картина первая. «Привал». Лес. Ипполит в кругу друзей. Хор юношей славит охоту и Артемиду, а также:

Поёмте. Поёмте

Артемидина друга горнего
Ипполита женоупорного.

Ипполит грустит об умершей матери, которую видел во сне. Друзья стараются его отвлечь. Появляется Федра, порастерявшая в лесу служанок. Просит указать ей дорогу. Обращается к Ипполиту:

Об одном дозволь мне
Знать: что делаешь в мире дольнем?
Ибо — царственные черты!

Ипполит:

Артемиде служу. А ты?
По наречию — чужестранка?

Федра:

Артемиде служу — критянка.

Картина вторая «Дознание». Больная Федра в кругу своих прислужниц, мечется в лихорадке. Кормилица и прислужницы вслух размышляют о причине ее болезни. Кормилица отсылает прислужниц и говорит Федре (на языке Арины Родионовны):

Издали, издавна поведу:
Горькие женщины в вашем роду, —
Так и слава вам будет в будущем!
Пасифая любила чудище.
Разонравился царь, мил зверь.
Дщерь ты ей иль не дщерь?
Материнская зла кровиночка!
Ариадну супруг твой нынешний
Богу продал во время сна.
Ариадне — сестра.

Кормилица вынуждает у Федры признание о ее нелюбви к мужу, а потом — о любви к пасынку, которой потворствует. Федра называет ее сводней, а Кормилица себя — недолюбленной:

Чтоб напиться-мне-наесться —
За двоих греши и нежься.
…..
Лавр-орех-миндаль!
На хорошем деревце
Повеситься не жаль!

Картина третья «Признание». Логово Ипполита. Он и слуга. Слуга рассказывает ему о смерти Антиопы, амазонки, его матери. Ипполит говорит, что он «сын орлицы, а не жены толстозадой». Кормилица приносит письмо от Федры, а потом она появляется сама — в любовном безумии. В ответ на ее признание Ипполит бросает: «Гадина!»

Картина четвертая «Деревце». Кормилица (над телом Федры). Федра повесилась на миртовом дереве. Кормилица собирается очернить Ипполита. Тезей призывает Посейдона покарать сына за попранный очаг и проклинает Ипполита. Хор подруг оплакивает Федру. Вестник оповещает о гибели Ипполита. Тезей продолжает изливать гнев на мертвого сына. Слуга Ипполита приносит разбитую Ипполитом на куски восковую таблицу — письмо Федры. Тезей понимает, что сын невиновен. Кормилица принимает всю вину на себя, на что Тезей отвечает:

Там, где мирт шумит, ее стоном полн,
Возведите им двуединый холм.
Пусть хоть там обовьет — мир бедным им! —
Ипполитову кость — кость Федрина.

Язык и решение коллизии — акцент на Кормилице — были спорными, но у МЦ почти все спорно. Напечатает она эту пьесу в журнале «Современные записки» (1928. № 36–37).

Пастернак прислал МЦ («Оцени и насладись») третий номер «Печати и революции» со статьей Д. Горбова «10 лет литературы за рубежом».

В одном из библиографических указателей эмигрантской художественной литературы отмечается, что на 1924 г. число изданий художественных произведений за рубежом достигло внушительной цифры 1300. Из этого, правда, нужно вычесть 700 переизданий классиков и произведений, опубликованных в России до революции. Но и за этим солидным вычетом остается 600 книг, выражающих литературно-художественную продукцию эмигрантов за первые 6 лет, протекших с момента революции.

Едва ли будет большой ошибкой считать, что к 10-летию Октября это число выросло приблизительно до 1000. <…>

На первом плане — и художественном и общественном — мы видим доминирующих здесь художников-символистов: Мережковского, Гиппиус, Бунина, Зайцева и примыкающих к символизму — Ходасевича, М. Цветаеву, Ф. Степуна (как романиста) и других. <…>

М. Цветаева — поэт большого творческого темперамента. Отсюда громадное богатство ее ритмов, необычайная изобретательность строфики, выразительность образного жеста. Буйное богатство ее художественных средств достигает того уровня, на котором оно затрудняет поверхностное понимание, тем больше наслаждения доставляя взгляду пристальному и внимательному.

В «Поэме Горы» и «Крысолове» энергия ее стиха и собранность творческого внимания в обработке темы достигают редкой силы. Здесь от кустарной растрепанности и женской истерики более ранних стихов Цветаевой нет следа. Пределы специфически-женской лирики, в которых она целиком замкнута в своей стихотворной драме «Фортуна», здесь преодолены.

Но, развиваясь как поэт, М. Цветаева как человек не растет. И в последних, лучших своих вещах остается она художником малой мысли. Между тем, как отделить эти два понятия «человек» и «поэт», если только мы хотим говорить о поэте не только как о словесных дел мастере? Как человек малой мысли Цветаева прошла мимо большой темы и, в сущности, разменяла свое дарование на мелочи. Мы не говорим о ее «Фортуне»: пьеса эта — о герцоге Лозене, любимце аристократок, накануне Великой французской революции, воплотившем в себе все очарование сходящего со сцены века пудреных париков и гибнущем на гильотине — могла бы быть с успехом поставлена в каком-нибудь предреволюционном московском кабаре, вроде «Летучей мыши». В приготовлении этой эстетической конфеты М. Цветаева проявила больше специфически-дамского вкуса, чем строгой требовательности художника. Но и в лучших ее вещах — «Крысолове», «Поэме Горы» — контраст между богатством художественных средств, мобилизованных автором, и незначительностью темы разителен. <…>

Под каким же углом зрения подает нам свой материал М. Цветаева, — любовный сюжет в «Поэме Горы», сюжет о таинственных чарах искусства в «Крысолове»? Речь в обеих вещах идет, видите ли, о мещанстве, противостоящем каменной стеной вольной страсти артиста и любовника. <…>

В «Поэме Горы» поэтесса с ужасом думает о том, что гора, на

которой протекали ее счастливые дни с тем, кого она любит, будет застроена дачами, и храм свободного чувства превратится в город мужей и жен. <…>

Мы можем пренебречь политическими взглядами М. Цветаевой. Контрреволюционность их не слишком нас интересует. В чем бы ни выражалась она (в мемуарных ли сплетнях Цветаевой о большевиках, или в наивной выходке в «Крысолове», где большевики отождествлены с теми самыми крысами, которые подобрались к мещанским амбарам, а затем были потоплены при помощи флейты), контрреволюционность эта, пользуясь не совсем почтительным, но зато довольно метким комсомольским выражением, — сплошная «буза». Это дамская, даже институтская контрреволюционность, обидчивая, путаная, нервная. Оспаривать ее затруднительно и тщетно. Здесь лучше всего следовать мудрому правилу салонного этикета, которое гласит, что «с дамами не спорят». Не видя другого выхода, решаемся в данном случае воспользоваться этим буржуазным наследием. <…>

Если Ремизов и Цветаева имеют отношение к возрождению русской литературы, то именно в смысле техническом: их работа над словом, конечно, не пройдет бесследно. В том буйном поступательном движении, которое наблюдается в нашей литературе, переживающей подлинное возрождение, конечно, будет использован и используется и их опыт. При всем том, основное русло русской литературы, воспитанной Октябрем, пойдет по руслу реализма. Обновительные опыты над словом найдут плодотворное применение лишь в том случае, если они будут рассматриваться как нечто подсобное к развитию последнего.

Ну что ж, для партийного публициста весьма — и даже неожиданно — неглупо и чуть ли не амбивалентно. «Кое в чем упреки — мне — правильны, но не так направлены. Я бы упрекнула себя лучше». Ходасевич — под именем Гулливер — в своей «Литературной летописи» (Возрождение. 1928. 9 февраля) не преминул съязвить в адрес Горбова: «Он — правоверный коммунист (из недавних), а потому его выводы и оценки известны заранее, ибо декретированы сверху. <…> Есть, однако, два писателя, для которых не все еще потеряно. Это Ремизов и Цветаева, «поэт большого творческого темперамента», но «малой мысли».

В позапрошлом — 1926 году — Леонид Осипович Пастернак по памяти написал портрет Рильке. Этот портрет он показал на своей первой персональной выставке за границей — в конце

прошлого года в Берлине, в частном салоне В. Хартберга; выставка прошла с успехом, превзошедшим ожидания художника как в моральном, так и в материальном плане. Не зная о том портрете, 5 февраля 1928-го МЦ пишет Л. О. Пастернаку: «Были бы деньги, села бы в поезд и приехала к Вам (Вам и маме Бориса) в Берлин, посетила бы Вашу выставку, послушала бы о Вашей молодости и о Борисином детстве, я люблю слушать, прирожденный слушатель — только не лекций и не докладов, на них сплю. Вы бы меня оба полюбили, знаю, потому что я вас обоих уже люблю. <…> — Дорогой Леонид Осипович, когда освободитесь, — запишите Рильке! Вы ведь помните его молодым».

Она испытывает постоянную потребность в жалобе. 4 марта — Пастернаку: «С 1925 г. ни одной строки стихов. Борис, я иссякаю: не как поэт, а как человек, любви источник. Поэт мне будет служить до последнего вздоха, живой на службе мертвого, о, поэт не выдаст, а накричит и наплачет, *но я-то буду знать.* Просто: такая жизнь не по мне. <…> А — с чего мне сейчас писать? Я никого не люблю, мне ни от кого не больно, я никого не жду, я влезаю в новое пальто и стою перед зеркалом с серьезной мыслью о том, что опять широко. Я смотрю на рост своих волос и радуюсь гущине. И радуюсь погоде. И всему очередному, вплоть до блинов у Карсавина, которые пеку *не я.* В ушах жужж<ание> Ев<разийцев> (сл<овно><пчелиный рой?>), в глазах пробеги очередного фильма, вчера например Декабристы[170]».

Новое несчастье в начале марта. 11 марта — Тесковой: «Умер от туберкулеза кишок брат моей подруги, Володя, 28 лет, на вид и по всему — 18. Доброволец, затем банковский служащий в Лондоне… Содержал мать и больную сестру, — она-то и есть моя подруга, 11 лет больна туберкулезом, от обоих легких один полумесяц, остальное съедено, ни работать ни ходить не может, красавица, 32 года. Работал, работал, посылал деньги, посылал деньги, приезжает в Париж к матери повидаться — жар. Пошли к врачу: туберкулез обоих легких. Подлечился, поступил на службу уже здесь, простудился, кровохарканье, туберкулез кишок. <…> Умер тихо, всю ночь видел сны. — «Мама, какой мне веселый сон снился: точно за мной красный бычок по зеленой траве гонится»… А утром уснул навсегда. Это было 8-го, — вчера, 10-го хоронили». Речь о брате Юрия Завадского и Веры Аренской.

Этот сон не останется без последствий, вернувшись к самой МЦ: в апреле она напишет поэму — «Красный бычок». Это поэма-выплеск, молния воспоминания: точно так же тот же красный бычок (теленок) в дни мандельштамовского пребывания в

Александрове гнался за ней самой, детьми и Осипом. Это даже не поэма, а может быть баллада, не слишком обремененная сюжетом, основное содержание которой — стояние в кладбищенской глине, из которой невозможно вырваться, в то время как налетает на человека судьба, бык, по смежности — большевик, поскольку умерший — воин добровольчества.

Длинный, длинный, длинный, длинный
Путь — три года на ногах!
Глина, глина, глина, глина
На походных сапогах.

Длинный, длинный, длинный, длинный Путь. —
Повязку на рукав!
Глина, глина, глина, глина
На французских каблуках
Матери.

Нет, это не блоковская красивость:

Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук!

1911 («Унижение»)

«Красный бычок» — чистейшая лирика, даже по объему, намного меньше большинства цветаевских циклов.

Восемнадцатого марта 1928-го МЦ вновь обращается в Комитет помощи русским писателям и ученым в Париже. Туда пришли также письма в ее поддержку: «Мы, нижеподписавшиеся, сим удостоверяем, что Марина Ивановна Цветаева сейчас в большой нужде и просит Союз оказать ей возможную помощь. Л. Шестов. Н. Бердяев». К ним присоединилась и Мария Цетлина.

При всем при том Цветаева читает литературу, и самую разную. «Саломея! Достаньте и прочтите упоительную книгу сов<етского>писателя Вячеслава ШИШКОВА *«Бисерная рожа»*. (Рассказы)… <…> Сейчас читаю Пруста, с первой книги, (Swann)[171], читаю легко, как себя и все думаю: у него всё есть, чего у него нет??»

С выходом ее собственной книги — некоторая задержка: финансовые затруднения. Тем более необходим вечер. Отпечатаны билеты. Надо сделать все возможное, чтобы пристроить билеты, то есть найти подписчиков, тогда только

книга начнет печататься. Издатель в видах распространения взял на себя двадцать пять билетов, на долю МЦ пало пятнадцать. Техника такова: подписчик заполняет бланк и направляет по указанному адресу издателю. Бланк важен только с приложенными к нему деньгами.

Попутно ни с того ни с сего пропал издатель Путерман, в издательстве домашнего адреса не дают — как узнать? Издатель как пропал, так и нашелся, и МЦ пишет Тесковой: «Издатель (неврастеник) ушел из издательства и переехал на другую квартиру, на письма не отвечает. Издал он книгу самолично, на свой риск, в издательстве о ней *ничего* не знают». Тем не менее у МЦ на Путермана имеются стратегические планы, которыми она делится с Саломеей: «Хорошо бы по поводу Федры вытянуть моего дорогого издателя и совместно — бархатными лапами — на него напасть».

О своем внутреннем состоянии она пишет Пастернаку в первой половине февраля 1928-го: «Последняя моя вещь Попытка комнаты — почти мертвая. И наивно утверждение окружающих: «Поэма конца (или Горы) мне нравится больше»… — точно она написана не на костях (не только моих!). Я просто, как Ася говорила в детстве, «задушилась». С 1924 г., Борис, — четыре года — ни одних проводов. <…> А я сейчас никого не жду. Это — основное. Второе — отсутствие собеседников, мое вечное в чужом кругу и в своем соку. Из меня возносится, в меня же падает, обрушивается. Фонтан. А я — река. Мне нужно берега, мимо которых, и м<ожет> б<ыть> несуществ<ующее> море, *в которое.* <…> В Медоне нет реки, и в Медоне я не река, меня *застояли».*

Со стариками — раздрай, с евразийцами — дружеское равнодушие, с молодыми поэтами — дружбы нет: у них слабые стихи и сильное самомнение, хвалят друг друга по взаимному уговору, ей там делать нечего.

Тем временем Сергей Эфрон вторично отыскал могилу родителей — первый раз это было в 1912-м, во время свадебного путешествия, и тогда он посадил на ней цветы и привел в кое-какой порядок, но уже позабыл даже имя кладбища, — Лиля из Москвы указала на Монмартрское вместо Монпарнасского. Пишет Лиле:

Вот ее <могилы> вид. В головах, там где должен был бы стоять крест — громадное хвойное дерево (елка?). <…>…это та маленькая елочка, к<отор>ая двадцать лет назад была посажена еще мамой, на папиной могиле! <…> Кроме того по земле стелется плющ, или хмель. (Посылаю тебе несколько листочков

этого плюща). Решетка в виде цепи в хорошем состоянии. Сейчас во Франции весна. Как только кончатся дожди я засажу могилу цветами. <…>

Не буду писать тебе: что нахлынуло на меня, когда я стоял у могилы. Только вот что хочу сказать — кровно, кровно, кровно почувствовал связь со всеми вами. Нерушимую и нерасторжимую. Целую твою седую голову, и руки, и глаза и прошу простить меня за боль, к<отор>ую не желая причинил и причинял тебе.

Это будет ужасно, если нам не суждено увидеться. <…>

Нужно написать тебе о нашей жизни. Я получил скромное место, к<отор>ое берет у меня все время с раннего утра до позднего вечера. Надеюсь отработать на няню.

Аля начала ходить в мастерскую Шухаева. Она исключительно способна, но нет настоящей воли к работе.

Мур стал громадным мальчиком — страшный сорванец, ласковый, живой, как ртуть, лукавый. Не переносит намека на чужое страдание, и поэтому три четверти русских сказок для него непригодны (от дурных концов рыдает). Мы с ним в большой дружбе. По утрам он вскакивает первый, бежит ко мне в комнату, начинает меня тормошить и кричать на весь дом: — «Папа, вставай, лентюга!»

Тяжелее всех, пожалуй, живется Марине. Каждый час, отнятый от ее работы, — для нее мука. Сейчас надеюсь, что удастся выполнить давнюю мечту — нанять няню (русскую). Это совершенно необходимо и для Марины, и для Али.

В эту пору в жизнь МЦ вошли два человека, очень уж разные. Один из них — Николай Павлович Гронский, юноша восемнадцати лет. Другой человек — Вера Николаевна Бунина, жена ее сурового оппонента. Впрочем, вошли — не то слово. МЦ входит сама. Ищет и захватывает, не глядя на амплитуду между людьми. На ее площадке могли столкнуться люди, ни в каком другом случае не сводимые.

С подростком Гронским они соседствовали по дому в Бельвю два минувших года. В Медоне они опять стали соседями. Его отец Павел Павлович, в прошлом приват-доцент Петербургского университета и депутат Государственной думы от партии кадетов, в Париже преподавал, читал публичные лекции и сотрудничал в газете «Последние новости». Мать его Нина Николаевна была скульптором. Мальчик рос в Петербурге и Тверской губернии, где было родовое гнездо семьи, в Париже к 1928 году окончил Русскую гимназию и поступил в университет на факультет права. В начале года он пришел к МЦ с просьбой дать ему почитать ее книги, поскольку их не было уже в продаже.

Вера Николаевна Бунина входила в состав Комитета помощи русским писателям и ученым. МЦ изумилась ее доброжелательству в случае последнего прошения о помощи:

— Хочу вам помочь.

Эти два контакта, начавшись одновременно, естественным образом пошли независимо друг от друга. Но одновременность их возникновения показательна. МЦ накануне выхода ее последней книги стихов почувствовала небезучастность к ней самых разных людей, и это давало ей надежду на успех книги и свое литературное будущее.

По русской пословице, как бабка ни мучилась — родила: книга «После России» вышла. «Бабка» на этот раз — типография «Union», ставшая грифом книги. МЦ получила тираж во второй половине апреля 1928 года.

К выходу книги МЦ с Гронским уже на короткой ноге. Встречи, поручения, записки, прогулки, готовность подучиться у него фотоделу, ускоренное сокращение дистанции. МЦ знакомит его с князем Волконским, чтобы после встречи *«остаток вечера провели вместе»,* зовет на вечер Ремизова, *«большого* писателя и *изумительного* чтеца». Она еще не была ни в Фонтенбло, ни в Мальмезоне — нигде, очень хочет отправиться туда вдвоем. Тесковой сообщает: «У нас в доме неожиданная удача в виде чужой родственницы, временно находящейся у нас. Для дома — порядок, для меня — досуг, — первый за 10 лет. Первое чувство не: «могу писать!», а: «могу ходить!» Во второй же день ее водворения — пешком в Версаль, 15 километров, блаженство. Мой спутник — породистый 18-летний щенок, учит меня всему, чему научился в гимназии (о, многому!) — я его — всему, чему в тетради. (Писанье — ученье, не в жизни же учишься!) Обмениваемся школами. Только я — самоучка. И оба отличные ходоки». Упомянутая «чужая родственница» — Наталья Матвеевна Андреева, вдова Всеволода Андреева, брата Леонида Андреева. Несколько месяцев она помогает МЦ по хозяйству. В письмеце Николаю Гронскому от 2 апреля 1928-го МЦ называет ее «старушка». «Старушке» сорок пять, МЦ — тридцать шестой, в два раза старше Николая Павловича.

Вере Николаевне Буниной МЦ обещает прислать новую книгу: «…не давайте мужу, пусть это будет вне литературы, *не* книга стихов, Ваше со мной».

К выходу книги обнаружилось неприятие прошлогодних поэм МЦ всем ее окружением, и не только: малоизвестный ей Н. Оцуп судит «Попытку комнаты» (Дни. 1928. 22 апреля): «Очень неблагодарно самое задание этих стихов, нарочито бесцветных, как геометрический чертеж или алгебраическая формула».

На «После России» излился поток отзывов. Были целиком хвалебные. Марк Слоним был первым. Рецензия опубликована под инициалами М. С. (Дни. 1928. № 1452. 17 июня):

У Марины Цветаевой постоянная тяжба со средним читателем. Иван Иванович требует от поэзии легкой приятности. Он не намерен утруждать своих мозгов и впадать в чрезмерное волнение из-за каких-то рифмованных строчек. Больше всего он одобряет неприхотливое журчание рифм, пеструю игру образов или простые эмоции, больше в стиле цыганского романса. Но он возмущен, если вместо меланхолической музыки или общедоступных афоризмов, сказанных размеренной речью, ему преподносят стихи, в которых острой напряженности мысли и образа соответствует и особая молниеносная сосредоточенность слов. <…>

Трагическая муза Цветаевой всегда идет по линии наибольшего сопротивления. Есть в ней своеобразный максимализм, который иные назовут романтическим. Да, пожалуй, это романтизм, если этим именем называть стремление к пределу крайнему и ненависти к искусственным ограничениям — чувств, идей, страстей. Поэтому неистовыми показались стихи Цветаевой одному критику. Они и в самом деле полны такой подлинной страсти, в них такая почти жуткая насыщенность, что слабых они пугают, — им не хватает воздуха на тех высотах, на которые влечет их бег Цветаевой.

В своей прекрасной поэме «Застава» Цветаева пишет:

А покамест пустыня славы
Не засыпет мои уста,
Буду петь мосты и заставы,
Буду петь простые места.

А покамест еще в тенётах
Не увязла — людских кривизн,
Буду брать — труднейшую ноту,
Буду петь — последнюю жизнь!

…Цветаева — своеобразный и большой поэт. Вместе с Пастернаком она, пожалуй, является наиболее яркой представительницей современной русской поэзии. И новая книга ее, где так полно даны все особенности ее творчества, не только значительное явление для нашей зарубежной поэзии, но и крупный и ценный вклад в русскую литературу вообще.

От имени скептиков первым делом высказался Владислав Ходасевич, но пошел он путем несколько лукавым — проводя аналогии, ища сходства, сталкивать лбами разных поэтов (Возрождение. 1928. № 1113. 19 июня):

Ее поэзия стремится стать дневником, как психологически родственная ей поэзия Ростопчиной[172]. В своей последней книге «После России», содержащей стихи 1922–1925 гг., она это делает с особой, кажется, тщательностью, стремясь закрепить не только тематическую, но и хронологическую последовательность пьес. <…>

Поэтика прошлого века не допускала одержимости словом; напротив, требовала власти над ним. Поэтика современная, доходящая порой до признания крайнего словесного автонимизма и во всяком случае значительно ослабившая узлы, сдерживавшие «словесную стихию», дает Цветаевой возможности, не существовавшие для Ростопчиной. Причитания, бормотание, лепетание, полузаумная, полубредовая запись лирического мгновения, закрепленная на бумаге, приобретает сомнительные, но явочным порядком осуществимые права. Принимая их из рук Пастернака (получившего их от футуристов), Цветаева в нынешней стадии своего творчества ими пользуется — и делает это целесообразнее своего учителя, потому что применяет именно для дневника, для закрепления самых текучих душевных движений. И не только целесообразней, умней, но главное — талантливей, потому что запас словесного материала у нее количественно и качественно богаче. Она гораздо одареннее Пастернака, непринужденней его — вдохновенней. Наконец, и по смыслу — ее бормотания глубже, значительней. Читая Цветаеву, слишком часто досадуешь: зачем это сказано так темно, зачем то — не развито, другое — не оформлено до конца. Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься: слава богу, что все это так темно: если словесный туман Пастернака развеять — станет видно, что за туманом ничего или никого нет. За темнотою Цветаевой — есть. Есть богатство эмоциональное и словесное, расточаемое, быть может, беспутно, но несомненное. И вот, говоря ее же словами, — «Присягаю: люблю богатых!» сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады — люблю Цветаеву.

Похоже, задачей Ходасевича было прежде всего потрепать Пастернака, а уж потом, через признание в любви, ужалить МЦ. Под этим углом любопытно прочесть Георгия Адамовича (Последние новости. 1928. № 2647. 21 июня):

Один из моих знакомых, поклонник Пушкина, классицизма и ясности «во что бы то ни стало», спросил меня на днях с едва заметной улыбкой:

— Ну, как вам нравится новая книга Цветаевой?

Мне было трудно ответить на вопрос. Я чувствовал в нем по отношению к цветаевским стихам неприязнь, иронию. Мне не хотелось эти чувства поощрять, и в то же время в глубине души я их скорее разделял. Но у меня они исходили никак уже не из желания охранять «наши славные заветы» — хотя бы в ущерб жизни, как это часто бывает. Не отвечая, я перелистал протянутую мне книгу и наудачу прочел вслух одно стихотворение. Рассказывают, что Лист, когда при нем бранили Вагнера, садился к роялю и молча принимался наигрывать «Тристана».

Я это вспомнил.

Мне повезло. Стихотворение оказалось «Попыткой ревности» — прелестной, своеобразной вещью.

Как живется вам — здоровится —
Можется? Поется — как?
С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк…

И вот, прочтя эти стихи, я без колебания, без всякого сомнения, ответил:

— Нравится… да, нравится.

Постараюсь объяснить, почему я так ответил, почему стихи Марины Цветаевой мне все-таки нравятся и почему, наконец, «плюсы» их в моем представлении перевешивают «минусы». Дело в том, что один из этих плюсов исключительно велик и значителен, и его ничто перевесить не может: стихи Цветаевой эротичны в высшем смысле этого слова, они излучают любовь и любовью пронизаны, они рвутся к миру и как бы пытаются заключить весь мир в объятия. Это — их главная прелесть. Стихи эти писаны от душевной щедрости, от сердечной расточительности — не знаю, как сказать яснее. Можно действительно представить себе, что от стихов Цветаевой человек станет лучше, добрее, самоотверженнее, благороднее. Признаюсь, я не нахожу в себе ни сил, ни желания довести эстетизм до такого предела, чтобы, сознавая это, стихи Цветаевой отвергнуть. Поэтому я их «принимаю». *И все* оговорки мои не колеблют этого основного признания. Но, правда, оговорок столько, что не знаешь, с чего и начать.

Прежде всего, отбросим распространеннейшую иллюзию, будто это «поэзия будущего». Нет никакого основания так думать. Вероятнее, это архи-вчерашняя поэзия. Эти истерически-экстатические вскрики, эта судорожная речь, напоминающая отчетливей всего предрассветные, слегка хмельные, городские, богемно-литературные разговоры и признания, эта прихотливейшая постановка тем, эти вечные «наперекор» и «наоборот», весь этот бред, очень женский и очень декадентский — почему это будущее? Когда говорят то же самое о Пастернаке — можно согласиться. Пастернак действительно делает трудное и неблагодарное черное дело — во всем его внутреннем облике есть что-то от ломовой лошади. Пастернак вспахивает оскудевшую почву поэзии, и никакой утонченности, истонченности в нем не заметно. Цветаева же слабее и порывистее, ей собственно до «слова, как такового» никакого дела нет, она вся в своем идеализме и взлетах. Обманчиво-тяжелую словесность ее дальше одухотворять невозможно — все уже достигнуто. Поэтому сейчас, непосредственно вот в данную минуту, Цветаева кажется «поэтичнее» Пастернака. Но, конечно, ее поэзия — цветок быстровянущий, по сравнению не только с Пастернаком, но и со стихами умной и ясновидящей Ахматовой. <…>

Нельзя все-таки сомневаться, что Марина Цветаева — истинный и даже редкий поэт. Помимо той «эротичности», о которой я только что говорил, у нее есть и другое свойство, не менее сильно покоряющее: есть в каждом ее стихотворении единое цельное ощущение мира, т. е. врожденное сознание, что все в мире — политика, любовь, религия, поэзия, история, решительно все — составляет один клубок, на отдельные ниточки не разложимый. Касаясь одной какой-либо темы, Цветаева всегда касается всей жизни. На условном, квази-научном языке можно было бы сказать, что ее поэзия на редкость «органична». Но как будто нарочно все силы свои Цветаева прилагает к тому, чтобы это скрыть.

Если присмотреться, спор — о Пастернаке. Цветаеву они дружно любят оба. Это факт: самый спорный поэт — самый бесспорный в глазах самых проницательных экспертов стихотворства. Менее заметные критики вступают в хор похвал, среди них П. Трубников, псевдоним П. Пиль-ского (Сегодня [Рига]. 1928. № 229. 25 августа): «Эта книга — горячая, бунтующая, нервная, конечно, талантливая, отданная не пониманию, а прочувствованию, не логике, а чутью. Это — откровение в темпе, раскрытие души в ритме. Ее смысл и

ценность в непрестанных колебаниях, внутренней дрожи, безмерном страстном порывании вперед. Сторонники «прозрачной ясности» могут эту книгу отвергнуть, но она останется, она будет жить, хотя бы для немногих, где-нибудь, в кельях, взаперти, созвучная только родным душам, тоже нетерпеливым, тоже рвущимся, от чего-то убегающим».

Но есть и прямые ругатели. Е. Зноско-Боровский (Иллюстрированная Россия. 1928. № 33. 11 августа): «Несчастье Марины Цветаевой, что она творит в век, когда уже известно (и как давно!) книгопечатание. Живи она во время «оральной» традиции, ее бесподобный песенный дар нашел бы большее признание: только лучшие вещи сохранились бы, а худших никто не стал бы и запоминать. А так как последних у нее подавляющее количество, ибо на грех Марина Цветаева лишена критического отношения к себе и притом необычайно плодовита, то каково читателю отыскивать в груде ее стихопродукции те немногие отличные вещи (как, напр., изумительный цикл «Сивилла»), которые дают цену всему сборнику? Поиски тем более затруднительны, что в своих исканиях поэт ставит себе задачи трудности едва ли преодолимой. Они заставляют его говорить неправильности («душу, к корням пригубившую»), архаизмы («свергши, с оного сошед»), какофонию («разминовы-ваемся»). Кто не отступит перед перлами, вроде «вчувствовывается в кровь» или «впадывается в пропасть»?!»

Немного погодя высказался и Святополк-Мирский. Статья Святополк-Мирского «Die literature der russisch-en Emigration» была опубликована на немецком языке (Slavische Rundschau. Prag. 1929. № 1)[173]:

Самым значительным событием литературной жизни года стал сборник «После России» Марины Цветаевой, в который вошла вся ее лирика 1922–1925 годов. К сожалению, вершины творчества поэта этого периода, «Поэма Горы» и «Поэма Конца», по формальным признакам не могли быть включены в сборник. Однако и представленные стихотворения убедительно свидетельствуют о том, что Цветаева — крупнейший, после Пастернака, поэт своего времени, а годы 1922–1925 являются покамест лучшими в ее творчестве. Для сборника характерными являются две темы: эротическая и социальная. (Лишь малая часть стихотворений в книге не подпадает под эти темы. Но их необычность, их динамика делает их чрезвычайно интересными. Например, цикл «Деревья», «Облака», «Окно» — с их своеобразной героико-фонетической мифологизацией видимого мира — иного вообще не существует для Цветаевой. Здесь же примечательно

стихотворение «Плач цыганки по графу Зубову».) В группе эротических стихотворений особенно остры непривычные для Цветаевой человеколюбие и чувство сострадания, пронизывающие стихотворения «Расщелина», «Ахилл на валу», «Ночные места» и др. Заслуживает быть отмеченным стихотворение «Клинок», которое по своему героическому тону напоминает Корнеля. К так называемому «социальному» циклу относятся стихотворения «Поэма заставы», «Заводские», «Хвала богатым» и особенно великолепная «Полотерская». Последняя по владению народным словарным запасом может быть поставлена в ряд с пушкинской «Сказкой о царе Салтане» и некрасовскими «Коробейниками».

Итак, в любом случае, в общем и целом — победа. На подзарядке литературного успеха одновременно быстрым шагом продвигаются небанальные отношения с юношей Гронским. МЦ подталкивает своего подопечного в направлении, больше, может быть, соответствующем его возрасту, вернувшемуся к ней самой. Ей во что бы то ни стало необходимо узнать лучшую, полнейшую биографию Нинон де Ланкло (1615/1623—1705) — французской куртизанки, Дон Жуана в барочной юбке, хозяйки литературного салона и писательницы. «Мне нужен один эпизод из ее жизни, до зарезу, для вещи, которую, в срочном порядке необходимости, хочу писать, не хочу выдумывать бывшего. Вещь, касающаяся Вас, имеющая Вас коснуться». В порядке необходимости оказывается сюжет о том, как у Нинон родился сын с четырьмя младыми претендентами на отцовство. К этому заданию — приписка от 30 апреля: «За-ночь моя просьба разрослась: узнайте, а может быть уже знаете, одежды того времени (половины XVII в<ека>), мне нужно знать как их одеть, не хочу гадать. Очень хочется до начала вещи поговорить с Вами о ней, услышать Ваше толкование данных, совместно скрепить духовный костяк». МЦ играет роль вроде бы и не новую. Некоторые ее корреспонденты уже были моложе ее. Но не столь разительно. 4 мая 1928-го — уже иной словарь соблазна:

> Мой родной,
>
> 10 — не среда, а четверг — а нынче пятница (до-олго!) Хотите во вторник на Экипаж (Convention)[174]. Если да, безотлагательно сообщите мне точный поезд с Вашего медонского вокзала (Montparnasse) — поезд, на который не опоздаю — не опоздаете?
>
> Начало в 8 1/2 ч<асов> Convention от Montpamass'a близко.
>
> Если не можете, тоже сообщите.

Пишу Вам, молча проговорив с Вами целый час: ПО-ЗВУ-ЧИЕ, крайний звук которого есть ПРЕДЗВУЧИЕ.

Не бойтесь потерять мундштук[175], у Вас в руках — больше, чем в руках, ближе чем в губах! — несравненно большее.

Если бы Вы знали всю бездну[176] нежности, которую Вы во мне разверзаете. Но есть страх слов.

МЦ

Все это не в жизни, а в самом сонном сне.

Недалеко и до лирических стихов. Они и пришли.

Глава седьмая

Новая книга, новое чувство, новая игра, новые перспективы. Давно такого не было — может быть, с берлинского лета, когда МЦ все ждали, ценили, сулили новую жизнь.

Последнее лирическое кончалось так:

Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.

St. Gilles-sur-Vie (Vendee)

1926

(«Кто — мы? Потонул в медведях…»)

Стихотворением «Юноше в уста» (29 мая 1928 года) она закрыла весну, такую необыкновенную со всех сторон. Стиховым сверхвзлетом это нельзя назвать, но в смысле эротики — очень смело, насквозь сумасшедше:

Старая любовь —
Море не Руси!
Старую любовь
Заново всоси:

Ту её — давно!
Ту её — шатра,
Всю её — от до
Кия — до Петра.

Пей, не обессудь!
С бездною кутеж!
Больше нежель грудь —
Суть мою сосешь…

Как сказано в ее лирической «Федре» 1923 года: «Понесли мои кони!» Герою любовной лирики отдается все, что всосано с молоком матери, включая отечественную историю.

За весь 1928 год получилось семь стихотворений. «Юноше в уста», «Разговор с Гением», «Чем — не боги же — поэты!..», «Всю меня — с зеленью…», «Лес: сплошная маслобойня…», «Наяда»,

«Плач матери по новобранцу».

Трудно отобрать лучшее. Самое большое и сложное по синтаксису — «Наяда». МЦ строит эту вещь по старому принципу — песенному, с рефреном: «Вечный третий в любви!» Любви мешает всё, ей все и всё — третий лишний.

Прежде всего:

Проходи стороной,
Тело вольное, рыбье!
Между мной и волной,
Между грудью и зыбью —

Третье, злостная грань
Дружбе гордой и голой:
Стопудовая дань
Пустяковине: полу.

Получается так, что дружба женщины с юношей не получается как раз по причине сей пустяковины.

МЦ и не стремится к ясному разговору. Все связано со всем, и так оно и подается в каждом стихотворении. Но в лирике этого года острее всего остального бьет струя русскости — от легендарного основателя Киева до «Плача матери по новобранцу»:

Уж вы батальоны —
Эскадроны!
Сынок порожённый,
Бе — ре — женый!

Уж ты по младенцу —
Новобранцу —
Слеза деревенска,
Океанска!

Это инерция цветаевского стиля, та самая, что теоретически не действует в эпоху промежутка. Прорыва не произошло. МЦ в это время уже не пытается дописать эпического «Егорушку», перейдя на «Красного бычка», тоже на основе фольклора и устного народного разговора. Но лирический голос существует и напоминает о своем существовании. Если бы с такой подборкой выступила какая-то новая поэтесса, это сочли бы открытием.

Вызывающая непохожесть входит в человеческий состав МЦ

и, соответственно, поэтический. То, что некоторые высасывают из пальца, некоторым другим дается даром матерью-природой и духом времени. Поколение МЦ не испытывает дефицита слепящей яркости и непредсказуемости. Но и на этом фоне МЦ все равно выделяется независимо от намерений. Так бывает: входит человек в комнату — и сразу видно: вошел поэт.

Однако монарху не надо быть собственным герольдом. Это лишнее. МЦ гениально трубит о приходе поэта, который, по существу, уже пришел.

С Верой Николаевной Буниной у МЦ случилось не совсем так. Оказалось, МЦ привлекла Веру Николаевну не столько сама по себе, сколько памятью о собственной юности. Нет, они не сверстницы — Вера Николаевна на одиннадцать лет старше, и девичье имя ее — Вера Муромцева, и она дружила на утре дней с Валерией Цветаевой, Лёрой, и часто бывала в Трехпрудном.

5-го мая 1928 г.

Дорогая Вера Николаевна,

Я все еще под ударом Вашего письма. Дом в Трехпрудном — общая колыбель — глазам не поверила! Первое, что увидела: малиновый бархат, на нем альбом, в альбоме — личико. Голые руки, открытые плечи. Первое, что услышала: «Вера Муромцева» (Раечка Оболенская, Настя Нарышкина, Лидия Эверс, никогда не виденные, — лица легенды!) Я росла за границей, Вы бывали в доме без меня, я Вас в нем не помню, но Ваше имя помню. Вы в нем жили как звук.

«Вера Муромцева» — мое раннее детство (Валерия меня старше на 12 лет)[177], «Вера Муромцева», приезды Валерии из института — прерываю! — раз Вы меня видели. Я была в гостях у Валерии. (4 года) в приемный день, Валерия меня таскала по всему институту, — все меня целовали и смеялись, что я такая серьезная — помню перегородку, над которой меня подняли. За ней был лазарет, а в лазарете — скарлатина. Поэтому до сего дня «скарлатина» для меня ощущение себя в воздухе, на многих вытянутых руках. (Меня подняли всем классом.)

Валерия нас с Асей (сестрой) любила только в детстве, когда мы выросли — возненавидела нас за сходство с матерью, особенно меня. Впервые после моей свадьбы (< 19> 12 г.) мы увиделись с ней в 1921 г. — случайно — в кафе, где я читала стихи.

Есть у нас еще родство, о нем в другой раз, — семейная легенда, которую Вы может быть знаете.

— *Но*[178] — как Вы могли, когда я была у Вас, меня не окликнуть? Ведь «Трехпрудный» — пароль, я бы Вас сразу полюбила, поверх всех евразийств и монархизмов, и старых и новых поэзий, — всей этой вздорной внешней розни. — Уже люблю. —

Целую Вас.

МЦ.

Если Вам любопытна дальнейшая судьба «Лёры» 5-го мая 1928 г. — расскажу Вам, что знаю.

<Приписка на полях:>

«Вера Муромцева». «Жена Бунина». Понимаете, что это два разных человека, друг с другом незнакомых. (Говорю о своем восприятии, до Вашего письма.)

— Пишу «Вере Муромцевой», ДОМОЙ.

Кроме этого пароля — «Трехпрудный» — выяснилось, что Вера Муромцева была частой гостьей в доме деда Иловайского, дружа с соученицей по гимназии Надей Иловайской. МЦ горячо отзывается (23 мая 1928-го): «В первый раз «Трехпрудный», во второй раз «Надя Иловайская» — Вы шагаете в меня гигантскими шагами — шагом — души».

В видах наступающего лета апрель — май отдается напряженной работе по подготовке вечера МЦ на предмет заработка. Наряду с Верой Николаевной в дело вовлечены многие, в том числе Александр Бахрах, которого МЦ просит о распространении билетов, заодно прислав «После России» с лаконическим инскриптом без каких-либо уточнений: «Александру Васильевичу Бахраху на добрую память. *Марина Цветаева. Медон, 7-го мая 1928 г.».* МЦ включила в книгу, не указывая адресата, ряд стихотворений, которые когда-то, пять лет назад, она посвятила ему (цикл «Час души», «Наклон», «Раковина», «Заочность», «Письмо», «Минута»), — с ней не раз бывало, что свои стихи она затем перепосвящала другим или снимала посвящения, но можно ли было за это на нее обижаться…

В книге всего лишь два посвящения — Анне Антоновне Тесковой и Вере Аренской. Глубоко больная, «от обоих легких один полумесяц», Вера дождалась живого привета от брата Юрия — в Париж приехала бывшая 3-я Студия МХТ, а с 1926-го Театр имени Евгения Вахтангова (умершего в 1922 году). Среди его режиссеров — Павлик Антокольский, не бросивший и занятия стихотворчеством, у него недавно вышла «Третья книга» (1927). Привезли «Чудо Святого Антония» и «Принцессу Турандот» —

постановки Вахтангова, а также «Виринею» — первый спектакль, поставленный после смерти Вахтангова. 17 июня 1928-го первый спектакль в театре «Odeon» — «Чудо Святого Антония» — совпал с вечером МЦ, отняв у МЦ половину зрителей, но не всех. После своего вечера МЦ подписала «После России»: «Дорогому другу Димитрию Петровичу Святополк-Мирскому, на память о том Вилетте, том Лондоне, той Вандее — *Марина Цветаева. Медон, 17-го июня 1928 г.*».

Отчет об этих гастролях дает Сергей Эфрон в письме Лиле, отправленном из курортного местечка Понтайяк на берегу Океана (20 июля 1928 года):

Дорогая моя Лиленька,

Начал тебе писать еще в Париже, но письмо потерял — пишу второе с Океана. Живем в прекрасном месте — около Бордо. Купаемся, загораем, гуляем в прибрежных лесах. Я весь облез, ибо дорожу каждой минутой — мой отпуск 30 дней. М<арина> и дети пробудут здесь дольше — до Сентября.

Как всегда бывает со мною у моря — ничем, кроме солнца, купанья и физкультуры, заниматься не могу. Уже и сейчас после двухнедельного отдыха чувствую себя вдвое помолодевшим. Месяц у океана — срок достаточный, чтобы запастись здоровьем на целый год. А в Париже был до того уставшим, что даже ехать никуда не хотелось. И только приехав сюда почувствовал, как мне необходим был отъезд.

Кажется (тьфу, не сглазить) — мое материальное положение зимой должно улучшиться. Мечтаю о регулярной поддержке тебя. До сих пор мне это не удавалось, но даст Бог удастся наконец. Если бы жил один — давно бы сумел тебе помочь. Наличие семьи отнимало у меня право собственности на мой заработок. Ты это все, конечно, хорошо понимаешь — тяжесть в этом отношении именно моего положения.

В Париж приезжали Студийцы. Был на двух спектаклях («Чудо Св<ятого> А<нтония>» и «Принцесса Турандот»). Студия поразила меня каким-то анахронизмом что-ли. Казалось сижу в Москве 17–18 г<одов>. Было очевидно, что студия после смерти Вахтангова обезглавилась и живет по инерции. Какая-то собачья старость. Виринеи к сожалению не видел. Для меня несомненно, что 3 студия в теперешнем ее состоянии театрально-безыдейное учреждение. Все дело, нужно думать, в отсутствии режиссера-руководителя. Идейная убогость спектаклей студии (провинциализм) особенно бросалась в глаза рядом с балетом Дягилева, к<отор>ый несмотря на некоторые недочеты — все же явление современное, чего никак нельзя сказать о работе

студийцев.

Хотелось бы посмотреть работы Мейерхольда. Луначарский сделал промах, что послал в Париж не его, а студийцев. К чести Завадского, что он не выдержал студийной обстановки и начал самостоятельную работу, о к<отор>ой доходят до меня слухи оч<ень> хорошие. Радуюсь, что и ты не с Вахтанговцами.

Разговаривал с Павликом. Не говори, конечно, ему об этом, но на меня он произвел впечатление жалкое. Взволнованно ждал встречи с ним, а после встречи было горько. Слабость, медиумичность, декадентская допотопная суетливость, какое-то подпольное малокровие. Он подарил нам последнюю (3) книжку своих стихов. Стихи никакие. Виделись с ним лишь раз. На назначенное второе свидание он не пришел. <…> Но довольно о театре.

Пришла М<арина> с рынка. Нужно идти к морю. <…>

P. S. Я горд тем, что мне все главное из происходящего в Москве, и в России вообще, известно лучше, чем многим приезжающим из Москвы гражданам. И не только относящееся к литературе и искусству.

Говоря с приезжими, люблю этим хвастать.

Читала ли «Разгром» Фадеева? Одна из лучших книг последних лет. — Верно?

Театр уехал в СССР, в результате прихватив с собой Веру Аренскую.

Свой отчет о проистекающих событиях МЦ представляет Тесковой (1 августа 1928 года):

> Поехали на море, потому что все, кроме меня, его — им <горам> предпочитают. Горы у меня где-то впереди, еще дорвусь. Здесь и хуже, чем в Вандее. Скалы, деревья, поля, — это лучше (там — только пески), а хуже — здесь все-таки курорт, хотя и семейный, — с казино, теннисами и всякой прочей мерзостью. (Любя Спарту, — ненавижу спорт).
>
> Кроме того, в С<ен>-Жилле, где мы были в третьем году, никого из знакомых не было, поэтому С<ергей> Жковлевич>, напр<имер>, чудно отдохнул. Здесь же 1/2 пляжа — русские, купаются, гуляют (любя ходьбу, ненавижу гулянье) и едят вместе. Третий минус: пришлось, из-за денежных соображений, сдать одну комнату детям А<нны> И<льиничны> Андреевой — 19-ти, 18-ти и 15-ти лет. Много лишнего шуму и никакого чувства дома, точно сам живешь в чужой

квартире.

Уехали мы на деньги с моего вечера — был в июне и скорее неудачный: перебила III Моск<овская> Студия, приехавшая на несколько дней и как раз в тот день в единств<енный> раз дававшая «Антония» (Чудо Св<ятого> Антония, Метерлинка). Но все-таки уехали. <…>

Про Мура. Чудесно говорит, рост и вес шестилетнего, веселый, добрый, смелый, общительный, общий любимец. С утра до вечера на пляже, купается. Самый красивый ребенок на всем пляже. <…>

— Простите за поверхностное письмо, живем пятеро в двух комнатах, при чем я в проходной, все время входят и выходят, никогда не бываю одна.

Что наш план о моей осенней поездке? Нечего надеяться? А как хотелось бы провести с Вами несколько дней, в тишине. Парижа я так и не полюбила.

В Понтайяк съезжаются семьи Лосских, Карсавиных, Андреевых, Сувчинских — русская колония. Пляж устелен знакомыми телами. Из Понтайяка в Париж через полтыщи километров идет густой поток писем МЦ к Николаю Павловичу Гронскому. Он провожал ее к морю на парижском вокзале, и уже через пару дней получил ее первое впечатление… о прибрежной роще: «Это была моя первая встреча с Вами, м. б. самая лучшая за все время, первая настоящая и — (но это м. б. *закон?)* без Вас. Деревья настолько тела, что хочется обнять, настолько души, что хочется (— что хочется? не знаю, *все!)* настолько души, что вот-вот обнимут. Не оторваться. Таких одухотворенных, одушевленных тел, *тел-душ* — я не встречала между людьми».

Он вполне усвоил эту стилистику с бесчисленными стрелами тире, похожими на амурные, отвечая малоразборчивым почерком: «А забыть Вас не забуду — разве забывают ласки орлов (-лиц), ведь и они любят, и как еще. Хищные в воздухе — бурные и ласкающие в гнезде».

Что она думает о письме как жанре? «Письмо не слова, а голос. (Слова мы подставляем.)». Это очень напоминает мысль Волошина в статье «Голоса поэтов» (1917): «Смысл лирики — это голос поэта, а не то, что он говорит. Как верно для лирики имя юношеской книги Верлэна (так. — *И. Ф.*) — «Романсы без слов». Перечисляя голоса, Волошин говорит: «Отрешенный, прислушивающийся и молитвенный голос А. Блока». В некотором смысле Гронский для МЦ и есть Прекрасная Дама, то есть умозрительно создаваемый образ идеальной недостижимости. МЦ

писала Гронскому: «Сколько в юноше — девушки, до такой степени столько, что — кажется — может выйти и женщина, и мужчина. Природа вдохнула — и не выдохнула. Задумавшийся Бог». Это не отменяет сочной изобразительности в некоторых характеристиках: «Приехали Андреевы, все трое, девушка — кобыла, ожесточает грубостью, непрерывные столкновения. Тех (молодых людей) слава Богу вижу мало, но очень неприятно сознание такой тройной животной силы по соседству».

Пять лет назад сказано так:

Так писем не ждут,
Так ждут — письма.
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри — словцо.
И счастье. И это — всё.

Так счастья не ждут,
Так ждут — конца:
Солдатский салют
И в грудь — свинца
Три дольки. В глазах красно.
И только. И это — всё.

Не счастья — стара!
Цвет — ветер сдул!
Квадрата двора
И черных дул.

(Квадрата письма:
Чернил и чар!)
Для смертного сна
Никто не стар!

Квадрата письма.

11 августа 1923 («Письмо»)

МЦ и Гронский обмениваются символическими подарками. На «имянины» 30 июля она получила от Гронского книгу Рильке о Родене с надписью: «Письмо от Рильке, которое он посылает через меня». Она отреагировала: «Р<ильке> для меня — всегда прямая речь. В этой книге его живой голос. Скульптура? Все равно».

Еще в августе 1925 года она запросила у Тесковой

изображение пражского Рыцаря: «…изображение его — (где достать? нигде нет) — гравюру на память. Расскажите мне о нем все, что знаете. Это не женщина, и спросить можно: «сколько тебе лет?» Ах, какую чудную повесть можно было бы написать — на фоне Праги! Без фабулы и без тел: *роман Душ».* Гравюру Брунсвика она получила теперь и отправила Гронскому, в письме от 4 сентября 1928 года наставляя Колюшку, как надо приспособить Рыцаря: «С рыцаря срежь весь белый кант (всю бумагу), иначе будет вещь, а не рыцарь. Срежь белый кант и окантуй, будет вроде missel[179]. — Нравится тебе?»

Гронский послал и подарок Але — книгу про Уленшпигеля, надпись на которой — «Але с днем ангела, хотя у нее ангела нет» — шокировала МЦ: «Через мои руки не должно идти ничего двусмысленного. А если настаиваете — перешлю Вам обратно, посылайте сами, — дело Ваше и ее». Попытка ревности, и не единичная. МЦ поощряет его дружбу с князем Волконским, однако высказывает и некоторые опасения: «О С<ергее> М<ихайловиче>. — Будь все-таки настороже, со мной он о таких вещах не говорил, а очень любил, значит — тебя или любит больше (пол!) или бессознательно пытает почву». А ведь это знакомство — дело ее рук. На эти вещи она смотрит так: «Уайльд с мальчиком — да, Дафнис с Хлоей, — нет». Противоречий искать не следует — сегодня так, завтра этак.

Что же до Али, то: «Аля все более и более отдаляется от меня».

Гронский заваливает МЦ своими стихами. В частности, Волконскому он посвящает стихи такого качества:

В Вашем голосе есть сон очарования
(Отчужденность творчеству дана)
Но гармония слагает основание
И возвысится Фивянская стена.

Но восторгов это не вызывает — напротив: «О стихах скажу: в тебе пока нет рабочей жилы, ты неряшлив, довольствуешься первым попавшимся, тебе просто — лень. Но — у тебя есть отдельные строки, которые — ДАЮТСЯ (не даются никаким трудом). Для того, чтобы тебе стать поэтом тебе нужны две вещи: ВОЛЯ и ОПЫТ, тебе еще не из чего писать. <…> Слова в твоих стихах большей частью заместимы, значит — не те. Фразы — реже. Твоя стихотворная единица, пока, фраза, а не слово (NB! моя — слог). Тебе многое хочется, кое-что нужно и ничего еще не необходимо сказать». Наверняка полезно ему было узнать такое признание: «Колюшка, я не пишу сонетов и баллад не потому что

я их не могу писать, а потому что отродясь могу, и отродясь можа — НЕ ХОЧУ».

Куда проще с небесным юношей говорить о земном. В Медоне Гронский выполняет поручение МЦ — следить за ее жильем, включая кошку. На этом поле он и сам дает образец уверенного слога:

Во вторник утром, надев чулки — подарок В<олконского>, я пошел к Вам. Сперва я зашел в лавочку: любезности с моей стороны, с их: отказ от денег. Тень (исхудавшая) кошки была на подоконнике Вашей квартиры. До того как подняться, пошел к консьержке и уладил все что нужно. Потом поднялся наверх. Впустил кошку. Она искала, что бы поесть, я тоже (для нее); мы ничего не нашли, и, забрав книги и закрыв двери, начал прятать ее в мешочек. Вошла, но хвост и задняя лапа не входили и торчали. Наконец все готово. Ухожу от Вас, прихожу домой. Сперва кормил и поил, потом начал мыть и вот тут-то… Чтобы было ловчее ее купать под краном, обвязал ей горло петлей (мертвой), с таким расчетом, чтобы она если будет рваться, только больше затягивалась. Мытья не было, были мои и ее прыжки, 5–6 разбитых предметов и наводнение в нашей кухне.

У кошки пропала вся ласковость, но она не царапалась. Вдруг петля сильно затянулась и язык кошки высунулся, я ее (петлю) ослабил. Открытое окно — прыжок, я за ней. Оказывается, все кошки, услыша карканье Вашей кошки, собрались под окном, в числе их один кот (полу-ангорский), аристократ и Дон-Жуан. Было их штук 7. Мокрая, с жалкими лапами, намыленной шерстью и дохлыми в ней блохами (я ее сперва мыл бензином), она бежала. Кот за ней (он похож на В.). <…> что-то будет, — наверное 18 котят (en raison 6 pour 1[180]). Она не мяучит, а каркает, Ваша кошка.

Прочтите это письмо Але, ей будет интересно.

Он собирается приехать, отец не возражает, — в ожидании его приезда МЦ пускается в элегический мемуар (2 августа 1928 года): «Да! Вас ждет здесь большая радость, целый человек, живший в XVIII в<еке>, а кончивший жить в начале XIX (1735–1815) — мой любимец и — тогда — конечно любовник! Charles-Francois Prince de Ligne[181], на свиданье к которому я в самый голод и красоту московского лета 1918 г. ходила в Читальню Румянцевского Музея — царственную, божественную, достойную нас обоих — и где, кроме нас, не было ни человека. Я тогда писала «Конец Казановы», где и о нем (он был последний, любивший Казанову, его последний меценат, заступник,

слушатель, почитатель и друг). Лето 1918 г. — 10 лет назад, я — 23 л<ет>[182] — тогда у меня появились первые седые волосы. Я сидела у памятника Гоголя, 4-летняя Аля играла у моих ног, я была без шляпы, солнце жгло, и вдруг, какая-то женщина: «Барышня! Что ж это у тебя волосы седые? В семье у вас так, или от переживаний?» Я, кажется, ответила: «От любви». А у себя в тетради записала: «Это — ВРЕМЯ, вопреки всем голодам, холодам, топорам, дровам Москвы 18 года хочет сделать меня маркизой (ЗОМ!)».

Сергей Яковлевич уехал 8 августа, пишет ей уже из Медона: «К Вам собирается Гронский? Узнал стороной». От МЦ муж получает ярлык: «евразийский верблюд». Кажется, он будет редактировать евразийскую газету, но, может быть, это секрет. МЦ сочла нужным поговорить с Гронским о муже: «И С<ережа> породы божественной, только старше тебя в довременном. С<ережа> из чистых сынов Божьих, меньше герой, чем святой. (В тебе совсем нет святости, другое ответвление божества). Для ГЕРОЯ, даже звука этого, С<ережа> слишком — внутри себя и вещей. Он — праведник, а в жизни — мученик. Ты ни то, ни другое, ты — Heroica чистейшей воды: чистейшего мрамора. Ты все то же сделаешь, что и С<ережа>, но по-другому, из-за другого. У тебя — *честь,* у него — любовь (совесть, жалость: Христос). <…> А ты думаешь я за другим могла бы быть 15 лет замужем, — я, которую ты знаешь? Это мое роковое чудо».

Она высылает Гронскому стихи:

1
Над черным очертаньем мыса —
Луна — как рыцарский доспех.
На пристани — цилиндр и мех,
Хотелось бы: поэт, актриса.

Огромное дыханье ветра, —
Дыханье северных садов,
И горестный, огромный вздох:
— Ne laissez pas trainer mes lettres![183]
2
Так, руки заложив в карманы,
Стою. Синеет водный путь.
— Опять любить кого-нибудь? —
Ты уезжаешь утром рано.

Горячие туманы Сити —
В глазах твоих. Вот так, ну вот…

Я буду помнить — только рот
И страстный возглас твой: — Живите!
3
Смывает лучшие румяна —
Любовь. Попробуйте на вкус,
Как слезы — со́лоны. Боюсь,
Я завтра утром — мертвой встану.

Из Индии пришлите камни.
Когда увидимся? — Во сне.
— Как ветрено! — Привет жене,
И той — зеленоглазой — даме.
4
Ревнивый ветер треплет шаль.
Мне этот час сужден — от века.
Я чувствую у рта и в веках
Почти звериную печаль.

Такая слабость вдоль колен!
— Так вот она, стрела Господня! —
— Какое зарево! — Сегодня
Я буду бешеной Кармен.

…Так, руки заложив в карманы,
Стою. Меж нами океан.
Над городом — туман, туман.
Любви старинные туманы.

19 августа 1917 («Любви старинные туманы»)

Вряд ли сознавая, что здесь она легко перемешала Кузмина с Северянином не без участия Блока и Мандельштама, МЦ спрашивает: «— Хорошие стихи? 11 л<ет> назад. Лучше, чем сейчас пишут?»

Теперь она называет его «сыночек». «Будут ли у нас когда-нибудь дни с тобой? Дни, не знаю, — вечность уже есть. Жить с тобой в одном доме и спать с тобой под одним кровом мы конечно уже не будем. Для этого все должно было сойтись как сошлось. Дважды этого не бывает. <…> Что я хотела от этого лета? Иллюзии (плохое слово, другого нет) непрерывности, чтобы ты не приходил и уходил, а *был. Я* еще не плачу, но скоро буду».

Нехорошее известие — у Саломеи заболела дочь. «Дорогая Саломея! Слава Богу, что тиф, а не что-нибудь другое, — дико звучит, но т а к. Но какое у Вас ужасное лето. И как все вокруг

беспомощны сделать его иным. <…> А пока — сердечное спасибо за быстрый отклик с иждивением, мне даже стыдно благодарить. Мы остаемся здесь до конца сентября, очень рада буду, если, отойдя, напишете».

Юный друг не приехал.

От этого лета остались письма, стихи и много фотоснимков: «Я рождена фотографом».

МЦ покидает Понтайяк последней из русской колонии. Серые парижские будни прекращают эпистолярный солярий — 17 октября произойдет последний всплеск этого лета: «Никогда до встречи с Вами я не думала, что могу быть счастлива в любви: для меня люблю всегда означало больно, когда боль переходила меру — уходила любовь. Мне пару найти трудно — не потому что я пишу стихи, а потому что я задумана без пары, состояние парой для меня противоестественно: кто-то здесь лишний, чаще — я, — в состоянии одинокости: молитвы — или мысли — двух воздетых рук и *одного* лба…»

В Париж вновь явился Маяковский. И вновь неясно, как и где они увиделись, если увиделись. На два дня он махнул в Ниццу, где в тот момент находилась американка Эллис Джонс, мать его двухлетней дочери Патриции. Единственный роман Маяковского, кончившийся не трагедией — не стихами.

Там лил ливень, он задержался в гостинице под одним кровом с прежней возлюбленной, не восстанавливая отношений. По возвращении в Париж занялся покупкой «Рено» для Лили. Покупка состоялась. 28 октября выступил в помещении Союза русских рабочих с докладом о советской литературе и чтением стихов. Где-то в те дни МЦ надписала ему «После России»: «Такому как я — быстроногому![184] *Марина Цветаева. Париж, октябрь 1928 г.».* Книга осталась во Франции, в руках чужих МЦ людей. Читал ли? Листал? Неизвестно. Эльза Триоле — наверняка преднамеренно — подвергла его сердце новой буре: знакомству с Татьяной Яковлевой. «Ты одна мне ростом вровень». Краса Дома мод «Шанель». Вот там были ноги, всем ногам ноги. По крайней мере, в крошечный Лилин «Рено» сей дар природы не вмещался.

Седьмого ноября он провел свой вечер опять в кафе «Вольтер». Среди зрителей был Эренбург, с которым МЦ обменялась парой слов. Гастроль Маяковского сопровождалась горячей симпатией нового издания — еженедельной малоформатной многостраничной газеты «Евразия», 24 ноября вышел первый номер. Во главе газеты — кроме С. Эфрона — были Д. Святополк-Мирский, П. Сувчинский, Л. Карсавин, А. Лурье,

редакция находилась в Кламаре.

В. В. Маяковский в Париже

В настоящее время гостит в Париже В. В. Маяковский. Поэт выступал здесь неоднократно с публичным чтением своих стихов. Редакция «Евразии» помещает ниже обращение к нему Марины Цветаевой.

Маяковскому

28 апреля 1922 г., накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.

— Ну-с, Маяковский, что же передать от вас Европе?

— Что правда — здесь.

7 ноября 1928 г. поздно вечером, выходя из Cafe Voltaire, я на вопрос:

— Что же скажете о России после чтения Маяковского? — не задумываясь, ответила:

— Что сила — там.

Маяковский уехал 3 декабря. В тот же день МЦ написала ему:

Дорогой Маяковский!

Знаете, чем кончилось мое приветствие Вас в «Евразии»? Изъятием меня из «Последних новостей», единственной газеты, где меня печатали — да и то стихи 10–12 лет назад! (NB! *Последние новости!)* «Если бы она приветствовала только поэта Маяковского, но она в лице его приветствует новую Россию…»

Вот Вам Милюков — вот Вам я — вот Вам Вы.

Оцените взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и еще кому найдете нужным. Можете и огласить.

До свидания! Люблю Вас.

Марина Цветаева

Это письмо Маяковский разместит на своей выставке «20 лет работы», в феврале 1930 года. В его записной книжке сохранился мёдонский адрес МЦ.

МЦ надеялась на ноябрь — «Воля России» обещала напечатать «Красного бычка». Поэму перенесли в следующий номер, а в конце ноября 1928-го МЦ просит Анну Тескову: «Мы очень нуждаемся, все уходит на квартиру и еду (конину, другое

мясо недоступно — нам), печатают меня только «Последние новости» (газета), но берут лишь старые стихи, лет 10 назад. — Хороши *последние* новости? (1928 г. — 1918 г.) Но весь имеющийся ненапечатанный материал иссяк. Вот просьба: необходимо во что бы то ни стало выцарапать у Марка Львовича <Слонима> мою рукопись «Юношеские стихи». Писать ему мне бесполезно, либо не ответит, либо не сделает. Нужно, чтобы кто-нибудь пошел и взял, и взяв — отправил. <…> Если можно — сделайте это поскорее. Раз в неделю стихи в Посл<едних> Новостях — весь мой заработок. Все Юношеские стихи ненапечатаны, для меня и Посл<едних> Новостей (где меня — старую — т. е. молодую! — очень любят) — целый клад… <…>. Пишу большую вещь — Перекоп[185] (конец Белой Армии) — пишу с большой любовью и охотой, с несравненно большими, чем напр<имер>, Федру».

Тескова обрадовала ее, прислав рукопись «Юношеских стихов», и эта радость соединилась со второй: Анна Антоновна перевела на чешский язык и напечатала очерк МЦ о Рильке «Твоя смерть» в журнале «Lumir» (Прага. 1928. № 6/7). «(NB! Меня (прозу) еще никто никогда ни на какой язык не переводил. Вы — первая). Рильке вернулся домой, в Прагу. Сколько у него стихов о ней в юности!»

Еще в июле МЦ просила Гронского занести «После России» художнице Наталье Гончаровой. Опять Трехпрудный. Жили-то по соседству, но в разных временах: МЦ полагает, что Гончарова старше ее на пятнадцать лет, а на самом деле — на одиннадцать, как и Вера Муромцева.

Мастерская Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова — общая — находилась в Париже на улице Висконти, 6-е, рядом с ней — дом, где жил и умер Жан Батист Расин, автор трагедии «Федра». На книге МЦ поставила надпись: «Наталье Гончаровой — от дома в Трехпрудном до расинского дома — с любовью. *Марина Цветаева. Медон, 7-го шюля 1928 г.».* Гончарова, получив книгу, дала об этом знать МЦ, которая задумала новую прозу: о их совместной Москве. 31 декабря МЦ пишет Гончаровой:

> С Новым Годом, дорогая Наталья Сергеевна!
>
> Ставлю свой под знак дружбы с Вами. О, не бойтесь, это Вам ничем не грозит. На первом месте у меня труд — чужой, на втором — свой, на третьем — труд совместный, который и есть дружба.
>
> — Столько нужно Вам сказать, —
>
> Писать о Вас начала, боюсь — выйдет не статья, а целая книжка. Сербы подавятся, чехи задохнутся,

проглотит только добрая воля (к нам обеим) «Воли России». (Впрочем, остатками накормим и чехов и сербов!)

Просьба: когда я у Вас попрошу, дайте мне час: с глазу на глаз. Хочу, среди другого, попытку эмоционально-духовной биографии, я много о Вас знаю, всё, что *не зная* может знать другой человек, но есть вещи, которые знаете только Вы, они и нужны. Из породы той песенки о «не вернется опять», *такие* факты.

Написаны пока: улица, лестница, мастерская. Еще ни Вас, ни картин. Вы на конце мастерской, до которого еще не дошла. Пока за Вас говорят вещи (включаю и века Вашего дома). Говорю Вам, любопытная вещь.

А вот два стиха о Наталье Гончаровой — той, 1916 г. и 1920 г. — встреча готовилась издалека.

А вот еще головной платок паломника, настоящий, оттуда, по-моему — Вам в масть. Целую Вас и люблю Вас.

— До 3-го!

МЦ

К письму МЦ приложила стихи: «Счастие или грусть…» и «Психея» («Пушкин и полночь. Пунш — и Пушкин…»).

Счастие или грусть —
Ничего не знать наизусть,
В пышной тальме катать бобровой,
Сердце Пушкина теребить в руках,
И прослыть в веках —
Длиннобровой,
Ни к кому не суровой —
Гончаровой.

Сон или смертный грех —
Быть как шелк, как пух, как мех,
И, не слыша стиха литого,
Процветать себе без морщин на лбу.
Если грустно — кусать губу
И потом, в гробу,
Вспоминать — Ланского.

11 ноября 1916

С чтения МЦ этого стихотворения и началось их знакомство в кафе «Флор» после обеда в ресторане Варэ на улице Сен-Бенуа, где их свел Марк Слоним 9 ноября 1928 года. Гончаровой оно понравилось, а могло бы и царапнуть. О Гончаровой МЦ знает разве что понаслышке, смутновато помня ее имя в связи с футуристами по оформлению чурилинской книжки «Весна после смерти» (1915). Давно это было.

А ведь не только в «Последних новостях» ценили ее юношеские стихи — она и сама показывает их людям, то Гронскому, то Гончаровой.

Для Сергея Яковлевича Эфрона уходящий 1928 год стал решающим. 30 декабря состоялся съезд Евразийского Политбюро, на котором было закреплено статус-кво всего евразийского движения, сводившееся к расколу.

Политбюро было вершиной в эволюции руководящего органа движения, этапами коего были последовательно Совет Пяти, Совет Семи, Совет Евразийства. На самом верху стояла Тройка, с самого начала движения состоявшая из трех лиц — Н. С. Трубецкого (верховный лидер движения), П. Н. Савицкого и П. П. Сувчинского. Последний возглавил в Кламаре фракцию левого толка. Эфрон входил в кламарскую фракцию с первых дней ее существования. В роли члена редколлегии «Верст», а затем «Евразии» он участвовал и в создании программы движения «Евразийство Формулировка 1927»: отмена в России частной собственности при сохранении иностранных вливаний, признание Октябрьской революции и марксизма, отказ от конфронтации с советской властью по религиозному вопросу. В «Евразии» он публикует свою публицистику — статьи «Очерки русского подполья», «Кадеты и революция», а декларацию «От Комитета Парижской группы евразийцев» подписывает как Председатель Парижской группы.

Евразийство из кружка интеллектуалов превратилось в политическую структуру. Ее конечной целью еще пару лет назад был захват власти в России. Все это стоило денег, английских по преимуществу: сумма отчислений измерялась 15 000 британских фунтов. В Лондоне Святополк-Мир-ский вел доверительные беседы в доме князя Владимира Голицына. В Париже Сувчинский встречался с торгпредом Г. Л. Пятаковым, членом сталинского окружения, вождю враждебным. Принимал кламарских мыслителей у себя в Сорренто и А. М. Горький.

Развод по-разному мыслящих людей в евразийском движении осуществлялся по двум полюсам. С одной стороны — группа генерала А. П. Кутепова, бывшего командира лейб-гвардии

Преображенского полка, сторонника великого князя Николая Николаевича, председателя Российского общевоинского союза; с другой — парижские евразийцы, то есть кламарская фракция во главе с Сувчинским, за которым втихую стояли советские органы госбезопасности. Нет, здесь не было прямой агентурной разработки типа «Трест», в сети которой, кстати, угодит Кутепов по странной доверчивости. Опека была более тонкой, по линии идей.

Сувчинскому оппонировал коновод пражских евразийцев Савицкий. Трубецкой осаживал Сувчинского, но предлагал не делать оргвыводов, оставаясь в сфере идейных дискуссий. Вместе с тем конспиративный аппарат в недрах структуры был создан.

Однако роковая трещина прошла, расколов огромное пространство, поскольку движение захватывало такие города, как Прага, Париж, Брюссель, Лондон, Белград, София, Варшава, Афины плюс Ленинград. Везде функционировали отделения. Белград и Прага выступили против кламарской группы и газеты «Евразия», где редакторами были К. Б. Родзевич, К. А. Чхеидзе и С. Я. Эфрон.

«Евразийский верблюд», Сергей был в самом центре событий. Н. Н. Алексеев, П. Н. Савицкий и Н. С. Трубецкой потребовали снять материал о Маяковском. Сувчинский осуществил публикацию. МЦ не думала о передрягах внутри движения. Она одной и той же рукой приветствовала Маяковского и писала о Перекопе. Вход в «Последние новости» был перекрыт. Она осталась у разбитого корыта, почти нигде.

На заседаниях руководства 17–19 января 1929 года раскол оформили окончательно. Местные организации теряли взаимосвязи. Генерал Кутепов продолжал борьбу. Через год его украли советские агенты, он безвестно исчез. 7 сентября 1929 года вышел последний, 35-й номер еженедельника «Евразия». Князь Трубецкой вышел из движения. Разрозненное движение неуклонно угасало в течение тридцатых годов.

Марк Слоним написал книгу «По золотой тропе. Чехословацкие впечатления» (Париж, 1928) и подарил МЦ в декабре 1928 года с надписью: «Дорогая М<арина> И<вановна>, мне очень хотелось посвятить Вам эту книгу». Эта книга — ландшафты, имена, кусочки истории, кусочки жизни. 1 января 1929 года МЦ пишет Тесковой: «Книга М<арка> Л<ьвовича> очень поверхностна, напишу Вам о ней подробнее. На такую книгу нужна любовь, у него — туризм. NB! Не говорите». 3 января 1929-го Слоним прочитал доклад «Советская литература в 1928 году» на собрании литературного объединения

«Кочевье» в помещении «Таверны Дюмениль» на Монпарнасе. В прениях шла речь о романе Замятина «Мы», — с 1927 года роман печатался в «Воле России» без согласия автора. МЦ присутствовала на докладе, Марк Львович привел чьи-то слова: «Разве нужно всю жизнь есть и гулять вместе?», МЦ ответила с места:

— Нет.

Литературное объединение «Кочевье» возникло весной 1928 года в Париже, его актив — Марк Слоним, Вадим Андреев, Владимир Сосинский. Там читали свои стихи Александр Гингер, Антонин Ладинский, Анна Присманова, Алексей Эйснер. Их программной целью заявлено «развитие творческих сил молодых писателей и самоутверждение их в эмигрантской литературной среде, в которой представители нового литературного поколения не всегда встречали поддержку и сочувствие». Вначале были еженедельные собеседования по четвергам, затем — публичные собрания. МЦ регулярно посещала собрания «Кочевья». Она не сидела взаперти. В том году ее видели на «Собеседовании русских и французских писателей» и даже на прениях по теме, достаточно ей чуждой, — «Достоевский в представлении наших современников».

На вечере 17 января 1929 года в Тургеневском артистическом обществе на улице Пигаль МЦ читала воспоминания о Валерии Брюсове «Герой труда». Но основным ее занятием в январе были — очерк о Гончаровой и перевод писем Рильке: о писании стихов *(dichteri)* — о детстве — о Боге — о чувствах. Перевела как только могла, работала три недели. В февральском номере «Воли России» публикация под общим заголовком «Несколько писем Райнер Мария Рильке» открывалась вступительным эссе МЦ к пяти письмам Рильке и шестому письму — уже после смерти Рильке — от некой Неизвестной к биографу Рильке Эдмону Жалу. Вступление кончается словами: «Рильке — миф, начало нового мифа о Боге-потомке. Рано изыскивать, дайте осуществиться. Книгу о Рильке — да, когда-нибудь, к старости (возрасте, наравне с юностью особенно любимом Рильке), когда немножко до него дорасту. Не книгу статей, книгу бытия, но его бытия, бытия в нем».

Свою переписку с Рильке МЦ спрятала и впоследствии запретила печатать до января 1977 года.

Мур растет исполином, 1 февраля 1929-го ему исполнилось четыре года, ему дают воспитание спартанское по-борисоглебски. Аля записала в марте:

Мама: — Если ты будешь есть колбасу, а другой будет смотреть — что нужно сделать?

Мур: — Дать ему по морде!

Девятнадцатого февраля МЦ вновь и вновь просит Саломею об иждивении. Сообщает, что закончила перевод Рильке. «Пишу дальше Гончарову, получается целая книга».

За пять дней до того, 14 февраля, в Париж из Москвы выехал Маяковский. На день остановился в Праге, несколько дней пробыл в Берлине, 22 февраля приехал в Париж. На бланке «Istria-Hotel» пишет Лиле Брик:

<Париж. 20–21 (?) марта 1929 г. >

Дорогой, родной, любимый, милый Личик.

Шлю тебе и Осику посильный привет. Тоскую.

Завтра еду в Ниццу на сколько хватит. А хватит, очевидно, только на самую капельку. В течение апреля — к концу — буду в Москве. И в Ниццу, и в Москву еду, конечно, в располагающей и приятной самостоятельности. <…>

Люблю и целую родную Киску.

Счен

Проблемы у него те же — денежные, да масштабы покруче. Госиздат должен был перевести ему деньги в Париж. От Лили Брик идут телеграммы. 27 февраля: «Деньги скоро переведут». 10 марта: «Госиздат обещает скоро перевести». 20 марта: «Переводе валюты категорически отказано».

Уже написаны стихи, на сей раз в цветаевском жанре — письмо, да и темы перекликались:

В черном небе
молний поступь,
гром
ругней
в небесной драме, —
не гроза,
а это
просто
ревность двигает горами.

(«Письмо Татьяне Яковлевой»)

В Париже Маяковский пробыл два с лишним месяца. Его предложение — руки, сердца и возвращения в Россию — Яковлева встретила уклончиво. Он уехал в конце апреля, а в начале октября узнал о том, что она выходит замуж за виконта Бертрана дю Плесси, коммерческого атташе французского посольства в Варшаве.

Ему хватило полгода до точки пули в следующем апреле.

Сергей Эфрон пишет сестре Лиле 27 апреля: «На днях вышлю тебе мою статью во французском журнале о Маяковском, Пастернаке и Тихонове. Пошлю одновременно Пастерн<аку>. Для франц<узского> журнала (не комм<унистического>) это максимальная левизна». Эфрон выступил под псевдонимом S. Doumovo со статьей «Les Podtes de la nouvelle Russie»[186] в парижском журнале «Cahiers del'dtoile»[187] (1929. III–IV).

МЦ привлекает к своей работе, как и прежде, Николая Павловича Гронского. 5 марта на конверте письма, адресованного Гончаровой, она дает ему «дорожную карту»: «Слезьте Mabillon, пересечь сразу улицу и другую (B<oulevar>d S<ain>t Germain) идти до Place S<ain>t Germain, оттуда no Rue Bonaparte к Сене до Rue Visconti справа (щель) д<ом> 13, справа. Войти во двор и сразу налево в нору. Идти по лестнице, по лестнице до самого верха — стучать или звонить — и говорить: Аля».

Самой Гончаровой МЦ пишет:

> Дорогая Наталья Сергеевна!
>
> Если податель сего Вас застанет, назначьте ему, пожалуйста, вечер на этой неделе, когда встретимся, — нынче не могу, мне взяли билет на Стравинского. (NB! не предпочтение, а необходимость, о которой очень жалею.)
>
> Если же Вас не будет, чтобы не затруднять Вас писанием — давайте встретимся *во вторник на следующей неделе,* после Вашего обеда, к 8 1/2 ч<аса> <…> захвачу почитать из другой статьи, русской. Очень хотела бы, чтобы был и М<ихаил> Ф<едорович>.

Михаил Федорович Ларионов в этих отношениях стоит на втором плане, но он отнюдь не глух к русской жизни в Париже и в прошлом году пожертвовал свои картины в пользу Комитета помощи русским писателям и ученым.

Авторский концерт Игоря Стравинского с участием оркестра Филармонического общества состоялся во вторник, 5 марта, в зале Pleyel. К МЦ вновь по возможности вернулся дух музыки помимо стихов — концертный, оперный, балетный. В мартовском письме Гончаровой она спрашивает: «Какую музыку Вы иллюстрировали, кроме Равеля?»

Кроме балета «Испанки» на музыку Мориса Равеля Гончарова оформила балет «Спящая красавица» Чайковского (1912), оперу-балет «Золотой петушок» (1914), балет «Садко» (1916) и балет «Русские игрушки» (1921) Римского-Корсакова, а также балеты «Свадебка» (1923) и «Жар-птица» (1926) Стравинского. С дягилевского «Петушка» началась ее европейская репутация, и она смогла приобрести в Париже помещение для мастерской. Для МЦ возвратный путь через живопись к музыке оказался прямым. Правда, с оговоркой: «не предпочтение, а необходимость».

МЦ постепенно сознает масштаб Гончаровой и Ларионова, ищет большей близости отношений, но те страшно заняты, в это время — подготовкой к участию в выставке «Русский современный театр» в мае 1929-го, в помещении Театра Елисейских Полей, где намерены выставить свои театральные работы — декорации и костюмы. МЦ получает от Гончаровой лаконичные телеграммы со ссылкой на занятость.

> Ваши телеграммы всегда огорчительны.
>
> У меня к Вам большая просьб<а: на> днях к Вам заедет молодой чел<овек >[188] и завезет билеты на мой вечер 2 <билета>. М<ожет> б<ыть> предложите кому-нибудь?<…> Цена 25 фр<анков>, больше — луч<ше, но> больше — трудно. Вечер моя единственная надежда на лето, а на входные билеты не уедешь. Буду читать на вечере отрывки из новой вещи — Перекопа — кот<орый> сейчас пишу.
>
> Давайте сговоримся через Алю, когда повидаемся. Хотите — приеду к Вам? Пишу Вам на собрании Кочевья, докладчик мешает. Целую Вас нежно, простите за возню с билетами. Сердечный привет М<ихаилу> Федоровичу >.

Гончарова опекает Алю, дает ей уроки рисования.

В принципе Наталья Сергеевна держит дистанцию с МЦ, но не потому, что именно с МЦ — она вообще так живет, предпочитая всяческой говорильне молчаливые стены мастерской. Статная красавица — чернорабочая, исступленная труженица, с грузом пережитого, трудным детством, недавним нищенством и нежеланием разбазариваться на лишнее. По делу — пожалуйста. Вскоре МЦ переведет своего «Мóлодца» на французский, и Гончарова, вдохновившись оригиналом, сделает впрок тридцать один рисунок к этой поэме, так и не вышедшей в свет, что было по-своему логичным венцом прикровенности их сотрудничества[189]. Но и противостояние характеров — налицо. У МЦ всегда было так. Присвоить Гончарову она смогла лишь в

тексте, вобрав ее частицу в собственный мир. Сама же Гончарова принадлежала самой себе.

Между тем: «У нас весна», — пишет МЦ Анне Тесковой 17 марта 1929-го.

> Нынче последний день русской масленицы, из всех русских окон — блинный дух. У нас два раза были блины, Аля сама ставила и пекла. Мур в один присест съедает 8 больших. Его здесь зовут «маленький великан», а франц<узская> портниха: «le petit phénomène»[190]. <…>
>
> — Был у нас доклад М<арка> Л<ьвовича> о молодой зарубежной литературе. «Молодой зарубежной литературы нет, есть молодые зарубежные писатели». Прав, конечно. Потом разбор, справедливый, посему — безжалостный. (Вспомните основу суда: не милосердие, а справедливость). Из пражан определенно выделил Лебедева и Эйснера, с чем согласна. Из парижан — Поплавского. Даровитый поэт, но путаный (беспутный) человек. Мысли М<арка> Л<ьвовича> часто остры, форма *обща,* все время переводит на настоящие слова. Те мысли — не теми словами.
>
> — Одна работа Гончаровой кончена и сдана, даю сербам, — 2 листа, немножко меньше (28 печ<атных> стр<аниц> формата «В<оли> Р<оссии>») — 8 чудесных иллюстраций (снимки с ее картин)[191]. Жизнь и творчество. Подумайте, нельзя ли было бы куда-нибудь устроить в Чехию? Или Чехия и Сербия — слишком близко? Пойдет в следующем № сербского Русского Архива. Другая работа, большая, пойдет в Воле Р<оссии>, начиная с апреля. Большая просьба: если прочтете и понравится, напишите от себя в редакцию, — а м<ожет> б<ыть> не от себя, пусть кто-нибудь из знакомых напишет — какие-нибудь одобрительные слова, просто: Читатель (не могла ли бы написать Ваша сестра? Вашу руку знают) — а то волероссийцы — неявно, но все же — как-то затруднялись брать, — вещь на 2, на 3 номера. Можно написать по-чешски. И лучше — после майского №, когда они начнут отчаиваться в несконча-емости! <…>
>
> До свидания. О Маяковском напишу непременно. Но лучше сказали Вы: грубый сфинкс. О нем (и о двух других) появится на днях очень хорошая статья С<ергея> Я<ковлевича> во франц<узском> журнале.

Пришлю. Как Вам понравился перевод Р<ильке>? Целую Вас. М<ожет> б<ыть> в этом году соберетесь в Париж? (На Пасху!) А? Провели бы с Вами *чудный месяц!* — Подумайте.

«Одна работа Гончаровой» — это сокращенный вариант очерка МЦ для публикации в переводе на сербский язык. В апреле она кончила переписку своей большой работы о Гончаровой. В общей сложности — семь печатных листов, очень устали глаза. Идет подготовка к ее вечеру. 19 мая 1929-го Святополк-Мирский пишет Эфрону: «На вечере М<арины> И<вановны> выступать считаю большой честью, но боюсь, что… <…> мое участие многих оттолкнет». Мирский отказался от участия в вечере по совету Сувчинского. Слишком обострены евразийские дела.

Вечер состоялся 25 мая в зале Vaneau (34, rue Vaneau, 7-е). Первое объявление в «Последних новостях» было 2 мая: указана только МЦ, других участников нет. В последующих объявлениях (21, 23 и 24 мая) программа была уточнена: МЦ — чтение из книг «Царь-Девица», «Мóлодец», «После России», отрывки из новой поэмы «Перекоп»; С. М. Волконский — рассказ «Репетиция и представление».

Георгий Адамович отзывается на ее вечер (Иллюстрированная Россия. 1929. № 24. 8 июня):

Литературный вечер Марины Цветаевой собрал много слушателей. У Цветаевой есть поклонники даже среди людей, не понимающих ее стихов. Покоряет «голос», оживляющий всякую ее строчку, даже неудачную. Пленяет свободное, смелое и легкое дыхание этих строк. Одним словом, несомненная «Божья милость» цветаевского таланта привлекает к ней людей. Не все друзья поэзии долго остаются Цветаевой верными, но каждый из них испытал когда-нибудь хотя бы мимолетное ее очарование. Цветаева читает стихи старые и первую часть новой своей поэмы «Перекоп». В старых стихах очень хороши «Стихи о Москве». Если мне не изменяет окончательно память, они появились в «Северных записках» весной 17-го года. Я помню впечатление, которое они произвели — особенно в Петербурге. Может быть, в этом сыграло роль уже начавшееся тогда соперничество двух городов, — кому быть, кому не быть столицей. В Петербурге очень болезненно все ощутили тогда «конец стоит императорского периода» — независимо от политических симпатий и чувств, конечно, — и с ревнивой опаской поглядывали на Москву. Над цветаевским циклом петербургские поэты «ахнули» — над прелестью, над неожиданностью ее

Москвы.

Был последний вернисаж последней выставки «Мира Искусства», на Марсовом Поле, у Добычиной. Книжка журнала, только что появившаяся, ходила по рукам, и я до сих пор вижу Анну Ахматову, с несколько удивленным одобрением читающую вполголоса:

Мне же вольный сон,
Колокольный звон,
Зори ранние,
На Ваганькове…

О поэме «Перекоп» я сказать что-либо затрудняюсь. Подождем, когда она будет окончена. Подождем, когда ее можно будет прочесть, а не прослушать.

Ну, о соперничестве столиц Адамович высказался неточно. Баталия между Питером и Москвой бесконечна. Еще Пушкин, устав от всего этого, напечатал, например, «Тучу» и «Лукулла» в Москве, а не в Петербурге. Сумароков, оставив Северную столицу, спивался в московском кабаке.

Точку на «Перекопе», начатом в августе прошлого года, МЦ поставила 15 мая 1929-го. 28 мая она пишет Саломее: «Вечер, по-моему, прошел отлично. Пока, с уплатой зала и объявлений, чистых почти <нрзб> тысячи. Я очень довольна, столько не ждала, и есть еще с десяток 25-фр<анковых> надежд. <…> Получила самое трогательное письмо от Св<ятополк>-М<ирского>». 11 июня — ей же:

«Газета <«Евразия»> стала выходить раз в две недели, и С<ергей> Жковлевич> чуть-чуть поправился. Мы еще никуда не едем, — есть предложение из-под Гренобля. Пустой дом в лесу за 100 фр<анков> в месяц, в получасе от всякого жилья, глубоко-одинокий, очевидно проклятый какой-то, ибо даже хозяин не живет. <…> Покупать негде, а я без папирос бешусь. А лечим пока что — на вечеровые деньги — с Алей… зубы. Холод и дожди тоже не располагают к отдыху.

Была на Дягилеве, в Блудном сыне несколько умных жестов, напоминающих стихи (мне — мои же): превращение плаща в парус и этим — бражников в гребцов. <…> Иждивению, как всегда, буду рада».

Премьера «Блудного сына» состоялась 21 мая 1929 года в театре Place Chatelet (Сары Бернар). Второй (и последний) раз — 23 мая. Это одна из последних постановок Русского балета Сергея Дягилева. Музыка Сергея Прокофьева, либретто Бориса Кохно,

хореография Джорджа Баланчина. Главную партию танцевал Серж Лифарь. Волконский о «Блудном сыне» писал (Последние новости. 1929. 25 мая): «Прекрасная декорация… На темном фоне очертания города, море, несколько парусов. Упрощение до последней степени, а глубина красок вызывает впечатление сочной роскоши. Благородная скупость средств… Музыка Прокофьева очень динамична, психологически могуча, не будучи «танцевальна», она тем не менее ложится под пластическое толкование».

В пятом номере «Евразии» Святополк-Мирский публикует «Заметки об эмигрантской литературе»:

Окончательная оценка литературной продукции русской эмиграции дело будущего. Что она менее значительна, чем одновременная продукция советских писателей — очевидный факт, который не оспаривается никем (кроме разве великих писателей самой эмиграции). Столь же очевидно, однако, что эмигрантами написано немало произведений высокой литературной ценности, которые «останутся». Вопрос только в том, можно ли эти произведения объединять в одно понятие эмигрантской литературы. Скорее это осколки, разбросанные в разные стороны и объединенные одним отрицательным признаком: они вне когда-то объединявшего их круга.

Это особенно относится к старшим писателям, сложившимся еще в России, за 1920—22 гг. Как бы высоко ни оценивать написанное ими за рубежом, их место в русской литературе определяется их прежним творчеством. *Митину Любовь* <Бунина> нельзя серьезно равнять с <его> *Суходолом.* Шмелев ничего не написал лучше, чем *Это было.* Ремизов только подводит итоги созданному еще в России. Даже Ходасевич ничего не прибавил, по существу, к стихам 1918—21 гг. Единственное действительное исключение — Марина Цветаева, которая именно в эмиграции дала всю меру своей гениальной силы *(Поэма Конца, Поэма Горы, После России),* — но она особенно мало типична для эмигрантской литературы, и какие у нее есть точки соприкосновения с другими поэтами современности — все в Москве (Пастернак, Маяковский). Эмигрантская литература почти не считает ее за свою.

В статье «Die literature der russischen Emigration» тот же Святополк-Мирский говорит без обиняков о поэмах «С моря», «Новогоднее», «Попытка комнаты»: «…динамика ее словотворчества перерождается здесь в автономную словесную вязь, которая не закрепляет тему, а уводит ее в сторону

назойливых и утомительных фонетических ассоциаций».

Все похоже на правду, и если не правильно, то уже знакомо. Критики довольно точно и подробно говорят о самой поэтике МЦ. Суммирует общие наблюдения Владимир Познер в книге «Panorama de la Litterature russe contemporaine»[192] (Paris: Editions KRA,1929):

Ритмический аспект ее стихов — главная забота поэта. Цветаева смело идет по пути, открытому Хлебниковым, Маяковским, Пастернаком. В отличие от такого поэта, как, например, Есенин, она основывает свой стих на ударных слогах, стараясь их сближать одни с другими и множить, в ущерб безударным. Русская поэзия всегда стремилась к чередованию сильных и слабых слогов с тем, чтобы слабых было больше, чем сильных. Цветаева хочет добиться обратного эффекта с помощью синкопических стихов, где слова друг о друга ударяются. Ее ритмы напоминают некоторые места *Свадебки* Стравинского.

Односложные слова образуют около половины всей лексики Цветаевой; она пользуется всем существующим набором односложных слов русского языка; но она еще и создает новые, переделывая окончания существительных. Так как по-русски многосложные слова встречаются очень часто и невозможно без них обойтись, поэт иногда их делит на два или три отрезка, расставляя между ними тире; вдобавок она указывает на отдельное ударение каждого отрезка. В других случаях Цветаева, которая очень любит анжамбманы, кончает один стих началом слова, конец которого она переносит в следующий стих. В целом, она предпочитает мужские рифмы всем другим, приравнивая к ним те, в которых ударение стоит на предпоследнем слоге: чтобы этого добиться, она отделяет последний слог от предыдущих. <…>

Стиль ее особенно эллиптический; двоеточие, тире, восклицательные и вопросительные знаки встречаются очень часто.

Ненависть, ниц:
Сын — раз в крови!..

Или

Здравствуй! Не стрела, не камень:
Я! — Живейшая из жен:
Жизнь…

Стихотворения Цветаевой состоят из фрагментов фраз, в которых часто только одно слово:

Копыта! Крылья! Сплелись! Свились!
О высь! Высь! Высь!

Во многих случаях Цветаева просто обходится без глаголов:

Бессонные мальчишки — так —
В больницах: Мама!..

Такой рвущийся ритм еще усилен аллитерациями согласных, количество которых у Цветаевой превышают гласные. <…>

Бывает, что все слова обеих фраз абсолютно одинаковы, кроме одного, и между ними часто существует только этимологическое сходство. Прием этот усложняется, когда один стих повторяется несколько раз, с очень малыми изменениями:

Объявляю: люблю богатых!..
…..
Подтверждаю: люблю богатых!..
…..
Присягаю: люблю богатых!

Лейтмотивы эти придают еще большую убедительность страстному голосу поэта. С помощью таких восклицаний и повторов Цветаева все чувства, о которых она говорит, доводит до пароксизма. Ее творчество лирически напряжено в высшей степени. Художник начинает писать, только когда он уже занял в отношении своей темы позицию за или против. В ненависти, как и в восхищении, она не знает пределов. Пафос иногда доводит ее до истерии. Она предпочитает самых трагических героев: Тезея, Федру, Офелию, Эвридику. Она страстна, даже когда она не говорит о любви. Непримиримая и высокомерная Цветаева презирает всякие увиливания, она ненавидит преходящее. Ее поэзия — заговор против века, против веса, счета, времени, дробей. У нее душа «не знающая меры» ибо «путь комет — поэтов путь», так как поэт тот, «кто смешивает карты, обманывает вес и счет». Цветаева стремится миновать время и победить притяжение; конечно, она — аристократка духа, презирающая человеческую пошлость. Никаких описаний и обсуждений, ни единого момента покоя. Ненавидеть, обожать, презирать,

благословлять. Темперамент поэта не принимает более будничных чувств; так же как Пастернак, Цветаева обладает талантом заражать читателя: с ее творчеством знакомишься, как с электрической батареей. Приятно видеть столь целомудренную гордость, соединенной с таким высокомерным бесстыдством; лирическая поэзия сводится к одному крику обнаженной страсти, ибо, говорит поэт, «что ничего кроме этих ахов, / Охов, у Музы нет…», тех междометий, у которых еще одно преимущество, что они все односложны. — Цветаева ведь восхитительный техник.

Нет, жалобы МЦ на непонятость все-таки беспочвенны. Мало того что состав ее сторонников пополняется, можно зафиксировать редкий феномен — возникновение цветаеведения при живой Цветаевой. Это примета эпохи — серьезная филологичность текущей литературной критики. И что важно — по обе стороны государственной границы. Двадцатитрехлетнего Познера МЦ пригласила произнести вступительное слово на своем вечере, хотя книги его не прочла. Он не пришел. На обсуждении *4* апреля его книги в «Кочевье» и в печати (Воля России. 1929. № 4) на него обрушился Гайто Газданов, против которого выступила МЦ. Она написала Познеру: «Когда-нибудь, когда мне будет всё — всё равно, и я всем, я сама нападу на себя, разберу все свои вещи, укажу и докажу все свои промахи, сделки, немощи, которые — *все* — знаю только я одна. Дорог укор — в *упор».*

От анализа — на полном основании — освобождают себя по преимуществу поэты. Особенно когда поэт — приходит, заявляя прежде всего о себе. С учетом событий внутри евразийства, в частности — всяческого соперничества между Парижем и Прагой, ничего удивительного нет в утверждениях набирающего имя В. Сирина (Набокова) на страницах берлинского «Руля» (1929. № 2567. 8 мая), рецензирующего второй номер журнала «Воля России»:

<…> Далее — статья «Несколько писем Райнер Мария Рильке» Марины Цветаевой и ее же переводы из этих писем. Статьи я не понял, да и, кажется, понимать ее не нужно: М. Цветаева пишет для себя, а не для читателя, и не нам разбираться в ее темной нелепой прозе. В переводах, к сожаленью, тоже чувствуется ее слог. Есть и такие забавные предложенья: «вот строфы, сложенные для вас в субботу, гуляя по восхитительной аллее Холлингского замка». Совершенно не понятно, почему, кроме отрывков из писем Рильке, приведено еще некое письмо, о котором так говорит французский писатель

Е. Жалу (автор книжки о Рильке): «Несколько дней спустя после смерти Райнер-Мариа я получил следующее письмо, подписанное просто «Неизвестная». Даю его, не изменив ни слова. Это такое человеческое, такое голое свидетельство…» и т. д. Увы! не «голое свидетельство», а махровая пошлость. В нем «незнакомка» очень пространно и слащаво повествует, как, при ней, Рильке дал парижской нищей красную розу вместо денег и как эта нищая схватила его руку и поцеловала ее и «в тот день уже больше не просила». Письмо настолько безвкусно, случай, в нем изложенный, настолько в стиле тех напыщенных писателей, к типу которых принадлежит сам Жалу, что хочется, из уваженья к Рильке, сомневаться в истинности всего происшествия.

«Руль» 16 июня 1929 года перепечатал из «Красной нивы» (№ 5) акростих Пастернака — «Мгновенный снег, когда булыжник узрен…» и посвященное МЦ стихотворение «Ты вправе, вывернув карман…». Вскоре вышла книжка Пастернака «Избранные стихи», Пастернак переписал в книжку акростих и послал МЦ (первые буквы строк выделены мной. — *И. Ф.):*

***М**гновенный снег, когда булыжник узрен,*
***А**прельский снег, оплошливый снежок!*
***Р**езвись и тай, — земля как пончик в пудре,*
***И**рой огней — как лакомки ожог.*
***Н**есись с небес, лишай деревья весу,*
***Е**рошь березы, швабрами шурша.*
***Ц**енители не смыслят ни бельмеса,*
***В**раги уйдут, не взявши ни шиша.*
***Е**жеминутно можно глупость ляпнуть,*
***Т**огда прощай охулка и хвала!*
***А** ты, а ты, бессмертная внезапность,*
***Е**ще какого выхода ждала?*
***В**едь вот и в этом диком снеге летом*
***О**пять поэта оторопь и стать —*
***И** не всего ли подлиннее в этом?*
— Как знать?

Этим летом, 1929 года, МЦ с мужем никуда из-за безденежья не едут. Никто не приглашает. МЦ в июле сетует Гронскому: «Гончарова на Средиземном море. (А я в Медоне)». Удается отправить в Бретань только Алю, которую пригласили на море друзья эфроновской семьи Лебедевы. Владимир Иванович Лебедев — соредактор «Воли России», эсер; его жена Маргарита Николаевна, урожденная баронесса Спенглер, — врач, тоже эсер;

их дочь Ирина — подружка Али. Лебедевы жили на тихой улочке Данфер-Рошро, вытекавшей из толчеи бульваров Распай и Монпарнас и вливавшейся в сутолоку бульвара Сен-Мишель. Когда МЦ однажды спросили, какое место в Париже любит она больше всего, она назвала именно эту невзрачную улочку: «За тишину и за Лебедевых».

Аля — в Бретань, Сергей Яковлевич — в Брюссель, по евразийским делам. 12 августа МЦ сообщает Гронскому: «Аля уехала в Бретань, в старинный городок, где Мария Стюарт ждала жениха-дофина[193]. С<ергей> Я<ковлевич> в Бельгии, уехали в один день и час… <…> От Али блаженные письма: все в национальных костюмах, старый город, (молодые годы!) и постель без блох. (У нас засилье вроде прошлогоднего, С<ергей> Я<ковлевич> с Алей, собственно — сбежали, мы с Муром отдуваемся)».

Блаженные письма бывают и у самой МЦ. В душном августе она пишет Тесковой: «А знаете заветную мечту «парижанки»? — Овчина. Честное слово. Сплю и вижу во сне». Удивительна не прихоть МЦ, а реакция Тесковой: она теребит критика Альфреда Бема и его жену на предмет изыскания шубы в… Прикарпатской Руси. Но овчины нет и не будет, МЦ остаются быт, работа и всяческое чтение. В частности: «Прочла совершенно изумительные мемуары Витте[194] — 2 огромных тома. Советую (Гронскому. — *И.* Ф.). Обвинительный приговор рукой верноподданного. *Гениальный* деятель».

МЦ переговорила с Марком Слонимом относительно публикации «Перекопа» в «Воле России», сошлись на том, что «пускай полежит»: МЦ и сама называла эту вещь «белогвардейской».

МЦ прекрасно знала настроения евразийцев, новые взгляды мужа. Писание поэмы о Перекопе похоже на домашнюю ссору: сделаю, и всё тут, тебя, дурака, прославлю. Вещь написана от первого лица, и с самого начала говорится о личном:

Бросит сын мой — дряхлой Европе
(Богатырь — здесь не у дел):
— Как мой папа — на Перекопе
Шесть недель — ежиков ел!

Скажет мать: — Евшему — слава!
И не ел, милый, а жрал.
Тем ежам — совесть приправой.
И поймет — даром, что мал!

Но поэма была явным анахронизмом и пошла по накатанной колее, с клише почти десятилетней давности:

Под комиссаром был бы — гнед.
Для марковца — бел свет:
У нас теней не черных — нет,
Коней не белых — нет.

Чертополохом — веселей,
Конь! Далекó до кущ!
Конечно белого белей
Конь, марковца везущ!

Это строки из главы «Сирень», аккуратно традиционной по исполнению и сюжету. Поручик, отправившись в село за провиантом, за неимением оного получает от поселянки — куст сирени.

Поручик!
Не до женских глаз.
Лазорь — полынь — кремень…
И даже не оборотясь
Коню скормил сирень.

Сюжет, как та сирень, получен от Сережи, и весь «Перекоп» посвящен ему: «Моему дорогому и вечному добровольцу». Это очевидная метафора, помимо темы поэмы. В ход идет и домашнее прозвище:

Кусочка хлеба не дадут —
А завтра жизнь отдашь
За них! Терпи, терпи, верблюд!
Молчи, молчи, Сиваш!

Независимость МЦ от левых и правых оборачивается туманностью. Так и неясно, оправдан ли ею генерал Брусилов, бывший главнокомандующий царской армией, перешедший на сторону красных и выпустивший воззвание к белому офицерству встать на защиту Отечества перед лицом шляхетского наступления. Само брусиловское воззвание в лучших установках ЛЕФа зарифмовывается практически дословно, словно МЦ соревнуется с Николаем Асеевым в его партизанской поэме

«Семен Проскаков» (1927–1928), где документы эпохи усердно комментируются стихами. То же самое, собственно, пастернаковские «Шмидт» и «Спекторский» — вещи в основе документальные. Веяние времени.

Не обошлось и без очередного соперничества МЦ с Маяковским. Он пишет Врангеля в поэме «Хорошо!» (1927):

Наши наседали,
крыли по трапам,
кашей
грузился
военный эшелон.
Хлопнув
дверью,
сухой, как рапорт,
из штаба
опустевшего
вышел он.
Глядя
на ноги,
шагом
резким
шел
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
гóло.
Лодка
шестивёсельная
стоит
у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий.
Трижды
землю
поцеловавши,
трижды город
перекрестил.
Под пули
в лодку прыгнул…

— Ваше превосходительство,
грести? —
— Грести! —

У МЦ Врангель таков:

В черной черкеске
Ловкой, в кубанке черной.
— Меч вам и крест вам:
На мир не пойдем позорный!

Драться — так драться!
Биться, орлы, так биться!
— Рады стараться,
Ваше Высок'дитство!

Вот он, застенков
Мститель, боев ваятель —
В черной чеченке,
С рукою на рукояти

Бе — лого пра — вого
Дела: ура — а — а!

МЦ правильно говорила о левизне своей формы. Оба портрета — чуть не одной кисти, одной школы и выучки, с особинкой цветаевской напевности. Здесь рядом и Пастернак. Это модернисты десятых — двадцатых годов, недалеко отстоящие и от французского, например, соседства — в частности, Гийома Аполлинера, не раньше, впрочем, Хлебникова отказавшегося от пунктуации. МЦ тоже не нашла достойных знаков препинания («ни один не подходит») в этих катренах:

Просторы мчат
Саперы мчат
Костровый чад
Махровый чад
…..
Последний пай
Последний чай
Последний хор
Последний сон.

Одна точка на восемь строк все-таки нашлась.

Местами МЦ в «Перекопе» поражает блеском исполнения, равно как и стилизационными натяжками в народнопесенном духе.

С Петром Сувчинским у них состоялся разговор о событиях на Перекопском перешейке. Он:

— Через десять лет забудут!

Она:

— Через двести вспомнят!

Этот разговор стал одним из эпиграфов к поэме (третьим). Но до конца поэмы МЦ не дошла: кончились рассказы и военные записи Сергея Яковлевича, и писать стало не о чем. А на деле — само время стерло тот Перекоп. Разве что — через двести вспомнят…

Англичанин Алек Броун, поэт и переводчик, живущий в Сербии, с подачи Святополк-Мирского сделал английский перевод «Мóлодца», которому тоже пришлось полежать, а потом и кануть в Темзу, то есть в Лету. Альбион — страна тумана, и неизвестно, узнала ли МЦ о том, что князь Святополк-Мирский стал членом британской компартии.

В октябре 1929-го, по стопам Сергея Яковлевича, МЦ посетила Брюссель. Перед отъездом, 10 октября, оповещает Саломею: «16-го я уезжаю в Брюссель, где у меня вечер. Очень прошу Вас, если только можно, выслать мне иждивение до 16-го, чтобы я успела взять визу и заграничный паспорт. С<ергей> Я<ковлевич> сейчас в из<дательст>ве (третий месяц) ничего не получает — и что-то не предвидится, иначе я бы Вас не беспокоила». 21 октября — Саломее: «Я собака, — до сих пор Вас не поблагодарила. Брюсселем очарована. <…> Была на Ватерлоо, — ныне поле репы. Вечер прошел средне, даже в убыток, но много милых знакомых, и о поездке не жалею». 26 октября — в письме к Тесковой о городе Брюгге: «лучшее, что я видела в жизни».

Тремя днями позже МЦ сообщает Пастернаку: «Пишу большую вещь — гибель семьи». Речь о «Поэме о Царской семье».

Пока МЦ отходит от чар Брюсселя, глобус сотрясают события. В США — биржевой крах: обвальное падение цен акций, начавшееся в «черный четверг» 24 октября 1929 года. После краткосрочного небольшого подъема цен 25 октября падение приняло катастрофические масштабы в «черный понедельник» 28 октября и «черный вторник» 29 октября. Уолл-стрит пал. Началась Великая депрессия.

Своя депрессия, тоже немалая, у Сергея Эфрона. Еще 1 августа 1929 года он жаловался сестре Лиле: «Я переживаю

смутное в материальном отношении время. Длительная база лопнула и пока что никаких перспектив. Думал было даже возвращаться в Москву. Но рассудил, что и там ничего не придумаешь. Ты мне напиши все же безнадежно ли бы обстояло дело с заработком. <…> Здесь из года в год нам труднее, ибо отношения с русскими становятся все враждебнее».

В течение года МЦ записывает многочисленные бонмо Мура, чему очень способствует его разговорчивость. Говорит он по-русски, французский и французов ненавидит. Начиная с марта накопилось немало записей.

— Когда я бегу, у меня сзади мешок с корабликом.

— «Спаси, Господи!» Что спасать-то? Никто не поймет.

Почему мне всё кажется до неба? Дома, деревья…

Рисуя:
— Каких я страшных Наполеонов нарисовал!
— На двух Наполеонов напал дождь. — Правда, страшно?

Муравьи — куравьи (комары)

В ответ на предложение попросить прощения:
— Я такой большой, толстый, — как же я могу виноватиться?

— Почему у него такие глаза — умеревшие? (о слепом котенке)

Рисуя:
Я сделал папу и сына — козляных.
— Мама, правда какое умное имя Лев? Справедливое такое, приятное. Как бы я хотел, чтобы меня звали Львом. Почему меня не назвали Львом?
— П<отому> ч<то> тебя окрестили Георгием.
— А как это — окрестили?
— Пришел священник, прочел молитву и окрестил.
— А как — раскреститься?
— Нужно перейти в др<угую> веру — (коварно) — французскую, напр<имер> (ненавидит французов). (Отводя гнев) — А как тебе больше нравится, Георгий или Егор?
— Никак не нравится, мне Львом нравится. И я уже тогда навсегда буду француз?! (в голосе — отвращение).

Мурина первая франц<узская> фраза *(июль 1929 г.)*
— Donne bonbon gamin s'il vous plait[195].

Разговор о дурачках: глупая улыбка, доброта, Бог любит.
— Мама, я хочу быть дурачком.
— Ну, милый, дурачком нужно родиться!
— Я хочу переродиться. А как это переродиться? Да! Аист может меня опять принести, я ведь все-таки (с большим сомнением) — легенький!
(NB! 31 1/2 кило — 4 г. 4 1/2 мес.)

Рисуя лицо: — Вот у него усы… И уши сделаю разнообразные.

С<лони>му: — Почему у Вас такое звериное название?

— Папа сказал, что когда я буду большой я сам буду править трактором. (После секундного раздумия) — Я сам хочу быть трактором!
(Вбегая ко мне в кухню)
— Мама! Радость! У меня душа — тракторская! Деревянная. (Подумав:) — Железная.

— А у мертвецов не кухня, а тухня.
17-го Октября, страшный сон: — Грозо́вые сторожа — белые. Будто я беру папу за руку и попадаю в лужу… Мне снилось, что у моих родителей головы отлетели — оторвались…

— Я десять пудов съем вкусного!

Нараспев:
— Мама! Где Вы?
Лук и стрелы…

Мурины стихи:

Бой-скауты! Волчаты!
Ори-перепеляты!
И — разом разобрать!
И — разом разобрать!
Массажу не хватает —
Ори-перепеляют.

(Доску перепеляют — второй вариант)

В начале апреля прошлого 1928 года небогатый Пастернак написал своей лондонской знакомой Раисе Николаевне Ломоносовой письмо с просьбой организовать передачу МЦ 100 рублей (своих): «Она самый большой и передовой из живых наших поэтов, состоянье ее в эмиграции — фатальная и пока непоправимая случайность, она очень нуждается и из гордости это скрывает и я ничего не писал еще ей о Вас, как и Вам пишу о ней впервые». 20 апреля 1928 года МЦ поблагодарила Ломоносову за присылку денег:

> Два года назад, даже меньше, я была в Лондоне, у меня там был вечер стихов, могли бы встретиться. Но может быть — Вас там не было? (Стихи с предварительным докладом Кн<язя> Святополка-Мирского, из которого я поняла только собственное имя, да и то в английской звуковой транскрипции!)
>
> Еще раз сердечное спасибо.
>
> *Марина Цветаева*
>
> — Да, Пастернак мой большой друг и в жизни и в работе. И — что самое лучшее — никогда не знаешь, кто в нем больше: поэт или человек?
>
> Оба больше!
>
> Редчайший случай с людьми творчества, хотя, по-моему, — законный. Таков был и Гёте — и Пушкин — и, из наших дней, Блок. А Ломоносова забываю, Вашего однофамильца, а может быть — предка?

Нет, Михайло Ломоносов не предок Раисы Николаевны. Ее муж Юрий Владимирович Ломоносов принадлежал к старинному дворянскому роду. Он был крупный инженер-железнодорожник еще при царском режиме, энергично участвовал в Февральской революции и — на первых порах — в деятельности советской власти, в партии не состоял, но Ленин собирался назначить его наркомом путей сообщения, однако отказался от этой идеи помимо прочего и потому, что получил от него письмо с пассажами такого толка: «Заприте меня с 2–3 красотками в совхоз или в немецкий университетский городишко на 5–7 лет, и я обязуюсь закончить обработку моих опытов над паровозами, из коих некоторые, смею думать, имеют всемирное значение. Стоить это будет Республике гроши, а одна разработка тепловозов и электровозов даст миллионы сбережений. В этом и только в этом направлении я могу пригодиться. Закончить свои труды могу только я, а начальников дорог вы найдете сотни и притом более

спокойных. С товарищеским приветом, искренно Вам преданный Ю. Ломоносов». Россию он покинул и в Лондоне занимался преподаванием философии. С женой такого человека МЦ быстро нашла общий язык, завязалась переписка. Правда, МЦ долго путала ее отчество, называла Владимировной, и Пастернак поправил ее в одном из писем.

Раиса Николаевна Ломоносова — тот человек, о котором Пастернак писал Святополк-Мирскому: «У нас приятельница, Р. Н. Ломоносова, живущая когда в Англии, когда в Америке. В 26-том году в Германию ездила моя жена, и для нее эта дружба, завязавшаяся раньше путем переписки, нашла воплощение в живой и все оправдавшей встрече. Я же ее никогда, как и Вас, в глаза не видал. Пять лет тому назад ей обо мне написал К. И. Чуковский, речь шла о переводе Уайльдовских Epistola in carcere et vinculis[196], с авторизацией, которую ей легко было достать для меня. Все делалось без моего ведома, К<орней> И<ванович> знал, что я бедствую и т<аким> обр<азом> устраивал мой заработок. Но фр<анцузский> и англ<ийский> яз<ыки> я знаю неполно и нетвердо, до войны говорил на первом и понимал второй, и все это забылось. Сюрпризом, к<отор>ый мне готовил К<орней> И<ванович>, я не мог воспользоваться. Но вряд ли он знает, какой бесценный, какой неоценимый подарок он мне сделал. Я приобрел друга тем более чудесного, то есть невероятного, что Р<аиса> Н<иколаевна> человек не «от литературы» <…> По всему я бы должен был быть далек ей. Она живет миром недоступным мне (я бы должен был родиться вновь, и совсем совсем другим, чтобы в нем только найтись, если не очутиться); она иначе представляет себе мой обиход и мою обстановку. Ее занимает движенье европ<ейских> вещей, т. е. по ее счастливой непосредственности прямо говорит ей о движущихся под этим глубинах. Я не менее ее люблю Запад, но мне надо было бы уйти от явности, от злобы дня в историю, от заведомости в неизвестность, чтобы свидеться с глубиной, с которой она сталкивается походя, уже на поверхности. Она — жена большого инженера и профессора, Ю. В. Ломоносова. Они никогда подолгу не заживаются на одном месте — журналы, путешествия, переезды, общественность — все это она, видно, осиливает, смеясь. — И вот, меня волнует один ее почерк, и это можно сказать Вам, а не ей, потому что это совсем не то, что может получиться в прямом к ней отнесеньи. <…> Я уже познакомил М<арину> И<вановну> с нею».

В газете «Правда» от 3 ноября 1929 года напечатана статья И. Сталина «Год великого перелома: к XII годовщине Октября». Уходящий год автор именует «годом великого перелома на всех

фронтах социалистического строительства». Продекларирован окончательный отказ от политики нэпа и обозначен мобилизационный курс развития. Впереди — сплошная коллективизация, ликвидация кулачества как класса, опора на отряды вооруженных рабочих при поддержке ОГПУ в борьбе с мужиками, разгул местных властей в насильственном сгоне крестьян в колхозы с отъемом имущества и свободы, массовое закрытие церквей с переоборудованием их в склады, уничтожение и расхищение предметов религиозного культа, аресты священников и монахов (началось еще при Ленине, с его идеи: чем больше убьем попов, тем лучше).

Великая депрессия чисто зарифмовалась с Великим переломом.

Перед Рождеством Сергей Яковлевич уезжает в русский пансион-санаторий в Верхней Савойе — замок д'Арсин в городке Сен-Пьер-де-Рюмийи. Замок принадлежит семейству Штранге, член которого Михаил Штранге — друг и единомышленник Эфрона, студент историко-филологического факультета Сорбонны. 12 декабря МЦ пишет в Комитет помощи писателям и ученым: «В виду тяжелой болезни мужа (туберкулез легких) и вызванной ею полной его неработоспособности покорнейше прошу Комитет о выдаче мне денежного пособия, по возможности значительного». Бывший министр юстиции Временного правительства, с 1926 года председатель Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции, Иван Николаевич Ефремов наложил резолюцию на полях прошения: «Согласен на выдачу двухсот франков».

МЦ сообщает Тесковой 25 декабря 1929 года: «Третьего дня уехал С<ергей> Жковлевич — в Савойю. Друзья помогли, у нас не было ничего. <…> Уехал во всяком случае на два месяца. Воздух там дивный, горный, — 600 метров высоты. Уединенный замок, — ныне пансион для выздоравливающих. Все очень хвалят. <…> Полтора месяца ничего не писала, извелась, жизнь трудная. Весь день раздроблен на частности, подробности, а вечером, когда тихо — устала, уж не могу писать, голова не та».

О Савойя! Мечта о встрече с Рильке.

В том же декабре Пастернак написал три письма МЦ. Летом ему делали операцию, вынув «кусок кости из нижней челюсти, предварительно перед этим удалив шесть зубов». Он предлагает «писать друг другу легкие письма, о чепухе, о житейском. Но перед этим скажи, как ты думаешь поступить с письмами R. M. R<ilke> к тебе? Мое единственное разделит участь твоих». Это говорится как бы мимоходом, потому что главное нужно сказать тоже без нажима: «Ты знаешь, перевел оба его реквиема и

напечатал. Трудно было, и ты будешь недовольна». Несколько припоздав, он реагирует на ее «Поэму о Царской семье»: «И проза ли или не проза — гибель семьи, что ты пишешь? Лучше бы проза».

Ответ МЦ написала 31 декабря: «Меня никто не позвал встречать Новый Год, точно оставляя — предоставляя — меня тебе. Такое одиночество было у меня только в Москве, когда тебя *тоже* не было. Не в коня эмиграции *мой* корм! А идти я собиралась на новогоднюю встречу Красного Креста, ни к кому. Не пошла из-за какого-то стыда, точно бегство от пустого стола. Письмо стоит стакана!»

По тому же адресу в тот же день от МЦ полетела телеграмма: «SANTE COURAGE FRANCE MARINA»[197].

Часть третья
ПОРА СНИМАТЬ ЯНТАРЬ

Глава первая

Итак, Савойя — достижима. На встречу с тенью Рильке МЦ делегировала Сергея Яковлевича. Владельцы замка д'Арсин не брали с него лишних денег, но 45 франков в сутки надо было выкладывать. Стипендии Красного Креста хватило ненадолго, всему приходит конец, и продлить лечение мужа в условиях высокогорной санатории с определенного времени могла только МЦ. Шато д'Арсин — старинная каменная башня в три этажа, разделенная внутри недавними перегородками на маломерные ячейки, в целом вмещавшие чуть больше сорока человек. Пожалуй, больных там было меньше, нежели единомышленников…

Жизнь Эфрона в этом 1930 году потекла от его поздравительной открытки из Сен-Пьер-де-Рюмийи в Мёдон на обороте рождественской акварели художницы Юлии Николаевны Рейтлингер — до письмеца сестре Лиле на почтовой бумаге с маркой парижского кафе: «la Rotonde Mont-Pamasse 105, Bd Montpamass, 105». Девять с лишним месяцев в савойских горах, поступление на кинематографические курсы фирмы Пате плюс еще одно событие, которое МЦ назовет горем.

Но все по порядку. МЦ остается в Медоне, действуя по прежним и новым направлениям путем хождения по инстанциям и в форме переписки. Отношения МЦ с Раисой Николаевной Ломоносовой до самого конца будут заочными. Раиса Николаевна помогала как могла. К Рождеству, как водится, прислала денег. МЦ записала Алю на курсы по истории искусств и живописи при Лувре — Ecole du Louvre. Это, кажется, задело Наталью Гончарову, или МЦ так показалось.

В письме Пастернаку от 18 марта 1930 года Ломоносова пишет: «Недавно получила длинное письмо от М. И. Ц<ветаевой>. Какой она интересный и хороший человек. А встречи боюсь… <…>. Вдруг окажутся две М<арины> И<вановны> <…> И за себя боюсь наибольше, скучная, некрасивая». МЦ пишет Ломоносовой 1 февраля 1930 года — в США:

Дорогая Раиса Николаевна! Вы живете в стране, которой я всегда боялась: два страха: по горизонтали — отстояния от всех других, водной горизонтали, и по вертикали — ее этажей. Письмо будет идти вечно через океан и — вторая вечность — на сто-сороковой — или сороковой — этаж. Письмо не дойдет, или — дойдет уже состарившимся. Не моим. Отсюда — всё, то есть: мое безобразное молчание на Ваше чудное, громкое как голос,

письмо, и подарок. Есть у меня друг в Харбине[198]. Думаю о нем всегда, не пишу никогда. Чувство, что из такой, верней на такой дали всё само-собой слышно, видно, ведомо — как на том свете — что писать потому невозможно, что — не нужно. На такие дали — только стихи. Или сны. <…>

Мне уже сейчас грустно, что ему <сыну> пять лет, а не четыре. Мур, удивленно: «Мама! Да ведь я такой же! Я же не изменился!» — «В том-то и… Всё будешь такой же, вдруг — 20 лет. Прощай, Мур!» — «Мама! Я никогда не женюсь, потому что жена — глупость. Вы же знаете, что я женюсь на тракторе». (NB! Утешил!)

На Ваш подарок он получил — на Рождество: башмаки, штаны, бархатную куртку, Ноев ковчег (на колесах, со зверями), все постельное белье, и — ныне — чудный «дом на колесах» — «roulette», где живут — раньше — цыгане, теперь — семьи рабочих. Приставная лесенка, ставни с сердцами, кухня с плитой, — все по образцу настоящего. Мур напихал туда пока своих зверей.

Аля на Рождество (тот же источник) получила шубу, башмаки и запись на Cours du Louvre: Histoire de l'Art: Histoire de la Peinture[199]. Учится у Гончаровой, — ее в Америке хорошо знают, много заказов. Москвичка как я. Я о ней в прошлом году написала целую книгу, много месяцев шедшую в эсеровском журнале «Воля России». <…>

Сейчас пишу большую поэму о Царской Семье (конец). Написаны: Последнее Царское — Речная дорога до Тобольска — Тобольск воевод (Ермака, татар, Тобольск до Тобольска, когда еще звался Искер или: Сибирь, отсюда — страна Сибирь). Предстоит: Семья в Тобольске, дорога в Екатеринбург, Екатеринбург — дорога на Рудник Четырех братьев (там жгли). Громадная дорога: гора. Радуюсь.

Не нужна никому. Здесь не дойдет из-за «левизны» («формы», — кавычки из-за гнусности слов), там — туда просто не дойдет, физически, как всё, и больше — меньше — чем все мои книги. «Для потомства?» Нет. Для очистки совести. И еще от сознания силы: любви и, если хотите, — дара. Из любящих только я смогу. Потому и должна.

У Сергея Яковлевича истекает срок в замке д'Арсин, МЦ хлопочет о продлении, ходит в Красный Крест, где ей идут навстречу, но с условием перевести его в настоящую, то есть ужасную 30-франковую французскую санаторию. Дело усугубляется тем, что Аля вошла в возраст, требующий carte d'identite[200], и нужны деньги на штраф за семнадцать месяцев

просрочки, а комиссар новый и свирепый — прежнего, милого за взятки убрали. МЦ пишет обо всем этом Саломее. Зовет прийти 25 февраля, во вторник, на франкорусское собеседование, где Борис Зайцев, например, будет говорить о Прусте: интересно!

В прошлом году группой русских и французских литераторов была организована Франко-русская студия, в рамках которой проводились собеседования, посвященные русской и французской литературе и их взаимосвязям. На первом собрании, 30 апреля 1929 года, было заявлено участие МЦ. Стенограммы двух содокладов с обеих сторон и их обсуждение публиковались в журнале «Cahiers de la quinzaine»[201].

Собрание, посвященное Прусту, 25 февраля состоялось. Французский докладчик — Роберт Оннерт, русский — философ Борис Петрович Вышеславцев. МЦ выступила в прениях, бурно возражая русскому докладчику: «Я бы хотела ответить моему соотечественнику Господину Вышеславцеву. Когда он говорит о том, что он называет «маленький мирок» Пруста, Г<осподин> Вышеславцев забывает, что не бывает «маленьких миров», бывают только маленькие глазки. <…> Сравнивая Пруста с поколением довоенных русских, Г<осподин> Вышеславцев забывает о том, что пить чай, спать днем, а ночью гулять — все это с искусством не имеет ничего общего. Иначе все мы были бы Прустами. Большое достижение Пруста заключается в том, что он обрел жизнь свою в писании, тогда как поколение довоенных русских растратило ее в разговорах».

Все идет, как всегда, внавал, на скорости. В конце февраля 1930 года в Париже вышел первый номер литературно-художественного журнала «Числа», соредакторы И. В. де Манциарли и Н. А. Оцуп. МЦ предложила им «Наяду», которая будет напечатана в сдвоенном номере 2/3 «Чисел» под заголовком «Нереида» — по-видимому, оттого, что наяда — нимфа вод пресных: рек, ручьев и озер, а у МЦ речь идет о море, в коем обитает нереида, морское божество.

Она ищет встречи — ей до зарезу нужно — с Шарлем дю Боссом. Это известный французский писатель по вопросам религии, философии, литературы, переводчик и исследователь Библии, написал эссе о Льве Толстом и Чехове, а главное — редактор журнала «Vigile»: надо пристроить «Мóлодца», переводимого ею на французский. Она зазывает Гончарову на блины: «Аля Вам скажет поезд, которым выезжать с Инвалидов[202] <…>… в лесу уже цветы (желтенькие)». Зовет в кино Гронского, кинематограф — единственный отвод души, недавно смотрела чудный фильм с Вернером Крауссом в роли Наполеона на острове Святой Елены. Саломею не устает теребить:

«Очень благодарна была бы Вам, милая Саломея, за иждивение, 1-го у меня терм (напомню: трехмесячная плата за квартиру. — *И. Ф.),* мой первый без С<ергея> Я<ковлевича>, к<отор>ый всегда откуда-то как-то добывал».

Значит, все-таки — добывал?..

В марте 1930-го ее разыскала письмом Нанни Вундерли-Фолькарт, приятельница Рильке в последние годы его жизни, по его завещанию — душеприказчица, распоряжалась его литературным и эпистолярным наследием. У Рильке оставались мать и замужняя дочь, но возле умирающего поэта были трое — врач, сестра-сиделка и Вундерли-Фолькарт.

В архиве Рильке находились письма МЦ, и Вундерли-Фолькарт запросила у МЦ возможность ознакомиться с его письмами и права на публикацию их переписки. 2 апреля МЦ отвечает ей в лирико-философическом духе: «Мои письма к Р<айнеру> М<ария> Р<ильке> принадлежат ему — кого все слушали и кому ничего не принадлежало. Мои письма к Р<айнеру> М<ария>Р<ильке> — это он сам, которого в жизни не было, который всегда свершается, который — будет. Поэтому, милостивая государыня, отдайте мои письма *будущему,* положите их рядом с другими, которые будут, — пусть лежат они пять коротких десятилетий. Если через пятьдесят лет кто-нибудь о них спросит и потянется к ним — Вы предоставите их *Вашим* потомкам. Так лучше». По-видимому, в своих письмах ее смущали некоторые неувязки написанного с действительностью. Кстати говоря, МЦ лишь этой весной узнала из опубликованных писем Рильке, что Мёдон — город его роденовской юности: там была мастерская Родена, при котором Рильке состоял в секретарях. Его окружали тени тех, чьи имена носили теперь мёдонские улички, на которых они жили: Ронсар, Мольер, Руссо, Бальзак, Вагнер. В мёдонском лесу охотились короли.

Она многое о Рильке узнавала впервые. О том, что отрывок из перевода Рильке «Слова о полку Игореве», сделанного еще в 1904 году, был напечатан в еженедельном приложении к немецкой пражской газете «Prager Press» от 16 февраля 1930 года, она не знала. Он «с наставленным, как у собаки, ухом» смотрел с фотографии над ее письменным столом бок о бок с фотоизображением Сигрид Унсет.

Евразийцы в разброде, сидят на мели. Петр Сувчинский голодает, кормится у тещи, денег ни копейки. Почти все они где-то по возможности служат, издательство «Евразия» опустело.

Для МЦ — выход один: свой вечер. Она продумывает программу, составляет афишу, включив в состав выступающих —

молодых поэтов, еще не знающих об этом. Пишет Владимиру Сосинскому, работающему в типографии, где печатается «Воля России»: «Не удивляйтесь, что помечен Вадим (Андреев. — *И. Ф.),* еще не успела запросить, но уверена, что не откажет, нынче пишу ему. Сообщите мне, пож<алуйста>, адр<ес> Поплавского, — еще тоже не оповещен, но тоже уверена. Мне нужно наработать на Сережино лечение. <…>…мой главный козырь Тэффи уезжает в начале мая».

В одном из приглашений — вне ранжира — Ираклию Георгиевичу Церетели, знаменитому меньшевику, бывшему министру почты и телеграфа Временного правительства (рекомендованному МЦ Маргаритой Николаевной Лебедевой), — замысел вечера трактуется так: «<…>…вечер действительно интересный: от Кн<язя> С<ергея> Волконского (Санкт-Петербург) до Поплавского (Монмартр), а посередке мы с Тэффи, к<отор>ая будет читать *не*-смешное. Кроме того — трое петербуржцев — гумилевцев — Адамович, Г<еоргий> Иванов, Оцуп (предреволюционная эстетика) и, наконец, Вадим Андреев, сын Леонида. Услышите целую эпоху».

Объявление о вечере появилось в «Возрождении» 12 апреля 1930 года, последний анонс — 26 апреля, когда в большом зале Географического общества на бульваре Сен-Жермен и состоялся «Вечер Романтики». Вечер назван в честь столетнего юбилея французского романтизма. Собралась та самая, действительно интересная команда: С. М. Волконский (читал «Воспоминания юности»), Г. В. Адамович, Г. В. Иванов, Н. А. Оцуп, В. Л. Андреев, Б. Ю. Поплавский (все — с чтением новых стихов), Н. А. Тэффи (рассказы). В заключение — МЦ. Как сказано в письме к Саломее: «Вечер *мой,* все это мои бескорыстные участники…»

Для МЦ вечер прошел под знаком гибели Маяковского, случившейся 14 апреля 1930-го. Пастернак писал ей 18 апреля: «Ты все знаешь уже, вероятно, из газет. Если можно, удовлетворись тем немногим, что прибавлю о себе. Три дня я весь в совершившемся, плакал, видел, понимал, плакал и восхищался. На четвертый день меня отлучили от событья… <…> Я нигде не мог пристроить двух столбиков о нем, которые ничего страшного, кроме признанья красоты его свободного конца, не заключали». Это злостное отлучение — дело рук ближайшего круга Маяковского, людей фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний.

Так совпало, что тот черный день наложился у МЦ на слишком свое, совершенно внутреннее, о чем она сообщает Тесковой 21 апреля: «Христос Воскресе, моя дорогая Анна Антоновна! Сначала были заботы — болезнь С<ергея>

Я<ковлевича>, хлопоты, Алино учение, т. е. моя связанность домом, подготовка к вечеру (в субботу, 26-го — Вечер романтики) — а теперь стряслось горе, — какое пока не спрашивайте — слишком свежо, и называть его — еще и страшно и рано. <…> На горе у меня сейчас нет времени, — оказывается — тоже роскошь. — Даст Бог — как-нибудь. — Не сердитесь, дорогая Анна Антоновна, за такое эгоцентрическое письмо, Вам пишет человек — *под ударом.* <…> — Бедный Маяковский! (Ваш «сфинкс».) *Чистая* смерть. Всё, всё, всё дело — в чистоте».

Секрет Полишинеля. Все всё знают. Святополк-Мирский пишет 14 апреля Вере Александровне Сувчинской: «Про Эфроновскую барышню я все выяснил. Зовут ее Lery (Валерия) Rahm, она швейцарка из Казани. Отец ее миллионер и бывший консул. <…> Эфрон говорит, что он начинает отходить от своего безумия и сомневаться в том, пара ли она ему…»

Сергей Яковлевич женщинам нравился. Возможно, порой он отвечал мимолетной взаимностью некоторым из них, но в принципе был ригористом и, как мы помним, приятеля своего Родзевича в минуту жизни трудную почел мелкотравчатым донжуаном. В еще более трудные дни, помеченные Софией Парнок, к нему на помощь пришла девушка — Ася Жуковская. Других женских имен в его мужской судьбе не отмечено. Большой конспиратор.

МЦ поступила как поэт. Все болевое ушло в стихи. Как это ни ужасно звучит, ее выручил Маяковский. Семь стихотворений. Но до них надо было дожить. Позже она обнаружит, что ни в своей большой светло-зеленой черновой тетради с красным корешком и ни в одной записной книжке — с 14 апреля почти до конца года не сделала ни единой записи о Муре и вообще.

В пятницу 13 июня на поезде, отходящем в 10 часов 50 минут, МЦ с Муром уезжают надето в Верхнюю Савойю, где в окрестностях городка Сен-Лоран Сергей Яковлевич нашел им кров. На вокзал подбежал Гронский, принес МЦ забытую ею у него на днях тростниковую маленькую ручку. 18 июня МЦ пишет Гронскому из Сен-Лорана: «Милый Николай Павлович. В саду ручей, впрочем не сад, а лес, и не лес, а тайга: непродёрная. Над щетиной елей отвес скал. Все прогулки — вниз, мы последний жилой пункт. Почты нет, пишите на: S<ain>t Pierre-de Rumilly Chateau d'Acine (H<au>te Savoie)[203] мне. Завтра у Вас экз<амен>, ни пуху ни пера! Третья гроза за 2 дня. Электричество потухло, пишу при уютной керосиновой лампе. Мур спит. Немножко обживусь — напишу подробнее. Спасибо за проводы и неизменную преданность». Приписка на полях: «МУР — ЧИТАЕТ И ПИШЕТ!!!»

Дивная альпийская хижина, дому ровно сто лет, еще застал Гёте, настоящая изба с громадным чердаком, каменной кухней и одной комнатой объемом во всю мёдонскую квартиру. От станции полторы версты, от Сережи — три версты, возле станции — деревня, горстка домов с большой церковью. МЦ страшно довольна и хочет, как Мур говорит: «Сначала жить здесь, а потом — умереть!» Сереже лучше, сильно загорел, немного потолстел, работает на огороде, но все еще кашляет. Видятся с ним каждый день, Мур дорогу к замку знает. Мур в полном блаженстве: во дворе их хижины молотилка, телега, тут же сеновал, колода от бывшего колодца. Аля еще в Париже, живет у Лебедевых, держит экзамен в школе при Лувре.

Новое поручение Гронскому: «Милый Н<иколай> П<авлович>. Большая просьба. 28-го июня, т. е. на днях, в нашей квартире будет трубочист, необходимо, чтобы кто-нибудь был в ней с 8 ч<асов> утра. Если можно — переночуйте, чтобы не опоздать. Печка у нас в ужасном виде, прочистить необходимо, а звать отдельно осенью будет дорого, да и не дозовешься. Ключ у Али, т. е. у прислуги Жанны — 18 bis, Rue Denfert-Rochereau, кв<артира> Лебедевых».

Аля сдала экзамены на отлично, 28 июня прибыла в Савойю. МЦ пишет Саломее: «Сердечное спасибо за память и за иждивение. <…> Сюда в августе собирается Д<митрий> П<етрович>[204]. Не соберетесь ли и Вы? В замке — чудно. Больных (серьезных) нет». Начались грибы. Есть земляника. Чудная погода. Для ходьбы по горам местными ремесленниками изготовляются специальные палки. Аля много снимает на фотоаппарат — пейзажи, людей, саму МЦ. В горы ходят за земляникой, места змеиные, кусты колючие, ноги и руки изодраны в кровь. Здесь изумительно, но — кроме молока и сыра ничего нет. За картошкой, овощами, хлебом и прочим надо отправляться на рынок в соседний городок Ла-Рош, куда добираются то пешком, то на поезде: двенадцать километров туда и обратно.

К МЦ приблудилась собака-пастух, четырехглазая собака, то бишь на собакиных надбровьях природа изобразила нечто похожее на еще одни глаза. В поезде из Ла-Роша за нее пришлось заплатить пять с половиной франков, то есть вчетверо дороже, чем за человека. А вообще вокруг народ чудный: вежливый, радушный, честный, добрый — как во времена Руссо. Он в этих местах провел всю молодость. МЦ пишет письма на идиллических видовых открытках: «В Савойе. — На горе. Коровы на пастбище» или «Ущелье Эво и Скалы форелей».

Гронский выполнил поручение насчет трубочиста. МЦ

зазывает его в свое альпийское небожительство: «Идея: почему бы Вам не проехать в С<ен->Лоран? Ночевали бы на сеновале, где часто ночует С<ергей> Жковлевич>, засидевшись до срока закрытия замка. Сеновал чудный, свод как у храма. Из Гренобля в С<ен->Лоран совсем недалеко, С<ергей> Жковлевич> дважды ездил к Афонасову». К кому, к кому? МЦ искажает фамилию Николая Вонифатьевича Афанасова (Атанасова), евразийца, работника отдела распространения газеты «Евразия». Воевал на стороне белых, через Болгарию доехал до Парижа. У них с Эфроном свои дела, свои разговоры. Может быть, именно тогда Сергею Яковлевичу было сделано предложение от советских спецслужб. Может быть, любовное его помрачение тоже как-то связано с этим — chercher la femme[205]. Какой шпионский фильм — без красавицы?..

МЦ тех разговоров не знает, а Гронскому дает одновременно пару новых поручений. Первое касается проекта Эренбурга, задумавшего собрать высказывания русских писателей о странах Западной Европы — Франции, Германии, Италии — для серии книг. «Книга будет переводиться на все яз<ыки> и пойдет в Сов<етскую> Россию, жаль было бы, если бы мой голос отсутствовал». Надо было найти давнюю — от 13 декабря 1925 года — МЦ не помнила точной даты — публикацию ее «О Германии» в «Днях» и, если будут трудности, потревожить от ее имени Александра Федоровича Керенского, главного редактора «Дней», сказав, что Марина Ивановна *«издает книгу прозы»*. Второе поручение — романтическое: найти у знакомого книгопродавца старинное издание «Ундины» Фридриха де ла Мотт Фуке. Стихотворный перевод Василия Жуковского МЦ знала с детства. Она украдкой отправила Гронскому 200 франков и попросила, если затея удастся, прислать ей книгу в качестве подарка от себя, Гронского, и стереть резинкой цену. Ученик получает уроки уловок, которые оказались тщетными. Ни то ни другое не получилось. Гронский выразился обобщающе многозначительно: «Уплыла Ундина». И сам не приехал. Книга: *Эренбург И., Савич О.* Мы и они: Франция (Берлин: Петрополис, 1931) — цветаевских текстов не содержала. Гронский зря старался: за отсутствием в редакции свободного экземпляра в два приема переписал очерк от руки.

Удалось другое. Нанни Вундерли-Фолькарт в ответ на жалостливую («ничего не имею и живу подаянием») просьбу МЦ прислала ей несколько книг, прежде всего, по-видимому, — опус о Рильке его первой вдохновительницы Лу Андреас-Саломе: на заре их отношений ей было тридцать шесть, ему двадцать один, и эта песня длилась четыре года. МЦ обещает Вундерли-Фолькарт в

октябре показать «Элегию для Марины». А позднее — когда-нибудь — и копии его писем. Но не для того, чтобы это стало обнародованным, то есть, на ее взгляд, разбазаренным и преданным.

К МЦ приехала Елена Александровна Извольская. Это именно она в свое время — в 1925 году — перевела на французский язык те стихи Пастернака, с которыми тогда познакомился Рильке и виделся с переводчицей в Париже. Она была дочерью русского посла во Франции (1910–1917) Александра Петровича Извольского. Ее приезд — радость, но и нагрузка: гостья поступила на полный пансион МЦ. Ей отвели единственное свободное помещение, нечто вроде погреба, — в альпийской хижине пребывают и некоторые члены семьи Туржанских. Живут как в пустыне, в самой примитивной обстановке, из двух примусов один совсем угас, а другой непрерывно разряжается нефтяными фонтанами, но все в доме неизмеримо счастливы.

Чистой радости не бывает. Болен Мур. Свалился в ручей, и хотя тотчас же был извлечен и высушен, застудил себе низ живота. Доктор сначала подумал, что — нервное, прописал бром, бром не помог, тогда прописал ежедневные (даже два раза в день) горячие ванны, приволокли за двенадцать километров цинковую бадью, и с третьей ванны — простуда. Лежит в постели, на строгой диете, очень похудел. К тому же он пострадал от ржавого гвоздя, который пытался согнуть ногой, — гвоздь, проткнув толстую подошву сандалии, впился ему в ногу.

Кроме того, Святополк-Мирский перестал доплачивать за санаторию Сергея Яковлевича. На пару дней Мирский заглянул в шато д'Арсин, подымался в сторону Сен-Лорана к МЦ, мычал, молчал. Хмур, неисповедим. Разговорить невозможно. Должно быть — плохи дела. МЦ не знала: он только что напечатал статью «Почему я стал марксистом» (Дейли уоркер. 1931. 30 июня). У некоторых разваливаются семьи. У того же Сувчинского, например. Вера Александровна уезжает в Лондон, кажется — к Мирскому. Тот, став марксистом, готовится к отъезду в СССР.

МЦ доплачивала за д'Арсин остатками заработанного на ее вечере, теперь все иссякло. Аля пишет этюды и вяжет — множество заказов, чудная вязка. Сергей Яковлевич не толстеет, но чувствует себя хорошо, доктор находит, что ему лучше, но до полного выздоровления еще далеко. Написал две вещи (проза) — очень хорошие, на взгляд МЦ.

Далеко в Париже вспыхивают литературные страсти. Теперь — вокруг группы «Перекресток», собравшей преимущественно молодых поэтов под крылом Ходасевича, в группу не входящего. Он защищает их на страницах «Возрождения» (1930. 10 июля),

ему отвечает Адамович в «Числах» (1930. № 2/3): «перекресточники» ограничили себя поисками формы. О ком речь? Довид Кнут (придумавший имя группы), Юрий Терапиано, Георгий Раевский, Нина Берберова, Владимир Смоленский, Юрий Мандельштам — народ грамотный, в этом году они издали два общих сборника, их зовут в свой салон в Пасси, на улице Колонель Бонне, Мережковские, но чаще всего они толкутся в кафе «Ла Болле» на улице Де-л'Ирондель, в Латинском квартале. Среди столиков витают тени Уайльда и Верлена. Но МЦ, изредка заглядывавшую в «Ла Болл», в принципе всё это мало волнует, особенно сейчас, в сени Скалы форелей.

Вокруг — обилие маленьких городков, но МЦ никуда не выходит и нигде еще не была, ни в Анси, ни в Эксе, ни в Шамони, куда ей совсем не хочется, хочется в Анси — из-за Руссо, чью «Исповедь» она только что кончила читать: там есть эпизод о его побеге из мастерской гравильщика, где он был в учениках, из-за несправедливого наказания. Оказавшись в Анси без денег и крыши, он сделался любовником приютившей его дамы, сильно превосходившей его возрастом.

В городок Тонон съездил Сергей Яковлевич. Подробности — в письме МЦ Родзевичу от 15 августа, в день рождения Наполеона: «Завтра утром уезжает Е<лена> А<лександровна> <…> Вчера Сережа с Нат<алией> Ник<олаевной>[206] ездили в Thonon — по желанию С<ережи> *без* меня — всё еще удивляюсь, но начинаю привыкать. Всю жизнь меня убеждал, что без меня жить не может и загубил мне этим немало — из немногих моих! — прекрасных дней. (Что скучает без меня *каждый час.)* Думаю, что более меня была удивлена Нат<алия> Ник<олаевна> — А м<ожет> б<ыть> мне самой хотелось в Annecy с Вами одним *(наверное* даже!) не поехала же — потому что неловко — и жаль. Дай ему Бог на этой дороге — успеха. <…> Обнимаю Вас. Письмо уничтожьте *непременно».* Слышится какая-то покорность судьбе. «Начинаю привыкать».

МЦ доперевела «Мóлодца». Пришла пора стихам памяти Маяковского. Это редчайшая редкость — от начала до конца ее знаний о нем Маяковский избежал перемен ее настроений. Это было незыблемое «Здорово в веках, Владимир!». Прощание с ним она только так и мыслила — цикл «Маяковскому»:

Чтобы край земной не вымер
Без отчаянных дядéй,
Будь, младенец, Володимер:
Целым миром володей!

Не умер, а родился — вот что произошло 14 апреля 1930 года. Это похоже на то, что она записала в августе 1921 года: «Смерть Блока я чувствую как вознесение». Маяковский — событие, какое происходит раз в столетье. Американские ботинки, в которых он возлежит в гробу, у МЦ становятся великанскими сапогами-скороходами:

В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал —
Никаким обходом ни объездом
Не доставшийся бы перевал —

Израсходованных до сиянья
За двадцатилетний перегон.
Гору пролетарского Синая,
На которых праводатель — он.

Что за словарь? Откуда сей пролетарский пророк Моисей? Все та же гора — что в «Поэме Горы», что в «Новогоднем». У Маяковского самого в стихах были то «го́ры горя», то так:

Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса — гора Килиманджаро.
Только с карты африканской — Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом
от горя горблюсь.
Мир
хотел бы
в этой груде го́ря
настоящие облапить груди-горы.
…..
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.

(«Про это»)

Пролетарий проговорился, оказался белой косточкой, и в предсмертной записке у него другой стих: «Любовная лодка разбилась о быт».

И полушки не поставишь
На такого главаря.
Лодка-то твоя, товарищ,
Из какого словаря?
…..
То-то же, как на поверку
Выйдем — стыд тебя заест:
Совето-российский Вертер.
Дворяно-российский жест.

Только раньше — в околодок,
Нынче ж…
— Враг ты мой родной!
Никаких любовных лодок
Новых — нету под луной.

Здесь слышен свежий, только что приобретенный ею опыт. Все любовные лодки одинаковы.

МЦ давно не писала лирики. Она и поэму о Есенине не смогла написать по причине ухода от нее лирики. Ее неоплаканный Есенин взял реванш на сей раз — за счет смерти соперника. Третий поэт — МЦ — устроила их встречу:

— Здорово, Сережа!
— Здорово, Володя!
А помнишь, как матом
Во весь твой эстрадный
Басище — меня-то
Обкладывал? — Ладно

Уж… — Вот те и шлюпка
Любовная лодка!
Ужель из-за юбки?
— Хужей из-за водки.

Опухшая рожа.
С тех пор и на взводе?
Негоже, Сережа.
— Негоже, Володя.

Это второй после «Новогоднего» плач по собрату. Очерк «Герой труда» начал череду ее трудов, вызванных смертью современника. Семь стихотворений памяти Маяковского по стилистике, пожалуй, ближе к очерку о Брюсове, чем к «Новогоднему»: суховато, строго, не без горького сарказма. Финальный аккорд реквиема соответствует жанру:

Много храмов разрушил,
А этот — ценней всего.
Упокой, Господи, душу усопшего врага твоего.

Цикл «Маяковскому» будет опубликован в «Воле России» за 1930 год (№ 11/12).

А пока что — все те же хлопоты и письма. Саломее Андрониковой-Гальперн — 20 сентября 1930 года: «Дорогая Саломея, зная Ваше доброе сердце, еще просьба, даже две: 9-го Окт<ября> (26-го сент<ября> по-старому) мой день рожденья — 36 лет — (недавно Але исполнилось 17)[207] подарите мне по этому почтенному, чтобы не написать: печальному, случаю две пары шерстяных чулок, обыкновенных, прочных, pour la marche[208], хорошо бы до 9-го, ибо замерзаю. На 38–39 номер ноги. Это — первая просьба. Вторая же: если у Ирины (дочь Саломеи. — *И. Ф.*) есть какая-нибудь обувь, ей ненужная, ради Бога — отложите для Али. Горы съели всё, т. е. и сандалии и башмаки, а наши дела таковы, что купить невозможно. Аля носит и 38 и 39 и, по желанию, 40-вой, преимущественно же 39-й. Так что, если что-нибудь освободится и еще держится — не отдавайте никому. На ressemelage[209] мы способны». Все будет сделано, как МЦ просит. 3 октября: «Огромное спасибо за чудные чулки — как раз по мне и уже на мне. Ходила за ними вчера на почту под отъездный колокольный коровий звон».

В начале октября, 9-го, вернулись в Мёдон. Четырехглазая собака осталась в Савойе. На что жить? Ниоткуда ничего. Вся надежда на «Мóлодца», дважды переведенного — Алеком Броуном и самостоятельно, полгода работы. Пристроить свой перевод МЦ попробовала через пастернаковского друга Шарля Вильдрака, французского поэта и драматурга, вхожего в парижские редакции. Они обменялись трудами — он прислал ей пару своих книг, она ему — рукопись перевода. Встречались, общались, но из дружбы этой ничего не вышло: дружбы не вышло.

Вышло письмо, важное для понимания цветаевского подхода к стиху. Это письмо состоит из фрагментов разных писем МЦ Вильдраку.

<Мёдон, 1930 г.>

Дорогой господин Вильдрак, я получила письмо Ваше, и книгу. Не ответила Вам раньше лишь из нежелания превращать Ваш летний отдых в эпистолярный. Но поскольку Вы уже вернулись…

Вы спрашиваете меня, почему я рифмую свои стихи:

Я католик, я крещеный. У меня есть пес ученый. Очень я его люблю, Хлебом я его кормлю!

(Жако, 6-ти лет, сын лавочницы из нашего дома) Если бы указанный автор указанного четверостишия возгласил:

«Я — христианин, обладатель собаки, которую кормлю хлебом», — этим бы он ничего не сказал ни себе, ни другим: этого бы просто не было; а вот — есть.

Вот почему, господин Вильдрак, я рифмую стихи.

…..

Белые стихи, за редчайшими исключениями, кажутся мне черновиками, тем, что еще требует написания, — одним лишь намерением, не более.

Чтобы вещь продлилась, надо, чтобы она стала песней. Песня включает в себя и ей одной присущий, собственный — музыкальный аккомпанемент, а посему — завершена и совершенна и — никому ничем не обязана.

(Почему я рифмую! Словно мы рифмуем — «почему»! Спросите народ — почему он рифмует; ребенка — почему рифмует он; и обоих — что такое «рифмовать»!)

…..

Вот попытка ответа на Ваш — легчайший! — упрек мне в том, что звуковое начало в моих стихах преобладает над словом, как таковым (подразумевается — над смыслом)! — Милый друг, всю свою жизнь я слышу этот упрек, просто — жду его. И Вы попали в точку, ничего обо мне не зная, с первого взгляда (по первому слуху)! Однако Вы оказались проницательнее других, сопоставив не только звук и смысл, но и — слово (третью державу!) Упрек же Ваш, вместо того чтобы огорчить или опечалить, заинтересовал меня, как повод к спору, из которого сама я могла бы немало извлечь для себя.

Я пишу, чтобы *добраться до сути,* выявить суть; вот основное, что могу сказать о своем ремесле. И тут нет места звуку вне слова, слову вне смысла; тут —

триединство.

Поймите, дорогой господин Вильдрак, я защищаю не свой перевод «Мóлодца» — не самое себя, а свое дело: *правое*

Я Вам буду только благодарна, если Вы укажете мне те или иные темные — или просто неудачные — или невнятнозвучащие — места, тем более что я — иностранка. Я могу плохо владеть рифмой — согласна; но Вам никогда не убедить меня в том, что рифма сама по себе — зло[210].

Приходят неприятности со стороны. Попал в очередную — серьезную — аварию сын Раисы Николаевны Ломоносовой, мотоциклист, повредил ногу, возможна ампутация. Пастернак получил отказ в загранице, написал об этом МЦ прямо на каком-то бюрократическом бланке. Сильный удар: страстно хотел. Восемь безвыездных лет.

Мур становится великаном, в Медоне ему тесно, на все натыкается и свирепеет. Про Монблан сказал: «Хорошая гора. Только — маленькая». МЦ водит его в детский садик за три километра.

Сергей Яковлевич поступил на курсы кинематографической техники, по окончании которых сможет быть оператором. Работать шофером такси или на заводе «Рено» ему не по силам. У него все время усталость, с самого утра.

В конце октября 1930-го приходит повестка, уже вторичная, на квартирный налог — 450 франков. Это грозит описью имущества уже через неделю. МЦ призывает Гронского, чтобы он с ее доверенностью пошел в редакцию парижского журнала экономики и социальной жизни «France et Mond» («Франция и мир»), где напечатана (1930. № 138) глава «Мóлодца» — «Fian? ailles» («Помолвка»). Получить гонорар — целая история, морока, еле-еле разрешившаяся.

Нанни Вундерли-Фолькарт подсылает второй том писем Рильке. МЦ в припадке благодарности рисует картину своего существования: «Изнурительная, удушающая нищета, распродаю вещи, что были мне подарены, вырученные 20–30 франков тут же улетучиваются, дочь вяжет, но за свитер с длинными рукавами — две недели труда, не меньше, ибо есть еще множество других дел! — дают всего лишь 50 франков. Я умею только писать, только хорошо писать, иначе давно бы разбогатела. Целых шесть месяцев я работала, переводя на французский мою большую поэму «Мóлодец», теперь она готова, выйдет в свет с рисунками Натальи Гончаровой, великой русской художницы, но когда, где?

Придется ждать, чтобы не обесценить вещь. С русской эмиграцией лажу плохо, ибо — к ней не принадлежу. <…> Я совсем одинока, и в жизни, и в работе — как во всех школах моего детства: за границей — «русская», в России — «иностранка» — со многими друзьями, которых никогда не видела и не увижу. Совсем одна — с моим *голосом».*

Тескова и Ломоносова шлют помощь, МЦ обеих благодарит, особенно Ломоносову: «Самые вопиющие долговые глбтки — заткнуты», попутно сгущая краски: «Кстати, журнал («Франция и мир». — *И. Ф.)* до сих пор — т. е. почти год прошел — не заплатил мне за нее ни копейки». Заплатил. Елена Извольская содействует в овеществлении «Мóлодца»: подарила православную службу (молитвенник) на французском языке — отыскала! — и теперь переписывает на машинке всю вещь — длинную — 105 страниц, работает шестнадцать часов в сутки, иногда и восемнадцать. Вся эта работа — и автора-переводчика, и ее помощницы — пошла прахом. Поэма без результата поскиталась по маршруту: редакция ежемесячника «Нувель Ревю Франсез» — издательство «Галлимар» — редакция журнала «Коммерс».

Сидя в кафе «Ротонда» в промежутке между занятиями на кинематографических курсах, Сергей Яковлевич пишет 10 декабря 1930 года сестре Лиле: «Конечно мы увидимся! Я не собираюсь кончать свою жизнь в Париже, вообще не собираюсь «кончаться» или скончаться. Помоги только мне выбиться на новую дорогу. Особенно, если ты так же как и я относишься к синема».

Недотыкомка серая
Всё вокруг меня вьется да вертится, —
То не Лихо ль со мною очертится
Во единый погибельный круг?

Недотыкомка серая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою, —
Помоги мне, таинственный друг!

Недотыкомку серую
Отгони ты волшебными чарами,
Или наотмашь, что ли, ударами,
Или словом заветным каким.

Недотыкомку серую
Хоть со мной умертви ты, ехидную,

Чтоб она хоть в тоску панихидную
Не ругалась над прахом моим.

1 октября 1899

Знал ли Сергей Яковлевич эти стихи Федора Сологуба? Конечно же знал.

Мур 31 декабря 1930 года сказал матери:

— Не понимаю, зачем жена нужна?

— Чтоб в доме порядок был.

— Но ведь мама есть.

Глава вторая

Новый год — 1931-й — МЦ, Сергей Яковлевич и Мур встретили в семье Извольских, в узком кругу их родственников и друзей. Сергей Яковлевич был мрачен, зато ел настоящего диккенсовского гуся, фаршированного луком и шалфеем, и пил настоящее французское шампанское. Отоспались вповалку на огромном диване, под розовым атласным одеялом. Аля не с ними: в своем первом розовом вечернем длинном шелковом платье — с Лебедевыми на вечере Красного Креста.

Главным — единственным — педагогическим объектом МЦ становится Мур. Ася подсылает книжки для детей советских авторов — от Евгения Шварца до Самуила Маршака. Муру стукнуло шесть лет, и 18 февраля он собственноручно благодарит: «Милый Ася и Андрюша[211]! Мне так приятно получать посылки из России, что я даже прыгаю. Больше всего мне понравилось про водолазов и про обезьян». МЦ пишет статью «О новой русской детской книге», предлагает «Новой газете» (редактор М. Слоним; выходила в Париже с марта по май 1931 года) — статья не принята[212]. Без движения лежат законченный «Перекоп» и переведенный «Мóлодец». МЦ опять обращается за помощью к Николаю Павловичу Гронскому — перепечатать на машинке «Перекоп» (тысяча строк): есть надежда издать отдельной книжкой. Тщетная надежда. В одном из французских литературных салонов ее французский «Мóлодец» был выслушан в гробовом молчании. Признание, разумеется, придет, однако: «Все это — потом, когда меня не будет, когда меня «откроют» (не отроют!)».

В начале февраля 1931 — го в Париже останавливается Борис Пильняк — проездом в США. Знакомство их завязывается с разговора о Пастернаке. Выясняется, что Пастернак сейчас живет у Пильняка на улице Ямской по причине ухода от жены Жени, у него началась Зинаида Николаевна. На МЦ накатывают тяжелейшие, ревнивейшие мысли о своей никому-не-нужности, никогда-никем-нелюбимости, некрасивости, а тут еще и половина брови отчего-то вылезла, профессор прописал массаж и мышьяк — не растет, «так и хожу с полутора бровями».

При всем при том внешне у Пастернака литературные дела — в полном порядке: «Спекторский» выходит отдельным изданием в Государственном издательстве художественной литературы, «Охранная грамота» — в кооперативном «Издательстве писателей в Ленинграде».

МЦ пишет Ломоносовой: «Встретилась еще раз с Пильняком.

Был очень добр ко мне: попросила 10 фр<анков> — дал сто. Уплатила за прежний уголь (48 фр<анков> и этим получила возможность очередного кредита. На оставшиеся 50 фр<анков> жили и ездили 4 дня. А не ездить — С<ергей> Я<ковлевич> и Аля учатся — нельзя, а каждая поездка (поезд и метро) около 5 фр<анков>». Раиса Николаевна письмо с этим фактом показывает знакомым, уговаривая помочь МЦ.

Еще не успел отбыть Пильняк — в Париж приехал Игорь Северянин. Два концерта — 12 и 27 февраля, МЦ была на последнем, который состоялся в зале Шопена (Pleyel, 252, rue du Faubourg-St.-Honore), публика — те, которых она ни до, ни после никогда ни в каком литературном зале не видала: все пришли, привидения пришли, притащились, призраки явились — поглядеть на себя, послушать — себя, — МЦ пишет ему, Северянину, утром 28-го, у нее, как у немцев, лучшая голова — утренняя: «Среди стольких призраков, сплошных привидений — Вы один были — жизнь: двадцать лет спустя». Это было первое сознание ПОЭТА за девять лет после России. Соловьем пропев свои стихи, он умолчал сонет о ней:

Блондинка с папироскою, в зеленом,
Беспочвенных безбожников божок,
Гремит в стихах про волжский бережок,
О в персиянку Разине влюбленном.

Пред слушателем, мощью изумленным,
То барабана дробный говорок,
То друга дева, свой свершая срок,
Сопернице вручает умиленной.

То вдруг поэт, храня серьезный вид,
Таким задорным вздором удивит,
Что в даме — жар, и страха дрожь — во франте.

Какие там «свершенья» ни верши,
Мертвы стоячие часы души,
Не числящиеся в ее таланте…

«Задорный вздор» не лишен северянинского восхищения. Сонет написан в 1926 году и тогда же напечатан в варшавской газете «За свободу» от 29 августа. МЦ его не знала, судя по ее восторженному письму Северянину. Которое, впрочем, до него — не дошло, оставшись черновиком. Что поделаешь, вся жизнь — черновик.

В начале марта Пастернак написал ей о своих делах сердечных, она ответила на откровенность откровенностью: «С Р<одзевича> — никого не любила. Его вижу часто, он мне предан, обожает Мура, *ничего* не чувствую».

В «Возрождении» 7 марта 1931 года появилось интервью МЦ, взятое у нее Надеждой Городецкой: «В гостях у Цветаевой». Встретились они на одном из парижских вокзалов, МЦ привела Мура, расположились в кафе. Городецкая отмечает: «в ней есть что-то мальчишеское». МЦ рассказывает о «Перекопе» и «Мóлодце», русском и французском, о «Царской семье», ничего вызывающего не говорит, Мур деликатно намекает: мама, когда мы пойдем отсюда, я вот так заверну рукава. Значит, пора расходиться. Эхо интервью оказалось странным: Сергею Яковлевичу закрыли доступ в одно более или менее левое издание.

Внезапно пришел просвет. Оказалось, что в конце прошлого года Министерство иностранных дел Чехословацкой Республики направило своему генеральному консулу в Париже письмо: «Так как средства Фонда помощи для русских на следующий год значительно ограничены, Министерство иностранных дел может оказать содействие в поддержке за границей только тех русских эмигрантов, которые имели заслуги перед ЧСР в прошлом и которые в настоящее время работают в пользу ЧСР. По этой причине Министерство иностранных дел оставляет возможность предоставления пособия только следующим русским эмигрантам: Алексею Ремизову, Константину Бальмонту, Марине Цветаевой, остальным <…> пособие приостанавливается с 31.12.1930 г.». МЦ получала пособие до конца 1931 года. О ней опять похлопотали Анна Антоновна Тескова и Марк Львович Слоним.

Евгения Извольская выходит замуж, уезжая в Японию. Встает вопрос: какое чтение взять с собой? Ей советуют: Библию и поэтов. МЦ для себя записывает: «Я бы, кажется, <взяла> Temps perdu[213] Пруста (все икс томов!), все 6 (или 8) томов Казановы — лучше восемь! — Русские сказки и былины — и Гомера (немецкого)». Эккермана — «Разговоры с Гёте» — тоже и даже прежде всего.

Уезжает Е. А. Извольская, та которая могла бы стать другом (времени не было!) — замуж — навсегда.

У всех своя жизнь, всем — некогда («в субботний вечер выпиваем и рассказывать Вам не можем») свободное время — на любовь, меня не любят, любят — даже не: красивых — нарядных. Платья у меня есть, и румяна есть. *Охоты* нет. Нет, очевидно, охоты к любви, или к тому, что так называется.

Люблю вещи за их красоту, не для своей, не за свою в них. Безотносительно. Серебро — *бессеребряно*. М. б. даже — в ущерб себе («Вам коричневый не идет», да, но — я к нему иду: ногами, — руками тянусь).

В короткий срок моей красоты (золотые волосы, загар, румянец) от меня все-таки — опомнившись, всмотревшись, испугавшись — уходили. Чего же ждать теперь с моим — цветом пепла — в достоверной печной золе — лицом, волосами, всем. Серого (снаружи!) никто не любит.

Ну, а я люблю — (кого-нибудь)? Нет. Я бы и Рамона Наварро[214] (в морском!) не любила, если бы встретила — даже в Тулоне. Так — улыбнулась бы — как на цветок. Цветов никогда не разрешила себе любить (за явность красоты — и еще за то, что — все любят), любила — деревья, без явности соблазна.

Семья? Даровитый, самовольный, нравом и ухватками близкий, нутром, боюсь (а м. б. — лучше?) *новый* — *трудный* — Мур.

Вялая, спящая, а если не спящая — так хохочущая, идиллическая, пассивная Аля — без больших линий и без единого угла.

С<ережа> рвущийся.

Вырастет Мур (Аля уже выросла) — и эта моя нужность отпадет. Через 10 лет я буду совершенно одна, на пороге старости. С прособаченной — с начала до конца — жизнью.

Аля действительно взрослеет, крупнеет, наливается соками, ее громкий частый хохот — стала хохотушкой — раздражает, мать одергивает ее, в ответ: «Вы хотите, чтобы мне было тридцать лет», дома ей скучно, она с утра до вечера где-то пропадает, отодвигается, заводит собственную жизнь, однако не столь радикально, как это кажется матери, и многие домашние хлопоты по-прежнему лежат на ней, Але, она подсчитывает расходы на починку вещичек:

«Мамины чулки коричневые:

1 дырка средняя — 10 с<антимов>

1 дырка маленьк<ая> — 5 с.

1 дырка средняя — 10 с.» и т. д.

Кипят домашние ссоры всех со всеми. На требования МЦ к детям отец — при них — обрушивается на нее:

— Это — идиотизм.

Ежемесячно им, четверым, на жизнь нужно тысячу франков, — если бы найти четырех человек, чтобы давали по 250 франков! Вроде стипендии.

МЦ курит, как в Советской России, в допайковые годы,

окурковый табак — полная коробка окурков, хранила про черный день и дождалась. Сергей Яковлевич *безумно* кашляет, сил нет слушать. Она идет в аптеку.

— Есть ли у вас какой-нибудь недорогой сироп? Франков за пять?

— Нет, таких вообще нет, самый дешевый 8 франков 50 сантимов, вернете бутылку — 50 сантимов обратно.

— Тогда дайте мне на один франк горчичной муки.

Новая информация от Сергея Яковлевича о Муре — для Лили: «Мой Мур все время рвется в Россию, не любит французов, говорит запросто о пятилетке (у него богатая советская детская библиотека, присланная Асей), о Днепрострое и пр<очем>. Ко мне привязан предельно. Способностей и ума невероятного».

В апреле на Пасху Мур впервые был у заутрени, видел такую позднюю ночь, стояли на воле, церковка была переполнена, не было ветра, свечи горели ровно — в руках и в траве — прихожане устроили иллюминацию в стаканах из-под горчицы, очень красиво — сияющие узоры в траве. 30 апреля 1931 года МЦ записала:

> Я: — «От юности моея мнози борют мя страсти…»
> Мур, на каком это языке?
> — Славянском.
> — А кто на нем говорит?
> — Отец Андрей — и больше никто.

Сергей Яковлевич продолжает учение на курсах Пате, заработков никаких, порой у него нет франков даже на марки, чтобы ответить сестре — поблагодарить за щедрую присылку книг о советском кино. Все присланное — в самую точку. Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум — «Поэтика кино» — очень нужны. На эту тему он пишет и публикует заметки в «Новой газете» (1931. № 4. 15 апреля): «Долой вымысел: о вымысле и монтаже» и в «Воле России» (1931. № 3/4): «Советская кинопромышленность». Он сдает письменный и устный экзамены и начинает брать частные «уроки кручения», но «продвигаться здесь в моем возрасте в роли оператора ужасно трудно. Французы страшные националисты и каждый иностранец для них бельмо на глазу. Поэтому одновременно пишу о кино». Человеку под сорок. Какое кручение?..

С ним произошел удивительный случай. Он почти случайно, по необязательному делу зашел к пожилой даме, проживающей в Париже на улице, ведущей к Монпарнасскому кладбищу. Говорит ей: рядом с вашим домом похоронены мои родители и брат. И вдруг она меняется в лице:

— Позвольте, позвольте, так значит, вы сын Елизаветы Петровны? Вы знаете, что у меня стоит ее письменный стол? После ее смерти меня попросили взять его. Я никогда не знала вашей матери, но стол хранила в продолжение двадцати двух лет!

Так через двадцать два года в его руки попадает мамин стол.

Вслед за уезжающей Извольской, раздающей книги и сжегшей на прощанье ненужные бумаги, МЦ по инерции жжет у себя дома бумаги, под руку ей попадает газетная вырезка — фельетон, а там — стихи Мандельштама:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

(«Не веря воскресенья чуду…»)

Стихи, посвященные ей, приписали какой-то «женщине-врачу на содержании у армянского купца». Автор фельетона «Китайские тени» — Георгий Иванов[215]. МЦ возмущена до глубины души. Она садится за «Историю одного посвящения». Несколько смещая хронологию и последовательность событий, на выдуманную «быль» она отвечает слегка домысленным «подстрочником», в основе достоверным, излагая, как это было у нее с Мандельштамом летом 1916 года, когда появились стихи, ей посвященные, начиная с «Не веря воскресенья чуду…».

В «Историю…» попадают и собственное детство, и резковатый портрет матери, и лаборатория своего творчества, и обожание белой бумаги, и свои стихи, написанные до знакомства с Мандельштамом, и «всеэмигрантские казармы» — русский дом на авеню де ля Гар, и Владимирская губерния с прапращуром Ильей Муромцем, и Гумилёв со стихом о Распутине «Мужик», и история красного бычка, и замечательная речь няньки-волчихи Нади, и живописные очерки Александрова и Коктебеля, и печаль вперемешку с полемикой — много чего.

Этот мемуар она предполагает отдать в «Волю России», а пока суд да дело, читает его на своем вечере 25 мая 1931 года в зале «Эвритмия» на улице Кампань Премьер. 31 мая, на Троицын день, пишет Саломее:

> Вечер прошел с полным успехом, зала почти полная. Слушали отлично, смеялись где нужно, и — насколько легче (душевно!) читать прозу. 2-ое отд<еление> были стихи — мои к М<андельшта>му, где — между нами — подбросила ему немало подкидышей — благо время

прошло! (1916 г. — 1931 г.!) (Он мне, де, только три, а ему вот сколько!) А совсем закончила его стихами ко мне: «В разноголосице девического хора», — моими любимыми.

Денежный успех меньше, пока чистых 700 фр<анков>, м<ожет> б<ыть> еще подойдут, — часть зала была даровая, большая часть 5-франковая, «дорогих» немного. Но на кварт<ирный> налог (575 фр<анков>) уже есть — и то слава Богу. Хотя жаль. <…>

<*Приписка на полях*> <…> Да! Читала я в красном до полу платье вдовы Извольского и очевидно ждавшем меня в сундуке 50 лет. Говорят — очень красивом. Красном — во всяком случае. По-моему, я цветом была — флаг, а станом — древком от флага.

Запись из дневника поэтессы Христины Кротковой: «Только что с вечера Марины Цветаевой. Билеты дорогие, но публики довольно много. С изрядным опозданием на деревянной сцене появляется она — в ярко-красном вечернем платье, декольте. Держит себя очень непосредственно, но почти не бестактно. Звонкий, не низкий голос, которым она прекрасно владеет. Вероятно, из нее вышла бы неплохая актриса».

Георгия Иванова на вечере не было. Был Адамович, отозвался в парижской «Иллюстрированной России» (1931. № 26):

Марина Цветаева каждой весной устраивает свой вечер.

В этом году в программе его, кроме стихов, были «Воспоминания о Мандельштаме».

Убежден, что далеко не всем, кто будет эти строки читать, имя Мандельштама известно. Странная судьба у этого поэта. В кругах литературных его стихи ценятся необычайно высоко, «на вес золота», можно было бы сказать. Анна Ахматова назвала его первым русским поэтом, — и это было при жизни Блока. Но в «широкую публику» он не проник. Есть на это причины, конечно, — их долго бы излагать.

Итак, Марина Цветаева рассказывала о Мандельштаме. Не могу сказать, чтобы рассказ был достоин внимания. Скорее, наоборот. Было в нем много мелочей, много пустяков, еще больше полемического задору, — и хоть в полемике Цветаева была права, слушать ее было досадно и тягостно. Раз в год выступает она — умный, талантливый человек — и не находит ничего поинтереснее, о чем бы поделиться со слушателями. О том же Мандельштаме рассказать можно было совсем иначе, совсем

другое.

Во втором отделении Цветаева читала стихи. Если бы оценивать стихи отметками, то за некоторые надо было бы поставить Цветаевой ноль, за другие двенадцать с плюсом.

«История одного посвящения» опубликована не была. В Париже, да и в самой Москве, еще не знают, что 17–18 марта 1931 года Мандельштам написал «За гремучую доблесть грядущих веков…». В концовку этой вещи — «И меня только равный убьет» — он вкладывал отнюдь не межпоэтические взаимосвязи, бери выше: поэт и царь. На эту тему МЦ вот-вот выйдет сама в «Стихах к Пушкину». Он о ее истории о нем никогда не узнает.

Шикарная вещь — чужое красное платье до земли. У МЦ есть и свое старое, черное, до колен, но Извольская перед отъездом подарила ей распоротое девическое платье своей матери — жены посла, рожденной баронессы Толль, платью 50 лет (если не 55), пролежавшее в сундуке — чудного шелка и цвета: чисто-красного. Перешила на себя. Это ее первое собственное платье за шесть лет. Перед этим обзавелась новыми башмаками фирмы «Semelle Uskide», купленными на полученные через посредника деньги от Раисы Николаевны. Все это совмещается с антивещизмом: «Мёдон, 3-го июня 1931 г. (нынче впервые была на Колониальной выставке[216]. Любуюсь всем — Господи, до чего мне всё не нужно (не насущно) что не слово!)» Откуда бы быть вещизму? У нее дома на четверо человек — четыре простыни. На Колониальной выставке она была два раза, лучшее на ее взгляд — негры из Конго, то есть их жилища и искусство. Портит выставку множество ресторанов и граммофонов с отнюдь не колониальной музыкой, а самыми обыкновенными тенорами и баритонами. Но, если в синий день, в полдень (когда все завтракают, то есть отсутствуют) да еще среди чудных гигантских благожелательных негров — можно почувствовать себя действительно за тридевять земель и морей.

Сергей Яковлевич превыше сих услад и забот. 29 июня 1931 года — самое важное — Лиле:

У меня к тебе спешное и серьезное дело. Я подал прошение о сов<етском> гражданстве. Мне необходима поддержка моего ходатайства в ЦИКе. Немедля сделай все, чтобы найти Закса[217] и попроси его от моего имени помочь мне. Передай ему, что обращаюсь к нему с этой просьбой с легким сердцем, как к своему человеку и единомышленнику. Что в течение пяти последних лет я открыто и печатно высказывал свои взгляды и это дает мне право так же открыто просить о гражданстве. Что в моей

честности и совершенной искренности он может не сомневаться.

Мое прошение пошло из Парижа 24 июня. Следовательно нужно оч<ень>торопиться.

Не думай, что я поеду не подготовив себе верной работы. Но для подготовки тоже необходимо гражд<ан>ство. <…>

Одновременно написал Горькому и Пастерн<аку>.

Он не дождался ответа ниоткуда.

Откуда к МЦ в 1931 году — без всякого юбилейного повода — явился Пушкин? От Гончаровой, от них обеих — Наталий. При этом с Натальей Сергеевной МЦ дружила, пока о ней писала, а кончила — ни одного письма от нее за два года. Пастернак, связь с которым явственно ослабла, возвращается на ее орбиту в новом свете. У нее возникает домодельная антропологическая версия явления Пастернака.

> Дорогой Борис, я стала редко писать тебе, п. ч. ненавижу случайность часа. Мне хотелось бы, чтобы я писала тебе, а не такое-то июня в Медоне. <…>
>
> Начну со стены. Вчера впервые (за всю с тобой — в тебе — жизнь), не думая о том, что делаю (и делая ли то, что думаю?), повесила на стену тебя — молодого, с поднятой головой, явного метиса, работу отца. Под тобой — волей случая — не то окаменевшее дерево, не то одеревеневший камень — какая-то тысячелетняя «игрушка с моря», из тех, что я тебе дарила в Вандее, в 26-том. Рядом — дивно-мрачный Мур, трех лет.
>
> Когда *я* — т. е. все годы *до* — была уверена, что мы встретимся, *мне бы и в голову, и в руку не пришло так выявить* тебя воочию — себе и другим. Ты был моя тайна — от всех глаз, даже моих. И только закрыв свои — я тебя видела — и ничего уже не видела кроме. Я свои закрывала — в *твои.*
>
> Выходит — сейчас я просто тебя из себя — изъяла — и поставила — как художник холст — и возможно дальше — отошла. Теперь я могу сказать: — А это — Б. П., лучший русский поэт, мой большой друг, говоря этим ровно столько, сколько сама знаю.
>
> Морда (ласкательное) у тебя на нем совершенно с Колониальной выставки. Ты думал о себе — эфиопе? арапе? О связи — через кровь — с Пушкиным — Ганнибалом — Петром. О преемственности. Об ответственности. М. б. после Пушкина — до тебя — и не

было никого? Ведь Блок — Тютчев — и прочие — опять Пушкин (та же речь!), ведь Некрасов — народ, т. е. та же Арина Родионовна. Вот только твой «красивый, двадцатидвухлетний»… Думаю, что от Пушкина прямая расходится вилкой, двузубцем, один конец — ты, другой — Маяковский.

Если бы ты, очень тебе советую, Борис, ощутил в себе эту негрскую кровь (NB! в 1916 г. какой-то профессор написал 2 тома исследований, что Пушкин — еврей, т. е. семит: ПЕРЕСТАВЬ[218], ты был бы и счастливее, и цельнее, и с Женей и со всеми другими легче бы пошло. Ты бы на многое, в тебе живущее, — свое насущное — стал вправе. Объясни и просвети себя — кровью. Проще. <…>

Пушкин — негр (черная кровь, падение Фаэтона — когда вскипели реки — и (это уже я!) негрские волосы) самое обратное самоубийце, это я выяснила, глядя на тебя на стену. Ты не делаешь меня счастливее, ты делаешь меня умнее.

Что касается «какого-то профессора»: МЦ о тех исследованиях толком не знала. Работа «А. С. Пушкин (Антропологический эскиз)» профессора антропологии и этнографии Московского университета Д. Н. Анучина публиковалась в 1899 году, к столетию Пушкина, в газете «Русские ведомости», в этом же году выпущен отдельный оттиск работы, в которой давалась новая антропологическая справка о прадеде Пушкина. Анучин писал, что «тип абиссинцев не может быть отождествлен с семитским; он воспринял в себя, несомненно, семитскую примесь, как с другой стороны и примесь крови негров, но в массе населения он является своеобразным, занимающим как бы среднее положение между семитским — даже типом брюнетов белой расы вообще — и негритянским. Эта своеобразность типа оправдывает выделение абиссинцев совместно с галласами, нубийцами, египтянами и т. д. в особую антропологическую расу, которой обыкновенно теперь придают название хамитской». Анучин анализировал сохранившиеся портреты Пушкина, в том числе и словесные, и нашел, что «некоторый семитический оттенок был присущ физическому типу Пушкина».

В эти июньские дни — опять-таки случайно и все-таки не случайно — она встречается с внучкой Пушкина.

Белобрысая, белобровая, белоглазая немка, никакая, рыбья, с полным ртом холодного приставшего к нёбу сала (жирно

картавит).

— У Вас есть какой-нибудь листок Пушкина?

Она, с удовлетворением и даже горделивой улыбкой:

— Ни-че-го. Папá все отдал в Академию наук. <…> Читаю Стихи к Пушкину, разрываюсь от волнения — что перед внучкой. Одиноко — разрываюсь, ибо не понимает ничего и не отзывается — никак. (Е<лена> Н<иколаевна>[219], за всех хвастливая, спешно объявляет ей, что я самая великая и знаменитая поэтесса и т. д. — чего наверное не думает.) <…>

Из моих стихов к Пушкину — самых понятных, то, с чего все и повелось: «Бич жандармов, бог студентов — Желчь мужей, услада жен» — не поняла ничего и не отозвалась ничем, ни звуком (даже: гмм…).

Внучка Пушкина — и я, внучка священника села Талиц.

Что же и где же — кровь.

Пушкин, при всем этом, конечно, присутствовал незримо, не мог не — хотя бы из-за юмора положения.

И, несмотря на: ни йоты, ни кровинки пушкинских, несмотря на (наконец, нашла!) рижскую мещанку — судорога благоговейного ужаса в горле, почти слезы, руку поцеловала бы, чувство реликвии — которого у меня нету к Пушкину — но тут два довода и вывода, к<отор>ые, из честности, оставляю оба:

первое:

ибо Пушкин — читаю, думаю, пишу — жив, в настоящем, даже смерть в настоящем, сейчас падает на снег, сейчас просит морошки — и всегда падает — всегда просит — и я его сверстница, я — тогда; она же — живое доказательство, что умер: Пушкин во времени — и неизбежно в прошлом — раз мы (внучки) приблизительно одного возраста

и второе:

ибо Пушкин — все-таки — моя мечта, мое творческое сочувствие, а эта — его живая кровь и жизнь, его вещественное доказательство, его четверть крови…

Из этого (кажется, для обоих — вывод, сейчас спешу, не успею додумать — вывод: насколько жизнь (живое) несравненно сильнее — физически-сильнее, ибо судорога, слезы, мороз по коже, поцелуй руки — физика — самой сильнейшей, самой живейшей мечты, самая убогая очевидность (осязаемость) самого божественного проникновения.

Казалось, не я это говорю, я, всю жизнь прожившая мечтой, не мне бы говорить, но — мое дело на земле — правда, хотя бы против себя и от всей своей жизни.

«Бич жандармов, бог студентов»? Ну, это вряд ли так на

самом деле. Ни этим бичом, ни студенческим богом Пушкин никогда не был. МЦ накладывает на Пушкина мифологизированного Лермонтова («Прощай, немытая Россия…») да Некрасова, на похоронах которого студенты кричали о его первенстве относительно Пушкина. В ее пушкинском цикле — разумеется, *семь* стихотворений — больше от чтения Викентия Вересаева («Пушкин в жизни»), чем самого Пушкина. Больше от Пастернака, его строк:

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и — Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы в тупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.

(«Тема и вариации»)

Колониальная выставка перемешалась с давним-дав-ним Гурзуфом, когда пушкинское «К морю» овеществлялось настоящим Черноморьем, той стихией, что позже была напрочь разлюблена. Фантазия о полюбовных отношениях царя Петра и «негра» Пушкина доведена до некоего антимонархизма (ненависть к Николаю I) по причине внутриэмигрантских баталий. Так старик Иловайский, столп монархии, презирал и судил последнего царя. «Пушкин в меру пушкиньянца!» Это уже привет Ходасевичу. Самоощущение правнучки Пушкина — салют пушкинской внучке. «Стихи к Пушкину» в действительности — стихи к тому кругу людей, которому брошена перчатка:

Пушкиным не бейте!
Ибо бью вас — им!

Как это нередко бывает, главное и лучшее сказано на полях основного текста. И это — лирика.

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны на карте —
Нет, в пространстве — нет.

Выпита как с блюдца, —
Донышко блестит.
Можно ли вернуться
В дом, который — срыт?

Заново родися —
В новую страну!
Ну-ка, воротися
На спину коню

Сбросившему! Кости
Целы-то — хотя?
Эдакому гостю
Булочник — ломтя

Ломаного, плотник —
Гро́ба не продаст!
То́й её — несчетных
Верст, небесных царств,

Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России — нету.

— Как и той меня.

Конец июня 1931

В июле она собирает Сергея Яковлевича на море (Ille de Batz, Бретань), ловить раков, на две недели — в долг, сообщая Саломее (вслед за просьбой об иждивении): «Пишу хорошие стихи». Он уезжает не к морю, а в горы — в замок д'Арсин. Она пишет стихи, более чем хорошие:

Нет, бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили:
То зубы царевы над мертвым певцом
Почетную дробь выводили.

Такой уж почет, что ближайшим друзьям —
Нет места. В изглавьи, в изножьи,
И справа, и слева — ручищи по швам —
Жандармские груди и рожи.

Не диво ли — и на тишайшем из ложе
Пребыть поднадзорным мальчишкой?
На что-то, на что-то, на что-то похож
Почет сей, почетно — да слишком!

Гляди, мол, страна, как, молве вопреки,
Монарх о поэте печется!
Почетно — почетно — почетно — архи —
Почетно, — почетно — до черту!

Кого ж это так — точно воры ворá
Пристреленного — выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора —

Умнейшего мужа России.

Медон, 19 июля 1931

Июньско-июльское стихописание пополнится в августе-сентябре 1931-го неистовой «Одой пешему ходу», элегическими «Домом» и «Бузиной». В общем и целом определяются две линии — отвержение машинизированного сегодня и тоска по той стране, которой нет.

В это время образуется некая структура под названием Комитет (Общество) помощи Марине Цветаевой. Было составлено обращение Комитета с призывом помочь ей. МЦ пишет 31 августа Тесковой: «Если получите печатный (на машинке) листок — не удивляйтесь: Вам такие вещи не нужны, но другим импонируют». Общество собралось женское — Елена Извольская, Саломея Андроникова-Гальперн, Лидия Карсавина, Маргарита Лебедева, Натали Клиффорд-Барни. Анна Тескова пишет Альфреду Бему: «А у меня ведь опять заботы, заботы с Цветаевой! Получила на машинке писаную грамоту от г-жи Карсавиной. Извещает меня, что Цветаевой всегда было плохо (относительно денег), но сейчас уже так плохо, прямо нищета». Только что МЦ претерпела навязанный ей квартирной хозяйкой ремонт жилья, Аля пребывает в Бретани у Лебедевых, Сергей Яковлевич — в замке д'Арсин.

Саломея присылает из Швейцарии две открытки, на одной — фото церкви в местечке Рарон, где похоронен Рильке, на второй — фото самой могилы. Саломея пишет: «О Вас же думала в поездке, как видите: была на могиле Рильке и посылаю Вам снимок церкви, у кот<орой> он похоронен, могилу и цветы с

могилы, кот<орые> сорвала для Вас». 7 сентября МЦ отвечает ей: «Аля в Бретани, лето у меня ка-торжноватое, весь день либо черная работа, либо гулянье с Муром по дождю под непрерывный аккомпанемент его рассуждений об автомобиле (-билях) — марках, скоростях и пр. Обскакал свой шестилетний возраст (в ненавистном мне направлении) на 10 лет, надеюсь, что к 16-ти — пройдет (выговорится! ибо не молчит ни секунды — и все об одном!)». К слову, в предыдущем — июльском — письме она цитирует Мура: «Мама, какая у Вас голова круглая! Как раз для футбола! Вот я ее отвинчу и буду в нее играть ногами». Она все еще не может отдать его в первоначальную (подготовительную) школу. Ей кажется, что там слишком много чужих и непомерные нагрузки и вообще ему будет там плохо, потому что он велик ростом, толст, мало знает французский и не похож на французских мальчиков. Ему шесть, и в Париж она привезла его девятимесячным ровно шесть лет назад.

В порыве благодарности она посвящает Саломее большую эссеистическую работу, которая затянется до весны будущего года и будет называться «Искусство при свете совести». В декабре МЦ проведет свой очередной вечер, ничем ярким не отмеченный, а Сергей Яковлевич в письме Лиле подведет итоги 1931 года:

Я очень долго был совсем без работы. С месяц как раздобыл место у одного американского изобретателя нового строительного материала (вид картона). Работа, как видишь, совсем не по моей специальности — но не скучная и на том спасибо. Пока получаю совсем мало (200 fr. в неделю), а работаю до 7 ч. вечера. Прийдя домой — валюсь в постель, так что жизни совсем не вижу. Во Франции такая поголовная безработица, что выбирать сейчас не приходится — хватай, что дают, чтобы не сдохнуть с голода. В первую очередь, конечно, страдают иностранцы, к<оторы>х отовсюду гонят.

Если у американцев дело пойдет — мне обеспечен на долгое время хлеб и приличный заработок.

Кино-продукция здесь тоже при последнем издыхании, Общество за обществом летят в трубу. Пока что вся моя прошлогодняя работа пропала даром. Ограничиваюсь тем, что стараюсь не отстать от передовой кинолитературы. И это очень трудно — *совершенно* нет досуга.

Мы живем плохо. Но и это плохое на фоне общей нужды может показаться удачей. Самое горькое для меня — отсутствие людей, среды, какая-то подвальная жизнь, когда приходится все силы напрягать, чтобы в одиночку продержаться.

Событий в моей жизни — никаких, или такие, о к<оторы>х

и писать нечего.

Дети подрастают. Аля — совсем взрослая и мне всегда странно, что она моя дочь. Нас принимают за брата и сестру. Она продолжает работать над гравюрой и идет в школе первой. Несмотря на то что она первая ученица — я не особенно верю, что это ее призвание. Пишет она гораздо сильнее, чем рисует, да и подход к живописи и рисунку скорее литературный.

Мур — мальчик боевого самоутверждения. Оч<ень> умный и способный, но дисциплине поддается слабо. <…>

Из последних сов<етских> книг очень одобряю «Гидроцентраль» Шагинян и «Кочевников» Тихонова. Читала ли?

МЦ поздравляет Раису Николаевну Ломоносову с Новым годом, к письму приложена «иконка» — рождественская картинка работы Али. Гордиться Алей есть основания — она первая в своей школе по трем специальностям: иллюстрация, литография, гравюра. МЦ просит Саломею пристроить ее в какой-нибудь модный журнал.

Нарушая счет, МЦ подбивает свои итоги в письме Тесковой от 1 января 1932 года: «Во Франции — за семь лет моей Франции — выросла и от меня отошла — Аля. За семь лет Франции я бесконечно остыла сердцем… <…> Ехать в Россию? Там этого же Мура у меня окончательно отобьют, а во благо ли ему — не знаю. И там мне не только заткнут рот непечатаньем моих вещей — там мне их и писать не дадут. Словом, *точное* чувство: мне в современности *места нет*».

О чем она думает, пиша вот эти стихи? —

Ни к городу и ни к селу —
Езжай, мой сын, в свою страну, —
В край — всем краям наоборот! —
Куда назад идти — вперед
Идти, — особенно — тебе,
Руси не видывавшее

Дитя мое… Мое? Ее —
Дитя! То самое былье,
Которым порастает быль.
Землицу, стершуюся в пыль,
Ужель ребенку в колыбель
Нести в трясущихся горстях:
«Русь — этот прах, чти — этот прах!»

От неиспытанных утрат —
Иди — куда глаза глядят!
Всех стран — глаза, со всей земли —
Глаза, и синие твои
Глаза, в которые гляжусь:
В глаза, глядящие на Русь.

Да не поклонимся словам!
Русь — прадедам, Россия — нам,
Вам — просветители пещер —
Призывное: СССР, —
Не менее во тьме небес
Призывное, чем: SOS.

Нас родина не позовет!
Езжай, мой сын, домой — вперед —
В свой край, в свой век, в свой час, — от нас
В Россию — вас, в Россию — масс,
В наш-час — страну! в сей-час — страну!
В на-Марс — страну! в без-нас — страну!

Январь 1932 («Ни к городу и ни к селу…»)

О чем она думает?!.

Слухи о смерти ее лирики оказались преувеличенными.

Весной будет ровно десять лет после России. В декабре было ровно пять лет после Рильке. От фрау Вундер-ли-Фолькарт приходит книга ранних дневников и писем Рильке, изданная дочерью Рильке — Рут и ее мужем Карлом Зибером в 1931 году. Получено и письмо от Рут Зибер-Рильке (о МЦ ей сообщила Фолькарт) — просьба отдать в рильковский архив оригиналы или копии писем Рильке к МЦ. МЦ отвечает обтекаемо: «— Вы имеете полное право на всего ушедшего. Ваше право на него — его право на самого себя. Вам я верну его письма. <…>…когда хронологически этим письмам подойдет черед… <…> Вы обратитесь ко мне еще раз, да? Поживем — увидим, может, я все-таки соглашусь. Кроме меня никто не читал этих писем. Лишь Элегию я переписала для Бориса Пастернака, сына художника Леонида Пастернака (друга Р<ильке>) и — *величайшего поэта России.* (Отнеситесь с терпеньем ко мне и моему письму — нам *не обойтись* без длиннот!)».

У МЦ появляется идея перевода на французский ее, цветаевскими силами, всех трех томов писем Рильке или по крайней мере русской выборки из них — на русский и

французский. «Итак, дорогая госпожа Нанни, если Вы готовы оказать мне милость — напишите обо мне и моем предложении в издательство «Insel» или наследникам: русская поэтесса Марина Цветаева, знающая французский как свой родной — умеет не только писать на нем, но и сочинять стихи — хотела бы перевести письма Рильке на французский язык и спрашивает, свободна ли еще эта работа». Предложение не прошло, и дочь Рильке переписку не поддержала.

На вечере МЦ 17 декабря 1931 года молодой барон Анатолий Штейгер подошел к ней и вскоре подарил свою книжку «Эта жизнь. Книга вторая» с надписью: «Марине Ивановне Цветаевой, великому поэту. От глубоко преданного А. Штейгера». На книжке она оставила пометку: «Хранить. МЦ».

Она быстро отзывается: «О книжке: чувство недостаточной задетости тем, что Вы пишете, недостаточной насущности: необходимости». Отзывом она не ограничилась: «Кончу просьбой. Как ни странно — кончу просьбой. Вы третий человек, которого прошу. Первый не отозвался. Второй замял, может быть — Вы». Ей страшно нужна Сигрид Унсет: «Кристин — дочь Лавранса. Часть 1. Венок» на немецком. Через день (27 января) пишет Тесковой: «Сигрид Унсет. Sigrid Unsed: Der Kranz — Die Frau — Das Kreuz[220]. И вот — внезапное озарение: кто же мне подарит эти книги как не Вы, которая их — почти что писали и совсем жили?! Не все. Вторую часть: die Frau[221]. Первую мне, я почти уверена, подарит один здешний молодой поэт, к<отор>ый был в VII кл<ассе> Тшебовской гимн<азии>, когда Аля поступила в 1 кл<асс>». Тескова прислала ей «Die Frau» (Франкфурт-на-Майне, 1930): «Дорогой Марине Ивановне Цветаевой на радость… с любовью. *A. A. Teskova 24.III.32. Прага».*

Из газет МЦ узнает о выступлении Пастернака на поэтической дискуссии в середине декабря 1931 года, организованной ВССП (Всероссийский союз советских писателей). Умонастроениям МЦ соответствовала его мысль — «прежде всего нужно говорить о том, что нужно самому поэту: время существует для человека, а не человек для времени». МЦ готовит первый в жизни доклад «Поэт и время» — главу статьи «Искусство при свете совести», завершая такими словами: «Борис Пастернак — там, я — здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак — с Революцией, я — ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно. Это и есть: современность». Доклад состоится 21 января 1932 года в Доме Мютюалите (Взаимности) на улице Сен-Виктор, 24, при полном зале — зал небольшой, уютный. При сем — ни одного философа или критика, только поэты. Обменяются

мнениями, горячо выступит молодой поэт Алексей Эйснер.

С этим же докладом 12 марта МЦ поехала в Бельгию — в Брюссель — по приглашению Клуба русских евреев. Там произошел гнусный инцидент с хозяйкой весьма посредственного пансиона, куда МЦ поместили: в день приезда, во время фотографирования хозяйку, которая устроилась в центре группы, попросили уступить место МЦ, на что она заявила, что не собирается стоять с краю, когда «эта ободранная кошка» — на главном месте. Заплатили МЦ очень мало — 250 бельгийских франков вместо 500 французских, на которые она рассчитывала. Скудно оплачивались и публикации «Поэта и времени» в «Воле России» (1932. № 1/3) — на этом журнал прекратился, и у сербов в журнале «Руски архив» (1932. № 16/17; другая часть статьи, под своим названием, — № 18/19). Это было тем более печально, что семья МЦ — переезжала. Причина переезда — невозможность платить прежнюю цену за квартиру, не платили два месяца, задолжали 900 франков.

Переехали — в Кламар, улица Кондорсе, 101. Это произошло 31 марта 1932 года. Помогли — выехать и въехать — люди. Приятель Сергея Яковлевича, ныне шофер, В. А. Богенгардт без устали возил по вечерам ящики с книгами и всякий бытовой хлам. Половину квартирной платы (платеж по триместрам вперед) внесла Елена Александровна Извольская, которая *вернулась*. (Муж оказался маньяком и эгоистом, она не выдержала и уехала обратно — из Нагасаки в Мёдон — со старушкой-матерью семидесяти шести лет.) Новая квартира на 1200 франков в год дешевле, самая дешевая из всех виденных в Медоне и в Кламаре, на комнату меньше предыдущей и без ванной — словом, 2 1/2 комнаты и кухня. МЦ спит в кухне, большой и светлой.

Тесковой МЦ пишет 8 апреля: «В Медоне мы прожили пять лет. В Мёдоне вырос Мур. В Мёдоне в трех минутах был лес и в трех — вокзал. В Мёдоне на десять домов девять старых. В Мёдоне когда-то охотились короли. Кламар новый, плоский и скучный. С трамваем. С важными лавками. Может быть — *придется* полюбить, но — <…> Очередное радостное событие — русская Пасха. В этом году Мур впервые будет говеть, ибо ему 1-го февраля исполнилось 7 лет. Он за эту зиму сильно-похудел, ели плохо. Ходит раз в неделю в русскую четверговую школу — Закон Божий и русский. Остальное время — дома, читает, пишет и рисует. И — гуляет».

Теперь в соседстве с МЦ Черновы и Андреевы, с которыми она общалась в Чехии. Близкий сосед — Бальмонт. В Кламаре, в двухэтажном особняке, подаренном богатой поклонницей, живет Бердяев, знакомый МЦ с 1910-х годов. К Бердяевым она вхожа. По

воскресеньям у Бердяевых чаепития. Их посещают Шестов, Федотов, Карсавин (живет совсем рядом с домом, куда переехала МЦ), — и она часто у Карсавиных бывает, дружа с Лидией Николаевной, его женой. Читает стихи. Карсавин имеет привычку цитировать МЦ в бытовых ситуациях. Ей эта игра нравится. А Кламар — нет. Не то что Мёдон, в старинных особняках с плющом. Кламар застроен четырех-пятиэтажками. Кламар находится по другую сторону мёдонского леса — и дом МЦ теперь дальше от леса, вдобавок еще больше замусоренного. Аля писала Саломее: «Жалею лес, которым утешались».

На новом месте — прежние занятия. Она долго и упорно пишет «Искусство при свете совести». Надеется: может быть, пойдет в «Современных записках», о чем старается Алексей Эйснер, страстный сторонник ее стихов. Статью там опубликовали (1932. № 50; 1933. № 51), сильно сократив.

По поэме Эйснера «Кочевье» названо литературное объединение. Познакомились недавно, он ей решительно нравится — смесь ребячества и настоящего самобытного ума. Лично — скромен, что дороже дорогого. Ему двадцать шесть, лермонтовский возраст, повоевать не успел, но он дружен с Сергеем Яковлевичем еще с пражских времен. Эйснер непрестанно думает о возвращении в Россию, откуда был вывезен в отрочестве на Принцевы острова.

И, бредовой надеждой возрожденный,
Я в день отъезда напишу стихи
О том, что красный Бонапарт — Буденный —
Любимый сын и шашки, и сохи.

1926 («Возвращение»)

Он сводит полюса, белых с красными, взрывную поэтику Цветаевой с классической розой Ходасевича: сам Эйснер писал по каноническим образцам. Увы, скромность его обернулась тем, что он бросил писать стихи, и это было тем более странно, что в час прощания со стихами (1932) появилось стихотворение, может быть лучшее у него:

Стихает день, к закату уходящий.
Алеют поле, лес и облака.
По вечерам и горестней, и слаще
Воспоминаний смутная тоска.

Вот так же хлеб стоял тогда в июле,

Но — кто глухую боль души поймет? —
Тогда певучие свистели пули
И такал недалекий пулемет.

И так же теплый ветер плакал в роще
И тучи низкие бежали до утра,
Но как тогда и радостней, и проще
Казалась смерть под громкое «ура».
…..
Ах, не вернуть. Ах, не дождаться, видно.
Весь мир теперь — нетопленый вагон.
Ведь и любить теперь, пожалуй, стыдно,
Да как и целоваться без погон!

Так или иначе, узнав о его уходе от стихов, МЦ резко охладела к нему. По крайней мере, он так истолковывал ее охлаждение к нему. А может быть, она чувствовала, что его любовь к родине не ограничивается сотрудничеством с Музой?..

Но это будет несколько позже, а нынешней весной МЦ и сама идет в том же направлении — через стихотворение «Родина»:

О неподатливый язык!
Чего бы попросту — мужик,
Пойми, певал и до меня: —
Россия, родина моя!

Но и с калужского холма
Мне открывалася она —
Даль — тридевятая земля!
Чужбина, родина моя!

Даль, прирожденная, как боль,
Настолько родина и столь
Рок, что повсюду, через всю
Даль — всю ее с собой несу!

Даль, отдалившая мне близь,
Даль, говорящая: «Вернись
Домой!» Со всех — до горних звезд —
Меня снимающая мест!

Недаром, голубей воды,
Я далью обдавала лбы.

Ты! Сей руки своей лишусь, —
Хоть двух! Губами подпишусь
На плахе: распрь моих земля —
Гордыня, родина моя!

12 мая 1932

Всё одно. Святополк-Мирский уезжает в СССР, перед этим напечатав откровенно просоветские статьи в английской прессе вплоть до брошюры «Ленин». Эфрон подает прошение на получение советского паспорта.

На оборотах листов из рабочей тетради — записной книжки — с вариантами стихотворения «Никуда не уехали ты да я…» (1932) МЦ пишет:

> Я не паразит потому что я работаю и ничего другого не хочу кроме как работать: но — свою работу, не чужую. Заставить меня работать чужую работу бессмысленно, ибо ни на какую кроме своей и черной (таскать тяжести, прочее) неспособна. Ибо буду делать ее *так,* что меня выгонят.
>
> «Переводы»? Переводить должны те которые не пишут своего, либо: (по мне) то, что я своему предпочитаю. *Рильке?* Согласна.
>
> Гордыня? Тоже согласна. В нищете и заплёванно-сти чувство священное. Если что-нибудь меня держало на поверхности *этой лужи* — то только она. И только ей — мой земной поклон.
>
> *Что дальше?* Не знаю.
>
> Никто на меня не похож и я ни на кого, посему советовать мне то или иное — бессмысленно.
>
> …..
>
> Если поеду в Россию — как расстанусь с тетрадями?
>
> …..
>
> Париж не при чем, эмиграция не при чем — то же было и в Москве и в Революцию.
>
> Я никому не нужна: мой огонь никому не нужен потому что на нем каши не сварить.
>
> *Кламар, 14-го или 15-го мая 1932 г. — Точка. —*

Дописав статью «Искусство при свете совести», МЦ сочла нужным прочесть доклад уже под этим названием, расширив проблематику. В «Последних новостях» (1932. 22 и 25 мая) анонсировано содержание доклада: «Искусство есть та же

природа. — Бесцельность, вненравственность и безответственность искусства. — Пушкинский гимн Чуме. — Поход Толстого на искусство. — Гоголь, жгущий Мертвые Души. — Поэт — орудие стихий. — Какова правда поэтов. — Состояние творчества есть состояние наваждения. — Кого, за что и кому судить. — Заключение». Оппоненты: Г. Адамович, В. Андреев, К. Бальмонт, С. Волконский. Е. Зноско-Боровский, Н. Оцуп, М. Слоним, В. Сосинский, Г. Федотов, А. Эйснер.

По следам вечера МЦ записывает:

26 мая 1932 г.

Реплики моим оппонентам на моем чтении «Искусство при свете Совести».

Слониму: — Природа не бесстрастна, ибо закон ее (один из ее законов!) борьба, со всеми ее страстями. Бесстрастно правосудие, знающее добро и зло и не прощающее.

…..

Я вовсе не говорила, что искусство судить нельзя, я только говорила, что никто его так осудить не сможет, как поэт.

…..

Бальмонту.

Моя тема не нова. Я не хочу нового, я хочу верного.

Милый Бальмонт, твои слова: «Гроза прекрасна, а сожженный дом и убитый человек — такая мелочь» — есть слова одержимого стихией. Твоими-то устами и гласят стихии.

…..

Адамовичу:

— Если Адамович мне не верит — дело в нем, а не во мне.

…..

Г. П. Ф<едотову>

«Добро отмирает в Царствии Небесном».

А я думала, что Царство Небесное — абсолютное добро, т. е. Христос.

С точки зрения красоты я совести — не вижу. Из-за совести — красоты не вижу. Совесть для меня, пока я на земле, высшая инстанция: неподсудная.

…..

Поплавскому:

Я была занята не грехом всей твари, а собственным грехом поэта.

Насчет древности я ничего не говорила. Совсем.

В чем увидел Поплавский мое благополучие? В том, что я столкнула искусство — с совестью?

Вопрос личной морали я не затрагивала, я затрагивала вопрос поэтовой морали: личной морали всей Поэзии.

А в общем Поплавскому я не могу возразить, п. ч. не знаю в точности о чем он говорил.

(NB! Никто — никогда — и меньше всего — он сам.)

А Эйснеру — спасибо за полноту внимания.

От статьи «Искусство при свете совести» остались лишь фрагменты.

Летом МЦ затеяла работу, побудительной причиной к которой явилось ее присутствие при уничтожении семейного архива Елены Извольской перед отъездом в Японию. МЦ тогда достались кипы чистой бумаги и едва начатая рабочая тетрадь Извольской. Это — тетрадь-ежедневник «Walker's «Year by Year» Book» — формат 19,5 на 14 см, в коричневом кожаном тисненом переплете с золотым обрезом. МЦ решила переписать набело обильную выборку из собственных рукописей — начиная с записей 1921 года, посвященных Волконскому, впечатлений от встреч с ним и черновиков писем к нему. На обороте шмуцтитула — заголовок рукой МЦ: «Записи из черновых тетрадей». На титуле, в правом верхнем углу, надпись бывшей владелицы: «Елена Извольская. 1916 г. Париж», посредине листа рукой МЦ — пояснительная надпись в скобках: *«(подарок Е. А. Извольской перед отъездом в Японию, Мёдон, апрель 1931* г.)». Хронологические рамки записей: 1921–1932 гг. Работала МЦ по осень включительно, заполнив тетрадь полностью — всего 192 листа. Листы 1—153 написаны синими чернилами, далее до конца тетради, а также позднейшие ремарки и пометки в тексте — черными.

Пометки МЦ таковы. Вот идет запись:

Как настигаемый олень
Летит перо.
Обманут день
И как хитро!
…..
4-го русск<ого> апр<еля> 1921 г.

Справа от стихотворения, поперек страницы: «Плохие стихи, не вошедшие в Ремесло. Дороги как память: о той Москве, той

тоске, той — мне. Пометка 1932 г.».

И тому подобное.

ЗАПИСИ С МОЕЙ СТЕНЫ

Сколь восхитительна проповедь равенства из княжеских уст — столь омерзительна из дворницких.

Внутренняя (жизненная) заражаемость при полнейшем отсутствии подражательности — вот моя жизнь и стихи.

Бог больше Мира. Мать больше ребенка, Гёте — больше Фауста. Стало быть мать Гёте — больше Гёте? Да, потому что — может быть — в ее недрах дремал нерожденный сверх-Гёте.

Ничтожен и не-поэт — тот поэт, жизнь к<оторо>го не поэма. — Опровергните!

(Для утверждения или опровержения нужно было бы сначала определить что такое поэма а главное не-поэма. 1932 г.)

Отрешенная женщина легче сходит с пути.

(а м. б. — и с ума. 1932 г.)

(Вроде предисловия к «Земным приметам»)

— Не читайте сразу: эта книга не писалась, а жилась и жилась 2 1/2 года. Прочесть ее в вечер то же самое что мне — прожить ее в вечер.

…Не судите сразу. Эта книга предвосхищенный Страшный Суд, с той разницей, что я-то говорю Богу, а меня-то будут судить люди. После нее мне Богу мало что останется сказать, если я что и утаила, то — чужие грехи, ценные Богу только из *собственных* уст.

Единственный недостаток книги — что она не посмертная. — Для вас. —

Но успокойтесь: я не в землю зарываю, а сжигаю!

(NB! Книга никогда не вышла. 1932 г.)

Летом Эренбург однажды сказал мне: есть только три жеста: жест Евы к Адаму, жест Адама (оберегающий) к Еве, жест Евы к ребенку и Авеля, оберегающегося от Каина. Все остальные — вытекли. <…>

Э<ренбур>гу, совершенно лишенному первичных жестов, не верю ни на копейку ни в чем. Слова — слова — слова. — 1932 г.

Заполнение тетради Извольской МЦ закончит в будущем 1933 году и начнет новую тетрадь, но внезапно — без объяснения причин — прервет эту работу вплоть до 1938 года, когда снова примется реставрировать прошлое.

Летом случайно возник одинокий катрен:

Дом, с зеленою гущей:
Кущ зеленою кровью…
Где покончила пуще
Чем с собою: с любовью.

14 июня 1932 Кламар

Десять лет первого письма Пастернака. Скоро сорок.

Сергей Яковлевич пишет Лиле 25 июня 1932 года:

Мне здесь с каждым днем труднее и отвратительнее. Я стосковался по своей работе — здесь же не работаю и не живу, а маюсь изо дня в день.

Единственное чем жив — мечтою о переезде. Уверен, что ждать теперь недолго. Вытянуть бы только.

О своей жизни писать не хочу — противно. <…> Думаю, что увидав меня ты порядком разочаруешься — не только потому, что я начал быстро стареть, а потому что от прежнего меня ни крупицы не осталось. Ты же меня представляешь и в прежнем теле и с прежним нутром.

Мы больше не живем в Медоне. Наш новый адрес (перепиши его в нескольких экземплярах) —

101 rue Condorset, Clamart (Seine). Этим летом, конечно, никуда не еду. <…> Обо мне не беспокойся и не принимай меня за «чудака» и «сумасшедшего». Я просто я.

Одиннадцатого августа 1932 года в Коктебеле умирает Максимилиан Волошин. Организуется вечер его памяти, Марк Слоним просит МЦ уговорить Бальмонта выступить на вечере. Тот наотрез отказывается. Кроме того, он в ужасном унынии — ничего не хочет и не ждет. Это были первые признаки душевной болезни, постигшей его в середине тридцатых годов. МЦ уже пишет о Волошине — больше, чем мемуар, целую повесть: «Живое

о живом». 13 октября МЦ читает прозу о Волошине в Доме Мютюалите. 16 октября — письмо Анне Тесковой:

> Пишу Вам в первый же свободный день — за плечами месяц усиленной, пожалуй даже — сверх сил — работы, а именно галопом, спины не разгибая, писала воспоминания о поэте М<аксе> Волошине, моем и всех нас большом и давнем друге, умершем в России 11-го августа. Писала, как всегда, одна против всех, к счастью, на этот раз, только против всей эмигрантской прессы, не могшей простить М. Волошину его отсутствие ненависти к Сов<етской> России, от которой (России) он же первый жестоко страдал, ибо не уехал.
>
> К<атерина> Н<иколаевна>[222] Вам расскажет о чтении. Так как надежды на печатание — ни здесь, ни в Сов<етской> России — нет, а писала я о М. В<олошине> для того, чтобы знали, мне пришлось читать почти целиком всю рукопись, т. е. 2 ч. 45 м<инут> подряд, с перерывом на 10 мин<ут>. Читала до самого закрытия зала. Зал (слушатели) был чудный (большинство женщины), слушали, несмотря на усталость — свою и мою — лучше нельзя.
>
> М. Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта и целым рядом блаженных лет (от лето) в его прекрасном суровом Коктебеле (близ Феодосии). — И стольким еще!.. <…>…С<ергей> Жковлевич> совсем ушел в Сов<етскую> Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет.
>
> Аля больна: нарыв от малокровия, совсем худая и сквозная. У меня нервы в отчаянном состоянии: чуть что — слезы градом и комок в горле. Всё это от нужды, т. е. тесноты, в к<отор>ой приходится жить. Вечно на глазах, никогда — одна. Утешаюсь только, когда пишу — или, случайно, чудом, оказываюсь одна на улице — хотя бы на пять минут. Тогда всё проходит. Если я больна — то только от совместности…

Одновременно — стихи. Разумеется — о горé, потому что Волошин завещал положить себя — на горе.

Товарищи, как нравится
Вам в проходном дворе
Всеравенства — перст главенства:
— Заройте на горе!

В век распевай, как хочется
Нам — либо упраздним,
В век скопищ — одиночества
— Хочу лежать один —
Вздох…
…..
Ветхозаветная тишина,
Сирой полыни крестик.
Похоронили поэта на
Самом высоком месте.

Так и во гробе еще — подъем
Он даровал — несущим…
Стало быть, именно на своем
Месте, ему присущем.

Выше которого только вздох,
Мой из моей неволи.
Выше которого — только Бог!
Бог — и ни вещи боле.
…..
В стране, которая — одна
Из всех звалась Господней,
Теперь меняют имена
Всяк, как ему сегодня

На ум или не-ум (потом
Решим!) взбредет. «Леонтьем
Крещеный — просит о таком —
то прозвище». — Извольте!

А впрочем, что ему с холма,
Как звать такую малость?
Я гору знаю, что сама
Переименовалась.

Среди казарм, и шахт, и школ:
Чтобы душа не билась! —
Я гору знаю, что в престол
Души преобразилась.

23 октября 1932 («Ici — Haut»[223])

Можно сказать и так, что свою *поэму горы* МЦ писала

пожизненно. Цикл памяти Волошина она продолжит через три года. А в конце 1932 года она напишет Пастернаку: «Милый Борис, я все горюю о Максе. Не носом в подушку, а — если хочешь — носом в тетрадь, п<отому> ч<то> от *тех* слез по крайней мере хоть что-нибудь остается».

У МЦ и Елены Извольской возникает план совместного проживания где-нибудь в отдельном домике с садом, поскольку Елене Александровне уже невмоготу тесниться в одном помещении со своей пожилой родней, держащей ее, сорокалетнюю, все еще за ребенка. Из этого ничего не вышло, и МЦ припоминает в связи с этим дедушку Крылова:

Нам страшно вместе быть с тобой.
И вот — скажу тебе не для досады:
Твоих мы песен слушать рады, —
Да только ты от нас подальше пой!

(Басня Крылова «Змея»; цитата неточна)

Верна себе, она вечно делает что-то *вместо* чего-то.

Ей дают на редактирование некие переводы — вместо редактирования МЦ переводит тексты заново, и все это задешево. Георгий Петрович Федотов — соредактор журнала «Новый град» (вместе с Ф. А. Степуном и И. С. Фондаминским, основателем журнала) — заказал ей статью о русских советских поэтах. Сперва думала писать о Пастернаке — вместо этого написала о Пастернаке и Маяковском. Вместо заказанного ей и обещанного ею объема — 8 страниц — написала в три раза больше — статья заняла 29 страниц в двух номерах: «Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)». (Новый град. 1933. № 6, 7.)

По поводу этой статьи и вообще своего образа жизни в письме к некой Неизвестной она сказала: «Я работаю так, как если бы завтра был Страшный Суд». Видимо, сама работа в области памяти уводит ее настолько далеко, что недавний немецкий фильм «Madchen in Uniform»[224] будит в ней рецидив забытых увлечений: четырнадцатилетняя киногероиня Мануэла влюбляется в учительницу, отчасти взаимно, и МЦ признается в любви к неизвестной женщине, о письме к которой позже спросит у себя: «— Кому?! — Очев<идно> подруге Изв<ольской> —. Елена Извольская знакомит ее со многими, в том числе с блестящей и богатой Натали Клиффорд-Барни (о которой речь впереди).

В шестую годовщину ухода Рильке — 29 декабря 1932 года —

МЦ проводит все в том же Доме Мютюалите вечер «Детские и юношеские стихи». В «Последних новостях» (1932. 29 декабря) анонсируется его содержание: «— Мои детские стихи о детях. — Мои детские революционные стихи. — Гимназические стихи. — Юношеские стихи». Вечер ей нужен опять-таки из финансовых соображений: семья готовится к переезду на другую квартиру.

В это время в Париже находится Исаак Бабель. Во Франции с 1925 года живет его жена Евгения Борисовна с их дочерью Татьяной. В Париже Бабель вместе с О. Е. Колбасиной-Черновой работает на местной киностудии над сценарием фильма «Азеф» по роману Романа Гуля. Работа вскоре — после двух сцен — прекратилась. Бабель интересуется бытом писателей-эмигрантов, дабы достоверно изобразить жизнь русской литературы в диаспоре. МЦ пишет ему: «С Новым Годом, милый Бабель! Прощаю Вам для него Ваше огорчительное и уже хронически упорное равнодушие к единственному не-эмигрантскому поэту эмиграции, к единственному тамошнему — здесь».

Письмо она не закончила.

Глава третья

Борис Пильняк в том разговоре сказал МЦ, что Пастернаку отказывают в заграница оттого, что он обращается туда, где только отказывают, то есть не туда. МЦ, по странному устройству ее мозга, тоже постоянно путала инстанции. Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции занимался с 1919 года благотворительностью, но в 1930-х годах помощь писателям распределял непосредственно Союз русских писателей (литераторов) и журналистов в Париже. МЦ продолжала обращаться в Комитет, называя его Комитетом помощи ученым и журналистам: «Прошу уделить мне пособие из сумм, собранных на новогоднем писательском вечере. Материальное положение мое крайне тяжелое». Такие вечера проводились традиционно каждый год.

Помощь ей оказывали, это были небольшие суммы в 100–150, много 160 франков. За деньгами она посылала Алю, которая сочиняла типовые расписки такого содержания:

«Получил<а> от Правления Союза Русских Литераторов и Журналистов в Париже сто шестьдесят франков, каковые обязуюсь возвратить Правлению при первой возможности. По доверенности матери своей М. И. Цветаевой.

Ариадна Эфрон.

Париж, 1933 года февраля 4-го дня».

В данном случае деньги были более чем кстати — Эфроны переехали: там же в Кламаре, на улицу Лазар Карно, 10. Жили они там с 15 января 1933-го по 1 июля 1934-го.

Круговорот поэзии в природе — вещь трудно постигаемая, и на каких углах поэты встречаются или расходятся, объяснить непросто. В «Истории одного посвящения» МЦ обронила слово «протокол» применительно к праву биографа на «быль». Запротоколируем факт: 28 марта 1933 года в зале «Societe savant»[225] на улице Дантона, 8, состоялся вечер под названием «Андре Жид и СССР», организованный журналом «Числа», в девятом номере которого был напечатан отчет о вечере: «После вступительного слова Г. Адамовича, пытавшегося уяснить психологические причины эволюции Андре Жида, Д. Мережковский красноречиво охарактеризовал советский строй, как неслыханное рабство, уничтожающее и умертвляющее не только тело, но и дух. После выступлений А. Даманской и Г. Федотова слово было дано Вайяну-Кутюрье, выступившему с крикливой апологией советского строя и коммунизма. Вайяну-Кутюрье чрезвычайно убедительно возразил М. Слоним,

подчеркнувший, что он говорит от лица соц<иал>-революционеров и критикует утверждения Вайян-Кутюрье не справа, а слева, и, перефразировав слова самого А. Жида, заявил, что «коммунизм есть плохо играемая пьеса».

Речь Слонима вызвала шумное одобрение большинства и не менее шумные протесты многочисленных коммунистов, присутствующих в зале. Для МЦ эта перепалка послужила поводом… замириться с оппонентом — Георгием Адамовичем.

Clamart (Seine)
10, Rue Lazare Carnot
31-го марта 1933 г.

Милый Георгий Викторович, Большая просьба: 20-го у меня доклад — Эпос и лирика Сов<етской> России — т. е. то, что печаталось в Нов<ом> Граде + окончание, как видите — приманка сомнительная. Не можете ли Вы придти мне на выручку, т. е. сказать о сов<етской> поэзии, что угодно, но заранее дав мне название, — как бы ни коротко то, что Вы собираетесь сказать, — чтобы мне можно было дать в газетах. На этот раз мне придется выезжать на содокладчиках, ибо вещь во-первых коротка, во-вторых частично уже напечатана, а другой у меня сейчас нету, п. ч. всю зиму писала по-французски[226].

Но — главное — будете ли Вы в Париже 20-го апреля? — (Четверг пасхальной недели).

Не пугайтесь содоклада, п.ч. прошу еще нескольких, — дело не в длительности, а в разнообразии, — если я устала от себя на эстраде, то каково публике!

Вечер, увы, термовый и даже с опозданием на 5 дней — но нельзя же читать о Маяковском как раз в первый день Пасхи!

Вы чудесно выступили на <Бл> [зачеркнуто] Жиде (почему я чуть было не написала о Блоке? М. б. в связи с Пасхой, — единственно о ком бы, и т. д.), т. е. сказали как раз то, что сказала бы я. Иного мерила, увы, у нас нету!

Между прочим, совсем недавно — «Последние новости» (1933. 2 марта) — Адамович в рецензии на очередной номер «Современных записок» (№ 51) написал: «Особняком, как всегда — Марина Цветаева. Кто ее стихи любит, тому придется по сердцу и «Дом». Почти то же самое мне хотелось бы сказать и о цветаевской статье, в этом номере законченной, — «Искусство при свете совести»: — кто Цветаеву любит, тот с увлечением

прочтет и эти ее размышления. Ни об искусстве, ни о совести, ни об искусстве при свете совести он решительно ничего не узнает. Но кое-какие сведения о самой Цветаевой, кое-какие данные для постижения ее щедрой и капризной натуры получит. Цветаева принадлежит к тем авторам, которые только о себе и могут писать. Пишет она, во всяком случае, интересно. Спасибо и на этом».

Пришел ли Адамович на ее вечер, неизвестно. Интересней другое — шаг МЦ к нему. Она отправила ему много писем с непонятной подписью, где хвалила его печатные высказывания, он не отвечал и уничтожал их. Потом пожалел.

Еще более интересно — МЦ повернулась и к Ходасевичу (июль 1933-го): «Помириться со мной *еще* легче, чем поссориться. Нашей ссоры совершенно не помню, да, по-моему, *нашей* и не было, ссорился кто-то — и даже что-то — возле нас, а оказались поссорившимися — и даже поссоренными — мы. Вообще — вздор. Я за одного настоящего поэта, даже за половинку (или как <в> Чехии говорили: осьминку) его, если бы это целое делилось! — отдам сотню настоящих не-поэтов».

Обращение к Ходасевичу вызвано необходимостью уточнить одно из мест, связанных с его именем в воспоминаниях МЦ о Волошине «Живое о живом», идущих в «Современных записках». Об этом ее попросил редактор журнала Вадим Викторович Руднев.

Здесь своя история. Руднев — человек богатой биографии: врач по профессии, бывший московским городским головой, в Париже занялся журналистикой. Совместно с М. О. Цетлиным и М. В. Вишняком он вел «Современные записки» в самые тяжелые депрессивные годы, добывая деньги на издание журнала. Точное языковое чутье Руднева соотносилось с журнальными законами — лаконизмом, литературной дипломатией и недвусмысленностью авторских высказываний. Это ущемляло вольных художников слова, и не только МЦ. Но ее — особенно, поскольку неизбежный конфликт в диалоге «автор — редактор» она воспринимала как схватку поэзии с антипоэзией. Некоторая ледовитость его характера, известная русскому литературному Парижу, была во многом вынужденной маской, из-под которой в сторону МЦ не раз выглядывало сочувственное человеческое лицо. По крайней мере именно Руднева она предпочитала его соредакторам Вишняку и Фондаминскому. «Живое о живом» резали по живому. МЦ обращается к Рудневу:

Clamart (Seme)
10, Rue Lazare Carnot

19-го июля 1933 г.

Милый Вадим Викторович,

Полное разрешение Ходасевича проставлять его имя: он мне вполне доверяет. Письмо его храню как оправдательный документ.

Я не знаю, кто правил корректуру, — Вы или М. Вишняк, но там предложены (карандашом) некоторые замены (мужской род на женский, знаки), которые я, в случае несогласия, восстанавливаю в прежнем виде, (речь о пустяках, упоминаю для очистки совести!) Мне очень жаль (Вам — нет, конечно!), что моя корректура идет к Вишняку, а не к Вам, мы с Вами хотя и ссоримся — но в конце концов миримся, а с Вишняком у меня никакой давности…

Ходасевич отлично помнит Марию Паппер[227] и, вдохновленный мною, сам хочет о ней писать воспоминания. Видите, какой у этих одиночек (поэтов) — esprit de corps[228] и имя дал — и сам вдохновился!

Написал мне, кстати, милейшее письмо, на которое я совершенно не рассчитывала — были какие-то косвенные ссоры из-за «Верст», и т. д.

Все это потому, что нашего полку — убывает, что поколение — уходит, и меньше возрастное, чем духовное, что мы все-таки, с Ходасевичем, несмотря на его монархизм (??) и мой аполитизм: гуманизм: МАКСИЗМ в политике, а проще: полный отворот (от газет) спины — что мы все-таки, с Ходасевичем, по слову Ростана в передаче Щепкиной-Куперник: — Мы из одной семьи, Monsieur de Bergerac! Так же у меня со всеми моими «политическими» врагами — лишь бы они были поэты или — любили поэтов.

А в общем (Мария Паппер — Ходасевич — я) еще один акт Максиного миротворчества. Я его, кстати, нынче видела во сне всю ночь, в его парижской мастерской, где я никогда не была, и сама раскрывала окно и дверь от его астмы.

Рукопись получила. Корректуру Вишняку — самое позднее — завтра. Я сейчас, после всей прозы, дорвалась до стихов и с величайшим трудом отрываюсь.

Всего лучшего! Спасибо еще раз за деньги к терму.

А в Булонь нам нужно непременно — хоть под булоньские каштаны — ибо Мур с 1-го окт<ября> начнет ходить в гимназию, к<отор>ая мне, кстати, очень понравилась. (Была на акте.)

Желаю Вам, милый Вадим Викторович, хорошего лета и полного отдыха от рукописей. Пускай Вишняк почитает!

МЦ.

МЦ отослала текст мемуара о Волошине — Маргарите Сабашниковой (его первой жене), указав на выкинутые места. Сабашникова ответила ей сердечным письмом, одновременно написав Марии Цетлиной: «Когда получилось известие о смерти Макса и мне стали посылать эти плоские и частью издевательские статьи о нем, мне хотелось найти Вас, и, зная, как Макс любил Вас обоих и как Вы с ним были дружны, просить Вас что-нибудь сделать, чтобы сохранить его образ, таким путем искаженный в эмиграции. Неужели мало его мученичества в Советской России! Между тем я получила от Марины Цветаевой ее прекрасные воспоминания о нем. Это миф о Максе, то есть правда о нем. Для многих эти воспоминания были большим удовлетворением. Макса больше знают и ценят в культурном мире, чем это можно думать. Один известный немецкий композитор, живший всегда в России, побывав теперь в Париже, где исполнялись его вещи, говорил мне, что в эмиграции подчас так же преследуется все духовное, как в Советской России. Я поверила ему, когда видела, что вычеркнула редакция «Современных записок» из воспоминаний. Это такое же безвкусие, как если бы в равеннских мозаиках замазали золотой фон. Все остальное без конца, который целиком вычеркнут, просто не имеет смысла, или имеет стиль анекдотов. Я слышала, что Вы имеете отношение к «Совр<еменным> запискам» и хотела просить Вас заступиться за Макса, спасти его истинный образ. Помните, каким верным другом он был всегда; он бы за каждого из нас заступился, и я думаю, что во имя этой дружбы Вы, верно, что-нибудь можете достичь в этом направлении. Эти последние страницы воспоминаний, как завет самого Макса — лучшее, что он дал нам. Это, действительно, «живое о живом»! И нужное душам, захлебывающимся в болоте». МЦ приложила это письмо к одному из своих писем в адрес Руднева.

А что Ходасевич? Он счел спорное место у МЦ неточным, но, минуя полемику, пошел ей навстречу, опубликовав в «Возрождении» (1933. 12 октября) эссе «Младенчество»: «Мы же с Цветаевой <…>, выйдя из символизма, ни к кому и ни к чему не пристали, остались навек одинокими, «дикими». Позже он уточнил и тот самый эпизод.

У МЦ — так:

А вот еще рассказ <Волошина> о поэтессе Марии Паппер.

— М. И., к вам еще не приходила Мария Паппер?

— Нет.

— Значит, придет. Она ко всем поэтам ходит: и к Ходасевичу, и к Борису Николаевичу, и к Брюсову.

— А кто это?

— Одна поэтесса. Самое отличительное: огромные, во всякое время года, калоши. Обыкновенные мужские калоши, а из калош на тоненькой шейке, как на спичке, огромные темные глаза, на ниточках, как у лягушки. Она всегда приходит с черного хода, еще до свету, и прямо на кухню. «Что вам угодно, барышня?» — «Я к барину». — «Барин еще спят». — «А я подожду». Семь часов, восемь часов, девять часов. Поэты, как вы знаете, встают поздно. Иногда кухарка, сжалившись: «Может, разбудить барина? Если дело ваше уж очень спешное, а то наш барин иногда только к часу выходят. А то и вовсе не встают». — «Нет, зачем, мне и так хорошо». Наконец кухарка, не вытерпев, докладывает: «К вам барышни одни, гимназистки или курсистки, с седьмого часа у меня на кухне сидят, дожидаются». — «Так чего ж ты, дура, в гостиную не провела?» — «Я было хотела, а оне: мне, мол, и здеся хорошо. Я их и чаем напоила — и сама пила, и им наливала, обиды не было».

Наконец встречаются: «барин» и «барышня». Глядят: Ходасевич на Марию Паппер, Мария Паппер на Ходасевича. «С кем имею честь?» Мышиный голос, как-то все на *и:* «А я — Мария Па-аппер». — «Чем могу служить?» — «А я стихи-и пи-ишу…»

И, неизвестно откуда, огромный портфель, департаментский. Ходасевич садится к столу, Мария Паппер на диван. Десять часов, одиннадцать часов, двенадцать часов. Мария Паппер читает. Ходасевич слушает. Слушает — как зачарованный! Но где-то внутри — пищевода или души, во всяком случае, в месте, для чесания недосягаемом, зуд. Зуд все растет. Мария Паппер все читает. Вдруг, первый зевок, из последних сил прыжок, хватаясь за часы: «Вы меня — извините — я очень занят — меня сейчас ждет издатель — а я — я сейчас жду приятеля». — «Так я пойду-у, я еще при-иду-у».

Освобожденный, внезапно поласковевший Ходасевич:

— У вас, конечно, есть данные, но надо больше работать над стихом…

— Я и так все время пи-ишу…

— Надо писать не все время, а надо писать иначе…

— А я могу и иначе… У меня есть… Ходасевич, понимая, что ему грозит:

— Ну конечно, вы еще молоды и успеете… Нет, нет, вы не

туда, позвольте я провожу вас с парадного…

Входная дверь защелкнута, хозяин блаженно выхрустывает суставы рук и ног, и вдруг — бурей — пронося над головой обутые руки — из кухни в переднюю — кухарка:

— Ба-арышни! Ба-арышни! Ай, беда-то какая! Калошки забыла. <…>

Так некоторых людей Макс возводил в ранг химер. Книжку ее мне Макс принес. Называлась «Парус». Из стихов помню одни:

Во мне кипит, бурлит волна
Горячей крови семитической,
Я вся дрожу, я вся полна
Заветной тайны эстетической.
Иду я вверх, иду я вниз.
Я слышу пенье разнотонное, —
Родной сестрой мне стала рысь,
А братом озеро бездонное.

И еще такое четверостишие:

Я великого, нежданного,
Невозможного прошу,
И одной струей желанного
Вечный мрамор орошу.

У Ходасевича — в очерке «Неудачники» — то же, да не совсем так, сравним:

Два моих приятеля снимали двухэтажный флигель, нечто вроде студии, при особняке Петрово-Соловово в Антипьевском переулке, невдалеке от музея Александра III. В рождественский сочельник 1907 года устроили они у себя маскарад — один из тех несколько сумасшедших маскарадов, на которых в те времена завязывались и развязывались сложные истории — поэтические и любовные. Часов в шесть утра, когда я возвращался домой, было еще темно. Шла метель. Занесенный снегом, извозчик привез меня домой, в Николо-Лесковский переулок, и я лег спать. Проснулся я во втором часу дня. Горничная Дуняша подала мне чай и сообщила, что какая-то барышня дожидается меня на кухне с семи часов утра. Столь ранний визит в первый день Рождества меня удивил.

— Почему же вы не сказали ей, чтоб она пришла завтра?

— Я сказывала. Они говорят, что хотят вас дождаться.

— Но почему же вы ее не провели в гостиную?

— Они не хотят. Пришли с черного хода да так и сидят на кухне.

Я выпил чаю, оделся и вышел на кухню. Там сидело на табурете какое-то существо в черном ватном пальто, набитом, как кучерская шуба. Барашковая приплюснутая шапочка была покрыта огромным серым платком, который, перекрещиваясь на груди, сзади завязан был в толстый узел. Поверх платка, на шнуре, висела барашковая муфточка бочонком. При моем появлении существо не пошевельнулось. Оно продолжало сидеть, растопырив руки в черных вязаных перчатках и тяжело упершись в пол резиновыми галошами, доходившими ему почти до колен. Снег, принесенный на этих галошах, растаял посреди кухни широкой лужей.

— Что вам угодно? — спросил я.

Не вставая и не поворачивая головы, существо пропищало:

— Я Мария Папер.

Такого пискливого голоса я отродясь не слышал и никогда не услышу более. Право же, он был разве только немного погуще комариного жужжания.

— Я Мария Папер. Я вам прочитаю мои стихи.

Насилу мне удалось убедить ее снять галоши. Шубы она не сняла и платка не развязала. Мы прошли в кабинет. Едва усевшись, она выхватила из муфты две клеенчатых тетради и начала читать. Личико у нее было крошечное и розовое — не то младенческое, не то старушечье. Между выпуклыми румяными щечками круглой клюквой торчал красный носик. Круглые карие глазки не смотрели ни на меня, ни в тетрадку: меня она как бы не видела, а стихи знала наизусть. Она лопотала их с такой быстротой и так пищала, что я ничего не мог понять. К стыду моему должен признаться, что вся эта сцена доставляла мне удовольствие. Мне было всего двадцать лет, я успел напечатать с десяток очень плохих стихотворений, и мне весьма льстило, что некая молодая поэтесса пришла ко мне, чтобы услышать мое авторитетное мнение. Я сам никогда не ходил ни к кому, но знал, что начинающие стихотворцы ходят к Бальмонту, к Брюсову. Словом, тщеславие во мне взыграло: недаром же говорит Гоголь, что всякий, хоть на одну минуту, делается Хлестаковым.

Наконец, я все-таки понял, что слушаю не стихи, а писк. Я попросил ее оставить тетрадки дня на два. Она ушла, я тотчас принялся читать. Стихи оказались разительной чепухой, выраженной, однако, по всем правилам стихотворства, разнообразными размерами, сложными строфами, с метафорами и другими риторическими фигурами. Единственная их тема была

любовная, самые прямые эротические картины и образы так и сыпались друг за другом, причем очевидно было, что все это писано понаслышке. Не удивительно, что всего наивнее оказался обширный отдел, посвященный всяческим «извращенностям».

Через два дня Мария Папер явилась снова. Я сказал ей, что стихи плохи. Она ответила безучастным голосом:

— Я написала другие.

И вынула еще две тетрадки.

— Когда ж это вы написали?

— Я не знаю. Вчера, сегодня.

— Сколько же стихотворений вы пишете в день?

— Я не знаю. Вчера написала двадцать.

Я спросил, зачем она пишет о том, чего не знает и чего не было. Она долго молчала, потом выпалила, потупившись:

— Но ведь я только об этом и думаю. <…>

Вся поэтическая Москва знала наизусть ее четверостишие, приводимое и Мариной Цветаевой…

Экспрессионизм МЦ, сжатость и темп ее стилистики принадлежат только ей, но оба поэта волей-неволей ввели в историю русского стихотворства третьего, жалкого и симпатичного, и инициатива — за МЦ. Никакого злорадства, лишь участливость и всепонимание, с оттенком само-иронии. Ходасевич напечатал свою прозу «Неудачники. Из воспоминаний» почти через два года — в «Возрождении» (1936.10.12 января). За это время между ним и МЦ установились отношения дружелюбия на расстоянии.

Между прочим, портрет Марии Папер Ходасевич завершает еще одной историей (общей с МЦ), — о Владимире Оттоновиче Нилендере: «Впоследствии мне рассказывали, что влюбившись в филолога и поэта В. О. Н., году в 1912, приезжала она <Папер> к нему под Тарусу, в деревню, где он давал уроки. Мужик привез ее на телеге, протряся верст пятнадцать со станции в знойный июльский день. Она пропищала десятка три стихотворений, отказалась от пищи и питья и взгромоздилась опять на телегу. Оставшиеся долго смотрели ей вслед, как она подскакивала на выбоинах, распустив черный зонтик и вытянув ноги в ослепительно сверкающих галошах. С тех пор след ее затерялся».

Вполне забавно, если не грустно, — обе молодые поэтессы, Марина Цветаева и Мария Папер, испытали первое девическое чувство к одному и тому же человеку с практически одинаковым результатом: это кончилось ничем, кроме стихов, разумеется. Может быть, со стороны Ходасевича, всё знавшего про всех, это особый намек специально для МЦ, написавшей в тех же

воспоминаниях диалог с Максом у входа в грот Карадага: «— А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эвридикой. <… > Об Орфеея впервые, ушами души, а не головы, услышала от человека, которого — как тогда решила — первого любила… Это был переводчик Гераклита и гимнов Орфея. От него я тогда и уехала в Коктебель…»

В июле 1933-го МЦ дорвалась до стихов удивительных.

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял — как шрам.

Мой письменный вьючный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажу грез —
Спасибо — что нес и нес.

Строжайшее из зерцал!
Спасибо за то, что стал
— Соблазнам мирским порог —
Всем радостям поперек,

Всем низостям — наотрез!
Дубовый противовес
Льву ненависти, слону
Обиды — всему, всему.
…..
Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что ствол
Отдав мне, чтоб стать — столом,
Остался — живым стволом!

С листвы молодой игрой
Над бровью, с живой корой,
С слезами живой смолы,
С корнями до дна земли!

17 июля 1933 («Стол»)

Сложился цикл «Стол» из шести стихотворений, концовку последнего, шестого, печатают поныне неверно (курсив мой):

Квиты: вами я объедена,

Мною — живописаны.
Вас положат на обеденный,
А меня — на письменный.
…..
Каплуном-то вместо голубя
— Порх! Душа при вскрытии.
А меня положат — голую:
Два крыла прикрытием.

Печатают: «— Порох! Душа при вскрытии». Порох тут ни при чем, «порх!» означает отлет души.

Теперь стихи МЦ вырываются сухим огнем. Молодой фонтан иссяк. Это было давно: «брызги из фонтана». Об этом стихотворении — «Моим стихам, написанным так рано…» — ей довелось вспомнить по случаю получения письма из Эстонии, где жил Юрий Иваск, которому двадцать пять лет. Он уже писал МЦ пару лет назад, пригласив участвовать в издании «Русский магазин», и она отвечала ему. Теперь он прислал ей свою статью о ней. 4 апреля 1933-го она подробно, по каждому пункту ответила («отзвуки и реплики») — отрецензировала его труд. Пожалуй, ему полезны были более частностей — обобщенные самохарактеристики: «Драгоценные вина»[229] относятся к 1913 г. Формула — наперед — всей моей писательской (и человеческой) судьбы. Я всё знала — отродясь. NB! Я никогда не была в русле культуры. Ищите меня дальше и раньше. <…> Нет, голубчик, меня не «не-помнят», а просто — не знают. Физически не знают. Вкратце: с 1912 г. по 1920 г. я, пиша непрерывно, не выпустила, по литературному равнодушию, вернее по отсутствию во мне литератора (этой общественной функции поэта) — ни одной книги. Только несколько случайных стихов в петербургских «Северных Записках». Я жила, книги лежали. По крайней мере три больших, очень больших книги стихов — пропали, т. е. никогда не были напечатаны. В 1922 г. уезжаю за границу, а мой читатель остается в России — куда мои стихи (1922 г. — 1933 г.) НЕ доходят. В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не-свое: тамошнее! Содержание, будто, «наше», а голос — ихний. Затем «Версты» (сотрудничество у Евразийцев) и окончательное изгнание меня отовсюду, кроме эсеровской Воли России. Ей я многим обязана, ибо не уставали печатать — месяцами! — самые непонятные для себя вещи: всего Крысолова (6 месяцев!), Поэму Воздуха, добровольческого (эсеры, ненавидящие белых!) Красного бычка, и т. д. Но Воля России — ныне — кончена. Остаются Числа, не

выносящие меня. Новый Град — любящий, но печатающий только статьи и — будь они трекляты! — Соврем<енные> Записки, где дело обстоит так: — «У нас стихи, вообще, на задворках. Мы хотим, чтобы на 6 стр<аницах> — 12 поэтов» (слова литер<атурного> редактора Руднева — мне, при свидетелях). И такие послания: — «М<арина> И<вановна>, пришлите нам, пожалуйста, стихов, но только подходящих для нашего читателя, Вы уже знаете…». Ббльшей частью я не знаю (знать не хочу!) и ничего не посылаю, ибо за 16 строк — 16 фр<анков>, а больше не берут и не дают. Просто — не стоит: марки на переписку дороже! (Нищеты, в которой я живу, Вы себе представить не можете, у меня же никаких средств к жизни, кроме писания. Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает 5 фр. в день на них вчетвером (У меня сын 8-ми лет, Георгий) и живем, т. е. просто медленно издыхаем с голоду. В России я так жила только с 1918 г. по 1920 г., потом мне большевики сами дали паек. Первые годы в Париже мне помогали частные лица, потом надоело — да еще кризис, т. е. прекрасный предлог прекратить. Но — Бог с ними! Я же их тоже не любила.)».

Иваск внял ее «отзвукам и репликам», многое в окончательном тексте своей статьи «Цветаева» соотнеся с ними (сборник «Новь» [Таллин]. 1934. № 6):

У Цветаевой есть свой читатель, но, по-видимому, для литературных кругов эмиграции ее творчество — нечто чуждое и даже враждебное. Цветаеву — ценят, печатают, но, за малыми исключениями (Слоним, Святополк-Мирский), о ней не говорят — замалчивают, и это, думается, вполне естественно. — У Цветаевой — «наступательная тактика»; Цветаева требует и завоевывает — это-то именно и чуждо всей вообще зарубежной литературе, которая не наступает, а обороняется, защищается и — укоряет, взывает (— «глас вопиющего в пустыне»). Цветаева слишком сильна для литературных сфер эмиграции — это не обвинение, лишь констатирование факта.

Цветаева в одиночестве. Но в этом своем одиночестве Цветаева разрабатывает, в сущности, очень современные темы. Цветаевское творчество чуждо злободневностям современности, но в нем действуют силы крайних (не в зависимости от их окраски) течений нашего века. Цветаева — очень «эпохальна», но мудрее самой эпохи — захватывает глубже и видит дальше. <…>

Поэзия Цветаевой — отталкивается от XVIII в. В ее поэзии живут традиции, назовем условно, Державинско-шишковской школы декламативной поэзии архаистов. Вот формула одной из

главных задач этой школы:

1) «Уметь высокий Славянский слог с просторечивым Российским так искусно смешивать, чтоб высокопарность одного из них приятно обнималась с простотою другого».

2) «Уметь в высоком слоге помещать низкие слова и мысли… не унижая ими слога и сохраняя всю важность оного» («Рассуждения о Старом и Новом Слоге», 1803, адмирал Шишков).

«Эти строки», пишет Цветаева, «я ощущаю эпиграфом к своему творчеству» (из письма).

Проницательности Иваска надо отдать должное — сверх его наблюдений над творчеством МЦ как таковым. Исходя из ее стихов, он говорит о современности:

«Стихийны» современные молодые люди из спортивных и боевых дружин, они сильны и веселы, большие оптимисты — но куда же они идут? — Сами не ведают. <…> — Проблема авторитарного мышления, авторитарной демократии.

Стихийная сила молодежи прекрасно организована, ее иррациональный числитель подведен под некоторый рациональный знаменатель. Юное воинство вполне во власти вождя.

Молодежь не знает — куда; вождь должен знать (все вообще!), но знает ли?

И еще — стихия рационализирована, упорядочена, но надолго ли? Где исход этим, человека растворяющим, человеческим (все же!) стихиям. Может быть, впереди — катастрофа, перед которой померкнут все бедствия, когда-либо постигшие человечество. — Возможно, но этот вопрос меня мало интересует. Чтобы проникнуть в сущность какого-либо явления — это опыт — необходимо проникнуться им. Посему — значительна и серьезна проблема — что будет с «новыми спартанцами», с их энтузиазмом и пафосом — в случае удачи? Чего они захотят тогда? Где последний и окончательный исход нашей мужественной, героической и безумной эпохи?

В зарубежной русской литературе ответ на этот вопрос имеет смысл искать только у Цветаевой.

Зем — ля утолима в нас,
Бес — смертное — нет.
Те — ла насыщаемы,
Бес — смертна алчба.

(Трагедия «Тезей»)

В свое время, на анкету «Чисел», Цветаева ответила:

Моим стихам, как драгоценным винам,
Наступит свой черед.

Не наступил ли уже!

Может быть, сама Цветаева и не ощущает своей связи с нашей эпохой — наша эпоха метафизически с ней связана.

Грех жаловаться на одиночество, когда существуют молодые люди, пишущие о тебе — так. Она прочла эту публикацию только в начале 1937-го.

А в 1933-м торжествует новоизбранный рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер и в унисон ему от Парижа до Харбина восшумели мблодцы, о которых МЦ писала в том же письме Иваску: «Что же касается младороссов[230] — вот живая сценка. Доклад бывшего редактора и сотрудника В<оли> России (еврея) М. Слонима: Гитлер и Сталин. После доклада, к началу прений — явление в дверях всех младороссов в полном составе. Стоят «скрестивши руки на груди». К концу прений продвигаюсь к выходу (живу *з&* городом и связана поездом) — так что стою в самой гуще. Почтительный шепот: «Цветаева». Предлагают какую-то листовку, к<отор>ой не разворачиваю. С эстрады Слоним: —

«Что же касается Г<итлера> и еврейства…» Один из младороссов (если не «столп» — так столб) — на весь зал: «Понятно! Сам из жидов!» Я, четко и раздельно: — «ХАМ-ЛО!» (Шепот: не понимают.) Я: — «ХАМ-ЛО!» и, разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. Я: — «Не поняли? Те, кто вместо еврей говорят жид и прерывают оратора, те — хамы. (Пауза и, созерцательно:) ХАМЛО». Засим удаляюсь (С КАЖДЫМ говорю на ЕГО языке!)».

У МЦ складываются замечательные отношения с Георгием Петровичем Федотовым[231], он бережно подходит к публикации ее статьи о Маяковском и Пастернаке «Эпос и лирика современной России», которая будет напечатана в двух номерах журнала «Новый град», с очень удачно сделанным Федотовым водоразделом на стихотворении Пастернака о Петербурге.

Однако происходит какой-то сбой в ее связях с другими людьми. Весной она нервно ищет исчезающую Саломею, летом не может понять отчуждения со стороны Извольской. К осени МЦ осознает, или истолковывает напряжение между нею и Извольской тем, что той попросту надоело заниматься ее финансовыми проблемами. Работа Общества помощи Марине Цветаевой забуксовала и вскоре захлебнулась.

Был план переехать в соседство Булонского леса, на запад Парижа, где расположена хорошая русская гимназия для Мура, но на это не оказалось денег. Ему придется поступить во французскую гимназию в Кламаре. МЦ безостановочно пишет прозу и печатает ее в «Последних новостях»: «Башня в плюще» (1933. 16 июля); «Музей Александра III» (1 сентября); «Лавровый венок» (17 сентября); «Жених» (15 октября). Стихов там решительно не хотят, правда, 29 июня 1933 года были опубликованы «Нет, легче жизнь отдать, чем час…» и «На бренность бедную мою…» 1920 года. Она предлагала им даже стихи 1912–1913 годов «Посвящаю эти строки…» и «Смертный час Марии Башкирцевой», которых не приняли. «Современные записки» ей вернули и недавнюю «Оду пешему ходу», до этого отвергнутую «Последними новостями». Впрочем, ее стихи печатались в двенадцати из восемнадцати номеров «Современных записок», вышедших в 1932–1938 годах.

МЦ не знала, что еще 22 апреля 1933 года была арестована сестра Ася, но через шестьдесят четыре дня хлопотами Горького и Пастернака освобождена.

Аля окончила — или оставила, это не совсем ясно — свою школу живописи и теперь будет искать работу по иллюстрации книг или периодики. Сергей Яковлевич занят хлопотами о советском гражданстве, тогда как МЦ хлопочет за них обоих о картах d'identite, удостоверениях личности, которые надо оплачивать. В конце октября Сергей Яковлевич пишет Лиле:

«Очень возможно, что мы довольно скоро увидимся. Отъезд для меня связан с целым рядом трудностей порядка главным образом семейного. Будь я помоложе — насколько бы мне все это было бы легче. В ужасный я тупик залез. И потом с детства у меня страх перед всякими «роковыми» решениями, которые связаны не только с моей судьбой. Если бы я был один!!!!!

В Россию я поеду один».

Положение дел хорошо описано МЦ в письме к найденной-таки Саломее (от 12 октября 1933 года):

> Е. А. И<звольская>, которая сама всю эту «мне-помощь» затеяла, сейчас от нее решительно отказывается, полагаясь на мое устройство в Посл<едних> Н<о-востях> (раз в полтора месяца статья 200 фр<анков>) и вообще на Бога. Бог с ней, но свинство большое, тем более, что не откровенное, а лицемерное.
>
> 2) С<ережа> здесь, паспорта до сих пор нет, чем я глубоко-счастлива, ибо письма от отбывших (сама

провожала и махала!) красноречивые: один все время просит переводов на Торг-Фин (?), а другая, жена инженера, настоящего, поехавшего на готовое место при заводе, очень подробно описывает как ежевечерне, вместо обеда, пьют у подруги чай — с сахаром и хлебом. (Петербург)

Значит С<ереже> остается только чай — без сахара и без хлеба — и даже не — чай.

Кроме того, я решительно не еду, значит — расставаться, а это (как ни грыземся!) после 20 л<ет> совместности — тяжело.

А не еду я, п. ч. уже раз уехала. (Саломея, видели фильм «Je suis un evade»[232], где каторжанин добровольно возвращается на каторгу, так вот!)

3) Веру Сувчинскую видаю постоянно, но неподробно. Живет в городе, в Кламар приезжает на побывку, дружит с неизменно-еврейскими подругами, очень уродливыми, которые возле нее кормятся (и «душевно» и физически), возле ее мужских побед — ютятся («и мне перепадет»!), а побед — много, и хвастается она ими, как школьница. Свобода от Сувчинского ей ударила во все тело: ноги, в беседе, подымает, как руки, вся в непрерывном состоянии гимнастики. Больше я о ней не знаю. Впрочем есть жених — в Англии.

4) Я. Весь день aller-et-retour[233], с Муром в школу и из школы. В перерыве зубрежка с ним (или его) уроков. Франц<узская> школа — прямой идиотизм, т. е. смертный грех. Все — наизусть: даже Священную Историю. Самое ужасное, что невольно учу и я, все вперемежку: таблицу умножения (к<отор>ая у них навыворот), грамматику, географию, Галлов, Адама и Еву, сплошные отрывки без связи и смысла. Это — чистый бред. Наши гимназии перед этим — рай. ВСЁ НАИЗУСТЬ.

Писать почти не успеваю, ибо весь день раздроблен — так же как мозги.

Кончаю большую семейную хронику дома Иловайских, резюме которой (система одна со школой!) пойдет в Совр<еменных> Записках, т. е. один обглоданный костяк.

Вот моя жизнь, которая мне НЕ нравится!

В начале сентября МЦ посылает Рудневу прозаическую

вещицу под названием «Дедушка Иловайский», которую до того не принял Милюков («Последние новости»), сказав между тем: «Высокохудожественно, очень, как материал, но…» Рудневу — нравится, она запрашивает увеличение объема, он согласен, но время идет, объем разрастается, обретает заголовок «Дом у Старого Пимена», 16 ноября МЦ констатирует: «Наконец — конец».

В том же ноябре Осип Мандельштам написал стих-инвективу «Мы живем, под собою не чуя страны…», неосторожно читает ее многим, наверное паре дюжин людей, в самых неподходящих местах, Пастернак где-то то ли на безлюдной Тверской-Ямской, то ли на Тверском бульваре отшатывается — я этого не слышал, — а сам автор недоволен концевым двустишием «Что ни казнь у него, то малина / И широкая грудь осетина»:

— Нет, нет! Это плохой конец. В нем есть что-то цветаевское. Я его отменяю. Будет держаться и без него!

Некоторые постоянные корреспондентки МЦ постепенно отпадают от нее. В письме Пастернаку от 20 ноября 1933 года Раиса Николаевна Ломоносова объясняет прекращение переписки с МЦ: «…приходили отчаянные письма от М. И. Ц<ветаевой> с просьбами о денежной помощи, а мы сами были в долгу у всех друзей. Каждая Чубина[234] операция, больничные счета увеличивали долги… и наша переписка с М<ариной> И<вановной> прервалась. Она приняла невозможное за нежелание».

Плохо — не всем. Некоторым — хорошо. 24 ноября 1933-го МЦ пишет Тесковой: «Премия Нобеля. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина. Уклониться — изъявить протест. Я не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее — Горький. Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи. Но — так как это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому… Впрочем, третий кандидат был Мережковский, и он также несомненно больше заслуживает Нобеля, чем Бунин, ибо, если Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи, то Мережковский эпоха конца эпохи, и влияние его и в России и за границей несоизмеримо с Буниным, у которого никакого, вчистую, влияния ни там, ни здесь не было. А Посл<едние> Новости, сравнивавшие его стиль с толстовским (точно дело в «стиле», т. е. пере, которым пишешь!), сравнивая в ущерб Толстому — просто позорны. Обо всем этом, конечно, приходится молчать. <…>

Бунина еще не видела. Я его не люблю: холодный, жестокий, самонадеянный барин. Его не люблю, но жену его — очень. Она

мне очень помогла в моей рукописи, ибо — подруга моей старшей сестры (внучки Иловайского) и хорошо помнит тот мир. Мы с ней около полугода переписывались. Живут они в Grass'e (Côté d'Azur)[235], цветочном центре (фабрикация духов), в вилле «Belvedere», на высочайшей скале. Теперь наверное взберутся на еще высочайшую».

Поздравительную телеграмму МЦ отправила — Вере Николаевне Буниной.

В начале этого года Вера Николаевна писала одной из своих подруг: «У меня новая дружба в письмах с Мариной Цветаевой, — все бывает на свете». В августе МЦ засыпала Бунину вопросами — десять вопросов — на тему Иловайского: она не знает и года смерти этого деда.

Отчего — Иловайский? МЦ узнает из письма от сестры Аси, что в апреле умер брат — Андрей Цветаев. «Теперь Вы может быть поймете, дорогая Вера Николаевна, почему мне нужно воскресить весь тот мир — с его истоком». Вера Николаевна сообщает ей о смерти своего отца. МЦ сочувствует: «Мы с Вами должны очень, очень торопиться! дело — срочное». Бунина снабдила ее драгоценными подробностями и уточнениями, на что МЦ реагирует соответственно: «Я, конечно, многое, ВСЁ, по природе своей, иносказую, но думаю — и это жизнь. *Фактов я* не трогаю никогда, я их только — толкую». У нее же, у Веры (они уже обходятся без отчеств), МЦ просит узнать точную дату открытия Музея отца, поскольку очерк «Музей Александра III» будет опубликован в «Последних новостях» 1 сентября 1933 года, а она на том торжестве больше всего помнит взгляд царя и, к своему ужасу, перезабыла все статуи, собранные отцом. «(Это жизнь мне мстит — за мои глаза, ничего не видящие, ничего не хотящие видеть, видящие — свое)».

Чествование Бунина МЦ комментирует в письме Вере Буниной 27 ноября:

«Кроме всего, у Вас совершенно чудное личико, умилительное, совсем молодое… <…>

— А жаль, что И<ван> А<лексеевич> вчера не прочел стихи — все ждали. Но также видели, как устал».

На полях этого письма она делает приписку:

«P. S. Только что получила из Посл<едних> Нов<остей> обратно рукопись «Два Лесных Царя» (гётевский и Жуковский — сопоставление текстов и выводы: всё *очень* членораздельно) — с таким письмом: — «Ваше интересное филологическое исследование совершенно не газетно, т. е. оно — для нескольких избранных читателей, а для газеты — это невозможная роскошь».

Но Лесного Царя учили — *все!* Даже — *двух*. Но Лесному

Царю уже полтораста лет, а волнует как в первый день. Но всё пройдет, все пройдут, а Лесной Царь — останется! Мои дела — отчаянные. Я *не умею* писать, как нравится Милюкову. И Рудневу. Они мне сами НЕ нравятся!»

Продолжается героическая осада Руднева, принимаемого за скалу, а это не так. В журнале он отказался от жалованья, некоторым авторам — в частности МЦ — выплачивает из собственных денег, в том числе оплатил определенное время пребывания Мура в гимназии.

МЦ пишет Рудневу:

> *Clamart (Seine) 10, Rue Lazare Carnot*
> *9-го декабря 1933 г.*
> Милый Вадим Викторович,
> (Обращаюсь одновременно ко всей Редакции).
>
> Я слишком долго, страстно и подробно работала над Старым Пименом, чтобы идти на какие бы то ни было сокращения. Проза поэта — другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилия (усердия) — не фраза, а слово, и даже часто — слог. Это Вам подтвердят мои черновики, и это Вам подтвердит каждый поэт. И каждый серьезный критик: Ходасевич, например, если Вы ему верите.
>
> Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы, из внешних соображений, переписать, по окончании, ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая, либо идет — в посмертное, т. е. в наследство тому же Муру (он будет БОГАТ ВСЕЙ МОЕЙ НИЩЕТОИ И СВОБОДЕН ВСЕЙ МОЕЙ НЕВОЛЕЙ) — итак, пусть идет в наследство моему богатому наследнику, как добрая половина написанного мною в эмиграции и эмиграции, в лице ее редакторов, не понадобившегося, хотя все время и плачется, что нет хорошей прозы и стихов.
>
> За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г. (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке)[236], а ныне — 1933 г., и меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем, — каким-то гастролером. Говорю здесь, ибо в России мои стихи имеются в хрестоматиях, как образцы краткой речи, — сама держала в руках и радовалась, ибо не только ничего для такого признания не сделала, а, кажется, всё — против.
>
> Но и здесь мои дела не так безнадежны: за меня

здесь — лучший читатель и все писатели, которые все: будь то Ходасевич, Бальмонт, Бунин или любой из молодых, единогласно подтвердят мое, за 23 года печатания (а пишу я — дольше) заработанное, право на существование без уреза.

Не в моих нравах говорить о своих правах и преимуществах, как не в моих нравах переводить их на монету — зная своей работы цену — цены никогда не набавляла, всегда брала что дают, — и если я иначе, впервые за всю жизнь, об этих своих правах и преимуществах заявляю, то только потому, что дело идет о существе моей работы и о дальнейших ее возможностях.

…..

Конечно — Вы меня предупреждали о 65.000 знаках, но перешла я их всего на 18.000, т. е. на 8 печатных страниц, т. е. всего на 4 листка. Вам — прибавить 4 листка, мне — уродовать вещь. Сократив когда-то мое «Искусство при свете совести», Вы сделали его непонятным, ибо лишили его связи, превратили в отрывки. Выбросив детство Макса и юность его матери, Вы урезали образ поэта на всю его колыбель, и в первую голову — урезали читателя.

То же самое Вы, моею рукой, сделаете, выбросив середину Пимена, т. е. детей Иловайского, без которых — Иловайский он или нет — образ старика-ученого не целен, не полон. Вы не страницы урезываете, Вы урезываете образ. Чтоб на 8 страницах сказать ВСЁ об этой сложной семейственности, сколько мне самой нужно было ОТЖАТЬ, а Вы и это отжатое хотите уничтожить?!

Ведь из моего «Пимена» мог бы выйти целый роман, я даю — краткое лирическое Живописание: ПОЭМУ. Вещь уже сокращена, и силой большей, чем редакторская: силой внутренней необходимости, художественного чутья.

Если дело только в трате — выход есть: не оплачивайте мне этих 8 страниц, пусть идут на оплату типографских расходов: денежному недохвату я всегда сочувствую: это для меня не урез, не это — урез.

Если же Вы находите, что вещь внутренне-длинна, неоправданно-растянута и эти 8 страниц для читателя лишние — Старый Пимен остается при мне (я при нем), а Вам я пишу что-нибудь на те 300 франков прошло-

термового авансу, которым Вы меня когда-то выручили, за что сердечно-благодарна. Чему они в печатных знаках равняются?

Сердечный привет.

Марина Цветаева

Руднев ответил: «Присылайте рукопись Вашего «Домика у старого Пимена»: согласно Вашему желанию, она будет напечатана полностью. Мне не хочется сейчас говорить относительно содержащихся в Вашем письме упреков и обвинений по адресу редакции «С<овременных> З<аписок>». Я не считаю их справедливыми. Но, во всяком случае, в будущем нам совершенно необходимо договориться так, чтобы исключить самую возможность повторения весьма тягостных и для Вас, и для нас положений».

Победа МЦ: «Дом у Старого Пимена» напечатан в полном объеме. За исключением нескольких слов *(«о юдаизме* Иловайского»).

Вся эта вещь построена на точнейшей живописи, словно МЦ соревнуется с Гончаровой, а точнее — с Белым или Прустом, и аксаковский детский эпос встает в одну упряжку с прозой европейского модернизма:

Весной на сцену нашего зеленого тополиного трехпрудного двора выкатывались кованые Иловайские сундуки, приданое умершей Андрюшиной матери, красавицы Варвары Димитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца.

Красный туфелек (так мы говорили в детстве), с каблуком высотой в длину ступни («Ну уж и ножки их были крошки!» — ахает горничная Маша), — скат черного кружева — белая шаль, бахромой метущая землю — красный коралловый гребень. Таких вещей мы у нашей матери, Марии Александровны Мейн, не видали никогда. Еще кораллы: в семь рядов ожерелье. (Мать — двухлетней Асе: «Скажи, Ася, коралловое ожерелье!») Хорошо бы потрогать руками. Но трогать — нельзя. А эти красные груши — в уши. А это, с красным огнем и даже вином внутри — гранаты. («Скажи, Ася, гранатовый браслет». — «Бра-слет».) А вот брошка коралловая — роза. Кораллы — Neapel, гранаты — Bohemen. Гранаты — едят. Аэто — странное слово — блонды. <…> Жаркий, жгучего бархата, костюм мальчика. Мальчик, которого так одевают, называется паж. (И черный шнурок с змеиной головой, которым подбирают юбку, — паж.) А этот длинный нож называется шпага. Фаи, муары, фермуары. Ларчики, футлярчики…

МЦ и здесь, в семейной истории, интересует не столько предмет разговора, то есть герой, сколько свое толкование вещей и соотношение поэта с остальными представителями рода человеческого: «Все умрут. Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяющихся на столе тел. Истории в своем доме и жизни старик не ощутил. (А может быть, и не истории, а Рока, открытого только поэту?)».

Сознательно или нет, сказав: «в Иловайском жило непоправимое сознание правоты», она смыкается с Блоком, отозвавшимся о поэте Дм. Цензоре: «…слишком велико у него сознание собственной правоты». Обратным образом рассуждал Мандельштам, говоря о поэзии как сознании правоты.

Свою живопись МЦ пронизывает формулами: «И так как всё — миф, так как не-мифа — нет, вне-мифа — нет, из-мифа — нет, так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял — всё, Иловайский мне ныне предстает в виде Харона, перевозящего в ладье через Лету одного за другим — всех своих смертных детей». Таким образом, по МЦ назначение поэта — мифотворчество. Ему передаются функции и народа, и Бога.

Кто был Пимен, давший имя храму в переулке? Что за святой? Неведомо. У МЦ он превратился в символ: «… — домой, к своему патрону — Пимену, к патрону всех летописцев — Пимену, к Старому Пимену, что на Малой Димитровке, к Малому Димитрию, к Димитрию Убиенному — в свой бездетный, смертный, мертвый дом».

У МЦ все получилось: жестоковыйный старик, отношения в семье, роковая участь его детей, старомосковский уклад, дом и сад, самое неожиданное — мучительная любовь, когда Мусе было семь, а недостижимой Наде, дочери Иловайского, семнадцать, и надо всем — власть смерти. «Может, в моем повествовании не увидят главного: моей тоски. Тогда скажу, эта любовь была — тоска. Тоска смертная».

У МЦ уже была написана «Твоя смерть», теми же красками она пишет смерть в «Доме у Старого Пимена». А рядом — живая жизнь с натуры: «Рядом с кареокой румяной смертницей, обняв подругу за плечо, поддерживая и даже удерживая — светловолосая, с глазами, плачущими точно своим же цветом, с возрожденской головкой, точно впервые ознакомившейся с собственным весом, Вера Муромцева, ищущая слов и никаких не находящая, кроме слез». Таков и финал:

«И кончаю словами одноименных[237] воспоминаний Веры Муромцевой, именем которой свои и начинаю:

— Ныне в приходской церкви Старого Пимена

комсомольский клуб».

В декабрьском Ленинграде 1933 года арестован Лев Гумилёв — через девять дней отпущен без предъявления обвинения.

Декабрьским письмом к Тесковой она закроет этот год: «Во Франции мне плохо: одиноко, чуждо, *настоящих* друзей — нет. Во Франции мне не повезло. Дома тоже сиротливо. И очень неровно. Лучший час — самый поздний: перед сном, с книгой — хотя бы со старым словарем».

Неужели из такого состояния можно выйти, да еще стихами? Можно.

Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет — мелкой,
Миска — плоской.
Так от веку — мимо
Невнимающих ушей людских…
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.

6-го января 1934

В тетради под текстом — помета: «…первый стих после полугода прозы — всякой, и Б<ог> знает какой рвани (переводов)». Она потом перепишет вторую часть стихотворения:

Миска — плоской.
Через край — и мимо —
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.

В землю черную… В Москве умер Андрей Белый. Ему было пятьдесят три года. В «Известиях» 9 января 1934 года появился некролог:

> 8 января, в 12 ч. 30 мин. дня, умер от артериосклероза Андрей Белый, замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых. Имя каждого гения всегда отмечено созданием

своей школы. Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс — ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы, — Брюсов, Мережковские, Сологуб и др. Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками. <…>

Б. Пильняк

Б. Пастернак

Г. Санников

Во время панихиды 10 января в московском Доме писателей над гробом Андрея Белого вспыхнула дискуссия вокруг формулировок некролога. В тот же день, после прощания в крематории, на заседании фракции Оргкомитета Союза советских писателей вынесли решение — статью в «Известиях» дезавуировать, дать задание «Литературке» полемизировать с этой статьей, а пролетарского поэта и коммуниста Григория Санникова предупредить о его пребывании в партии.

Осип Мандельштам стоял в почетном карауле у гроба. 10–11 января он наговаривает свой реквием по Андрею Белому:

Голубые глаза и горячая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек:
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок…
…..
Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие те,
Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте…

В Париже ничего этого — ни скандала, ни стихов — не знают. 18 января 1934 года в зале Географического общества на бульваре Сен-Жермен, 184, «Кочевье» провело вечер памяти Белого, вступительное слово произнес Марк Слоним, следом за которым выступила творческая молодежь: В. Андреев, Г. Газданов, Б. Поплавский, В. Сосинский. МЦ там была. Спустя несколько дней она с опаской, помня о недоразумениях прошлых лет, пошла на доклад Ходасевича о Белом, уже начав прозу о нем («Пленный дух»), с младенчески чистого запева: «Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас в доме не бывал. Но книгу его «Серебряный голубь» часто называли. Серебряный голубь Андрея Белого. Какой-то Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и *белый*. У кого же может быть серебряный голубь, как не у ангела, и кто же еще, кроме ангела, может называться — Белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этот просто — Белый. Белый ангел с серебряным голубем на руках». Лирическая проза, ее конек. 5 февраля 1934 года МЦ пишет Вере Буниной: «Вера, был совершенно изумительный доклад Ходасевича о Белом: ЛУЧШЕ НЕЛЬЗЯ. Опасно-живое (еще сорокового дня не было!), ответственное в каждом слоге — и справился: что надо — сказал, всё, что надо — сказал, а надо было сказать — именно всё, самое личное — в первую голову. И сказал — всё: где можно — словами, где *неможно*. (NB! так наши польские бабушки говорили, польское слово, а по-моему и в России, в старину) — интонациями, голосовым курсивом, всем, вплоть до паузы. <…> Вся ходасевичева острота в распоряжении на этот раз — любви. <… > Словом, Вера, было замечательно. Мне можно верить, п. ч. я Ходасевича никогда не любила (знала цену — всегда) и пришла именно, чтобы не было сказано о Белом злого, т. е. — лжи. А ушла — счастливая, залитая благодарностью и радостью».

МЦ много помнит о Белом, воспроизводит его стихи (в ее тексте похожие на свои):

Ты, вставая, сказала, что — нет!
И какие-то призраки мы.
Не осиливает — свет.
Не осиливает — тьмы.

Ты ушла. Между нами года —
Проливаемая — куда
Проливаемая — вода?
Не увижу тебя никогда.

Пройдя сквозь биографические заросли, сквозь множество людей живых и мертвых, с массой подробностей, пережитых сообща и порознь («Не знаю его жизни до меня, знаю, что передо мною был затравленный человек»), МЦ завершает:

> На панихиде по нем в Сергиевском Подворье, — православных проводах сожженного, которыми мы обязаны заботе Ходасевича и христианской широте о. Сергия Булгакова, — на панихиде по Белом было всего семнадцать человек — считала по свечам — с десяток из пишущего мира, остальные завсегдатаи. Никого из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, но долгой личной дружбой, кроме Ходасевича, не было. <…> Странно, я все время забывала, вернее, я ни разу не осознала, что гроба — нет, что его — нет: казалось — о. Сергий его только застит, отойдет о. Сергий — и я увижу — увидим — и настолько сильно было во мне это чувство, что я несколько раз ловила себя на мысли: «Сначала все, потом — я. Прощусь последняя…» До того, должно быть, эта панихида была ему необходима и до того сильно он на ней присутствовал.
>
> И никогда еще, может быть, я за всю свою жизнь с таким рвением и осознанием не повторяла за священником, как в этой темной, от пустоты огромной церкви Сергиевского Подворья, над мерещащимся гробом за тридевять земель сожженного:
>
> — Упокой, Господи, душу новопреставленного раба твоего — Бориса.

Теми же (почти) словами простилась с Маяковским, а упоминание имени *Борис* — очень опасная работа подсознания.

Есть и Post Scriptum. Стихи Белого, посвященные ей. Стихи, которых она или не знала, или не запомнила. Скорее — не знала.

Но вот что отличает весь ее текст: предельное остранение. Написан человек, схваченный острейшим зрением, вплоть до того, что легендарно сапфирные глаза гениального безумца здесь названы «явно азиатскими». И много Али, тоска по той, маленькой, гениальной Але. Да и сам герой вряд ли вышел из детства.

Эту прозу она посвятила Владиславу Фелициановичу Ходасевичу.

В день рождения Мура, 1 февраля, в такую же снежную бурю, как девять лет назад, когда тоже чуть ли не сносило крыши, — в Париже Сергей Яковлевич чуть не был убит огромной железной трубой, упавшей с крыши семиэтажного дома, пролетевшей меньше чем в сантиметре от него, задевшей пальто и измазавшей его ржавчиной. Прохожие кинулись к нему, думая, что убит. Такая же история была с Иваном Владимировичем Цветаевым, давно, в Москве, в оттепель: на *неучтимом* расстоянии от него, прямо за ним свалилась и разбилась огромная ледяная глыба. И встречный татарин — философ и князь, как все восточные люди — сказал:

— Счастлив твой Бог, барин!

В Париже неспокойно. 6 февраля 1934 года, после неудачного штурма здания парламента Франции боевиками профашистских организаций «Боевые кресты», «Аксьон франсез» и других, премьер-министр Даладье подал в отставку.

В апрельском письме к Саломее МЦ очень хвалит блистательность Мура в гимназической учебе и чтение им огромных томов Тьера о Французской революции, очень сетует на эгоистическую эмансипацию Али, ее службу у стоматолога (помощницей), связанное с этим разрушение Алиного здоровья и разлад между ними («Много зла, конечно, сделали общие знакомые, годами ведшие подкоп»), а что касается мужа: «С<ергей> Жковлевич> разрывается между своей страной — и семьей: я твердо не еду, а разорвать двадцатилетнюю совместность, даже с «новыми идеями» — трудно. Вот и рвется». О себе — и вовсе безнадежно: «А я очень постарела, милая Саломея, почти вся голова седая, вроде Веры Муромцевой, на которую, кстати, я лицом похожа, — и морда зеленая: в цвет глаз, никакого отличия, — и вообще — тьфу в зеркало, — но этим я совершенно не огорчаюсь, я и двадцати лет, с золотыми волосами и чудным румянцем — мало нравилась, а когда (волосами и румянцем: атрибутами) нравилась — обижалась, и даже оскорблялась и, даже, ругалась». Автопортрет, надо сказать, не очень согласуется с недавним комплиментом Вере: «чудное

личико, умилительное, совсем молодое». Ну, и под конец этого пасхального поздравления — вопрос: «Милая Саломея, не найдется ли для Али пальто или вообще чего-нибудь?»

Только что кончилась челюскинская эпопея. В Чукотском море советский пароход датской постройки «Челюскин» дрейфовал вместе с экипажем в течение почти пяти месяцев. 13 февраля 1934 года «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул в течение двух часов. В результате катастрофы на льду оказались сто четыре человека. Дело решили летчики, совершив двадцать четыре рейса. Последний рейс был выполнен 13 апреля 1934-го. Летчики, снявшие челюскинцев со льдины, стали первыми Героями Советского Союза.

Надо сказать, в том апреле впервые за многие годы МЦ скажет правду о своем возрасте — в письме Юрию Иваску: «… родилась еще в прошлом веке (26-го сентября 1892 г., ровно в полночь с субботы на воскресенье, в день Иоанна Богослова, у меня об этом есть стихи, кажется — в Психее:

Красною кистью
Рябина зажглась,
Падали листья,
Я — родилась…»

Это откровение связано и с седой головой, и с тем фактом, что Иваск задумал книгу о ней. Книги не получилось — не потянул, но не тянул с выполнением ее просьбы: прислал «Das Kreuz» («Крест»), третью часть «Кристин, дочь Лавранса» Ингрид Унсет. Завязались отношения. МЦ для публикации статьи Иваска о ней в «Нови» отправляет ему (с возвратом) свою фотографию 1924 года, в клетчатом платье, — «Только пусть не печатают черно, эта перечернена: я, вообще, светлая: светлые глаза и светлые волосы (сейчас уже целая седая прядь)», — и фотография будет вклеена перед его статьей в каждый экземпляр сборника.

Он ее о многом спрашивает в письмах, она отвечает щедро, а главное заключается в том, что «во мне нового ничего, кроме моей поэтической (dichterische) отзывчивости на новое звучание воздуха». Прошло много времени с 1916-го, когда были написаны те стихи о ее рождении и рябине, но это — «одни из моих самых любимых, самых *моих* стихов». Важным было и ее признание в том, что «неизмеримо больше Толстого люблю — Гёте».

Сногсшибательно быстро она решает — оставить Иваску свой архив. Что послужило причиной тому? Весомость присланной книги «Крест» и заключительная строка старинного поэта Михаила Милонова из элегии «На кончину Державина»: «По

отзывам лиры ценят времена». Элегию ей тоже подослал Иваск.

Но вот фундаментальные обоснования этого решения:

> 1) Вы намного моложе меня 2) Вы ЛЮБИТЕ стихи, т. е. без них жить не можете — и не хотите 3) Вы где-то далёко, одиноко, по собственному почину, без великого воспомоществования личной встречи (ведь и Мирский и Слоним писали *зная* меня, стали писать потому что знали) без всякой личной затронутости (какова бы она ни была) без всяких подстрочников — чисто — как если бы я умерла сто лет назад — «открыли» меня, стали рыть, как землю 4) Вы — всё-таки — немец? Т. е. какой-то *той* (и моей также! мой дед, Александр Данилович Мейн, был выходец из остзейских краев, о нем его знавшие говорили «важный немецкий барин») — мне родной — крови: волевой, превозмогающей, *идущей* ноши, Pflicht-Blut[238] — *верной* как ни одна. (Вы эстонец? А кто — эстонцы? Германцы? Скандинавы? Монголы? Я ничего не знаю, непременно ответьте. Смесь чего — с чем? Какова, в двух словах, история края и народа? Не сейчас, а — *тогда*. Есть ли эпос? Какой? Хочу знать своего душеприказчика.) <…>
>
> — Итак, принимаете?

Иваск смущенно отказался, она глубоко обижена. Тем более что у нее безумно болят ноги, она уже два месяца больна и вынуждена посещать бесплатную (за один франк) лечебницу для безработных русских. Удивительное совпадение — она приснилась ему, и они во сне *гуляли*. «Ваши сны до жути правильны».

Архив — эти огромные синие тетради — оставить некому. Ни дочери, ни сыну, ни мужу, ни Борису Пастернаку, ни сестре Асе, которая попросту сожжет его, как временами сожигает все свое.

Мур, отдельная песня. Он не архивист, он анархист. Но в первую голову он — ее создание, более похож на наполеоновского сына, чем сам наполеоновский сын. Его никто не учил французскому, а он сюрпризом, в ее записную книжку, сразу начисто заносит стих:

> *J’étais repoussé du genre humain*
> *Et j’étais assis à 1 ’ombre d’un veau marin.*
> *J’étais le jouet des lames de la mer*
> *Et je me maudissais d’avoir guitté mon père*
> *Et d’avoir repoussé tout le genre humain*
> *Et de m’être assis à 1 ’ombre du veau marin*

Это напоминает какой-то повтор Алиного вундеркинд-ства. Или — материнскую фантазию.

Кламарские сны. Тем более что стихи-то эти — в рифму: так делает французские стихи в нынешние времена только МЦ.

Она пишет Тесковой: «Пока я *жива* — ему (Муру) должно быть хорошо, а хорошо — прежде всего — жив и здоров.

Вот мое, по мне, самое разумное решение, и даже не решение — мой простой инстинкт: его — сохранения. Ответьте мне на это, дорогая Анна Антоновна, п. ч. мои проводы в школу и прогулки с ним (час утром, два — после обеда) считают *сумасшествием…»*

Дом поедает ее поедом. Сергей Яковлевич человек *не* домашний, он в *доме* ничего не понимает, подметет середину комнаты и, загородясь от всего мира спиной, читает и пишет, а еще чаще — подставляя эту спину ливням, гоняет до изнеможения по Парижу. Чем он вообще занимается? Его посещают какие-то «бастующие шоферы». Таких словосочетаний, как «Союз возвращения на родину», она никогда не запоминала, а Сергей Яковлевич вовлекся именно в таковой союз, став его оргсекретарем. Куда ближе ей слово «гамаюн», ан оно ангажировано масонским сообществом, в тумане коего таинственно тает ее занятой муж. Сергей Яковлевич завербован в советскую разведку в 1931 году, с 1934 года втайне получает жалованье, весьма скромное, в «Союзе возвращения», то есть от ОГПУ.

Какое-то время назад Сергею Яковлевичу соседи подарили допотопный радиоприемник. В эфире прошла передача о похоронах бельгийского короля Альберта, страстного альпиниста, погибшего во время восхождения на одну из вершин в Арденнах близ Марш-ле-Дам 17 февраля 1934 года. Сергей Яковлевич заснул, забыв вынуть что-то из чего-то, и ночью радиоприемник разрядился и совсем издох: даже не хрипит.

Из-за болезни ног — грянули нарывы, целая нарывная напасть — МЦ вот уже второй месяц вся перевязанная, замазанная и заклеенная, а прививки делать нельзя, потому что три-четыре года назад чуть не умерла от прививки, знакомый врач остерег от прививок из-за *неучтимого* сердца.

Аля отсутствует с утра до ночи, по дому ничего не делает, *комья* вещей под кроватями, в узлах, чистое с грязным, как у подпольных жителей. Три дня кряду МЦ сжигает в плите Алины куртки, юбки, береты, равно как всякие принадлежности Сергея Яковлевича, вроде пражских, иждивенческих еще, штанов и

жилетов, сожранных молью, — нафталина они оба не признают, все пихают в сундуки нечищеным. Вода кипит — надо стирать, а сушить негде: одно кухонное окно…

Страшно хочется писать. Стихи. И вообще. До тоски.

Любить Бога — завидная доля!

Бог согнулся от заботы —
И затих.
Вот и улыбнулся, вот и
Много ангелов святых
С лучезарными телами
Сотворил.
Есть — с огромными крылами,
А бывают и без крыл…
Оттого и плачу много,
Оттого —
Что взлюбила больше Бога
Милых ангелов его.

1916

А сейчас — и ангелов разлюбила.

Тем не менее — на этом потайном фоне — 15 марта МЦ прочла свою прозу о Белом в Географическом обществе, предварительно попросив у слушателей — терпения: чтения на полных два часа. Вечер поразил ее силой человеческого сочувствия. 13 мая 1934 года в «Последних новостях» будет опубликован фрагмент очерка «Из рукописи «Пленный дух» (Моя встреча с Андреем Белым (Цоссен))».

Веселый месяц май. Но не в 1934 году. Не девятилетний гений Georges Efron, но непридуманный русский поэт:

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным

Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведем без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, дошльцем сплетен…)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне всё — равны, мне всё — равно,
И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек!
Родимого пятна не сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина…

3 мая 1934 («Тоска по родине! Давно…»)

Это стиховой вариант, сгусток всего того, что она говорила о себе Иваску, это рябина из того 1916 года, из той юности, когда они с Мандельштамом ходили то по захолустному кладбищу, то по колокольно-купольной столице.

В ночь на 17 мая 1934 года Мандельштама арестовали в квартире, полученной им недавно и уже воспетой. Чекист предъявил ему ордер, поэт прочел и *кивнул.* Ордер подписал Яков Агранов, убийца Гумилёва, дружбан Маяковского и Пильняка. Пока продолжался обыск, в доме было много людей, а в одной с ним комнате сидели до утра Надежда Мандельштам и Анна Ахматова. Следователь нашел «За гремучую доблесть грядущих веков…», показал автору, тот *кивнул.* Его увели.

Ордер — кивок. Стих — кивок. Есть моменты, когда слова не нужны. Они оба — Осип и Марина — монологично-разговорчивы. Осип говорит поверх собеседника. Марина — глядя куда-то вбок или вниз. «Всегда (когда впервые — с родным) много-много говорю и гляжу мимо. Это (миновение) — мое основное свойство, моя отмета. Даже старый Князь Волконский мне, однажды: — О Вас не говорю, во-первых — Вы вне суда, во-вторых — Вы просто говорите в *профиль.* (До этого он говорил о необходимости всё время глядеть прямо в глаза собеседнику. Я иногда тоже гляжу — но тогда уж *совсем* не вижу, вижу — другое, выходит — гляжу — сквозь.)» Так она рассказывает Иваску, и это рассказ тоже в профиль. Она со многими ведет себя именно так. В профиль.

Это касается и Ходасевича, которому она пишет в этом мае:

«Нет, надо писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни эмиграции, ни Вишнякам, ни «бриджам», ни всем и так далеям — этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта — прозаика, а из прозаика — покойника.

Вам (нам) дано в руки что-то, чего мы не вправе ни выронить, ни переложить в другие руки (которых нет).

Ведь: чем меньше пишешь, тем меньше хочется, между тобой и столом встает уже вся невозможность (как между тобой и любовью, из которой ты *вышел).*

Конечно, есть пресыщение.

Но есть и истощение — от отвычки».

Двадцатого мая Сергей Яковлевич Эфрон прочел в масонской ложе «Гамаюн» доклад «Андрей Белый».

МЦ — Тесковой 26 мая 1934 года:

«Сдала в журнал «Встречи» маленькую вещь, 5 печатных стр<аниц> — Хлыстовки. (Кусочек моего раннего детства в гор<оде> Тарусе, хлыстовском гнезде.) Больше ничего не пишу, Белого написала только потому, что у Мура и Али была корь, и у меня было *время.* Стихов моих нигде не берут, пишу мало — и без всякой надежды, что когда-нибудь увидят свет. Живу, как в монастыре или крепости — только без *величия* того и другого. Так одиноко и подневольно никогда не жила.

В ужасе от будущей войны (говорят — неминуемой: Россия —

Япония), лучше умереть…»

В 1931 году японцы вторглись в Маньчжурию и пригласили последнего цинского императора Пу И восстановить маньчжурское государство. Китайско-восточная железная дорога (КВЖД), проходившая по маршруту Харбин — Владивосток, исконно принадлежала России и обслуживалась ее подданными. 22 октября 1928 года из Китая были высланы все советские служащие КВЖД. С октября по декабрь 1929-го шли боевые действия между Китаем и СССР. 5 февраля 1932 года японские войска заняли Харбин и затем включили его в состав государства Маньчжоу-Го, создание которого 1 марта 1932-го провозгласили губернаторы, собранные японцами в Мукдене. 1 марта 1934 года Маньчжоу-Го было объявлено Великой Маньчжурской империей (Маньчжоу-ди-го). В воздухе пахло грозой.

Полномасштабных стихов у МЦ нет, лишь наброски:

Это жизнь моя пропела — провыла —
Прогудела — как осенний прибой —
И проплакала сама над собой.

Июнь 1934

А ведь это, между прочим, совершенно полномасштабное стихотворение.

Тринадцатого июня 1934-го Сталин позвонил домой Пастернаку. Что вы скажете о Мандельштаме? Мастер ли он? Пастернак сказал, что дело не в этом, а он мечтает о встрече и разговоре на более существенные темы, о смысле существования. Сталин упрекнул абонента — мы, большевики, своих товарищей не сдаем — и положил трубку. Его звонок вызван событиями, происходящими в северноуральском городке Чердынь, где ссыльный Мандельштам бегает по улицам в поисках расстрелянного трупа Ахматовой, арки в честь челюскинцев считает поставленными в честь своего приезда, выбрасывается из окна, ломает руку. С ним была Надежда Яковлевна. Дело кончилось переводом в Воронеж.

В Москве драматург Александр Гладков 9 июля 1934 года записывает в дневник: «По Москве ходят волшебно-прекрасные стихи Марины Цветаевой «Мой стол» и «На смерть Волошина». А недавно Д. Бродский читал мне и Лаврову стихи Мандельштама на смерть А. Белого. Да, есть еще стихи в этом мире! Бродский — грузнеющий, неопрятный сплетник, но страстно любит стихи, бессчетное число знает наизусть и переводчик Рембо. О судьбе

Мандельштама ничего не известно».

В начале июля семья Эфрон переехала на новую квартиру, адрес: 33, rue J. B. Potin. Vanves (Seine)[240]. Ванв — это тот же Кламар, но другой коммуны. Устроившись на новом месте, разъехались на отдых в разные стороны. Сергей Яковлевич — в замок д'Арсин. Аля — на море, в Нормандию, где служит у немецких Ротшильдов — банкиров Bleichroder, за 150 франков в месяц учит троих детей и бабушку. Бабушку — французскому! Ей 80 лет. МЦ с Муром — в деревню Эланкур, недалеко от Парижа, вторая станция за Версалем.

Это настоящая деревня, редкому дому меньше двухсот лет, и возле каждого — прудок с утками. Часть мебели привезли, часть дружески дали местные русские — муж и жена — цветоводы. По старой — с чешских времен — памяти ухитрились поселиться на холме. Приезжала погостить А. И. Андреева, старый — 10 лет! — и верный друг, наслаждалась простором и покоем. Там-то, на эланкурском холме, и свершилось — стихи:

Что нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечьей, кляня
Которую — голову прячу

В него же (седей — день от дня!).
Сей мощи, и плещи, и гущи —
Что нужно кусту — от меня?
Имущему — от неимущей!

А нужно! иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б — тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,

Что только кустом не пуста:
Окном моих всех захолустий!
Что, полная чаша куста,
Находишь на сем — месте пусте?

Чего не видал (на ветвях
Твоих — хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания знаках?

Чего не слыхал (на ветвях

Молва не рождается в муках!),
В моих претковения пнях,
Сплошных препинания звуках?

Да вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу, —
Да разве я то́ говорю,
Что знала, пока не раскрыла

Рта, знала еще на черте
Губ, той — за которой осколки…
И снова, во всей полноте,
Знать буду, как только умолкну.

Около 20 августа 1934 («Куст»)

Все тот же куст. Народный звук, песня — «Ямщик, не гони лошадей», не менее того.

Москва, — в белоколонном зале бывшего Дворянского собрания с 17 августа по 1 сентября 1934 года — с фанфарами, литаврами, горнами и барабанами — прошел Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Монархом советской литературы утвержден Максим Горький. Канонизирован Владимир Маяковский, превознесен Борис Пастернак. Объявлен соцреализм. В верности ВКП(б) поклялись все советские писатели, кроме отсутствующих — Булгакова, Платонова, Мандельштама и Ахматовой. Молодой поэт из народа Александр Прокофьев с трибуны съезда по легкомыслию читает Мандельштама:

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.

Двадцать шестого августа 1934 года Сергей Яковлевич пишет Лиле:

Читаю с тревогой по утрам французские газеты. Положение на Востоке все тревожней и тревожней. Начинаю ненавидеть японцев, как когда-то в детстве во время Японской войны. Здешние газеты, за исключением крайне-реакционных, в советско-японском конфликте держат сторону Советов. Вообще за последнее время (особенно после визита советских летчиков) отношение к Союзу резко изменилось в хорошую сторону. Эволюция проделанная Францией за последние два года в этом

направлении необычна. Литвинов гениальный тактик[241]. Это особенно видно, когда наблюдаешь за международной жизнью отсюда.

Почти все мои друзья уехали в Сов<етскую> Россию. Радуюсь за них и огорчаюсь за себя. Главная задержка семья, и не так семья в целом, как Марина. С нею ужасно трудно. Прямо не знаю, что и делать.

Семь лет Саломея помогала МЦ: работая в модном журнале Люсьена Вожеля, получала 1500 франков в месяц, треть из них отдавала МЦ. В 1934-м этот ручеек иссяк. 18 октября МЦ пишет ей:

«Дорогая Саломея! Огромное спасибо за терм и смущенная просьба: попытаться пристроить мне 5 билетов на мой вечер 1-го. Вещь (проза) называется:

Мать и Музыка.

Мне этот вечер необходим до зарезу, ибо вот уже четвертый месяц не зарабатываю ничем, а начались холода.

Мы переехали в двухсотлетний дом, чудный, но от природы, а м. б. старости — холодный. Пишу, дрожа, как Челюскинцы и их собаки».

Челюскинцев МЦ наградила отдельным восторгом:

Сегодня — смеюсь!
Сегодня — да здравствует

Советский Союз!
За вас каждым мускулом
Держусь — и горжусь:
Челюскинцы — русские!

3 октября («Челюскинцы»)

Вечер прошел очень хорошо. Зал маленький, но полный.

Смерть брата Андрея, глухо отозвавшись в «Доме у Старого Пимена», напрямую вызвала к жизни образ Марии Александровны Цветаевой — очерк «Мать и Музыка».

Музыкального рвения — и пора об этом сказать — у меня не было. Виной, верней причиной было излишнее усердие моей матери, требовавшей с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. С меня требовавшей — себя! С меня, уже писателя — меня, никогда не музыканта. «Отсидишь свои два часа — и рада!

Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли оттащить! «Noch ein wenig!»[242] Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила!» Не попросила — никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня музыкой — замучила.) Но и в игре была честна, играла без обману два своих положенных утренних часа, два вечерних (до музыкальной школы, то есть до шести лет!), и даже не часто оглядываясь на спасительный круг часов (которых я, впрочем, лет до десяти совершенно не понимала, — с тем же успехом могла бы оглядываться на «Смерть Цезаря» над нотной этажеркой), но как их глубокому зову — радуясь! Играла без матери так же, как при матери, играла, несмотря на соблазны враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки («совсем дитя замучили»!) и даже дворника, топившего печку в зале: «Пойди-ха, Мусенька, пробегись!» — и даже, иногда, самого отца, появлявшегося из кабинета, и, не без робости: «А как будто два часа уже прошли? Я тебя точно уж полных три слышу…» Бедный папа! В том-то и дело, что не слышал, ни нас, ни наших гамм, ганонов и галопов, ни материнских ручьев, ни Валериины (пела) рулад. До того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал! Ведь когда не играла я — играла Ася, когда не играла Ася — подбирала Валерия, и, покрывая и заливая всех нас — мать — целый день и почти что целую ночь! А знал он только всего один мотив — из «Аиды» — наследие первой жены, певчей и рано умолкшей птицы. «Даже «Боже, царя храни» не умеешь спеть!» — мать ему, с шутливой укоризной. «Как не могу? Могу! (и, с полной готовностью) «Бо-о-же!». Но до «царя» не доходило никогда, ибо мать, с вовсе уже не шутливо, — а с истинно-страдальчески-искаженным лицом тут же прижимала к ушам руки, и отец переставал. Голос у него был сильный.

Психика МЦ перегружена, происходят срывы.

Вере Буниной — 20 октября 1934-го: «А в прошлый терм, Вера, был целый скандал: т. е. внезапно, посреди редакции, хлынули слезы и мой собственный голос, помимо меня говоривший (а я — слушала) — Если завтра вы, г<оспо>да, услышите, что я подала прошение в Сов<етскую> Россию, знайте, — что это вы: ваша злая воля, ваше презрение и плевание!» Она просит у Веры, чтобы за нее заступился — Бунин. «А если Иван Алексеевич не захочет — через кого? Подумайте, Вера. Ибо у меня уже сердце кипит и боюсь, что кончится пощечиной полной правды — т. е. разрывом. Ибо у меня *много* накипело».

Жить на писательские деньги, если писатель незнаменит, невозможно. Жить на такие писательские деньги в эмиграции — невозможно вдвойне. Искусство вдвойне невозможного — сумасшедший эксперимент.

Вопрос к Буниной: «Вы знаете латынь? Я — нет».

Отношения с Алей вконец и прочно испортились, жизнь под общей крышей кажется невозможной, Аля собирается уйти, сняв комнату. Каждый вечер уходит — то в гости, то в кинематограф, то — гадать, то на какой-то диспут, все равно куда, — и возвращается в час. Утром не встает, днем ходит сонная и злая, непрерывно дерзя. Она никогда не жила одна, в прошлом году служила, но жила дома.

Постоянная тема этого года: «брак с не-тем».

«А ранний брак (как у меня) вообще катастрофа, удар на всю жизнь».

Алю МЦ относит к инородному, чуждому ей человеческому типу: «целиком в женскую линию эфроновской семьи, вышла родной сестрой Сережиным сестрам…»

МЦ — Буниной:

> Вера, она любила меня лет до четырнадцати — до ужаса. Я *боялась* этой любви, ВИДЯ, что умру — умрет. Она жила только мною. И *после этого:* всего ее раннего детства и моей такой же молодости, всего совместного ужаса Сов<етской> России, всей чудной Чехии вместе, всего Муриного детства: медонского сновиденного парка, блаженных лет (лето) на море, да всего нашего бедного медонско-кламарского леса, после всей совместной нищеты в ее — прелести (грошовых подарков, жалких и чудных елок, удачных рынков и т. д.) — без оборота. <…>
>
> Вера, поймите меня: если бы *роман, любовь,* но — никакой любви, ей просто хочется весело проводить время: новых знакомств, кинематографов, кафе, — Париж на свободе. Не сомневаюсь (этой заботы у меня нет), что она отлично устроится: она всем — без исключения — нравится, очень одарена во всех отношениях: живопись, писание, рукоделие, всё умеет — и скоро, конечно, будет зарабатывать и тысячу. Но здоровье свое — загубит, а может быть — и душу.
>
> …..
>
> <…> Я, Вера, *всю жизнь* слыла жесткой, *а не ушла же я от них — всю жизнь,* хотя, иногда, КАК хотелось! Другой жизни, себя, свободы, себя во весь рост, себя на

воле, просто — блаженного утра без всяких обязательств. 1924 г., нет, вру — 1923 г.! Безумная любовь, самая сильная за всю жизнь, — зовет, рвусь, но, *конечно,* остаюсь: ибо — С<ережа> — и Аля, *они,* семья, — как без меня?! — «Не могу быть счастливой на чужих костях» — это было мое последнее слово. Вера, я не жалею. Это была — я. Я иначе — просто не могла. (Того любила — безумно.) Я 14 лет, читая Анну Каренину, заведомо знала, что никогда не брошу «Сережу». Любить Вронского и остаться с «Сережей». Ибо не-любить — нельзя, и я это *тоже* знала, особенно о себе. Но семья в моей жизни была такая заведомость, что просто и на весы никогда не ложилась. А взять Алю и жить с другим — в этом, для меня, было такое *безобразие,* что я бы руки не подала тому, кто бы мне это предложил. <…>

…..

Вера, такой эпизод (только что). С<ережа> и Аля запираются от меня в кухне и пригашенными голосами — беседуют (устраивают ее судьбу). Слышу:… «и тогда, м. б., наладятся твои отношения с матерью». Я: — Не наладятся. — Аля: — А «мать» слушает. Я: — Ты так смеешь обо мне говорить? Беря мать в кавычки? — Что Вы тут лингвистику разводите: конечно мать, а не отец. Я — С<ереже>: — Ну, теперь слышали? Что же Вы чувствуете, когда такое слышите? С<ережа> — Ни-чего.

(Думаю, что в нем бессознательная ненависть ко мне, как к помехе — его новой жизни в ее окончательной форме. Хотя я давно говорю: — Хоть завтра. Я — не держу.)

Бессонница. Отовсюду шум. Ходасевич подарил ей розовые ушные затычки, но она ими не пользуется. Со здоровьем все хуже. Болит сердце при быстрой ходьбе даже на ровном месте. Вспоминает отца, как он впервые и противоестественно — медленно — шел рядом с ней по Трехпрудному, все сбиваясь на быстроту. Тогда он купил ей в магазине «Мюр и Мюрилиз» плед: плед — жив поныне.

Жаль сердца — хорошо служило.

На новом месте — в Ванве — МЦ нравится. «Мы живем в чудном 200-летнем каменном доме, почти — развалина, но надеюсь, что на наш век хватит! — в чудном месте, на чудной каштановой улице, у меня чу-удная большая комната с двумя окнами и, в одном из них, огромным каштаном, сейчас желтым,

как вечное солнце. Это — моя главная радость, — МЦ пишет 24 октября 1934 года Тесковой. — Пишу очередную главу своего детства «Черт». Думаю, что после нее эмиграция от меня совсем *открестится,* хотя бы из-за своего глубокого *лицемерия* и самого поверхностного *ханжества».*

А 21 ноября — ей же: «Мне все эти дни хочется написать свое завещание. Мне вообще хотелось бы не-быть. Иду с Муром или без Мура, в школу или за молоком — и изнутри, сами собой — слова завещания. Не вещественного — у меня ничего нет — а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: *разъяснение.* Свести счеты, хотя Маяковский и сказал:

Кончена жизнь — и не к чему перечень
Взаимных болей, и ран, и обид…[243]»

В ноябре же МЦ вернулась к эссеистическому «Письму к Амазонке», начатому и незавершенному два года тому. В августе прошлого года скончалась София Парнок, это была ее тема («О, если бы я могла иметь от тебя ребенка!»[244]). На сей раз «Письмо…» опять не дописалось: «Третья попытка чистовика» (пробелы, варианты слов и фраз). Адресат МЦ — Натали Клиффорд-Барни, американская миллионерша, живущая в Париже, хозяйка элитарного салона, издательница и писательница, пишущая по-французски. У нее на улице Жакоб, 20, бывали пятничными вечерами Л. Арагон, А. Барбюс, П. Валери, Реми де Гурмон, А. Жид, П. Клодель, Колетт, Ж. Кокто, М. Пруст, Северин, О. Роден, Г. Стайн, А. Франс, Ш. Андерсон, Дж. Джойс, Э. Паунд. Некогда голубоглазую блондинку прозвали Амазонкой за ежеутренние прогулки верхом по Булонскому лесу. МЦ своим письмом, написанным по-французски, отозвалась на ее книжку «Мысли Амазонки» (с 1918 года — несколько изданий). МЦ излагает туманно-роковую историю любви с Парнок, аномальное понимание нормы: «Я беру нормальный, естественный и жизненный случай юного женского существа, которое боится мужчины, идет к женщине и хочет ребенка. Существа, которое — между чужим, безразличным и даже врагом-*освободителем* и любимой-*подавительницей* — выбирает, в конце концов, врага».

Специфический язык лесбийской субкультуры МЦ подгибает под себя за счет пиитизмов, вряд ли услышанных адресатом:

«Плакучая ива! Неутешная ива! Ива — душа и облик женщины! Неутешная шея ивы. Седые волосы, ниспадающие на лицо, чтобы больше ничего не видеть. Седые волосы, сметающие лицо с лица земли.

Воды, ветры, горы, деревья даны нам, чтоб понять человеческую душу, сокрытую глубоко-глубоко. Когда я вижу отчаявшуюся иву, я — понимаю Сафо».

Помимо прочих барьеров, Барни намного старше. МЦ в разговоре с Барни выглядит младшей, навсегда младшей. Барни — реинкарнация Парнок. Белое видение, львица вне прайда, поскольку ее салон — попытка Острова. Ловушка Души. В «Письме…» сквозит жажда Острова. Младшую туда не пускают. МЦ читала там французского «Мóлодца» и «Флорентийские ночи», но Барни-издательнице эти вещи не понадобились. Очередная отвергнутость.

«Этот Остров — земля, которой нет, земля, которую нельзя покинуть, земля, которую должно любить, потому что обречен. Место, откуда видно все и откуда нельзя — ничего.

Земля считанных шагов. Тупик.

Та Великая несчастливица, которая была великой поэтессой, как нельзя лучше выбрала место своего рождения».

А 21 ноября 1934 года погиб под поездом на станции метро «Пастер» юноша — Николай Гронский. Неожиданно упал на рельсы.

У Ходасевича — безотносительно к Гронскому — есть вещь под названием «Под землей» — о жалком старике, подверженном греху Онана. Снова стих хлещет в землю черную.

Где пахнет черною карболкой
И провонявшею землей,
Стоит, склоняя профиль колкий,
Пред изразцовою стеной.

Не отойдет, не обернется,
Лишь весь качается слегка,
Да как-то судорожно бьется
Потертый локоть сюртука.

Заходят школьники, солдаты,
Рабочий в блузе голубой —
Он все стоит, к стене прижатый
Своею дикою мечтой.

1923

Да, стих хлещет в землю черную, питать тростник. Жалкий старик жив, прекрасный юноша мертв. Метро — филиал Авда.

Потрясение МЦ выливается в новый жизнеобразующий

сюжет. Он любил меня первую, а я его — последним. В «Доме у Старого Пимена» она сказала: «А в общем, вечное виде́ние юноши, Ганимед, восхищенный Зевесом, Гераклов Гилл, похищенный нимфой…» У нее это началось с Сережи Эфрона и прошло через всю ее жизнь до седых волос. За три последних года они с Гронским виделись только раз, в *поезде,* она позвала его «заходить» — не пришел. Оскорбился? И вдруг, 21 ноября утром в газете…

Но это не всё. Она изумлена: юноша оказался большим поэтом. Это — первый поэт, возникший в эмиграции, первый настоящий поэт. Письма МЦ юноше возвращены ей его родителями. Посмертной судьбой его стихов занимается безутешный отец, соредактор «Последних новостей», где 9 декабря напечатана поэма Николая Гронского «Белладонна».

Там луч луны читает руны,
Там горный дух трубит в рога.
Во всей подсолнечной, подлунной
Чту область ту, где облака,

Ветра, луга, снега, туманы,
Твердыни скал, державы вод,
Просторы и пространства, страны,
И горизонт, и небосвод —

Все — горное, — как в мире сущем,
Все — тленное, — как в мире том —
Бессмертное…

Совершенно очевидно: автор поэмы читал и любил «Поэму Горы», «Поэму Воздуха» и «Новогоднее». И Лермонтова, и Державина. Он парит

В стране, где искушает Бога
Любовник смерти — альпинист.

Горы. Диалог. Сюжетность. Смесь высокого штиля с разговорностью. Белладонна — имя горной цепи в Альпах под Греноблем. Сначала было название другое — «Поэма пика Мадонны и трех альпинистов».

Апогей («Эпилог») поэмы провидчески страшен:

В ночи, из стран моих бессонных,
В странах иных услышь мой стих,

Внемли, Владычица Мадонна,
Глаголам уст моих живых.

И мне в мой час в гробу бездонном
Лежать, дымясь в моей крови.
Альпийских стран, о, Белладонна,
Мой смуглый труп благослови.

1929–1930—1931

Аллемон-Белльвю — Аллемон-Белльвю

МЦ рассказывает Тесковой: «Он подарил мне свой детский крестильный крестик, на котором «Спаси и сохрани». — «Я всё думал, что Вам подарить. И вдруг — понял: ведь больше этого — нет. А пока Вы со мной — я уже спасен и сохранен». Я надела ему — свой, в нем он и похоронен, — на новом медонском кладбище, совсем в лесу: был лес, огородили — и всё. Там он и лежит с 26-го ноября (вчера как раз был месяц!) под стражей деревьев, входящих в кладбище, как домой. Сколько раз мы мимо него ходили!»

У могилы МЦ сказала краткое слово. В тот же день 26 ноября села за прозу о Гронском. Она пишет статью «Последний подарок», потом вошедшую в более обширное эссе «Поэт-альпинист», при жизни ненапечатанное. Гибель бельгийского короля-альпиниста Альберта оказалась предзнаменованием.

Царит круговое, повсеместное неблагополучие, «Современные записки» стоят на краю финансового краха, но семижильными усилиями Руднева все еще держатся, напечатали прозу МЦ о матери и «Тоску по родине». А оттуда, из тех пределов — смутные новости: 1 декабря в Ленинграде убили фаворита большевистской партии Кирова. Началась волна «большого террора».

Ядовитая Надежда Тэффи отпустила шутку: «Нам не хватает теперь еще одной эмигрантской организации: «Объединение людей, обиженных И. А. Буниным». Шкура убитого медведя — налицо. Бунин поделился нобелевскими деньгами со многими. По-разному. Александру Куприну — 5000 франков, Марине Цветаевой — 1000. Эти деньги Аля, посланная МЦ в редакцию «Современных записок», в конце декабря взяла у посредника — Руднева. Новый, 1935 год Аля встретит на вечере Красного Креста, Сергей Яковлевич — где-то в своем кругу, МЦ — дома, одна.

Глава четвертая

Входим в середину 1930-х, отнюдь не золотую. Андрей Белый золотому блеску верил[245], и Борис Пастернак подготовил и провел 10 января 1935 года вечер годовщины памяти Андрея Белого, потом поучаствовал в мероприятиях по грузинской поэзии и в дискуссиях о состоянии и задачах советской литкритики, после чего появилась необходимость лечь в больницу для лечения острой и запущенной неврастении. Его не включили в делегацию на парижский антифашистский Международный конгресс писателей в защиту культуры. Но накануне открытия Эренбург сообщил в Москву о том, что французская сторона требует присутствия на конгрессе Пастернака и Бабеля, известных в Европе. Ехать он резко не хотел, но за ним прислали машину, в приказном порядке одели и обули во все новое, и 21 июня они с Бабелем выехали в Париж. Мимоходом в Берлине Пастернак повидался с сестрой Жозефиной, часто и беспричинно плакал, а 25 июня вышел на эстраду конгресса, представленный Андре Мальро:

— Перед вами один из самых больших поэтов нашего времени.

Его выступлению предшествовала овация, которой увенчалось прочтенное Мальро в переводе на французский стихотворение «Так начинают…». Ему аплодировали Андре Жид, Анри Барбюс, Олдос Хаксли, Вирджиния Вулф, Карел Чапек, Лион Фейхтвангер, Джон Пристли и Бертран Рассел. Максим Горький не приехал, сказавшись больным.

А больным был — Мур: за неделю до конгресса у Мура вырезали аппендикс. Больным был Пастернак. По возвращении на родину Пастернак до конца августа лечился в санатории — в подмосковном *Болшеве*.

Его выступление на конгрессе Николай Тихонов с помощью МЦ сшил из отрывочных фраз стенограммы — для публикации в отчете мероприятия: «Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником».

В те три дня МЦ с Пастернаком общались плотно, на заседаниях сидели рядом, и во время дебатов она читала ему

свои стихи, а сам зал Дома взаимности охраняла бригада прогрессивных общественников во главе с Сергеем Эфроном.

Мур лежал в больнице — в пригородном госпитале — десять дней, освободив мать для общения с Пастернаком. Дело не ограничивается конгрессом, у Пастернака есть нагрузка (или порыв) — купить платье Зине, и, по оплошке назвав Марину Зиной, он по ней на глаз (или ощупью) определяет необходимый размер, но опоминается, заметив разницу в объемах груди. Вместе с Ходасевичем на машине художника Юрия Анненкова они посещают Версаль и Фонтенбло. МЦ везет Пастернака к себе в Ванв, где его встречают как родного. Сергей Яковлевич и Аля с головой уходят в его визит на все его парижские дни.

Ни Веймара, ни Савойи в Париже не произошло. Это был провал, а не встреча: невстреча. Не свидание равных, но участие в какой-то массово-непонятной акции. Его убивало ложное триумфаторство, помещение его фигуры в чуждое, не принадлежащее ему место. Конгресс продолжил дело Первого Всесоюзного съезда советских писателей, определив ему безвоздушное место корифея. Ему нечем было дышать. Этого она не понимала, не улавливала, знать не знала и видеть не видела. Это было взаимно, со своей стороны и он был глух и слеп по отношению к ней. На ее вопрос, ехать или не ехать в СССР, он отвечал невразумительно вплоть до: «Ты полюбишь колхозы!» Она сочла его предателем Лирики.

Но МЦ с Муром надо уезжать. Уже куплены железнодорожные билеты в южную сторону, к Средиземному морю, в местечко Фавьер. 28 июня 1935-го они расстались с Пастернаком. Он переходит под опеку Али. Она с утра сидит у него в отеле «Мэдисон», вяжет, в номере очень жарко и очень много апельсинов. Заглядывает Сергей Яковлевич, получив впечатление, сформулированное позже: «Борис оказался невменяемым». Болезнь длится, Пастернак никуда не хочет, в обществе Эфронов изредка ходит по Парижу, по книжным магазинам и универмагам.

1935 год разломился на две части — до и после конгресса.

Что было до? 2 февраля совместно с Ходасевичем в зале Научного общества провели чтения о Блоке. МЦ — «Моя встреча с Блоком», Ходасевич — «Блок и его мать». Народу было много: полный зал, человек восемьдесят. Заработали с Ходасевичем ровно по 100 франков, так что МЦ не смогла даже оплатить двух месяцев Муриного учения (160 франков) — как мечтала.

В этот блоковский день из дому ушла Аля. Ушла «на волю», играть в какой-то «студии». Ушла внезапно. Утром МЦ, готовясь к вечеру, попросила ее сходить за лекарством Муру, в ответ:

— Да, да…

И через десять минут опять:

— Да, да…

Сидит штопает чулки, потом читает газету, просто — *не идет*. Дальше — больше. Когда МЦ ей сказала, что «так измываться надо мной в день моего выступления — позор», Аля заявила:

— Вы и так уж опозорены.

— Что?

— Дальше некуда. Вы только послушайте, что о вас говорят.

На фразу «Вашу лживость все знают» — МЦ влепила ей пощечину.

Сергей Яковлевич, взбешенный женой, сказал дочери, чтобы она ни минуты больше здесь не оставалась, и дал ей денег на расходы. Это был своеобразный вклад в семейную жизнь, дома он лишь ночевал, целыми днями пропадая в неведомом пространстве. Сестре Лиле он пишет в феврале:

«А ты знаешь, что помимо всего я организовал здесь театральную студию. Через неделю первый открытый спектакль. Но все это не то, что хотелось бы.

Каждый раз я тебя спрашиваю, в чем ты нуждаешься? Очень прошу ответить. Недавно был случай, который я пропустил, п<отому> что не знал что тебе нужно. Сегодня могу послать только коробку сардинок (побаиваюсь, что передатчик слопает их дорогой).

Все мои друзья один за другим уезжают, а у меня семья на шее. Вот думаю отправить Алю. Она замечательная рисовальщица.

А с Мариной прямо зарез».

Вот она откуда, эта студия, — от Сергея Яковлевича.

У Али хранилась книга «Мóлодец» (Прага, 1925) с надписью: «Але — моему абсолютному читателю». Эту надпись МЦ сделала во Вшенорах 7 мая 1925 года. Через десять лет приписала: «1925–1935 гг.».

Очаг вражды угас, и МЦ в основном стала приводить в порядок свои послереволюционные стихи. Их много, но почти нет дописанных: не успевала.

Навещала родителей Гронского, живущих врозь.

В огромной и бедной скульптурной студии матери — изображения сына в разном возрасте.

Отец сидел и читал письма Николая Павловича к МЦ, она сидела и читала его скромную черную клеенчатую книжку со стихами семилетней давности, посвященными ей.

Из глубины морей поднявшееся имя.

Возлюбленное мной — как церковь на дне моря,
С Тобою быть хочу во сне — на дне хранимым
В глубинных недрах Твоего простора.

Bellevue 1928 г.

Одновременно он заливал стихами некую В. Д. МЦ полагала, что многие из этих стихов на самом деле посвящены ей. В частности, стихотворение «Встреча»:

Пусть дважды будет приговор
Над золотой Твоей главою, —
Я заключаю договор
С Твоей бессмертною душою.
В крылатости безруких плеч,
Из стран последних вдохновений, —
Зову Тебя из вихря встреч,
Зову из ветра посещений.
Так, крылья на груди крестом —
Не сломит Веры вероломность —
Приди, покинь высокий дом.
Зову тебя в мою бездомность.

Bellevue, 1928

Из февральских писем МЦ к Тесковой:

«Самое странное, что тетрадь полна посвящений В. Д. (его невесте, к<отор>ая вышла замуж за другого) — посвящений 1928 г., когда он любил — только меня. Но так как буквы — другим чернил ом, он очевидно посвятил ей — ряд написанных мне, а мне оставил только это — неперепосвятимое — из-за имени. (Марина: море).

Напр<имер> — рядом с этим, т. е. в те же дни — посвященные В. Д. стихи о крылатой и безрукой женщине. Прочтя сразу поняла, что мне, ибо всю нашу дружбу ходила в темно-синем плаще: крылатом и безруком. А тогда — никакой моды не было, и никто не ходил, я одна ходила — и меня на рынке еще принимали за сестру милосердия. И он постоянно снимал меня в нем. И страшно его любил. А его невеста — видала карточку — модная: очень нарядная и эффектная барышня. И никакого бы плаща не надела — раз не носят. Когда прочтете переписку, поймете почему двоелюбие в нем — немыслимо. Очевидно — с досады, разошедшись со мной. Или ей — как подарок…»

Точно так же Ахматова ревниво и безоговорочно пеклась о стихах Гумилёва, по ее разумению, к ней обращенных. Лестно быть Беатриче? Не только. Важен диалог поэтов, образцовый в отдаленном прошлом: Сафо — Алкей. Любовное чувство выводится из разряда земных страстей на другой уровень, вне четвертого измерения. Неважно, что Гронский — не Гумилёв. МЦ нужен ее певец. С Рильке — получилось, с Пастернаком — тоже. Остальные — пожалеют.

Памяти Гронского написались четыре стихотворения, одна вещь («Оползающая глыба…») уже существовала, получился цикл «Надгробие», но вослед циклу возникло ударно-сконцентрированное восьмистишие:

Никому не отмстила и не отмщу —
Одному не простила и не прощу
С дня как очи раскрыла — по гроб дубов
Ничего не спустила — и видит Бог
Не спущу до великого спуска век…
— Но достоин ли человек?..
— Нет. Впустую дерусь: ни с кем.
Одному не простила: всем.

26 января 1935

МЦ думает о книге переписки с Гронским 1928 года, начала переписывать в даренную ей Верой Буниной книжку — эту переписку. 11 апреля 1935 года в зале Географического общества она прочла свой доклад о поэзии Гронского «Поэт-альпинист». В «Последних новостях» была напечатана программа доклада: «Может ли в эмиграции возникнуть поэт? — Чего ждать от еще одной поэмы? — Потомок Державина. — Что такое поэтическая «невнятица». — Смысл гибели Николая Гронского. — Письма с Альп. — Альпинизм спортсмена и альпинизм поэта. — Поэма Белла-Донна: суть и форма. — Белла-Донна и Мцыри. — Эмиграция так же бессильна поэта — дать, как поэта — взять. Законы поэтической наследственности. — Корни поэзии».

За два дня до вечера МЦ онемела, у нее заболело горло — простуда. Но на сцене голос не подвел ее. Прочла — громко.

> Было много стариков и старушек. Был Деникин[246], с которым Николай Павлович дружил — сначала в Савойе, потом в жизни. Слушали внимательно, но вещь местами не доходила. Аудитория была *проста, я же* говорила изнутри поэмы и *стихотворчества.* А им

> хотелось больше о нем… Родители отнеслись сдержанно… Я рассматривала Гронского как готового поэта и смело называла его имя с Багрицким и другими… Им это м. б. было чуждо, они сына — не узнали. <…> Но знаете, жуткая вещь: все его последующие вещи — несравненно слабее, есть даже совсем подражательные. Чем дальше (по времени от меня) — тем хуже. И этого родители не понимают. (Они, вообще, не понимают стихов.) Приносят мне какие-то ложно-«поэтические» вещи и восхищаются. И я тоже — поскольку мне удается *ложь*. Какие-то поющие Музы, слащавые «угодники», подблоковские татары. — Жаль. — О его книге навряд ли смогу написать. Боюсь — это был поэт — одной вещи. (А может быть — одной любви. А может быть — просто — медиум.) Я не все читала — отец не выпускает тетрадь из рук — но то, что читала, — не нравится. Нет силы. Убеждена, что Белла-Донна лучшая вещь.

Рецензия МЦ на книгу Н. Гронского «Стихи и поэмы» появилась в «Современных записках» летом 1936 года (№ 61). О том, чего не понимали родители, — умолчано.

Что остается у поэта в кризисе? Чаще всего — лишь высокохудожественное обслуживание своего эго. Талант уходит на сохранение слабеющей личности. Поток доказательств. Так ли было с МЦ в середине тридцатых? Похоже. А все-таки не так. Ее проза — не просто постскриптум к ее поэзии. Ее поведение — не тайна за семью печатями: она сама все о себе рассказывает, безоглядно обращаясь не столько к современникам, сколько в будущее. Ситуация с пропавшим и вернувшимся голосом — вообще модель того, что с ней происходит в последнее десятилетие ее творчества.

Конгресс оказался подлинным водоразделом между прошлым и будущим. Потеря прежнего Пастернака была равна почти потере себя. По другому адресу Пастернаком было совсем недавно (1931) сказано:

> *Мы не жизнь, не душевный союз —*
> *Обоюдный обман обрубаем.*
>
> *(«Не волнуйся, не плачь, не труди…»)*

Это был нас возвышающий обман. Практически — правда. С другими у нее было проще, да и других-то оставалось раз-два и

обчелся. Буниной она говорит в июне, еще до конгресса: «Вы — может быть — мой первый разумный поступок за жизнь».

Но какова все-таки ее связь с Пастернаком: ничего не зная о Гронском, он в своем импрессионистическом слове с трибуны конгресса заговорил — об *Альпах*.

А в далеком Воронеже 18 июня 1935 года Осип Мандельштам завершил стихотворение «За Паганини длиннопалым…», об истории которого рассказал в своем дневнике мандельштамовский собеседник Сергей Рудаков: «Вчера (5 апреля. — *И. Ф.)* были на концерте скрипачки Бариновой (с Мандельштамом бесплатно) — у нее невероятный цветаевский темперамент, 22-летняя молодость и неартистичная живость. (Когда я это сказал, О<сип> Э<мильевич> удивился, откуда я мог так угадать действительное сходство с Цветаевой, когда я ее не видел. А ритмы-то стихов!) А вот и мое достижение. После года или более Мандельштам написал первые 4 строчки. О ней, о Бариновой, после моих разговоров —

Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чорта были — ты четвертый,
Последний чудный чорт в цвету».

До отъезда на юг МЦ выступила с чтением своей повести «Черт» в Географическом обществе на бульваре Сен-Жермен, 184, о чем предварительно в тот же день сообщили «Последние новости»: «Краткое содержание: Красная комната. — Ночное купание. — Встреча в окне. — Почему черт жил в комнате Валерии? — Красный карбункул. — Картеж. — Черный Петер. — «Черт, черт, поиграй да отдай!» — Первая исповедь. — Священники и покойники. — Голубой ангел. — Последняя встреча. Начало в 8 1/2 вечера. Билеты при входе». Саму повесть опубликовали «Современные записки» (1935. № 59).

А в это время беда с Бальмонтом: начало белой горячки. Сидит в санатории «Epinay» под Парижем, за плату, со скидкой. Чудный парк, гуляет до двух ночи. Влюбился в юную surveillante[247] и предложил ей совместно броситься в Сену. Отказалась. Тогда он предложил ей ее сбросить, а потом — спасти, ибо — не правда ли, дорогая? — я легко проплываю два километра? Отказалась тоже — и весь день пряталась — везде искал — чуть с ума не сошел. И так далее, поэт в своем репертуаре. Письмо от него с рассказом о его подвигах показывает МЦ на улице жена Бальмонта Елена Цветковская. Он пишет ей: «Дорогая! Я безумно люблю (следует имя) — как

никогда еще не любил. Пришли мне 12 пузырьков духов — dchantillons[248] — фиалку, сирень, лаванду, гвоздику, а главное — розу и еще гелиотроп, что найдешь — для всех surveillantes, чтобы не завидовали. Я Жанне подарил *весь* свой одеколон и *всю* свою мазь для рук — у нее ручки — в трещинах! А ручка *еще* меньше, чем у (имярек, — женское). Дорогая! Пришли мне побольше папирос, — сумасшедшие выкурили весь мой запас». Елену пока к нему не пускают, она убивается. Бальмонт мечтает по выздоровлении остаться там садовником.

Между тем Бальмонт собирается провести свой вечер. По этому поводу МЦ 7 мая 1935 года пишет своей новой корреспондентке Ариадне Берг:

«Вы, конечно, уже слышали о безумии Бальмонта. О нем (и норме) можно сказать как Segur[249] о Наполеоне в России: Sa mesure dtait grande, mais il l'a depasse quand tёte…[250] Он ненормален даже для поэта, даже для себя. 17-го его вечер (где, сейчас не знаю, узнаю — извещу) — будьте непременно, зову Вас не как на курьёз, а как на конец поэта. Ибо это — конец, ему на днях 70 лет. Зал будет полный, необходима хоть горстка своих, предпочитающих безумие Бальмонта — разумию всех остальных.

Вечер будет непременно, он всё забыл, а об этом — помнит. (Верней, ничего не забыл, всё вспомнил — в этом-то и безумие!)»

Ариадна Берг станет близка МЦ надолго. Они познакомились еще в прошлом году у композитора Фомы Гартмана в его парижской квартире, — Берг писала стихи по-французски, но родилась в России, в Орле, отец бельгиец, мать русская. На семь лет моложе, она ринулась помочь МЦ в публикации французского «Мóлодца», имея кое-какие связи во французских литературных кругах. Начало их переписки шло на французском — девять писем, потом письма обрусели. В начале июня 1935-го МЦ уже пишет так: «Алю почти не вижу, заходит раз в две недели на пять минут. <…> Не можете ли Вы, в мою пользу, утянуть из своего хозяйства какую-нибудь среднего роста алюминиевую кастрюлю и нет ли у Вас лишнего алюминиевого кофейника? Я сейчас неспособна ни на франк, ибо — ведь еще примус! Купальные костюмы и халаты! Не найдется ли у Вас купального халата? Простите за вечные просьбы, но, мне почему-то — совсем не неудобно — просить у Вас. (Я вообще ничего ни у кого не прошу)».

Вечер Бальмонта состоялся 13 мая 1935 года в помещении «Mused sociale»[251] на улице Лас Каз, 5, но своеобразно: публика пришла, Бальмонт — не пришел. Чуть позже будет создан Бальмонтовский комитет, которому окажет содействие влиятельная Шошана Авивит, его страсть десятилетней давности.

Для него собирали средства и организовывали вечера, ему посвященные.

«После нескольких месяцев *благородного* всегда *идейного* — буйства водворен, наконец, в лечебницу в Epinay, — пишет МЦ той же Берг. — Собирают на него 2 тысячи в месяц, м. б. — отчасти — из страха, что опять начнет среди ночи приходить из Кламара в Париж — в гости и говорить без конца… и все такие возвышенные вещи. Так или иначе — на безумного — нашлось, а пока был «разумен» ел манную кашу на воде, ибо в доме другого ничего не было, я — свидетель, ибо сколько раз приносила ему есть. Нужда была — черная.

К нему никого не пускают и говорят, что он после первых бешеных дней немножко успокоился».

Бальмонту в 1935 году исполнилось не семьдесят, а шестьдесят восемь. В апреле будущего, 1936 года МЦ напишет «Слово о Бальмонте», приуроченное к пятидесятилетию его творчества (декабрь 1935-го), и прочтет на благотворительном вечере, ему посвященном.

Господа, я ничего не успела сказать. Я могла бы целый вечер рассказывать вам о живом Бальмонте, любящим очевидцем которого я имела счастье быть в течение девятнадцати лет, Бальмонте — совершенно неотразимом и нигде не записанном, — у меня целая тетрадь записей о нем и целая душа, полная благодарности.

Но — закончу срочным и необходимым.

Бальмонту необходимо помочь.

Бальмонт — помимо Божьей милостью лирического поэта — пожизненный труженик.

Бальмонтом написано: 35 книг стихов, т. е. 8750 печатных страниц стихов.

20 книг прозы, т. е. 5000 страниц, — напечатано, а сколько еще в чемоданах!

Бальмонтом, со вступительными очерками и примечаниями, переведено:

Эдгар По — 5 томов — 1800 стр<аниц>

Шелли — 3 тома — 1000 стр<аниц>

Кальдерон — 4 тома — 1400 стр<аниц>

— и оставляя счет страниц, простой перечень: Уайльд, Кристоф Марло, Лопе де Вега, Тирео де Молина, Шарль-Ван-Лерберг, Гауптман, Зудерман, Иегер «История Скандинавской Литературы» — 500 стр<а-ниц> (сожжена русской цензурой и не существует) — Словацкий, Врхлицкий, грузинский эпос Руставели «Носящий Барсову Шкуру» — 700 стр<аниц>, Болгарская поэзия

— Славяне и Литва — Югославские народные песни и былины — Литовские поэты наших дней — Дайны: литовские народные песни, Океания (Мексика, Майя, Полинезия, Ява, Япония) — Душа Чехии — Индия: Асвагоша, Жизнь Будды, Калидала, Драмы. И еще многое другое.

В цифрах переводы дают больше 10 000 печатных страниц. Но это лишь — напечатанное. Чемоданы Бальмонта (старые, славные, многострадальные и многославные чемоданы его) — ломятся от рукописей. И все эти рукописи проработаны до последней точки.

Тут не пятьдесят лет, как мы нынче празднуем, тут сто лет литературного труда.

Бальмонт, по его собственному, при мне, высказыванию, с 19 лет — «когда другие гуляли и влюблялись» — сидел над словарями. Он эти словари — счетом не менее пятнадцати — осилил, и с ними души пятнадцати народов в сокровищницу русской речи — включил.

Бальмонт — заслужил.

Мы все ему обязаны.

Вечный грех будет на эмиграции, если она не сделает для единственного великого русского поэта, оказавшегося за рубежом, — и безвозвратно оказавшегося, — если она не сделает для него всего, что можно, и больше, чем можно.

Если эмиграция считает себя представителем старого мира и прежней Великой России — то Бальмонт одно из лучших, что напоследок дал этот старый мир. Последний наследник. Бальмонтом и ему подобными, которых не много, мы можем уравновесить того старого мира грехи и промахи.

Бальмонт — наша удача.

Я знаю: идут войны — и воинская повинность — и нарушаются — и заключаются — всемирной важности договоры.

Но благодарность Бальмонту — наша первая повинность, и помощь Бальмонту — с нашей совестью договор.

Это срочнее и вечнее конгрессов и войн.

Из лечебницы Бальмонт выйдет в конце 1938 года и поселится в доме для обездоленных, устроенном матерью Марией в кантоне Нуази-ле-Гран.

А что Фавьер, куда МЦ уехала с Муром в июне 1935-го? Море — блаженное, но после Океана — по чести сказать — скучное. Чуть плещется, — никакого морского *зрелища.* Голубая неподвижность — без событий. Пляж — чудесный: песчаный и дно очень долгое — мелкое. Вода — изумительного цвета. А какие вокруг горы! Сосна, лаванда, мирт, белый мрамор.

Обожаемое соединение сосны, камня и суши. Вспоминается Чехия: как *один синий* день. И одна — *туманная* ночь.

Федра в ее драме говорит Кормилице:

— Вериться? Довериться?

Кормилица:

— Лавр — орех — миндаль!
На хорошем деревце
Повеситься не жаль!

МЦ сняла страшно жаркую мансарду в доме, принадлежащем баронессе Врангель, имеющей отношение не к крымскому воину, а к крымскому доктору-писателю Сергею Яковлевичу Елпатьевскому, дальнему родственнику по отцовской линии: МЦ считает Елпатьевского двоюродным братом Ивана Владимировича, а баронессу Людмилу Сергеевну, дочь доктора, своей троюродной сестрой. МЦ взволновалась по этому поводу больше, чем баронесса.

Чердак стоит 600 франков на все лето. Можно стирать и готовить. Есть часть сада, в общем — четыре минуты от моря, а рынок и колодец далеко. Сад переходит в горку, Муру долго ходить нельзя, и это надолго, МЦ сразу влюбилась в какой-то куст, оказался — мирт.

На чердаке дико душно, Мур засыпает рано, работать невозможно, коптит керосиновая лампа, МЦ томится, в письме к Тесковой ропщет: «Смотрю на нынешних двадцатилетних: себя (и все же — *не себя!)* 20 лет назад, а они на меня — не смотрят, для них я скучная (а м. б. «странная») еще молодая, но уже седая, — значит: немолодая — дама с мальчиком. А м. б. просто не видят — как предмет. Горько — вдруг сразу — выбыть из строя — живых. <…> Я давно уже выбита из колеи писания. Главное — нет стола, а если бы и был — жара на чердаке тропическая. Но еще главней: *это* (вся я) *никому не нужно.* Это, в лучшем случае, зовется «неврастения». Век меня — миновал».

Сидит на чердаке, как в раскаленной скворешне. Избыточная красота природы ей претит, МЦ предпочитает места скромные, вокруг — виллы дачников, эмигрантский поселок в сосновом лесу, соседи богатые и знатные, неподалеку — семейство князей Оболенских, ее не замечающих, это похоже на бойкот. Сидит в пропахшей луком, жаркой от примуса кухне с открытой на лестницу дверью — окна нет, стол целиком расшатан, плетеный,

соломенный, стоящий только когда изо всех сил снизу подпираешь коленом, писать невозможно, иногда она выносит его в сад, а мимо на пляж или с пляжа ходят людские табуны. Пляж огромный и пустынный, с забегающими собаками. Лежание у моря бесплодно, работать на воздухе и на людях не привыкла, плавать в море скучно и холодно, Муру доктора разрешили, сняв бандаж, немножко полоскаться, но и он скучает: играть не с кем, а он в школе привык к детскому обществу. И так — каждый день, а жить они собираются здесь до 1 октября.

Нет, стол должен быть — место незыблемое, чтобы со всем и от всего — к столу, вечно и верно — ждущему. Так Макс возвращался в Коктебель.

Но кое-какие контакты все-таки есть. Короткая и прелестная встреча с русской швейцаркой, профессором славянской филологии в Базельском университете Елизаветой Эдуардовной Малер и специалистом по русскому языку, лингвистом Борисом Генриховичем Унбегауном, живущим в Париже.

С доской на коленях, годной разве что для кораблекрушения, сидит на своей скворешневой лестнице, пытаясь писать. К ней снизу приходит темными вечерами некто, молодой и безымянный, ведут беседы. Зачем приходит? Чтоб угодить в недописанную поэму.

А в принципе — лето чудное. Была бы как все — была бы счастлива.

В начале июля внезапно написала в СССР, Николаю Тихонову — с ятями и ерами (воспроизводить не будем):

«У меня от нашей короткой встречи осталось чудное чувство. Я уже писала Борису: Вы мне предстали идущим навстречу — как мост, и — как мост заставляющим идти в своем направлении. (Ибо другого — нет. На то и мост.) <…> С Вами — свидимся.

От Б<ориса> у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня — право, для него — его, Борисин, порок, болезнь. <…>

А орфография — в порядке приверженности к своему до-семилетию: после 7 л<ет> *ничего* не полюбила.

Большинство эмиграции давно перешло на *е*. Это ей не помогло».

Сергей Яковлевич пишет ей 31 июля в Фавьер, обращаясь как прежде: «Дорогая моя Рыся». У него вопрос:

«Как бы Вы отнеслись, если бы мы приехали с Алей вместе? На время моего пребывания можно бы приснять какой-либо угол или комнату франков по десяти (даже по 15) за день. Я могу себе это позволить, ибо приезжаю ненадолго и с'экономлю на здешнем пансионе и дороге (автомобиль). Мне бы хотелось приехать с

Алей, т<ак> к<ак> второго такого случая не будет, а после моего отъезда к Вам — она хочет ехать домой, чего я допустить не хочу. Приехал бы с нею без предупреждения, но Аля меня уверяет, что Вы ее пригласили на гораздо позже, что осуществить будет невозможно.

Жду Вашего быстрого и точного ответа. Я бы жил с Вами, а Алю бы на время моего пребывания устроили бы на стороне».

Аля приехала одна. Тот некто, молодой и безымянный, тотчас перешел в ее руки. МЦ уже ничему не удивляется. Дочь неизбежно, по определению становится соперницей, разумеется счастливой. «Положение — ясное: ей двадцать лет, мне — сорок, не мне, конечно, — мне — никаких лет, но — хотя бы моим седым волосам (хотя начались они в 24 года: первые) — и факт, что ей — двадцать. А у нее — кошачий инстинкт «отбить» — лапкой — незаметно» (Ариадне Берг).

В конце августа 1935-го — Вере Буниной:

> …*поэмы не нужны.* А мне нужно было — зарабатывать: *и внешне* оправдывать свое существование. И началась — проза. *Очень* мной любимая, я не жалуюсь. Но все-таки — несколько насильственная: обреченность на прозаическое слово.
>
> Приходили, конечно, стихотворные строки, но — как во сне. Иногда — и чаще — так же и уходили. Ведь стихи сами себя не пишут. А все мое малое свободное время (школьные проводы Мура, хозяйство, топка, вечная бытовая неналаженность, ненадежность) — уходило на прозу, ибо проза *физически* требует больше времени — как больше бумаги — у нее иная *физика.*
>
> Отрывки заносились в тетрадь. Когда 8 строк, когда 4, а когда и две. Временами стихи — прорывались, либо я попадала — в поток. Тогда были — циклы, но опять-таки — ничего не дописывалось: сплошные пробелы: то этой строки нет, то целого четверостишия, т. е. в конце концов — черновик.

Вернулись домой в конце сентября. Итог лета, его трофеи, привезенные с собой в Ванв, — три пробковых пояса от сетей, морем выброшенных и подобранных, помогающих плавать даже не *в море, а над морем* — вроде хождения по водам — и целые связки эвкалипта, мирта, лаванды. И еще итог — несколько стихов: немного, и половина поэмы (о *певице,* себе), а также чудный мулатский загар, вроде нашего крымского. «Люди думают, что я «помолодела», — не помолодела, а просто — вымылась и, на 40—50-градусном солнце — высушилась. Много

снимали, но проявлять будем здесь — там было втридорога».

Да, есть и стихи, но они смотрят в прошлое:

Окно раскрыло створки —
Как руки. Но скрестив
Свои — взирает с форта:
На мыс — отвес — залив
Глядит — с такою силой,
Так вглубь, так сверх всего —
Что море сохранило
Навек глаза его.

26–27 июля 1935

(«Окно раскрыло створки…»)

Вот уж и впрямь вечный ее спутник — Наполеон, тем более что рядом с ней — ее голый, коричневый и соленый наполеонид, о котором думает гадательно и трудно. Лейтмотив всех каникул: «Ма-ама! Что-о мне де-е-е-лать?!» В конце декабря 1935-го МЦ напишет Тесковой:

> Мур живет разорванным между моим гуманизмом и почти что фанатизмом — отца… Очень серьезен. Ум — острый, но трезвый: *римский.* Любит и волшебное, но — как гость.
>
> По типу — деятель, а не созерцатель, хотя для деятеля — уже и сейчас умен. Читает и рисует — неподвижно — часами, с тем самым *умным* чешским лбом. На лоб — вся надежда.
>
> Менее всего развит — душевно: не знает *тоски,* совсем не понимает.
>
> Лоб — сердце — и потом уже — душа: «нормальная» душа десятилетнего ребенка, т. е. — зачаток. (К сердцу — отношу любовь к родителям, жалость к животным, все элементарное. — К душе — все беспричинное болевое.)
>
> Художественен. Отмечает красивое — в природе и везде. Но — не пронзён. (Пронзён = душа. Ибо душа = боль + всё другое.)
>
> Меня любит как свою вещь. И уже — понемножку — начинает ценить…

Поэма о певице не состоялась, оборвавшись на бесперспективности сюжета: певица, поющая на втором этаже

дома, влечет юношу с первого этажа — и что? Скучно. Было. Это вам не блоковская девушка, певшая в церковном хоре, и не его же «Соловьиный сад». То же самое — и ностальгические стихи «Отцам», с одной стороны многажды повторяющие давнее стихотворение «Генералам двенадцатого года», с другой — весьма напоминающие поточный продукт советского производства:

Вам, в одном небывалом
Умудрившимся — быть,
Вам, средь шумного бала
Так умевшим — любить!
До последнего часа
Обращенным к звезде —
Уходящая раса,
Спасибо тебе!

Ну, разве что кроме ее интонации и слова «раса», опозоренного нацистами. МЦ, кстати, это понятие чтила измлада, — «германское воспитание», ничего не попишешь. В ее интеллектуальном хозяйстве было много того, что осталось в прошедшем времени. В пейзажном стихотворении фавьерской поры «Ударило в виноградник…», например, сказано:

Хвалы виноградным соком
Исполнясь, как царь Давид —
Пред Солнца Масонским Оком —
Куст служит: боготворит.

А может быть, это действительно свидетельствует о некотором влиянии на нее Сергея Яковлевича, члена масонской ложи «Гамаюн»? Остаточно-задушевные разговоры у них были, это — безусловно, от прежнего решительного «твердо не еду» она перешла к некоторым колебаниям, на которые Пастернак ответил восклицанием про любовь к колхозам. Какие-то деньги муж стал приносить, продолжительный Фавьер не мог появиться лишь на ее заработки, да и Мур учится в довольно престижной гимназии.

Но она по-прежнему стоит на своем:

Вы с этой головы, настроенной — как лира:
На самый высший лад: лирический…
— Нет, стой!
Два строя: Домострой — и Днепрострой — на выбор!
Дивяся на ответ безумный: — Лиры — строй.

25 октября 1925

(«Двух станов не боец, а — если гость случайный…)

В Ленинграде 23 октября 1935 года арестованы муж Ахматовой Николай Пунин и ее сын Лев Гумилёв. У Пунина при обыске нашли три книжки Мандельштама. Анна Андреевна метнулась в Москву, посетила многих писателей — Лидию Сейфуллину, Бориса Пильняка, Михаила Булгакова, Бориса Пастернака, с их помощью составила письмо Сталину. «Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет». По тому же адресу написал Пастернак. «Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища. <…> Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности». Кажется, оба письма в проходную Кремля отнес Пастернак. 3 ноября арестованных отпустили. На допросах, поначалу отпираясь от контртеррористической деятельности, они подписали признательные показания с примерами прегрешений друг друга. После этого на воле они не разговаривали между собой. Ахматова за эти дни резко изменилась внешне, исхудала, у нее запали глаза и возле переносицы появились непроходящие треугольники. По ходу московских хлопот у нее родились стихи:

За ландышевый май
В моей Москве кровавой
Отдам я звездных стай
Сияние и славу.

Летом 1935-го из Фавьера МЦ написала Пастернаку письмо, в котором отчитала его за непосещение родителей по дороге домой после конгресса. 13 октября он ответил:

> Дорогая Марина! Я жив еще, живу, хочу жить — и — надо. Ты не можешь себе представить, как тогда, и долго еще потом, мне было плохо. «Это» продолжалось около пяти месяцев. Взятое в кавычки означает: что не видав своих стариков двенадцать лет, я проехал, не повидав их; что вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостили Роллан с Майей[252], несмотря на их

настояния; что, имея твои оттиски, я не читал их; что действие какой-то силы, которой я не мог признать ни за одну из тех, что меня раньше слагали, укорачивало мой сон с регулярностью заклятья, и я ждал наступленья той первой здоровой ночи, после которой мог бы возобновить знакомую и родную жизнь вслед за этой, неузнаваемой, никакой, непроглядной.

Тогда бы только и смогли прийти: родители, ты, Роллан, Париж и все остальное, упущенное, уступленное, проплывшее мимо. <…>

Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, всегда смотришь в корень и даешь полные, запоминающиеся определения, все безошибочно, но всего замечательнее «Искусство при свете совести» и «У Старого Пимена»; отчасти и о Волошине. В этих, особенно названных двух, анализ, ненасытность анализа так сказать, вызваны природою предмета, и жар, и энергия, которые ты им посвящаешь, естественны и легко разделимы.

В «Матери и музыке» такой надобности на первый взгляд меньше, или же разбор, как ты и сама замечаешь (диезы и бемоли) идет не по существу. Но твоих образов и черточек и тут целая пропасть… <…>

Я хочу жить и боюсь что-нибудь накаркать. Давай думать, что это только перерыв в моей жизни…

Но, допустим, — а вдруг я поправлюсь и все вернется? И мне опять захочется глядеть вперед, и кого же я тем, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу?..

Когда же вы приедете?

Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, — после твоего летнего письма?

Твой Б.

От нее он получил ответ, написанный в конце октября 1935 года:

Дорогой Борис! Отвечаю сразу — бросив всё (полувслух, как когда *читаешь* письмо. Иначе начну думать, а это заводит далёко).

О тебе: право, тебя нельзя судить, как человека. <… > Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом,

обратное тебе: *я на себе* поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, может быть, так же этого боюсь и так же мало радуюсь). И здесь уместно будет одно мое наблюдение: *все* близкие мне — их было мало — оказывались бесконечно-мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist hart[253] — и это меня огорчало потому, что иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только — форма, контур сути, необходимая граница самозащиты — от *вашей* мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Борис Пастернак. Ибо вы в *последнюю минуту* — отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между нами, нечеловеками, я была *только человек.* Я знаю, что ваш род — выше, и *мой* черед, Борис, руку на сердце, сказать: — О, не вы: это я — пролетарий. — Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А *все* — любили. Это было печение о *своей* душе. Я, когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м. б. в *лучшем* эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики.

Собой (душой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах — редких, ибо я всю жизнь — водила ребенка за руку. На «мягкость» в общении меня уже не хватало, только на общение: служение: *бесполезное* жертвоприношение. *Мать-пеликан* в силу созданной ею системы питания — *зла.* — Ну вот.

О *вашей* мягкости: Вы — ею — откупаетесь, затыкаете этой гигроскопической ватой дыры ран, вами наносимых, вопиющую глотку — ранам. О, вы добры, вы при встрече *не можете* первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы — чтобы «не обидеть». Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда и оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. Роберт Шуман *забыл,* что у него были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только спросил о старших девочках: всё ли у них такие чудесные голоса? <…>

Моя проза: пойми, что пишу для заработка: *чтения* вслух, т. е. усиленно-членораздельного и пояснительного. Стихи — для себя, прозу — для всех (рифма — «успех»). Моя вежливость не позволяет мне стоять и читать моим «последним верным» явно непонятные вещи — за их же деньги. Т. е. есть *часть*

моей тщательности (то, что ты называешь анализом) — вызвана моей сердечностью. Я — отчитываюсь. А Бунин еще называет мою прозу «прекрасной прозой, но безумно-трудной», когда она — для годовалых детей. <…>

Увидишь Тихонова — поклонись…

МЦ.

Весьма назидательно, нечего сказать. Совершенно ясно: прежним отношениям — не бывать. Другие — будут.

В начале декабря Сергей Яковлевич пишет сестре очередное лирическое письмо, упирая на (не)здоровье и киноискусство. Отмечает фильмы Александра Довженко, Рене Клера и Вал-Диснея (Уолта Диснея). В Париже гостят советские ученые, видел челюскинца Шмидта, академика, из организаторов освоения Северного морского пути.

«Что тебе рассказать о себе и о своих? У меня масса работы. Нет минуты свободной. Но все не то, что хотелось бы. И все потому, что я здесь, а не там. Аля сделалась прекрасной рисовальщицей, настоящим мастером. Но она ужасающе пассивна и живет еще в каком-то отроческом полусне (а ей уже 21 год).

Мур, наоборот, бурно активен, жаден до всех жизненных впечатлений предельно, богатырского телосложения, очень красив. Прекрасно учится.

Марина много работает. Мне горько, что из-за меня она здесь. Ее место, конечно, там. Но беда в том, что у нее появилась с некоторых пор острая жизнебоязнь. И никак ее из этого состояния не вырвать. Во всяком случае через год-два перевезем ее обратно, только не в Москву, а куда-нибудь на Кавказ. Последние стихи ее очень замечательны и вообще одарена она, как дьявол.

К весне думаю устроить Алину выставку, а затем издать часть ее рисунков».

Устроить? Издать? Откуда дровишки? От «Союза возвращения на родину», в котором, между прочим, существуют всяческие кружки, организуются художественные выставки, ставятся спектакли, а Аля организует молодежную группу при «Союзе».

Вот уже несколько лет он интересничает перед собственной сестрой, не врет, но привирает или перевирает, без задней мысли, сказывается тяга к актерству. На манер МЦ Сергей Яковлевич всё путает — названия работ Довженко и Мейерхольда, даже возраст дочери (дает ей двадцать один год вместо действительных двадцати трех). Но в уме и трезвом понимании МЦ ему не откажешь. Он честен на свой лад и очень хочет в Россию. Правда, цветаевский дар он проводит по епархии дьявола. Оговорка по

Фрейду? Руку нечистого он испытал сполна. Ангельского в МЦ действительно немного. Любила-то она — «Огненного ангела» (Брюсов). К последним стихам МЦ он относит, скорей всего, «Читатели газет».

Это вещь эпохальная, особенно — в эпоху ее публикации в 1956 году, когда советские газеты напечатали материалы XX съезда КПСС. Этой горечи, этой ненависти, этого отчаяния никто не воплотил так убедительно. Бунтуя против газетной нечисти, она по сути отвергает способ собственного существования — газетного. Что бы ее кормило, кабы не газеты-журналы? Но дело не в газетах, а в общем устройстве бытия, набитого ложью.

О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!

Полмесяца — с 1 по 15 ноября 1935 года — она писала эту вещь, и это сказалось на качестве — ни единого лишнего слова. Уже несколько лет она прибегает к приему, когда стихотворение завершается неким незарифмованным привеском, дополнительным хвостом. Это не всегда резонно, но в данном случае — неотразимо:

Вот, други, — и куда
Сильней, чем в сих строках! —
Что думаю, когда
С рукописью в руках

Стою перед лицом
— Пустее места — нет! —
Так значит — нелицом
Редактора газет
ной нечисти.

А ведь в начале года она призналась в одном из писем, что Руднев оказался ее благодетелем. Но, если уж Сергей Яковлевич сравнивает ее с дьяволом, то ей-то судить всяческую нечисть сам Бог велел.

Не без намека на безумного Бальмонта в ее новых «Деревьях» возникает картина коллективного суицида:

От гвалта, от мертвых лис —

На лисах (о смертный рис
На лицах!), от свалки потной
Деревья бросаются в окна —

Как братья-поэты — в ре́ку!
Глядите, как собственных веток
Атлетикою — о железо
Все руки себе порезав —
Деревья, как взломщики, лезут!

И выше! За крышу! За тучу!
Глядите — как собственных сучьев
Хроматикой — почек и птичек —
Деревья, как смертники, кличут!

(Был дуб. Под его листвой
Король восседал…)
— Святой
Людовик — чего глядишь?
Погиб — твой город Париж!

27 ноября 1935

Бальмонт Бальмонтом, но вот ведь странность — у МЦ есть более поздняя запись: «Деревья бросаются в окна — на этой строке узнала о смерти Андрея Белого». Явная путаница. Она перепутала безумцев.

На самом деле — речь о себе (из августовского письма Буниной):

> Вера! я день (у стола, без стола, в море, за мытьем посуды — или головы — и т. д.) ищу эпитета, т. е. ОДНОГО слова: день — и иногда не нахожу — и — боюсь, но это, Вера, между нами — что я кончу как Шуман, который вдруг стал слышать (день и ночь) в голове, под черепом — трубы en ut bemol — и даже написал симфонию en ut bemol — чтобы отделаться — но потом ему стали являться ангелы (слуховые) — и он забыл, что у него жена — Клара, и шестеро детей, вообще — всё — забыл, и стал играть на рояле — вещи явно-младенческие, если бы не были — сумасшедшие. И бросился в Рейн (к сожалению — вытащили). И умер как большая отслужившая вещь.
>
> Есть, Вера, переутомление мозга. И я — кандидат.

(Если бы видели мои черновики, Вы бы не заподозрили меня в мнительности. Я только очень сознательна и знаю свое уязвимое место.)

Поэтому — мне надо торопиться. Пока еще я — владею своим мозгом, а не он — мной, не то — им.

В новогоднюю ночь 1936 года в Брюсселе покончил с собой Иван Степанов, бывший доброволец, лидер брюссельских евразийцев, оставив после себя чемодан рукописей, в том числе мемуар «Лазарет Ее Величества», а утром 1 января в СССР «Известия» под редакцией Бухарина явили свидетельство предательства Пастернаком Лирики — стихотворение «Мне по душе строптивый норов…»: о Сталине. «Лазарет Ее Величества» МЦ долго и безуспешно пыталась пробить в печать, а про Пастернака сказала: «Орфей, пожираемый зверями».

В середине февраля 1936 года МЦ — Тесковой:

Все свелось к одному: ехать или не ехать. (Если ехать — так навсегда.)

Вкратце: и С<ергей> Я<ковлевич> и Аля и Мур — рвутся. Вокруг — угроза войны и революции, вообще — катастрофических событий. Жить мне — одной — здесь не на что. Эмиграция меня не любит. <…>

Наконец, — у Мура здесь никаких перспектив. Я же вижу этих двадцатилетних — они в *тупике.*

В Москве у меня есть сестра Ася, к<отор>ая меня любит — м. б. больше чем своего единственного сына. В Москве у меня — все-таки — круг настоящих писателей, не обломков. (Меня здешние писатели не любят, не считают своей.)

Наконец — природа: просторы. Это — за.

Против: Москва превращена в Нью-Йорк, — ни пустырей, ни бугров — асфальтовые озера с рупорами громкоговорителей и колоссальными рекламами: нет, не с главного начала: *Мур,* к<оторо>го у меня эта Москва сразу, всего, с головой отберет. И, второе, главное: я — с моей Furchtlosigkeit[254], *я не умеющая* не-ответить, я не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо *не* я его назвала великим и — если даже велик — это не мое величие и — м. б. важней всего — ненавижу каждую торжествующую, казенную церковь. <…>

Буду там одна, без Мура — мне от него ничего не оставят, во-первых п. ч. всё — во времени: здесь после школы он — мой, со мной, там он — их, всех:

пионерство, бригадирство, детское судопроизводство, летом — лагеря, и всё — с соблазнами: барабанным боем, физкультурой, клубами, знаменами и т. д. и т. д.

В тот же день, 15 февраля, в помещении Научного общества «Объединением писателей и поэтов» устроен литературный вечер, для участия в котором приглашено более тридцати поэтов, все парижские, вплоть до старика Мережковского, когда-то тоже писавшего стихи. А назавтра — по просьбе своих — выступление на вечере хора «Союза возвращения на родину». В обоих случаях — безвозмездно. В плане отъезда она все думает, что сделала бы на ее месте Сельма Лагерлёф или Сигрид Унсет, которые для нее — образец женского мужества. Чувствует, что ее жизнь переламывается пополам. Страх за рукописи — что-то с ними будет? Половину — нельзя везти. Безумная жалость к последним друзьям: книгам — тоже половину нельзя везти. Уже сейчас тоска по здешней воле, призрачному состоянию чужестранца, которое так любила, состоянию сна или шапки-невидимки.

На Брюссель она вышла через Ариадну Берг. Там жила Ольга Николаевна Вольтере, жена брата Ариадны Берг. МЦ увлеклась невесткой новой приятельницы, предлагает достать для нее билет на доклад Керенского — докладов было три, под шапкой «Трагедия царской семьи»; гостит у нее в ее брюссельском доме, — но желанной дружбы не произошло. Зато сложились хорошие отношения с Ариадной Берг. МЦ с Муром не раз навещают ее с ночевкой на вилле «La Fretillonne» в парижском предместье Гарш. 6 марта 1936 года МЦ оповещает: «Дорогая Ариадна, с радостью приедем к Вам (к вам!) в воскресенье, означенным поездом, — но с большой просьбой: возместить нам дорогу: *железную* — на 4 метро мы способны». 6 мая зовет к себе: «Если Вы действительно отчаялись потребить весь салат самостоятельно — везите, пожалуйста! <…> — *И сирени!!!*».

Доклады Керенского в зале «Социального музея» были таковы: 26 февраля 1936 года — «Революция, царь и монархисты»; 7 марта — «Переговоры с Англией, отъезд в Тобольск, Екатеринбург»; 17 марта два первых доклада были объединены в один — «Крушение монархии и гибель царской семьи». 19 марта МЦ — Тесковой: «Последние мои сильные впечатления — два доклада Керенского о гибели Царской Семьи (всех было — три, на первый не попала). И вот: руку на сердце положа скажу: невинен. *По существу* — невинен. Это не эгоист, а эгоцентрик, всегда живущий своим данным. Так, смешной случай. На перерыве первого доклада подхожу к нему (мы лет 7–8 часто встречались в «Днях», и иногда и в домах) с одним чисто

фактическим вопросом (я гибель Царской Семьи хорошо знаю, и К<ерен>ского на себе, себя — на нем (NB! наши знания) проверяла) <…> (И вдруг, от всей души): — Пишите, пишите нам!! (Изумленно гляжу. Он, не замечая изумления, категорически): — Только не стихи. И не прозу. Я: — Так — что же?? — Общественное. Я: — Тогда *вы пишите* — поэмы!»

Второе сильнейшее впечатление: смерть в Ленинграде поэта Михаила Кузмина. МЦ взялась за очерк «Нездешний вечер». Кузмин был тогда — в вечер знакомства, в 1916 году — на двадцать с чем-то лет старше ее, то есть такой, как она теперь. Керенский и Кузмин тех лет — тогдашняя Россия. Руднев обещает взять очерк в «Современные записки». Очерк будет напечатан (1936. № 61).

В марте — 16-го — Сергей Яковлевич читает в «Гамаюне» доклад «Работа советского правительства». Скорее всего, он уже посвящен в высшую ступень.

В апреле с переломом бедра попал в лечебницу князь Сергей Михайлович Волконский. Ему семьдесят шесть, но он поправился и навсегда уехал в США. 20 мая МЦ отправилась в Брюссель. Остановилась у Ольги Вольтере. Собирались люди, кипело общение. Очень хорошо прошли два ее чтения — французское и русское. Читала — для бельгийцев — «Моп Реге et son Musee»[255], как босоногий сын владимирского священника (не города Владимира, а деревни Талицы) голыми руками поставил посреди Москвы мраморный музей — стоять имеющий, пока Москва стоит. Для русских читала «Слово о Бальмонте» и «Нездешний вечер». На заработок с обоих вечеров имела счастье одеть Мура, и еще немножко осталось на лето.

В столице Бельгии существует «Le Journal des Poetes», издательство и периодический журнал. В нем сотрудничает Зинаида Шаховская, сестра Дмитрия Шаховского («Благонамеренный»). Они познакомились и сговорились, что МЦ пришлет ей «Письмо к Амазонке», на предмет издания книжки. МЦ побывала в гостях у Шаховской, которая ее водила смотреть на бюст Петра Великого в заброшенном овраге Королевского парка. Одну из своих рукописей, разбросанных, как птенцы кукушки, она оставила у Люсьена де Нека, фламандца, приятеля Ольги Вольтере. О Люсьене МЦ говорит: «Он — тоже птенец (как и мои рукописи!)», пытается развить знакомство, набрасывает письмо, довольно мудреное: «Милостивый Государь, я мыслю о Вас, но для письменных мыслей требуется время. И чем они стихийнее, тем больше его надо, ибо записать мысль — значит уловить ту первую, первичную, стихийную, мгновенную форму, в которой она появилась изначально. Как и вся работа жизни с

нами (NB! Говорят: «работать над чем-то». Я работаю над рукописью. Но нельзя сказать: работа жизни над нами. Тогда надо с нами?) состоит в том, чтобы возвратить нам первую и единственно истинную форму нашего облика и ощущений. Совсем маленькие дети — совсем старые старики. Все, что между и что называют «жизнь», — только черновик, бумага с тьмой помарок, только затмение. Я не только мыслю о Вас, я действую. Так как Вы первый, кто увидел настоящее во мне в моей французской транскрипции, я посылаю Вам — Вам одному — несколько листков, продолжающих те письма, которые Вы имели глубину счесть глубокими».

В Ольге Вольтере МЦ быстро разочаровывается: «Эта женщина заперта (сама от себя) на семь, а м. б. семижды семь — замков. Уж если я не развязала ей уст…» МЦ мечтала о *дружбе* с ней, за этим и с этим ехала — а дружбы *не вышло:* Вольтере поглощена домом и своей женской тоской по любви и страхом надвигающихся неженских лет (ей 32 года, но она живет вперед) — и МЦ в ее душе не оказалось места.

Не заставило себя ждать и другое разочарование МЦ:

«И еще буду жаловаться на Люсьена.

— Уже?

— Да».

Кому жаловаться? Ариадне Берг. А Тесковой — следующее: «Ездила с Муром, и только там обнаружила, насколько он невоспитан (11 лет!). Встречает утром в коридоре старушку-бабушку — не здоровается, за обед благодарит — точно лает, стакан (бокал, каких у нас в доме нет) берет за голову, и т. д. Дикарь. Я к этому, внутри себя, отношусь с улыбкой: знаю, что всё придет (от ума!) другие же (молча) меня жалеют и… удивляются: на фоне моей безукоризненной, непогрешимой воспитанности, вдруг — медведь и даже ведмедь! Не понимая, что воспитанность во мне не от моего сословия, а — от поэта во мне: сердца во мне. Ибо я получила столько воспитаний, что должна была выйти… ну, просто — морским чудищем! А главное — росла без матери, т. е. расшибалась обо все углы. *{Угловатость* (всех росших без матери) во мне осталась. Но — скорей внутренняя. — И *сиротство.)».*

В Брюсселе она подумывала о переезде в этот город и высмотрела себе некое окошко в зарослях сирени и бузины, над оврагом, с видом на старую церковь — где была бы *счастлива.* Одна, без людей, без друзей, одна с новой бузиной. «Но не могу уехать от С<ергея> Я<ковлевича>, к<отор>ый связан с Парижем. В этом всё. Нынче, 5/18 мая, исполнилось 25 лет с нашей первой встречи — в Коктебеле, у Макса…»

Возможно, до нее доходят слухи, что у Сергея Яковлевича появилась «какая-то дама». Однако он большой конспиратор.

С Ариадной Берг МЦ говорит о ее стихах. «Захватите *любую* из рукописей, ведь дело в принципе. Всё дело у Вас в заострении эпитета и избежании *общих,* напрашивающихся образов и оборотов. Но это можно показать только на примере. Кроме того — не думая об этом пишет большинство пишущих французов, это, увы, в самом языке, так что я «требую» с Вас — не как с французов». Она входит во вкус наставничества, ее посещают Александр Гингер и Анна Присманова, муж и жена, «серафическая пара» по слову Шаховской. Анна пишет угловато, предметно:

Марине Цветаевой

След истлевших древесных сил —
карандаш мой точу в ночи.
Нож с боков стеарин скосил
деревянной моей свечи.

Жизнь сказала: да будет так! —
заострила графитный взор.
Ты спустилась ко мне в кулак,
стружка, с окаменелых гор.

1934 («Карандаш»)

Чуть похоже на МЦ. В «Поэте-альпинисте» по этому поводу сказано: «…до сих пор я обычно узнавала свои ритмы, свои «методы» (приемы), (которых, кстати, у меня нет), свои «темы» (я, например, пишу о письменном столе, а одна поэтесса тут же — о карандаше)…»

Присманова и Гингер входили в группу *формистов,* полагая, на уровне деклараций, главной целью стихописания — форму. Но все декларации — лишь инструмент в литературной сутолоке, и дело не в них.

В прошлом году в Париже скончался их единомышленник Борис Поплавский. Он умер во сне, приняв большую дозу героина по просьбе шапочного знакомого, — зачем? МЦ в свое время попросила его выступить на ее вечере и несильно поспорила с ним, считая его беспутным.

Русский литературный Париж в связи с этой смертью крайне взволновался. Но МЦ — вне этого круга и его страстей. Ей

хватило Гронского. Присманова написала стихи о «сиянии Бориса».

Было дело, критика отмечала *(В. Булич.* О новых поэтах II. Журнал содружества (Выборг). 1933. № 7): «М. Цветаева и Поплавский творят именно так, стихийно. В поисках новых путей в поэзии, острой новизны — они отдаются во власть потока ассоциаций, у Поплавского зрительных — образных, у Цветаевой слуховых — словесных. Они не судят, не выбирают сознательно из этого материала того, что им нужно, а делают это по слуху, наугад, вслепую. Для Поплавского образ, для Цветаевой слово — не средство, а самоцель. От этого неясность их поэзии».

Не от этого. Да и «неясность» — кому как.

В Париже отметили пятидесятилетний юбилей Ходасевича. 30 мая 1936-го на литературном обеде в его честь — по подписке, в одном из парижских ресторанов — МЦ видела «весь Монпарнас» (Адамович и его ученики — поэты «Парижской ноты»), Бунина, и *милее, живее* всего были женщины: очевидно, по живучести в них души. Подарила Ходасевичу хорошую тетрадку «для последних стихов» — может быть, запишет, то есть сызнова начнет писать, а то годы — ничего нет, а жаль. Его последняя книга «Собрание стихов» вышла в издательстве «Возрождение» много лет назад (1927). В последний раздел книги — «Европейская ночь» — отобраны сто двенадцать вещей, половина того, что он сделал за границей. Что касается лирики, МЦ там же и в те же годы написала не намного больше, приблизительно триста готовых стихотворений.

Восемнадцатого июня 1936 года умер Максим Горький. Еще не остыла всенародная травма от гибели 18 мая 1935-го воздушного богатыря — самолета «Максим Горький». Органы искали виновных и в том и в другом.

МЦ продолжает экспериментировать в переводном деле. Русская песня «Полюшко-поле», марш из советского кинофильма «Веселые ребята», Пушкин:

Песня Председателя из «Пира во время чумы»[256];
Пророк;
Няне;
«Для берегов отчизны дальной…»;
«Свободы сеятель пустынный…»;
К морю;
Бесы;
Приметы;
Заклинание;
Поэту («Поэт! не дорожи любовию народной…»);

Воспоминание;
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы;
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»;
«Я Вас любил: любовь еще, быть может…»;
Приятелям;
отрывок из «Клеветникам России»;
Стансы
Герой
«Что в имени тебе моем…»;
Анчар (предположительно).

Переводы предназначались для бельгийского антологического сборника «Похвала Пушкину», который редактировала Зинаида Шаховская, но вовремя до нее не дошли, и публикация не состоялась. Дело ограничилось чтением на дому или в гостях, а то и на природе — лесной прогулке с кем-то из внимательных собеседников. Несколько переводов из Пушкина будут опубликованы позже.

А теперь — внимание. Важнейшая просьба:

Vanves (Seine) 65, rue J. B. Potin

23-го шюня 1936 г., вторник Дорогая Ариадна[257],

У меня есть для Вас — для нас с вами — один план, не знаю — подойдет ли Вам.

Дело в том, что мне безумно — как редко что хотелось на свете — хочется того китайского кольца — лягушачьего — Вашего — бессмысленно и непреложно лежащего на лакированном столике. Я всё надеялась (это — между нами, я с Вами совершенно откровенна, — в этом вся ценность наших отношений, но ОТКРОВЕННОСТЬ требует СОКРОВЕННОСТИ) — итак, я всё надеялась, что 0<льга> Н<иколаевна> <Вольтерс>, под императивом моего восторга мне его в конце концов подарит — я бы — подарила — и всю жизнь дарила — вещи и книги, когда видела, что они человеку *нужнее, своее* — чем мне — но она ничего не почувствовала, т. е. — полной его законности и даже предначертанности на моей руке (у меня руки не красивые, да и кольцо не «красивое», а — mieux или pire[258], — да и не для красоты рук ношу, а ради красоты — их и для радости своей) — но она ничего не почувствовала, п. ч. она — другая, и к вещам относится не «безумно», а — трезво — итак, возвращаясь к лягушке (в деревне их зовут ЛЯГВА).

Если бы Вы мне каким-нибудь способом добыли *то* кольцо (ибо Вы бы мне его — подарили — мы *одной* породы), я бы взамен дала Вам — теперь слушайте внимательно и видьте мысленно: большое, в два ряда, ожерелье из темно-голубого, даже синего

лаписа, состоящее из ряда овальных медальонов, соединенных лаписовыми бусами. Сейчас посчитала: медальонов — семь, в середине — самый большой (ложащийся под шейную ямку), потом — параллельно — и постепенно — меньшие, но оба, против рисунка, немножко меньше, ибо я очерчивала, черточки указывают настоящий размер[259].

Вещь массивная, прохладная, старинная и — редкостной красоты: настолько редкостной, что я ее за десять лет Парижа надела (на один из своих вечеров) — один раз: ибо: — *овал* требует *овала,* а у меня лицо скорей круглое, даже когда я очень худею такая явная синева требует синих или хотя бы серых глаз, а у меня — зеленые, а иногда и желтые такая близость к лицу (первый ряд почти подходит под горло, второй лежит на верху груди) *невольно* требует красоты, а ее у меня — нету.

Но вещь, даже на мне, была настолько хороша, что — все сразу поняли мои стихи, потому что их не слушали, а только на меня — смотрели (на нее!)

И старый кн<язь> С. Волконский — виды видывавший! все виды красоты —

— Это одна из самых прекрасных вещей, которые я видел за жизнь.

— C'est quelque chose[260]

<…>

…..

Но теперь — главное:

Как выцарапать кольцо (которое им не нужно, — вещь среди других).

Если бы Вы, не упоминая о мене ни звуком, просто бы сказали (написали) О<льге> Н<иколаевне>, что я в то кольцо влюбилась и что Вам страшно хочется мне его подарить — она бы — дала?

Или — выпросите у брата? Раз — его. И предложите ему что-нибудь взамен — на выкуп. (Но что он любит? и у него — всё есть.)

…..

Как было бы чудно! У Вас — ожерелье, у меня — кольцо.

Ожерелье — сейчас держу в руке — холодное как лед, по холоду узнают настоящесть камня. (Символ!)

А я бы Ваше кольцо — никогда бы не снимала. (Оно — перстень)

— Словом, думайте.

И отвечайте поскорее, ибо я в страсти нетерпения, а м. б. и в нетерпении (нетерпеже!) — страсти.

Эта грандиозная затея завершилась успехом.

Неуспех постиг — поэму «Автобус», начатую еще в апреле 1934-го, а в июне 1936-го застрявшую на месте и уже никуда не двинувшуюся. Есть великолепные места, живые ритмы, сочные краски, особенно — зелень земли, ударяющая в голову, а внутренней связи между всем этим — нет, и причина задуманной вещи совершенно не соответствует следствию, поскольку следствием остановившегося бытия, то бишь транспортного средства, оказывается другая причина, и она в… Пастернаке, уличаемом в гастрономических излишествах его метафорики, за которой — сытость.

И какое-то дерево облаком целым —
— Сновиденный, на нас устремленный обвал…
«Как цветная капуста под соусом белым!» —
Улыбнувшись, приятно мой спутник сказал.
…..
Ты, который так царственно мог бы — любимым
Быть, бессмертно-зеленым (подобным плющу!) —
Неким цветно-капустным пойдешь анонимом
По устам: за цветущее дерево — мщу.

Месть осталась в рукописи. В общем-то, за ненадобностью.

В начале июля 1936 года МЦ с Муром прибыли в старинный городок Морэ-сюр-Луан, находящийся на опушке леса Фонтенбло, недалеко от места впадения реки Луан в Сену, напротив прежних герцогств Бургундии и Шампани. Людовик VII, Людовик Святой, Филипп Красивый, Карл VII, Людовик XI, Франциск I и Генрих IV — кавалькада королей в тумане веков по зеленым рощам проносилась перед глазами импрессионистов, стоящих здесь с мольбертами на пленэре, мимо их холстов. За Наполеоном летела густая стая золотых пчелок. В Морэ он останавливался в своем стодневном марше за возвращение трона.

В день приезда, 7 июля, Морэ встретил их грозой и ливнем. Выгрузив вещи, зашли в кафе, а когда вышли, обнаружили — все улицы превратились в бурные потоки. Пока Мур изумлялся и негодовал, МЦ разулась и пошла вперед — в воде выше щиколотки, держась за край домов, ибо поток — уносил. То же, конечно, пришлось сделать и Муру, но он потом ворчал:

— Все из окон на нас смеялись… Думают, что мы *всегда* ходим босиком.

Съемная квартира очень уютная и чистая, уличка тихая, за самой церковной стеной. Девятисотлетняя церковь — с химерами,

ночная набережная — с привидениями. Лес поблизости, есть и сосна, холмы. Лавок — хоть залейся: целая улица кооперативов и всяческих Familister'ое[261]. Цены — не дороже Ванва. Словом, быт устроен, то есть — почти устранен. Улички, кроме главной, торговой, точно вымерли, людей нет, зато множество кошек и древнейших старух. Население приветливое, Мур высказался:

— Как странно: отчего это в старых городах — столько стариков? Наверное, в Париже — их давят (машины).

Луан — речка вроде той, где МЦ купалась в Тульской губернии, пятнадцати лет, в бывшем имении Тургенева, — там, где Бежин луг. Но — там не было ни души, только пес сидел и стерег, а здесь — сплошь «души»: дачи, удильщики, барки, ни одного пустынного места.

Однако лето выдалось чрезвычайно дождливое. К дождям привыкли. Раз в неделю МЦ ходит на рынок, вместе с Муром гуляет по окрестностям, но купанья нет, несмотря на две реки. Тем не менее в самом конце июля пришлось уехать — из-за отчаянной сырости: двух рек, самого дома, небес и земли, а главное, из-за подозрения, что у Мура — ревматизм: болит то одна нога, то другая, иногда — до хромоты. Уезжать было горько. Чудный город, и чудно жилось и работалось — напереводила много Пушкина. К слову, Тескова подослала ей в Морэ газету «Narodni listy» (1936. № 177. 28 июня) и антологию «Vybor z ruske lyriky» (1936), где напечатано стихотворение МЦ «Прокрасться» («А может, лучшая победа…») в переводе на чешский Яна Ржихи. Размер — тот, но это все, о чем МЦ может судить.

У Али — ряд приглашений на лето: и в Монте-Карло, и в Бретань, и на озеро, и в деревню. МЦ грустно — за одиннадцать лет жизни во Франции ее не пригласил *никто.* Аля выбрала Лазурный Берег. Нестерпимая духота. Навестила городок Грасс, где — Бунин. Невысокий, мускулистый, жилистый, сухощавый старик с серебряной, коротко стриженой головой, крупным носом, брезгливой губой, светлыми, острыми глазами — поразительными, добела раскаленными, одетый в холщовую белую рубаху, парусиновые белые штаны, обутый в «эспадрильи»[262] на босу ногу. В горах, под пальмой, в белом от зноя дворе его домика, похожего на саклю, Аля говорит ему, что уезжает в Россию.

— Ну куда ты, дура, едешь? Ну зачем? Ах, Россия? А ты знаешь Россию? Куда тебя несет? Дура, будешь работать на макаронной фабрике…

— Почему именно на макаронной, Иван Алексеевич?!

— На ма-ка-рон-ной. Да. Потом тебя посадят…

— Меня? За что?

— А вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьешь себе верблюжьи пятки!

— Я?! верблюжьи?!..

— Да. Знаешь, что надо? Знаешь? Знаешь? Знаешь? Выйти замуж за хорошего — только чтобы не молодой! не сопляк! — человека и… поехать с ним в Венецию, а? В Венецию.

Долго и безнадежно он говорил про Венецию — она отвечала, а он не слушал, смотрел сквозь нее. Потом встал с каменной скамейки, легко вздохнул, сказал:

— Ну что ж, Христос с тобой! — Перекрестил, поцеловал горько и сухо, блеснул глазами, улыбнулся: — Если бы мне было столько лет, сколько тебе, пешком бы пошел в Россию, не то что поехал бы, и пропади оно все пропадом!

МЦ с Муром в Ванве не задержались. Август — они в Савойе: замок д'Арсин. Для МЦ здесь все слишком приспособлено к человеческому образу жизни — есть и вода, и электричество, и — увы — мебель, хотя и не новая. В соседях сорок человек, но МЦ забралась на чердак, в никем не оцененную комнату — вроде пещеры, с крохотным оконцем, пробитым во всей толще стены, и каменным полом из строительного камня. У Мура для его игр на свежем воздухе нашлись мальчик и девочка его лет под надзором одного пятнадцатилетнего полуюноши, МЦ пишет каждое утро, ходит на свидание к четырехглазой собаке по имени Подсэм (чешское: «Поди сюда»). Погода дивная — и заслуженная.

Но спутников, увы, для пешего ходу — нет, все ездят на автомобиле. Поэтому ходит одна — не особенно далеко, потому что у нее нет чувства направления. Рвет орехи — единственное, что здесь есть в изобилии, ибо фрукты погибли — все. Пишет немножко свое. Переводит Пушкина.

Что значит — немножко свое? К ней пришла из Швейцарии книжка Анатолия Штейгера «Неблагодарность» (Париж. Числа. 1936). Миновало четыре года с их первого знакомства — ее отзыв на его предыдущую книжку и не-состоявшийся подарок от него: обещанная Сигрид Унсет. На сей раз — другое: «Неблагодарность» сопровождалась исповедальным воплем. Молодой барон заболел туберкулезом и, больной, брошен любимой женщиной.

Случай — как по заказу, специально для МЦ, она откликнулась тут же, он ответил шестнадцатистраничным письмом, и ее уже было не удержать, засобиралась в его санаторию (можно и наоборот — он к ней), готова влезть в долги, поддержать, помочь, спасти. — Хотите ко мне в сыновья? — И он, всем существом: — Да.

В начале августа он перенес операцию, и начиная с 8-го числа весь месяц МЦ пишет ему почти ежедневно, посылает открытки с видом старого Петербурга, набрасывает, впрок, будущие письма к нему.

Вообще говоря, у Штейгера есть родители. Его предки — из старинного швейцарского рода — в России появились в начале XIX века. В 1920 году семья Штейгер бежала через Одессу в Константинополь, затем обосновалась в Чехословакии, где отец Анатолия Сергей Эдуардович работал при русской гимназии в Моравской Тшебове. В Берн Штейгеры приехали в 1931 году. В России Сергей Эдуардович был адъютантом при одесском генерал-губернаторе, графе Мусине-Пушкине, с 1901 года, уволенный с военной службы в чине подполковника, стал земским деятелем, избирался предводителем дворянства Каневского уезда, с 1913-го — член Государственной думы. МЦ не знала ни родительских имен, ни истории рода, ни самого Анатолия в лицо. А ведь у него были и братья, и сестра (вот ее-то МЦ знала: Алла Головина, тоже пишет стихи).

Полились письма и стихи.

Однако писала МЦ не тому, кем он был. Еще в письмах, дневниках и записях десятилетней давности Анатолий Штейгер размышлял:

Лучше считать себя учеником и подмастерьем, чем стоять в стороне, изображая гения и новатора. Я тоскую по гумилёвской школе. Ведь из нее вышли Ахматова, Мандельштам, Георгий Иванов. Прав Адамович, спрашивая, что вышло из всех других.

…Точнее и подробнее объясните мне, отчего полезнее учиться у блистательной Марины? Кроме фонетических россыпей, полугениальных черновиков, в которых не разобраться, стихов к Блоку, Крысолова и Фортуны, я у нее ничего не вижу. Марина и Пастернак чьи-то предтечи, но Пастернака я человечески ненавижу.

…Я совсем не открещиваюсь от Блока, но я безусловно отрицаю его влияние. Ведь снег шел не только для Блока, и не только у Блока бывали такие встречи. Блоковского влияния на мне нет, а если есть вообще какие-нибудь влияния, то скорее всего Георгия Иванова, самого поэтического русского поэта.

Блокинианцы плохую услугу оказывают Блоку. Конечно, одно дело статьи Мочульского и стихи Марины Цветаевой:

И под медленным снегом стоя,
Опущусь на колени в снег,
И во имя твое святое

Поцелую вечерний снег.

Или

В его заоблачных снегах —
Что в ризе ценной,
Благословенна ты в снегах! —
Благословенна…

и совсем другое вздохи кудрявых барышень: — Ах, Блок! Снежный поэт, какая прелесть!

…Как Вам, вероятно, известно, в Париже началась форменная ходасевичемания.

В руки Ходасевича передан дотоле праздный поэтический скипетр (прозаический прочно у Бунина). Мережковский объявляет его эмиграции, Зинаида Николаевна ставит между ним и Блоком знак равенства. «Флорентийские фотографии»[263] очень хороши, но нельзя забывать, что Блок все-таки есть Блок и что судьба его была судьбою целого передового класса.

…На Эйснера и «Звено»[264] обратило внимание. О нем есть лестная заметка Адамовича. Но когда я попробовал о нем заговорить у Мережковских, мне говорить не дали. В Париже носятся с Поплавским. Я только пожимаю плечами.

…На тему о «дружественной критике», т. е. критике, основанной на знакомстве и добрых отношениях, давно уже пишет Осоргин, а вчера на эту тему даже был доклад в «Кочевье». Гиппиус хвалит Адамовича, Адамович Ходасевича, Ходасевич Алданова, Алданов Бунина, все хвалят всех и все друг другом восхищаются. А когда Георгий Иванов решился «не похвалить» Ходасевича и обругать по достоинствам, поднимается скандал и все дружно бросаются на Георгия Иванова. Уточнением служит только то, что и во французской критике дело обстоит не иначе.

В 1927–1928 годах Штейгер регулярно переписывается с Зинаидой Гиппиус, которая, увы, постепенно разочаровалась в нем. Он мужает быстро, обзаводится литературными связями, щеголь и даже денди, отчасти младоросс, некоторое время дружит с Сириным-Набоковым, Поплавским — всё у него вперемешку, и всё на фоне туберкулеза. В декабре 1935 года он пишет Зинаиде Шаховской: «…деклассированная, разночинская, полуеврейская, безнадежная и чуть сумасшедшая наша монпарнасская среда — на которой все же тень от Петербурга, от Петербургского периода русской литературы, — мне чрезвычайно

мила».

МЦ определяет его образ по-другому:

«Вся Ваша исповедь — жизнь Романтика. Даже его штампованная биография. Вся Ваша жизнь — история Вашей души, с единственным, в ней Geschehniss'еМ[265]: Вашей душой. Это *она* создавала и направляла события. Вся Ваша жизнь — ее чистейшее авторство. <…>

И хотите Вы или нет, я Вас уже взяла туда внутрь, куда беру все любимое, не успев рассмотреть, *видя* уже *внутри.* Вы — мой захват и улов, как сегодняшний остаток римского виадука с бьющей сквозь него зарею, который окунула внутрь вернее и вечнее, чем река Loing, в которую он *вечно* глядится.

— Приеду к Вам показаться. Дитя, мне показываться — не надо. И наперед Вам говорю — каким бы Вы ни были, когда войдете в мою дверь, — я все равно Вас буду любить, потому что уже люблю, потому что — уже случилось такое чудо — и дело только в степени боли — и чем лучше Вы будете — тем хуже будет — мне. <…>

Вы своим письмом пробили мою ледяную коросту, под которой сразу оказалась моя родная живая бездна — куда сразу и с головой провалились — Вы».

Ранняя зрелость Штейгера ей неведома. Возможно, для него импульсом к отправке ей своей книжки было печальное обстоятельство, о котором он сделал запись 12 марта 1936 года:

«В Петербурге умер Кузмин, эта смерть для меня непоправимое несчастье, т. к. он и Ахматова для меня были, м. б., главным звеном, связывающим меня с Россией, и если бы мне суждено было бы еще вернуться в Россию, — я бы пришел в России к нему первому… Как раз в последнее время я о нем думал больше, чем когда-либо и только ждал выхода моей книжки, чтобы написать ему о моей любви и приключении. Но всегда, когда откладываешь… Зачем я не написал. М. б., ему даже было бы приятно это восторженное объяснение в любви из-за границы перед смертью, потому что в новой России его забыли и не любили. Вспоминаю его стихи:

Декабрь морозный в небе розовом,
Нетопленый темнеет дом,
И мы, как Меншиков в Березовом[266],
Читаем Библию и ждем…»

На Кузмине они сходились, но МЦ отвлечена от конкретики, охвачена стихийным порывом: «Первый ответ на вид Вашего письма: удар в сердце — и ком в горле и пока я письмо

(аккуратно) вскрывала — ком рос, а когда дело дошло до вида букв — глаза уже были застланы, а когда я, приказав им — или себе — подождать — прочла и дочла — я уже ничего не видела — и все плыло. И я сама плыву сейчас, вместе с глазами и буквами».

Ледяная тиара гор —
Только бренному лику — рамка.
Я сегодня плющу — пробор
Провела на граните замка.

Я сегодня сосновый стан
Обгоняла на всех дорогах.
Я сегодня взяла тюльпан —
Как ребенка за подбородок.

16–17 августа 1936

Цикл «Стихи сироте» — семь стихотворений. Такого взлета у МЦ не было давно. Она не мудрствует лукаво в привычном словаре и системе образов, оказавшихся неотработанными. Все предыдущее — лишь площадка для того, что сотворяется сейчас. Это все у нее уже было — и скалы, и плющ, и горизонт, и пещера. Было — не было. Говорится впервые в жизни:

Могла бы — взяла бы
В утробу пещеры:
В пещеру дракона,
В трущобу пантеры.

В пантерины — лапы —
— Могла бы — взяла бы.

Природы — на лоно, природы — на ложе.
Могла бы — свою же пантерину кожу
Сняла бы…
— Сдала бы трущобе — в учебу!
В кустову, в хвощёву, в ручьёву, в плющёву, —

Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке,
Сплетаются ветви на вечные браки…

Туда, где в граните, и в лыке, и в млеке,
Сплетаются руки на вечные веки —
Как ветви — и реки…

В пещеру без света, в трущобу без следу.
В листве бы, в плюще бы, в плюще — как в плаще бы…

Ни белого света, ни черного хлеба:
В росе бы, в листве бы, в листве — как в родстве бы…

Чтоб в дверь — не стучалось,
В окно — не кричалось,
Чтоб впредь — не случалось,
Чтоб — ввек не кончалось!

Но мало — пещеры,
И мало — трущобы!
Могла бы — взяла бы
В пещеру — утробы.

Могла бы —
Взяла бы.

Савойя, 27 августа 1936[267]

Через четыре дня, в понедельник 31 августа — письмо МЦ Штейгеру: «Дитя! Начнем с дела. Вы отлично сделали, что не приехали, Вы поступили как умный хороший зверь, который пошел отлеживаться в берлогу. (Если бы Вы тотчас приехали — это был бы удар радости, которого я не мыслю. У меня всегда чувство — что я умру от радости — или от страха.) <…> Убеди меня, что я тебе — нужна. (Господи, в этом все дело!) раз-навсегда убеди, т. е. сделай, чтобы я раз-навсегда поверила, и тогда все будет *хорошо,* потому что я тогда могу сделать — чудо».

Стихи ему она писала вперемежку с пушкинскими переводами, в частности — с «Бесами» («Les Demons»). Может быть, ему нелегко было читать ее вердикт: «— Почему Ваши письма настолько лучше Ваших стихов? Почему в письмах Вы богатый (сильный), а в стихах — бедный. Точно Вы нарочно изгоняете все богатство своей беды и даете беду: бедность. Почему Вы изгоняете все богатство своей беды и даете беду — бедную, вызывающую жалость, а не — зависть. <…> — Вам в стихах еще надо дорасти до себя-живого, который и старше и глубже и ярче и жарче того». Он посвятил ей стихи:

В сущности, это как старая повесть
«Шестидесятых годов дребедень»…

Каждую ночь просыпается совесть
И наступает расплата за день.

Мысли о младшем страдающем брате.
Мысли о нищего жалкой суме,
О позабытом в больничной палате,
О заключенном невинно в тюрьме.

И о погибших во имя свободы,
Равенства, братства, любви и труда.
Шестидесятые вечные годы…
(«Сентиментальная ерунда»?)

Ее оценка: «Первое и резкое: убрать кавычки — отличные стихи». Наверное, в разговоре с ним ей мерещится Лермонтов, и она считает, что ему двадцать шесть лет, а на самом деле — ему идет тридцатый.

Второго сентября ей удалось съездить в Женеву. Оттуда она выслала ему теплую зеленую куртку: «Я сама хотела бы быть этой курткой: греть, знать, когда и для чего — нужна». Кроме того — свою книгу «Ремесло» с посвящением: «Анатолию Штейгеру. МЦ. Женева, 3-го сентября 1936 г.». На обороте титула — дополнение:

«У этой книги — своя история. Предназначалась она Даниилу Жуковскому, старшему сыну поэта Аделаиды Герцык <…>, (которого я шестнадцати лет знала двухлетним, потом — не встречала) — взывавшего об этой книге, в письмах — годы. Один такой вопль до меня дошел. Переслать с оказией ее должен был Н. П. Гронский — и очевидно не смог, но и отдать не смог, так как книга эта оказалась, после его гибели, у него на полке, рядом с его Ремеслом.

Теперь она Ваша, и верю, что подержанность ее — в мечте одного — и любящих руках другого (одного — далекого, другого — погибшего) искупит ее некоторую внешнюю — неновость.

Анатолию Штейгеру — с любовью и болью.

МЦ».

И вдруг — неожиданный вывод: «Вчера, после женевской поездки, я окончательно убедилась в полнейшей безнадежности нашего личного свидания». Выяснилось, что ее приезд ему не нужен, ибо его легкие залечены и процесса нет. Доктор хочет, чтобы он жил зиму в Берне, с родителями, он же сам решил — в Париж. Потому что в Париже — Адамович, литература и Монпарнас: сидения до трех ночи за десятой чашкой кофе,

потому что он все равно (после той любви) — мертвый. Да и женщинами уже не интересуется вообще, а Адамович ему близок особо. Последнего Ходасевич в кругу друзей-картежников за глаза называл Содомович.

Оказалось, им не по дороге. Поблагодарила за присланный ей листочек с рильковской могилы.

Они не рифмуются, в лучшем случае — это рифма диссонансная.

МЦ — Тесковой: «Мне поверилось, что я кому-то — как хлеб — нужна. А оказалось — не хлеб нужен, а пепельница с окурками: не я — а Адамович и Сотр».

Штейгеру — в сильнейшем расстройстве:

«Если бы Вы ехали в Париж — в Национальную библиотеку или поклониться Вандомской колонне — я бы поняла; ехали бы туда самосжигаться на том, творческом, Вашем костре — я бы приветствовала. <…> Но Вы едете к Адамовичу и К, к ничтожествам, в ничтожество, просто — в ничто, в богему, которая пустота бблыпая, чем ничто; сгорать ни за что — ни во чью славу, ни для чьего даже тепла — как Вы можете, Вы, поэт!

От богемы меня тошнит <…> Тогда, у тех, был надрыв с гитарой, теперь — с «напитками» и наркотиками, а это для меня — помойная яма, свалочное место, — и смерть Поплавского, *случайно* перенюхавшего героина (!!! NB! всё, что осталось от «героя») — для меня не трагедия, а пожатие плеч. Не *жаль,* убей меня Бог, — *не жаль.* И умри Вы завтра от того же — не жаль будет.

Да, недаром Вы — друг своих друзей, чего я совершенно не учла и не хотела учитывать, ибо свое отношение к Вам (к Вашему дару) — построила *на обратном.* <…>

Этой зимой я их (вас!) слышала, — слушала целый вечер в Salle Trocadero[268] — «смотр поэтов». И самой выразительной строкой было:

И человек идет домой
С пустою головой…»

В 1923-м молодой американский поэт Эрнест Хемингуэй, прожигающий жизнь во всегдашне-праздничном Париже, написал стихотворение «Монпарнас», которое не было известно МЦ, но нисколько не устарело:

> В квартале не бывает самоубийств среди порядочных людей — самоубийств, которые удаются.
>
> Молодой китаец кончает с собой, и он мертв.

(Его газету продолжают опускать в ящик для писем.) Молодой норвежец кончает с собой, и он мертв. (Никто не знает, куда делся товарищ молодого норвежца.)

Находят мертвую натурщицу — в ее одинокой постели, совсем мертвую.

(Консьержка едва перенесла все эти хлопоты.) Порядочных людей спасает касторовое масло, белок, мыльная вода, горчица с водой, желудочные зонды.

Каждый вечер в кафе можно встретить порядочных людей[269].

Штейгер все понимал правильно:

«…в моих письмах Вы читали лишь то, что хотели читать. Вы так сильны и богаты, что людей, которых Вы встречаете, Вы пересоздаете для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее все же прорывается, — Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск, — потому что он больше на них не лежит… <…>

Вы обещали мне, что Вы мне никогда боли не сделаете, — не обвиняю Вас, что Вы не сдержали своего обещания. Вы, ведь, это обещали мне воображаемому, а не такому, каков я есть… <…>

Любящий Вас и благодарный

А. Ш.».

Издалека приходят новости. В июле 1936 года произошел мятеж в Марокко. Испанские генералы Эмилио Мола и Франсиско Франко бросили вызов республиканскому правительству Испании. Премьер-министр Хосе Хираль обратился с просьбой о помощи к правительству Франции, Франко — к Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини. Первыми откликнулись Берлин и Рим, направившие в Марокко двадцать транспортных самолетов, двенадцать бомбардировщиков и транспортное судно «Усамо». К началу августа африканская армия мятежников была переброшена на Пиренейский полуостров. 6 августа юго-западная группировка под командованием Франко начала марш на Мадрид. Одновременно северная группировка под командованием Молы двинулась на Касерес. В Испании началась гражданская война. 19 августа франкистами убит поэт Федерико Гарсиа Лорка.

Начинается
Плач гитары.
Разбивается
Чаша утра.

Начинается
Плач гитары.
О, не жди от нее
Молчанья,
Не проси у нее
Молчанья!
Неустанно
Гитара плачет,
Как вода по наклонам — плачет,
Как ветра над снегами — плачет,
Не моли ее О молчанье!
Так плачет закат о рассвете,
Так плачет стрела без цели,
Так песок раскаленный плачет
О прохладной красе камелий,
Так прощается с жизнью птица
Под угрозой змеиного жала.
О, гитара,
Бедная жертва
Пяти проворных кинжалов!

(Ф. Г Лорка. «Гитара»)[270]

В Москве — в августе 1936 года — идет открытый судебный процесс против Зиновьева и Каменева[271]. Среди многочисленных обращений и резолюций «собраний трудящихся» с требованием высшей меры наказания, заполнивших страницы газет, в «Правде» от 21 августа опубликовано коллективное письмо литераторов под заголовком «Стереть с лица земли!». Там — и подпись Пастернака. О мере принудительности в жизни Пастернака МЦ не думает.

В двадцатых числах сентября МЦ с Муром вернулись домой из Савойи. В общем-то, лето получилось. Стихи получились слишком точные:

В мыслях об ином, инаком,
И ненайденном, как клад,
Шаг за шагом, мак за маком —
Обезглавила весь сад.

Так, когда-нибудь, в сухое
Лето, поля на краю,
Смерть рассеянной рукою
Снимет голову — мою.

5–6 сентября 1936

(Из цикла «Стихи сироте»)

В конце сентября 1936 года умирает мать Анны Антоновны Тесковой. МЦ расстраивается, не знает, чем помочь, и через некоторое время, в ноябре, находит форму доверительности: «Вот Вам — вместо письма — последняя элегия Рильке, которую, кроме Бориса Пастернака, никто не читал. (А Б<орис> П<астернак> — плохо читал: разве можно после такой элегии ставить свое имя под прошением о смертной казни (процесс шестнадцати)?! Я ее называю — Marina Elegie — и она завершает круг Duineser Elegien[272], и когда-нибудь (после моей смерти) будет в них включена: их заключит».

А что Штейгер? Их единственная встреча была прощальной, и было это 22 ноября 1936-го в Ванве. Он пришел к ней: разрешите мне заехать к вам вас поблагодарить. В разговоре был момент — она спросила:

— Вам от людей ничего не нужно?

— Ни — че — го. Разве вы не можете допустить, что мне с вами — приятно?

«Приятно» ее покоробило. Он ушел, она осталась в состоянии небывалой оскорбленности: мои седые волосы, мои пролетарские руки. 30 декабря МЦ напишет Штейгеру краткое письмо с окончательным выяснением отношений, чтобы не переносить с собой этой язвы в новый год. Вскоре она отправит ему «Стихи сироте». В январе 1937 года она попросит вернуть ей зеленую куртку: у меня впечатление, что она не Вашего цвета.

Надвигается столетняя годовщина гибели Пушкина. Центральный Пушкинский комитет существует с 1935 года. Его составляют люди самые разные, общественники, политики, священники, ученые, журналисты, всего человек сорок, по сути случайных, а поэтов немного — Бунин, Гиппиус, Адамович, Ходасевич, МЦ.

Ходасевич едко шутит:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Почему такая честь?
Потому что ж… есть!
А в Париже тридцать шесть!!!

Он выходит из этой разношерстной структуры.

МЦ трудится по внутреннему графику, в данном случае не отличающемуся от внешнего. Ее работа «Мой Пушкин» больше «мой», чем «Пушкин». Потому что это не исследование, не филология, а часть собственной жизни. На этом очерке завершится ее длительное и полномасштабное путешествие в свое московское детство. Да и отрочество с юностью прихвачены. А стихи — уже готовы. Она вообще готова к этой годовщине.

В июне — декабре 1936 года МЦ перевела на французский около двадцати стихотворений Пушкина. Помимо «Бесов», напечатанных в однодневной газете «Пушкин. 1837–1937» (Париж, 1937. 8 февраля), во французском журнале «La Vie Intellectuelle» (Paris, 1937. Vol. XLVUI. № 2) были опубликованы песня председателя из «Пира во время чумы» и «Няне». МЦ трижды на протяжении пушкинского 1937 года выступила с чтением своих переводов на литературных вечерах в Париже (в двадцатых числах февраля, 2 марта и 8 июня).

По пути — достается… Юрию Иваску. МЦ знакомится с его трудом о ней. 25 января — чуть не в канун столетия пушкинской дуэли — она нелицеприятно выговаривает автору статьи:

> Общее впечатление, что Вы думали, что в писании выяснится, и не выяснилось ничего. <…> Нужно уметь читать. Прежде чем писать, нужно уметь читать. В Переулочках Вы просто ничего не поняли… <…>
>
> Эту вещь *из всех моих* (Мóлодца тогда еще не было) больше всего любили в России, ее понимали, т. е. от нее обмирали — все, каждый полуграмотный курсант.
>
> Но этого Вам — не дано. <…>
>
> Но — я должна бы это знать раньше.
>
> Ваше увлечение Поплавским, сплошным плагиатом и подделкой. Ваше всерьез принимание Адамовича, которого просто нет (есть только в Последних Новостях).
>
> Вы настоящее от подделки не отличаете, верней — подделки от настоящего, оттого и настоящего от подделки. У Вас нет чутья на жизнь, живое, рожденное. Нет чутья на самое простое. Вы всё ищете — как это сделано. А ларчик просто открывается — *рождением.* <…>
>
> Со Штейгером я не общаюсь, всё, что в нем есть человеческого, уходит в его короткие стихи, на остальное не хватает: сразу — донышко блестит. Хватит, м. б., на чисто-литературную переписку — о москвичах и петербуржцах. Но на это я своего рабочего времени не

отдаю. Всё, если нужна — *вся,* ничего, если нужны *буквы:* мне мои буквы — самой нужны: я ведь так трудно живу. <…>

Насколько Вы одарённее (и душевно, и словесно) в письмах. (Я это же, этим летом, писала Штейгеру.) Так в чем же дело? Бумага — та, рука — та, Вы — тот…

М. б., оттого что — «литература»? (Точно это — *есть!)* <…>

Меня вести можно *только* на контрасте, т. е. на всеприсутствии: наличности *всего.* Либо брать — часть. Но не говорить, что эта часть — всё. Я — *много* поэтов, а как это во мне спелось — это уже моя *тайна.*

Можно ли снести все это? Вряд ли. Иваск — снес. Но похоже, Иваску, в сущности, перепало за… Штейгера. Возможно, Иваск это понял.

Январскую почту МЦ завершает ее письмо Андре Жиду, посредством которого она пытается пристроить свою французскую пушкиниану:

«Чтобы Вы могли сориентироваться на меня, как личность: десять лет назад я дружила с Верой, большой и веселой Верой[273], тогда только что вышедшей замуж и совершенно несчастной.

Я была и остаюсь большим другом Бориса Пастернака, посвятившего мне свою большую поэму 1905[274]. <…>

Я — последний друг Райнера Мария Рильке, его последняя радость, его последняя Россия (избранная им родина)… и его последнее, самое последнее стихотворение ELEGIE fur Marina».

Вышла однодневная газета «Пушкин», издание Комитета по устройству Дня Русской культуры во Франции, с цветаевско-пушкинскими «Бесами» — «Lee Demons». МЦ чем-то недовольна, пишет Вере Буниной: «Купите от 6-го февраля и увидьте, что сделали с Пушкиным». 18 февраля 1937 года «Последние новости» дают объявление о ее вечере в зале «Социального музея» на улице Лас Каз, 5. Программа: проза «Мой Пушкин», «Стихи к Пушкину» и переводы лирики Пушкина на французский язык. Она сильно тревожилась об этом вечере, хлопотала, обращалась к Буниной за помощью на предмет распространения билетов, и вот — 8 марта пишет композитору Фоме Гартману: «Вечер прошел из ряду вон хорошо, отлично: мы с залом были — одно, и это одно было — Пушкин». Ему же сообщает: «У меня в жизни разные важные события…»

Наряду с важными событиями — событие печальное, о чем — в письме к Буниной:

11 марта 1937 г.

Дорогая Вера,

Может быть Вы уже знаете, вчера, с 9-го на 10-ое, ночью, умер Замятин — от грудной жабы. А нынче, в четверг, мы должны были с ним встретиться у друзей, и он сказал: — Если буду здоров…

Ужасно жаль, но утешает мысль, что конец своей жизни он провел в душевном мире и на свободе.

Мы с ним редко встречались, но всегда хорошо, он тоже, как и я, был: ни нашим ни вашим. <…>

Но, в общем, вечер прошел отлично, чистых, пока, около 700 фр<анков> и еще за несколько билетов набежит. Я уже уплатила за два Муриных школьных месяца, и с большой гордостью кормлю своих за вечеровые деньги, и домашними средствами начала обшивать себя и Мура.

Еще раз огромное спасибо.

О вечере отличный отзыв в Сегодня[275], и будет отзыв в Иллюстрированной России[276], а Посл<едние> Нов<ости> — отказались, и Бог с ними!

Получаю множество восторженных, но и странных писем, в одном из них есть ссылка на Ивана Алексеевича — непременно покажу при встрече. Но Вы скоро едете? Если не слишком устанете — позовите.

(Никто не понял, почему Мой Пушкин, все, даже самые сочувствующие, поняли как присвоение, а я хотела только: у всякого — свой, *это — мой.* <…> А Руднев понял — как манию величия и прямо пишет…)

Обнимаю Вас. Сердечный привет Вашим.

М.

< Приписка на полях: >

Аля едет на самых днях, но уже целиком себя изъяла, ни взгляда назад…

Аля уехала в СССР 15 марта 1937 года. Мартовские иды: 15 марта 44 года до н. э. — день убийства Юлия Цезаря. В новое время почти ровно двадцать лет назад — 2 марта 1917 года, а по европейскому, григорианскому, календарю 15 марта — последний русский царь отрекся от престола на станции Дно.

Глава пятая

Об отъезде Али МЦ сообщает и чете Ходасевич. Владислав Фелицианович четыре года назад женился на Ольге Борисовне Марголиной, которой МЦ горячо симпатизирует, в отличие от ее предшественницы — Нины Берберовой. «Я, вообще, ваша — сейчас долго объяснять — но, чтобы было коротко: мои, это *те* и я — тех, которые *ни нашим ни вашим*».

Сергей Яковлевич все меньше оставляет письменных свидетельств о себе. В конце апреля 1937-го пишет сестре Лиле:

«Аля написала о тебе несколько восторженных писем и я тебя впервые за эти годы увидел почти что своими глазами. <…> М<ежду> пр<очим> от нее уже довольно давно не имею писем (на последнее письмо она не ответила) — поторопи ее.

Моя жизнь идет по-старому. Писать тебе о ней довольно трудно, если не невозможно. Ведь ты совсем не представляешь себе здешней обстановки. Во всяком случае работы оч<ень> много и частью она оч<ень> интересна. Строю неопределенные планы на лето. Совсем не знаю, что будет летом».

А лето будет жарким, особенно — осень.

Чем сильна проза МЦ? Помимо прочего — подробностями, данными в динамике. В письме к Тесковой от 2 мая 1937 года это выглядит так:

> Повторю вкратце: <Аля> получила паспорт, и даже — книжечкой (бывают и листки), и тут же принялась за обмундирование. Ей помогли — все: начиная от С<ергея> Я<ковлевича>, который на нее истратился до нитки, и кончая моими приятельницами, из которых одна ее никогда не видала… <…> У нее вдруг стало все: и шуба, и белье, и постельное белье, и часы, и чемоданы, и зажигалки — и все это лучшего качества, и некоторые вещи — в огромном количестве. Несли до последней минуты, Маргарита Николаевна Лебедева (Вы м. б. помните ее по Праге, Воля России) с дочерью принесли ей на вокзал новый чемодан, полный вязаного шелкового белья и т. п. Я в жизни не видала столько новых вещей сразу. Это было настоящее приданое. Видя, что мне не угнаться, я скромно подарила ей ее давнюю мечту — собственный граммофон, для чего накануне поехала за тридевять земель на Marche aux Puces[277] (живописное название здешней Сухаревки), весь рынок обойдя и все граммофоны переиспытав, наконец нашла

— лучшей, англо-швейцарской марки, на манер чемодана, с чудесным звуком. В вагоне подарила ей последний подарок — серебряный браслет и брошку — камею и еще — крестик — на всякий случай. Отъезд был веселый — так только едут в свадебное путешествие, да и то не все. Она была вся в новом, очень элегантная… <…> перебегала от одного к другому, болтала, шутила… <…> Потом очень долго не писала… <…> Потом начались и продолжаются письма… <…> Живет она у сестры С<ергея> Жковлевича>, больной и лежачей, в крохотной, но отдельной, комнатке, у моей сестры (лучшего знатока английского на всю Москву) учится по-английски. С кем проводит время, как его проводит — неизвестно. Первый заработок, сразу как приехала — 300 рублей, и всяческие перспективы работы по иллюстрации. Ясно одно: *очень* довольна…

Из Москвы за границу они увозили примус, в Москву Аля возвращается с граммофоном.

Двадцать девятого мая 1937 года в ту же сторону отправляется Александр Иванович Куприн. В Париже на Северном вокзале перед тем, как сесть в московский поезд, счастливый старик сказал:

— Я готов пойти в Москву пешком.

Шестого мая 1937-го крупнейший в мире дирижабль «Гиденбург» был уничтожен пожаром при подходе к причальной мачте в Лейкхерсте (штат Нью-Джерси, США), завершая полет из Франкфурта (Германия). Эта катастрофа унесла тридцать шесть человеческих жизней. Взрыв был слышен на расстоянии пятнадцати миль. Но команда и шестьдесят два пассажира спаслись. Виной пожара было использование водорода — единственного несущего газа, которым располагала Германия, поскольку США отказались поставлять Гитлеру гелий в коммерческих количествах.

В майском Париже открылась Всемирная выставка. МЦ восхищена скульптурой «Рабочий и колхозница» у входа в советский павильон, не в последнюю очередь потому, что это работа женская — автор Вера Мухина. Ну а сам павильон похож на эти фигуры — он и есть воплощение труда этих фигур. По сравнению с ним немецкий павильон — крематорий плюс сейф, по его стенам не фигуры, но идолы. Первый — жизнь, второй — смерть. МЦ видела пять павильонов, на это ушло четыре часа, причем на советский — добрых два.

Она занята срочной перебелкой рукописи «Пушкин и Пугачев» для нового большого серьезного русского журнала «Русские записки», имеющего выходить в Шанхае, — это эссе будет опубликовано во втором номере за 1937 год. В ноябре по ходу японо-китайской войны японские войска захватят Шанхай.

Однако — лето. 11 июля 1937 года МЦ и Мур приехали в небольшой поселок Лакано-Осеан на берегу Бискайского залива в департаменте Жиронда, административный центр (префектура) — легендарный город Бордо. Это южнее Сен-Жиля, где они жили одиннадцать лет назад. Поселок относительно нов, ему не больше ста лет. Мелководье, никакой рыбалки и рыбачьих лодок, огромный пляж с огромными, в отлив, отмелями, и огромный сосновый лес: сосна привилась и высушила болота. Неподалеку пресное озеро. Там древний старик с одноглазой собакой пас стадо черных коров. Вокруг сплошь песок, земли и травы не видно. Во всем стокилометровом лесу одна цементированная тропинка.

Сняли отдельный домик с одной комнатой, кухней и террасой, в пяти минутах ходьбы от моря. Домик чистый и уже немолодой, всё есть, мебель деревенская и староватая. Хозяева — владельцы единственного пляжного кафе.

Из письма МЦ Тесковой:

«Дачников, пока, довольно мало — главный съезд в августе — общий тон очень скромный: семьи с детьми, никаких потрясающих пижам, никакой пляжной пошлости. *Хорошее* место — только если бы рыба!

Купанье — волны. Плавать почти нельзя. Оно <море> мелкое, постепенное. За два дня было целых три утопленника, к<отор>ых всех троих спас русский maitre-nageur[278], юноша 21-го года, филолог-японовед. В прошлом году он спас целых 22 человека. Люди, не умеющие плавать, заходят по горло в воду и при первой волне — тонут. А волны непрерывные и сильные: здесь не залив, а совершенно открытое море».

Из Москвы Аля письмом сообщила о смерти Сонечки Голлидэй — началась работа МЦ над «Повестью о Сонечке». «Это было женское существо, которое я больше всего на свете любила». Вышла большая повесть: 230 рукописных страниц. Пойдет в «Русских записках». Ничего другого не писала, только письма.

В Москве Алины таланты оказались востребованы. Для начала в первом номере (август) просоветского журнала «Наша Родина» (бывший «Наш Союз»), издававшегося в Париже на деньги советского постпредства, опубликовано «письмо из СССР» — очерк «На Родине», почти анонимно, за подписью «Аля»: «Как я счастлива, что я здесь! И как великолепно сознание, что столько

пройдено и что все — впереди! <…> На моих глазах Москва расправилась с изменой». В ночь с 11 на 12 июня 1937 года расстреляны Тухачевский, Примаков, Якир, Уборевич, Эйдеман и другие лжеучастники военно-фашистского заговора в Красной армии. Восторг Али изумил МЦ. Вскоре Аля начнет работать в выходящем на французском языке журнале «Revue de Moscou», у нее появится псевдоним Алис Феррон.

В Лакано-Осеан, где отдыхали МЦ с Муром, подъехали Лебедевы — Маргарита Николаевна с дочерью Ириной. В первое купание чуть не утонула Ирина — коварные волны, ветер, сильное течение. Немилосердно палит южное солнце, Океан не спасает, Мур жарится на пляже, МЦ предпочитает работу в тени. 9 августа 1937-го она пишет Але эпическое полотно, которое стоит рассмотреть во всем объеме:

А теперь слушай — событие:

В субботу, 7-го, сижу и пишу Сонечку и всё утро дивно пахнет сосновым костром — и я радуюсь. В 10 1/2 — я как раз собираю мешок с купаньем, Мур уже давно на плаже (так! — *И. Ф.)* — приходит хозяйка из кафэ и громко говорит с соседками, слышу — oh que ca brule… Ca brule, ca brule, ca brule[279] — и мысленно соглашаюсь, п<отому> что третий день пекло пуще фавьерского. Но когда: «40 kilometres a l'heure… la brigade ne suffit pas… appel aux volontaires»[280] — я выхожу: оказывается с четверговой ночи, т. е. уже третьи сутки горят — ланды[281], т. е. ГОРИМ — и телефонное сообщение с Lacan-Ville (километров —10) прервано, п<отому> ч<то> сгорели провода — и столбы.

Пока что — всё так же чудесно пахнет.

Часов в пять приходят М<аргарита> Н<иколаевна> с Ирусей — на угощение: устрицы и rose[282]—я как раз получила от папы деньги (доживала последние 5 фр<анков>). Сидим, я к ужасу М<аргариты> Н<иколаевны> простым ножом вскрываю устрицы (незаметно разрезаю себе дважды палец, который тут же заживает от морской воды) — Ируся поглощает, Мур (с отвращением) подражает, rose чудное… так, до семи. Они идут в гостиницу обедать, сговариваемся встретиться в 9 ч. на главной площади. Но когда в девять выходим — дым и гарь *такие,* что никого и ничего не видать и нечем дышать: жжет глаза и глот. Весь Lacanau — на площади — и всюду «le feu»[283] — и название мест — и скорость огня. Оказывается, огонь уже в Moutchic'e, куда мы недавно с Ирусей ходили — в 4 1/2 к<илометров>, — горит канал (здесь пять озер соединенных каналами), и вообще мы со всех сторон (четвертая — Океан) окружены пламенем. Небо в огромном зареве и зарницах, ни фонаря, ни звезд, тьма и гарь.

Л<ебеде>вых, проискав на площади полчаса, не находим и возвращаемся домой — укладываться. Я собираю тетради, иконы, янтари, identite[284] (NB! напомнил — Мур!), Мурину с<ен>-жильскую фотографию и твою последнюю, только что полученную, и собираюсь нести всё это к М<аргарите> Н<иколаевне>, ибо их вилла — на дюнах, мы же в самом лесу и будем гореть — первые. Но пока увязываю — оне — сами: полчаса искали нас на площади, как мы — их. Выходим вместе, я — с кошёлкой, идем на плаж, но и там дышать нечем, море не чувствуется, глаза плачут и глотка отравлена. Плаж тоже полон: и прилив — полный: некоторые, не разобрав в темноте, оступаются в огромные лужи прилива, смех. Наверху, за дюнами — музыка: казино продолжает работать, т. е. молодежь — танцовать. Тут я чувствую величие ничтожества. Садимся на мокрый как губка песок (М<аргарита> Н<иколаевна> — тоже!) пытаемся пронюхать море (оно — почти на нас и мы — почти в нем) но — одна гарь. М<аргарита> Н<иколаевна> говорит об ишиасе, к<отор>ый мы наверное получим от такого сидения, встаем, бредем дальше, в полной тьме, босиком (М<аргарита> Н<иколаевна> — тоже!) натыкаясь на скелеты ободранных палаток, ничего не узнавая, присаживаемся на лестнице (с их виллы к морю) — огромное зарево — гарь — дышать нечем — слезы льют — везде народ — где-то барабан — везде — сирены — и уже около полуночи.

Наконец, уговариваю их отправляться к себе — у них 2-ой этаж и окно на море — а сами с Муром идем во-свояси — добрать китайские книги — и захватить халаты для ночевки на плаже. Непрерывные сирены — никто не спит — под ноги бросаются тоскующие ополоумевшие *плачущие* собаки — вести всё тревожнее: ветер — прямо на нас — с женщинами от гари делаются обмороки — дети щебечут. <…>

Мур мечтает все это описать в Робинзоне[285] (бормочет: le feu… l'appel aux volontaires… nos glorieuses troupes[286]) и получить премию в 50 фр<анков> — или авантюрный роман — в 5 фр<анков>.

Дышать абсолютно нечем: воздух — круглые горячие горькие клочья. Но это еще — площадь и соседство океана, когда же сворачиваем в наши лесные места — простое пекло: уже не дым, а целый пожарный ветер: несущийся на нас сам пожар.

Но так как мне еще нужно достать китайские книги, а Мур очень устал, укладываю его пока одетого на постель, решив не спать и ждать что будет — а сама сажусь читать Дон-Кихота. (Детские колонии рядом не эвакуированы, значит — дышать *можно',* я больше всего боялась задохнуться еще до пожара.)

Читаю и — пока — дышу. Мур спит. На часах — час. Вдруг — гигантская молния, такой же удар грома, всё полотно потолка — ходуном и барабанный бой по нашей весьма отзывчивой крыше: прямо как по голове! *Ливень.* — Да какой! Лил всю ночь. Утром — лужи как от прилива, что здесь немыслимо — из-за всасывающего песка. (Здесь земли — ни пяди.) Ливень лил всю ночь, и мы не сгорели, но выгорели целые поселки рядом — целые леса.

М<аргарита> Н<иколаевна> с Ирусей всю ночь не сомкнули глаз: как только Ируся смыкала, М<аргарита> Н<иколаевна> — будила: — Смотри, смотри, Ирусик, п<отому> ч<то> (нужно надеяться) ты такого пожара больше не увидишь. М<аргарита> Н<иколаевна> говорит — она такого зарева не видала с пожара тайги. И на фоне зарева — непрерывные молнии — грозы длившейся всю ночь.

Всю ночь автомобили соседних с нею дач возили народ и скарб из горящего Moutchic'a — концов сто, просто — летали. Было мобилизовано все мужское население Lacanau — оттого и выли сирены. <…>

Утром купила Petite Gironde[287] — где 1000 гектаров, где еще больше, пылали два плажа: Mimizan-Plage и Biscarosse-Piage, не говоря уже о лесных местах! Спасали сенегальцы и волонтеры. Словом, пожар был колоссальный, и длился он четверо суток, п<отому> ч<то> вчера еще — горело, 4-ый день.

Из разговоров (когда уже прошла опасность, утром, один местный житель — дачнику) — Vous voyez ces forets? La… la… Eh bien c'est un fourre avec des lianes inextriquabies… C'est plein de serpents… Alors, personne n'a pu enter — impossible — et on laisse ca flamber…[288] (Мне особенно понравились серпаны, к<оторых> пожарные, верней солдаты, испугались во время пожара — точно серпаны в горящем лесу — остаются!)

Аля, сгорели все цикады. <…>

Пожар был — от бомбы упавшей с авиона — *(какого* — не говорят, м<ожет> б<ыть> — манёвры?) и врывшейся в землю больше чем на метр. Собиратель смолы тут же побежал на ближний телеф<онный> пункт, но было поздно: всё пылало.

Этот пожар был больше, чем пожар, — игра мировых стихий.

В Лакано-Осеан явился Сергей Яковлевич. Он все время проводит с Лебедевыми, а иногда уходит на свидание в кафе с какими-то людьми из «Союза друзей Советской родины» (бывший «Союз возвращения»), которые сюда за ним приехали. К этим людям относится и Мишель — Михаил Штангер, хозяин шато д'Арсин.

Рядом — Испания. Там — гражданская война. Там воюет

команданте Луис Кордес Авер, он же Константин Родзевич. Там же — Алексей Эйснер, адъютант генерала Лукача (Мате Залка). Сергей Яковлевич для войны слаб здоровьем, но вербовка людей в органы ОГПУ и, вопреки запрету французского правительства, в Интернациональные бригады[289] ему вполне по силам. Через его руки прошли порядка сорока человек. Кое-кто из них там был убит не чужими, а своими, поскольку склонялись к троцкизму. Все слишком непросто. Там под бомбами и пулями изучает жизнь, не просыхая от виски, Эрнест Хемингуэй и снимает кино пугливый Дос Пассос. Там город басков Герника стал картиной Пикассо, исчезнув с лица земли. Там дорос до настоящих стихов Эренбург:

Сердце, это ли твой разгон!
Рыжий, выжженный Арагон.
Нет ни дерева, ни куста,
Только камень и духота.
Все отдать за один глоток!
Пуля — крохотный мотылек.
Надо выползти, добежать.
Как звала тебя в детстве мать?
Красный камень. Дым голубой.
Орудийный короткий бой.
Пулеметы. Потом тишина.
Здесь я встретил тебя, война.
Одурь полдня. Глубокий сон.
Край отчаянья, Арагон.

Сергей Эфрон не выезжает из Жиронды, вдыхая вселенскую гарь.

В начале сентября 1937 года швейцарская газета «Neue Zuricher Zeitung» протрубила сенсацию. Ранним утром 5 сентября житель квартала Шамбланд в городке Пюи под Лозанной, прогуливая собаку, наткнулся на безжизненное окровавленное тело мужчины плотного сложения. В теле убитого двенадцать пуль — пять пуль в груди, семь — в голове. Часы убитого стоят на отметке 9:40, в руке — клок седых женских волос, на земле — следы волочения его тела. В кармане — паспорт на имя Германа Эберхарда, родившегося 1 марта 1889 года в Богемии, и билет на поезд до Реймса, пробитый револьверной пулей, но уже на имя Штеффа Бранда.

Игнатий (Игнац) Станиславович Рейсс (настоящее имя Натан Маркович Порецкий) с 1931 года сотрудник Иностранного отдела

ОГПУ — внешней разведки Советского государства. В середине июля 1937 года он направил советскому полпредству в Париже письмо на адрес ЦК компартии. Рейсс, получив приказ о возвращении в СССР, заявляет о том, что он порывает со сталинской «контрреволюцией» и «возвращается на свободу», под свободой понимая «возврат к Ленину, его учению и его делу».

Есть иная версия. Рейссом как будто бы были получены большие деньги, предназначенные для оперативных целей и потраченные на разгул. С остатками денег он решил бежать. Перед побегом написал это письмо.

Письмо Рейсса несколько позже попало во французские газеты.

Летом 1937 года Рейсс укрыл жену с двенадцатилетним сыном Романом в Швейцарии, вначале в деревне Фино в Вале, а потом в водуазской деревне Террите. Для слежки за Рейссом в Лозанну, где намечалась встреча Рейсса со своей любовницей Гертрудой Шильдбах, прибыли трое — некие Кондратьев и Смиренский во главе с Сергеем Эфроном. Возможно, эти трое не подозревали, что дело пахнет убийством. За год до этого Эфрон руководил слежкой за Львом Седовым — сыном Льва Троцкого, которая удачно завершилась кражей архива последнего[290].

Ликвидацией Рейсса ведал заместитель начальника Иностранного отдела ОГПУ, майор государственной безопасности Сергей Шпигельглас. Ему удалось вывести участников операции из-под удара. Швейцарская полиция связалась с французской и попросила арестовать виновных, уже добравшихся до Парижа. Французская полиция допросила Эфрона и Смиренского и отпустила их. У власти во Франции был Народный фронт, то есть социалисты, Франция была связана военным договором с Советским Союзом. Французской полиции было бы достаточно найти убийцу Рейсса, а не раскрывать советскую шпионскую сеть.

Среди непосредственных участников акции называют болгарина Бориса Афанасьева, Франсуа Росси (он же Ролан Аббиат) и — Гертруду Шильдбах. Именно Шильдбах, обладательница седого локона, пригласила Рейсса вечером 4 сентября в ресторан под Лозанной, а после ужина сдала в руки убийц. Застрелив его, они довезли тело на автомобиле до Шамбланд и выбросили в обочинные кусты.

Была и такая версия: Рейсса выследил лично Шпигельглас. Он выманил экс-агента НКВД на проселочную дорогу и расстрелял из пистолета-автомата Дегтярева. Еще одна версия: ликвидация выполнена двумя агентами — Борисом Афанасьевым и его зятем Виктором Правдиным (он же Франсуа Росси, он же Ролан Аббиат). Они подсели к нему за ресторанный столик,

прикинувшись бизнесменами. В процессе веселого застолья эти двое разыграли ссору с Рейссом, вытолкнув его из ресторана, и, запихнув в свою машину, увезли. Настоящая фамилия Афанасьева — Атанасов. МЦ отметила его в одном из давних писем («Афонасов»), и он не раз приходил к ним домой.

Фонтан версий. Фантасмагория засекреченности. Сам черт ногу сломит.

Сергей Яковлевич 15 сентября 1937 года пишет Але в Москву: «Пишу тебе уже из Парижа на второй день по приезде. И, конечно, уже не из дому, а в кафе». Он поздравляет дочь с двадцатипятилетием. «Будь здорова, моя родная. В твоем отъезде для меня единственно очень радостное — это мысль о встрече. Твой папа». Кроме того, в это время он влюблен в какую-то барышню двадцати четырех-двадцати пяти лет и не знает, что делать.

Не успели МЦ с Муром вернуться из Локано-Осеан в Париж — новый шум в газетах. 22 сентября похищен царский генерал Евгений Карлович Миллер, глава Русского общевоинского союза. Миллера, при содействии его жены, известной певицы Надежды Плевицкой, работавшей на НКВД, похитил Николай Скоблин, в прошлом славный белый генерал, в 1930 году завербованный советской разведкой. На другой день Скоблин бесследно исчез. Плевицкая была арестована и приговорена французским судом к пятнадцати годам тюрьмы, где и скончалась через четыре года. Кроме того, Скоблин должен был похитить и Антона Ивановича Деникина, но этому якобы помешал Сергей Эфрон, отговоривший генерала ехать туда, где его ожидала опасность. После похищения Миллера Сергей Яковлевич был исключен из масонской ложи «Гамаюн».

Двадцать третьего сентября разразился лесной пожар в городке Коди, штат Вайоминг, — четырнадцать погибших и пятьдесят раненых.

МЦ пишет 27 сентября 1937 года Тесковой:

«Нет, дорогая Анна Антоновна, я Вам писала последняя, и очевидно письмо пропало, странствуя вслед за Вами — в этом письме было прибытие к нам испанского республиканского корабля — беженцев из Сантандера[291], и день, проведенный с испанцем, ни слова не знавшим по-французски, как я — по-испански, — в оживленной беседе, в которую вошло решительно — всё. Теперь друг — на всю жизнь.

20-го мы вернулись, а следующий за нами поезд, которым мы чуть-чуть не поехали, потерпел крушение: были стерты в порошок два вагона — п. ч. — деревянные. А мы тоже ехали в деревянном, я раньше и не разбирала».

Двадцать восьмого октября 1937-го арестован Борис Пильняк. В справке об аресте сказано: «В 1933 году Пильняк стремился втянуть в свою группу Б. Пастернака. Это сближение с Пастернаком нашло свое внешнее выражение в антипартийном некрологе по поводу смерти Андрея Белого, а также в письме в «Литгазету» в защиту троцкиста Зарудина, подписанном Пастернаком и Пильняком. Установлено также, что в 1935 г. они договаривались информировать французского писателя Виктора Маргарита (подписавшего воззвание в защиту Троцкого) об угнетенном положении русских писателей, с тем чтобы эта информация была доведена до сведения французских писательских кругов. В 1936 г. Пильняк и Пастернак имели несколько законспирированных встреч с приезжавшим в СССР Андре Жидом, во время которых тенденциозно информировали Жида о положении в СССР».

Беда к беде, время катастрофично, пожар не утихает — вслед за оконченной «Повестью о Сонечке» на свет пробилось несколько строк в попытке стать стихом:

Были огромные очи:
Очи созвездья Весы,
Разве что Нила короче
Было две черных косы
…..
Нет, не годится!…….
Страшно от стольких громад!
Нет, воспоем нашу девочку
На уменьшительный лад

За волосочек — по рублику!
Для довершенья всего —
Губки — крушенье Республики
Зубки — крушенье всего…

Каким-то диковинным образом Сонечка Голлидэй соотносится с тем, что происходит в Испании. Это похоже на то, как Маяковский не так давно (1928) обращался к любимой женщине:

В поцелуе
рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне

красный
цвет
моих республик
тоже
должен пламенеть.

(«Письмо к Татьяне Яковлевой»)

Набросок МЦ не стал полноценным стихом, но следующее восьмистишие оказалось совершенным:

Жуть, что от всей моей Сонечки
Ну — не осталось ни столечка:
В землю зарыть не смогли —
Сонечку люди — сожгли!

Что же вы с пеплом содеяли?
В урну — такую — ее?
Что же с горы не развеяли
Огненный пепел ее?

30 сентября 1937

МЦ исполнилось сорок пять лет. На следующий день — 10 октября — новый муж Муны Булгаковой Владимир Степуржинский, будучи шофером такси, взял пассажиров: Сергея Яковлевича, МЦ и Мура. Где-то не доезжая Руана, когда машина замедлила ход, Сергей Яковлевич быстро, ни слова не говоря, выскочил из машины и исчез в придорожном лесу. МЦ и Мур вернулись домой, на столе — записка черными чернилами на листке из записной книжки: «Мариночка, Мурзил. Обнимаю Вас тысячу раз. Мариночка — эти дни с Вами самое значительное, что было у нас с Вами. Вы мне столько дали, что и выразить невозможно. Подарок на рождение!!! Мурзил — помогай маме». Вместо подписи — рисунок головы льва. Самое значительное, что было у нас с Вами. Так говорят в последний раз.

Ровно через месяц после похищения Миллера — 22 октября 1937 года — шесть инспекторов производят обыск в доме на улице Де Бюси, 12, выходящей на бульвар Сен-Жермен, где «Союз возвращения» арендует семь комнат, — здесь же находится и библиотека «Союза», и комната, в которой частенько ночевал Эфрон. Пришли домой и к МЦ — в Ванв.

В этот же день ее допросили в парижской префектуре.

— Лично я не занимаюсь политикой, но, мне кажется, уже два-три года мой муж является сторонником нынешнего русского режима.

С начала испанской революции мой муж стал пламенным поборником республиканцев, и это чувство обострилось в сентябре этого года, когда мы отдыхали в Лакано-Осеан, в Жиронде, где мы присутствовали при массовом прибытии беженцев из Сантандера. С этих пор он стал выражать желание отправиться в Испанию и сражаться на стороне республиканцев. Он уехал из Ванва 11–12 октября этого года, и с тех пор я не имею о нем известий. Так что я не могу вам сказать, где он находится сейчас, и не знаю, один он уехал или с кем-нибудь. <…>

Муж почти никого не принимал дома, и не все его знакомства мне известны. <…>

Дело Рейса (так. — *И. Ф.)* не вызвало у нас с мужем ничего, кроме возмущения. Мы оба осуждаем любое насилие, откуда бы оно ни исходило.

17 июля 1937 года я с сыном уехала из Парижа в Лакано-Осеан. Мы вернулись в столицу 20 сентября. Муж приехал к нам числа 12 августа и вернулся в Париж 12 сентября 1937 года.

В Лакано мы занимали виллу «Ку де Рули» на улице братьев Эстрад. Этот дом принадлежит супругам Кошен.

На отдыхе муж все время был со мной, никуда не отлучался.

Вообще же мой муж время от времени уезжал на несколько дней, но никогда мне не говорил, куда и зачем едет. Со своей стороны, я не требовала у него объяснений, вернее, когда я спрашивала, он просто отвечал, что едет по делам. Поэтому я не могу сказать вам, где он бывал.

Допрос длился восемь часов кряду. Когда она стала читать вслух свои стихи, ее отпустили: «Cette folle Russe»[292]. На следующий день об обыске поведали газеты.

В газетах не прекращается поток эфроновско-цветаевской темы. 24 октября 1937 года в «Последних новостях» в заметке «Где С. Я. Эфрон?» репортер передает слова МЦ: «…мой муж, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Ванве, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. <…> 22 октября около 7 часов утра ко мне явились четыре инспектора полиции и произвели обыск, захватив в

комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в Сюрте Насьональ[293], где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла». 29 октября «Возрождение» говорит в анонимной статье: «Семейные дела также, по-видимому, сыграли роль в эволюции Эфрона. Как известно, он женат на поэтессе Марине Цветаевой. Последняя происходила из московской профессорской семьи, была правых убеждений и даже собиралась написать поэму о царской семье. Ныне, по-видимому, ее убеждения изменились, так как она об откровенном большевизме своего мужа знала прекрасно». 12 ноября «Последние новости» под шапкой «Дело Игнатия Рейсса» говорят о том, что в свое время двое лиц, обвиняемых в соучастии в убийстве Рейсса, «получили от С. Эфрона поручение следить за сыном Троцкого, и поселились с этой целью на улице Лакретель (рядом с домом Л. Седова). Летом 1937 года слежка за сыном Троцкого была оставлена и заменена слежкой за Игнатием Рейссом».

У Ариадны Берг — несчастье. 12 октября от заражения крови в тринадцать лет умерла ее старшая дочь Мария-Генриетта (Бутя).

Vanves (Seine) 65, rue J. B. Potin
26-го Октября 1937 г.

Дорогая Ариадна, Если я Вам не написала до сих пор — то потому что не могла. Но я о Вас сквозь всё и через всё — думала.

Знайте, что в Вашей страшной беде я с Вами рядом. Сейчас больше писать не могу потому что совершенно разбита событиями, которые тоже беда, а не вина. Скажу Вам как сказала надопросе.

— C'est le plus loyal, le plus noble et le plus humain des homes. — Mais sa bonne foi a pu etre abusee. — La meinene en lui — jamais[294].

Обнимаю Вас и — если это в последний раз — письменно и жизненно — знайте, что пока жива, буду думать о Вас с любовью и благодарностью.

Марина

В США, в городе Ричмонд, штат Вирджиния, 25 октября 1937 года умер князь Сергей Михайлович Волконский. Позже Нина Берберова вспоминала: «М. И. Цветаеву я видела в последний раз на похоронах (или это была панихида?) кн. С. М. Волконского, 31 октября 1937 года. А после службы в церкви на улице Франсуа-Жерар (Волконский был католик восточного обряда) я вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас

полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейса, в котором был замешан ее муж, С. Я. Эфрон. Она стояла, как зачумленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла мимо нее»[295].

Двадцать седьмого ноября 1937-го МЦ вторично вызвала полиция и предъявила фотокопию телеграммы от 22 января, написанной по-французски и посланной Сергеем Яковлевичем из Парижа его коллегам по разведке. МЦ в его почерке усомнилась, по просьбе полиции показала несколько собственноручных писем Сергея Яковлевича и твердо заявила: «Муж уехал в Испанию, чтобы служить в рядах республиканцев, 11–12 октября этого года. С тех пор я не имею от него известий». В ноябре МЦ пишет Ариадне Берг: «Вижу пред собой Ваше строгое, открытое, смелое лицо, и говорю Вам: что бы Вы о моем муже ни слышали и ни читали дурного — не верьте, как не верит этому *ни один* (хотя бы самый «правый») из его — не только *знавших,* но — встречающих. Один такой мне недавно сказал: — Если бы С<ергей> Я<ковлевич> сейчас вошел ко мне в комнату — я бы не только обрадовался, а без малейшего сомнения сделал бы для него всё, что мог.

Обо мне же: Вы же знаете, что я никаких дел не делала (это, между прочим, знают и в сюртэ, где нас с Муром продержали с утра до вечера) — и не только по полнейшей неспособности, а из глубочайшего отвращения к политике, которую *всю* — за редчайшими исключениями — считаю *грязью».*

Под Новый год Ариадна Берг прислала ей посылку — елочку с фиалками, живую с живыми. МЦ отправила ей книгу католической поэтессы Мари Ноэль «Четки радостей». «Обнимаю Вас, благодарю за каждую отдельность («Всесильный Бог деталей — Всесильный Бог любви»[296]…), за всё, за всю Вас: за то, что это — есть. И было в моей жизни». На елочке светятся настоящие, самовызолоченные, чешские шишки.

Зима 1937/38 года оказалась последней зимой в Ванве. МЦ уже знала, что это место отжито, что эта улица, обсаженная деревьями, ее каштан, Мурина бузина и неведомо чьи огороды вокруг ее дома-руины, в котором прожито без малого четыре года, — предмет прощания и будущих воспоминаний. Казалось — дома не было, а вот вышли из него муж и дочь, и оказалось: все было. Но велика сила привычки, и привязка к столу неистребима — сидит МЦ все там же, в кухне, у стола, заваленного корректурами и прочей бумагой, под тяжестью которой жила и живет. Пишет ли? Нового — ничего. Всю зиму ничего. Мур этот

год учится дома. Голодных ртов нет. Едоков, собственно, трое — Мур, его учитель и ничей бродячий кот, на это хватает и средств, и времени. МЦ никуда не ходит, во всем трехмиллионном Париже — два каких-то дома, куда еще зовут или, во всяком случае, можно прийти раз в неделю, а то и реже — раз в две недели или в месяц.

В общем, кухня. Стол, печка, готовка, стирка, мытье полов — репертуар тот же. На кухне — морозно.

В начале января 1938 года — Тесковой: «Жизнь идет тихо. Мур учится с учителем, учится средне, п. ч. — скучно: одному, без товарищей, без перерыва игры, и учитель — скучный: честный, исполнительный, но из русских немцев и неописуемо-однообразный. Но это все-таки лучше, чем полная незанятость. А я — не могу: из-за печей, и мелочей, и кухни, в к<отор>ой провожу полдня, а мне кажется, я всякого — всему — выучу, особенно — тому, что мне самой — трудно, п. ч. я отлично понимаю, как можно *не понимать*. И потому что *каждое* дело — делаю со *страстью*…»

В конце января МЦ делится с Ариадной Берг тяжелым впечатлением от книги воспоминаний Айседоры Дункан «Моя жизнь»: эта женщина никого не любила. «(И Есенина, конечно, не любила: это чистый роман американского любопытства + последней надежды стареющей женщины. Терпеть от человека еще не значит его жалеть.) Я вышла из этой книги — опустошенная: столько имен и стран и событий всякого рода — и *нечего* сказать».

Попутно ей вспоминается мизансцена с братом Айседоры — Раймондом, художником и танцором. «С ее фатом Раймондом я однажды встретилась у одной американки (Натали Клиффорд-Барни. — *И. Ф.). Я* сидела. Вдруг кто-то оперся локтем о мою шею, сгибая ее. Я резко дала головой и локоть слетел. Через минуту — вторично. Встаю — передо мной человек в «белой одежде» длинноволосый и т. д. — отодвигаю стул: — «Monsieur, si Vous tenir debout — voila ma chaise. Mais je ne suis pas un dossier»[297]. А он глупо улыбнулся. И отошел. А я опять села. <… > Деталь: я сидела за чайным столом, а он говорил с моим визави — через стол — и вот, чтобы было удобнее, оперся локтем о мою спину. (Особенно странно — для танцора школы Айседоры.)».

Сергей Яковлевич пишет сыну из Москвы в феврале:

«Слышал, что у тебя завелась первая шляпа. Поздравляю! А я здесь хожу больше в кепке, еще парижской, той, что прислала мама.

Видел ли наш новый фильм — «Александр Невский»? Боюсь,

что его запретит «ваша» гнусная цензура. А я всю эту зиму ни разу не был в кино. Вместо этого гулял по снежным полям и лесам.

Ко мне часто попадает «Нита»[298] и я тогда сразу переношусь в вашу парижскую атмосферу. Представляю себе с каким гневом ты читаешь о происходящем у вас позоре!

А помнишь, как мы с тобой еще недавно ходили на демонстрации Народного Фронта?

А теперь французский пролетариат стал не только передовым классом, но и единственным представляющим и защищающим французскую нацию.

Кончаю письмо моей обычной просьбой: береги и оберегай маму. Не давай ей утомляться, заставляй ее ложиться вовремя и не давай ей много курить. Обнимаю тебя, мой родненький».

Прогулки по снежным полям и лесам означают пребывание Сергея Яковлевича где-то за городом.

Второго — тринадцатого марта 1938 года проходит третий московский процесс по делу «правотроцкистского антисоветского блока». Прокурор СССР А. Вышинский произносит заключительное слово: «Доказано, что «правотроцкистский блок» организовал ряд террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства, что этот «право-троцкистский блок» осуществил террористические акты против С. М. Кирова, В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева, А. М. Горького, а также осуществил умерщвление М. А. Пешкова». Николай Бухарин, покровитель лучших поэтов страны, в числе других обвиняемых (21 человек) будет расстрелян.

Сгущаются тучи над Чехословакией.

Четырнадцатимиллионная Чехословакия была на подъеме, в числе ведущих мировых экспортеров оружия, ее армия была превосходно вооружена и опиралась на мощные укрепления в Судетской области. Судетские немцы, потомки средневековых колонизаторов восточных территорий, составляли около трех миллионов (90 процентов) населения региона. Они давно и активно требовали воссоединения с Германией, особенно после аншлюса Австрии 12–13 марта 1938 года. То же самое было в Словакии и Закарпатской Украине, где обитали 700 тысяч немцев. Судетский котел клокотал. Судьбу страны стали решать европейские державы в порядке «политики умиротворения» Гитлера, дело ведя к отторжению судетских земель.

МЦ — Анне Тесковой:

Ванв, 23-го мая 1938 г.
Дорогая Анна Антоновна,

Думаю о Вас непрерывно — и тоскую, и болею, и негодую — и *надеюсь* — с Вами.

Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны — тела.

А в личном порядке я чувствую ее своей страной, родной страной, за все поступки которой — отвечаю и под которыми — заранее подписываюсь.

Ужасное время.

Ариадна Берг остается чуть не самой задушевной конфиденткой МЦ. Абсолютно доверительно с ней обсуждается подготовка к отъезду (рефрен: «между нами»). Их диалог — во многом чисто женский, вплоть до длительной и подробной темы приобретения Ариадной в Бельгии пальто для МЦ (широкая спина, широкие плечи, 120 см длины и проч.), — МЦ охота въехать в Москву нарядной, ослепительной. Ей нисколько не грустно от того, что нынешний сердечный друг Ариадны — тот самый Люсьен, с которым у МЦ не получилось. «Вы когда-нибудь возьмете его стихами — напечатанными. Он себя в них узнает. Такого возьмешь — только *песней!*» Идет речь и о мечте Ариадны — о сыне, МЦ сразу же предлагает себя в крестные матери.

Она начинает распродавать книги, просит найти покупателя «Истории» Тьера. В апреле Ариадна навещает МЦ, после чего пишет ей:

8-го апреля 1938 г.

Марина дорогая

Продала брату Вашего Thiers за 150 фр<анков>! Когда хотите, он за ним приедет, страшно доволен. Прошу его любить и жаловать. Он мой друг, многим похож на меня.

Когда вышла от Вас, захотелось сразу вернуться, еще Вас слушать, еще Вам говорить, так много, сплошным потоком. С Вами, *только* с Вами в жизни, думаю вслух, чувствую, живу перед Вами все равно какими словами, потому что ничего не надо объяснять.

Хочется сказать Вам спасибо за то, что Вы — Вы, и что в моей жизни было это чудо — встреча с Вами. Мы увидимся еще, Марина, в это я твердо верю.<…>

Что бы ни было, где бы Вы ни находились, что бы со мной ни случилось счастье ли, горе ли, Вы во всем участвуете *активно.* И *если* будет у меня сын, конечно, он будет расти с мечтой о своей «marraine de reve»[299].

Я Вас помнить буду всегда, как лучший Божий дар мне. Ваше ожерелье спало вокруг моей шеи. Ваши слова, Ваш мир, Ваш

серебряный взгляд окружают меня высокой оградой от повседневности и обывательства.

Я Вас люблю, Марина, так, что, если Вам, когда бы ни было, стало жить тяжело, — вспомните это, и теплее, легче станет. Рассчитывайте на всю меня — всегда.

Ваша

Ариадна.

В апреле 1938 года МЦ возобновила переписку своих черновых тетрадей, которую начала еще в 1932 году и внезапно прекратила в 1933-м, не заполнив до конца второй тетради. Кое-какие рукописи она намерена оставить в Европе, но все основное — закрепить их перепиской и привезти на Родину. Третья тетрадь, заполненная в апреле — июне 1938-го (103 листа), начинается с выписки из черновой тетради «Егорушка»: зеленая, квадратная, с картой — начата 11 марта 1928 года, в Медоне, кончена 11 сентября 1928 года, в Понтайяке (Жиронда). Переписка сопровождается ремарками 1938-го. Работа непростая, утомительная, не слишком системная, с неточной хронологией, иногда — как Бог на душу положит, по настроению, анализ на грани умоисступления, кое-что требуется зашифровывать, на что-то лишь намекнуть, а что-то и разъяснить, расширив.

В 1928-м МЦ была занята Гронским, и она переписывает в тетрадь 1938-го стихотворение «Лес — сплошная маслобойня…» с вариантами. Но в 1938-м ее мысли больше заняты Сергеем Яковлевичем, она фиксирует, что для Мура важно присутствие отца: «— Очень, очень жалко, что папа уехал! Я теперь с одним мамом остался!»

Ей кажется необходимым воспроизвести черновик своего письма к Вере, тогда Сувчинской и ставшей вдовой погибшего в Испании шотландского журналиста Роберта Трейла, сотруднице советских спецслужб, проповеднице возвращения в СССР и, между прочим, многолетней любовнице Родзевича.

«— Вы конечно не ждете этого письма, как не ждала его — я.

Хотите в двух словах его содержание? Если бы я была мужчина — я бы Вас любила. Грубо? Как всякая формула. Что же мне мешает сейчас, будучи женщиной и т. д. Знаю. Сама говорила и буду говорить.

(NB! Мешала мне тогда, очевидно, полная ненужность ей женской любви. И — поэтовой любви. Нужность ей только мужской любви. <…> Но это выяснилось — год спустя. 1938 г.)».

Мур произрастает, в 1931-м он таков:

«Про нянь:

— *А мое* счастье, что у меня нет няни. В России нет нянь.

— В России?! Сплошь няни.

— Да, знаю какие: в платке — со скулами — ужжасные в профиль!»

Думая о себе как поэте — в наброске творческой автобиографии «Моя судьба» (1931), она числит в своих читателях — уже в эмиграции — *«сто* любящих». В 1938-м добавляет, что на ее вечера-чтения «годы подряд приходили все те же — приблиз<ительно> 80—100 человек. Я свой зал знала в лицо. Иные из этих *лиц,* от времени до времени исчезали: умирали. 1938 г. Ванв».

Она говорит о несвоевременности своего явления — «что бы на двадцать лет раньше», о том, что время ее «оврижило» и «огромчило» и ей «часто пришлось говорить (орать) на *его* языке — *его* голосом, «несвоим голосом», к<оторо>му предпочитаю — собственный, которому — тишину».

Из третьей тетради МЦ:

Не могу удержаться и переписываю сюда, перескочив 6 лет, современное и даже сегодняшнее письмо Мура Але — описание первого посещения — вдобавок при вечернем освещении — Лувра:

Дорогая Аля!

Прости что довольно долго тебе не писал, но был очень занят прогуливанием и лодырьством (provisoire[300]). Был недавно (в субботу) в Лувре, с мамой и Ирусиной матерью. Были в отделе римской скульптуры и оказалось гораздо интереснее чем я думал. Ируся не пошла, pretextant[301] что у нее экзамен, а Аля не пошел потому что ему, по его словам, это не интересно. Видел самые важные и знаменитые вещи Лувра и римской скульптуры: Диана с собачкой и с луком и стрелами, Венера Безрукая и самофракийская победа. Самая красиво сделанная конечно Венера, а Диана мне совсем не понравилась. Потом видели бюсты всех почти императоров римских: у многих зверские морды, а у кого хорошие, то эти потом оказываются дебоширами и вообще свиньями: пример Элиогайал и компания. У Тражана длинные уши и нос, Нерон грубый толстяк, Адриян — эстет, Катил ина и Каракалла — бороды зверские, Марк-Аврелий строгий и злюка, Цезарь — ха, ха, я вас всех умнее — лисица белобородая. Аполлон хоть и красив а вот содрал кожу с бедного сатира, который лучше пел чем он. Венера опустила глаза от стыда что все на нее смотрят, Диана ищет в какую бестию выпалить из лука, а у ее собаки свиное рыло, Амфитрита, Эдипа или еще кто-то — petite poule qui se fout de tout le monde[302], у Эроса нос сломан — вот что значит соблазнять невинных девушек, получил по носу —

и вот теперь нос сломан. Вот и потом были такие морды: <рисунок> — совсем как теперешние друзья-сюрреалисты. Вообще всё было интересно, красиво, поучительно и т. п. Масса была американцев и американок страшно негармоничных на фоне статуй.

Целую крепко

Мур <рисунок кота>

(NB! Кот (Мур) у Мура лучше, у меня Бог знает что.) Vanves (Sein) 65, Rue J. B. Potin

15-го июня 1938 г., среда

В тот же день — 15 июня — она пишет Ариадне Берг: «Поймите, что я половину написанного не могу взять с собой, поэтому оставляемое (нужно думать — навсегда: покидаемое) должна оставить *в порядке*. Над этим и бьюсь — три месяца. А нужен — год. Уже с 6 ч. сижу, но нужен — покой, его у меня *нет,* вместо него — *страх*». Ей вспоминаются собственные стихи 1918 года «Андрей Шенье»:

Руки роняют тетрадь,
Щупают тонкую шею…
Время крадется как тать —
Я дописать не успею.

В том же июне, 16-го числа, Сергей Яковлевич, заботливым государством отправленный на лечение в Одессу, пишет сестре Лиле:

Первые дни здесь мне было трудно. Вероятно — реакция на дорогу — душную и жаркую до ужаса. Если бы не сопровождающая меня сестра — я бы выскочил на 2-ой остановке. Было мне худо дней шесть подряд, а потому мне все казалось не таким, каким нужно. Было два серьезных припадка по два часа каждый, с похолоданием рук и ног, со спазмами и страхом и пр<очими> прелестями. Пишу теперь об этом спокойно, потому что все это уже в прошлом и мне гораздо, гораздо лучше. Врачи настроены оч<ень> оптимистично и лечат меня вовсю. Через день я принимаю теплые морские и хвойные ванны, а в промежутках, т. е. тоже через день, мне электрофицируют сердце. Кроме того мне массируют область сердца ментоловым спиртом. Кроме того обтирают одеколоном с головы до ног, т<ак> что я благоухаю, как пармская фиалка. <…>

Живу я уединенно и тихо. На море (к<отор>ое в 3-х минутах от меня) хожу в сопровождении моего оч<ень> милого

сожителя и сижу там в тени часа по два.

Очень милый сожитель, надо думать, приставлен к новому гражданину СССР из лучших побуждений. Подъезжала к отцу и Аля.

На Родину Сергей Яковлевич Эфрон отправился из Гавра на пароходе «Андрей Жданов» в тот же день, 10 октября, когда изящно выскользнул из автомобиля в придорожный руанский лес. Прибыл он — в Ленинград, где в скором будущем хозяином станет тот же Жданов, а потом в Елабуге МЦ очень недолго проживет на улице Ворошилова, вскоре удостоенной имени Жданова, и это будет последнее, что их свяжет с Ахматовой, через некоторое время столкнувшейся с этим же именем[303]…

Так или иначе, после всяческих лечений Сергей Эфрон окажется в подмосковном Болшеве, где три года назад, после Парижа, проходил санаторный курс Борис Пастернак. Сергея Яковлевича поселят на даче НКВД. Оттуда 12 октября он напишет сестре:

«Дорогая Лиленька, вот я и на «своей» даче. Здесь прелестно. Все совершенно в твоем духе — сплошная «сельскость». Из окон — сосновый парк. Сейчас в стекла барабанит дождь (моя любимая обстановка — осенний дождь в стекла).

Аля все очень мило и трогательно приготовила. Она из кожи лезет, чтобы мне во всем помочь. А мне тяжко, что я таким бременем ложусь на всех и особенно на нее. <…>

Сегодня говорили с Алей о том, как ты будешь к нам зимой приезжать и восторгаться тишиной (здесь действительно тихо) и белизной и ЧИСТОТОЙ».

У МЦ другой пейзаж и другая погода. В сущности, этот пейзаж и эта погода — одни и те же в любое время года: ее отъезд. Но сначала — переезд, означающий, помимо прочего, распродажу мебели: «…выбыли моя громадная кровать, зеркальный шкаф и огромный дубовый стол, и еще другое предполагается. Я — ГОЛЕЮ. Сейчас галопом переписываю стихи и поэмы за 16 лет, разбросанные по журналам и тетрадям, в отдельную книжку — и просто от стола не встаю».

От себя она уже не зависит — ее опекают, ведут.

Переезд — куда? В гостиничный номер в Исси-ле-Мулино, парижский пригород по соседству с Ванвом. Это был транзит. 11 августа она пишет Ариадне Берг: «Только что Ваше письмо и тотчас же отвечаю, — завтра уже не смогу: опять укладываться! — 15-го едем с Муром на океан — на 2–3 недели: в окрестностях Cabourg'a (Calvados) — 2 1/2 ч. езды от Парижа. <…> Посылаю Вам (в подарок) уцелевшую корректуру своей Поэмы Горы —

самой моей любовной и одной из самых моих любимых и самых *моих* — моих вещей. <…> Мне до сих пор больно — читать. А видеть его — уже не больно, *давно* не больно. От любви уцелели только стихи. Он — молодец и сейчас дерется в Республиканской Испании». Берг ответила: «Я не прочла, — я выпила Вашу поэму».

Итак, они с Муром теперь в городке Dives-sur-Mer, почти по-русски — Див, в устье реки Див. Это рабочий поселок с одним домом во всю улицу — ше du Nord, 8 — и под разными нумерами: казенные квартиры для заводских рабочих. Они с Муром поселены в большой светлой комнате, входящей в квартиру рабочего по имени Nikita, то бишь русского, у которого жена нордмандка и дети, соответственно, нормандские, ни звука по-русски. В комнате — умывальник с горячей водою, но места для хозяйства нет — и оно всё на полу: Мур, не наступи в кофе! Мур, ты, кажется, наступил в картошку! Но — полная свобода: никто не заходит и не убирает. Пятый этаж, лифта, слава Богу, нет, а был бы — пришлось бы ездить, наживая себе не порок, а *разрыв* сердца — от страха.

Море — верста ходу. Пляж — как все пляжи: слишком много народу и веселья; море на свой берег — не похоже. Мур с упоением играет с малолетним рабочим народом — и немножко отошел от своих газет. Городок гористый, прелестный. Съездили в Zoo de Vincennes[304].

МЦ чувствует, что по возвращении с моря ее ждет страшный неуют и в первый же день — необходимость выписаться и прописаться, ибо она сейчас не живет нигде: комнату в Исси, конечно, оставила, то есть бросила, и ничего не знает о своем ближайшем будущем. «Я давно уже не живу — потому что такая жизнь — не жизнь, а бесконечная оттяжка». Пусть будет изба, как некогда в Чехии, но не меблированные комнаты!..

По возвращении с моря они с Муром будут поселены в Париже на бульваре Пастера, в гостинице «Innova». Поистине — новая.

Пятнадцатого сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Чемберлен прибывает на встречу с Гитлером у города Берхтесгаден, в Баварских Альпах. Фюрер сильно хочет мира, но готов и к войне, однако войны можно избежать, если Великобритания согласится на передачу Судетской области Германии на основе права наций на самоопределение. Чемберлен согласился. Чехословацкие войска подавляют путч немцев в Судетах. 18 сентября в Лондоне прошли англо-французские консультации. Стороны пришли к соглашению, что территории, на которых проживает более 50 процентов немцев, должны отойти к Германии и что Великобритания с Францией

гарантируют новые границы Чехословакии.

МЦ пишет в Чехословакию — Анне Тесковой:

> *Paris 15-me,*
> *32, Boulevard Pasteir,*
> *Hotel Innova, ch<amber> 36*
> *24-го сентября 1938 г.* Дорогая Анна Антоновна, Нет слов, но они должны быть.
>
> — Передо мной лежит Ваша открыточка: белые здания в черных елках — чешская Силезия. Отправлена она 19-го августа, а дошла до меня только нынче, 24-го сентября — между этими датами — всё безумие и всё преступление. <…>
>
> Почитайте газеты — левые и сейчас единственно-праведные, под каждым словом которых о Чехии подписываюсь обеими руками — ибо я их писала, изнутри лба и совести. <…>
>
> Мне сейчас — стыдно жить.
> И всем сейчас — стыдно жить.
> А так как в стыде жить нельзя…
> — Верьте в Россию!

Тридцатого сентября 1938 года между Великобританией и Германией подписана декларация о взаимном ненападении, схожая декларация Германии и Франции подписана чуть позже. В час ночи 30 сентября в Мюнхене, в резиденции фюрера «Фюрербау», Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали Мюнхенское соглашение. После этого в зал, где подписано это соглашение, допущена чехословацкая делегация, которая поначалу возмутилась основными пунктами соглашения, но в конечном счете под давлением Великобритании и Франции чехи подписали договор о передаче Чехословакией Германии Судетских областей. Утром президент Чехословакии Бенеш без согласия Национального собрания принял к исполнению данное соглашение. СССР отодвинут от решения проблемы.

Тескова (11 октября 1938-го) пишет: «Дорогая Марина, что могу написать? Связали народ по рукам и ногам, плевали на него, били, — тысячелетнюю границу его земли отрезали, искалечили то, что было родиной чешского народа за тысячу лет… Трудно понять… А привыкнуть? — едва ли…»

В ближайшие месяцы все доведено до конца. 2 ноября 1938 года Венгрия по решению Первого Венского арбитража получила южные (равнинные) районы Словакии и Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины) с городами Ужгород, Мукачево и Берегово. 14 марта 1939 года парламент автономии Словакии

принял решение о выходе Словакии из состава Чехословакии и об образовании Словацкой Республики. *15 марта* 1939 года объявила о независимости Подкарпатская Русь. Чехословакии не стало.

МЦ еще раз помянет древнеримские мартовские иды, падавшие на 15-е число марта:

Отольются — чешский дождь,
Пражская обида.
— Вспомни, вспомни, вспомни, вождь, —
Мартовские Иды!

22 апреля 1939

С сентября 1938-го полились стихи. Потом они собрались в цикл «Стихи к Чехии», перемешавшись вне хронологии написания. Первопричина и лейтмотив — здесь:

Горы — турам поприще!
Черные леса,
Долы в воды смотрятся,
Горы — в небеса.

Край всего свободнее
И щедрей всего.
Эти горы — родина
Сына моего.

Между 12 и 19 ноября 1938

Стихи у нее льются потоком, точно так же — письма. Туда, в Чехию, к Тесковой.

24 октября 1938 года: «О, как я скучаю по Праге и зачем я оттуда уехала?! Думала — на две недели, а вышло — 13 лет. 1-го ноября будет ровно 13 лет, как мы: Аля, Мур, я — въехали в Париж. Мур был в Вашем голубом, медвежьем, вязаном костюме и таком же колпачке. Было ему — ровно — день в день — 9 месяцев. — Тринадцать лет назад».

10 ноября: «А что с Чехией? Вижу ее часто в кинематографе, к сожалению — слишком коротко, и стараюсь понять: что за стенами домов — таких старых, таких испытанных, столько видавших — и перестоявших. А в магазинах (Uni-Prix[305]), когда что-нибудь нужно, рука неизменно тянется — к чешскому: будь то

эмалированная кружка или деревянные пуговицы, т. е.: сначала понравится, а потом, на обороте: «Made in Tchecoslovaquie». Вот и сейчас пью из такой эмалир<ованной> кружки. И недавно, у знакомой выменяла кожаный кошелек, на картонную коробочку для булавок, с вытесненной надписью: Praha, Vdclavskd ndm<esti> Musea. Всё это, конечно, чепуха, но такою чепухой любовь — живет. Если бы я могла, у меня все бы было — чешское». 24 ноября: «Теперь, дорогая Анна Антоновна, большая просьба: 1. напишите мне, где именно, в точности, у Вас добывается радий? <…> (Здесь, в Савойе, напр<имер>, у каждой горы есть имя, кроме собирательного: у каждой вершины.) Где в точности, *в какой горе* добывается радий? Мне это срочно нужно для стихов. И дайте немножко ландшафт. Я помню — в Праге был франц<узский> лицей, как бы мне хотелось чешскую (природную) географию для старших классов, со всеми названиями горных пород и земных слоев — и такую же историю. Два учебника — по возможности по-французски, но если — нет, постараюсь понять и по-чешски, куплю словарь. Я помню — в разговорах Гёте с Эккерманом — целый *словарь* горных пород! а дело ведь было в Богемии. <…> Я думаю, Чехия — мое первое такое горе. Россия была слишком велика, а я — слишком молода. Горюю и о том, что я и для той Чехии была слишком молода: еще слишком была занята людьми, еще чего-то от них ждала, еще чего-то хотела, кроме — страны: кроме Рыцаря и деревьев, что в Карловом Тыну[306], глядя из окна на море вершин — еще чего-то хотела — кроме». 26 декабря: «Я страшно мерзну — и днем и ночью, и на улице и в доме: пятый этаж, отопление еле теплится, ночью сплю в вязаной (еще пражской) шапке, вспоминаю Вшеноры, нашу чудную печку, которую топила *своим,* добытым хворостом.

И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом, голодного С<ергея> Жковлевича> — и Алю с косами, такую преданную и веселую и добрую — где всё это?? Куда — ушло??»

Символизм существует безусловно. 10 ноября МЦ писала Тесковой: «Здесь, кстати, на днях пойдет пьеса Карла Чапека <…>[307] как Вы наверное знаете, ведется лучшей частью интеллигенции горячая кампания за присуждение ему нобелевской премии, есть подпись Joliot-Curie[308] (обоих, неизменно присущая под всяким правым делом: они для меня, некий барометр правды)». 26 декабря: «С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна! Но каким ударом кончается — этот! Только что Мур прочел мне в газете смерть Карела Чапека. 48 лет!»

Чапек умер 25 декабря от воспаления легких. Сообщение о

его смерти было напечатано в «Последних новостях» 26 декабря 1938-го. Чем не символизм.

«Стихи к Чехии» окажутся лирическим эпосом. Их много, это симфония, в них — картина эпохи. С 1915 года, когда МЦ написала первое стихотворение «Германии», нечаянно-негаданно произошел переворот в ее понимании отечества Гёте. Это был конец цветаевского романтизма.

Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила,
Днесь — танками пошла.

Прежняя Германия (мое безумие, моя любовь) сама себя вывернула наизнанку:

О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!

9—10 апреля 1939

Графика строк — интонационный столбик, как у Андрея Белого, безумца.

Но это — не поэтическое безумие, а реальное, тупое, звериное, человеконенавистническое. Мир перевернулся. Ей требуется знание о радии не без связи с Маяковским («Поэзия — та же добыча радия»). Поэзия и Чехия («родина радия») синонимичны.

В конечном счете:

О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!

О черная гора,
Затмившая весь свет!

Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей

Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

15 марта — 11 мая 1939 («О слезы на глазах!..»)

После такого стихов не пишут.

Рифмовать глаза со слезами, а любовь с кровью — это предел, край речи, невозможность стиха.

«Стихи к Чехии» она отправила президенту Чехословакии Бенешу.

Глаза ее стали голыми как раз тогда, когда ей положено было жить вслепую. В поводырях — товарищ Сергея Эфрона, неофициальный сотрудник советского посольства Владислав Ипполитович Покровский. МЦ называет его Дик, даже проще — «Д.». Жил он в Исси-ле-Мулино, держал ту самую комнату в гостинице, где МЦ с Муром прожили около месяца, пока их не приняла «Иннова». Он передавал ей «зарплату» мужа.

Однако оголенность зрения с некоторых пор ей больше нужна в кино, нежели в реальной действительности. МЦ, подобно Сергею Яковлевичу, делается знатоком кинематографа, ценит «французскую школу», влюбляется в «провансальскую». Ночью — то же кино: ей снится сон, в котором Сергей Яковлевич ходит в болотных сапогах из «гениального провансальского фильма» — «Жена булочника» (в этих сапогах в кино учитель тащит на спине через болото кюре). Свой сон она пересказывает мужу по почте. На советские фильмы билеты приносит Дик.

МЦ затевает установку памятника на могиле Сережиных родителей и его брата на Монпарнасском кладбище. Решила ставить русскую надпись, администрация кладбища согласна. Вот

текст:

Здесь покоятся Яков Эфрон
Елизавета Эфрон-Дурново
и сын их Константин

Пришла пора примирения и с Лилей Эфрон, сестрой Сережи.

1-го февраля 1939 г., вторник
Милая Лиля,
Сердечно рада, что одобрили могилу.

Я — лежачую выбрала, потому что помню, как мой отец — для себя хотел лежачей, со свойственной ему трогательной простотой объясняя, что — стоячие памятники — непрочные, клонятся — валятся, что это — беспорядок и нарушает мир последнего сна.

— Где Вы жили в П<ариже> и в окрестностях, т. е. какие места Вам особенно-дороги? Потому что в данном квартале можно найти открытку с данной улицей.

Напишите (кроме Сэны, quai[309], общего — это я знаю) все Ваши любимые (жилые) места, и я, пока время есть, похожу по Вашему прежнему следу — и достану. Не забудьте и загородных мест.

Могилу увеличу и тоже пришлю — по 3 карточки каждого снимка, п<отому> ч<то> — думаю — Ваши сестры тоже захотят. Увеличу серіа[310], это — мягче.

Город — безумно-хорош, и у нас уже дуновение весны.

Всего лучшего, жду по возможности скорого ответа об улицах и загородах — на это нужно время.

Разговор идет осторожный, на общекультурной дистанции. Но от него не уйти. В Мерзляковском переулке у МЦ многое уже было и будет еще очень много.

Идут невероятные сближения. В ее тетради появляется нечто удивительное.

— Себе на память — 2-го июня 1939 г., пятница

Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить
Одно только имя, очнуться, понять!
Над соснами тучи редели. У дома
Никто на порог нас не вышел встречать.

Мужчины с охоты вернулись. Звенели

И перекликались протяжно рога.
Как лен были волосы над колыбелью
И ночь надвигалась, темна и долга.

Откуда виденье? О чем этот ветер?
Я в призрачном мире сбиваюсь с пути.
Безмолвие, лес, одиночество, верность…
Но слова единственного не найти.

Был дом, как пещера. И слабые, зимние,
Зеленые звезды. И снег, и покой…
Конец. Навсегда. Обрывается линия.
Поэзия, жизнь! Я прощаюсь с тобой.

(Чужие стихи, но которые местами могли быть и моими МЦ).

Стихи — из сборника Георгия Адамовича «На Западе» (Париж, 1939).

Все предотъездные дни — разборка вещей, и укладка, и бешеная переписка: прощальные письма Ариадне Берг, Анне Ильиничне Андреевой, Анне Антоновне Тесковой.

12-го июня 1939 г. в еще стоящем поезде.

Дорогая Анна Антоновна! (Пишу на ладони, потому такой детский почерк.) Громадный вокзал с зелеными стеклами: страшный зеленый сад — и чего в нем не растет! — На прощание посидели с Муром, по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы (сдана в хорошие руки, жила и ездила со мной с 1918 г. — ну, когда-нибудь со всем расстаешься: совсем! А это — урок, чтобы потом — не страшно — и даже не странно — было…) Кончается жизнь 17<-ти> лет. Какая я тогда была счастливая! А самый счастливый период моей жизни — это — запомните! — Мокропсы и Вшеноры, и еще — та моя родная гора. Странно — вчера на улице встретила ее героя, кот<орого> не видела — годы, он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Мура и мне — пошел в середине — как ни в чем не бывало. И еще встретила — таким же чудом — старого безумного поэта с женой — в гостях, где он *год не был.* Точно все — почуяли. Постоянно встречала — всех.<… >

— Уезжаю в *Вашем* ожерелье и в пальто с вашими пуговицами, а на поясе — *Ваша* пряжка.

Свое последнее стихотворение — в Париже — МЦ записывает 5 июня:

DOUCE FRANCE[311]

Adieu, France!
Adieu, France!
Adieu, France!
Marie Stuart[312]

Мне Францией — нету
Нежнее страны —
На долгую память
Два перла даны.

Они на ресницах
Недвижно стоят.
Дано мне отплытье
Марии Стюарт

От Марии Стюарт — к «Марии Ульяновой»: пароход, на борт которого они с Муром поднялись 15 июня 1939 года.

МЦ еще не знала, что накануне умер — Ходасевич. Не знала она и его стихотворения:

Нет, не шотландской королевой
Ты умирала для меня:
Иного, памятного дня,
Иного, близкого напева
Ты в сердце оживила след.
Он промелькнул, его уж нет.
Но за минутное господство
Над озаренною душой,
За умиление, за сходство —
Будь счастлива! Господь с тобой.

20 июня 1937, Париж

Это было последнее, что Ходасевич написал в рифму. Наверное, их одинаково поразил недавний фильм «Мария

Шотландская» (1936; режиссер Джон Форд) с Кэтрин Хепбёрн в главной роли. Нина Берберова походила на Хепбёрн.

Итак, «Мария Ульянова». Это было в том же Гавре, и судно пошло — на Ленинград.

Это запротоколировано в записной книжке «Agenda scolaire» («Школьный ежедневник») за 1937–1938 годы в желтой картонной обложке (15×10), вставленной в твердый коленкоровый переплет с зажимом в корешке:

Пароход Мария Ульянова — 16-го июня 1939 г. 10 ч. 15 мин. вечера (только что переставили часы на час вперед и только что село солнце — еще всё небо малиновое)

— Занося ногу на сходни я ясно сознавала: последняя пядь французской земли.

…..

Испанцы (весь груз, да мы с Муром) еще до отхода парохода танцовали. Одного я застала в музык<альном> салоне, где врем<енно> лежали наши вещи, за разрезанием (карандашом!) моего Exupery — Terre des Homines — глава Hommes[313] изуродована. Взяла из рук. — Вы осторожнее! Испанцы легко обижаются! — Я тоже легко обижаюсь.

Пароход отошел в 7 ч. 15 мин. Единств<енный>, кроме нас, русский пассаж<ир>, пожилой, седой, здоровый, воскликнул: — Теперь уж никакая сила не остановит. — Все подняли кулаки.

Это было 12-го июня 1939 г., в понед<ельник>, в 7 ч. 15 мин. Последнее, что я сдел<ала> — купила Тегге des Hommes (чудом! сама увидела, вопр<еки> продавщице, которая сказала, что — нет) и напис<ала> 4 открытки.

…..

Качало (не очень) 13-го и 14-го, я сразу легла и не вставая пролежала полных два дня и ночи, есть мне приносили, читала и много спала, лек<арство> приняла только раз — 14-го, 0,5 г.; но и до этого не тошнило, так что не знаю — лек<арство> ли, лежание ли, Мура, к<оторый> весь 1-ый день бегал и качался на носу, на 2-ой укачало, не мог есть, дала лек<арство>. Испанок укач<ало> — всех, и половину испанцев. — Они всё равно будут есть (сказала бывалая serveuse[314]): есть и рвать — и потом танцовать — и опять рвать.

…..

— Вот Сев<ерное> море проедем — легче будет.

…..

15-го, вчера, с утра — полный покой, мотор бьет как соб<ственное> сердце. События дня: около 3 ч. — слева — Швеция, справа — Дания. Швеция — красные крыши, всё новое,

приветл<ивое>, игрушечное. Началась она с гор, резкого профиля горы уходящего в море, потом — ровно, много мал<еньких> городков или сел.

Дания — первое впечатл<ение>: дремучая. Сероватый сказ<очный>лес, из к<оторо>го — крыши, старые. Огромная ветр<яная> мельница. Церкви. Дания — знак рав<енства> — сказка Андерсена, всё — изнутри, всё скрыто («скрыто — не забыто»)… Рос лес — и завелись дома… Потом Д<ания> явилась вт<орой> раз — Копенгаген (а м<ожет> б<ыть> путаю) изумительн<ым>, у самой воды, замком-крепостью-храмом, с зел<еной> крышей как в Чехии, с той особой зеленью — лет. Объехали его со всех боков — везде хорош, со всяк<ого> боку — лучше. Башни. Арх<итектура> — неизвестная (мне) и незабвенная. (NB! Каж<ется>, до Копенгагена.) Стояла и глядела и *от всей души* посылала привет Андерсену — плававшему по тем же водам. — Со стор<оны> Швеции — множ<ество> парусов: красные, зеленые, старые — *не* нарочные. Был один очень изящный пароходик-игрушка. Непр<естанно> переходила, приветств<уя> — то Сельму Лагерлёф, то — Андерсена. Но *Дания* меня схватила за сердце. Глядела пока не ушла: не ушла — пока не ушла.

— Вечером (кажд<ый> вечер) на пароходе танцы и песни. Мур блаженств<ует>, я не хожу, не хочу ему мешать и — не знаю, мне лучше одной. Женщ<ины> (исп<анки>) низколобые и с очень громк<ими> голосами. Дети (да и оне, и муж<чины>) похожи на цыган.

…..

Нынче в 3 ч. был сплошной черный лес и — мы плыли очень далёко — мне показ<алось> стадо, пьющее из моря (!) — конечно это были дома — или какие-то постройки, я понадеялась: Норвегия! (Геогр<афии> не знаю.) Оказыв<ается> — «остров Готланд» (Ютландия) — Gott-Land, das Land Gott (Рильке) Ютландия — с виду — страшно-бледная. Города не было. Был, впрочем — один, с прав<ого> краю — горстка домов.

Я бы хот<ела> родиться в Ютландии и написать одну книгу: Ютландию.

…..

Нынче, между 5 ч. и 6 ч. — как и вчера в тот же час, явственно и долго — подробно — во всем разнообразии — слышала колокола. На все лады. *Очень* долго. Heine — Nórdsee[315] — не слышал ли и он колоколов?

…..

Странно, что в тот же час, два дня сряду. Я *заметила* их, когда уже долго слышала. Тогда стала — слушать.

Вчера, 15-го, див<ный> закат, с огромной тучей — горой. Пена волн была малиновая, а на небе, в зеленов<атом> озере, стояли золотые письмена, я долго стар<алась> разобрать — что написано? Потому что — было написано — *мне*. Я стр<ашно> тосков<ала>, что Мур этого не вид<ит>. Мур прибеж<ал>, сказал: — Да, оч<ень> хор<ошо> (очень красиво) — и опять убежал.

Нынче, 16-го, опять провожала солнце, село в *чистом* небе, море его проглотило, и такого пылания уже не было, очевидно — *туча* окрашивала.

Балтийское море (если это Балт<ийское>) дивного синего цвета: сине-серого, а не сине-зел<еного> — как Средиземное, цвета Оки осенью, мне оно безумно нравится, я совсем не понимаю шведа доктора Аксель (не помню) уехавшего *навсегда* на Капри. Любить Юг — слишком дешево, всё что позв<олено> северянину — мечтать о нем. А так — низость измены.

(Ах, поняла! Дания — ветла, убежд<ена>, что вётлы: что-то лох<матое> и мягкое и серое, вроде дыма, и из дыма — острия крыш и крылья мельниц.)

Еще одно наблюд<ение>: горизонт не скрывает ни одной высоты: всё — каждое высшее дерево, кажд<ая> колокольня — числится. Высокому — раз есть горизонт — не укрыться. Так и нас (затертых и затолканных) когда-нибудь откроют: восстановят.

Даже так: горизонт изобличает кажд<ую> высоту. Это — *точное* наблюдение.

…..

Ходила по мосту, потом стояла и — пусть смешно! *не* смешно — *физически* ощутила Н<аполеона>, едущего на Св<ятую> Елену. Ведь — тот же мост: доски. Но тогда были — паруса, и страшнее было ехать.

Наполеон.

Святая Елена.

…..

…Было много снов, тема — невозвратность. Куда-то — за посл<едним> чем-то — тороплюсь, добираю. Один сон — помню: за пластинкой М<ориса> Шевалье (моей любимой) «Donnez-moi la main, Mamzelle… Donnez-moi la main»[316] — с несказанной нежностью canaille[317] — самой (когда-то!) надо мной властной — а пароход уже далёко: за версты. И я Муру: — В шлюпке будет качать, уж лучше — пешком *(по морю)* сознавая неудобство пешего хода, но предпочитая его качке (больше веря ногам, чем лодке).

…..

Нынче, 17-го, *холод*. Нынче 17-го новая (еще не видала)

serveuse — мне: — Какой у В<ас> сын большой! Громадный! Прямо — рост первобытного человека — вполне серьезно, не как комплимент, а как отчет. — А Мура — и след простыл! Забегает — на секунду, еле стоит (в кауте) нога на отлете. Хорошо, что уже сейчас, что *сразу* показал… мое будущее.

Пароход — думал?

Переход — душ.

Всё время думаю о М<аргарите> Н<иколаевне>[318], только о ней, как хотелось бы ее — сюда, ее покой и доброжелательство и всепонимание. Еду совершенно одна. Со своей душою. Это всегда два: голова и я, мысль и я, вопрос и ответ, внутренний собеседник. И — сердце и я (физическое). И — тетрадь (эта бедная, драная) — и я. Прочла в Nouv<elles> Litteraires[319] — замеч<ательно> о Рае Данте. А я думала — скука. Счастлива, что у меня есть Данте — проз<аический> перевод avec texte en regard[320], старый. Прочту — Парадиз.

Нынче утр<ом> перевели часы — еще на час, а вечером — еще на час. <…>

…..

Улож<ить> берет, умывальное, взять платочек, дать М<уру> зажигалку.

…..

18- го утром, воскресенье

Вчера на палубе слушала испанские и капитанские речи — карта нарисов<ана> мел<ом> на доске: Leningrad — Moscva — и мне почему-то всё слышался: Kattegat, Kattegat… Потом испанцы танцовали, один, переодетый, кривлялся… Лучше всех была мал<енькая> девочка, танцовавшая для себя и — с размаху — садившаяся.

Была песня Н<ародного> фронта, где я поняла: Allemanta — Italia. Тоски (у них) не было, была — радость и даже веселье. Едут в зел<еных> костюмах, один — в лакированных башмаках. Очень веселились. Я думала о чехах.

…..

Подъезжаем. За завтраком проехали Кронштадт. Огромное дремучее здание с куполом, сплошной купол — в купах (древесных). Море оживленное: военные суда, пароходы, пароходики с пассажирами, моторн<ые> лодки.

Кажется — подъезжаем к столице. <…> Говорят — 30 килом<етров.> Невы не будет, будет — канал. А будет ли Л<е>в?! Скоро таможня. Всё готово.

…..

19- го утр<ом>, понед<ельник>

— 9 ч. утра — Кажется, скоро Москва.

Орешник.

Таможня была бесконечная. Вытряс<ли> до дна *весь* багаж, перетрагив<ая> каждую мелочь уложенную как пробка штопором. 13 мест, из к<отор>ых 1 оч<ень> б<ольшая> корз<ина>, 2 огр<омных> мешка, 1 корз<ина> с книг<ами> — уплотненная. Мурины рисунки имели большой успех. Отбирали не спросясь, без церемоний и пояснений. (Хорошо, что так не нравятся — рукописи!) Про рук<описи> не спросили — ничего. Спросили (?) про Mme Lafarge, Mme Curie Exilee P. Back[321]. Главный таможенник был противный: холодный, без шутки, другие — с добродушием. Я шутила и безумно торопилась: вещи обратно *не* вмещались, поезд ждал. Помог низший служащий и еще — выручил другой, сказав, что последн<ий> чемодан (больш<ой>, черн<ый>) — смотрен: смотрен не был — и *все* это знали. Но поезд больше ждать не мог, хотя, отъехав 4 кил<ометра> ждал до 11И веч<ера> — против tas d'or, dures[322], огорчая испанцев. Мур с испанц<ами> уехал в автокаре осматр<ивать> Ленинград, я цел<ый> день просидела в вагоне, сторожа «мелочи» и читая, до одурения, Castoret — Dix ans sous terre[323] (подземные гроты, устье Гаронны и т. д.).

Испанцы — Мур<ины> товарищи — прелестные: ласковые, воспитанные и без всякого ф<анати>зма! отъезжая от Ленинграда, глядя на бурые от дыма здания: — у нас в Андалузии — заводы — белые, белят 2 раза в год. Адругой хочет работать «la terre»[324]. Говор<ят> по франц<узски> — отлично, почти без акц<ента>, и отлично, с необыч<айным> слухом произносят по русски. Хотели не спать всю ночь, смотр<еть> в окно. Один из них жалел, что не поцеловал на прощание русскую serveuse — но она стояла с матросом. Другой стал смеяться, и первый: — Embrasser — ce n'est pas un crime![325] Жаль потерять их из виду. Артистизм: глядя на болотце: — Qu'elleest belle, cette eau! Elie est presque bleue![326]

Веч<ером> читала Wang'a — безд<арную> кн<игу> о Китае.

Утр<ом> проснулась, подумала, что годы — считанные (пот<ом> будут — месяцы…)

— Прощай, поля!
Прощай, заря!
Прощай, моя!
Прощай, земля!

Жалко будет. Не только за себя. П<отому> ч<то> никто

этого — как я — не любил.

Экзюпери, Андерсен, Рильке, Гейне, Наполеон, Морис Шевалье, Данте, многочисленные иноязычные вкрапления. Такой человек въезжает в страну победившего социализма.

Глава шестая / седьмая

Девятнадцатого июня 1939 года поезд Ленинград — Москва прибыл на Ленинградский вокзал. МЦ и Мура встречают Аля и ее друг Муля — журналист Самуил Гуревич. Сдали вещи в камеру хранения, выехали в центр города, выпили кофе в гостинице «Москва». Мур поел мороженого на улице Горького. Посетили Красную площадь. Вернулись на метро на Северный вокзал[327] и уехали на электричке до станции Болшево Северной железной дороги.

Поселились в доме под номером 4/33 в поселке Новый быт. Дом — «дача Экспортлеса», энкавэдэшное гнездо из двух застекленных веранд под соснами, один этаж, забор, участок большой.

Это был тот случай, когда тягучая жизнь болотной консистенции несется со свирепой скоростью. Русские дачные разговоры, известные по Чехову да Горькому, нынче совсем другие, как и сами дачники, из другой драматургии. Действующие лица — две семьи, на каждую — по две комнаты. Старые знакомые. Никаких Ромео и Джульетт. Ну, разве что Аля да Муля.

Семья Клепининых. Соседствовали часто, последний раз — в Исси-ле-Мулино. В СССР вернулись на одном пароходе с Эфроном. Николай Андреевич Клепинин попивает, да сильно, *с* одной рюмки тяжелеет, кроет советскую действительность матом. Служил в лейб-гвардии конногренадерском полку, был поручиком у Деникина, через Белград перебрался в Париж, где стал писать на историкорелигиозные темы и работать на советскую разведку.

С ним — жена, Нина Николаевна, и двое сыновей от первого брака — Алексей и Дмитрий Сеземаны. Двадцатитрехлетний Алексей женат, жену зовут Ирина. Младший, Митя, старше Мура на три года. Дочь Софья на два года младше. Алексей с Ириной на даче не живут. Нина Николаевна — внучатая племянница вице-адмирала Корнилова, севастопольского героя, дочь академика Носова, биолога. Окончила Бестужевские курсы, искусствовед.

Царство конспирации, псевдонимы. Здесь Клепинины стали Львовыми, Эфрон — Андреевым.

Что общего теперь у Клепининых с Эфронами? Общая гостиная, общая кухня и предстоящие аресты.

По приезде ничего не ясно. Внес ясность первый, многочасовой разговор МЦ с мужем наедине. Арестованы Ася с

сыном Андрюшей, Святополк-Мирский, Мандельштам, Пильняк, Бабель, несть им числа. Что ясно? Капкан.

Забор вокруг дачи еще не глух. Наезжают Аля с Милей, Лиля Эфрон с учеником — чтецом Дмитрием Журавлевым, чудно исполняющим стихи и прозу. Муж Веры Эфрон — правовед Михаил Фельдштейн, в молодости «Волчья морда», на самом деле красавец, похожий на Шиллера, — исчез на Лубянке.

Лето в разгаре, жара. Сергей Яковлевич разбит болезнями, но призывает рыхлого массивного Мура заниматься физкультурой. МЦ переводит на французский для «Revue de Moscou» Лермонтова. «Полдневный жар в долине Дагестана». На таможню, на имя Али, прибыл багаж МЦ. Аля и Муля связаны службой в журнально-газетном концерне Михаила Кольцова «Жургаз». Муля женат, но собирается жениться на Але. Аля исполнена веселья и безоглядной энергии. На даче бывает Миля — тридцатипятилетняя Эмилия Литауэр, переводчица и литработник, окончила Сорбонну, лиценциат философии. Однажды Миля сжалилась — стала вытирать посуду, вымытую МЦ. Аля пригласила как-то на воскресенье свою подругу Нину Гордон, секретаршу Кольцова, день провели сердечно, и МЦ подарила синеглазой Нине чешские бусы, подходящие к ее глазам.

Седая МЦ чернее тучи. Безостановочно курит. Избегает общих бесед. Обеды в гостиной разведены по времени. Кухонные столкновения неизбежны. Помойное ведро надо выносить в сточную канаву на территории. Запись МЦ в тетради:

«Здесь я чувствую себя нищенкой, которая кормится *отбросами* (чужих романов и дружб). Посудомойкой — день напролет (19 июня — 23 июля) 34 дня напролет, с 7 ч. утра до 1 ч. ночи. «Это пока!» Но, все-таки, 34 *дня моей* жизни, *моей* головы, *моей* мысли. Я одна с тем, что нужно выливать посудную воду в саду, чтобы переполненная яма под стоком не гноила дом. И одна перед нехваткой ведра. И одна… и просто — одна.

Все здесь озабочены общественными вопросами (или делают вид): идеи, идеалы и пр. — слов полон рот, но *никто* не видит несправедливости моих двух рук, шершавых и морщинистых от работы, которую никто и за труд не признает и никто не ценит»[328].

В скором будущем, в одном из писем упомянув свою пьесу «Фортуна», МЦ скажет, что жизнь — пьеса, обратная *Фортуне*.

Переводной Лермонтов пополняется. 23 июля 1939-го: «Казачья колыбельная песня». 27–29 июля: «Выхожу один я на дорогу…». Начало августа: «И скучно и грустно», «Любовь мертвеца». 12 августа: «Прощай, немытая Россия!» и «Родина».

13–15 августа: «Предсказание» (фрагмент), «Опять вы, гордые, восстали…», «Нет, я не Байрон, я другой…». 16–19 августа: «Смерть Поэта».

Изредка на дачных вечерах МЦ читает стихи, преображаясь. 30 июля отметили ее именины. Подарок мужа — издание И. Эккермана «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» (1934 год) с надписью «30 июля 1939 года Болшево» и рисунком львиной головы.

Двадцать первого августа МЦ получила советский паспорт. Это был ее единственный выезд в Москву. Под конец августа МЦ, Аля и Мур побывали на Сельскохозяйственной выставке. Есть неподтвержденное предположение, что МЦ втайне посетила Тарусу.

Ряды завербованных «евразийским верблюдом» редеют. Умер от туберкулеза Вадим Кондратьев, это он нажимал на курок в деле Рейсса. Впрочем, мокрые дела Эфрон не заказывал.

Это были люди с историей, или на ее пороге. В ночь на 27 августа на болшевской даче — обыск и арест Али. Трое в штатском. Из книг вырываются страницы с надписями. В десять минут девятого, вместе с письмами и книгами, увезена в Центральную тюрьму на Лубянке. Пошло второе действие драмы. Распорядок действий, вероятно, где-то продуман, и неотвратим конец пути.

Аля уходит в слезах не прощаясь. МЦ проводила ее тихо и без слез. Днем взяли Милю Литауэр.

К началу сентября 1939 года произошло многое вне болшевских стен. Пакт Молотова — Риббентропа, вступление Франции в войну. 18 сентября — присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии.

Где-то на пороге октября МЦ увиделась с Пастернаком в Москве. Он пригласил ее к себе, несмотря на предостережения знакомых. Она оставила ему на прочтение парижскую тетрадь со стихами и записями.

Третье действие болшевской пьесы — арест Сергея Яковлевича Эфрона. Это было на ночь глядя 10 октября 1939-го. Машина, свет фар, обыск, увод задержанного. 7 ноября взяли Клепининых — по разным адресам: Нину Николаевну и ее сына Алексея в Москве, Николая Андреевича — в Болшеве, на глазах МЦ. Накануне в Болшево приезжал Пастернак, оторвавшись от усиленно переводимого для Мейерхольда «Гамлета». 8—10 ноября МЦ с Муром, заперев дачу на ключ, переехали в Мерзляковский переулок, к сестре Сергея Яковлевича Лиле: крохотная комната в коммуналке, недавнее место Али, а до нее и рядом с ней — Зинаиды Ширкевич, старой подруги Лили с 1919

года, дочери псковского священника, тогда помогавшей Лиле в создании сельского театра.

Спектакль «Дачники» кончился.

Необходима оговорка. Моя книга — о том, что происходило в сознании МЦ или могло его коснуться. Ведение дела на Лубянке было от нее закрыто наглухо, больше, чем от нас с вами. Об этом написано другими авторами, много и подробно. Отсылаю к третьему тому Ирмы Кудровой «Путь комет»[329].

Мы сейчас простимся с Сергеем Яковлевичем Эфроном. Его отсекли от МЦ, от всех близких. Когда-то Анна Ахматова с Надеждой Мандельштам порешили, что Пастернак в телефонном разговоре со Сталиным вел себя на твердую «четверочку». Сергею Яковлевичу здесь смело можно выставить «пятерку». На всех восемнадцати допросах никого не сдал, наветы отверг, за свою правду стоял без забрала. Возобладал рыцарь. МЦ права.

Три ее лермонтовских перевода — «И скучно и грустно», «Смерть Поэта», «Нет, я не Байрон…» — были напечатаны в «Revue de Moscou» (1939. № 10) без указания ее имени, лишь инициалы. С начала декабря начались хождения в приемную НКВД на Кузнецкий мост, 24, на предмет передачи денег персонально для Али и мужа. В общей сложности таких визитов на Кузнецкий мост и в Лефортовскую тюрьму до конца следующего, 1940 года у МЦ было четырнадцать, не все передачи приняли по странной причине: у Эфрона много денег. 27 декабря 1940-го передачу для Али не приняли.

Дальнейшая хроника 1939 года такова. 11–12 декабря: переезд МЦ в подмосковное Голицыне — две курсовки в Дом творчества на два месяца. Литфонд снял для нее комнату в Голицыне, недалеко от Дома творчества. <20–23> декабря: черновик письма МЦ секретарю Президиума Союза советских писателей А. А. Фадееву — из Голицына в Москву — с просьбой о помощи в получении багажа и возможности получения жилья в Москве. «Повторяю обе просьбы: спасти <мой архив и по возможности мой багаж> в первую голову — мой архив». Фадеев ответил: «В отношении Ваших архивов я постараюсь что-нибудь узнать, хотя это не так легко, принимая во внимание все обстоятельства дела. Во всяком случае, постараюсь что-нибудь сделать. Но достать Вам в Москве комнату абсолютно невозможно. У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов, нуждающихся в жилплощади. И мы годами не можем им достать ни одного метра». 23 декабря — письмо МЦ народному комиссару внутренних дел Берии: «Причины моего возвращения на родину — страстное устремление туда всей моей семьи: мужа

— Сергея Эфрона, дочери — Ариадны Эфрон (уехала первая, в марте 1937 г.) и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничто. При выдаче мне разрешения мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось».

Фадеев, похоже, не очень-то захотел ей помочь. Не удалось ей и вступить в Союз писателей и Литфонд: ее рекомендовали Фадееву по отдельности и безрезультатно Пастернак и Вильям-Вильмонт.

Директорша Дома творчества Фонская плохо относилась к МЦ. Ей принадлежит фраза: «Когда мы строили революцию, они там в Париже пряниками объедались…»

Во второй половине декабря в Голицыне живут помимо других: Л. В. Веприцкая, М. С. Шагинян, Е. Б. Тагер. В Голицыне МЦ оживает, раскрепощается, общается с людьми, говорит остро и громко, ее ценят, знакомства с ней ищут, переступая опаску и осторожность. В некоторой степени — на нее мода.

Тридцать первого декабря, в предновогоднюю ночь МЦ зашла к Людмиле Веприцкой, у которой в руках был том Тютчева. МЦ загадала для себя страницу, на которой был раскрыт том:

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я как есть
На роковой стою очереди.

Она возвращается к любимому занятию — писанию писем. МЦ — Людмиле Веприцкой:

Голицыно, безвестный переулок, дом с тремя красными звездочками, 40 гр<адусов> мороза, 9-го января 1940 г.

Дорогая Людмила Васильевна,

Это письмо Вам пишется (мысленно) с самой минуты Вашего отъезда. Вот первые слова его (мои — Вам, когда тронулся поезд):

— С Вами ушло все живое тепло, уверенность, что кто-то всегда (значит — и сейчас) будет тебе рад, ушла смелость входа в комнату (который есть вход в душу). Здесь меня, кроме Вас, никто не любит, а мне без этого холодно и голодно и голодно, и без этого (любви) я

вообще не живу.

О Вас: я Вам сразу поверила, а поверила, потому что узнала — свое. Мне с Вами сразу было свободно и надежно, я знала, что Ваше отношение от градусника — уличного — комнатного — и даже подмышечного (а это важно!) не зависит, с колебаниями — не знакомо. Я знала, что Вы меня приняли всю, что я могу при Вас — быть, не думая — как то или иное воспримется — истолкуется — взвесится — исказится. Другие ставят меня на сцену (самое противоестественное для меня место) — и смотрят. Вы не смотрели, Вы — любили. Вся моя первая жизнь в Голицыне была Вами согрета, даже когда Вас не было (в комнате) я чувствовала Ваше присутствие, и оно мне было — оплотом. Вы мне напоминаете одного моего большого женского друга, одно из самых увлекательных и живописных и *природных* женских существ, которое я когда-либо встретила. Это — вдова Леонида Андреева, Анна Ильинична Андреева, с которой я (с ней *никто* не дружил) продружила — 1922 г. — 1938 г. — целых 16 лет.

Но — деталь: она встретила меня молодой и красивой, на *своей* почве (гор и свободы), со всеми козырями в руках, Вы — меня убитую и такую плачевную в зеркале, что — просто смеюсь! (Это — я???)… От нее шел *Ваш* жар, и у нее были *Ваши* глаза — и Ваша масть, и встретившись с Вами, я не только *себя,* я и ее узнала. И она тоже со всеми ссорилась! — сразу! — и ничего не умела хранить…

Да! очень важное: Вы не ограничивали меня — поэзией, и может быть даже предпочитали меня (живую) — моим стихам, и я Вам за это бесконечно-благодарна. Всю жизнь «меня» любили: переписывали, цитировали, берегли все мои записочки («автографы»), алгеня — так мало любили, так *вяло.* Ничто не льстит моему самолюбию (у меня его *нету)* и все льстит моему сердцу (оно у меня — есть: только оно и есть). Вы польстили моему сердцу.

— Жизнь здесь. Холодно. Нет ни одного надежного человека (для души). Есть расположенные и любопытствующие (напр<имер> — Кашкин[330]), есть равнодушные (почти все), есть один — милый, да и даже любимый бы — если бы… (сплошное сослагательное!) я была уверена, что это ему нужно, или от этого ему, по крайней мере — нежно… <…> Я всю жизнь любила

таких как Т<агер> и всю жизнь была ими обижена — не привыкать — стать… «Влеченье, род недуга…»[331]

Евгению Тагеру двадцать четыре года, он литературовед, у него молодая и красивая жена Елена. Он тогда писал учебник «Литература Ж века». Елена была из тех, кто отговаривал Пастернака навестить МЦ при ее затворничестве в Болшеве.

В Голицыно Тагер приехал в жажде увидеть МЦ. В первый же день он встретил ее в проходной комнате, идущей от столовой.

— Как я рад приветствовать вас, Марина Ивановна.

— А как я рада слышать, когда меня называют Марина Ивановна…

В его воображении рисовался образ утонченно-изысканный, быть может, по ассоциации с альтмановским портретом Ахматовой. Оказалось — ничего подобного. Никаких парижских туалетов — суровый свитер и перетянутая широким поясом длинная серая шерстяная юбка.

МЦ пишет Веприцкой полувоображаемую вариацию на тему издания своей книги — о том, что достала у Пастернака «После России», дала на прочтение Тагеру, и Тагер не хотел с ней расставаться. Когда он уезжал, МЦ попросила передать книгу Веприцкой с просьбой — возможно скорее — ее перепечатать в четырех экземплярах: один — себе, один — автору, один — Тагеру и еще запасной. Тагер этого не сделал и даже не позвонил Веприцкой. Дело же отнюдь не только лирическое: один человек из Гослитиздата, этими делами ведающий, настойчиво предлагает МЦ издать книгу стихов, с контрактом и авансом — и дело только за стихами. Словом, МЦ до зарезу нужен машинописный вариант книги с новой орфографией. Тагер обидел ее, тем более что она переписала ему от руки целую «Поэму Горы», преподнеся его Люсе (Елене), и вообще нянчилась, потому что привязалась, и провожала до станции, невзирая на Люсю. Назначила ему встречу в городе, нарочно освободила вечер (единственный) — все было условлено заранее, и в последнюю минуту — телеграмма: «К сожалению, не могу освободиться». Он до странности скоро — зазнался. А этот вечер прошел — с Пастернаком, который, бросив последние строки переводимого «Гамлета», пришел по первому зову, и они ходили с ним под снегом и по снегу — до часу ночи — и все отлегло, как когда-нибудь отляжет — сама жизнь.

Все было по-другому. Идея книги возникла в начале 1940 года. Тагер — по ее просьбе — достал «После России», перепечатал его и отослал в Голицыно. В письме от 1 марта 1940 года МЦ писала ему: «Спасибо за оттиски, но дело с книгой пока

заглохло. Я должна гнать переводы, не пропуская ни дня».

Пошли стихи.

— Пора! для этого огня —
Стара!
— Любовь — старей меня!
— Пятидесяти январей
Гора!
— Любовь — еще старей:
Стара, как хвощ, стара, как змей,
Старей ливонских янтарей,
Всех привиденских кораблей
Старей! — камней, старей — морей…
Но боль, которая в груди,
Старей любви, старей любви.

23 января 1940, («Пора! для этого огня…»)

Стихов очень немного, и они об одном: стара. Последние лет двадцать она урезала возраст, теперь — преувеличивает: пятидесяти январей еще нет.

Для Тагера у нее находятся слова о нем самом в письме от 22 января:

«…И еще: голос, странная, завораживающая певучесть интонации, голос не совсем проснувшегося, еще — спящего, — в котором и озноб рассвета и остаток ночного сна. (То самое двусмысленное «дрогнете вы», — впрочем, все равно: говорить я их не буду, печатать — тоже нет, а Вы теперь — знаете.)

И еще: — зябкость, нежелание гулять, добровольный затвор с рукописью, — что-то монашеское и мальчишеское — и щемящее-беззащитное — и очень стойкое. Я не хотела Вам этого говорить, я думала — Вы сами поймете…»

Она зовет его к себе для работы над отбором стихов для будущей книги: «Мой родной! Непременно приезжайте — хотя Вашей комнаты у нас не будет — но мои стены *(не*-стены!) будут — и я Вас не по ниточке, а — за руку! поведу по лабиринту книжки: моей души за 1922 г. — 1925 г., моей души — тогда и всегда. Приезжайте с утра, а может быть и удача пустой комнаты — и ночевки — будет, тогда всё договорим. Мне важно и нужно, чтобы Вы твердо знали некоторые вещи — и даже факты — касающиеся непосредственно Вас».

Всё, что у нее есть стихового, уходит в переводы. Пастернак сосватал ее с Гослитиздатом, сотрудник которого Виктор Викторович Гольцев благоволит к ней. Ей дали материал для

хорошего заработка: грузинский классик — Важа Пшавела. Поэма «Гоготур и Апшина». Она жалуется Веприцкой: «О себе (без Т<агера>) — перевожу своего «Гоготура» — ползу — скука — стараюсь оживить — на каждое четверостишие — по пять вариантов — и кому это нужно? — а иначе не могу». Попутно говоря: «Мур ходит в школу, привык сразу, но возненавидел учительницу русского языка — «паршивую старушонку, которая никогда не улыбается» — и желает ей быстрой и верной смерти». Мур в курсе ее дел. У него есть глагол «гоготуриться». Важа Пшавела не кончается: будет и «Раненый барс», и огромная вещь «Этери». Черновых тетрадей МЦ 1939–1941 годов сохранилось всего девять. Это в основном переводы.

«Меня заваливают работой», «Я — непрерывно перевожу — всех: франц<узов>, немц<ев>, грузин, болгар, чехов, поляков, а сейчас — белорусских евреев», — сообщает она дочери весной 1941-го. Своим лучшим переводом Цветаева считает «Плаванье» Бодлера. Последними ее переводами стали пять стихотворений Федерико Гарсиа Лорки, работа над этим поэтом оборвалась 27 июня 1941 года.

В «Интернациональной литературе», «Знамени» и альманахе «Дружба народов» были опубликованы в ее переводах Ицхок Перец, Важа Пшавела, Адам Важик, Юлиан Пшибось и Люциан Шенвальд; переводы с болгарского и польского зачитывались по радио. В конце мая Асеев предложил ей подготовить книгу ее переводов.

У Мура, неотрывного от нее, своя жизнь. Но это связка, их не разорвать.

Еще в Болшеве он стал писать дневник. Первая тетрадка «Дневник № 1» пропала при аресте Али. «Дневник № 2» начинается 4 марта 1940-го в Голицыне. Это типовой школьный дневник (не просто тетрадь, разграфлен), на обложке рукой Мура: «Дневник ученика 7 класса В Голицынской средней школы № 7 гор. Голицыно Георгия Эфрона». Заполнен до конца черными и зелеными чернилами. В школу он поступил с месячным опозданием из-за провала на экзаменах в художественную школу, в Голицыне сначала занимался с репетитором по математике.

Когда-то юный Сережа Эфрон легко и точно описал их свадебное путешествие. Теперь у МЦ появился летописец не менее зоркий, да еще с эпическим размахом. Пишет Мур аккуратно, подробно, пластично и очень точно, не исключая дат. Хронология — ключ к пониманию. Первый биограф Марины Цветаевой — Георгий Эфрон.

МЦ не догадывается о его подлинном возрасте. Она оставила

мысль о наполеониде, для нее он больной мальчик, которого надо обильно кормить, снабжать образцово-целомудренной литературой и направлять на хорошие знакомства, в том числе с девочками из хороших домов. То есть таких, каких терпеть не могла в их возрасте.

Сегодня (9 марта 1940 года. — *И. Ф.*) я остановился на вопросе: какие у меня есть друзья? Роль «старшего друга», советчика исполняет Муля (Самуил Гуревич). Этот человек, друг интимный Али, моей сестры, исключительный человек. Он нам с матерью очень много помогает, и без него я не знаю, что бы мы делали в наши сумрачные моменты. Муля работает с утра… до утра, страшно мало спит, бегает по издательствам и редакциям, всех знает, о всем имеет определенное мнение: он исключительно активный человек — «советский делец». Он трезв, имеет много здравого смысла, солидно умен и очень честен; знает английский язык, был в Америке, служил в Военно-морском флоте. <…> Он очень любит мою сестру, и его любовь перенеслась на оставшихся членов нашей семьи. <…> Он журналист, ему 35 лет, он смугл и имеет добрые, очень честные черные глаза. <…> Кого я еще близко знаю? — Я всегда люблю поспорить с Котом (Константином Эфроном), моим двоюродным братом. Он глупее меня, смахивает на простецкие манеры, ненавидит «жирных» писателей, очень откровенен (даже груб), учится на Биофаке, ему 18 лет, одет он бедно, любит «жизнь на воле», весьма строгого мнения о людях, говорит басом, имеет довольно зверскую наружность (нависшие брови, глаза добрые, нос короткий и толстоватый, лоб низкий, голова бритая, начинает отрастать светло-шатенной щетиной). Он ненавидит халтурщиков и любит свои биологические экспедиции, любит ходить на лыжах. Я люблю его видеть, потому что всегда с ним спорю и это доставляет мне удовольствие. У него есть чувство юмора, тем не менее он не обладает моей легко-саркастической манерой спорить, и доводы его имеют сильнейший привкус простецкости. Он эгоист, и мать моя его за это не любит (да еще и за, как она говорит, «скотскость»). <…> Он мне не настоящий друг, по многим причинам: потому что я не разделяю его взглядов, потому что у него не «тот» взгляд на жизнь, потому что, в сущности, мне на его Биофак наплевать.

Дальнейшие знакомства Мура — девушки, их три. Писательские дочери Иета Квитко, Мирэль Шагинян, Майя Гальперина. О последней — отдельно: «Майя обладает маленьким ростом и изящным телом. Она, бесспорно, красивее моих

остальных знакомых. Она любит одеваться и всегда хорошо одета и элегантна. <…> Я с ней был в Музее нового западного искусства[332], ну и поспорили же мы там! Она ненавидит т. н. формализм в искусстве — я же его обожаю. И так далее. Майя наиболее привлекательна из моих знакомых девушек, и я люблю бывать у нее в доме, где она часто сцепляется с отцом и матерью». Мирэль же хороша еще и тем, что у ее семьи есть дом в Коктебеле, куда Мур мечтательно рвется. Но доктор не советует ехать летом на жару, у Мура слабое сердце.

У Мура художественные склонности, хочет стать художником, но литературная среда ему больше нравится. Его покорило остроумие критиков Петра Перцова, Владимира Ермилова и Марка Серебрянского. Он отметил, что приехал Корнелий Зелинский — симпатичный и осторожный. Он много думает о международном положении, о заключении мирного договора с Финляндией («это должно быть большим ударом для Англии и Франции»). Он уверовал в коммунизм, его шокирует пение допотопных романсов за стеной: поют пошлые девчонки, дочери хозяйки. Однако: «Все дело в конечном исходе дела отца и сестры — это самое главное, но нужно же жить каждый день! Главное — это не под даваться пессимистическому настроению и хапать от жизни все то хорошее, что она может дать, как то: вкусная еда в Доме отдыха[333], тамошние разговоры, газеты, книги, школу, рисование. Приходится жить как-то плоско».

Но больше всего Мур охвачен иным впечатлением. «Сейчас в Доме отдыха сидел я против очень красивой женщины, болгарки, дочери писателя Стоянова и вышедшей замуж за испанца. Чорт возьми! Страшно подбадривает, как-то выносит к оптимизму вид красивой женщины. А она действительно красива. У нее черные волосы, большие черные глаза, замечательный чувственный рот, главное губы — чорт возьми!» Он думает о том, что «с такой приятно было бы поспать». Он уверен в том, что когда-нибудь у него будут по крайней мере такие же.

Он лечит зубы, пьет в обществе взрослых чай с сухариками, успевает и читать. «Я сейчас прочел «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлиту» Алексея Толстого — замечательно. Это — полет фантазии — вот это мне нравится, и не скучно читать, а очень интересно». Подросток. Неотступно другое: «Меня интересует, в каком возрасте я буду обладать моей первой женщиной? Один французский товарищ сказал мне в Париже, что он перестал быть девственником в пятнадцать с половиной лет; мне все-таки не думается, чтобы я смог достичь этого рекорда».

Срок пребывания в Голицыне истекает 1 апреля 1940 года. Идет лихорадочный поиск жилья. Особенно старается Муля,

упорно надеясь достать комнату в Москве. Намечался вариант в Сокольниках, но маклерша оказалась аферисткой. В конце марта директорша Дома творчества сообщила, что теперь МЦ с Муром должны платить в два раза больше, чем раньше. «Итак, теперь мы будем ходить в Дом отдыха и брать пищу на одного человека и делить между собою. Кончено теперь хождение в Дом отдыха! Будем, конечно, есть дома. Так. 29-го (марта. — *И. Ф.),* после 3-х месяцев и 16-ти дней общение с пребывающими в Доме отдыха прекратилось. Это — конечно, большой удар по кумполу, и мы опять внизу волны. Смешно! Брать пищу на одного человека и делить поровну!»

На земном шаре происходит всякое. «Вчера вечером узнал от Зелинского, что Германия заняла Данию и Норвегию. Здорово. Всегда замечательно, когда развиваются события. Интересно, что будет дальше и как будет развиваться германо-англо-французская война».

Мур в оценке событий исходит из дружбы между СССР и Германией.

На собрании классный руководитель поручил Муру приготовить доклад о Маяковском. «Я уже написал свой доклад — вышло как будто ничего». Показывал ли матери, неизвестно.

Мур читает «Цветы зла» Шарля Бодлера — замечательные стихи. Ходит в красных заграничных башмаках. Рисует, но мало. Его больше интересует картина боевых действий в Европе. «Теперь война разгорелась по-настоящему на 4 фронтах: Норвежском, Западном, Голландском и Бельгийском. Конечно, немцам придется преодолеть большие трудности — против них голландская, бельгийская и англо-французская армии, и с ними справиться будет нелегко. Но Германия победит — в этом я уверен».

Доклад о Маяковском совпал с заболеванием свинкой. Его это даже радует — есть перспектива уклониться от испытаний (экзаменов). А покамест ему приятно вспомнить, что 11 апреля они с матерью были на чтении Пастернаком своего перевода «Гамлета» в университетском клубе. МЦ уже была на первом чтении 9 апреля в клубе писателей: она припоздала к началу, и Пастернак, увидев ее в дверях, пошел к ней, поцеловал руку и провел на приготовленное в первом ряду место. «Там была вся интеллигенция Москвы. Перевод замечателен — и Пастернак читает его с большим жаром и, конечно, по-пастернаковски. Публика его, как видно, очень любит. Он, конечно, оригинальнейший человек (в плане оценки его публикой). После чтенья перевода (каковое чтенье прошло с огромным успехом) мы (Пастернак, мама, я и его первая жена) <пошли> к этой первой

жене, там поужинали, поболтали, потом Борис (Леонидович Пастернак) нас проводил до дома тетки (где мы ночуем). Мать говорит, что Пастернак — лучший наш поэт, а Пастернак говорит, что лучший наш поэт — это мать (Цветаева). На следующее утро я пошел в амбулаторию (так как опухоль — свинка — уже побаливала)…»

Приходят новости из Болшева, хотя, казалось бы, эта страница перевернута. Но там остались кое-какие вещи и книги. Все это опечатано НКВД. И вдруг — сорвав печати, туда вселяется местное начальство — судья (или председатель поссовета) и начальник отдела милиции. 28 апреля МЦ с Митей Сеземаном и двумя представителями НКВД оказываются в доме. Там — тело удавившегося начальника милиции. Привязал ремень к кровати, в петлю просунул голову и шею, уперся ногами в кровать — и удавился. МЦ привезла оттуда французские книги, сваленные судьей на террасе. «Конечно, практичный человек, мне кажется, смог бы на всем этом брик-а браке фактов достать себе приличную жилплощадь, но в том-то и дело, что мать исключительно непрактична».

Мур настроен на жизнь спокойную, облагороженную культурой, чтением книг, посещением концертов, театров, художественных выставок. На мелочи быта он закрывает глаза, но это бесполезно — он все видит. Маму называет мамой и наедине с собой. Когда обижен, пишет «мать».

Она не знает, насколько он зорок и как обеспокоен ее душевным недомоганием: «…она приходит в отчаяние от абсолютных мелочей, как то: «отчего нет посудного полотенца, пропала кастрюля с длинной ручкой» и т. п. Так хотелось бы спокойно пожить!.. Куда там… У матери курьезная склонность воспринимать все трагически, каждую мелочь т. е., и это ужасно мне мешает и досаждает <…> Мать, которая здесь охает и ахает (правда, она болеет воспалением евстахиевой трубы, нарывом, гриппом и простудой), наверное, пуще будет нервничать в Сокольниках, где комнатушка крохотная. Вообще, вследствие болезней у матери испортился характер — стала жаловаться на неудачу работы, на меня и на собственную жизнь, стала пессимисткой. Но я ничего — все надеюсь на будущее».

Мать не приветствует его дружбу с Митей Сеземаном. Считается, что это его семья оклеветала Сергея Яковлевича и Алю. Митя же полагает — наоборот. Дружки тем не менее встречаются часто, на улицах Москвы. Больше всего они любят кафе «Националь» и Библиотеку иностранной литературы, где листают американские кинематографические журналы. Мур все больше, целенаправленно осовечивается, друг — другой. «Митька

очень односторонен — политикой он интересуется только как предметом шуточек. У него «полторы ноги» осталось во Франции, а здесь только половина».

Это не он покоряет Москву — она его. «В Голицыне живу хорошо и спокойно, но, тем не менее, перемены жажду: как-никак — Москва, это не фунт изюма! Я рад, рад, что еду в Москву. Не глупо, не наивно рад, после первого же дня я говорил, что люблю Москву (главным образом центр: Охотный ряд, Арбат, ул. Горького, Кузнецкий мост, эти районы). Мое большое преимущество — то, что мне осталось много жить, что жизнь с ее неизведанными (для меня) тайнами впереди, что я успею нахвататься, изведать и насмотреться много интересного, что «запас» у меня большой».

Пастернак помогает МЦ как может. Сводит с людьми. С Н. Н. Вильям-Вильмонтом, А. К. Тарасенковым, Г. Г. Нейгаузом, В. Ф. Асмусом, Н. Н. Асеевым, А. Е. Крученых. Среди них — Александра Петровна Рябинина, заведующая редакцией литератур народов СССР в Гослитиздате, которая щедро снабжает МЦ подстрочниками и платит порой до сдачи выполненной работы. С союзописательскими начальниками Александром Фадеевым и Петром Павленко, опасавшимися принять эмигрантку у себя, Пастернак договорился о соседском заходе к нему на дачу в тот момент, когда у него гостит МЦ. Случайное, таким образом, знакомство.

Пастернак сводит МЦ с профессором Александром Георгиевичем Габричевским, увозящим семью на лето в Коктебель. С июня до сентября освободилась просторная жилплощадь на улице Герцена. «11-го мы въехали сюда (Моховая, 11 — или ул. Герцена, 6, МГУ. тел. К-0-40-13). Во второй половине дня 11-го числа и весь 12-й (выходной) день продолжалось устройство в нашей новой комнате. Мать абсолютно не умеет организовывать подобные устройства и, хотя у нее много доброй воли, все делает — в этом смысле — шиворот-навыворот, каждоминутно что-нибудь теряет, и потом приходится «это» искать, выкладывает сначала мелочи, а потом уже большие вещи и т. п. При ее хозяйничестве у нас никогда не будет порядка, хотя она и работает очень много, чтобы привести в порядок, но при ее отсутствии системы и лихорадочности, разбросанности выходит только беспорядок».

Мур ищет школу для продолжения учебы. Его влечет школа № 120 в Трехпрудном переулке. «После бесконечных блужданий (уже когда я попал в район переулка) я наконец нашел сам Трехпрудный пер. и школу, куда я и направился. Директор меня сейчас же принял и, прочитав направление из МОНО, сказал, что

учитель фр. языка… уехал в отпуск и что я слишком поздно пришел. Тогда я его спросил, когда этот преподаватель вернется, и директор ответил, что 7-го августа. Так что держать испытание по фр. языку я буду в августе и, следовательно, получу в августе свидетельство об окончании ср<едней> неп<олной> школы. <…> Так что с этим вопросом дело пока покончено».

Его индивидуальный багаж — французский язык, он вернулся к чтению французских книг, перечел замечательную книгу Кафки «Замок» (на французском языке) и остроумные «Caracteres et anecdotes»[334] Шамфора. А в самой Франции — плохо дело. 16 июня 1940 года подало в отставку французское правительство Рейно, и новое правительство возглавил маршал Петен, который заявил о своем намерении вступить с Германией в переговоры о мирных условиях. Кроме того: «Советские войска вошли в Литву, Латвию и Эстонию, чтобы обеспечить честное выполнение договора о взаимопомощи и дружбе с этими странами и чтобы там укрепиться».

У Мул и нет денег: плохо идут дела его — вследствие подтверждения исключения его из рядов членов ВКП(б). Мур не знал: Муля засекречен НКВД, в прошлом был активным троцкистом и лично знаком с семьей Троцкого, с сыном которого, Львом Седовым, он вместе учился в школе. Муля думает, что на подтверждение исключения его из ВКП(б) повлиял арест Али. Мирэль Шагинян уехала в Коктебель; она говорила, что сможет Мура там устроить, но МЦ не отпустила: «одного, заболеет» и т. п. и т. п.

Четырнадцатого июня 1940 года МЦ вновь тревожит письмом народного комиссара внутренних дел Л. П. Берию. Ее просьба скромна: «Последний раз, когда я хотела навести справку о состоянии следствия (5-го июня, на Кузнецком, 24), сотрудник НКВД мне обычной анкеты не дал, а посоветовал мне обратиться к вам с просьбой о разрешении мне свидания». Без последствий.

К ним заглядывает друг Пастернака Николай Николаевич Вильям-Вильмонт, переводчик-германист, работающий в журнале «Интернациональная литература». Он сказал, что назревает возможность комнаты в этом районе, за дешевую плату, на зиму, до весны. Говорит, что это пока только перспектива, но она вполне может быть осуществлена. 21 июня Мур записывает: «Вчера в «Интернациональной литературе» мать имела столкновение с некоей Стасовой (по поводу перевода стихов И. Бехера). Стасова относится крайне отрицательно к переводу матери, требует поправки, грозится (если мать хочет забрать рукопись обратно, не желая делать поправок), что тогда другие сделают поправки и т. п. (и все в крайне дерзком тоне). Ну, мать с

ней наскандалила и ушла. Вильям-Вильмонт тогда сказал Бехеру, что творится безобразие над переводом его стихов, что это замечательный перевод, потом жена Бехера сказала, что это замечательный перевод, и Стасова осталась с носом. Вообще у Стасовой репутация «властолюбивой» женщины и… стервы. Вильмонт сказал, что с переводом все улажено. <…> 19-го исполнился год нашего пребывания в СССР. Конечно, подобало бы сделать «итоги», но раз дело отца и сестры еще не окончено, а от его исхода зависит очень многое, то такие «итоги» делать рано. Можно считать, что я окончил семилетку и что у мамы всегда будет переводческая работа, и это уже очень хорошо. У нас есть радио, я записан в Библиотеку, есть перспектива двух комнат в центре на зиму — и это хорошо. Аресты же отца и сестры я воспринимаю как несчастные случаи, которые могут иметь три причины: или неосторожные (политически) высказывания Али (по глупости, или ее знакомство с каким-нибудь человеком, которого арестовали), или перемена ориентации внешней политики (с Франции на Германию), или клевета Львовых».

Он настроен позитивно: «Нужно иметь здоровое, чувственное отношение к жизни. Каплю иронии, каплю сарказма, океан ума и каплю сердца, вот что нужно иметь». Однако: «Последнее время у меня участились конфликты с моей матерью, которая не перестает меня упрекать, почему я не хочу ходить с ней гулять». Но они с матерью вместе посмотрели американский фильм «Большой вальс» (о Рихарде Штраусе).

Двадцать восьмого июня советские войска перешли границы Румынии и вступили в Бессарабию и Северную Буковину. «Коммунизм распространяется — и это главное», — на взгляд Мура.

Он пробует найти себя в художестве — о том, что у него есть большие графические способности, ему говорили художники Кравченко, Фальк, Кукрыниксы, Радлов. Он идет — по их совету — в МОССХ (Московский союз художников). Его рисунки посмотрела «зав. отделом самодеятельного сектора». Он сделал вывод, что «все оригинальное ее пугает»: «Для чего я пришел в МОССХ? Просто для того, чтобы мне указали место, группу, студию, где я бы мог получить необходимую «базу» для моего «нормального» развития. Оказывается (по словам этой дамы), в студию меня с моими рисунками принять не смогут».

Мур сделал еще одну попытку устроиться в студию: встретился, второй раз посетив МОССХ, с профессиональными художниками (они в дневнике остались безымянными). Совет был — «работайте сами, превозмогайте трудности». Реакция Мура: «Вот п…..!»

Он купил поэму Асеева «Маяковский начинается» и очень этому рад, потому что поэма отличная и книга хорошо издана. «Вчера вечером были у Меркурьевой (старушки — переводчицы Шэлли). Там познакомились с Кочетковым (переводчиком). Я показал мои рисунки. Всем очень они понравились. Сказали, что непременно нужно показать эти рисунки графику Фаворскому». Показал. Старик Фаворский, бородатый субъект лет шестидесяти, ничего путного не сказал, кроме того, что студий — нет.

Вильмонт не оставляет их своим попечением. 8 июля, приехав на два дня в Москву из Дома творчества писателей в Малеевке, пришел к ним. МЦ подготовила свои переводы болгарских поэтов. «Вильмонту это очень понравится».

Вышел сборник Ахматовой «Из шести книг». «За книгой стихов Ахматовой стояли в очереди с 4 час. утра. Кочетков говорил, что среди вузовцев многие ждут появления сборника стихов матери. («Раз Ахматова выпустила книгу, то почему и Цветаевой» и т. п.) Он говорит, что множество людей знает и любит стихи матери и что все ждут появления ее сборника. Дело в том, что все главные мамины стихотворные вещи стоят на таможне с нашими вещами, под арестом. <…> Пока вещи спокойно лежат под арестом — их не продадут. Там много хорошего добра и рукописи, и книги, и носильные вещи, и костюмы. Сегодня проходил около Наркоминдела, около парикмахерской. Там, на этом самом месте, у этой самой перекладины, ждали мы с отцом в августе — сентябре 1939-го года человека из НКВД. Человек приходил. Папа с ним начинал ходить вниз и вверх по Кузнецкому мосту, опираясь на маленькую палку, а я ждал у парикмахерской. Потом они расходились, и мы с папой уезжали обратно в Болшево. Когда я сегодня проходил около этого места, мне сделалось больно и горько. Все-таки я надеюсь от всего сердца на праведность НКВД; они не осудят такого человека, как отец!»

На Кузнецкий мост МЦ с Муром (10 июля 1940 года) понесли передачу в НКВД. Але передачу приняли, а отцу нет. МЦ спросила, не умер ли он. Ответили, что нет. Сказали, чтобы пришли 26-го — тогда передачу примут. МЦ страшно взволновалась. Она уверена, что муж или умер, или в больнице. Обычно передачу не принимают, когда человек в больнице. Можно предположить, что следствие закончилось и будет суд, но отчего же сказали: «26-го приносите деньги»? «А мать все говорит, что отец или умер — и 26-го дадут ей его бумаги, или в больнице — и скоро умрет».

Мур под сурдинку непокорствует: «Сегодня пойду в библиотеку обменять книги. Мать говорит, чтобы я «ни в коем

случае не брал Пруста, постарше будешь…» и т. д. Значит, когда пойду в читальный зал, непременно возьму Пруста». К Прусту он готов, его писательская рука становится все уверенней:

Жизнь как моллюск какой-то: думаешь схватить, а она расплывается во все стороны. Думаешь что-нибудь определить, а тут вдруг видишь — да ты, брат, ни черта не знаешь! Не знаешь, где будешь жить через полтора месяца, не знаешь, в какой школе будешь учиться, не знаешь, что будет с отцом и сестрой твоими, не знаешь, получишь ли вещи… Так что приходится жить в вечно кристаллизируемой и вновь распадающейся жиже. Эта жижа началась с 37-го года, года бегства отца из Франции, года обыска у нас и префектуры полиции, года неуверенности в будущем. 38-й и 39-й год — годы неизвестности. В 38-м и начале 39-го — неизвестность, когда поедем в СССР. Когда приехали — неизвестность будущего, и папа его не знал. <…> Потом — аресты и обыски — и жижа продолжала жижиться, и неизвестность витать в тумане. В Болшеве мы не знали, как долго мы там будем жить, чем займется отец и как скоро; в Голицыне не знали, сколько мы там останемся и куда поедем после этого; теперь мы не знаем, где будем жить начиная с сентября, срок, когда мы отсюда выкатимся. <…> Дело кончилось, и их или освобождают — и тогда мы с ними будем жить, или высылают куда-нибудь в 105 км от Москвы — и тогда дебат открыт, поедем ли мы к ним или нет. Вот скука, такая неуверенность! Сейчас жарко, и много мух в комнате. Придется пойти за клейкой бумагой. <…> Какая путаница! Говорят (по радио, Цюрих — источник сведений), что Пэтен уйдет в отставку, а его преемником будет Фландэн (!!). Пришла эта скучнячка-пессимистка Вера[335]. У нее шапка — как горшок (белый). От нее веет пессимизм и скука. У нее муж — выслан[336]. Она кисляйка. Между прочим, Лиля и Вера (мои тетки) отличаются добротой и некоторой долью глупости. Еще Лиля симпатичнее (артистичнее) Веры — у нее характер интересней. Да вообще, чорт с ними! От Веры исходит благожелательность и кислость. Что я буду сегодня делать? — Пойду в библиотеку, обменяю книги, буду слушать радио. Аминь! 15-го узнаем, что с папой, и где он, и в чем дело вообще. Через три дня. Мой кузен Кот — студент Биофака — в экспедиции, в Майкопе. Ну и х… с ним. Какая скука! Хочется женщин, чорт возьми. Женщины — хорошая штука. Но пока я никого не знаю. Рано? — Возможно. Во всяком случае — скука.

К своему багажу он прибавил «две скучные книги»: Оскара Уайльда «Le crime de Lord Arthur Savile»[337] и Андре Моруа «Le

cercle de famille»[338]. Мать переводит Бодлера «Le Voyage» («Плаванье») из книги «Цветы зла». «Скоро, примерно 25-го, должна приехать Рябинина (мамина знакомая из Гослитиздата). Она обещала, как только приедет, начать искать нам комнату».

Двадцатого июля 1940-го утром позвонил сотрудник НКВД, сообщив, что арест с вещей снят и через час надо быть на таможне. Вопрос о выдаче вещей решен. Не дожидаясь суда, НКВД снял арест. Замначальника таможни сказал, что за хранение надо платить: 1100 руб. «Мать думает многое продать и подарить. Я настроен менее великодушно; а продать, конечно, можно многое, и на хорошие деньги». Через неделю Мур радуется: «25-го была таможня. После тщательного осмотра мы получили все наши вещи, кроме 4-х ящиков с книгами и двух сундуков с рукописями, которые проходят специальный осмотр. Получили 6 сундуков и 1 мешок, битком набитые всякими вещами. Там есть для меня костюм, кожаное пальто, готовальня, множество белья, хороший портфель…» МЦ получила все вещи, кроме рукописей.

В те дни МЦ познакомилась с молодой четой Тарасенковых — Анатолием и Марией (Белкиной). «Вчера я приятно провел конец вечера. Мы были с маминими новыми знакомыми, Тарасенковыми, в Парке культуры и отдыха. Этот Тарасенков собирает мамины произведения и, конечно, очень рад, что с ней познакомился. Он культурный, симпатичный, довольно умный (но не слишком). Его жена очень приличная, совсем «стильная». Я с ней хорошо поболтал. Она — блондинка, высокого роста, и у нее приятный голос. Она интересуется искусством и остроумная. Хорошо, что есть такие женщины. Им обоим, видимо, лет тридцать. <…> А я вот сейчас вспомнил, она была весьма хороша — жена Тарасенкова. Должно быть, здорово с ней переспать!» Марии Белкиной было в ту пору двадцать четыре года, на девять лет больше, чем Муру.

Тридцать первого июля Мур съездил в Переделкино, к Пастернаку. Его сын от первой жены — Женя — учится в 175-й школе, филиале 167-й, куда теперь хочет поступить Мур. Пастернак посоветовал написать письмо его сыну, который бы сказал Муру, хорошая ли это школа, и посоветовал, как туда поступить. 27 августа 1940-го Мур записывает:

Я говорю совершенную правду: последние дни были наихудшие в моей жизни. Это — факт. Возможности комнаты обламывались одна за другой, как гнилые ветки. Провалилась комната на Метрострое́вке — по закону мы туда не можем въехать. Друзья (или так называемые) не могут ничего сделать. Мы завалены нашим багажом. Мать живет в атмосфере

самоубийства и все время говорит об этом самоубийстве. Все время плачет и говорит об унижениях, которые ей приходится испытывать, прося у знакомых места для вещей, ища комнаты. Она говорит: «Пусть все пропадает, и твои костюмы, и башмаки, и всё. Пусть все вещи выкидывают во двор». Я ненавижу драму всем сердцем, но приходится жить в этой драме.

Мать говорит, все пропадет, я повешусь и т. п. Сегодня — наихудший день моей жизни — и годовщина Алиного ареста. Я зол, как чорт. <…> В доме атмосфера смерти и глупости — все выкинуть и продать. Мать, по-моему, сошла с ума. Я больше не могу. <…> Я ненавижу наше положение и ругаюсь с матерью, которая только и знает, что ужасается. Мать сошла с ума. И я тоже сойду. Слишком много вещей. La voila, la déchéance[339]. Мне ужасно жалко, если наши вещи пропадут.

12.30 — в 1/2 10-го был Муля. Мы написали телеграмму в Кремль, Сталину: «Помогите мне, я в отчаянном положении. Писательница Марина Цветаева». Я отправил тотчас же по почте. Теперь нужно будет добиться Павленко — чтобы, когда вызовут Союз писателей, там сказали бы, что мы до 1-го должны отсюда смываться. Все возможно».

В конце августа «от покушения избит Троцкий — умер. Так ему и надо», — записывает также Мур[340].

Тридцать первого августа МЦ позвали в ЦК партии, и она там была. Мур с Вильмонтом ее ждали в саду-сквере «Плевна» под дождиком. В ЦК ей сказали, что ничего не могут сделать в смысле комнаты, и обратились к писателям по телефону, чтобы те помогли. Павленко вызвал ее в Союз писателей. Он сказал, что говорил о ней в Литфонде, был очень мил и направил ее туда. Она пошла, и в Литфонде обещали сделать все, что могут, чтобы найти комнату в наикратчайший срок.

Первого сентября 1940 года состоялось 1-е заседание Верховного Совета СССР (1-го созыва). С докладом о внешней политике СССР выступил Молотов: сохранение дружбы с Германией на прочных основах, выжидательная позиция по отношению к Англии, ухудшение отношений с США, предупреждения Турции и Ирану (по поводу перелетов иностранными самолетами нашей южной границы), дружественные отношения с Китаем, нормальные отношения с Югославией и Болгарией; что касается Японии, то в последнее время отношения СССР с ней стали несколько нормализоваться, но пока еще много неясного. 2 сентября — образование Молдавской ССР и включение Северной Буковины в состав Украинской ССР. На следующий день — рассмотрение заявлений

сеймов Литвы и Латвии и Госдумы Эстонии о включении их в состав СССР. С Бессарабией, Северной Буковиной, Литвой, Латвией и Эстонией общее население СССР увеличится до 193 миллионов человек.

Пятого сентября — в день рождения Али — МЦ записывает в тетради, пришедшей с багажом из Франции: «Никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк…»

Мур почти совсем перестал рисовать, собирается после школы поступить в ИФЛИ[341], где подается 25 заявлений на одну вакансию. Тарасенков два раза был с МЦ на таможне — она ему передаст часть своих рукописей, он, конечно, очень рад. У Мура довольно диковинная претензия к матери: «Вот, например, мать совершенно меня сексуально не воспитала. Нельзя же считать половым воспитанием то, что она мне сообщила сущность элементарного полового акта и сказала, что нужно опасаться «болезней»? — Что за чушь! Мне интересно, почему мать не говорит мне о половой зрелости и о стремлениях, которые появляются в связи с появлением этой зрелости, хотя она знает, что я нахожусь как раз в периоде «терзаний» всех мальчиков (хотя я-то сам конкретно знаю, что мне нужно)».

У Мура чехарда *с* выбором школы, на это уходит много усилий, и в это дело вовлечены многие крупные люди — в частности Пастернак, а также Союз писателей, но самое главное все-таки — проблема жилья, вокруг которой много суеты, и каждый раз он констатирует: Dans une impasse[342].

Это не мешает ему посещать в обществе Митьки концерты джаз-оркестров Леонида Утесова и Эдди Рознера. Купил абонемент на семь концертов Чайковского (в Концертном зале им. Чайковского). Заплатил 63 рубля и квитанцию получил. Любит Стравинского, Чайковского, некоторые вещи Прокофьева, Штрауса и некоторые вещи Верди и Листа. Не будем забывать, что Мур — внук Марии Александровны Мейн, одержимой музыкой. Вот коллаж его высказываний, сентенций и замечаний на тему музыки — вперемешку:

Концертный зал (им. Чайковского. — *И.* Ф.) — замечателен и изящен. Он мне очень понравился и доставил эстетическое удовольствие. 5-ая симфония Чайковского — замечательное по силе и мелодичности произведение. Какая музыка! Следующие два концерта — 3-й концерт для ф-но с орк<естром> Прокофьева и «Поэма экстаза» Скрябина — абсолютно ничего не стоили. Чайковский здорово заткнул их за пояс!..встретился с Митькой, и мы купили билеты в Концертный зал и в тот же вечер пошли. Были исполнены 6-ая симфония и «Франческа да Римини»

Чайковского. 6-ая симфония — замечательное произведение. Пела з<аслуженная> а<ртистка> РСФСР Кругликова. Концерт был отменный. Вчера был на «Лебедином озере» с Митькой. Королеву лебедей исполняла Семенова. Митька страшно ее любит и аплодировал до упаду. Я не люблю балета. Музыка Чайковского прекрасна. Сейчас передают по радио 3-ю (Шотландскую) симфонию Мендельсона. Завтра я пойду на 1-ю симфонию Чайковского, в Концертном зале. 13-го вечером слушал (по абонементу) 1-ую симфонию Чайковского, арию из оперы «Опричник» и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» (того же автора). 1-ая симфония m'a pas trop emballé[343], арии же из опер и увертюра «Ромео и Джульетта» были превосходными. Мне доставляет в Конц, зале большое удовольствие разглядывать публику. По радио — вступление к опере «Лоэнгрин» Вагнера. Мать шьет — зашивает какие-то мои штаны. Ждем звонка по объявлению (9—12 и 5—10). А я пишу дневник. Марш Мейербера. «Бодрящая музыка». У нас в комнате много клейкой бумаги — против мух. В окне, через листья какого-то дерева, видны лоскутки бледно-серого неба. Пищат птички, полаивают собаки, покрикивают дети. Теперь — увертюра к опере Бизе «Кармен». Вот — поистине гениальная музыка. Я обожаю эту вещь. Я также люблю 5-ую симфонию Чайковского и марш из «Аиды» Верди. Замечательная музыка — «Кармен»! Словами нельзя передать энтузиазм, излучаемый этой музыкой. Теперь — увертюра к опере «Рюи Блаз» Мендельсона (Mendelssohn'a). Мрачная музыка, с большим музыкальным пафосом. Сейчас 10 часов 35 мин. вечера. Играет джаз Дунаевского. Сегодня слушал хорошие концерты Листа и Рахманинова. Слушал, по-моему, самый лучший советский джаз — джаз ВРК[344] (Цфасмана). Слушаю неплохое «Трио № 7» Бетховена (хотя вообще я Бетховена не люблю, так же, как и Баха). Сегодня буду слушать 2-й концерт декады советской музыки (трансляция из Конц, зала им. Чайковского). Вчера по радио слушал много хорошей музыки — Мендельсон, Глазунов, Прокофьев. Я считаю марш к опере Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» замечательным произведением. Вот это я понимаю! А Шостаковича я не люблю. Слушал хороший фортепианный концерт Юровского. Я не люблю вещей без мотива.

А завтра — опять тащиться в школу. В школе — скучновато. Его любимые книги: «Контрапункт» и «Заколдованный круг» Хаксли; «Сущий рай» Олдингтона; «Остров пингвинов» Франса; новеллы Гофмана; весь Чехов (особенно его маленькие рассказы). «Любимые поэты: Бодлер, Пушкин, Верлен, Лермонтов, Расин, Маяковский, Корней[345]. Совершенно нечего читать, кроме

Эдгара По. Эдгар По — хороший автор, его всегда интересно читать». Хорошая книга — «Эмигранты» А. Толстого.

В конце сентября 1940-го въехали в комнату на Покровском бульваре, дом 14, IV подъезд, квартира 62, на 6-й этаж нового дома — с лифтом (очень страшным: он весь сквозной и ехать надо одной, МЦ предпочитает подыматься пешком), с электричеством, центральным отоплением, газом, газовой ванной и холодильником. Комната — немножко меньше 14 метров, длинноватая, с огромным окном на всю Москву и, в частности, на деревья бульвара.

Из мебели — большой шкаф, очень большой простой письменный стол — на обоих. Сундуки — два из них будут служить одром, а третий запихнется под стол. Хозяин — полярник Шукст, уезжает на два года, через месяц едет и жена с младшими детьми. В квартире, кроме МЦ с Муром, будут жить: десятиклассница Ида Шукст и еще пара, муж и жена (он — инженер). И — всё. Всего три комнаты. Жилье нашли по объявлению Литфонда: «Писательница с сыном снимет комнату на длительный срок». Но сроку оставалось два дня, а денег было всего 500 р., которые немедленно внесли в виде задатка.

МЦ едет с Генрихом Нейгаузом к Пастернаку в Переделкино. Бориса нет, уехал в Москву. МЦ знакомится с его женой Зинаидой Николаевной, которая берет дело в свои руки. Обходят переделкинских богатеев. Первый, Павленко, — сразу — не дав раскрыть рта — вручает чек на тысячу. Столько же — наличными — драматург Погодин. В итоге — две тысячи и ряд обещаний на завтра. Сумма в четыре тысячи была набрана. МЦ подписала договор на жилье, отдала паспорт на прописку, и Муля с двумя рабочими перевез вещи с улицы Герцена на Покровский бульвар. Давая адрес Лиле, МЦ напоминает: «Не забудьте, что я — Цветаева!»

В разные периоды МЦ официально носила фамилии Эфрон, Эфрон-Цветаева и Цветаева-Эфрон. Ее эмигрантский паспорт был оформлен на последнюю. В отеле «Innova» она жила под фамилией Эфрон. В Москве она получила паспорт с фамилией Цветаева.

Из 167-й школы Мура попросили — не успевает. Между прочим, ни он, ни МЦ не знали, что 167-я — это та школа, куда когда-то переехала гимназия Брюхоненко.

В итоге он оказался в 335-й школе, не элитарной, а районной. Учится сплошь посредственно. В школу уходит в два часа дня, возвращается в полдевятого, а все утро — готовит уроки. Выглядит плохо и очень нервен. МЦ и сама «ужасно кашляет — боюсь, как бы у нее не было tbc <туберкулеза>. Но она говорит,

что времени на доктора у нее нету, и это меня бесит».

Времена заметно суровеют. 3 октября 1940 года опубликован приказ СНК СССР — о платности среднего обучения в старших классах и о платности высшего образования. 10 октября — годовщина ареста отца. «Сегодня придет проф<ессор> Асмус (с этими Асмусами — друзьями Пастернаков — мать познакомилась вчера у Нейгаузов) и купит для жены янтарь, который продает мать».

Через пять месяцев МЦ напишет одно из самых печальных стихотворений своей жизни:

Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный…

Февраль 1941, («Пора снимать якорь…»)

Словно Рильке окликает ее в переводе Пастернака («По одной подруге реквием»):

Зачем клевещешь на себя?
Зачем внушить мне хочешь, что в янтарных бусах
на шее у тебя остался след
той тяжести, которой не бывает
в потустороннем отдыхе картин?

Нет, какая-то жизнь все еще происходит. Наносятся и отдаются визиты. 27 октября 1940 года МЦ с Муром были у Тагеров, познакомились с Семеном Кирсановым и его женой. «Кирсанов здорово владеет рифмой — он ловкий поэт. Он очень любит стихи матери. Он и она вчера читали стихи. Кирсанов — одессит, хорошо одевается, маленького роста. Его жена — миленькая девочка. Митька мне сегодня сообщил, что она болеет туберкулезом. Довольно странно — Кирсанов вчера читал «Твою Поэму» — поэму, посвященную смерти жены, — перед новой женой. Это довольно бестактно. У матери стихи берут в Гослитиздате (как ей сказал Щипачев[346]). Щипачев также прибавил, что проект книги стихов матери и внесение ее в план 41-го года «одобрен начальством». Уже хорошо, что она будет печататься в Гослите. Завтра-послезавтра она туда пойдет — принесет свои рукописи. Как-то трудно поверить, что книга ее стихов выйдет в Гослите».

Собственно говоря, деятельность Мура около матери

напоминает функцию литсекретаря. Он фиксирует чуть не каждый ее литературный шаг. 31 октября 1940 года: «Переводы матери с болгарского вышли в «Интернац. Литературе». Это первые вообще ее переводы, которые были бы напечатаны. Сейчас мать переводит какого-то чеха — тоже для «И. Л.». Возможно, что потом она будет переводить Мицкевича. Интересно: выйдет ли вообще, и если выйдет, то когда, книга стихов матери?» Это его беспокоит. «У меня должна быть сеть отношений с людьми. А я — только школьник, ученик 8-го «В» класса 335-й ср<едней> школы Красногвардейского района гор. Москвы Эфрон Георгий». Тем не менее: «Мать переводит Мицкевича («Ода молодости»). <…> Сидят Тарасенковы. Мать читает свои переводы из Бодлера. Тарасенковы, в конце концов, симпатичны. <…> Вчера вечером виделся с Митькой… <…> Он теперь носит зимнюю меховую шапку. Он весел — и это очень хорошо. А мать все читает свой перевод».

Двадцать третьего декабря, накануне закончив чтение «Бесов» Достоевского, Мур пишет печальную вещь: «Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее книги, оказались неприемлемыми. Теперь она понесла какие-то другие стихи — поэмы — может, их напечатают. Отрицательную рецензию, по словам Тагора, на стихи матери дал мой голицынский друг критик Зелинский. Сказал что-то о формализме. Между нами говоря, он совершенно прав, и, конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери — совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью. Вообще я думаю, что книга стихов или поэм — просто не выйдет. И нечего на Зелинского обижаться, он по-другому не мог написать рецензию. Но нужно сказать к чести матери, что она совершенно не хотела выпускать такой книги, и хочет только переводить».

В сокращенной редакции тем не менее ее книга была включена в план издательства на 1941 год. Неизвестно когда — наверное, во время войны — этот экземпляр рукописи за ненадобностью будет выброшен и потом кем-то подобран. На полях и под строчками — надписи Зелинского: «Ничего не понятно», «словесное вязанье, и только», «пародия на Державина» и всё в таком роде. На внутренней стороне переплета Елена Тагер записала слова Цветаевой, где-то сказанные: «Человек, смогший аттестовать такие стихи как формализм, просто бессовестный. Я это говорю из будущего. *МЦ*».

Беспочвенность, зыбкость положения МЦ с Муром постоянно напоминает о себе. Память Мура мобильна, и в контексте происходящего ему вдруг вспоминается: «Я помню, незадолго до

отъезда в СССР я встретился с человеком, сражавшимся в Испании, — Радзевичем (или Кордэ), который мне сообщил, что пришлось расстрелять нескольких человек, отправленных на испанские фронты «организацией». По-моему, вообще тогда речь не шла о какой-нибудь организации — все делал Союз Возвращения во главе с Лариным и отцом. Если версия об «организации» верна — то все объясняется довольно ясно. В 1936—39 гг. происходила война в Испании. Отец и Аля занялись отправкой людей в ряды республиканских войск. Это точно установлено. Я сам это знаю. Отец — человек довольно наивный, т. е. не так наивный, как верящий в людей».

Надвигается Новый, 1941 год. Похоже, материальное положение несколько улучшается: МЦ интенсивно и с интересом переводит каких-то польских поэтов. «Вчера с Митькой изрыскали весь город a la recherchd d'une елка convenable[347] (для него, т. к. у нас елки не будет). Так и не нашли — хорошие были уже раскуплены. Были в кафе «Москва» — пили кофе со сливками и ели пирожные. Митька говорит, что продал пиджак за 100 рублей. Он теперь делает какие-то аннотации, которые должны принести ему в будущем около сотни рублей. Он говорит, что все забирает бабушка, копя на его костюм. Он купил в Люксе штаны за 200 рублей. Сегодня — в И 8-го — должен идти в школу редактировать классную газету. Митька настроен так же, как и Муля, — пессимистично (в отношении исхода «дела»)».

Тридцать первое декабря. На улице — страшный холод. Мур ужасно кашляет. Насморк и кашель. Аля переведена в Бутырскую тюрьму, куда МЦ и Муля отнесли ей в этот день передачу. «Пришла мать. Передачу приняли. Что ж? Salut, Новый год».

Новый год встречают у Лили.

Евгений и Елена Тагер в начале 1941-го попытались организовать протестное общественное мнение по поводу отвергнутой книги МЦ. Елена созвала молодых поэтов — студентов и комсомольцев — еще безымянных. Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Давид Самойлов, Павел Коган, Михаил Кульчицкий и еще кто-то. Поэты-комсомольцы ходили в Гослитиздат отстаивать Цветаеву, но ничего не вышло.

В январе вечером к МЦ на Покровку пришла Нина Гордон. Увидела комнату: одно окно, вдоль окна вплотную простой продолговатый деревянный стол. Рядом с ним впритык кровать Марины, вернее, не кровать, а топчан с матрацем, или же два составленные рядом кофра, на них — матрац, а сверху плед. Комната неприбранная, масса набросанных вещей: через всю комнату и над столом — веревки с висящими на них тряпками из

мохнатых полотенец и просто полотенца. На столе в беспорядке еда и посуда — чистая и грязная. Книги, карандаши, бумага — как бывает на столах, за которыми и едят и работают. Под потолком — тусклая, желтоватая, неуютная лампочка без абажура. С другой стороны стола кровать Мура. Один или два стула, чемоданы. На стене, около топчана Марины, — под простыней — платья и пальто, как это было и в Болшеве; так же и на другой стене, около кровати Мура.

МЦ пожаловалась на соседей: они не дают ей вешать выстиранные брюки Мура над плитой. Кухня большая, светлая, пустая, чистая, деревянные полы. Над газовой плитой протянута веревка — и на ней мокрые синие, из «чертовой» материи брюки Мура. Обе штанины низко свисают над плитой, и с них капает прямо на кастрюли.

Нина робко заметила: почему бы, чтобы не нервничать и не ссориться с жильцами, не повесить эти штаны к другой стене, где высоко под потолком протянуты веревки и где брюки явно никому не помешали бы и не капало бы с них на еду? Ведь плита всем нужна!

— Да, конечно, плита всем нужна, но ведь брюки над плитой высохнут скорее. Я их никуда не буду перевешивать.

После этого, вместе присев на топчан МЦ, Нина выслушала переводы МЦ каких-то авторов из союзных республик и была ошарашена их качеством, поскольку перед этим МЦ зачитала ей абракадабру подстрочников.

Первого февраля 1941 года Муру исполнилось шестнадцать. МЦ и Мур в этот день уже знали о полученном сроке (8 лет) и местопребывании Али[348]. Коми АССР, Княжпогост, Севжелдорлаг. 5 февраля по этому адресу уходит почтовая открытка. «Дорогая Аля! У нас есть для тебя черное зимнее пальто на двойной шерстяной вате, серые валенки с калошами, моржёвые полуботинки — непромокаемые, всё это — совершенно новое, пиши скорей, что еще нужно — срочно. О твоем отъезде я узнала 27-го января, и все эти дни выясняла твой точный адрес, надеюсь, что этот — достаточно точный… <…> Будь здорова, целую тебя, если бы не Мур (хворый) я бы сейчас собралась, но твердо надеюсь, что как-н<и>б<удь> осуществлю это позже. Обнимаю тебя». Подписано: «Мама». Другие времена — другие подписи.

Мур пишет Але 10 марта 1941 года: «Я окончательно охладел к призванию художника, и никогда не вернусь назад. Составляю себе библиотеку. Теперь стал знатоком Маяковского и Багрицкого. Усиленно занимаюсь изучением истории литературы и критики. Жадно читаю исследования о поэтике Маяковского.

Вообще предполагаю быть критиком — думаю после школы и армии пойти в ИФЛИ. Все знакомые, как и мои, так и мамины, говорят, что я буду критиком».

Пятнадцатого марта — третья годовщина отъезда Али из Парижа — Муля пишет Але: «Писал ли я тебе о том, что в очередном номере альманаха «Дружба народов» напечатаны ее (МЦ. — *И. Ф.)* переводы грузинских поэтов; они, переводы, получили высокую оценку со стороны многих писателей». Муля собирается поехать в Княжпогост. 16 марта МЦ прописывает Але подробности недавнего прошлого: «Повторяю вкратце: из Болшева мы ушли 8-го ноября — совсем, — было холодно и страшно — месяц жили у Лили на твоем пепелище, на и под твоим зел<еным> одеялом (Мур спал на твоем сундуке), а днем гуляли, без всякого удовольствия, по Москве, п<отому> ч<то> Лиля давала уроки. 16-го дек<абря> переехали в Голицыно… <…> Папе передачу 10-го — приняли, и это все, что я о нем знаю с 10-го Октября 1939 г.». Оказывается, болшевские дачные кошки погибли. «Погибли — последними».

Жизнь кое-как устаканилась, течет в рамках определенного режима. «Живу — так: с утра пишу (перевожу) и готовлю: к моему счастью я по утрам совсем одна, в 3 ч. приходит Мур, — обедаем, потом либо иду в Гослитиздат, либо по каким-н<и>будь другим делам, в 5 ч. — 6 ч. — опять пишу, потом — ужин. В театре и концертах не бываю никогда — не тянет. Мур ложится рано, у нас никто не бывает. <…> Есть друзья, немного, но преданные, но вижусь редко — все безумно-заняты — да и негде. К быту я привыкла, одна хожу и езжу — Аля, даже на А[349]! Едим хорошо, в Москве абсолютно всё есть, но наша семья — котлетная, и если день не было котлет (московских, полтинник — штука), Мур ворчит, что я кормлю его гадостями. По-прежнему вылавливает из супа зеленявки — я осенью зелени (моркови, сельд<ерея>, петрушки-пересиля) насушила на целый год. М<ожет> б<ыть> *тебе* нужна — сухая зелень? Можно морковь разводить в кипятке, если негде варить».

Готовила она, прямо сказать, плохо. «Суп я готовлю по раз освоенному рецепту — кладу как можно больше овощей». Ее суп в равной мере удивил таких разных людей, как Нина Гордон и Дмитрий Журавлев, который потом сказал Елизавете Яковлевне: «Пожалуй, ничего более невкусного я в своей жизни не ел».

Пришло письмо от Али из Княжпогоста от 4 апреля 1941 года: «Дорогая мама, получила от Вас вчера открытку, сегодня открытку, и открытку от Мура. <…> Только из Ваших открыток я узнала что и где папа, а то за все это время не имела о нем и от него никаких известий, и не подозревала о его болезни. <…> В

смысле условий в Москве мне было неплохо — идеальная чистота, белье, хорошие постели, довольно приличное питание, врачебная помощь, и главное — чудесные книги. Читала и перечитывала, не переводя дыхания, как никогда в жизни. Были и книги в старых изданиях — Брокгауза и Тезки[350], — в частности перечла всего Лескова, и новые издания. <…> Работаю в швейной мастерской, стараюсь».

В сумрачном старом здании Гослитиздата на углу улицы 25 Октября и Большого Черкасского переулка МЦ часто бывала, будучи принятой в профсоюзный групком писателей. Там состояли профессиональные литераторы, в основном молодые, на подходе к вступлению в Союз писателей. Завязывались отношения — приятельства, дружбы и любови. Прежние друзья ушли на дистанцию — Юрий Завадский был недостижим, с Павлом Антокольским она встречалась в общественных местах не раз: в издательствах и в клубе писателей, в гостях у друга Павлика — Виктора Гольцева, на Сивцевом Вражке, где она читала «Поэму Лестницы». Гольцев принимал куда более горячее участие в ее судьбе, чем те ее прежние друзья. Павлик посоветовал Марии Белкиной вернуть цветаевские рукописи — от греха подальше, мало ли чего она там понаписала.

Бывает МЦ и в Малом Кисловском переулке, в доме номер 4, на третьем этаже, в огромной коммунальной квартире, где обитают чуть не сорок человек и где в двух третях бывшего кабинета своего отца-юриста живут за перегородкой Тагер с Еленой. МЦ продолжает встречаться с Тагером, бывает у него в доме и с Муром, и одна, и когда приглашена в гости, и заходит просто так.

В один из таких визитов Тагер показал ей экземпляр пастернаковского «Спекторского»: Пастернак говорил ему, что одним из прообразов Марии Ильиной — возлюбленной героя — была МЦ. Узнать ее несложно:

Она была без вызова глазаста,
Носила траур и нельзя честней
Витала, чтобы не соврать, верст за сто.
Урвав момент, он вышел вместе с ней.
…..
И вот порой, как ветер без провесу
Взвивал песок и свирепел и креп,
Отец ее, — узнал он, — был профессор,
Весной она по нем надела креп…

Пастернак называл «Спекторского» «прозой в стихах». Важен и момент эмиграции — Ильина покинула Россию.

Но сам сюжет любовного романа не имеет никакого касательства к реальности их отношений. Воспроизведенные Пастернаком стихи Ильиной весьма далеки от того, что и кйк писала МЦ. Другое дело, что в какой-то мере отображен характер их переписки:

И вот, лишь к горлу подступали клубья,
Она спешила утопить их груз
В оледенелом вопле самолюбья
И яростью перешибала грусть.

Изумительно сформулирован общий подход к ремеслу:

Поэзия, не поступайся ширью.
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай!

МЦ отреагировала на описание разгромленного жилья Ильиной пометкой на соответствующей странице: «Похоже на мой Борисоглебский». Но Ильина — не прямой портрет МЦ, и МЦ не претендовала на свою единственность в качестве модели этого обобщенного образа, тем более что фамилию своей героини Пастернак взял у реальной Веры Ильиной, поэтессы, жены С. Буданцева, хорошо известных МЦ.

Бывает МЦ и у Веры Звягинцевой в Хоромном тупике у Красных Ворот. Там МЦ знакомится с Семеном Липкиным. Ее книгу «Версты» он знал наизусть смолоду. Провели целый вечер за столом с винопитием и «Попыткой комнаты», поэма ему не понравилась, а ее не тронули его стихи и стихи Звягинцевой. Он проводил ее на Покровку, в беседе о калмыцком эпосе, им переводимом. Они договариваются встретиться на другой день. Утром Мур доставляет МЦ к метро «Охотный Ряд», и она с Липкиным отправляется через Красную площадь в Замоскворечье, и они весь день ходят по Москве, говоря о Бунине и Ходасевиче, Бальмонте и Мережковском, Адамовиче и Георгии Иванове, Маяковском и Багрицком. Ей захотелось в уборную — он для этого завел ее в здание райисполкома. Затем они на пару часов зашли в Музей ее отца. Он позвал ее в ресторан «Националь», она настояла на метростроевской столовке. Щи суточные, мясные котлеты из хлеба с разваренными макаронами, зеленовато-

желтый компот — все это МЦ поглотила с некоторым удовольствием. В какой-то момент она показала ему рецензию Зелинского, Липкин его односложно обругал, МЦ сказала: «Вот именно».

В «Националь» вечером они все-таки заглянули, но поужинать не удалось из-за скандала двух поэтов, московского и киевского, закончившегося на высокой ноте: «Всем известно, что вы стукач».

Ее увлечения открыты. Когда это был Вильмонт, она могла зайти за ним в редакцию «Интернациональной литературы», чтобы пообщаться на обратном пути. Писала ему письма: по-немецки, готическим шрифтом. Он был блондинистый, голубоглазый, склонный к несколько излишней полноте.

У Тарасенковых на Конюшках она читала «Поэму Конца». Народу у Тарасенковых никогда много не бывало по малости комнаты, и потом, надо было беспокоить родителей, проходя через их комнату, так что гости на Марину Ивановну не приглашались. Однажды они — МЦ с Тарасенковыми — гуляли по Воробьевым горам, и она читала «Стихи к Чехии». Попросил ее об этом Тарасенков — он держал эти стихи набранными в «Знамени», где он работал, надеясь, что вот-вот их можно будет напечатать.

МЦ бывала у переводчицы Нины Яковлевой — в Телеграфном переулке, дом 9, по субботам, когда там собирались поэты. МЦ, сидя на старинном диване, за красного дерева овальным столом, на зеленом фоне стен и гравюр Пиранези XVI11 века, — прямая, собранная, близкая и отчужденная — как будто здесь и не здесь, — читала стихи и прозу.

В доме Яковлевой МЦ повстречалась — с Арсением Тарковским. Хозяйка дома за чем-то вышла из комнаты, а когда вернулась, они сидели рядом на диване. Яковлева впечатлилась: так было у Дункан с Есениным. Яковлевой МЦ подарила янтари.

МЦ с Тарковским часто ходили по ее местам — по Арбату, Трехпрудному переулку, на Волхонке, к Музею ее отца. Он любил ее стихи с середины двадцатых, в 1934-м в ее честь назвал дочку. В октябре 1940-го МЦ написала ему: «Ваш перевод — прелесть. Что вы можете — сами?» Позвала к себе. Он ее любил, но с ней было тяжело. Слишком резка, слишком нервна. Ее многие боялись. Он тоже — немного. Она была чуть-чуть чернокнижница. Его жене Тоне она подарила ожерелье, о котором Тоня говорила, что оно ее душит.

Она могла позвонить в четыре утра:

— Вы знаете, я нашла у себя ваш платок!

— А почему вы думаете, что это мой? У меня давно уже не

было платков с меткой.

— Нет, нет, это ваш, на нем метка «А. Т.». Я его вам сейчас привезу!

— Но… Марина Ивановна, сейчас четыре часа ночи!

— Ну и что? Я сейчас приеду. Приехала и привезла платок. На нем действительно была метка «А. Т.».

У него была хорошая школа — в ранней юности учился на Высших литературных курсах при Всероссийском союзе поэтов, председателем которого был Георгий Шенгели, а сами курсы сменили в свой час Брюсовский институт[351] во Дворце искусств. Это были звенья одной цепи.

В декабре 1940-го у МЦ появился короткий стих:

Так ясно сиявшие
До самой зари —
Кого провожаете,
Мои фонари?

Кого охраняете,
Кого одобряете,
Кого озаряете,
Мои фонари?

Через очень много лет[352] Арсений Тарковский написал «Фонари»:

Мне запомнится таянье снега
Этой горькой и ранней весной,
Пьяный ветер, хлеставший с разбега
По лицу ледяною крупой,
Беспокойная близость природы,
Разорвавшей свой белый покров,
И косматые шумные воды
Под железом угрюмых мостов.

Что вы значили, что предвещали,
Фонари под холодным дождем,
И на город какие печали
Вы наслали в безумье своем,
И какою тревогою ранен,
И обидой какой уязвлен
Из-за ваших огней горожанин,
И о чем сокрушается он?

А быть может, он вместе со мною
Исполняется той же тоски
И следит за свинцовой волною,
Под мостом обходящей быки?
И его, как меня, обманули
Вам подвластные тайные сны,
Чтобы легче нам было в июле
Отказаться от черной весны.

Он наверняка не знал ее восьмистишия. Значит, между поэтами есть другие средства коммуникации. Однажды при ней он прочел свои балладные стихи, посвященные другой женщине — ее памяти:

Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих
Горе да печаль.
И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит.
Наконец
У дверей стучат.
…..
Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:
— Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И поют из-под земли
Наши голоса.

Он стал избегать встреч с ней, не отвечал на звонки. В Доме литераторов каждую весну устраивался книжный базар. 1 марта 1941-го МЦ пришла туда одна. Поэт был не один. Говорят, он не подошел к ней, даже не поклонился. В черновой тетради она запишет: «Подбегал, отбегал, подседал, отседал…» Это не было их последней встречей. Это было ее последнее стихотворение:

«Я стол накрыл на шестерых…»

Всё повторяю первый стих
И всё переправляю слово:

— «Я стол накрыл на шестерых»…
Ты одного забыл — седьмого.

Невесело вам вшестером.
На лицах — дождевые струи…
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть — седьмую…

Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально — им, печален — сам,
Непозванная — всех печальней.

Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьете.
— Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?

Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий —
Ты сам — с женой, отец и мать)
Есть семеро — раз я на свете!

Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых —
Быть призраком хочу — с твоими,

(Своими)…
Робкая как вор,
О — ни души не задевая! —
За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.

Раз! — опрокинула стакан!
И всё, что жаждало пролиться, —
Вся соль из глаз, вся кровь из ран —
Со скатерти — на половицы.

И — гроба нет! Разлуки — нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть — на свадебный обед,
Я — жизнь, пришедшая на ужин.

…Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг — и всё же укоряю:
— Ты, стол накрывший на шесть — душ,
Меня не посадивший — с краю.

6 марта 1941, («Всё повторяю первый стих…»)

Из круга сакральной семерки уже никуда не уйти. Она описала этот круг. Все замкнуто, заперто, выхода нет и не будет.

Шестнадцатого мая 1941 года Георгий Эфрон получает свой первый паспорт, а МЦ пишет Але:

«Подружилась *с* Н. Н. Асеевым, т. е. это он со мной решил дружить, прочтя какой-то мой перевод, и даже скажу — какой; про какую-то бабку, которая варила пиво и потом повесилась, предварительно сорвав распятье с гвоздя, — на том же гвозде[353]. Это произвело на него сильное впечатление. И теперь мы — друзья. Он строит себе дачу — не доезжая до Голицына — и уже зовет в гости, а я его уговариваю завести большого простого пса, деревенского (в Москве только породистые), и вообще даю советы по устройству.

Борис <Пастернак> всю зиму провел на даче, и не видела его с осени ни разу, он перевел Гамлета и теперь, кажется Ромео и Джульетту, и кажется хочет — вообще всего Шекспира. Он совсем не постарел, хотя ему 51 год, чуть начинает седеть».

В апреле ее стихотворение «Всё повторяю первый стих…» напечатал журнал «30 дней». По этому поводу поэт Алексей Крученых устроил пирушку. Он позвонил Наталье Кончаловской:

— Приходите сегодня вечером попозднее. У меня будет Марина Ивановна.

Крученых занимал небольшую комнатку много лет подряд в громадном доме в переулке возле Кировских ворот. Собрались часам к десяти. Над столом под бумажным абажуром висела тусклая лампочка, а за столом на табурете, закинув ногу на ногу, с папироской в зубах сидела прямая и строгая Марина Цветаева. Держалась она приветливо, с преувеличенной вежливостью. Крученых разложил на столе бумагу, развернул сверток с сыром, нарезал его тонкими ломтями, потом нарезал булку, поставил три стакана, откупорил бутылку «Ливадии». Сыр оказался превосходным, вино ароматным, а сервировка сразу расположила к непринужденности. Совсем как это делают француженки, МЦ отламывала кусочки хлеба и ела их с ломтиками сыра, запивая красным вином. Крученых достал апрельский номер журнала «30 дней» со стихотворением — под названием «Старинная песня».

— Я никак не могла уговорить редактора не называть так

этих стихов.

Была половина первого ночи, когда, распрощавшись с хозяином, МЦ с Кончаловской вышли на трамвайную остановку на Кировской площади. Подошел 23-й трамвай. МЦ торопливо простилась и по-девичьи легко побежала к вагону. Хрупкая фигурка в кожаном пальто, синий берет, толстые коричневые сандалии. В окне удаляющегося вагона перед Кончаловской мелькнули ее чужие глаза, равнодушно смотрящие куда-то мимо. Это было 18 мая 1941 года.

В этот день — Але: «Дорогая Аля! Сегодня — тридцать лет назад — мы встретились с папой: 5-го мая 1911 г. Я купила желтых цветов — вроде кувшинок — и вынула из сундучковых дебрей его карточку, к<отор>ую сама снимала, когда тебе было четырнадцать — и потом пошла к Лиле, и она конечно не помнила. А я все годы помнила, и, кажется, всегда одна, п<отому> ч<то> папа все даты помнит, но как-то по-своему».

В мае выходит журнал «Знамя», где помещен перевод Марины Ивановны «Библейские мотивы» Ицхока (Лейбуша) Переца, еврейского классика, который жил в Польше и умер в 1915 году. Теперь, в 1941-м, был его девяностолетний юбилей. Перевод МЦ соседствовал с романом Петра Павленко «Шамиль» и с целой поэмой Осипа Колычева, который прославился строкой: «и мать дышала рыбой косоротой».

Двадцать третьего мая пишется письмо пространное, заведомо концептуальное — Але:

Я сама себе препятствие. Моя беда, что я, переводя любое, хочу дать художественное произведение, которым, часто, не является подлинник, что я не могу повторять авторских ошибок и случайностей, что я, прежде всего, выправляю смысл, т. е. довожу вещь до поэзии, перевожу ее — из царства случайности в царство необходимости, — так я, недавно, около месяца переводила 140 строк стихов молодого грузина, стараясь их осуществить, досоздать, а матерьял не всегда поддавался, столько было напутано: то туманы — думы гор, то эти же туманы — спускаются на горы и их одевают, так что же они: думы — или покров? У автора — оба, но я так не могу, и вот — правлю *смысл,* и не думай, что это всегда встречается сочувственно: — «У автора — не так». — «Да, у автора — *не так».* Но зато моими переводами сразу восхищаются чтецы — и читатели — п<отому> ч<то> главное для них, как для меня — хорошие стихи. И я за это бьюсь. — Прости, что так много о себе, но мне, в общем, не с кем об этом говорить. Но, чтобы закончить: недавно телеф<онный> звонок из «Ревю де Моску», — у них на руках оказались мои

переводы Лермонтова, хотят — Колыбельную Песню, но — «замените четверостишие». — Почему? — *Мне* оно не нравится. — И так далее. Я сказала: — Я работала для своей души, сделала — как могла, простите, если лучше не могу. — И всё. — Не могу же я сказать, словами сказать, что мое имя — достаточная гарантия.

Аля! Приобретение в дом: я обменяла своего Брейгеля — огромную книгу репродукций его *рисунков* — на всего Лескова, 11 томов в переплете, и даже — переплетах, п<отому> ч<то> разные, и весь Лесков — сборный, но — весь. Я подумала, что Брейгеля я еще буду смотреть в жизни — ну, раз десять — а Лескова читать — всю жизнь, сколько бы ее ни осталось. И у меня остается еще другой Брейгель: *цветной,* такой же огромный, и которого уже не обменяю ни на что. Лесков — самый подержанный — стоит не меньше 350 руб., и я бы навряд ли его когда-нибудь купила. А так — тебе останется, п<отому> ч<то> Мур навряд ли его будет любить.

— Перекличка. Ты пишешь, что тебе как-то тяжелее снести радость, чем обратное, со мной — то же: я от *хорошего* — сразу плачу, глаза сами плачут, и чаще всего в общественных местах, — просто от ласковой интонации. Глубокая израненность. Но я — от всего плачу: просто открываю рот как рыба и начинаю глотать (давиться), а другие не знают куда девать глаза.

Слез не было, когда наконец произошла встреча с Ахматовой. 7 июня 1941 года МЦ приходит в квартиру Ардовых на Большой Ордынке, 17. Принесла янтарные бусы да еще *четки:* как же без символа? Говорили до раннего *вечера,* вместе пошли в театр на «Учителя танцев», после театра провожали друг друга. МЦ переписала от руки Анне Андреевне стихи, которые той понравились, вдобавок к оттискам двух чешских поэм. В устном исполнении встретились две другие поэмы — ахматовская «Поэма без героя» и цветаевская «Поэма Воздуха», не соприкоснувшись. Ахматова оглянулась туда, где МЦ давно не было. Туда, где ее не было и тогда, когда это было. Арлекины, коломбины и пьеро Трехпрудного были совсем не те, что проносились в петербургском вихре 1913 года у Ахматовой. И какое дело было в июне 1941-го Ахматовой — до полета Линдберга и семи небес, не имеющих никакого отношения к низкому потолку тесной комнатушки, мало чем отличающейся от клетки двух медведей. Ясновидящая Ахматова уже отстояла свое с передачею под Крестами[354], МЦ по близорукости не видела Лефортова и Бутырок, таща свои передачи. Ахматовская козлоногая героиня плясала не для МЦ, смотрящей в профиль. На следующий день они увиделись у хлеб-никоведа Николая Харджиева в

Александровском переулке Марьиной Рощи, МЦ ходила по комнате, беспрерывно и ярко говорила. После Ахматова сказала:

— По сравнению с ней я телка.

Харджиев успокоил:

— Но у вас есть одно преимущество, которого нет у Цветаевой. Ваши стихи совсем не виртуозны.

Об ахматовском стихотворении «Поздний ответ», датированном 16 марта 1940 года, а потом автором передатированном с добавлением то 1956-го, то 1961-го, нельзя сказать нечто определенное, кроме того, что само по себе стихотворение сильное, проникновенное, но к диалогу с МЦ вряд ли имеет отношение.

Белорученькая моя, чернокнижница.

М. Цветаева

Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом».
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны,
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.

Если это и ответ, то слишком поздний. Это больше похоже на комментарий к несостоявшемуся диалогу. Более того, речь о равенстве, о фигурах одного роста, а это в принципе не допускалось Ахматовой. «И слава лебедью плыла / Сквозь золотистый дым…» (Ахматова, 1910-е годы). Только небывалый объем цветаевской славы мог подвигнуть гордячку Ахматову к признанию условного равенства. В 1940-м — и даже раньше — могла появиться лишь первая строка: «Невидимка, двойник, пересмешник». Осознание ведомых за собой миллионов — финал,

апофеоз ахматовского мифа, надпись — золотом по мрамору — на парном памятнике.

И тем не менее нет ничего более точного, чем позднейшие стихи Марии Петровых:

Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
Неразлучимы имена.
Четыре путеводных знака —
Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно ясна.
Неугасимое созвездье!
Навеки врозь, навеки вместе.
Звезда в ответе за звезду.
Для нас четырехзначность эта —
Как бы четыре края света,
Четыре времени в году.
Их правотой наш век отмечен.
Здесь крыть, как говорится, нечем
Вам, нагоняющие страх.
Здесь просто замкнутость квадрата,
Семья, где две сестры, два брата,
Изба о четырех углах…

19 августа 1962 г. Комарово

Алексей Крученых позвонил девятнадцатилетней Лидии Лебединской, дочке своих старых друзей:

— Купишь две бутылки кефира, белые булки — и ко мне. Поедем на дачу, в Кусково.

Дачей именовалась шестиметровая комнатенка, которую он снимал в Кускове, чтобы ночевать там, когда в Москве наступала жара. Девушка приехала к старому чудаку.

— Сейчас мы заедем за Мариной Цветаевой, — быстро поздоровавшись, сказал он. — А потом в Кусково.

Дверь открыл Мур, высокий и широкоплечий, в кожаной куртке на «молнии».

Идя рядом с сыном-великаном, МЦ то брала его за руку — так берут маленьких детей, когда хотят увести от опасности, — а то вдруг опиралась на его большую руку, словно искала у него поддержки.

Шли по главной улице села Кускова. На углу увидели фотографа. Трехногий коричневый фотоаппарат — напоминание о конце XIX века — был прикрыт черной, лоснящейся от времени

и грязи тряпкой. На заборе развешан холст, изображающий ту пеструю и роскошную жизнь: белый замок окружен пальмами и березами, белая лестница, вазы и в них розы, похожие на красные кочаны капусты. Васильковые волны с мыльной пеной бьются о ядовито-изумрудный берег. Красота!

МЦ, смеясь, показала глазами на холст:

— Такое увидишь только в России…

В Крученых заговорила страсть коллекционера:

— А почему бы нам не сфотографироваться?..

Они катались на лодке, пили кефир, сидели в садике, около беседки, снимались «как буржуи-мудилы» (Мур). На обратном пути — на закате — получили фотографии. На экземпляре А. Крученых МЦ написала: «Дорогому Алексею Елисеевичу Крученых с благодарностью за пеструю красоту здесь — Кусково — озеро и остров — фарфор — в день двухлетия моего въезда. 18 июня 1941 года. *М. Ц.*».

МЦ шла по улице, когда в двенадцать часов дня по радио выступал Молотов[355], прохожие застывали на месте. Война застала ее за переводом Гарсиа Лорки. 22 июня она подарила Крученых рукопись «Из Юношеских стихов, нигде не напечатанных». 26 июня она записала в тетради: «Попробуем последнего Гарсиа Лорку», а дальше — чистые страницы. Она лишается своего единственного заработка. Журналам не до переводов. Бумага идет на военно-патриотическую литературу. Эренбург записал у себя в дневнике — 29 июня: «Цветаева о квартире и стихах». Он сказал ей, что война вымещает такие мелочи, как жилье, что это всерьез и надолго. Говорят, она хлопнула дверью:

— Вы негодяй.

В тот же день отбыл из Москвы первый эшелон Союза писателей в Казань, Берсут и Чистополь. Были отправлены пионерлагерь и детсад Литфонда, их увезли из Подмосковья и даже многих родителей не успели предупредить, и те не знали, что их дети отправлены на Каму.

Одиннадцатого июля уходило на фронт московское ополчение, ушла и писательская рота добровольцев, она проходила через площадь Восстания к Зоопарку, к Красной Пресне, и среди других был Николай Николаевич Вильмонт, освобожденный от воинской повинности из-за плохого зрения.

Муля Гуревич пишет Але 12 июля: «Твоя мать ищет новую комнату — не сошлась характером с соседями. Ну да ничего. Сейчас найти комнату очень нетрудно — может выбрать по вкусу… Сейчас звонила Нина и сказала, что твоя мать, может

быть, переедет жить в одну из двухкомнатных квартир Бориса. Ее только смущает высокий этаж…»

Но 12 июля Марина Ивановна просто бежит из Москвы, из квартиры на дачу в Пески, где проводят обычно лето Вера Меркурьева, Александр Кочетков и другие ее знакомые переводчики. Мур полагает, что мать бежит из Москвы из-за того, что там его может «настигнуть повестка».

А в ночь с 21 на 22 июля был первый налет немецкой авиации на Москву. В ночь с 23-го на 24-е снова бомбили. В ту ночь фугасная бомба угодила в Театр им. Вахтангова на Арбате, а в Староконюшенном переулке и в Гагаринском переулке были срезаны фугасом многоэтажные дома, и стояли чьи-то оголенные квартиры, и было завалено бомбоубежище. У Арбатской площади, на углу Мерзляковского переулка и улицы Воровского, разбомбили аптеку. На Большой Молчановке из родильного дома Грауэрмана эвакуировали женщин и новорожденных младенцев. Немцы летели к Кремлю, но был недолет, и бомбы сыпались в районе Арбата. Сильно пострадали Музей революции и Белорусский вокзал. МЦ каждый день бывает в Литфонде, там несусветный хаос и кавардак, а для нее все держится «на волоске Мура».

Мур, как и все ребята, дежурит на крыше во время воздушных налетов, ловит и тушит «зажигалки». МЦ безумно боится, что ему выбьет осколком глаз. Она не боится ничего другого, она боится именно осколков в глаз.

Однажды на Арбатской площади случайно встретились МЦ и Тарковский — попали под бомбежку, спрятались в бомбоубежище. МЦ, обхватив руками колени и раскачиваясь, повторяет одну и ту же фразу: «А он (фашист. — *И. Ф.)* все идет и идет…»

Ее теперь часто видят в скверике соллогубовского дома на Воровского. Это дни паники. В скверике толпятся писательские жены и сами писатели — под окнами Союза писателей. В день объявления войны там был митинг, с трибуны маленькой сцены говорили Фадеев, Эренбург, Ставский. Потом все запели: «Это есть наш последний и решительный бой…».

Двадцать седьмого июля ушел второй эшелон с писателями в Казань, в Чистополь. 28-го на пароходе в Чистополь уплыли мать и сестры Маяковского. МЦ пришла к Тарасенковым, где оставалась лишь ожидающая в августе родов Мария: Анатолий ушел на войну, выехав в Ленинград, — он числился на Балтийском флоте. МЦ пришла не за чемоданом со своими рукописями, просто так забежала на минуту, она была в Союзе. Взглянув на свой чемоданчик, сказала:

— Ну что ж, если суждено сгореть, то пусть сгорю здесь… Правда, когда сгорает книга, где-то остается другая, всего не сожжешь, но рукописи…

Она торопилась, Мария пошла ее проводить, а трамвайная остановка была посреди площади Восстания, и Мария повела ее по горке, а там надо было через подворотню прямо на площадь. Не успели подняться на горку, как раздался вой сирены, объявили воздушную тревогу. МЦ прибавила шагу, но беременная Мария не очень-то могла бежать, и едва они достигли подворотни, как уже начали бить зенитки и нельзя было бежать через площадь. Зенитки стояли где-то в саду, за Вдовьим домом, и снаряды, разрываясь в небе на положенной высоте, падали осколками на площадь.

МЦ рвалась бежать в бомбоубежище, во Вдовий дом, и тянула Марию за руку, а та ее не пускала. Ее трясло, глаза у нее блуждали, она, казалось, была невменяема, и ничего не оставалось делать, как прижать ее к стене в этой подворотне и упереться руками в стену над ее плечами.

МЦ несколько успокоилась, не рвалась уже бежать, вынула папиросы, руки у нее дрожали, она говорила, что боится бомбежек, что это все противоестественно, что это все не по-человечески, и главное, она безумно боится за Мура, ей все время кажется, что его обязательно убьет или выбьет глаз осколком, она не может жить так, у нее больше нет сил, и слезы лились у нее по щекам.

Потом она придет еще раз на Конюшки вместе с Муром за своим чемоданом.

Шестого августа 1941 года Сергей Яковлевич Эфрон осужден Военной коллегией по статье 58-1-а УК (измена Родине) и приговорен к высшей мере наказания. Будет расстрелян 16 октября того же года на Бутовском полигоне НКВД в составе группы из 136 приговоренных к высшей мере заключенных.

Утром 7 августа Нине Гордон позвонил Муля и сказал, что Марина Ивановна собирается срочно, завтра же, уехать в Елабугу и что надо ее во что бы то ни стало от этого отговорить. Нина прибежала днем, МЦ была одна. В комнате всё вверх дном — сдвинуты чемоданы, открыты кофры, на полу — большие коричневые брезентовые мешки. Хорошие вещи — костюмы, пальто Сергея Яковлевича — откладывались в сторону, а в мешки, которые она брала с собой, пихались все те же мохнатые тряпки и полотенца, которые она срывала с веревок.

— Марина Ивановна, дорогая, что вы делаете?

— Нина, милая, умоляю вас мне помочь — сходите в домоуправление, возьмите на меня и на Мура справку, что мы

здесь проживаем. Мне необходима эта справка, а я сама боюсь идти туда. Боюсь, а вдруг меня там заберут… А вы не боитесь? Вы сходите?

Нина помчалась в домоуправление, но оно было закрыто — очевидно, на обед. Вернувшись, успокоила МЦ тем, что перед уходом еще раз сходит. Глаза МЦ в тот день — блестящие, бегающие, отсутствующие. Она как будто слушала вас и даже отвечала впопад, но было ясно, что мысли ее заняты чем-то другим. И вся она была как пружина — нервная, резкая, быстрая. И все время говорила. Тут пришел Мур. Увидев мешки и сборы, он резко заявил ей, что никуда не поедет и пусть она, если она хочет, едет одна.

МЦ всю ночь судорожно собиралась, ссорилась с Муром, к шести утра за ними приехал грузовик, и она уехала — вместе с Муром.

Восьмого августа на площади Речного вокзала МЦ стояла у спуска к пристани. Стояла она в окружении саквояжей и сумок. К ней подошли Пастернак и молодой поэт Виктор Боков, которому Пастернак позвонил накануне:

— Завтра уезжает в эвакуацию Марина Цветаева, вы не хотите поехать со мной и проводить ее?

На МЦ кожаное пальто темно-желтого цвета, синий берет, брови «домиком».

Люди лихорадочно грузили свои вещи, лезли на пароход, толкались, мешали друг другу. МЦ поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, и глаза ее страдали.

— Боря! — не вытерпела она. — Ничего же у вас не изменилось! Это же 1914 год! Первая мировая!

— Марина! — прервал ее Борис Леонидович. — Ты что-нибудь взяла в дорогу покушать?

Она удивилась:

— А разве на пароходе не будет буфета?

— С ума сошла! Какой буфет! — почти вспылил Пастернак.

Мужчины пошли в гастроном. Сколько могли унести на руках, столько и купили бутербродов с колбасой и сыром. Накапливались провожающие, включая Эренбурга.

Видя, что вещи МЦ ничем не помечены, Боков решил их переметить. Взял у мороженщика кусок льда и, намочив место, химическим карандашом крупно написал: ЕЛАБУГА. ЛИТФОНД. ЦВЕТАЕВА. На следующем мешке — вариант: ЦВЕТАЕВА. ЛИТФОНД. ЕЛАБУГА.

МЦ сочувственно заулыбалась.

— Вы поэт?

— Собираюсь быть поэтом. Знаете, Марина Ивановна, я на вас

гадал.

— Как же вы гадали?

— По книге эмблем и символов Петра Великого.

— Вы знаете эту книгу?

— Очень хорошо знаю! Я по ней на писателей загадываю.

— И что мне вышло? — в упор спросила она.

Он уклонился от ответа. По гадательной древней книге вышел рисунок гроба и надпись «не ко времени и не ко двору».

Пароход «Александр Пирогов» отправился в сторону Татарии. Шли десять дней. Окончательное место назначения — город Елабуга, на реке Каме.

Уже через день пути МЦ рвется назад, в Москву. У них нет ничего — ни официального документа об эвакуации, ни перспектив на заработок. У нее всего 600 рублей, и она ничего не взяла из вещей на продажу. На стоянке в Горьком Мур с огромным трудом достал хлеба. У всех попутчиков есть бумажка на сей счет, только не у них. Они едят одну порцию супа на двоих. На стоянке в Горьком пересели на «Советскую Чувашию».

И. о. директора Гослитиздата Петр Чагин, друг Есенина, выдал ей письмо в татарское пространство с просьбой принять деятельное участие в ее устройстве и использовании в переводческой работе. Кому это надо в Елабуге? В Казани она решила высадиться на свой страх и риск, но Мур решительно воспротивился. 17 августа прибыли в Елабугу. Их выгрузили — всего вещей 92 штуки. Боцман за выгрузку получил 92 рубля. Все 13 человек из эшелона Литфонда временно определены на жительство в здание библиотечного техникума. «Сегодня мать была в горсовете, и работы для нее не предвидится; единственная пока возможность — быть переводчицей с немецкого в НКВД, но мать этого места не хочет. Никому в Елабуге не нужен французский язык». 21 августа «переехали из общежития в комнату, предназначенную нам горсоветом. Эта комната — малюсенькая комнатушка, помещается в домике на окраине города». Хозяева дома, деревянного, с тремя слепыми окнами на улицу, — пожилая чета Бродельщиковых. С Анастасией Ивановной Бродельщиковой МЦ, сидя на крыльце, курит самосад. 24 августа МЦ выезжает в Чистополь. Мур комментирует: «Я матери дал такой наказ: в случае если там ей не удастся устроиться — нет работы, не прописывают, то пусть постарается устроить хоть меня: пионервожатым в лагере ли, или что-то другое, но основное для меня — учиться в Чистополе».

В Чистополе она две ночи проводит в общежитии эвакуированных в здании педагогического училища — у жены

Паустовского, у дочери Инбер. 26 августа на заседании Совета эвакуированных ей разрешена прописка в Чистополе. Она пишет заявление в Совет Литфонда с просьбой принять ее на место судомойки во вновь открывающуюся столовую Литфонда, отбивая телеграмму Муру: «Ищу комнату. Скоро приеду. Целую». Наутро отбывает пароходом в Елабугу. 28-го она в Елабуге. Мур строит планы — мать будет работать в колхозе вместе с женой и сестрами Асеева, а потом, если выйдет, — судомойкой; сам он будет ученик токаря. По Елабуге он рыскал в поисках работы, был в универмаге, в банке, в институте, на почте — нигде никаких мест. Асеевы советовали — Чистополь.

С Асеевыми МЦ встречалась в Чистополе. Николай Николаевич любил МЦ, ее не любила жена его, Ксения Михайловна: МЦ проходила мимо нее, как мимо мебели, едва кивнув, и хотела говорить только с Асеевым, остальные ее не интересовали. Разрешение на прописку выхлопотано Асеевым: сказавшись больным (обострение туберкулеза), отправил из дому письмо в правление Литфонда.

Двадцать девятого в дом на улице Ворошилова зашла молодая девушка — ровесница Мура — Нина Молчанюк. От нее осталось свидетельство:

…была она занята какой-то хозяйственной работой, но со мной разговаривала любезно. Сказала, что напрасно я хочу в Елабугу, что в Чистополе лучше, там много сейчас писателей, образованных людей, там у нее есть друзья, и она скоро уезжает туда. Ей пообещали помочь с устройством. Я сказала, что очень хочу уйти на фронт, надо только устроить маму. Она ответила, что девочке на фронт нельзя, война — это ужас, что я должна быть счастливой, что у меня есть мама и я с ней, а она — одна. Я возразила, что у нее есть сын. Женщина ответила, что сын — это не то, нужны ровесники, с кем есть общие воспоминания, кто помнит твое детство, и что ее сын тоже куда-то рвется, недоволен, но это — свойство молодости. Сын рвется в Москву, она в Москву не хочет, хотя это ее родной город. Но как она его ненавидит!

Разговаривали мы минут 30–40, она сказала, что если все же надумаю оставаться в Елабуге, она скажет обо мне хозяевам, а если я уеду обратно, в Чистополь, то, может быть, и там встретимся[356].

В предсмертной записке 31 августа на имя Мура последним словом Марины Цветаевой было *тупик*.

Елабуга стоит на высоком берегу. На Каме люди говорят о тупике так: «Хоть головою в Каму!» Мандельштаму, например, на

малый срок удалось вынырнуть оттуда. Марина Цветаева с Камы не вернулась. Гвоздь в сенях елабужской избы стал сообщником ее ухода. Виноватых нет.

Москва
2015–2016

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

МЦ пожизненно обожгла стихотворцев моего поколения. В юности у меня было очень много слишком пылких стихов, вынутых из ее печи. Они пропали, туда им и дорога. Была даже поэма, которую я послал Павлу Антокольскому, заслуженно разругавшему мой опус. Пару десятилетий я уходил от МЦ, ища менее экстатические образцы. Я уходил — она не уходила.

В вещах, приложенных к этой книге вместо послесловия, засвидетельствована непрерывная верность цветаевскому присутствию. Это единственное оправдание их публикации под обложкой книги о поэте, разлюбить которого не удалось, как ни старалось поработать в этом направлении бездушное время расправ и разочарований.

* * *

Повязана порукой белокостной,
она в сердцах поет большевика —
хвала Петру, против отчизны косной
бунтующему, царской ВЧК.
Лом самодержца, кровь из-под бахилы,
болотный развороченный уют.
В сердцах оплачет красные могилы,
в которых кости белые гниют.

Нет, не пивать меды ее устами,
не на нее ушло мое ребро.
Ее герой во лебедином стане
оставил напрочь белое перо.
Плачь, Муза, плачь! Гуляет истерия,
история творит свои черты.
Тебе отстроит нищая Россия дворец,
в котором бедствовала ты.

1991

СЛОБОДА

На колокольне дуло,
а в подвале сквозило и морозило.

Итак, из царского узилища — в кабак.
Пришли и сели, ели, выпивали,
из-за стола на двери в казино
поглядывая чаще, чем в окно,
где, преодолевая бездорожье,
опохмелившиеся слесаря
несли по мановению царя
топить в реке жену его в рогоже.
Пылала на челе ее печать,
которую сокрыла мешковина.
Из-под венца, вчера еще невинна,
она успела в эту ночь зачать.
Он замочил неявленного сына.

А старый дом заваливался набок,
и во дворе мелькнула пара бабок
и на веревке сох большой халат.
Я молча переваривал салат,
покуда в доме отгорели свечи
и сестринские отзвучали речи.
Я не готов под дом подставить плечи.
Мне выбили уже немало ребер
осколки белокаменных палат.
Ему помогут Готгельф и Цинобер[357].

А на Распятской колокольне дуло,
и реяло грифоново крыло,
витая над монашенкой сутулой,
из трапезной идущей тяжело.
Отечественным эпосом несло.
Береза — не бывает многоствольней —
корреспондировала с колокольней,
и обе знали: я не полечу.
Храм пропитался запахом музея.
Семья братков поставила свечу
по пахану, в огне ее светлея.
Средь бела дня в пространстве Водолея
сухим пометом огненного змея
попахивало. Ряд нескромных книг
в темнице Милославской пах мышами,
пока вовне возился истопник.
О нем толстуха бредила ночами.
Ее терзал набег бесовских орд.
Ей сверху запрещен любовный спорт.

Хоккеем телевизора «Рекорд»
упьется баба, хлопая ушами.
Болей, моя болярыня, пока
соотчичам занять себя пристало
выращиваньем нового кристалла
для нужд возлюбленного ВПК.
В глухих лесах разбойный свист не стих,
но воздух паровозных жаждет свистов
за хлопотами мануфактуристов
насчет путей — железных и других.
Попробуй без дорог идти к Ивану
с мольбой о возвращении на трон!
Когда идешь к любезному тирану,
какой водой лечить живую рану,
коли один разбой со всех сторон?

А старый дом, завешенный халатом,
кренится, и нельзя ему помочь
моим плечом и замыслом крылатым.
На струнных инструментах стонет ночь.
Они звучат, как прежде, по соседству
из-за деревьев и тяжелых штор.
И по трехпрудному скучают детству
в ночи сердца беременных сестер.
Еще не окончательная гибель
уже свое дыханье принесла.
Куда ушла наследственная мебель?
К Борисовым[358], которым нет числа.
К Борисовым, которым нет предела.
К Борисовым, которых больше нет.
Нет Милославской пламенного тела,
и церковь за царем с холма взлетела,
и кладбище ушло всему вослед.

А тут и я — свидетельство побед
соотчичей, потомственный ловчила.
Монашенка меня благословила
встать в падающем доме на постой.
Тень Грозного меня усыновила.
Я не остался круглым сиротой.

2000

иллюстрации

Мария Александровна Мейн, мать Марины Цветаевой

Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Цветаевой

И. В. Цветаев (слева) и профессора Московского университета. 1909 г.

Семья Цветаевых в Тарусе (слева направо): Валерия, Мария Александровна, Андрей, Марина и Анастасия, неизвестные. 1901 г.

Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке.

Реконструкция В. Кудрявцева

Марина Цветаева — уроки музыки.

Москва, Трехпрудный переулок. 1900-е гг.

Ася и Марина с Тигром (Владиславом Кобылянским). 1902 г.

Скоропечатня А. А. Левенсона в Трехпрудном переулке, дом 9.

Начало XX в.

Вид из окна автора книги на бывшую гимназию М. Г. Брюхоненко в Большом Кисловском переулке, дом 4.

Москва

(Слева) Эллис (Лев Кобылинский)

(Справа) Владимир Нилендер

Арбат 1910-х годов

Владимир Маяковский

Валерий Брюсов

Осип Мандельштам

Александр Блок

Максимилиан Волошин. 1910-е гг.

Башня Макса. Коктебель

Марина Цветаева. 1910-е гг.

Макс Волошин и Елена Оттобальдовна (Пра), мать поэта. 1910-е гг.

Марина и Сергей Эфрон. 1911 г.

Анна Ахматова и Николай Гумилёв с сыном Львом. ***1915 г.***

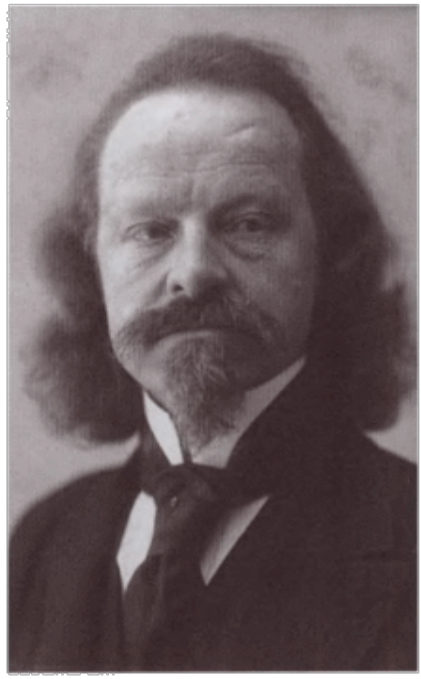
Борисоглебский переулок, дом 6, где в 1914-м поселилась семья Эфрон. ***Москва***

София Парнок

Тихон Чурилин

Князь Сергей Волконский

Константин Бальмонт



Юрий Завадский

Алексей Стахович

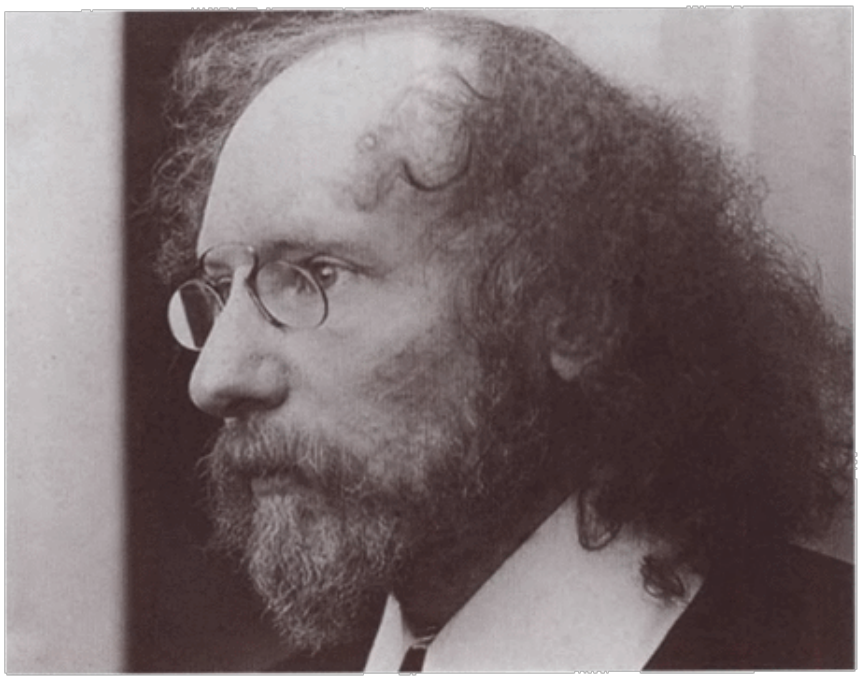
Павел Антокольский

Сонечка Голлидэй

Михаил Кузмин

Сергей Есенин

Вячеслав Иванов

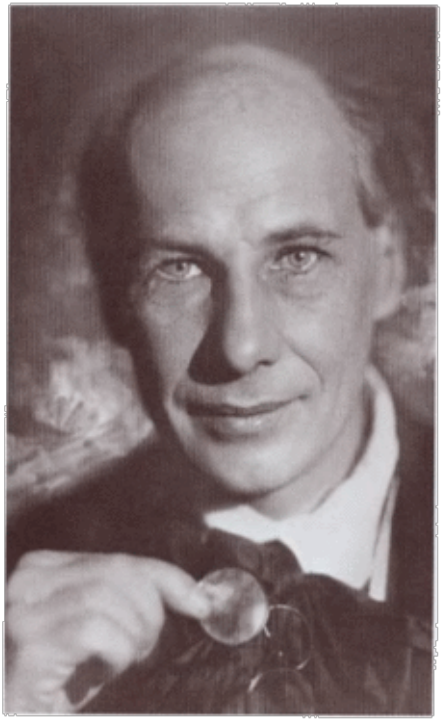


Сергей Эфрон и Маврикий Минц, Анастасия и Марина Цветаевы, дети — Андрей Трухачев и Ариадна (Аля) Эфрон. Александров. *1916 г.*

Смоленский рынок. Москва. Начало XX в.

Аля и Ирина Эфрон. 1919 г.

Марина Цветаева. ***Париж. 1925 г.***



Андрей Белый

Александр Бахрах

Илья Эренбург

Марк Слоним

Анна Тескова

Вид Праги. 1920-е гг.

Князь Дмитрий Святополк-Мирский

Константин Родзевич

Сидят: Марина Цветаева, Е. И. Еленева, К. Б. Родзевич, Лелик Туржанский; верхний ряд: С. Я. Ефрон, Н. А. Еленев. *1923 г.*

Абрам Вишняк
с сыном

Борис Пастернак
и Владимир
Маяковский

Райнер Мария
Рильке

Саломея Андроникова

Николай Гронский

Русские в Понтайяке. Вторая справа вверху — Аля. *1928 г.*

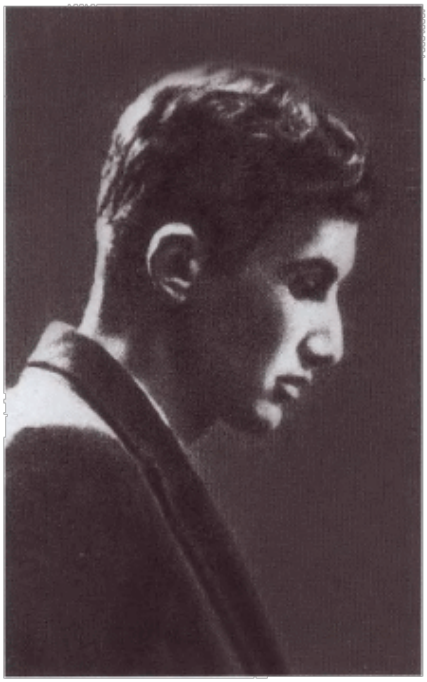
Марина Цветаева с сыном Георгием (Муром). Медон. 1928 г.

Марина Цветаева с Алей.
Париж. 1925 г.

Наталья Гончарова

Вера Муромцева-Бунина

Иван Бунин. *1939 г.*



Анатолий Штейгер

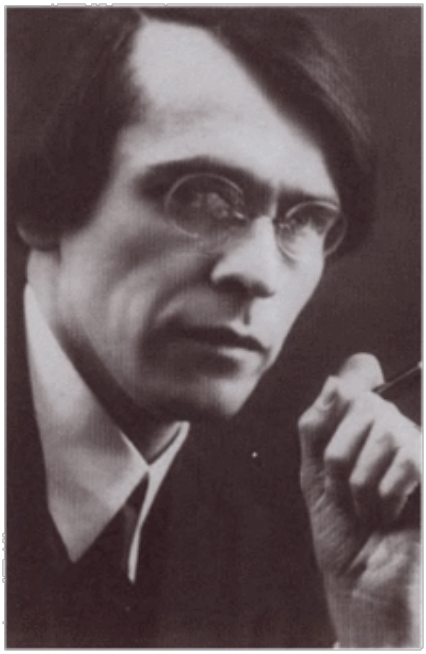
Юрий Иваск

Сергей Эфрон с Алей

Георгий Иванов

Георгий Адамович

Владислав Ходасевич



Нина Берберова

Арсений Тарковский

Елизавета Яковлевна Эфрон (Лиля), сестра С. Я. Эфрона

Дом 16 в Мерзляковском переулке, где жила Е. Эфрон и временно поселилась после ареста мужа и дочери М. Цветаева с сыном. *Москва*

Самуил Гуревич (Муля)

Мария Белкина (Тарасенкова)

Покровский бульвар, 14/5. Последнее московское жилье М. Цветаевой

Марина Цветаева, Лидия Либединская, Алексей Крученых, Георгий Эфрон. Кусково. 1941 г.

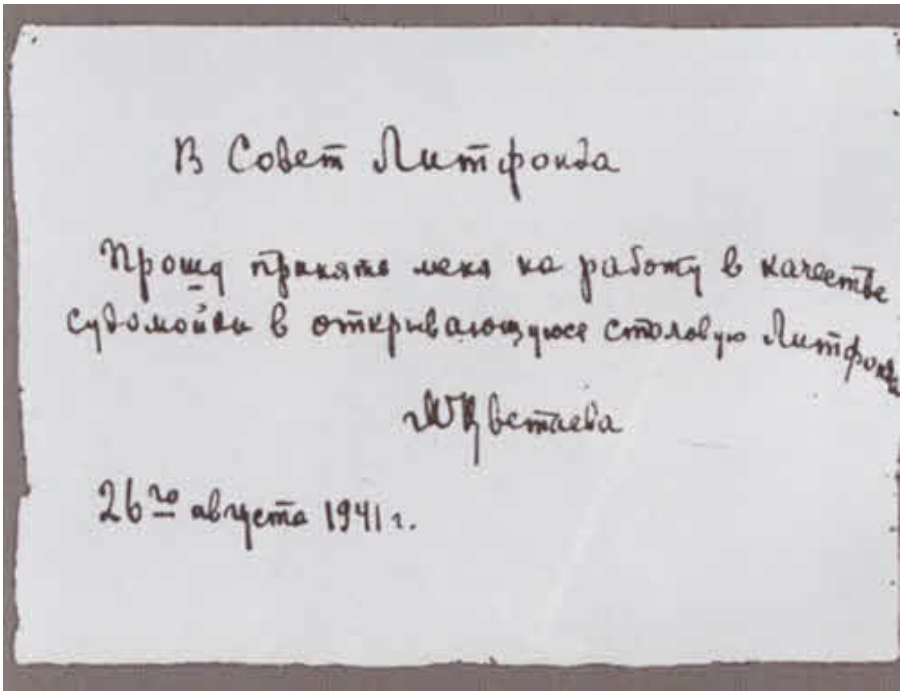
«Я терпелива, и свидания буду ждать, как смерти».

(Из письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку)

Марина Цветаева. *1939 г.*

Сергей Эфрон. *1938—1939 гг.*

Борис Пастернак



В Совет Литфонда

Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда.

Цветаева

26-го августа 1941 г.

Заявление Марины Цветаевой в Совет Литфонда. 1941 г.

Дом Бродельщиковых, где Марина Цветаева провела последние дни.

Елабуга, ул. Ворошилова, 10. 1941 г.

Статуя рыцаря Брунсвика у Карлова моста в Праге…

Я тебе по росту,
Рыцарь пражский.

Марина Цветаева

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. И. ЦВЕТАЕВОЙ [359]

1892, 26 сентября — в Москве, в доме профессора Ивана Владимировича Цветаева и его жены Марии Александровны (урожденной Мейн) в Трехпрудном переулке, 10, родилась дочь Марина. В семье воспитывались дети от первого брака И. В. Цветаева с В. Д. Иловайской (рано умершей) — Валерия и Андрей Цветаевы.

1894, 14 сентября — родилась сестра Анастасия (Ася).

1898–1902 — учеба Марины: музыкальное училище В. Ю. Зограф-Плаксиной; 4-я гимназия на Садовой (Москва).

1902, осень — в связи с болезнью матери отъезд Цветаевых за границу: местечко Нерви (Италия). Революционные стихи Марины.

1903, весна — 1904, весна — пансион сестер Лаказ в Лозанне.

1904, весна — 1905, лето — пансион сестер Бринк во Фрейбурге (Шварцвальд, Германия).

1905, осень — 1906, лето — Ялта, затем отъезд в Тарусу (семейная дача «Песочная»); смерть матери в Тарусе.

Первая русская революция.

1907–1910 — смена трех московских гимназий, где училась Марина; окончание учебы после 7-го класса в гимназии М. Г. Брюхоненко. Знакомство с поэтами Элиссом (Л. Л. Кобылинским), В. О. Нилендером.

1909 — летние курсы французской литературы Alliance Française (Париж).

1910 — первая книга МЦ «Вечерний альбом». Знакомство с М. Волошиным, его рецензия на книгу.

Лето — живет в местечке Белый Олень (Weisser Hirsch) под Дрезденом.

1911 — первое лето в Коктебеле у Волошиных. Встреча с Сергеем Эфроном. Первый отзыв на стихи МЦ В. Брюсова. Выступление МЦ в Обществе свободной эстетики.

1912, 27 января — венчание с С. Я. Эфроном.

Выход сборника М. Цветаевой «Волшебный фонарь» и книги С. Эфрона «Детство».

Свадебное путешествие — Франция, Италия, Германия.

31 мая — император Николай II, вдовствующая императрица Мария Федоровна и четыре дочери государя присутствуют на

открытии Музея изящных искусств им. императора Александра III, основанного И. В. Цветаевым.

5 сентября — рождение дочери Ариадны (Али).

1913 — выход сборника «Из двух книг». До апреля 1913 года Марина, Сергей и Аля живут в «собственном доме» на Полянке (Малый Екатерининский — угол 1-го Казачьего).

30 августа — умер И. В. Цветаев.

1913–1915— пишутся «Юношеские стихи»; переписка с В. В. Розановым. Посещение Коктебеля и Феодосии.

1914, шюль — начало Первой мировой войны. Увлечение МЦ Петром Эфроном, стихи к нему.

Реплика В. Ходасевича о «Волшебном фонаре». С. Эфрон служит братом милосердия в санитарном поезде.

Осень — семья Эфрон (МЦ официально носит фамилию мужа) поселилась по адресу Борисоглебский переулок, дом 6. Сергей поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Знакомство МЦ с С. Я. Парнок. *1915/16, зима* — публикации стихов МЦ в журнале «Северные записки». Поездка в Петербург. «Нездешний вечер» в доме Каннегисеров. Знакомство с М. Кузминым. Дружбы — с О. Мандельштамом и Т. Чурилиным. Роман с Н. А. Плуцер-Сарна. Сестры Цветаевы живут в Александрове.

Июнь — визит О. Мандельштама в Александров.

Написаны стихи, включенные позже в книгу МЦ «Версты»; «Стихи к Ахматовой»; «Стихи к Блоку».

1917— С. Эфрон мобилизован в армию.

27 февраля — вооруженное восстание в Петрограде — начало Февральской революции.

2 марта — отречение императора Николая II от престола.

13 апреля — рождение дочери Ирины.

Конец сентября — отъезд МЦ в Феодосию (дочери остаются у сестер Эфрон в Москве).

25 октября — большевики захватили власть в Петрограде — Октябрьская революция.

Прапорщик Эфрон принимает участие в уличных боях за Московский Кремль. Отъезд МЦ и С. Эфрона в Коктебель к М. Волошину.

25 ноября — отъезд из Коктебеля; расставание с М. Волошиным (навсегда).

1917–1921 — книга «Лебединый стан» (при жизни МЦ не издана). Дружба с князем С. М. Волконским; цикл стихов «Ученик», посвященный ему.

Череда знакомств — с В. Милиоти, Н. Вышеславцевым, Е. Ланном, Б. Бессарабовым, Э. Миндлиным. Поэма «Егорушка».

Декабрь — С. Эфрон вступает в Добровольческую армию. *1918, 18 января* — нелегальный приезд С. Эфрона в Москву, встреча с МЦ.

28 января — МЦ участвует во «Встрече двух поколений поэтов» в салоне Цетлиных.

МЦ знакомится с П. Антокольским, Ю. Завадским и другими людьми театра (Студия Е. Вахтангова).

Сентябрь — поездка МЦ на Тамбовщину за продуктами. *Ноябрь* — МЦ поступает на службу в Народный комиссариат по делам национальностей.

1918–1919 — драмы МЦ «Червонный валет», «Метель», «Приключение», «Фортуна», «Каменный Ангел», «Феникс».

1919, апрель — увольняется со службы.

29 мая — начало близости с Сонечкой Голлидэй. Сердечная дружба с К. Бальмонтом.

1920, 15 февраля — смерть Ирины, младшей дочери Эфронов.

Май — МЦ присутствует на выступлениях А. Блока в Москве.

27 мая — юбилей К. Бальмонта во Дворце искусств. Встреча в Москве с Вячеславом Ивановым, стихи к нему. *Декабрь* — публикация стихов МЦ в парижском журнале русской эмиграции «Современные записки» (№ 1).

1921, январь — поэма «На Красном Коне».

Начало февраля — в Политехническом музее В. Брюсов устраивает вечер девяти поэтесс, среди них МЦ.

7 июня — К. Бальмонт с семьей уезжает за границу.

Дружба с И. Эренбургом, который отыскал зарубежный след С. Эфрона.

Июнь — написано письмо С. Эфрона МЦ (от 28 июня) из Константинополя.

Август — смерть А. Блока, расстрел Н. Гумилёва, слухи о самоубийстве А. Ахматовой.

Сентябрь — отъезд князя С. М. Волконского за рубеж.

Конец года — сближение МЦ с Н. Е. Нолле-Коган; цикл стихов «Подруга». Выход сборника «Версты» (стихи 1917–1920 гг.).

1922, апрель — начата поэма «Мóлодец», поэма «Переулочки». Цикл стихов «Сугробы», посвященный И. Эренбургу.

11 мая — отъезд МЦ с дочерью Алей из России.

13 мая — Берлин; круг знакомств МЦ: А. Белый, А. Вишняк, М. Слоним, Р. Гуль.

7 июня — встреча в Берлине с С. Эфроном.

Стихи и письма А. Вишняку.

Начало переписки с Б. Пастернаком; очерк о нем «Световой ливень».

В Москве выходят книги МЦ: «Конец Казановы.

Драматический этюд»; сборник «Версты. Выпуск I»; переиздание книги «Версты» (стихи 1917–1920 гг.); «Царь-Девица. Поэма-сказка».

В Берлине выходят книги МЦ: «Разлука», «Стихи к Блоку», «Царь-Девица. Поэма-сказка».

1 августа — переезд МЦ с Алей в Чехословакию. Поступление С. Эфрона в Карлов университет на философский факультет.

Начало сотрудничества МЦ в журнале «Воля России» (Прага). Письма М. Слониму.

Осень — живет в предместьях Праги: Дольние и Горние Мокропсы (до осени 1923-го).

1923, лето и осень — переписка с А. Бахрахом.

2 сентября — семья Эфрон поселяется (до конца мая 1924-го) по адресу: Прага-5, на Гржебенках, Шведска ул., № 51/1373, на склоне горы Петршин.

Письма МЦ Глебу Струве.

В Берлине выходят сборники МЦ «Психея» и «Ремесло». *Осень* — роман с К. Родзевичем.

Дописан «Мóлодец» (поэма).

Готовит (несостоявшуюся) книгу прозы «Земные приметы».

25 ноября — первое письмо МЦ к А. Тесковой; цикл стихов «Деревья», посвященный ей.

Б. Пастернак с женой Евгенией живет у родителей в Берлине; встречи с МЦ не произошло.

Декабрь — первое письмо МЦ Р. Гулю (переписка продолжилась).

Большое мировоззренческое письмо С. Эфрона М. Волошину о взаимоотношениях с МЦ.

1924 — «Поэма Горы»; «Поэма Конца».

Середина февраля — знакомство с А. Ф. Керенским.

В Праге выходит поэма-сказка «Мóлодец». Работа в редколлегии сборника «Ковчег».

9 октября — смерть В. Брюсова.

1925, 1 февраля — родился сын Георгий (Мур).

Лирическая сатира «Крысолов».

Дружба с А. И. Андреевой.

7 ноября — переезд МЦ с детьми в Париж; временно живут у О. Е. Колбасиной-Черновой.

Визит А. Ф. Керенского к МЦ.

77 декабря — в «Последних новостях» (Париж) напечатано стихотворение МЦ «Попытка ревности».

25 декабря — в рождественском номере «Последних новостей» опубликована проза МЦ «Из дневника»: «Грабеж», «Расстрел

царя», «Покушение на Ленина», «Чесотка», «Fraulein», «Ночевка в коммуне», «Воин Христов»; «Дни» напечатали очерк «О любви» (из дневника 1917 г.).

Ночь с 27 на 28 декабря — в ленинградской гостинице «Англетер» покончил с собой Сергей Есенин.

Замысел поэмы о Есенине (невоплотившийся).

От МЦ надолго уходит лирика.

1926, 6 февраля — первое выступление МЦ в Париже; триумф. Знакомство с четой П. и В. Сувчинских, Д. Святополк-Мирским и Саломеей Андрониковой-Гальперн.

Памфлет МЦ «Поэт о критике» (в адрес Г. Адамовича).

10–24 марта — поездка в Лондон; успешнейшее выступление. Реакция МЦ на прозу О. Мандельштама «Шум времени»: «Мой ответ Осипу Мандельштаму».

Сближение МЦ с евразийцами; С. Эфрон — член редколлегии евразийского сборника «Версты».

Весна и лето — МЦ с детьми отдыхает в местечке Сен-Жильсюр-Ви (Вандея). Поэмы «С моря», «Лестница» и «Попытка комнаты».

3 мая — первое письмо от Р. М. Рильке; начало переписки.

8 шюня — написана «Элегия для Марины» Рильке.

29 декабря — смерть Рильке.

1927 — «Новогоднее», «Твоя смерть» — стихи и проза МЦ памяти Рильке.

«Поэма Воздуха».

Сентябрь — приезд в Париж Анастасии Цветаевой: последняя встреча. Болезнь МЦ, Али и Мура. Подготовка сборника «После России».

Трагедия «Федра».

1927–1932 — семья Эфрон живет в предместьях Парижа: Бельвю, Мёдон.

1928, апрель — начало переписки с Р. Н. Ломоносовой.

Лето — отдых семьи в Понтайяке.

Новый молодой друг МЦ — Н. Гронский.

Начало теплых отношений с В. Н. Буниной; переписка.

С. Эфрон — один из редакторов еженедельной газеты «Евразия» (Париж).

Поэма «Красный бычок».

«После России» (Париж) — последняя прижизненная книга МЦ.

24 ноября — приветствие МЦ В. Маяковскому (газета «Евразия»).

1929 — знакомство с художницей Н. С. Гончаровой. Очерк «Наталья Гончарова. Жизнь и творчество».

Поэма «Перекоп» (не закончена; при жизни не опубликована).

Начало работы над «Поэмой о царской семье» (не закончена).

Раскол в евразийском движении. Закрытие газеты «Евразия». Самоперевод поэмы «Мóлодец» на французский язык. *Октябрь* — поездка в Брюссель.

Великая депрессия мировой экономики.

Год «великого перелома» в СССР.

1930, 14 апреля — самоубийство Владимира Маяковского.

Стихи его памяти.

С. Эфрон — на лечении в замке д'Арсин (Верхняя Савойя); МЦ с сыном неподалеку снимает жилье.

Начало дружбы с Е. Извольской.

Ноябрь — начало переписки с Ю. Иваском.

1931, начало февраля — в Париж приезжает Борис Пильняк, чуть позже — Игорь Северянин.

Март — переезд семьи Эфрон в Кламар.

Эссе «История одного посвящения» (при жизни не опубликовано).

«Стихи к Пушкину» (опубликованы частично в 1937 г.). Лирика: «Ода пешему ходу», «Дом», «Бузина».

1932 — эссеистика: «Поэт и Время», «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак».

11 августа — смерть М. Волошина в Коктебеле; стихотворение «Ici-Haut» и другие стихи его памяти.

Лирика: «Стихи к сыну», «Тоска по Родине! Давно…».

С. Эфрон подает прошение о получении советского паспорта.

Конец года — в Париже находится И. Бабель.

1933, 30 января — приход Гитлера к власти.

Автобиографическая проза: «Дом у Старого Пимена», «Музей Александра Третьего», «Открытие Музея», «Живое о живом (Волошин)». Эссеистика: «Искусство при свете совести», «Поэты с историей и поэты без истории» (опубликовано в сербском журнале «Руски архив»).

17 июля — стихи «Стол».

Сложные отношения с В. В. Рудневым, соредактором «Современных записок».

1934, 8 января — смерть Андрея Белого. Эссе «Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым)», посвящено В. Ходасевичу. Эссе «Мать и музыка».

Около 20 августа — лирика: «Куст» («Что нужно кусту от меня…»).

С. Эфрон активно работает в «Союзе возвращения на родину».

Ноябрь — начало переписки с А. Берг.

Проза МЦ «Письмо к амазонке».

21 ноября — гибель Н. Гронского; проза его памяти «Поэт-альпинист».

1935, 2 февраля — дочь Аля ушла из дому.

21–25 июня — Конгресс писателей в защиту мира в Париже; приезд Б. Пастернака в составе советской делегации; грустное общение с Б. Пастернаком.

Лето — отдых Эфронов в местечке Фавьер на Лазурном Берегу.

1936, май — поездка в Бельгию, знакомство с З. Шаховской. Поэма «Автобус».

Лето — отдых в Савойе. Перевод на французский стихов А. Пушкина. Переписка с А. Штейгером; «Стихи сироте». *Осень* — начало прозы о Пушкине.

Ариадна Эфрон — автор просоветского журнала «Наш Союз» (Париж).

1937 — окончены очерки МЦ «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев».

15 марта — отъезд Ариадны Эфрон в Советский Союз. Известие о смерти в Москве С. Е. Голлидэй.

Июль — сентябрь — «Повесть о Сонечке».

4 сентября — убийство советского разведчика-невозвращенца Игнатия Рейсса. Эфрона допрашивает французская полиция.

10 октября — бегство Эфрона в СССР. МЦ допрашивает французская полиция. *Конец года* — прошение МЦ о возвращении на Родину.

1938 — подготовка к отъезду в Советский Союз: разбор архива, переписка рукописей, передача части архива М. Н. Лебедевой в Париже, другой части — профессору Базельского университета Е. Э. Малер.

Лето — МЦ с Муром в городке Див-сюр-Мэр.

Сентябрь — переезд в отель «Иннова» на бульваре Пастер в Париже.

Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии. Начало работы над «Стихами к Чехии».

1939— оккупация Чехословакии гитлеровскими войсками. «Стихи к Чехии».

12 июня — отъезд МЦ с сыном из Гавра в Советский Союз. *18 июня* — прибывают в СССР; поселяются в Болшеве под Москвой.

28 августа — арест Ариадны Эфрон.

МЦ переводит стихи М. Лермонтова на французский язык. *10 октября* — арест С. Эфрона.

Бегство МЦ с сыном из Болшева в Мерзляковский переулок (Москва) — к сестре мужа Е. Эфрон.

11–12 декабря — переезд в подмосковное Голицыно, съемная

комната в частном доме поблизости от Дома творчества.

1940— передачи дочери и мужу в приемной НКВД на Кузнецком мосту, 24 (Москва).

Лето — проживает на улице Герцена в квартире профессора А. Г. Габричевского.

Конец сентября — МЦ с Муром переехали в съемную комнату на Покровском бульваре, дом 14.

Работа над переводами грузинского классика Важа Пшавелы и многих других поэтов, включая «Плаванье» Ш. Бодлера.

1941, 22 июня — нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны.

8 августа — отъезд с сыном в эвакуацию.

17 августа — прибывают в город Елабугу на реке Каме.

24–28 августа — посещение Чистополя в поисках жилья и работы; возвращение в Елабугу.

31 августа — Марина Ивановна Цветаева уходит из жизни.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ [360]

Издания М. И. Цветаевой

Цветаева М. Избранные произведения / Вступ. ст. В. Орлова. Библиотека поэта: Большая серия. М.; Л.: Советский писатель, 1965.

Цветаева М. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. В. А. Рождественского; сост., подгот. текста и прим. А. А. Саакянц. Библиотека поэта: Малая серия. М.; Л.: Советский писатель, 1979.

Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста и прим. Е. Б. Коркиной. Л.: Советский писатель, 1990 (Библиотека поэта: Большая серия).

Цветаева М. Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. Классики и современники. Поэтическая библиотека. Художник Т. Толстая; сост., подгот. текста, предисл. Е. Евтушенко. М.: Художественная литература, 1990.

Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926года/Подгот. текстов, предисл., коммент. К. М. Азадовского, Е. Б. Пастернака, Е. В. Пастернак. М.: Книга, 1990.

Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой / Подгот. изд., предисл., коммент. И. Кудровой. СПб.: Внешторгиздат, 1991.

Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995.

Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997.

Цветаева М. И. Неизданное. Семья: история в письмах. М.: Эллис Лак, 1999.

Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. М.: Эллис Лак, 2000–2001.

Цветаева М. И. Письма к Константину Родзевичу / Сост., подгот. текста Е. Б. Коркиной. Ульяновск: Ульяновский Дом печати, 2001.

Цветаева М. И. Письма к Наталье Гайдукевич. М.: Русский путь, 2002.

Цветаева М., Гронский Н. Несколько ударов сердца: Письма 1928–1933 годов. М.: Вагриус, 2003.

Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть: Письма 1922–1936 годов. М.: Вагриус, 2004.

Цветаева М. И. Письма 1905–1923 / Сост., подгот. текста Л. А. Мнухина. М.: Эллис Лак, 2012.

Цветаева М. И. Письма 1924–1927 / Сост., подгот. текста

Л. А. Мнухина. М.: Эллис Лак, 2013.

Цветаева М. И. Письма 1928–1932 / Сост., подгот. текста Л. А. Мнухина. М.: Эллис Лак, 2015.

Литература о М. И. Цветаевой

Аверинцев С. С. Слово, собирающее расколотую человеческую сущность // «…Все в груди слилось и спелось»: Пятая Международная научно-тематическая конференция (Москва, 9—11 октября 1997 г.): Сборник докладов / Отв. ред. В. И. Масловский. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1998.

Адамович Г. Собрание сочинений. Литературные беседы. Кн. 1: «Звено» 1923–1926 / Вступ. ст., прим. О. А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 1998.

Азадовский К. Эвридика и Сивилла: орфические странствия Марины Цветаевой // Новое литературное обозрение. 1997. № 26.

Айдинян С. А. Хронологический обзор жизни и творчества А. И. Цветаевой / Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых, г. Александров. М.: Акпресс, 2010.

Белкина М. И. Скрещение судеб. 2-е изд. М.: Рудомино, 1992.

Библиография по чтению, анализу и интерпретациям текстов М. И. Цветаевой / Сост. Е. Л. Кудрявцева. М.: МПГУ, 2002.

Болшево: Литературный историко-краеведческий альманах. Вып. 21. М.: Писатель, 1992.

Бродский о Цветаевой [Интервью, эссе]. М.: Независимая газета, 1997.

Бургин Д. Л. Марина Цветаева и трансгрессивный эрос. Статьи, исследования / Пер. с англ. СПб.: ИНАПРЕСС, 2000.

Бургин Д. Л. София Парнок. Жизнь и творчество русской Сафо / Пер. с англ. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999.

Воспоминания о Марине Цветаевой: Сборник. М.: Советский писатель, 1992.

Гаспаров М. Л. Марина Цветаева: От поэтики быта к поэтике слова // *Гаспаров М. Л.* Избранные статьи. М.: Новое литературное обозрение, 1995.

Карлинский С. Марина Цветаева: ее жизнь и творчество / Пер. с англ. С. Василенко. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2015.

Кембалл Р. Ни с теми, ни с другими — тернистый путь Марины Цветаевой // Одна или две русских литературы? Сборник. Lausanne / Ed. L'Age d'Homme, 1981.

Кононова М. М. Итальянские отзвуки в творческой судьбе Марины Цветаевой. СПб.: Алетейя, 2010.

Коркина Е. Б. Летопись жизни и творчества М. И. Цветаевой.

[В 3 ч.] М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2014.

Кудрова И. В. После России. О поэзии и прозе Марины Цветаевой: Статьи разных лет. М.: РОСТ, 1997.

Кудрова И. В. Путь комет: В 3 т. СПб.: Крига; Изд-во Сергея Ходова, 2007.

Кузнецова Т В. Цветаева и Штейнер. Поэт в свете антропософии. М.: Присцельс, 1996.

Лосская В. Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников. М.: Культура и традиции, 1992.

Лубянникова Е. И. Об одной черновой тетради Цветаевой // Сборник материалов. Королев: Дом-музей М. И. Цветаевой в Болшеве, 2011.

Лубянникова Е. И., Ахмадеева С. А. Неизвестное письмо М. И. Цветаевой к А. А. Фадееву (Попытка реконструкции) // University of Toronto — Academic Elektronic Journal in Slavic Studies: Toronto Slavic Quarterly.

Марина Цветаева — Георгий Адамович: Хроника противостояния / Предисл., сост., прим. О. А. Коростелева. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2000.

Марина Цветаева — Борис Бессарабов. Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой. 1915–1925 / Вступ. ст., подгот. текста, сост. Н. А. Громовой; коммент. Н. А. Громовой, Г. П. Мельник, В. И. Холкина. М.: Эллис Лак, 2010.

Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. М.: Аграф, 2003.

Марина Цветаева и Франция. Новое и неизданное: Доклады симпозиума «Цветаева — 2000» / Под ред. В. Лосской и Ж. де Прой-ар. М.: Русский путь; Париж: Институт славяноведения, 2002.

Марина Цветаева: К 100-летию со дня рождения // СПб., Звезда. 1992. № 10.

Михайлов А. Драматургия Эдмона Ростана // *Ростан Э.* Пьесы. М., 1983.

Мейкин М. Марина Цветаева: поэтика присвоения / Пер. с англ. С. Зенкевича. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1997.

Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М.: Советский писатель, 1989.

Полянская М. Флорентийские ночи в Берлине: Цветаева, лето 1922. М.: Голос-Пресс, 2009.

Ронен О. Часы ученичества Марины Цветаевой // Новое литературное обозрение. 1992. № 1.

Ронен О. Из города Энн. Сборник эссе // Молвь. К 60-летию гибели Марины Цветаевой. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2005.

Саакянц А. А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.:

Эллис Лак, 1997.

Святополк-Мирский Д. П. (Д. П. Мирский). История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зерновой. 2-е изд. Новосибирск: Изд-во Свиньин и сыновья, 2006.

Серебряный век в Крыму. Взгляд из XXI столетия: материалы Шестых Герцыковских чтений в г. Судаке 8—12 июня 2009 года / Сост. Т. Жуковская, Е. Калло. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Симферополь: Крымский центр гуманитарных исследований, 2011.

1910 — год вступления Марины Цветаевой в литературу: XVI Международная научно-тематическая конференция (Москва, 8—10 октября 2010 г.). Сборник докладов / Сост. И. Ю. Белякова. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2012.

Труайя А. Марина Цветаева / Пер. с фр. Н. Васильковой. СПб.: Амфора, 2014.

Фаликов И. Высокий берег // Вопросы литературы. 2001. Вып. 4. *Фаликов И.* Книга лирики. М.: Предлог, 2003.

Фаликов И. Фактор фонаря. Прозапростихи. Владивосток: Тихоокеанское издательство «Рубеж», 2013.

Ходасевич В. Заметки о стихах: М. Цветаева. «Молодец» // *Ходасевич В.* Колеблемый треножник: Избранное / Сост., подгот. текста В. Г. Перельмутера; коммент. Е. М. Беня; под общ. ред. Н. А. Богомолова. М.: Советский писатель, 1991.

Цветаева А. И. Воспоминания. М.: Советский писатель, 1983.

Цветаева М. И. Библиографический указатель авторов книг, изданных на русском и иностранных языках с 1910 по 1997 г. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1998.

Цветаева М. И. Материалы к библиографии / Сост. Т. Н. Датнова. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2013.

Шевеленко И. Д. Литературный путь Марины Цветаевой: Идеология — поэтика — идентичность автора в контексте эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2002 (НЛО: Научное приложение; вып. 38).

Шенталинский В. А. Донос на Сократа. М.: Прогресс-Плеяда, 2011.

Швейцер В. А. Быт и бытие Марины Цветаевой. М.: Интерпринт, 1992.

Эфрон А. О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери / Сост., вступ. ст. М. И. Белкиной; коммент. Л. М. Турчинского. М.: Советский писатель, 1989.

Эфрон А. История жизни, история души: В 3 т. / Сост., подгот. текста; прим. Р. Б. Вальбе. М.: Возвращение, 2008.

Эфрон Г. С. Дневники: В 2 т. / Подгот. текста, предисл., прим.

Е. Коркиной, В. Лосской. М.: Вагриус, 2007.

Янгиров Р. К истории издания «Лебединого стана» Марины Цветаевой // Русская мысль [Париж]. 1999. № 4272. 3 июня.

Фаликов И. З.

Ф 19 Марина Цветаева: Твоя неласковая ласточка / Илья Фаликов. — М.: Молодая гвардия, 2017. — 854[10] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1607).

ISBN 978-5-235-03942-1

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

знак информационной продукции 16+

Фаликов Илья Зиновьевич
МАРИНА ЦВЕТАЕВА: ТВОЯ НЕЛАСКОВАЯ ЛАСТОЧКА

Редактор *Л. С. Калюжная*
Художественные редакторы *А В. Наумов, А В. Никитин*
Технический редактор *В. В. Пилкова*
Корректор *Т. И. Маляренко*

Сдано в набор 06.07.2016. Подписано в печать 12.10.2016. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 45,36 + 1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 1619180.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

ARVATO BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ООО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Д. Быков «МАЯКОВСКИЙ»
Н. Борисов «МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ»
Е. Глаголева «ЛУИ РЕНО»
М. Кушниров «ЭЙЗЕНШТЕЙН»
П. Фокин «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ»
И. Фаликов «МАРИНА ЦВЕТАЕВА»
М. Залесская «ФЕРЕНЦ ЛИСТ»
А. Мясников «АЛЕКСАНДР III»
С. Михеенков «РОКОССОВСКИЙ»
В. Миленко «КУПРИН»
В. Бондаренко «ЛАВР КОРНИЛОВ»
Н. Долгополов «НАДЕЖДА ТРОЯН»

НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ:
МАЛАЯ СЕРИЯ
Уже изданы и готовятся к печати:

А. Ветлугина «ЛОЙОЛА»
Ф. Тараторкин «ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ»
М. Петров «ЭЛЬ ГРЕКО»
Г. Субботина «МАРСЕЛЬ ПРУСТ»
И. Левина, Д. Володихин «ПЕТР И ФЕВРОНИЯ»
В. Емельянов «ГИЛЬГАМЕШ»
А. Махов «ДЖОРДЖОНЕ»
В. Бондаренко «БРОДСКИЙ»
Н. Карташов «КРАМСКОЙ»
Д. Быков «ГОРЬКИЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

П. Е. Фокин АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

Его биография могла бы стать основой приключенческого сериала. Его преследовал НКВД, он воевал на фронте, за инакомыслие его выслали из страны, он получил мировое признание, он объездил весь свет. Простой крестьянский сын, родом из глухой деревни, он стал интеллектуальным лидером нескольких поколений отечественных и зарубежных философов. Его «социологические романы» принесли ему славу «первого писателя XXI века» задолго до начала нового столетия. Его боготворили и ниспровергали, называли гением и сумасшедшим, обожали и ненавидели, награждали и готовили покушения на него. Книга П. Фокина — первая биография Александра Зиновьева (1922–2006), основанная на богатом документальном материале. Необычная по форме, она представляет собой попытку постичь «феномен Зиновьева» — писателя, философа, логика, социолога, художника, поэта, религиозного мыслителя, общественного деятеля, педагога.

В. В. Бондаренко ЛАВР КОРНИЛОВ

Упоминание имени Лавра Георгиевича Корнилова (1870–1918) до сих пор вызывает ассоциации в первую очередь с Корниловским мятежом. Между тем военная и политическая деятельность генерала отнюдь не ограничивается 1917 годом. Выходец из бедной семьи, ставший Верховным главнокомандующим; блестящий военный разведчик, путешественник, востоковед; герой Русско-японской и Первой мировой войн; храбрец, бежавший из вражеского плена; один из основателей и вождей Белого движения — личность Корнилова поражает многогранностью и по-прежнему привлекает к себе внимание всех, кто интересуется отечественной историей. Новая книга Вячеслава Бондаренко посвящена одной из самых ярких русских судеб XX столетия — судьбе ставшего легендой уже при жизни генерала Корнилова.

М. К. Залесская ФЕРЕНЦ ЛИСТ

Ференц Лист давал концерты австрийскому и российскому императорам, королям Англии и Нидерландов, неоднократно встречался с римским папой и гостил у писательницы Жорж Санд, возглавил придворный театр в Веймаре и вернул немецкому городку былую славу культурной столицы Германии. Его называли «виртуозной машиной», а он искал ответы на философские вопросы в трудах Шатобриана, Ламартина, Сен-Симона. Любимец публики, блестящий пианист сознательно отказался от исполнительской карьеры и стал одним из величайших композиторов. Он говорил на нескольких европейских языках, но не знал родного венгерского, был глубоко верующим католиком, при этом имел троих незаконнорожденных детей и страдал от непонимания близких. В светских салонах Европы обсуждали сплетни о его распутной жизни, а он принял духовный сан. Он явил собой уникальный для искусства пример великодушия и объективности, давал бесплатные уроки многочисленным ученикам и благотворительные концерты, помог раскрыться талантам Г0ига и Вагнера. Вся его жизнь была посвящена служению людям, искусству и Богу.

А. Л. Мясников АЛЕКСАНДР III

В российскую историю император Александр III (1845–1894) вошел с самым, пожалуй, лестным для монарха прозвищем — «Царь-миротворец»: за все годы его царствования (1881–1894) Россия не вела войн. Настоящий русский богатырь, он сумел внушить уважение и к себе, и к своей державе всем — и собственным подданным, и соседям, и правителям других государств. Приняв страну в тяжелейшем нравственном, экономическом и политическом состоянии, он передал ее наследнику полностью успокоенной и входящей в период своего расцвета, устремленной в будущее, которое многим казалось тогда безоблачным и счастливым. И можно лишь горько сожалеть о том, что судьба отмерила ему всего лишь тринадцать с половиной лет царствования…

Автор книги, историк Александр Мясников, сосредоточивает свое внимание прежде всего на личности императора Александра III. В основу его повествования положены дневники, письма, воспоминания современников и участников событий. При этом многие приводимые им факты биографии «Царя-

миротворца» для большинства читателей прозвучат весьма неожиданно.

notes

Примечания

1

Анастасия Цветаева в книге «Воспоминания» говорит о *«Спящей царевне»,* но это аберрация, связанная с одноименной поэмой Василия Жуковского.

2

Здесь и далее в документах — правописание подлинника.

3

Tuskulum — расположенный в горах недалеко от Рима древний Тускулум.

4

В порядке борьбы с революционными настроениями.

5

Речь идет о книге: Царь Иоанн Грозный, его царствование, его деяния, его жизнь, современники и деятели в портретах, гравюрах, живописи, скульптуре, памятниках зодчества и пр. / Под ред. Н. Головина, Л. М. Вольфа. СПб.: Т-во М. О. Вольф, 1904.

6

Из очерка М. Цветаевой «Мать и музыка».

Письма П. Юркевича до нас не дошли.

Мужского и женского рода *(лат.)*.

9

Здесь и далее письма датируются по старому стилю.

10

Взаимопогружение *(нем.)*.

11

Из очерка М. Цветаевой «Живое о живом».

12

Заметим: Марина Цветаева, а за ней и Сергей Эфрон тире зачастую ставят в начале абзаца, не имея в виду диалог.

13

Элла Ивановна Рабенек — танцмейстер, преподаватель сценического движения в Художественном театре, руководитель собственной «школы ритма и грации».

14

Банк.

15

Втроем *(фр.)*.

16

Владимир Александрович Соколов — актер, режиссер.

17

Музыкальное томление (*фр.)*.

18

Счастливица, буквально — воскресное дитя *{нем.)*.

19

Напоминаю: даты — по старому стилю.

20

Блок А. Литературные итоги 1907 года.

21

«Пламенеющее сердце».

22

Джордж Тербервиль. Эпистолы стихотворные из Московии. Пер. Гр. Кружкова.

23

Mizemy *(польск.)* — худой, осунувшийся.

24

Марцус Мариусович Петипа — старший сын танцовщика и балетмейстера М. И. Петипа; два сезона (1915–1917) играл в Камерном, роли — Сирано, Фигаро в «Женитьбе Фигаро» П. Бомарше и др.

25

Сергей Яблоновский (наст. имя Сергей Викторович Потресов) — журналист, театральный критик, сотрудник газеты «Русское слово».

26

Описание Александрова принадлежит МЦ. В моем тексте немало незаковыченных цитат, как это делается в поэзии, к каковой, смею надеяться, прикосновенна эта книга.

Кузина *(фр.)*.

28

«Коринна, или Италия» (1807) — роман мадам де Сталь.

29

Графиня де Ноай *(фр.)*. Речь идет о романе Анны де Ноай «Новое упование», опубликованном в переводе М. Цветаевой в конце 1916 года в журнале «Северные записки» (№ 9—12).

30

Магда Нахман — художница; в 1913-м написала портрет Марины Цветаевой.

31

Подчеркнуто двойной чертой.

32

Какой ужас! — Да, я уже заметила! *(фр.)*.

33

Поэтесса, жила в Старом Крыме.

34

Достаточно двух батарей, чтобы смести эту сволочь *(фр.)*.

35

Подарок Аси Жуковской Сереже.

36

Имеется в виду сборник Анны Ахматовой «Белая стая. Стихотворения», выпущенный в свет петроградским издательством «Гиперборей» в сентябре 1917 года (в 1918, 1922, 1923 годах вышли еще три издания, с изменениями и дополнениями, в других книгоиздательствах). — *Прим. ред.*

37

Красавец мрачный! *(фр.)*.

38

Случайный ребенок *(нем.)*.

39

Товарищество *(фр.)*.

40

Летучие вокзальные молочные хвосты. — *Прим. М. Цветаевой.*

«Правда и Поэзия» *(нем.)*.

42

Мужчина зрелых лет *(нем.)*.

43

Старинный рыцарский роман.

Прощай навеки *(лат.)*.

45

Народный комиссариат по делам национальностей.

46

Дом Ростовых — бывший особняк графа В. А. Соллогуба, писателя. Существует устойчивая версия, по которой Лев Толстой в «Войне и мире» поселил семью Ростовых в этом здании.

47

Ю. Стеклов — главный редактор газеты «Известия ВЦИК»; *П. Керженцев* — заместитель редактора «Известий».

48

Арман Луи де Гонто-Бирон (1747–1793) — французский дивизионный генерал из аристократического рода, внук маршала Франции Шарля де Гонто, герцога де Бирона, от которого унаследовал титул герцога де Лозена (в пьесе — Лозэн, а также княгиня Изабэлла, королева Мария-Антуанэтга и т. д.), автор знаменитых «Мемуаров». С юных лет обрел славу женского соблазнителя (среди поклонниц и жертв де Лозена называют мадам де Помпадур, польскую княгиню Изабеллу Чарторыйскую, родившую ему сына, и т. д.); сыграл заметную роль в Войне за независимость США (куда отправился, промотав состояние), а также во французских революционных войнах; казнен на гильотине 31 декабря 1793 года (по другим данным, 1 января 1794-го). — *Прим. ред.*

49

Да здравствует королева! *(фр.)*.

50

Вы оказались большим роялистом, чем сам король *(фр.)*.

51

Автор настоящей книги, естественно, датирует по новому стилю.

52

Потерянные глаза (фр.).

53

Борис Трухачев в 1919 году умер от тифа в Старом Крыму.

Положение обязывает *(фр.)*.

55

В. М. Волькенштейн — драматург, бывший муж С. Парнок.

56

Уточним для мучеников ЕГЭ — речь идет о строках из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»: «Что мне до Фауста, / феерией ракет / скользящего с Мефистофелем в небесном паркете! / Я знаю — / гвоздь у меня в сапоге / кошмарней, чем фантазия у Гете!». — *Прим. ред.*

57

В конце 1920 года в репертуарный план Театра РСФСР Первого была включена задуманная, но ненаписанная драма В. Э. Мейерхольда, В. М. Бебутова и С. А. Есенина «Григорий и Димитрий». По замыслу Мейерхольда, в пьесе встречались два мальчика — царевич Димитрий и Григорий Отрепьев.

58

Вероятно, речь идет о «Книге милосердия и смерти» Пьера Лоти.

59

Заметим, здесь — в четвертом стихотворении из цикла «Ахматовой» — М. Цветаева обыгрывает названия поэтических сборников родителей львеныша: «Жемчуга» (1910) Н. Гумилёва и «Четки» (1914) А. Ахматовой (судьба Льва Гумилёва, на тот момент четырехлетнего, действительно сложится драматично, зато как выдающийся ученый и мыслитель он опровергнет расхожее мнение, будто на детях гениев природа отдыхает). — *Прим. ред.*

Зеркальная галерея *(фр.)*.

61

М. Кузмин. «Среди ночных и долгих бдений…».

Д. Е. Жуковский, муж Аделаиды Герцык.

63

Центральная комиссия по улучшению быта ученых при СНК РСФСР.

С. Эфрон видел «Покрывало Пьеретты» (драма А. Шницлера) в постановке А. Я. Таирова в Камерном театре.

Чего ради? *(фр.)*.

66

«Сумбур вместо музыки» — заголовок редакционной статьи в газете «Правда» (1936. 28 января) об опере Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». — *Прим. ред.*

«Свет» *(фр.)*.

В Берлине МЦ перешла на новый стиль в датировке.

69

Эренбург, весной 1921 года привезший рукопись «Лебединого стана» в Ригу для публикации, ошибочно полагал, что книга вышла в издательстве «Лира»; при жизни МЦ книга не издавалась.

Иначе: я попала под удар, направлен<ный> в мир. — Справляйся! *(Прим. МЦ)*

71

Письма МЦ Пастернаку утеряны. В нашем распоряжении — расшифрованные черновики этих писем.

«Любимая, что тебе еще угодно?» *(нем.)*.

«Книга образов Райнера Мария Рильке» *(нем.)*.

«Ранние стихотворения» *(нем.)*.

Еднота — единство, объединение *(чеш.)*.

«Месса в Бользене» *(ит.)*.

77

Gedankenstrich — тире *(нем.)*. Буквально: черта (морщина) мысли.

С учетом пропорций *(фр.)*.

С еще большим учетом пропорций *(фр.)*.

80

Brand — пожар *(нем.),* а также имя героя одноименной драмы Г. Ибсена.

81

Где радуга опустила свою ногу *(фр.)*.

Северное море *(нем.)*.

83

Письмо написано на открытке с изображением Национального театра в Праге.

Кроме Блока, но он уже не был в живых! А Белый — другое что-то. *(Прим. МЦ)*

85

Книга Т. Чурилина (М., 1915) с литографиями Н. Гончаровой.

86

МЦ ссылается на стихи из книги Б. Пастернака «Темы и вариации»: «С полу, звездами облитого…», цикл «Тема с вариациями», «Маргарита», «Вдохновение».

Вот *(фр.)*.

Правильно: Каннегисер.

89

В никуда *(фр.)*.

90

Скорее всего, речь идет о Кареле Чапеке, переведшем «Антологию французской поэзии».

До свидания! *(нем.)*.

92

Роман Д. Мережковского «Юлиан Отступник» (1895).

93

Напомним вкратце причину «деления». Теоретики евразийства — следуя идеям поздних славянофилов Н. Я. Данилевского (1822–1885), Н. Н. Страхова (1828–1896), К. Н. Леонтьева (1831–1891) — противопоставляли исторические судьбы России и Запада, трактовали Россию как «Евразию» — особый «материк» между Европой и Азией и особый тип культуры. Со временем часть евразийцев начала признавать закономерность революции 1917 года и оправдывать большевизм. Этому способствовало, по утверждению ряда историков, внедрение в среду евразийцев агентов ГПУ (к коим причисляют и С. Эфрона — см. напр.: История Отечества. Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. С. 199). О дальнейшей судьбе евразийского движения речь пойдет ниже. — *Прим. ред.*

94

Сергей Маковский — поэт-сонетист, редактор петербургского журнала «Аполлон» (1909–1917).

95

«Прекраснейшие сказания классической древности» Густава Шваба.

96

Молодая женщина — поэтесса, и она нанизывает стихи, как жемчужины! *(нем.)*.

Вам очень идет *(нем.)*.

98

Радзивиллы — богатейший род в Великом княжестве Литовском, в 1547 году первый в государстве получивший княжеский титул Священной Римской империи.

Bis *(фр.)* — опять, еще раз.

100

Сюжет Ариадны в древнегреческой мифологии оброс версиями, но общая фабула такова: критский царь Минос, отец Ариадны, обозленный на Афины, где был убит его сын, потребовал от афинян дань — ежегодно (по другой версии, раз в девять лет) присылать на Крит семь юношей и семь девушек на съедение Минотавру (человеко-бык, рожденный женой Миноса Пасифаей от связи с быком), который обитал в лабиринте. Герой Тезей (Тесей), сын афинского царя, прибыв на Крит со второй или третьей партией жертв, убил Минотавра и выбрался из лабиринта с помощью Ариадны: она снабдила его клубком ниток, закрепив конец нити у входа («нить Ариадны»). Влюбленная в героя Ариадна бежала с ним, но, спящая, была им брошена на привале, запримечена там богом Дионисом, взявшим ее в жены. — *Прим. ред.*

101

Самая красивая девушка может дать только то, что имеет *(фр,)*.

102

Гётлинг. Сборник статей по древнейшей истории *(нем.)*.

103

Вечно-женственное *(нем.)*.

Легкомысленная пастушка,
Я опасаюсь твоих чар, —
Твоя душа загорается,
Но любви в тебе нет… (фр.).

105

Что я умею! *(фр.)*.

Пани Цветаева *(чеш.)*.

107

Die Nibelungen. Siegfried; Die Nibelungen. Kriemhilds Rache — Нибелунги. Зигфрид; Нибелунги. Месть Кримгильды *(нем.)*.

Так Аля называла О. Е. Колбасину-Чернову.

«Поэты революционной России» *(чеш,)*.

110

Вызывать в памяти *(фр.)*.

111

Воскресный, полдневный и огненный ребенок *(нем.)*.

112

Ребенок, родившийся в воскресенье *(нем.)*. По немецкой мифологии, одарен счастливой судьбой и всевозможными магическими способностями.

113

Даниил Максимович Ратгауз (1868–1937). Его стихи в большей степени, чем стихи Бальмонта, положены на музыку — Н. Римским-Корсаковым, П. Чайковским, С. Рахманиновым, М. Ипполитовым-Ивановым, А. Аренским, А. Гречаниновым и др.

114

Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей (РЗГК).

115

Правильно — Prager Presse.

116

Книга Джека Лондона «Люди бездны» (1903) — сборник очерков о жизни лондонских трущоб (где писатель под видом попавшего в беду моряка поселился на время).

117

Эва Юрчинова — псевдоним чешской писательницы Анны Вербовой.

«Рождественское полено» *(нем.)*.

119

Руве — название улицы.

120

Прозвище Даниила Резникова.

121

Вадим Андреев, сын Леонида Андреева.

122

Напомним: «Инония» — название ранней поэмы С. Есенина (написана в начале 1918 года молодым поэтом, увлеченным, как многие тогда, идеей переустройства «старой» России в *иную'*. «Обещаю вам град Инонию, / Где живет божество живых»). — *Прим. ред.*

123

«Ремизов и эмигрантская критика. Статья, которая еще будет написана. Не мной — так другим. Не сейчас — так через сто лет». *(Прим. М. Цветаевой)*

Мнения о писателях не заказаны. Но если признать тон статьи А. А. Яблоновского о Ремизове не исключительным по своему цинизму, то где и в чем наше отличие от проводников марксистской идеологии? *(Прим. редакции «Благонамеренного»)*

«Преданный и верный» (англ.).

«Современная русская литература» *(англ.)*.

Criterion *(англ.)* — критерий, мерило.

127

Ф. А. Степун — философ, член редколлегии журнала «Современные записки».

128

Перевод К. М. Азадовского.

Это он о меня касающемся. *(Прим. МЦ)*

130

Густав Шваб — Прекраснейшие легенды классической древности *(нем.)*.

Переложение мое. — И. Ф.

«Царь-Девица» и «Мóлодец».

133

Перевод В. Бугаевского.

134

Перевод В. Левика.

135

Ударение: как: Миргород, Белгород и пр. *(Прим. МЦ)*

136

Умри и убей! *(нем.)*.

«Сады».

Рачьте дале! — Едем дальше! *(чеш.)*.

139

«Левый фронт».

140

В собачью задницу (и т. д. — непереводимое французское ругательство).

141

Вы уже наверняка там *(фр.)*.

142

Бессменный редактор «Последних новостей».

143

Семья Туржанских.

Гнездо *(нем.)*.

145

Ты любимый *(нем.)*.

Журнал «Версты».

«Мадемуазель Жанна Робер» *(фр.)*.

148

Конское сердце, конская печенка, конские почки *(фр.)*.

149

Из письма С. Эфрона Е. Недзельскому: «Сейчас стою во главе Парижского Евразийского клуба. <…> Не хватает рук, головы и времени. Конечно — главное не здесь, а «там» (в СССР. — *И. Ф.)*».

150

Перевод письма Рильке Льву Петровичу Струве, сыну редактора, без указания адресата, в ответ на просьбу дать отзыв на «Митину любовь». Вслед за письмом помещена статья другого сына П. Б. Струве, Глеба, «Р.-М. Рильке о И. А. Бунине».

151

«Почему» *(нем.)*. Фортепьянная пьеса Р. Шумана.

152

Протеже *(фр.)*.

153

МЦ пишет о втором номере «Верст» (1927), где были напечатаны отрывки из уже опубликованных в России романов А. Белого «Москва под ударом» (М., 1926) и Ю. Тынянова «Кюхля» (Л., 1925).

154

Эльза Триоле — писательница, сестра Лили Брик, будущая жена Луи Арагона.

«Новости литературы» *(фр.)*.

«Честь страдать» *(фр.)*.

157

Первый беспосадочный перелет через Атлантику из Америки в Европу американца Карла Линдберга 20–21 мая 1927 года.

«О странном городе времени» *(нем.)*.

«Новое французское обозрение».

160

«Страсти Жанны д’Арк», фильм датского сценариста и режиссера К. Т. Дрейера.

161

«Майя» — пьеса С. Гантийона; героиня ее — портовая проститутка Белла.

«Нынешнее состояние русской литературы» *(англ.)*.

163

А. Ахматова. «Течет река неспешно по долине…» (1917).

164

Намек на рассказ М. Горького «Мальва».

Вышла лишь в мае 1928 года.

166

Константин Юон (1875–1958) — русский живописец.

167

Для дам и девиц *(фр.)*.

168

В. Шкловский. «Розанов. Из книги «Сюжет как явление стиля». Пг., 1921. 1-е издание книги «О теории прозы»: М., 1925 (глава «Литература вне «сюжета»).

169

Федра — жена афинского царя Тезея (Тесея) в древнегреческой мифологии: воспылавшая страстью к своему пасынку Ипполиту и отвергнутая им (Ипполит, сын Тезея от амазонки, герой и охотник, презирал любовь к женщине, как амазонки — к мужчине), Федра в отместку оклеветала его перед мужем, в результате чего Ипполит погиб, а Федра покончила с собой. Сюжет многих произведений мировой литературы, начиная с известной трагедии Еврипида «Ипполит». — *Прим. ред.*

170

«Декабристы» (1927) — первый в СССР историко-революционный фильм (немой), снят режиссером А. В. Ивановским.

171

Роман Марселя Пруста «По направлению к Свану», открывающий цикл романов «В поисках утраченного времени».

172

Речь идет о графине Евдокии Петровне Ростопчиной (урожденной Сушковой; 1811–1858), поэтессе (лейтмотив ее лирики — неразделенная любовь), переводчице, драматурге; хозяйка литературного салона, где бывали Жуковский, Вяземский, Гоголь, другие известные поэты, писатели. — *Прим. ред.*

«Литература русской эмиграции». Пер. Р. Вольфсон.

174

«Экипаж» (1928) — фильм (немой) французского режиссера Мориса Турнёра; Convention — название кинотеатра.

По-видимому, созревало стихотворение «Юноше в уста»:
Пей, женоупруг!
Пей, моя тоска!
Пенковый мундштук
Женского соска
Стóит.

Т. е. всё без-конца нежности. *(Прим. МЦ)*

177

Валерия была старше МЦ на девять лет.

178

Буква «н» подчеркнута МЦ три раза.

179

Картинка в требнике *(фр.)*.

180

По причине шестерых на одну *(фр.)*.

181

Шарль-Франсуа князь де Линь *(фр.)*.

МЦ в 1918 году исполнилось 26 лет.

183

Не выбрасывайте моих писем! *(фр.)*.

184

См. стихотворение Маяковского «Город» (1925):

Мне скучно
здесь
одному впереди, —
поэту
не надо многого, —
пусть
только
время
скорей родит такого,
как я, быстроногого.

185

Перекоп — древний город на Перекопском перешейке между Крымом и материком, полностью стертый с лица земли во время боев Красной армии с Русской армией барона Врангеля (1920).

«Поэты новой России» *(фр.)*.

187

«Звездные тетради» *(фр.)*.

Н. П. Гронский.

189

Иллюстрации и наброски Н. С. Гончаровой к французскому «Мóлодцу» хранятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге (31 рисунок). Воспроизведены в книгах: 1) *Цветаева М.* Мóлодец / Tsvetaeva M. Le Gars: Поэма / Ил. Н. С. Гончаровой. Изд. подгот. Н. К. Телетовой. СПб.: ДОРН, 2003; 2) *Цветаева М.* Мóлодец. М.: Эллис Лак, 2000, 2005.

190

Маленький феномен *(фр.)*.

Иллюстрации — черно-белые репродукции: «Портрет Карсавиной в испанском костюме», «Испанки», «Весенний букет», «Бегство в Египет», «Голова испанки», «Пьющие вино», «Город», «Христос».

«Панорама современной русской литературы» (фр.). Пер. В. К. Лосской.

193

Ошибка МЦ: шотландская королева не ждала жениха в Бретани, а сама ехала к нему через всю страну.

194

Сергей Юльевич Витте — граф, российский государственный деятель, в 1903–1906 годах председатель Совета министров. «Весною 1895 года граф Витте мне грубо и надменно отказал во всякой поддержке этому Музею, сказавши, что «народу нужны «хлеб да лапти», а не ваши музеи». После многочисленных переговоров Витте согласился лишь на 200 т. р.» (из дневника И. В. Цветаева).

195

Дай, пожалуйста, мальчишке (гамену) конфету *(фр.)*.

196

Правильно: «Epistola: In Carcere et Vinculis» *(лат.* «Послание: в тюрьме и оковах»).

197

Здоровья мужества Франция Марина (фр.).

198

Арсений Несмелов.

199

Курсы при Лувре: История искусств и живописи *(фр.)*.

200

Удостоверение личности *(фр.)*.

201

«Двухнедельные тетради» *(фр.)*.

202

Станция парижского метрополитена.

203

Сен-Пьер-де-Р'юмийи замок д’Арсин (Северная Савойя) *(фр.)*.

Д. П. Святополк-Мирский.

205

Ищи женщину *(фр.)*.

206

Наталия Николаевна Стражеско — знакомая МЦ и семьи Туржанских; ей двадцать пять лет.

207

На самом деле соответственно 38 и 18.

Для ходьбы *(фр.)*.

209

Починку подошв *(фр.)*.

Перевод с французского В. Лосской.

Андрей Трухачев — сын Анастасии Цветаевой.

212

М. Слоним напечатает статью МЦ «О новой русской детской книге» в «Воле России» (1931. № 5–6).

213

«A la cherche du temps perdu» — «В поисках утраченного времени» *(фр.)*.

214

Правильно: Новарро — американский киноактер мексиканского происхождения, герой немого кино.

215

Под общим заголовком «Китайские тени» Г. Иванов в 1924—1930-х годах печатал в эмигрантской периодике мемуарно-художественные очерки из литературного быта, не претендующие на строгую документальность (о чем гласит сам заголовок). Очерк, воспринятый М. Цветаевой как фельетон, был опубликован в «Последних новостях» (1930. 22 февраля). См.: *Иванов Г. В.* Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3. М.: Согласие, 1993. — *Прим. ред.*

216

Международная Колониальная выставка проходила в Париже в мае — октябре 1931 года.

217

Генрих Бернардович Закс — бывший квартирант МЦ, коммунист, совслужащий. Помог МЦ в освобождении из-под ареста старика Иловайского — историка, первого тестя ее отца.

218

Примечание МЦ: «т. е. напиши 2 тома исследований, или одно свое двустишие, что Пастернак — негр».

219

Е. Н. Арнольд — бывшая фиктивная жена С. М. Волконского.

Сигрид Унсет: Венок — Женщина — Крест *(нем.)*.

221

Женщина *(нем.)*.

Е. Н. Рейтлингер-Кист.

223

«Здесь — в поднебесье» (фр.).

«Девушки в форме» (нем.).

«Научное общество» (фр.).

226

МЦ переводила свои письма Геликону (А. Вишняку): «Флорентийские ночи».

227

Цветаевское написание фамилии Марии Папер.

Корпоративный дух *(фр.)*.

229

Ссылка на стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…»:

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

230

Члены Союза молодой России (Младоросской партии).

Напомним: в то время Г. П. Федотов, философ, богослов, публицист, был соредактор, наряду с И. И. Фондаминским и Ф. А. Степуном, журнала «Новый град: Философский, религиозный и культурный обзор» (Париж; 1931–1939). — *Прим. ред.*

«Я — беглец» *(фр.)*.

233

Туда и обратно *(фр.)*.

234

Домашнее прозвище сына Раисы Николаевны — Чуб.

235

Грасс (Лазурный Берег) (фр.).

Тургеневская общественная библиотека. Каталог по беллетристике. Париж, 1924; Вып. II. 1929: МЦ. Вечерний альбом (1910); Версты I (1922); Царь-Девица. Берлин, 1922; Психея (1923); Ремесло (1923); Мóлодец (1924).

237

В. Муромцева-Бунина. «У Старого Пимена» (1932).

Долг крови *(нем.)*.

239

Человеческий род меня отвергал
И я сидел в тени нерпы.
Я был игрой морского вала
И проклинал себя за то, что покинул отца,
За то, что отверг весь род человеческий
И за то, что скрылся в тени нерпы.
Георгий Эфрон
Кламар, 22 апреля 1934 г. (Пер. с фр. В. Лосской)

Ванв, улица Жан-Батист Потэн, 33 *(фр.)*.

241

Максим Максимович Литвинов, в 1930–1939 годах нарком иностранных дел СССР.

Еще немного! *(нем.)*.

243

У Маяковского: «Я с жизнью в расчете и не к чему перечень / взаимных болей, бед и обид» (из предсмертного письма).

Здесь и далее перевод с французского «Письма к Амазонке» Ю. Клюкина.

245

Из стихотворения А. Белого «Друзьям» (1907): «Золотому блеску верил, / А умер от солнечных стрел. / Думой века измерил, / А жизнь прожить не сумел». — *Прим. ред.*

246

Антон Иванович Деникин, генерал-лейтенант, командующий Добровольческой армией.

247

Смотрительница *(фр.)*.

248

Образцы (*фр.*).

249

Филипп Поль Сегюр (1780–1873) — генерал, историк, автор «Истории Наполеона и Великой Армии в 1812 г.» (1824).

250

Его мера была велика, но он ее превзошел *(фр.)*.

«Социальный музей» *(фр.)*.

Майя Кудашева, в ту пору ставшая женой Ромена Роллана.

Ты права, но ты жестока *(нем.)*.

Бесстрашие *(нем.)*.

255

Мой отец и его Музей (фр.).

МЦ намеревалась перевести и Песню Мэри.

Ариадна Берг. — *Прим. ред.*

Лучшее или худшее *(фр.)*.

259

МЦ приводит рисунок: два овала, в одном вписаны слова «самый большой», в другом — «самый маленький».

Это настоящая вещь *(фр.)*.

261

Сеть семейных продуктовых лавок.

262

Холщовые туфли на веревочной подошве.

263

Стихотворение В. Ходасевича.

Журнал «Звено».

265

Событием *(нем.)*.

266

Ошибка Штейгера. У Кузмина: «И мы, как Меншиков в Березове…».

267

Ср.: «От черного хлеба и верной жены…» (1926) Э. Багрицкого, которым МЦ живо интересовалась. Ритмическое и словарное сходство.

268

Большой вечер поэтов, прошедший 15 февраля 1936 года, но не в зале Трокадеро, а в зале Научного общества.

269

Перевод И. Кашкина.

Перевод Марины Цветаевой (1941).

271

Имеется в виду процесс по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» (известен так же как «Первый московский процесс», «Процесс шестнадцати»): 16 подсудимых во главе с Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым обвинялись, коротко говоря, в связях с Л. Д. Троцким (высланным за пределы СССР в 1929-м), организации по его заданию террористического центра для смены власти, в убийстве С. М. Кирова, подготовке убийств И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова и других руководителей партии и правительства (о предыстории процесса и самом процессе см. подробнее: *Чернявский Г. И.* Лев Троцкий. М.: Молодая гвардия, 2010). — *Прим. ред.*

Дуинезских элегий *(нем.)*.

273

Речь о Вере Трейл, бывшей Сувчинской.

Не совсем так. Первоначально публикацию первых глав поэмы «Лейтенант Шмидт» предварял акростих в честь МЦ.

275

Газета «Сегодня» (Рига. 1937. 6 марта).

276

Отзыв Александра Гефтера в «Иллюстрированной России» появился 13 марта 1937 года.

277

Блошиный рынок *(фр.)*.

Учитель плавания *(фр.)*.

О, как жжет… Жжёт, жжёт, жжёт… *(фр.)*.

280

40 километров в час… бригада не справляется… призыв добровольцев *(фр.)*.

281

Landes — заболоченная низменность вдоль побережья юго-запада Франции (Бискайский залив) — 230 километров.

282

Розовое вино *(фр.)*.

283

Огонь *(фр.)*.

284

Вид на жительство для эмигрантов *(фр.)*.

285

Журнал для юношества.

286

Огонь… призыв добровольцев… наши доблестные отряды… *(фр.)*.

287

Местная газета («Маленькая Жиронда»).

288

Видите эти леса? Там… там… Это просто джунгли с непроходимыми лианами… И там полно змей… Поэтому туда никто не мог войти — это невозможно — ну и оставили гореть… *(фр.)*.

289

Интернациональные бригады (Интербригады) формировались из иностранных добровольцев левых взглядов (коммунистов, социалистов, анархистов) для участия в испанской гражданской войне на стороне республиканцев. Решение о создании Интербригад было принято Исполкомом Коминтерна 18 сентября 1936 года. — *Прим. ред.*

290

Лев Седов с 1929 года выпускал за рубежом русскоязычный журнал высланного из СССР Л. Д. Троцкого «Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев)». Помимо статей, обращений, антисталинских воззваний самого Троцкого, в «Бюллетене…» публиковались материалы других оппозиционеров, письма из СССР, поступавшие разными путями, и т. д. (надо полагать, архив у Л. Седова был немалый). Журнал распространялся по многим странам, нелегально ввозился в Советский Союз возвращавшимися из зарубежных командировок тайными сторонниками Троцкого (для Сталина и библиотеки ЦК он приобретался через подставных лиц). — *Прим. ред.*

291

Испанский порт на берегу Бискайского залива, 28 августа 1937 года захваченный франкистами.

292

Эта полоумная русская *(фр.)*.

293

Главное управление государственной безопасности Франции.

Он самый честный, самый благородный, самый человечный человек. Его доверие могло быть обмануто. Мое к нему — никогда *(фр.)*.

295

Н. Берберова. «Курсив мой».

296

Из стихотворения Б. Пастернака «Давай ронять слова…» (1917):

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.
Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.

297

Если Вы не можете стоять, вот мой стул, но я Вам не опора *(фр.)*.

Газета французской компартии «Юманите».

299

Крестная мать мечты *(фр.)*.

Переходное состояние *(фр.)*.

301

Отговорившись *(фр.)*.

302

Бабенка, которой на всех наплевать *(фр.)*.

303

Имеются в виду постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года и предшествующий ему доклад А. Жданова на ту же тему; главными фигурантами критики в докладе были А. Ахматова и М. Зощенко. — *Прим. ред.*

304

Зоопарк в Венсене (фр.).

305

Магазин стандартных цен *(фр.)*.

306

Средневековый замок неподалеку от Вшенор, где жила МЦ.

307

Пьеса Карела Чапека «L'Epoque ou nous vivons» («Время, в которое мы живем») была сыграна 8 ноября 1938-го в театре Де-з-Ар (Париж) и с 11 ноября по 20 декабря шла каждый день.

308

Ирен и Фредерик Жолио-Кюри — ученые, лауреаты Нобелевской премии (1935).

309

Пристань, пирс *(фр.)*.

310

Краска *(фр.)*.

311

Нежная Франция *(фр.)*.

312

Прощай, Франция! Мария Стюарт *(фр.)*.

Экзюпери — Планета людей — Люди *(фр.)*.

Подавальщица *(фр.)*.

315

Гейне — Северное море *(нем.)*.

316

Дайте мне ручку, мамзель, дайте мне ручку *(фр.)*.

317

Каналья, проходимец *(фр.)*.

М. Н. Лебедева.

«Новости литературы» *(фр.)*.

320

С параллельным текстом оригинала *(фр.)*.

321

Мадам Лафарг, мадам Кюри Эксиль П. Бак *(фр.)*.

322

Окаменевшие отбросы *(фр.)*.

323

Касторе — Десять лет под землей *(фр.)*.

На земле *(фр.)*.

325

Поцеловать — это не криминал! *(фр.)*

326

Как она красива, эта вода! Она почти голубая! *(фр.)*

327

Теперь Ярославский.

Записано на французском; перевод Е. Б. Коркиной.

Кудрова И. В. Путь комет: В 3 т. Т. 3. Разоблаченная морока. 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Крига; Изд-во Сергея Ходова, 2007.

330

Иван Александрович Кашкин (1899–1963) — критик, переводчик с английского.

331

Цитата из 4-го действия «Горя от ума» А. Грибоедова.

332

Музей нового западного искусства в Москве был основан на коллекции Сергея Ивановича Щукина (1854–1936), в которой было, в частности, 37 полотен Матисса, 51 — Пикассо, картины Ван Гога, Гогена, французских импрессионистов. Музей был упразднен, а коллекция перешла в собрания ГМИИ и Эрмитажа.

333

Так Мур называет Дом творчества.

«Портреты и анекдоты».

335

В. Я. Эфрон, сестра отца.

М. С. Фельдштейн был арестован 26 июля 1938 года.

«Преступление лорда Артура Савиля».

«Семейный круг».

339

Вот оно, падение *(фр.)*.

Точнее, покушений на жизнь Льва Троцкого в 1940 году было два: 24 мая, осуществляемое группой Григулевича — Сикейроса (советский разведчик Иосиф Григулевич и мексиканский художник-коммунист Альфаро Сикейрос) и благодаря жене Троцкого не удавшееся; 20 августа агент НКВД Рамон Меркадер смертельно ранил его ударом ледоруба по голове (21 августа Троцкий скончался в больнице Мехико). — *Прим. ред.*

341

Московский институт философии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевского (МИФЛИ, часто просто ИФЛИ) — гуманитарный вуз университетского типа, существовавший в Москве с 1931 по 1941 год. Был выделен из МГУ и в конечном счете снова с ним слит.

342

В тупике *(фр.)*.

343

Мне не слишком понравилась *(фр.)*.

ВРК — Всесоюзный радиокомитет.

345

У нас есть выбор: Корней Чуковский — или Корнель (который на родном французском произносится как Корней).

Степан Щипачев — поэт и заметный литчиновник.

347

В поисках приличной елки *(фр.)*.

348

Осуждена Военной коллегией по статье 58-6 УК (шпионаж).

349

Трамвай по маршруту «А» («Аннушка»),

350

Игра слов: Брокгауза и Ефрона.

351

Официальное название: Высший литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова (1921–1925); создан в Москве весной 1921 года по инициативе Брюсова; в декабре 1924-го в связи с юбилеем поэта институту было присвоено его имя (Брюсовский институт считается предшественником Литературного института им. Горького). — *Прим. ред.*

Датируется по-разному: 1951, 1965.

353

«Баллада о кривой хате» Ондры Лысогорского; опубликована в журнале «Интернациональная литература» (1940. № 11–12).

«Кресты» — название петербургской (ленинградской) тюрьмы, где находился в предварительном заключении сын Ахматовой Лев Гумилёв. — *Прим. ред.*

355

Председатель Совета народных комиссаров СССР. — *Прим. ред.*

Запись Л. Г. Трубицыной.

Л. К. Готгельф — директор Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых (г. Александров);

Л. И. Цинобер — кристаллограф, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, любитель поэзии.

358

Относительно передачи мебели крестьянской семье Борисовых обнаружена записка, подписанная Мариной Эфрон.

До 14 февраля 1918 года даты указаны по старому стилю.

Необходимо заметить, что моя книга далека от цветаеведения как науки. Вместе с тем при жизнеописании невозможно обойтись без работ ученых. Восхищение вызвали труды таких исследователей, как Е. Б. Коркина, И. В. Кудрова, Л. А. Мнухин, очень интересны изыскания К. М. Азадовского, М. Мейкина, А. А. Саакянц, В. А. Швейцер, И. Д. Шевеленко. Сочинения М. И. Цветаевой расположены по хронологии их посмертного издания; книги и статьи о ней — по алфавиту. Разумеется, это отнюдь не весь перечень того, что довелось прочесть во время работы над книгой.